



Ф. МЕРИНГ

ЛИТЕРАТУРНО  
КРИТИЧЕСКИЕ  
СТАТЬИ



I



ACADEMIA

64635

809

M-52

ФРАНЦ МЕРИНГ

ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ

СТАТЬИ



ACADEMIA

Ф. Меринг был одним из руководящих идеологов левого крыла германской социал-демократии в довоенный период, затем возждел Союза Спартака в 1918 г.—одним из основателей германской коммунистической партии. Он был одним из крупнейших и разностороннейших теоретиков и публицистов рабочего движения конца XIX и начала XX века. Одно из центральных мест в его работах занимают вопросы истории и теории литературы. Он неустанно разрушал в этой области буржуазные легенды, истолковывал, применяя методы марксизма, наследство великих писателей эпохи буржуазных революций, первый дал абрис марксистской истории германской литературы.

Несмотря на свойственные Мерингу методологические ошибки, общие ему со всеми представителями „левой“ социал-демократии конца XIX и начала XX века, его работы в области литературоведения являются серьезным вкладом в построение будущей истории и теории литературы, основанных на подлинно марксистско-ленинских методах изучения общественных явлений. Критическое овладение наследством Меринга в этой области является необходимой предпосылкой решения этой настоящей задачи, стоящей перед советским литературоведением.

Настоящее издание литературных работ Меринга впервые дает советскому исследователю и читателю необходимый для этой работы материал.

Цена Р. 8.00

Переплет Р. 2.00





**КОММУНИСТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ  
ПРИ ЦИК СССР**

**Научно-Исследовательский Институт  
Литературы и Искусства**



**ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ  
И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОСОБИЯ**

*под общей редакцией  
Вал. Полянского*

**ФРАНЦ МЕРИНГ**  
**(1846—1919)**

**ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ  
РАБОТЫ В ДВУХ ТОМАХ**

**А С А Д Е М И А**  
**Москва — Ленинград**

**ФРАНЦ МЕРИНГ**

**ЛЕГЕНДА О ЛЕССИНГЕ**

---

**ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ  
СТАТЬИ**

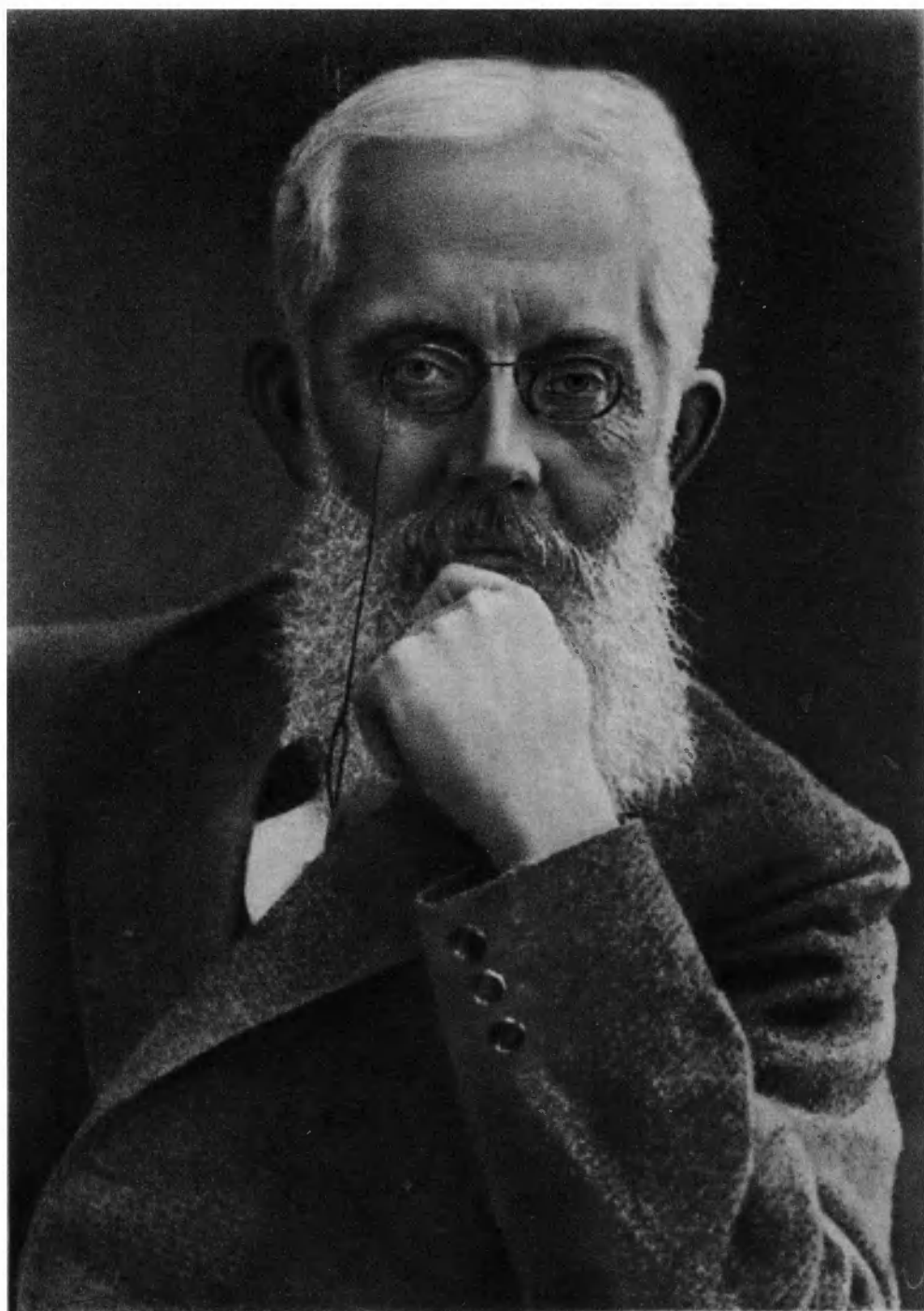
**ТОМ ПЕРВЫЙ**

*Статья Георга Лукача*

**А С А Д Е М І А**

**1 9 3 4**

*Переплет и супер-обложка*  
*М. В. М а т о р и н а*



---

## Франц Меринг

### (1846—1919)

Франц Меринг, бесспорно, одна из самых крупных и разносторонних фигур всего периода II Интернационала. Как издатель юношеских произведений Маркса и Энгельса, как историк германской социал-демократии, как биограф Карла Маркса, он оказал на все идеологическое развитие пролетариата определенное и прочное влияние, выходящее далеко за пределы Германии. Сколько бы ни было моментов в его деятельности, уже тогда вызывавших сомнения и критику,—правда, как справа, так и слева,—все же его влияние остается очень сильным до сих пор; как бы резко мы ни отклоняли сейчас целый ряд основных пунктов в его изображении истории партии (характеристика и оценка Лассаля, Швейцера, Бакунина и т. д.), тем не менее эти работы Меринга далеко еще не перешли в разряд простых документов минувшей эпохи; с каким бы критическим настроением мы ни приступали к чтению его исторических сочинений, во всяком случае отправным пунктом для изучения истории развития германской партии они остаются и поныне.

Но если Меринг стал знаменит и популярен прежде всего как историк германской социал-демократии, как издатель и биограф Маркса, то этим отнюдь не исчерпывается его литературное значение. Мы находим в Меринге такую многогранность интересов, такой широкий диапазон знаний, какими в тот период кроме него отличались еще только Плеханов и Лафарг. Он самый блестящий полемический публицист германской социал-демократии; его передовые статьи в «*Neue Zeit*» заслуженно приобрели международную известность, целое поколение знакомилось по ним с германской и в особенности с прусской историей в ее связи с классовой борьбой современности. Но деятельность Меринга как историка не ограничивалась одной публицистикой. Его «Легенда



о Лессинге», его «Германская история», его «Густав Адольф», его этюд по истории германских освободительных войн и т. д. были для целого поколения источником ознакомления с немецкой историей в марксистском освещении, и сейчас еще огромное большинство марксистов черпает из этого источника свои сведения по немецкой истории. Интерес Меринга к истории был чрезвычайно широк. Он простирался от военной истории до истории философии и литературы. И эта последняя область была—наряду с историей партии—второй областью, в которой Меринг много лет пользовался непререкаемой репутацией крупнейшего авторитета. Даже его политические противники преклонялись перед его умом и знаниями в области литературы, и можно сказать, что до последних лет историко-литературные оценки в кругах немецкого рабочего движения определялись главным образом суждениями Меринга. Правда, в социал-демократии все больше укреплялось направление, которое рабски копировало все теоретические и практические моды послевоенной буржуазии и поэтому все больше отказывалось от меринговского взгляда на историю немецкой литературы,—но все же официальный взгляд германской социал-демократической партии на литературу (Герман Вендель, Анна Зимсен, Клейнберг и т. д.) оставался еще меринговским по внешности. Что же касается германской компартии, то в ней критическое отношение к наследству Меринга возрастало по мере ее большевизации. Политическое значение этого критического подхода к Мерингу основано главным образом на том, что,—как мы подробно расскажем ниже,—брандлеровская группа, и прежде всего Август Тальгеймер, провозгласила меринговскую ортодоксию в литературной и культурной области. На этой основе возник «почвенный» немецкий троцкизм в вопросах литературы: отрицание возможности пролетарско-революционной литературы, возможности подъема культуры вообще и литературы в частности в период обостренной классовой борьбы. Тщательное изучение и критическая проверка и проработка меринговского наследия является таким образом крайне важным жизненным вопросом для пролетарско-революционной литературы Германии. И это тем более, что было бы весьма недиалектическим и некритическим, чисто механическим взглядом на дело, если бы из-за необходимости энергичнейшей критики ошибок Меринга мы отбросили в сторону все его наследие. Узость кругозора очень многих молодых писателей пролетарско-революционного литературного движения Германии теснейшим образом связана с тем, что они знают Германию только по самому последнему ее периоду, пережитому ими самими, что они не могут перекинуть мост к своим собственным революционным традициям от крестьянской войны и последующей эпохи до революции 48 года и, далее, до развития рабочего движения, до его перерастания за рамки общедемократического движения Германии. Нужно поэтому критически проработать наследие

Меринга, а не отбрасывать его в сторону,—последнее было бы такой же ошибкой, как догматическое усвоение взглядов Меринга на литературу и культуру.

Для русских читателей труды Меринга по истории и теории литературы не могут, разумеется, в такой же мере представлять актуально-политический интерес. Однако и для них остается в силе, что марксистское изложение истории немецкой литературы, по крайней мере XVIII и XIX века, было дано только Мерингом, так что и русский читатель, ищущий марксистского путеводителя по истории немецкой литературы, может обратиться только к Мерингу. И тут критическое разъяснение метода и выводов Меринга тем важнее, что ведь от большинства русских читателей нельзя ожидать интимного знакомства с немецкой литературой по первоисточникам, а благодаря обаянию имени Меринга и его захватывающему изложению многие читатели наверное не раз будут склонны усвоить себе (в той области, которую они не знают или знают недостаточно близко) даже и ложные оценки Меринга.

Ввиду сказанного настоящее введение в работы Меринга по теории и истории литературы должно быть выдержано преимущественно в *критическом* тоне. Это значит, что как можно резче должны быть выделены те моменты в методе и исследовательской работе Меринга, которые не поднялись над кругозором II Интернационала, которые представляют собою уклон в сторону от неискаженного марксизма, которые должны быть преодолены до конца для правильного марксистского понимания исследованных Мерингом областей. Такая критика—подчеркнем это еще раз—не имеет ничего общего с презрительным отношением к меринговскому наследию. Великая историческая заслуга Меринга, как первого и единственного в Германии систематического исследователя этих вопросов, остается незыблемой при самой резкой критике его ошибок, тем более, что и самая строгая критика должна будет признать, что Меринг не только впервые, после Маркса и Энгельса, занялся систематическим марксистским исследованием немецкой литературы, но во многих и немаловажных пунктах пришел к правильным выводам. Если мы поэтому утверждаем, что Меринг в своем общем мировоззрении не сумел преодолеть кругозора II Интернационала, так что он является для нас только исторической фигурой, а не актуальным вождем на сегодняшний день, как Маркс, Энгельс и Ленин,—то вместе с тем мы должны подчеркнуть, что он одна из самых крупных, привлекательных и героических фигур всего этого периода. С того момента, как он—уже зрелым человеком—примкнул к рабочему движению, он боролся беззаветно, несмотря на все ошибки, на его радикально-левом крыле, жестоко громил ревизионизм с выраставшим из него социал-шовинизмом и социал-империализмом, героически выдерживал гонения со стороны империа-

листической германской буржуазии, сидел уже больным стариком в тюрьмах германского империализма, был одним из основателей Спартакховской группы и КПП и умер если и не прямо на поле брани, то все-таки как жертва руководимой социал-демократами контрреволюции, как один из первых мучеников пролетарской революции в Германии.

## I

### Личность Меринга

Мы попытаемся здесь, конечно, дать не психологическую характеристику Меринга, а его портрет как политика и мыслителя. Основной вопрос заключается для нас, стало быть, в том, как и насколько его прошлое, до его прихода в рабочее движение, и характер его развития в сторону этого движения повлияли на его духовную физиономию как марксиста. При этом нужно прежде всего покончить с одной легендой, распространявшейся ревизионистами,—особенно ко времени Дрезденского съезда (1903 г.). Я имею в виду тот взгляд, будто Меринг был когда-то ренегатом рабочего движения и потом «покаянно» вернулся к нему. Нет, Меринг в юности никогда не был членом рабочей партии. Наоборот, он прошел, как мы увидим, весьма своеобразный путь от буржуазной демократии к социал-демократии,—но своеобразие этого пути было не лично-психологическое, а историческое. Пока он шел по этому пути, его отношение к рабочей партии и к рабочему движению вообще часто менялось. Однако, даже при сравнительно большой его близости к рабочему движению в 70-е годы, молодой Меринг никогда не был в его рядах. Тот факт, что свои статьи против Трейчке в «Wage» (1875), вышедшие затем отдельной брошюрой, он писал от лица некоего фиктивного члена рабочего движения, ровно ничего не доказывает. Позднейший рассказ Меринга об этой брошюре заслуживает полного доверия \*: «Когда летом 1875 года разгорелась литературная распря между Трейчке и Шмоллером, я как-то разговорился о ней с Гвидо Вейсом и высказался в том смысле, что Трейчке может быть опровергнут любым рабочим. Вейс сказал: «Напишите-ка мне несколько статей об этом для «Wage»,—что я и сделал». И Меринг справедливо находит, что благожелательно-отрицательный отзыв Газенклевера о бойком фельетонистском слоге этих статей был правильнее, чем похвала Бебеля. Отзыв Маркса («очень скучно и плоско написано» \*\*) Меринг тогда наверное не знал.

\* *Mehring, Meine Rechtfertigung, Leipzig, 1903, S. 9.*

\*\* Маркс—Энгельсу, от 1 августа 1877 г., Сочинения, XXIV, стр. 489.

Обвинение в ренегатстве и вообще копание в буржуазном прошлом Меринга было грязным маневром ревизионистов. Меринга хотели изобразить авантюристом, отчаянной головой, темной личностью, чтобы этим ослабить борьбу левых против ревизионистов, чтобы политически скомпрометировать одного из самых смелых и даровитых борцов левого крыла. Как Меринг, так и его политические друзья были совершенно правы, когда ответили на этот гнусный выпад энергичнейшим отпором, указав на деятельность Меринга, как друга и помощника партии вне ее рядов, в последние годы закона против социалистов и на его работу внутри партии после его присоединения к ней. Гнусность этих нападок заключалась именно в том, что они исходили от наиболее обуржуазившихся элементов правого крыла (Браун, Давид и т. д.) и от буржуазных интеллигентов, промелькнувших случайными гастролерами в социал-демократии (Георг Берингард); и направлялись эти нападки против Меринга именно потому, что он вел борьбу против буржуазного перерождения рабочего движения, против ревизионизма. Только изолгавшиеся в конце, обуржуазившиеся оппортунисты, сотрудничавшие в «Zukunft» Гардена и других буржуазных органах и боровшиеся за право печататься во всех буржуазных журналах и газетах без контроля партии, могли предьявить Мерингу «моральный» упрек в том, что он в свой буржуазный период был сотрудником честно демократических, буржуазно-леворадикальных органов, что он в качестве буржуазного журналиста вел ожесточеннейшую борьбу против буржуазной коррупции печати и т. д. Правда, была такая полоса в его буржуазном развитии, когда он энергично боролся и против рабочего движения. И он делал это с таким же воодушевлением и с такой же полемической беспощадностью, с какой он вообще сражался со своими противниками. Но эта борьба была, как мы увидим ниже, необходимым этапом в развитии Меринга, этапом в развитии его буржуазно-демократической эпохи, а не действием ренегата. Правда, это было, как мы увидим, действием человека, который сочувствовал рабочему движению и потом разочаровался в нем. Первое сближение Меринга с рабочим движением было основано на его полнейшем непонимании сущности этого движения. В борьбе против него как-раз эта ложная основа первого сближения ясно выступила наружу, и Меринг, может быть, никогда не мог бы действительно прийти к марксизму, если бы эта ложная основа не обнаружилась и не была им преодолена.

Чем более, однако, мы убеждены, что путь Меринга к рабочему движению был не только индивидуально путем честного буржуазного демократа, который по мере все более ясного понимания общественной ситуации делает отсюда и идеологические выводы, но также общеисторическим путем, вытекавшим из всего развития демократических течений в Германии,—тем более мы считаем нужным изучить буржуазное прошлое Ме-

ринга (насколько это позволяет имеющийся у нас материал), ибо мы убеждены, что политическая физиономия Меринга, *единство* его положительных и отрицательных свойств, его блестящих дарований и пагубных ошибок уходит своими корнями в его развитие, в его буржуазно-демократическое прошлое.

Один из важнейших недостатков партий II Интернационала заключался в том, что в них очень рано почти совершенно угасли живые революционные традиции. Особенно ярко это проявилось в Англии, но и очень многие ошибки германской социал-демократии объясняются именно этим. Период буржуазных революций был для западных стран завершен, пролетарская революция, казалось, не была еще актуальной задачей. Партии развивались все сильнее в сторону парламентского и профсоюзного легализма. Вступление в империалистический период было лишь крайне немногими понято как вступление в период решающих революционных боев. Более того, как-раз из экономически-социальных условий империалистического периода и выросла, как известно, открытая ликвидация революционных целей и методов рабочего движения, тенденции к превращению рабочей партии в либеральную рабочую партию, словом—ревизионизм. Но и борьба левого крыла против ревизионизма имела как раз в наиболее решающих пунктах (диктатура пролетариата) очень шаткий и нерешительный характер. Боролись против тактики ревизионистов, но не умели раскрыть и вырвать с корнем их мировоззрение и их стратегию. Объективные предпосылки превосходства большевиков над всеми течениями II Интернационала состояли не в последнюю очередь в непрерывной преемственности между революционными традициями прошлого и актуальными задачами современности, в объективной необходимости диалектически связать в подлинном революционном действии живое наследие революционного прошлого, между прочим и традиции радикально доведенной до конца буржуазной революции (например, якобинства 1793 года), с актуальными задачами пролетариата и его революционного авангарда. Правда, нужна была гениальность Ленина, чтобы во главе большевиков осуществить требования этой объективной ситуации, теоретически и практически овладеть ее проблемами и с помощью правильного обобщения нового революционного опыта не только пробудить к новой жизни конкретную революционную теорию Маркса, но обогатить и развить ее дальше. Однако эти стратегические, тактические и организационные достижения, этот опыт большевиков не были поняты даже лучшими левыми вождями и теоретиками II Интернационала. Никто не понял, что, как говорит Ленин, «буржуазная революция не отделена китайской стеной от пролетарской»,—и таким образом колоссально важный стратегически-тактический опыт Маркса и Энгельса и их открытия из периода подготовки к революции 48 года и самой этой революции остались неиспользованными. Наряду с явной и тайной лик-



видацией революции на правом крыле и в центре, слева появился фантом какой-то «чистой» пролетарской революции, что практически очень часто приводило в текущей политике к серьезным уступкам оппортунизму, парламентскому легализму и т. д. и имело своим последствием полнейшее игнорирование еще не разрешенных вопросов буржуазной революции в Германии, как момента пролетарской революции. Вот как высказывается об этом вопросе Ленин \* (с ссылкой на энгельсовскую критику Эрфуртской программы): «Республиканская традиция сильно ослабела у социалистов Европы. Это понятно и отчасти может быть оправдано,—именно постольку, поскольку близость *социалистической* революции отнимает практическое значение у борьбы за *буржуазную* республику. Но нередко ослабление республиканской пропаганды означает не живость стремления к полной победе пролетариата, а слабость сознания революционных задач пролетариата вообще».

Своеобразное место, занимаемое Мерингом в германской социал-демократии, зависит в значительной мере от того, что для него революционные традиции были гораздо более живыми, чем для большинства остальных вождей. Правда, он лично не пережил 48 года. Но зато решающая пора его юности протекла в кругу людей, в которых еще живо сохранились добрые буржуазно-революционные традиции 48 года,— в кругу Гвидо Вейса, Франца Циглера, Якоби и т. д. Из этого круга Меринг вынес на всю жизнь здоровую, непреклонную ненависть к той Германии, которая приобрела свое убудочное, недемократическое и неполное единство посредством «революции сверху», с помощью «крови и железа», а не завоевала его себе, как Франция и Англия, победоносной буржуазной революцией. Пусть Меринг часто формулировал свою точку зрения неполно или даже неверно,—во всяком случае против современной ему Германии он всегда выступал как враг, а не как парламентский противник. Для него «4 августа 1914 года» было просто невозможно, тогда как очень многие так называемые вожди левого крыла (Кунов, Ленч и т. д.) были всей своей теоретической установкой предрасположены к тому, чтобы рано или поздно заключить мир с империалистической Германией. Как ни различно было индивидуальное развитие позднейших вождей Спартакховской группы, эта живая революционная традиция продолжает действовать во всех них. У Розы Люксембург—это отзвуки польско-русского рабочего движения, у Карла Либкнехта—личные традиции его отца, ветерана 48 года, Вильгельма Либкнехта. И как-раз личность Вильгельма Либкнехта очень подходит для иллюстрации как крупных достоинств, так и недостатков Меринга. Мы знаем теперь из переписки Маркса и Энгельса, как резко они критиковали деятельность Вильгельма Либкнехта, причем правда всегда была на

\* Ленин, Сочинения, XII, стр. 151—152.

их стороне. Дело в том, что Либкнехт был не в силах действительно освободиться от своих буржуазно-революционных предрассудков, диалектически развиваться дальше в соответствии с развитием рабочего движения. Позиция, которую он занял против бисмарковской Пруссии 1866 и 1870 гг., была полна южнонемецкого партикуляризма, буржуазно-демократической ограниченности. Но если эту ограниченность и нужно всячески разоблачать, следует в то же время помнить, что в своем отношении к войне 70 года и к Парижской коммуне он проявил такую революционную решимость, которая впоследствии почти совершенно исчезла из руководящей верхушки германской социал-демократии.

Указанием на Вильгельма Либкнехта мы хотим только отметить известное направление. По марксистской ясности мысли, по способности к действительно классовому анализу Мering бесконечно превосходил старого Либкнехта. Ведь Мering пришел к рабочему движению от жестокого разочарования в буржуазной демократии, от борьбы не на жизнь, а на смерть с буржуазной печатью, так что его переход был гораздо менее «органичен», чем переход Либкнехта, участника революции 48 года. К этому следует еще прибавить, что, как пруссак, Мering был с самого начала забронирован против южнонемецких партикуляристских традиций Либкнехта. Опасность, грозившая ему со стороны его прошлого, заключалась гораздо больше в отождествлении роли Пруссии, как носительницы идеи германского единства, с идеей прогресса; эта традиция, приведшая к возвеличению Фридриха II, была еще жива даже в Лассале, не говоря уже о таких буржуазных демократах, как Циглер. Мering в юности тоже не уберется от этой опасности. Но он отвоевал себе свой путь к рабочему движению именно преодолением этих традиций. На этом пути он усвоил учение Маркса, положил марксизм в основу своего мировоззрения. Черта, которую он при всех принципиальных различиях разделял с другими выходцами из буржуазной демократии, заключалась в том, что он в политической плоскости сделался энергичным и зорким врагом германской монархии своего времени и неумолимо разоблачил всю связанную с нею легенду, всю историю Пруссии, но в то же время не сумел до конца ликвидировать все предпосылки мировоззрения своей юности. Он на всю жизнь сохранил философские, культурные, литературные традиции своих юных лет. Эти традиции часто весьма резко сталкивались с теми выводами, которые он сделал из своего вновь обретенного марксистского мировоззрения. В дальнейшем мы подробно покажем, к каким противоречивым, эклектическим позициям это его привело.

Во время своего идеологического кризиса в 80-х годах Мering с огромной энергией овладел марксизмом. Но при этом он просто отбросил свои ложные экономические взгляды и сделал марксистскую экономику путеводной нитью для своих исторических исследований, не испытывая, однако, сам ни малейшего интереса к теоретическим вопросам марксист-

ской экономии. (Чрезвычайно характерно, что этот биограф Маркса поручил Розе Люксембург написать для его биографии Маркса главы о II и III томе «Капитала»; да и в тех частях книги, которые написаны им самим, он излагает в популярной форме только самые общие выводы, не останавливаясь ближе на более глубоких проблемах, не подходя даже, как к проблеме, к вопросу о дальнейшем развитии марксистской экономики применительно к империалистической эпохе.) В то же время он усваивает и философский метод Маркса и Энгельса только как методологическую путеводную нить для своих исторических работ. Что обоснование исторического материализма было полнейшим переворотом в философии, этого он никогда по-настоящему не понял. Он всегда исходил из застывшего, одностороннего и поэтому ложного понимания энгельсовского «конца философии». Вот как отражается в его представлении \* перестановка философии с головы на ноги: «Нельзя искать в химерах философских систем центр тяжести философии, но нужно исходить из той точки зрения, которую однажды наметил Ф. А. Ланге,—правда, не сделав отсюда необходимых выводов,—в следующих словах: «Не существует философии, которая развивалась бы из самой себя, будь то через противоположности, будь то по прямой линии, а существуют только философствующие люди, которые вместе со своими учениями суть дети своего времени».

Отнюдь не случайно, что в этой формулировке (1904) Меринг уже в свою социалистическую пору, уже после издания юношеских произведений Маркса и Энгельса, ссылается на Ланге, не замечая, что в словах Ланге содержится всего лишь идеалистическое, кантовско-социологическое, «очищенное» от диалектики опошление гегелевского взгляда. Меринг хотел тут последовательно провести то, на чем сорвались из-за своей «непоследовательности» лучшие буржуазные демократы его юношеской поры. Но он не заметил при этом, где были мировоззрительные корни этой непоследовательности. Неспособность буржуазного класса в Германии выработать себе, после разложения гегельянства, сколько-нибудь самостоятельную и последовательную философию привела буржуазных демократов к эклектической путанице в философских вопросах. Последняя и самая всеобъемлющая философия, до которой могла возвыситься немецкая буржуазия, философия Гегеля, третируется как «мертвая собака», диалектический метод, даже в его идеалистической форме, все больше предается забвению. Лассаль был последним гегельянцем, стоявшим в политике на левом крыле: уже его преемник Швейцер был шопенгауэрианцем. Среди буржуазных демократов мы встречаем отзвуки и фейербаховской философии (Дюбок), и фихтевского субъективного идеализма (Якуби), и кантовского агностицизма (Ланге), и т. д. Меринг,

\* *Mehring, Werke, VI, S. 25.*

выросший в этих традициях, пытается извлечь из исторического материализма метод окончательного историзирования философии, сохраняя, как это и понятно при таких предпосылках, полное равнодушие к гносеологическим и методологическим проблемам (химеры!). Но именно потому, что он не понимает значения гносеологических проблем для метода исторического материализма, он так и не доходит до радикального сведения счетов с философскими предпосылками своей юности, впадает в иллюзию, будто с помощью исторического материализма программа Ланге, не проведенная до конца им самим, может быть последовательно проведена, твердо верит, что исторический материализм есть своего рода прикладная «социология» плюс психология. (Здесь он отчасти соприкасается, исходя из совсем других предпосылок, с Плехановым.) Лишь философской позицией Меринга объясняется то, что он в своем издании юношеских произведений Маркса прошел без внимания мимо его основных философских рукописей («Экономико-философские рукописи 1843 г.», «Немецкая идеология»); его примечания к «Святому семейству» ясно показывают, что философского значения этой книги он так и не понял.

При всем том Меринг был субъективно честнейшим образом убежден, что с переходом к социал-демократии он окончательно стряхнул с себя свое буржуазное прошлое. Объективно, как мы увидим, дело обстояло совершенно иначе. Но так как при его страстной ненависти к немецкой буржуазии и особенно к ее левому крылу, которое он знал по личному опыту с его самой подлой стороны, он всегда отвергал всякие компромиссы с буржуазией, то на поверхности его политического образа мысли не было видно никаких следов его недостаточно преодоленного прошлого. А в ту пору не было их видно и в идеологической области, потому что ревизионистское неокантианство он мог и должен был отвергнуть даже с точки зрения своих не вполне ясных и эклектичных философских предпосылок. Ведь этот философский ревизионизм был не чем иным, как идейной капитуляцией перед идеологией буржуазии накануне и во время империалистического периода. Против этой капитуляции Меринг мог и должен был восстать и повести страстную борьбу, исходя из своих собственных предпосылок. Уступки буржуазной идеологии в области общего мировоззрения были во II Интернационале уже тогда настолько велики, теоретическая неряшливость в вопросах философии марксизма так обычна даже на левом крыле (Ленин о Плеханове), что борьба Меринга против ревизионизма,—хотя сейчас благодаря философской работе Ленина мы ясно видим ее эклектичность,—могла в то время казаться проявлением непреклонно-ортодоксального марксизма.

Из сказанного выясняются основные черты политической личности Меринга. Главной его чертой остается здоровая непримиримая ненависть к гогенцоллернской Германии, к ее буржуазии и к ее юнкерству, к ее милитаризму, к ее бюрократии, ее лжеконституционализму и лжепарла-

ментари́зму. При этом именно потому, что он десятки лет боролся на погибших позициях буржуазной демократии, он забронирован против иллюзий демократизации и парламентаризации Германии. Уже в 1893 году, т. е. довольно скоро после его присоединения к социал-демократии, у него был весьма интересный спор (в письмах) с Карлом Каутским о перспективах германского развития. К сожалению, этот спор известен нам только по отрывкам ответных писем Каутского, ибо Каутский, из вполне понятного страха перед разоблачением его прошлого, добился, чтобы опубликование этой дискуссии было воспрещено в судебном порядке. Каутский \* стоит здесь на той точке зрения, что путь германской революции есть путь к парламентаризму, «ибо парламентский режим означает в Германии политическую победу пролетариата, но и обратно». В своем ответе Меринг указывал, повидимому, на то, что гогенцоллернский режим и не подумает дать отнять у себя власть легальным парламентским путем. По крайней мере Каутский признает в своем ответном письме, что борьбу с милитаризмом, может быть, придется вести и не чисто парламентскими средствами. Но, добавляет он, *«за что будет идти эта борьба? Только парламентская республика,—все равно, возглавляемая или не возглавляемая монархией по английскому образцу,—способна по-моему явиться той почвой, из которой может вырасти диктатура пролетариата и социалистическое общество. Эта республика и есть то «государство будущего», которого мы должны добиваться»*. Когда вскоре после этого Меринг нашел брошюру Каутского о парламентаризме «слишком благодушной», Каутский ответил ему, что источник коррупции не в парламентаризме, а в капитализме: «Парламентаризм тотчас же меняет свой характер, как только пролетариат выступает в нем в качестве самостоятельной силы». Из этой переписки становится ясно, почему Каутский в дискуссии с Бернштейном заявил, что вопрос о диктатуре пролетариата можно спокойно предоставить будущему. И заодно выясняется, что отнюдь не случайно после отделения в германской партии левой от центра Меринг примкнул к левой, а Каутский к центру.

Все это, разумеется, вовсе не значит, что в вопросе о пролетарской революции, о проблеме государства в революции Меринг достиг такой же ясности, как большевики. Это значит только, что те истоки развития Меринга, которые мы только что охарактеризовали, предохранили его, при всех его ошибках и неясностях, от роковых легалистских иллюзий германской социал-демократии. Этой сравнительно большей свободой от иллюзий Меринг обязан в первую очередь своему близкому знакомству с буржуазно-революционными течениями в Германии и с историей их плачевного крушения. Публицистическая сила Меринга, сообщающая

\* Цитируется во введении Пауля Фрелиха к сочинениям Розы Люксембург, III, стр. 22—24.



такую поучительность и привлекательность его передовым статьям, его постоянные ссылки на исторические примеры трусости и подлости либеральной германской буржуазии, на ряд ее постыдных капитуляций перед гогенцоллернской монархией,—все это не было у него ни результатом одного лишь знания, ни чисто формальной публицистической хваткой,—здесь проявилась именно сильная и значительная сторона Меринга как политика.

С этой сильной стороной теснейшим образом связана тоже сравнительно очень крепкая устойчивость Меринга в культурных и идеологических вопросах. Опошление и вульгаризация марксизма в германской социал-демократии, возрастающая склонность к серьезным уступкам буржуазной идеологии, дошедшая у ревизионистов до полнейшей капитуляции перед ней, привели в вопросах культуры к появлению равно печальных типов правого и «левого» мещанина. Если многие социал-демократические лидеры просто впадают тут в мещанство, т. е. подчиняются влиянию реакционных мелкобуржуазных идеологий своего времени, то, с другой стороны, возникает «оппозиция», главным образом среди интеллигентов молодого поколения, ищущих исцеления от этого мещанства в слепом следовании каждой мимолетной буржуазной моде. Меринг в общем ясно и твердо отмежевывается от обоих этих направлений — и от правого, и от «левого» мещанства. Мы увидим ниже, когда будем говорить о его отношении к натуралистическому движению 90-х годов, что ему удалось выработать в себе значительную критическую трезвость, способность давать правильные оценки. Основная ограниченность его теоретической позиции сказывается, конечно, и здесь. Но всякий, кто ознакомится по партийной прессе или другим источникам (например, по прениям на Готском съезде 1896 года) с литературными и общекультурными дискуссиями германской социал-демократии, должен будет прийти к заключению, что Меринг действительно стоит в них совершенно одиноко и на большой высоте. Эта высота тоже тесно связана с тем обстоятельством, что Меринг в своей оценке явлений литературы и культуры пользуется совсем иным масштабом, чем правые и «левые» мещане среди социал-демократических литераторов: таким масштабом служит для него идеологическая, мыслительная и художественная высота, достигнутая в период буржуазной революции в Германии. Поэтому во всем, что приводит в восторг левых мещан, он находит явное идеологическое отражение классового упадка буржуазии, а там, где правые мещане кипят от мелкобуржуазного морального негодования, он часто усматривает честное стремление к борьбе против этой упадочной классовой идеологии.

Но недостаточно отметить эту общую линию деятельности Меринга на идеологическом фронте. Тот факт, что он вел такую упорную и страстную борьбу как раз по этой линии, составляет не только существенную черту его характера, но вместе с тем и важный политический

вопрос. Конечно, область интересов данного идеолога, данного политического борца, может определяться между прочим и рядом случайных обстоятельств, но она никогда по существу не бывает случайна. А в период II Интернационала историческая тенденция, проявляющаяся в выборе тем и боевых задач, приобретает особенное значение. В самом деле, большинство руководящих теоретиков II Интернационала придерживалось в выборе своих тем и особенно в форме их обработки экономического «объективизма», который вначале бессознательно, а потом все более и более сознательно оказывал теоретическую поддержку всем отсталым и даже реакционным течениям в рабочем движении (теория самотека, механическая зависимость практики и всякой идеологии вообще от экономической базы, механическое связывание революционной зрелости с односторонне понятым развитием производительных сил, перестройка революционной диалектики истории в фаталистический эволюционизм, неверие в революционные творческие силы пролетариата и т. д.). В противоположность этому мы видим уже в самом круге интересов Меринга активистский революционный элемент, и притом в двояком отношении. Во-первых, во всех своих работах по литературе и по вопросам общего мировоззрения он неустанно прославляет героев прежних классовых боев и всегда измеряет их идеологическую высоту высотой их классового сознания, смелостью их борьбы за осуществление классовых требований, а не какими-нибудь «объективными» — напр., художественными — мерками (Лессинг по сравнению с Гете и Шиллером). Центральная роль, которую играет литература, идеологическая борьба, в стадии собирания сил данного класса (особенно в Германии классического периода вследствие неравномерности развития), вносит в работы Меринга по этим вопросам очень сильную активистскую тенденцию. И она еще усиливается благодаря тому, что именно здесь огромное значение субъективного фактора, все более упускавшееся из виду II Интернационалом, прямо бросается в глаза. Пагубные последствия малейшей неясности, малейшего колебания, малейшего гнилого, трусливого компромисса, неизбежно порождаемые этим разложением, служат здесь призывом к идеологической бдительности, к борьбе против покорного фатализма, неминуемо вырождающегося в оппортунизм. А во-вторых, эта тенденция еще подчеркивается тем, что у Меринга прославление идеологических борцов за буржуазную революцию в Германии связывается с его борьбой против все усиливающейся трусливой упадочности немецкой буржуазии. Спасая память борцов за буржуазную революцию, беря их под свою крепкую защиту против панегирического (Лессинг, Шиллер) или клеветнического (Гейне) умаления со стороны буржуазных историков, Меринг разрушает тем самым с большим успехом буржуазные исторические легенды, срывает обманчивый ореол с эпох или лиц, в которых упадочная буржуазия пытается найти идеологическую опору для своего подлого на-

стоящего (Густав Адольф, Фридрих Великий и т. д.). В Германии с ее «лакейством, проникшим в национальное сознание из унижения Тридцатилетней войны» (Энгельс), это было тем более революционным подвигом, что возраставшее оппортунистическое вырождение теории и практики немецкой социал-демократии делало с каждым днем все большие уступки этому лакейскому почтению перед правительством и государством. Для завершения этой характеристики отметим еще, что постоянные занятия Меринга вопросами войны и военного дела, уже по самому содержанию этих вопросов и еще больше по его подходу к ним, вели его к борьбе не только против всякой пацифистской идеологии, но и против трусливой капитуляции перед военной мощью германского государства, против отказа от революционной атаки на милитаризм. Анализ ограниченности военной мощи Фридриха II и особенно анализ бессилия прусской военной системы перед армиями французской революции, дальнейшее разъяснение вскрытой Энгельсом связи между экономически-социальной базой и военным делом, тоже являются у Меринга призывом к революционной активности.

Правда, уже в этом пункте мы можем отметить наряду с силой также источник слабых сторон Меринга. Прилагая к современности масштаб революционного периода немецкой буржуазии, он становится, конечно, на очень высокую точку зрения, но это все-таки лишь провинциальная точка зрения, ибо в Германии, вследствие запоздалого развития германского капитализма, буржуазная революция так и не смогла вылиться в те грандиозные формы, в которых она совершилась во Франции и в Англии. И если, вследствие неравномерности развития, в Германии именно поэтому могла возникнуть и развернуться идеалистическая диалектика, то ясно все-таки, что общее идеологическое и в частности литературное развитие никогда не достигло здесь такой революционной смелости и широты, как во Франции и в Англии. Мы еще будем говорить о тех принципиальных недостатках и ошибках, которые внесла в меринговскую теорию литературы эта его провинциальная ограниченность германскими условиями. Здесь же укажем только, что эта односторонняя ориентация на Германию должна была привести его также и к ложной оценке самого германского развития, особенно классического периода.

Этот недостаток Меринга находится в теснейшем взаимодействии с его отмеченным выше отношением к марксовой экономии и к ее историческим выводам. Мы уже сказали, что его знакомство с марксовой экономией не достигало ее последних теоретических глубин и, главное, что он не применял ее к идеологическим проблемам во всей их диалектической разветвленности. Знание марксовой экономии Меринг использовал для того, чтобы свою выросшую из традиций буржуазной революции схему развития частью экономически обосновать, частью же, но только частью, исправить. Однако сама эта основная схема была им удержана. Это отразилось

двумя важными чертами на классовых анализах Меринга, о которых нам придется еще говорить очень подробно. Здесь отметим вкратце только основные моменты. Во-первых, противоположность буржуазии и дворянства по существу остается у Меринга застывшей противоположностью двух резко друг друга исключаящих производственных порядков—капитализма и феодализма. В процесс капитализации землевладения, в факт превращения землевладельцев в часть капиталистического класса, Меринг не вдумывался ни с экономической стороны, ни со стороны его идеологических последствий. Крупнейший немецкий критик пруссачества так и не сумел понять «прусский путь» капиталистического развития (Ленин). Во-вторых, Меринг сохранил со времен своего буржуазно-радикального периода склонность идеализировать—прежде всего в идеологической области—нижние ступени развития капитализма по сравнению с высшими. Правда, он благодаря этому возвысил местами до представления, хоть и неясного, о «неравномерном развитии», но часто это же вносило и некий бессознательно-романтический элемент в его критику буржуазного развития.

## II

### Годы юношеского развития

Годы юношеского развития Меринга представляют собой до сих пор довольно мало исследованную область. Мы имеем в виду не чисто биографические моменты его юности, вообще лежащие вне рамок этого введения; писательская деятельность Меринга до его вступления в социал-демократическую партию тоже известна нам весьма фрагментарно, Меринг и в тот период был очень плодовитым журналистом, печатавшим свои статьи в самых различных газетах и журналах, большей частью анонимно. Поэтому для характеристики хода развития Меринга во всех его этапах потребовались бы очень обширные подготовительные работы филологического характера. Но для наших настоящих целей в этом нет необходимости. Для нас будет достаточно охарактеризовать решающие этапы буржуазной писательской деятельности Меринга в их основных чертах; исчерпывающее изложение должно быть предоставлено будущему.

Выше мы уже отметили, что первый период писательской деятельности Меринга, связанный главным образом с журналами Гвидо Вейса, был временем его первого сочувствия рабочему движению. Это сочувствие было решительно устремлено к традициям лассалевской теории и агитации. Вот как сам Меринг характеризует свою тогдашнюю установку \*: «Пока движение шло под знаком традиций Лассалья, я надеялся, что из

\* *Mehring*, Die deutsche Sozialdemokratie, 2 Ausgabe, Braunschweig, 1879, S. X.

него разовьется рабочая партия с национальным направлением, вроде того, как английские рабочие бежали от хаотических бурь чартизма на твердую почву достижимых и здоровых целей». Ниже мы увидим, что этот взгляд Меринга был связан с традицией буржуазной демократии, лелеявшей иллюзию, что радикально доведенная до конца демократия уничтожит экономические основы классовых противоречий и партийной борьбы. Если вспомнить, что лассалевское крыло рабочего движения отделилось быстрее от буржуазной демократии, чем крыло Либкнехта—Бебеля, может, пожалуй, показаться на первый взгляд странным это сочувствие к Лассалю и его направлению. Но когда мы будем говорить об отходе Меринга от рабочего движения, о его борьбе с ним, мы увидим, как буржуазный демократ Меринг, несмотря на его тогдашнее незнание сочинений Маркса, несмотря на сильною вульгаризацию марксовых теорий «эйзенахцами», отгадал своим правильным классовым чутьем (в то время еще буржуазным) именно в эйсенахцах подлинных врагов демократического примирения классов.

Мечты Меринга об общедемократическом движении питались в то время главным образом его разочарованием при виде недемократического осуществления германского единства, при виде всеобщего культурного и литературного упадка Германии после ее государственного объединения, при виде сопровождавшего капиталистический подъем повсеместного расцвета мещанства. Статьи из «Die Wage», принадлежность которых Мерингу уже сейчас может быть установлена с большей или меньшей достоверностью, занимают почти исключительно литературными вопросами. Важнейшая из этих статей дает общую характеристику литературы в новой Германской империи. На этой статье \* мы должны остановиться несколько подробнее, во-первых, потому что она очень отчетливо рисует политическое и общее мировоззрение молодого Меринга, и, во-вторых, потому что ряд цитат из нее даст читателю ясное понятие, в каких пунктах Меринг впоследствии продолжал свою тогдашнюю линию, а в каких и как он пересмотрел ее. Статья проникнута разочарованием в связи с положением литературы в новой империи. Широкими штрихами обрисовано национальное значение классической немецкой литературы. «Немецкая литература, как ни парадоксально это звучит, есть по преимуществу политическая литература; космополиты, как Гете и Лессинг, сделались родоначальниками национальной мысли». После Вестфальского мира «не жалкий призрак имперской конституции, а единственно лишь язык и его памятники спасли немецкое имя от полного уничтожения». Меринг дает затем краткий обзор развития национального характера немецкой литературы, причем особенно интересно, что Фридрих II и влияние Семилетней войны на немецкую литературу изо-

\* «Die Wage», 2. Jahrgang, № 52 (подп. ng).



бражаются еще вполне в духе Лассаля (в его критическом разборе биографии Лессинга, написанной Штаром). Таким образом Меринг, как он это сам подчеркнул впоследствии в предисловии в своей «Легенде о Лессинге», сам стоит еще на почве этой исторической легенды, точнее—ее лассалевского варианта. Критическая характеристика историка литературы Юлиана Шмидта, как типа капиталистического мещанина, в своей основной установке тоже целиком исходит от Лассаля.

Ядро разбираемой статьи составляет характеристика немецкой литературы со времени основания империи. Приведем из нее несколько наиболее ярких мест. Лирика после 1870 года «пришла в полное запустение; даже самый лойяльный поклонник империи может взирать только с улыбкой сострадания на эти безотрадные развалины». Действие 1870 года на роман оказалось «в высшей степени расстраивающим, даже парализующим, и этот паралич тем более жесток, чем больше они (романисты.—Г. Л.) в своей лойяльности стараются поэтически прославить великие политические перевороты, так радостно встреченные ими». Рейтер и Гуцков умолкли; Фрейтаг окончательно растерялся; «Waldfried» Ауэрбаха холоден и плох; роман Шпильгагена «Allzeit voran» уже позабыт, он сделался «литературным курьезом». Литературной смены нет. О драме и театре: «Нет и в помине национальной драмы или хотя бы просто хороших, захватывающих театральных пьес, как их умела создавать с известной степенью классичности даже еще французская вторая империя».

После подробной характеристики отдельных писателей и направлений Меринг резюмирует свое общее суждение в следующих словах: «Неудержимый упадок царит таким образом во всех областях нашей поэтической литературы, этого чистейшего и вернейшего зеркала духовного образования народа... Мещанская погоня за пользой в политической и социальной области обернулась своими неизбежными разрушительными последствиями; убога, скудна и уныла картина, которую мы видим в этом зеркале. Немногих смутит это; никогда упреком в пессимизме не бросались так легко, как в наши дни. Но рано или поздно наступит час, когда мы поймем, какой огромной духовной опустошенностью мы заплатили за внешний почет, могущество и славу. И тогда упадок нашей литературы будет самым суровым обличением основателей этой империи, которая не имеет ничего общего с единой свободной Германией наших великих поэтов и наших великих философов». Политическая линия литературной критики Меринга уже ясно видна из этих цитат. Его более мелкие критические статьи \* (о Иоганне Шерре, Юлиусе Вольфе, Эдуарде фон Гризебахе) направлены против усиливающегося сервилизма,

\* «Die Wage», 3. Jahrgang, № 4 (подп. Mrg), и № 2 (подп. ng).

против трусливой апологетики писателей этого периода. Более крупные этюды о Бюргере \* и Платене \*\* дополняют ту же линию с другой стороны. Меринг характеризует Бюргера как буржуазно-демократического писателя лессинговского типа. Платена он прославляет как предшественника политических поэтов Германии, Гервегов и Фрейлигратов. Слабую популярность Платена он пытается социально истолковать следующим образом: «Уродливая изнанка современной культуры—пропасть между образованным меньшинством и широкими массами народа—нигде не проявляется так болезненно, как в этой области. Какой позор для нашего горделивого культурного сознания, что такие произведения, как оды Платена, как «Геро» и «Сафо» Грильпарцера, остаются потаенным кладом для подавляющего большинства наших соотечественников и современников». Возвеличение Платена тесно связано у Меринга с обличением упадка немецкого языка, причем весьма характерно для его тогдашнего, временами резко романтического осуждения современности; что и Гейне он причисляет к виновникам порчи языка. Все эти статьи проникнуты одним и тем же критическим устремлением: они прославляют классический период Германии, когда была создана идеология единого германского государства, демократического по форме. Они самым резким образом обличают упадок современности, вызванный недемократическим осуществлением германского единства, с одной стороны, и возрастающей капитализацией Германии—с другой.

Несколько лет спустя произошел разрыв Меринга с социал-демократией. Причины этого разрыва понять не трудно. Меринг сам выразился впоследствии\*\*\*, что его источником послужил партийный съезд 1876 года «Кайзер и Мост обзвали меня тогда в «Berliner Freie Presse» сознательным, а Либкнехт в «Leipziger Volksstaat» хоть по крайней мере бессознательным орудием реакции, потому что в войне, которую вели в то время другие и я против грюндерской печати, мне пришлось выступить и против одной демократической газеты. Теперь (в 1903 году.—Г. Л.) я давно свободен от заблуждения, будто капиталистическую коррупцию можно побороть попытками искоренить ее конкретные уродливые проявления, но в тех конкретных случаях я был прав». Нам кажется, что Меринг изобразил здесь, через много лет, скорее повод к разрыву, чем его причину. Правда, этот повод отнюдь не был для молодого Меринга случайным. Двойственность его демократической позиции в том-то и заключалась, что он страстно боролся против всех пагубных социальных и культурных последствий быстро расцветавшего германского капитализма, а в то же время сам стоял на капиталистической почве. Он хотел, стало быть,

\* «Die Wage», 2- Jahrgang, № 17 (подп. Mrg).

\*\* Там же, 3. Jahrgang, № 10 (подп. М.).

\*\*\* Meine Rechtfertigung, S. 10.

искоренить «дурные стороны» капитализма, чтобы получить демократическое общество без таких «уродливых проявлений». При этом он неизбежно должен был идеологически опереться на раннюю стадию капитализма в Германии. Этот романтический момент в его установке внес новое противоречие в его позицию, ибо его мировоззрение всегда было ярко передовым, ярко антиромантическим. Противоречивость эта еще усиливалась тем, что хотя общее мировоззрение Меринга ориентировалось на мелкобуржуазное затушевывание классовых противоречий в буржуазном обществе, однако на практике оно приводило его к страстной, не сдерживаемой никакими тактическими соображениями борьбе со всем тем, что он считал «уродливым проявлением». Описанный выше его собственными словами конфликт возник таким образом с внутренней необходимостью. И все-таки нам думается, что это был только повод, а не причина разрыва. Истинная же причина заключалась в хоть и медленном, но несомненном усилении пролетарского классового характера германской социал-демократии, в ее хоть и медленном, но уже начавшемся освобождении от лассалевской идеологии. В своей книге против германской социал-демократии \* Меринг называет германский съезд (1875) победой марксистов, с «некоторыми формальными уступками» с их стороны. И в той же книге он подробно указывает\*\*, что именно в этой победе было для него неприемлемо. «Лучшим в социалистической теории Лассалья была эта идеальная мечта о спасающем человечество союзе высшей науки со стихийной силой рабочего класса». Коммунисты же—так он называет в этом сочинении сторонников Либкнехта и Бебеля—это представители полуобразования. Интеллигенция ни в коем случае не сможет остаться с социал-демократией, ибо \*\*\* «монотонное топтание в одном и том же теснейшем кругу заученных мыслей и фраз; тяжкий удушающий гнет внешней нивелировки...» станет для нее в конце концов нестерпимым. И поэтому социал-демократия обречена на «вечную безуспешность».

Меринг борется против социал-демократии во имя все той же утопической мечты о демократии, о которой мы уже говорили. Развитие идет, по его мнению, в сторону уничтожения того, что Лассаль считал симптомом господства третьего сословия. В ходе этого развития исчезнет \*\*\*\* «третье сословие... и вместе с ним таящееся в его недрах четвертое сословие. То, что французская революция защищала в своих неумирающих принципах, было в действительности делом всего человечества; очистить эти неумирающие принципы от всех уродливых наростов и

\* Die deutsche Sozialdemokratie, S. 136.

\*\* Там же, стр. 111.

\*\*\* Там же, стр. 131.

\*\*\*\* Там же, стр. 187—188.

шлаков, внедрить их в необходимые условия всей общественной и государственной жизни—такова задача нашего демократического века». (Зависимость этой концепции от Фихте и особенно от «Системы приобретенных прав» Лассалля вполне очевидна.)

Этой перспективе общественного развития, которую мы привели здесь только для характеристики данного этапа развития Меринга и которая в своей наивности воистину не нуждается в опровержении, соответствует и взгляд Меринга на связь класса и партии. В своей брошюре против Штеккера \* (1882) он пишет: «Не социальные ферменты разлагают политические партии, но существующие партии не могут сбросить с себя социальные оковы, во всяком случае не могут сделать это с надлежащей основательностью и быстротой... в них еще слишком глубоко сидят средневековые пережитки сословных и классовых интересов...» В этом смысле Меринг исповедует общий либерализм (как сторонник либеральной партии, но не как член какой-нибудь определенной ее фракции). «Я стараюсь только, исходя из взглядов свободомыслящего и патриотического бюргерства, понять и описать его прямую антитезу»,—говорит он \*\* о своей борьбе против социал-демократии. Но, впрочем, и к либеральной партии он относится не без критики. Он нападает \*\*\* чрезвычайно резко на отношение «непогрешимых маленьких пап прогрессизма» к Ф. А. Ланге. А что касается всего либерального движения, этого представительства владеющих и образованных элементов\*\*\*\*, то «и оно, правда, всегда находится под угрозой, что классовые и сословные интересы этой части народа («третьего сословия». —Г. Л.) нарушат и погубят его принципиальную чистоту».

Мы потому так подробно цитируем эти высказывания Меринга, несмотря на их почти фантастичную идеалистическую наивность, что из них выясняются не только причины, вызвавшие его разрыв с социал-демократией, его борьбу против крепнувшего рабочего движения, но одновременно и мотивы, приведшие его к полному разочарованию в демократии и либерализме. Ибо ведь ясно, что честный демократ, который в теории и на практике отстаивал беспощадную критику всякого классового интереса, проявляющегося в политике, видел в такой критике одно из выражений «чистой сущности» демократической партийной публицистики,—что этот честный демократ никак не мог без тягчайших конфликтов надолго остаться публицистом в рамках жалчайшего либерализма того времени, в рамках немецкого либерализма. Но кроме того следует еще заметить, что общественное обоснование всей этой концепции Ме-

\* *Mehring*, Herr Hofprediger Stöcker, der Sozialpolitiker, Bremen, 1882.

\*\* Die deutsche Sozialdemokratie, S. VIII—IX.

\*\*\* Там же, стр. 90.

\*\*\*\* Stöcker, S. 2.

ринга заключалось в воспринятом от Лассалья (и уже тогда буржуазно-опошленном) взгляде на сущность буржуазности. Выше мы видели, с каким восхищением отзывался Меринг и в этот период об «идеальной мечте» Лассалья о союзе науки и труда. В той же своей речи, в которой была высказана эта мысль, Лассаль дает и свое определение понятия буржуа. Достаточно привести главнейшие из относящихся сюда мест, чтобы для всякого стало ясно, под каким прочным влиянием Лассалья всегда оставался Меринг в своих основных взглядах. Лассаль говорит \*: «В переводе на немецкий язык слово «буржуа» означает *Bürgertum* (бюргерство, гражданство). Но я употребляю его *не* в этом значении. Граждане мы все—рабочие, мелкие бюргеры, крупные бюргеры и т. д. *Но и крупный бюргер... сам по себе еще отнюдь не буржуа...* Но когда... крупный бюргер, не довольствуясь фактическими преимуществами своего крупного состояния, хочет еще использовать свое *состояние*, свой *капитал*, как условие для своего участия в господстве над государством, в определении государственной воли и государственной цели, вот тогда лишь крупный бюргер становится буржуа». Другими словами, буржуа это не экономическая категория, не необходимый продукт капиталистического развития, а—говорят опять-таки словами Лассалья—состояние, притязание на незаконные привилегии. Для эклектически-идеалистической путаницы этого лассалевского взгляда весьма характерно, что, тогда как сам его автор использовал его для теоретического обоснования своего «торийского чартизма» (Маркс), у Меринга он явился теоретической базой для радикальной лево-демократической политики.

Эта противоположность не означает, конечно, что тогдашняя концепция Меринга была вполне свободна от романтических элементов. Наоборот. Ведь мы нашли у Меринга еще до его разрыва с социал-демократией основное романтическое противоречие во всем его мировоззрении. И естественным последствием его борьбы против социал-демократии было, конечно, то, что в этой борьбе он, сам того не зная или не желая, довольно сильно передвинулся вправо. Это поправление проявляется, например, в его чисто романтических тирадах против опасностей больших городов, которые носят скорее «характер огромного становища кочевников, чем действительной общины». Жизнь Парижа и других крупных французских городов «от 1792 до 1871 года наполняет позорнейшие страницы французской истории». Перед угрозой этой опасности он доходит даже до того \*\*, что хвалит политику Наполеона III и даже бисмарковский закон против социалистов. Цель этого закона—«вырвать трудящиеся классы из рук революционных смутьянов и посредством практических

\* *Lassalle, Die Wissenschaft und die Arbeiter*, Aug. Cassierer, Berlin, II, SS. 264—266.

\*\* *Stöcker*, SS. 36—88.

и положительных реформ примирить их с существующим порядком», пишет Меринг \* еще в 1882 году. Это терпимое отношение к закону против социалистов связывается у тогдашнего Меринга с надеждой на соединение либерализма и катедер-социализма, на уничтожение классов демократическими средствами и на примирение еще противоположных материальных интересов мерами социальной политики. Научный социализм переживает, по его мнению \*\*, «период глубокого брожения... его классическим очагом является Германия, а в Германии Родбертус — первый социалист, имеющий научное значение». Замечания, которые Меринг делает в этой связи о Марксе и марксизме, доказывают только, что он тогда в лучшем случае перелистал несколько марксистских брошюр, но ничего не понял в них.

Путь, пройденный Мерингом отсюда до социал-демократии, пока еще не исследован, ибо как-раз от этого периода у нас нет ни одной крупной его работы, и сначала нужно еще произвести тщательные розыски его статей в многочисленных газетах, в которых он в то время сотрудничал (большей частью анонимно). Позднейшая самохарактеристика Меринга, повидимому, страдает неточностью дат, но правильно изображает одушевлявшие его мотивы. Меринг говорит \*\*\*: «Затем практическое применение закона против социалистов раскрыло мне глаза, и в везерской газете, берлинским корреспондентом которой я был, я вял на себя с 1881 и 1882 годов защиту гонимой партии». Как сказано, Меринг, вероятно, ошибся в дате, потому что брошюра о Штеккере, из которой мы только что привели место о законе против социалистов, вышла в 1882 году. Но основную линию своего развития Меринг, несомненно, охарактеризовал верно, ибо он в ту пору был слишком убежденным демократом, чтобы, продолжая двигаться вправо, очутиться наконец в рядах национал-либеральных сладкопевцев бисмарковского режима. Все исторические обзоры того периода показывают, что, начиная с середины 80-х годов, Меринг все решительнее становился, как признанный руководящий публицист левобуржуазной прессы, на сторону нелегальной и преследуемой рабочей партии и всеми зависящими от него способами оказывал ей деятельную помощь. К сожалению, мы пока еще не имеем возможности проследить по первоисточникам, как он принялся за изучение Маркса, как стал углубляться в исторический материализм. Но отнюдь не случайно и во всяком случае для Меринга весьма характерно, что толчок, заставивший его окончательно примкнуть к социал-демократии, был чрезвычайно сходен с тем толчком, который в свое время превратил его из сочувствующего в противника рабочего движения. И на этот раз ре-

\* *Stöcker*, S. 39.

\*\* *Die deutsche Sozialdemokratie*, S. 167.

\*\*\* *Meine Rechtfertigung*, S. 6.

шающую роль сыграло одно яркое проявление продажности печати, против которой Меринг в течение всего своего буржуазного периода вел такую неутомимую борьбу. Одна берлинская актриса, бывшая в связи с Паулем Линдау, одним из шефов газетных и театральных концернов Берлина, порвала с **ним** и подверглась за это бойкоту со стороны всех берлинских театров и всей берлинской прессы. Меринг вступился с обычной страстью за преследуемую актрису, и вот—руководящий публицист, редактор крупнейшего левodemократического органа, сам вдруг превратился в бойкотируемого пария.

Для Меринга в высшей степени характерно не только то, что он все время вел борьбу с продажностью печати и как он ее вел, но и то, как он ее теоретически обосновывал. Именно это обоснование показывает, до какой степени он не понимал необходимой связи между капитализмом и всеобщей коррупцией, в том числе и коррупцией печати, и как медленно раскрывались у него глаза на эту связь. С такой же страстью, с какой он боролся в свой буржуазный период с отдельными случаями коррупции, восставал он и против всякой попытки обобщить связь между капитализмом и продажностью печати. При всем своем глубоком и постоянном преклонении перед Лассалем, он всегда крайне резко обрушивается на речь Лассалья о печати, попытавшуюся вскрыть внутреннюю связь между капитализмом и продажностью прессы. «В одно из самых слабых и печальных мгновений своей жизни Лассаль наполнил от одного до двух печатных листов грязной руганью против либеральной прессы,— пишет Меринг \* в 1882 году.—До того, как он занялся агитацией среди рабочих, Лассаль ничего не знал о негодности либеральной прессы». Это порицание Лассалья находится у Меринга лишь в кажущемся противоречии с его кампаниями против господствующей коррупции, ибо без веры в объективную возможность честной буржуазной прессы он никогда не мог бы с такой страстной энергией вести борьбу с коррупцией, ставя на карту все свое существование. Правда, за всем этим таится уже отмеченный выше противоречивый характер всей теоретической позиции Меринга. Само собой понятно, что опыт, вынесенный им из дела Линдау и еще подкрепленный сближением с марксизмом, которое подоспело как-раз к этому времени, значительно подвинул Меринга на пути к пониманию рассматриваемого явления. Однако обе брошюры, написанные им в борьбе против группы Линдау (1890—1891), показывают, что он и тогда еще был преисполнен иллюзий в этих вопросах. Приведем несколько характерных мест, чтобы показать, что к моменту своего присоединения к социал-демократии Меринг остается в этом пункте при своем прежнем взгляде. Этот вопрос по своему методологическому значению далеко не исчерпывается связью между капитализмом и продажностью прессы,

\* *Stöcker*, S. 80.

ибо он показывает, как вообще смотрел в то время Меринг на капиталистическое развитие, на соотношение между базой и надстройкой. Так, в 1890 году Меринг пишет\*: «Я думаю, что режиссер, драматург, критик, что пресса и театр могут и должны преследовать более высокие цели, чем «гешефты». Если я ошибаюсь, то тем хуже,—но не для меня, а для современного искусства, для современного общества и не в последнюю очередь для современного государства». И год спустя \*\*: «На мой взгляд, лишь сравнительно небольшая часть немецкой прессы охвачена капиталистическим вырождением. Или, вернее, небольшая часть столичной прессы, ибо провинциальной печати,—по внутренним причинам, уже изложенным Лотаром Бухером в его книге о парламентаризме,—опасности капитализма угрожают гораздо меньше». Мы видим, таким образом, что идеализацию примитивно-капиталистических условий, выдвигание этих условий против «вырождения» при более развитом капитализме,—что этот романтический багаж Меринг унес с собой в рабочее движение.

### III

#### Корни лассальянства Меринга

Следя за юношеским развитием Меринга, мы видели, что глубокое слияние Лассалья сопровождало его до сих пор по всем путям его жизни. Всякий, кто знаком с его позднейшей деятельностью, знает, что это лассалевское влияние никогда не было им по-настоящему изжито, что взгляд Меринга на историю немецкого рабочего движения до конца его дней покоился на убеждении, что Лассаль *вместе* с Марксом и Энгельсом, *наряду* с Марксом и Энгельсом, был родоначальником теории и тактики немецкого рабочего движения, что он *наряду* с Марксом и Энгельсом остается и поныне актуально живым вождем научного социализма. Разумеется, впоследствии Меринг подвергал критике, и очень часто правильной критике, как общий идеализм Лассалья, так и ряд его практических ошибок. Но это не могло уничтожить то, что было ложного в его основной концепции. Марксо-энгельсовская линия, требование *полного* преодоления лассалевской идеологии было несовместимо с этой концепцией Меринга.

Тут заложено глубочайшее противоречие как в теоретическом облике Меринга, так и в его деятельности. Действительно, это одна из наиболее парадоксальных черт в истории германского рабочего движения, что один из самых крупных, разносторонних и блестящих теоретических вождей его левого крыла сделался теоретическим родоначальником злейшего оппортунизма. Всем известен и весьма легко объясним тот факт, что возрождение лассальянства в германской социал-демократии

\* *Mehring*, Der Fall Lindau, Berlin, 1890, S. 56.

\*\* *Mehring*, Kapital und Presse, Berlin, 1891, S. 5.



в военные и послевоенные годы явилось одним из важнейших опорных пунктов самого крайнего оппортунизма. Лассалевская теория государства стала одним из важнейших орудий социал-демократии в ее борьбе против марксистско-ленинской теории государства, против диктатуры пролетариата. Лассалевские теории сыграли важную роль и в той «окончательной ликвидации» диалектического материализма, которая была предпринята в послевоенное время, особенно в тот период, когда социал-фашистские теоретики, плетясь в хвосте буржуазных идеологов, пытались вместо пришедшего в негодность неокантианства положить в основу своей реакционной идеологии подновленного Гегеля. Работа, которой в течение всей жизни отдавался Меринг и которая сводилась в основном к спасению Лассалья от уничтожающей критики Маркса и Энгельса,—тогда как следовало бы постараться превратить его в чисто историческую фигуру, ибо *только тогда* можно было бы исторически справедливо оценить его объективное значение и объективные заслуги перед германским рабочим движением,—эта работа Меринга существенно способствовала сохранению и без того не вымиравших лассалевских традиций в рабочем движении Германии и даже приданию им, ввиду левой установки самого Меринга, некоторого лево-радикального налета.

Это противоречие настолько резко и вместе с тем настолько характерно для всей личности и всей судьбы Меринга, что мы должны хотя бы вкратце остановиться на этом вопросе, ибо именно в связи с ним мы наталкиваемся на то своеобразное противоречие у Меринга, что в его идеологии действовал целый ряд моментов, естественным логическим последствием которых должна была бы быть правая, ревизионистская позиция, а между тем сам Меринг, вырываясь из этой сети противоречий с помощью революционного *salto mortale*, всякий раз оказывался на левом крыле и даже на его крайнем фланге. Какую бы честь ни делало ему лично это постоянное плавание против течения—против течения своих собственных взглядов,—во всяком случае в его теории это должно было привести к неразрешимым противоречиям, к неустойчивости и шаткости, к эклектической неясности во всех основных вопросах. Но вследствие этого его ошибки сделались еще опаснее для германского рабочего движения, ибо законное уважение к революционной личности Меринга долгое время мешало даже коммунистам действительно осознать и тем самым действительно преодолеть эти ошибки.

Итак, мы должны постараться исторически понять эту неразрывную связь Меринга с лассалевской идеологией,—неразрывную, хотя, повторим это, он очень резко критиковал ее в отдельных подробностях и принципиально усвоил некоторые существенные черты марксовой критики. Сам Меринг, как историк, решал обыкновенно такие вопросы очень просто, чисто психологически. Тот факт, что Лассаль особенно любил Шиллера и Платона, а Маркс—Сервантеса и Шекспира, Дидро и Бальзака,

он всегда рассматривал как проявление индивидуального вкуса. Нам кажется, что именно при таком подходе к делу явственно сказываются недостатки его лассалевского метода. Поскольку Лассаль, как гегельянец-идеалист, брал слишком абстрактно понятие необходимости и не сумел познать необходимость в конкретном диалектическом развитии материального бытия, постольку он был вынужден придать практике, свободе иррационалистический характер, взять свободу и необходимость в застывшем противополжении, а не в диалектическом взаимодействии, с возвышающимся над обеими материальным бытием. (Напомним о его ответе Марксу и Энгельсу в споре по поводу «Зикингена»; но и противопоставление экономической необходимости и свободы в государстве, равно как и теоретическое обоснование его «реальной политики», находятся в теснейшей связи с этим идеалистическим мировоззрением.

Но в чем же заключается объективно то неодолимое притягательное) действие, которое Лассаль оказывал на Меринга? Мы склонны видеть источник этой притягательности в том, что при всем различии индивидуальных характеров Лассалья и Меринга и при всем принципиальном различии исторических ситуаций, в которых они действовали, было что-то глубоко родственное в классовой основе их политической судьбы, их эволюции от левого крыла буржуазной демократии к рабочему движению. И Лассаль, и Меринг пришли в лагерь рабочего движения не потому, что они с достаточной глубиной постигли экономико-общественную структуру капиталистического общества и необходимость уничтожения капиталистической эксплуатации пролетарской революцией, как это понимали Маркс и Энгельс, а только потому, что они разочаровались в буржуазной демократии. И разочаровались прежде всего не столько в идеалах самой буржуазной демократии, сколько в буржуазно-демократических партиях, в либеральной буржуазии, которая в своей подлой трусости не сумела добиться осуществления своих собственных революционных требований. Когда читаешь в юношеских работах Меринга многочисленные места, в которых он спорит с Лассалем, чувствуешь, что он, с одной стороны, приворожен теориями и личностью Лассалья, а с другой, ни за что не хочет сделать из конфликта вот со своей собственной партией те выводы, какие в свое время сделал Лассаль. Ясно, что в конце концов он все-таки должен был их сделать.

Идеологические проблемы этого переходного времени тоже должны были пробуждать в Меринге симпатии и антипатии, родственные с лассалевскими. Как ни далеко было в то время его основное политическое направление от «торийского чартизма» Лассалья, все же его отношение к консервативным «социальным политикам» и к либеральным деловым политикам было очень родственно лассалевскому. «И тогда, когда я был редактором «*Volkszeitung*»,—пишет Меринг в 1890 году\*,—я отнюдь не

\* *Mehring, Kapital und Presse, Berlin, 1891, S. 61.*

скрывал, что такой консервативный социальный политик, как г. Родбертус, во многих и существенных отношениях значительнее, чем какой-нибудь плоский манчестеровец вроде «свободомыслящего» г. Евгения Рихтера». Именно потому, что у Меринга—как и у Лассалья—его политическая позиция определялась в первую очередь не экономическим анализом капиталистического общества и классовых отношений в нем (вспомним вышеприведенную цитату из Лассалья о буржуа), именно поэтому в этой борьбе против либеральной буржуазии звучат совсем особые нотки. Во-первых, она преимущественно идеологична: это борьба против упадочности буржуазии, против ее отпадения от старых идеалов ее классического периода; классически-немецкая, идеалистически обесцвеченная и заоблачная разновидность революционного *citoyen* противоплагается «манчестерскому» буржуа-мещанину. Вот как характеризует Меринг свою позицию еще в 1891 году \*: «Неприязнь к манчестерству,—кроме пункта о свободной торговле». Во-вторых, этот идеологический характер борьбы внушает терпимость к социально-политической утопии когда она строится справа и на достаточно высоком духовном уровне; симпатию к Родбертусу Меринг «унаследовал» от Лассалья, но в его юношеских работах встречаются сочувственные слова также по адресу Шмоллера и Вагнера. И этому нисколько не противоречит его ожесточенная полемика против грубой демагогии Штеккера. В-третьих, идеологические и культурные проблемы ставятся хоть и в связи с пролетариатом, но не как идеологические следствия из его общественного бытия. Мы уже говорили о том, какое сильное впечатление произвела на Меринга лассалевская идея о *союзе* науки и рабочего класса. Представляя собой необходимый результат общей идеалистической установки, эта идея оказывает вместе с тем самое широкое влияние на весь склад исторического мышления Меринга, ибо с этой точки зрения дело обстоит не так, что из общественного бытия пролетариата, из его классовой борьбы вырастают новые формы сознания и новые содержания, которые затем перерабатывают наследие прежних культур, ассимилируя из них то, что соответствует этому новому сознанию,—а так, что освободительное движение пролетариата поднимает упавшее в грязь культурное знамя буржуазных революций, что пролетариат осуществляет те идеалы, для осуществления которых буржуазия оказалась слишком трусливой и подлой. После 1905 года Меринг пишет \*\*: «В классовой борьбе пролетариата находит себе примирение противоречие между идеалом и жизнью, которое Шиллер мог примирить только при помощи искусства».

Разумеется, за этой родственностью между Лассалем и Мерингом по общей классовой ситуации и по их отношению к рабочему движению

\* Там же.

\*\* *Mehring*, Werke, I, S. 119; наст. изд. т. I, стр. 556.

не следует забывать о глубоком различии исторических моментов, в которые они действовали. Лассаль стоял у колыбели массового движения в Германии и сделался на короткое время его вождем, что позволяло беспрепятственно проявиться всем опасным тенденциям его позиции и в особенности его скатыванию вправо, вплоть до союза с Бисмарком. Меринг не только пережил разочарование в новооснованной империи, в «социальной политике» Бисмарка, но он застал уже и рабочее движение на гораздо более высокой ступени в количественном и качественном отношении, чем то было в эпоху Лассалья. И хотя отнюдь не следует думать, что в тогдашней германской социал-демократии было очень распространено действительно глубокое знание и настоящее понимание марксовых учений, все же несомненно, что Меринг не мог примкнуть к рабочему движению, не усвоив учения Маркса; что в рабочее движение он мог войти лишь как соратник, а не как идеологический руководитель. Поэтому Меринг не только поднялся до марксистского уровня своих немецких современников, даже лучших из них, но и превзошел этот уровень, тогда как Лассаль еще совершенно игнорировал все решающие моменты марксизма и выдвигал против марксова учения свою собственную систему. Родственность классовой судьбы, при существенно изменившихся обстоятельствах, приводит Меринга не к лассалевскому мировоззрению, а к марксизму, пропитанному лассалевскими элементами, к эклектической попытке «примирить» учение Маркса и Лассалья, противоположность которых не могла укрыться и, как показывают его сочинения, действительно не укрылась целиком от Меринга.

Решающим пунктом остается при этом, что оба—и Лассаль и Меринг—недостаточно проникли не только в более глубокие проблемы экономики, но также в конкретную и интимную зависимость всех идеологических проблем от реальных экономических вопросов. И тут проявляется некая-либо психологическая особенность Лассалья и Меринга, а необходимое последствие классового положения буржуазных интеллигентов. Такие последствия, конечно, отнюдь не фаталистичны. Но так как они вытекают из общественного бытия, то лишь исходя из общественного бытия можно их выправить и перевести в надлежащее русло. Для этого требуется, однако, интимная связь с пролетариатом, включенность в его повседневную борьбу, в его обыденную жизнь. А между тем в тот критический период, когда Лассаль стоял во главе рабочего движения, он, как диктаторствующий вождь, высоко витал над мелкими повседневными интересами рабочих масс. И точно так же Меринг, как ни глубока была его связь с революционным рабочим движением Германии,—связь на жизнь и на смерть,—всегда стоял более или менее далеко от повседневной практики, повседневных боев рабочего движения. Поэтому он так и не дошел до радикального пересмотра своего мировоззрения на основе этой практики. Экономические проблемы остались абстрактной базой для

его исследований в области идеологии, причем он,—в противоположность Лассалю, который оперировал с объективно-идеалистическими конструкциями истории,—прибегал к психологии для конкретизирования абстрактных «социологических» основ, включал биографическую психологию как соединительное звено между общественным положением и личностью.

Насколько иначе связь экономической основы и идеологического отражения постигается в живом опыте революционером-материалистом, который интимно и неразрывно связан с пролетариатом, это выясняется с наибольшей поучительностью при изучении Ленина. Ленин описывает \* однажды сцену в рабочем доме в те дни, когда он должен был скрываться после июльского восстания 1917 года. Приносят хлеб, и «хозяин говорит: «Смотрите-ка, какой прекрасный хлеб. «Они» не смеют теперь, небось, давать дурного хлеба. Мы забыли было и думать, что могут дать в Питере хороший хлеб». И Ленин пишет комментарий к этой сцене, чрезвычайно поучительный в методологическом отношении, и именно по интересующему нас сейчас вопросу. Он рассказывает, что он был тогда как раз занят анализом июльских дней, и прибавляет: «О хлебе я, человек, не выдавший нужды, не думал. Хлеб являлся для меня как-то сам собой, нечто вроде побочного продукта писательской работы. К основе всего, к классовой борьбе за хлеб мысль подходит через политический анализ необыкновенно сложным и запутанным путем». Это место крайне интересно для нас именно в методологическом отношении, ибо оно показывает, как в результате взаимодействия пролетарской практики, собственного непосредственного опыта рабочего класса и теоретических анализов Ленина были сделаны правильные, действительно конкретные выводы из некоторой конкретной ситуации. И оно же показывает, в чем заключается та ограниченность, которая обыкновенно мешает теоретикам, происходящим из буржуазного класса, достигнуть этого познания самостоятельным путем и которая может быть преодолена только непрерывным взаимодействием с практическим опытом рабочего класса. В этом взаимодействии Меринг никогда не принимал вполне живого участия. И поэтому целый ряд фундаментальных идеологических построений, которые он вынес из своего общественного бытия, как буржуазный интеллигент, как публицист, как буржуазный революционер, остались у него и после его перехода на сторону марксизма не пересмотренными или во всяком случае не пересмотренными до конца. Идеология Лассалья, выросшая из сходной общественной основы, служила при этом Мерингу опорой и подкреплением. Он пошел в этом вопросе по пути наименьшего сопротивления.

\* Ленин, Удержат ли большевики государственную власть? Сочинения, XXI, стр. 271.

Придавая Лассалю значение актуального теоретического вождя, *наряду* с Марксом и Энгельсом, он тем самым приобрел возможность теоретически оправдать непреодоленные пережитки своей прежней идеологии буржуазного революционера.

То обстоятельство, что конкретные проблемы экономики не занимают у Меринга (и Лассалья) центрального места, оказало решающее влияние на их постановку всех идеологических проблем, ибо с этим пунктом теснейшим образом связан вопрос о том, *что* конкретно упраздняется социалистической революцией и *что* встанет на место упраздненного старого. Приведем, опять-таки из методологических соображений, мысли Энгельса \* о первобытном коммунизме и его разложении. «Производство вращалось в теснейших рамках; но—производители владели своим собственным продуктом. В этом заключалось огромное преимущество варварского производства, которое было потеряно с наступлением цивилизации и отвоевание которого, на основе достигнутой теперь гигантской власти человека над природой и возможной отныне свободной ассоциации, составляет задачу ближайших поколений». Мы видим, что при такой постановке вопроса ясно выдвинута на первый план полная перестройка всего общественного бытия и вместе с ним всего сознания. С точки зрения, на которой стоял Меринг (и Лассаль), конкретный смысл переворота заключается скорее в чем-то отрицательном: задержки и преграды устраняются, и то, что в буржуазном обществе существует только в искаленном виде, что капитализмом затоптано в грязь,—т. е. именно идеалы буржуазных классов,—восстанавливается в своей чистоте. Так, в статье «Гете и современность» \*\* (1899) Меринг пишет: «И до сих пор еще искусство является привилегией незначительного меньшинства, которое к тому же в честь себя сочинило наглый догмат, что массы никогда не смогут переносить полный солнечный свет искусства и должны в лучшем случае довольствоваться лишь немногими слабыми лучами этого света.

Этот клеветнический догмат может держаться, пока существуют господствующие классы, пока угнетенные массы должны тратить все свои силы на борьбу за голое существование и не оставляют себе ни капли энергии, чтобы создать красивую жизнь. Но нет более смешной нелепости, чем мысль, что когда погибнут привилегированные, то вместе с ними погибнет и искусство. Да, оно погибнет, но только как привилегия, оно сбросит с себя уродующую его оболочку, чтобы стать, наконец, тем, что оно есть и чем должно быть по самому своему существу—исконным достоянием человечества. Тогда только проснется, торжествуя, художественное чувство, которое дремлет во всяком настоящем

\* *Engels, Ursprung der Familie, Berlin, 1928, S. 109.*

\*\* *Mehring, Werke, I, SS. 98—99; наст. изд. т. I, стр. 535—536.*

человеке, и тогда имя Гете взойдет на немецко-духовном небосводе, излучая свет и теплоту, как солнце, выступающее из облаков... День, когда немецкий народ завоюет свое экономическое и политическое освобождение, будет и днем торжества Гете, потому что в этот день искусство станет общим достоянием всего народа». Таким образом пролетарская революция означает в культурном отношении для Меринга (и для Лассалья) полное восстановление искаленных буржуазным строем ценностей великого классического периода буржуазии.

Меринг за все время своей деятельности в рядах рабочего движения так никогда и не осознал, что этого взгляда еще недостаточно для марксистского решения вопроса. Правда, он всегда внутренне восставал против выводов, вытекавших из этих предпосылок, но этим он только углублял и умножал противоречия в своих взглядах. В дополнение к уже отмеченным лассальянским элементам мы здесь укажем еще вкратце на три важных комплекса проблем, в которых обнаруживаются эти противоречия, причем читателю и без комментария станет ясно, что мы имеем здесь дело с неизжитым, непересмотренным наследием буржуазно-революционного прошлого Меринга. Таким комплексом вопросов является прежде всего примиренческое отношение к философскому идеализму Лассалья. О философских выводах, вытекающих отсюда, мы будем подробно говорить в следующей главе. Второй такой комплекс—это неизбежная у буржуазного революционера национальная ограниченность, национальный провинциализм. Меринг заметил противоположность в этом пункте между Лассалем и Марксом,—противоположность, так резко выступившую наружу в дискуссии Маркса и Лассалья об итальянской войне 1859 года. По словам самого Меринга \*, «сразу же видно, что Лассаль судит с точки зрения германской, а Маркс и Энгельс с точки зрения европейской революции». Но его собственное мнение гласит \*\*: «Таким образом суждение Лассалья о действительных предпосылках, при которых в 1859 году была возможна революционная политика в Германии, было совершенно правильно». Мы увидим, что этот национальный провинциализм внес самые печальные искажения в весь подход Меринга к эстетике и к истории литературы. Наконец, третий комплекс вопросов, который мы тоже уже отметили выше, заключается в схематизирующем упрощении развития капитализма, в застывшем противопоставлении феодального и капиталистического строя, в недостаточном понимании того, что Ленин назвал «прусским путем» развития. Это тоже привело Меринга к серьезным ошибкам в понимании истории, а следовательно и в понимании истории литературы.

\* *Mehring*, Nachlassausgabe von Marx, Engels und Lassale, IV, S. 207.

\*\* Там же, стр. 213.

## Философские основы

Несмотря на вскрытое нами весьма глубокое влияние со стороны Лассалья, было бы неправильно просто ставить знак равенства между Мерингом и Лассалем. Великая разница между ними обнаруживается как-раз в их подходе к философским вопросам. Лассаль был вполне сознательным идеалистом, «ортодоксальным» гегельянцем. Меринг же не только признавал себя материалистом, но и боролся за материализм с большой эрудицией и глубоким знанием дела. В эпоху неокантианского и махистского философского ревизионизма Меринг выступил с огромной энергией за естественнонаучный материализм в духе Геккеля, разоблачая в то же время самым резким образом его историческую и политическую ограниченность. Ленин справедливо называет \* эту его позицию позицией «человека, не только желающего, но и умеющего быть марксистом». И так же справедливо Ленин подчеркивает заслуги Меринга в борьбе против ревизионистского дицгенизма.

В этом своем признании материализма в естествознании Меринг идет чрезвычайно далеко и отклоняет всякую ревизионистскую попытку резко противопоставить Маркса и Энгельса «старому» материализму, в чем заключалось одно из главнейших стремлений неокантианского и махистского ревизионизма. Вот, например, что он пишет об этом вопросе \*\*: «Фейербах порвал вообще со всякой философией: «моя философия—отсутствие всякой философии», говаривал он. Природа существует независимо от всякой философии, она есть та основа, на которой выросли люди, сами являющиеся продуктами природы. Кроме природы и человека не существует ничего. С этим Маркс и Энгельс были вполне согласны; им не приходило в голову утверждать, что человек живет не в природе, а в обществе. Но зато они говорили: человек живет не *только* в природе, но *также* и в обществе; человек—продукт не только природы, но и общества. И таким образом они обосновали исторический материализм, чтобы понять человека, как общественный продукт; они обосновали его, как ключ к истории человеческого общества. Исторический материализм решающий шаг вперед сравнительно со всем прежним материализмом, вследствие чего Маркс и Энгельс должны были занять критическую позицию по отношению ко всем прежним фазам материализма. Но, несмотря на это или именно поэтому, они не порвали с ним». И особенно в полемике с махистом Фридрихом Адлером Меринг подчеркивает весьма энергично, что не существует ни одного высказывания Маркса и

\* Ленин, Материализм и эмпириокритицизм, Сочинения, XIII, стр. 204 и 290.

\*\* Mehring, Werke, IV, SS. 226—227.



Энгельса, из которого можно было бы заключить, чтобы они, при всей их критике механического материализма, когда-либо выступали как прямые противники его материалистической исходной точки.

Эта смелая защита материализма, благодаря которой Меринг в великих боях между идеализмом и материализмом внутри II Интернационала является действительным союзником Ленина, не дозрела у него, однако,—и именно вследствие того унаследованного груза, социальное происхождение которого мы рассмотрели выше,—до полной и совершенной ясности. Он признает материализм Маркса и Энгельса в понимании природы, но признает его не как диалектический материализм. Правда, он допускает возможность диалектики в природе. Он не сомневается \*, что «все в природе может происходить в конечном счете столь же диалектически, как в истории»,—но он не в состоянии найти диалектические соединительные звенья, не в состоянии добраться до этой «единой науки, науки истории» («Немецкая идеология»), в которой общество составляет только часть, хотя, конечно, часть с относительно самостоятельными и своеобразными закономерностями. Он приходит таким образом \*\* в своем признании материализма в естествознании к дуализму методов. «Механический материализм является в естественнонаучной области научным принципом исследования, как в общественной области таким принципом является исторический материализм». И, подчеркивая свое согласие с Плехановым, особенно с его взглядом на отношение Маркса к Фейербаху, Меринг формулирует \*\*\* этот свой дуализм методов в еще более заостренной форме, совершенно игнорируя все достижения Маркса и Энгельса по исследованию диалектики в природе. «Маркс и Энгельс всегда оставались на философской точке зрения Фейербаха, которую они только расширили и углубили перенесением материализма в историческую область; они были, выражаясь ясно и просто, *в естественнонаучной области в такой же мере механическими материалистами*, как в обществоведческой области историческими материалистами». (Подчеркнуто мной.—Г. Л.)

Этот ошибочный взгляд Меринга теснейшим образом связан с тем, что он, как мы уже знаем, недооценивал значение собственно философских проблем («химеры»), гносеологических вопросов. При этом он находится под более сильным влиянием неокантианского агностицизма, господствовавшего в годы его юности, чем он сам это сознает. Делая серьезные философские уступки этому течению, он отказывается видеть в диалектическом материализме некое мировоззрение. Он говорит \*\*\*\*: «Но создание объективно-научной «единой картины мира» не входило в цели

\* Mehring, Werke, IV, S. 241.

\*\* Там же, стр. 260.

\*\*\* Там же, стр. 337.

\*\*\*\* Там же, стр. 247 и 244.

Маркса и Энгельса... Теории самой теории Маркс посвятил, если я не ошибаюсь в счете, не больше двадцати строк, а Энгельс хотя немного больше, но—и это весьма характерно—лишь в нескольких частных письмах, опубликованных только после его смерти и не по его воле, а потому, что его корреспонденты сочли нужным или полезным опубликовать их. Вообще же Маркс и Энгельс раскрывали свой научный метод всегда лишь на историческом материале и только таким путем достигли своих огромных результатов». Итак, защищая материализм Маркса и Энгельса, Меринг запутывает вопрос в двух решающих пунктах. Во-первых, он резко противопоставляет друг другу с методологической стороны (несмотря на некоторые смягчения) механический материализм в естествознании и исторический материализм в науке об обществе. Во-вторых, отрицая за диалектическим материализмом характер мировоззрения, он конструирует столь же застывшую и недиалектическую противоположность между общедиалектическими проблемами и применением диалектики к конкретным проблемам истории. При этом очень характерно, что Меринг не понимает значения основоположных диалектических рассуждений в ранних работах Маркса и Энгельса. Отсюда становится понятно, что он даже и не подумал об издании «Немецкой идеологии». Но отсюда же следует, далее, что философские рассуждения в опубликованных произведениях Маркса и Энгельса, начиная с «Низы философии» и до «Антидюринга», также остались непонятыми им в их значении для мировоззрения и метода диалектического материализма.

В этом пункте отличие меринговской позиции от лассалевской, вызванное историческими обстоятельствами, проявляется особенно ярко. Но в совершенно различном отношении к философским проблемам сказывается действие все тех же общественных сил, а поэтому и результаты, хотя и сильно видоизмененные различием условий, обнаруживают в конечном счете сравнительно большое сходство. Лассаль был, как вся радикальная интеллигенция Германии накануне революции 48 года, левым гегельянцем. И подобно остальным левым гегельянкам (Бруно Бауэр и др.) он усвоил себе философию Гегеля без всякой критики и просто включил свои новые достижения в области экономики, истории и т. д. в непромышленную систему «ортодоксального» гегельянства. Меринг вырос в такое время, когда к Гегелю уже относились как к «мертвой собаке». Он никогда и не занимался философией Гегеля подробно, никогда не уяснил себе его диалектики и даже его эстетику не изучил как следует. Насколько можно судить по его сочинениям, он знал эстетику Гегеля почти только по работам неогегельянцев (Фишер и т. д.). Среди его открытых до сих пор юношеских статей нет ни одной, которая была бы посвящена философским вопросам. Да и принимая во внимание его позднейшую неприязнь к абстрактным проблемам философии, едва ли можно

предположить существование таких статей. Необыкновенная симпатия, которую он и в свой позднейший период проявляет к Ф. А. Ланге, его в корне ложное отношение к неокантианству, о чем мы сейчас будем говорить подробнее, показывают, что в юности он, вероятно, находился под философским влиянием Ланге. Гегельянство Лассалля—как философия—не коснулось его совершенно. А когда он углубился в изучение Маркса и Энгельса, он принял, правда, их преодоление гегельянства, их перестановку гегелевской диалектики с головы на ноги, но лишь как метод исторического исследования, без размышлений о философском значении этой материалистической перестановки идеалистической диалектики. Этим невниманием к философским проблемам, связанным с преодолением Гегеля, объясняется и то, что Меринг был не в состоянии правильно понять философское отношение Фейербаха к Марксу.

Влияние Ланге на Меринга сказывается в том, что для него не Гегель, а Кант является центральной фигурой классической немецкой философии и новой философии вообще. Уже одним этим он делает, сам того не сознавая и не желая, известную уступку неокантианскому ревизионизму,—не сознавая и не желая, ибо, как мы видели, с этим неокантианским ревизионизмом Меринг вел энергичную борьбу. В результате его изложение кантовской философии представляет собой удивительную смесь исторически правильных и философски насквозь ошибочных взглядов. Меринг видит\* историческое родство кантовской философии с французским материализмом XVIII века. Он видит также превосходство французов, обусловленное более высоким уровнем развития французской буржуазии. «Во Франции могуче развивавшаяся буржуазия направляла материализм, как сильнейшее оружие против феодальной легитимности божьей милостью. В Германии философия могла процветать только путем постоянных компромиссов с клерикальным деспотизмом...» Несмотря, однако, на этот исторически правильный взгляд, Меринг не замечает философского превосходства французских материалистов над Кантом, но извращает всю историческую перспективу, утверждая, что «как представитель постепенно пробуждавшейся и в Германии буржуазии, Кант убил догматизм, решив спор между материализмом и скептицизмом при помощи глубокомысленного решения». Таким образом вместо того, чтобы увидеть в Канте агностика с непоследовательными колебаниями в сторону материализма (колебания Канта в вопросе о вещи в себе), Меринг видит в нем мыслителя, преодолевшего материализм. «Тогда как французский материализм защищал хотя и недостаточно обоснованное, но монистическое и одухотворенное революционным порывом мировоззрение, Кант резко и отчетливо отграничил царство природы...» Меринг усматривает таким образом в Канте как бы основателя того дуализма методов

\* *Mehring, Werke, II, S. 231; наст. изд. т. II, стр. 433—434.*

естественнонаучного и обществоведческого, который, как мы видели, всегда защищался самим Мерингом.

Разумеется, Меринг высоко ценил и даже принимал критику, которой Маркс и Энгельс подвергли Канта. Но он придает ей в то же время своеобразный, слишком благоприятный для Канта и исторически неправильный оборот. А именно, он утверждает, что Кант в первом издании «Критики чистого разума» стоял на правильной точке зрения, на почве «действительного синтеза материалистического тезиса и скептического антитезиса», и лишь во втором издании снова впал в идеализм \*. В развитии немецкой мысли решающую роль сыграло, правда, второе издание.

«По тем же основаниям Маркс и Энгельс в своей полемике против идеалистической философии имели дело с второй редакцией. И аргументация, которую они выдвигали против нее, потому и является исчерпывающей, что она совпадает с первой редакцией Канта, с собственным и первоначальным мнением Канта, с «эмпирическим реализмом» Канта. Они в действительности противопоставили нефальсифицированного Канта фальсифицированному...»

Сущность этого «эмпирического реализма» Меринг толкует в том смысле, что вещь в себе есть «всего лишь пограничное понятие человеческого ума». Но это не материалистическое преодоление Канта, а как раз наоборот—идеалистическое, агностицистское продолжение его колеблющихся тенденций. Ленин и говорит поэтому в своем «Материализме и эмпириокритицизме» \*\* чрезвычайно ясно и четко о критике кантианства слева и справа. Он пишет, что «юмист Шюльце отвергает кантовское учение о вещи в себе, как непоследовательную уступку материализму, т. е. «догматическому» утверждению, что нам дана в ощущении объективная реальность, или иначе: что наши представления порождаются действием объективных (независимых от нашего сознания) предметов на наши органы чувств. Агностик Шюльце упрекает агностика Канта за то, что допущение вещи в себе противоречит агностицизму и ведет к материализму». И далее, продолжая ту же полемику с Авенариусом, он пишет: «На самом деле он только очищал *агностицизм от кантианства*. Он боролся не против агностицизма Канта... а за более чистый агностицизм, за устранение того противоречащего агностицизму допущения Канта, будто существует вещь в себе, хотя и непознаваемая, интеллигибельная, потусторонняя... Он боролся с Кантом не *слева*, как боролось с Кантом материалисты, а *справа*, как боролось с Кантом скептики и идеалисты». Уже отмеченная нами в общих чертах двойственность философской позиции Меринга проявляется здесь очень ярко. Он искренно убежден, что борется против неокантианского ревизионизма слева, и местами это

\* *Mehring, Werke, II, SS. 232—234; наст. изд. т. II, стр. 439.*

\*\* «Материализм и эмпириокритицизм», в указ. месте, стр. 161.

действительно так. (Напомним о его отношении к Геккелю и к естественно-научному материализму.) Но он не умеет понять историческое значение Канта, т. е. он устраняет из философии Канта как-раз тот пункт, в котором Кант—вопреки остальной своей системе—сближается с материализмом (допущение вещи в себе); он без внимания проходит мимо зародышей диалектики у Канта, который является в них предшественником Гегеля, и прославляет Канта как-раз за те пункты, в которых Кант был прямым предшественником неокантианского агностицистского идеализма. Он говорит о неокантианцах \*: «Конечно, и неокантианцы не желают знать никакой «вещи в себе». Они утверждают, что Кант хотел обозначить этим лишь «бесконечную задачу познания». Это не  $x$  какой-то таинственной загадки, а  $x$  бесконечного уравнения, разрешаемого посредством непрерывного дальнейшего исследования. Правда, он тут же замечает, что вступил на очень опасную почву: «Если бы мнение Канта было действительно таково, то полемика Энгельса против «вещи в себе» оказалась бы хоть и не ошибочной, но излишней, поскольку она ломилась бы в открытую дверь». Не говоря уже о том, что эти слова находятся в кричащем противоречии с вышеприведенными соображениями Меринга о различии между первым и вторым изданием «Критики чистого разума», из высказанного здесь отрицания неокантианской интерпретации Канта следовало бы, согласно философским предпосылкам Меринга, только то, что неокантианцы хоть и неправильно толкуют Канта, но зато философски развивают его мысль в правильном направлении. И что Меринг действительно так думал, совершенно ясно из дальнейшего \*\*: «Если Коген и Штаулингер, как мы сказали выше, понимают вещь в себе уже не как  $x$  какой-то таинственной загадки, а как  $x$  бесконечного уравнения, разрешаемого посредством непрерывного дальнейшего исследования, то они переходят от Канта к Энгельсу...». Меринг совершенно смешивает здесь правую критику Канта с левой его критикой; будучи субъективно уверен, что он борется против Канта слева, и действительно борясь в отдельных пунктах слева против неокантианского ревизионизма, он здесь защищает тех неокантианцев, которые старались исправить непоследовательность Канта в вопросе о вещи в себе справа, в духе более последовательного агностицизма. И в том, что это не случайный, единичный промах, убеждает нас его историческая оценка Ф. А. Ланге сравнительно с материализмом 50-х годов: Меринг хвалит \*\*\* Ланге за то, что он «вернулся обратно или, вернее, пошел вперед к Канту».

Это ошибочное отношение к Канту и неокантианству неизбежно влечет за собой и ошибочное отношение к теории познания Маха. И здесь

\* *Mehring*, Werke, VI, S. 68.

\*\* Там же, стр. 84—85.

\*\*\* Там же, стр. 199.

позиция Меринга двойственна. Он осмеивает со всем блеском своего публицистического пера махистскую историю философии Пецольда. Но он стремится при этом только спасти исторический метод от путаницы, которую создало бы догматическое перенесение естественнонаучных методов в историю. И он слишком легко поддается уверениям Маха и махистов, что речь идет у них только о естественнонаучном методе, а не о теории познания. Более того, при его неприязни к философским «химерам», при его взгляде на Маркса и Энгельса как на мыслителей, которые тоже не интересовались философскими «химерами», он конструирует в этом пункте согласие между Махом и Марксом. Значит, опять-таки Меринг борется против махизма, но борется против него с таких философских точек зрения, которые вынуждают его в решающих пунктах капитулировать перед махизмом, так что и тут он может удержаться на левой стороне, только идя против течения своих собственных мыслей. Проблему согласия между Махом и Марксом Меринг формулирует в различных статьях так \*: «Как Дидген, так и Мах защищает гносеологический монизм, стремящийся устранить всякий дуализм физического и психического. Разница лишь в том, что Мах вовсе не хочет быть философом... И постольку Мах превосходно согласуется с Марксом, который отпустил на все четыре стороны всякую философию и усматривал духовный прогресс человечества только в практической работе в области истории и природы». И в другом месте: «Против «восполнения» в том смысле, что Мах в области физики сделал то же самое, что Маркс в области истории, я ничего не имею возразить; единственно, чего я добивался, это ясно и отчетливо разграничить методы исследования в науке об обществе и в естественных науках, и я со всей энергией подчеркнул, что Мах сам ни разу не допустил в этом отношении ни малейшей погрешности».

В рамках настоящей статьи невозможно отметить все те пункты, в которых проявляется эта колеблющаяся позиция Меринга, это внутреннее противоречие в его мировоззрении. Но укажем еще на два важных вопроса, приобретших решающее значение для его исторических взглядов и оценок также и в литературоведческой области. Мы имеем в виду, во-первых, отношение Меринга к кантовской этике, особенно к категорическому императиву. Положение Канта, что ни один человек не должен рассматриваться как средство, но всякий только как цель, признается однажды Мерингом \*\* за «положение, убийственное для всякого прибыледобыывания»; в других же местах Меринг ясно видит \*\*\*, что это положение Канта есть не что иное, «как идеологическое выражение того экономического факта, что буржуазия в погоне за пригодным для ее

\* *Mehring, Werke, VI, SS. 236—237 u. 239.*

\*\* Там же, II, стр. 232.

\*\*\* Там же, VI, стр. 73.

способа производства объектом эксплуатации должна была трактовать рабочий класс не только как средство, но и как цель, т. е. должна была освободить его от феодальных оков во имя человеческой свободы и человеческого достоинства». Это шатание Меринга заходит подчас так далеко, что он даже сравнивает «Коммунистический манифест» с этикой Канта и говорит\*: «Стало-быть, по своему смыслу, этика у Канта и Маркса одна и та же; только «аналитическое обоснование» у Канта заключается в том, что он ухитряется примирить со своим положением средневековосословное разделение на *граждан* государства и *членов* государства, тогда как «исторически причинное» обоснование у Маркса состоит в том, что он на ходе экономического развития показывает, как должен осуществиться его идеал». Ясно, что при таких предпосылках невозможна действительно последовательная борьба против неокантианского объединения Канта с Марксом. Ведь при такой интерпретации этика Маркса есть не что иное, как доведенная до конца буржуазная революция, радикально додуманная до конца Кант, который сам не решался итти до конца. С этой точки зрения Меринг может отвергнуть оппортунистические выводы неокантианцев в политике, но он бессилён вскрыть несостоятельность всей их позиции в целом. Он местами даже вынужден апеллировать против Когена, пытающегося обосновать социализм «этически», к взглядам Лассалля, чтобы показать, что в рабочем движении все это уже было осуществлено раньше и лучше, чем в постулатах Когена. Мимо ясных принципиальных установок Маркса и Энгельса в этих вопросах— «задача рабочего класса не осуществлять какие-то идеалы» («Гражданская война во Франции») — Меринг прошел без внимания.

В заключение еще несколько замечаний о меринговской критике Ницше. Она интересна для нас не только тем, что в ней проявляется все то же противоречие, но прежде всего потому, что здесь на конкретном примере обнаруживаются роковые идеологические последствия той чрезмерной схематизации классового развития, какую мы находим у Меринга. Несомненно, Мерингу принадлежит та серьезная заслуга, что он очень рано выступил против Ницше самым решительным образом. В своей брошюре «Капитал и пресса» (1891) он чрезвычайно резко критикует Ницше как философа капитализма. Но в то же время к некоторым романтически-антикапиталистическим сторонам Ницше он испытывает непреодолимую симпатию. О книжке Д. Ф. Штрауса «Старая и новая вера» он пишет \*\*, что она представляет собою прославление «самого безотрадного манчестерства». «Против этого возмущился художник в Ницше, который воспитал свой вкус в школе античной Греции. Он пришел в ужас от той страшной опустошенности, которая проникла после перехода буржуазии

\* *Mehring, Werke, VI, S. 219.*

\*\* Там же, стр. 182.

к Бисмарку в духовную жизнь Германии и разрушила даже наш благородный язык... Поднявшись против «трактирного евангелия» Штрауса, Ницше бесспорно встал на защиту самых славных традиций немецкой культуры». Тут характерна не только безотчетная симпатия к Ницше как к романтически-антикапиталистическому критику культуры, но характерно и то, что тот же Меринг, который десять лет назад так пронизательно и ярко вскрыл в Ницше апологета капитализма, подходит теперь к антагонизму между Штраусом и Ницше чисто идеологически и не умеет повести марксистскую борьбу на два фронта—против вульгарно-либерального Штрауса и романтического реакционера Ницше. Эта неспособность Меринга находится в связи с тем, что он вообще понимает слишком схематически-прямолинейно идеологический упадок буржуазии и не умеет конкретно проанализировать те более сложные духовные течения, которые возникают вследствие неравномерности развития. Так, написав свою уничтожающую критику Ницше, он вскоре затем находит случай коснуться отношения Ницше к современной буржуазии\*: «Капитализм на нынешней ступени своего развития слишком изношен духовно и слишком пронируем экономически, чтобы нуждаться в мистических философах как в своих духовных ратоборцах; для этой цели ему могут теперь уже служить только такие безыдейные и бессовестные зубоскалы, как г. Евгений Рихтер...» Вот с этой-то совершенно ложной механической точки зрения на идеологические потребности буржуазии (теперь, когда Ницше сделался классиком германского фашизма, ее ложность ясна для всякого) Меринг дает столь же ложную оценку значения Ницше для молодой деклассированной интеллигенции того времени. Как известно, Ницше оказал очень сильное влияние на молодое поколение начала 90-х годов, и многие приверженцы Ницше колебались тогда между его культом гениальности и каким-то неясным социализмом. Меринг пишет об этих литераторах: «Книги Ницше, без сомнения, соблазнительны для тех нескольких молодых людей с выдающимися литературными талантами, которые, может быть, еще имеются в буржуазных классах и которые до поры до времени остаются в плену у буржуазных предрассудков. *Для них Ницше есть мост к социализму.* (Подчеркнуто мною.—Г. Л.) Вернуться от него к Евгению Рихтеру и Паулю Линдау они уже не могут; для этого Ницше все-таки слишком крупный и гениальный человек. Но остановиться на Ницше они тоже не могут... Так они постепенно облиняют и превратятся в социалистов. Этот процесс линяния переживает, например, г. Гårден, который еще остается в сетях платонического восхищения «сверхчеловеком» Бисмарком, но в то же время самоотверженно ведет смелую борьбу против коррупции капиталистической печати». И тут

\* Критический отзыв Меринга о «Psychopathia spiritualis» Кюрта Эйснера, «Neue Zeit», X, II, SS. 668—669.



бросается в глаза не только чисто идеологический подход, но и чисто схематическое представление Меринга, что буржуазная идеология его времени ограничивается вульгарным либерализмом, и вытекающая отсюда идеологическая теория самотека, согласно которой всякий романтический антикапитализм, всякая борьба против «уродливостей» капитализма (коррупция печати) должна автоматически привести к социализму. Свою ошибку насчет дальнейшего развития Гардена он впоследствии сам чистосердечно признал, но в своем подходе к литературе и истории литературы,—как мы увидим позже, когда будем говорить о его отношении к Адольфу Бартельсу и Геббелю,—он сохранил эту схематическую точку зрения полностью со всеми ее ошибками. Ясно, что при таких условиях Меринг не был способен даже просто подметить в идеологической области специфические черты империалистической эпохи, не говоря уже о его полной неспособности подвергнуть их принципиальной критике. Весьма характерно, например, то благоволение, с каким он разбирает книгу Зиммеля о Канте, не замечая, что основное философское течение империализма—«философия жизни»—нашло себе в этой книге вполне ясное выражение.

## V

### Приципы эстетики

Противоречия в мировоззрении Меринга обнаруживаются в его теоретическом обосновании эстетики, пожалуй, еще более ярко, чем в общепhilosophических вопросах, ибо именно тут ему пришлось выполнить более обширную самостоятельную работу, чем в других областях. А кроме того диалектико-марксистскому обоснованию теории искусства и литературы самими Марксом и Энгельсом Меринг уделил особенно мало внимания—и как издатель их сочинений, и в смысле теоретического использования их уже опубликованных работ.

Поэтому Меринг настаивает здесь еще гораздо энергичнее и упорнее, с еще гораздо более легкой философской совестью, на центральном значении Канта как основоположника эстетики, чем он делает это в области теории познания, в которой он провозгласил Канта центральной философской фигурой. Но уже в характеристике мнимых великих заслуг Канта в деле обоснования научной эстетики ясно проступают главнейшие недостатки исторического мировоззрения Меринга. Во-первых, он совершенно игнорирует все то, что было сделано в этой области буржуазно-революционной философией и теорией искусства XVII—XVIII веков. Во-вторых, он проходит мимо всей эстетики классической послекантовской философии—кроме Шиллера—и в частности совершенно не считается, как уже было отмечено, с наиболее законченной и систематической и, вопреки ее идеализму, диалектически наиболее разработанной эстетикой—с эстетикой Гегеля. В результате его мнение о том, что есть нового

и верного в эстетике Канта, неизбежно должно было сразу же стать сбивчивым и неправильным. Вот как он определяет историческое место и значение «Критики способности суждения» \*: «Если до-кантовская эстетика отводила искусству, как его основное содержание, только плоское подражание жизни, или амальгамировала его с моралью, или рассматривала как скрытую форму философии, то Кант, в глубоко продуманной, хотя и искусственно конструированной, но богатой свободными и широкими перспективами системе, доказал, что искусство представляет первичную и отличительную способность человечества». Во всех трех пунктах это противопоставление Канта его предшественникам несостоятельно. Меринг механически преувеличивает неправильные моменты у предшественников Канта и столь же механически—«правильный» момент у Канта, чтобы прийти к своему противопоставлению. Неправильно думать, что можно отделаться, обозвав их «плоскими», от всех теорий подражания природе, как бы они ни страдали подчас механичностью формулировок. Тут ясно проявляется идеалистическая тенденция Меринга, его пренебрежительное отношение к великому буржуазному реализму. В своих критических работах он всегда пытается скомпрометировать взгляд на искусство как на отображение действительности, как на форму—хотя и своеобразную форму—воспроизведения объективной реальности с помощью человеческих мыслей, представлений и т. д., сравнивая такое искусство с фотографией и т. д. Он забывает при этом, что и теория старых материалистических писателей и эстетиков XVIII века, а главное их практика часто выходила за рамки механического материализма и приближалась к диалектическому воспроизведению действительности. (Укажем, например, на «Племянника Рамо» Дидро.) Столь же несостоятельно противопоставление Меринга и в двух остальных пунктах. Меринг упускает из виду, что если критикуемые им теории—например, теория Лейбница—подчеркивают мыслительный характер художественного творчества, полагают лишь количественное различие между художественным творчеством и философией, наукой, то это является с их стороны попыткой, хотя, правда, и неудачной, понять искусство по его содержанию как нечто неразрывно связанное со всем остальным развитием человечества. Эти попытки были неизбежно обречены на неудачу, пока они исходили из идеалистических предпосылок. Грандиозная попытка Гегеля понять искусство исторически и методологически, как определенную ступень в общей связи человеческой истории, тоже должна была потерпеть крушение. Но у Меринга истинная историческая связь прямо-таки переворачивается вверх ногами, поскольку он прославляет как высшую точку развития эстетики кантовское учение об оторванных друг от друга «душевных способностях», которые, по насмешливому замечанию Гегеля, лежат в душе, как в мешке,

\* *Mehring*, Werke, I, S. 212; наст. изд. т. I, стр. 647.

и по мере надобности порознь вытаскиваются оттуда. Недаром «Критика способности суждения» — значения которой в истории эстетики мы, впрочем, отнюдь не отрицаем — сделалась в XIX веке философской основой «чистого» искусства, основой *l'art pour l'art*.

Глубокое противоречие, таящееся в этом взгляде, проявляется все более ярко при каждой попытке Меринга конкретизировать свои мысли. Меринг пытается\* объяснить исторически, почему Германия в свой классический период так же сделалась родиной обоснования эстетики, как Англия эпохи промышленной революции — родиной классической экономики. «В предисловии к своему главному труду Маркс говорит, что подобно тому, как физик наблюдает процессы природы там, где они проявляются в наиболее отчетливой форме и наименее затемняются нарушающими влияниями, он изучает капиталистический способ производства в Англии, классической стране этого способа производства. Подобно этому можно сказать, что законы эстетической силы суждения не могут быть нигде изучены так хорошо, как в царстве эстетической видимости, которое создали в «наиболее отчетливой форме и наименее затемненной нарушающими влияниями» наши классики. Кант стал основателем научной эстетики, хотя и не распознал историческую обусловленность своих эстетических законов, хотя и считал абсолютным то, что могло быть только относительным. Так и его современники Адам Смит и Рикардо стали основателями научной экономики, хотя считали экономические законы буржуазного общества абсолютными, тогда как последние имели только историческую значимость и, как теория стоимости, могли проявляться только путем их постоянного нарушения».

В этой формулировке проявляется в особенно заостренной форме провинциальная ограниченность Меринга рамками Германии, его неправильное представление о немецком классицизме, как о наивысшей точке буржуазно-революционного развития. Правда, он сам несколько смягчает свою формулировку, утверждая, что хотя Кант и прав по существу, но что он принимает за абсолютное то, что имеет лишь относительное значение. Однако это смягчение, отмечая один из тех конкретных пунктов, в которых сказывается внутренняя противоречивость меринговского взгляда, отнюдь не разрешает возникающих трудностей и даже не указывает пути к разрешению, ибо обратные тенденции, то, что Меринг называет относительным, это не модификации, не видоизменения его, т. е. кантовского основного принципа, а его контрдикторные противоположности. И Меринг сам видит эту трудность \*\*: в той же статье, через несколько страниц после вышеприведенного места, он замечает, что Кант и Шиллер «в более молодые, а следовательно и в более крепкие годы»

\* *Mehring, Werke, II, S. 260; наст. изд. т. II, стр. 463.*

\*\* Там же, стр. 263; наст. изд. т. II, стр. 466.

занимали совсем другую позицию. «Тогда когда наши классики отвернулись от общественных битв своего времени, им удалось обосновать научную эстетику». Если бы Меринг действительно продумал до конца это свое вполне правильное замечание, он должен был бы отвергнуть канто-шиллеровскую эстетику. Или же, если бы он все-таки захотел отстоять принципы Канта, он должен был бы прийти к заключению, что самая сущность искусства требует ухода от великой борьбы современности. Мы увидим, что он и в самом деле очень часто приходил к таким и подобным заключениям. Однако его революционный инстинкт восстает изо всех сил против этих выводов. Вслед за цитированными выше словами Меринг пишет\*: «Никогда еще «чистое искусство» не возвеличивалось так чрезмерно, как это делала феодальная романтика... Излишне говорить, что «чистое искусство» вышеуказанного рода вовсе не совпадает с «чистым суждением вкуса» в смысле Канта. К нему «примешивается» не только «малейший интерес», но даже самый brutalный из всех интересов: сознательное или бессознательное сопротивление гибнущих классов историческому прогрессу». Вот это верно, и это не только правильная критика романтической теории искусства, но вместе с тем—и в этом большая заслуга Меринга—глубокая и правильная критика новейшего натурализма, в котором Меринг верным революционным чутьем отгадал реакционную тенденцию «искусства для искусства», отгадал таящуюся за принципом «чистого искусства» апологетику. Но чем справедливее и с чем большей страстью борется он против «чистого искусства» в настоящем и в прошлом, тем в большем противоречии оказывается он со своими собственными, заимствованными у Канта принципами. А там, где он осуждает прославление «чистого искусства» в романтике, он еще вдобавок забывает, что вся эстетика романтики построена на «Критике способности суждения», что романтика только делает все выводы из этих тенденций кантовской эстетики (которая, правда, этими тенденциями не исчерпывается вполне, ибо сам Кант, к счастью для него, не был последовательным кантианцем). И, чтобы уклониться от неизбежных выводов из своих ложных предпосылок, Меринг делает великолепное в революционном отношении, но идейно совсем не обоснованное *salto mortale*, заявляя, что «нечего и говорить» о факте, который с его точки зрения вообще никак необъясним.

В такие же дебри неразрешимых противоречий попадает Меринг с кантовским учением об искусстве как об «особой первичной способности человечества». Как только он пытается, согласно своей общей схеме, релятивировать это абсолютное положение, так тотчас же обнаруживаются противоречия. Возьмем прежде всего прославляемый Мерингом как величайший подвиг Канта отрыв искусства от морали: этот отрыв

\* *Mehring, Werke, II, S. 263; наст. изд. т. II, стр. 466.*

на практике сразу же аннулируется, и при разборе каждого крупного поэтического произведения проблема морали вводится снова. При этом она запутывается у Меринга в двойном направлении, и оба эти направления имеют своим источником кантовскую субъективно-идеалистическую постановку вопроса. Во-первых, самое слово «мораль» означает субъективно-идеалистическое обмеление и сужение тех больших исторических содержаний, которые преподносятся тут взору Меринга. Во-вторых, он заимствует из субъективно-идеалистической предпосылки Канта механически застывшую полярность эстетического «бескорыстия» и морального «интереса». И когда таким образом его собственные понятия застывают у него, совершенно недиалектически, в некую антиномию, он, разумеется, уже не может, несмотря на все усилия, привести их в живое, диалектическое взаимодействие. Столь презираемые Мерингом предшественники Канта как-раз в этом вопросе часто занимали—стихийно—гораздо более диалектическую позицию. Но в своем релятивировании кантовского абсолютного принципа Меринг снова попадает в опасную близость к принципу «чистого искусства». «Всякая эстетика,—говорит он \*,—имеет только условное значение, ибо и она подлежит историческому изменению. В сущности каждое творческое художественное произведение создает свою собственную эстетику». Под этими словами с восторгом подписался бы и Флобер. Меринг стремится, конечно, релятивировать кантовский абсолютный принцип так, чтобы в результате все художественные произведения объяснялись из общественно-исторических условий своей эпохи. Но так как он с помощью кантовской «первичной способности человечества» вынес последние корни искусства за пределы общества и истории, то это релятивирование превращается у него в субъективистический принцип «искусства для искусства», ибо ясно, что не художественное произведение создает свою собственную эстетику, но что как само это произведение, так и правильные принципы его эстетической интерпретации и оценки создаются объективным экономически-общественным процессом, хотя и очень сложным, очень «неравномерным», многообразно опосредствованным путем.

Но, исходя из предпосылок Меринга, невозможно прийти к конкретному, заимствованному из диалектики общественного развития масштабу для оценки художественных произведений. Полное отрицание теории отображения действительности («плоское подражание», как выражается Меринг), кантовский идеализм эстетического созерцания—вот что воздвигает здесь перед Мерингом неодолимую преграду. В вопросе о художественном оформлении общественных тем Меринг заимствует у Канта понятие «присущей красоты». Кант утверждает, что красота «присуща» родовому понятию. При этом следует особенно подчеркнуть, что Меринг останавливается на формулировке родового понятия,—последователь-

\* *Mehring, Werke, I, S. 242.*

ной у Канта, ибо у него она до конца субъективно-идеалистична,—и не переходит к роду. Он говорит \*: «Род сам по себе есть только понятие. Когда мы говорим о юнкерском классе, о бюргерском, о рабочем классе, *мы говорим о понятиях, которые себе составили* (подчеркнуто мной.—Г. Л.), об идеях, как индивидах, об идеалах; и задача изящных искусств состоит именно в том, чтобы эти идеалы превратить снова в естественные явления. Юнкер, бюргер, рабочий, которого изображает поэт или живописец, будет в эстетическом смысле слова тем прекраснее и правдивее, чем свободнее он от несущественных случайностей индивида и чем больше он проникнут существенными особенностями рода». Из этого взгляда Меринга, далеко отставшего в этом пункте от объективного идеалиста Гегеля, который мыслит сущность, род, как нечто объективно существующее (хотя, правда, существующее «в духе», т. е. идеалистически и поэтому противоречиво),—из этого взгляда с необходимостью вытекает его непонимание великих революционных реалистов и его колоссальная переоценка поэзии Шиллера. В самом деле, раз род субъективируется в кантовское родовое понятие, то всякое воспроизведение объективной действительности естественно оказывается «плоским подражанием», фотографированием, и только за идеалистически-стилизующим поэтом признается способность опуститься от родового понятия к действительности. То обстоятельство, что практика Меринга, как историка литературы и литературного критика, часто бывает лучше, чем эта теория, не может, разумеется, спасти его теоретические основы, ибо практика Меринга правильна в этих случаях не благодаря его теории, а вопреки ей.

Своего кульминационного пункта достигают эти противоречия у Меринга там, где он пытается определить отношение между содержанием и формой в художественном произведении. Меринг, несомненно, сам чувствовал, на какой шаткой почве он стоит здесь, ибо нет вопроса эстетики, с которым он спешит покончить так быстро, как с этим центральным вопросом. Вот как он формулирует его в своей биографии Шиллера \*\*: «Положение Канта—предметом эстетического созерцания является не содержание, а форма—выражено Шиллером в следующей выпуклой формулировке: «Настоящая тайна художественного мастерства заключается в том, что художник при помощи формы поглощает содержание». Если эстетические работы Шиллера не всегда достигают философской глубины Канта, то его чисто эстетические суждения именно потому, что он был поэтом, зачастую формулированы и полнее и отчетливее, чем у Канта». Итак, приоритет формы над содержанием, последовательно вытекающий у Канта из его субъективного идеализма, Меринг принимает не только без всякой критики, но даже в его шиллеровской формулировке, так

\* *Mehring*, Werke II, S. 267; наст. изд. т. II, стр. 470.

\*\* Там же, I, стр. 214; наст. изд. т. I, стр. 651.

парадоксально заостренной на понятии «чистого искусства». В своих «Эстетических разведках» Меринг смягчает этот тезис только в духе своего «релятивирования» кантовской эстетики вообще. Он говорит \*: «Бесспорный в своей абсолютно-абстрактной формулировке (подчеркнуто мною.—Г. Л.), тезис этот в историческом развитии художественного вкуса всегда имел только обусловленную значимость». Но более точная формулировка этого исторического «релятивирования» показывает, что Меринг может уклониться от выводов из своей теории только с помощью самого мутного эклектицизма. «Именно потому, что живое искусство,—пишет он,—коренится в условиях своего времени—и только в них, оно не может овладеть художественно всяким сюжетом, и, следовательно вкус зависит не только от формы, но и от содержания» (подчеркнуто мною.—Г. Л.). Этот эклектицизм поистине не нуждается в комментариях.

Разумеется, и в этом вопросе практика Меринга очень часто гораздо лучше, чем его теория. Его здоровый революционный инстинкт всегда вызывает в нем горячий протест против всяких экспериментов с формой, против всяких чисто формальных «революций в литературе». Так, например, он дает правильный анализ формальных приемов в лирике Арно Гольца, к которому он в общем относится весьма благосклонно, и подвергает в заключение уничтожающей критике попытку его и Пауля Эрнста «революционизировать лирику» с помощью свободных ритмов; при этом вся критика Меринга сводится к тому, что он противопоставляет содержание свободных ритмов Гете, Гейне и Уота Уитмена содержанию Арно Гольца. Стало-быть, и здесь приходится сказать, что свою правильную критику Меринг дает вопреки своей неправильной теории.

Но эта в корне ложная эстетика Меринга должна, разумеется, сказаться и на основной линии его критической деятельности. Мы уже имели случай отметить, что благодаря усвоенному им кантовскому принципу «бескорыстия» Меринг очутился в опасной близости к «искусству для искусства» и что только *salto mortale* спасает его из этого тупика. Однако последствия этой теории все же проявляются у него в его концепции благоприятных (или неблагоприятных) для искусства эпох. Свою точку зрения Меринг и здесь формулирует со своей обычной прагматичностью \*\*: «Звон оружия заглушает пение муз». И в той же статье он развивает эту мысль следующим образом \*\*\*: «Во все революционные эпохи, у всех борющихся за свое освобождение классов вкус всегда будет в весьма сильной степени затемняться логикой и этикой, что, в переводе на язык философии, означает только, что там, где сильно напряжены способности

\* *Mehring*, Werke, II, S. 264; наст. изд. т. II, стр. 467.

\*\* Там же, стр. 299.

\*\*\* Там же, стр. 263; наст. изд. т. II, стр. 465—466.

познания и желания, там всегда ущемляется эстетическая сила суждения». Меринг пытается и здесь исторически релятивировать, смягчить эти положения, уклониться от последних выводов из них, заявляя, что при их применении надо остерегаться всяких шаблонов и исследовать каждый случай в отдельности. Однако и в его собственной практике выводы из этой точки зрения сильно дают себя знать как в положительном, так и в отрицательном смысле,—в отрицательном, поскольку он, как мы уже сказали, по возможности уклоняется от анализа большого революционного реализма; в положительном, поскольку он все же анализирует его представителей. Вот что он говорит \*, например, о Зола, изложив сначала его теорию искусства: «Мало помогает и утверждение, что Зола был, правда, крупный поэт, но плохой эстетик. Скорее в Зола поэт и эстетик вполне гармонируют. Романы его в большей степени реформаторские призывы и предостережения, чем чистые художественные произведения... С эстетической точки зрения это был бы жестокий приговор, если бы только сама эстетическая точка зрения не подчинена была историческим изменениям. Искусство, несомненно, представляет отличительную способность человечества и, как таковое, имеет свои собственные законы. Но и оно стоит в историческом потоке вещей, и оно тоже не может развиваться без революционных потрясений, когда большей заслугой является разрушение его алтарей, а не принесение жертв на них». Итак, Меринг может выразить свое революционное сочувствие тенденциям Зола не иначе, как пожертвовав всей поэзией Зола в угоду своей эстетике; но, как бы ни смотреть на размеры художественного дарования Зола, это чудовищно даже и в смысле чисто эстетической оценки. В то же время эта позиция Меринга заставляет его в тех случаях, когда он эстетически признает какого-нибудь великого воинствующего поэта, выражать это признание в формулировке, искажающей суть дела как с общественной, так и с эстетической стороны. В качестве примера приведем его суждение о Мольере \*\*: «Но Мольер не был бы великим поэтом, если бы не стоял до известной степени *выше борьбы классов* (подчеркнуто мною.—Г. Л.), если бы он не наблюдал и не изучал пеструю путаницу социальных конфликтов, разыгрывавшихся перед его глазами, во всех ее разветвлениях. От него не ускользали также и темные стороны буржуазии, и он изобразил их в «Скупом». В этом суждении обнаруживается и то, как тесно связан эстетический идеализм Меринга с его схематическим взглядом на экономическую базу и классовую борьбу. Так как он не умеет проанализировать их вплоть до их действительных, конкретных разветвлений и к тому же слишком упрощает диалектический процесс возникновения идеологии из общественного бытия, то ве-

\* *Mehring, Werke*, II, S. 305; наст. изд. т. II, стр. 245.

\*\* Там же, I, стр. 40; наст. изд. т. I, стр. 737.



личие Мольера он вынужден обосновать посредством странной для радикального марксиста ссылки на его «возвышенность над классовой борьбой своего времени». После всего вышесказанного внутренняя связь этих представлений, их происхождение из непересмотренного буржуазно-демократического наследия Меринга ясны, думается нам, для каждого.

## VI

### Методология истории литературы и литературной критики

Вскоре после появления первой и вместе с тем наиболее значительной книги Франца Меринга по истории литературы, его «Легенды о Лессинге», Фридрих Энгельс написал ему чрезвычайно интересное письмо, в котором в самой бережной форме, но весьма резко по существу отметил недостатки его метода. Критика Энгельса направлена главным образом против меринговского способа выводить идеологические явления из их экономической основы, против чрезмерного упрощения, которым страдает здесь метод Меринга. Свою критику Энгельс облек, как уже сказано, в самую деликатную форму, в форму самокритики, которая однако по отношению к нему самому и к Марксу настолько неуместна, что мы наверное не ошибемся, если примем это просто за прием, с помощью которого Энгельс попытался как можно деликатнее указать Мерингу на правильный метод. Энгельс пишет \*: «Вообще же нехватает только одного пункта, который, впрочем, в вещах Маркса и моих тоже большей частью бывает недостаточно подчеркнут и по отношению к которому на всех нас лежит одинаковая вина. Дело в том, что все мы делали и *должны были* делать главное ударение на *выведении* политических, правовых и прочих идеологических представлений и вызываемых этими представлениями действий из основных экономических фактов. При этом, увлекшись сутью дела, мы не уделили достаточно внимания формальной стороне—тому способу, каким эти представления и т. д. возникают в действительности». Такого рода критика встречается в поздних письмах Энгельса не только здесь. Энгельс неоднократно выступает против манеры молодых марксистов выводить идеологические формы из экономических условий механически, без учета сложных посредствующих звеньев и взаимодействий, причем, как он выражается, «получалась подчас удивительная чепуха».

Мы имеем здесь дело с невниманием к тем методологическим принципам, которые были подробно изложены Марксом \*\* во введении «К критике политической экономии»,—там, где он говорит о «неравномерном отношении развития материального производства, например, к художест-

\* Энгельс—Мерингу от 14 июля 1893 г. Цитируется в «Elementar-bücher des Kommunismus», XIV, S. 154.

\*\* Маркс, «К критике политической экономии», Введение.

венному». Маркс вскрывает на нескольких конкретных примерах противоречивый характер этого развития, а вместе с тем указывает чрезвычайно ясно и точно путь к разрешению этих противоречий. «Трудность заключается только в общей формулировке этих противоречий. Стоит только их специфицировать, как они уже объяснены». В подходе Меринга к истории литературы очень часто, и не случайно, отсутствует эта правильная марксистская спецификация. Она отсутствует главным образом потому, что, как мы видели и еще увидим в дальнейшем, самый экономический анализ у Меринга часто бывает схематичен и скуден. Меринг, проявлявший нередко очень тонкое чутье специфических черт в отдельных литературных явлениях и течениях, сам инстинктивно сознавал в себе этот недостаток и все время делал попытки преодолеть его. Но уже известные нам ошибки его методологии мешали ему исправить этот недостаток правильным марксистским способом. Из попыток Меринга преодолеть чересчур прямолинейно механический у него характер связи между базой и надстройкой получилась таким образом только комбинация механической «социологии» и чисто биографической психологии. Это указание на механически-схематический характер связи между экономической базой и надстройкой находится в лишь кажущемся противоречии с нашей прежней критикой идеалистических элементов в методологии Меринга, ибо чем идеалистичнее какая-либо историческая концепция, чем меньше она исходит из конкретно познанной диалектики материальной базы, тем более она вынуждена прибегать к «конструкциям», которые в своем проведении могут носить лишь механически-схематический характер. Укажем только на пример Лассалья, у которого связь между основным идеалистическим воззрением и его схематическим проведением выступает наружу особенно ярко. Правда, Меринг идет в своих экономических анализах, под руководством Маркса и Энгельса, гораздо дальше, он гораздо конкретнее, чем Лассаль, но преодолеть эту свою основу целиком он все-таки не в состоянии. Чтобы восполнить проистекающие отсюда пробелы, он и привлекает биографический элемент. Однако даже самая тонкая психологическая биография висит в воздухе, когда ей не предшествует удовлетворительный экономический анализ. Индивидуальные «случайности» характера, условий жизни и личной судьбы сами по себе никак не могут заменить те конкретные и объективные посредствующие звенья, которые не были вскрыты с помощью экономически-общественного анализа. В результате получаются мнимые объяснения, которые либо оставляют кричащие противоречия друг подле друга, либо подыскивают для них кажущееся психологическое разрешение.

В какие противоречия вовлекается при этом Меринг, особенно ясно видно из его большой статьи о Канте, написанной к кантовскому юбилею (1904). Он приводит длинную цитату из действительно блистательной в литературном и психологическом отношении гейневской характеристики

личности Канта, из гейневского описания обыденной жизни Канта. И Меринг прибавляет \*, что Гейне «со своей обычной гениальностью нащупал» здесь ту точку, которая *единственно лишь* (подчеркнуто мною.—Г. Л.) дает ключ к пониманию исторического Канта». Этот «единственно» правильный ключ приводит Меринга к следующим результатам. Во-первых, Меринг пишет \*\*: «Общественные интересы в национальном, политическом или социальном смысле никогда не существовали для Канта». Но уже через несколько страниц \*\*\* он говорит об отношении Канта к французской революции: «Он остался ей верен даже после террора; еще в 1797 году он говорил о ней: «...эта революция, утверждаю я, встречает в душах всех зрителей сердечное участие, близкое к энтузиазму». Это противоречие в жизни Канта может, разумеется, получить марксистское объяснение,—но только никак не с помощью того дополненного биографической психологией схематического анализа, которому Меринг подвергает классовые отношения в Германии в эпоху французской революции.

Этот пример именно своей яркостью типичен для недостатков меринговской методологии. Но его типичность не означает, конечно, что все работы Меринга таковы. Он дал ряд захватывающих и блестящих характеристик, в которых ему удалось, посредством марксистского анализа объективных общественных проблем, разрушить старые легенды, состряпанные с помощью биографически-психологического метода, и поставить на их место историческую истину. Укажем только в виде примера на его превосходный анализ переписки Гете с Шарлоттой фон Штейн: Меринг очень правильно и вполне по-марксистски показал, что веймарская «трагедия» Гете, его «бегство» в Италию не имеет ничего общего со знаменитой легендой о его «любовой трагедии», что в действительности оно было вызвано крушением планов буржуазного просветителя Гете, мечтавшего осуществить в веймарском масштабе свои общественно-политические идеалы посредством влияния на Карла-Августа. Удача Меринга в одном случае и неудача в другом тоже не случайна. По всем своим традициям Меринг был вполне способен проникнуть в иллюзии молодого Гете насчет «просвещенного абсолютизма», и марксистский метод помог ему тут дать превосходный анализ,—для марксистского же раскрытия противоречий Канта требовалась марксистская самокритика всех идеологических предпосылок буржуазной революции вообще и немецких форм ее проявления в частности, а такая самокритика никогда не была осуществлена Мерингом в полной мере.

Тут мы снова подошли к пункту, в котором обнаруживаются центральные ошибки меринговского метода,—на этот раз в области истории

\* *Mehring, Werke, VI, S. 60.*

\*\* Там же, стр. 61.

\*\*\* Там же, стр. 72.

литературы и литературной критики. Чрезмерное упрощение хода экономического развития, уже отмеченное нами у Меринга с указанием источников этого недостатка, должно было, разумеется, решительно повлиять на его оценку периодов и течений буржуазной литературы. Со времени Маркса и Энгельса не было, вероятно, ни одного немецкого марксиста, который так зорко наблюдал бы идеологический упадок немецкой буржуазии и подвергнул бы его такой неумолимой критике, как Меринг; ведь сознание этого упадка было, как мы знаем, одним из решающих мотивов, заставивших его примкнуть к рабочему движению. Однако изображение этого процесса упадка остается у него не только схематичным, слишком прямолинейным,—несмотря на отдельные исторически правильные замечания,—но и его анализ не выходит большей частью из идеологических рамок. Он анализирует, например, в «Легенде о Лессинге» эстетические проблемы в Германии в связи с классовой борьбой немецкой буржуазии и резко противопоставляет при этом Густава Фрейтага и его период Лессингу и его времени. Но вот как он характеризует этот переход: «Из сказанного видно также, как Фрейтаг перекочевывает из идеалистического века немецкой буржуазии в маммонистский». Эта периодизация страдает не только тем недостатком, что исходит из идеологического фактора, но она и сама по себе неправильна и поверхностна, ибо она идеализирует, с одной стороны, раннюю стадию развития немецкой буржуазии, а с другой—не замечает противоречивого стремления вперед, противоречивого прогресса, характеризующего «маммонистский» период. В этой своей основной схеме развития немецкой буржуазии Меринг настолько связан своими юношескими воззрениями, что он не способен понять и оценить те чрезвычайно ясные указания, которые дали Маркс и Энгельс для правильного понимания немецкой буржуазии и ее идеологии. В послесловии ко второму изданию «Капитала» Маркс остро анализирует те моменты экономического развития и классовой борьбы, которые—в разных странах, разными способами—уничтожили возможность беспристрастного экономического исследования и поставили на его место апологетику. Что именно здесь ключ к разгадке противоречий в развитии немецкой буржуазии, не подлежит ни малейшему сомнению. В каждом отдельном случае можно было бы ясно «специфицировать», где и по каким причинам происходит подмена науки апологетикой. Но так как Меринг исходил из своего юношеского—навеянного Лассалем—представления о «маммонистской» фазе развития немецкой буржуазии, то он и не мог дать здесь действительно конкретного анализа. Более того, идеализирование классического периода в Германии, и особенно идеализирование Шиллера (тоже общее у него с Лассалем), создает резкую противоположность между ним и Марксом—Энгельсом и в то же время вовлекает его в те же неразрешимые противоречия, какие мы отметили выше, говоря о его отношении к Канту.

Мы уже упомянули, что Меринг не включил в свое издание посмертных рукописей Маркса и Энгельса чрезвычайно важную статью молодого Энгельса о Гете. В своих «Эстетических разведках», он, правда, опубликовал некоторые места из нее, но лишь для того, чтобы полемизировать против них, особенно против взгляда Маркса и Энгельса на идеологию Шиллера как на «бегство», «которое в конце концов свелось к замене пошлого убожества экзальтированным». Не только в своем комментарии к этому месту, но и по другим поводам Меринг выступил очень резко против этого взгляда. В своей статье «Шиллер и великие социалисты» он говорит \*, что в борьбе Маркса и Энгельса против Грюна и К° (статья Энгельса представляет собой критический разбор биографии Гете, написанной «истинным социалистом» Грюном) они «недооценили самого Шиллера...» Наоборот, Лассаль «относится к нему с меньшей предвзятостью... он проводит грань между Шиллером и его буржуазными комментаторами». А вот что говорит Меринг в другом месте \*\* об эстетических статьях Шиллера, совершенно в духе своего представления об идеалистическом и «маммонистском» периоде немецкой буржуазии: «Шиллер и здесь делает все выводы из буржуазного естественного права, и не его вина, если это право на полпути затерялось в капиталистической прибыли и знать ничего не хочет о «государствах будущего», где сможет развернуться «свободный рост человечности». Этот взгляд на Шиллера не только ложен сам по себе, ибо основан на непонимании и идеализировании классовой борьбы буржуазии во времена Шиллера, но он впутывает кроме того Меринга в неразрешимые противоречия в его оценке роли Шиллера. Мы уже видели при разборе эстетических вопросов, что основное эстетическое воззрение Меринга, опирающееся на эстетику Канта, связано с признанием, что эта эстетика носит характер бегства. И поэтому Меринг вынужден—в неразрешимом противоречии со своим общим взглядом на Шиллера, со своей лассальянской защитой Шиллера против критики Маркса и Энгельса,—местами капитулировать перед взглядом Маркса. Так, он пишет в конце своей биографии Шиллера \*\*\*: «Нельзя смешивать эстетически-философский идеализм Шиллера с исторически-философским идеализмом Фихте и Гегеля. Шиллер бежал из ограниченной затхлой жизни в царство искусства, тогда как Фихте смелым порывом мысли хотел освободить эту жизнь от всего ограниченного и затхлого. Фихте открыто проповедовал атеизм, право на революцию, равенство всех людей, то равенство, которое Шиллер допускал только в царстве эстетической видимости. И точно так же Гегель не бежал от современности, но, на-

\* *Mehring, Schiller und die grossen Sozialisten*, «Neue Zeit», XXIII, II, SS. 154—155; наст. изд. т. I, стр. 707.

\*\* *Mehring, Werke*, II, S. 245; наст. изд. т. II, стр. 448.

\*\*\* Там же, I, стр. 265—266; наст. изд. т. I, стр. 699.

оборот, старался понять ее в ее основных идеях и завоевал своей исторической диалектикой многочисленные области мысли. Шиллер смеялся над Фихте как над «исправителем мира; но тем более основательной и меткой была критика, которой великий идеалист Гегель подвергнул идеализм Шиллера». В другой статье о Канте и Марксе Мering заходит даже уж слишком далеко, усматривая в шиллеровском развитии философии Канта в противоположность фихтовскому предвещание шопенгауэровского филистерства,—что столь же преувеличено в другую сторону, как и прежнее идеализирование Шиллера.

Представление Меринга о «маммонистском» периоде немецкой буржуазии мешает ему также правильно понять противоречивое развитие немецкой литературы после революции 48 года. А между тем, Фридрих Энгельс \* в послесловии к третьему изданию своей «Крестьянской войны» (изданной впоследствии Мерингом) весьма ясно показал, где следует искать разрешение противоречий этого периода. Энгельс говорит там о «бонапартистской монархии», в которую развилась прусская королевская власть. Он отсылает к своему анализу в «Жилищном вопросе» и продолжает: «Что там я мог и не подчеркивать, но что здесь весьма существенно..., этот переход был *крупнейшим шагом вперед*, сделанным Пруссией с 1848 года; настолько Пруссия отстала от новейшего развития. Это было все еще полуфеодальное государство, а бонапартизм есть во всяком случае новая государственная форма, имеющая своей предпосылкой упразднение феодализма». Этот переход не был правильно понят немецким рабочим движением того времени, и как Швейцер, так и Либкнехт с Бебелем впали в ошибки, хотя и противоположные, при оценке этого развития. И если Меринг, как историк немецкого рабочего движения, не был в состоянии правильно понять это развитие и дать правильную марксистскую критику ошибок, сделанных с обеих сторон, то совершенно так же не сумел он правильно изобразить этот поворот и в литературе. В своих «Литературно-исторических разведках» (1900) он подробно разбирает историю литературы Адольфа Бартеляса, нынешнего литературоведческого классика немецкого фашизма, и особенно останавливается на его оценке Геббеля как крупнейшего поэта в период после 48 года. Бартельс характеризует этот период, период Геббеля и Отто Людвига, как «серебряный век» немецкой литературы. Он возражает против взгляда, что это был период реакции, указывает на большой хозяйственный подъем, с которым связан литературный расцвет этого времени, и конструирует этот период как период возвращения к искусству. Меринг правильно чувствует \*\*, что тут перед нами «странная смесь истины и ошибок», но, поскольку он не подвергнул основной характер рассматриваемого

\* Engels, Der deutsche Bauernkrieg, «Elementarbücher», VIII, S. 165.

\*\* Mehring, Werke, II, S. 18.

периода марксистскому анализу, он сам впадает в те же противоречия, что и Бартельс, которого он так метко критикует в отдельных пунктах.

Меринг дает, во-первых, всей этой эпохе ничего не говорящее общее название «послереволюционного периода», а во-вторых, он не в состоянии, несмотря и тут на весьма меткие отдельные замечания, подойти с действительно марксистским анализом к сложной личности Геббеля. Он не идет дальше механического сопоставления «хороших» и «дурных» сторон Геббеля, его большого поэтического дарования и политической реакционности. Но даже и этот реакционный характер Геббеля он умеет правильно проанализировать только там, где он проявляется с откровенной тенденциозностью (Агнес Бернауэр). Вообще же он приходит \* к крайне расплывчатой и почти апологетической формулировке: «Решающим пунктом при этом является то, что Геббель так же плохо понимал революцию, как и контрреволюцию». Таким образом,—если позволить себе эту шутовскую формулировку,—поэтическое величие Геббеля сказывается в том, что он стоял *ниже* классовой борьбы своего времени, как Мольер (см. выше) стоял *выше* этой борьбы. Тут сказывается та же ограниченность Меринга как историка идеологии, с которой мы уже столкнулись, когда говорили об его отношении к Ницше. Эта ограниченность заключается в том, что Меринг способен понять классовый интерес и, значит, классовую идеологию только в их *прямом* выражении. Сложный ход неравномерного развития остается скрытым от него. Поэтому он не понимает, что прочное влияние Геббеля на немецкую буржуазию, продолжающее и сейчас еще возрастать, основано на том, что Геббель был первым немецким поэтом, совершившим в большом стиле переход от гегелевской буржуазно-революционной конструкции истории (ее последним поэтическим отзвуком был «Зикинген» Лассалля) к мифически-иррационалистической историософии, как основе трагедии; и что поэтому Геббель, несмотря на его политическую наивность в отдельных вопросах, метко вскрываемую Мерингом, поэтически оформил, далеко опередив свое время, главное течение идеологического развития немецкой буржуазии.

Противоречивый характер перерастания Пруссии в «бонапартистскую монархию» порождает противоречия в творческой личности Геббеля: он в одно и то же время предшественник мелкобуржуазно-революционной критики общественного строя у Генриха Ибсена и империалистического «неоклассицизма» немецкой драмы (Пауль Эрнст, Вильгельм фон Шольц и т. д.), получившего действительное признание лишь в фашистской Германии. У Меринга слишком тонкое чутье, чтобы он мог не почувствовать этих противоречий; он находится под обаянием крупного поэтического дара Геббеля и вместе с тем критикует его реакционную идеологию. Он видит даже историческую связь и одновременно контраст

\* *Mehring, Werke, II, S. 42.*

между «Зикингеном» Лассалья и «Гигесом» Геббеля. Только и этот контраст он понимает индивидуально, психологически. «К сожалению, Геббелю,—говорит он \* о «Гигесе»,—при всей отличавшей его хитроумной диалектике, недоставало революционной диалектики, чтобы развить эту (лассалевскую—Г. Л.) коллизацию». И он вставляет очень интересное замечание: «Вот почему не лишено известного смысла, что Бартельсу и Мейеру «Гигес» напомнил не глубокую революционную правду революционера Лассалья, а некоторые выражения реакционера Бисмарка, которые он пускал в ход, чтобы выпутаться из затруднительного положения: так, Бартельсу «Гигес» напомнил «*quieta non movere*» (не приводи в движение того, что пребывает в покое), Мейеру—слово Бисмарка об «*Imponderabilia*» (невесомые, идеальные величины). Здесь, как повсюду, где Меринг сталкивается с влиянием бисмарковского периода «бонапартистской монархии» на немецкую литературу (например, при разборе эстетиков натурализма), он резко и справедливо полемизирует против плоских апологетов бисмарковщины, но его полемика все-таки остается узкой и ограниченной (почти столь же ограниченной, какой была в свое время политическая критика Вильгельма Либкнехта), потому что он не понял противоречивой исторической необходимости бонапартистской монархии. Энергичная борьба против бисмарковского режима принадлежит к лучшим сторонам его буржуазно-революционной традиции, и поэтому он безмерно возвышается над социал-демократическими «понимателями» и хвалителями того времени, появившимися в таком множестве в последние годы. Однако его борьба остается односторонней, недиалектичной. Поэтому и в вопросе о Геббеле он может спастись только бегством в царство «чистого искусства», за которое он так порицает Бартельса. Вот его заключительные слова о «Гигесе»: «Однако перед богатством блеска и красоты, проникающих эту пьесу, критика охотно умолкает; пока будет существовать немецкая литература, она будет считать эту трагедию одной из своих драгоценностей».

Схематическое упрощение экономических основ проявляется у Меринга еще яснее в его отношении к романтике. Меринг сводит здесь весь вопрос к противоположности феодальной романтики и буржуазно-прогрессивных течений, догматически усваивая в этом пункте традицию передовых буржуазных критиков романтики 30-х и 40-х годов, вплоть до младегегельянцев. Он является таким образом самым резким противником марксова взгляда на романтику. Маркс еще в свой юношеский период \*\*

\* *Mehring, Werke, II, S. 48; наст. изд. т. II, стр. 170.*

\*\* Маркс о Гюго, Сочинения, I, стр. 209 и сл.; о Шатобриане в письмах к Энгельсу от 26 октября 1854 г., там же, XXII, стр. 61 и сл., и от 30 ноября 1873 г., там же, XXIV, стр. 425; о Бруно Бауэре и романтике в письме от 18 января 1856 г., там же, XXII, стр. 108 и сл. По всему этому вопросу см. превосходную главу о Марксе и романтике в книге Лифшица «К вопросу о взглядах Маркса на искусство», стр. 45 и сл.



(в своей критике Гюго) вскрыл идеологические соединительные звенья между романтикой и XVIII веком и впоследствии (в своих письмах с критическими замечаниями о Шатобриане) мастерски проследил дальше эту связь. В то же время он с самого начала не только занял в своей борьбе против романтики совсем другую, гораздо более глубокую и дальновидную позицию, чем младогегельянцы, но и вскрыл с замечательной проницательностью романтический элемент в их собственной критике романтики. Этот взгляд на романтику, как на буржуазное, а не феодальное течение, основан у Маркса на его глубокой и правильной, конкретной и многосторонней характеристике развития капитализма, в частности перехода феодального землевладения в капиталистическое. Уже в «Новой рейнской газете» \* Маркс пишет о развитии Германии: «В Германии борьба между централизацией и федеративным началом была борьбой между культурой нового времени и феодализмом. В Германии водворилось господство обуржуазившегося феодального строя в тот самый момент, когда образовались великие монархии на Западе». В таком же духе пишет Энгельс о последствиях крестьянской войны \*\*: «Капиталистический период начался в деревне как период крупного сельскохозяйственного владения на основе крепостного барщинного труда». Этими выводами из своих исследований Маркс и Энгельс наметили ту линию, по которой впоследствии Ленин, гениально развив их учение, пришел к теории «прусского пути» капиталистического развития. Из этого экономического воззрения с необходимостью вытекает взгляд на романтику как на буржуазное направление, как на группировку внутри буржуазии, в которую экономически превращается все более капитализирующееся феодальное землевладение, несмотря на его реакционные тенденции в политике и на сохранение феодальных форм эксплуатации.

Для Меринга чрезвычайно характерно, что он принимает к сведению эти экономические выводы Маркса и Энгельса и местами даже сам их использует, например, когда он говорит \*\*\*, что в остальбской Пруссии «феодальный землевладелец превращается в товарпроизводящего помещика». Но это остается у Меринга случайным правильным констатированием исторического факта и не проникает в его методологию, несколько не изменяет схемы его очерка идеологических течений. И даже там, где Меринг правильно наблюдает идеологические последствия того факта, что землевладение уже капитализируется, но еще остается феодально-патриархальным, он оставляет это наблюдение неиспользованным. При этом весьма наивно сохраняется даже его обычная схема—

\* В издании Меринга, Nachlassausgabe, III, S. 94.

\*\* Engels, Die Mark, «Elementarbücher», VIII, S. 150.

\*\*\* Mehring, Nachlassausgabe, III, S. 28.

прославление более отсталой, более «идеалистической» фазы в ее недialeктичном противопоставлении фазе более развитой и более капиталистической. Поэтому он может в своей «Легенде о Лессинге» говорить в романтически восторженном тоне о симпатии Лессинга к восточно-померанским юнкерам, не имея ни малейшего понятия о диалектике их положения. «Дворянство Восточной Померании,—пишет Меринг \*,—в противоположность дворянству Передней Померании, не было наиболее плохой разновидностью человеческого рода,—оно жило бедно и скромно, больше походило на крестьян, чем на помещиков, более патриархально обращалось с крепостными и не так эксплуатировало их; оно обладало не столько пороками, сколько добродетелями господствующего класса; поэтому вполне понятно, что Лессинг, скучавший среди берлинских мещан и оскорбляемый лейпцигскими денежными мешками, находил большое удовольствие в обществе Клейста или Тауэнцина из Кашубы, у которых не было ничего, кроме чести, шпаги и жизни, которые ежедневно ставили на карту свою жизнь и которые скорее готовы были сломать шпагу, чем запятнать свою честь». И он даже прибавляет, переходя к современности: «Восточно-померанские юнкера «Kreuz-Zeitung» в смысле честного боевого мужества, рыцарского настроения стоят несравненно выше наемных капиталистических писак из «Фоссовой газеты». И даже там, где противоречия этого класса выступают наиболее резко, при характеристике прусского генерала Йорка, участника наполеоновских войн, он почти совершенно не замечает исторической диалектики, не замечает, что эти люди критикуют и ненавидят капитализм с отсталой точки зрения, что их союз с более передовыми классами или их представителями возможен лишь в виде исключения, лишь в неразвернувшихся условиях, лишь при таком строе, который для передовой буржуазии является экономически и социально уже превзойденной ступенью. Если сравнить это некритическое сочувствие Меринга к какому-нибудь Клейсту или Тауэнцину с тем, как Балзак описывает гораздо более близких его сердцу старых вандейских борцов дю Геника или д'Эсгригона, то сразу станет ясно, насколько диалектичнее этот великий реалист изобразил—инстинктивно, вопреки своим политическим убеждениям—всю эту ситуацию, чем находящийся в плену у своей схемы Меринг.

Так все изображение романтики не выходит у Меринга за пределы этой застывшей и пустой антитезы. А там, где он пытается несколько конкретизировать проблемы романтики, он не идет дальше описания внутренних антагонизмов, которые были вызваны борьбой против Наполеона с ее безнадежно запутанным клубком прогрессивных и реак-

\* Lessinglegende, SS. 300—301; наст. изд. т. I, стр. 366.

ционных тенденций. При этом он, во-первых, забывает, что большая часть основных категорий романтики (романтическая ирония и т. д.) возникла до освободительных войн и их проблем, как идеологическое следствие из общеевропейских сдвигов, вызванных термидорианским этапом, Великой французской революции. А во-вторых—и это главное—он совершенно забывает о романтике как об общеевропейском духовном течении, не обращает никакого внимания на ее наиболее передовые формы, на английскую и французскую романтику.

Это приводит нас ко второму главному возражению, которое Энгельс сделал против меринговской «Легенды о Лессинге». Он требует \*, чтобы Меринг изобразил «местную историю Пруссии, как часть общенемецкого убожества». И, развивая эту мысль, он дает очень ясное методологическое указание: «При изучении немецкой истории, которая ведь представляет собой одно сплошное убожество, я всегда находил, что лишь сравнение с соответствующими французскими эпохами дает в руки надлежащий масштаб, потому что там происходит как-раз обратное тому, что у нас». И он набрасывает далее сжатый обзор этих необходимых для исторического понимания контрастов между немецкой историей и французской,—метод, который всегда применялся Марксом с огромной энергией в его передовых статьях в «Новой рейнской газете». Эти критические соображения Энгельса прошли мимо Меринга совершенно бесследно. Несмотря на его универсальную начитанность во всех европейских литературах, Меринг всегда рассматривает историю немецкой литературы с узкой, чисто немецкой, провинциальной точки зрения. И оттого, что он оставил без внимания энгельсовскую критику, его изображение немецкого убожества, к которому он то и дело возвращается, часто страдает схематичностью; оно вырождается в простую «социологию» быта в маленьких немецких государствах и городах, отнюдь не охватывая во всей широте тех проблем, которые составляли особенность капиталистического развития в Германии начиная с XVI века и которые неоднократно излагались с таким блеском Марксом и Энгельсом.

Этот провинциализм, находящийся в теснейшей связи со всей идеалистической эстетикой Меринга, привел к тому, что в его истории литературы оставлен без всякого внимания великий революционный реализм Англии и Франции,—и это несмотря на то, что Мерингу из его занятий Лессингом, Гете и т. д. было отлично известно, какое решающее влияние оказал этот реализм на духовное развитие Германии, до какой степени немецкий реализм был только его ослабленным отзвуком. А когда Меринг и заговаривает о западных реалистах, он прямо-таки извращает всю

\* Цитируется в предисловии Меринга к «Крестьянской войне», «Elementarbücher», VIII, S. 179.

историческую и эстетическую перспективу. В этом отношении чрезвычайно характерно следующее место из его статьи о Зола \*: «Натурализм Руссо и Дидро, как и Бальзака и Золя, имеет, несомненно, общую тенденцию: это бегство искусства из состояния общественного вырождения, возвращение в спасительные «объятия природы». Нам кажется, что наши слова об «извращении перспективы» слишком слабы для обозначения взгляда, который не признает, что Шиллер бежал от действительности, а для Дидро и Бальзака считает это бегство доказанным. Правда, Меринг делает различие между Руссо и Дидро, с одной стороны, и Бальзаком и Зола—с другой. «Те искали спасения от общественной гнили феодализма у природы, т. е. у буржуазного общественного строя, тогда как эти ищут спасения от общественной гнили капитализма, не зная, где его найти. Поэтому те, несмотря на все, были оптимистами, эти же—пессимистами». Не будем здесь останавливаться на той чрезмерной смелости, с какой Франция Дидро и Руссо без обиняков называется феодальной. Но характеристика Бальзака как «пессимиста» стоит примерно на том же уровне, что и представление буржуазных историков политической экономии (например, Жюста или Риста), зачисляющих в пессимисты Рикардо.

На несравненно более высоком уровне стоит Меринг в своем изображении и критическом разборе натуралистического движения в Германии. Здесь, где он принимал непосредственное участие в современных литературных боях, его инстинкт борца проявлялся свободнее. К тому же его сравнение натуралистической «революции в литературе» с поэтическими отзвуками Великой французской революции в Германии было относительно правильной и во всяком случае здоровой и трезвой реакцией против неумеренных поклонников немецкого натурализма. Кроме того Меринг сам пережил появление в литературе международных предшественников немецкого натурализма—французских, скандинавских, русских, и уже его положение театрального критика вынуждало его к интернационализму, к тому, чтобы измерять немецкие произведения масштабом соответствующих заграничных течений. К этому присоединяется еще,—отчасти как лично-биографический мотив,—что Меринг в своей борьбе против коррупции печати ввязался в ожесточенную распрю с рядом буржуазных поклонников натурализма, бывших в то же время соучастниками и защитниками этой коррупции (Отто Брам и другие ученики Шерера). Во всяком случае Меринг дает уже в своей брошюре «Капитал и печать» прекрасную и четко дифференцированную критику немецкого натурализма. Разоблачив превозносившийся тогда роман Теодора Фонтана «*Irrungen, Wirrungen*», как неуклюжую апологетику капитализма, и справедливо осмеяв Пауля Шлентера за его сравнение

\* *Mehring, Werke*, II, S. 306; наст. изд. т. II, стр. 246.

этого романа с «Коварством и любовью» Шиллера, он затем сопоставляет немецкий натурализм с более крупными реалистами—Зола, Ибсеном и Толстым. В самом немецком натурализме он различает \* два направления. Одно коренится «в демократической и социальной почве... стремится по-своему к честности и правде; оно хочет видеть вещи так, как они есть, но все же видит их однобоко, потому что не умеет почувствовать в сегодняшних бедствиях завтрашнюю надежду. Оно достаточно смело и правдиво, чтобы изображать преходящее так, как оно есть, но его судьба—ныне (1891 год.—Г. Л.) еще неизвестная—зависит от того, найдет ли оно в себе высшую смелость и высшую правдивость, чтобы изображать также и возникающее, то, что должно появиться и уже является каждый день... Наоборот, другое направление целиком укоренено в капиталистической почве. От Линдау, Вихерта и К° оно отличается лишь по степеням, но отнюдь не по своему характеру; оно есть лишь усиленное проявление капиталистического духа...» В соответствии с этой своей установкой Меринг выступает тонким защитником радикальных тенденций в первый период натурализма. Он справедливо заступает за «Ткачей» и «Бобровую шубу» Гауптмана против его формалистических критиков и т. д. И лишь тогда, когда внутренняя пустота, апология капитализма открыто берут верх во всем натуралистическом течении, в особенности же после перехода натурализма к возрождению романтики, Меринг обрушивается на эту новейшую литературу с ядовитыми и меткими сарказмами. Правда, и здесь, несмотря на справедливость его критики почти во всех отдельных пунктах, сказывается его основной недостаток. Он осуждает новейшие литературные течения, но он не в состоянии вскрыть их социальные корни. Подобно тому, как другие вожди левого крыла германской социал-демократии поздно заметили наступление империалистического периода и никогда не сумели правильно и до конца его понять,—так и Меринг не сумел распознать характерные и специфические черты в немецкой литературе империалистического периода.

## VII

### Меринг и Фрейлиграт

Как мы могли убедиться, ознакомившись с методологией и практикой Меринга, критика Энгельса прошла мимо него без всякого влияния. Во всей своей деятельности, как теоретик, историк и критик, Меринг отстаивал свою «самостоятельную» линию против Маркса и Энгельса весьма последовательно,—правда, со всеми непоследовательностями и противоречиями, свойственными этой линии. Известно, что в истории рабочего движения это ставило его во все более резкую противополож-

\* Kapital und Presse, SS. 131—132.

ность к Марксу и Энгельсу. За «спасением» Лассалья последовало таковое же Швейцера, а затем даже Бакунина. Сам Меринг считал, что он восстанавливает этим историческую справедливость. Он думал, что продолжает этим то дело, которое он издавна делал по отношению к буржуазной историографии, разрушая исторические легенды, «спасая» исторические личности, оклеветанные легендой. Это и в самом деле составляло ценную часть его буржуазно-революционных традиций. Меринг был в этом отношении сознательным преемником Лессинга, и в деле разрушения прославляющих и опорочивающих легенд его заслуги весьма значительны. Но когда он перенес эту же точку зрения в историю рабочего движения, его метод превратился в метод исторического спасения определенных оттенков оппортунизма, особенно того оппортунизма, который возник вследствие сохранения традиций радикально-буржуазной идеологии. Из всего вышеизложенного достаточно ясно, что со своим «спасением» Шиллера Меринг преследовал ту же цель в эстетике и истории литературы, что и со «спасением» Лассалья в истории социал-демократии. Смесь анархистской «свободы мысли» и механически бюрократического контроля в германской социал-демократии вызвала на левом крыле партии оппозицию, которая не смогла однако—как во всех прочих вопросах—подняться до правильной, большевистской точки зрения «партийности», а выразилась как-раз в отмеченной выше «самостоятельности» Меринга по отношению к Марксу и Энгельсу. Что Меринг был тут не одинок, показывает рецензия Розы Люксембург на его биографию Шиллера. Она называет \* эту книгу «высоко отрадным даром немецкому рабочему классу, получившему теперь свободное как от буржуазно-тенденциозных, так и от партийно-тенденциозных извращений изображение великого поэта».

Эта ложная позиция немецкой левой находится в теснейшей связи с ее неспособностью последовательно провести в теории и практике свою правильную и законную полемику против идеологического и стратегического, тактического и организационного оппортунизма II Интернационала,—как это удалось сделать большевикам под руководством Ленина. Тот особенный оттенок, который представляет при этом Меринг, нам уже известен. Как в области истории партии в центре этого устремления стояло «спасение» Лассалья, так в центре деятельности Меринга, как историка литературы, стоит — наряду со «спасением» Шиллера—«спасение» Фрейлиграта. И именно в этом отношении к Фрейлиграту все слабые стороны Меринга — его неспособность ликвидировать свое собственное буржуазно-демократическое прошлое — проявляются наиболее ярко, настолько ярко, что Меринг не ограничился тут совершенно

\* Рецензия Розы Люксембург на меринговскую биографию Шиллера, «Neue Zeit», XXIII, II, S. 163.

ложным, прикрашивающим истолкованием образа Фрейлиграта, но пошел дальше и, как издатель Маркса и Энгельса, не пропустил целого ряда их важных высказываний об этом поэте, чтобы создать видимость, будто его собственный взгляд на Фрейлиграта не противоречит взгляду Маркса и Энгельса. Так этот разрушитель стольких буржуазных исторических легенд сам создал новую историческую легенду: легенду о революционном поэте Фрейлиграте, который с момента своего сближения с революционным движением последовательно развивался дальше, оставался революционером до конца своих дней и, несмотря на мимолетные личные трения с Марксом и Энгельсом, навсегда остался их другом и соратником. Мы остановимся несколько подробней на этой легенде о Фрейлиграте, потому что в ней обнаруживаются самые крайние и самые опасные выводы из всей позиции Меринга и потому что она находится, как мы увидим, в глубочайшей связи с теми его ошибочными взглядами, которые мы разобрали выше. Рассмотрим же вкратце отдельные моменты этой легенды.

По взгляду Меринга, Фрейлиграт является в своей первой революционной книге стихов «*Ca ira*» (1846) последовательно революционным поэтом. Мерингу было известно, что Маркс и Энгельс не только были на этот счет иного мнения, но и ясно высказали свой взгляд в одной статье («Истинные социалисты», 1846). Меринг знал эту в то время еще неопубликованную статью, но не включил ее в свое издание. Он находит \*, что она не имеет «особого значения»; Маркс и Энгельс, говорит он, «увлеченные только что достигнутой ими полной ясностью мысли, слишком подчинили свой эстетический вкус своим экономическим и политическим воззрениям». И в другом месте \*\*: «При этом они упустили из виду, что поэт имеет право говорить на собственном языке, который по своей логической четкости не может и не должен равняться с научным». Каков же в действительности этот критический отзыв Энгельса, который Меринг так резко порицает за его антихудожественную тенденцию? В основном он сводится к тому, что Энгельс подробно приводит \*\*\* содержание и структуру стихотворения «Как это делается?» Пролетарии голодают и ходят в лохмотьях. Одному «удалому малому» приходит в голову, что в цейхгаузе можно найти одежду. Толпа идет туда, все надевают мундиры, а когда «удалому малому» опять приходит в голову, что на эту «шутливую проделку» могут взглянуть как на грабеж и бунт, люди вооружаются. Вооруженная толпа наталкивается на войско «порядка». Генерал приказывает стрелять, но солдаты восстают, народ присоединяется

\* *Mehring*, Marx u. Freiligrath in ihrem Briefwechsel, 1912, «*Neue Zeit*», *Ergänzungsheft*, XI, S. 7.

\*\* *Mehring*, *Werke*, I, SS. 340—341.

\*\*\* *Энгельс*, *Истинные социалисты*, *Сочинения*, IV, стр. 573.

к ним, революция победила. «Надо признаться,—резюмирует Энгельс,—что нигде революции не делаются так весело и непринужденно, как в голове нашего Фрейлиграта». Очень несправедливо «усматривать в такой невинной загородной прогулке государственную измену». И Энгельс показывает далее чрезвычайно ясно, как это представление Фрейлиграта о революции, совершенно в духе «истинных социалистов», повлияло на весь тон его стихов, на его поэтическую форму. «Вся эта песня,—говорит Энгельс о другом стихотворении из того же тома, написанном Фрейлигратам на мотив марсельезы («Перед отъездом»),—выдержана, впрочем, в таких идиллических тонах, что, несмотря на размер, ее удобнее всего петь на мотив: «Эй, матросы, поднимайте якоря!»

Итак, первая глава легенды о Фрейлиграте заключается в замазывании того факта, что Фрейлиграт был одно время «истинным социалистом». А объяснение Меринга; почему критика Энгельса не имеет «особого значения», показывает, что это историко-политическое «спасение» Фрейлиграта теснейшим образом связано с уже разобранными нами эстетическими принципами Меринга, с его канто-шиллеровским взглядом на отношение формы и содержания.

Вторую главу той же легенды составляет вопрос об отношении Фрейлиграта к борьбе направлений в эмиграции. Мы не можем здесь описывать это движение во всех его этапах. Его сущность заключалась в том, что в процессе дифференциации, происходившем в Германии и среди эмигрантов, и при окончательном размежевании пролетарской и буржуазной демократии в Германии значительная часть буржуазных демократов переродилась в контрреволюционных национал-либералов, причем одни из них сделали агентами Бонапарта (Фогт), другие перешли в лагерь Бисмарка. Фрейлиграт занимал в этой борьбе сначала колеблющуюся позицию, но со временем докатился до открытого ренегатства. Письма Маркса и Энгельса, относящиеся к этому периоду, содержат в себе подробную политическую критику этой эволюции Фрейлиграта. Эти письма Меринг не только не включил в свое издание переписки Маркса с Фрейлигратам, но и не противодействовал, а может быть даже способствовал, тому, чтобы они были целиком исключены из издания переписки, опубликованного Бебелем и Бернштейном.

Мы не можем, к сожалению, за недостатком места сопоставить отдельные комментарии Меринга к конфликтам между Марксом и Фрейлигратам с подлинными высказываниями Маркса и Энгельса. Приведем лишь несколько примеров, чтобы показать как политическое содержание этих конфликтов, так и метод историографии, которого придерживался в этих случаях Меринг. Когда в 1858 году жена национал-либерального поэта Кинкеля лишила себя жизни, Фрейлиграт написал и публично прочел стихотворение, в котором оплакивал ее смерть, как общее горе «осиротевшей» эмиграции. Маркс очень резко упрекнул его



за это. Меринг пишет по этому поводу \*, что «Маркс справедливо порицает Фрейлиграта за то, что он дал умолкнуть в себе всем вопросам и сомнениям перед лицом смерти. Но это еще отнюдь не значит, что он содействовал политическому культу Кинкеля, и было бы неправильно из его стихотворения на смерть Иоганны Кинкель заключать, что он как-нибудь уклонился вправо». А вот что пишет Маркс об этом стихотворении Энгельсу \*\*: «Фрейлиграт, повидимому, думает, что супруг Кинкель стал великим или по крайней мере благородным человеком оттого, что супруга Кинкель свернула себе шею. Кинкель устроил похороны так мелодраматически, с «дрожанием рук», с «лавровым венком» и пр., что Фрейлиграт, не сумевший найти в своей лире ни одного скорбного звука при «трагических» событиях,—будь то в собственной партии (смерть Даниэльса) или вообще на свете (Кайена, Орсини и т. д.),—вдруг начинает воспевать эту жалкую чепуху». А в одном из дальнейших писем \*\*\* он ругает Фрейлиграта за то, что его новый том стихов «заканчивается стихотворением на Иоганну Мокель,—стихотворение же *против* Кинкеля (написанное в начальный период эмиграции.—Г. Л.) он придержал. Просто свинство. Все его извинения по этому поводу я выслушал с весьма скептической миной. Чорт бы побрал весь этот поэтический цех!» Такой же характер носило участие Фрейлиграта, опять-таки совместно с Кинкелем, в шиллеровском юбилее в 1859 году. Еще ярче проявилось ренегатство Фрейлиграта во время борьбы Маркса против Фогта, когда последний был разоблачен в качестве бонапартистского агента. Фрейлиграт совершенно открыто отходит от Маркса, публично заявляет, что он не имеет с этим делом ничего общего, отказывается дать показания даже в тех случаях, когда ему известны определенные факты. И в то же самое время Фрейлиграт позволяет национал-либеральным писателям льстиво превозносить его, как великого поэта, и не возражает даже против таких биографических «славословий», что будто влияние Маркса в период «Новой рейнской газеты» было вредно для его поэтического развития (статья Беты в «Gartenlaube»). В своем комментарии ко всем этим конфликтам Меринг сводит их \*\*\*\* к психологическим особенностям Маркса и Фрейлиграта: «Фрейлиграт был революционером в силу политической интуиции, а Маркс—в силу глубочайшего проникновения в историческое развитие общества и государства». Конфликт обострился вследствие того, что «Фрейлиграт занял по отношению к буржуазно-демократическим эмигрантам более примирительную позицию, чем Маркс. Последний был настолько страстным политиком, что его политические

\* *Mehring, Marx und Freiligrath*, SS. 54—56.

\*\* Маркс—Энгельсу от 11 декабря 1858 г., Сочинения, XXII, стр. 370.

\*\*\* Маркс—Энгельсу от 7 июня 1859 г., там же, стр. 418.

\*\*\*\* *Mehring, Marx und Freiligrath*, SS. 54—56.

противники были для него и лично невыносимы... Фрейлиграт же в позднейшие годы своего лондонского изгнания мирно общался с ними (Кинкелем, Руге и пр.—Г. Л.), как и с другими буржуазными демократами». Но, по мнению Меринга, это вовсе не является «переходом на сторону буржуазной демократии, потому что это общение продолжалось и тогда, когда Руге перешел к Бисмарку» (?!—Г. Л.), Политическая сторона этой позиции Меринга едва ли нуждается в комментарии. Напомним только еще раз о наших замечаниях по поводу биографически-психологического метода Меринга, чтобы и здесь подчеркнуть связь между его методом и его политикой.

Третью и, пожалуй, труднейшую главу легенды о Фрейлиграте составляют стихи, написанные Фрейлигратом после его возвращения в Германию в честь войны 70 года. Меринг сам чувствует \*, что здесь «на память Фрейлиграта... падает легкая тень». Тем не менее он берется защищать \*\* и этот период в жизни Фрейлиграта: «С этим периодом связан миф, будто он изменил идеалам и убеждениям своей жизни и примирился с великолепием новой германской империи». И Меринг ополчается против этого «мифа» со следующими аргументами. Во-первых, заявляет он, Фрейлиграт написал бы эти стихи о войне 70-го года и в том случае, если бы «продолжал еще жить изгнанником в Англии,—совершенно так же, как он в 1859 году написал кантату в честь Шиллера, хотя и попал из-за этого в компанию, довольно-таки для него неприятную». Меринг защищает здесь Фрейлиграта от упрека, которого никто ему не делал,—от упрека в том, что он был как-нибудь подкуплен бисмарковской Германией; и признание, что между шиллеровской кантатой от 1859 года и стихами «Ура, Германия» и т. д. есть какая-то внутренняя связь, очень важно и ценно для нас как невольное признание самого Меринга. Во-вторых, он говорит, что «с таким же правом, с каким Энгельс назвал однажды освободительную войну 1813 года «полуповстанческой войной», можно войну 1870 года назвать «полуреволюционной войной». И в-третьих, здесь снова появляется на сцену уже достаточно известный нам «эстетический» принцип Меринга: «Эта прекраснейшая сторона войны 1870 года нашла в стихах Фрейлиграта свое наиболее законченное выражение... Они составляют прочное достояние нашей литературы, как бы плачевно ни рухнули все надежды на «духовно свободную Германию», так красноречиво выраженные в них». Этой апологии Меринга мы противопоставим без всякого комментария краткую, презрительную критику Маркса в одном из его писем\*\*\* (это место тоже не попало в «переписку», изданную Бернштейном и Мерингом): «Фрейлиграт: «Ура, Германия!» В этом вымученном стихотворении не обошлось также без «бога» и без «галла».

\* *Mehring*, Werke, I, S. 337.

\*\* *Mehring*, Marx und Freiligrath, SS. 52—53.

\*\*\* Маркс—Энгельсу от 22 августа 1870 г., Сочинения, XXIV, стр. 389.

Я бы предпочел быть котенком и кричать «мяу», чем таким рифмо-плетом!»

Историческую правду против легенды о «монолитно-революционном» поэте Фрейлиграте, от «Сага» до «Ура, Германия», Маркс формулировал сжато и метко в одном письме к Фрейлиграту \*, в котором он оценивает вышеупомянутую критическую статью из «Gartenlaube» (легшую в основу позднейших буржуазных изображений Фрейлиграта). Маркс пишет: «Если уж кто хочет *ошибочно* приписать мне какое-нибудь влияние на тебя, то оно могло бы в крайнем случае относиться лишь к краткому периоду «Новой рейнской газеты», когда ты написал великолепные и, бесспорно, популярнейшие твои стихи». Историческая правда, стало быть, в том, что Фрейлиграт, увлеченный в острый период революции общим подъемом и испытавший на себе влияние Маркса, пережил революционную *стадию развития*. До того он был «истинным социалистом», а после постепенно превратился в либерального ренегата революции.

Сказанным, однако, еще не исчерпывается меринговская легенда о Фрейлиграте. В переписке Маркса и Фрейлиграта затрагивается и проблема партии в связи с вопросом о партийной принадлежности Фрейлиграта, и Меринг судорожно пытается сконструировать и здесь внутреннее согласие между Марксом и Фрейлигратом. Маркс называет недоразумением \*\*, «будто под «партией» я разумею какой-то умерший восемь лет назад «союз» или редакцию закрывшейся двенадцать лет тому назад газеты. Под партией я разумел партию в широком историческом смысле слова». Мнение же Фрейлиграта \*\*\*, согласующееся, по Мерингу, со взглядом Маркса, гласит: «Тем не менее, и хотя я всегда оставался и останусь верен знамени «наиболее трудящегося и наиболее несчастного класса», ты все-таки знаешь не хуже меня, что мое отношение к партии в прошлом совсем не то, что мое отношение к партии сейчас... От партии я был все эти семь лет далек... Значит, фактически моя связь с партией была давным давно порвана... И я могу только сказать, что я себя при этом хорошо чувствовал. Моей натуре, как натуре всякого поэта, нужна свобода. Ведь и партия это клетка, а поется, даже *за* ту же партию, лучше на свободе, чем взаперти. Я был певцом пролетариата и революции задолго *до того* (подчеркнуто мною.—Г. Л.), как я стал членом «союза» и членом редакции „Новой рейнской газеты“! Так буду же и *впредь* (подчеркнуто мною.—Г. Л.) стоять на собственных ногах, буду принадлежать только самому себе и сам распоряжаться собой». А в одном письме к Бертольду Ауэрбаху Фрейлиграт комментирует этот свой взгляд еще яснее \*\*\*\*:

\* *Mehring*, Marx und Freiligrath, S. 32.

\*\* Там же, стр. 46.

\*\*\* Там же, стр. 40.

\*\*\*\* Там же, стр. 54.

«Я рад, что *не принадлежу больше* ни к какой партии, что я *уже много лет стою на той высокой башне*, о которой я пел когда-то» (подчеркнуто мной.— Г. Л.).

Этот намек Фрейлиграта на свое знаменитое стихотворение приводит нас к исходному и конечному пункту литературоведческого комментария Меринга—к опубликованной им переписке Маркса и Фрейлиграта. Меринг начинает с толкования именно этого стихотворения. Ввиду большого литературоведческого значения соображений Меринга приведем здесь важнейшие и вызвавшие наибольший шум строчки:

Так чувствую... Вам по душе иное?

Что до того поэту? Знает он:

Грешат равно и в Трое, и вне Трои

С седых Приамовых времен.

Он в Бонапарте чтит владыку рока,

Он д'Энгиена палачей клеймит:

Поэт на башне более высокой,

Чем стража партии стоит.

Меринг толкует эти стихи следующим образом \*: «Если взять эту строфу по ее внутреннему смыслу, то она содержит в себе лишь ту доморощенную истину, что поэт-творец стоит над своими созданиями, что он суверенно творит людей, все равно, нравятся ли они ему или нет; как, например, Шиллер претворил в трагического героя весьма ему несимпатичного Валленштейна». И Меринг доказывает дальше, что эта строфа лишь другими была «истолкована» как выступление против «политической» поэзии Гервега. С чисто фактической стороны тут придется возразить, что сам Фрейлиграт через неполных три года после написания этих стихов прямо признал свое собственное обращение к политической поэзии за *отход* от выраженной в них мысли. В предисловии к своей книге стихов «Ein Glaubensbekenntniss» (1844) он пишет: «Самое ужасное, в чем они могут меня упрекнуть, сведется, пожалуй, в конце концов к тому, что я все-таки спустился с той «высокой башни» и стал «на страже партии». И тут я, конечно, должен согласиться с ними!» Меринг не видит или не хочет видеть, что от 1841 года, года написания этих стихов, до революции 48 года и далее Фрейлиграт эволюционировал сначала *вперед*, а потом *снова обратно*, по указанному нами пути, и пришел наконец к такому взгляду на литературу, который был аналогичен его первоначальному взгляду, но ввиду изменившихся обстоятельств имел уже совсем иное политическое значение. Меринг вкладывает в развитие Фрейлиграта внутреннее единство, которого в нем не было.

\* *Mehring, Marx und Freiligrath, S. 7.*

Но это игнорирование исторических фактов не единственный результат меринговской легенды о Фрейлиграте. Она имела в свое время (1912) также и весьма актуальное литературно-политическое значение, поскольку Меринг выступил в связи с ней против первых робких попыток создать самостоятельную пролетарскую теорию литературы. Свой комментарий к переписке Маркса и Фрейлиграта Меринг заканчивает \* следующим выпадом против этих попыток: «В фельетонах «Vorwärts» стала недавно усердно пропагандироваться эстетика мозолистого кулака: что, мол, не нравится рабочим массам, то не имеет эстетической ценности. Так как в самое последнее время это бесчинство прекратилось, то будем его считать мимолетным заблуждением; но тот печальный факт, что оно вообще могло развернуться, хотя бы ненадолго, слишком ясно показывает, сколько здесь еще остается сделать. Пограничные вехи (между политикой и поэзией.—Г. Л.) точно установлены—с одной стороны Фрейлигратом, его словами, что «поэт на башне более высокой, чем стража партии, стоит», а с другой стороны—Марксом, сказавшим не менее справедливо, что в боях современности поэт должен быть партиен в широком историческом смысле слова». Литературно-политический смысл легенды о Фрейлиграте, искажение развития Фрейлиграта и его отношений к Марксу достигает своего кульминационного пункта в этом извращении ясных слов Маркса в их прямую противоположность.

## VIII

### Проблема пролетарской литературы

«Бесчинство», против которого так сурово ополчился Меринг, заключалось в нескольких фельетонах в «Vorwärts», в которых Гейнц Шпербер и некоторые другие писатели довольно неясно и довольно робко высказались за пролетарскую классовую точку зрения в оценке литературных явлений. Для позиции Меринга характерно и то, с какой страстностью он выступил против наивно-механических формулировок этих писателей, и то, что в 1912 году «Neue Zeit» провела под его руководством анкету на эту тему, причем Меринг терпел без единого слова критики самые отъявленные буржуазные взгляды, вплоть до полного отрицания возможности пролетарской литературы. И хотя личное участие Меринга в этой эстетической дискуссии едва ли пошло дальше его вышеприведенного высказывания, мы все-таки скажем здесь несколько слов о ее важнейших моментах. Мы считаем это необходимым, во-первых, потому, что вообще интересно наблюдать, как в Германии еще до войны «стихийно» возникло отрицание возможности пролетарской литературы, аналогичное тому, с каким впоследствии выступил Троцкий; а во-вторых и главным

\* *Mehring, Marx und Freiligrath, S. 56.*

образом потому, что читатель увидит из наших цитат, что эта тенденция находится в теснейшей связи с разобранными выше литературоведческими взглядами Меринга. При этом совершенно безразлично, насколько Меринг солидаризировался сам с той или иной формулировкой своих сторонников.

Важнейшим камнем преткновения послужил фельетон Гейнца Шпербера \* о юмористическом романе «Kubinke» Георга Германа (Georg Herrmann). Шпербер, прежде всего, отграничивает, в духе традиционной эстетики, юмор от сатиры. «Кто одушевлен ненавистью, тот не может писать с юмором... Буржуа может выражаться юмористически только о буржуа, рабочий только о рабочем. Немыслима юмористическая книга рабочего о буржуазии; такая книга неизбежно должна стать саркастической или сатирической... *Юмор никогда не может и не должен задевать или причинять боль... Буржуазный юморист, пишущий книгу из жизни рабочих и проникнутый «любовью и благостью», остается в рамках любви и благости своего класса.* Люди его класса будут наслаждаться его юмором, но рабочие, юмористически изображенные им, отнесутся к этому юмору с отвращением». И Шпербер, показав далее контраст между действительной жизнью изображенных Германом пролетариев и тем, как он ее изображает, приходит к выводу, что роман дает *«живую картину»*. Генрих Штребель \*\* (Heinrich Ströbel), стоявший тогда в литературных вопросах очень близко к Мерингу, тотчас же резко выступил в «Vorwärts» против Шпербера: «Нельзя допустить без протеста, чтобы за пролетарскую эстетику выдавались взгляды, *ставящие под угрозу всякое свободное художественное творчество»* (подчеркнуто мною.—Г. Л.). Теоретическую наивность Шпербера, догматически взявшего понятие юмора из буржуазной эстетики, Штребель бесцеремонно использует для того, чтобы в крайне оппортунистическом духе доказать незрелость тех рабочих, которые отказываются эстетически наслаждаться осмеянием своего собственного класса: «Чтобы уметь наслаждаться самим собой в зеркале юмористического художественного произведения, требуется, конечно, духовная зрелость, которой обладает не всякий примитивный человек». И он доказывает затем, что буржуазный поэт может «юмористически» изображать пролетариев, причем способ его доказательства представляет собой, как мы сейчас увидим, смесь лассалевской теории о не-экономической сущности буржуа с меринговской психологической социологией. Он пишет: «Настоящий буржуа, буржуа, находящийся в плену у капиталистических классовых предрассудков, не сможет изобразить и буржуазию в свете поэтического юмора... А кто показывает буржуазную жизнь действительно юмористично, тот уже не буржуа, а—поэт... Что классовая принадлежность

\* Heinz Sperber, Kubinke, «Vorwärts» от 13 ноября 1910 г.

\*\* H. Ströbel, «Vorwärts» от 15 декабря 1910 г.

оказывает известное влияние через посредство классовой психики... это я меньше всего буду оспаривать. Но утверждать, что душевная жизнь пролетариата есть нечто настолько своеобразное и таинственное, что она недоступна для поэта, происходящего из буржуазных кругов—не смешивать с «буржуа»!—... это уж воистину чрезмерное преувеличение!» Приблизительно так же высказался по этому вопросу Роберт Греч \* (Robert Grötzsch): «Когда художник дает не одностороннюю выборку, а *цельную картину*, в которой берутся с комической стороны человеческие слабости *всех* общественных классов, тогда слишком уж мелочным придирой был бы тот пролетарий, который с негодованием отвернулся бы от этой картины». Подчеркиваемое Шпербером отвращение рабочих не есть аргумент «против *художественного* достоинства данного произведения».

В этой полемике Штребель ссылается на Готфрида Келлера, Греча, Диккенса в доказательство своей правоты. Смещение писателей восходящего периода буржуазии с писателями империалистической современности тут не случайная обмолвка. В одной из своих позднейших статей Штребель протестует против проведения резкой границы как между буржуазным и пролетарским искусством в настоящем, так и между прошлым и современным искусством. И тут мы видим перед собой в почти карикатурном преувеличении последние выводы из позиции Меринга—полное отождествление великого искусства минувшей буржуазно-революционной эпохи с грядущим искусством социалистического общества. Вот как определяет Штребель то, что он именует «социалистическим мировоззрением»: это—«замысел создать для всех людей условия наибольшего благополучия, завоевать для них свободу, образование и благородное наслаждение жизнью. Не таковы же ли были идеалы и буржуазии, по крайней мере *восходящей?*» И он считает возможным утверждать, что между «пролетарскими» писателями, как Горький или Андерсен-Нексе, и «буржуазными», как Золя, нет никакого существенного различия. (Слова «буржуазный» и «пролетарский» Штребель всегда пишет в кавычках.) Вполне естественно, что с этой точки зрения искусство—вполне аналогично роли науки в понимании Лассалья—оказывается «союзной силой».

Крайние выводы из всей этой дискуссии сделал В. Циммер \*\* в своей полемической статье против фельетона Дешера (Döschner), напечатанного в «Vorwärts». Он пишет: «Вместо того, чтобы вновь и вновь призывать к пролетарскому классовому искусству, что в конце концов довольно скучно слушать, следовало бы лучше подчеркнуть, что оно в действительности совершенно невозможно и почему невозможно,—что искусство

\* «Neue Zeit», XXX, II, S. 799.

\*\* Там же, стр. 796.

труда, подлинная культура, а не просто тенденциозный пролетарский роман или тенденциозная пролетарская драма (пусть даже несравненно более сильные, чем все, что мы имеем в этой области до сих пор), станет возможна лишь тогда, когда пролетариат выполнит свою миссию разрушителя капитализма, но вместе с тем утратит почву и для своего собственного существования в качестве класса (подчеркнуто мною.—Г. Л.). Тут перед нами немецкий «стихийный» троцкизм чистой пробы.

Может, у кого-нибудь возникнет вопрос: в праве ли мы считать Меринга ответственным за подобные взгляды? Нам думается, что из всего вышеизложенного вполне ясно, как много основных теоретических предпосылок (особенно лассальянских) разделяют эти авторы с Мерингом. И заключительные слова Меринга в его комментарии к переписке Маркса и Фрейлиграта, его короткая и грубая расправа с Гейнцем Шпербером («бесчинство!») показывают, что его симпатии в этой дискуссии были целиком на стороне Штребелей, Циммеров и К°. Мы показали, думается нам, и то, что эти симпатии отнюдь не случайны, что взирание на вещи «с более высокой башни» органически выросло у Меринга из его основных философско-эстетических взглядов, было необходимым следствием всего его развития. При этом особенно интересно, что в течение социал-демократического периода своей деятельности он проделал в этом пункте решительную эволюцию вправо. Его позиция в вопросе о пролетарской литературе была вначале выжидательной. Напомним о его настроениях в 1891 году, когда он упрекал натуралистических писателей за то, что они видят в бедствиях настоящего только бедствия и не видят уже прорастающих в них семян будущего. В соответствии с этим взглядом он и определяет \*— правда, довольно осторожно и отвлеченно — методологическое место пролетарской эстетики (1893): «Пролетарская эстетика относится к пролетарской политике, как буржуазная эстетика к буржуазной политике. В обоих случаях мы имеем два отдельных ствола, выходящих из общего корня, и таково было искони отношение эстетики и политики». В этой осторожной формулировке последствия кантовского «бескорыстия», кантовского отрыва искусства от «морали» еще не проступают достаточно ясно. И еще в 1895 году Меринг выставляет \*\* аналогичную дилемму в этом вопросе,— правда, опять-таки без ясного определения своей собственной позиции. «Для борющегося пролетариата существуют только две подлежащие дискуссии точки зрения на искусство. Или мы заявляем: искусство, особенно театр, для освобождения рабочего класса далеко не имеет того значения, которое оно имело в Германии для освобождения буржуазного класса, пусть поэтому искусство остается част-

\* «Die Volksbühne», 2. Jahrgang, № 2.

\*\* *Mehring*, Werke, II, S. 329; наст. изд. т. II, стр. 264—265.



ным делом, а мы сконцентрируем свои силы на решающей арене экономики и политики. Или мы говорим: точно так же, как несомненно, что социалистическое общество создаст великолепное возрождение искусства, так невозможно закрыть доступ в область искусства пролетариату, куда он рвется тем сильнее, чем выше становится его развитие; постараемся же, в основательно взвешенной дистанции по отношению к требованиям экономической и политической борьбы, столкнуться по вопросу об условиях пролетарской эстетики. Каждая из этих точек зрения сама по себе последовательна и многое можно сказать и *за* и *против* каждой из них. Но что лежит между ними,—то, несомненно, от дьявола».

Несколько лет спустя (1899) Меринг подводит \* итоги своим взглядам в своих «Эстетических разведках», о которых мы уже не раз говорили. При этом он приходит вполне последовательно—«звон оружия заглушает пение муз»—к следующей формулировке: «...если опускающаяся буржуазия не может *уже* больше создать великое искусство, то поднимающийся рабочий класс *еще* не может создать великое искусство, хотя бы в глубинах его души жило горячее стремление к искусству... Но чем менее возможно, что из пролетарской классовой борьбы разовьется новая эпоха искусства, тем несомненное, что победа пролетариата положит начало новой эпохе искусства, более благородного, более великого, великолепного, чем когда-либо видели человеческие очи». Из-за сияющих, взятых с шиллеровской палитры красок, которыми Меринг живописует художественный расцвет в «государстве будущего», не следует забывать, что он здесь прямо отрицает возможность развития искусства в период пролетарской классовой борьбы, а значит и в период пролетарской диктатуры. Таким образом немецкий издатель его эстетических работ, теоретический лидер брандлеровских ренегатов, г. Август Тальгеймер \*\*, только резюмирует взгляды Меринга, когда заканчивает свое предисловие словами: «Но буржуазное общество уже не дожидется эпохи великого искусства. Лишь *вполне развитое* социалистическое общество принесет его с собой» (подчеркнуто мною.—Г. Л.).

Итак, Меринг не случайно, не совсем без вины сделался добычей брандлеровских ренегатов. Немецкие брандлерианцы, которые из тактических соображений не решаются отрицать теоретическое величие Ленина, конструируют для утверждения своей собственной линии неразрывное единство Ленина, Розы Люксембург и Меринга, как трех одинаково крупных и значительных послемарксовских теоретиков. Практически это «единство» означает попытку ликвидировать ленинское учение, ленинское углубление марксизма для немецкого рабочего движения, и является приемом борьбы против большевизации. Вот что,

\* *Mehring*, Werke, II, SS. 299—300; наст. изд. т. II, стр. 515 и 516.

\*\* Там же, стр. 15.

например, говорит Тальгеймер \* о Меринге как о философе: «Если Ленин справедливо отмечает некоторые недостатки в понимании диалектического материализма у Плеханова, то Мерингу это понимание перешло в плоть и кровь... Материалистическая диалектика, которую Маркс и Энгельс обосновали, а Меринг, Лафарг, Антонио Лабриола, Плеханов и Ленин популяризировали, отстаивали, прилагали и развивали дальше, есть и остается по своему существу критической и революционной... Работы Франца Меринга в этой области пригодны к тому, чтобы облегчить рабочему классу живое усвоение диалектического материализма».

Разумеется, эта связь между ошибками Меринга и «теорией» брендерианцев не ограничивается одной лишь областью эстетики и теории литературы. Однако рамки настоящей статьи не позволяют нам остановиться на всем комплексе относящихся сюда вопросов. Укажем только в двух-трех словах на некоторые пункты (правда, очень тесно связанные с нашими проблемами), в которых связь ошибок Меринга с позднейшими правыми направлениями совершенно очевидна. (О значении его защиты Лассалья мы уже говорили.) Мы знаем, например, каким убежденным сторонником и борцом за материализм был Меринг. Тем не менее он не сумел возвыситься до той позиции правильной, материалистически-диалектической борьбы с религией, которую уже в тот период с такой несравненной выразительностью формулировал Ленин. И у Меринга религия остается частным делом; правда, он тотчас же прибавляет \*\*: «откуда само собою следует отрицательное отношение к любой форме церковности». Но таким образом Меринг очень близко подходит к позднейшему австро-марксистскому отделению религии от церкви. Он говорит: «Пока церкви являются орудиями политического или социального угнетения, прикрываясь в то же время щитом религии, до тех пор совершенно неизбежно, что рабочие, которые далеки от философских тонкостей, будут иной раз бить и по религии, направляя удар против церкви». Меринг написал это в справедливой полемике против крайнего оппортунизма Гере (Göhre), который хотел оградить и церкви от нападения социал-демократии. И все-таки Меринг дошел здесь только до половинчатой и двойственной точки зрения, что, как мы думаем, глубоко связано с ограниченностью его метода. Дело в том, что он рассматривает вопрос о преодолении религии, как чисто идеологический вопрос, и не видит, как Ленин, глубокой связанности нынешних форм религии с экономикой капитализма: он упускает из виду глубокие рассуждения Маркса о связи религии с общественным бытием человека, о необходимости постоянного воспроизводства религиозной идеологии, пока сохраняется власть

\* *Mehring, Werke, VI, SS. 7 u. 21.*

\*\* Там же, стр. 391—392.

производства над производителем. Этот идеологический подход Меринга резко проявляется, например, в его оценке младогегельянцев. Он вполне прав, когда всякий раз подчеркивает достижения совершенно позабытого Бруно Бауэра в области критики религии, но в своей идеалистической переоценке этих достижений он приходит к несуразным выводам. Так, например, он говорит \*: «Благодаря своей исторической диалектике младогегельянцы совершили то, на чем потерпело неудачу просвещение, включая и кантовскую философию: они *уничтожили* религию».

Этот взгляд Меринга интересен еще тем, что он ясно показывает, как из левой, но не продуманной до конца теоретической позиции могут быть «стихийно» сделаны оппортунистические выводы. Действительно, Меринг считает партийную борьбу против религии излишней потому, что теоретически она, по его мнению, уже ликвидирована; всю борьбу он желал бы поэтому направить против церкви, как орудия социального угнетения. Но тем самым он разрывает связь между церковью и религией, так превосходно и диалектично вскрытую Лениным; установленная им с самыми честными «радикальными» намерениями двойственность настежь открывает двери оппортунистической «борьбе» с церковью при одновременном «признании» религии.

Еще более важны и чреватые последствиями взгляды Меринга, относящиеся к идеологическим предпосылкам развития партии. Известны воззрения Розы Люксембург в этом вопросе: ясно, что эти воззрения были, с одной стороны, необходимым последствием ее позиции в споре по организационным вопросам между большевиками и меньшевиками и что, с другой стороны, Роза была в этом пункте полной единомышленницей Меринга. Меринг же занимал в вопросе о развитии партии такую теоретически-философскую позицию, которая давала теоретическую опору меньшевистским теориям самотека, теориям об организации, как «процессе» \*\*. «Партия переживает свои заблуждения, но она *не исправляет их*, как учитель исправляет письменные упражнения своих питомцев. Что бы получилось, если бы в старой партийной литературе стали подвергать пересмотру все встречающиеся в ней утверждения, научно несостоятельные,—например, о железном законе заработной платы или по теории Стоимости?» Из этой теоретической установки вытекает совершенно неправильное отношение Меринга к ревизионизму как к течению. Он критиковал его только идеологически, и критиковал подчас очень правильно и остро, но как течение он его недооценил в такой же мере, как Роза Люксембург. Так, например, он пишет (1909) о неокантианском ревизионизме \*\*\*: «При этом мы вовсе даже и не имеем в виду ревизионизм,

\* *Mehring*, Werke, VI, S. 80.

\*\* Там же, стр. 393.

\*\*\* Там же, стр. 225—226.

недоумения и сомнения которого как-раз в этом пункте имеют довольно безвредный характер. Возражения, например, выдвигаемые Бернштейном в его «Предпосылках» против исторического материализма, лишены всякого значения, и не стоит тратить по их поводу ни одного лишнего слова». И Меринг полемизирует далее с молодыми марксистами, которые вместо работы над отдельными историческими исследованиями тратят время на занятие методологическими химерами. На этом неправильном пути своей полемики Меринг совершенно не замечает нового, гораздо более опасного ревизионизма Фридриха Адлера, а также и неокантианского ревизионизма Макса Адлера. Эта ложная теоретическая установка Меринга оказалась роковой для него в момент кризиса социал-демократии во время войны, когда он не сумел повести настоящую, сокрушительную идеологическую кампанию против «независимой социалистической партии»\*. И вполне ясно, как это теоретическое «примиренчество», коренившееся у Меринга в его вере в стихийную способность рабочего движения «самотеком» исправлять ошибочные взгляды,—как на нынешнем этапе развития оно могло быть подхвачено брандлеровцами, разработано ими и положено в основу антиленинистской теории.

Если мы, однако, констатируем здесь эту связь, связь между ошибками Меринга и «теорией» Тальгеймера и К°, то это вовсе не значит, что наследие Меринга может быть целиком предоставлено этим ренегатам. Верно, что теория и практика пролетарски-революционной литературы могла и может развиваться в Германии только в энергичной борьбе против идеологических ошибок Меринга. (То же самое следует сказать об истории партии и т. д.) Но эта энергичнейшая борьба ни в коем случае не должна означать отказ от меринговского наследия. Правда, общий взгляд Меринга на принципы эстетики, на методологию истории литературы и литературной критики изобилует тягчайшими уклонами от марксистской линии; правда, Меринг в целом не сумел преодолеть идеологические традиции II Интернационала,—но при всем том меринговский этап развития остается таким, который надо критически преодолеть, через который не перескочишь и которого не вычеркнешь. Огромная литературная образованность Меринга, его глубокая и живая связь с революционными традициями Германии заставляют обратиться к изучению его трудов всякого, кто хочет исследовать вопросы немецкой литературы с марксистской точки зрения. Только через критическое преодоление ошибок Меринга можно прийти к марксистской теории и истории немецкой литературы. И как

\* Ср., например, отношение Меринга к «превосходной» резолюции Гаазе; военные статьи Меринга, *Kriegsartikel*, Berlin., 1918, S. 19; и в целом критические замечания Ленина об отношении Спартаковского союза к ревизионизму, как течению, и в особенности к «центру».

великий представитель радикального крыла германской секции II Интернационала, как писатель, который, как бы то ни было, знакомил международную рабочую общественность с развитием немецкой литературы, — Меринг надолго останется исторической фигурой большого международного значения. То обстоятельство, что борьбу против всех ошибок его идеологии необходимо вести и в международном масштабе, не может ослабить интереса к нему, даже усиливает этот интерес. Для того, кто изучает Меринга с марксистско-ленинской точки зрения, его ошибки столь же поучительны, как и блестящие результаты его литературоведческой работы. В пределах исследования мы сосредоточили свое внимание главным образом на критической стороне дела.

*Георг Лукач*

## От редакции

Литературное наследство Меринга—одного из самых плодovitых публицистов рабочего класса—огромно. Значительную часть его составляют работы по истории и теории литературы. Главнейшие из этих работ образуют два первых тома в издании собрания произведений Меринга (Gesammelte Schriften und Aufsätze. Zur Literaturgeschichte. 1—2. Soziologische Verlagsanstalt, 1929, 1931).

Это издание, однако, не отличается необходимой полнотой.

В целях перевода на русский язык *важнейшего* из литературно-критических и историко-литературных работ Меринга нам пришлось несколько дополнить наше издание по сравнению с немецким, включив в него «Легенду о Лессинге» и ряд статей из «Die Neue Zeit» и «Der wahre Jakob». Мы изменили и расположение материала, разбив его на новые отделы, более соответствующие историческому содержанию работ Меринга.

Значительная часть работ Меринга переводится на русский язык впервые; но и те работы, которые ранее появились на русском языке, даны в настоящем издании в новых переводах.

**Ф. МЕРИНГ**

## **ЛЕГЕНДА О ЛЕССИНГЕ**

**История и критика прусского деспотизма  
и классической литературы**



## Предисловие ко второму изданию

Четырнадцать лет назад, с января по июнь 1892 г. я поместил в фельетоне журнала «Neue Zeit» ряд статей о Лессинге. С самой ранней моей юности он принадлежал к числу моих любимых писателей, но я никогда не задавался честолюбивой мечтой писать о нем, хотя всегда жадно следил за всем, что что о нем писалось.

Почти такой же глубокий интерес чувствовал я—тоже с ранней юности—и к старому Фрицу, хотя интерес этот возник не столько благодаря моему свободному выбору, сколько в силу внешних обстоятельств. Я рос в ограниченной духовной атмосфере маленьких ниже-померанских городков и потому вынужден был слишком долго питаться чистым молоком прусской любви к отечеству; даже в моем выпускном гимназическом сочинении я столь правомерно развивал славную тему «Заслуги Пруссии перед Германией», что получил высшую отметку.

Прошли годы и десятилетия. Моего Лессинга я научился читать иначе, чем читал его мальчиком, и на моего земляка Фридриха я научился смотреть иначе, чем смотрел на него на школьной скамье. Но я все еще не думал писать ни о том, ни о другом. Наконец я стал главным редактором берлинской «Volkszeitung» и с головой ушел в злободневную политику, пока в 1890 г. не лишился этого места из-за того, что начал борьбу с одним актом социального притеснения, совершенным тогдашним литературным султаном над беззащитной актрисой.

Во время этой борьбы я наткнулся на таких противников, в лице которых скорее ожидал встретить соратников, — на

сторонников современного натурализма, как он тогда себя именовал, на эстетиков и критиков, по чисто литературным соображениям далеко не расположенных к этому литературному султану, на учеников Шерера, который, словно второй Лессинг, ниспровергал ложных кумиров литературы и должен был проложить дорогу новым богам. Тем временем я научился у Маркса искать не поверхностную, а более глубокую причинную связь вещей; поэтому вину за происшедшее я не стал сваливать на недостойные личные связи, — ведь в конце концов все это относилось не столько к области морали, сколько к области интеллекта, — и посвятил мой невольный досуг на то, чтобы изучить эти вещи более глубоко, чем я мог бы это сделать в то время, когда редактировал самую резкую оппозиционную газету в эпоху закона против социалистов.

О результатах, к которым я постепенно пришел во время этого изучения, я часто говорил в других местах, особенно в «*Neue Zeit*». Разумеется, я могу резюмировать здесь их лишь весьма кратко. Великий крах, разразившийся в семидесятых годах прошлого столетия, казалось, сокрушил не только экономические, но и духовные силы германской буржуазии: в эпоху, когда в литературе германской столицы царил такой человек, как Линдау, а на берлинских сценах выводился только разоряемый юнкер в самых различных, но всегда одинаково варварски-безвкусных вариациях, — пробил, повидимому, последний час буржуазной литературы. Но великий исторический период никогда не умирает так быстро, как обычно надеются его наследники и как они, пожалуй, должны надеяться, дабы вести штурм с надлежащей энергией; именно сила нападения собирает снова все силы сопротивления. Когда Шиллер писал свои письма об эстетическом воспитании человечества, ему, наверное, тоже не приходило в голову, что абсолютистско-феодалное «естественное государство», которому он предрекал в своем гороскопе близкую гибель, будет еще праздновать час радостного воскресения. Так же обстоит дело и с капитализмом: он катится под гору далеко не с такой стремительной быстротой, как это думал в семидесятых годах прошлого столетия и даже долгое время спустя пролетариат, преисполненный упорного мужества борьбы. Сам по себе этот факт неоспорим, хотя было бы глупо делать из него вывод, что более медленное разложение совсем не есть разложение.

В восьмидесятых годах буржуазное общество до известной степени оправилось экономически, а в соответствии с этим и

духовно. В различных отраслях научной литературы пробудилась новая жизнь; в экономической литературе появился ряд сочинений, которые подвергали строение современного общества сравнительно острому и глубокому анализу; в области изящной литературы появился натурализм. Он, без сомнения, представлял мощную попытку выбраться из болота: Гауптман и Гольц были сделаны из совсем другого теста, чем Линдау и Блюменталь, подобно тому как некогда Шлегель и Тик оказались людьми совсем другого склада, чем Коцебу и Николаи. Неудержимо отмиравшее общество всеми силами цеплялось за жизнь, и силы эти, конечно, были наиболее мощными, какие только оставались в его распоряжении: это была несравненно большая сила, чем та, какую оно считало нужным проявить в минуты горделивого опьянения, когда ему ничто не угрожало, но все-таки и эта сила была далеко не достаточна, чтобы предотвратить то, чего уже нельзя было предотвратить в силу железных законов истории. Здесь сказывается внутреннее сродство современного натурализма с феодальной романтикой, игравшей подобную же роль в процессе разложения феодального общества; этим же объясняется и то, почему оба этих литературных периода, совпадающих с эпохой упадка, при всем своем внешнем несхождении все же носят одинаковый характер, за последнее время проявляющийся, между прочим, в необыкновенном изобилии драматических сказок и всевозможной мистической чепухи.

С точки зрения этого исторического понимания можно вполне справедливо оценить как сильные, так и слабые стороны современного натурализма. При таком подходе становится ясным, почему он отличался или отличается такой невероятной узостью кругозора (прошедшее или настоящее время зависит в данном случае от того, считаем ли мы его явлением, уже отошедшим в прошлое или все еще существующим): суть в том, что его утлому суденышку не доставало компаса, парусов и руля, чтобы плавать в открытом море истории. Становится понятным, почему он так хватался за рабское подражание природе: перед лицом любой общественной проблемы он чувствовал себя совершенно беспомощным. Даже в его любовании страшными и отвратительными, низкими и пошлыми отбросами капиталистического строя можно тогда усмотреть своего рода протест, который он, повинуясь смутному порыву, бросал в лицо дикому культу денежного мешка, этому смертельному врагу настоящего искусства. С исторической точки зрения все это можно вполне удовлетворительно объяснить. Тем не менее

неизбежно возникало и возникает чувство протеста, когда жалкие жизненные условия, в которых только и может существовать искусство в умирающем обществе, превозносятся как широкие возможности, открывающие путь небывалому расцвету искусства, когда увеливание от великих вопросов культурно-исторического прогресса провозглашается необходимой предпосылкой «чистого искусства», когда плоское подражание природе, презираемое всяким истинно творческим художником, объявляется художественным принципом, преобразующим мир, когда современных пролетариев упрекают в эстетической грубости из-за того, что они требуют от искусства не грязи и пыли, а, по меткому выражению, «праздничного блеска свечей», как это и должно быть свойственно естественному, то-есть исторически обусловленному, настроению класса, уверенного в своей победе и бодро глядящего в лицо будущему.

Правда, современный натурализм хвалят за проявляющийся в нем налет социализма. Но доля правды, имеющаяся в этом утверждении, только подтверждает его внутреннее сродство с романтикой. Стоящие на идеологической точке зренияистики литературы немало ломали себе голову над объяснением того факта, что романтики, эти реакционеры и поклонники средневековья, были в то же время не чужды духа современного свободомыслия, а между тем, с точки зрения исторического материализма ясно само собой, что в первые десятилетия девятнадцатого столетия феодально-романтическая школа поэзии не могла существовать без довольно изрядной примеси буржуазной культуры. Это было безусловно необходимо уже по одному тому, что феодальный мир, теснимый буржуазией, должен был обороняться от превосходившего его силами врага оружием, заимствованным от него же,—подобно тому, как краснокожие индейцы оборонялись от белых огнестрельным оружием, которое помогло замедлить их неизбежное вымирание, но не могло его предотвратить. Если мы припомним соотношение между феодальной романтикой и освободительной борьбой буржуазии и под этим углом зрения попытаемся выяснить современную обстановку, то мы сейчас же увидим, что значит социалистический налет современного натурализма. Буржуазные натуралисты в такой же мере пропитаны социалистическим духом, в какой феодальные романтики были пропитаны буржуазным духом—не больше и не меньше, ибо во всех своих бесчисленных экспериментах они со священным ужасом сторонятся от всякого художественного описания, ко-

торое хотя бы косвенно касается освободительной борьбы пролетариата. Они скорее погрузятся в любой мистический и символический туман, чем пойдут на это.

То, что мы сказали о поэтах современного натурализма, в такой же степени правильно и по отношению к его эстетикам и критикам. Школе Шерера нельзя отказать ни в огромном трудолюбии, ни в кое-каких заслугах. Она много сделала в области мелочной эстетически-филологической работы и прекрасно умеет критически анализировать художественные произведения с эстетически-филологической точки зрения. С успехом, заслуживающим всяческой похвалы, она сумела втолковать хотя бы наиболее интеллигентным слоям германской буржуазии, что Анценгрубер, Ибсен и Гауптман—поэты совершенно иного калибра, чем Блюменталь и Линдау. Ее работы необычайно освежили буржуазную эстетику и критику, которые пришли было в такой же упадок, как и буржуазная поэзия. Но ее понимание исчезает, словно отрезанное ножом, как только литературное развитие соприкасается с экономическим, политическим и общеисторическим развитием: когда она хочет писать литературную историю,—ее описаниям не хватает исторической перспективы, а фигурам—исторической рельефности. И тогда ей приходится пускаться в пустые словоизвержения, ничуть не выигрывающие благодаря ее неприятным потугам на лойяльные, верноподданнические чувства.

Точка зрения, развитая здесь в немногих словах, складывалась у меня в течение многих лет, и, как я уже говорил, я излагал ее в «Neue Zeit» по поводу самых различных вопросов\*.

Одной из первых работ, при разборе которых она развивалась, была биография Лессинга, написанная Эрихом Шмидтом. Последний ее том вышел в свет в 1891 г.; в этом же году я впервые познакомился со всем трудом в целом. Здесь я чувствовал себя на прекрасно знакомой мне почве, ибо тему эту я не только изучал в течение многих лет и даже десятилетий, но до известной степени и переживал ее. Поэтому я начал с критики этой книги, оказавшейся тогда для меня особенно подходящей в том отношении, что там затрагивались вопросы, часто бывшие предметом моих размышлений, и статья моя разрослась далеко за пределы простой рецензии, которую я сначала думал закончить в трех или четырех номерах «Neue Zeit». В процессе работы у меня появлялись все новые и

\* В частности, я могу указать на «Эстетические разведки», напечатанные мною в «Neue Zeit», 17-й год издания, т. I.

новые точки зрения,—иногда, впрочем, даже и не новые, а старые, которые лично для меня давным-давно выяснились, но разъяснение которых, как мне казалось, могло бы представлять интерес для моих читателей. И действительно, моя работа с самого же начала встретила очень хороший прием,—никто не советовал мне прекращать ее, а многие настаивали на ее продолжении. Таким образом, вместо трех или четырех статей, появилось около двадцати, причем пришлось скомкать многое из того, что я считал необходимым и полезным сказать по этому поводу. Пропуски эти я восполнил впоследствии, когда читатели «Neue Zeit» выразили пожелание получить мои статьи в виде отдельной книги, а мой друг Дитц удовлетворил это требование и издал книгу в большом числе экземпляров.

Таким образом, эта книга была своего рода импровизацией. Я не хочу этим сказать, что я писал наспех, дабы удовлетворить минутный интерес; если это обвинение и выдвигалось против меня,—надо, между прочим, сказать, что оно выставлялось не столько печатной критикой, которая в большинстве случаев признавала за мною умение справляться с чрезвычайно обширным материалом, хотя отрицательно относилась к моему методу и результатам моего исследования, сколько литературными сплетнями, выступавшими исподтишка,—то я с чистой совестью могу ее опровергнуть. То, что я писал в этом сочинении, трижды и даже больше чем трижды выдержало тот девятилетний карантин, о котором говорит Гораций. Но ему в значительной степени свойственны формальные недостатки импровизации. Оно было задумано не в виде книги и не было разработано по систематическому плану; выражаясь словами Лессинга, оно представляет, до известной степени, «мешанину», и потому я не буду настолько нескромен, чтобы гордиться отзывом одного из буржуазных критиков, выразившегося по поводу моей работы, что хотя она и попадает из пятого в десятое, но тем не менее даже в этом пятом и десятом у нее всегда находится, что сказать.

Новое издание, которое пришлось теперь выпустить в свет, давало мне возможность устранить эти недостатки формы. Но когда я, по прошествии более чем десяти лет, снова просмотрел свою книгу, я сейчас же увидел, что нужно или оставить это беспорядочно разросшееся дерево в том виде, как оно есть, или заменить его новым. Если бы я стал подстригать его ножницами, от него не осталось бы ничего, кроме голого ствола, ибо то, что даже моим благожелательным крити-

кам, привыкшим к обычному стилю литературно-исторических писаний, казалось «пятым и десятым», в моих глазах и с точки зрения признаваемого мною исторического метода было самым главным. Правда, мои мысли можно было бы развить в более систематическом порядке, но тогда пришлось бы переделать всю книгу с начала до конца, рискуя сделать ее более объемистой, но отнюдь не более содержательной. На это я решился бы лишь в том случае, если бы мои положения необходимо было пересмотреть по существу. Однако после неоднократного и тщательного перечитывания текста я не нашел ничего, что следовало бы изменить по существу, а в то же время мне не хотелось одной только формы ради губить книгу, которая как раз в этой своей форме представляет собою часть моей личной жизни, да и кроме того, судя по многочисленным отзывам, стала близкой и дорогой для многих читателей.

Поэтому я оставляю текст в совершенно неизменном виде и ограничиваюсь тем, что даю это предисловие, где и говорю то немногое, что считаю нужным сказать по поводу современного состояния затрагиваемых в книге вопросов.

\*

Прежде всего, несколько слов о печатных критических отзывах, сделанных относительно этой книги. Чрезвычайно характерно, что в данном случае проявилось то же самое, что я говорил выше о школе Шерера.

Исторический журнал, основанный Зибелем и усиленно культивировавший под руководством этого последнего легенду о Фридрихе, сопровождал свой отзыв о моей книге обычными у нас шутливыми замечаниями насчет «социал-демократической науки»,—ведь ученые мужи буржуазии, борясь с историческим материализмом, не могут не спекулировать на тупоумных предрассудках филистеров,—но в то же время признавал, что мое описание фридриховского государства во всем, что касается фактической стороны, основано на тщательном изучении наилучших материалов и может быть с пользой прочитано буржуазными историками. Отзыв заканчивался следующими словами: «Мы не будем здесь развивать нашей собственной, совершенно противоположной точки зрения на метод и на понимание предмета; заметим только, что было бы неправильно просто на-просто игнорировать подобные книги и что из беспристрастной оценки столь радикально различного понимания государства и сил исторической жизни историческая наука извлечет не меньше пользы, чем в своей области извлекла политическая

экономия». Это все-таки—критика, которая, ни в чем не изменяя собственной точке зрения, тем не менее старается воздать справедливость противнику.

Совершенно иначе вели себя последователи Шерера. С господином Эрихом Шмидтом, безоговорочно объявившим меня «крюкотвором», я не буду сводить счеты. Я жестоко критиковал его, и было бы глупо, если бы после этого я стал жаловаться на резкости, сказанные им по моему адресу. Достаточно и того, что он не доказал и не может доказать мне моего «крюкотворства»! Я не возьму обратно ни одного слова из того, что я сказал о нем, но в то же время я охотно признаю, что его работа о Лессинге обладает не только всеми слабостями, но и всеми преимуществами шереровской школы.

Зато ученик Шерера, пражский профессор Зауэр, помогавший ему при корректуре первого тома, отдал меня на все корки в «Германской литературной газете». Разумеется, я не буду сердиться на него за «смешные приемы» и «одностороннюю придирчивость», которые он якобы обнаружил в моей «трескучей и болтливой книге»; я охотно соглашаюсь и с его уничтожающим приговором, что я не имею никакого представления о «движущей силе религиозных идей» и о «самостоятельной силе поэзии». Но я немного останавлиюсь на фактических и особенно на литературно-исторических возражениях господина Зауэра против моего изложения, дабы показать, что школа Шерера, лишь только затрогивая ее слабую сторону, проявляет совершенно такие же свойства, как любая литературная клика, борющаяся самым скверным оружием, и допускает такие же приемы, к каким прибегали некогда «кровожадный Оскар» и его сотоварищи. Господин Зауэр пишет обо мне следующее:

«Из тщательно изученных источников он выбирает только то, что соответствует его заранее установившемуся мнению, пропуская, например, в переписке Клейста все те места, в которых встречаются восторженные отзывы о короле; он ничего не говорит о беседе Фридриха с «пруссакон» Готтшедом и утверждает, что Глейм был единственным прусским поэтом, который хоть один раз в жизни видел короля лицом к лицу. Но во всех тех местах, где Меринг торжественно закладывает свои динамитные патроны, сам грунт уже с давних пор выветрился и искрошился без всякой вины в том современных исследователей Лессинга (так, например, отношение Лессинга к Вольтеру, приглашение его в берлинскую библиотеку); а там, где он снова поднимает старые споры, как, например, спор по поводу Симона Лемниуса, его презрение к книжной



учености обходится ему не даром: так, например, он ничего не знает о новом издании «Апологии», выпущенном Гефлером («Богемское научное общество», 1892)».

Выясним сначала этот последний пункт. Господин Зауэр выдумывает, будто я хочу опять возобновить спор о Симоне Лемниусе. Наоборот, я говорю, см. стр. 346, что этот спор был уже давным-давно решен Лессингом, и лишь высказываю сожаление, что опровергнутая Лессингом историческая ложь лютеранских историков (по поводу этого я цитирую Ранке, Костлина и Гейдемана) снова начинает преподноситься в наших высших школах. Какое отношение имеют к этому «Богемское научное общество» и опубликование Гефлером «Апологии» Лемниуса? С таким же точно правом я мог бы объявить невеждой и господина Зауэра, не знающего, что «Апология» Лемниуса давным-давно уже перепечатана в «Прагматической истории протестантов в Германии» Ганзена. Подобное подозрение было бы столь же нелепо, как и первое.

Далее: современные исследователи Лессинга, конечно, повинны в том, что основу, на которой зиждилось предание об отношении Лессинга к Вольтеру и о приглашении Лессинга в берлинскую библиотеку, они оставили «выветрившейся и искрошившейся». Если бы к *человеку* Лессингу они питали хотя бы частицу того уважения, а к писателю Лессингу проявили хотя бы небольшую долю той «филологической акрибии», о которых они без конца болтают, то разоблачение очевидных небылиц, выдуманных К. Г. Лессингом и Николаи, они сочли бы «своим проклятым долгом и обязанностью», а не предоставили бы эту задачу моей «трескучей и болтливой» книге.

Перейдем к Глейму и Готтшеду. Возражая одному современному историку литературы, утверждающему, будто в произведениях Лессинга, Рамлера и Глейма Гете обнаружил влияние Фридриха на германскую литературу, я говорю на стр. 131, что только в отношении этих трех и может быть вообще речь о таком влиянии, и кстати добавляю: «Кроме того, Глейм—единственный прусский поэт, который хоть один раз в жизни видел короля Фридриха лицом к лицу». Затем на стр. 278 я передаю беседу Фридриха с Готтшедом, которого Фридрих превозносил, как «саксонского лебедя», и на стр. 349 замечая, что Готтшед был родом пруссак. Из всего этого господин Зауэр выводит нелепое заключение, будто я умолчал о беседе Фридриха с Готтшедом, дабы иметь возможность утверждать, что король говорил только с *одним* прусским поэтом.

Наконец, мне вменяется в вину, что, говоря о переписке Клейста, я тенденциозно умолчал о всех тех местах, где встречаются восторженные отзывы о короле. Этот упрек имел бы смысл лишь в том случае, если бы я привел хотя одно из тех мест, где Клейст отзывался о Фридрихе в тоне далеко не восторженном. Но мне не приходило в голову цитировать хотя бы одно из этих мест по той причине, что они совершенно не важны для моего изложения. Перепиской Клейста я пользуюсь на стр. 367 только для того, чтобы объяснить дружеское расположение Лессинга к Клейсту. Я говорю там, что на поле сражения, где Лессинг познакомился с Клейстом, Клейст вел себя как добрый, мягкий и храбрый человек, между тем как раньше, в мирное время, когда Клейст жил в Потсдамском гарнизоне, он, должно быть, всегда казался окружающим чем-то вроде чудака или святого. Я цитирую одно выражение Клейста, уверяющего, что «одна только мысль» о том, что он проживет в Потсдаме еще двадцать или тридцать лет, кажется ему «адам», и прибавляю: «Под железным игмом Фридриха такое настроение было вполне понятно». Разве это не соответствует истине? Один буржуазный историк литературы пишет: «Место, в котором Клейст прожил лучшие годы своей жизни, было далеко не идеальным. Потсдам, отрезанный от близкой к нему шумной столицы, по своей внешности напоминал большую казарму; требования военной службы, проходившей под непосредственным надзором короля, выполнялись здесь строго, педантически, беспощадно... Пока там жил сам Фридрих, нельзя было даже и думать о самом кратковременном отпуске. Сколько планов Клейста, мечтавшего о путешествиях, потерпело крушение, как редко удавалось ему вырваться на несколько дней или на несколько часов из этой тюрьмы! Ибо следует открыто признать, что в Потсдаме он чувствовал себя, как в тюрьме. Его письма полны тяжких стонов и громких проклятий по адресу этой жизни и преисполнены страстной тоски по свободе. Скудная, убивающая дух гарнизонная жизнь...» и т. д. Автор этих строк — не кто иной, как господин Зауэр, и пишет это он во введении к изданным им сочинениям Клейста. Правда, в этом же введении из чувства пылкого патриотизма он повышает всех Гогенцоллернов в чинах и делает одного маркграфа из боковой бранденбургско-шведской линии «братом короля», а настоящего брата короля, принца прусского, производит в «крон-принца», то-есть в сына Фридриха. Но вина за это революционное ниспровержение генеалогии падает целиком на колпак

господина Зауэра. Клейст тут совершенно не при чем, и господину Зауэру следовало бы оценить по достоинству мою «одностороннюю заядлость», не позволяющую мне взбираться на такие высоты фанатического культа Гогенцоллернов.

Но довольно говорить о критике господина Зауэра. Я не стал бы ни одной минуты останавливаться на этом вздоре ради его самого, если бы я не считал необходимым входить в эти детали для того, чтобы воочию показать читателю, на какие не то детские, не то злостные «крючкотворства» идет школа Шерера, дабы опровергнуть мою критику византизма, которую она отравляет историю германской литературы.

Мне потребуется несравненно меньше времени, чтобы объяснить с другим австрийским ученым, неким господином И. Э. Ваккернеллем, который, дабы окончательно добить меня, выступает в «Австрийской литературной газете» («Oesterreichisches Literaturblatt») как «профессор Инсбрукского университета». Достаточно сказать, что этот комический гений, развернув знамя «истины», пускается в поход против меня, во-первых, потому, что я сделал Лессинга «социал-демократическим революционером и материалистом», а во-вторых, потому, что Маркс, «как известно», «списал исторический материализм у англичан».

Третья профессорская величина, господин Вернер Зомбарт из Бреславля, изрекает: «Историческая миссия Мeringa заключается главным образом в доведении ad absurdum (какой, между прочим, прекрасный немецкий язык!) основных положений системы Маркса. Его «Легенда о Лессинге» показывает, как не следует понимать материалистическое понимание истории». Между тем Энгельс, бывший вместе с Марксом основоположником исторического материализма, написал мне, после того как я послал ему свою книгу: «Об этой книге я могу повторить только то, что я уже не раз говорил о статьях, когда они появились в «Neue Zeit»; это бесспорно наилучшее описание происхождения прусского государства, какое только существует, я могу даже сказать—единственно хорошее описание, в большинстве случаев правильно излагающее связь событий вплоть до мелочей». Само собой разумеется, ссылкой на Энгельса я не стал бы защищать ни одной фразы моей книги, если бы имел дело с критикой, разбирающей вопросы по существу, но по отношению к фанфарону, так называемый «марксизм» которого заключается в том, чтобы окончательно выясненные теории Маркса и Энгельса опять загадать пошлейшими общими местами вульгарной политиче-

ской экономии, ссылки на Энгельса будет, по моему мнению, совершенно достаточно.

Гораздо приличнее, честнее и основательнее отозвался о моей книге ряд литературных еженедельных журналов и политических ежедневных газет, не имеющих счастья редактироваться профессорами. О них я не буду говорить и лишь вкратце упомяну, что со стороны социалистов появилось два резко отрицательных критических отзыва—Пауля Эрнста в «Neue Zeit» и Жореса в его «Истории французской революции» («Histoire de la Révolution Française»). С ними обоими я уже объяснился на страницах «Neue Zeit»\*. Но если бы даже объяснений этих и не последовало, я теперь не стал бы с ними спорить. Пауль Эрнст давно повернулся к социализму спиной, а что касается Жореса, то в затрагиваемых в этой книге вопросах он отстаивает точку зрения Зибеля и Трейчке,—ту самую, от которой даже буржуазные германские историки, поскольку они вообще занимаются научной работой, давным-давно отказались, как от совершенно несостоятельной. Как ни различны их мнения в других отношениях,—об этом различии я сейчас упомяну при разборе одного важного вопроса,—тем не менее они единодушно опровергают взгляд на Фридриха, как на «героя национального возрождения», который якобы, как сказал когда-то Зибель, не отступил перед страшными опасностями Семилетней войны, дабы не дать Бельгии, а следовательно, и левому берегу Рейна стать французскими.

Ведь и Жорес наверное отклонил бы дискуссию с германским партийным товарищем, который стал бы критиковать жоресовское понимание французской истории с точки зрения наполеоновской легенды в том виде, в каком ее когда-то отстаивал бравый Тьер.

\*

Что касается общего развития исторических проблем, о которых идет речь в моей книге, то, поскольку дело касается Лессинга, о нем говорить не приходится. Правда, появилась новая биография Лессинга, написанная Карлом Боринским, но по сравнению с работой Эриха Шмидта она является огромным шагом назад и никакой плодотворной критике не поддается. Конечно, и теперь именем Лессинга иногда еще так

\* Пауль Эрнст. «Легенда о Лессинге» Меринга и материалистическое понимание истории, «Neue Zeit», XII, 2, 7 и сл. Меринг, К методу исторического материализма, «Neue Zeit», XII, 2, 142 и сл. Меринг, Pour le roi de Prusse, «Neue Zeit», XXI, 1, 517 и сл.

же сильно злоупотребляют, как в былые времена, но все меньше и меньше, и искаженный облик Лессинга, созданный буржуазией, постепенно сходит на-нет, что, конечно, можно только приветствовать.

Равным образом и разрушение легенды о Фридрихе с 1892 г. значительно подвинулось вперед. Патриотический хлам Зибеля, Трейчке и тому подобных историков совершенно брошен и отсутствует даже в большой биографии Фридриха, опубликованной Рейнгольдом Козером, директором прусских государственных архивов. Когда я издавал свою книгу, вышло только начало этой биографии—первая половина первого тома,—и в некоторых местах (см., например, стр. 224 и сл.) я полемизировал с Козером. Отмеченные мною там погрешности против истины имеются и в более поздних томах; Козер опять выдвигает на сцену даже опровергнутую Николаи историю о приказе «развешивать ниже» памфлеты против короля, которые якобы прибывали на углах берлинских улиц, да и вообще все его изложение никак не может отойти от ограниченных предположений прусской государственности и отнюдь не свободно от дипломатической осторожности. Но хотя его историческое понимание чрезвычайно отклоняется от моего, это не мешает мне, а скорее даже обязывает меня признать, что Козер со своей точки зрения старался подойти к вещам с объективной правдивостью и безжалостно выбросил за борт множество патриотических сказок, которые мы находим у Зибеля, Трейчке, Фрейтага, Бернгарди и тому подобных историков,—так, например, сказку об освященной шляпе и шпаге, пожалованных якобы папой австрийскому фельдмаршалу Данну за его неожиданное нападение при Гохкирхе, о переписке между императрицей Марией-Терезией и маркизой Помпадур, равно как и многие другие рассказы, которые изобретал старый Фриц, умело спекулируя на ограниченном разуме своих верноподанных пруссаков, с целью сделать смешными своих врагов. Для прирожденного пруссака всегда очень трудно отделаться от всей этой дребедени, и я признаю, что даже я слишком снисходительно отнесся к фридриховской легенде,—так например, в том месте, где я писал об отвращении Фридриха к торговле людьми, практиковавшейся тогда мелкими германскими владетельными князьями. Правда, осенью 1777 г. Фридрих не разрешил провозить по Везеру у Миндена уроженцев страны, купленных Англией, но в данном случае Козер трезвее и правильнее, чем я, оценивает его побудительные мотивы, полагая, что Фридрих хотел сберечь немецкие вербовочные

пункты, нужные ему самому, а кстати и немножко подшутить над англичанами; известно, что он вскоре снова разрешил свободный проезд по реке, как только был вынужден сделать политическую ставку на Англию.

Больше всего мне пришлось бы возражать против козеровского описания финансового хозяйства Фридриха; это описание, очевидно, продиктовано бессознательным желанием не слишком уж беспощадно разоблачать сказку о «социальном королевстве» Фридриха. В данном случае историку, конечно, приходится возиться с «выветрившимся и искрошившимся» материалом, ибо по причинам, указанным мною на стр. 224, никаких исчерпывающих и достоверных источников в этой области не имеется. Здесь можно оперировать только «ненадежными цифрами», и потому сам я, делая свои подсчеты, сопровождал их всяческими оговорками. Подсчеты Козера и мои собственные сходятся в том, что ежегодные государственные доходы в последние годы царствования Фридриха достигали приблизительно 22 миллионов. Величину военного фонда, который накопил Фридрих после Семилетней войны, Козер определяет в 51 302 010 талеров; это подтверждает мое предположение, что указанная мною цифра в 40 миллионов слишком мала. Зато ежегодные текущие расходы на военное дело, которые я в согласии с Бойеном и другими определил приблизительно в 13 миллионов, Козер снижает приблизительно до  $12\frac{1}{4}$  миллионов; расходы по войне за баварское наследство, которые я, согласно мнению Прейса, определил в 29 миллионов, Козер уменьшает до 17 миллионов. При этом, однако, не ясно, имеется ли у него в пользу этого предположения более надежное доказательство, чем случайное замечание в одном из писем короля, вопреки которому Прейс решительно отстаивает данную им цифру. Расчеты Ретцова, полагающего, что постройка нового дворца обошлась в общем в 22 миллиона, я назвал «страшно преувеличенными»; Козер считает, что эта цифра преувеличена «по всей вероятности, раз в десять», но доказывает свои предположения лишь неполными счетами строительных работ. Хуже то, что он вообще не попытался подсчитать те многие миллионы, которые растратил Фридрих на свою деспотическую страсть к строительству. Судя по случайному замечанию, он отнес их все к рубрике расходов на культурные нужды страны, что представляется совершенно неправильным,—по крайней мере в отношении роскошных сооружений в Берлине и Потсдаме, а равно и нового дворца. По мнению Козера, министр Герцберг определял общую сумму,

истраченную королем после Семилетней войны на экстраординарные сооружения, более чем в 40 миллионов, между тем как Прейс, которому я следовал в этом отношении, полагал на основании «детальных подсчетов» того же Герцберга, что на эту цель было истрачено менее 25 миллионов.

В настоящее время достоверных подсчетов сделать уже нельзя, тем более, что не сохранился даже тот неполный материал, которым в свое время пользовался Герцберг. В общем я считаю—со всеми теми критическими оговорками, которые я сделал в моей книге,—что цифра в 25 миллионов более близка к исторической правде, чем цифра в 40 миллионов. Я не хотел умалчивать о цифрах Козера, отклоняющихся от моих, но все-таки его описание фридриховского финансового хозяйства отнюдь нельзя считать свободным от известной тенденциозности. Но если бы даже описание это было совершенно правильно, оно ни в малейшей мере не изменило бы того, что является для меня самым главным. Если бы Фридрих, получая 22 миллиона ежегодного дохода, действительно тратил ежегодно в среднем 16 миллионов на военные цели (военный бюджет, военный фонд, война за баварское наследство, субсидии русским на войны с турками) и меньше 2 миллионов, попадавших главным образом в карманы юнкеров,—на «восстановление» до последней степени опустошенной страны, то все же и в этом случае официально поддерживаемая болтовня насчет его «социалистической системы государственной помощи» и его «социального королевства» оказалась бы несусветным пустословием.

Если следует признать неоспоримой заслугой новых прусских историков то обстоятельство, что они до некоторой степени вымели старый патриотический сор, то это еще не значит, что они отделались от пристрастия к Пруссии, ибо в возвышении Пруссии они все еще видят спасение Германии. В этом отношении с ними происходит то же самое, что происходило в свое время с буржуазными просветителями, которых Лессинг так жестоко высмеивал, а иногда—в лучшем случае—и жалел, как «честных людей, которые могут способствовать ниспровержению отвратительнейшего здания бессмыслицы лишь под тем предлогом, что его необходимо перестроить заново». Очищая легенду о Фридрихе от наиболее грубых глупостей, но не желая отказаться от нее по существу, они упускают из виду то обстоятельство, что это «отвратительнейшее здание бессмыслицы» нельзя перестроить без того, чтобы оно не обрушилось им на головы. Новые прусские

историки единодушно отвергают выдумку Зибеля и Трейчке, полагающих, что Фридрих начал Семилетнюю войну по национально-германским мотивам, но благодаря этому между ними возникает важный и гораздо более интересный—в смысле симптома—спор о том, почему же он в конце концов начал эту войну.

Одни упорно придерживаются того самого мнения, которое всегда высказывал сам Фридрих: он должен был обороняться от коалиции, несравненно более могущественной, чем он, и образовавшейся без всякой вины с его стороны. К числу таких историков принадлежит и Козер. Но дипломатические прелюдии войны, относительно которых мы теперь располагаем самыми точными данными, противоречат этому предположению. Завоевательные планы венского и петербургского дворов стали опасны для Фридриха только благодаря тому, что эти дворы склонили на свою сторону парижский двор, а парижский двор, с которым Фридрих состоял в союзе в течение шестнадцати лет, Фридрих до известной степени сам отбросил в лагерь своих противников, когда он 16 января 1756 г. заключил Вестминстерскую конвенцию с Англией. Козер ограничивается тем, что называет эту конвенцию «неверным расчетом». Байе, другой чиновник прусских архивов, более откровенно добирается до сути дела и, характеризуя поведение Фридриха во время дипломатических прелюдий к Семилетней войне, пишет: «То, что говорили современники о фридриховской политике, порицая ее изменчивость и ненадежность, кажется мне вполне обоснованным... Эта политика была подозрительна и легковажна, близорука и опрометчива... Стоило только двум иностранным государственным деятелям о чем-нибудь пошептаться, как Фридрих уже подозревал образование коалиции; а как только распространялись слухи о маршах военных отрядов, он думал, что готовится нападение на Пруссию». В таком же духе говорит и Ноде, другой прусский архивный чиновник, тщательно изучавший историю фридриховской эпохи.

Против этого уничтожающего приговора по адресу фридриховской дипломатии восстали другие прусские историки, в первую очередь Макс Леман и Ганс Дельбрюк. При этом их совершенно не приходится подозревать в какой бы то ни было подобострастной услужливости; Леман своими честными и основательными биографиями Шарнгорста и Штейна, а Дельбрюк своей крупной историей военного искусства оказали исторической науке действительно большие заслуги.



Прусского короля Фридриха-Вильгельма III, из которого Трейчке сделал что-то вроде национального героя, Леман показал во всем его беспочвенном ничтожестве, а Дельбрюк вел многолетнюю и в конце концов увенчавшуюся победой борьбу против легенды, которую защищали даже офицеры главного генерального штаба и согласно которой старый Фриц применял наполеоновскую стратегию и тактику. Сочинение Лемана о возникновении Семилетней войны, опубликованное в 1894 г., вскоре после появления моей книги, тоже направлялось главным образом против легенды о Фридрихе, выдвинутой Ранке, Трейчке и Зибелем. Леман доказал, что когда Фридрих начинал Семилетнюю войну, то отнюдь не руководился никакими национально-германскими точками зрения. Леман писал: «Во время войны Германию отрицали и Австрия и Пруссия. Если императрица, ради получения Силезии готовая отдать Восточную Пруссию русским, а значительные части западных марок—французам, наносила этим вред Германии, то мы не можем похвалить и Фридриха за то, что аннексию Саксонии он считал важнее, чем укрепление своих пограничных земель на Востоке и Западе». По мнению Лемана, аннексия Саксонии и была тем мотивом, который заставил короля решиться на войну. Леман признает, что Фридриху грозила опасность, но, по его мнению, опасность эта была не столь велика, чтобы нужно было обнажать меч; суть дела заключается скорее в том, что «два наступательных плана столкнулись друг с другом»,—ибо Фридрих ради завоевания Саксонии в такой же степени желал войны, в какой ее желали его противники, стремившиеся отнять у него Силезию. Своим агрессивным выступлением он скрепил европейскую коалицию.

За эту мысль ухватился Дельбрюк, чтобы опровергнуть «страшное принижение великого короля» в работах Байе, Ноде и других. Он делает опасное признание, что их приговор «скорее слишком мягок, чем слишком суров» и что король поступил бы как «совершенный дурак», если бы он преследовал только оборонительные цели. Затем, исходя из гипотезы Лемана, он старается сделать из «путаного и слабого сангвиника» «образ, преисполненный могучего и страшного величия»: «государственного человека, который с не признающей никаких законов дерзостью гения разбивает в прах противящийся ему мир и, преисполненный желания создать новый мир, с величайшей скрытностью, но все же прямо идет к своей цели», «великого короля во всем его величии и трагизме; короля, который, познав великую цель во всей ее

необходимости, боролся за нее со всей силой своей могучей личности, но, обессиленный, в конце концов должен был отказаться от своей задачи, ибо измученное, тысячами ран кровоточащее тело его народа грозило окончательно погибнуть». С этим, конечно, не вяжется то обстоятельство, что сам Фридрих в своих сочинениях о войне всегда утверждал, что он желал только обороняться от нападения; говоря языком сравнений, поведение его все-таки весьма напоминало поведение лисицы, которая сначала пытается забраться в голубятню, а когда получает за это здоровую порцию палок, уверяет, что она ровно ничего не хотела сделать.

Ясно одно: кто хочет ныне написать против короля Фридриха «памфлет», как в этом меня упрекают Зауэр с сотоварищами, испытывает трудность лишь в смысле выбора пункта для нападения. Он может либо вместе с некоторыми прусскими историками объявить короля «совершенным дураком», либо вместе с другими историками признать его вероломным завоевателем, зажегшим Европу со всех четырех концов лишь для того, чтобы выполнить планы, для осуществления которых ему нехватало собственных сил. Если бы то или другое было правильно, то характеристика Фридриха, данная в настоящей книге, оказалась бы, конечно, совершенно неправильной. Но я целиком поддерживаю свою точку зрения даже в вопросе о возникновении Семилетней войны; здесь я несколько подробнее разовью ее, чтобы в то же время вскрыть и причину, вызвавшую тот спор, который с таким ожесточением и столь многие годы ведется в лагере прусских историков.

Предвосхищая в нескольких словах сделанный мною вывод, я скажу, что этот спор объясняется главным образом следующей причиной: никакой прусский историк не в состоянии признать и даже вообще не в состоянии понять,—ибо в отношении прусских историков, о которых здесь идет речь, можно говорить только об объективной пристрастности,—что прусская мощь и прусское величие были результатом чужеземного господства. Как неоднократно и вполне основательно указывал Макс Леман, Фридрих никогда не завоевал бы Силезии без помощи французов, помощь же эту французы оказывали ему не ради его прекрасных глаз, а потому, что он им нужен был, как кол в теле Австрии, и, укрепляя дуализм между Габсбургами и Гогенцоллернами, они упрочивали свое господство над Германией. С прусским королем они обращались, как со своим вассалом, как с «филигранным королем», существовавшим только по их милости, и когда в 1756 г.

они ввязались в большую колониальную войну с Англией, они потребовали от Фридриха, чтобы в отплату за завоевание Силезии он занял для них Ганновер—единственный уязвимый для Англии пункт континента.

На это Фридрих не мог и не желал пойти. Правда, он ничего не имел против того, чтобы французы сами завладели Ганновером, и даже подстрекал их к этому, но в то же время он понимал, что если он уступит желанию французов, у него на шее окажутся не только англичане, но и австрийцы и русские. Он давным-давно знал, что австрийский двор мечтает об отобрании Силезии и заручился для этого союзом с русским двором. Оба эти двора были на время парализованы,—главным образом вследствие недостатка денег,—но если бы Фридрих, напав на Ганновер, обеспечил им этим английские субсидии, то они несомненно обрушились бы на него; а что после этого французы с величайшим равнодушием предоставили бы ему нести на себе всю тяжесть континентальной войны,—это он прекрасно знал по роковому опыту второй силезской войны. Именно благодаря этому отказу завладеть Ганновером в интересах французов,—отказу, с его точки зрения вполне обоснованному, и не удалось возобновление его союза с Францией, срок которому истекал в 1756 г.

Но опасность, которую он хотел предотвратить, грозила ему теперь с другой стороны. Чтобы обеспечить Ганновер от каких бы то ни было нападений, Англия заручилась помощью русских отрядов. А если бы русские появились в Германии, то Фридрих с полным основанием мог бы ждать нападения с их стороны, и в этом случае против него опять выступила бы коалиция англичан, австрийцев и русских. При таких-то обстоятельствах он и заключил Вестминстерскую конвенцию, в силу которой Англия и Пруссия взаимно обязывались прогонять силой оружия всякую вооруженную не германскую державу, вступающую на германскую землю. Совершенно ясно, что Фридрих заключил эту конвенцию в интересах европейского мира. Этим в корне опровергается гипотеза Лемана, ибо король, запутывая в дело европейские державы, на самом деле заботился в данном случае только о сохранении мира. Приходится признать неправильным и другой взгляд,—что Фридрих заключением этой конвенции доказал свою дипломатическую бездарность. Правда, конвенция достигла результатов, совершенно обратных той цели, которую она должна была осуществить, и в данном случае, равно как и во многих остальных, Фридрих далеко не выказал себя сверхчелове-

ским гением. Но при заключении ее он показал себя тем, чем он действительно был: деспотом восемнадцатого столетия со всей свойственной ему ловкостью и ограниченностью.

Он вполне основательно предполагал, что Франция не разгневается на него за эту конвенцию. Конвенция, конечно, закрывала французам доступ к Ганноверу, но зато она обеспечивала их от нападения русских. В сущности французы были оскорблены не столько самой конвенцией, сколько тем, что прусский король, которого они привыкли считать своим вассалом, заключил эту конвенцию без предварительного соглашения с ними. Они боролись с Англией за господство над морями и сами оставили без внимания совет Фридриха завладеть Ганновером, пока еще не поздно. Меньше всего Фридрих мог предполагать, что Франция, разгневанная заключением Вестминстерской конвенции, пойдет на союз со своим старым врагом—Австрией. Этот союз противоречил всем традициям французской политики и был проведен с большим трудом, вопреки упорному сопротивлению сильной партии при парижском дворе. Только предложение Австрии уступить Франции Бельгию, находившуюся тогда во владении австрийцев, окончательно решило дело.

Этот союз был бы невозможен, если бы французское королевство уже не находилось тогда на такой стадии упадка, что оно перестало понимать свои действительные интересы. Союз с Австрией привел к полному поражению Франции в войне с Англией; в результате его Франция потеряла свои американские владения, и флот ее был уничтожен; он совершенно разрушил французские финансы и, благодаря позорным военным неудачам французских войск в Германии, подорвал ее европейский престиж; наконец, он был немаловажным элементом брожения, вызвавшего французскую революцию, представители которой клеймили его, как преступление против нации. Следовательно, если Вестминстерская конвенция привела Францию к союзу с Австрией, то «совершенным дураком» оказался Людовик XV, а не Фридрих, гораздо правильнее понимавший французские интересы, чем парижский двор, не предвидевший этих последствий Вестминстерской конвенции.

Действительная ограниченность Фридриха сказалась в том, что он рассчитывал сковать русского медведя с помощью Англии. Англия, конечно, могла бы это сделать, если бы она послала военный флот в Балтийское море, но к этому ее оказалось невозможным побудить даже тогда, когда разразилась война, и Англия, в силу принятых на себя обязательств, должна

была бы предпринять этот шаг. Близкие ее сердцу интересы торговли были для нее гораздо важнее интересов прусского союзника. Подобно тому, как раньше Франция, так теперь Англия видела во Фридрихе своего вассала, которого она и использовала, чтобы, по знаменитому выражению Питта, завоевать Америку в Германии, и которого она швырнула в сторону, как выжатый лимон, не дожидаясь даже окончания военной грозы. Поэтому по заключении мира Фридрих смог удержать свое положение в Европе только благодаря тому, что он стал вассалом России и, удовлетворяя хищнические аппетиты царизма, вытаскивал для него из огня польские и турецкие каштаны. Таким образом он способствовал установлению гегемонии батюшки царя, которая до сегодняшнего дня висит на шее прусского государства.

Как только обнаружилось, что Вестминстерская конвенция привела к совершенно противоположным последствиям, чем рассчитывал Фридрих, что она дала ему не мир, а войну, он, верный своей обычной манере, решил, выражаясь его собственными словами, предупредить своих врагов, не дожидаясь, пока они предупредят его. Совершенно верно, что летом 1756 г. опасность была еще не так велика. На первых порах между Австрией и Францией существовал только оборонительный союз, и Австрия сама потребовала от России подождать до весны следующего года, чтобы тем временем лучше вооружиться и, особенно, теснее связаться с Францией. Но в мае 1756 г. русские войска были уже в походе, и даже Леман признает, что это выступление русских послужило ближайшим поводом для военных осложнений. Королю предоставлялось на выбор одно из двух: или пустить в ход дипломатические переговоры и в течение зимы попытаться расстроить враждебную коалицию, рискуя при этом потерять свое единственное существенное преимущество перед противниками,—именно, лучшее военное снаряжение и возможность скорее подготовиться к войне,—или использовать это преимущество и немедленно нанести удар, рискуя этим еще теснее объединить враждебную коалицию. Вступив на этот последний путь, он, с точки зрения своих интересов, несомненно избрал более мудрое решение, ибо он не мог надеяться, что ему удастся смягчить враждебность обоих императорских дворов, а с другой стороны не было сколько-нибудь разумных оснований думать, что Франция снова откажется от союза с Австрией после того, как она сделала первый, хотя еще сравнительно нерешительный шаг на этом пути. Фридрих, может быть, был

плохим дипломатом, но это объясняется главным образом тем, что он считал дипломатию скверным делом; «переговоры без помощи оружия—все равно, что ноты без инструмента»—обычно говорил он; и он рассуждал совсем не плохо, когда полагал, что после обезоружения Саксонии и сильного удара по Австрии ему лучше удастся сохранить мир, чем если бы он сидел сложа руки и ждал тщательно подготавливавшегося нападения враждебной коалиции.

Если его нельзя упрекнуть в том, что из страха перед воображаемыми опасностями он слишком поспешно начал войну, то, с другой стороны, ему нельзя вменить и в заслугу,—если это можно назвать заслугой,—что он начал войну для превращения своего государства в настоящую великую державу путем завоевания Саксонии. Оккупация Саксонии была для него финансовой и стратегической необходимостью, раз он хотел вести оборонительную войну с некоторой надеждой на успех; что в случае счастливого исхода кампании он охотно сохранил бы за собою эту страну, которой он раньше владел, что ради этого он был готов уступить Восточную Пруссию русским, а свои рейнские владения—французам, совершенно верно, но это ни в малейшей степени не доказывает, что он когда бы то ни было задавался целью завоевать Саксонию путем европейской войны. Подобное предположение совершенно не подтверждается теми фактами, что он в течение всей своей жизни с вождением глядел на Саксонию,—в своем политическом завещании 1752 г. он называет это «политическими мечтами»,—или что он, решившись нанести удар, преувеличивал непосредственно грозящие ему опасности и желал произвести впечатление на весь мир и в особенности на своего английского союзника. Столь же несостоятельны и другие подобные соображения, которые Леман и Дельбрюк приводят в пользу своей гипотезы. Из всех писем, депеш и сочинений короля они не смогли извлечь ни малейшего доказательства в пользу своего взгляда, а если ссылаются на то, что Фридрих любил обставлять свои планы величайшей тайной, то ведь мы не найдем у Фридриха ни одного поступка, который нельзя было бы исчерпывающе объяснить его неустанно повторяемым уверением, что он начал войну в целях самозащиты.

Фридрих гораздо яснее представлял себе исторические условия своего существования, чем нынешние прусские историки. Он прекрасно сознавал мучившую его вассальную зависимость от Франции, Англии и особенно России и проявлял при этом такую чувствительность, какую очень не плохо было бы

унаследовать Бисмарку и Бюлову. Но так как у него не было ни тени национального сознания, то на это чужеземное господство он никогда не смотрел, как на позор. Легенда о Фридрихе в том ее виде, в каком она преподносится Зибелем и Трейчке, ограничивалась тем, что просто-напросто расписывала короля как «героя национального возрождения»; но после того как стерлась эта столь же безвкусная, сколь и грубая подрисовка, прусским историкам это стало труднее, поскольку они остаются прусскими историками, то-есть пока они смотрят на пруссачество, как на историческое освежение и обновление германской нации.

Колеблясь между требованиями честного исследования и властью безнадежной иллюзии, они изображают Фридриха то совершенным дураком, то величавым и трагическим фантомом, тогда как на самом деле он представлял собою нечто иное, как династического деспота восемнадцатого столетия со всей его ловкостью и со всей его ограниченностью.



К первому изданию моей книги я приложил небольшую статью об историческом материализме, которую я после зрелого размышления не решился вторично перепечатывать. Я поступаю так не потому, что не соглашаюсь более с ее содержанием, а по причине, совершенно противоположной,—потому, что ее содержание сделалось общим достоянием тех, у кого есть вообще способность и желание серьезно заняться историческим материализмом. В частности, полемика против давно позабытого сочинения господина Пауля Барта, составляющая немалую часть этой статьи, в настоящее время устарела; перепечатка ее произвела бы на читателя впечатление, что я нахожу удовольствие в борьбе с призраками.

Если эта маленькая работа имела смысл в том отношении, что я признавал себя в ней учеником Маркса и Энгельса, то этот долг благодарности, который я ныне сознаю так же отчетливо, как и тринадцать лет тому назад, я уплатил гораздо более основательно и широко своим изданием литературного наследства Маркса, Энгельса и Лассалья и своей историей германской социал-демократии \*. В этих сочинениях читатель

\* Литературное наследство Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Фердинанда Лассалья. Издано Францем Мерингом. Штутгарт, 1902. Издательство преемников И. Г. В. Дитца.—*Ф. Меринг*. История германской социал-демократии. Третье издание. В том же издательстве, 1906 г.

найдет несравненно более богатый материал для истории и критики исторического материализма, чем какой я мог дать в той статье, которую я не хочу переиздавать.

Я закончу пожеланием, чтобы эта книга в своем третьем издании настолько же успешно выполнила свою пионерскую задачу, как и ее два первых издания.

*Ф. Меринг*

Штеглиц-Берлин, Апрель 1906 г.



---

## Часть первая

# КРИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ЛЕГЕНДЫ О ЛЕССИНГЕ

### 1

#### Лессинг и буржуазия

Ни одному из великих мыслителей и поэтов немецкого бюргерства не выпало при жизни более тяжелого, а после смерти более счастливого, повидимому, жребия, чем Лессингу. Буржуазные классы лелеют память о нем с такой же старательностью, с какой выхаживается какой-нибудь редкий цветок в оранжерее. Имеются два чрезвычайно ценных научных издания его трудов; издание Лахмана, прокладывающее совершенно новый путь, перепечатывается в третий раз; более позднее издание, подготовленное для издательства Гемпеля Гроссом, Редлихом, Шене и другими, содержит в себе, кроме тщательно просмотренного текста, множество материала, поясняющего письма и значительную часть сочинений Лессинга. Количество популярных изданий почти необозримо.

Помимо этого существует целая маленькая библиотека биографий, среди которых наряду со всяким хламом есть две больших научных работы, популярно-научное сочинение, выдержавшее девять изданий, и наконец две английских биографии, каждая из которых была переведена на немецкий язык. Сочинений, которые отчасти касаются Лессинга или освещают отдельные стороны его духа и деятельности,—целый легион. Нечего и говорить, что Лессинг—настоящий герой буржуазной прессы. В этом отношении можно действительно сказать: Лессинг—и только Лессинг! Словом, начиная со старокатолического епископа Рейнкенса и кончая учеными из «Berliner

Tageblatt», все единодушно в своих восторгах перед «своим» или «нашим» Лессингом.

Конечно, нет недостатка и в иных оценках, но они не пользуются особенным весом. Дюринговский памфлет против Лессинга представляет собою жалкое произведение, позорящее лишь самого его автора; он уступает только рассчитанному на десять томов сочинению Пауля Альбрехта «Плагии Лессинга», которое стремится доказать, что вся работа Лессинга есть сплошное воровство, но зато при разрешении этой возвышенной задачи дает немало полезных указаний, характеризующих жалкие приемы некоторых исследователей лессинговского творчества. В то же время Лессинг не без основания кажется бельмом на глазу для известной разновидности «натуралистов» — той их разновидности, которая с особенной любовью копается в нечистых отбросах капиталистического хозяйства и играет роль рабов, подававших кутилам гибнущей римской империи рвотное после каждой перемены блюд, дабы возбудить у них искусственный аппетит к следующим блюдам. Но все эти враждебные выпады против Лессинга — только отдельные щепки, которые не в силах преградить путь великому потоку лессинговского культа и уносятся его быстрым течением.

Если бы предметом этого культа был Лессинг в подлинном его виде, то это было бы чрезвычайно почетным свидетельством в пользу современной буржуазии. Ведь в работах Лессинга нет ничего привлекательного для людей, гонящихся за модой; в них мало даже и того, что нужно себе усвоить обычному образованному человеку, дабы он мог похвастать своими познаниями. Эстетика и художественная критика Лессинга, его философия и теология отстали от нашего времени. Они отстали потому, что он сам проложил путь, по которому другие могли скорее добраться до цели, но это все-таки не устраняет того факта, что они отстали. Даже к Натану и Телльгейму мы уже относимся не так, как к Фаусту и Теллю. Гете говорит о Винкельмане: «Если у очень многих людей, особенно у ученых, самое главное — результаты их трудов, и их характер мало при этом проявляется, то в отношении Винкельмана, наоборот, оказывается, что все, созданное им, замечательно и ценно главным образом потому, что во всем этом обнаруживается его характер». Это с еще большим основанием можно сказать о Лессинге. Среди передовых духовных борцов немецкого бюргерства Лессинг был не самым гениальным, но самым свободным, самым правдивым и — что самое главное — самым буржуазным из

всех; к его произведениям—даже мертворожденным или давным давно позабытым—приковывает характер человека, их писавшего. Честность и мужество, ненасытная жажда к знанию, наслаждение не столько самой истиной, сколько стремлением к ней, неутомимая диалектика, поворачивавшая и рассматривавшая каждый вопрос до тех пор, пока не обнаруживались самые скрытые его стороны, равнодушие к собственной работе после того, как она выполнена, великодушное презрение к мирским благам, ненависть ко всем угнетателям и любовь ко всем угнетенным, непобедимое отвращение к великим мира сего, постоянная готовность бороться с неправдой, всегда скромное и всегда гордое поведение в изнурительной борьбе с жалкой политической и социальной обстановкой,—все это, наряду со многими другим, столь же возвышенным и бодрящим, отражается в письмах и сочинениях Лессинга.

Стоит только перечислить эти душевные качества, чтобы понять, насколько резко противоречит характер Лессинга характеру современной немецкой буржуазии. Робость и двоедушие, ненасытная жажда наживы, наслаждение охотой за прибылью и в еще большей степени самой прибылью, духовное самодовольство, которое не хочет идти дальше нескольких изблюбленных словечек, кажущихся последним словом земной мудрости, надувательство, опирающееся на широко разветвленную систему кумовства и рекламы, невероятная переоценка самых ничтожных земных благ, сгибание спины перед выше стоящими и угнетение ниже стоящих, неискоренимый византизм, постоянное замалчивание самой вопиющей несправедливости, неизменно хвастливое и неизменно малодушное поведение в политической и социальной борьбе современности,—таковы отличительные свойства этой буржуазии. Противоречие это настолько резко и остро, что всякий раз, как исповедуемый буржуазией культ Лессинга грозил хватить через край, буржуазные писатели, знавшие и любившие своего Лессинга, подымали гневный крик. Так, например, в 1886 г., когда по случаю открытия в Берлине так называемой юбилейной художественной выставки «National Zeitung» в припадке тупоумного византизма утверждала, что «Гете и Лессинг смогли бы кое-что рассказать об огромном и решающем влиянии Фридриха Великого на немецкую литературу», Ксантипп Зандфосс спрашивал: «Разве не видим мы ежедневно, как имя Лессинга без всякой нужды пристегивается к партийным распрям? Разве нам не приходится сотни раз мысль, что во внимание к памяти великого покойника необходимо заявить протест против такого

злоупотребления? Разве не отвратительно видеть, как люди, которые не имеют никакого представления о высокой, истинно немецкой правдивости этого человека, которые способны понять только самую пошлую рекламу, самое наглое самовосхваление и то, что для самого Лессинга всегда было самой безразличной вещью в мире, — именно, собственное преуспеяние, — как эти люди отзываются о нем так, словно он — один из них?» \* А когда в октябре 1890 г. в Берлине был открыт памятник Лессингу, причем профессор Шмидт держал напыщенную речь, а буржуазная пресса оглушительно била в литавры, «*Kreuz-Zeitung*» писала еще более резко: «Если бы ныне восстал из мертвых обер-пастор Геце, мы стояли бы рядом с ним. Это было бы нашим правом и нашей обязанностью... Мы не оспариваем искренности Лессинга. Она бесконечно возвышает его над большинством тех, которые в его славе хотят отобразить самих себя. Профессору Шмидту следовало бы об этом подумать, когда он как раз в настоящую минуту — все понимают, что мы этим хотим сказать, — хвалил Лессинга за то, что он научил немецких писателей держать себя с достоинством. Поучительное дело Линдау показывает, чего он достиг!.. Лессинг никогда не испытал на земле того, что обычно называют счастьем, — оно было суждено ему после смерти: ему удалось не дожить до дня, когда ему воздвигли памятник. Если бы он ныне действовал в Берлине, к нему отнеслись бы как к ничтожеству те самые люди, которые сейчас, когда он облачен в мрамор и смотрит на нас с высоты своего пьедестала, не щадят для него фимиамы». Эти свидетельства, исходящие от буржуазии, достаточно подтверждают тот факт, что буржуазный культ Лессинга отнюдь не объясняется одинаковостью характеров. Обратимся же теперь к вопросу о том, в чем именно он коренится.

Этот культ объясняется двумя причинами. Во-первых, отношением Лессинга к еврейскому вопросу, как он ставился в его время. Конечно, тогдашний еврейский вопрос был нечто совершенно иное, чем современный еврейский вопрос, а дружеское отношение Лессинга к евреям имеет с нынешним филосемитизмом так же мало общего, как человеколюбие — эта излюбленная идея нашего гуманитарного века — с современным капитализмом. Лессинг, никогда не забывавший теневых сторон еврейского характера, защищал евреев потому, что помогал

\* *Ксантин*, Берлин и Лессинг, Фридрих Великий и немецкая литература. — Эта превосходная книжка, разумеется, была совершенно замолчана буржуазной прессой. Подробную рецензию о ней см. в «*Neue Zeit*», 6. стр. 320 и сл.

не только словами, но и делом всем угнетенным и преследуемым, кто бы они ни были. В последнем письме, которое он, уже смертельно больной, написал к Мозесу Мендельсону, он рекомендовал этому достойнейшему из своих еврейских друзей другого своего еврейского друга, прославившегося чрезвычайно неприглядными проделками, и, называя его «несчастливым», писал следующее: «Неправда, что этот несчастный совершенно невинен. Благоразумия ему, конечно, всегда не хватало. Настоящее имя этого эмигранта—Александр Давесон; я могу засвидетельствовать, что наши люди, подстрекаемые вашими, сыграли над ним очень подлую шутку. От вас, дорогой Мозес, ему нужно только одно,—чтобы вы указали ему кратчайший и вернейший путь в такую европейскую страну, где нет ни христиан, ни евреев. Я неохотно расстаюсь с ним; но если он счастливо доберется туда, я первый за ним последую». Такое умонастроение отделено целой пропастью от нынешнего филосемитизма. Но чем длиннее становились лепорелловские списки, в которых антисемиты цитировали против евреев «изречения всех великих немцев, начиная от Лютера и кончая Бисмарком», тем ревностнее бросались капиталистические филосемиты и германской буржуазии на единственного в своем роде Лессинга, превосходившего всех «великих людей» в том отношении, что перед лицом несчастья и несправедливости он всегда забывал вину.

Еще большее значение имел другой источник лессинговского культа. Германская буржуазия до 1848 г. смутно чувствовала, а после 1848 г. совершенно ясно поняла, что она слишком поздно вступила на арену мировой истории и собственными силами никогда не будет в состоянии добиться господства. На Готском съезде и в Национальном союзе она заявила, что готова поделиться властью со штыками прусского государства. С другой стороны, прусское государство до 1848 г. смутно чувствовало, а после 1848 г. совершенно ясно поняло, что для того, чтобы успешно слопать западную и южную Германию, оно должно немного модернизировать свою захолустную ост-эльбскую первобытность. Таким образом после дружеских недоразумений эпохи конфликта создался компромисс 1866 г., в результате которого возникла новая германская империя. Теперь германской буржуазии нужно было примирить свое реальное настоящее со своим идеальным прошлым и из века нашего классического просвещения сделать век Фридриха Великого. Эта задача была дьявольски трудна. Ведь как раз коренные пруссаки из числа великих мыслителей и поэтов немецкой буржуазии,

как, например, Винкельман, уроженец Альтмарка, и Гердер, уроженец Восточной Пруссии, с проклятием оставили родину и бросили в нее на прощание камнем; «Царство Пирра» Гердера и даже «Мучитель народов» Винкельмана никак нельзя было истолковать в более мягком смысле. Единственным козлом отпущения, которого можно было принести в жертву ради этой идеологической потребности буржуазии, был Лессинг. Лессинг, урожденный саксонец, провел значительную, а пожалуй, даже наибольшую часть творческого периода своей жизни в Пруссии, где он жил по собственному желанию; около пяти лет он состоял секретарем при прусском генерале, да притом еще во время Семилетней войны; он написал пьесу из прусского солдатского быта; наконец берлинские просветители принадлежали к числу его старейших друзей. Правда, король Фридрих совершенно не интересовался Лессингом и даже оскорбил его, но в ночи счастливого невежества все кошки серы, и потому «освобождающие дух» тенденции обоих этих людей казались одинаковыми; если даже Фридрих дурно обошелся с Лессингом, то Лессинг, воздвигнув «вечный памятник» королевской «справедливости» в «лучшей из немецких комедий», подал тем более блестящий пример германской верноподданнической верности.

Так возник исповедуемый буржуазией культ Лессинга, а из него — и легенда о Лессинге. Я не хочу этим сказать, что эта легенда была результатом сознательной и планомерной лжи. Исторические легенды никогда не зарождаются таким образом; все они, — по крайней мере те из них, которые проявляют известную силу и жизнеспособность, — всегда являются только идеологической надстройкой экономически-политического развития. Плоское и грубое понимание лессинговской легенды невозможно уже в силу того обстоятельства, что начало ей положил не кто иной, как Гете, и что ее влиянию поддавались до некоторой степени даже такие революционные головы, как Лассаль. Мы далеки от мысли упрекать биографов Лессинга и исследователей его творчества в сознательной подделке. Подобное подозрение было бы совершенно бессмысленным не только в отношении ныне живущих, но и особенно в отношении покойных исследователей, которые, вроде, например, Данцеля и Лахмана, исходили из искреннейших и достойных всякого уважения научных побуждений. Мы не хотим отказать в добросовестности даже жалким писакам из «*Berliner Tageblatt*» и «*National Zeitung*», когда они считают себя Лессингами или воображают, что Готтольд Эрфраим, как выражается Зандфосс,

был «одним из их людей». Даже по отношению к ним оправдывается прекрасное изречение Лессинга: никакой человек не станет сознательно и намеренно ослеплять себя по той простой причине, что это невозможно. Но хотя возможность намеренной подделки совершенно исключена, не подлежит никакому сомнению, что объективное искажение лессинговской легенды все более и более превращает облик этого благородного и смелого человека в отвратительную маску. Лессинг—это революционный гений,—писал Гервинус в тридцатых годах\*. В шестидесятых годах Трейчке писал: это не революционер, а реформатор, как это и подобает широкой натуре художника\*\*. А в девяностых годах Эрих Шмидт пишет: Лессинг—не реформатор, а реформист, либерал, «острый, агрессивный берлинец» (уж не лейтенант ли в запасе\*\*\*? Если же через тридцать лет капиталистическое общество все еще будет стоять на собственных ногах, то «наиболее актуальный» исследователь Лессинга несомненно заявит: Лессинг—не реформист, а просто-напросто сторонник свободной торговли! Насколько мало преувеличены наши слова, видно из того, что отрицательное доказательство этого утверждения уже доставлено, и Лессинг объявлен ненавистником социалистов\*\*\*\*.

Цель настоящей работы—критический анализ легенды о Лессинге. Конечно, чтобы спасти Лессинга из филистерских сетей буржуазии, лучше всего было бы написать положительное исследование и отобразить в нем лучезарную высоту его жизни и его жизненного творчества. Но такое исследование станет возможным только тогда, когда восемнадцатое столетие будет освобождено от хлама басен и сказок и будет точно выяснена его экономическая основа. Только тогда и станет возможной история нашей классической литературы, которая в ее буржуазной форме представляет собою не что иное, как беспорядочную грудку более или менее остроумных взглядов, мнений и домыслов. А пока что, мы должны реабилитировать Лессинга более скромным способом, который сам он описал сле-

\* *Гервинус*, История немецкой поэзии (*Gervinus, Geschichte der deutschen Dichtung*), 4, стр. 292, изд. 4-е.

\*\* *Трейчке*, Исторические и политические статьи (*Treitschke, Historische und politische Aufsätze*), I, стр. 62, изд. 4-е.

\*\*\* *Эрих Шмидт*, Лессинг. История его жизни и его сочинений (*Erich Schmidt, Lessing. Leben und Werke*). Во многих местах.

\*\*\*\* *Штавр*, Г. Э. Лессинг, его жизнь и труды (*Stahr, G. E. Lessing, sein Leben und Werke*), 2, стр. 326, изд. 9-е. Неопровержимая критика коммунизма, а именно в беседах Эрнста и Фалька о франкмасонстве.

дующими словами: «Для меня нет более приятного занятия, как перебирать имена знаменитых людей, исследовать их право на вечную славу, смыть с них незаслуженные пятна, опровергать лживые утверждения, которыми стараются замазать их слабости,—словом, в моральном смысле делать все то, что в физическом смысле делает человек, которому доверен надзор за картинной галереей». Но так как реабилитация Лессинга даже в этом ограниченном смысле невозможна без целого ряда побочных исследований литературной и социальной, военной и политической жизни восемнадцатого столетия, то цели нашей, может быть, удастся достигнуть, если мы до некоторой степени восстановим общие черты подлинного облика Лессинга путем критического разрушения его искаженного облика, созданного буржуазией.

## II

### Зародыш легенды о Лессинге

Первый зародыш легенды о Лессинге мы находим в гетевских «Изречениях в прозе». Таких изречений имеется свыше тысячи; все это—отбросы идейной мастерской отчасти стареющего, отчасти уже старого поэта, в некоторых случаях принадлежащие ему самому, в некоторых—взятые у других, касающиеся этики, искусства и природы и столь же различные по содержанию, как и по ценности. Многие мысли чрезвычайно глубоки и затрагивают мировые проблемы. Мы находим там даже зачатки экономической диалектики, как, например, в изречении 305: «Принудительная цеховая организация и свобода промышленности, сохранение земельной собственности и раздробление ее,—все это всегда один и тот же конфликт, который в конце концов опять порождает новый конфликт. Поэтому величайшая мудрость правителя состоит в умении так умерять эту борьбу, чтобы она приводила к равновесию, не губя ни одной из сторон; но это не дано человеку, да и бог, повидимому, этого не желает». В изречении 466 мы находим признание прекрасной души: «Подобно тому как фимиами, возженный углем, освежает жизнь, точно так же молитва освежает надежды сердца». В изречении 638 встречается фраза, темная, как орфические гимны: «По отношению к практике неумолимый рассудок есть в то же время разум, ибо по отношению к рассудку высшая обязанность разума—делать рассудок неумолимым». Наряду с этим, в изречении 514 мы встречаем и зародыш



легенды о Лессинге: «Немцам было очень неприятно, что Фридрих Великий и знать о них не хотел, и они сделали все возможное, чтобы оказаться в его глазах хоть чем-нибудь». Если это так, то нашу классическую литературу пришлось бы признать не чем иным, как возмущением ограниченного разума подданных против дурного обращения с ними прусского короля\*.

Та же самая мысль в более широкой постановке выражена в седьмой книге «Поэзии и правды моей жизни». Это «знаменитое место» перепечатывалось бесчисленное количество раз, но так как для его исчерпывающей критики необходимо точно знать его буквальный смысл, то я должен повторить его здесь еще раз. Гете описывает положение немецкой литературы в том виде, в каком он ее застал осенью 1765 г., когда он шестнадцатилетним юношей переехал в Лейпцигский университет. Свой обзор, написанный после того, как Гете минуло шестьдесят лет, Гете заканчивает следующими словами:

«Истинное и подлинное высокое жизненное содержание впервые появилось в немецкой поэзии благодаря Фридриху Великому и подвигам Семилетней войны. Всякая национальная поэзия должна быть мелкой или становится мелкой, если в основе ее не лежит самое главное для человека,—события жизни народов и их пастырей, воплощающиеся в одном человеке. Королей следует изображать в минуты войны и опасностей, ибо они кажутся первыми из людей именно потому, что определяют и разделяют судьбу самого последнего человека и в силу этого становятся гораздо более интересными, чем сами боги, которые, хотя и определяют человеческие судьбы, но сами не участвуют в них. Поэтому каждая нация, если она претендует на какое бы то ни было значение, должна обладать эпопеей, для которой форма эпической поэмы отнюдь не обязательна.

\* Сочинения Гете, 19, стр. 112, издание Гемпеля. Представляется до некоторой степени сомнительным, является ли изречение Гете его собственными или заимствованными у других словами, ибо Юсти в своей биографии Винкельмана (т. 2, стр. 301) пишет о Фридрихе, каким он был в 1765 г., следующее: «Тогда говорили, что он оставался чужим для своей собственной нации и облагораживанию этой последней, сделавшему его век столь же славным, как век Людовика XIV, способствовал лишь в том смысле, что он возбуждал в Германии ревнивое желание отомстить ему за проявляемое к ней презрение своим собственным возвышением». Но хотя у самого Юсти это предложение стоит в кавычках, в то время, то-есть в 1765 г., никто в Германии не мог высказать подобной мысли. Более вероятно, что Юсти или лицо, у которого он заимствовал эту фразу, изложил и мысль Гете своими собственными словами, но Гете высказал ее не «в то время», а больше чем сорок лет спустя.

«Военные песни Глейма занимают столь высокое место среди немецких песен потому, что они возникли вместе с самим делом и во время него, а также и потому, что их удачная форма дает нам полное ощущение действительности и вызывает впечатление, что ее создал участник борьбы в наиболее важные моменты жизни.

«Рамлер воспеваает подвиги своего короля иным и чрезвычайно достойным образом. Все его песни чрезвычайно содержательны, занимают нас великими, возвышающими душу предметами и уже по одному этому обладают непреходящей ценностью.

«Ибо внутреннее содержание обрабатываемого сюжета — начало и конец искусства. Правда, нельзя отрицать, что гений, вполне развитой художественный талант благодаря обработке из любой вещи может сделать все и подчинить себе даже самый неподатливый материал. Но в сущности говоря, тогда возникает скорее искусно сработанная вещь, чем художественное произведение, которое должно покоиться на достойном сюжете, дабы с помощью умения, труда и прилежания обработать материал так, чтобы он в конце концов предстал в наиболее удачной и прекрасной форме.

«Поэтому пруссаки, а вместе с ними протестантская Германия приобрели для своей литературы сокровище, которого недоставало противной партии и отсутствие которого она не могла впоследствии возместить никакими усилиями. Они впервые начали строить, исходя из того великого представления, которое имели прусские писатели о своем короле, и работали тем ревностнее, что тот, во имя которого они делали все, решительно не желал о них ничего знать. Сначала благодаря французской колонии, а впоследствии благодаря пристрастию короля к образованию этой нации и ее финансовым учреждениям, в Пруссию в широких размерах перенеслась французская культура, сослужившая немцам чрезвычайно полезную службу, ибо она вызвала их на противоречие и противодействие; равным образом, и нерасположение Фридриха ко всему немецкому было счастливым обстоятельством, способствовавшим созданию литературы. Чтобы быть замеченными королем, делали все, — не только для того, чтобы добиться его уважения, но и для того, чтобы снискать хотя бы его внимание; но это делали по-немецки, согласно внутреннему убеждению, — делали то, что признавали правильным, и желали, чтобы король признал и оценил то, что немцы считали правильным. Этого не случилось и не могло случиться; ибо как можно требовать от короля, который хочет жить духовной жизнью и духовно наслаждаться,

чтобы он терял целые годы, дожидаясь, пока наконец не разовьется и не начнет давать наслаждение то, что он считал варварским? Конечно, в области ремесла и фабричного производства он мог вместо превосходных заграничных товаров создать для себя и особенно навязать своему народу весьма посредственные суррогаты; но в этой области все быстрее доходит до совершенства и, чтобы производить такие вещи в настоящем виде, совсем не требуется целой человеческой жизни.

«Но здесь я с уважением должен упомянуть об одном произведении, самом подлинном порождении Семилетней войны, при исполнении истинно севернонемецкого национального содержания: это первое театральное произведение, взятое из значительной жизни, чрезвычайно злободневное по содержанию и именно потому оказавшее неизмеримое влияние. Я имею в виду «Минну фон Барнгельм» Лессинга, который, в противоположность Клопштоку и Глейму, охотно бросал в сторону личное достоинство, будучи вполне уверенным, что он в любой момент сможет опять вернуть его себе, с удовольствием вел рассеянную жизнь в кабаках и в светском обществе, так как ему всегда необходим был какой-нибудь сильный противовес его неутомимо работавшему внутреннему сознанию; поэтому-то он и присоединялся к свите генерала Тауэнцина. Легко представить себе, как создавалось вышеупомянутое произведение; написанное среди сцен войны и мира, среди любви и ненависти. Это произведение дало счастливую возможность заглянуть в высший, более значительный мир из того литературного и мещанского мира, в котором до тех пор вращалось поэтическое искусство.

«Острая вражда, которую питали друг к другу Пруссия и Саксония во время этой войны, не могла прекратиться после ее окончания. Только тогда саксонец по-настоящему почувствовал рану, нанесенную ему слишком много возмнившим о себе пруссаком. Политический мир не мог сразу водворить мир в сердцах. Но этого результата достигла в образах упомянутая выше пьеса. Прелесть и любезность саксонок побеждают внутреннюю содержательность, достоинство и упрямство пруссаков, и в лице главных и второстепенных героев художественно изображается счастливое объединение причудливых и противящихся друг другу элементов».

Вот то «знаменитое место», то классическое свидетельство, на основании которого буржуазные прусские историки литературы говорят о «веке Фридриха Великого», ставя его на пятое место после века Перикла, века Августа, века Медичи и

века Людовика XIV. Но здесь еще нет практического вывода, который по веским соображениям обычно выпускается. Непосредственно вслед за этим Гете продолжает: «Если этими беглыми и беспорядочными замечаниями о немецкой литературе я привел в смущение моих читателей, то зато мне посчастливилось дать представление о том хаотическом состоянии, в котором находился мой бедный мозг». После этого он описывает, как спасением из «этой беды» явилась «привычка, от которой я не мог избавиться в течение всей своей жизни,—именно, стремление превращать в образ или стихотворение все, что меня радовало, мучило или вообще занимало, и таким образом свести счеты с самим собой, дабы, с одной стороны, исправить мои понятия о внешних вещах, а с другой—успокоить на этот счет свое внутреннее сознание... Поэтому все, что стало обо мне известным, представляет собою лишь отрывки одной большой исповеди; дать ее в полном виде—такова смелая цель, которой задается эта книжечка». А если так, то, «в сущности говоря», вся поэзия Гете представляет собою скорее «искусно сработанную вещь», особенно по сравнению с теми «непреходящими художественными произведениями», в которых Рамлер воспевал короля Фридриха.

Чтобы бросить несколько больше света на это «знаменитое место», заглянем в седьмую книгу «Поэзии и правды моей жизни» за пятнадцать страниц назад. Гете говорит здесь о некоем Кёниге, который «с достоинством и успехом» занял место дрезденского придворного поэта и сочинил большое стихотворение по поводу придворной резиденции Августа Сильного (с 354 незаконными детьми). Гете говорит там следующее:

«Во всех суверенных государствах содержание поэтического искусства дается сверху, и потому Потешный лагерь под Мюльбергом был, быть может, первым достойным сюжетом, если не национального, то по крайней мере провинциального значения, представившимся поэту. Два короля, приветствующие друг друга в присутствии большого войска, окруженные всем своим двором и военными начальниками, отряды, содержимые в прекрасном порядке, военные маневры, всевозможные празднества,—все это давало достаточно пищи для внешних чувств и обильный материал для изобразительной и описательной поэзии.

«Конечно, этот сюжет страдал одним внутренним недостатком,—тем, что все это было только парадом и видимостью, не приводившей ни к каким действиям. Никто кроме первых лиц не обращал на себя внимания, а если бы это даже случилось,

то поэт не смел выделить одного, дабы не оскорбить этим других. Он должен был сообразоваться с придворным и государственным календарем, и потому обрисовка отдельных лиц была несколько суховата; даже современники упрекали его в том, что он изобразил лошадей лучше, чем людей. Но разве не следует похвалить его как раз за то, что он обнаруживал свое искусство именно там, где представлялся сюжет для этого последнего? Повидимому, главная трудность вскоре стала для него очевидной, ибо поэма не пошла дальше первой песни».

Гете упоминает, что Брейтингер сомневался, можно ли называть поэму Кёнига настоящей поэмой, но тут же прибавляет, что Брейтингер в своем «Критическом поэтическом искусстве», «исходя из неверного положения, продельывает почти полный круг и потом опять возвращается к самому главному и вынужден в конце своей книги дать как бы в виде приложения описание нравов, характеров, страстей, словом, того внутреннего человека, которым преимущественно и должна заниматься поэзия». Таким образом, здесь мы встречаем то же самое противоречие, что и в «знаменитом месте»: первый достойный поэзии сюжет исходит от «королей», дается «сверху», но «главное» — это все-таки «внутренний человек», «нравы, характеры, страсти».

Но не только благодаря этому обстоятельству буржуазные прусские историки литературы оставляют без внимания это «национальное» место в «Поэзии и правде моей жизни». Еще труднее переварить им фразу о том, что «Потешный лагерь под Мюльбергом» является если не вполне, то почти таким же достойным сюжетом для немецкой поэзии, как Семилетняя война. Радевицкая резиденция, как она обычно именуется в старых исторических сочинениях, принадлежала к числу наиболее дорого стоящих султанских фантазий Августа Сильного. В течение целого месяца — в июне 1730 г. — там была собрана тридцатитысячная саксонская армия, чтобы давать военные представления; щедрое угощение бесчисленных гостей, первое место среди которых занимали прусский король и кронпринц Фридрих, поглощало такие огромные суммы, которые даже в то время вызвали известное недовольство. Если даже эту резиденцию Гете считал первым побудительным мотивом к созданию национальной поэзии, то с «высшим жизненным содержанием», якобы принесенным Семилетней войной, дело, конечно, обстоит довольно плохо \*.

\* Колоритное описание лагеря, принадлежащего Радевицу, можно, между прочим, найти у Карлейля — «История Фридриха Второго», II, стр. 145 и сл.

В заключение следует вкратце упомянуть и другие отзывы Гете о Глейме и Рамлере в «Поэзии и правде моей жизни». О связи «Минны» Лессинга с Семилетней войной мы будем еще говорить в другом месте. За десять страниц до «знаменитого места» мы читаем следующее: «Глейм, многоречивый и добродушный от природы, почти никогда не отличался сжатостью в своих военных песнях. Рамлер, в сущности скорее, критик, чем поэт». Через три страницы о Глейме вскользь говорится: «Анакреонтические ходули порождали безбрежные мечтания у бесчисленного количества посредственных голов». А в конце концов—уже в десятой книге—Гете хвалит Глейма за то прекрасное употребление, которое он давал своему большому доходу, и прибавляет: «Он приобрел так много друзей, должников и пенсионеров, что его расплывчатая поэзия получала охотное признание, ибо за его щедрые благодеяния нечем было отплатить, кроме терпимого отношения к его стихам». Других отзывов мы приводить не будем \*.

С читателя, наверное, достаточно и приведенных выше цитат. Но без них нельзя было обойтись, раз мы задавались целью разложить на составные атомы то «знаменитое место», которое, подобно окаменелой догме, властвует над всей буржуазной историей литературы. Описанный еще Фихте «чистый читатель», читающий не самые книги, а разве только отзывы о книгах, стоит перед нами ныне во всем своем великолепии; если бы наше буржуазное общество действительно читало своего мирового поэта, а не только болтало о нем по указке модных историков литературы, то эта догма никогда бы не возникла. В ближайшей связи с «знаменитым местом» сам Гете говорит, что то, что он называет своей «книжечкой», является частью его «исповеди». Более чем шестидесятилетний старец рассказывает, что он думал, что чувствовал и о чем грезил, будучи шестнадцатилетним юношей. И когда к нему снова приближаются «колеблющиеся образы», «которые с ранних пор явились его печальному взору», он чувствует, как его грудь «по-юношески трепещет от волшебного благоухания, разносящегося вокруг их шествия». Когда перед ним «встают картины веселых дней и многие дорогие тени», его «книжечка» брызжет чистейшей мудростью, и он глубоко заглядывает в человеческое сердце и в мир. Но тайный советник веймарского герцогского двора не может уже так мыслить, чувствовать и грезить, как самый гениальный юноша восемнадцатого столетия; даже для Гете

\* Поэзия и правда моей жизни, стр. 21, 62 и сл., 48 и сл., 53, 56, 172.

не обошлось даром пребывание в течение более чем одного поколения при маленьком дворе крохотной германской княжеской резиденции. В этой обстановке ему представляется «значительным» многое такое, что никогда не было значительным в его духовной жизни: Август Сильный и Потешный лагерь под Мюльбергом, Фридрих Великий и Семилетняя война. Не хватает только Наполеона и русского похода. Впрочем, и эти темы не остаются незатронутыми. В то время, когда писалась седьмая книга «Поэзии и правды моей жизни» — в июле 1812 г., — наполеоновские боевые колонны перекатывались через Неман, и вся Европа содрогалась, ожидая конца света; в это время Гете спокойно пел в честь «ее величества французской императрицы»:

Итак, упрочена держава ныне;  
Оплот Свой с радостью Он видит в сыне.

И как заключительный стих:

Кто в праве все хотеть, — и мира хочет\*.

Но, несмотря на все, даже в моменты своих придворно-филистерских настроений Гете оставался Гете и представлял собою нечто совершенно иное, чем то, что хотели из него сделать буржуазные прусские историки литературы. Какое глубокое понимание человека проявляет он даже в «знаменитом месте», — там, где он говорит, что Лессинг мог легко сбрасывать с себя и снова усваивать личное достоинство! Это место принадлежит к числу самых метких замечаний, какие когда-либо были сделаны о Лессинге, и поразительно гармонирует с одним стихотворением Лессинга, найденным лишь после смерти Гете, — со стихотворением «Я». Заключительные его строки гласят:

Еще немного, и топтать  
Мой прах потомство будет смело;  
Им, кто я, будет мало дела;  
Лишь мне бы это знать!

Когда мы читаем, что более удачное описание лошадей, чем людей, Гете как раз «вменяет в заслугу» дрезденскому придворному поэту; когда мы читаем, что Гете защищает прусского короля на том основании, что Фридрих, как сказали бы мы сегодня, поощрял национальное сознание во образе дрянных товаров — «скверной дешевки», выражаясь языком сегодняшнего дня, — но в то же время считал немецкую литературу недостойной даже и этого поощрения и обращался с немцами, как со сволочью, дабы они из простого чувства противоречия

\* Гете, Сочинения, II, 413.

стали великими мыслителями и поэтами; когда мы все это читаем и обдумываем с точки зрения простого здравого смысла, а потом глядим на педантский хлам александрийских примечаний и византийских комментариев, изъясняющих «знаменитое место», — невольно хочется воскликнуть вместе со старым бароном Мюнгаузенем: «Школьный учитель хватил через край! Это ведь настоящая, чистейшая сатира на господ бога»! Но таковы уж наши школьные учителя. Они не желают видеть даже того, что и от Потешного лагеря под Мюльбергом, и от Семилетней войны Гете возвращается к «нравам, страстям, характерам» «внутреннего человека», «мещанского мира», усматривая в этом «главный сюжет» всей тогдашней поэзии вообще и своей собственной поэзии в частности, и что он, бросив несколько замысловатых фраз, говорит о нашей классической литературе как раз то, что Шиллер выразил словами: «Она сама создала себе ценность». Вместо того, чтобы подчеркивать и вместе с ним хвалить наивысшую заслугу германской буржуазии, дающую ей право на славу и заключающуюся в том, что буржуазные классы восемнадцатого столетия, несмотря на угнетение и поборы, которым они подвергались в Германии, несмотря на свою бедность и отсталость, все-таки выдвинули из своих рядов таких людей, как Лессинг, Гердер, Гете, Шиллер и многие другие, — вместо этого наши литературные школьные учителя хватаются за гетевскую косичку, чтобы от нее вознестись к косичке Фридриха и выкинуть при этом случае верноподданнические курбеты.

Когда они догадываются, что попали не на ту дорогу, они начинают безнадежно путаться. Так, например, господин Гризебах в своей биографии Бюргера изрекает, что государственный подъем Пруссии при Фридрихе Великом естественно положил начало новой эпохе немецкой литературы; затем он цитирует несколько фраз из «знаменитого места» и прибавляет: «В доказательство своей мысли о начале новой эпохи Гете не следовало бы ссылаться на политические вирши Глейма и Рамлера, а равно и на столь невероятно переоцененного поэта, как Лессинг, который сам оценивал себя гораздо правильнее». Жаль, что господин Гризебах по этому случаю не мог допросить самого старого олимпийца. Услышав такое нескромное возражение, Гете наверное оставил бы свой «торжественный» тон и сказал бы просто: Мой дорогой, откуда же взять, если не красть? \*

\* *Гризебах*, Сочинения Г. А. Бюргера (*Gricsebach*, G. A. Bürger's Werke), I, 19. Между прочим, на примере господина Гризебаха прекрасно видно, каким образом современные имперские поэты получают свое «высшее жизненное содержание». Когда господин Фальк сочинял за-



Если уж необходимо доказывать влияние Фридриха и Семилетней войны на немецкую литературу, то Гете, несомненно, выбрал как раз то, что вообще возможно было использовать в этом смысле; «Минна» Лессинга, правда, не прославляет Семилетней войны и не получает из нее своего «высшего жизненного содержания», но по крайней мере непосредственно связана с ней. Рамлер, как выражался о нем Платен уже за шестьдесят лет до этого, «давно почил в бозе», но при жизни он, конечно, воспевал короля Фридриха. Военные песни Глейма все-таки до известной степени выделяются из его остальных пошлых поэтических произведений. Кроме того Глейм—единственный прусский поэт, который хоть один раз в жизни видел короля Фридриха лицом к лицу. После того как он воспевал короля почти полстолетия, ему выпало это счастье незадолго до смерти Фридриха. Не лишне привести здесь поэтический рассказ Глейма об этом событии.

### Король и Глейм

Потсдам, 22 декабря 1785.

*Соборного декана имя как? Фон-Гарденберг. Стихи он*

*пишет? Да,*

Не меньше моего. *И так же хорошо, как ты?*

Не думаю. Ведь склонны мы всегда

Хвалить себя. *Ты прав; не часто, к сожаленью,*

*Дружатся братья в Аполлоне. Ах,*

Нам нечего делить; он пишет песнопенья,

Я ж нет, и о своих стихах

Мы с ним не говорим. *Вы это*

*Отлично делаете. Но скажи, дружок,*

*Кого поставить выше как поэта,*

ноны в пользу культуркампфа (борьба за светскую культуру), Гризебах сочинил стихотворение «Тангейзер в Риме», где Тангейзер следующим образом освобождается от чар «дьяволицы»: «Тангейзер смотрел на Рим и думал об императоре и Германии,—о дорогой благородной немецкой стране, в которой возгорелась ныне такая же жестокая распря, как и во дни Гогенштауфенов. В одних местах там кричат «Да здравствует император», в других—«Да здравствует папа»... Тангейзер поклялся своими предками следовать за знаменем крестового похода и, как это подобает другу бога и императора, выступить против врага немецкой империи,—против папы и его попов, и, как верный рыцарь, бороться стальным оружием своего слова. Прощай, старая, гибкая любовная цитра... Тангейзер разломал ее об утес Петра; его высокое чело уже не сочиняет для вас песен, а его строго сжатый рот не произносит больше стихов, ибо в своих книгах, сочинениях и памфлетах он трубит в старый боевой рог». Разумеется, дело обстояло так только до тех пор, пока папа, в связи с введением пошлин на продукты сельского хозяйства, не сделался опять «другом бога и императора».

*Клопштока или Виланда? Тот, кто бы мог  
Ответить, в праве был бы возгордиться.  
А ты не горд? Быть гордым не годится,  
Но в этот миг я горд. Ты в Гальберштадт иль нет?  
Да, государь. Декану мой привет! \**

Это—единственное место, которым можно было бы подтвердить существование литературного «века Фридриха Великого». Но, к сожалению, у буржуазных прусских историков литературы оно совсем не считается «знаменитым».

### III

#### Гейне, Гервинус и Данцель о Лессинге

С момента появления «Поэзии и правды моей жизни» (в 1815 г.) не появлялось почти ни одной работы о Лессинге, на которую «знаменитое место» в большей или меньшей степени не бросило бы своей омрачающей тени. В этом отношении имеется лишь одно блестящее исключение: Генрих Гейне не нуждался в этом кривом зеркале, чтобы понять, кто был Лессинг и какое значение имела его деятельность для германского народа. Поэтому то, что он говорит о Лессинге, в сущности не стоит ни в какой связи с историей легенды о Лессинге. Тем не менее его мнение следует привести здесь. Ибо, хотя буржуазные прусские историки литературы чрезвычайно далеко отклонились от правильного пути, намеченного Гейне, они все же не упускают случая присваивать себе его отдельные блестящие изречения о Лессинге и, таким образом, прибавить хоть немного жира в свою постную похлебку. Так, например, они используют слова Гейне об остроумии Лессинга, которое, как он говорит, похоже не на маленькую французскую борзую собачку, гонящуюся за своей собственной тенью, а скорее на большого немецкого кота, который вдоволь наиграется с мышью, прежде чем ее задушит; они пользуются также и еще более известным местом, где Гейне, говоря о жалких писателях, над которыми с таким величайшим остроумием и с таким изысканным юмором издевался Лессинг, сохраняет их на вечные времена в своих произведениях, сравнивает их с насекомыми, застрявшими в куске янтаря.

\* *Керпе*, Жизнь Глейма (*Körte*, Gleims. Leben), 219.

Но как ни блестящи и как ни правильны по существу эти отдельные изречения, ими не исчерпывается значительность того, что говорил Гейне о Лессинге. Если эти места вырываются из контекста и, таким образом, создается впечатление, что Гейне сделал лишь несколько превосходных замечаний о литературном искусстве Лессинга, то и этот прием несомненно является одною из частей легенды о Лессинге. Пустое и плоское замечание господина Эриха Шмидта: «Даже такой насмешник, как Гейне, становится патетическим, когда он говорит о Лютере и Лессинге, нашей гордости и нашей отраде», — старается сделать и из Гейне и из Лессинга «мертвых псов». А между тем статьи об истории религии и философии Германии являются историко-философским произведением, столь гениально обзорающим прошлое и провидящим будущее, что в 1834 г. только один Генрих Гейне был в состоянии написать его. В нашей классической литературе Гейне подмечает начинающуюся освободительную борьбу германских буржуазных классов, которая в силу «свинцовой, истинно немецкой спячки» или, другими словами, в силу экономического и политической отсталости этих классов и «скотского покоя во всей Германии» могла вестись только на эфирных высотах идей, проповедывавшихся наиболее передовыми элементами. «Даже самый одинокий автор, живший в каком-нибудь медвежьем углу Германии, принимал участие в этом движении: не имея никаких точных сведений о политических событиях, он как бы чутьем чувствовал социальное значение этой борьбы и выражал его в своих сочинениях. Это явление приводит меня на мысль большие морские раковины, которые мы иногда ставим в виде украшений на наши каминные полки и которые, на каком бы далеком расстоянии от моря они ни находились, начинают вдруг шуметь, как только в море наступает время прилива и волны бьются о берег». Еще важнее другое обстоятельство: хотя в ту минуту, когда писались эти строки, германская буржуазия как будто препоясывала чресла, чтобы в политической области осуществить то, что ее великие мыслители и поэты давным-давно осуществили в области духа, — Гейне заглянул в самое ее сердце. И он увидел, что «дух свободы», в противоположность классической эпохе, проявлялся «в гораздо меньшей степени среди ученых, поэтов и прочих литераторов», чем «среди широкой, активной массы, среди ремесленников и промышленников»; в добавлении к этим статьям, написанном десять лет спустя, он говорит, что «коммунизм распространяется по всей Германии» и что «в своей борьбе против существующего порядка пролетарии идут под руководством

самых передовых умов и великих философов». Так писал Гейне в 1834 и в 1844 гг. \*

Правда, даже на сочинении Гейне лежит печать идеалистического тумана, что было вполне естественным для его времени, но этот туман всюду прорезывают поэтические провидения, словно сверкающие солнечные лучи. В лице Лессинга Гейне превозносит не столько поэта, ученого и критика, сколько характер, человека, открывателя новых путей и передового борца буржуазных классов. Искусство было для Лессинга трибуной, с которой он беседовал с народом. Его честность и правдивость, высокий стиль его духовной сущности никак не вязались с филистерством, улыбчивой подлостью и хвастливой пошлостью окружавшей его среды; он был до ужаса одинок среди своих современников, некоторые из которых любили его, но ни один не понимал его; отвращение к немецкой действительности гнало его в театр или в игорный дом. Вся его жизнь была борьбой, и все его сочинения исполнены социального значения. В таких

\* Еще больший грех, чем ученик Шмидт, совершает учитель Трейчке (История Германии, IV, 421), когда, упомянув о «легкомысленной болтовне Гейне» и наговорив по его адресу множество любезностей, вроде: «дилетантская манера», «в его руках все становится нечистым», «поверхностный, пустой, бессодержательный, скучный»... и т. д.,—делает следующий вывод: «Новое учение о преобразении плоти высмеивало все, что устанавливает человеческие связи между людьми, и в конце концов не осталось ничего, кроме суверенного единичного человека, который вволю наслаждается бесчисленными гризетками и трюфельными паштетами». Отдельные аргументы, которыми Трейчке обосновывает этот «вывод», остроумно и удачно разобрал Пауль Неррлих в книжке «Господин фон Трейчке и Молодая Германия». Господин Неррлих, заблудившийся эпигон младогегельянства, будучи гегельянцем, понял невероятное опошление германской буржуазии, но не в состоянии был вскрыть его последнюю причину, уже возвешенное Генрихом Гейне превращение буржуазного идеализма в пролетарский социализм. Прочитайте хотя бы его введение к переписке и дневникам Арнольда Руге, где вышеприведенные статьи Гейне он называет «удивительной, единственной в своем роде книжкой», «программой нового времени», но от Гейне и Фейербаха отходит не к Марксу и Энгельсу, а к Руге и Бисмарку. «Конечно, многое не относится к его (Бисмарка) всемирной исторической миссии. Для всякого, кто ведет свое происхождение от наших философов и Гейне, Фейербаха и Руге сороковых годов, это преклонение перед Бисмарком является не очень-то легким делом». Но, утешает себя господин Неррлих, «столь же твердо, как небесная твердь», обосновано то положение, что после Бисмарка, рано или поздно, выступит новый, более мощный и более универсальный гений, который «целиком и полностью» осуществит идеалы Гейне, Фейербаха и Руге не только в Германии, но и в Европе. Вот на каких тонких паутинках держится современная философия, поскольку она еще имеет мужество противиться «безоговорочному» убиению буржуазного идеализма во имя интересов буржуазии!

высказываниях проявляется действительное значение жизненной деятельности Лессинга, смысл которой заключался не в эстетических, художественных, философских и теологических произведениях, а в социальном подвиге. Этим и объясняется та особенная теплота, с которой Гейне говорит о Лессинге, выделяя его из всех прочих представителей нашей классической литературы.

На поверхностный взгляд эта теплота, конечно, может казаться «патетической». Бесспорно, как поэт, Лессинг стоит ниже Гете и Шиллера, как искусствовед—ниже Винкельмана, как философ—ниже Канта, как психолог—ниже Гердера, как филолог—ниже Рейске или Рункена. Когда Маколей называет его «первым критиком Европы», это скорее характеризует меч, чем человека, им владеющего, скорее форму, чем сущность его духа. Критика была только оружием, с помощью которого Лессинг наводил порядок в широчайших областях немецкой духовной жизни. Он хотел добиться действительного признания для того буржуазного самосознания, которым он обладал в несравненно большей степени, чем его современники и даже его соратники, и даже в большей степени, чем буржуазные классы, жившие сто лет спустя. Будучи одиночкой, он не преодолел, да и не мог преодолеть, косного сопротивления экономически и политически связанной массы; с юношеских лет он беспокойно бросался во все стороны: то уходил за кулисы то работал «переписчиком у бухгалтера», оказывался то в военном лагере, то в книжной лавке, то опять за кулисами и никогда не мог завоевать себе буржуазно-независимого положения. В конце концов, когда он собирался отрясти прах германского отечества от ног своих и, словно голодный дервиш, пуститься в странствие по далеким странам, несчастье, приключившееся с любимой женщиной, загнало его в деревянную клетку, которую открыл ему в своей библиотеке честолюбивый маленький деспот. Как отличается мученичество его последних десяти лет жизни—возвышенное и в то же время потрясающее—от того серенького благополучия, которое при дворе другого маленького деспота превратило Гердера в брюзгу, а Гете в филистера! Лессинг совлек с себя немецкого филистера целиком; это обеспечивает ему единственное в своем роде положение в нашей классической литературе. В этом смысле он был наиболее смелым революционером, какого только создал германский буржуазный мир до эпохи Берне и Гейне, Маркса и Энгельса, которые, впрочем, только за границей и смогли стать тем, чем они стали.

Вполне понятно поэтому, что воссоздание его облика—правильное по крайней мере в общих чертах—стало одной из задач того единственного большого произведения, в котором буржуазная наука попыталась использовать идейное содержание классической литературы для политической борьбы буржуазного класса: мы имеем в виду «Историю немецкой поэзии» Гервинуса, первый том которой вышел в свет через год после появления вышеупомянутых статей Гейне. Гервинус хотел выяснить связь классической поэзии с общественной и государственной жизнью. Он пытался описать, каким образом наши великие поэтические произведения возникли «из условий эпохи, из ее идей, стремлений и судеб», задаваясь при этом целью «перевести творческий дух народа, нуждающийся в упражнении, из области идей и идеалов в область практической, политической жизни». И если ему часто делали упрек—основательность которого мы не будем здесь разбирать,—что он был слишком односторонен, когда старался растрепать лавровый венок Гете и Шиллера, то во всяком случае по отношению к своему Лессингу Гервинус, руководимый верным инстинктом, проявил меньшее понимание, но вряд ли меньшую любовь, чем Гейне. В его глазах Лессинг—«настоящий чародей, вызвавший к жизни тот молодой дух, который обновил Германию»; Лессинг отражает революционный характер классической литературы «во всех его частях», и борьбу, которую он вел в течение всей своей жизни, Гервинус описывает в следующих метких словах: «Проследившая его непоседливую жизнь, мы легко могли бы притти к заключению, что это—беспокойный человек, который нигде не чувствовал себя хорошо, кроме улицы. Но если мы приглядимся ближе, то оказывается, что весь строй его характера был необходимо обусловлен этой его особенностью и что сквозь все зигзаги и повороты его жизни проходит одна красная нить. Это—вечное противодействие ленивой рутине немецкой мелкой литературной среды и духовному убожеству немецкой научной жизни, неустанная борьба свободного духа против всевозможных стеснений, вытекающих из обычной обстановки и уровня образования». Разрешите мне параллельно с этим привести мнение господина Эриха Шмидта по поводу той же самой проблемы. Сначала он туманно толкует насчет «демонического (!) беспокойства» Лессинга. Затем утверждает, что «убожество» его «опустившегося отца» наложило на его жизнь и деятельность печать «странной торопливости», «которая ни в каком положении, ни в каком месте и ни при каком занятии не позволяла ему оставаться спокойным и терпеливым». Наконец он говорит,

что причиной того, что Лессинг «ни на чем не успокаивался», была «неспособность завершить до конца какую бы то ни было большую работу». Да, для чистеньких господ, неизменно присовокупляющих к своим толстым фолиантам, полным лойальности и патриотизма, надлежащее заключение и приложение, Лессинг был конечно неопрятным ленивцем! \*

Но если по сравнению с современными историками литературы Гервинус кажется великаном, то его оценка Лессинга все же является значительным шагом назад по сравнению с пониманием Гейне. В Гервинусе было немало филистерского; он осыпал Берне и Гейне злыми насмешками, чтобы себя самого выставить Атта Троллем здравомыслия и нравственности \*\*. Поэтому в облик Лессинга он привносит многое такое, что было совершенно чуждо свободной душе поэта; оказывается, например, что воинственный тон его литературных писем и их захватывающая пылкость «были не свободны» от влияний Семилетней войны! В связи с этим приводится и «знаменитое место» Гете, причем восхваляется «ударное воздействие» этой войны на духовную жизнь Германии. В объемистой главе Гервинус описывает даже «значение Пруссии для поэтической литературы», причем Глейм и Рамлер фигурируют там в качестве запевал, сопровождаемых чрезвычайно странной свитой сомнительных личностей. Но, несмотря на все филистерские и профессорские повадки буржуазное сознание слишком живо в Гервинусе, и потому у него случайно прорываются такие, например, признания, что Рамлер в сущности не обладал никакими дарами муз, Глейм был хорошим человеком, но не больше, и что по иронии судьбы «славная силезская война» не вызвала к жизни ничего более значительного, чем так называемая поэзия бардов, которую Гервинус правильно называет лишенной значения и пустой. От этого раздвоения, которое проходит сквозь всю его историю литературы и затемняет для него облик Лессинга, погиб и сам Гервинус. Он обладал слишком большим буржуазным идеализмом, чтобы после великого разочарования 1848 г. утешиться,

\* *Эрих Шмидт*, Лессинг, 1, 4, 10, 377. Отзыв господина Шмидта относительно отца Лессинга тем более несправедлив, что «старший пастор» из местечка Каменц был единственным членом семьи, проявлявшим некоторое сходство с Готгольдом Эфраимом. Наоборот, его ограниченная мать, искалеченная жизнью сестра и особенно братья, — сухой и хитрый учитель Теофил, прокисший бюрократ Готтлоб Самуэль и невыносимый болтун Карл Готтгельф, — представляли собой поистине великолепные типы немецкого филистерства. Их письма ясно показывают, что семья была для Лессинга таким же крестом — в миниатюре, — каким являлась для него вся нация.

\* *Гервинус*, История девятнадцатого столетия, 8, 180 и сл.

подобно его другу Мати, банковской и биржевой игрой, и слишком сильным буржуазным самосознанием, чтобы, подобно другому его другу, Дальману, охарактеризовать мантейфелевский режим крылатым словечком «спасительный подвиг»: наоборот, он отказался от монархии из-за ее многочисленных грехов и открыто выражал надежду на «Медееин котел революции», в котором только и может омолодиться Европа. Войны 1866 и 1870 гг. произвели на него действительно «ударное воздействие», и его бессильные протесты—эта удивительная смесь буржуазной ограниченности и честности—сделали его посмешищем бисмарковских молодцов, жестоко отомстивших умирающему человеку за его собственный грех по отношению к Берне и Гейне \*.

Когда Гервинус писал о Лессинге, никакого лессинговедения в узком смысле этого слова еще не существовало. Карл-Готтгельф Лессинг был таким же плохим и путаным биографом, как и издателем, и его хозяйничанье с наследством Готгольда Эфраима казалось настолько отталкивающим даже для современников, что «Ксении» хлестали бичом «нелюбящего брата» \*\*. Только в 1838—1840 гг. Лахман подготовил свое науч-

\* Даже столь образованный писатель буржуазии, как Карл Гиллебранд, не преминул выпустить над свежей могилой Гервинуса целый залп издевательств: «Писатель без стиля, ученый без метода, мыслитель без глубины, политик без способности предвидения, человек без обаяния и силы личного влияния»—такие выражения мы встречаем на протяжении восьмидесяти страниц. См. *Карл Гиллебранд*, Эпохи, народы и люди, 2, 205 и сл. Весьма показательно, что после этого каннибальского пиршества в сборнике Гиллебранда следует несколько хвалебных песнопений по адресу Артура Шопенгауэра и Фридриха Ницше. Чтобы очистить путь философии мелкобуржуазной ренты и философии эксплуататорского капитализма, нужно было дубиной забить на-смерть последние остатки буржуазного идеализма.—*Вегеле* в «Истории немецкой историографии» (*Wegele, Geschichte der deutschen Historiographie*), 1069, говорит об «удивительном мотиве», под влиянием которого возникла «История литературы» Гервинуса, а Ранке в «*Historische Zeitschrift*», 27, 13, по тому же самому поводу распространяется насчет «необычайно странного» утверждения. Положение Гервинуса, что «истории предугазан в общем закономерный путь», Ранке называет «неутешительным взглядом на человеческую жизнь, благодаря которому историк во время своих исследований должен чувствовать себя парализованным и чрезвычайно подавленным». Ну, разумеется! По мнению Ранке и его школы, «историю» «делают» короли, дипломаты и генералы. Это воодушевляет историка и высоко поднимает его в его собственном мнении. В этой противоположности между Гервинусом и Ранке отражается поистине «неутешительный» упадок буржуазной исторической науки.

\*\* Эта биография недавно снова издана Отто С. Ф. Лахманом в «Универсальной библиотеке» Реклама, № 2408. Она издана с достойными благо-



ное издание сочинений Лессинга, всегда превозносившееся, как прекрасная и образцовая работа, даже теми или, скорее, именно теми, которые сумели улучшить и пополнить его в деталях. На этой основе создавалась первая научная биография Лессинга, первый том которой, посвященный Лахману, был издан Данцелем в 1850 г. Автор намеренно провел в ней точку зрения, противоположную историческому пониманию Гервинуса. Данцель был немецкий ученый хорошей старой школы, непритязательный, скромный, бесформенный и столь бедный, что, будучи приват-доцентом в Лейпциге, он должен был добывать себе средства существования переводами старой французской литературной дребедени; при этом он отличался таким неутомимым трудолюбием, что по смерти, последовавшей от чихотки на тридцать третьем году жизни, у него остался ряд мелких статей и две больших работы по истории литературы — одна о Готтшеде и его времени, а другая — о Лессинге. К сожалению, ему не было суждено разработать второго тома биографии Лессинга. Господин Эрих Шмидт благоволил с высоты «своей более счастливой эпохи» «с грустью» оглянуться назад на «творчество Данцеля, протекавшее в обстановке чрезвычайно больших лишений»; мы оценили бы по достоинству этот благородный порыв, если бы были уверены, что историки литературы, которые, как это сделал Данцель в своей биографии Лессинга, называют Семилетнюю войну ее настоящим именем — именем династической драки из-за провинции, — действительно увидят «более счастливые дни» в том смысле, как это понимает господин Шмидт. Но это между прочим.

Слова Гервинуса относительно «недостатка исторического понимания» у Данцеля не лишены известного основания. Конечно, какое-нибудь произведение духа можно объяснить до конца только на основе тех политических и социальных условий, в которых жил его автор. Для этого, однако, необходимо, чтобы писатель обладал способностью и желанием понять до конца эти условия. Если эта предпосылка отсутствует или имеется лишь в ограниченной степени, то история литературы более или менее превращается в литературную легенду, и тогда этому «историческому» методу следует, конечно, предпочесть философский

дарности, но, к сожалению, недостаточными сокращениями. Рассуждения Карла-Готтгельфа — пустейшая болтовня, а его фактические сообщения, которые неизменно перетаскиваются из одной биографии в другую, нуждаются в очень большой критической проверке. В дальнейшем и мы укажем на их недостоверность в отношении одного чрезвычайно важного пункта.

метод Данцеля, бывшего первоначально гегельянцем и пытавшегося понять жизнь и деятельность Лессинга метафизически-спекулятивным путем,—как одну из частей истории германского духа. Он дает только условную истину, но все-таки истину. Если он, например, говорит, что Лессинг выработал свою собственную точку зрения с помощью английской литературы, но тут же прибавляет, что мы совершенно превратно истолковали бы это обстоятельство, если бы «прежде всего подумали о Шекспире», ибо Шекспир занимал тут последнее место,—то это замечание несомненно правильно и гораздо больше способствует пониманию духа Лессинга, чем ходячий «национальный» трафарет, согласно которому Лессинг уничтожил господство чужеземной французской культуры над германским духом и вскормил германскую литературу на произведениях «родственного по расе» гения Шекспира. Но объяснить причину отмеченного им факта Данцель не в состоянии, и потому он на целых страницах туманно рассуждает о «норманском рыцарском чувстве и саксонской твердости», а равно и о том, что даже в античной литературе образцами считались сначала более молодые и лишь впоследствии более старые писатели. Все это «образованному» читателю наших дней, конечно, представляется гораздо более туманным, чем какой-нибудь «закругленный параграф», вышедший из-под эlegantного и патристического пера господина Эриха Шмидта.

Только в свете научного познания, которое дает материалистическое понимание истории Маркса и Энгельса, становится совершенно ясным, почему Лессинг явился первым в Германии буржуазным писателем, который выработал себе самостоятельную точку зрения с помощью английской литературы, и притом современной ему английской литературы. Дело в том, что буржуазные классы в Германии еще не обладали собственной жизнью, на которую могло бы опереться литературное описание. Если это не стало ясным Лессингу в более зрелую пору его жизни, то во всяком случае он должен был понять это, оглянувшись на свою собственную юношескую поэзию. Поэтому ему пришлось искать опоры в иностранных образцах, которые он и нашел в сравнительно чрезвычайно развитой жизни и литературе английских буржуазных классов. Мотивы для своего первого самостоятельного поэтического произведения—«Мисс Сара Семпсон»—он почерпнул отчасти из одного буржуазного романа Ричардсона, отчасти из буржуазной драмы Лилло; к Шекспиру он перешел позднее всего,—не в силу извращенного эстетического вкуса, а в силу того обстоятельства,

что Шекспир весьма бесцеремонно обращался с представителями этих классов—по причинам, вытекающим из социального положения Шекспира, как актера и драматурга, действовавшего в ту эпоху, когда буржуазные классы ожесточенно преследовали театр. Следовательно, пристрастие Лессинга к определенным английским образцам объясняется социальным моментом, и этим же моментом объясняется и его отношение к французской литературе. То и дело повторяемое утверждение, что Лессинг является типичным французоненавистником, представляется почти непонятным, когда мы вспомним, что сам Лессинг признавал сильнейшее влияние француза Дидро на образование своего литературного вкуса. Он ненавидел и беспощадно критиковал образцы французской поэзии, но он делал это не в силу их французского происхождения, а потому, что он видел в них лживые, придворные, выродившиеся произведения, отравляющие вкус германской буржуазии; это не мешало ему чувствовать свое родство с французской буржуазной литературой, являвшейся для него второстепенным источником только потому, что она возникла тоже под английским влиянием. Это отношение называется всего яснее там, где в лице одного человека объединилось и то, с чем Лессинг боролся во французской литературе, и то, что он в ней любил. Как ни жестоко он разносил придворную поэзию Вольтера и как ни был склонен беспощадно бранить его личность, тем не менее, он следовал за этим великим писателем во всех тех случаях, когда Вольтер оказывался передовым борцом буржуазных классов.

Национальную точку зрения Лессинга можно вообще понять только на основе его социального положения. Трейчке совершенно неверно утверждает, что Лессинг в одном отношении «мог позавидовать внутреннему богатству этих людей, менее одаренных, чем он (здесь имеются в виду обе знаменитости—Глейм и Рамлер): они были богаче его великим чувством любви к отечеству». Лессинг, особенно в своей «Гамбургской драматургии», писал о немецкой разьединенности с таким глубоким чувством и такой теплотой, какую не могли бы и представить себе Глейм и Рамлер, находившие высшее блаженство в рифмованном прославлении своего наследственного маленького государя. А когда господин Эрих Шмидт заявляет, что «благополучие германской поэзии и всей духовной жизни было тесно связано со знаменем поднимающегося прусского государства» и уверяет, будто Лессинг поэтому переселился из Саксонии в Пруссию, то это тоже неверно. Ибо Лессинг, не желавший быть ни саксонцем, ни пруссаком, не имел «никакого понятия» о подобной

«любви к отечеству», и она казалась ему «в лучшем случае героической слабостью», без которой он охотно мог обойтись. Мы можем сказать: в этом вопросе Лессинг тоже мыслил, как передовой борец буржуазных классов, жалкое положение которых обуславливалось общенемецкой разьединенностью и которым только национальное единство сулило великую будущность.

Возвратимся к биографии Лессинга, написанной Данцелем. Выяснение одного этого пункта ясно показывает, чем объясняется проявляющийся в ней «недостаток исторического понимания». Его, конечно, не приходится отрицать, но еще вопрос, не следует ли его рассматривать как известное преимущество по сравнению с тем своеобразным развитием «исторического понимания», которое свойственно выступавшим до сих пор исследователям Лессинга. При истолковании документальных данных Данцель, благодаря своим философским спекуляциям, нередко попадает на ложный путь, но самые факты он тщательно собрал и проверил и излагает их столь беспристрастно и непредубежденно, с таким отсутствием какого бы то ни было прусского, саксонского или липпе-детмольдского патриотизма, что его книгу, как научный источник для исследований о Лессинге, приходится признать не только непревзойденной, но даже не имеющей себе равных. «Знаменитое место» из Гете Данцель, правда, не решается обойти молчанием, но он отделяется от него полуироническим поклоном и отнюдь не разделяет того «исторического взгляда», согласно которому германская культура и литература без Семилетней войны застыла бы на уровне Готтшеда и Бодмера. Следует только пожалеть о том, что второй том, составленный Гурауэром на основании подготовительных работ Данцеля, не стоит на высоте первого тома. С одной стороны, он написан гораздо поверхностнее,—обстоятельство, объясняющееся, может быть, тем, что и Гурауэр умер над этой работой, а с другой стороны—в этом томе делается много опасных уступок легенде о Лессинге.

#### IV

### Книга Штара о Лессинге

Книги имеют свою судьбу, и часто случается, что их значение зависит от их собственной истории, а не от той, которая в них рассказывается. Это с особенным правом можно сказать о биографии Лессинга, опубликованной Адольфом Штаром осенью 1858 г. В литературном отношении она не имеет особен-

ной ценности; она целиком опирается на исследования Данцеля и Гурауэра, и трудно понять, зачем Штару потребовалось «почти» двадцать лет, якобы потраченных на «предварительные работы». Но в то время, как работе Данцеля и Гурауэра нужно было целое поколение, чтобы дождаться второго издания, — которое, кстати сказать, и теперь, через десять лет, продается только как книжный брак, — книга Штара выдержала не менее девяти изданий. На его исследовании и покоится главным образом тот облик Лессинга, какой обычно представляется «образованному» немцу. Прежде всего у этой книги было три весьма именитых крестных отца: Иоган Якоби, Фердинанд Лассаль и Франц Циглер. Якоби написал для нее целую главу («Лессинг как философ»); Лассаль очень лестно отзывался о книге Штара в большой статье; Циглер, насколько мы знаем, публично не говорил о ней, но из его речей и сочинений, особенно же из его переписки видно, что он был до некоторой степени духовным соединительным звеном между книгой Штара о Лессинге и статьей Лассалья о Лессинге. О книге Штара очень легко отзываться презрительно, как это обычно и делают новые лессинговеды (Гросс, Боксбергер, фон Мальтцан, Эрих Шмидт и т. д.). Несколько труднее определить ее историческое место. Если девять изданий и можно приписать ее занимательной «расплывчатости», как это делает господин Эрих Шмидт, отлично знающий желудок своей буржуазии, то этим отнюдь еще нельзя объяснить того несомненно большого интереса, который проявляли к работе Штара такие люди, как Якоби, Лассаль и Циглер. Если господин Шмидт проходит мимо лассалевской статьи о Лессинге, видя в ней лишь «тираду», «заслуживающую упоминания лишь благодаря имени ее автора», то это объясняется только спесью господина Шмидта, которая, вероятно, не импонирует даже его студентам. Если мы хотим критически разоблачить легенду о Лессинге, то слабые места книги Штара о Лессинге и статьи Лассалья о Лессинге мы должны выяснить гораздо основательнее и острее, чем это делают Шмидт и его сотоварищи. Но для такого рассмотрения необходимо прежде всего установить относительное значение книги Штара. Конечно, поведение новейших лессинговедов вполне понятно, ибо слабости этой книги они желают сохранить и усилить, а то сравнительно значительное, что в ней есть, является для них сучком в глазу.

Коротко говоря: книга Штара появилась одновременно с началом новой эры и стала знаменем для буржуазных классов, вооружившихся для новой борьбы. Если только благо-

даря случайности Штар как раз в это время закончил свои «предварительные работы», то во всяком случае он с незаурядным инстинктом понял, о чем звонили тогда колокола. Его книга целиком выдержана в агитаторском и декламационном тоне, который, правда, слишком сильно отдает пустым пафосом нравственно возмущенного мещанина, но который после немого молчания десятилетней реакции мог все-таки показаться ревом трубы, хотя и несколько хриплой. Штар дал довольно красноречивое выражение широко распространенному настроению. Пробуждавшиеся и жаждавшие борьбы буржуазные классы невольно оглядывались на своего первого и самого смелого борца, и как раз в эту минуту незначительный литератор пустил в ход удачную фразу: возвратиться к Лес-сингу значит пойти вперед. Отнюдь не следует упускать из виду разницу между тогдашней буржуазией и нынешней. В то время только что организовался народнохозяйственный конгресс со своим манчестерством, не щадившим ни кожи, ни мяса, ни костей. Буржуазный идеализм еще не угас, еще существовало философское образование, противоречие между буржуазией и рабочими классами сказывалось еще не так резко. Вальдек, Циглер, Якоби, Родбертус, фон Кирхман и даже Шульце-Делич более или менее понимали социальные вопросы; они безусловно ненавидели военное и полицейское государство и не относились к нему с той добродушной ворчливостью современных свободомыслящих, которая переходит в великодушную снисходительность, как только это государство обращает свои когти исключительно против рабочих классов. Находясь под влиянием классической философии, эти люди чрезвычайно высоко ценили государство, но разрешения широких курьезных задач они ждали только от демократического государства. Они понимали, или по крайней мере чувствовали, что движение 1848 г. потерпело крушение только благодаря малодушному поведению буржуазных классов, но они надеялись, что лошадиные дозы, которыми в течение десяти лет лечил эти классы мантейфелевский режим, достаточно выпрямили им хребет и подготовили их ко второй схватке с абсолютизмом и феодализмом.

Мы знаем ныне, что вторая схватка привела к таким же жалким результатам, как и первая. Мы знаем, как быстро эти люди были оттеснены на второй план воротилами народнохозяйственного конгресса, стоявшими гораздо ниже их в личном отношении и вообще совершенно посредственными, — только потому, что за спиной этих последних стояла сила капиталистических интересов, между тем единственной опорой первых был лишь

слабый дух клонившегося к закату буржуазного просвещения. Хотя это направление очень мало отражалось на общем ходе вещей, тем не менее, оно чрезвычайно важно и для биографии Лассалля, и особенно для истории легенды о Лессинге. Стоит взглянуть на человека, в котором оно проявлялось всего своеобразнее и сильнее, чтобы сразу понять причину этой внутренней связи.

Франц Циглер был превосходный организатор и, быть может, величайший административный талант, каким в то время обладало прусское государство. К тому же, это был глубоко и разносторонне образованный человек, прекрасный знаток классической литературы и притом сам поэт; его романы преждевременно забыты лишь потому, что для понимания их и наслаждения ими необходим тонкий литературный вкус, давно исчезнувший среди «образованной» буржуазии. Лассаль говорил, что у его друга натура Алкивиада, мешающая ему использовать свои силы; приблизительно в таком же духе отзывался о нем и Гвидо Вейс, говоривший, что Циглер сумел взять от жизни и сладкое, и горькое. Будучи аристократом не по рождению, — он был тринадцатым ребенком голодающего бранденбургского пастора, — а по образованию и склонностям, любимцем Фридриха-Вильгельма IV, дорогим и излюбленным гостем в гвардейских и офицерских казино гвардии и в имениях бранденбургской знати, Циглер стал демократом благодаря социальному вопросу.

Еще в молодости он был избран обер-бургомистром старого столичного города Бранденбурга, финансы которого, совершенно расшатанные кумовством и nepотизмом, надо было привести в порядок. Это было большое хозяйство: городу принадлежали семь имений, девять подчиненных городскому казначейству деревень, шестнадцать тысяч моргенов леса и земельная площадь, стоимость которой уже и тогда исчислялась миллионами. С величайшей энергией Циглер искоренил злоупотребления и этим вызвал против себя ненависть объединенных в одну клику знатных семей, привыкших наживаться за счет городского кошелька. Ненависть эта стала непримиримой, когда Циглер начал заботиться о городском пролетариате. В одном рабочем союзе он сам рассказал, что его на это натолкнуло. Однажды после сытного обеда он пошел гулять в городской лес и застал там женщину за кражей дров. Дурное управление лесами уже давно раздражало его, и он схватил воровку, чтобы передать ее ближайшему лесничему. Женщина упрашивала отпустить ее, но Циглер не соглашался. Тогда она стала просить,

чтобы он по крайней мере разрешил ей увести ее малыша, укрывшегося в ближайшей канаве. Но Циглер и в этом отказал: мальчишка может и один дойти до города,—сказал он,—ведь городские башни видны отсюда. Вот в том-то и дело, возразила женщина, что, к несчастью, он их не видит. Затем женщина привела слепого мальчика, и Циглер, охваченный состраданием, провел женщину вместе с ребенком и украденной вязанкой дров через городские ворота в ее жилище. Придя туда, он узнал, что женщина имела еще одного сына, которому пошел шестнадцатый год и который был учеником у суконного мастера. Он зарабатывал 25 зильбергрошей в неделю (2,50 марки), и на это жалованье жила вся семья. Обычным питанием был картофельный суп с лавровыми листьями, которые женщина получила в подарок, и с небольшим количеством прогорклого масла. Свободомыслящий наших дней наверное ушел бы, благосклонно заметив, что ученику суконщика «нужно скопить капиталец». Но Циглер спросил себя: «Вот перед тобой голодающая семья,—скажи же, что ты сделал для человечества?» Как человек практического склада, он сейчас же начал принимать меры для устранения нужды городского пролетариата: построил больницу и сиротский дом и втрое увеличил фонд кассы для бедных. Но он был слишком вдумчив, чтобы видеть в улучшенной системе призрения бедных нечто большее, чем жалкий паллиатив; вместо всех общинных налогов он ввел единый прогрессивный подоходный налог, освободил от обложения доходы ниже ста талеров, а для остальных доходов установил низшую ставку налога в один процент, прогрессивно повышавшуюся до четырех процентов. Если бы это было в его власти, он ввел бы в систему городских выборов принцип всеобщего избирательного права, который он защищал еще в сороковых годах, как меру, соответствующую интересам пролетариата: ведь демократия была для него лишь «служанкой социального вопроса». Для него, как для человека, чрезвычай характерно, что, будучи выбран в Национальное собрание незадолго до его закрытия, он занял место рядом с Якоби и Вальдеком, хотя государственный переворот был вопросом нескольких дней. Разразившаяся после этого реакция предоставила буржуазии города Бранденбурга долгожданный удобный случай выместить на Циглере свою яростную злобу. Циглер разослал своим выборщикам несколько печатных документов Национального собрания по вопросу об отказе от уплаты налогов, что было истолковано как государственная измена. Последовал судебный процесс, бывший настоящим издевательством над ясными



положениями закона; тщательно подобранные присяжные, ненавидевшие Циглера не столько по политическим, сколько по социальным мотивам, признали его виновным, и суд «за намерение поднять восстание» присудил его к «шести месяцам заключения в крепости, лишению права носить национальную кокарду и отрешению от должности обербургомистра». Лишение права носить прусскую кокарду, которое в наше время кажется почти шуткой, было тогда наказанием, позорящим честь, и много лет мешало осужденному полностью восстановить свои гражданские права \*.

Взгляды Циглера на государство не противоречили его социальным воззрениям, а вполне согласовались с ними. Для него государство было, как выразился однажды Лассаль, «огнем Весты цивилизации»; разница лишь в том, что для Циглера государство было всегда определенным государством, государством разума, государством Фридриха, историческим прусским государством. В этом пункте он разделял взгляды своего сверстника и университетского товарища Руге и вместе с ним признавал, что «нельзя смешивать абсолютной монархии с абсолютным государством, ибо последнее есть скорее действительный смысл и цель первого» и что «в настоящее время Пруссия является государством, от которого все зависит» \*\*. Свои идеалы Циглер выводил не столько из французской революции, помогшей буржуазии завоевать власть, сколько из просвещенного деспотизма Фридриха. Его учителями были Штейн и Гарденберг, и Общее земское право являлось для него своего рода духовной кормилицей,— правда, не в смысле его феодальных элементов, против которых Циглер яростно и энергично боролся, а в смысле его абсолютистско-централистских тенденций, в которых даже Токвиль видел некоторое приближение к социализму \*\*\*. А так как без постоянной армии «истинно суверенное и всемирно-историческое государство» было невысказано, то в решительные моменты Циглер всегда выступал за армию. Так, например, в Национальном собрании 1848 г. он оспаривал предложение освободить армию от присяги королю и пустил в оборот крылатую фразу: «Дисциплина есть мать победы», а весной 1866 г. он произнес перед своими бреславльскими избирателями еще более известное изречение: «Сердце

\* F. G. Weichsel в своем сочинении «Der zieglersche Process» (Процесс Циглера) документально излагает это постыдное судебное разбирательство.

\*\* Руге, Собрание сочинений, 2, 20 и 50.

\*\*\* Токвиль, L'ancien régime et la révolution, стр. 341.

демократии там, где веют знамена страны». Но это не значит, что Циглер был фанатиком военщины,—когда военный вопрос ставился в связи с конституцией, он не шел ни на какие компромиссы. Наоборот. В 1866 г. он смело выступал против образования национал-либеральной партии, которая охотно сослалась бы на его бреславльскую речь, как на подлинное выражение ее собственных мыслей, да и в 1861 г. он боролся против образования прогрессивной партии, видя в ней компромисс, затемняющий чистоту демократических принципов. Он долго отказывался дать свою подпись под программой прогрессистов и удерживал от этого Вальдека; и если даже в силу логики событий оба они были вынуждены вступить в ряды партии, являвшейся при тогдашних экономических условиях единственной возможной оппозиционной партией, то все-таки Циглер до конца своих дней не переставал бранить «эту дьявольскую выдумку—прогрессивную партию», эту «крошку из всех принципов». Армия, по его мнению, должна была служить не «монархии», а «государству», а идеалом государства была для него демократия.

После работ Маркса и Энгельса легко вскрыть основную ошибку такого понимания истории. Корень ее лежит в идеалистическом, идущем от Гегеля понимании государства как определяющей и первичной формы человеческого развития. Но если Маркс, исходя из гегелевской философии права, уже в 1844 г. доказал в «Немецко-французских летописях», что ключ к пониманию процесса исторического развития дает не государство, изображавшееся Гегелем как «увенчание здания», а столь недостаточно исследованное им «гражданское общество», и хотя уже в «Коммунистическом манифесте» были намечены основные линии материалистического понимания истории, все-таки в 1858 г. идеалистически-гегелианское понимание государства владело еще лучшими умами буржуазии. Ведь даже Лассаль разделял эту точку зрения, хотя он и относился к ней гораздо свободнее и глубже, чем сам Циглер. Из этого совершенно естественно и неизбежно вытекало, что буржуазные классы, готовившиеся к новой борьбе, с одной стороны смотрели на Лессинга как на своего первого передового борца, а с другой—выдвигали наряду с ним представителя «абсолютного государства» и находили этого представителя в лице короля Фридриха, который, якобы, впервые подчинил династическое своекорыстие государственному интересу («государь есть первый слуга государства») и дипломатические и военные успехи и свободомыслие которого составляли резкую противоположность опозоренной

по всей Европе лицемерной реакции пятидесятих годов. Благодаря этому, легенда о Лессинге приобрела новый вид. Из несколько детского представления, будто Лессинг стал мыслителем и поэтом благодаря презрительному отношению Фридриха к своим подданным, она развилась в теорию, гласившую, выражаясь словами Штара, что король Фридрих был «соратником и сотрудником своего великого современника», или что, как говорил Лассаль, король и Лессинг были германскими «революционерами» восемнадцатого столетия.

К статье Лассаля не следует относиться слишком строго. Сам автор продержал ее у себя в столе около двух лет, и хотя она была написана уже в ноябре 1858 г., опубликовал ее только в 1861 г. в журнале «*Demokratische Studien*». Такой человек, как Лассаль, не мог не видеть слабых сторон работы Штара; очевидно, в этой книге ему нравилась—да и не могла не нравиться, ибо это было ее существенной заслугой,—политическая острота, которую Штар придал своей теме. В сущности вокруг этой мысли и вращается вся статья Лассаля. Он находит, что книга Штара «трижды своевременна; драматическая ситуация наших дней стала опять чрезвычайно походить на тогдашнюю»; деятельность Лессинга была «не чем иным, как политикой»; «бесконечное превосходство» работы Штара над работой Данцеля-Гурауэра он с полным основанием видит в том, что Штар воздал должное «героической, полной борьбы жизни Лессинга», особенно в вольфенбюттельскую эпоху, между тем как Гурауэр,—но правда, не Данцель,—всячески старался затушевать этот пункт. Если не считать отзыва Лассаля о «революционере» Фридрихе, к которому мы еще должны вернуться, то статью Лассаля о Лессинге можно действительно упрекнуть только в том, что она чрезмерно хвалила Штара. Но и к этому обстоятельству мы отнесемся мягче, если вспомним сходство между жизнью Лессинга и берлинской жизнью Лассаля. Оба они жили в духовно несродной им среде, но при тогдашнем положении вещей это было все-таки лучшее общество, какое они могли найти. И если Лассаль поступал не вполне по-лассалевски, когда он чрезмерно хвалил сочинение Штара, то ведь и Лессинг за сто лет до этого поступал не вполне по-лессинговски, когда он хотел наказать «пакостника», «осмелившегося порицать нашего милого Рамлера за маленькую оплошность». Это—добродушная небрежность, которую способны совершить и самые великие люди, особенно в атмосфере Берлина. Так всегда бывает на свете в силу закона вещей, и о Лассале можно в этом отношении сказать то же, что Фихте пи-

сал о Лессинге: «Наш герой (Николай), объединившись с ними— Мендельсоном и Лессингом,—начал критический поход, победоносный против некоторых виршеплетов, но не столь славный в других областях, например в философии. Его великий соратник постепенно убедился, что это—скверное дело и что он попал далеко не в лучшее общество. В конце концов он ушел»\*. Когда Лассаль писал Фейербаху: «Прогрессисты—политические рационалисты самого низкого сорта»\*\*, то он, конечно, не думал при этом о Лессинге, но, тем не менее, сходство ситуаций выступало в данном случае чрезвычайно ярко.

Очень скоро выяснилось, что буржуазная гвардия 1848 г.—эти гегельянские идеологи государства и его нравственных целей—представляла собою горсточку вождей без армии. Экономическое развитие продвинулось уже настолько далеко, что широкая масса буржуазных классов желала идти под развернутым знаменем капитализма,—правда, еще украшенным несколькими идеологическими ленточками,—неся впереди образа манчестерских святых. Циглер совершенно правильно истолковал образование прогрессивной партии. Не может быть ничего более нелепого, как утверждение буржуазии, что Лассаль сначала шел вместе с нею и только впоследствии, по мотивам уязвленного честолюбия, повернулся к ней спиной и таким образом помешал ее победе. Она не имеет никакого права обращаться к Лассалю с упреком, ибо его поведение по отношению к ней было совершенно правильно и с принципиальной, и с тактической точки зрения. Его дружественно-выжидательное отношение к буржуазии оправдывалось до тех пор, пока рабочие классы находились еще в состоянии политического сна и буржуазная оппозиция выступала перед ним в лице таких людей, как Циглер, которые по существу боролись за демократическую программу, были решительными передовыми борцами за всеобщее избирательное право и довольно широко понимали нужды рабочих классов. Но когда влияние этих людей на буржуазные классы более или менее ослабело, вследствие повсеместного распространения манчестерства, и когда появились первые признаки пролетарского движения,—для Лассалья было тем менее оснований откладывать свой поход, что победа буржуазии над абсолютизмом и феодализмом давным-давно стала

\* *Fichte*, Жизнь Фридриха Николаи и его странные мнения (*Fichte, Friedrich Nicolai's Leben und sonderbaren Meinungen*), 15.

\*\* Переписка и литературное наследство Л. Фейербаха. (*L. Feuerbach's Briefwechsel und Nachlass*), 2, 162.

невозможной. Красноречивым свидетельством в этом отношении является интимная переписка Циглера с другом его юности Риттером, с Арнольдом Руге и особенно с Фанни Левальд-Штар, женой биографа Лессинга.

Лассаль и Циглер стояли чрезвычайно близко друг к другу. Лассаль смотрел на этого человека, бывшего более чем на двадцать лет старше его, с некоторым чувством пиетета, очень необычным для него; он восхищался его практическими организационными талантами и почти в чрезмерно лестных выражениях рекомендовал своим бреславльским землякам выбрать его в палату депутатов; он открыто домогался его дружбы и писал ему стихи.

Даже сильнейшему хоть бы один, его понимающий, нужен.  
Роком дано мне тебя и понимать и любить.

Циглер от всей души отвечал на эту дружбу. Он дрожал за своего друга, когда Лассаль начал свою агитацию, ибо по опыту собственной разбитой жизни знал, что значит ненависть буржуазии, уязвленной в своих материальных интересах. Но он был о нем слишком большого мнения, чтобы по-женски вздыхать и удерживать его от выступлений; как известно, он составил устав Всеобщего германского рабочего союза и через несколько недель после того, как Лассаль выпустил свой «Открытый ответ», послал ему ко дню рождения сонет, заканчивавшийся следующими словами:

Прими фиал, и копь в борьбе житейской  
Тебя осият тяжкие страданья,  
Прильни к нему в последний раз губами

И вместе с ним, в гордыне прометейской  
Отвергнув медленное угасанье,  
С утеса ринься, выпив жизни пламя.

Пророческие слова и в отношении Лассалья, и в отношении Циглера! Ему действительно выпало на долю «медленное сгорание», и печально угасло пламя жизни, некогда так ярко в нем горевшее!

В начале сентября 1864 г. Циглер писал Риттеру: «Величайший философский ум и бесспорно один из величайших ученых—Лассаль—искал у меня отдыха от самого себя... Я пишу под потрясающим впечатлением его смерти. Ах, как торжествуют эти посредственности, эти Юлианы, которых он бичевал; мирмидоны пляшут над могилой Ахилла... Все кончено, он умер.

Он был для меня моей библиотекой, моим вдохновителем, моим утешителем, а теперь все конечно. Ни один человек не любил меня так, как он. Это был прекрасный, пламенный, гениальный человек, с тысячью недостатков и даже пороков, но зато это был цельный человек!» Одновременно с этим Циглер писал Руге: «Хуже всего — это то, что в Германии процветает самое вредное манчестерство. Каждый обедневший купец добывает себе политико-экономический компендиум, вызубривает оттуда несколько ходовых словечек, вступает в Политико-экономический фереин, начинает разъезжать, старается найти местечко в каком-нибудь страховом обществе, банке или на железной дороге, а потом начинает именовать себя экономистом и предлагает себя в кандидаты; при этом он проповедует, что в наше время всякая политика — чепуха, что забота о материальных интересах сама собой приведет к свободе, что государство — химера, что людей реально связывает друг с другом только торговля и т. д. Таким образом он попадает в палату, где имеется фракция, которая состоит из представителей всех партий, не признает никакой партийной дисциплины и часто решает исход голосования. Почему бы и не так? Почему бы не существовать народнохозяйственной партии, подобно тому, как существует католическая партия? Образование партии прогрессистов приложило штемпель ко всему этому безобразию... В настоящее время все принципы так глубоко зарыты в землю и умы настолько смущены, что распутать все это совершенно невозможно. Все гоняются за материальной силой, то-есть за богатством. Богатство забралось на огромную высоту, его легко добывают, а успех является своего рода декретом об амнистии и охраняет от всяких расследований». В таком же духе говорится и дальше.

Всего чаще Циглер изливал свою душу в письмах к Фанни Левальд-Штар. Мы ограничимся здесь несколькими образчиками. О матадорах Народнохозяйственного конгресса он пишет то же самое, что и в письмах к Руге: «Уже лет десять Вальдек и я предостерегаем против этих так называемых «политико-экономов», которые рекрутируются, главным образом, из разорившихся купцов, незадачливых литераторов, бессовестных основателей акционерных обществ и философов в шопенгауэровском стиле. Это — пионеры хищной буржуазии». В январе 1865 г. он пишет о судебном приговоре по делу Якоби: «Бедный идеалист Якоби... Поверьте, если бы меня приговорили к шестимесячному тюремному заключению, то все мои друзья возрадовались бы, и я боюсь, что и о Якоби не очень-то жалеют, как

ни скромно он себя вел». В январе 1866 г. по поводу решения верховного трибунала о парламентской свободе слова он пишет: «Вы единственная поверенная моих скорбей. Вчера вечером было партийное собрание; я побежал туда, думая, что соберется много народа и что все будут очень возбуждены решением трибунала. Но эти люди—или древние римляне, обладающие такой уравновешанностью, которой не достигал даже римский сенат, или это вообще бог знает что. На собрании спокойно рассуждали об интерpellации Ваксмута, об интерpellации Бонина и т. д. и, при пожаре дома, стали выносить не изображения лар, а пару старых грязных кальсон». В августе 1866 г., после дебатов об адресе, он писал: «Когда сегодня Якоби говорил в своей речи, что ни почести, ни победы не имеют никакого значения, потому что они не одушевлены духом свободы, Н., сидевший за мной, крикнул мне: «Какое бесконечное пустословие!» А К., сидевший передо мной, повернулся ко мне со словами: «Он навеки губит свою репутацию!» У меня мурашки пробегали по телу, когда говорил этот маленький, болезненный человек,— всегда спокойный, размеренный, произносивший речь таким тоном, как будто он диктует свое завещание. Я представил себе пророка на развалинах Иерусалима, на глазах у которого все разваливается, все превращается в ничто, кроме того вечного бога, которого он называет истиной и свободой. Если судить по сегодняшним коротким дебатам по поводу адреса, денежные кредиты, контрибуция и все прочие вопросы будут проводиться почти без обсуждения; я не хочу играть при этом роль лойяльного чурбана. Милостивый король, опираясь на одобрение народа в данный момент, распустит все паруса, и в конце концов наше утлое суденышко опять сядет на скалу реакции». О ту же скалу разбилась и «единственная поверенная его скорбей». 3 ноября 1870 г. Циглер пишет Фанни Штар: «Я не могу заставить себя ненавидеть французский народ. Он занят революционной работой, которая важна для всех нас. Доведенный до разорения целым рядом ничтожных королей, уже двадцать лет угнетаемый каторжником, который объединился с разбойничьей бандой, называемой военщиной, всеми преданный и всеми оставленный, этот народ в лице своих вооруженных граждан все еще продолжает бороться с бесконечной храбростью. И этот-то народ вы называете оборванцами? Попробуйте-ка найти в Германии сто тысяч таких оборванцев, которые, без всяких приказаний свыше, дерутся за собственный страх и риск». В этом же месяце Евгений Рихтер с товарищами старались склонить Циглера к вероломному

поступку по отношению к Якоби; при выборах в ландтаг в 1870 г. Якоби хотели наказать за его социально-политические ереси и в берлинском избирательном округе, который до сих пор представлял Якоби, провести вместо него Циглера. Но Циглер с гордостью и презрением отказался занять место, для которого оказался не подходящим «этот великий гражданин»; эту печальную роль взял тогда на себя один свободомыслящий проповедник, принадлежавший к протестантскому союзу. Циглер постепенно замолкал; он не решился окончательно перейти к социал-демократической партии, как это сделал Якоби; он чувствовал себя затравленным, старым, изможденным, смертельно усталым. Но что он спасение нации видел только в рабочем классе, известно всем, знавшим его в последние годы его жизни, особенно же социал-демократическим депутатам, заседавшим вместе с ним в рейхстаге.

Но какое отношение имеет все это к легенде о Лессинге? Не меньшее отношение, чем все прочее. Это в значительной степени объясняет ее историю. Три человека, поднявшие книгу Штара о Лессинге из крестильной купели, ибо они еще надеялись пробудить в буржуазных классах дух Лессинга, поняли свою ошибку и обратились к рабочему классу, а сама книга осталась в руках буржуазии. И как буржуазия с ней распорядилась! Сам Штар, бывший первоначально младогегельянцем и ревностным сотрудником журнала «Hallische Jahrbücher», но в то же время подобно Руге ненавидевший социализм и приписавший эту ненависть даже свободной душе Лессинга, по крайней мере кое-как сохранял внешние приличия, как глубоко он ни погрузился в болото буржуазной литературной клики. В первом издании он даже не преминул похвастаться сотрудничеством Якоби и в благодарность за это поместил его имя в посвящении. Но его вдова похозяничала в книге своим верноподданническим пером, и на первом листе мы ныне читаем строки, являющиеся гнусным памятником литературного византизма: «Посвящается его светлости князю Бисмарку». Книга, которая некогда вызывала тень Лессинга, чтобы побудить буржуазные классы к политической борьбе, в наше время годится только на корм для буржуазии, погружающейся в умственную лень и боящейся всякого взлета лессинговской мысли.

Прежде чем мы проследим дальнейший ход этого развития, необходимо рассмотреть действительное внутреннее содержание второго персонажа, выступающего в легенде о Лессинге.



## Король Фридрих и Лессинг

Чтобы выставить короля Фридриха единомышленником буржуазных классов и особенно Лессинга и по духу, и по образу мыслей, прежде всего приводятся некоторые его изречения, которые, если их изложить в виде крылатых словечек, гласят приблизительно следующее. Во-первых: «Государь—первый слуга государства». Во-вторых: «Я хочу быть королем бедняков». В-третьих: «Газеты не следует стеснять». В-четвертых: «В моих государствах каждый может спастись на свой фасон». Но так как эти положения, с одной стороны, стоят в более или менее резком противоречии со всем правлением короля, а с другой стороны, были высказаны им незадолго до его вступления на престол или сейчас же после этого события, то-есть как раз в тот момент, когда прекратился страшный гнет, под которым с детских лет держал его король то можно было бы счесть их за излияния пресловутого либерализма престолонаследников. Именно таковыми и считает их Карлейль. Несмотря на свой культ героев, он все-таки остается достаточно практичным англичанином и об этом «прекрасном языке» Фридриха отзывался следующими словами: «Он вызвал в тогдашнем мире изумление, представляющееся нам не вполне понятным, ибо мы уже давно привыкли к подобным словам и знаем, во что они обычно превращаются». В пятидесятых годах Карлейлю, очевидно, и в голову не приходило, что это непонятное изумление станет в девяностых годах настоящей обязанностью каждого патристического немца.

Но объяснение Карлейля все-таки недостаточно. Оно было бы слишком лестно для буржуазных прусских историков и слишком нелестно для самого Фридриха. Вряд ли стоит говорить, что научное историческое исследование столь же мало считается с творцами пруссофобских мифов, как и с творцами пруссофильских мифов; видеть во Фридрихе источник всякого зла—это только противоположный полюс той самой глупости, которая усматривает в его особе источник всяческого добра. Человек, изучающий историю этого государя научным методом, увидит, что наилучший его талант и главная причина его успехов сводятся к тому самому качеству, которое до известной степени должно казаться симпатичным именно сторонникам материалистического понимания истории: он совершенно ясно понимал, что в этом мире он ни на один шаг не может пересту-

пить границ, поставленных экономическими условиями, при которых он жил и царствовал. Мы этим не хотим сказать, что его экономические взгляды опередили его время: они скорее отставали от его времени и отнюдь не отличались гениальностью. Мы не хотим сказать и того, что он никогда не ошибался насчет экономических условий своего существования: он делал это очень часто и всегда жестоко за это платился. Но подобно тому как во время Семилетней войны он писал своему малодушному брату Генриху, что победит тот, у которого в кармане останется последний талер, подобно тому как он называл финансы «нервами» государства и в своем описании прусского государства придавал им преимущественное значение перед всем и даже перед армией,—точно так же с первого и до последнего дня своего царствования он придерживался вышеупомянутой основной мысли. Трудно сказать, в какой из этих двух дней она проявилась ярче всего: в первый ли день его царствования, когда он, не достигши еще и тридцати лет, превратился в одну минуту из угнетенного раба в неограниченного деспота, или в последний, когда он, после всех своих успехов и почти пятидесятилетней привычки к деспотической власти, все-таки не обманывался насчет того, что он в состоянии и чего не в состоянии сделать.

Поэтому, высказывая положение, что государь есть первый слуга государства, он вовсе не хотел подчинять себя какому-то идеалу, но в то же время и не хотел, как это думает Г. Кольб, обратить на себя внимание и добиться дешевой популярности. Он просто хотел более свободно распоряжаться экономическими силами страны. Ибо положение это,—между прочим впервые высказанное императором Тиберием,—подразумевает не ограничение, а расширение абсолютизма. Для ограниченного рас­судка нынешних верноподданных эта чрезвычайно простая мысль стала элевзинской тайной, но вдумчивые современники Фридриха тем не менее отлично понимали ее. Так, например, Гейнзе в своем «Ардингелло» пишет: «Что такое слуга, которому никто не повелевает, который не признает над собой никакого господина, который издает законы по своему благоусмотрению и не принимает никаких иных законов и который наказывает по произволу и без всякого закона?» В самом деле, когда Людовик XIV говорил: «Государство—это я», то этим по, крайней мере, признавалась моральная ответственность государя за его государство, и Людовику XIV было суждено испытать эту ответственность на самом себе. Но когда государь называет себя слугой, *первым слугой* государства, то в абсолютистском госу-

дарстве это значит, что всякая ответственность становится пустым словом. Нельзя сделать себя рабом своей собственности: а что Фридрих смотрел на «государство» как на свою собственность, видно из его завещания, где он оставляет своему племяннику в наследство, наряду с «золотой и серебряной посудой, библиотекой, картинной галлереей» и т. д., также и «прусское королевство», словно это—лучшее из его имений.

Фридрих имел в виду весьма практические цели, когда он называл себя первым слугой государства. Эту фразу он произносил раз шесть; впервые он пустил ее в оборот в «Антимакиавелли», в бытность свою кронпринцем. Здесь он предпосылает ей утверждение, что есть два рода князей: такие, которые все видят собственными глазами и сами правят своими государствами, и такие, которые полагаются на честность своих министров и позволяют управлять собою тем, кто возымел влияние над их умом. Первые—это и есть неограниченные властители, являющиеся как бы душою своих государств; это—первые стражи правосудия, верховные начальники военных сил, руководители финансового управления—словом, первые слуги государства. Им-то и хочет следовать Фридрих. Говоря о вторых, он, очевидно, намекает на своего отца, который во время юношеской трагедии Фридриха был слепым и яростным орудием сторонников Австрии—Грумбкова и Зеккендорфа. Да и вообще, каким бы отъявленным тираном ни был Фридрих-Вильгельм I, он все-таки предоставлял более или менее значительное участие в управлении классу чиновников, которому он покровительствовал и который он в сущности создал, между тем как Фридрих участие чиновников в управлении ненавидел, считал последним препятствием просвещенному деспотизму и поэтому всячески старался устранить. Удалось ли это ему и не был ли его отец более просвещенным деспотом, чем он,—вопрос, о котором мы еще будем говорить в дальнейшем. Здесь важно только установить, какими целями задавался Фридрих. Он стремился превратить всех чиновников в безвольных исполнителей своей деспотической воли, и изречение, что государь есть первый слуга государства, было мыслью, за которой последовало дело. В этом отношении он всегда оставался верен себе. Через сорок лет после появления «Антимакиавелли» он пишет, что хотя государь—«человек», как и «наименьший из его подданных», но в то же время он является «первым судьей, первым финансистом, первым министром общества». Как таковой, он имеет те же интересы, что и народ, чего совсем уж нельзя сказать об

аристократии генералов и министров, которым он себя вверяет \*. Фридрих действительно управлял совершенно без помощи высшего чиновничества; он официально виделся со своими министрами только один раз в год, на так называемом «министерском смотре» в июне; все правительственные акты исходили непосредственно из его кабинета, причем для писания и чтения у него имелось три так называемых кабинетских секретаря, которых он почти всегда выбирал из числа мелких писцов и обрекал на монастырское уединение, а иногда, по словам одного иностранного дипломата, держал под стражей как политических заключенных.

Насчет «короля бедных» дело обстоит несколько иначе, ибо это крылатое словечко вообще не подтверждается никакими документальными данными. Его нет даже в той характеристике, которую дает господин фон Трейчке: «Самая человеческая из королевских обязанностей,—охрана бедняков и угнетенных,—была для Гогенцоллернов заповедью-самосохранения; они с гордостью носили имя «короли нищих», как их в насмешку называла Франция» \*\*. Фридрих, который, как известно, осыпал непрерывными субсидиями из государственной казны и исключительными привилегиями не «бедных и угнетенных», а богачей и угнетателей, другими словами—класс крупных Junkerских землевладельцев, вообще не имел никакого представления о «самой человеческой из королевских обязанностей», и даже «насмешки Франции» в действительности совершенно тут не при чем. Суть дела заключается скорее в том, что за несколько месяцев до вступления на трон Фридрих, сидя за столом герцога Брауншвейгского в Берлине, заметил: «Если я когда-нибудь вступлю на трон, я буду настоящим королем нищих» \*\*\*. Этими словами он в действительности или пытался оправдать опреде-

\* «Essai sur les formes du gouvernement et les devoirs des souverains» («Исследование о формах правления и обязанностях государей»), Oeuvres, 9. 200, 208, издание Академии.

\*\* Трейчке, История Германии (*Treitschke, Deutsche Geschichte*), I, 44.

\*\*\* Вебер, Четыре столетия, новая серия (*Weber, Aus vier Jahrhunderten, Neue Folge*), I, 142. «Quand je viendrais un jour au trône, je serai un vrai roi des gueux». Так гласило изречение Фридриха, судя по отчету, взятому Вебером из дрезденского архива и посланному жившим тогда в Берлине саксонским министром Мантейфелем министру Брюлю. Отчеты Мантейфеля содержат много дипломатической и придворной болтовни и потому не являются достоверным подтверждением этих слов Фридриха: плут всегда дает больше, чем он имеет. Никакими другими доказательствами фразы насчет *roi des gueux* («король нищих») вообще не подтверждается.

ленный образ действий, извиняя его хорошими намерениями или—что более вероятно—хотел съязвить по поводу финансового искусства отца, выжимавшего все соки из своего народа. В этом именно смысле его отец и истолковал это замечание, когда оно было ему передано, и оно вызвало в нем последний припадок ярости по отношению к сыну. Но если даже слова эти имели тот смысл, который им приписывают, то они не имели никакого практического значения, ибо Фридрих сохранил финансовые методы Фридриха-Вильгельма I с той лишь разницей, что после Семилетней войны он сделал их бесконечно более тяжелыми.

Перейдем к «газетам, которые не следует стеснять». Это было маленьким интермеццо внешней политики, с помощью которого Фридрих желал создать себе лишнее оружие против прочих европейских держав. Эта связь с несомненностью устанавливается на основании документального источника, подтверждающего крылатое слово,—именно, письма кабинет-министра графа Подевила от 5 июня 1740 г., шестого дня царствования Фридриха. Оно гласит: «Его королевское величество по окончании обеда всемилостивейше приказали мне сообщить от его высочайшего имени его превосходительству министру финансов и военному министру фон Тулемейеру, что здешним берлинским газетным сочинителям должна быть предоставлена неограниченная свобода в статьях оных о Берлине, и они могут писать, что хотят, о том, что здесь происходит, без всякой цензуры, как гласили высочайшие слова, ибо это развлекает его величество, а с другой стороны, и иностранные министры не могли бы тогда жаловаться, если бы в здешних газетах время от времени появлялись места, которые им не нравятся. Я позволил себе на это *regeriren* (возразить), что Н-ский двор (по всей вероятности, это нужно расшифровать: австрийский двор) по этому поводу будет очень *pointilleux* (придирчив), но его величество возразили, что газеты не нужно стеснять, чтобы они были *interessant* («интересны») \*. Следовательно, в этой славной «свободе прессы» дело идет только о старой и вечно новой дипломатической уловке, дающей возможность говорить иностранным державам всякие неприятные вещи и при этом корчить из себя невинность и умыть руки. Наряду с этим, оставался в силе запрет, несколько раз подтвержденный Фридрихом,—например 21 марта 1741 г. и 7 июня 1746 г.,—и гласивший, что «ничто не должно печататься публично без высочайшего разрешения»; всякая

\* *Прейс*, Фридрих Великий, (*Preus*, Friedrich der Grosse), 3, 251 сл.

критика правительства и администрации и даже «всякое разъяснение общественных дел считалось совершенно недопустимым» (Прейс). В политическом отделе тогдашних берлинских газет нет ничего, кроме сведений о пожарах, землетрясениях, рождении уродов, о том, как алжирская пиратская шкуна захватила мальтийский корабль и т. п. В декабре 1740 г. даже над «статьями о Берлине» цензура была снова восстановлена, якобы вследствие «злоупотребления свободой», а на самом деле потому, что Фридрих, оставляя Берлин, чтобы совершить нападение на Силезию, не желал при тогдашних обстоятельствах передать в чужие руки оружие, которым сам он уже не мог пользоваться. Но как бы то ни было, все эти прелести так называемой «свободы прессы» продержались всего только полгода, что в конце концов и было в ней лучше всего. Фридрих всегда был принципиальным противником свободы прессы и сторонником цензуры, даже в тех случаях, когда он больше всего любил щеголять своим свободомыслием, как например, в его литературной переписке с французскими писателями. Так, 7 апреля 1772 г. он пишет Даламберу, что нужно исключать из книг все то, что угрожает общей безопасности и благу общества, которое не может потерпеть издевательств над собою. Вряд ли нужно говорить, что анекдот о карикатуре на короля, которую Фридрих «велел повесить ниже», дабы ее удобнее можно было видеть, является, как это подтверждает Николаи, «пустой легендой», «городской сплетней, которые обычно сотнями расходились по Берлину и по всем другим городам»\*. На закате своих дней в кабинетском приказе от 14 октября 1780 г. король по-своему выразил уважение к свободе печати и в наказание за «недозволенное сочинительство, подстрекательство подданных и вызванные этим дерзкие смуты» приказал отдавать виновных в солдаты.

На самом деле нет ни одного более классического свидетеля, осуждающего фридриховскую систему в отношении прессы, чем Лессинг. Даже во дни его молодости, прошедшей в обстановке самой горькой нужды, ему не очень-то нравилось редактировать в Берлине политическую газету и подчиняться цензуре, вычеркивавшей каждую самостоятельную фразу, а в более зрелые годы он, как известно, горько жаловался, что «берлинская свобода мышления и писательства» ограничивается «исключительно свободой писать сколько угодно глупостей против религии, а этой свободой порядочному человеку должно быть

\* «Свободные замечания о фрагментах господина рыцаря фон Циммермана» (Freisinnige Anmerkungen über des Herrn Ritters v. Zimmermann Fragmente), 2, 220.

стыдно пользоваться». Не следует упускать из виду, что в этой фразе ударение лежит на слове «глупости». Господин Эрих Шмидт с большой похвалой говорит о том, что Фридрих позволил спокойно жить и умереть в Берлине «опозоренному», «презираемому» вольнодумцу Эдельману. Это совершенно верно; но господину Шмидту не следовало бы бесчестить порядочного человека, к тому же давно умершего, ради того, чтобы сплести венок так называемой «терпимости» Фридриха. «Опозоренным» и «презираемым» Эдельман казался разве только зилотам берлинского просвещения, а в действительности он был, как метко называет его Гейгер, «просветителем до эпохи просвещения», далеко не недостойным предтечей Реймаруса и до известной степени самого Лессинга. «Презрительные намеки», которые, по словам господина Шмидта, Лессинг делал относительно Эдельмана, на самом деле ограничивались только тем, что молодой и несдержанный Лессинг в письме к отцу мимоходом заметил, что по сравнению с Ламеттри Эдельман—святой; в более зрелые годы Лессинг никоим образом не мог «презрительно» думать о человеке, который, несмотря на некоторую долю мистицизма, безбоязненно хвалил Спинозу, как своего учителя, человека, который объявлял невозможными все религии, возникшие путем откровения, но в то же время защищал основателей религий от упрека в обмане,—человека, который в предисловии к своему наиболее значительному труду, появившемуся в 1747 г., писал—вполне в лессинговском духе,—что не легкомыслие и не дерзость заставили его взять перо в руки, а любовь к истине, хотя он и знает, что смывок людей, слагающих на своей скрипке гимны истине, обычно ломают об их собственную голову.

Терпимость, которую проявлял Фридрих по отношению к этому гонимому человеку, тоже имела две стороны. Король, повидимому, считал его безобидным фантастом; сам он ему не досаждал, хотя отказался определенно пообещать ему свое покровительство \*. Но во всех других случаях он выдавал его с головой его преследователям. Пробст Зюсмилх, член академии и довольно видный писатель в области статистики населения, в яростном пасквиле,—«отчасти доносе, а отчасти наборе бранных слов», как называет его Гейгер,—издевался

\* Клейст пишет Глейму (Потсдам, 23 июля 1747 г.): «Господин Эдельман, последователь Эпикура, был здесь и искал у короля защиты от преследований, которым на родине подвергает его духовенство; но он должен был убраться по-доброму по-здорову, ничего не добившись». Сочинения Эвальда фон Клейста, 82, изд. Гемпеля.

над «пресловутым Эдельманом», а когда другой член академии, химик Потт, в анонимном ответе вступился за Эдельмана, король приговорил издателя этого сочинения, молодого Рюдигера, друга Лессинга, к шестимесячному заключению в Шпандауской крепости на том основании, что тот, как писал Зульцер Глейму, «нападал на христианскую религию и ее провозвестников». Кроме того в особом эдикте от 14 апреля 1748 г., Фридрих объявил, что во всех подобных случаях он не будет давать помилования. В 1743 г. он уже велел запретить два рационалистических трактата последователя Готтшеда Гебгарди, а когда другой последователь Готтшеда Милиус, бывший с юношеских лет другом Лессинга, в издаваемом им еженедельном журнале якобы оскорбил берлинских учителей, был издан общий эдикт о цензуре от 11 мая 1749 г. Эдикт мотивировался появлением «различных скандальных книг и сочинений, направленных отчасти против религии, отчасти против нравственности». Этот эдикт отдавал под цензуру и теологические сочинения, причем цензором по теологическим вопросам был назначен пробыт Зюсмилх. Эдикт оставался в силе до смерти Фридриха. Как известно, «Фрагменты неизвестного», которые Лессинг хотел издать в Берлине, не получили разрешения богословской цензуры; в разрешении ему отказал, правда, не Зюсмилх, в то время уже умерший, а Теллер, «просвещеннейший» из берлинских теологов. А когда Лессинг подвергся преследованиям в Брауншвейге из-за своего сочинения «Анти-Геце», этот же Теллер по собственной инициативе объявил в Берлине «нецензурным» этот классический полемический памфлет. Итак, мы видим, что «глупости против религии», которыми, по словам Лессинга, ограничивалась берлинская свобода мысли и слова, нужно понимать в самом глупом смысле слова: серьезное исследование религиозных вопросов, даже если оно исходило из скромной точки зрения Готтшеда, подвергалось при Фридрихе весьма большим преследованиям.

Мы должны теперь перейти к религиозной политике Фридриха и к наиболее знаменитому из его крылатых слов. Во фразе «Все религии должны пользоваться терпимостью и каждый может спастись на свой фасон» Штар усматривает «основную мысль Натана». Эту мудрость повторяли вслед за ним весьма многие. Приходится только удивляться, что Штар и его последователи не предпочли воспользоваться другим кабинетским приказом Фридриха, который был издан в то же самое время и по тому же вопросу и который еще ближе подходит к притче о трех кольцах. На прощении одного католика, ходатай-



ствовавшего о предоставлении ему гражданских прав во Франкфурте-на-Одере, Фридрих написал: «Все религии одинаково хороши, если только исповедующие их люди—честные люди, и если бы даже сюда приехали турки и язычники и захотели заселить страну, мы стали бы строить для них мечети и храмы» \*. В этом, повидимому, есть что-то, напоминающее притчу о трех кольцах, но досадная фраза «если бы они захотели заселить страну» не дает возможности превратить этот кабинетский указ в патристическую басню. Фридрих хотел «заселить» свою слабо населенную страну, чтобы получать рекрутов для своей армии и подати для своей казны, и потому с радостью готов был принять христиан, турок, язычников и даже евреев—по крайней мере ради финансовых целей; он безоговорочно разрешал им отправлять их религиозного культа и обещал охранять свободу веры. Но тем не менее в течение всей его жизни ему даже и в голову не приходило предоставить различным религиозным вероисповеданиям и одинаковые гражданские права; за все время его управления он был чрезвычайно далек от мысли уравнивать евреев, язычников и магометан с христианами и даже хотя бы католиков с протестантами, как этого требовал в своей книге о терпимости Локк, а вслед за ним и все буржуазные просветители. Нельзя даже сказать, что на его политику заселения оказало какое бы то ни было влияние его личное свободомыслие. Ведь, с одной стороны, сам он отлично понимал пользу религиозной свободы для своей собственной системы управления, а с другой стороны, даже его строго правоверный отец представлял «каждому спасаться на свой фасон»; все это показывает, каким образом в действительности возникло это крылатое слово.

Вступление на престол Фридриха протестантское духовенство сочло подходящим моментом для того, чтобы разделаться с римско-католическими школами, учрежденными Фридрихом-Вильгельмом I для солдатских детей. Оно просило короля закрыть эти школы, ссылаясь при этом на отчет генерал-фискала Удена, обвинявшего духовных учителей этих школ в недозволенной пропаганде. На полях прошения Фридрих написал: «Все религии должны пользоваться терпимостью, и фискал должен следить только за тем, чтобы ни одна не причиняла вреда другой, ибо здесь каждый должен спасаться на свой фасон» \*\*. Следовательно, «основная мысль Натана» прояв-

\* Козер, Король Фридрих Великий (*Koser, König Friedrich der Grosse*), 1, 13.

\*\* Прейс, 1, 138.

ляется здесь только в том, что было сохранено учреждение, основанное Фридрихом-Вильгельмом I. Не забудем, что этот государь придерживался самого узкого церковного вероучения и, не стесняясь, жестоко расправился со своим старшим сыном, будущим королем Фридрихом, за то, что тот насчет какого-то хитроумного пункта кальвиновского вероучения думал иначе, чем, по мнению своего отца, он должен был бы думать \*. Несмотря на все это Фридрих-Вильгельм I не только ввел римско-католические школы для солдатских детей, но и держал в городе Бранденбурге русского священника для русских солдат своей армии; он даже разрешал им, где бы они ни стояли, — хотя это могло способствовать дезертирству, которого тогда боялись, как чумы, — ездить для удовлетворения их религиозных потребностей в Бранденбург. Один раз это путешествие действительно использовали для дезертирства двадцать русских солдат, купленных за дорожную цену и состоявших в полку старого князя Дессау, расквартированном в Галле \*\*. Поэтому вряд ли нужно доказывать, что то, что Штар и его последователи считают «основной мыслью Натана», было в действительности не чем иным, как первой заповедью прусского военного государства.

Вербовка иностранных рекрутов, уже и без того трудная и хлопотливая, стала бы совершенно невозможной, если бы к сопротивлению правительств и населения присоединилось еще сопротивление церковей. Для Пруссии это обстоятельство имело тем большее значение, что ее главными вербовочными областями были католические государства южной и западной Германии, сама же Пруссия была в глазах римской курии самым типичным еретическим государством, — не в силу ярко выраженного «протестантского образа мыслей Гогенцоллернов», как уверяют

\* В данном случае дело шло о кальвиновском учении о «предопределении». В журнале «Historische Zeitschrift», 69, 475, опубликовано не менее четырнадцати объемистых документов по этому вопросу. Генерал-аудитору пришлось «с пристрастием» допросить придворного проповедника Андреа насчет того, кто внушил кронпринцу «принципы дьявольского и пагубного для души партикуляризма». По этому поводу были допрошены и гувернеры принца — Финкенштейн и Калькштейн. Так как Фридрих верил в «божественное предназначение», то его отец отзывался о нем в кабинетских приказах, направленных к различным чиновникам, в следующих выражениях: «Шельма, которая сидит в Кюстрине». «Если этот злодей хочет попасть к дьяволу, пусть туда отправляется», «Навеки, навеки, навеки обреченный дьяволу, прощенья нет». В конце концов Фридрих раскаялся.

\*\* *Freitag*, Картины из немецкого прошлого (*Freitag, Bilder aus deutscher Vergangenheit*), 5, 190.

подобострастные историки, а потому, что прусское королевство в собственном смысле, то-есть нынешняя провинция Восточная Пруссия, было секуляризированной орденой землей, владением, отобранным у католической церкви. Прусскому военному государству во что бы то ни стало приходилось относиться к католической церкви весьма осторожно, ибо в данном случае для него дело шло о жизни или смерти. Фридриху это было совершенно ясно. Он охранял католические солдатские школы от враждебных выходов протестантов; он запретил протестантским полковым проповедникам при отправлении своих обязанностей нападать на католицизм; в полковых уставах отдельных полков он предписывал обеспечить католическим солдатам регулярное отправление богослужения; он приказывал, чтобы в полевых лазаретах всегда присутствовал католический священник и давал религиозное утешение людям своего вероисповедания; наконец, в 1751 г. он через Альгаротти велел передать «святейшему отцу», что в его государстве католики пользуются не только терпимостью, но и покровительством.

К этому присоединялся еще другой, чрезвычайно важный пункт военной политики, заставлявший короля позволять каждому «спасаться на свой фасон». Несмотря на крайнюю бдительность и самые кровавые кары военных уставов, в его наемных войсках дезертирство было неискоренимо\*. Для борьбы со столь упорным злом нельзя было пренебрегать и религиозными средствами воздействия; в служебных уставах предписывалось, чтобы «парни боялись бога», чтобы по воскресеньям их два раза водили в церковь и чтобы они «всегда с благоговением слушали слово божие». Но успеха можно было достичь этими средствами лишь в том случае, если «святость» присяги вбивалась в голову «парням» духовными лицами их собственного «фасона». В этом отношении весьма знаменательно, что из всего духовенства Фридрих больше всего ценил иезуитов, отличавшихся строгой дисциплиной, хотя он в то же время наказал священника этого ордена за сомнение в «святости» присяги. «У меня никогда не было лучших во всех отношениях свя-

\* По словам журнала «*Militärwochenblatt*», 1891 г., стр. 1034, от 1713 до 1740 г. дезертировало не менее 30 216 человек,—число, почти равнявшееся регулярной армии в 1712 г. Несмотря на страшные наказания, полагавшиеся за дезертирство и попытки к нему, в течение первых десяти лет своего царствования Фридрих вынужден был выпустить пять общих амнистий для дезертиров. А это были еще сравнительно благоприятные годы; во время и после Семилетней войны дезертирство увеличилось до огромных размеров. *Иенс*, История военных наук (*Jähns, Geschichte der Kriegswissenschaften*), 3, 2221.

щенников, чем иезуиты», — сказал Фридрих папе Клименту XVI через своего римского поверенного в делах после закрытия ордена иезуитов. Иезуитов, уже не носивших своей орденской одежды, он сохранил в своих землях в качестве «священников королевских школ». Нынешние либеральные иезуитоненавистники и проповедники культурной борьбы, конечно, называют это «фридриховской традицией». Но когда один пойманный дезертир сказал, что иезуитский священник Фаульгабер в Глаце в ответ на его вопрос во время исповеди разъяснил, что хотя дезертирство и очень большой грех, но все же не является грехом непростительным, — Фридрих приказал без всякого допроса и разбирательства схватить этого священника и без исповеди повесить его на шпионской виселице рядом с дезертиром, гниющие останки которого болтались там уже полгода \* К евангелическому духовенству Фридрих относился презрительно — и тогда, когда он его миловал, и тогда, когда он его бранил. Протестантских священников, как и католических, он использовал для своей армии и для своих школ, дабы держать войско и народ в смирении, послушании и невежестве, но деятельность их он ценит гораздо ниже. Когда эти жалкооплачиваемые люди просили о небольшом повышении оклада или вообще об улучшении своего положения, он обычно предлагал им «получить награду в новом Иерусалиме» или указывал на пример «апостолов», проповедывавших даром; словом, отделялся шутками, которые Лессинг справедливо называл «глупостями против религии».

\* Когда нейсовский доминиканский викарий в 1767 г. выставил нескольких кандидатов, которые должны были удовлетворять духовные нужды нейсовского гарнизона, Фридрих решил: «Их можно употреблять в гарнизоне, но, если они будут подговаривать солдат к дезертирству, викарий не должен протестовать, если их повесят». Значение, которое Фридрих придавал религии, как средству военной дисциплины, вполне понятно, если мы вспомним, что у него самого не было никаких моральных средств удержать под знаменем «геройское войско». Насколько мало было у него этих средств, показывает следующее письмо, которое он во время войны за баварское наследство послал из лагеря при Лаутервассере генералу Тауэнцину: «Сим поручаю вам через посредство офицеров распространить в полках слухи, что по рассказам австрийских дезертиров, австрийцы каждый день палками забивают на смерть по десяти и двенадцати человек и даже не хоронят их. Среди дезертиров, перешедших от нас к ним, нашлось много таких, которых австрийцы вербовали во Франкфурте-на-Майне; когда австрийцы их узнали, они их повесили за то, что они не поступили к ним на службу. Вы должны устроить так, чтобы офицеры громко разговаривали об этом друг с другом и чтобы парни подслушали эти разговоры, и это их немножко отпугнет от дезертирства». Но это наивное средство не помогло даже «немножко», — «парни» продолжали толпами перебегать к австрийцам.

Хотя с внешней стороны религиозная политика Фридриха кажется полной противоречий, тем не менее она стоит во вполне логической связи с тогдашними условиями существования прусского государства. Возникновение этого государства резко противоречило интересам католической церкви, и потому Фридрих допускал к государственным и наиболее важным общинным должностям только протестантов. Но для того, чтобы сохранить государство, ему приходилось проводить такую военную политику и такую политику заселения, первой предпосылкой которых было терпимое отношение ко всем религиозным вероисповеданиям и даже до известной степени оказание предпочтения католической церкви. Католические священники, бывшие опорой его деспотизма, были для него ценнее всех прочих священников. Но во всех этих вопросах его личное свободомыслие не играло решительно никакой роли \*.

Но какое отношение имеет все это к Натану, что общего между Фридрихом и Лессингом?—Почти столько же и даже, пожалуй, еще меньше, чем между императором Вильгельмом II и Лассалем и Марксом. В известном,—конечно, ограниченном,—смысле существует некоторая аналогия между началом царствования Фридриха и началом царствования нынешнего императора. Государь—первый слуга государства: отставка Бисмарка. Король нищих: февральские указы. Газеты не следуют стесняться: здесь—отмена закона против социалистов. В этой стране каждый может спастись на свой фасон: прусский закон о народных школах. Мирное и полюбовное размежевание вероисповеданий, в то же время предоставляющее каждому из них в его собственной области духовное господство над массой,—это настоящая фридриховская политика. Но если все это и в особенности первый пункт мы оставим в стороне, мы должны будем признать, что февральские указы и отмена закона против

\* Когда ходячий либерализм, ни в прошлом ни в будущем не видящий дальше собственного носа, несет всякий вздор насчет «фридриховских традиций»,—с этим еще можно помириться, но приходится весьма пожалеть о том, что и такой человек, как Людвиг Бюхнер, невольно способствует византийскому одурачению народа, выставляя Фридриха в своем сочинении апостолом свободного человечества. См. *Бюхнер*, Два коронованных свободных мыслителя (другой свободный мыслитель—потомок Тимура Акбар.) Поразительное легкое верие, с которым господин Бюхнер подхватывает залежавшуюся ветшь патриотических календарей, является новым доказательством старого положения Маркса: «Недостатки абстрактного естественнонаучного материализма, исключаящего исторический процесс, обнаруживаются уже в абстрактных и идеологических представлениях его защитников, едва лишь они решаются выйти за пределы своей специальности».

социалистов, поскольку мы имеем в виду побудительные мотивы и цели обоих государей, так же мало похожи на застольную шутку насчет короля нищих и на послеобеденную речь о газетах, которые не следует стеснять, как Чимборазо на Крестовую гору. Равным образом и человек, который бы ныне вздумал назвать императора Вильгельма II «сотрудником и соратником его великих современников» Лассалья и Маркса, был бы отправлен к психиатру, если бы только ему не пришлось познакомиться с четырьмя стенами тюремной камеры за оскорбление величества.

Столь же бессмысленно, и даже еще более бессмысленно, — в виду только что отмеченной нами разницы — изображать Фридриха и Лессинга как людей одного духа и одного образа мыслей. Они не только не имели друг с другом ничего общего, но и воплощали в своем лице наиболее острые противоречия своего времени, а так как они были талантливейшими представителями своих классов, то они воплощали их в наиболее резкой форме. Фридрих от всей души презирал «разночинный сброд», передовым борцом которого был Лессинг, и собственноручно вышвыривал из рядов своего офицерства всякого затесавшегося туда буржуа. Лессинг же, исполненный глубочайшего отвращения и презрения, и в полном согласии со своими сотоварищами по духу, — коренными пруссаками Гердером и Винкельманом, — видел во фридриховском государстве «самую рабскую страну в мире».

## VI

### Бранденбургско-прусское государство

Лассаль гораздо серьезнее и глубже, чем Штар, проводит параллель между Фридрихом и Лессингом. Он подчеркивает резкую противоположность их образования и вкусов, их склонностей и направлений и приходит к выводу, что они «осуществили одну и ту же мысль эпохи в различных сферах своей деятельности». Эта мысль эпохи заключалась, по его мнению, в том, чтобы пробудить окаменелую действительность к новой жизни, к новому правовому сознанию. В глазах Лассалья борьба за Силезию «была не войной в обычном смысле слова, при которой дело идет лишь о довольно безразличном вопросе, какому из князей должен принадлежать определенный кусок земли, а была восстанием, которое бранденбургский маркиз поднял против императорской семьи, против всех форм и традиций германской империи, даже против единодушной воли всего европейского континента. Это восстание он вел как настоящий революционер,

надеющийся только на себя и носящий яд в кармане». Только этот повстанческий смысл его борьбы и объясняет то волшебное действие, которое оказывало возвышение Фридриха даже за пределами его государства и несмотря на все ужасы и тяготы войны. Из этого же источника возникли и внутренние реформы Фридриха; если осознанное превосходство субъекта над миром его традиций объявлялось принципом, на основе которого покоилось существование государства во вне, то этот же принцип сам собою должен был проводиться внутри государства и в системе его управления. Но, продолжает далее Лассаль, всякое революционизирование внешней действительности само остается внешним и ни к чему не приводит, если духу не удастся расправиться также и с исторически переданным миром внутренней духовной жизни, провести свой новый принцип через все его инстанции и области и, исходя из него, перестроить этот мир заново. Для этого-то история и выдумала Лессинга. После этого Лассаль переходит к более детальной оценке Лессинга.

Совершенно ясно, что сравнение, проводимое Лассалем между Фридрихом и Лессингом, коренится в его идеалистически-гегельянском понимании истории. Это понимание возникло у него в результате глубоких и больших работ; можно сказать, что оно было определяющим моментом его духа и что оно в такой же степени подкрепляло и усиливало его историческую деятельность, в какой ограничивало и ослабляло ее. Без твердой веры и силу идеи, как высшей руководительницы человеческих судеб, Лассаль не осуществил бы тех огромных задач, которые он в действительности выполнил, и из его речей и сочинений не вырывался бы тот огонь, который озаряет и согревает читателя даже тогда, когда тот не согласен с их содержанием. Но само идеалистическое понимание истории давно уже оставлено—в первую очередь благодаря работам Маркса,—и многое, что утверждал Лассаль, основываясь на нем, нуждается в существенных дополнениях и поправках. Но если мы не хотим упускать из виду суть дела ради личности, то мы во имя самого дела не должны слишком придирается к личности. Выяснять отдельные ошибки Лассалья в настоящее время настолько же легко, насколько было трудно тридцать лет назад стоять на духовной высоте Лассалья. Недаром чувство внутреннего сродства влекло его к таким людям, как Гуттен и Лессинг; он принадлежит к числу тех великих зачинателей, освободителей и борцов, для которых цель борьбы заключалась в самой борьбе и которым Лессинг посвятил немало глубоких изречений, проникнутых такой же мыслью. Так, например, о том

испанском ученом, «который мысленно перешагнул границы своего века и был достаточно смел, чтобы пролагать новые пути», он говорил, что даже к его ошибкам следует относиться хорошо; между прочим, Лессинг сравнивает его с горячей лошадью, которая выбивает больше всего искр из камней именно тогда, когда она спотыкается.

Поэтому и слова Лассалья насчет «революционного восстания» Фридриха, и другие его отзывы об этом короле несравненно лучше уясняют причины возникновения легенды о Лессинге, чем даже «знаменитое место» Гете, не говоря уже о других ее составных частях. Мы должны хотя бы в самых общих чертах обрисовать характер бранденбургско-прусского государства и бросить взгляд на юстицию и администрацию Фридриха, на его дипломатию и способы ведения войны, дабы на основании всего этого установить, следует ли приписывать его деятельности «революционный» элемент и можно ли считать, что он в каких бы то ни было отношениях проложил дорогу «новой жизни и новому праву».

По мнению Лассалья, Фридрих, исполненный «революционной» решимости, разбил на куски окаменевшие уставы священной германско-римской империи; Лассаль прибавляет, что после Губертусбургского мира 1763 г. император в сущности с таким же основанием мог бы сложить с себя корону, с каким он это сделал в 1806 г. при образовании Рейнского союза. Это утверждение нельзя назвать неверным, но с еще большим правом можно было бы утверждать, что император и империя фактически перестали существовать уже с 1648 г. Вестфальский мир провозглашал «свободу германских сословий» и суверенитет германских владетельных князей, причем этот суверенитет провозглашался тем решительнее, что Тридцатилетняя война началась из-за попытки императора восстановить единую империю. Выражаясь более сжато, можно даже утверждать, что именно политика Фридриха снова вдунула в имперскую конституцию своего рода призрачную жизнь. Вторую войну за Силезию Фридрих начал, якобы, для того, чтобы защитить императора и империю от деспотизма Австрии и поддержать законно избранного императора Карла VII против взбунтовавшейся венгерской королевны; мечта об образовании союза владетельных князей, завладевшая Фридрихом в последние годы его жизни, обосновывалась имперской конституцией. Но все-таки думать так — значило бы видеть форму, а не сущность. Это доказывает только то, что династическая политика Фридриха прекрасно умела учитывать даже такие призрачные факторы, как тогдаш-



ний император и тогдашняя империя; но она могла бы в сущности сделать эти призраки еще более призрачными. Она и на самом деле сделала это, но только не благодаря «революционной» решимости, а благодаря процессу исторического развития, входящего в глубь столетий.

Один буржуазный писатель, в своем рассказе о Ганзе пишет: «Ни в какой области земных интересов разница между немцем из верхней Германии и немцем из нижней Германии не проявлялась с такой ясностью, как в той деятельности, которая более всех других ломает национальные границы. В торговых взаимоотношениях немцев из верхней Германии и немцев из нижней Германии сказывается взаимная противоположность Средиземного моря и Северного моря, сухопутной торговли и морской торговли, фабриканта и купца, золотой валюты и серебряной валюты»\*. Это различие помешало тому, чтобы в Германии на развалинах феодальной империи сложилось национальное государство, как это случилось во Франции, Англии и Испании. Как только в недрах средневекового натурального хозяйства начали зарождаться промышленность, торговля и обмен, то-есть первые начатки капиталистического способа производства, борьба экономических интересов помешала в Германии тому процессу, который их взаимное согласие вызывало в других странах. Если мы хотим отметить определенной датой начало того развития, последними этапами которого были 1648, 1763 и 1806 годы, то нам придется остановиться на 1273 г. Избрание императором мелкого графа Рудольфа Габсбурга впервые обнаружило, что германская монархия начинает становиться призрачной. Достаточно указать, что во время избрания Рудольф был отлучен от церкви, так как он вместе со своими собутыльниками поджог и разграбил монастырь св. Магдалины в Базеле. Рудольф был игрушкой крупных владетельных князей, которые, передавая ему корону, желали держать его под своей опекой и разрешили основать весьма неустойчивую династическую державу лишь за счет их чрезмерно усилившегося коллеги, богемского короля Оттокара. Если несмотря на это Рудольф стал родоначальником могучей династии, и его династическая держава выросла в мировую империю, в которой не заходило солнце, то это произошло прежде всего потому, что он и его преемник стали знаменосцами и передовыми борцами папской всемирной монархии. Это стало неизменной полити-

\* *Freitag*, Картины из германского прошлого (*Freitag, Bilder aus deutscher Vergangenheit*), 2, 232.

кой Габсбургского дома; Рудольф наказал князей тем же самым оружием, каким они столь часто наказывали его могущественных преемников, восседавших на императорском троне. Немедленно после своего избрания он смиренно покорился церкви, к земным благам которой он, в силу своего пролетарского положения, чувствовал слишком непочтительное вожделение. Но благодаря безусловному подчинению папе, он приобрел не только моральную, но и—что было гораздо важнее—экономическую силу. Он помогал римской курии эксплуатировать германскую нацию, беря себе половину добычи, а на Вюрцбургском съезде князей собственноручно защитил папского легата, избличенного в самом постыдном ростовщичестве.

Но это ростовщичество подрывало корни папской всемирной монархии. Папская монархия становилась тем более излишней, чем больше развивались товарное производство и мировая торговля, а вместе с ними и светские науки. Но чем ненужнее она становилась, тем более она повышала свои требования и тем беспощаднее эксплуатировала нации. Для всех европейских народов размежевание с Римом стало необходимостью. Нам нет нужды проследживать здесь, как происходило это размежевание в других частях Европы, в зависимости от степени экономического развития, достигнутого отдельными народами \*. Для Германии, раздираемой противоречиями экономических интересов, это размежевание было возможно только при том условии, если одна часть страны должна была во что бы то ни стало остаться с Римом, а другая часть—во что бы то ни стало отойти от него.

Несколько лет казалось, что борьба с Римом является для Германии тем связующим элементом, который сочетает в национальное единство все части страны и все классы народа. Папская эксплуатация и папские грабежи стали до такой степени невыносимы, что против них сообща ополчились крестьяне, горожане, рыцари и князья. Требование уничтожения римского ига глубоко проникло даже в ряды католического духовенства, и даже Габсбургский император Максимилиан видел в Лютере человека, которым можно было бы воспользоваться в случае нужды. Но эта общая цель носила лишь отрицательный характер, и как только она была достигнута, положительные противоречия в экономической и социальной области должны были проявиться с тем большей силой. Так и случилось. Поражение крестьян, которым Лютер позорно изменил и в крови которых с беспощадной жестокостью купались его покровители—

\* См. по этому поводу *Каутский*, Томас Мор и его утопия.

князя, — сломало хребет реформаторскому движению. На арене социальной борьбы победителями остались князья. Это было исторической необходимостью, ибо в лице князей воплощалось новое централизованное государство, поскольку оно вообще было возможно при тогдашнем экономическом положении Германии. Разумеется, все это не имело ничего общего с тем, что называют ныне свободой мысли, духа и совести, прогрессом культуры и т. д. На исходе средних веков римская церковь делала весьма мало в области призрения бедных и больных, в области образования и науки, но все-таки она делала больше, чем князья, пропивавшие церковное имущество или дарившие его своим девкам. А само протестантское вероучение, являвшееся как бы зеркальным отражением этого мелкого деспотизма, превратилось в застывшую догму о божественном праве государей, об их всемогуществе и их мудрости, о необходимости безусловного повиновения подданных, — словом, в такую догму, какой еще не существовало в немецкой земле и которой никогда не учила даже католическая церковь.

Вся пронизательность идеалистического понимания истории терпит крушение при решении вопроса, каким образом революционное движение против мировой державы средневековья превратилось в самую жалкую реакцию как раз в той стране, где оно как будто достигло наибольших размеров. Почему именно в Германии «духовная свобода», выражаясь словами Лассалья, была завоевана только благодаря тому, что «в жертву ей были безраздельно принесены по крайней мере на три столетия все национальные стремления, вся политическая свобода, единство и величие»? Почему впоследствии эта «духовная свобода» вскоре выродилась в отвратительную перебранку попов различных вероисповеданий, заполнявшую шестнадцатое и семнадцатое столетия? Идеологический спор католических и протестантских историков по этому вопросу насчитывает уже четвертое столетие, но остался на том же месте, как и в первый его день. Даже ко дню страшного суда он не продвинется дальше, если обе стороны в конце концов не признают, что в борьбе религиозных мировоззрений отражается экономическая классовая борьба данного момента. В средние века католицизм и феодализм были равнозначными понятиями; зарождавшийся капитализм не мог одолеть второго, не свергнув первого; чтобы справиться с князьями, города должны были рассчитаться с попами. Уже в тринадцатом столетии города южной Франции, в экономическом отношении высоко развитые, были первыми центрами зарождения протестантских ересей; Николай

Ленау с прозорливостью поэта превозносит альбигойцев, как истинных родоначальников «людей, штурмовавших Бастилию, и прочих». Подобно альбигойцам, появившиеся впоследствии гугеноты были в экономическом отношении наиболее развитыми элементами французского населения, и француз Кальвин дал протестантской ереси то догматическое оформление, которое могло служить и действительно послужило для революционной буржуазии победоносным знаменем против Габсбургско-папской мировой монархии.

Эту роль оно сыграло главным образом в «германских странах»—Голландии и Англии. В коренной Германии немец Лютер дал лишь догматическое оформление протестантской ереси, которое, как страшный кошмар, в течение многих столетий давило духовное развитие нации. Согласно идеалистическому пониманию истории причина этого огромного различия заключается в различии типов обоих великих людей—Кальвина и Лютера—или, как обычно выражались, в том, что Кальвин смотрел на протестантизм шире, а Лютер—уже. Следовательно, если бы Кальвин жил в Виттенберге, а Лютер в Женеве, то история новой Европы пошла бы по совершенно другому руслу. К несчастью для этого остроумного понимания, Кальвин в личном отношении был, пожалуй, еще ограниченнее и нетерпимее, чем Лютер, на совести которого не тяготело таких, например, вещей, как сожжение Сервета. Но исторический Лютер был настолько же невозможен в Женеве, насколько исторический Кальвин был невозможен в Виттенберге. Богатый торговый город Женеве не потерпел бы епископской власти светского князя, а в старой деревушке Виттенберге, лежавшей, по словам Лютера, *in termino civilitatis*—на самом краю цивилизации,—была невозможна демократическая церковная конституция. Естественно, резче всего выступало это противоречие между Кальвином и Лютером в главном спорном вопросе,—в вопросе о причастии, который просветительская секта историков-идеалистов—самая притязательная, но отнюдь не самая глубокомысленная секта,—склонна считать бессмысленным спором о пустых словах. Смысл слов, введенных Лютером при таинстве причащения, сводился к тому, что священники превращали хлеб и вино в тело и кровь Христову; таким образом они превращали духовенство в создателей самого бога, а владетельного князя-епископа в верховного папу, которому были подчинены маленькие папы. Революционная же буржуазия, религиозным вождем которой был Кальвин, уже и тогда думала то, что впоследствии говорил Лессинг,—именно, что множество ма-

леньких пап гораздо хуже, чем один большой, и потому в таинстве причащения она видела только торжественное воспоминание о жертвенной смерти Иисуса.

Другими словами, кальвинизм и лютеранство были различными религиозными отражениями различных экономических состояний буржуазии. В кальвинизме победили экономически развитые элементы буржуазии, а в протестантизме—ее полуразвитые элементы. В Германии же борьба экономических интересов, происходившая между различными частями страны, не только задержала развитие буржуазных классов, но и привела к тому, что германские города благодаря великим экономическим переворотам шестнадцатого столетия опустились даже ниже того уровня, которого они раньше достигли. Морское владычество Ганзы, помогшее северной Германии выбраться из средневекового варварства, было навеки потеряно. Конкуренция голландцев, достигших большого могущества благодаря широко развитому мореплаванию и большим рыбным промыслам, экономическое усиление скандинавских стран, торговлю которых Ганза более или менее монополизировала, отмена ганзейских привилегий в Англии королевой Елизаветой и многие другие взаимно воздействовавшие друг на друга условия привели к гибели могущественный союз городов. Англичане и голландцы почти совершенно вытеснили нижние германские города из торгового обмена с европейским северо-востоком; в их руках осталась лишь очень небольшая часть торговли с Англией; к торговле с Испанией и Португалией голландцы их почти не допускали; из торгового обмена с обеими Индиями и Левантом они были почти совершенно исключены. А что касается верхнегерманских городов, то их торговля лишилась почти всякого значения уже в середине шестнадцатого столетия вследствие завоевания Константинополя турками, открытия португальцами пути вокруг мыса Доброй Надежды и упадка торговли итальянских городов, вызванного обоими этими событиями. А чем больше рост капитализма приводил к расширению его рынков, то-есть к великим географическим открытиям эпохи Реформации, чем быстрее мировая торговля переселялась с Средиземного и Северного морей на побережье Атлантического океана, тем более иссякали источники благосостояния северной и южной Германии, и тем ниже опускались буржуазные классы немецкого народа.

Но упадок немецких городов обозначал в то же время и упадок германской реформации. В решительные минуты крестьянской войны города заняли половинчатую и двусмысленную позицию, а после ее окончания владетельные князья оказались

господами положения. Энгельс вполне правильно проводил параллель между германской буржуазией 1525 г. и германской буржуазией 1848 г.; оба раза она была разбита на-голову—отчасти из-за недостатка революционного мужества против феодализма, отчасти из-за чрезмерного реакционного страха перед пролетариатом. В подтверждение мы можем указать на свидетельство современника,—на письмо Вилибальда Пиркгеймера, знаменитого нюрнбергского патриция, которого можно считать классическим представителем германской буржуазии эпохи Реформации. Незадолго до своей смерти, последовавшей в 1530 г., он писал, что сначала он был добрым лютеранином, а потом увидел, что по сравнению с евангелическими прохвостами римские прохвосты еще благочестивы. Эти последние лицемерили и хитрили, между тем как нынешние прохвосты открыто и бесстыдно ведут развратную жизнь. Их евангелие учит простого человека, что ему нужно думать лишь о том, как устроить всеобщий дележ; и если бы за это не грозило суровых наказаний, то скоро начался бы всеобщий раздел добычи, как это уже произошло во многих местах. Он пишет это не потому, что хочет или может похвалить папу и его попов и монахов,—ведь он знает, что все это во многих отношениях заслуживает осуждения и нуждается в улучшении. Но паписты по крайней мере единодушны, между тем как люди, называющие себя евангелистами, не сходятся во взглядах даже в наиболее главном и распадаются на секты; они пойдут по той же дороге, как и фанатики крестьяне, пока совсем не озвереют \*. Как мы видим, «делож» и «расколы», в которых упрекают социал-демократию, старая история, но это еще не значит, что старого Пиркгеймера можно поставить рядом с нынешними наемными капиталистическими писателями. Он был очень образованный человек, и его—полу-покаянное возвращение к папству имело и другое, более глубокое основание, чем пошлый филистерский страх перед «дележом». Если более культурный и более богатый запад и юг вскоре вернулись в лоно старой церкви, если по заключении мира Зальцбург, Бамберг, Вюрцбург, Трир, Кельн и Падерборн и даже Фудьда и Эйхсфельд опять стали католическими, то это произошло отнюдь не благодаря незуитским насилиям и хитростям и не было даже «реакцией» в обычном смысле, который придают этому слову протестантские историки. С одной стороны, омолодившийся католицизм стоял несравнен-

\* Письмо господина Вилибальда Пиркгеймера к Иог. Черте, венскому архитектору и строителю мостов короля Карла V в Вене, «*Murrs Journal zur Kunstgeschichte*», X, 33.

но выше лютеранства, быстро застывшего в своих формах, а с другой стороны, разрыв с Римом обозначал также и разрыв с наиболее развитыми странами тогдашней Европы—с Италией, Францией и Испанией. С ними были тесно связаны экономические интересы верхнегерманских городов, и если торговля этих последних получила смертельный удар благодаря упадку итальянской торговли, то ведь надо сказать, что утопающий обычно судорожно хватается за доски того самого корабля, на котором он потерпел крушение.

Наоборот, в северной и восточной Германии протестантизм сохранил за собой господство. Эти части страны сравнительно поздно вступили в круг римско-христианской культуры; Рим причинял им только зло: всегда грабил их самым изощренным и бессовестным образом; в хозяйственном отношении они были связаны не с южной и западной, а с северной и восточной Европой. Расхождение экономических интересов, отделившее северную Германию от южной, должно было проявиться и в религиозном отражении этих интересов. Но когда экономический центр тяжести переместился от городских рынков к княжеским дворам, германский протестантизм должен был приобрести совершенно иной характер, чем французский, голландский и швейцарский. Правда, буржуазия и государи были тесно связаны общностью интересов, и когда капиталистический способ производства создал национальное государство, то это национальное государство на первых порах могло существовать только в форме абсолютной монархии. Всюду, где зарождалось общее национальное хозяйство, монархи отлично понимали его значение. Они покровительствовали хозяйственным интересам страны, содействовали земледелию и ремеслу, торговле и промышленности. Ганза погибла как раз потому, что усиливающиеся государи северной и восточной Европы с непреклонной беспощадностью отстаивали экономические интересы своих промышленных и торговых классов. Но в Германии образовалось не единое национальное государство, а множество мелких государств, а через такие крохотные территории, как выражался Лассаль устами своего Франца фон Зикингена, не мог проходить сквозной ветер истории. Немецкие мелкие князья были скорее крупными помещиками феодальной эпохи, чем абсолютными монархами капиталистического времени; на города они смотрели не как на источники своей силы, а как на честолюбивых и опасных соперников юнкерства; они действовали в большем масштабе, чем рыцари, разбойничавшие на больших дорогах, но были проникнуты совершенно таким же

духом и убивали куриц, несших золотые яйца. Как только упадок городов обеспечил князьям победу в этой борьбе, германский протестантизм неизбежно должен был превратиться из религиозной идеологии революционной буржуазии в религиозную идеологию презренного и зловещего мелкого деспотизма. Благодаря быстрому обнищанию народа Германия сделалась пресловутой страной рабелепия.

Было бы трудно найти во всей мировой истории класс, столь бедный духовными и материальными силами и столь богатый всякими человеческими низостями, как германские князья от пятнадцатого до восемнадцатого столетия. Ответственность за этот прискорбный факт нельзя сваливать на отдельные княжеские роды; буржуазная история, если только она хочет быть справедливой, должна безоговорочно признать, что дело нисколько не изменилось бы, если бы на тронах немецких владетельных князей восседали, например, родоначальники Мюллеров и Шульце. Класс германских князей превратился на протяжении этих столетий в такую нелепую карикатуру исключительно вследствие экономических условий его жизни. Ему не хватало той основы, на которой покоилась власть государей в экономически развитых странах, и потому для того, чтобы существовать, он должен был непрестанно предавать свою страну, свой народ и даже свою веру, чем в особенности отличались протестантские князья. Князья не могли жить за счет промышленности своих подданных и потому жили их кровью: средства, которые не могла им давать торговля продуктами, давала торговля людьми. Экспортная торговля постепенно свелась к вывозу одного единственного продукта,—правда, довольно важного. Немецкое полотно, продукт кустарной промышленности, изготовлялось так хорошо и дешево, что многие другие европейские страны не могли без него обходиться. В семнадцатом столетии его сбыту особенно содействовало расширение колониальной торговли англичан, французов и испанцев. Из нижней Саксонии значительные количества льняных тканей шли через Гамбург и Бремен в Англию, Францию и на Пиренейский полуостров, вестфальский лен в довольно больших количествах сбывался в Голландию, а швабский—в Италию. Но это было все, если не считать экспорта некоторых металлических изделий, и потому иностранных продуктов, которые можно было купить на выручку от этого экспорта, далеко не хватало для удовлетворения потребностей князей в предметах роскоши. Германским князьям нужны были еще другие платежные средства, и они получали их в виде субсидий, за которые они продавали иностранным госу-



дарствам свои суверенные права и главным образом право распоряжения телом и кровью своих подданных. По вычислениям Гюлиха, от 1750 до 1815 г. Франция уплатила германским князьям 33 миллиона, а Англия—311 миллионов талеров. Только эти суммы и делают понятным то обстоятельство, что многие владетельные князья столь бедной страны, как Германия, могли соперничать с пышной расточительностью французских королей\*.

Класс князей, экономической основой которого была постоянная измена своим идеальным княжеским обязанностям, естественно должен был стать рассадником всех человеческих пороков. Уже в пятнадцатом столетии список грехов германских князей был неисчерпаем, а германских князей шестнадцатого столетия даже Трейчке вынужден признать «выродившимся поколением». При избрании императора в 1519 г. все курфюрсты продавали своего голоса, за исключением одного только Фридриха Саксонского, пользовавшегося благодаря своим рудникам некоторой экономической независимостью, которая, конечно, очень ослабела после открытия Нового Света; курфюрст Бранденбургский и его брат, курфюрст Майнцский, особенно скандализировали участников съезда той веселой беззастенчивостью, с которой они во время торгов, в зависимости от увеличения спроса, отдавали свои голоса то французскому, то испанскому претенденту на германскую императорскую корону. Но выборы императора были для этих торговцев праздничной пирушкой, в обычное же время они торговали кровью своих подданных. Следует признать, что они не прикрывались при этом никакими идеологическими мантиями. Несомненно, огромное большинство светских князей склонялось к протестантизму,—главным образом потому, что он давал им возможность прикарманить богатое церковное имущество, но также и потому, что лютеранское учение все больше и больше превращалось в теорию, возводившую их мелкий и весьма земной деспотизм в божественное установление. Но ни они, ни католические «исповедники истинной веры», ни «князья-нищие» не давали религиозным воззрениям отвлекать себя от приятной торговли человеческим товаром; подобную мысль они отбросили бы, как поистине кощунственное покушение на их божественные права. Во время гугенотских войн германские ландскнехты и рейтары сражались и на той, и на другой сто-

\* Гюлих, Историческое описание торговли, промышленности и т. д. (*Gulich Geschichtliche Darstellung des Handels, der Gewerbe u. s. w.*), 4, 353.

роне, и в каждом французском лагере немецкие католики были перемешаны с немецкими протестантами; баденский маркграф, рейнские графы и многие другие протестантские князья находились в лагере Лиги и выступали против гугенотов. Протестантский Эрих Брауншвейгский привел свои войска к Альбе, чтобы наказать голландских «осквернителей таинства причастия». Во время Шмалькальденской войны Мориц Саксонский и оба бранденбургских маркграфа—Иоахим II и Ганс—стояли не на стороне своих евангелических союзников, а на стороне Габсбургов и папы. И так продолжалось до гнусной торговли людьми, которую в конце восемнадцатого столетия германские князья вели с Англией и о которой мы будем говорить подробнее в дальнейшем.

Вполне понятно, что габсбургско-папская мировая держава делала все новые и новые попытки искоренить это гнездо жалких царьков и восстановить Священную Римскую империю немецкой нации. Вполне понятно и то, что все эти попытки не только не удались, но и привели к совершенно обратным результатам. Как ни неприглядна была немецкая княжеская власть, она все-таки выросла на почве экономических условий страны, и враги Германии охраняли собственными руками перманентную государственную измену ее князей. Наиболее могучая из этих попыток—Тридцатилетняя война—закончилась тем, что суверенитет германских князей был подтвержден международной гарантией Франции и Швеции: в этом нашла свое политическое выражение экономическая раздробленность Германии, делавшая ее игрушкой иностранных держав. В самой войне протестантские князья играли более или менее жалкую роль, а курфюрст Бранденбургский вел себя столь трусливо и двусмысленно, что даже гогенцоллернские историки, как это ни странно, выдают его с головой. Габсбургская империя потерпела неудачу потому, что она хотела снова соединить то, что было разорвано всем ходом экономического развития, и в самом бедном захолустьи протестантской Германии вырос противник, вскоре ставший для нее более опасным, чем Франция и Швеция, чем все иностранные покровители мелких немецких государств.

Этим противником было бранденбургско-прусское государство. После Тридцатилетней войны оно начало играть в северной Германии такую же важную роль, какую играла Австрия в южной Германии; уже тогда один габсбургский министр говорил, что бранденбургский курфюрст станет именно тем человеком, которого так жаждет «лютеровская сволочь». Как это произошло? Обычно отвечают: это сделали Гогенцоллерны. Люди делают

историю, восклицает господин фон Трейчке, и без Гогенцоллернов прусское государство было бы немислимо. А затем он говорит о «властолюбии одного царствующего дома, члены которого большей частью отличались беспримерной неспособностью»,—очевидно, он имеет в виду Габсбургов. Этот критический анализ австрийско-прусского дуализма ослепителен по своей простоте, и он был бы, конечно, вполне хорош, если бы лесть и брань имели какое бы то ни было отношение к научной истории. Другие благонамеренные историки говорят, что Пруссия достигла гегемонии над Германией благодаря тому, что она была передовым борцом протестантской идеи. Но мы уже видели, какое малое значение имела здесь «протестантская идея», и говорили о причинах, в силу которых прусское государство разрешало каждому достигать блаженства на свой фасон. Несколько ближе к истине стоят те смелые умы, которые додумались до той мысли, что Пруссия, потому что была военным государством, завоевала германскую империю. Это, правда, выясняет вопрос, но еще не дает на него никакого ответа. Австрия ведь тоже была военным государством, военными государствами стали в семнадцатом столетии и все вообще европейские государства, и даже самые маленькие, захудалые дворы превратились в ящики с игрушечными солдатиками. Абсолютизм был немислим без армии. Первой формой современного милитаризма были толпы наемных ландскнехтов, но эта его форма вымерла уже в начале семнадцатого столетия. Это-то в значительной степени и способствовало тому, что Тридцатилетняя война продолжалась так долго и причинила такие страшные опустошения: только потому, что ей положила конец не столько победа той или другой партии, сколько всеобщее истощение, ибо ни одна из борющихся партий не могла нанести решительного удара вследствие недостатка военного материала. Армии были слишком немногочисленны, а главное слишком ненадежны; при каждой задержке жалования—а все воюющие государства вскоре очутились в жесточайших финансовых тисках—солдаты грозили разбежаться, и действительно разбежались; если побеждало то или другое войско на Изаре или на Рейне, то где-нибудь на Эльбе или на Одере сейчас же опять собиралась какая-нибудь неприятельская армия; наивысшее искусство полководцев заключалось, так сказать, в демагогическом умении возможно прочнее прикрепить к своим знаменам как можно больше пушечного мяса,—а какие опасности представляла такая демонология для самих князей, показал пример Валленштейна. Эти опыты и уроки привели к образованию

постоянного наемного войска, необходимое сырье для которого доставлял созданный войной люмпенпролетариат.

Итак, Бранденбургско-прусское государство отличалось от прочих не тем, что оно вообще стало военным государством, а только тем, что до известной степени стало первым военным государством среди прочих военных государств. Этот ход развития объяснялся экономическим положением тех частей страны, из которых оно составилось. Мы не будем выяснять здесь причины ост-эльбской колонизации, происходившей во второй половине средних веков, а равно и различные формы, которые она принимала в Бранденбурге, Померании, Силезии и Пруссии; достаточно сказать, что Бранденбургская марка, родина прусского государства, была первоначально военной колонией. В основе всех отношений собственности лежали тогда военные соображения; для этой цели все земельные участки с самого же начала облагались повинностями,—они платили поземельную подать или несли ленную службу. К ленной службе привлекалось многочисленное военное сословие, состоявшее из несвободных министерялов и предназначенное в первую очередь никоим образом не для земледелия, а для военной службы; ленное поместье должно было содержать солдат, и от податей освобождалось в нем лишь столько гуф, сколько было необходимо для содержания ленных отрядов; в 1280 г. было постановлено, что рыцарь должен иметь шесть гуф пахотной земли, освобожденных от податей, а за каждую лишнюю гуфу должен был платить подати. Но это учреждение очень скоро пришло в упадок. Вооруженная сила стала экономическим классом, который превратил свою общественную должность в источник социальной наживы; несвободная военная каста стала властвовать и над маркграфом, и над свободными крестьянами, которые жили рядом с представителями военного сословия, но не были им непосредственно подчинены и которые переселились за Эльбу именно для того, чтобы избавиться от притеснения помещиков в своей собственной стране.

В поземельной книге Бранденбургской марки от 1375 г. мы уже встречаем рыцарские поместья в 10, 20, 25 свободных от податей гуф, причем в качестве ленной повинности они должны были доставлять только одну лошадь; имеются рыцарские имения в более чем 6 свободных гуф, доставляющие только  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$  лошади; в Вильмерсдорфе под Берлином три рыцаря владеют 10,8 и 3 свободными гуфами, причем каждый из них доставляет только одну восьмую лошади. Вместо четырех тысяч рыца-

рей, которые в пятнадцатом столетии жили на территории марок, в шестнадцатом столетии осталось только шестьсот; вместо полного отряда, состоявшего из рыцаря, двух или трех оруженосцев, одного стрелка и пары слуг, появились «одноконные»; в конце концов вассал перестал даже лично являться и, как говорится в одном курфюрстском приказе от 1610 г., то есть накануне Тридцатилетней войны, посылал вместо себя «кучера, бурмистра, рыбака и тому подобный негодный и неопытный сброд». Если этот упадок военной организации, созданной для защиты страны, произошел не без вины владетельных князей, которые освобождали помещиков от поставки солдат либо за известный выкуп, либо в виде милости, либо из страха перед ними, то асканские, баварские, люксембургские и гогенцоллернские маркграфы были еще более повинны в разорении свободного крестьянства. За деньги или в виде особой милости они жаловали рыцарей поземельной податью, трудовой и конной повинностями и вообще всеми повинностями, которые крестьяне обязаны были выполнять для них, как для владетельных князей; они проложили путь «помещичьему хозяйству», ибо вещные повинности, причитавшиеся владетельным князьям и взимавшиеся представителем сельской власти, — ленным старостой, — они превратили в личную зависимость от людей, не принадлежавших к данной деревне; они продавали рыцарям высшую и низшую юрисдикцию над деревнями; они позволяли рыцарям, помимо проданных им князьями крестьянских податей и повинностей, вводить еще множество других податей, повинностей и обязанностей; чтобы закрепить за рыцарями эти барщинные повинности, маркграфы в конце концов отняли у крестьян свободу передвижения и объявили их «прикрепленными к гуфе». А когда во время хозяйственного переворота эпохи Реформации феодальный порядок распался, «простой дворянин» поселился в своем поместье и стал заниматься земледелием с промышленными целями, — курфюрст Иоахим II позволил ему за денежное возмещение «присоединять» крестьянские дворы, переводить старостин двор, овчарню и земельные участки крестьян и коссетов в состав рыцарского имения и составлять из них для своих сыновей рыцарские имения, которые, разумеется, освобождались от податей. В начале Тридцатилетней войны в марке уже возникло настоящее сословие шляхтичей\*.

\* Дройзен, История прусской политики (*Droysen., Geschichte der preussischen Politik*), 1, 39 и сл.

Эта роковая социальная политика сильно отразилась и на военной организации страны. Так называемое «ополчение», представлявшее собою, наряду с ленными конными отрядами, военную силу государства и составлявшееся путем набора каждого двадцатого человека населения в случае войны, тоже пришло в упадок; официальный проект нового военного Положения сухо говорит, что крестьяне, правда, более пригодны для войны, чем горожане, но они слишком обременены барщинными повинностями, да и кроме того опасно давать им в руки средства, при помощи которых они могли бы освободиться от своего зависимого положения \*. Этого так боялись, что, несмотря на сомнения в боеспособности городского населения, князья пытались составить «ополчение» исключительно из него и с помощью некоторой муштровки подготовить его к несению гарнизонной службы. Но случилось как раз то, чего так боялись: княжеский разбойничий поход, во время которого первые Гогенцоллерны пятнадцатого столетия выкачали до последнего гроша все ресурсы городов Бранденбургской марки, принес свои плоды. Даже берлинские граждане отказывались от военной службы; в письменной жалобе от 17 ноября 1610 г. они заявляли, что, благодаря военной муштровке, некоторые из них отправились на тот свет, что стрельба очень опасна, так как она пугает беременных женщин, и приводили в обоснование своего протеста всякие другие героические соображения. Накануне Тридцатилетней войны вряд ли можно было бы найти другое германское владетельное княжество, где военная организация дошла до такого упадка, как в Бранденбургской марке; только в другой главной составной части тогдашнего бранденбургско-прусского государства—в Прусском герцогстве (нынешняя Восточная Пруссия)—царила еще большая анархия, так как княжеская власть была здесь очень непрочна, ибо она зависела не только от помещичьих сословий, но и от польского суверена. Поэтому за тридцатилетнюю разруху пришлось платить в первую очередь гогенцоллернскому государству. Благодаря почти полной его беззащитности фурия войны страшно опустошила его отдельные части и привела его к такому состоянию варварства, хуже которого трудно себе что-нибудь представить, когда читаешь страшные описания современников. Бедные, маленькие и немногочисленные города этой области или пришли в полный упадок или были разрушены, а устья Одера и Вислы находились в руках шведов и поляков. Страшно разреженное

\* Проект этот сообщен Йенсам, II, 1073.

крестьянское население вело скорее животное, чем человеческое существование. Только учтя точно это экономическое положение, мы поймем, каким образом на почве его могло возникнуть прусское государство, представлявшее собою, с одной стороны, яркий тип военного государства, а с другой стороны, как выражался Лессинг,—«самую рабскую страну в Европе». Одно связано с другим, как причина и следствие, ибо если под сенью прусской военной деспотии могло процветать только рабство, то, с другой стороны, и прусская военная деспотия могла возникнуть только в одной части Германии,—там, где образование и культура, наука и материальное благосостояние исчезли бесследно, и масса населения, привыкшая к вековому рабству, потеряла всякую волю.

Когда буржуазные прусские историки изображают дело таким образом, что курфюрст Фридрих-Вильгельм, начавший царствовать за восемь лет до Вестфальского мира, благодаря своей гениальности создал войско и сломил власть помещичьего сословия, из чего само собою последовало все остальное,—то это, разумеется, приходится признать патристической басней.

С тех пор как в страну явились Гогенцоллерны, классовая борьба между князьями и юнкерским классом протекала в различных формах, но в конечном счете всегда заканчивалась победой юнкеров. Если первый Гогенцоллерн с помощью городов марки и нескольких соседних князей снес замки Квитцовых, то успех его следует признать весьма небольшим. Обычные разбойники и бандиты, какими были Квитцовы и их соратники по грабегам, не удовлетворяли даже тем скромным требованиям, которые предъявлялись в то время к представителям господствующих классов; их собственные товарищи выдали их с головой, подобно тому, как ныне биржа выдает с головой всякого, кто крадет носовые платки вместо того, чтобы спекулировать миллионами. Но с тем большей настойчивостью бранденбургское дворянство принуждало своих новых князей отстаивать в законодательной форме его классовые интересы, сводившиеся к эксплуатации и угнетению, и защищать его от городов и особенно от крестьян. Среди дюжины гогенцоллернских курфюрстов нет ни одного, который бы встал на сторону крестьян против юнкеров, и нет почти ни одного, который бы не поставил крестьян в еще большую зависимость от юнкеров, чем это делали его предшественники. Благодаря этому юнкера стали настоящими властителями страны, и слабое развитие бранденбургской военной организации объясняется именно их всемогуществом и слабостью княжеской власти, которые особенно

резко сказывались от середины шестнадцатого до середины семнадцатого столетия. Исторически развитие милитаризма шло нога в ногу с развитием абсолютизма.

Чтобы сохранить после Тридцатилетней войны свой княжеский сан, курфюрсту Фридриху-Вильгельму, царствовавшему с 1640 до 1688 г., конечно, нужна была армия. Но столь же несомненно было и то, что без юнкеров, а особенно против их воли, он не мог бы сколько-нибудь долгое время удержать под оружием даже одну роту. По исчислениям Риделя и Круга, в начале своего царствования он получал со своих доменов около 40 000 талеров,—сумму, недостаточную даже для того, чтобы покрыть расходы по содержанию его расточительного двора. Без налогов не может быть постоянного войска, а без воли сословий нельзя получить налоги. А между тем в распоряжении курфюрста не было никаких средств, чтобы заставить бранденбургские сословия согласиться на введение налогов. Это был беспощадный и жадный, но довольно посредственный деспот,—судя по свидетельству имевших с ним дело иностранных дипломатов; когда дело шло об отстаивании его династических интересов, он обращал весьма мало внимания на законы, права и договоры; впоследствии, когда власть его в марке укрепилась и к его услугам было постоянное войско, он добился суверенитета над прусским герцогством и сломил сопротивление тамошних сословий кровавыми и противозаконными насилиями. Но в первое время после окончания Тридцатилетней войны у него не было никаких средств, чтобы заставить сословия вносить налоги; а что ради его прекрасных глаз и общественного блага сословия не захотят обеспечить ему *miles perpetuus* (постоянную армию),—это он знал так же хорошо, как и они. И если бы он этого не знал, то судьба его предков достаточно ясно показывала ему это.

Поэтому все дело зависело от того, были ли сами юнкера заинтересованы в учреждении постоянной армии. В силу целого ряда причин они были в этом действительно заинтересованы. Прежде всего для них, как для господствующего класса, было важно сохранить государство: они не могли допустить, чтобы это столь идиллическое для них общество в один прекрасный день было проглочено без остатка поляками или шведами.

Но Тридцатилетняя война вызвала в крестьянстве некоторое брожение. Причину столь большой продолжительности войны Каутский вполне основательно видит, между прочим, в том, что после большой крестьянской войны в Германии возник чрезвычайно многочисленный крестьянский пролетариат, который не



рассасывался в промышленности и колониях, как это происходило в прочих странах, и потому представлял собою богатый резервуар для вербовки наемных отрядов; Тридцатилетняя же война усугубляла крестьянскую нищету и таким образом создавала новый пролетариат и новых наемников, пока сама не закончилась благодаря всеобщему истощению. Если это вообще правильно по отношению ко всей Германии, то это еще в большей степени правильно по отношению к Бранденбургской марке, где война причинила наибольшие опустошения. Оставшиеся в живых крестьяне научились владеть оружием, а иногда даже сохраняли его; в опустевших дворах поселились распущенные солдаты, и «всякий, кто носил на шляпе военное перо, упорно противился тяжелым повинностям, тяготевшим над крепостным» \*. Насколько большое значение имело это обстоятельство для ост-эльбских юнкеров, видно из многократно издававшихся строгих приказов, воспрещавших крепостным ношение оружия; в еще большей степени это подтверждается княжеским приказом, изданным для соседней Силезии и гласившим, что всякий служивший в армии, лично освобождался от крепостных повинностей. Но чем больше созданная этой эпохой нужда подтачивала основы господского права, тем усиленнее старались юнкера воскресить его. Во время войны крестьянское население много раз перебегало с одного места на другое; крепостные своевольно оставляли свое местожительство и селились на чужой земле; их старые господа требовали себе права возвращать их обратно, как рабов, в случае необходимости применяя при этом даже силу. Принудительное возвращение часто вызывало самое отчаянное сопротивление. Помещики очень остро чувствовали недостаток рабочей силы: им не хватало прислуги, а та, которая еще оставалась, имела дерзость требовать человеческого обращения и содержания. Всем жителям деревень было запрещено сдавать комнаты холостым мужчинам и незамужним женщинам; обо всех таких жильцах нужно было доносить, и их упрятывали в тюрьму до тех пор, пока они не соглашались поступить на службу. Но, повидимому, потребность юнкерского хозяйства в людях было довольно трудно покрыть; даже долгое время после окончания войны харчи и жалованье были лучше, чем до войны и в течение следующих столетий; вполне понятно, что горькие жалобы помещиков на злобную и строптивую челядь повторялись без конца в течение нескольких десятилетий после войны.

\* *Фрейтаг*, Картины и т. д., 4, 421.

Наконец, после войны в Бранденбургской марке образовался чрезвычайно многочисленный люмпенпролетариат. Оборванные солдаты, отвыкшие от всякой работы, бродяги и цыгане толпами бродили по стране, занимаясь «прошением милостыни» и «кражами»; они были настоящим бедствием, особенно для деревень; стоило только отказать в милостыне, как нищие превращались в разбойников. Но, пожалуй, еще несноснее был для бранденбургского дворянства другой люмпенпролетариат, выросший из их же собственной среды. Мы уже указывали, что еще до войны мелкие бранденбургские дворянчики разрослись, как сорная трава; часто в одной сравнительно небольшой деревне их жило несколько, и во многих случаях их поместья были не больше крестьянских дворов. Благодаря войне многие из них лишились имущества. Эти так называемые «дворяне-блюдолизы» объединялись в целые сообщества, разъезжали по стране целыми сворами, как тогда выражались, чтобы попить у какого-нибудь более состоятельного дворянина, а в случае нужды даже и у горожанина или крестьянина. При малейшем отказе они тоже переходили от нищенства к грабежу, но иногда бывало и так, что крепостные угощали их палками, — поступок, считавшийся тогда преступнейшим нарушением установленного богом порядка. Понятно, что дворянство было весьма заинтересовано в том, чтобы обеспечить этим «благороднейшим и лучшим» «подобающее словословию» содержание. Если «бродяги» вполне годились в солдаты, то «дворяне-блюдолизы» были их «прирожденными офицерами».

Таковы были в общем условия, в силу которых бранденбургские юнкера, исходя из своей классовой точки зрения, считали необходимым учреждение постоянного войска. Они дали курфюрсту право учредить постоянное войско, но конечно, на таких условиях, которые соответствовали их классовым интересам. Прежде всего они выговорили себе обширнейшие «поместные права», «установившиеся путем обычая», другими словами, добились подтверждения государем их неограниченной юрисдикции над крестьянами; «чтобы купить у привилегированной знати (в постановлении ландтага от 1653 г.) разрешение проводить твердую, более последовательную политику и учредить *miles perpetuus* (постоянную армию), курфюрст, находившийся в начале своего царствования в отчаянном положении, с головой выдал знати крестьян и предоставил дворянам право неограниченной господской юрисдикции в низшей инстанции» \*. Помещикам не только предоставлялось право

\* *Шмоллер*, Внутреннее управление прусским государством при Фридрихе-Вильгельме I, «*Preussische Jahrbücher*», 25, 587.

требовать с крестьян «установившиеся путем обычая», то есть фактически, а в одной части марки и юридически неограниченные услуги, барщинные повинности и сборы, но и давалось право на патронат, вотчинные суды и отправдение полицейских функций; «низшая инстанция» была в действительности единственной инстанцией, ибо где же мог крестьянин искать управы даже на самую вопиющую несправедливость, причиненную ему помещиком? Курфюрст, со своей стороны, думал лишь о том, чтобы как можно тщательнее закупорить те немногие отверстия, через которые крестьянин в особо счастливых случаях мог улизнуть от слишком неистового помещика или даже вообще отделаться от крепостных повинностей. В возобновленных уставах о крестьянах, челяди, пастухах и овчарях, которые он издавал за время своего долгого правления для отдельных частей страны, он неизменно подтверждал постановление ландтага от 1653 г., никогда не смягчая его, а всегда истолковывая в наиболее выгодном для помещиков смысле. Он неоднократно запрещал принимать к себе чужих крепостных и неоднократно давал старым господам требовать к себе обратно сбежавших крепостных, не считаясь с давностью. Разорившиеся крестьяне, которым помещик не помогает восстановить их двор, все-таки не смеют уходить от него и должны отправлять для него личные повинности. Слуги, прожившие три года на одном месте, могут после этого насильственно удерживаться, и их дети становятся крепостными, если даже они родились до того, как стали крепостными их родители. Приблизительно то же говорится и во всех других уставах. «Не может быть ничего ошибочнее, как считать великого курфюрста так называемым другом крестьян», — говорит Рошер. Вот как? А ведь процветающая ныне школа прусских историков объявляет «великого курфюрста» даже не «так называемым», а действительным другом крестьян. Мы еще и сейчас живем под благодатной сенью его мудрой крестьянской политики, ибо помещичьи привилегии, установленные постановлением ландтага от 1653 г., отменялись весьма медленно и далеко не полностью, и часто скорее по форме, чем по существу. Отмена эта происходила отчасти в 1808, отчасти в 1848, отчасти в окружном уставе семидесятых годов, а отчасти в уставе о сельских общинах, изданном в девяностых годах.

Далее, «простой дворянин» при учреждении постоянного войска обеспечил себе исключительное или почти исключительное право на занятие офицерских должностей. Предводители ландскнехтов, вышедшие из горожан и стяжавшие себе военную

славу во время Тридцатилетней войны, конечно, тоже входили в круг избранных, но уже и тогда установился обычай жаловать им дворянское звание и таким образом делать их достойными общения с «дворянами-блюдолизами», боеспособность которых они должны были усиливать. Как известно, эта юнкерская привилегия в значительной степени сохранилась и поныне. В момент своего возникновения она являлась не только политической предосторожностью, но и чрезвычайно ценной экономической помощью, которую государство оказывало «разрастающейся, многочисленной и отвратительной породе захолустных дворянчиков»\*. До какой степени прусское дворянство, особенно в XVIII столетии, эксплуатировало армию, мы увидим в дальнейшем.

Но если сословия ради столь огромных привилегий сделали свое право утверждения налогов более или менее иллюзорным, ибо они раз навсегда фиксировали суммы, тратившиеся на постоянную армию, то зато они позаботились о том, чтобы это не привело ни к каким неприятным для дворянства последствиям. Они обеспечили в законодательном порядке имениям и личности дворян свободу от податей, которая в эпоху средневекового ленного строя до некоторой степени имела смысл, но впоследствии превратилась в самую ненавистную привилегию. Эта привилегия тоже продолжала существовать до первой, а в значительной своей части даже до второй половины XIX столетия и впоследствии была отменена только за счет тяжелых денежных жертв, понесенных плебейскими налогоплательщиками.

На таких условиях,—целиком клонившихся к военному, экономическому и политическому укреплению юнкерского господства,—сословия согласились платить государю «контрибуцию». Под этим словом понимались денежные и натуральные повинности, которые крестьянское и городское население должно было нести для содержания постоянной армии. Эта контрибуция распределялась по земельным участкам и по отдельным домам; конечно, в обедневшей стране, которая благодаря непрерывным войнам курфюрстов подвергалась все новым и новым опустошениям, платить ее было трудно, как ни скромнен был на наш современный взгляд тогдашний военный бюджет. Курфюрст собирал ее безжалостно, и по берлинским улицам

\* Слова Рюстова, объемистое сочинение которого «Прусская армия и юнкерство» (*Rustow, Die preussische Armee und die Junker*) содержит массу исторического и статистического материала относительно социального значения этой привилегии, который был собран им, согласно патристическому лозунгу, из «тупой ненависти к дворянству».

непрерывно разъезжал экзекуционный фургон. В 1667 г. сословия даже заявили, что если так будет продолжаться, то дело кончится полным разорением страны. Курфюрст признавал, что из всех углов страны ему надоедают «воплями и докучными жалобами», но заявил, что для армии ему необходимо ежегодно по меньшей мере 300 000 талеров; он предложил другой вид налога,—акциз, налагавшийся на вкусовые и пищевые продукты и падавший на всех жителей страны. Это была попытка привлечь дворянство к налоговому обложению хотя бы в части личного потребления, но юнкера сейчас же раскусили эту довольно неуклюжую хитрость. Они заявили, что в таком случае от их привилегий не осталось бы ничего кроме имени и что они «не смогли бы воспитывать своих детей в дворянских добродетелях и обучать их изящным искусствам». Курфюрст не был в состоянии преодолеть сопротивление, вытекавшее из столь почетных мотивов, и дело ограничилось наложением контрибуции на крестьянское население. Зато сословия с жадностью ухватились за предложение курфюрста об акцизном обложении горожан, ибо для них оно обозначало переложение налогового бремени с имущего класса на класс неимущий. Акциз стал городским налогом, взимаемым на содержание войск.

При короле Фридрихе-Вильгельме I, царствовавшем с 1713 до 1740 г., эти зачатки бранденбургско-прусского военного государства были разработаны и прочно закреплены. Постоянная армия стала на ноги только при курфюрсте Фридрихе-Вильгельме и его сыне, который от 1688 до 1701 г. носил титул курфюрста Фридриха III, а с 1701 до 1713—титул короля Фридриха I. В мирное время вечная нужда в деньгах заставляла массами распускать наемников, а расточительная придворная жизнь обоих государей, особенно же новоиспеченного короля, поглощала все те субсидии, которые, по благородному обычаю немецких владетельных князей, поступали из-за границы за отдачу армии в наем иностранным государствам. За время своего царствования Фридрих I получил таких субсидий не менее чем на 14 миллионов талеров и истратил их все самым бессмысленным образом. Это был слабый и неспособный человек, о котором его внук, Фридрих II, всегда отзывался с величайшим презрением; его княжеское классовое сознание проявлялось только в соблюдении ничтожных внешних подробностей придворного этикета, и потому он неизбежно стал игрушкой в руках тунеядцев-придворных. Но хотя юнкерство охотно использовало в своих интересах преступное легкомыслие этого государя, он, повинаясь правильному классовому инстинкту, все же не пренебре-

гал основой, на которой покоилась его власть; даже при Фридрихе I из государственных доходов, повысившихся до 4 миллионов талеров, 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> миллиона шло на войско.

В лице его сына на престол вступил государь, решивший сбросить с себя иго юнкерства, гнет которого он болезненно ощущал еще в бытность свою кронпринцем. Фридрих-Вильгельм I был грубый тиран, а между тем Шен, этот наиболее свободомыслящий государственный человек, которого когда-либо имела Пруссия, называл его «величайшим и подлинным королем» этой страны. Король неустанно повторял: «Мы—господин и король, и делаем то, что нам угодно», но одновременно с этим называл себя «добрым республиканцем». Он лупил каждого горожанина, который случайно оказывался в сфере действия его палки, но сильнее всего он лупил своего благородного престолонаследника за то, что тот «высокомерен, груб, как мужик, не говорит с людьми по-человечески и никогда не бывает благосклонен и приветлив». Эти кажущиеся противоречия объясняются княжеским классовым сознанием этого короля, для которого юнкер значил не больше, чем горожанин или крестьянин, но и горожанин и крестьянин значили не больше, чем раб монарха. О равенстве всех подданных перед его палкой он, конечно, мыслил весьма по-республикански. Борьбу с юнкерством он вел так энергично, как не вел ее ни до, ни после него ни один Гогенцоллерн, и в этом отношении его действительно можно назвать «величайшим и подлинным королем» прусского государства. Но именно поэтому он был и наиболее ярко выраженным солдатским королем этого военного государства, ибо о ниспровержении политической власти юнкеров он мог думать только после того, как он отнял у них армию.

Из этого ясно, какой пустой лестью является утверждение прусских историков, говорящих, что этот король, как бы под наитием гениального предвидения, самостоятельно создал идею всеобщей воинской повинности. Эту мысль Трейчке выражает следующими напыщенными словами: «Его могучий, несмотря на свою ограниченность, дух бесстрашно проложил дорогу для суровой государственной концепции, родственной гражданскому чувству древних... Кантональный регламент 1733 г. провозгласил принцип всеобщей воинской повинности». Этот регламент никогда в действительности не существовал; это—чистая легенда, хотя следует признать, что эта прусская легенда имеет более примитивное происхождение, чем ее бесчисленные сестры. Гениальный крестьянский сын Шарнгорст изобрел ее в 1810 г., чтобы ссылкой на «славный» пример «славного» предка вырвать

согласие на всеобщую воинскую повинность у ограниченного короля Фридриха-Вильгельма III, которого основательная педагогика Наполеона все еще не отучила от деспотически-феодальных причуд. Точно так же и Гнейзенау должен был найти или выдумать старое предписание германского рыцарского ордена, воспрещавшее офицерам бить наемных солдат палками, прежде чем король разрешил ему начать борьбу с отвратительным обращением, которому подвергались солдаты. По самому своему существу милитаризм всегда растет вширь, а в начале восемнадцатого столетия он уже настолько вырос, что постоянная армия не могла ограничиться добровольной вербовкой, хотя фактически эта последняя производилась принудительно и насильственно; необходимо было перейти к урегулированной системе набора среди уроженцев страны. На континенте это практиковалось всюду, но это новшество ни с чьей стороны не встречало более сильного сопротивления, чем у короля Фридриха-Вильгельма I, который тотчас по своем вступлении на престол уничтожил последние остатки милиции и строго запретил применять в отношении прусской солдатчины слова «милиция» и «Militär». Он хотел иметь наемное войско в самом строгом смысле этого слова,—войско, связанное с личностью короля, и для этого у него были весьма веские мотивы. С помощью войска он хотел сломить мощь юнкеров, а пока помещики стояли, как стена, между ним и крестьянством, то-есть огромным большинством населения, он не мог и думать о введении урегулированной системы набора среди уроженцев страны,—по крайней мере для той цели, которую он преследовал.

Поэтому, когда король, немедленно по вступлении на престол, послал к чорту придворных бездельников и увеличил армию с 38 батальонов и 53 эскадронов до 66 батальонов и 114 эскадронов, необходимых ему рекрут он мог доставать только путем покупки или, что было гораздо выгоднее, путем похищения людей. Именно в царствование этого государя, много творца всеобщей воинской повинности, «заграничная вербовка», то-есть систематическое похищение людей в тех германских государствах, князья которых были слабее прусского короля, приняла те необычайные размеры и те отвратительные формы, мрачная тень которых заметна даже на патриотических сборниках анекдотов. Нам достаточно здесь привести документальное свидетельство,—приказ ганноверского правительства от 14 декабря 1731 г., направленный против прусских вербовщиков, где предписывается «незвизрая на сословие и звание немедленно арестовывать таких вербовщиков, а если их

окажется много,—звонить в набат, преследовать их и посылать против них милицию, если таковая окажется по близости. На них следует смотреть, как на уличных разбойников и похитителей людей, и, если они будут признаны виновными, наказывать смертью. Если они будут защищаться, их следует убить или застрелить на месте». Не менее мрачный свет на это похищение людей внутри прусского государства бросает скорбное признание генерал-аудитора Катча, что при вербовке можно было бы избежать по крайней мере чрезмерного пролития крови. Но в собственной стране король не мог организовывать похищение людей в столь больших размерах, как за границей: воля деспота разбивалась, как стекло, о силу экономических отношений. При малейшей возможности молодые солдаты убегали за границу; всюду чувствовался недостаток в рабочей силе; королевские власти заявляли, что поступления от контрибуции и акцизов неуклонно уменьшаются; города роптали и жаловались, что коммерция уже не процветает; наконец,—что всего важнее—помещики вооружали своих крепостных, прогоняли королевских вербовщиков и жестоко избивали их. Уже в 1714 г.—меньше чем через год после своего вступления на престол—король вынужден был публично запретить всякую насильственную вербовку; поскольку он еще прибегает к ней, он должен пускаться в ход совсем не подобающие королю уловки,—например, рекомендует своим вербовщикам «наивозможнейшую хитрость» или приказывает избегать «больших насилий», которые могут «вызвать жалобы». Больше того: еще через три года он уже сам должен устанавливать «изъятия» в отношении вербовки: шерстоткачи, ремесленники, мануфактуристы, дети чиновников и зажиточных людей и вообще население городов и в особенности больших городов, этих резервуаров капитала, не подлежит вербовке.

Этот поворот объясняется тем, что юнкерам удалось по-своему достичь того, чего король не мог достичь своими способами. Против увеличения армии они нисколько не возражали,—при условии, чтобы при этом не нарушались их классовые интересы. Каждая новая рота была для них своего рода новым имением, часто более доходным, чем отцовские песчаные земли в Бранденбургской марке или Померании. Начальник роты был «предпринимателем, стоявшим во главе военного товарищества». Он должен был содержать людей за счет общей суммы, выдававшейся ему из королевской военной кассы для расплаты с унтер-офицерами и рядовыми; в течение известной части года он мог увольнять в отпуск часть роты, чтобы сбереженное



таким образом жалование обратить в вербовочный фонд, необходимый для возмещения убыли солдат вследствие дезертирства или смерти; то, что ему путем всевозможных хозяйственных ухищрений удавалось сэкономить из отпущенной суммы, попадало в его собственный карман. Даже если дело обходилось без всяких мошенничеств, сбереженные суммы составляли изрядную годовую ренту тысячи в две талеров. Таким образом значительное увеличение армии означало для юнкеров значительное увеличение их синекур, и за это они ухватились всеми десятью пальцами. Они только хотели делать это *по-своему*, так, чтобы политическая и экономическая прибыль попадала целиком в их карман. Они могли вооружать своих крепостных против короля, а король не мог вооружать крепостных и посылать их против юнкеров: они мешали проведению его больших и шумных вербовочных кампаний, а он не в состоянии был воспрепятствовать их мелкой вербовке, производившейся втихомолку. Юнкеры начали набирать уроженцев страны: они с ранних лет «завербовывали» парней-подростков, как только те достигали физической зрелости, и заносили их в рекрутские списки. Рекруты-крестьяне с детства привыкли к юнкерским палкам; они не получали на руки денег; дезертировали они все-таки реже, чем иностранцы, а если кто-нибудь из них дезертировал, то его легко было заменить другим таким же. Конечно, благодаря этому юнкеры теряли часть сельскохозяйственной рабочей силы, но этой беде можно было помочь, и притом не без значительной выгоды: стоило только распространить систему отпусков на большую часть года и применить ее к большей части роты, — и юнкеры, занимавшиеся сельским хозяйством, получали обратно своих крепостных, а юнкеры, командовавшие ротой, клали себе в карман еще большую часть сбереженного жалования. Наконец эти солдаты были гораздо менее требовательны, чем переходивший с места на место сброд, из которого обычно набирали рекрутов; при раздаче денег, одежды и пищи, которые должен был им выдавать начальник роты, их гораздо легче можно было надувать, а это давало много добавочных сумм, в отдельности мелких, но в общем итоге довольно значительных.

Из этого ясно, что обозначали те «изъятия» в отношении «рекрутской вербовки», на которые Фридрих-Вильгельм I должен был скрепя сердце согласиться после того, как он попытался провести по всей стране самую насильственную вербовочную кампанию. Он должен был охранить от жадных когтей юнкеров промышленный и торговый класс, все вообще городское население и тех чиновников, священников и учителей, в которых

он нуждался. От наступления ему пришлось перейти к обороне. Если юнкеры не считались с его «изъятиями», ему это доставляло только удовольствие, но в других случаях он должен был утверждать методы, которые юнкеры вводили своевольно. Он разделил страну на определенное число кантонов, предназначенных для пополнения отдельных полков; в награду за это он пользуется тем преимуществом,—если он только добивался его,—что читатели господина фон Трейчке восторгаются им, как третьим провозвестником всеобщей воинской повинности, наряду с Макиавелли и Спинозой. Чтобы поддержать боеспособность армии, которую страшно ослабляли эксплуататорские тенденции офицеров-юнкеров, ему приходилось жесточайшим образом муштровать войско и устанавливать самый строгий надзор за офицерами. Кабинетские указы короля являются свидетельствами этой неустанной борьбы. Так, при увольнении в отпуск он под страхом суровых наказаний воспрещает переходить известные сроки; чтобы сохранить полную номинальную численность роты хотя бы в течение известной части года, он устанавливает регулярно повторяющиеся периоды обучения, так называемое «время экзерциций», длившееся с апреля до июня; так, он жалуется, что командиры рот продают солдатам за два гроша то, что самим им стоит только один грош; так, он запрещает им для покрытия суммы, которая пропала вследствие дезертирства или смерти солдата, облагать в порядке круговой поруки всю роту и даже привлекать к этому вновь завербованных рекрут. Предпочтение, оказывавшееся Фридрихом-Вильгельмом I наемному войску в его чистом виде, становится понятным и с точки зрения чисто военных соображений: без на вербованных иностранцев, которых, разумеется, ни на одну минуту нельзя было отпустить из казарм и которые в этой бедной людьми стране все-таки составляли по меньшей мере половину всей армии, он не мог бы довести прусское войско до высокого совершенства, достигнутого им и его другом, князем Леопольдом Ангальт-Дессауским. Но даже и эту основную часть войска разьедала юнкерская эксплуатация; юнкеры начали давать отпуска в город состоявшим в городских гарнизонах иностранным солдатам, и в конце своего царствования Фридриху-Вильгельму I пришлось воспретить солдатам берлинского гарнизона вести торговлю на базаре и в разнос продавать овощи и заниматься ремеслом \*.

\* Это изложение основано на архивном материале, который привел Макс Леман в «Historische Zeitschrift», 67, 254 и сл. в своей статье

Классовые ссоры происходили между королем и юнкерами не только из-за рекрутчины, но и из-за финансирования армии. Если Пруссия, занимавшая по площади десятое, а по числу населения только тринадцатое место среди европейских держав, хотела разыгрывать из себя четвертую военную державу Европы (в прусской армии было 80 000 человек против 160 000 французской, 130 000 русской и 100 000 австрийской армии, причем следует заметить, что эти цифры, по крайней мере в отношении России и Австрии, были далеко не столь бесспорны, как в отношении Пруссии), то, конечно, все военные подати, контрибуции и акцизы приходилось увеличивать до крайности или «реформировать», как любили выражаться в Пруссии. И действительно, Фридрих-Вильгельм увеличил государственные доходы до семи миллионов талеров, из которых на армию тратилось около шести миллионов. Против этого юнкеры, конечно, нисколько не возражали, ибо они видели в этом увеличение числа своих синекур, зато тем ожесточеннее противились они намерению короля привлечь к обложению хотя бы до некоторой степени и их самих. Это намерение короля, между прочим, заслуживало тем большего уважения, что Фридрих-Вильгельм I не извлекал никаких выгод от сдачи в наем своих отрядов иностранным державам. Тем не менее, ему удалось навязать юнкерам только одну, совсем незначительную подать—так называемые конные деньги. Он предложил отменить *nexus feodalis*, то-есть юридически отменить вассальные повинности при условии, чтобы юнкеры платили ежегодно по сорока талеров за каждую кавалерийскую лошадь, которую до сих пор они были обязаны поставлять в случае войны. Но так как вассальная служба давно уже прекратилась и юнкеры фактически владели своими ленными имениями как наследственной собственностью, они подняли неистовый крик по поводу планов короля, подавали жалобы императору и империи и лишь после многолетней борьбы согласились на эту ничтожную повинность. Этот налог при его взимании отнюдь не «реформировался»; ставка его определялась не по расчету одной кавалерийской лошади на шесть гуф, как это первоначально имелось в виду, а осталась

«Вербовка, воинская повинность и система отпусков в армии Фридриха Вильгельма I». Господин Леман, между прочим, говорит: «Командиры рот начали пользоваться системой отпусков по той же причине, по которой они занимались вербовкой: в обоих случаях их поступки подсказывались частнохозяйственным интересом». Попытки господина Лемана с помощью наивной цитаты из Аристотеля изобразить эти «частнохозяйственные интересы» юнкеров как начало золотой эры нас здесь не касаются.

на том уровне, который создан в процессе обрисованного нами упадка рыцарской ленной службы. Поэтому, если некоторые рыцарские имения должны были поставлять больше одной лошади, то многие другие только половину, или только одну ногу, или четверть ноги, причем уплачивали лишь соответствующую часть сорока талеров, полагавшихся за полную лошадь.

Как ни мал был этот успех, это было все, чего смог добиться король от юнкеров по части налогов. Все или почти все. Знаменитая история о бронзовом утесе, на котором, якобы, этот король утвердил свой суверенитет по отношению к господам юнкерам, в действительности совсем не звучит так героически, как об этом говорится в патристических книгах анекдотов. Все это касалось, главным образом, одной только Восточной Пруссии. С одной стороны, дворянство этой провинции не смогло добиться свободы от обложения ни в эпоху господства германского рыцарского ордена, ни в эпоху польского господства, между тем как в Бранденбургской марке оно получило эту привилегию при Гогенцоллернах; с другой стороны, и курфюрст Фридрих-Вильгельм, разбивший с помощью незаконного насилия сопротивление прусских сословий его суверенитету, ни в малейшей степени не уничтожил этим экономического всевластия дворянства. Определение и раскладка различных налогов, главным из которых был налог на рога и копыта, оставались в руках сословий. На этой почве скоро начались безграничные злоупотребления; подкупы сословных налоговых чиновников и бесчисленные уклонения от налога происходили ежедневно; тысячи гуф оставались невнесенными в налоговые кадастры; чтобы избавиться от налога на рога и копыта, дворянство перестало держать скот и сделало барщинные повинности настолько невыносимыми, что крепостные массами бежали в Польшу. Тем не менее, это хищническое хозяйство продолжалось несколько десятилетий и, по всей вероятности, существовало бы и дольше, если бы оно не дало крупной знати перевеса над мелким дворянством и не создало, таким образом, противоречий классовых интересов внутри самого юнкерства. С 1690 до 1714 г. сорок бедных юнкеров продали имения своим более богатым сотоварищам по классу; ввиду этого, граф Трухзес фон Вальдбург, выступавший от имени мелкого дворянства, потребовал от короля унцфикации различных налогов и установления точно определенной гуфной подати, ставки которой должны были соотноситься с размерами владений.

Разумеется, король жадно ухватился за эту мысль и под председательством графа Трухзеса назначил комиссию, которая

должна была, согласно этому плану, установить общую сумму новой подати и произвести ее раскладку. Конечно, крупная знать воспротивилась этой затее и послала в Берлин депутацию из четырех членов, чтобы заявить протест против назначения комиссии и потребовать созыва общего ландтага для обсуждения налогового вопроса. На ее домогательства король отвечал резолюцией: «Гуфная комиссия должна продолжать свои заседания. Я добьюсь своей цели и стабилизирую суверенитет. Я укреплю корону на основании, твердом, как бронзовый утес, и пусть себе господа юнкеры болтают в ландтаге сколько им угодно». Но вместе с тем он устно дал представителям сословий успокоительное заверение, что он не будет вводить налог в таких размерах, которые грозили бы дворянству разорением, и что во всех вопросах, касающихся его привилегий, дворянство всегда может апеллировать к нему. А что самое главное, — он, несмотря на всю свою скаредность, приказал выдать депутатам при отъезде 5 500 талеров суточными «за их труды и за тот убыток, который они понесли в своем хозяйстве», что, конечно, так же походило на подкуп, как одно яйцо на другое. После этого поступил еще протест фельдмаршала Дона, заявлявшего, что новая подать погубит всю страну. На это король отвечал: «Curios, tout le pays sera Ruiné, Nihil Kredo, aber das Kredo, das den Junkers ihre Ottoirität Niposwollam wird ruiniert werden, trux soll seine Verantwortung einschicken. Die Stände sollen steuern, da Bleibe ich biss an mein sehlich Ende». («Курьезно, — они говорят, что вся страна погибнет. Ничему этому я не верю, но верю, что право юнкеров говорить «не позволяю» действительно погибнет. Трухзес должен прислать объяснения. Сословия должны платить налоги. На этом я буду стоять до самой моей смерти»). Король или, вернее, trux, граф Трухзес, все-таки провел общее погуфное обложение восточно-прусского дворянства. Но мы видим, что «стабилизацию суверенитета» не следует понимать слишком уж широко. Мелкие юнкеры Восточной Пруссии с помощью короля так урегулировали в этой провинции налоговое обложение дворянства, существовавшее с давних пор, что экономически более сильные сотоварищи по классу не могли уже притеснять их: этим дело и ограничилось. Фридрих-Вильгельм I, — если не считать незначительной «конной подати», — не решился затронуть дворянскую свободу от податей ни в какой другой части своей страны, да и кроме того он привлек к обложению помещиков Восточной Пруссии лишь в такой мере, в какой это было удобно trux'у, то есть мелкому дворянству, и терпимо для крупной знати.

Судя по официальной докладной записке президента высшей расчетной палаты, составленной в эпоху Фридриха Великого, юнкер Восточной Пруссии платил с магдебургской гуфы (магдебургская гуфа равнялась тридцати магдебургским моргенам) меньше двух талеров контрибуции, между тем как бранденбургский крестьянин платил с той же площади более восьми талеров; кроме того, ежегодная ставка «конной подати» была снижена для восточнопруссских дворянских имений на десять талеров \*.

Таким образом повышение податей, необходимое для усиления армии, почти всей своей тяжестью пало на крестьянское и городское население. Подобно тому как контрибуция, взимаемая с первого, увеличилась в подавляющих размерах, точно так же и акциз, взимаемый со второго, превратился во множество налогов, перепутавшихся, как колтун. Эти налоги можно характеризовать следующими словами Шмоллера: «Мы можем назвать бранденбургско-пруссский акциз такой налоговой системой, которая, ограничиваясь исключительно городами, включала в себя, наряду с умеренными поземельными, промышленными и подушными налогами, главным образом косвенные налоги, взимавшиеся с напитков, хлеба, мяса, съестных продуктов и продававшихся купцами товаров. Взимание их происходило различным образом: отчасти при ввозе их в города, отчасти при производстве, отчасти при продаже. Отдельные налоговые ставки были сравнительно очень низки, но зато чрезвычайно многочисленны и распространялись на очень большое число предметов и товаров». Для взимания этих многочисленных налогов была необходима вышколенная бюрократия, и потому Фридрих-Вильгельм I ввел новую систему государственного управления, которая почти полностью сохранилась до 1806 г. и в основных своих чертах продолжает существовать и поныне. Вряд ли можно признать, что он проявил при этом какую-то особую творческую гениальность, так как система гражданского управления сама собою вытекала из условий жизни этого военного государства. Низшую ступень занимали в городах военные и податные советы, в сельских местностях—земские собрания; над ними стояли военные палаты и палаты по управлению го-

\* *Закржевский*, Наиболее важные прусские реформы прямых поземельных налогов в восемнадцатом столетии (*Zakrzewski, Die wichtigsten preussischen Reformen der direkten ländlichen Steuern im XVIII Jahrh.*). *Шмоллер*, Эпохи прусской финансовой политики в «*Jahrbuch für Gesetzgebung*», 1877 г., стр. 43 и сл. Докладная записка президента Родена приведена у *Прейса*, 4. 415 и сл.

сударственными имуществами, что соответствует нынешним окружным управлениям; все это увенчивалось генеральной директорией по управлению финансами, военными делами и государственными имуществами, что соответствует современному министерству. В большинстве случаев уже сами названия этих управлений говорят об их назначении: они заведывали соби- ранием и управлением государственных доходов, доходов с го- сударственных имуществ с одной стороны, и военными нало- гами, контрибуцией и акцизом, предназначенными на военные цели—с другой. При этом все прочие отрасли внутреннего управления—земледелие, промышленность, торговля, пути сооб- щения, церкви и школы, правосудие и т. д.—принимались в расчет лишь постольку, постольку можно было надеяться увеличить с их помощью финансовые ресурсы и усилить армию. Они возникли лишь из системы финансового управления; как выражается Шмоллер, прусское чиновничество выросло глав- ным образом на основе акцизов.

Приходится все-таки признать, что и в этой области король начал войну с юнкерством. Он привлекал возможно больше буржуазных элементов на высокие и высшие чиновничьи посты и прилагал особые усилия к тому, чтобы вырвать из рук юнке- ров управление земельными советами—практически наиболее важную часть всего управления. Должность председателя зе- мельного совета в ее своеобразной прусской форме новые прус- ские историки превозносили как последний остаток старогер- манской свободы; наоборот, Фридрих-Вильгельм I—и в этом отношении мы можем вполне согласиться с ним—полагал, что право проживавших в округе землевладельцев предлагать на пост высшего окружного начальника кандидата из своей соб- ственной среды является только лишним орудием юнкерской власти, ибо таким образом юнкеры могли еще более укреплять свое классовое господство над крестьянским населением, обле- кать его всем блеском государственного авторитета и в то же время с тем большим упорством вести борьбу с короной. Но и в этой борьбе с юнкерами король не решился идти слишком далеко; при назначении ландратов он часто отклонял кандидата, выдвинутого сословиями, но никогда принципиально не отрицал права сословий выдвигать его; много раз он заменял помещичьего кандидата другим кандидатом, более ему удобным, но при этом всегда выбирал его из числа проживавших в округе юнкеров\*.

\* Шмоллер Прусское чиновничество при Фридрихе-Вильгельме I (Schmoller, Das preussische Beamtentum unter Friedrich-Wilhelm I), 26, 162.

Король прекрасно понимал, какое мощное оружие против юнкеров он мог выковать в лице чиновничества; в инструкции своему сыну он прямо говорит, что чиновник, желающий верно служить королю, восстанавливает против себя многих и особенно все дворянство; это старое противоречие и в наше время находило себе яркое выражение в пылкой ненависти Бисмарка к бюрократии. Но Фридрих-Вильгельм I сам притупил то оружие, которое он мог выковать и начал выковывать против юнкеров, ибо ради своей рекрутской кассы он занимался низкой и совершенно не скрываемой продажей должностей. Именно так и приходится истолковывать тот факт, что в отдельных случаях, когда дело шло о занятии чиновничьего поста, король накладывал резолюцию: «Назначить того, кто даст больше», и что в общей королевской инструкции генеральной дирекции этот принцип выражался в следующей смягченной форме: «Назначать того, кто всего способнее и больше всего дает». Все посты, в том числе и судейские, можно было получить только после того, как кандидат договаривался с рекрутской кассой; это широко открывало двери величайшим злоупотреблениям, причем юнкеры отлично умели использовать все свои преимущества. Поэтому король очень часто жаловался, что чиновники «составляют одну банду с дворянством и, что самое худшее, организуют партию против нас».

Такова была в общих чертах Великая хартия вольностей прусского военного государства. Ее буквальный текст отчасти погребен в истлевших грудях старых бумаг, отчасти никогда не был дан в письменной форме, но ее действенная сила оказалась долговечнее, чем тот «клочок бумаги», который нескромно затесался между «нашим господом-богом на небе и этой страной». Прусское государство было возможно только в виде прусской армии, — это предопределили его экономические основы. Армия была государством; «в Пруссии со времен великого курфюрста и до смерти Фридриха Великого каждое увеличение доходов неизменно тратилось на усиление армии, и доходы увеличивались главным образом для того, чтобы увеличить армию»\*. Экономические основы армии фактически являлись прусской конституцией, за пределы которой ни один прусский король, сколь бы самодержавно он ни царствовал и какого бы гения он ни старался из себя корчить, никогда не осмеливался сделать ни малейшего «революционного» прыжка; о том, что со

\* *Twesten*, Прусское чиновничье государство (*Twesten, Der preussische Beamtenstaat*), *Preussische Jahrbücher*, 18, 16.



своей армией он мог подымать «революционные восстания», разумеется, не приходится и говорить. То, что Лассаль называет этими словами, было лишь завоеванием клочка земли,—завоеванием, которое прусский милитаризм должен был принять, ибо это являлось для него вопросом жизни или смерти; это прекрасно понял уже курфюрст Фридрих-Вильгельм, как только ему удалось сколотить маленькую прусскую армию. Ранке извлек из архива Гогенцоллернской династии и опубликовал собственноручно написанный план Фридриха-Вильгельма относительно завоевания Силезии; вторжение в Силезию намечается здесь с точностью до часа и минуты,—то самое вторжение, которое Фридрих II, родившийся двадцать лет спустя, совершил более чем через пятьдесят лет («всему миру известно, на каком слабом основании покоится австрийский дом, и следует ожидать, что этот дом совсем вымрет и угаснет, не оставив после себя никаких наследников»<sup>\*</sup>). Уже одни эти слова устраняют всякую мысль о восстании и революции.

## VII

### Просвещенный деспотизм Фридриха

Фридрих II царствовал от 1740 до 1786 г. Его просвещенный деспотизм считается высшей формой новейшего абсолютизма и притом в двояком смысле этого слова: и в смысле неограниченности власти государя, и в том смысле, что власть эта используется в интересах народного блага. Но и тому и другому утверждению следует придать более ограниченный смысл, прибавив слова: в границах, установленных экономическими основами этого деспотизма. Создатели пруссофильских мифов сделали бы очень хорошо, если бы стали на точку зрения этого научного понимания, ибо в схватках с их пруссофобскими антиподами на одну одержанную победу у них придется сто поражений, если они будут вести борьбу, исходя из той фантастической мысли, что власть Фридриха была неограниченна и что он был обязан пользоваться этой властью в интересах народной массы.

Совершенно верно: для деспотизма Фридриха не существовало тех границ, которые существовали, например, во Франции и Австрии в лице двора и церкви. Но зато тем крепче облегал его железная рубашка милитаризма, выросшего на феодальной

<sup>\*</sup> Ранке, Генезис прусского государства (*Ranke, Genesis des preussischen Staats*), 518 и сл.

основе. Его живой и подвижной, хотя несколько поверхностный, ум был как бы нарочно создан для литературных и философских работ; Фридрих пошел скорее в мать, чем в отца, скорее в Гвельфов, чем в Гогенцоллернов, и недаром иностранные посланники во дни его молодости подчеркивают его «ганноверский тип». В роде Гвельфов литературные склонности передавались по наследству уже с эпохи средних веков; при дворе Генриха-Льва пели свои песни предтечи средневековой придворной поэзии; герцог Генрих Юлий Брауншвейгский, современник Шекспира, держал при своем дворе труппу английских актеров и сам писал театральные пьесы; герцог Август основал Вольфенбюттельскую библиотеку; герцог Антон-Ульрих сочинял церковные песнопения и романы; Лейбниц жил под покровительством Гвельфского дома, и бабушка Фридриха, королева София-Шарлотта, истинная представительница рода Гвельфов и в хороших и в дурных своих свойствах, мимоходом затащила его даже в Берлин. Между прочим нелишне заметить, что среди прабабок Фридриха была одна французская знатная дама—Элеонора д'Ольбрез, супруга одного Гвельфского герцога, влившая в старый род несколько капель свежей и бодрой крови. Совершенно противоестественная ненависть, с какой Фридрих и его отец относились друг к другу,—ненависть, которая повторилась впоследствии в отношениях между Фридрихом и его вполне похожим на отца братом Августом-Вильгельмом, родоначальником позднейших королей, и привела к трагической смерти брата, подобно тому как в первом случае она привела к казни друга Фридриха, Катта,—вряд ли может быть объяснена чем-либо иным, кроме физиологических причин. Этим мы совсем не хотим намекнуть на клеветнические придворные сплетни относительно матери Фридриха, которым иногда верил даже его отец. Вся суть в том, что часто повторявшиеся браки между Гогенцоллернами и Гвельфами ярко запечатлели на Фридрихе, равно как и на его сестре Вильгельмине и его брате Генрихе, черты гвельфского типа. Честолюбие Фридриха проявлялось прежде всего в желании стяжать себе лавры поэта и писателя; как частный человек, он всю жизнь стремился к этому и предпочел бы написать расиновскую «Аталию», чем вести Семилетнюю войну. Но, как король, он в течение всей жизни отдавал себе совершенно ясный отчет в тех условиях, при каких он вообще мог царствовать. Благодаря этому он вел ту двойственную жизнь, которая иногда проявляла почти невероятные противоречия между его словами и его поступками, которая столь часто вызывала как будто вполне обоснованные упреки в лицемерии

и которую его поклонники не менее часто старались объяснить с помощью самых недостойных софизмов. А в то же время уже Лессинг метко определил смысл этой жизни во фразе, используемой господином Эрихом Шмидтом и прочими для византийских целей: «Когда я как следует загляну в себя, мне кажется, что я завижду всем ныне царствующим в Европе королям, за исключением лишь прусского короля, который доказывает на деле, что королевский сан есть почетное рабство». И действительно, Фридрих с самого же начала понял, что, согласно прусской конституции, каждый прусский король должен неуклонно продолжать старый курс; его право на историческое значение или на историческое величие—если здесь можно применить это слово—основывается как раз на том обстоятельстве, что он ни разу не пытался плыть против течения, хотя в силу его природных способностей и склонностей это искушение было для него сильнее, чем для всех прочих прусских королей.

Но именно потому, что для этого нужно было обладать незаурядным характером и незаурядным умом, вполне ясно, что «внутренние реформы Фридриха», о которых говорит Лассаль, никогда не существовали и даже никогда не имелись в виду. Вступление на трон Фридриха было днем разочарований, как писал один из разочарованных. «Жалкий флейтист и поэт», столь жестоко преследуемый своим отцом и называвший свой мундир «саваном», провозгласил краткую и точную программу: все остается так, как установил мой отец, и только армию я увеличу на столько-то и столько-то батальонов и эскадронов. Средства для этого Фридрих получил прежде всего путем роспуска «полка великанов», который его отец, по глупому капризу, составил из колоссов, добытых посредством страшных насилий и за безумные суммы и свезенных со всех концов земли. Во всех остальных отношениях Фридрих ни в чем или почти ни в чем не менял учреждений Фридриха-Вильгельма I, ибо несмотря на все свои философские и поэтические мечты и сильнейшую личную антипатию к отцу, прекрасно понимал, что ничего не может в этом изменить и что прусское государство должно существовать в таком виде, в каком оно существовало раньше, или вообще не может существовать.

Единственная важная перемена, введенная Фридрихом в существовавшей до него правительственной системе, заключалась в уже упомянутом нами усилении власти государя, нашедшем свое идеологическое выражение в крылатой фразе: «Государь есть первый слуга государства». В этом случае несокрушимая воля могучего властителя как будто действительно про-

вела глубокую борозду в конституции государства, покоившейся на экономических основах. Но это—только обманчивая видимость. Здесь происходил такой же процесс, какой происходил за сто лет до этого при прадеде Фридриха. В то время юнкеры как будто отказались от своих политических привилегий, ибо, изъявив согласие на учреждение постоянного войска и введение сословного обложения, они способствовали установлению княжеского абсолютизма; но уступки, сделанные ими на их пришедших в полный упадок сословных съездах, они в десять раз возместили экономическими, социальными и военными привилегиями, которые должен был предоставить им абсолютизм, прежде чем они дали ему свое благословение. Поэтому, хотя Фридрих II управлял государством из своего кабинета с помощью нескольких мелких писцов, на самом деле во время его царствования расцвел пышным цветом тот самый дворянский режим, который потерпел под Иеной позорное, сто раз заслуженное, но, к сожалению, не вполне окончательное поражение.

Идеологическая история была до сих пор не в состоянии проанализировать сущность фридриховского просвещенного деспотизма; от этого вопроса они умели только отделяться хвалебными или бранными, льстивыми или насмешливыми, но всегда общими и пустыми фразами. Но материалистическое понимание истории учит нас, что «история всего предшествующего общества есть история борьбы классов». Фридрих I по-своему прекрасно это понимал, а Фридрих II не понимал. Если под просвещенным деспотизмом разумеет понимание исторической возможности, а вместе с этим и исторического оправдания деспотизма, то Фридрих-Вильгельм I был гораздо более просвещенный деспот, чем его сын. Когда он по мере сил боролся с господствующим классом юнкеров, старался создать армию, служившую государю, и чиновничество, служившее государю, и привлекал в состав государственного управления возможно больше буржуазных элементов,—он воплощал в своем лице тот тип деспотизма, который был возможен в силу общих условий эпохи и который был исторически прогрессивен по сравнению с феодальным хозяйством средневековья. Правда, Фридрих обладал той гвельфской властью, которая, как показывают старые и новые примеры, превосходит даже власть Гогенцоллернов, но зато королевского классового сознания, отличавшего его отца, у него было слишком мало. Верным классовым инстинктом Фридрих-Вильгельм I учуял в «высокомерии» своего сына большую опасность для королев-

ского деспотизма, ибо это высокомерие предвещало новый расцвет юнкерскому режиму, который он старался вырвать с корнем. Даже во время своего кюстринского заключения, ведя жизнь, полную самых тяжелых унижений, Фридрих издевался над тем, что дворяне-ландраты должны отчитываться перед своим начальником, директором палаты Гилле, вышедшим из среды горожан. На это Гилле с меткой иронией ответил, что мир, повидимому, стоит вверх ногами, ибо в противном случае разве могли бы не очень умные князья, отделяющиеся глупыми фразами, давать приказания умным людям? Эта суровая отповедь принесла так же мало плодов, как и удары отца. Фридрих так и не понял, что деспотическая власть, переданная ему по наследству его предшественником, была завоевана в борьбе против юнкерства и только в борьбе против этого сословия могла сохраниться или даже усилиться.

Это в сущности и есть основной пункт, уясняющий, чем деспотизм Фридриха отличался от деспотизма его отца. Король был не так глуп, чтобы разыгрывать из себя самодержца в том смысле, какой придается нынешними его поклонниками его просвещенному деспотизму; он был слишком умен, чтобы противопоставлять фактическим соотношениям сил *sic volo sic jubeo* («я так хочу, я так приказываю»). Чтобы быть первым слугой государства и сделать себя независимым от советов и сотрудничества чиновников, он должен был стараться сохранять хорошее расположение дворянства. Это он прекрасно понимал и действовал именно в этом направлении. Со щедростью поистине нефилософской он осыпал дворянство всевозможными милостями и привилегиями и укреплял юнкерское благополучие способами, совершенно чуждыми его отцу. В то время как Фридрих-Вильгельм измерял пригодность чиновников их способностью противостоять юнкерским интересам, Фридрих указывал генеральной директории, что главная цель государственного управления—сохранение дворянства. В то время как Фридрих-Вильгельм старался вырвать пост председателя земского собрания из рук юнкеров, Фридрих, с одной стороны, превратил сословное право рекомендации в настоящее право избрания, ибо он неизменно утверждал каждую представленную ему кандидатуру, а с другой стороны—отнял право избрания земельных советов у всех лиц, населявших государственные земли, окружные города и земельные участки городов. Так он вел себя во всех вопросах. Фридрих-Вильгельм искал поводов, чтобы вступить в классовую борьбу с дворянством, а Фридрих уклонялся от нее. То, что первый желал завоевать,

второй желал купить. Но отец гораздо лучше сына понимал, в чем заключается суть борьбы социальных интересов. Если Фридрих-Вильгельм добился сравнительно немногого в своей борьбе с юнкерством, то это все же было гораздо больше, чем сравнительно огромные результаты, как будто достигнутые знаменитейшим самодержцем восемнадцатого столетия. Усиление суверенной власти государя, которое Фридрих хотел купить у дворянства, именно поэтому и оказалось пустым призраком. Сущность власти он отдал за ее видимость. Различие княжеского классового сознания обоих королей проявлялось кроме того или, пожалуй, главным образом в том, что Фридрих Вильгельм, повелевавший немногим более, чем двумя миллионами подданных, ежедневно по пяти и по шести часов работал со своими кабинетскими секретарями и с генеральной директорией, а Фридрих II, при котором население государства возросло до шести миллионов, кончал все дела—за исключением дней военных смотров—в какие-нибудь полтора часа, не выслушивал министров, подчеркивал свое презрение к чиновникам и иногда даже грубо обходился с ними. С человеческой точки зрения, может быть, вполне понятно, что духовно одаренный человек старался по возможности скорее выбраться из монотонного и скучного механизма этой государственной жизни и убежать к своим поэтам, музыкантам и философам; но с политической точки зрения не подлежит сомнению, что Фридрих, воображавший, что он входит в самые мелкие подробности государственной жизни и руководит ею, фактически очень мало видел и очень мало руководил. Действительное управление страной находилось целиком в руках дворянства, тем более, что Фридрих—опять-таки в полную противоположность отцу—предоставил дворянству все главные посты гражданского управления. Под сверкающим блеском его просвещенного деспотизма скрывался только хищнический юнкерский режим. Оказывается, что чем «гениальнее» игнорируется диалектика экономического развития, тем беспощаднее и губительнее она пробивается в жизни.

После всего этого о «внутренних реформах Фридриха» почти не приходится говорить, ибо в годы его царствования прусское военное государство уже ниспало с той высоты, которой оно достигло при Фридрихе-Вильгельме. Когда Фридрих вступил на престол, он был знаком со всевозможными литературными и философскими вопросами, но его государственные и политико-экономические познания даже с тогдашней точки зрения были весьма несовершенны и неполны; патриотическая басня насчет того, что во время своего кюстринского заключения он прак-

тически занимался этими предметами, опровергается документальными свидетельствами и брошена даже верноподданными историками. Административный аппарат, который он по желанию отца должен был изучать в Кюстрине, он не изучил и даже не хотел изучать; кюстринские власти без конца на это жаловались, и директор палаты Гилле утешал себя лишь надеждой, что когда Фридрих будет царствовать, он не станет входить в мелочи \*. Но Фридрих, считавший себя первым слугой государства, как известно, входил в каждую безделицу, да и кроме того приемы его самодержавия еще больше укрепили весьма незрелые понятия, с которыми он вступил на престол. Один буржуазный экономист совершенно правильно говорит, что подобно тому, как сам Фридрих и его слуги в 1786 г. носили такие же точно костюмы, как в 1740 г., точно так же и в других «более важных вещах он сохранил в течение всей своей жизни взгляды, усвоенные им в бытность кронпринцем» \*\*. В 1 200 кабинетских указах, буквальное содержание которых Прейс опубликовал в документах к истории Фридриха, можно год за годом проследить, как король становился если не ограниченный, — ограниченность у него всегда оставалась одинаковой, — то во всяком случае упрямее и язвительнее по отношению к прогрессирующему духу времени. Хваленый «гений» этих указов заключается главным образом в иногда хороших, иногда плохих, но всегда вымученных остротах, которые еще Лессинг исчерпывающе охарактеризовал словами: «У бога нет остроумия, и короли тоже не должны были бы отличаться остроумием, ибо если король обладает остроумием, кто может поручиться, что он не вынесет несправедливого решения только потому, что он может в нем проявить остроумную мысль?» Фридрих очень часто становился на этот опасный путь, и в значительной степени именно поэтому население, узнав о его смерти, свободно вздохнуло: его деспотизм был настолько же ограничен и неподатлив в своих принципах, насколько он был капризен и произволен при их применении. Во время одного из своих визитов в Берлин Гете слышал, как «о великом человеке рассуждали его собственные паршивые собаки»; жаль, что он не прожил года два под скипетром Фридриха, — тогда он, может быть, ясно понял бы, что значили, с одной стороны, «паршивые собаки», а с другой — «великий человек».

\* Козер, Фридрих Великий как кронпринц (*Koser, Friedrich der Grosse als Kronprinz*), 91 и сл.

\*\* Рошер, История политической экономики в Германии (*Roscher, Geschichte der Nationalökonomik in Deutschland*), 414.

При Фридрихе прежде всего пришла в упадок армия, этот становой хребет военного государства. Весьма поучительно, что и в данном случае для него—в противоположность отцу—видимость власти была важнее ее сущности. В то время как Фридрих-Вильгельм по мере сил мешал *юнкерам* экономически эксплуатировать войско, но при этом обращался с юнкерами как с товарищами, и старался развивать среди них товарищеский дух,—его сын дал полную волю эксплуататорским стремлениям *юнкеров* и, действуя по принципу «разделяй и властвуй», держал себя по отношению к *юнкерам* как недоступный военачальник, и всячески издевался над ними. Сейчас же по вступлении на престол Фридрих наряду с фельдмаршалом своего отца, князем фон Дессау, назначил другого фельдмаршала—графа Шверина; он оказывал преимущество то одному, то другому и отстранял от дел то одного, то другого, и настолько удачно стравливал их друг с другом, что весь офицерский корпус разделился на ангальтскую и шверинскую партии, которые и после смерти своих вождей продолжали враждовать друг с другом. Такое же раздвоение, какое наблюдалось в верхушке, возглавлявшей всю армию, повторялось и в верхушке каждого отдельного полка, ибо Фридрих свел взаимоотношения начальника и командира к «неопределенному смещению субординации с так называемым коллегиальным принципом» \*. Известно, с какой ревнивой завистью относился Фридрих во время войны к каждому генералу, который затмевал или как будто затмевал его самого. Шверин и Зейдлиц чрезвычайно часто испытывали на себе его «немилость». Но поклонники короля оказывают ему слишком большую честь, когда стараются извинить, как слабость характера, то, что на самом деле было лишь слабостью его социального положения. Фридрих отнюдь не был «*miles gloriosus*» (хвастливый воин); в своих сочинениях он с приличной скромностью говорит о своих военных успехах и с такой же приличной скромностью—о неудачах своей полководческой карьеры. Тем не менее он думал, что сможет разыгрывать неограниченного полководца, если только не допустит на выдающийся пост в армии ни одного юнкера. После Семилетней войны он никого не назначал фельдмаршалом и только одного или двух человек произвел в генеральский чин: в год его смерти среди офицеров действующей армии имелся только один генерал, да и то полуотставной,—старый Тауэнцин, известный друг Лессинга.

\* *Фукс*, Жизнеописание генерала Фукс (*Fouqué*). *Lebensbeschreibung des Generals Fouqué*, 55.



Но, ослабляя таким образом военную доблесть офицерского корпуса, он создал широчайшие возможности для его экономического вырождения. Он не понимал изречения своего отца, говорившего, что солдат короля должен жить в лучшей обстановке, чем батрак помещика; он позволял офицерам так эксплуатировать солдата, как только юнкер мог эксплуатировать батрака. В первой половине царствования Фридриха старые традиции, постоянные военные осложнения, а отчасти, может быть, и большая умственная свежесть короля до некоторой степени еще поддерживали внутреннюю сплоченность войска, несмотря на все злоупотребления, которые уже и тогда давали себя знать. Но после того, как Семилетняя война истребила старую армию, Фридрих создал такую новую армию, которая при первом же испытании—во время войны за баварское наследство 1778 г.—оказалась совершенно несостоятельной. Во время одного этого похода он потерял благодаря дезертирству больше солдат, чем в течение всей Семилетней войны. Фридрих был ошеломлен, но эта жестокая неудача ничему не научила его. Он, правда, без всяких церемоний прогнал несколько офицеров, но ни в чем не изменил своей неправильной системы. Уже при его жизни проникательные наблюдатели понимали, что эта армия должна притти в упадок, так как она подвергается все большей и большей эксплуатации привилегированного класса; тем не менее после заключения мира Фридрих, невзирая ни на какие заслуги, выбрасывал на мостовую офицеров буржуазного происхождения, которых он вынужден был назначить на эти посты в последние, наиболее трудные годы Семилетней войны, и предпочитал замещать вакансии иностранными дворянами-авантюристами, ибо в назначении на офицерские посты горожан он видел «первый шаг к упадку государства»\*.

Здесь и был весь корень зла. Ротное хозяйство юнкеров, которое Фридрих-Вильгельм старался по возможности держать в известных границах, при Фридрихе приняло приблизительно следующий вид. Король ежегодно платил месячное жалованье в три талера пять грошей каждому рядовому, причем в расчет принималась вся номинальная численность роты. Но время экзерциций уже сократилось с трех месяцев до двух; начальники рот могли в течение десяти месяцев года увольнять в отпуск из семидесяти солдат-пруссачей, входивших в состав роты, от пятидесяти до шестидесяти человек и клали себе в карман со-

\* Сочинения, 9, 186.

ответствующую сумму общего жалованья. Зато они были обязаны полностью держать под ружьем иностранцев, которых числилось в роте от пятидесяти до шестидесяти человек, причем эти иностранцы должны были быть определенного роста—не ниже пяти футов десяти дюймов. В общем считалось, что ежегодно из роты убывало до четырех иностранцев, для замещения которых требовалось приблизительно пятьсот талеров. Далее, начальники рот должны были заботиться о сохранности мелких предметов снаряжения и о приобретении недостающих. Несмотря на это, у них всегда оставалась довольно значительная чистая прибыль\*. Крупные предметы снаряжения (мундир, брюки, жилет, шляпа или шапка, чулки и кавалерийские сапоги) поставляла одежная касса полка, в пользу которой у каждого унтер-офицера и рядового вычиталась определенная часть жалованья; из месячного жалованья на одежду и прочие полковые расходы шло один талер пять грошей.

Ротное хозяйство в основных своих чертах зародилось еще во времена Фридриха-Вильгельма, но при Фридрихе оно приняло значительно худшие формы, ибо жадные эксплуататорские замашки юнкеров, поощряемые всей системой этого хозяйства, не встречали никакого противодействия. После Семилетней войны король решился, однако, на «реформу», которая, окончательно испортила дело. Именно, у значительного числа полков, особенно же у тех, которые во время войны вызвали его неудовольствие, он отнял право самостоятельной вербовки. Начальникам рот он дал право присваивать жалованье лишь двадцати или тридцати увольняемых в отпуск солдат, а экономия от всех остальных должна была идти в его пользу; убыль солдат-иностранцев должна была возмещаться путем так называемой «большой вербовки», которой занимался он сам.

Прежде всего это вызвало значительное ухудшение человеческого материала. Когда начальники рот вербовали солдат сами, они были до известной степени заинтересованы в том, чтобы взять возможно более крепких и надежных людей, ибо чем меньше иностранцев убывало из роты, тем больше была прибыль. Наоборот, вербовочные агенты короля были заинтересованы в том, чтобы набрать из всех стран отъявленный сброд, так как он обходился всего дешевле, а чем меньше они тратили на вербовку, тем больше была их прибыль от отпускавшихся им вербовочных сумм. «Есть офицеры, понимающие

\* *Йенс*, 3, 2259. По словам Перца в его «Гнейзенау», I, 51, сам Гнейзенау, которого нельзя заподозреть в бесчестной наживе, ежегодно получал от своей роты 2 000 талеров.

торговлю людьми не хуже евреев, которые поставляют рабов в колонии англичан и французов», — писал прусский лейтенант Рамель, после того как он перешел на американскую службу. О результатах «большой вербовки» Бойен пишет, что можно без преувеличения сказать, что из ежегодно поступающих в армию иностранных рекрут в лучшем случае половина представляла собою легкомысленных, но не вполне испорченных людей, другая же половина состояла из совершенно негодных отбросов, которые дезертирство из одной армии в другую делали своей жизненной профессией; таким образом они добывали себе деньги на пьянство, а пока находились в гарнизоне, пополняли жалованье всякими обманами и воровством\*. Чтобы как-нибудь усмирить и удержать в армии этот сброд, непрерывные эксцессы которого стяжали солдатскому сословию самую ужасную репутацию, приходилось применять чрезвычайно суровые меры, в свою очередь крайне деморализовавшие лучшие элементы армии. Приведем лишь один пример: чтобы не оставить ночью без надзора плохого солдата, его отправляли спать в комнату хорошего солдата, а если ему все-таки удавалось дезертировать, хороший солдат подвергался нещадному наказанию шпицрутенами. Дурное обращение с солдатами достигло степени, совершенно невыносимой; «комнатные экзекуции» как раз в это время приобрели поистине зловеющий характер; рекруты, еще не вполне потерявшие чувство чести, массами сходили с ума и кончали самоубийством\*\*. Но этим дело не ограничивалось. Благодаря такому положению вещей вербовка

\* «Воспоминания из жизни генерал-фельдмаршала Германа фон Бойена» (*Erinnerungen aus dem Leben des General-Feldmarschalls Hermann v. Boyen*), I, 195 и сл. Бойен — знаменитый ученик Шарнгорста, друг и единомышленник Гнейзенау, Грольмана и Клаузевица; с 1814 до 1819 г. он был прусским военным министром, а после окончательной победы помещичьей реакции, выразившейся в Карлсбадских резолюциях, подал в отставку. Его мемуары представляют собою чрезвычайно ценную работу, совершенно подрывающую прусскую легенду; к сожалению, мы не можем здесь подробнее говорить о ней. Мы должны подчеркнуть, что наше описание фридриховского военного устройства основано отчасти на мемуарах Бойена, отчасти на большой, уже много раз цитировавшейся работе майора генерального штаба Йенса. Другие источники, как, например, известная работа Мирабо-Мовильона, считающаяся прусскими историками тенденциозной и во всяком случае не являющаяся столь документально обоснованной, были намеренно оставлены нами без рассмотрения.

\*\* Для нас представляется полной загадкой, каким образом после появления воспоминаний Бойена, не говоря уже о других документальных свидетельствах, рейхсканцлер фон Каприви решился оспаривать в рейхстаге то обстоятельство, что грубое обращение с солдатами было центром, скреплявшим фридриховскую армию. С этой армией палка была

рекрут внутри страны совершенно расстроилась. Военная служба стала в прусских землях самым позорным и мучительным наказанием, и в конце концов даже сам король стал назначать ее как тяжелую кару; мы уже видели, например, что он приказывал отдавать в солдаты за преступления в печати. Естественным следствием этого было то, что все классы населения, которым еще было что терять, должны были «освободиться» от военной службы. Нельзя было даже и думать о том, чтобы в более развитых западных частях страны налагать на население обязанность содержания войск, ибо это было экономически невозможно; это неприятное обстоятельство Фридрих старался подсластить изречением, что рейнско-вестфальскому населению «нехватает верности и выдержки в области военной службы». Но даже в ост-эльбских провинциях «изъятия» распространялись вплоть до рабочих, «занимавшихся полезной промышленностью». Вербовку можно было производить или среди бродячего и преступного сброда, или среди самых жалких бедняков, не имевших возможности ни убежать, ни сопротивляться и уклонявшихся от военной службы лишь тем, что они обрубали себе большой палец—обстоятельство, побудившее короля издать ряд особых запретительных указов; иногда, впрочем, они выдавали себя за рабочих на живодерне или помощников палача,—но во время войны за баварское наследство даже это выдуманное бесчестие не избавляло их от приема в вольные корпуса. Рекрутчину эпохи Фридриха Бойен метко называет «насилием, производившимся над беднотой».

«Реформа» короля имела и другую гибельную сторону. Когда он ввел «большую вербовку» и этим сократил доход офицеров-

связана так же неразрывно, как тень с телом; если палка и сейчас играет, к сожалению, немалую роль в современной германской армии, то это происходит потому, что эта армия не есть «вооруженный народ» и с принципом всеобщей воинской повинности сочетает основные особенности фридриховского военного устройства. Пока существует привилегированный офицерский корпус, являющийся особой кастой, отделенной от армии и народа, пока существует особое военное судопроизводство, жестокие наказания, по своей утонченности, пожалуй, даже превосходящие фридриховский военный устав, и всякие другие подобные вещи,—до тех пор не прекратится и дурное обращение с солдатами. Никакие запреты тут не помогут. Эти запреты не являются даже результатом «современной гуманности», а представляют собою тоже одну из традиций наемного войска: первый приказ, воспрещавший дурное обхождение с солдатами, был издан уже курфюрстом Фридрихом-Вильгельмом 22 января 1688 г. Дурное обращение, порицавшееся в этом приказе, впрочем, даже в отдаленной степени несравнимо с теми ужасающими пытками, которые перечисляет известный указ герцога Георга Саксонского.

юнкеров, эти brave патриоты отнюдь не пожелали согласиться на уменьшение своих прибылей. То, что у них отнял военачальник, они возмещали на солдате. Начальники рот хозяйничали в вербовочных округах, как в собственном поместье; эксплуатируя ужас населения перед военной службой, они не считались ни с какими «изъятиями» и занимались всевозможными вымогательствами; население этих округов,—даже в тех случаях, когда оно не подлежало воинской повинности,—должно было за наличные деньги покупать себе разрешение оставаться в гражданском состоянии и вступать в брак. Затем была придумана новая форма увольнения в отпуск. В 1763 г. король постановил, что в каждой роте должно оставаться под знаменами по меньшей мере 76 так называемых «строевиков», но вскоре он должен был пойти на уступки и разрешил увольнять в отпуск,—в стенах гарнизонного города, ибо в данном случае дело шло по большей части об иностранцах,—еще 26 человек, несших так называемую «вольную караульную службу». Но начальники ухитрялись увольнять в отпуск вместо 26 человек—40, а нередко и больше, так что в течение десяти месяцев года в роте оставалось в строю самое большее 30 или 40 человек; жалование солдат, несших «вольную караульную службу», попадало в карманы командиров, а самим им предоставлялось искать работы, где хотят. Кроме того, благодаря этой системе рекруты из прусских уроженцев, которые при вступлении в армию должны были пробывать в строю по крайней мере год, увольнялись в отпуск после кратковременной муштровки, причем их военная подготовка совершенно не принималась во внимание. Одежные кассы были для офицеров-юнкеров настоящими золотыми россыпями. Офицеры ухудшали предметы снаряжения, чтобы обратить сберегаемые суммы в свою собственную пользу. Они укорачивали мундиры, чтобы таким образом сэкономить известное число локтей материи. Юнкерская страсть к прибыли постепенно съела начисто солдатские жилеты; сначала стали обрезать рукава, а кончили тем, что заменили их лоскутами, пришивавшимися к передним лацканам мундиров и отмечавшими место рукавов. Обувь солдат также была лакомым кусочком для командиров; если Дидона,—пишет уже упоминавшийся нами лейтенант Рамель,—«из коровьей кожи вырезала место для постройки города, то капитаны стараются вырезать из подошв своих ротных солдат план одного-двух дворянских имений». Мы не будем говорить о других подробностях этой чрезвычайно изощренной мошеннической системы,—о том, например, как обдували крестьян при поставке фуража

для кавалерии, как записывали в списки умерших солдат, как во время смотров выводили больных из лазаретов, чтобы пополнить роты; приведенные нами факты достаточно объясняют, почему Бойен называл офицеров этого фридриховского войска не солдатами, а «мелкими ростовщиками».

Король спокойно смотрел на все эти безобразия. В лучшем случае он издавал указ, воспрепещавший давать отпуска чрезмерному количеству солдат, «несущих вольную караульную службу», но если это не помогало, он и с этим мирился. В армии не было никакого контроля, ибо если ротного командира производили в полковники или генералы, за ним все же оставалась рота; даже когда он занимал высшие посты, у него оставался этот лакомый кусок, а так как все высшие офицеры были воронами, то, конечно, ни один из них не выклевывал глаз другим воронам. Ясно само собой, как это действовало на военный дух офицеров. Прусские историки, прославляющие фридриховскую армию, обычно противопоставляют ей солдат епископа гильдесгеймского, на шляпах которых было написано: «Поддай нам, господи, мир!» На шляпах прусских ротных командиров и полковников слов этих, конечно, не имелось, но тем не менее после Семилетней войны офицерский корпус фридриховской армии целиком разделял это благочестивое пожелание. «Мелкие ростовщики» могли заниматься эксплуатацией только во время мира, и потому понятно, что война не очень-то воспламеняла «геройский дух» этой «геройской армии». Только экономические предпосылки существования фридриховской армии объясняют позорный исход кампании 1806 г., трусливое предательство офицеров-юнкеров, радостный вздох облегчения, с каким тысячи солдат бросали знамена после поражения, и злобство населения, издевавшегося над сокрушительными ударами, которыми были наказаны «султаны» за отвратительные и многолетние злоупотребления. Но вопрос еще, была ли армия в эпоху Йены так же плоха, как в последние десятилетия правления короля Фридриха. Ибо к тому времени веяние французской революции уже перекинулось через Эльбу, и отдельные офицеры, вроде Шарнгорста, Блюхера, Гнейзенау, и дельные юнкера, вроде Йорка, ввели много улучшений в военное устройство.

Предоставляя полную свободу помещикам-юнкерам в области военного управления, Фридрих в то же время вел в области гражданского управления поистине самоубийственную войну с чиновничеством, в лице которого его отец хотел создать для королевской власти опору в ее борьбе с юнкерами. Бюрократ-

тия—по крайней мере на наиболее важных постах—была очищена от буржуазных элементов: за все время своего царствования Фридрих назначил только одного министра из буржуазии. Земельные и провинциальные коллегии тоже находились в руках дворянства; весьма характерно, что только на пост президента высшей счетной палаты Фридрих предпочитал назначать людей из буржуазного класса. Тем не менее в рядах бюрократии сохранилось известное классовое сознание и сознание своего долга; к чести генеральной директории надо сказать, что после Семилетней войны она решительно воспротивилась намерению короля повысить общую сумму налогового обложения на 2 миллиона талеров для удовлетворения военных нужд и всякое новое обременение народа объявила невозможным. Тогдашнее положение страны Шмоллер характеризует следующими словами: «В конце войны прусские провинции находились в ужасном положении; страна понесла огромные потери в людях, в скоте, в капитале; как известно, в Неймарке почти не осталось скота; тысячи домов и хижин были сожжены; вслед за войной разразился жесточайший экономический кризис, продолжавшийся несколько лет». Поэтому генеральная директория была совершенно права, когда заявляла, что страна разорена вконец и что и без того уже тяжелое обложение нельзя увеличивать новыми налогами. Может быть, бюрократия лучше понимала страдания народа между прочим и потому, что в течение последних четырех лет войны чиновники получали вместо жалованья так называемые «кассовые свидетельства»; эти свидетельства можно было сбывать только менялам за одну пятую цены, а после войны королевские кассы платили за них малоценными военными деньгами, и владельцы терпели огромные потери на курсе.

Но вместо того, чтобы прислушаться к честным и основательным возражениям генеральной директории, король использовал долгожданный случай, чтобы нанести прусскому чиновничеству окончательный и сокрушительный удар. Он выписал из Франции множество податных и таможенных чиновников, которых Гаман называл «бандой невежественных мошенников»; а Бюргер в одной из своих баллад именовал «наглецами и маркизами-грабителями, которых подпускают к откупам»; сам король после почти двадцатилетнего знакомства отзывался о них, как о «настоящей швали». Он передал им управление акцизами и таможенными пошлинами, ибо с помощью прямых налогов нельзя было больше ничего выжать,—почему, мы сейчас увидим. По старому прусскому обычаю, этому новому

повышению податного бремени немедленно было присвоено громкое слово «реформа». Французу де Лонэ, руководителю новой «генеральной администрации королевских податей», получившей в обиходе более короткое название «регия», король сказал: «Берите только с тех, кто может платить, и я выдаю их вам с головой». В письме к де Лонгэ он назвал себя адвокатом рабочих и солдат, выгоды которых он должен соблюдать при взимании налогов, а в одном публичном патенте он истолковывал податную «реформу» в том смысле, что «богатые из своих излишков будут до известной степени способствовать облегчению обложения бедных и между теми и другими установятся справедливые разумные взаимоотношения». На этих фразах покоится прекрасная легенда о фридриховском «социализме». Жаль только, что апостолы этой легенды ограничились превознесением слов Фридриха и позабыли прибавить, что его поступки столь же беспощадно топтали его слова, как полк тяжелой кавалерии базарные горшки.

Так, например, «адвокат рабочих и солдат» на словах рекомендовал максимальное повышение налогов на вино, ибо «таких вещей бедняк не покупает», но зато требовал понижения налога на водку и допускал лишь небольшое повышение налога на пиво. А на деле король одобрил небольшое повышение налога на вино и разрешил повысить налог на водку по крайней мере в полтора раза, а налог на пиво—в два раза. В действительности «регия» принесла народным массам только частичное уменьшение налога на хлеб; зато она более или менее значительно повысила налоги на мясо и напитки, к тяжелой соляной монополии добавила столь же тяжелую табачную и кофейную монополию и обложила акцизом все, что нужнее человеку в жизни и при смерти, так что, например, одно перечисление предметов, облагаемых в Берлине акцизом, занимало 107 страниц в четвертую долю листа, причем на каждой значилось в среднем от 30 до 40 предметов. Как и раньше, от всех этих податных тягот освобождался более богатый класс населения—дворянство. Правда, «наглецы и маркизы-грабители» приняли всерьез слова насчет того, что имущие классы выдаются им с головой и, не понимая, к сожалению, исторического значения помещичьей свободы от налогов, добытой всеми правдами и неправдами, вознамерились было поставить банки с пиявками и дворянству, но король наложил на это решительное «вето». Номинально сельские местности были освобождены от акциза, но так как на этом основании сельскому населению за немногими исключениями было воспрещено заниматься ремеслом и промышлен-



ностью, то все предметы одежды и питания, орудия труда и вкусовые вещества, которые оно не производило само, оно вынуждено было брать из городов и таким образом платило налог на потребление, входивший в товарные цены. Надо было, следовательно, особенно тщательной броней охранить «обеспеченные законом» налоговые вольности сельского дворянства от покушений «регии»; поэтому Фридрих приказал совершенно освобождать от акцизов пиво, вино и прочие подлежащие обложению продукты, если они предназначались для юнкеров. Зато крестьянин платил акциз и за плуг, которым он работал, и за сюртук, в котором он ходил в церковь, и за стакан пива, и за трубку табаку, благодаря которым он на минуту прогонял свои мучительные заботы.

Несмотря на все это, король не достиг своей цели: «региа» не увеличила ежегодных поступлений в желательных для него размерах. По наиболее благоприятным подсчетам, за двадцать один год своего существования она принесла около 21 миллиона добавочного дохода, но всего вероятнее, что этот добавочный доход был значительно меньше—от 700 000 до 800 000 талеров в год. Верноподданнически настроенный старик Прейс правильно указывал, что в течение долгого мирного периода от 1766 до 1787 г., только на один год прерванного войной, этого повышения поступлений можно было бы столь же успешно достигнуть, «если бы повысилось благосостояние населения, увеличилось его число и администрация была честнее». Причины этой неудачи совершенно ясны. После введения «регии» расходы по акцизному и таможенному управлению повысились с 300 000 до 800 000 талеров; кроме того, французские чиновники получали тантёмы, а большинство из них наряду с этим клало себе и казенные деньги в карман. Столь отяготительное и изощренное обложение естественно вызывало постоянное уклонение от налогов. Правда, за неуплату акцизов король грозил чрезвычайно суровыми наказаниями, и для предупреждения подобных актов создалась поистине омерзительная система доносительства и шпионажа, но, как всегда бывает в таких случаях, все это мало или почти совсем не помогало делу. Масса населения поддерживала контрабандистов и при этом совсем не испытывала укоров совести, тем более что контрабанда—в тех случаях, когда дело шло о протаскивании прусских товаров через таможенные барьеры соседних областей,—имела в лице короля самого ревностного покровителя. При этих обстоятельствах было действительно чудом из чудес, что глава французских чиновников не был «невежественным мошенником».

Конечно, де Лона не чувствовал никаких порывов сентиментального сострадания к жестоко обираемому населению, но он гораздо лучше Фридриха понимал, что обдиранию народа поставлены известные технические границы. Он выговорил себе почти неограниченные полномочия в области акцизного и таможенного управления и право смещения чиновников; себе и трем помощникам, которые вначале были ему даны, он назначил жалование по 15 000 талеров, между тем как их номинальный начальник, министр фон Горст, получал только 4 000 талеров. Но когда король предложил ему и его товарищам за исчисление тантьем 25 процентов излишка, полученного ими по сравнению с чистой акцизной выручкой за 1764/65 бюджетный год, де Лона заявил, что эта выручка, благодаря последствиям войны, не достигала 3 500 000 талеров и потому ее нельзя признать нормальной; нормальной он считал только чистую выручку 1765/66 г., достигавшую более 4 500 000 талеров, причем с излишков над этой суммой он требовал только пятипроцентную тантьему. Де Лона провел также правило, чтобы по крайней мере низшие административные посты «регии» замещались прусскими чиновниками, между тем как король желал совершенно отстранить от администрации туземных чиновников\*.

Прусская бюрократия по долгу службы и из деловых соображений решительно воспротивилась невероятно обременительной и мучительной «регии», которую Фридрих с гордостью называл «своим созданием». Чудовищное дополнительное обложение массового потребления вызвало в слабо населенной стране, где рабочих сил и без того не хватало, рост заработной платы. Капиталисты подняли неизбежный в таких случаях вой, и король потребовал от генеральной директории официальных объяснений по поводу «все еще продолжающихся жалоб наших фабрикантов и купцов». В ответ на это генеральная директория «по долгу службы указала» на «стеснения, которым подвергается коммерция в королевских землях»; чрезвычайно спокойным и деловым языком она разъясняла вред «регии», говорила, что «различные введенные в стране монополии, особенно же чрезмерное отягощение, порождаемое отдачей на откуп табач-

\* Все эти подробности взяты из архивных источников. См. *Вальтер Шульце*. История прусского регионального управления (*Walter Schulze, «Geschichte der preussischen Regieverwaltung»*), 40 и сл. В «*Neue Zeit*» 10,2,769 и сл. мы подробно рассмотрели, как господин Шульце, несмотря на все это, умудряется доказывать, что «социализм» Фридриха при введении «регии» был «глубже, идеалистичнее, героичнее», чем пролетарский социализм наших дней.

ного производства, приносят чрезвычайный вред общей торговле»; объясняла повышение заработной платы повышением обложения напитков, мяса и т. д. Но как только король 2 октября 1766 г. получил эту записку, на полях ее он собственноручно написал: «Я изумляюсь наглости этой реляции, которую вы мне посылаете, и извиняю министров только их невежеством, но коварство и коррупция их конциписитов должны быть примерно наказаны, ибо иначе я никогда не приведу этих каналов к субординации». На следующий же день последовал кабинетский указ, в котором его королевское величество извещает генеральную директорию, что «мы все милостивейше приказываем оной отставить от должности тайного финансового советника Урсинуса и заключить его в шпандаускую крепость». Всем тем, кто осмелится пойти по пути Урсинуса, приказ грозит, что «его королевское величество будет приказывать без всяких разговоров арестовывать таковых лиц, хотя бы они были советниками или министрами, и на всю жизнь заключать их в крепость». На время царствования Фридриха это насилие окончательно сломало хребет прусской бюрократии.

Мы несколько более подробно описали эти два наиболее важных случая вмешательства короля в финансовое и военное управление государством, ибо, с одной стороны, они показывают, чем в сущности был просвещенный деспотизм этого государя, а с другой — в них обнаруживается подлинная сущность великих людей, которые обычно приносят наибольшее зло именно тогда, когда они начинают «делать историю». Но мы уже видели, что Фридрих был в общем гораздо умнее своих поклонников и что он прекрасно ориентировался в исторически данных экономических условиях жизни. С этими условиями вполне гармонировало то обстоятельство, что в своей хозяйственной политике он проводил плоский меркантилизм. Меркантилистская теория была экономической идеологией княжеского абсолютизма, развившегося на почве товарной торговли и товарного производства. В силу экономической обстановки, которую эта теория отражала, возникли и односторонние преувеличения роли торговли и обрабатывающей промышленности, и переоценка значения плотности населения и звонкой монеты, как товара по преимуществу, и наконец требование, чтобы нововозникшая государственная власть поощряла все, из чего и благодаря чему она возникла, то-есть торговлю, промышленность, рост населения и рост денежной массы. Но дело в том, что не только молот ударяет по наковальне, но и наковальня ударяет по молоту: только практика порождает теорию, но, с другой сторо-

ны, и теория оформляет практику. Меркантильная система стала для абсолютизма рычагом для осуществления его династических интересов: она давала ему возможность доказать софизм, гласивший, что денежное имущество и богатство нации—одно и то же, чем и оправдывалась фискальная эксплуатация народа. Чем больше денег привлекали князья в страну для нужд своих армий и своих дворов и чем больше денег они удерживали в стране, тем богаче становился народ; даже самое бессмысленное мотовство не представляет никакой опасности, «если только деньги остаются в стране».

Всюду, где товарная торговля и товарное производство, развиваясь естественно, достигали значительных размеров, как, например, во Франции, меркантильная система не могла так легко выродиться, ибо практика все время держала в узде теорию; Кольбер, самый крупный государственный деятель меркантилизма, прекрасно понимал, что «в государстве нет ничего более ценного, чем человеческий труд», и наиболее блестящей стороной его управления было сооружение хороших проезжих дорог для облегчения сношений. Напротив, в Германии абсолютизм возник больше на почве феодализма, чем на почве капитализма, а потому то, что было экономически разумного в меркантилистской теории, с тем большей легкостью превращалось в абсолютистскую нелепость. Фридрих защищал «столь же просвещенный, сколь и верный» взгляд: «если ежедневно вынимать деньги из одного и того же кошелька и ничего туда не класть, то скоро он станет пустым»,—взгляд, представлявший собою самое плоское истолкование меркантилизма; на этом основании он предоставлял проезжим дорогам приходить в упадок, надеясь, что благодаря этому иностранные путешественники тем дольше пробудут в стране и тем больше истратят в ней денег. Еще показательнее, чем параллель между Кольбером и Фридрихом, переписка, которую король вел в 1765 г. с курфюрстиной-регентшей Марией-Антонией Саксонской по вопросу о взаимном запрещении ввоза товаров. Саксония была в экономическом отношении наиболее развитым из мелких германских государств; лейпцигские купцы уже начали требовать полной свободы торговли, и потому курфюрстина писала Фридриху: «Наш великий принцип—это свобода торговли и взаимность выгод». Фридрих возражает на это лишь несколькими сентиментальными фразами насчет дурных сторон золота и серебра, ставших, к сожалению, необходимым злом. Эта необходимость заставляет домогаться этих металлов, которые сами по себе низки и заслуживают презрения. Он оставался при взгляде

своего де Лонаэ, считавшего, что то, что вредно для заграницы, выгодно для отечества. Взгляд этот поддерживал, правда, и Вольтер, но уже Мирабо называл его «чудовищным и достойным лишь какого-нибудь государственного деятеля одиннадцатого столетия».

В бранденбургско-прусском государстве меркантилизм не вырос на почве экономического развития, а, наоборот, государственная власть пыталась руководить экономическим развитием согласно меркантилистскому учению. В то время, когда меркантилизм давно уже был в Западной Европе в полном расцвете, произошло изгнание гугенотов из Франции; это дало курфюрсту Фридриху-Вильгельму незадолго до его смерти первый и исключительно удобный случай привлечь в страну крупные капиталы. Руководясь отнюдь не религиозными, а экономическими мотивами, он пригласил изгнанных единоверцев в свои земли. Еще до этого он сделал несколько маленьких попыток в этом направлении и основал мыловарню, сахароваренный завод и мастерскую фарфоровых изделий, однако первые значительные фабрики и мануфактуры начали возникать только со времени эмиграции французов. Но, на этой аграрно-феодалной почве, в этих маленьких жалких городках все эти предприятия оставались искусственно выведенным растением, которое приходилось тщательно выхаживать в теплице меркантилистских учений. С внешней стороны учениям этим вполне соответствовало то, что растущее военное государство требовало все больше денег и людей, но вся беда была в том, что растущую денежную массу и растущее население, которых требовал меркантилизм для оживления торговли и промышленности, это государство тратило на пушки и рекрут. Для торговли и промышленности оставалось мало или почти ничего, между тем как следовало отдать им много или все, чтобы обеспечить их развитие на неблагодарной почве ост-эльбских областей. Но, стараясь как-нибудь сохранить это искусственное растение, прусский абсолютизм проявлял свою любвеобильную заботливость тем, что дарил ему всевозможные прекрасные вещи, которые самому ему ничего не стоили: монополии и привилегии, запреты вывоза и ввоза, таксы заработной платы и цен, технически-производственные предписания, — словом, всевозможные хаотически надерганные выдумки выродившегося и утеравшего свой первоначальный смысл меркантилизма, нашедшего в лице Мирабо столь красноречивого обвинителя. Мирабо не находит достаточно резких слов, рассказывая о том, что в 1766 г. король воспретил ввоз не менее 490 товаров или что в 1774 г. он ввел смертную казнь за вывоз шерсти; Ми-

рабо, однако, упускал из виду, что эта своеобразная форма меркантилизма являлась и должна была являться экономической идеологией этого своеобразного военного государства. Если бы даже экономические взгляды и познания Фридриха были несравненно шире, то и тогда ничто бы не изменилось. Во всяком случае король уже понимал, что наивысшей точкой тогдашнего экономического развития была промышленность по изготовлению тонких тканей,—для восемнадцатого столетия она была тем же, чем была для девятнадцатого столетия железоделательная и угольная промышленность; действуя в полном согласии с духом меркантильной системы, он немедленно по вступлении на престол учредил в форме генеральной директории особый коммерческий и мануфактурный департамент и вменил ему в обязанность вводить новые отрасли промышленности, как то: ткачество шелковых материй, изготовление французской золотой и серебряной парчи и т. д. Но Франция и Англия приносили ради своей шелковой промышленности огромные жертвы, между тем как Фридрих за все время своего царствования истратил на это избалованное и любимое дитя всего каких-нибудь два миллиона талеров\*. Пищи и питья он давал ему мало, но зато тем ревнивее оберегал тонкую нить его жизни и, строго ограничив свободу его движений, все время водил его на помочах. На примере этой индустрии, столь дорогой сердцу Фридриха, но в конце концов все же вымершей, ясно видно, что король не делал большего не потому, что *не хотел*, а потому, что не мог. Ему нехватало не столько правильного понимания, сколько средств. В феодальном военном прусском государстве меркантилизм неизбежно должен был усвоить себе средневековую политику запретов и принуждения, тогда как в буржуазной промышленной Англии он должен был развиваться в сторону промышленной свободы.

В сущности фридриховская легенда поступает чрезвычайно несправедливо по отношению к королю, когда она перечисляет по пальцам якобы бесчисленные миллионы, которые Фридрих «в своем отеческом попечении» истратил после Семилетней войны на поднятие общего благосостояния. Если бы король действительно располагал столь значительными средствами, какие он, якобы, тратил так расточительно, то его хозяйственную политику вряд ли можно было бы признать свободной от упрека в необычайной ограниченности. Но по исчислениям министра фон Герцберга, этого сравнительно наиболее компетентного

\* Шмоллер, Прусская шелковая промышленность в XVIII столетии, (*Schmoller, Die preussische Seidenindustrie im achtzehnten Jahrhundert*), 35.

судьи, король за двадцать три года—с 1763 до 1786 г.—истра-тил на эту цель не более 24 399 838 талеров. Мы называем Герц-берга сравнительно наиболее компетентным судьей», потому что хотя Герцберг был в позднейшие годы царствования Фридриха самым талантливым и опытным его министром, тем не менее «первый слуга государства» и в отношении его неукоснительно придерживался того принципа, что никакой министр не дол-жен быть вполне осведомленным о положении государственного хозяйства. Все излишки ежегодных государственных доходов над бюджетными расходами, как, например, некоторые рега-лии и налоги, поступали в так называемую диспозиционную кассу, которой управлял один только король с помощью не-скольких мелких чиновников, бывших слепыми орудиями его воли. Точный цифровой обзор фридриховского финансового хозяйства благодаря этому чрезвычайно затрудняется, если не становится совершенно невозможным; тем не менее интере-сующий нас в данном случае вопрос,—вопрос об ассигнов-ках этого просвещенного деспота на то, что его поклонники называют «системой социалистической государственной помо-щи», можно выяснить с сравнительной точностью,—по край-ней мере в отношении той эпохи, когда была введена регия, то-есть в отношении последних двадцати лет царствования Фридриха.

По словам самого Фридриха, ежегодные государственные доходы составляли в это время 21 700 000 талеров. Более высо-кой цифры не указывает никто, а большинство компетентных судей, вроде Бойена, Круга и Риделя, дает значительно более низкую цифру. Во всяком случае этой высоты доходы достигли только в последние годы царствования короля (значительные акцизные недоборы в голодные годы 1770 и 1771 и в 1778 г.— в год войны—мы не будем принимать во внимание). Примем указанную Фридрихом цифру для всего этого промежутка вре-мени. Из этих доходов 5 700 000 талеров он причисляет к излиш-ку, который можно употребить на пополнение военного фонда, сооружение укреплений, земельные улучшения и другие чрез-вычайные расходы. Но и эту сумму приходится признать слиш-ком высокой. Для нужд регулярного бюджета требовалось по меньшей мере 16 000 000. Войско ежегодно стоило 13 000 000, придворная касса,—то, что мы называем ныне цивильным ли-стом,—поглощала 492 000, а управление регией—800 000 тале-ров, так что на все прочие нужды государственного управления оставалось только около 1 700 000 талеров, то-есть сумма, ка-жущаяся невероятно низкой, если даже мы примем в расчет ни-

чтожное жалование тогдашних германских чиновников. Излишек никоим образом не мог превышать указанной Фридрихом суммы в 5 700 000 талеров. Его утверждение, что из этих денег он регулярно вкладывал в военный фонд по 2 миллиона, представляется более чем сомнительным. До 1766 г. он не мог образовать новый фонд, и потому по его смерти в военном фонде должно было бы быть 40 миллионов; а между тем все прочие подсчеты, колеблющиеся между цифрой 55 миллионов (Круг и Ридель) и цифрой в 76 миллионов (Ломбард), сходятся на том, что король оставил после себя значительно больший фонд, чем можно было ожидать, судя по приведенным им данным. Но все-таки допустим, что на эту цель он тратил ежегодно 2 миллиона.

В таком случае на чрезвычайные расходы ему оставалось ежегодно 3 700 000 талеров, что составит в двадцать лет 74 000 000 талеров. За это время он израсходовал около 8 миллионов на сооружение укреплений, артиллерию и т. д.; война за баварское наследство обошлась в 29 миллионов; наконец, Фридрих выдал императрице Екатерине 3 миллиона талеров субсидий на войны с турками. В общем это составляет 40 миллионов. Хотя король не любил много тратить на двор и, по словам своего завещания, лично на себя никогда не тратил более 220 000 талеров в год, тем не менее у него были некоторые причуды, обходившиеся очень дорого. В оставшемся после него имуществе имеется между прочим 130 табакерок, усыпанных бриллиантами и другими драгоценными камнями; общая стоимость их составляла около  $1\frac{1}{2}$  миллионов. Но еще большее значение имело то обстоятельство, что Фридрих, подобно всем прочим деспотам, тратил огромные суммы на строительство. Уже один тот факт, что сейчас же после войны, когда вся страна была погружена в самую страшную нищету, он начал в Потсдаме постройку дорогого и ненужного нового дворца, уже один этот факт должен был бы помешать честным людям слишком уж распространяться насчет «отеческого попечения» Фридриха. По словам Ретцова, эта постройка обошлась в 11 миллионов, и столько же было истрачено на внутреннюю обстановку\*. Если даже считать, что Ретцов чрезмерно преувеличил эти суммы, так как он недоблюбливал короля, то ведь и другой осведомленный и благонамеренный свидетель, архитектор Фридриха, определяет сумму, истраченную на постройки в одном только Потсдаме и его

\* Ретцов, Характеристика важнейших событий Семилетней войны (Retzow, Charakteristik der wichtigsten Ereignisse der Siebenjährigen Kriege), 2, 455.



окрестностях, в более чем  $10\frac{1}{2}$  миллионов \*. Мы не будем считать, сколько истратил Фридрих на постройки в Бреславле, Кенигсберге и Берлине (библиотека, большие церкви на Жандармском рынке, несколько мостов с колоннами и т. д.); тем не менее уже указанные Мангером  $10\frac{1}{2}$  миллионов и истраченные на табакерки  $1\frac{1}{2}$  миллиона составляют 12 миллионов, которые следует вычесть из 74 миллионов, оставшихся у Фридриха на чрезвычайные расходы за последние двадцать лет его царствования. Таким образом, для поднятия народного благосостояния оставалось только 22 миллиона; чтобы составила цифра, данная Герцбергом, к этой сумме нужно присчитать  $2\frac{1}{2}$  миллиона, которые, по словам Фридриха, он сейчас же по заключении Губертсбургского мира взял из сумм, ассигнованных на ближайший поход, и истратил на наиболее необходимые мероприятия по восстановлению страны.

Мы еще раз подчеркиваем, что эти цифры не обладают абсолютной достоверностью. Чтобы дать более или менее исчерпывающую и правильную картину фридриховского финансового хозяйства, нужно было бы написать особую книгу, ибо кассовые счета короля были чрезвычайно запутаны, а опубликованные по этому вопросу работы страдают чрезмерной тенденциозностью. Но наша цель заключалась лишь в том, чтобы установить сумму, которую Фридрих в лучшем случае мог истратить на улучшение хозяйства страны; поэтому мы считали себя в праве оперировать даже недостоверными цифрами, причем общие доходы короля мы определяли наивысшей из отклоняющихся друг от друга цифр, а его общие расходы—наинизшей. Такого метода мы придерживались всюду, хотя в одном особом случае мы, повидимому, этого не сделали. Так, мы не решились снизить бюджетные военные расходы Фридриха, единодушно определяемые старыми и беспристрастными писателями в 13 миллионов, до 12 100 978 талеров,—цифры, приводимой одним новым историком. Между прочим, этот историк определяет оставленный королем военный фонд в 63 миллиона, мы же, на основании слов самого Фридриха, определили его лишь в 40 миллионов. Простой подсчет показывает, что мы, таким образом, общие расходы на армию и военный фонд оценили еще меньшей суммой, чем этот историк. Поэтому мы можем утверждать с такой степенью достоверности, какой только можно достигнуть при данных условиях, что после Семилетней войны Фридрих роздал населению прус-

\* *Мангер*, Строительная история Потсдама (*Manger, Baugeschichte von Potsdam*), 3, 825.

ского государства в виде подарков, льгот, субсидий, премий организации промышленных предприятий в лучшем и, к сожалению, мало вероятном случае лишь от 24 до 25 миллионов талеров. Это как раз та сумма, которую приводит Герцберг.

Эта сумма составляет ровно пятую часть одних только денежных контрибуций, которые во время войны страна должна была уплатить внешним врагам. Это немного, но это все-таки кое-что. К сожалению, способ распределения этой суммы между различными классами населения устраняет всякую мысль о патриархальной заботливости, на которую эта сумма якобы указывает. Города и городская промышленность получили из этих денег довольно мало, крестьяне еще меньше, львиная же доля досталась юнкерам. По сравнению с 25 000 талеров, которые Фридрих по заключении мира подарил вестфальским городам для восстановления домов и улиц, или даже по сравнению со 100 000 талеров, которые в то же время и для той же цели получил Франкфурт-на-Одере, самый значительный торговый город Бранденбургской марки, кажется весьма внушительной сумма более чем в 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> миллиона, выданная после Семилетней войны одному только дворянству Померании и Неймарка, составлявших вместе приблизительно шестую часть государственной территории; деньги эти были выданы отчасти в виде подарков, для уплаты долгов, отчасти в виде мелиорационных капиталов, предназначенных на улучшение дворянских имений. Капиталы эти не подлежали возвращению, а в тех случаях, когда за них взималось от одного до двух процентов, получаемый с них «интерес» шел на «пенсии бедным офицерским вдовам дворянского происхождения». Но мы не будем детальнее входить в этот вопрос и предпочтем несколько подробнее выяснить, что именно сделал Фридрих для широкой массы трудового населения, особенно для крестьян. С одной стороны, это бросает чрезвычайно яркий свет на «отеческое попечение» Фридриха, а с другой стороны, мы обладаем по этому вопросу подробными данными, подтверждаемыми совершенно неоспоримыми документальными источниками.

Иоган-Ремберт Роден принадлежал к числу тех немногих немецких чиновников, которые пользовались доверием Фридриха до самой своей смерти. Будучи хорошим организатором, он отличился в главной штаб-квартире герцога Фердинанда Брауншвейгского, который по окончании войны рекомендовал его королю. Фридрих много раз пользовался его услугами при восстановлении страны, поручил ему даже организацию Запад-

ной Пруссии после первого раздела Польши в 1772 г. и впоследствии назначил его президентом высшей счетной палаты. В бытность свою на этой должности Роден в 1774 г. получил приказание прочесть престолонаследнику ряд лекций насчет финансового управления прусского государства; по окончании курса этих лекций, он вручил принцу «Краткие сведения относительно финансового устройства». Этот поучительный, обоснованный официальными данными документ был, к счастью, извлечен в неискаленном виде на свет божий старым Прейсом, который еще не вкусил яблока познания, как это сделали современные исследователи, милостиво допущенные к изучению архивов\*. Эта работа не свободна от больших пропусков, ибо акцизному устройству, например, Роден посвящает всего несколько фраз: судьба тайного советника Урсинуса, очевидно, пронеслась предостерегающей тенью перед его умственным взором. Но зато тем подробнее и основательнее он говорит о способе взимания контрибуции, то есть прямого налога, уплачивавшегося крестьянским населением. Попутно он обрисовывает положение этого населения яркими данными, представляющими большой интерес.

Контрибуция сообразовалась с доходностью отдельных земельных участков и составляла определенную часть того, что собирал крестьянин для собственного потребления и для продажи. Эта определенная часть не была одинаковой во всех провинциях: в Бранденбургской марке и в Западной Пруссии она достигала  $33\frac{1}{3}$ , в Силезии — 34, в Померании —  $42\frac{1}{2}$  процента, а в прочих частях страны была еще выше. Этот налог Роден поясняет на примере крестьянина, живущего в деревне Темпельгоф под Берлином. С каждой гуфы в 30 магдебургских моргенов этот крестьянин должен был платить 8 талеров 3 гроша контрибуции (в то время в талере считалось 24 гроша, следовательно, в теперешней валюте грош составлял  $12\frac{1}{2}$  пфеннигов). За вычетом того, что было необходимо для собственного потребления, крестьянин мог выделить из сбора с одной гуфы только 13 шеффелей на продажу; при цене в 18 грошей за шеффель это составляло 9 талеров 18 грошей. После подробного изложения всего этого Роден продолжает:

«Итак, за вычетом уплаченной контрибуции, у крестьянина из сбора с одной гуфы остается только 1 талер 15 грошей, и оправдать свои прочие расходы он не в состоянии. Расходы эти таковы:

\* Прейс, 4, 415 и сл.

Наследственному господину или господину, суду которого он подлежит (если он живет на королевских землях, то чиновнику, а если земля принадлежит дворянину, то дворянину), причитается с одной гуфы помещельного налога и повинностей . . . . .	8 тал. — гр. — пф.
Десятина священнику 1 шеффель зерна по . . . . .	— 18 —
Кистеру 3/4 шеффеля по . . . . .	— 12 6
Кузнецу 1 шеффель по . . . . .	— 18 —
Погуфная подать и домовая подать . . . . .	— 15 —
Подводные деньги . . . . .	— 12 —
Военный налог в магазинную кассу . . . . .	— 12 —
ВСЕГО . . . . .	11 тал, 16 гр. 6 пф.
От урожая у него остается . . . . .	1 15 —
Итак, ему нехватает . . . . .	10 тал. 1 гр. 6 пф.

«Далее, крестьянин должен платить сбор на пожарные общества, поставлять перекладных лошадей, давать подводы для нужд строительства и соседей, платить деньги для покрытия расходов деревни и еще по другим назначениям, должен платить жалованье прислуге, так как он по причине множества работ, тяготеющих над его двором, не может обходиться без батраков, которые составляют для него величайшую тягость; по этой же причине он должен держать и больше лошадей. Поэтому уменьшение этих повинностей было бы очень хорошей мерой».

Мы на минуту прервем здесь Родена и заметим, что под «другими назначениями» подразумевались весьма тяжелые повинности, как, например, пастьба кавалерийских лошадей на лугах сельских общин от июня до сентября, причем кавалерийские солдаты в это время зверски хозяйничали в доме крестьянина; далее, производившаяся в остальные месяцы года доставка фуража, за который, правда, немного платили, но который часто приходилось возить за много миль и кроме того грузить на воза с излишком, поступавшим в пользу начальника отряда (если не происходило еще каких-нибудь других вымогательств), и наконец сюда же относилось и уже упомянутое нами косвенное участие крестьянина в уплате городских акцизов. Далее Роден продолжает:

«В силу перечисленных здесь условий, крестьянин не мог бы существовать, если бы он не изыскивал других средств; так, например, на своей гуфе он сеет на одну треть больше того, чем сколько за ним числится облагаемой контрибуцией земли, зарабатывает деньги разведением скота и придумывает всякие другие способы, чтобы как-нибудь перебиться. Но он должен работать, не покладая рук, и всячески урезывать себя, если он

хочет честно прокормиться и как-нибудь прожить,—особенно если помимо принадлежащего ему участка у него нет никакого иного имущества, кроме жилого дома и надворных построек, которые он должен поддерживать в хорошем состоянии. Поэтому он не может выдержать никаких бедствий вроде недорода, градобития, опустошения полей мышами, наводнений и т. д., если ему не окажут помощи, дабы как-нибудь поддержать его. В обычных случаях ему дают ссуду из окружной кассы, в чрезвычайных же случаях на помощь к нему приходит государь и либо переводит округу деньги наличными, либо дает в натуре хлеб и семена».

Из этого мы видим, что обозначали все эти хваленые снижения налогов, денежные ссуды и ссуды зерном, с помощью которых Фридрих, якобы, повысил благосостояние крестьянства. Смысл их заключался лишь в том, чтобы сохранить существование крестьянина, без которого, разумеется, не могли жить ни король, ни юнкера, и удерживать его на узкой границе между голодной жизнью и голодной смертью. Это дает нам возможность так же правильно понять и хваленые зерновые магазины Фридриха, этот «цветок фридриховской хозяйственной политики», в котором он «ближе всего пошел к своему идеалу общего отца», как выражаются даже сравнительно беспристрастные исследователи. Фридрих воспретил вывоз зерна, чтобы удержать его цену на возможно более низком уровне; в одной из своих инструкций генеральной директории он требует, чтобы цена шеффеля ржи всегда держалась между восемнадцатью грошами и одним талером. Это делалось для того, чтобы его войско получало дешевый хлеб и зерновые магазины, учрежденные на случай войны, были наполнены; если эти магазины он использовал также и для того, чтобы доставлять крестьянскому населению хлеб и семена в тех случаях, когда голодная жизнь благодаря какому-нибудь стихийному бедствию грозила превратиться в голодную смерть, то подобный «социализм» в конце концов может вызвать только весьма умеренное почтение.

Но мы очень ошиблись бы, если бы описанного Роденом крестьянина из Темпельгофа под Берлином сочли наиболее жалким типом фридриховского крестьянина. В Бранденбургской марке процентная ставка контрибуции была наиболее низкой; там, где ставка эта повышалась до 50 процентов, как, например, в вестфальских владениях Фридриха, положение крестьянского населения соответствующим образом ухудшалось. Роден пишет по этому поводу:

«Принципы контрибуции в Минденской области таковы, что прежде всего с помощью присяжных таксаторов оценивается

годовая доходность всех земельных участков, садов и лугов; с этим сообразуется контрибуция, и с каждого талера дохода уплачивается 13 грошей контрибуции. С гуфы в 30 магдебургских моргенов в среднем причитается всего 19 талеров 5 грошей  $1\frac{1}{2}$  пфеннига, хотя в тех местах имеется много плохой земли; таким образом у земледельца остается с каждого талера 11 грошей. На это он должен содержать себя и свою семью, вести хозяйство, платить жалование слугам, платить аренду наследственному господину или землевладельцу и нести прочие тяготы; это было бы совершенно невозможно, если бы крестьянин не обращивался другими способами. В Минденской и Равенсбергской областях он вместе с женой, детьми и слугами посвящает каждый час, свободный от сельскохозяйственных работ, тканью полотна из льняной пряжи, что бывает особенно часто осенью и зимой, когда наступают зимние вечера; таким образом он старается прокормиться; в противном случае ему пришлось бы бежать, ибо в тех местах многие крестьянские дворы должны вносить больше налогов, чем сколько мог бы уплатить двор даже в самый благоприятный год».

Так говорит самый осведомленный административный чиновник фридриховского государства в официальном документе,—в отчете, с помощью которого он по приказанию короля должен был посвятить престолонаследника в финансовое устройство монархии.

Справедливости ради мы не умолчим, что, по словам Родена, Фридрих привлек дворянство к уплате контрибуции по крайней мере в двух завоеванных провинциях,—Силезии и Вестфалии; здесь ему не приходилось бороться с издавна установившейся властью юнкеров, да и кроме того, ввиду их связей с Австрией и Польшей, он должен был держать их в ежовых рукавицах. Но даже и в этой области, где фридриховская налоговая политика проявлялась в сравнительно наиболее выгодном свете, тенденция ее вовсе не заключалась, как утверждал сам король, в облегчении бедняков за счет богачей, а, наоборот, в отягощении бедняков ради богачей. Так, например, в Западной Пруссии, где ленная конная подать почти повсеместно отмерла, дворянин евангелического вероисповедывания платил 20, дворянин католического вероисповедывания (уж не это ли есть основная мысль Натана?)—25, а крестьянин— $33\frac{1}{3}$  процента контрибуции. Приблизительно так же обстояло дело и в Силезии\*.

\* На 587 стр. I тома «Капитала» (русское изд. 1931 г.) Маркс упоминает о жалком положении фридриховских крестьян и приводит несколько

Если мы противопоставим этим мучительным тяготам крестьян ту тщательную заботливость, с которой Фридрих в большинстве случаев охранял свободу дворянства от обложения, то придется только удивляться благородному нахальству придворных историков, болтающих о «крестьянском короле» Фридрихе и превозносящих Гогенцоллернов, защитников бедных людей; мы поймем тогда и все великолепие той «школьной реформы», которая хочет в этом именно духе преобразовать преподавание истории в германских школах. В этом отношении мы, «чувствительные» и «глубокомысленные» немцы, должны были бы скромно ступешаться перед «легкомысленными» и «поверхностными» французами. Ибо относительно их Маркс уже в 1869 г. с похвалой говорил, что они окончательно добились наполеоновскую легенду всем оружием научного исследования, критики, сатиры, остроумия. А ведь наполеоновская легенда — нечто совсем иное, чем фридриховская! Наполеоновское государство продолжает до сих пор существовать во всех основных областях, — в области военной администрации, в области внутреннего управления, в области финансов, юстиции и народного просвещения, — в том виде, в каком основал его первый консул в 1804 г., действовавший, конечно, не как великий человек, а как наследник конвента; а буржуазная конституция, пережившая три династии, три вторжения и даже три революции, могла бы с большим основанием привести к героическому культу человека, с именем которого она связана. Но фридриховское государство, которое под Йеной было разбито на тысячу кусков к бурному восторгу буржуазных и рабочих классов, обреченных в нем жить, и феодально-военный строй, унылые развалины которого тяготеют над современностью, как мучительный кошмар, давя всякое здоровое проявление жизни, — до сих пор находят свое отражение в легенде, с каждым годом все более и более бесстыдно культи-

фраз Мирабо, подавших повод прусским историкам упрекать Мирабо в тенденциозности. По приведенным выше причинам мы совершенно оставили в стороне работу Мирабо-Мовильона, но все-таки считаем нужным заметить, что слова Мирабо, мимоходом приведенные Марксом, изображают положение вещей далеко не в столь ужасном виде, как официальный отчет Родена. Те несколько слов, которые Маркс между прочим посвящает фридриховской «смеси деспотизма, бюрократии и феодализма», скорее смягчают, чем преувеличивают особенности этого странного образования. Если, например, Маркс говорит, что в большинстве прусских провинций Фридрих обеспечил за крестьянами право собственности, то на самом деле это правильно лишь в отношении государственных крестьян. 20 февраля 1777 г. Фридрих приказал «передать крепостным крестьянам, *живущим на государственных землях*, права наследственной собственности во всех тех местах, где этого еще не сделано». См. *Прейс*, 4.466.

вируемой в нашей богобоязненной и благочестиво-нравственной империи. Трезвая критика этой легенды уже считается изменой отечеству и оскорблением величества.

Конечно, сам Фридрих не несет за это ответственности. Он совершенно неповинен в наглой лжи нашего столетия, в идее так называемого «социального королевства», и если бы он мог прочесть благонамеренные писания нынешних историков, он, вероятно, даже не понял бы этого вздора. «Монархическая социальная политика», которую ставят ему в заслугу, диктовалась исключительно военно-политическими соображениями. Правда, отмена крепостного права входила в задачи абсолютистского королевства, стремившегося к этому не из гуманности, а в силу интересов класса князей. Крепостное право стояло, словно стена, между деспотом и большинством населения; пока оно существовало, крестьянами распоряжался юнкер, король же распоряжался ими лишь постольку, поскольку это разрешал юнкер. Мы уже видели, что это противоречие интересов между королем и юнкерством создалось и обострилось со времени учреждения постоянной армии; уже оба первых прусских короля распатывали основы крепостного права, и Фридрих-Вильгельм заявил, что «весьма благородно, если подданные хвалятся не крепостным правом, а свободой». Правда, он был настолько честен, что к кабинетским указам, в которых он рекомендовал властям «сохранять подданных», прибавлял слова: «чтобы государь получил свои подати». Благодаря поразительному усовершенствованию старого немецкого языка в новой Германской империи, эти слова истолковываются ныне фразой «социальное королевство Гогенцоллернов». Сам Фридрих в своих сочинениях отзывается с величайшим отвращением о крепостном праве, как о «варварском обычае», «отвратительном учреждении», но в то же время открыто признает, что отнюдь не намеревается покончить с ним. Это, конечно, нельзя ставить ему в упрек. Он не мог отменить крепостного права, если бы даже этого хотел. Оно было экономической клеткой общества, политическим представителем которого являлось прусское государство, и «первый слуга» этого государства не мог бы покушаться на него, подобно тому как не может зубец башни помышлять о сокрушении стены, на которой он покоится.

С одной стороны, этот вывод сам собою вытекает из общего положения, а с другой—подтверждается также и документальными данными. Один раз деспотическая мечта о величии победила здравый смысл Фридриха, и 23 мая 1763 г. он издал в Кольберге следующее распоряжение: «Все крепостные отно-



шения в деревнях, принадлежащих королю, дворянам и городам, с сего часа безусловно и без всяких рассуждений отменяются, а все те, которые стали бы сему оппонировать, должны быть приведены к повиновению, если возможно, добрым словом, а в случае их сопротивления и силой; они должны понять, что это решение его королевского величества клонится к пользе всей провинции». Вскоре после этого, 29 июня, верхнепомеранские земские чины собрались в Демине и послали королю докладную записку, в которой они, разыгрывая из себя оскорбленную невинность и непризнанных благодетелей крестьян, в то же время грозили «обезлюдением страны и дезертирством из армии», «ибо никакой крестьянин не в состоянии уплатить за двор, племенной скот и земледельческие орудия; о том же, что это будет предоставлено ему даром, никто из них не помышляет; следовательно, каждый будет думать о том, чтобы отправиться куда-либо в другое место». Хотя эта угроза была нагла и глупа,—ибо помещик не имел никакого права на крестьянский двор, да и кроме того этот двор был бы ему совсем ненужен без хозяйничающих на нем крестьян,—тем не менее ее было совершенно достаточно, чтобы парализовать короля. Ему не могли помочь ни сила, ни право, так как армией командовали юнкера и они же творили суд. Поэтому король присмирел, хотя во всех прочих случаях он твердо придерживался принципа никогда не отменять ни одного приказа, дабы не подвергнуть сомнению свою непогрешимость.

После этого королю пришлось ограничиться затяжной и мелочной борьбой, чтобы по возможности отстоять свои военнополитические интересы вопреки взаимоотношениям, сложившимся между помещиками и крестьянами. Сохранилось большое число кабинетских указов, направленных к этой цели. Он боролся с отобранием земли у крестьян, с «лишением крестьян хозяйства» и старался обеспечить крестьянам права наследственной собственности на их земельные участки. Можно даже сказать, что в этом отношении он был более дальновзорок, чем современное военное государство. Если это последнее с удивительным спокойствием созерцает, как в обширных фабричных округах калечится масса рабочего населения, то Фридрих очень часто выступал против вредных для здоровья приемов, практиковавшихся по отношению к крестьянам юнкерами и арендаторами государственных земель. Если современное военное государство упорно отказывается ограничить чрезмерную продолжительность рабочего времени и ввести установленный законом нормальный рабочий день, ибо в своей высокой мудро-

сти боялся причинить этим вред промышленности, то Фридрих уже в 1748 г. совершенно ясно понимал, что, как он говорит в инструкции генеральной директории, «при тяжелых и совершенно невыносимых повинностях помещик по большей части получает мало пользы, а крестьянин совершенно гибнет на глазах». Король требует поэтому произвести серьезное расследование, нельзя ли до известной степени освободить от этих столь губительных для крестьян обстоятельств крепостных государственных, городских и дворянских имений и нельзя ли устроить таким образом, чтобы крестьянин отбывал повинности не всю неделю, а работал бы на барском дворе не больше трех или четырех дней в неделю. Сначала против этого подымут крик, но так как простой человек не может выдержать повинности, продолжающиеся пять или даже шесть дней в неделю, и так как работа, выполняемая при таких обстоятельствах, производится им очень плохо, то необходимо раз навсегда принять против этого меры; все разумные помещики, как мы на это надеемся, согласятся без затруднений на это изменение числа барщинных дней, тем более, что они увидят, что если крестьянин немного отдохнет, то в меньшее число дней он сделает столько же и сработает больше и лучше, чем работал раньше в большее число дней». Это — неуклюже выраженная, но бесспорная истина, которую «гениальный» господин Бисмарк, как известно, никогда не мог понять и которую новый курс, установившийся в Германской империи, тоже, повидимому, все еще не понимает.

Эти и им подобные инструкции Фридриха не только звучат умно, но и действительно умны; тем не менее при оценке их не следует упускать из виду целого ряда обстоятельств. Во-первых, король борется не за крестьянина *против* юнкера, а *против* юнкера из-за владычества *над* крестьянином. Он хотел иного распределения выжимаемой из крестьянина прибавочной стоимости, такого, которое было бы более выгодно для него и, следовательно, менее выгодно для юнкерства; но если, например, пролетарий хотел повысить свою заработную плату за счет прибавочной стоимости, то Фридрих всегда оказывался на стороне наивозможно большей эксплуатации. Так, например, в уставе о батраках он грозил тюремным заключением не только лицу, получающему заработную плату выше таксы, но и лицу, ее дающему, причем «разумеется само собой», что заработная плата ниже таксы разрешается. А если крестьяне проявляли недовольство «невыносимыми повинностями» и «губительными обстоятельствами», то Фридрих не мог придумать

ничего иного, кроме того, что при таких условиях всегда придумывают великие люди и что Лютер придумал в шестнадцатом столетии, а Бисмарк — в девятнадцатом. Когда за год до смерти Фридриха силезские рабочие начали роптать, король написал министру силезской провинции фон Гойму: «Так как люди, живущие в горах, по большей части исповедуют евангелическую веру, то для успокоения их лучше всего послать туда проповедников, которые поговорили бы с ними и разъяснили бы все как следует... Вместе с тем старосты, особенно в горах, должны строго следить, не появляется ли какой-нибудь сброд из чужих мест, не устраивает ли собраний и не вбивает ли в голову простым людям всякие вещи; таких людей нужно тут же преследовать и, как только будут замечены малейшие беспорядки, сейчас же хватать их за уши и доставлять в суд». Приказ, как мы сказали, был издан в 1785 г. Если бы не эта дата, то можно было бы подумать, что он относится к 1878 г., когда впервые стало говорить о необходимости сохранения у народа религии, а вслед за этим сейчас же был проведен закон против социалистов. Во-вторых, следует сказать, что этой мелочной борьбой Фридрих достиг немногого. Наибольших результатов он все-таки добился в обеих завоеванных провинциях — Силезии и Западной Пруссии, где королю легче было справиться с юнкерами. Силезских землевладельцев, например, он заставил восстановить крестьянские хижины и житницы и снабдить крестьянские участки скотом и орудиями. Но и в данном случае его собственный интерес — забота о его кассах и рекрутах — была для него границей, которую он не решался перешагнуть. Кроме того, совершенно ясно, что когда он предоставлял силезским крестьянам право жаловаться правительству на *суровое* телесное наказание или когда он хотел смягчить в Западной Пруссии «польское рабство», «тяжелое польское ярмо» и изменить его на «пруссский лад», то эти слова имели и мало смысла, и мало практического значения. Более честные буржуазные историки нисколько не скрывают безуспешности и этих попыток. «Старые отношения остались в силе. Несмотря на все это, крестьянин оставался связанным, в массе своей прикрепленным к земле» (Прейс); «практически все это не принесло почти никаких результатов, — даже на государственных землях, где так легко было бы добиться успеха» (Рошер). Когда король за две недели до смерти запрашивал президента Кенигсбергской палаты, «нельзя ли освободить от крепостного состояния всех крестьян, живущих на моих государственных землях», — он этим самым подписывал справедливый приговор своей крестьянской политике.

Перейдем к третьему и последнему пункту. Если бы мы даже и считали мнимые заслуги Фридриха в деле освобождения крестьян столь большими, как это утверждают прусские византийцы, то и в этом случае они более чем перевешивались бы такими мероприятиями Фридриха, как законы о разделе общинных земель и о дележе общинных пастбищ; странно, что даже лучшие буржуазные историки, вроде Фрейтага и Рошера, смотрят на них как на своего рода социальную реформу, между тем как фактически они, выражаясь словами Рудольфа Мейера, сводились к тому, что общинные пастбища по большей части присоединялись к крупным имениям, и таким образом бедняки, хотя и получавшие иногда возмещения, лишались дарового пастбища, частично пролетаризировались и потом поступали на службу в качестве поместных дворовых». Это «ревностное устранение всех ограничений свободной земельной собственности, связанных со средневековым общинным устройством», сводилось на деле к пролетаризации крестьянского населения, и если Рошер видит в этом светлую сторону «той головы Януса», которую представляла аграрная социальная политика Фридриха, то трудно себе представить, насколько же была мрачна ее темная сторона\*.

При таких условиях легко объяснить упадок прусского земледелия при Фридрихе, который признают даже патристически настроенные историки. Хозяйство падало, несмотря на щедрые денежные подачки, которые Фридрих всегда держал наготове для «испытывающего нужду сельского хозяйства», другими словами — для юнкеров, и даже несмотря на его хваленые «колониализации». Его земельные улучшения, как, например, углубление русла Нетцы и Варты, осушение Дремлинга и Одербруха, а равно и многих других, более мелких болот в Померании, в Бран-

\* См. *Рудольф Мейер*, Приближение конца сельскохозяйственного крупного производства (*Neue Zeit*, II, 1, 304). Также *Рошер*, 399. Описание фридриховской социальной политики, данное Рошером, является все же наиболее беспристрастным в буржуазной исторической литературе. Подробности можно найти в кабинетских указах короля и отчасти в его сочинениях, а также в более старых прусских исторических сочинениях приблизительно до 1848 г. Новейшая литература, поскольку она пользуется архивными данными, не лишена ценности, но книги эти следует рассматривать как палимпсесты. Прежде всего следует отказаться от благочестивых восхвалений фридриховского «социализма», а затем выяснить, что можно взять из испорченного и стершегося первоначального текста. Конечно, есть и превосходные исключения, — так, например, книга Кнаппа, «Освобождение крестьян и происхождение класса сельскохозяйственных рабочих в более старых частях Пруссии», где автор во введении дает интересные подробности, иллюстрирующие безуспешность фридриховской крестьянской политики.

денбургской марке и в Магдебургской провинции—сами по себе, конечно, составляют наилучшую часть его экономической политики, и король с вполне основательным чувством гордости мог говорить, что здесь он завоевал во время мира новую провинцию. Но если его поклонники вкладывают в его душу фаустовскую мечту о том, чтобы жить на свободной земле со свободным народом, то это, конечно, является трагикомическим искажением действительности. Роден пишет об этом гораздо прозаичнее, но гораздо правильнее: «Всемиловнейшее намерение его королевского величества заключается в том, что если у городов или у дворян имеются пустоши и негодные земли и владельцы не в состоянии привести их в пригодное для земледелия состояние, то за дело должен взяться государь и за свой счет приспособить их для земледелия, построить дома и заселить их крестьянскими семьями; доходы с них будут идти городам и дворянству, земля же будет благодаря этому все больше и больше заселяться, а королевские кассы и государство будут получать от этого пользу». Больше всего выигрывало на этом дворянство, ибо городское землевладение по сравнению с дворянским имело очень небольшое значение. С устройством колонистов королю не очень повезло. Он брал на новые земли не младших сыновей местных крестьян, как советовали уже писатели того времени, а, следуя односторонней колонизационной политике своей меркантилистской системы, старался привлечь возможно больше людей из чужих стран. Но так как его деспотизм пользовался не очень хорошей славой и в пределах Германии, и за границей, то он должен был обещать переселенцам чрезвычайно большие привилегии по части освобождения от крестьянских и военных повинностей и налогов. Тем не менее и с помощью этих средств ему не удалось привлечь почти никого, кроме разного сброда. Вместо настоящих крестьян приезжали, как он однажды выразился, «парикмахеры и комедианты» или, как он жалуется в другом месте, «цирюльники, винокуры, торговцы съестными припасами, аптекари, повара, кондитеры, искатели счастья». Как-то раз он хотел даже сманить к себе турецких татар, обещая выстроить им мечеть. О колониях в Восточной Фрисландии старый Шлоссер пишет: «Туда приходил всякий сброд, и автор этого сочинения сам видел, насколько опасными для проезжающих стали, благодаря этому, все эти местности, уже и без того недоступные; он видел, как швыряли деньги, отпущенные скудным королем, и как жители его дорогостоящих колоний всего только через двадцать лет стали ужасом для коренных обитателей, вследствие их нищеты, грязи, лености и склонности к ни-

щенству, разбоям и убийству»\*. Таким образом 300 000 колонистов, якобы устроенные Фридрихом, были чрезвычайно сомнительной прибавкой к населению, и благожелательная попытка короля «вливать новую кровь в ленивую и сонную породу крестьян, испорченную крепостным правом, и показать стране пример хорошего хозяйства», не вполне заслуживает хвалебных гимнов патриотических историков.

Близорукость фридриховской внутренней политики ярче всего обнаруживается в таких областях, в которых он, как философ и поэт, мог бы проявить лучшее понимание своих обязанностей. Его отец был грубый человек, презиравший образование и науку, но и он понимал, что расширение познаний способствует поднятию благосостояния, а следовательно, и усилению финансов. Он основывал военные и народные школы и ввел всеобщую школьную повинность,—по крайней мере на бумаге. При Фридрихе постановка народного образования изменилась и значительно ухудшилась. Он очень мало заботился или, вернее, почти совсем не заботился о народных школах; правильное говоря, он просто-напросто убил их. Незадолго до заключения Губертусбургского мира он послал в Пруссию из Саксонии—этой классической в своем роде страны германского школьного образования—восемь учителей, четверо из которых получили место в Курмарке и четверо в Нижней Померании; вслед за этим, однако, король приказал предоставлять места школьных учителей солдатам-инвалидам, так что «если их предшественник не был вполне невеждой, то ученики оказывались более знающими, чем их учитель, посевший на военной службе». Все это не мешало представителям современного византизма прославлять Фридриха, как «героя просвещения в области народного образования» \*\*. Конечно, в этой области король не делал никакого различия между своими счастливыми подданными. Высшие школы находились в таком же жалком положении, как и народные. Чтобы убедиться в этом, стоит лишь просмотреть ничтожные бюджеты четырех прусских университетов. Доходы Дюисбургского университета составляли 5 678 талеров, Кенигсбергского университета—6 920 талеров,

\* Шлоссер, История восемнадцатого столетия, 2, 246 (есть русский перевод).

\*\* Так называет короля Вебер в своей «Всемирной истории». Положение народных школ при Фридрихе мы описываем лишь несколькими словами, так как эта сторона его правительственной деятельности весьма обстоятельно выяснена в превосходном и широко известном сочинении Зейделя.

университета во Франкфурте-на-Одере—12 648 талеров и университета в Галле—18 116 талеров. Жалованья профессоров были ничтожны, научные учреждения почти всюду находились в величайшем упадке\*. Об единственном величайшем человеке среди тогдашних прусских университетских преподавателей,—о Канте из Кенигсберга,—Фридрих не знал ничего; не следует, впрочем, забывать, что главное произведение Канта, начавшее новую эпоху, появилось только в 1784 г. и стало известно широкой публике лишь в 1789 г., после смерти Фридриха. Об единственном университетском преподавателе, которому Фридрих дал приличное и даже блестящее место, мы не знали бы ничего, если бы Лессинг не обеспечил этому тайному советнику Клотцу из Галле незавидное бессмертие, назвав его интриганом и невеждой первого ранга. При этом подданные прусского государства должны были довольствоваться этими четырьмя центрами научных знаний, пришедшими в полный упадок; согласно неоднократным приказам Фридриха, слушание лекций в не-прусских университетах, если даже оно продолжалось не более четверти года, наказывалось пожизненным лишением права занимать все церковные и гражданские должности, а для дворян влекло за собою даже конфискацию имущества.

Только одну единственную область внутреннего управления Фридрих действительно реформировал или по крайней мере старался реформировать. Эта область—правосудие—была чрезвычайно важна. Немедленно по своем вступлении на престол Фридрих отменил пытки; далее, он уничтожил «позорный обычай» продажи должностей в отношении всех чиновников, особенно же в отношении судей; он постановил, чтобы все судей-

\* *Прейс*, 3, III и сл., и более подробно—*Мартин Филиппсон*, История прусского государственного управления от смерти Фридриха Великого до освободительных войн (*Martin Philippson, Geschichte des preussischen Staatswesens vom Tode Friedrichs des Grossen bis zu den Freiheitskriegen*), I, 133 и сл. В свет вышли только два первых тома этого сочинения, заканчивающиеся смертью Фридриха-Вильгельма II; после их опубликования прусские архивы были закрыты для автора вследствие его вредной тенденции. Его тенденцию можно упрекнуть лишь в том, что она проникнута слишком односторонним прусско-патриотическим духом. Господин Филиппсон превозносит «поистине социалистическую заботливость Фридриха», да и вообще полон иллюзий насчет фридриховской эры. Но все-таки придворным историком его назвать нельзя. Он не старается намеренно затушевать отвратительные и печальные вещи, которые находит в документах, а открыто сообщает их, чтобы настоящее училось по ошибкам прошлого. Само собою разумеется, что для чистой науки новой Германской империи это совершенно старомодное представление кажется тенденцией, достойной наказания.

ские доходы шли не в пользу судьи, разбиравшего данное дело, а в общую кассу. Далее, он старался ускорить судебное разбирательство, выставив принцип, что каждое дело должно быть окончательно решено в течение года. Наконец, он хотел обеспечить суду независимость и неоднократно высказывался против всякой кабинетской юстиции. Но, разумеется, и здесь дело обстояло далеко не так идеально, как об этом говорит французская басня о мельнике из Сансуси. Правда, Фридрих писал, что законы должны говорить, а государь должен молчать, но действовал он очень часто в совершенно обратном духе. Как философ, он считал соблюдение закона наиболее прочной основой королевского суверенитета, но, как король, он считал себя обязанным вмешиваться во всех тех случаях, когда, по его мнению, суды решали дело неправильно. Благодаря этому кабинетская юстиция его отца опять восстановилась.

Суть просвещенного деспотизма заключается в том, что просвещенный деспот даже тогда или, вернее, именно тогда вращается в порочном кругу, когда он действительно хочет содействовать культурному прогрессу. Фридрих ненавидел «юстицию в старом духе», которая, по его верному выражению, помогала только богачам,—эту отчасти продажную, отчасти тупую юстицию своего отца, раздававшего судебные должности за взносы в рекрутские кассы, а иногда действовавшего по принципу, что претенденты «с головой» должны посылаться на административные должности, а «дурачье»—на судейские. Фридрих прекрасно понимал, что для создания «быстрого и беспристрастного, скорого и солидного суда» необходимо совершить геркулесовский подвиг, очистить настоящие Авгиевы конюшни. Но он выводил из этого заключение,—с точки зрения просвещенного абсолютизма не безосновательное,—что он «сам должен вмешиваться», быть на посту и принимать меры всякий раз, как в дело грозит вмешаться интрига, а такой образ действий неизбежно опять приводил к бессудной кабинетской юстиции.

Королю в сущности нельзя ставить в упрек, что в первой инстанции он сохранил вотчинный суд, отдававший крестьян в руки юнкеров и заменявший, по словам одного современника, «ученость палкой». В силу указанных выше причин он ничего не мог бы в этом изменить, сколько бы ни старался. Но Фридрих никогда не пытался вводить принцип независимой юстиции даже в государственных судах высших инстанций и всегда отвергал положение, что судьи должны отрешаться от должности не по произвольному приказу короля, а по судебному решению. Так, например, Кокцей, правая рука короля во всех



судебных вопросах, разогнал однажды без всякого разбирательства весь состав судебной палаты за исключением двух советников, хотя среди членов ее имелись люди, безукоризненно исполнявшие свои обязанности в течение целых десятилетий, и хотя против них не выдвигалось никаких обвинений; он это сделал исключительно для того, чтобы передать освободившиеся вакансии своим креатурам. Здоровое отвращение Фридриха к судебным проволочкам мало-по-малу превратилось у него в навязчивую идею, что окончание каждого процесса в течение года есть основной признак не только «скорой» но и «солидной» юстиции; устав судопроизводства, который было поручено составить Кокцеи, озаглавлен: «Проект фридриховского процессуального кодекса для Бранденбургской марки (*Codicis Fridericiani Marchici*), согласно которому все процессы должны в течение одного года быть закончены во всех инстанциях». Для достижения этой цели Фридрих обошел обычные суды и учредил чрезвычайные комиссии (*Immediat-Kommissionnen*); в кабинетском указе от 11 мая 1747 г. он «с истинным удовлетворением» констатирует, что одна из таких комиссий, действовавшая под председательством Кокцеи, в течение года «окончательно решила» в Штеттингском гофгерихте 1600, а в Кеслинском гофгерихте 720 дел. Как разбирались дела в этих скоропалительных судах, достаточно показывают локонические слова министра юстиции Ярригеса: «Марш! Что упало, то пропало». Причину судебных проволочек Фридрих не без основания видел в тогдашней адвокатуре, которую жестоко преследовал его отец и в ряды которой благодаря этому попадало немало подозрительных субъектов. Но улучшению адвокатского сословия мало помогло, когда Фридрих наряду с многими другими разумными распоряжениями предписал, чтобы в случае злоупотреблений адвоката немедленно лишали адвокатского звания, ибо в этой мере он видел главное средство воздействия; если даже никаких поводов не имелось, то время от времени из адвокатуры исключались отдельные лица для острастки остальных. Так, например, в 1775 г. из адвокатуры было исключено семь человек.

Король считал себя высшим судьей, который передает другим часть своих судейских полномочий лишь вследствие практической невозможности лично решать каждый отдельный правовой вопрос, и в своей королевской воле видел единственный источник, до некоторой степени оплодотворяющий пустыню писаного и обычного права. Это воззрение он старался по мере возможности провести практически, главным образом в области уголовного права. Во всех важных делах решения должны были

выноситься королевскими судами и, если дело шло о более или менее значительном наказании, подлежали утверждению короля. Арестанты принимались в крепости лишь на основании королевского приказа. В этом отношении Фридрих никогда ничего не менял, полагая, что таким образом он лучше всего защитит своих подданных от притеснений; он имел даже в виду смягчить отвратительные наказания старого кодекса императора Карла, все еще входившие в состав прусского уголовного права. Но министр юстиции фон Арним, бывший начальником уголовного департамента, прекрасно знавший положение дел и кроме того восторженно относившийся к королю, после смерти Фридриха подробно описал в одном из своих сочинений, как мало было достигнуто в этой области. Король не желал считаться ни с какими принципами, часто действовал под влиянием каприза и в большинстве случаев только усиливал то зло, которое хотел устранить.

Перейдем к наиболее известной из его судебных реформ—к отмене пытки. Пытка была бессмысленной и ненужной жестокостью не в том смысле, что она была изобретена злыми или глупыми людьми и являлась таким институтом, который вдумчивые и хорошие люди должны были уничтожить без дальних разговоров. Она являлась завершением тогдашнего уголовного процесса, так как по закону без признания обвиняемого налагать наказание было нельзя; поэтому суд должен был применять пытку, дабы вырвать у обвиняемого необходимое для осуждения признание, если даже преступник по убеждению суда был совершенно изобличен. По этой причине даже Томазий не решался безусловно осудить пытку. Если Фридрих действительно желал искоренить этот варварский обычай, он должен был законодательным путем реформировать уголовный процесс. Но как раз об этом он совершенно не думал и решал дела от случая к случаю, убежденный, что в каждом отдельном случае он вынесет правильное решение. Как-то раз разыгрался инцидент, обративший на себя всеобщее внимание: невинность обвиняемого была установлена как раз в тот момент, когда его вели пытать. Этот случай побудил Фридриха издать приказ, чтобы суды выносили решения, не прибегая к пытке. Но в другом деле, в котором несомненно виновного преступника нельзя было осудить вследствие отрицания им своей вины, король приказал добиться признания палками. Таким образом пытка была восстановлена в новой и более опасной форме. Раньше она применялась лишь на основании формального постановления королевских судов, а теперь каждый следственный судья получал право бить обви-

няемого палками сколько душе угодно; «следователи не нуждались для этого ни в каких разрешениях высших инстанций и так энергично стали применять столь желанное средство, что скоро произошло несколько возмутительных судебных убийств»\*.

Принцип, что воля короля есть высший закон, приводил к весьма своеобразным последствиям. В одних случаях король с тщеславной самонадеянностью старался расшатать органические основы исторического развития и терпел неудачу, в других он разрушал или уничтожал вместо того, чтобы создавать. Иногда он довольствовался той свободой действий, которой пользовался тогда класс князей, и в этих случаях выказывал себя не сыном неземной мудрости, а весьма земным продуктом классовых интересов. Человек, сомневающийся в том, что формы духовной жизни определяются условиями материальной жизни, должен изучить фридриховскую систему уголовного права; этот пример тем более доказателен, что король смотрел на свою судебную реформу чрезвычайно серьезно и ни в какой другой области своей государственной деятельности не проводил с такой настойчивостью своих философских взглядов. Его нравственный и уголовный кодекс в вопросах так называемых половых преступлений отражает с почти карикатурной остротой его политику заселения. Он воспретил налагать на падших девушек церковную епитимию и воспретил упрекать их за их падение. Правда, в тех случаях, когда человек погрешал в половой области, он разрешал двум проповедникам обличать его в содеянном грехе, но прибавлял при этом, что «они не должны шуметь и браниться» и что никакой священник не должен об этом рассказывать под страхом отрешения от должности; на все то, что ему сказано, священник должен смотреть так, как если бы это было сказано во время исповеди. В случаях кровосмешения, доходивших до суда, он давал полное помилование; характерно, однако, что когда один муж при жизни жены совершил грех с дочерью, Фридрих отказал в помиловании на том основании, что это «слишком уж грубо». Он столь снисходительно относился к половым преступлениям, что, когда один из кавалеристов был присужден к смертной казни за мужеложество, он кассировал приговор и написал на полях: «Этот парень—просто свинья; сдать его в инфантерию». Он отменил смертную казнь, полагавшуюся за аборт, чтобы виновная мать могла впоследствии искупить свое преступление размножением рода челове-

\* «Положение права Пруссии в старое и новое время», «Preussische Jahrbücher», 5, 390.

ческого. Он не только не наказывал за двоеженство, но и юридически признавал его, как, например, в деле генерала Фавра. Как известно, самому Фридриху и одной жены было слишком много, и было бы смешно объяснять его юридическую и моральную снисходительность к половым преступлениям его личной порочностью\*.

В резком противоречии с этим мягкосердечием и в то же время в полном согласии с ним стояла варварская жестокость фридриховской юстиции, поскольку дело шло не о поставке человеческого материала, а о его тренировке для деспотических целей. При военных и политических преступлениях, хотя бы они являлись таковыми лишь с точки зрения тогдашнего государственного понимания, Фридрих не отступал перед самым грубым нарушением правовых форм и перед самыми ужасными наказаниями. В этой области он считал себя неограниченным властелином над свободой и жизнью своих подданных; если это ему было удобно, он лишал людей свободы и жизни по собственному произволу и до чрезвычайности усиливал судебные приговоры, подлежащие его утверждению. Когда один полковник, ввиду смягчающих обстоятельств дела, просил о смягчении суровой статьи военного устава, король наотрез отказал в его просьбе; за мнимое распространение изменнических слухов он приказал обезглавить в Шпандау тайного советника Фербера без всякого судебного разбирательства и выставить его голову на колу. Чем более старел король, тем менее сдержанной становилась его кабинетская юстиция. Чтобы хоть до некоторой степени предотвратить ее, судебная палата по возможности старалась не приговаривать людей к заключению в крепости; в одном случае она предотвратила судебное убийство, которое должна была совершить по приказу короля, только тем, что оттянула окончательное решение дела до смерти Фридриха.

\* Следует, однако, заметить, что, несмотря на эту снисходительность, король не решался ссориться с католической церковью из-за церковных наказаний, налагаемых ею за нарушение церковных постановлений относительно брака. Фридрих был слишком умен, чтобы вести такую «гениальную» политику, которую проводил господин Бисмарк во время «борьбы за культуру». Он сейчас же обуздывал излишнее рвение своих чиновников в этом отношении и издал приказ: «Если они (католические священники) отказывают сказанному Бергмейеру в отпущении грехов и в причастии, то этим они отнюдь не нарушают наших прав в отношении наказаний за брачные преступления, а лишь отказывают жалобщику в таком удовольствии, на которое он сам потерял право, вследствие заключения брака, запрещенного римской церковью, и которого он не может требовать, пока он состоит членом этой церкви».

В деле мельника Арнольда — наиболее известном случае фридриховской кабинетской юстиции — проявились различные соображения. Юстиция, как будто энергично отстаивавшая крестьянские права от покушения юнкеров, была превосходным средством, чтобы привлечь крестьян-переселенцев из-за границы, и в то же время являлась весьма неприятным предупреждением для слишком патриархального юнкерского вотчинного суда. При этом Фридрих весьма хорошо помнил границы своей власти. В одном отдельном случае он нарушил закон, чтобы помочь отдельному крестьянину; но когда толпы крестьян стали осаждать его замок и перед окнами короля выставляли напоказ судебные приговоры, еще более несправедливо нарушавшие их права, чем в деле с мельником Арнольдом, король оказался не в состоянии помочь им. К этому знаменитому делу примешались еще военно-политические соображения. Свою жалобу мельник Арнольд сумел довести до сведения короля через военные инстанции, и Фридрих поручил рассмотреть дело какому-то невежественному полковнику. Согласно его докладу, он касировал приговор судебной палаты, решившей дело не в пользу мельника, причем проявил необычайную грубость по отношению к суду, а затем написал министру фон Зедлицу, который отказывался обосновать этот насильственный акт: «Эти сутяги ничего не понимают. Если солдаты получают приказ и начинают что-нибудь расследовать, то они идут прямым путем и добиваются до самой сути. Вы можете быть уверены в том, что честному офицеру, дорожающему своей честью, я поверю больше, чем всем вашим адвокатам и судьям»\*.

Итак, мы охарактеризовали в общих чертах просвещенный деспотизм Фридриха и выяснили его внутренние причины, его возможности и пределы его возможностей. Если при этом мы не могли избежать некоторых подробностей, то зато вывод из всего этого можно изложить весьма кратко. Доказывать, что этот

\* В деле мельника Арнольда прусские миротворцы по большей части не уклоняются от истины, и потому остается только пожалеть, что Дюринг в своей книге «Дело, жизнь и враги» (*Dühring, Sache, Leben und Feinde*), на стр. 394, издевается над ними «за их трусливо скрываемую, но достаточно ясно проглядывающую злобу по отношению к каждому действительному подвигу оригинального короля». Можно еще скорее понять, когда в наше время какой-нибудь патриотический прусский судья, хорошо чующий эпоху, хвалит этот спасительный социальный подвиг короля, не считавшегося с формальной стороной закона. Впрочем, свое насильственное выступление и сам Фридрих, повидимому, вскоре признал таковым и не переменял своего решения только потому, что не хотел ронять свой авторитет. Интересные подробности сообщает относительно этого *Прейс*, III, 522.

просвещенный деспотизм не имел ничего общего с веком гуманности, путь к которому впервые проложил Лессинг, значило бы ломиться в открытую дверь. На терновнике не могут расти фиги.

Нам еще остается рассмотреть с этой точки зрения дипломатию и военную политику Фридриха.

### VIII

#### Дипломатия и военная политика Фридриха

Внешняя политика прусского военного государства предопределялась самыми условиями его существования. Оно не могло существовать сколько-нибудь долгое время, пока опиралось только на отделенные друг от друга провинции Бранденбург и Восточную Пруссию, если не считать еще двух маленьких кусков земли на Рейне; в довершение всего Восточная Пруссия находилась еще в вассальной зависимости от Польши. Страхнуть это ярмо, обеспечить Пруссию независимое положение между Польшей и Швецией, добиться господства в Балтийском море, служившем яблоком раздора между обеими державами, завладеть другими колонизованными ост-эльбскими землями, особенно Померанией и Силезией, обладание которыми отдавало в руки Пруссии и торговлю, и политическое влияние в бассейне Одера, и таким образом создать экономически и политически округленное государство,—такова была внешняя политика прусской военной державы, намечавшаяся и до некоторой степени проводившаяся сама собою. Большая или меньшая «гениальность» отдельных государей имела здесь значение лишь постольку, поскольку она давала им возможность более или менее правильно понять необходимый ход вещей и предоставляла им на выбор, выражаясь словами латинской поговорки, одно из двух: либо руководиться судьбою, либо тащиться за нею.

Мы видели, что уже курфюрст Фридрих-Вильгельм составил план завоевания Силезии и считал, что к этому завоеванию необходимо приступить тогда, когда угаснет габсбургская династия. Сам он прежде всего приобрел суверенитет над прусским герцогством,—обстоятельство, на основании которого его преемник, Фридрих I, объявил себя королем. С этой целью курфюрст вмешался в польско-шведские войны из-за господства над Балтийским морем, становясь то на одну, то на другую сторону и проявляя такое безразличие в выборе средств, которое вгоняет в дрожь даже бранденбургских придворных историков. Впоследствии курфюрсту удалось завладеть большей

частью Померании, почти лишенной гаваней, передняя же Померания и Штеттин оставались в руках шведов. Два раза обстоятельства сложились так, что и эта часть Померании была как будто в руках курфюрста, и оба раза—в результате Вестфальского мира и Сен-Жерменского мира—он к своей величайшей досаде должен был от нее отказаться. Уже в 1646 г. он объявил, что от Одера он не откажется, если только не погибнет его династия, и шаг за шагом завоевывал устья Одера. Однако нужды бранденбургско-прусского государства понимал не только он, но и его противники. Как ни бесспорны были наследственные права курфюрста на всю Померанию, Франция, Австрия и Швеция упорно не желали признавать их. Вместо того, чтобы обеспечить курфюрсту господствующее положение на Балтийском море, они предпочитали заткнуть ему рот уступкой Каминского, Гальберштадтского и Минденского епископств и предоставлением преимущественного права на архиепископство Магдебургское, то-есть такими владениями, которые и по размеру и по культуре намного превосходили отторгнутую от Фридриха часть Померании\*. Тем не менее курфюрст подписал Вестфальский мирный договор, скорбно при этом заметив, что он желал бы не уметь писать. Только его внуку, королю Фридриху-Вильгельму I, удалось завладеть Штеттином, устьями Одера и частью передней Померании, воспользовавшись поражением шведского короля Карла XII.

Мужская линия Габсбургского дома угасла в 1740 г., через несколько месяцев после вступления Фридриха II на престол. Король немедленно вторгся в Силезию, не дожидаясь даже, пока Мария-Терезия отклонит его предложение о мирном удовлетворении бранденбургских наследственных притязаний на отдельные части этой страны; это не было ни гениальной мыслью, ни «революционным восстанием»,—это было просто результатом неуклонно проводившейся политики прусского военного государства. Вполне понятно, что об этих наследственных притязаниях Фридрих всегда говорил с иронией; он просто хотел использовать единственный в своем роде случай и так округлить прусское государство, чтобы по мере роста военного могущества великих держав его армия могла до некоторой степени идти нога в ногу с ними. Он прекрасно понимал, что его наследственные притязания не произведут впечатления в Вене, и предъявил их только по тактическим соображениям,—

\* Подробности об этом можно найти у *Штенцеля*, История прусского государства, 2, 47 и сл. (*Stenzel, Geschichte des preussischen Staates*).

отчасти, чтобы придать «правовую» видимость своей завоевательной политике, отчасти, чтобы успокоить сомнения маршала Шверина и министра Подевилльса; поэтому не стоит подробно объяснять, почему он занял Силезию прежде, чем из Вены был получен окончательный отказ. Но эти «мирные» переговоры являются лишним и весьма убедительным доказательством, опровергающим всякую мысль насчет «революционного восстания»; если бы Мария-Терезия согласилась на предложение Фридриха (обеспечение ей денежной и военной помощи против ее врагов и подача бранденбургского курфюрстского голоса в пользу ее супруга на выборах римского императора) и если бы она уступила ему за это хотя бы только Нижнюю Силезию, то Фридрих всеми силами стал бы поддерживать «габсбургское чужеземное господство» или как еще оно там называется. Когда в Вене ему ответили отказом, он должен был решиться на войну, которая никоим образом не могла превратиться ни в «революционное восстание» ни в «патриотическую реформу империи». Ибо если габсбургская империя, существовавшая по милости папы, была тенью, то виттельсбаховская империя, поддерживаемая Францией, за которой, якобы, шел Фридрих, была в лучшем случае лишь тенью тени. Наоборот, союз с Францией, направленный против габсбургской империи, был старинной традицией бранденбургского дома: ведь курфюрст Иоахим I в 1519 г. в договоре пообещал передать германскую корону французскому королю Франциску IV, а курфюрст Фридрих-Вильгельм в 1679 г. — французскому королю Людовику XIV\*.

Ко всему этому присоединяется то удивительное обстоятельство, что Силезию завоевал в сущности не Фридрих, а его отец, этот верный императору и империи государь, бывший долгие годы посмешищем всей Европы, так как его водил на помочах посланник императора Зеккендорф. В битве при Мольвице, весьма неудачно начатой, Фридрих малодушно и преждевременно бежал после нескольких успешных атак австрийской кавалерии на прусские кавалерийские отряды, но прусская пехота, вымуштрованная Фридрихом-Вильгельмом I и князем Дессау, стояла, как стена, и обеспечила удачный исход сражения, причем искусство высшего командования не играло сколько-нибудь заметной роли. Столь же неудачно было и первое выступление Фридриха в качестве дипломата. При заключении Клейншнеллендорфского договора Фридрих предал Австрии

\* Дройзен, История прусской политики (*Droysen, Geschichte der preussischen Politik*), 2, 2, 68 и сл. Ранке, Происхождение и т. д., 335 и сл.



своего французского союзника и ради «передачи одной единственной крепости, к тому же почти неспособной к сопротивлению»\*, дал возможность австрийскому войску ринуться на французских союзников Пруссии, которые, как он сам признается в своих воспоминаниях, не дали никакого повода для нарушения союза. Чтобы понять значение этого факта, не приходится терять много слов: Франция и Пруссия были одинаково заинтересованы в ослаблении Австрии, — при том, однако, условии, чтобы собственный союзник не слишком усилился благодаря этому. Трудно сказать, кто кого подвел — Фридрих француз или они его, — и возмущение современников насчет «бесчестности» Фридриха в большинстве случаев проистекало не из чувства нравственного возмущения, а из уязвленного самолюбия плута, которого оставил в дураках другой плут. Фридрих уже знал крылатое словечко Гете и в письме к Подевильсу пересказывает его своими словами: «Если уж людям непременно надо оставаться в дураках, так пусть лучше плутами (fourbes) будем мы». Но Клейншнеллендорфский договор был плутовством, в результате которого дураком оказался Фридрих, желавший оставить в дураках других; а между тем дипломат не может сделать худшего промаха, как изменить союзнику без сколько-нибудь значительных для себя выгод, но к большой выгоде общего врага. Тогда-то Фридрих и навлек на себя упрек, — не оправдывавшийся его позднейшей дипломатией, — что ради самых ничтожных выгод в настоящем он готов поступиться величайшими выгодами в будущем. Более обоснованной представляется вторая измена Фридриха своим союзникам, — заключение сепаратного Бреславльского мира, в силу условий которого Мария-Терезия — главным образом по настояниям английской дипломатии — уступила ему Силезию, чтобы поскорее отделаться от наиболее опасного врага и развязать себе руки по отношению к прочим противникам. В основе этого мира лежали, следовательно, тщательно скрываемые планы будущих действий.

Эти планы носились в воздухе, и потому вполне понятно, что в 1744 г., когда Мария-Терезия во все еще продолжавшейся войне за австрийское наследство одержала ряд блестящих побед над Францией и виттельсбахским призрачным императором, Фридрих заключил новый союз с Францией и, как вассал Германской империи, привел свои «союзные народы» на помощь тяжело оскорбленному и униженному императору. Но и на этот

\* Козер, Король Фридрих Великий, 1, 153.

раз он совершил большую дипломатическую ошибку: в тайном соглашении он выговорил в пользу прусского государства значительную часть богемского королевства, которое он должен был завоевать для императора. Тайна эта вскоре стала известной, и моральный и политический престиж короля оказался подорванным, а надежды его — несбыточными. В этом случае, как и в некоторых других, король переоценил свои действительные силы. Ибо если Силезию в силу ее географического положения и условий ее экономической жизни было чрезвычайно легко включить в состав Пруссии, то задача эта была совершенно неразрешима даже в отношении части богемской территории. Завоевание этого королевства принесло Фридриху много горьких минут. На этот раз французские союзники бросили его на произвол судьбы, и старый маршал Траун, которого Фридрих с похвальной откровенностью всегда признавал своим учителем в военном деле, прогнал его через силезскую границу и довел прусскую армию почти до полного разложения. Зима 1744—1745 г. была для Фридриха исключительно тяжелым моментом; подобно тому как, по свидетельству иностранных посланников, он сделался благодаря ей зрелым человеком, точно так же во время нее он и внутренне освободился от всех тех иллюзий, которые порождались честолюбием, погоней за славой или, как он однажды выразился, «тайным инстинктом», и до сих пор так вредили ему в области внешней политики. В 1745 г. он восстановил свою армию и нанес австрийцам и саксонцам целый ряд поражений в больших битвах и мелких стычках (при Гегенфридберге, Сооре, Католиш-Геннерсдорфе, Кессельсдорфе); тем не менее в конце года, к изумлению уязвленной Франции и к неменьшему изумлению Австрии, сначала не верившей ему, а потом обрадованной, он стал просить о заключении второго сепаратного мира при условии закрепления за ним Силезии. Когда это условие было выполнено, он возвратился в свои земли, твердо решившись до конца своих дней «не нападать больше ни на одну кошку».

Не подлежит ни малейшему сомнению, что король относился к этому решению весьма серьезно. Правда, одиннадцать лет спустя, когда разразилась Семилетняя война, его сейчас же стали упрекать в том, что он взялся за оружие из честолюбия и ради определенных целей; это обвинение кажется тем более обоснованным, что оно впервые было выдвинуто собственными братьями Фридриха и втайне поддерживалось большинством его министров и генералов. Его внезапное нападение на Саксонию и беспощадное разграбление этой страны также кажутся

вероломным нарушением мира. Но на этот насильственный акт король решился весьма неохотно и лишь под давлением непреодолимых обстоятельств. Благодаря измене австрийских и саксонских чиновников он уже много лет получал документальную информацию насчет переговоров, которые велись между Австрией, Саксонией и Россией и цель которых заключалась в том, чтобы неожиданно напасть на него и сломить растущую мощь прусского государства. Что переговоры эти действительно велись, не подлежит теперь, да и тогда не подлежало ни малейшему сомнению, но прусские принцы считали их воздушными замками, которые, может быть, остались бы пустыми словами, если бы не преждевременное выступление короля. Конечно, это было возможно, и сам Фридрих вполне считался с этой возможностью, ибо хотя он в течение многих лет с неусыпной бдительностью следил за австрийско-саксонско-русскими переговорами, он в то же время сохранял невозмутимое спокойствие. Но возможно было и обратное, и Фридрих не мог допустить, чтобы эта возможность стала действительностью, так как это поставило бы его в чрезвычайно затруднительное положение. Опасение превратилось в уверенность, когда столкновение экономических интересов англии и Франции в североамериканских колониях привело к открытой войне, которая неизбежно должна была вызвать войну внутри Германии, ибо было совершенно очевидно, что Франция нападет на Ганновер, как на наиболее уязвимый пункт английского королевства. Срок франко-прусского союза истек в июне 1756 г., и попытки Фридриха возобновить его кончились неудачей. Дружеское расположение Марии-Терезии к Помпадур и нелюбовь к ней Фридриха были тут не при чем, так как при решении крупных политических вопросов даже в абсолютистской Франции восемнадцатого столетия подобные вещи играли совершенно второстепенную роль и, выражаясь судебным языком, являлись лишь «привходящими обстоятельствами»\*. Суть в том, что при заключении союза обе

\* Так как работы буржуазных историков часто уделяют большое место этим рассказам, то и мы должны мимоходом коснуться их, поскольку они бросают некоторый свет на историю нравов восемнадцатого столетия. В письме к саксонской кронпринцессе Марии-Антонии сама Мария-Терезия отрицала личную переписку с Помпадур, и простого утверждения такой благородной и безукоризненной в личном отношении женщины, как Мария-Терезия, совершенно достаточно для того, чтобы опровергнуть туманные сплетни на этот счет, передаваемые в мемуарах Дюкло, Монгальера, Ришелье, и даже более определенные заявления фон Гормайра в его «Справочнике по отечественной истории» 1811 г. Если даже австрийские посланники и министры ухаживали за Помпадур, чтобы взорвать

стороны не сошлись. Хотя при французском дворе существовала сильная партия, которая, в согласии с традициями Ришелье и Мазарини, видела в раздробленности, Германии источник французской мощи и желала сохранить союз с Пруссией, направленный против габсбургской империи, и хотя ей удалось настоять на посылке в Берлин специального посланца для ведения переговоров,—посланец этот, герцог Нивернуа, предъявил такие большие требования и так мало предлагал с своей стороны, что Фридрих не смог пойти на эту сделку. Так, например, в вознаграждение за помощь прусской армии в грозящей войне с Англией, герцог предлагал Пруссии остров Табаго, в ответ на что Фридрих насмешливо и вполне основательно заметил: «Остров Табаго? Вы, вероятно, хотите сказать остров Баратария, но в качестве Санчо Пансо я для него не гожусь». В то время прусская политика еще не научилась велеречивым фанфаронадам господина Бисмарка, полагающего, что поднять флаг над каким-нибудь тропическим песчаным холмом или болотом—значит совершить великий национальный подвиг.

Чтобы не оказаться совершенно изолированным, Фридрих 16 января 1756 г. заключил с Англией Вестминстерскую конвенцию о взаимном нейтралитете, согласно которой обе стороны соглашались прогонять силой оружия всякую вооруженную не-германскую державу, вступающую на германскую землю. В ответ на это 1 мая того же года последовало заключение фран-

франко-прусский союз, то они делали то же самое, что делал за двенадцать лет до этого при заключении франко-прусского союза прусский посланник граф Ротенбург; разница заключалась лишь в том, что в 1744 г. королевская любовница называлась не Помпадур, а Шатору. Господин Козер, которого недавно прусские адвокаты привлекали на процессы об оскорблении величества в качестве «объективного и научного эксперта» по вопросам прусской истории, рассказывает (см. I, 219), что «граф Ротенбург не раз обедал по вечерам у герцогини Шатору в компании одного лишь короля». Затем он прибавляет: «Как могла герцогиня отказать в помощи рыцарственному посланцу прусского короля, раз этот посланец, подобно ей самой, апеллировал к наиболее благородным страстям короля Людовика?» Разумеется, она не могла ему в этом отказать, и, таким образом, в результате «бесед наедине» возник франко-прусский союз 1744 г., оказавшийся для Пруссии прелюдией ко второй силезской войне, а для Франции—поводом для возобновления войны за австрийское наследство, которой присутствие на театре военных действий Людовика XV,—подсказанное, выражаясь словами Козера, «наиболее благородными страстями короля»,—должно было придать особую стремительность.

Уже из одного этого ясно, что презрительное отношение Фридриха к Помпадур отнюдь не вызывалось мелкобуржуазными понятиями о приличиях,—слабостью, которой он совсем не грешил. Наоборот: если, судя по словам Валлори и Вольтера, *до Семилетней войны* Фридрих презрительно отзывался о Помпадур (во время тяжких затруднений, порожденных этой

ко-австрийского оборонительного союза, и Австрия начала крупные вооружения. Фридрих дважды посылал в Вену дипломатические запросы относительно цели этих вооружений, а затем запросил, может ли он быть уверенным в том, что в этом и в следующем году Австрия не нападет на него. Оба раза он получал уклончивые, ничего не говорящие и даже насмешливые ответы. В силу своеобразной структуры прусского военного государства он не мог больше медлить ни минуты. По меткому сравнению Карлейля, меч Фридриха был несравненно короче, чем меч Франции и Австрии, но Фридрих втрое скорее вынимал его из ножен, чем эти великие державы, и потому он не мог ждать, пока это важное, но зато и единственное преимущество перед противниками, во всех отношениях превосходившими его, не потеряет всякое значение. Рассуждая с точки зрения его интересов и интересов его государства, определявшей даже и субъективные решения Фридриха, можно, пожалуй, сказать, что он медлил слишком долго и что он вполне мог бы обойтись без послышки второго запроса в Вену. Может быть, он так бы и поступил, если бы ему не было важно, чтобы начало похода произошло возможно ближе к концу года, так как в этом случае в этом году на германской почве не появилось бы французского войска. Однако план его, заключавшийся в том, чтобы быстрыми ударами ошеломить самых опасных и самых близких соседей—саксонцев и австрийцев—и вынудить их к заключению прочного мира, затруднялся прежде всего тем обстоятель-

войной, он даже предлагал ей пожизненное владение Невшательским княжеством за заключение мира с Францией, см. *Шефер*, Семилетняя война, 1, 415 (*Schäfer*, *Siebenjähriger Krieg*), то это объясняется просто-напросто тем, что маркиза вышла из рядов мещанства и носила раньше имя Антуанетты Пуассон, между тем как Шатору была урожденная маркиза де ла Турнель. В данном случае Фридрих проводил то же различие, которое вскоре после его смерти проводили берлинский двор и берлинское «общество» и которое до сих пор проводят буржуазные прусские историки, сваливающие весь позор режима любовниц, установившегося при Фридрихе-Вильгельме II, на графиню Лихтенау, урожденную мадемуазель Энке, а знатных потаскушек этого короля—Фосс, Денгоф и всяких других—изображают в героическо-сентиментальном свете трагической любовной страсти. Для «философа из Сансуси» это различие имело тем меньшее значение, что Антуанетта Пуассон, несмотря на все, была тоже маленьким философом. Она спасла «Энциклопедию», когда парижский парламент приказал сжечь эту знаменитую книгу на костре во дворе дворца юстиции; под ее покровительством Франсуа Кене написал свою знаменитую «*Tableau économique*» («Экономическую таблицу»); все это, равно как и многое другое, характеризует ее с гораздо лучшей стороны, чем «благородную наложницу», как называет ее Карлейль, Шатору, которая погнала своего царственного любовника на военную авантюру, для которой он был столь же мало пригоден, как осел для игры на лютне.

ством, что Саксония в последний момент собрала все свои отряды в укрепленный лагерь при Пирне.

Итак, Семилетняя война не была прусской завоевательной войной. Чем же она была в таком случае? Буржуазные прусские историки отвечают: она была продолжением Тридцатилетней войны, религиозной войной, которая окончательно спасла германскую духовную свободу, впервые положила основание германскому государству и т. д.—в том же великолепном стиле. Оставим в стороне эти тирады, лишённые какого бы то ни было осязательного содержания, и остановимся на гипотезе религиозной войны, представляющей хоть какой-нибудь смысл. Эта гипотеза кажется с виду весьма простой. Во время войны за австрийское наследство и первых силезских войн державы были сгруппированы так, что Франция и Пруссия сражались на одной стороне, а Англия и Австрия на другой; после этих «светских» войн, где вероисповедания перемешивались, возникла «религиозная война», строго разделившая их: католические державы Франция и Австрия с благословляющим папой на заднем плане выступили против протестантских держав Англии и Пруссии; там—мрак, средневековье, духовное рабство, здесь—свет, будущее, духовная свобода, там—римское вырождение и славянское варварство, здесь—цивилизация под знаком германской расы. К несчастью, война возникла не в силу религиозных противоречий, а в силу торговых противоречий между Англией и Францией и закончилась политической гегемонией настоящего варварского государства над одним из борцов за свободу и свет,—гегемонией, которую допустил другой борец за свободу и свет,—опять-таки по торгово-политическим соображениям.

В Вестминстерском договоре, последовавшем через год после упомянутой выше конвенции о нейтралитете, Англия кроме субсидий пообещала Пруссии послать флот в Балтийское море—восемь линейных кораблей, несколько фрегатов и, в случае необходимости, еще несколько военных судов. Пункт этот был совершенно ясен и недвусмысленен, равно как и его цель: английский флот, появившийся в Балтийском море, сохранил бы для Фридриха Восточную Пруссию и Померанию, а главным образом запер бы русские гавани и, уничтожив русскую торговлю, отнял бы возможность у этого варварского государства вмешиваться в европейские дела. Но Англия даже и не подумала послать в Балтийское море хотя бы один военный корабль; мало того—в течение всей войны в Петербурге оставалось английское посольство. Вопрос решали не интересы протестант-

ского союзника, а интересы английской торговли. В то время Англия еще не владела Индийской империей; ее североамериканские колонии были еще не развиты и мало населены; ясно, что ни один английский министр не решался прикоснуться к балтийской торговле. Когда кормило правления окончательно перешло в руки Питта, он не скрыл от прусского короля, что Фридрих никоим образом не может рассчитывать на выполнение этого пункта Вестминстерского договора; по его словам, восторженные симпатии английской нации к делу протестантизма вообще и лично к Фридриху в частности несколько не меняли того обстоятельства, что всякое министерство, посылающее военный флот в Балтийское море, немедленно потеряло бы большинство в парламенте. Умные государственные люди прекрасно знают, что миром управляют экономические факторы, и друг от друга этого не скрывают. Идеологические прикрасы они предоставляют историкам-политикам, в которых, к счастью для просвещенного и еще нуждающегося в просвещении человечества, ни у какого народа не бывает недостатка.

Этот торгово-политический интерес английской нации решил исход Семилетней войны. Защищенный от всяких нападений, русский царизм мог дать полный простор своим завоевательным и хищническим инстинктам. Он даже позволил себе роскошь трижды изменить свою позицию в Семилетней войне. Сначала — и дольше всего — русская армия сражалась против Пруссии, прибрала к рукам всю Восточную Пруссию, зверски опустошила Померанию и Бранденбургскую марку, почти неизменно нанося прусской армии сокрушительные поражения, — ибо даже битва при Цорндорфе была не столько триумфом Фридриха, сколько сражением, исход которого не был решен, — и привела прусское государство на край гибели. В этом отношении она точно исполняла решение русского сената, принятое в 1753 г. и возведенное в «неуклонное правило управления государством»; правило это гласило, что следует не только противиться всякому дальнейшему росту прусского могущества, но и использовать первый удобный случай для того, чтобы противопоставить бранденбургскому дому превосходящую его силу, раздавить его и возвратить к прежнему скромному положению. Но эта максима, принятая под влиянием неистовой и отупевшей от алкоголя царицы Елизаветы, была гораздо дальше цели: Россия была заинтересована не в политическом уничтожении прусского государства, а в политическом господстве над ним. Пруссия не смела быть соперником России, — она должна была стать ее вассалом, оставаясь в то же время стрелой в теле Австрии;

этого требовали завоевательные цели России, в какую бы сторону они ни были направлены,—в сторону ли Польши, или в сторону Турции, или даже в сторону Германии. Совершенно ясно, что русские генералы, вопреки воле царицы, не решались нанести прусской армии решительный удар, хотя это было очень легко сделать, например после битвы при Кунерсдорфе. После внезапной смерти царицы Елизаветы был заключен прусско-русский союз,—глупая причуда глупого Петра III. Лессинг называет его жалким статистом, принявшим личину бога и избранным судьбой для того, чтобы разрезать нелепый узел кровавой трагедии. Но узел этот развязала только Екатерина II. Умертвив предательски своего супруга Петра и вступив на русский престол без всякого на то права, эта ловкая особа сейчас же поняла истинные интересы России; она заняла нейтральную позицию, способствовала тому, что Семилетняя война закончилась всеобщим истощением и в результате добилась заключения прусско-русского союза от 14 апреля 1764 г., в тайных статьях которого уже был предусмотрен раздел Польши. Король Фридрих, далеко не отличавшийся бисмарковской бесчувственностью по отношению к наглым выходкам России, чувствовал себя на положении русского сатрапа и в глубине души был уязвлен, но не мог противостоять этой «страшной державе». Ему пришлось давать Екатерине субсидии на ведение турецких войн; при первом разделе Польши он навлек на себя наибольшую ненависть, а взял наименьшую часть добычи; наконец, при заключении Тешенского мира в 1779 г., которым закончилась война за баварское наследство, он должен был признать Россию наряду с Австрией «поручительницей» Вестфальского мира.

Да, это было действительно продолжение Тридцатилетней войны, но в совершенно ином смысле, чем думают прусские мифотворцы. Подобно Тридцатилетней войне, Семилетняя война кончилась тем, что попытка подчинить Германию господству габсбургско-папской империи не удалась. Подобно Тридцатилетней войне, Семилетняя война привела ко всеобщему истощению: по словам самого короля Фридриха, после первой Германия была так же разорена, как и после второй. Подобно тому как Тридцатилетняя война закончилась тем, что Франция и Швеция стали «поручительницами Вестфальского мира», то-есть получили право вмешиваться в любой момент в германские дела, благодаря чему стали господствовать над Германией два культурных народа, точно так же Семилетняя война передала России «охрану Вестфальского мира». Это обозначало



господство чужеземного варварского государства, господство, роковые последствия которого продолжают существовать и по сие время, ибо надеяться на его свержение можно лишь только теперь, когда пробудилось политическое сознание германского рабочего класса.

Каким же образом эта Семилетняя война могла «впервые дать высшее жизненное содержание» духовной жизни германского народа?

## IX

### К психологии Семилетней войны

Часто говорят: каковы бы ни были результаты Семилетней войны, эта война воочию показала, что германский государь с почти сверхчеловеческой гениальностью семь лет выдерживал напор целого мира врагов и разбивал на-голову всех противников Германии, которые столь долго хозяйничали в германской земле,—русских и венгерцев, французов и шведов. Уже один этот факт, как утверждают, снова воскресил национальный дух германского народа или по крайней мере его протестантского большинства. Действительно, подобный взгляд как будто ближе всего стоит к словам Гете насчет «высшего жизненного содержания». Спрашивается только, смотрели ли на это современники Фридриха с такой же точки зрения и внушили ли им «патриотические военные подвиги» Фридриха тот национальный дух, который, якобы, породил нашу классическую поэзию.

Если бы король мог познакомиться с этим взглядом, он, вероятно, столь же мало понял бы его, как ирокезский язык. Его лучшее качество—серьезное и трезвое понимание вещей—всегда оберегало его от всякого хвастовства; он хотел только быть военачальником своего времени и ничем большим он фактически не являлся. Правда, за последнее время идеалистические преувеличения стали сильно проявляться даже в прусской военной литературе. Уже лет десять в ней ведется ожесточенный спор, далеко не лестный для классического военного государства. Одни утверждают, что Фридрих, в своем гениальном предвидении опередивший эпоху на пятьдесят или на сто лет, применял наполеоновскую стратегию, основная и единственная задача которой заключается в быстром уничтожении неприятельской армии посредством решительного удара. Другие говорят, что он вел войну так, как люди вели ее в то время: он вел осторожную, медленную, методическую войну, задача ко-

торой—добиться перевеса над противником. Для этой цели разрушают интендантские склады, предназначенные для питания вражеской армии, отнимают у него то клочок земли, то крепость, вытесняют его с поля сражения путем всевозможных искусных маневров—«маскировок», «приманок», «диверсий»—и применяют бой только как крайнее средство, как последний способ, который можно применить лишь в случае необходимости, да разве еще тогда, когда таким путем можно наверное достигнуть весьма больших преимуществ. Не нужно долго думать, чтобы понять, какой из этих взглядов правилен. Наполеоновская стратегия покоится на народном ополчении, на стрелковой тактике, на реквизиционной системе; ее предпосылкой являются массовые армии, быстродвигающиеся вперед, вступающие в перестрелку в любой местности и занимающиеся реквизициями, то-есть добывающие себе продукты питания непосредственно у населения. Наоборот, армия восемнадцатого столетия была наемным войском, которое, как таковое, было связано с линейной тактикой и со складами, его обслуживающими. Так как вербовка стоила очень дорого, то войско это не могло превышать определенную норму. Вести против врага его можно было только в сомкнутом строю, который поддерживался палками и пулями офицеров; поэтому оно могло сражаться почти исключительно на открытых равнинах и действовало, почти как механически действующая скорострельная машина,—недаром ведь главной целью военной муштровки была максимальная быстрота массовой стрельбы, которую Фридрих в конце концов довел до шести выстрелов в минуту, причем еще оставалось время для вкладывания седьмого заряда. Когда войско стояло в лагерях, военачальник должен был строго следить за ним и удовлетворять его нужды; его маневрирование было связано со складами и пекарнями, и потому свобода передвижения была у него весьма ограничена. Если бы Фридрих попробовал наполеоновскую стратегию и приказал своим наемникам вступать в бой с противником рассыпанным строем, то его войско в тот же день разбежалось бы по всем четырем странам света. А если бы он позволил своим наемникам заниматься реквизициями, то, по энергичному выражению одного нового военного историка, часть его войска немедленно превратилась бы в разбойничью банду\*.

\* *Йенс*, 3, 1939.—О споре, возгоревшемся в прусской военной литературе; см. фон-*Бернгарди*—, Фридрих Великий как военачальник (v. *Bernhardi*, Friedrich der Grosse als Feldherr) и *Дельбрюк*, Исторические и политические статьи, 227 и сл. (*Delbrück*, Historische und politische

Наполеоновская стратегия была для Фридриха невозможна не только в силу практических соображений, но и—пожалуй, даже в большей степени—в силу психологических причин. Он не мог даже мечтать о ней, подобно тому как он не мог бы прокладывать полевую железную дорогу или полевой телефон. Даже самый великий военный гений не в силах изобрести новую стратегию, ибо в конечном счете она всегда создается благодаря общему ходу экономического развития. Наполеоновская стратегия называется наполеоновской не потому, что ее изобрел Наполеон, а потому, что во время наполеоновских войн она достигла наивысшего совершенства. Она зародилась сама собою во время американской войны за независимость. Когда разразилась эта война, против английских наемных войск выступили толпы повстанцев, которые сражались за собственное дело, а потому не дезертировали, как наемные солдаты, не занимались экзерцициями, но зато тем лучше стреляли из своих нарезных винтовок и потому вступали в бой с англичанами не в линейном строю и не в открытом поле, а рассыпаясь мелкими подвижными отрядами стрелков и под прикрытием лесов. Когда говорят, что Фридрих внимательно следил за американской войной, чтобы учиться на ней,—ему этим воздают величайшую похвалу. Правда, в письме к своему брату Генриху от 3 ноября 1777 г. он отзывается о ней довольно иронически: «Мы наблюдаем за Вашингтоном, Гоу, Бургонем и Карльтоном, чтобы учиться у них великому и неисчерпаемому военному искусству, смеяться над их глупостями и одобрять то,

Aufsätze, )—статья «О различиях стратегии Фридриха и Наполеона». Бернгарди и Дельбрюк были застрельщиками этой чернильной войны. Большое двухтомное сочинение Бернгарди содержит много поучительного, так как он принадлежит к числу лучших буржуазных историков, но его основная мысль насчет наполеоновской стратегии Фридриха совершенно ошибочна. На двух с небольшим листах Дельбрюк прекрасно разбивает его. Но, с своей стороны, и господин Дельбрюк являет поразительный пример того, какие странные формы в одной и той же голове может принимать борьба между идеалистическим и материалистическим пониманием истории. Как военный историк, господин Дельбрюк понимает,—правда, не вполне, но с достаточной ясностью,—что экономические условия эпохи определяют способы ведения войны, и прекрасно использует эту мысль в своем споре с Бернгарди. Но как гражданский историк,—если можно так выразиться,—господин Дельбрюк в том же томе своих статей превозносит прусского ландрата, видя в нем воплощение «традиционного германского понятия о свободе», «давшего возможность праву и чести развиваться в этом суровом государстве». Прусское военное государство самым фактом своего бытия вбивает в голову экономическую диалектику; идеология прусского правового государства порождает идеалистические представления.

что они делают по правилам». Но непогрешимость этих «правил», повидимому, стала ему казаться несколько сомнительной, а «глупости» Вашингтона, должно быть, несколько просветили его, ибо незадолго до смерти он приказал образовать несколько батальонов легкой пехоты из уроженцев страны, из «людей, знающих местные условия» и умеющих использовать местность. Он приказал воспитывать в них большую подвижность и обучать более свободному строю, так, чтобы они получали подготовку, более похожую на подготовку егерей\*.

В этом отношении Фридрих на много обогнал ученых военных теоретиков своего времени и всех своих офицеров. Новой стратегии они не понимали даже тогда, когда им пришлось встретиться с ней лицом к лицу и когда во время революционных войн девятидесятых годов собранные с бору да с сосенки крестьянские толпы защищали свои интересы против возвращавшихся с австрийско-прусскими войсками эмигрантов приблизительно так же, как защищали их американские фермеры и охотники против английских наемников. Гете с поэтической прозорливостью понял знамения времени, когда сказал прусским офицерам после канонады при Вальми: «Отныне начинается здесь новая эпоха истории, и вы можете сказать, что вы при этом присутствовали». Но его слушатели не понимали его, и их нельзя за это особенно порицать, ибо и сам Гете только чувствовал, но не понимал того, что он сказал: в противном случае он не стал бы говорить двадцать лет спустя, что Семилетняя война дала «новое высшее жизненное содержание». Но даже накопленный опыт ничему не научил прусских офицеров; еще в течение многих лет наемные армии проявляли в каждой стычке свое тактическое превосходство над французскими добровольцами, а тем не менее Францию никак не удавалось победить. Сам этот факт был неоспорим, но причин его люди не могли понять; в конце концов, к нему стали относиться, как к неприличной бессмыслице, которая издевается над всеми доказанными правилами военного искусства, но которую волей-неволей приходится признать. Так, например, известный генерал фридриховской школы, князь Гогенлоэ-Ингельфинген, в 1794 г. советовал заключить мир с Францией: продолжение войны не сулит ничего хорошего,—говорил он,—так как «с этими дураками никогда не покончишь». Совершенно в таком же духе выражалась и составленная в то время официальная австрийская докладная записка: «С точки зрения обычного хода вещей» французов сле-

\* Дройзен, Жизнь Йорка (*Droysen, Leben von Iork*), 1, 50.

дует признать побежденными, но они каждый раз со «страшной силой» подымаются все снова и снова, подобно «бушующей буре». Даже во время войны 1813—1815 гг. среди генералов европейской коалиции—если не считать рано погибшего Шарнгорста—только один Гнейзенау стоял на высоте наполеоновской стратегии; ему из-за этого приходилось выдерживать жесточайшую борьбу с его прусскими подчиненными—Бюловым и Йорком,—да и для соединенных союзных монархов, военные советники которых—Кнезебек у пруссаков, Дука и Лангенау у австрийцев—еще целиком разделяли военные воззрения восемнадцатого столетия, он был бельмом на глазу: в придворных кругах над ним и его штабом издевались, сравнивая этот последний с лагерем Валленштейна. Даже при Ватерлоо английская армия применяла линейную тактику, и это было вполне логично, ибо эта армия состояла из на вербованных наемников. Тем не менее она бы погибла, если бы во-время не подошли пруссаки под командой Блюхера и Гнейзенау. Только через несколько десятилетий наполеоновская стратегия вошла у прусской армии в плоть и кровь благодаря классическим работам Клаузевица, и в ответ на глупую болтовню о прусском школьном учителе, который, якобы, победил при Кениггреце, один прусский генерал метко заметил: «Конечно, но этот школьный учитель именуется Клаузевиц» \*.

С «гением» полководцев дело вообще обстоит весьма своеобразно. В своем сочинении против Дюринга Энгельс описывает, как в битве при Сен-Прива, где обе армии пускали в ход по существу одинаковые тактические формации, германские ротные колонны, осыпаемые страшным огнем шаспо, превратились в густые стрелковые цепи, и солдаты могли передвигаться на площади неприятельского обстрела только беглым шагом. Затем он продолжает: «Солдат опять оказался разумнее офицера, он инстинктивно нашел единственную форму боя, возможную под огнем заряжающихся с казенной части ружей, и успешно провел ее вопреки сопротивлению своих начальников». Это зву-

\* Об экономическом развитии, которое привело к превращению фридриховской стратегии в наполеоновскую стратегию, см. *Энгельс*, *Антидюринг*, 140 и сл. Чтобы понять превосходство исторического материализма даже в этой области, следует сравнить энгельсовское описание с военно-исторической характеристикой Клаузевица [*Клаузевиц*, *О войне*, 3, 91 и сл. *Clausewitz*, *Vom Kriege*]. Само собой разумеется, что это не набрасывает никакой тени на Клаузевица, сочинения которого в его время составили эпоху и даже еще сейчас являются наилучшим источником для изучения теории войны. Сам Энгельс в другом месте называет его «звездой первой величины».

чит очень непочтительно, но мы можем сказать, что прусский генеральный штаб говорит то же самое, хотя несколько иными словами, конечно, не совершая при этом никакого плагиата по отношению к Энгельсу. Устами одного из своих талантливейших сотрудников он следующим образом характеризует французские революционные войны восемнадцатого столетия: «Вполне понятно, что бой рассеянным строем вовсе не предписывался тогдашним французским военным уставом, ибо этот устав во всех своих существенных чертах был таков же, как и прусский. Рассеянная боевая формация французов была *не предписана* им, а *сложилась сама собой*; из необходимости сделали добродетель, и эта добродетель стала *силой*, так как она соответствовала реальным условиям». В области военной истории особенно ярко подтверждается положение Маркса: не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их бытие определяет их сознание. Чем сильнее и непосредственнее соприкосновение с бытием, тем лучше и быстрее развивается сознание. На войне солдат в большинстве случаев гораздо быстрее офицера понимает реальную обстановку и инстинктивно действует сообразно с ней, и наивысшая «гениальность» полководца заключается как раз в том, чтобы эти инстинктивные приемы солдат понять в их внутренних причинах и решительно действовать соответственно этому познанию. Насколько это трудно даже для очень известных генералов, можно видеть из докладов и мемуаров Карно, Дюмуре, Гоша, Гувииона Сент Сира и других офицеров, которым приходилось организовывать и вести в бой добровольцев французской республики. Судя по этим «свидетельствам, которые впоследствии усиленно использовались, чтобы по возможности вытеснить из прусской армии элементы народного ополчения, несмотря на уроки 1813 и 1814 гг., добровольцы немногим превосходили неповоротливых соратников Фальстафа, а тем не менее австрийские и прусские образцовые отряды разбились о плотину, которую противопоставили им эти, повидимому, совершенно необученные толпы.

Всякая военная история становится понятной только тогда, когда ее сводят к ее экономическим основам. Наоборот, она превращается в исторический роман, когда главным ее рычагом считают большую или меньшую «гениальность» полководца. Наиболее образованные генералы восемнадцатого столетия прекрасно понимали, какая великолепная вещь народное ополчение. Об этом часто говорили граф Липпе и маршал Саксонский, да и Фридрих еще в бытность свою кронпринцем касался той же темы в своем «Антимакиавелли». Фридрих развивает следую-

щую мысль: римлянам было неизвестно дезертирство, без которого нельзя себе и представить современную армию. Они сражались за свой очаг, за все то, что было им наиболее дорого, и потому не могли и помыслить о том, чтобы трусливым бегством обречь на неудачу великую цель. Но у наших народов дело обстоит совершенно иначе. Правда, горожане и крестьяне содержат войско, но сами они не сражаются, и потому солдат приходится набирать из отбросов народа и удерживать под знаменами при помощи самых суровых мер принуждения. Можно называть «гениальностью» способность Фридриха и других полководцев его времени понимать всю хрупкость наемного войска, но эта «гениальность» нисколько не меняла стратегии и тактики наемного войска и даже не помогла ученым стратегам великих военных держав теоретически понять все значение народного ополчения, когда оно воочию выступало перед ними и давало им весьма чувствительные уроки.

Вместе с изменением экономических условий меняется и военное устройство, и вполне естественно, что практика массы гораздо быстрее приспосаблиется к изменившимся отношениям, чем теория одиночек. Поэтому не солдаты учатся у офицеров, а офицеры у солдат. Стратегию девятнадцатого столетия изобрели американские и французские крестьяне, и старик Циглер был во многом прав, когда во время обсуждения военных вопросов в германском рейхстаге он сказал: «Так называемые эксперты всегда себя конфузят». Они неизменно конфузили себя во всех тех случаях, когда военный эксперт пытался идти наперекор следствиям экономического развития. Фридрих достигал успехов потому, что он приспособился к наемному войску, как к единственно возможному войску своей эпохи, хотя он прекрасно понимал преимущества народного ополчения; после его смерти самые опытные офицеры его армии, как ни велика была их личная одаренность, испытали весьма различную судьбу в зависимости от того, сумели ли они приспособить свои познания к изменившимся экономическим обстоятельствам или нет, учились ли они у солдат или нет.

В последние годы жизни Фридриха крупнейшими офицерами его штаба были капитан фон Штейбен и майор фон Беренгорст. Обоим их постигла «немилость» короля, всегда недоверчиво относившегося к интеллектуально развитым офицерам, и оба они оставили прусскую армию. Штейбен поехал в Америку, где, как известно, оказал большие услуги в деле военной организации повстанцев. В 1793 г. он говорил посетившему Америку военному писателю фон Бюлову, что французские добро-

вольцы, на непригодность которых так горько жаловались их собственные генералы, ведут такую же войну, как американские фермеры, и будут столь же неодолимы. Беренгорст не поступал больше на военную службу, но написал свои знаменитые «Размышления о военном искусстве», где он подверг фридриховскую армию строгой критике, справедливость которой вполне признали его потомки. О Фридрихе он метко выразился: «Он хорошо умел пользоваться машиной, но не так хорошо умел сколачивать ее». Он бичевал «невыносимую грубость, строгость и служебное рабство», «микрологию и чрезмерную точность парадного военного искусства». А между тем этот остроумный наблюдатель весьма мало понимал существо дела и еще два года после битвы при Йене писал, что «гений тактики» должен изобрести «какое-нибудь более действительное средство», чтобы парализовать стратегию и тактику Наполеона.

Еще яснее подтверждается наш взгляд карьерой двух знаменитых генералов. Если прусская армия когда-либо обладала гениальным полководцем и организатором, который собственными силами и вопреки юнкерским проискам достиг высочайших военных постов, несмотря на свое крестьянское происхождение, который всегда думал о народе и был совершенно свободен от ограниченности военных усаечей, то это был Шарнгорст. В то десятилетие, когда произошла битва под Йеной, он с величайшим напряжением разрабатывал реформу прусской армии, но так как он жил среди этой армии, то, несмотря на теоретическое изучение наполеоновских походов, он попрежнему держался за фридриховскую стратегию. Только во время осеннего похода 1806 г., когда он сам увидел маневрирование французских отрядов, и во время последних шахматных ходов перед Йенской битвой, которыми он должен был руководить в качестве начальника генерального штаба прусского главнокомандующего, — только в эту минуту с глаз его спала пелена. Он сейчас же попытался подражать более целесообразным военным приемам французов, но самое устройство прусского войска, конечно, сделало эти попытки безуспешными. Никакой военный «гений» не смог бы предотвратить сокрушительное поражение прусской армии. После этого действительный гений Шарнгорста проявился в том, что он понял действительную причинную связь вещей и, не полагаясь на «гениальность», в течение семи лет вел почти сверхчеловеческую борьбу с невероятно ограниченным королем и невероятно своекорыстным юнкерством и в конце концов поставил прусскую армию на экономическую основу, давшую возможность этой армии успешно сражаться с фран-



цузами. Шарнгорст, равно как и его друзья—Гнейзенау, Боейн и Грольман, требовал освобождения крестьян не менее энергично, чем Штейн, Шен и Гарденберг.

Во время позорного бегства, последовавшего за йенским разгромом, полковник Йорк и его егерский полк отличились в удачных стычках при Альтенцауне и Варене; это были единственные маленькие успехи, которых удалось добиться прусскому войску за время всего похода. Йорк разбил преследовавшие его французские отряды с помощью их же собственной тактики стрелкового боя. Но Йорк был во всем полной противоположностью Шарнгорста: это был офицер старой школы, который охотно сохранил бы фридриховское военное устройство до последней пуговицы на гамашах, мрачный, желчный приверженец железной дисциплины, померанский юнкер, преисполненный самых узких классовых предрассудков. Но он выдвинулся в тех батальонах легкой инфантерии, которые Фридрих учредил незадолго до своей смерти, и если эти батальоны в общем и целом не могли избавиться от условий существования прусской армии и поэтому вскоре сделались такими же вымуштрованными линейными отрядами, как и все прочие батальоны, то все-таки в прусской армии существовал один полк, построенный приблизительно на той же экономической основе, что и французское войско: это был егерский полк, командиром которого был назначен Йорк за несколько лет до Йены. Этот полк был организован Фридрихом во время силезских войн, чтобы кроатам и пандурам австрийского войска противопоставить хоть один подвижной отряд; вполне понятно, что его нельзя было составить из иностранных наемников и крепостных крестьян,—его приходилось организовывать из людей, связанных с военной службой личными интересами. Поэтому в него были набраны только опытные егеря, сыновья лесничих, помощников лесничих и других чиновников; служба в полку давала им преимущественные права на получение места в лесном ведомстве. Таких людей нельзя было научить палками парадной маршировке: во время смотров они проходили мимо короля вольным строем. Поэтому в мирное время этот полк, оказавший большие услуги во время войны, стал предметом насмешек у всех фридриховских строевиков: они называли его «старым фронтоном в стиле барокко», почему-то оставшимся в великолепном здании этого великолепного войска. Полк стал военным курьезом, и Йорк с большой неохотой принял командование над ним. Но так как он все же был честлюбивый и способный офицер, то повседневный практический опыт военной службы научил его, что из этого

отряда можно что-нибудь сделать лишь при том условии, если относиться к нему с уважением и научить его сражаться в рассыпном строю. Общественное бытие солдат определило военное сознание офицера. Но это сознание опять угасло, как только Йорк, благодаря успешным стычкам при Альтенцауне и Варене, занял в военной иерархии высокое положение, дававшее ему возможность сказать свое слово во время реформы армии. Он кипел ядом и желчью; он писал такие подлые доносы королю, что Шарнгорст опасно заболел нервной лихорадкой; он торжествовал при отрешении Штейна от должности, последовавшем по приказу Наполеона, и говорил, что наконец удалось раздавить одну глупую голову, а все остальное гадючье гнездо погибнет от своего собственного яда. Даже во время походов 1813 и 1814 гг. Йорк, бывший тогда начальником корпуса и придерживавшийся своих прежних идеологических и теоретических представлений, чрезвычайно мешал наполеоновской военной тактике Гнейзенау; но бытие ландвера, которым он командовал, опять определило его военное сознание, и Блюхер с похвалой говорил о нем, что никто не идет так неохотно в бой, как Йорк, но зато, когда он начинает драться, он дерется, как никто.

Для нашей цели достаточно привести эти несколько примеров, которых можно набрать любое количество и из прусской, и из всей вообще военной истории. Чрезвычайно большой заслугой Фридриха было уже то, что изучение американской войны за независимость навело его на мысль о предстоящем перевороте в методах ведения войны и что он сделал несмелую попытку пойти навстречу этому перевороту; тем не менее в силу практических соображений и психологических причин он был не в состоянии предвосхитить наполеоновскую стратегию и тактику и использовать их во время своих войн, которые велись с помощью наемного войска. В сущности говоря, работы историков-идеалистов всего опаснее именно для великих людей, которых они стараются изобразить сверхчеловеками. Во время спора о стратегии Фридриха правильно указывали, что если его походы мерять на масштаб наполеоновской стратегии, то они покажутся совершенно бездарными. Действительное значение Фридриха заключается как раз в том, что он вполне ясно понимал то, на что он может решиться и на что он не может решиться, то, что он в состоянии сделать, и то, чего он не в состоянии сделать; в известном смысле можно даже сказать, что страшное бремя Семилетней войны пало на него потому, что он, вопреки своим собственным намерениям, одержал наполеоновскую победу. Если бы эту победу

он использовал по-наполеоновски, то он закончил бы войну одним ударом; но так как Фридрих не в состоянии был наносить наполеоновских ударов, то победа эта оказалась роковым ударом для него самого. Его план кампании 1756 года встретил помеху прежде всего потому, что саксонской армии кое-как удалось сосредоточиться в лагере под Пирной, и, чтобы взять ее измором, Фридриху пришлось потратить много драгоценного времени; но главной причиной неудачи было то, что 5 мая 1757 г. Фридрих нанес ошеломительный удар австрийской армии, и двум третям ее пришлось укрыться в пражской крепости. Австрия оказалась совершенно беззащитной. Прага должна была пасть, а тогда путь на Вену был бы открыт, если не считать слабого, кое-как собранного войска, организовывавшегося под командой Дауна. Но когда Фридрих выступил против этого войска с частью осаждавшей Прагу армии, он потерпел под Колином тяжкое поражение (18 июня), принудившее его немедленно отступить из Богемии и полностью отказаться от результатов достигнутых под Прагой успехов.

По поводу битвы при Колине возникла целая литература, стремящаяся доказать, что если бы генерал Манштейн не сделал такой-то оплошности, а принц Мориц Дессау не совершил такой-то ошибки, то Фридрих выиграл бы сражение и после падения Праги, которое с этой точки зрения представлялось неизбежным, немедленно пошел бы на Вену, чтобы продиктовать мир на стенах австрийской столицы. Но Клаузевиц одним росчерком пера свел на-нет всю эту литературу, ибо он доказал, что если бы Фридрих не потерпел поражения под Колином, то он был бы разбит позднее; тогдашняя структура армии и размеры его военных сил были таковы, что он не мог ни взять австрийскую столицу, ни разгромить австрийское государство. Правильность этого замечания настолько очевидна, что даже создатели фридриховского мифа вынуждены ее признать; они лишь возражают, что если бы Фридрих победил при Колине, то австрийцы были бы ошеломлены и немедленно заключили бы мир. Но если бы мы пустились в такие туманные доказательства, то мы скорее должны были бы предположить, что огромная прусская победа под Веной не ошеломила бы австрийцев, а ободрила бы их. Мария-Терезия и Кауниц были достаточно умны, чтобы предоставить королю задохнуться в своем собственном жиру. Создатели фридриховского мифа, приписывая своему герою сверхчеловеческие качества, делают его гораздо менее значительным человеком, чем он был на самом деле. В настоящее время на основании английских архивов и бумаг прикомандированного

к Фридриху дипломата Митчеля установлен подлинный план фридриховской кампании, потерпевший неудачу как раз благодаря чрезмерно большому успеху под Прагой. План Фридриха сводился просто-напросто к тому, чтобы осенью 1756 г. овладеть Саксонией и частью Богемии и держать их в качестве залога, и исходил из психологически правильного расчета, что в таком случае австрийцы и саксонцы откажутся от продолжения столь опасной для них игры. Этот скромный план делает весьма большую честь той ясности, с которой король оценивал свое положение, между тем как нелепое предположение, что он хотел по-наполеоновски драться и по-наполеоновски побеждать, превращает его в настоящего Дон-Кихота.

После битвы при Колине Фридрих перешел к обороне, — конечно, еще не совсем. После побед при Росбахе и Лейтене весной 1758 г. он попытался продвинуться в Моравию, чтобы овладеть крепостью Ольмюцем и таким образом обеспечить себе на случай мира ценный залог. Но Даун и Лаудон вынудили его снять осаду и искусным маневрированием прогнали из Моравии. Остальные годы Семилетней войны были не чем иным, как дикой военной потасовкой, охватившей Саксонию и Силезию, Бранденбургскую марку и Померанию; в ней не было и тени того драматического геройского напряжения, которым до некоторой степени еще характеризовался 1757 г. Твердость, с которой Фридрих в течение следующих лет выдерживал борьбу, напрягши все свои силы и, по выражению Лассаля, «держа яд в кармане», заслуживает всяческого уважения; она заслуживала бы даже истинного удивления, если бы результатом борьбы был культурный прогресс человечества, а не усиление враждебного культуře милитаризма. Но создатели фридриховского мифа опять-таки чрезвычайно принижают действительные достоинства короля, когда изображают его величайшим гением, а враждебных ему полководцев и даже его собственных генералов выставляют более или менее неспособными людьми. Победа над Дауном и Лаудоном в таком случае далеко не свидетельствовала бы о великом искусстве. На самом деле эти австрийские полководцы вполне могли померяться с Фридрихом; они уступали ему не столько в индивидуальной талантливости, сколько в другом отношении, — в том качестве, которое Клаузевиц удачно описывает следующими словами: «Полководцы, противостоявшие Фридриху Великому, были люди, действовавшие по поручению других, и следовательно, люди, у которых господствующей чертой характера была осторожность; противник же их, коротко выражаясь, был сам бог войны». Здесь затрагивается основной пункт и раскрыва-

ется та небольшая частичка правды, на основании которой возникла легенда о наполеоновских военных приемах Фридриха. Это было не различие в роде, а различие в степени. Фридрих вел войну так, как ее должен был вести всякий полководец восемнадцатого столетия, но он вел ее смелее, чем прочие полководцы, ибо он более свободно распоряжался средствами войны. Свободнее и в военном и в моральном смысле. Фридрих не был связан никакими приказами и не боялся никакой ответственности. Еще большой вопрос, являлся ли он с военной точки зрения величайшим полководцем хотя бы только своего времени. По свидетельству его адъютанта Беренгорста, во время сражений он всегда был спокоен и растерян, не говоря уже о коварном замечании, которое частенько делал на его счет нелюбезный принц Генрих за своим столом в Рейнсберге: «у моего брата в сущности нет никакого куража». Даун и Лаудон наносили королю много тяжелых поражений, которых он вполне мог бы избежать; первый план кампании Семилетней войны был составлен Шверином и Винтерфельдтом; битвы при Росбахе и Цорндорфе были выиграны Зейдлицем, несмотря на гораздо более благоприятную обстановку, Фридрих не проводил таких исключительно счастливых походов, как кампании, проведенные в западной Германии против французов герцогом Фердинандом Брауншвейгским и его тайным секретарем Вестфаленом \*. Правда, пражская и лейтенская победы были его собственностью, но ведь и поражения при Колине и Кунерсдорфе были тоже его собственностью. Только тот, кто не боялся ответственности за сокрушительные поражения, мог искать боевого счастья в этих сокрушительных стычках. В этом смысле Клаузевиц и говорит о «боге войны». Переводя это мифологическое сравнение на язык нашей капиталистической эпохи, можно сказать: Фридрих был шефом предприятия и сам спекулировал на бирже, а Даун и Лаудон были лишь прокуристами, которые всякий раз должны были запрашивать своего хозяина, прежде чем поставить на карту состояние фирмы. При тогдашнем состоянии путей сообщения они обычно получали ответ на свои запросы только спустя несколько недель, и этот ответ в большинстве случаев так же мало подходил к изменившейся обстановке, как кулак к глазу. Но если Даун и Лаудон стояли ниже самого короля, то зато они стояли выше прусских генералов, ибо эти последние обычно проигрывали дело, как только им приходилось действовать на свой

\* О Вестфалене, замечательнейшей личности Семилетней войны, некоторые подробности приведены в «Neue Zeit», 10,2, 481 и сл.

собственный страх и риск. Единственным исключением в этом отношении была битва под Фрейбергом, которую, по мнению Наполеона, принц Генрих тоже проиграл бы, если бы против него сражалось настоящее войско, а не жалкие имперские отряды. Прусские генералы могли сдать крепость или проиграть сражение, только рискуя «собственной головой», что, разумеется, способствовало не увеличению их героизма, а увеличению их осторожности, между тем как Мария-Терезия обычно относилась к поражениям своих генералов более снисходительно, ибо при ее военных ресурсах она могла так поступать.

Приведенное выше сравнение, взятое из капиталистической действительности, подходит к войнам восемнадцатого столетия больше, чем это кажется на первый взгляд. Хотя по своей форме эти войны были кабинетскими войнами, по существу они были торговыми войнами; торгово-политические причины, вызвавшие начало и определившие исход Семилетней войны, были очерчены уже выше. Сущность этих войн определенным образом отражалась и на способах их ведения. Это было, так сказать, финансово-калькуляционное дело. Денежные средства, фонды и кредит противника были приблизительно известны, была известна и величина его войска. Сколько-нибудь значительное увеличение финансовых и военных средств было во время войны исключено. Солдатский материал был всюду приблизительно одинаков; всюду им приходилось пользоваться одинаковым же образом, то-есть относиться к нему чрезвычайно осторожно, ибо если армия была уничтожена, то создать новую нельзя было, а кроме наемной армии не имелось ничего. Ничего или почти ничего. Ведь в конце концов последний талер был еще дороже последнего солдата, так как на него можно было завербовать нового солдата. Поэтому успех этих войн зависел главным образом от точного и надежного исчисления военного бюджета; только ввиду этого и становится вполне понятным приведенное выше изречение Фридриха о последнем талере, как о решающем факторе победы. В ту эпоху эти слова были столь правильны, что они сохраняли свое значение даже тогда, когда этот последний талер, как это было с Фридрихом, оказывался фальшивым. Король выдержал Семилетнюю войну вовсе не благодаря своим победам: в течение последних двух лет он вообще не выступал ни в каких сражениях, а о сражениях от 1758 до 1760 г. его записки отзываются со скромностью, конфузящей его поклонников и почти похожей на оправдание. Следует, наоборот, сказать, что он спас себя и свою корону ценой крайнего истощения

собственной страны и благодаря поистине страшной эксплуатации Саксонии, английским субсидиям и—фальсификации денег.

Это было действительно продолжение Тридцатилетней войны! Фальшивомонетчики и обрезальщики монет, процветавшие в семнадцатом столетии, праздновали час радостного возрождения, хотя лично Фридрих презирал эту старинную отрасль княжеской промышленности. Он стыдился ее и приказывал чеканить свои фальшивые монеты под польско-саксонским штемпелем, вследствие чего «польские монеты в восемь грошей», сохранившиеся до введения германской имперской монеты, были истинным бедствием для прусского населения. Иногда он подкупал какого-нибудь собрата из числа «монархов божьей милостью», вроде, например, князя Ангальт-Бернбургского, который должен был украшать своей отеческой физиономией выпускаемые Фридрихом скверные монеты, похожие на жестяные жетоны. Но и это не помогало. По меткому выражению Монтекукули, нервом тогдашней войны были деньги, деньги и еще раз деньги. Следует, однако, заметить, что к своей «промышленности», как стыдливо выражался Фридрих, он прибегал не только в крайние моменты. Еще до начала Семилетней войны король заключил договор о чеканке разменной монеты с тремя «монетными евреями»—Герцем-Мозесом Гумперцем, Мозесом Исааком и Даниэлем Итцигом; эта мера давала ему возможность расходовать за границей меньше благородного металла во время войны. По мере ухудшения положения деньги становились все хуже и хуже, и потому проклятия и ненависть народа сосредоточились главным образом на Фейтеле Эфраиме, последнем «монетном еврее» Фридриха. Очень плохо было и то, что Фридрих платил своим наемникам и подданным плохими деньгами, а в то же время требовал, чтобы ему платили хорошими: таким образом он извлекал из страны все хорошие деньги и потом чеканил из них плохие; только после того, как хорошие деньги совсем исчезли, он (в 1760 г.) разрешил королевским кассам принимать и плохие деньги «только из милости». Но всего хуже было то, что Фридрих распорядился брать суммы, депонированные в судах и внесенные хорошими деньгами, и по окончании процессов выплачивать их тяжущимся плохими деньгами; когда люди, столь жестоко обманутые в своем доверии к прусской юстиции, начинали по этому поводу жаловаться, все инстанции должны были делать вид, что они не понимают этих жалоб \*.

\* Буш, Собрание сочинений, 2, 408.

Совершенно ясно, что так как войны восемнадцатого столетия презирали все моральные средства воздействия, то они не могли оказать никакого морального влияния на дух народа и вызвать пробуждение национального духа. Они не могли этого сделать, подобно тому, как Гумперц, Исаак, Итциг и Фейтель Эфраим не могли быть предтечами Лессинга, Гердера, Гете и Шиллера. Тем не менее мы должны рассмотреть еще два положения, которые за последнее время выставляли патриотические историки, чтобы во что бы то ни стало сохранить за Семилетней войной характер национальной народной войны. По их мнению вольные батальоны и особенно учрежденная Фридрихом милиция были первыми зародышами созданного впоследствии ландвера. Но если мы хоть на минуту поставим себя на место Фридриха, мы сейчас же поймем, почему королю больше всего хотелось, чтобы война осталась войной кабинетов, войной наемных войск, и почему для него не было ничего более ненавистного, чем массовое ополчение. При системе массового ополчения он, с одной стороны, оказался бы в военном отношении несравненно слабее враждебных держав, бесконечно превосходивших его по числу народонаселения, а с другой стороны, ему пришлось бы бояться вооруженных крестьян своего собственного государства еще больше, чем всех держав мира, вместе взятых.

Если в силу тогдашнего военного устройства всякая мысль о массовом ополчении была исключена, то и сам Фридрих тщательно затоптал всякую искру, которая могла бы зажечь умы этой идеей. Правда, кое-где крестьяне брались за вилы и косы, — не из любви к Фридриху и его помещикам, а для того, чтобы защитить свое скудное добро от грабежей, а своих жен и детей от насилий ворвавшихся в страну вражеских наемников. Но король сейчас же приказал, чтобы крестьяне сидели на своих местах и не вмешивались в войну, в противном же случае грозил расправиться с ними, как с бунтовщиками; жителям Восточной Фрисландии, которые оказали сопротивление вторгшимся французам и сильно за это заплатились, он насмешливо сказал в ответ на их жалобы, что и он действовал бы так, как французы. Даже берлинским гражданам президент Кирхейзен запретил под страхом строгого наказания братья за оружие, когда в 1757 г. столица была временно занята австрийцами. Фридрих тщательно избегал всего, что могло бы придать войне «высшее», «национальное жизненное содержание», и он должен был так поступать, если не хотел раз навсегда отказаться от поставленной цели.



Из этого ясно само собою, что с вольными батальонами и милицией, которые учредил Фридрих во время Семилетней войны, дело обстояло совершенно иначе, чем утверждают новые прусские историки. Эти отряды сражались не из любви к королю и отечеству: они не только не были лучше обычных наемников, а, наоборот, состояли из отбросов солдатского материала, которые Фридрих решился использовать для военных целей лишь в минуту самой крайней нужды. В своих «Принципах тактики» он говорит, что «эти вольные батальоны» при нападении на защищенные окопами позиции следует пускать в первый же бой и гнать прямо на врага, «чтобы они таким образом привлекли на себя неприятельский огонь и, *может быть*, вызвали некоторое замешательство среди неприятельских отрядов. Но во всяком случае позади вольных батальонов нужно обязательно ставить регулярную пехоту, дабы она страхом перед штыком побуждала их к ожесточенной и упорной атаке». Далее Фридрих говорит: «При сражениях на равнинах свободные батальоны следует ставить только на наиболее слабом фланге, где они могут прикрыть обоз». Эти королевские предписания о способе использования вольных батальонов являются в то же время исчерпывающей и уничтожающей критикой этих войск. При Колине и в других сражениях Фридрих видел, какие опустошения в сомкнутых линиях его нападающей пехоты производила превосходная артиллерия австрийцев, поставленная на укрепленных окопами позициях; поэтому вольные батальоны приходилось гнать вперед штыками, как пушечное мясо, чтобы возможно лучше прикрыть атаку регулярной пехоты. Кроме того этот род войск, «*может быть*», оказался бы полезным и в другом отношении: эти отчаявшиеся люди, оказавшись в столь отчаянном положении, могли причинить неприятелю некоторый вред. Наоборот, на ровной местности, где прусская инфантерия могла развернуть всю свою силу, вольные батальоны надо было ставить возможно дальше от площади обстрела, на наиболее безопасных позициях, где они не могли вредить и в конце концов могли даже оказать некоторую пользу, прикрывая собою обозы. Эти батальоны были наименее пригодным элементом армии и, судя по дошедшим до нас сведениям, состояли из отбросов человечества.

Милиция заслуживает в моральном отношении несколько лучшего, но в военном отношении еще худшего приговора. Фридрих приказал учредить ее, когда после тяжелых потерь под Прагой и при Колине ему пришлось взять регулярные войска из Бранденбургской марки и Померании и в то же время позаботиться о том, чтобы эти провинции не сдались без всякого сопро-

тивления наступавшим русским и шведам. Милиция находилась под командой отставных офицеров, и для ее содержания на страну был наложен, в добавление ко всем прочим, милиционный налог и милиционный акциз. Эти отряды, как мы уже один раз выразились, отличались от армии не по роду, а по степени. Милиция рекрутировалась и проходила военное обучение подобно прочей армии, но человеческий материал был в ней гораздо хуже. Она состояла из бежавших в города крестьян, разоренных горожан, стоявших под угрозой голодной смерти, военнопленных, солдат-инвалидов и кантонистов, предназначенных к военной службе, но еще не успевших поступить в армию; забирая этих последних в милицию, власти предотвращали возможность набора их в неприятельскую армию. На поле сражений милиция выступала весьма редко и во всяком случае имела с народным ополчением столь же мало общего, как и вся вообще Фридриховская армия\*.

Второе положение, с помощью которого хотят спасти «национальное жизненное содержание» Семилетней войны, сводится к тому, что война спасла протестантскую духовную свободу и т. д. и т. д. Насколько в действительности основательно это утверждение, мы уже видели. Нам возразят: как бы то ни было, мир видел во Фридрихе героя протестантизма, и Фридрих сознательно или бессознательно был таковым. Конечно, совершенно верно, что король должен был включить в свои военные расчеты и религию, как более или менее важную статью. Не нужно только спрашивать, как он это сделал. В своих «Общих принципах войны» — инструкции, рассылавшейся всем его генералам на случай войны и подлежавшей строгому исполнению, он говорит:

«Если война ведется в нейтральной стране, то все дело в том, какая из двух сторон приобретет дружбу и доверие жителей. Нужно поддерживать строгую дисциплину... Нужно обвинять неприятеля в том, что он питает самые злостные планы в отношении страны. Если страна протестантская, как, например, Саксония, то следует играть роль покровителя лютеранской религии; если страна католическая, то нужно говорить только о терпимости. Остается еще фанатизм. Если можно возбудить в народе любовь к свободе совести и втолковать ему, что его

\* *Шварц*, Организация и снабжение прусской милиции во время Семилетней войны (*Schwarz, Organisation und Verpflegung der preussischen Landmilizen im Siebenjährigen Kriege*). Автор изображает милицию, как предтечу ландвера, но сообщаемые им архивные материалы с достоверностью доказывают противоположное.

притесняют попы и ханжи, то на такой народ можно вполне рассчитывать; это в сущности значит приводить в движение небо и ад ради ваших интересов».

Не ясно ли, что бесхитростная душа Фридриха ни сознательно, ни бессознательно не мечтала о роли героя, отстаивающего «протестантскую духовную свободу», о той роли, которую он, якобы, сыграл во время Семилетней войны? Но так как миру, повидимому, пришлось в голову делать из Фридриха такого героя, то в подтверждение этой мысли патриотический волшебный фонарь все снова и снова воспроизводит на экране портрет австрийского маршала с освященной шляпой и освященной шпагой. Но и здесь дело обстоит весьма своеобразно. Иногда Фридрих действительно не только в Саксонии, но и во всей Германии старался разыгрывать роль «покровителя лютеранской религии» или, как он говорит в другом месте, «доводить до ярости тех, которые питают хотя бы слабую склонность к Мартину Лютеру». С этой целью он поручил маркизу д'Аржансу изготовить целый ряд поддельных документов, как, например, то папское брeve, где папа жалует маршалу Дауну освященную шляпу и шпагу за нападение при Гохкирхе; впоследствии он совсем уж не по-королевски старался высмеивать этого далеко не плохого противника, называя его «человеком с освященной шапкой» \*. Но этот противопапский спектакль был предназначен не для нации, а для мелких немецких дворов,—не только протестантских, но и католических. Несомненно, во время Семилетней войны австрийцы проявляли некоторую тенденцию—весьма, впрочем, слабую и ограниченную—распространить господство Габсбургов и папы над всей Германией; французские дипломаты, состоявшие при германских дворах, доносили в посылаемых в Версаль отчетах, что даже католические имперские сословия озабочены сохранением «германской свободы», и настоятельно необходимо рассеять эти опасения официальными заявлениями. Австрийское правительство, действительно, не раз опровергало подозрение, что оно, якобы, намерено нарушить Вестфальский мирный договор, но это подозрение выра-

\* Следует, между прочим, заметить, что хотя австрийское правительство немедленно объявило выдумкой историю насчет освященной шляпы и шпаги и хотя эта выдумка разоблачалась множество раз самым основательным и подробным образом, она до сих пор продолжает пользоваться полным доверием со стороны прусских историков. См. *Трейчке*, I, 60, *Бернгарди*, I, 28. Конечно, та же мысль повторяется и в произведениях второго и третьего ранга. По сравнению с прочностью этой прусской патристической басни даже египетские мумии кажутся какими-то мухами-поденками.

стало само собой из общего положения вещей, и Фридрих делал ловкий дипломатический ход, когда он всячески старался усилить его. Попытки Фридриха были не безуспешны. На Регенсбургском имперском сейме все протестантские имперские сословия приняли особую резолюцию и помешали венскому двору объявить по отношению к Фридриху «имперскую опалу»; если «имперская экзекуционная армия» оказалась еще более жалкой, чем она должна была бы быть согласно устаревшей имперской конституции, то это произошло потому, что большинство имперских сословий, как католических так и протестантских, поставляли свои плохо вооруженные отряды весьма неохотно и медленно. Поэтому у Фридриха были все основания писать маркизу д'Аржансу, что его антипапские фальшивки стоят выигранной битвы. Однако он имел здесь в виду только моральное воздействие на дворы, а отнюдь не на нации. Да и при дворах успех его не пошел дальше известных границ. Мелкие немецкие дворы были слишком трусливы и не могли рискнуть на самостоятельное решение; некоторые из них, больше всего опасавшиеся когтей Фридриха, сочетали пользу с безопасностью и продавали и отдавали в наем своих уроженцев Англии, которая формально находилась в состоянии войны лишь с Францией, но не с Австрией и не с Германской империей. Мы полагаем, что в этой торговле людьми вряд ли приходится видеть «высшее жизненное содержание» Семилетней войны.

Семилетняя война походила на все войны восемнадцатого столетия, экономические и военные последствия которых в сущности совершенно не затрогивали гражданского населения. Так же точно смотрели на Семилетнюю войну и все современники. Под свежим впечатлением разразившейся войны Фридрих писал: «Мирный гражданин не должен даже замечать, когда дерется нация». Лессинг же писал в первом Литературном письме: «Я предпочитаю убаюкивать себя и вас сладкой мечтой, что в нашу более нравственную эпоху война—не что иное, как кровавая тяжба между независимыми венценосцами, которая совсем не отражается на всех прочих сословиях и оказывает влияние на науки лишь в том смысле, что она порождает новых Ксенофонов и новых Полибиев». О войнах восемнадцатого столетия Клаузевиц пишет: «Не только по своим средствам, но и по своей цели война все более и более ограничивалась одной только армией. Армия со своими укреплениями и несколькими укрепленными позициями составляла государство в государстве, в котором воинский дух медленно угасал. Вся Европа радовалась этому направлению и считала его необходимым

следствием духовного прогресса. Хотя это было ошибочно, тем не менее эта перемена благотельно подействовала на народы; не следует только упускать из виду, что благодаря подобному взгляду война становилась исключительно делом правительств и еще более удалялась из сферы народных интересов». Мы привели здесь три классических свидетельства, но к ним следует еще прибавить несколько показательных фактов.

Когда Фридрих, стоявший в Лейпциге на зимней квартире, рассуждал с Готтшедом о немецкой литературе, он написал французскую оду в честь «саксонского лебедя», а Готтшед публично ответил напыщенным и восторженным стихотворением, заканчивавшимся словами: «И твой поклонник остается твоим». Лессинг много издевался над этой глупостью, но в то время никто не видел ничего дурного в том, что профессор, принадлежащий к числу подданных саксонского курфюрста, публично льстит завоевателю своей страны и смертельному врагу своего государя: то, что показалось бы в наше время постыдной изменой, казалось тогда совершенно естественным и в крайнем случае вызывало лишь смех своим эстетическим безвкусием. До такой степени гражданское население считало себя чуждым военным операциям! Весьма поучительна также и переписка, которую в 1757 г. Лессинг, живший тогда в Лейпциге, вел со своими берлинскими друзьями—Мозесом Мендельсоном и Николаи. 1757 г. был единственным годом Семилетней войны, когда как будто проявился некоторый культ героев. Сначала битва при Праге—самая большая за все столетие; потом—резкий поворот счастья при Колине; наконец—быстрый взлет после глубочайшего падения, радостная победа при Росбахе и блестящая победа при Лейтене. Чего только не могли наговорить по этому радостному поводу Лессинг, родственник Фридриху по духу и революционному настроению, и бранденбургско-прусский патриот Николаи в своей переписке! А оказывается—они не сказали почти ничего. В их письмах от 1757 г. встречаются длинные рассуждения о теории трагедии, всевозможные хитроумные изыскания насчет грамматических неясностей в «Мессиаде» Клопштока, совещания относительно издания «Библиотеки изящных наук», которую пруссаки Мендельсон и Николаи в конце концов печатают у саксонского издателя; ну, а что же они пишут о войне? Почти ничего,—если не считать сообщение Лессинга о том, что поэт Звальд фон Клейст командирован в пехотный полк, стоящий в Лейпциге, да насмешливого замечания Мендельсона, что Лессинга, должно быть, забрали в армию для защиты курфюршества, ибо он очень долго не присылает ответа.

Но если Лессинг и Мозес, принадлежавшие к самым передовым элементам германского буржуазного населения той эпохи, в общем проявляли к войне безразличное отношение, то все-таки и у них проглядывает признание той «ошибки», о которой говорит Клаузевиц; беда лишь в том, что это признание имеет совсем другой смысл, чем какого можно было бы ожидать согласно теории «высшего жизненного содержания». В приведенном выше выражении Лессинга: «сладкая мечта» уже звучит некоторое сомнение, выступающее еще яснее в непосредственно предшествующих ему фразах. Там говорится: «Мир восстановится и без них (муз); печальный мир, доставляющий только одно меланхолическое удовольствие—удовольствие поплакать о потерянном имуществе. Но я хочу отвлечь ваш взор от этой мрачной перспективы. Не следует сердиться на солдата за достойные сожаления последствия его ремесла». В таком же точно тоне пишет и Мозес Лессингу в 1757 г., прося его уехать из Лейпцига, этого города тревог, огорчений и всеобщего отчаяния: «Приезжайте к нам, и в нашей одинокой беседке мы забудем, что человеческие страсти опустошают земной шар. Как легко нам будет забыть низкие ссоры, подсказанные алчностью, когда мы устно станем продолжать спор о важнейших вопросах, начатый нами в письменной форме!» \*. Удивительно, что эти идейные вожди буржуазных классов, бросая критический взгляд на Семилетнюю войну, преисполняются не симпатией, а антипатией! Впрочем, это, пожалуй, и совсем не удивительно. Ведь взгляд, что война не касается гражданского населения, был возможен лишь потому, что это население было лишено всякого самосознания, и только до тех пор, пока оно было его лишено; вместе с самосознанием немедленно должно было прийти и понимание того, что одно лишь население расплачивается за издержки войны. Это «благодетельное последствие», казавшееся «необходимым результатом духовного прогресса», на самом деле было куплено ценой отказа от всякого «высшего жизненного содержания». Гражданское население могло относиться и действительно относилось равнодушно к Семилетней войне, но как только в нем просыпалось хоть какое-нибудь чувство, это было чувство отвращения, а не чувство гражданского самосознания или национальной гордости. Буржуазные современники Фридриха не могли почерпнуть из Семилетней войны чувства национальной гордости, подобно тому, как Фридрих не мог вести войну по принципам наполеоновской стратегии.

\* Собрание сочинений Лессинга, 2, 2, 14. Изд. Гемпеля.

Этим заканчивается наша историческая критика легенды о Лессинге в ее второй, а также и в ее первой версии. Если нам пришлось начать несколько издавелека, чтобы вскрыть корни застарелых и окаменевших заблуждений, пользующихся покровительством столь крупных имен, то зато тем скорее мы сможем выяснить третью версию легенды о Лессинге,—византийско-лакейскую ее версию, сложившуюся в новой Германской империи.

## Х

### Шерер и Эрих Шмидт о Лессинге

Третья версия легенды о Лессинге развивается в двух типичных произведениях: «Истории германской литературы» Шерера и биографии Лессинга, написанной Эрихом Шмидтом.

Мы не будем здесь касаться других продуктов литературы о Лессинге, разросшейся с тропической пышностью после 1870 г. Было бы несправедливо упрекать лиц, подготовивших к печати издание Гемпеля, за несколько верноподданнических кивков; в своем филологическом анализе произведений Лессинга они проявили огромное трудолюбие и таким образом создали наилучшее противоядие против практикующегося до сих пор искажения его подлинного облика. Обе английские биографии Лессинга (Сайма и Зиммерна) не имеют никакой самостоятельной ценности; «Жизнь Лессинга» Дюнцера есть не что иное, как жалкая компиляция. В самом начале своего предисловия автор сообщает, что господин К. Р. Лессинг оказал ему «большие услуги» в его работе, и каждая страница безвкусной компиляции подтверждает это сотрудничество. Господин К. Р. Лессинг, нынешний собственник газеты «Vossische Zeitung»—обычный капиталист, обладающий необычным богатством; сегодня он издает роскошное издание «Натана», а завтра выбрасывает на мостовую газетного кули за еврейское происхождение, причем оба эти акта, прославляющие великого прапрадеда, встречают бурное одобрение капиталистических корибантов Лессинга. Не стоит подробнее расписывать эту отталкивающую картину, как не стоит и связываться с лиллипутами, поддерживающими басню о Лессинге,—с учеными из «Vossische Zeitung», «National Zeitung», «Berliner Tageblatt» и из других капиталистических газет. За византийским образом мыслей Шерера и Эриха Шмидта стоит по крайней мере александрийская ученость, и неверное понимание ими Лессинга, равно как и всей нашей классической литературы, приобретает известное

культурно-историческое значение, тем более, что Шерер до самой своей смерти, последовавшей несколько лет тому назад, был профессором истории литературы в Берлинском университете, а Эрих Шмидт стал его преемником.

Лессинг заранее чуял пришествие Шерера и писал: «Богу известно, добрые швабские императоры имели же бóльшие заслуги пред тогдашней германской поэзией, чем нынешний прусский король пред современной. Но я все-таки не поручусь, что не найдется когда-либо льстец, который бы не нашел нужным назвать нынешнюю эпоху немецкой литературы эпохой Фридриха Великого». Этот «льстец» и есть Шерер. Почти на 130 страницах своей работы он говорит об «эпохе Фридриха Великого» от Готтшеда и Геллерта до Гердера и Гете, посвящая Лессингу около тридцати страниц \*. Правда, Шерер знает «предостережение» Лессинга, но оно его «совсем не пугает». Разумеется, не пугает. Почему бы Шереру и не проявить сверхчеловеческого мужества и не нанести мертвому Лессингу того тяжелого оскорбления, против которого так сурово предостерегал Лессинг при жизни? Правда, Шерер до некоторой степени обосновывает свой взгляд и даже решительно отказывается от ссылки на «знаменитое место» Гете; он полагает, что сами факты с полной ясностью подтверждают ту мысль, что литературный подъем тесно связан с политическим подъемом. Здесь проглядывает правильный принцип. Если мы будем излагать историю литературы той или иной эпохи, не зная экономической и политической истории этой эпохи, то наше изложение сведется в лучшем случае к водянистым эстетическо-филологическим рассуждениям. Это подтверждают бесчисленные истории литературы и в особенности история литературы Шерера. Ибо этот кажущийся зачаток более глубокого понимания оказывается у него не чем иным, как придворным оборотом речи, цель которого — контрабандой протащить в нашу классическую литературу короля Фридриха, как великого человека, пролагающего духу новые пути. Во всех других случаях он самым непозволительным образом игнорирует связь между литературой и политикой. Он даже умудряется говорить всякие мало вразумительные фразы насчет Лютера и Гуттена, ни одним намеком не касаясь отношения этих людей к политическим и социальным вопросам их эпохи. «Реформация — это прежде всего Лютер. Его воля, его духовное направление решали все». Лютер «из своей внутренней борьбы по-

\* Шерер, История немецкой литературы, (*Scherer, Geschichte der deutschen Literatur*), 5-е изд, 394 и сл.



черпал силу для того, чтобы ринуться против папы и старой церкви и увлечь за собой нацию». Что за глубокомысленное понимание истории реформации! Даже такой буржуазный ученый, как Рошер, говорит: чтобы понять, к какому направлению принадлежали отдельные люди эпохи германской реформации, нужно рассмотреть их отношение к крестьянской войне. Что же говорит Шерер об отношении Лютера к крестьянам? Вот что: «Высоко поднявшийся крестьянский сын разъяснял крестьянам божественные истины». Как милостиво, как снисходительно, как идилично! Шерер ничего не знает или не хочет знать об измене Лютера крестьянам, оказавшей решающее влияние на политическую, социальную и даже литературную деятельность реформатора.

Так мало понимает он внутреннюю связь между состоянием литературы и экономическо-политической обстановкой. Но как только дело доходит до бранденбургско-прусского государства, сейчас же с помощью божией у него находится готовая фраза, — как бы кусочек мыла, из которого взбивается византийская пена. «Все прусские правители со времени великого курфюрста имели отношение к германскому просвещению; все они прямо или косвенно способствовали ему». Да неужели? Вот, например, Фридрих-Вильгельм I. Он тратил доходы берлинской академии на жалованье придворным шутам, тупоумно издевался над профессорами университета во Франкфурте-на-Одере, а учителя, разъяснявшего кронпринцу Фридриху Золотую Буллу, отхлестал со словами: «Подожди, плут, я покажу тебе *beaugeant bullam*». Даже Трейчке признает, что он варварски издевался над всяким идеалистическим порывом. Но оказывается, что и этот правитель был покровителем просвещения; по словам Шерера, «сами факты ясно говорят об этом». Фридрих-Вильгельм I ненавидел всякое просвещение, в том числе и французское. Это — «факт», и он «говорит следующее»: «Главными силами германского воспитания со времен реформации и возрождения были библейское христианство и античная литература; *в силу этого обстоятельства* они воздействовали на молодых пруссаков более непосредственно, чем на прочих немцев». «Поэтому было совершенно не случайно, что в Галлеском университете впервые выступило то поэтическое направление, которое пруссак Клопшток довел впоследствии до наивысшей его точки, что Винкельман был родом из Пруссии и что Лессинг получил решительный толчок к своему творчеству в Берлине». Так пишется история литературы в новой немецкой империи!

Но остановимся на минуту на этой византийской болтовне! Галлеский университет очень хорошо испытал на себе отеческий скипетр Фридриха-Вильгельма I, когда король приказал знаменитейшему его преподавателю, философу Вольфу, под страхом повешения покинуть все королевские земли в течение сорока восьми часов. Это случилось потому, что несколько завистников-профессоров, в частности богослов Ланге, нашептали королю, что Вольф проповедует фатализм; по учению Вольфа выходит, что если какой-нибудь верзила-гренадер дезертирует из Потсдама, то это значит, что так решила судьба, а следовательно, дезертира нельзя наказывать, ибо противиться року он не мог. Это отеческое попечение о науках «говорило столь ясным языком», что в результате его создалась галлеская поэтическая школа. «Поэтому было далеко не случайно», что единственным «бессмертным» этой школы оказался сын доносчика Ланге и что бессмертие его создалось на почве античной литературы, которой Фридрих-Вильгельм I обеспечил «более непосредственное воздействие» на «молодых пруссаков». Смотрите лессинговский «Вадемекум для господина Самуила Готгольда Ланге, лаублингенского пастора», благодаря которому этот переводчик Горация стал бессмертным, как насекомое, застрявшее в янтаре.

По Шереру выходит так, что пример Марсия, с которого содрал кожу Аполлон, воспламенил «пруссак» Клопштока. Пруссак, нечего сказать! Клопшток был родом из Кведлинбурга, а Кведлинбург с 937 до 1803 г. был женской монастырской общиной и был непосредственно подчинен империи. Образование и воспитание Клопшток получил в саксонской школе Пфорта и в саксонском Лейпцигском университете; впоследствии датский король обеспечил этому немецкому поэту необходимый досуг, чтобы он мог закончить «Мессиаду»; жил Клопшток по большей части в Копенгагене и Гамбурге, а временами — в Цюрихе и Карлсруэ, где маркграф Баденский оказывал ему благожелательное покровительство. Отношения Клопштока с Пруссией ограничивались тем, что он высмеивал иностранные обычаи Фридриха II, этого «иностранца на родине», как он его называл, и был уверен, что немецкая литература может скорее рассчитывать на покровительство Габсбургов, чем на покровительство Гогенцоллернов. Но Шерер говорит, что Клопшток был «пруссак», а Шерер ведь человек почтенный. В действительности дело обстояло следующим образом. Лет за двадцать до рождения Клопштока Пруссия купила у Саксонии за 300 000 талеров верховные права на Кведлинбургскую общину, несмотря на сильнейшие протесты кведлинбургских жителей, а в 1803 г.,

в год смерти Клопштока, на основании постановления имперской депутации произошло перераспределение принадлежавших духовенству областей, и Кведлинбург окончательно вошел в состав прусского государства. Ребенком и школьником Клопшток наверное видал, как наемники Фридриха-Вильгельма I проходили военное обучение в Кведлинбурге и наказывались шпицрутенами, и благодаря этому незаметно изучил «библейское христианство» и «античную литературу», а это в свою очередь привело к тому, что мы, немцы, по неисповедимой воле неба, доподлинно впрочем известной Шереру, познакомились с классической литературой, сами не зная как. Жаль, чрезвычайно жаль, что злополучный Клопшток так и не узнал, какие благодатные силы управляли его ничего не подозревавшей головой! Даже тогда, когда Клопшток давным давно стал знаменитым поэтом, в отцовский дом ему приходилось наезжать тайком и скрываться от подстерегавших его прусских вербовщиков, а полученное от отца наследство он с трудом спас от конфискации в пользу прусского военного фиска.

Винкельман, как утверждает Шерер, «родился в Пруссии». Это совершенно верно. Винкельман был сыном штендальского сапожника, и под сенью штендальской готической церкви ему даже воздвигнута статуя—памятник, столь безвкусный, что культурный европеец мог бы его пожелать разве только своему смертельному врагу. Но, к несчастью для Шерера, Винкельман, — которому на этот счет наверное было кое-что известно, — не только не считал своего прусского происхождения «далеко не случайным», а, наоборот, полагал, что это—самая досадная и самая непонятная случайность. Когда он наконец смог отряхнуть со своих туфель прах бранденбургской земли, он писал: «Мне пришлось много страдать, и я всегда сохранию отвращение к моей родине». Далее: «Я охотно забуду отечество... Мое отечество—Саксония; я не признаю никакого другого, да и к тому же во мне нет ни одной капли прусской крови». Пруссию он нередко просто именует «деспотической страной» и говорит, что «над ней тяготеет величайший и неслыханный деспотизм. Я с ужасом думаю об этой стране». Как-то раз Винкельман выражал опасение насчет близкой смерти своего старого друга и прибавлял при этом: «Это было бы для него самое лучшее, — для него и для всех тех, кто живет в тяжелой, душающей атмосфере этой несчастной страны». По его мнению, свободный швейцарец должен ненавидеть эту страну больше, чем Сибирь. «У меня мурашки пробегают по всему телу, — восклицает он и письме к Устери от 15 января 1763 г., — когда я думаю

о прусском деспотизме и о живодере народов, который делает посмешищем человечества эту страну, проклятую самой природой и покрытую ливийскими песками, и обрекает ее вечному проклятию! Обрезанный турок лучше, чем пруссак». Таких цитат можно было бы привести бесконечное количество \*.

Этого достаточно, чтобы оценить по достоинству взгляд Шерера на Фридриха-Вильгельма I как на духовного родоначальника нашей классической литературы; «о решительном толчке», якобы полученном Лессингом в Берлине, мы будем еще говорить в другом месте. Но уже все сказанное нами до сих пор в сущности окончательно опровергает рассуждения Шерера насчет почетной роли Фридриха II в развитии германского просвещения: рассуждения о его либерализме в церковных вопросах, о его патриотических военных подвигах, о его отзывчивом отношении к литературной культуре и о его славном примере, создавшем ему таких учеников и приверженцев среди немецких князей, как, например, Карл-Август Веймарский. Все эти четыре пункта были прекрасно освещены уже Ксантип-Зандфоссом. Следует только сказать еще несколько слов относительно «церковного либерализма»! Лично для короля этот «церковный либерализм», как метко замечает господин Зандфосс, выражался просто в атеизме; но в его политике он проявлялся как конфессионализм, регулируемый феодально-военными нуждами и по части нетерпимости соперничавший с самым крайним ультрамонтанством в тех случаях, когда он мог свободно проявить себя. Вспомним о страшном шуме, который недавно поднялся по поводу предложения одной ультрамонтанской газеты, настаивавшей, чтобы универ-

\* Юсти, Винкельман, 1, 188 и сл. (*Justi, Winckelmann*). Юсти стоит «говоря вообще», на буржуазно-прусской точке зрения и полагает, что в эпоху Винкельмана фридриховский деспотизм был для Пруссии лучшей формой правления, и однако после этого указания, вслед за гневными выпадами Винкельмана он прибавляет: «Мы любим тех, кто ненавидит деспотизм во всякой форме, кто ненавидит даже необходимый деспотизм, даже целый и просвещенный деспотизм. Мы отдаем им даже предпочтение пред теми, кто, забравшись на вершины исторического понимания, смотрит оттуда с пренебрежением на «ограниченный» и «партийный» дух восемнадцатого века, кто сохраняет свой исторический смысл и сочувствие только для всех удачливых преступников, для эшафотов и дворцовых переворотов прошлого, кто только вечные идеи права, просвещения и гуманности считает фразой и не понимает только стремления народов к политической свободе». Это—язык достойной уважения буржуазной идеологии. Если мы сравним Юсти шестидесятых и семидесятых годов с Шерером восьмидесятых и Эрихом Шмидтом девяностых годов, то духовный упадок германской буржуазии станет нам ясным до очевидности.

ситетские профессора в обязательном порядке открыто признали вероучения своих вероисповеданий; а между тем это предложение было еще весьма «либеральным» по сравнению с требованиями фридриховской эпохи, когда профессора всех четырех факультетов должны были принимать присягу в принадлежности к *евангелическому* вероисповеданию. Вот каков был этот пресловутый «церковный либерализм», из которого, по словам Шерера, выросла наша классическая литература.

Всего невыносимее становятся Шерер и его достойный наследник Эрих Шмидт тогда, когда они стараются изобразить Лессинга карьеристом современного склада. Говоря о мимолетном личном знакомстве Лессинга с Вольтером, Шерер пишет: «Громадная выгода для юного начинателя! Пользоваться застольной беседой первого писателя тогдашней Европы, быть гостем друга прусского короля: какая перспектива умственной пользы и успеха, протекции и рекомендации!»\* Да, и какая же наглость нужна, чтобы приписывать душе Лессинга мечты о «протекции и рекомендации»! По этому же поводу господин Эрих Шмидт изрекает: «Бесспорно, что Лессинг не раз питал смелую надежду оказаться в свите Вольтера и обратить на себя внимание монарха, ибо все немецкие писатели, даже и те из них, которые как будто с такой гордостью драпировались в свою христианско-германскую добродетель, страстно желали быть замеченными Фридрихом». А это уж — бесстыдство чистейшей пробы! Только во второй части настоящего сочинения мы сможем привести документальные доказательства того величайшего презрения, с которым Лессинг, преисполненный национального образа мыслей, свойственного ему, как передовому борцу буржуазных классов, смотрел на французскую образованность короля; тем не менее уже и здесь мы можем констатировать, что это «бесспорное», по его мнению, утверждение господин Эрих Шмидт не может обосновать даже тенью доказательства. Даже тенью доказательства! А между тем господин Эрих Шмидт этим не довольствуется и продолжает: «Надежды Лессинга могли казаться более верными, чем старания галлеских уроженцев заручиться протекцией поэтизирующего генерала Штилле». Таким образом оказывается, что Самуил-Готтольд Ланге, лаублингенский пастор, все-таки добился той чести, которую так нелюбезно отнял у него лессинговский «Вадемекум»; ведь этот бравый патриот

\* Шерер В., История немецкой литературы, Спб. 1893, II, 43. Перев. А. Пыпина.

старался только завоевать милость прусского генерала, между тем как Лессинг бежал за французским писателем, так как при таком способе его цель «казалась ему более близкой к осуществлению». Итак, этого Лессинга поймали наконец с поличным! Господин Эрих Шмидт пишет дальше: «Столь же бесспорным представляется нам и предположение, что французская комедия «Палайон», которую начал было писать Лессинг, была в сущности осторожным подходом к Вольтеру и королю». Столь же бесспорно! А между тем все дело заключается в том, что одно время молодой Лессинг часто встречался с французским учителем и для усовершенствования во французском языке написал по-французски несколько сцен, — всего-навсего шесть маленьких печатных страниц, найденных много лет спустя в его литературном наследстве. Отсюда делается вывод, что он был подлизой и пронизой! В другом месте господин Эрих Шмидт говорит, что Лессинг искал в Берлине высоких покровителей. Ого! Но мы уже употребили довольно сильное выражение по адресу господина Эриха Шмидта и можем этим ограничиться\*.

Что касается до «христианско-германской добродетели», то господину Эриху Шмидту следовало бы лучше покопаться в своей собственной душе. Описывая, как Лессинг старался спасти репутации Горация, он говорит: «Друзья поэтов могут надеяться, что после Архилоха, Алкея и Горация найдет своего спасителя и повстанец Гервег, на котором до сих пор тяготеет миф о том, как он спасался под кожаным брезентом». Что это значит? «Миф о кожаном брезенте» по крайней мере раз шесть так основательно опровергался, как только можно опровергнуть подлую и тенденциозную, ничем не обоснованную ложь.

\* *Эрих Шмидт*, Лессинг (*Erich Schmidt, Lessing*), 1, 188, 203. Не следует, впрочем, думать, что подобный византизм—единичное явление в буржуазной истории литературы. Так, например, господин Отто Брам в своем сочинении «Генрих фон Клейст», стр. 351, говоря о какой-то маленькой принцессе, «супруге принца Вильгельма, урожденной принцессе Гессен-Гомбургской», превозносит ее как «высокую покровительницу» на том основании, что отчаявшийся автор поэмы «Принц Гомбургский»—этого единственного истинно поэтического и именно поэтому непонятого произведения, прославлявшего дом Гогенцоллернов,—получил от этой дамы хоть слово одобрения, впрочем, даже и не получил,—сохрани господи!—а только надеялся получить, да так его и не дождался. Этому сугубо верноподданническому образу мыслей не противоречат, а, наоборот, полностью соответствуют громовые слова, которые господин Отто Брам пишет в своем посвящении господину Эриху Шмидту: «Итак, за работу со свежими силами! Вот вам мой Клейст, а вы дайте нам вашего!» Гордость лакея всегда бывает всего нелепее.

Это, повидимому, знает и господин Эрих Шмидт, ибо он называет это «мифом». Но на ком же может «тяготеть» бессмысленная ложь, если ее столько раз опровергали? Уж не на высоких ли «покровителях»? Может быть, «христианско-германская добродетель» господина Эриха Шмидта именно для того и втаскивает эту гнусную, не имеющую никакого отношения к теме выдумку в биографию Лессинга! Он изображает Лессинга благочестивым слугой Фридолином, но отмыть этого мавра до-бела чертовски трудно, и потому биограф Лессинга, только что подставивший ножку Гервегу, безопасности ради заявляет:

Так знайте же: я только Снуг, столяр.  
Не лев свирепый, и не самка льва.

Бросим теперь взгляд и на второй том книги Эриха Шмидта. По его словам выходит так, что мученическая, хватающая за сердце жизнь Лессинга в Вольфенбюттеле была сплошным брюзжанием «ограниченного разума подданных» против великодушного и благожелательного государя. В начале 1773 г. наследный принц Карл-Вильгельм-Фердинанд Брауншвейгский предложил по собственной инициативе улучшить положение Лессинга, получавшего ничтожное жалованье, при условии, если Лессинг «прочно обоснуется на брауншвейгской службе». Лессинг, успевший за это время обручиться с Евой Кениг и страстно желавший ускорить свою свадьбу с любимой женщиной, взял на себя это обязательство, а благородный наследный принц после этого повел себя так, словно он ничего не знает об этом деле. День проходил за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом, а он все молчал. Из писем Лессинга видно, до какой степени это княжеское коварство отравляло ему жизнь в уединенном Вольфенбюттеле; дикие крики скорби, то и дело вырывающиеся у него, несмотря на все его мужественное самообладание, просто потрясают читателя. А теперь послушайте, как господин Эрих Шмидт читает снисходительные нотации, уверяя, что «Лессинг был лишен всякого хладнокровия и рассудительности». «Он воспринимал вещи в искаженном виде». «Он взвинчивал себя и дошел до яростной злобы против государя, преступление которого заключалось в том, что он дал преждевременное обещание и не обладал достаточной свободой действий и достаточной откровенностью, чтобы успокоить лихорадочное нетерпение Лессинга положительным или отрицательным ответом». Этими милыми словами—«лихорадочное нетерпение»—автор мягко порицает душевное состояние сильного человека, которого великая любовь приковала к пустынному

утесу и который в течение трех или четырех лет изо дня в день чувствует, как ястреб пожирает его сердце. Но почему же «государь не обладал ни свободой действий, ни откровенностью»? Господин Эрих Шмидт говорит, что причиной этого была «гордая сдержанность наследного принца, занимавшегося исключительно финансовой реформой». В другом месте он поясняет это следующими словами: «Лессинг боролся с долгами; наследный принц тоже старался оберечь себя от лавины безденежья».

Отец наследного принца, герцог Карл, совершенно расстроил брауншвейгские финансы. По выражению господина Эриха Шмидта, «он был лишен мелочной бережливости»; «герцог Карл, легкомысленный и чувственный от природы, вступив на трон, с радостью сбросил с себя педантические оковы строгого воспитания, полученного им в юности, и предоставил в распоряжение своего импрессарио Николини чрезмерно большие средства». Другой буржуазный историк, который, несмотря на все идеалистические выкрики своего дешевого радикализма, совсем не принадлежит к нашему лагерю, именно Иоганн Шер, пишет по этому поводу следующее: «Герцог Карл Брауншвейгский прекрасно понимал алхимию, дававшую возможность превращать в золото кровь его подданных. Она была ему весьма необходима, так как он, обладая всего 60 квадратными милями территории и 150 000 подданных, хотел жить с пышностью вавилонского султана. Так он желал, и так он поступал. Директору театра и своему главному своднику, итальянскому проходимцу Николини, он платил 30 000 талеров в год, между тем как Готгольду Эфраиму Лессингу, вольфенбюттельскому библиотекарю, он уплачивал 600 талеров в год» \*. В 1773 г. герцог, доведенный почти до банкротства, передал правление наследному принцу, который, как с похвалой говорит господин Эрих Шмидт, преисполнился «гордой сдержанности» и занимался «только» финансовой реформой.

Неужели «только» ею? «Не теряя лишних слов,—бряцает на лире господин Эрих Шмидт,—наследный принц стал проявлять в отношении личных расходов несвойственную ему экономию». Естественно, что, будучи сам кающимся грешником, он и вольфенбюттельскому библиотекарю отказал в прибавке 200 талеров. Из-за такой-то нищенской суммы этот замечательный государь годами держал Лессинга на дыбе! Но если не лично для себя, то для кого же содержал наследный принц гарем, в котором блистали графиня Бранкони и фрейлейн фон

\* Шер, Блюхер (*Scherr, Blücher*), 1, 24.



Гертефельд, султанские фаворитки?\*. Но и на этой грязи лойяльность господина Эриха Шмидта распускается, как белоснежная лилия. Он пишет: наследный принц «держал любовниц, которые владели его чувствами, но не головой и не сердцем». Двадцатью строчками ниже он говорит: «С невероятным самообладанием он держал на привязи свои страсти, как собак на цепи». Этими словами господин Эрих Шмидт хочет сказать, что в 1806 г. этот государь, бывший тогда уже семидесятилетним старцем и занимавший пост прусского верховного главнокомандующего, привез с собой французскую проститутку на поле сражения под Йеной. Патриотически настроенные прусские офицеры были тогда единодушно убеждены, что эта наложница герцога передала все его планы и диспозиции своим наступавшим землякам\*\*. Но в данном случае они, очевидно, заходили слишком далеко под влиянием вполне понятного гнева. Если бы эта плутовка захотела перед йенским сражением выдать «планы и диспозиции» своего любовника, то ей пришлось бы дать больше, чем она могла получить. Да и кроме

\* Госпожа Гертефельд происходила из клевского дворянского рода, переселившегося в Бранденбургскую марку и владевшего здесь большим имением Либенберг. Ее брат, Фридрих-Леопольд фон Гертефельд, владелец Либенбергского имения, принадлежал к числу самых яростных противников графини Лихтенау,—разумеется, исключительно из чувства нравственного возмущения. В письме от 18 марта 1797 г.—см. *Фонтан*, «Пять замков,—он с удовольствием сообщает о разрушениях, произведенных в доме Лихтенау дворянской чернью в то время, когда Лихтенау уехала на свадьбу дочери. О своей сестре, игравшей для герцога Брауншвейгского роль графини Лихтенау, тот же самый фон Гертефельд пишет: «Это была добродушная, рассудительная особа, но, к несчастью, она болезненнее прочих воспринимала безумства нашего времени». Дело в том, что госпожа Гертефельд тряслась от страха, когда узнала, что нож мастера Самсона отрезал голову Дюбарри. С этого времени, проживая в брауншвейгском замке, она все свои чемоданы держала упакованными, и на случай бегства у нее хранилось в ящике 5000 талеров наличными. Но ей посчастливилось больше, чем Дюбарри: она стала настоятельницей Штедернбургской общины и спокойно умерла за несколько месяцев до Йенского потопы. Брат ее был позже одним из злейших противников Шарнгорста и Штейна,—опять-таки из чувства морального возмущения. Этих «плутов» он нещадно бранил потому, что в 1813 г. они отклонили его патриотическую просьбу—уволить с военной службы его благородного наследника. Впоследствии семейство Гертефельд основало «Берлинское обозрение» — ультрафеодалный орган, который должен был критически разоблачать «безумства нашего времени» и романтически освещать прелести той эпохи, когда знатные княжеские содержанки были благочестивыми и светлыми особами, а княжеские содержанки мещанского происхождения—презренными чудовищами.

\*\* Граф *Генкель фон Доннерсмарк*, Воспоминания о моей жизни (*Graf Henckel von Donnersmark. Erinnerungen aus meinem Leben*), 46.

того разоблачения господина Эриха Шмидта по части брауншвейгских гаремных тайн снимают всякое подозрение с герцога и его любовницы.

В чем же заключалась «финансовая реформа», столь исключительно занимавшая тогдашнего наследного принца, что из-за нее Лессингу не оставалось ничего иного, как погибать и умирать? Это была весьма простая торговая операция; наследный принц, наряду с ландграфом Гессенским, был среди тогдашних мелких германских князей наиболее усердным торговцем живым товаром. Он сбывал Англии и Голландии много тысяч уроженцев страны за наличные деньги. Известен ли этот факт господину Эриху Шмидту? Странно было бы, если бы он был неизвестен столь кропотливому «филологу»! Но для византийца новой Германской империи это чистые пустяки. Наследный принц, видите ли, «поступался своей гордостью и отдавал в наем брауншвейгские отряды», да при этом еще «без всяких фраз». Эта нелюбовь к «фразам» довольно странна у писателя, обладающего таким туманным, напыщенным, многословным и, благодаря чрезмерной фразистости, часто непонятым стилем, как стиль господина Эриха Шмидта. Но, по правде сказать, о торговле живым товаром, которой занимались германские мелкие князья, говорилось достаточно много «фраз». Король Фридрих, например, говорил, что с проданных отрядов, проходящих около его областей, он прикажет взимать пошлины, какие взимаются со скота, ибо здесь разумных людей продают, как скот; и действительно, когда к прусской границе подошел отряд, проданный его ансбахскими родственниками, он приказал выставить пушки против этих торговцев людьми, так что им пришлось идти обходным путем. А проданным уроженцам страны, стоящим у городских ворот, Шиллер влагает в уста следующие слова: «Да здравствует наш отец-государь! В день страшного суда мы будем опять здесь!» Значит, и король Фридрих, и Шиллер, разжегши себя «фразами», «доходили до яростной злобы против государя», преступление которого, к счастью, ныне полностью опровергнуто вдумчивым имперским патриотом Эрихом Шмидтом. Хорошо еще, что мы не обладаем божественной грубостью Лассаля, ибо по сравнению с этим Эрихом его Юлиан был истинным героем и по характеру, и по духу\*.

Разумеется, мы не хотим порочить Шерера и Эриха Шмидта больше, чем они заслуживают. Их александрийскую ученость

\* *Erich Schmidt*, Lessing, 2, 238 и сл.

мы не подвергаем ни малейшему сомнению. Если бы они действительно прочли все то множество книг, которое они цитируют в своих «примечаниях», то можно было бы даже встревожиться и сказать вместе с Лессингом, что они прочли слишком много и рискуют потерять здравый смысл. Конечно, ничего не может быть почтеннее, как филологическая работа над произведениями нашей классической литературы, если она держится в должных границах и только в отдельных случаях переступает их. Но от биографа Лессинга и историка немецкой литературы можно требовать большего и лучшего, чем перетряхивание в одиннадцатый раз мелочей, уже десять раз перетряхивавшихся. Из-за этих тысяч мелких подробностей они не могут рассмотреть явление в его целостности; если они хотят говорить о Лессинге, то должны были бы хорошенько затвердить слова Лессинга насчет «самостоятельно мыслящих голов» и «семижды семи пылинки из истории литературы». Но это была бы еще небольшая беда. Гораздо хуже то, что они пишут, не имея ни малейшего представления об экономических и политических условиях того времени. Благодаря этому они вырывают растения из их родной почвы и закладывают их между бумажными листами своих гербариев. И если они даже тщательно опишут отдельные листья до последнего зубчика, то все-таки и аромат, и цвет пропадают. Но самое тяжкое преступление таких историков литературы заключается в том, что они, нето из смутного сознания своей роковой односторонности, нето из других, поистине не более почтенных соображений, желают дать предмету своего изложения определенную социально-политическую окраску и потому разрумянивают его своими собственными предрассудками, приятно щекочущими слух «высоких покровителей». В результате получается настоящая мерзость запустения.

Теперь понятно, почему мы обещали так быстро разделаться с легендой о Лессинге в ее третьей и последней версии. Имело некоторый смысл подробно выяснить фактические ошибки Гете, Гервинуса и Лассалья в их суждениях о Лессинге, так как это могло нам помочь разобраться в фактах. Но не имеет никакого смысла более подробно останавливаться на тенденциозных подтасовках Шерера и Эриха Шмидта, чем мы это сделали. Результат был бы всегда один и тот же: мы видели бы, как на прокрустовом ложе тенденций, «определяющих» сознание современного буржуазного мира, Лессинга вытягивают то в ту, то в другую сторону. Тот, кто вообще поддается убеждению, наверное уже убежден приведенными нами выдержками, а тот,

кто не хочет быть убежденным, не убедится даже тогда, если мы приведем в десять раз больше образчиков. Выяснение лессинговской проблемы по существу ничего от этого не выиграет. Поэтому мы заканчиваем первую часть нашей работы, где мы должны были дать критическую историю легенды о Лессинге и нарисовать общий исторический фон, на котором очерчивается облик Лессинга. Задача второй части заключается в том, чтобы освободить этот облик от искажений и уродливых подтасовок легенды и по возможности восстановить его в подлинном виде. Возможно, что в предыдущем изложении мы уже коснулись того или иного более специального пункта, подобно тому, как мы не можем поручиться, что не коснемся в дальнейшем того или иного более общего вопроса. Но читатель, полагаем мы, будет в этом отношении снисходителен, ибо такой запутанный узел, как лессинговская легенда, слагавшаяся почти в течение ста лет, нельзя размотать вполне ровной нитью.

## Часть вторая

### ЛЕССИНГ И ЛЕГЕНДА О ЛЕССИНГЕ

#### I

#### Лессинг и Саксонское курфюршество

Готтольд-Эфраим Лессинг родился 22 января 1729 г. в местечке Каменц, в верхнем Лаузице. Лаузиц—старославянская область. При колонизации ее немцами сохранился довольно значительный процент старых жителей, и даже сейчас на ста квадратных милях территории верхнего Лаузица насчитывается свыше четырехсот вендских деревень. Поэтому на Лессинга претендовали и панслависты, и даже вокруг его имени завязался ожесточенный этимологический спор: одни утверждали, что коренной слог его фамилии Лесс—обозначает славянское слово «лес», другие же подчеркивали ее немецкое окончание—«инг».

Этот спор, нелепый сам по себе, совершенно несостоятелен и с фактической стороны. С одной стороны, в роде Лессингов до конца шестнадцатого столетия был целый ряд немецких чиновников и проповедников, а с другой стороны, дед Лессинга переселился в Лаузиц лишь после того, как эта область уже в течение нескольких десятилетий была включена в состав саксонского государственного союза. Это обстоятельство имеет чрезвычайно большое значение для выяснения облика исторического Лессинга. Господин Эрих Шмидт не без основания говорит, что Лессинг менее тесно связан с лаузицкой почвой, чем Гете с франкской и Шиллер со швабской, но нелепо и несправедливо называть Лессинга, как это делает он, «сбежавшим саксонцем», да притом еще саксонцем, сбежавшим в страну прусского великолепия. Лессинг был в такой же малой степени коренным пруссаком или коренным саксонцем, как и коренным жите-

лем Лаузица, но все-таки историк саксонского государства попадает в цель, когда говорит, что саксонские влияния «определили ход развития этого самого самостоятельного из всех умов»\*.

При этом, однако, надо остерегаться излюбленного словечка идеалистов, уверяющих, что Лессинг был «вторым Лютером». Даже у Гейне и Лассаля сильно чувствуется отзвук этой мысли: ведь недаром же Лессинг во время своих богословских споров с лютеранской ортодоксией однажды сослался на Лютера. Но если этот его прием не был только одной из тех «уловок», которыми он любил дразнить гамбургского главного пастора, то это чрезвычайно наглядно доказывает лишь одно,—что даже самые ясные головы иногда неясно представляют себе побудительные мотивы, определяющие в конечном счете их деятельность. Фактически же с начала своей жизненной карьеры и до самого ее конца, начиная с писем о Лемниусе и кончая «Анти-Геце», Лессинг наносил наиболее сильные свои удары именно Лютеру и лютеранству. Это не только так было, но это и должно было быть так. Поскольку Лютер был передовым борцом княжеского класса, а Лессинг—буржуазного, постольку оба эти человека воплощали в своем лице наиболее сильные противоречия, какие только знала германская история от шестнадцатого столетия до восемнадцатого. Лессинг отнюдь не был Лютером на более высокой стадии развития, и Геце, этот истинный преемник Лютера, с полным правом называл его настоящим Анти-Лютером. Ведь по меткой эпиграмме Лассаля Геце тогдашние и Геце нынешние неправы только потому, что они правы!

Тем не менее то обстоятельство, что Лютер и Лессинг были земляки, имеет глубокое значение. В той части Германии, которая в силу экономических причин была вынуждена уйти из-под власти Габсбургов и папы, Саксония была экономически наиболее развитым, а следовательно, и наиболее культурным государством. В начальную эпоху капиталистического развития доход с саксонских рудников давал огромный перевес саксонским князьям, и в первые десятилетия шестнадцатого столетия среди германских владетельных князей не было ни одного более могущественного, чем курфюрст Фридрих Саксонский. В Саксонии быстро выросло товарное производство; великий торговый путь с юга на север Европы проходил через Эрфурт. Из-за обладания этим важным ярмарочным пунктом, где находился в то

\* *Фламе*, История курфюршества и королевства Саксонского (*Flathe, Geschichte des Kurstaats und Königreichs Sachsen*), 2, 526.

время наиболее значительный из германских университетов и сосредоточивался главным образом германский гуманизм, и разгорелось в сущности лютеранское движение. Город Эрфурт, с своей стороны стремившийся добиться положения самостоятельного имперского вассала, с давних времен был яблоком раздора между Майнцским курфюршеством и Саксонским курфюршеством, а когда архиепископом майнцским был избран Гогенцоллерн Альбрехт, спор этот возгорелся снова. При таких обстоятельствах, конечно, казалось несправедливым, чтобы курфюрст Фридрих разрешил вести в своей стране торговлю индульгенциями комиссару Альбрехта, доминиканцу Тетцелю, половина доходов которого предназначалась на покрытие суммы в 25 000 дукатов, уплаченной Альбрехтом Риму за утверждение его избрания в майнцские архиепископы.

Курфюрст Фридрих был миролюбивый государь. Мало того: он был ханжески благочестивый католик, настолько же твердый в своей вере, насколько Альбрехт был тверд в своем неверии. Его заветной честолюбивой мечтой было получить от папы золотую розу; он совершил паломничество в Иерусалим; за огромные суммы накупил во всех концах мира 5 005 сомнительных мощей, пожертвовал их виттенбергской замковой церкви, — той самой, на дверях которой Лютер прибил свои тезисы об индульгенциях, — и приказал ежегодно в определенный день выносить их напоказ молящемуся народу. Когда Лютер, незадолго до опубликования своих тезисов, произнес проповедь против индульгенций, «он впал в немилость» у курфюрста, по мнению которого такие проповеди могли ослабить притягательную силу его реликвий. Но уже и тогда в денежных вопросах сентиментальность считалась неуместной. Курфюрст уже давно с неудовольствием заметил, что римские торговцы индульгенциями, словно пчелиный рой, налетали в его страну, — для чего у них, конечно, были весьма веские основания, — и сколько денег он ни тратил на покупку костей мертвых святых, он все же был мало склонен подарить римской церкви за счет своей страны живого святого во образе архиепископа Альбрехта, мечтавшего вырвать из его рук богатый город Эрфурт. Поэтому он поощадал Лютера, видя в нем не «человека божьего», а орудие финансовой политики. Нет ничего бессодержательнее, как видеть в лютеровских тезисах против индульгенций «всемирноисторический подвиг» и считать их исходной датой истории реформации. Уже за много десятилетий до этого антиримское движение замечалось во всех классах германского народа, и борьба с церковными злоупотреблениями нашла в сочинениях гуманистов гораздо

более резкое литературное выражение, чем в довольно робких тезисах Лютера, к тому же порицавших не самое отпущение грехов, а только «злоупотребление» им. Совершенно неправильно было бы и утверждать, что гуманистическое просвещение было для народа слишком изысканным блюдом, а Лютер де грубо и понятным для народа образом ухватил быка за рога. Ведь тезисы Лютера были написаны по-латыни, да и кроме того намеренно изложены замысловатым и загадочным стилем схоластической теологии, совершенно непонятным для масс; даже сам Лютер нередко высказывал изумление, что его выступление имело столь большие последствия. Но то, чего он не понимал и что буржуазные историки стараются объяснить с помощью всевозможных нелепых идеалистических домыслов, объясняется очень просто тогдашней экономической обстановкой. Если из всех духовных вождей реформационного движения на первом плане остался самый ограниченный из них, а более значительные в умственном отношении, — Гуттен, Мюнцеры, Вендели и Гиплеры — погибли, то это случилось потому, что за первым из них стояла наиболее мощная экономически сила — класс князей, а за вторыми стояли рыцарское сословие, пролетариат, крестьяне и города, то-есть классы, которые находились или уже в последней, или еще в начальной фазе своего экономического развития и которые в силу внутреннего противоречия их экономических интересов не могли объединиться для общего выступления против князей. Дело нисколько не меняется от того, что в некоторых случаях, когда вопрос заходил о борьбе с ненавистной всем классам римской эксплуатацией, Лютер, как передовой борец самого могущественного класса, боролся как будто за все прочие классы и потому долго не понимал своей собственной роли. После восстания рыцарей и крестьянской войны он понял ее очень хорошо, как это показывает, наряду с другими бесчисленными фактами, и его великолепная фраза: «Что два и пять равно семи, — это ты можешь понять разумом; но если начальство говорит, что два и пять — восемь, ты должен этому верить вопреки знанию и чувству».

Действительное право Лютера на славу заключается в том, что он, будучи бедным и никому неизвестным монахом, осознал эксплуатацию и пороки римской церкви и выступил на борьбу с ними. Но в этом отношении Лютер не был одиночкой среди пролетарской части тогдашнего духовенства и даже не стоял в первых его рядах; многие из этих мелких священников смертью на поле брани или на плахе запечатлели свою ненависть к Риму и верность своему классу. Но как «высоко поднявшийся кре-



стьянский сын», как «вождь нации», Лютер был великий человек обычного типа: став носителем исторического развития, он попытался сделаться его господином, а на самом деле сделался или его тормозом,—поскольку это было в его силах,—или его позором. Лютер мог скроить новую церковь применительно к потребностям германского мелкого деспотизма; он мог производить светских государей в высшие епископы их областей и обосновывать их право на распоряжение церковными и монастырскими имуществами; в споре о причастии он мог с диким упрямством отстаивать формулу, согласно которой священник оказывался творцом бога, и таким образом вместо одного папы насаждать бесчисленное множество маленьких пап. Но все это он мог делать лишь как фанатический прислужник князей, как идеолог того неотвратимого упадка, в который погрузилась Германия благодаря открытию новых путей мировой торговли, и потому уже в середине шестнадцатого столетия его имя стало символом самой тупоумной реакции. Но заклять таблицу умножения на алтаре верноподданнического послушания он все-таки не мог. Не мог по крайней мере в Саксонии. Подобно тому, как экономическое развитие этой страны было самым действительным средством для возвышения Лютера, точно так же это же экономическое развитие ставило известные границы всемогуществу князей, за которое боролся Лютер. В таком полуварварском государстве, как Бранденбургская марка, где, по свидетельству аббата Тритгейма, образованный человек был такой же редкостью, как белый ворон, курфюрст Иоахим II мог частично перейти на сторону реформации, чтобы прикарманить себе все церковное имущество вплоть до последней церковной мыши, но в такой культурной стране, как Саксония, столь бесцеремонная расправа была невозможна. Более или менее значительную часть добычи здесь приходилось тратить на удовлетворение культурных нужд, которые до тех пор худо или хорошо обслуживала католическая церковь. Так возникли саксонские школы в Аннаберге и Фрейберге, в Дрездене и Лейпциге, в Наумбурге и Мерзебурге. Все они были в своем роде знамениты, но наиболее знаменитыми из них были так называемые княжеские школы в Гримма, Мейсене и Пфорта, образовавшиеся из монастырей. Когда в Бранденбурге происходила так называемая «церковная визитация», то-есть передача церковного и монастырского имущества в княжеский кошелек, то и там был пощажён один монастырь—монастырь Ленин, ставший чем-то вроде монастырской школы. Но уже через два или три года курфюрст раскаялся. После смерти старого аббата он воспретил

производить новые выборы, после чего десять монахов поняли греховность монастырской жизни и, «вдоволь снабженные» одеждой и деньгами, оставили монастырь. Два других монаха были несколько несговорчивее, но тюремное заключение в потсдамском замке, продолжавшееся несколько дней, привело и их к познанию истины. Они отказались от всех своих прав, и курфюрст присвоил себе и монастырские имущества, и церковную казну\*.

Иначе обстояло дело в Саксонии. Здесь возникло и долгое время существовало школьное образование, которое при тогдашних условиях германской жизни можно было назвать образцовым. Разумеется, когда исчезла причина, вызвавшая его к жизни,—экономический расцвет Саксонии,—пришло в упадок и оно. Благодаря вытеснению Германии из мировой торговли, открытию в Новом Свете неисчерпаемых золотых россыпей и серебряных рудников, Тридцатилетней войне и прочим причинам буржуазные классы в Саксонии, как и во всей остальной Германии, экономически ослабели; а чем больше они слабели и чем глубже погружались в самый жалкий сервиллизм, тем фанатичнее отстаивали саксонские школы—и в первую очередь Лейпцигский и Виттенбергский университеты—идеологическое отражение этого жалкого состояния страны, то застывшее и измельчавшее лютеранство, под сенью которого не могло развиваться свободное научное исследование. Но, несмотря на все это, Саксония превосходила остальную Германию и в смысле культуры, и в смысле благосостояния. Как ни принижено было население в политическом отношении, в экономическом отношении оно было еще достаточно сильно, чтобы воспротивиться введению разорительной для него военной системы, которая в Пруссии была навязана городскому и крестьянскому населению без всякого протеста с его стороны. Сравнительно с числом населения саксонская армия была втрое меньше и стоила втрое дешевле, чем прусская; она состояла целиком из уроженцев страны,—бравых и надежных солдат, как в этом, к своему прискорбию, не раз убеждался Фридрих и на поле сражения, и тогда, когда он одевал пленных саксонцев в прусскую военную форму. Наконец, каким плохим зеркалом ни были саксонские высшие школы, все-таки только они одни могли воспринять отблески нового просвещения, пробивавшиеся из-за границы в разоренную Германию.

\* *Гейдеман*, Реформация в Бранденбургской марке (*Heidemann, Die Reformation in der Mark Brandenburg*), 234.

Когда Юлиан Шмидт уверял, что Германия в результате Тридцатилетней войны была вычеркнута из семьи культурных народов, Лассаль сурово опроверг его утверждение и перечислил действительно изумительное множество светлых голов, которых Германия, несмотря ни на что, выдвинула и во время этой войны, и после нее. Этот аргумент совершенно достаточен, чтобы опровергнуть подкасанную невежеством ходячую фразу, но нельзя придавать ему более широкого значения и утверждать, что в семнадцатом столетии Германия шла нога в ногу с прочими культурными народами. Значительная часть, а может быть, и большинство этих светлых голов должно было навсегда или на время уезжать за границу, чтобы обеспечить необходимый простор своим талантам; а те из них, которые оставались на родине, были, как выражался Христиан Томазий,—самый значительный из них,—только учениками великих учителей и в духовном отношении зависели от заграницы. Этот факт опять-таки объясняется экономическим упадком Германии. Мощный подъем математических и естественных наук дисциплин, отметивший семнадцатое и восемнадцатое столетия, был результатом мирового обмена, все шире и шире охватывавшего землю, и, естественно, возникнуть он мог только у тех народов, которые особенно широко участвовали в этом обмене, то-есть главным образом в Англии и Нидерландах. Его предпосылкой был пышный расцвет буржуазных классов, а его последствием—пробуждение этих классов к политическому сознанию. Но со времени перемещения торговли от Средиземного моря к Атлантическому океану буржуазные классы, как самостоятельная сила, в Германии перестали существовать; правящим классом в Германии были князья, а они, конечно, не могли создать никакой национальной науки. Что вообще представлял собою этот класс, ясно дал понять прекрасный знаток германских дворов, граф Мантейфель, писавший в первой половине восемнадцатого столетия: «Германия кишит князьями, три четверти которых почти лишены здравого человеческого рассудка и являются позором и бичом человечества. Как ни малы их государства, они воображают, что человечество создано для них и должно служить объектом их глупых выхонок. Считая главнейшей заслугой свое рождение, часто весьма сомнительное, они считают излишним или ниже своего достоинства заботиться об образовании своего ума или сердца. Когда видишь их поступки, невольно думаешь, что они существуют только для того, чтобы превращать своих братьев-людей в зверей (*abrutir*), ибо нелепостью своих действий они уничтожают все принципы, без которых человек

не достоин называться разумным существом»\*. Так отзывается льстивый придворный об этой приятной разновидности господствующего класса, национальное сознание которой проявлялось только в том, чтобы подглядеть, как откашливается и плюется король Франции,—самый могучий самодержец континента.

Если верить «национальным» хвастунам, которые играют такую большую роль в современной Германии, то погоня за иностранщиной, процветавшая в Германии семнадцатого и восемнадцатого столетий, была чем-то таким, о чем настоящий патриот не может думать без ужаса и содрогания. Но научное понимание, видящее в духовной жизни народов не что иное, как отражение классовой борьбы, должно при этом различать два совершенно разнородных понятия. Преклонение перед иностранщиной в той форме, в какой оно проявлялось у класса князей и у дворянства, было, конечно, грубым отрицанием всякого, даже самого скромного национального сознания; это было обезьянничанье, порожденное самыми низменными интересами мелкого княжеского деспотизма, и оно навсегда останется позорным пятном германской истории. Но чтобы заклеить это постыдное подражание за границе, не надо было ждать «национальных» хвастунов нашего времени,—оно было сурово осуждено уже вдумчивыми людьми того времени; не говоря уже о Клопптоке и Лессинге и многих других деятелях восемнадцатого столетия, даже Логгау в семнадцатом столетии пел:

Слуг мы можем узнавать по ливрее их господ.  
Значит, Францию мой край госпожею признает?  
Рабства этого стыдись, о свободный мой народ!

Но увлечение иностранщиной, наблюдавшееся у германских ученых, заслуживает другой и прямо противоположной оценки. Это была первая попытка пробудившихся буржуазных элементов вытащить свой класс из бездонного болота. Другого средства для этой цели не было, ибо плоды, которые приносило родное дерево ортодоксального лютеранства, были пеплом и пылью. Но вдохнуть новую жизнь в отмерший ствол, не получающий никакого питания от своих корней, и привить ему ветви чужих деревьев—задача трудная и неблагодарная. Только после того, как в самом стволе опять проснулась некоторая жизнь, то-есть после того, как буржуазные классы в Германии стали понемногу экономически оправляться,—следовательно, с середины

\* *Бидерман*, Германия в восемнадцатом столетии (*Biederman, Deutschland im achtzehnten Jahrhundert*), 2, 144, сообщает вышеприведенные слова Мантейфеля, взятые из архивов.

восемнадцатого столетия,—чужие ветви начали срастаться с туземным стволом. До тех пор германским ученым не оставалось ничего иного, как искать свою духовную пищу и даже свою родину за границей. Это было тем более неизбежно, что господствовавший в Германии класс князей смотрел на германское просвещение или враждебно, или равнодушно, или весьма двусмысленно, рассчитывая как-нибудь использовать его в интересах мелкого княжеского деспотизма. Германских ученых он или морил с голоду, или прогонял за границу, или привлекал к своим дворам, и трудно сказать, какой из этих трех способов был для них наиболее роковым. При таких обстоятельствах вполне понятно, почему германские ученые, остававшиеся в своем отечестве, становились по характеру чем-то вроде святых чудаков и почему все вообще немецкое просвещение приняло тот половинчатый и двусмысленный облик, который был так невыносим для людей вроде Лессинга. Английская и французская философия уходили своими корнями в буржуазные классы английского и французского народа, и это их происхождение было для них одновременно и границей, и защитой. Немецкое же «просвещение», лишенное корней, витало как бы в воздухе; ничто не мешало ему итти до тех пределов, до которых проникал «свет разума», но зато и ничто не защищало его, когда луч этого разума слишком ярко освещал сор княжеских дворов; отсюда и возникло лицемерное смешение высокомерной насмешки и благочестивого ужаса, проглядывавшее в издевательствах германских «просветителей» над «материалистами и натуралистами, атеистами и спинозистами»,—издевательствах, которые, незаметно для их авторов, обращались против самих же авторов. Германская буржуазная наука никогда вполне не избавилась от этой отвратительной слабости,—по той простой причине, что буржуазные классы в Германии никогда не отваживались стоять на своих собственных ногах. А с тех пор, как германская буржуазия укрылась за прусскими штыками, эта слабость снова ожила, пожалуй, в еще более отвратительной форме, чем когда бы то ни было раньше. Ведь когда, например, Лейбниц, имевший бессмертные заслуги в области точных наук, говорил некоему «высокому покровителю», что на основании его учения о монадах можно физически доказать присутствие бога в причастии,—это кажется нам более простительным, чем когда Шерер и Эрих Шмидт, не имеющие никаких бессмертных заслуг, стараются так обтесать прусскую капральскую палку, чтобы она походила на идола,—довольно, впрочем, безобразного.

В силу всех этих обстоятельств Саксония должна была стать страной, где раньше всего духовно пробудилась германская буржуазия. Саксонские школы были единственными или по крайней мере наиболее удобными органами, с помощью которых можно было усвоить себе буржуазное образование иностранных государств. И если даже ортодоксальное лютеранство довело их до чрезвычайно жалкого состояния, если древние языки изучались в них только для того, чтобы дать возможность разбирать по косточкам буквальный смысл библейских изречений, то все же эти языки были ключами к сокровищнице европейской науки. Вот почему с конца семнадцатого столетия до второй половины восемнадцатого большинство носителей германской культуры были коренные саксонцы или выходили из саксонских школ. Так было начиная с Лейбница, Пуфендорфа, Томазия и кончая Геллертом, Клопштоком, Лессингом, и даже во времена значительно более поздние. Со вступления Гете и Шиллера в саксонскую культуру началась новая эпоха в жизни этих южных немцев; Веймар тоже находился не под влиянием прусской военщины, а под влиянием саксонской культуры, да и Карл-Август был не Гогенцоллерн, а Веттин.

Но все это лежит вне рамок настоящего исследования. Мы должны, однако, сказать несколько слов о социальном прогрессе, который знаменуют оба эти ряда имен. Лейбниц, Пуфендорф и Томазий стояли уже на буржуазной почве. Освобождение светской науки из оков теологии, которого они пытались достигнуть, соответствовало интересам буржуазных классов. Соответствовало этим интересам и то, что философский оптимизм Лейбница, какими бы недостатками в других отношениях он ни страдал, все-таки разрушал ортодоксальное представление о земле, как о юдоли горя и слез. Наконец этим интересам соответствовало то, что Пуфендорф и Томазий выводили все гражданские общества из договора и отстаивали право личности сопротивляться очевидной несправедливости, что они отрицали божественное происхождение княжеской власти, что они одобряли появившиеся в Нидерландах сочинения, направленные против деспотизма Якова II, что Томазий снова ввел немецкий язык в университетские аудитории. Но стремления этих людей не нашли в буржуазных классах ни опоры, ни отклика. В тех своих работах, которые имели непреходящее значение, Лейбниц был скорее европейским, чем германским ученым, а Пуфендорф и Томазий сами признавали, что свои идеи они заимствовали у Гуго Гроция и Гоббса. Все они еще целиком зависели от дворов. За Лейбницем еще при жизни установилась незавид-

ная репутация человека, умеющего доказать все, чего хотят князья; Пуфендорф в конце своей карьеры стал шведским и бранденбургским историком; в позднейшие годы своей жизни Томазий стал королевско-прусским профессором в Галле и сделал чрезвычайно большие идейные уступки княжескому деспотизму.

Наоборот, Геллерт, Клопшток и Лессинг, действовавшие в середине восемнадцатого столетия, не только стояли на буржуазной почве, но и были связаны с ней всеми своими корнями. Геллерт, по сравнению с двумя другими, был, правда, весьма скромным светилом, но его книга басен впервые объединила буржуазные классы под известным знаменем; как ни набожны были личные воззрения Геллерта, в его безобидных стихах все же звучало и звучит первое тихое ворчанье буржуазного самосознания. Гораздо более резко и гордо проявилось это сознание в Клопштоке, воспевавшем впоследствии французскую революцию, а всего сильнее—в Лессинге, презиравшем узы всяческих придворных и государственных должностей и старавшемся жить своей литературной профессией, ни от кого не завися. Для Германии это было неслыханной дерзостью, и трагический исход этой попытки показал, что буржуазные классы еще не доросли до смелости своего передового борца. Но эта наполовину небрежная, наполовину упрямая самонадеянность характеризовала всего Лессинга и проявлялась с одинаковой силой и тогда, когда он, будучи двадцатилетним юношей, писал: «Что мне за дело, живу ли я в изобилии или нет,—главное в том, чтобы жить», и тогда, когда он, пятидесятилетний человек, писал: «Я слишком горд, чтобы считать себя несчастным, я только скрежещу зубами и предоставляю челноку идти туда, куда хотят ветер и волны; довольно и того, что я не хочу сам перекувырнуть его!» Это настроение стояло в величайшем противоречии с трусливыми и жадными филистерскими заботами о «местечке», которыми так полна переписка людей того времени. Эта откровенность и душевная свобода сложились у Лессинга отчасти под влиянием высшей школы. В Мейсенской княжеской школе он учился с 1741 до 1746 г. В этих ученых школах ортодоксальное лютеранство тогда уже несколько подтаяло.

Лессинг был менее связан школьной барщиной, больше занимался самостоятельным изучением наук, постоянно общался с сотней и больше товарищей, и потому на его общительный и строптивый, живой и самостоятельный ум мейсенское воспитание несомненно оказывало благотворное влияние. Правда, он постарался сократить на один год предписанный курс обучения и преуспел в этом; правда, впоследствии он высмеивал

педантизм отдельных преподавателей и говорил, что они стремятся «создать не разумных людей, а хороших учеников княжеской школы», но, несмотря на все это, он с похвалой отзывался о школе св. Афре и говорил, что «если он достиг некоторой учености и основательности», то этим он обязан ей. А в припадке чуть ли не отчаяния, которое редко на него находило, он писал, усталый от житейской борьбы: «Теофраст, Плавт и Теренций были моим миром, который я спокойно изучал в узкой сфере, похожей на монастырь школы. Как хотелось мне вернуться к этим годам,—единственным годам, когда я счастливо жил!»

Таков был Лессинг. Но насколько был различен жребий человека, который был столь похож на Лессинга по своим способностям и склонностям и имя которого так часто произносилось вместе с именем Лессинга,—жребий Винкельмана! Больше трех десятилетий блуждал этот несчастный по пустыне бренбургского варварства, «ища душою страну греков»; когда он был учеником и когда он был учителем, его все время снедала неутолимая жажда знания; он вечно блуждал по большой дороге, стараясь то немножко подучиться по-гречески, то изучить какого-нибудь старого латинского автора; в полтора дня он проходил одиннадцать миль по непроезжим дорогам, чтобы раздобыть какую-нибудь старую книгу, которую затем он изучал ночью, после того как промучился целый день с грубыми и упрямыми детьми; по целым годам ему приходилось довольствоваться двумя или тремя часами сна; в довершение всего ему пришлось испытать на себе интриги и угрозы преследовавшего его попа,—ведь в этих государствах каждый мог спастись на свой фасон; наконец, когда он уже дошел до тупой покорности и отчаяния, случай открыл ему двери в Саксонию. Неудивительно, что он воспрянул духом, как человек, избавленный от адских мук, и отряхнул со своих туфель прах прусской земли. Но когда ему исполнился тридцать один год и он начал в Саксонии новую жизнь, он, со своими хаотическими и случайно надерганными знаниями, не мог стать выше Лессинга, который семнадцати лет поступил в Лейпцигский университет. В Саксонии—культурной стране—в судьбе Винкельмана произошел быстрый поворот к лучшему, и перед ним открылось даже блестящее поприще, но скудное образование, полученное им в юности, мешало ему стать чем-либо большим, чем простым эпигоном гуманистов. Лессинг прекрасно понимал, в чем дело, когда он, сам голодая, писал о Винкельмане: «Никто не ценит этого человека выше, чем я, но все-таки мне так же не хотелось бы быть Винкельманом, как мне частенько хочется быть Лессингом!»



Понятно, какое влияние должна была оказать на Лессинга заманчивая судьба Винкельмана, и понятно, почему он опрометью «бежал» из родной Саксонии, чтобы получить в Берлине «решительный толчок».

## II

### Лессинг и Лейпцигский университет

От 1746 до 1748 г. Лессинг слушал лекции в Лейпцигском университете. Но в 1754 г. он писал Михаэлису, что будет очень смущен, если его спросят, что он там изучал. Он никогда не был тем, что называют «беспутным гением», хотя и был полной противоположностью филистера. Еще будучи крайне бедным юношей, он «досадовал», слыша, как много поэтов и поэтиков «столь горько, столь многоречиво и столь отчаянно скулят по поводу своей бедности, которая по сравнению с другими является еще весьма сносной». Ему была совершенно чужда эта ленивая и трусливая сентиментальность, которая и по сие время столь процветает в немецкой литературе и в истории немецкой литературы и которая обычно является лишь идеологическим прикрытием лени и трусости буржуазных классов. Настоящая натура борца не страшится лишений и нищеты, если только есть возможность бороться; после многомесячной зубрежки восемнадцатилетний Лессинг открыл, что «книги его, конечно, научат, но никогда не сделают из него человека», и потому решил «изучать мир и человеческий быт так же усердно, как и книги». Через два года, когда план Лессинга потерпел на первых порах полное крушение, он все-таки защищает его перед своими разгневанными родителями и делает это поистине увлекательным образом. Он пишет: «Я дерзнул выйти из своей комнаты и пойти к таким же людям, как я. Великий боже! Какое различие заметил я между собою и остальными! Мужичья застенчивость, неотесанная и неладно скроенная фигура, полное незнание манер и обхождения с людьми, противные мины, в которых каждый читал презрение к себе,—таковы были, по моему собственному признанию, хорошие качества, у меня остававшиеся. Я испытывал такой стыд, которого никогда еще не испытывал. И он побудил меня усовершенствоваться во всех этих отношениях, чего бы это ни стоило. Вы сами знаете, как я взялся за это. Я научился танцевать, фехтовать, вольтижировать. В этом письме я хочу искренне признаться в своих недостатках, а потому могу рассказать о себе и хорошее. В этих упражнениях я продвинулся так далеко, что люди, заранее отказывавшие

мне в какой бы то ни было ловкости, даже несколько восхищались мною. Это хорошее начало очень меня ободрило. Мое тело стало несколько ловче, и я стал искать общества, чтобы теперь научиться жить». Этими словами Лессинг хочет «описать всю свою жизнь в университетах», хотя это, вероятно, доставило очень сомнительное удовольствие его встревоженным родителям. Следовательно, вопрос о том, что именно изучал Лессинг, не должен нас очень смущать. В университете он хотел научиться жить. Со времен Гуттена, считавшего наслаждением жить в Германии шестнадцатого века, не было ни одного немца, который принял бы столь простое решение с такой инстинктивной ясностью и уверенностью, как Лессинг.

Лейпциг был тогда не только наиболее подходящим, но и единственным германским городом, где выходец из буржуазных классов мог вволю подышать воздухом жизни. Правда, прусские историки придерживаются и на этот счет иного мнения. Ограничимся одним лишь примером. Трейчке рассказывает, что Гогенцоллерны «искони», «согласно хорошему обычаю германских князей», «заботились об идеальных задачах государственной жизни» и что в восемнадцатом столетии «оживающие наука и искусство Германии нашли в грубом Бранденбурге свою родину». «Четыре мыслителя-реформатора этой эпохи—Лейбниц, Пуфендорф, Томазий и Шпенер—обратились к прусскому государству. Новый фридриховский университет в Галле стал прибежищем свободного исследования и на несколько десятилетий взял на себя руководство протестантской наукой». Совершенно верно: в конце семнадцатого столетия измельчавшее лютеранство было в Саксонии еще достаточно сильно, чтобы выгнать из страны этих четырех человек, один из которых—пиэтист Шпенер—стяжал себе почетное звание «мыслителя-реформатора» неизвестно где. Но совершенно неправильно утверждать, что «идеализм» прусского государства влек к себе этих четырех человек, как магнит железо. При берлинском дворе, который он довольно непочтительно называл «распутным», Лейбниц задержался только на время, по приглашению своей гвельфской покровительницы, Софии-Шарлотты, которой роль первой прусской королевы доставляла также весьма небольшое удовольствие. Пуфендорф около десяти лет прожил в Пфальце и около двадцати—в Швеции и только на закате своих дней был призван в Берлин, чтобы за приличный гонорар в десять тысяч талеров написать официальную историю курфюрста Фридриха-Вильгельма. Но вряд ли можно считать заслугой «грубого Бранденбурга» перед «оживающим искусством и нау-

кой» то обстоятельство, что по исполнении работы Пуфендорф получал свой гонорар с большим трудом и мелкими порциями и что весьма значительная сумма, оставшаяся недоплаченной после его смерти, так и не была выдана его вдове, жившей в большой нужде. И это несмотря на то, что расточительный двор Фридриха I высасывал страну и тратил огромные суммы на всевозможных авантюристов и проходимцев\*.

Кроме того, Галлеский университет не был «прибежищем свободного исследования», да и не должен был им быть. Этот университет был основан в 1694 г. главным образом под влиянием двух соображений. Во-первых, бранденбургское военное государство, в силу уже указанных нами причин, вынуждено было проявлять известную терпимость к различным вероисповеданиям и не могло использовать тех «сектантских и воинственных настроенных к инакомыслящим гражданам» духовных лиц, которых выпускали старолютеранские Лейпцигский и Виттенбергский университеты. Прусский город Галле должен был противопоставить лютеранство, приспособленное к этим военным задачам, этим саксонским высшим школам. С другой стороны, это военное государство, ставшее только недавно королевством, нуждалось в создании особого государственного права; юридическая кодификация его экономических жизненных условий была тем более необходима, что в германских университетах еще витал идеологический призрак императорского и имперского права, с которым лучше было не знакомить будущих прусских чиновников. Прибытие в Пруссию Христиана Томазия и пиэтистов облегчило основание Галлеского университета. Следует только помнить, что приглашение их не имело ничего общего с «свободным исследованием» и тому подобными прекрасными вещами. Пиэтизм был не чем иным, как религиозным отражением страшной нищеты, в которую ввергла нацию Тридцатилетняя война; исповедуя его, буржуазные классы как бы провозглашали перед всем миром свое банкротство и заявляли, что им нечего делать на земле и что они могут надеяться разве только на небо. Поэтому пиэтизм оказался в некотором противоречии с лютеранством, все-таки указывавшим хоть одну земную задачу буржуазным классам: быть подножием для княжеской власти. Но как только буржуазные классы опять начали обращать некоторое внимание на землю, пиэтизм неизбежно стал противником, — чуть ли не еще более

\* Кениг, «Попытка истории Берлина (*König, Versuch einer Geschichte Berlins*), 3, 7, 3467.

ограниченным,—этого «свободного исследования»; а так как, несмотря на свой небесный образ мыслей, он все еще не мог метать грома небесные, то в дальнейшем он сделался еще более преданным слугой князей, чем когда-либо была лютеранская ортодоксия. Эта его условная враждебность лютеранству объясняет и его временный союз с просветителем Томазием, и приглашение сторонников обоих этих столь различных направлений в Галлеский университет. Свободная и смелая борьба, которую молодой Томазий вел в Лейпциге против педантических глашатаев окаменелой учености, отнюдь не могла снискать ему расположения Берлина. Прусский двор обратил на него внимание по совершенно иной причине. Герцог Саксен-Цейцский, лютеранин по вероисповеданию, взял в супруги вдовствующую герцогиню Мекленбург-Гюстровскую, принадлежавшую к реформатской церкви и бывшую сестрой курфюрста (впоследствии короля) Фридриха Бранденбургского; брак этот состоялся с согласия семьи жены, но вопреки воле его семьи. Этот брак лиц различных вероисповеданий вызвал величайшее возбуждение среди прусских и саксонских ортодоксальных лютеран, блюстителей небесного Сиона,—возбуждение, столь же неприятное прусскому двору, сколь приятное двору саксонскому. В Пруссии все это кончилось быстро: лютеранского пробста Мюллера из Магдебурга, выступавшего печатно против брака лиц различных вероисповеданий, как против акта, противного христианству, курфюрст Фридрих просто-напросто приказал посадить в Шпандаускую крепость, хотя Мюллер совершенно не касался брака упомянутых выше владетельных особ. Наоборот, в Саксонии Томазий объявил этот спорный брак вполне согласным с божеским и человеческим законом и этим задел за живое ревнителей лютеранской веры. Саксонский курфюрст запретил ему под страхом штрафа в двести талеров чтение лекций и писательскую деятельность, после чего Томазий направился в Берлин. В Берлине его приняли милостиво, видя в нем защитника интересов гогенцоллернского дома, и дали профессорскую должность в Галле, где он и стал добрососедским конкурентом своих бывших лейпцигских коллег\*.

\* Для прусских историков чрезвычайно характерно, что Штенцель в своей «Истории прусского государства» (*Stenzel, Geschichte des preussischen Staates*), 3,55, прославляет «память свободомыслящего государя», который приглашением Томазия в университет показал, «что он был много выше тех, кто изгонял таких людей». А между тем тремя страницами выше, Штенцель упоминает, как о чем-то само собой разумеющемся, что бранденбургский курфюрст, правда, не «изгнал», но зато без всяких церемоний засадил в Шпандау *своего* Томазия, пробста

Понятно, что новый Галлеский университет мог существовать лишь постольку, поскольку он приспособлялся к жизненным условиям прусского государства. В Галле стоял со своим полком старый князь Дессау и, преисполненный звериной ненависти к образованию и науке, по мере сил досаждал профессорам и студентам. Но это еще было сравнительно пустяки \*. Гораздо важнее этих внешних притеснений было то обстоятельство, что Томазий и пиетисты духовно опустили в такой отсталой стране, как тогдашняя Пруссия. Переехав в Галле, Томазий прекратил издание ежемесячного журнала, на страницах которого он наносил в Лейпциге такие меткие удары, и в своей «философии двора» начал развивать весьма нефилософские мысли насчет житейского преуспения и покровительства знатных лиц. В докладной записке галлеского юридического факультета он поучал: «Презрение к наложницам не должно иметь место, когда дело идет о великих государях и властителях, ибо они должны давать отчет в своих поступках одному только богу, а между тем здесь, на земле, наложница до некоторой степени заимствует блеск своего возлюбленного». Он называл «бесстыдством», когда священники пытались отстоять свое право «связывать и развязывать» и в отношении государей, и считал необходимым заключить в карцер и выслать из страны брауншвейгских придворных проповедников, которые упорно отговаривали одну принцессу от перехода в католичество с целью выхода замуж за принца австрийского дома, ибо, по его мнению, это было «восстанием против епископской власти государя». Согласно учению Томазия, можно было даже оправдать его высылку из Саксонии, ибо он учил, что хотя государю не подобает подвергать еретика светскому наказанию, но такому человеку он может приказать покинуть страну, подобно тому как домохозяин может рассчитать слугу лишь потому, что тот пришелся ему не по душе. Участвовал ли Томазий в доносительской интриге, кото-

Мюллера, который, осмелившись возражать против взглядов своего наследственного государя, совершил в Бранденбурге такое же преступление, какое Томазий совершил в Саксонии. Но все-таки нельзя не признать, что Штенцель, писавший пятьдесят лет тому назад, — настоящий светоч независимой мысли по сравнению с современными прусскими историками.

\* От этого героя фридриховского наемного войска удирал во все лопатки даже «гренадер» Глейм. В 1745 г. его назначили штабным секретарем к князю Дессау, но он поспешил бросить это место, когда на его глазах князь велел повесить за «шпионство» ни в чем неповинного еврея, путешествовавшего с вполне хорошим паспортом. См. *Корте. Жизнь Глейма*, 35.

рая привела к изгнанию из Пруссии философа Вольфа, неизвестно; Вольф, правда, это утверждает, но его показания еще недостаточно, чтобы решить вопрос; во всяком случае, достоверно одно, — что Томазий не возражал против этого акта грубого насилия. Но зато пиетисты принимали самое горячее участие в этой подлой махинации, и пиетист Франке с восторгом говорил на кафедре о бегстве Вольфа и его беременной жены, видя в этом праведный суд божий.

История с Вольфом чрезвычайно поучительна во многих отношениях, ибо она показывает обстановку тогдашней Пруссии. Вольф был поверхностный модный философ, проповедывавший в своей «Моральной философии» почти такие же низкопоклонные взгляды, как и Томазий в своей «Философии двора», но все-таки в ту эпоху, едва начавшую освобождаться от ига теологии, у него было много поклонников. Галлеские теологи, с ужасом видя, что их лекционные сборы тают, словно в скоротечной чахотке, довели до сведения короля Фридриха-Вильгельма I уже упомянутую нами глупую басню насчет того, что, по учению Вольфа, дезертиров не следует наказывать. Немедленное изгнание Вольфа, последовавшее по приказу короля, правда, удовлетворило кроткие души теологов-доносчиков, но в гораздо меньшей степени удовлетворило их голодные кошельки, ибо в Галлеском университете, подверженном этим милым грозам небесным, число студентов сейчас же начало сокращаться. Король к величайшему своему прискорбию, также заметил это последствие его приказа, сказавшееся понижением акцизного дохода \*. Очевидно, он после этого пришел к совершенно правильному убеждению, что вербовать рекрут без денег труднее, чем удержать под палкой рекрут, уже набранных. Поэтому он приказал кандидатам теологии тщательно изучать сочинения Вольфа, чтение которых только что было запрещено под страхом каторги, и стал прилагать все усилия, чтобы опять заманить Вольфа в свою страну. Но Вольф боялся Пруссии, как боится огня ребенок, обжегший себе пальцы, а когда он посоветовался на этот счет со своим покровителем Мантейфелем, тот сумел ответить ему лишь следующее: «Каждый подданный этой страны, к какому бы сословию он ни принадлежал, считается прирожденным рабом, которым государь может рас-

\* Основной фонд Галлеского университета достигал 3 500 талеров и впоследствии был увеличен до 7 000 талеров. В то же время акцизный доход, не достигавший до этого и 20 000 талеров, повысился после основания университета до 32 000 талеров. Таким образом университет давал государству гораздо больше дохода, чем сколько он сам стоил.

поряжаться по своему усмотрению. Все знают, что здесь прогнали бы всех ученых и разрушили бы все университеты, если бы это сулило какую-нибудь выгоду. Ученых любят лишь постольку, поскольку они могут способствовать увеличению акцизного дохода». Вольф вернулся в Пруссию только после вступления на престол Фридриха II и вскоре показал, что и он не лучше прочей братии. Когда в 1745 г. Галлеский университет просил выслать труппу комедиантов, потому что студенты в театре дерутся палками, философ из Сансуси постановил: «Во всем виноваты церковные ханжи. Они должны играть, и господин Франке (Франке младший), или как там называется этот негодяй, должен при этом присутствовать и публично извиниться перед студентами за свое глупое ходатайство, комедианты же должны прислать мне удостоверение, что он там был». Так и было сделано. После этого распространились слухи, что академический сенат хочет протестовать против этой обиды. Но на запрос графа Мантейфеля Вольф отвечал, что он ничего об этом не знает и что в подобном протесте он ни в коем случае не стал бы участвовать.

Если мы вспомним, что Галлеский университет даже по мнению Лессинга был лучшим из прусских университетов и что разыгравшуюся там вольфиаду приходится признать чуть ли не достойной уважения культурной борьбой по сравнению с теми дурацкими шутками, которые позволял себе Фридрих-Вильгельм I по отношению к профессорам Франкфурта-на-Одере, то значение Лейпцига для пробуждения буржуазного самосознания предстанет в своем настоящем свете. Этот город, бывший первым торговым центром империи, завоевал себе почти республиканскую независимость; в нем нельзя было ставить гарнизоны; оживленный торговый обмен, связанный с Лейпцигской ярмаркой, способствовал тому, что лейпцигские граждане яснее и шире смотрели на вещи, чем это было свойственно и возможно германскому мещанству других местностей. От этого, сравнительно высокого, экономического развития соответствующим образом выигрывали и духовные интересы. Уже в качестве центра книжной торговли Лейпциг был интеллектуальной и экономической силой. Но и Лейпцигский университет на много превосходил прочие германские высшие школы. Он сохранил независимое средневековое корпоративное устройство со всеми его темными, но и со всеми светлыми сторонами. Иногда он тоже страдал от княжеского произвола, но все же его преподаватели занимали слишком прочное положение и были слишком influentialными людьми, чтобы дрезденский двор мог по прусско-

му образцу третировать их, как дураков. Да и кроме того нужно по справедливости сказать, что веттинская династия в общем далеко не проявляла к этому склонности. Говоря так, мы не хотим вмешиваться в интимные споры прусских и саксонских историков; мы не стоим на той точке зрения, что княжеские роды делают историю, а, наоборот, полагаем, что историческая роль этих родов предписывается им историческим развитием. Но если даже и так, то все же нельзя не признать, что Веттины играли в области культуры гораздо более отрадную роль, чем Гогенцоллерны в области милитаризма. В роду первых еще со времен реформации переходил по наследству известный интерес к искусству, а в роду вторых—весьма большой интерес к солдатчине. Ни то, ни другое не было результатом свободного выбора, а являлось лишь следствием различия тех стран, которыми управляли Веттины и Гогенцоллерны. Если бы Гогенцоллерны оказались властителями Саксонии, они проявляли бы пристрастие к искусству, а если бы Веттины были властителями Бранденбурга, они проявляли бы глубокую нежность к милитаризму. Это чрезвычайно просто и чрезвычайно ясно, да и кроме того настолько лишено какого бы то ни было общего значения, что мы совершенно не коснулись бы этого вопроса, если бы даже в этом пункте нам не пришлось исправлять лессинговскую легенду. Как мы ни уважаем моральное негодование, вызываемое расточительностью саксонских Августов, следует сказать, что бережливость никогда не принадлежала к числу добродетелей прусского милитаризма и что, пожалуй, Дрезденская картинная галлерея была не менее действенным рычагом немецкой культуры, чем та палка, которой прусские Фридрихи муштровали своих солдат\*.

Итак, Лейпциг был тем местом, где, как писал Лессинг матери, «можно было наблюдать в миниатюре весь мир», или, как мы сказали бы теперь, весь буржуазный мир на высшей точке его тогдашнего развития. Чтобы стать духовными вождями буржуазных классов, какими они действительно сделались, Клопшток и Лессинг должны были предварительно проникнуться их духовным содержанием. Оба они жили в Лейпциге одновременно.

\* В своей биографии Винкельмана Юсти пишет (1, 253): «Мы далеки от того, чтобы смягчать обвинительные приговоры, давным-давно вынесенные историей, но когда слышишь постоянно повторяющиеся тирады демагогов, ханжей и придворных демагогов, хочется спросить: разве Карл XII не вверг Швецию в более глубокую пропасть, чем оба Августа саксонских, не оставив при этом после себя никакого следа?» Очень хорошо,—но зачем кивать на Швецию? Можно было бы привести и другие параллели, более близкие для нас.



менно, но не соприкасались друг с другом. Возможно, что они не встретились только благодаря случайности, но относительно этой случайности можно выразиться словами Валленштейна:

Случайностей на свете нет!  
Что кажется нам случаем слепым,  
То глубочайшие имеет корни.

Оба они вращались в кругах, которые не перекрещивались. Когда Клопшток окончил школу, у него уже был готов жизненный план; по довольно жесткому, но не вполне безосновательному выражению Данцеля, он бросил нации в лицо всю незрелость своей неопытной первокурснической жизни; в некотором смысле он рано стал вполне установившимся человеком, а в некотором смысле никогда таковым не был; блестящая слава, завоеванная им в юности, в течение всей его долгой жизни лишь медленно угасала. Насколько превосходят первые песни «Мессии» деревянные театральные пьесы, которыми начал свою деятельность Лессинг, но как быстро и на какое огромное расстояние Клопшток отстал от Лессинга! Различие их судеб объясняется не различием их талантов, которое не могло бы помешать им достигнуть одинаковой высоты, работая в различных областях, а различием в силе их классового сознания. Как ни свежо и смело смотрел Клопшток на жизнь, как ни проникнут был он чувством гражданской и национальной гордости,—он все же не мог отделаться от немецкого филистерства. Посвятить свою жизнь религиозному эпосу—была во всех смыслах задача, достойная школьника, и только искаженное классовое сознание, принимающее видимость за сущность, могло повести Клопштока по стопам Мильтона. Конечно, и Мильтон был глашатаем буржуазных классов, но для английских пуритан религия была идеологическим отражением огромных классовых побед, между тем как для буржуазных классов Германии она не могла быть ничем иным, как идеологическим символом деспотизма, которому эти классы были обязаны своим двухсотлетним политико-социальным ничтожеством. Поэтому эпос Мильтона стал бессмертной песнью, а «Мессиада» Клопштока, на первых порах вызвавшая пламенное восхищение перед поэтическим талантом, который проявлялся в ней и мог считаться прекрасным залогом дальнейшего оживления гражданственности, быстро была забыта. После этой первой крупной неудачи Клопшток так и не научился по-настоящему чувствовать свой класс. Шерер, правда, поступает неумно, когда бранит Клопштока за то, что тот возвел в национальные герои не короля Фридриха, а Германа

Херуска и Генриха Птицелова: ведь Фридрих был в лучшем случае выразителем национальной разрозненности, между тем как Герман и Генрих были все-таки выразителями национального единства. Но эти исторические фигуры для подымающихся буржуазных классов были только бескровными схемами, а из непосредственной жизни этих классов Клопшток никогда не заимствовал тем для своего поэтического творчества. Только в глубокой старости он писал оды в честь французской революции, ставшие красноречивым свидетельством его социального происхождения.

Насколько иначе сложилась жизнь Лессинга! В университет он поступил без всякого плана жизненной карьеры, и, повидимому, в течение первых двух месяцев занимался усиленной зубрежкой, готовясь к поприщу честного теолога. Но напряженная деятельность большого города пробудила его классовое сознание, и пищу этого классового сознания он жадно впитывал всеми своими органами из непосредственной жизни города, в котором германский буржуазный уклад достиг тогда сравнительно высокого развития. Не подлежит сомнению, что по своим склонностям Лессинг был скорее ученым, чем поэтом! В «Гамбургской драматургии» он скромно и в то же время гордо отказался от звания поэта, и только глупец мог бы оспаривать истину этого признания. Кто станет теперь читать мелкие поэтические произведения его юношеских лет, эти «анакреонтические ходули», на которых он бегал взапуски с каким-нибудь Глеймом? Кто будет читать его чувственные стихотворения, лучшая и большая часть которых обычно заимствована из образцовых иностранных произведений, и отрывки ученых стихотворений, которые по форме и содержанию тяжеловесны, хотя и не трудны для понимания, поверхностны и в то же время неясны? Правда, эта эпоха была еще в духовном отношении настолько скудна, что даже эти неудачные попытки стяжали автору славу выдающегося поэта, но сам он занимался ими только в первые годы своего творчества и впоследствии никогда не тратил сил на такой вздор.

Все наиболее выдающиеся стороны его дарований толкали его к ученой карьере: его острый и глубокий ум, смелая и быстрая подвижность духа, его диалектический и критический талант, нескрываемая радость, с которой он занимался даже мелочной работой,—этой ремесленной стороной научного исследования,—удовольствие, с которым он предавался построениям, поражающим своей смелостью еще больше, чем своим остроумием. Несмотря на это, он столь же быстро отказался от профессор-

ства, как и от пасторства: уже в Лейпциге он проникся тем отвращением к ремесленной учености, которое осталась у него на всю жизнь. От ученых занятий он перешел к поэзии—от области, к которой его все манило, к области, от которой его все отталкивало. Но то, что казалось как будто гибельным самообманом, было в действительности непогрешимым классовым инстинктом. Правда, Лейпцигский университет дал молодому Лессингу больше, чем могла бы ему дать какая бы то ни была другая германская высшая школа, и следы тех познаний, которые он получил от наиболее свежих лейпцигских профессоров—филологов Эрнести и Криста и математика Кестнера,—заметны даже в его более позднем развитии. Но это было все же мало по сравнению с тем, что предлагала ему сама жизнь. Даже в этом университете господствовала запыленная и иссохшая ученость; ярмо лютеранства было распатано, но не сломано; под педантической жесткостью аршинных париков процветали отвратительное кумовство и nepотизм. В общем профессорская кафедра была в такой же степени форпостом княжеского деспотизма, как и церковный амвон. В то время не у одного только Лессинга просыпалась мысль, что привилегированные ученые корпорации господствующих классов никогда не смогут стать духовными вождями классов поработенных; Вольтер говорил, что все те, которые вывели науку на новые пути, были частными учеными, далеко стоявшими и от погони за почестями и местами, и от академий, и от дворов, и от большого света,—людьми, вынашивавшими свои мысли у себя в комнате. И в области философии и теологии, и в области права и государственоведения,—всюду расставил княжеский деспотизм свои капканы; под его свинцовым игом давным-давно заглохла всякая политическая жизнь; изящная литература оставалась пока что единственным поприщем, на котором буржуазные классы могли бороться за свое социальное освобождение.

Эта изящная литература тоже сосредоточивалась в Лейпциге, и Лессинг впоследствии как-то сказал, что нигде нельзя так легко научиться писательству, как в Лейпцигском университете. Но и на литературном поприще классовое сознание немедленно привело его к тому виду творчества, который имел решающее значение. Лирические произведения Лессинга так и остались случайной и скоро позабытой трухой, театр же захватил его всего и уже никогда не выпускал из своих рук. На подмостках, отражающих весь мир, буржуазный мир мог выявить себя хотя бы с некоторым приближением к видимой правде;

он мог здесь всенародно разбирать вопросы, волновавшие его душу; для буржуазных классов сцена была одновременно и амвоном, и кафедрой. Для Лессинга она стала тем и другим в большей степени, чем для кого бы то ни было другого. В сущности драматическим поэтом он был столь же мало, как и поэтом вообще. Из его бесчисленных драматических планов осуществилось лишь очень немногое, да и это немногое созревало в течение целых лет и даже, как, например, «Эмилия Галотти» и «Натан», в течение целых десятилетий. Изучая его наброски, мы видим, что он совершенно правильно характеризует свою драматическую деятельность, когда он пишет в вышеупомянутом месте «Гамбургской драматургии»: «Я не чувствую в себе живого родника, прорывающегося на поверхность собственными силами и собственными силами испускающего богатые, свежие и чистые лучи. Я должен все выжимать из себя прессом и насосом. Я был бы чрезвычайно беден, холоден и близорук, если бы до некоторой степени не научился скромно заимствовать чужие сокровища, греться у чужого очага и совершенствовать свое зрение, прикасаясь к чаше искусства. Поэтому я всегда стыдился и досадовал, когда я читал или слышал дурные отзывы о критике; критика, якобы, губит гений, а между тем я могу похвалиться, что получил от нее нечто такое, что стоит весьма близко к гению». Молодого Лессинга гнал на сцену не поэтический, а социальный инстинкт, и на сцене же он нашел свой «старый амвон», свое последнее прибежище; это случилось тогда, когда этот борец был смертельно измучен и всякая другая арена борьбы оказалась для него закрытой.

Итак, в Лейпциге Лессинг учился жить. Пока Клопшток созерцал в своих поэтических видениях раскрывшееся небо и в узком кругу единомышленников уже усваивал манеры первосвященнического сана, Лессинг перерабатывал все, что бросали ему жизнь и наука, в комедию и весело кружился среди легкомысленного театрального народа. Он охотнее всего общался с париями тогдашнего общества, — евреями, актерами и солдатами, — и в этом отношении был настоящим социальным бунтарем. Но насколько слабо было еще классовое сознание буржуазии, настолько же непрочно были сколочены и подмостки его сцены. Театр госпожи Нейбер, в котором Лессинг учился жить и поэтически творить, рухнул и похоронил под своими развалинами молодого борца. Лессинг, скрываясь от кредиторов, бежал из Лейпцига, — в то самое время, когда на духовном горизонте буржуазных классов яркой утренней звездой подымался клопштоковский Мессия.

## Берлин в восемнадцатом столетии

После своего бегства из Лейпцига Лессинг прежде всего направился в Виттенберг, другой саксонский университет, и в августе 1748 г. записался туда студентом медицины. Но, повидимому, кредиторы преследовали его и здесь; во всяком случае еще до конца года он уже переселился в Берлин. Но это отнюдь не обозначало «сознательного выбора Пруссии», «решительного и глубоко обдуманного шага», как утверждает господин Эрих Шмидт, не падаящий при этом патриотических фраз. Вероятнее всего, его прогнала из Саксонии денежная нужда; а раз он хотел стать на свои собственные ноги, к чему он стремился тем более усиленно, что не желал требовать от своих бедных родителей дальнейших жертв на продолжение своего университетского образования, то ему волей-неволей приходилось искать счастья в большом городе. Только в таком городе он и мог рассчитывать на какие бы то ни было литературные заработки.

Для такой цели Берлин был для него всего удобнее, особенно потому, что его друг юности и кузен Милиус только что переселился из Лейпцига в Берлин, чтобы взять на себя редактирование привилегированной берлинской газеты, той самой газеты, которая ныне известна под именем «Фоссовой газеты» и которую краткости ради мы так и будем называть.

Во всех других отношениях Берлин не мог, конечно, соперничать с Лейпцигом, если не считать более значительного народонаселения, достигшего к моменту появления Лессинга в прусской столице более чем ста тысяч человек. Берлин и Лейпциг с чрезвычайной яркостью отображали два совершенно различных типа германских городов. Беспристрастная наблюдательница, леди Монтегю, путешествовавшая по Германии в 1716 г., сравнивает торговые города вроде Лейпцига с голландскими хозяйками, живущими в обстановке чистой и солидной обеспеченности, а характерную черту городов-резиденций вроде Берлина видит в потрепанной элегантности, грязи и внешнем лоске, отличающих в особенности высшие классы. По ее выражению, эти города походят на нарумяненных и подвитых девиц легкого поведения с лентами в волосах и серебряными позументами на башмаках, но в разорванных нижних юбках. Приговор этот довольно жесток, но, судя по свидетельствам всех других современников, справедлив. По большей части такие города представляли собою искусственные, паразитические посе-

ления, которые должны были создавать для княжеской власти пышный фон; они были лишены всякой коммунальной самостоятельности и кишели льстивыми придворными, подобострастными чиновниками, грубыми солдатами, иностранными авантюристами; в лучшем случае, им жаловались всевозможные привилегии, долженствовавшие искусственно оживить торговую и промышленную деятельность, но, конечно, способствовавшие ей в довольно ограниченной степени и еще более усиливавшие зависимость горожан от двора. Эти города были своего рода микрокосмами немецкого убожества, опустошительные последствия которого нигде не проявлялись так резко, как в них.

Но нигде в Германии положение городов не было так плохо, как в Пруссии. Мы уже говорили, что прусский абсолютизм возник не так, как абсолютизм экономически развитых стран: он возник не благодаря развитию товарной торговли и товарного производства, не благодаря помощи городов, поддерживавших его против знати, и не благодаря тому, что он защищал города от знати. Всегда, даже в наиболее как будто блестящие эпохи своего существования он зависел от феодального помещичьего класса. Может быть, бедность страны и неблагоприятное экономическое положение помешало городам Бранденбургской марки на исходе средних веков настолько усилиться, чтобы помочь достигшим власти Гогенцоллернам сломить при их содействии могущество помещиков. Но в этом направлении не делалось даже никаких серьезных попыток, если не считать такой попыткой временного союза, который первый Гогенцоллерн заключил с городами для того, чтобы расправиться с Квитцовыми. Во всяком случае уже второй Гогенцоллерн на паях с дворянством дочиста стриг города марки, особенно расположенные рядом города Берлин и Кельн. По мнению патристических историков, действовать так—значило «брать строптивые города под благодетельную опеку государственной мысли»; но документы, сохранившиеся от 1448 года,—к сожалению, впрочем, слишком скудные,—рисуют эту расправу несколько иными чертами.

Используя ссору между патрицианскими родами и берлинско-кельнскими цехами, курфюрст Фридрих II стал третейским судьей между ними и заложил на окраине города замок,—то самое здание, которое господин Евгений Рихтер с верноподданническими поклонами именует «искони знаменитым Гогенцоллернским замком». Тогдашние берлинцы еще не были преисполнены такого верноподданнического благоговения; патрицианские роды и цехи учуяли жаркое еще раньше, чем оно

было готово, объединились и окружили города частоколом, который должен был защитить их от строящегося замка; они прогнали архитекторов курфюрста, а также судей и сборщиков податей, которых он посадил им на шею, а после этого обратились к остальным городам марки, призывая их общими силами отразить грозящий удар. Но прежде чем можно было организовать сопротивление, курфюрст и помещики с вооруженными силами напали на Берлин и Кельн и совершенно разгромили оба города. Курфюрст назначил бургомистром своего придворного судью, а места советников предоставил в насмешку над горожанами своим солдатам-кавалеристам. Суды, мельницы, таможни и земельное имущество города были отданы в качестве лена начальнику княжеской кухни,—другими словами, служили для того, чтобы покрывать все расходы придворного хозяйства курфюрста. Городские патриции должны были передать курфюрсту все свои лены, в том числе и те, которые достались им в качестве приданого их жен, а из своего «движимого имущества» должны были платить огромные штрафы. За время с 12 сентября до 14 октября 1448 г. все они друг за другом приходили в «маленькую комнату над воротами Шпандау» и, как выражается тогдашний протокол, «вручили и передали в руки моего милостивого господина и свое тело, и все свое имущество». Наличными деньгами Шумы, Бланкенфельды, Браковы и Рики уплатили по 3 000 рейнских гульденов, Штробанды и Вейны—по 2 000 рейнских гульденов, остальные же семьи в зависимости от состояния платили от 1 000 до 700 гульденов. Если мы примем в расчет, что рейнский гульден стоил тогда 2 талера, а по теперешнему курсу составлял самое меньшее марок двадцать, то мы увидим, что «добродетельная опека государственной мысли» в данном случае свелась лишь к полной конфискации имущества. Менее открытым, но не менее основательным кровопусканием подвергались в другие города марки; о том, чтобы они никогда уже не оправились от этой страшной потери крови, позаботились преемники «железного Фридриха». Приведем лишь один пример. Распутный и расточительный курфюрст Иоахим II, нуждаясь в металле для чеканки монет, уполномочил своего придворного еврея Липпольда сделать «налет» на восемнадцать богатых горожан и взять все найденное у них золото и серебро. В воспоминание об этом «налете» благодарное свободомыслящее городское управление Берлина несколько лет тому назад возымело мысль,—истратить из кармана городских налогоплательщиков десять тысяч марок на сооружение статуи этого Иоахима.

После Тридцатилетней войны политика Гогенцоллернов в отношении городов изменилась,—не по существу, но по форме. Простым опустошением кошельков горожан ограничиться было уже нельзя, потому что в этих кошельках ничего уже не осталось; когда кончилась эта разорительная война, Берлин представлял собою жалкую грудку полуразрушенных хижин с какими-нибудь двумя тысячами жителей, не имевших за душой ломаного гроша. Но военному абсолютизму нужны были деньги, много денег; ему надо было привлечь иностранные капиталы и иностранных капиталистов; естественно, что он стал по-своему заботиться о «заселении» городов и о развитии городской промышленности. Он пустил для этого в ход все имевшиеся у него рычаги, употребил все возможные средства—иногда недурные, а иногда—и даже часто—весьма рискованные. Так, например, приглашение французских, богемских и зальцбургских протестантов, изгнанных с родины, было полезно в экономическом отношении, но наряду с ними расточительный двор курфюрста Фридриха-Вильгельма и особенно его сына, короля Фридриха I, привлек в прусскую столицу всякий сомнительный люд. При Фридрихе-Вильгельме I это средство привлечения перестало действовать, и горожан держали под таким гнетом, что за самое невинное житейское удовольствие им грозили королевские палки. Но этот странный тиран все-таки заботился по-своему о расширении своей резиденции; состоятельными людям и тем, кого он считал за таковых, он приказывал без дальних разговоров строить в Берлине дома, хотя благодаря болотистой почве города одно лишь сооружение фундамента нередко стоило счастливым домовладельцам всего их состояния. То, что делалось для городов, делалось не ради них, а в интересах военного абсолютизма, который вскоре опять стал резать курицу, несшую золотые яйца, не дождавшись даже момента, когда она начнет их нести. Фридрих-Вильгельм I отнял у городов право иметь свои собственные казначейства и подчинил эти последние своим податным чиновникам, дав им приказ оставлять городам только самое необходимое, а весь остаток передавать в королевские кассы. По всей вероятности, это и есть та «заслуга перед городским сословием», которая, по уверению господина Шеффле, дала возможность королю утвердить трон, прочный как бронзовая скала\*. Фридрих II еще строже проводил этот прекрасный принцип своего отца. Городское управление превратилось

\* *Шеффле*, Строение и жизнь социального тела (*Schäffle, Bau und Leben des sozialen Körpers*), 4, 287.



в королевское управление; военные палаты и палаты по управлению государственными имуществами распоряжались городской собственностью по своему усмотрению и назначали должностных лиц; когда один генерал порекомендовал своего полкового барабанщика-инвалида в бургомистры какого-то города, король отвечал ему, что в первую очередь эти должности следует предоставлять заслуженным унтер-офицерам. Что касается в частности Берлина, то Фридрих избрал, так сказать, средний путь между методами своих предшественников, и в его царствование столица стала, правда, не веселой, но зато распутной тюрьмой.

Свидетельств, подтверждающих этот факт, так много, и, несмотря на различие источников, они так единодушны, что мы ограничимся лишь полдюжиной примеров. В 1750 г. английский посланник сэр Чарльз Генбери Вильямс писал из Берлина относительно Фридриха: «Вы не поверите, как заботится этот отец отечества о своих подданных: он не дает им никакой другой свободы, кроме свободы мысли. Принуждение распространяется на все сословия, и на каждом лице читается недоверие. Мне помнится, Гамлет где-то говорит: «Дания—это тюрьма». Вся прусская область—именно такая тюрьма в буквальном смысле слова». Его преемник, лорд Мальмсбери, в 1772 г. писал: «Берлин—это город, где нет ни одного честного человека и ни одной целомудренной женщины. Нравственная испорченность господствует в обоих полах и во всех классах, а к этому еще присоединяется нищета, неизбежно созданная отчасти притеснениями нынешнего короля, отчасти любовью к роскоши, которой население научилось от его деда. Мужчины только и думают о том, чтобы вести широкую жизнь, несмотря на скудные средства; женщины—гарпии, которым неведомы ни нежность, ни истинная любовь, и которые отдаются каждому, кто им платит». Итальянский поэт Альфиери, посетивший Пруссию в 1770 г., говорит в своей автобиографии, что Берлин показался ему «большой казармой, внушающей отвращение», а все прусское государство «со своими тысячами оплачиваемых приживальщиков—огромной и сплошной гауптвахтой». В 1779 г. Георг Форстер после довольно долгого пребывания в Берлине разразился в письме к Якоби следующей тирадой: «Я очень ошибся в своих предвзятых представлениях об этом большом городе. Берлин, конечно,—один из прекраснейших городов Европы. Но его жители! Гостеприимство и изысканное наслаждение жизнью выродилось там в пышность, мотовство и, можно даже сказать, прожорливость... Все жен-

щины испорчены». Сладкий певец весны Клейст в 1751 г. в письме к своему другу Глейму сплетничал: «Вы наверное уже знаете о приключении с маркграфом Генрихом. Он отослал свою супругу в имение и хочет с ней развестись, так как он застал у нее в постели принца Гольштейнского... Маркграф, конечно, сделал бы гораздо лучше, если бы он умолчал обо всей этой истории, а вместо этого он заставляет говорить о себе весь Берлин и половину мира. Да и кроме того не следовало бы так сурово относиться к такой естественной вещи, особенно когда и сам муж такой небезупречный человек, как маркграф. Такое пресыщение неизбежно связано с браком, и все мужчины и женщины, возбуждаемые своими представлениями о других любезных им предметах, невольно должны изменять. Как же можно наказывать за то, что делаешь по принуждению?» В 1746 г. Глейм пишет о бале-маскараде в Уце, который он посетил вместе с Клейстом: «Мы танцевали, но я с своей стороны был очень недоволен тем, что из-за маски не мог видеть, с кем я танцую—с принцессой или потаскушкой. При таких развлечениях люди ведут себя слишком неприлично, и это мне не могло понравиться. У дворян женщины тупоумно-застенчивы, а у горожан не найдешь ни одной порядочной девушки. Маскарады Анакреона и то были приличнее. В здешних маскарадах мало изобретательности, и почти не слышишь никаких шуток. Грубая похоть царит над всем». Так говорит единственный прусский бард, которому только собственная «тупость» помешала заметить, что и у «дворян» дело обстоит так же, как у горожан. Другой прусский бард, Рамлер, занимавший место учителя в кадетском корпусе, писал своему брату-поэту, что он заболел, так как он слишком беден, чтобы содержать любовницу\*.

Социальный состав тогдашнего населения поясняет моральное состояние Берлина. Цифры, которые мы на этот счет могли найти, относятся, правда, лишь к семидесятым годам, но разница с пятидесятыми годами была наверное лишь количественная, а не качественная. В конце семидесятых годов в Берлине жило:

\* Когда господин Эрих Шмидт в 1885 г. опубликовал первый том своей биографии Лессинга, ему наверное были известны эти свидетельства Клейста и Глейма, ибо они были помещены в зауэровском издании сочинений Клейста, 2, 192 и 3, 30. Тем не менее только в саксонской столице Дрездене он находит «похотливый зуд и откровенное распутство», а сверх того и «сплетни, которые неизбежно должны процветать там, где с корнем вырваны ростки общественных интересов и все политические дела изъяты из ведения несовершеннолетнего гражданина. В Берлине же газет не стеснялись». Так буквально говорится в т. I, 38.

Мужей . . . . .	20 755
Жен и вдов . . . . .	25 996
Сыновей . . . . .	10 919
Дочерей . . . . .	21 582
Подмастерьев и торговых служащих . . . . .	5 588
Учеников . . . . .	2 410
Слуг и лакеев . . . . .	3 027
Служанок . . . . .	10 078
Солдат гарнизона . . . . .	32 364
	138 719

Перевес мужского населения над женским и холостых над семейными бросается в глаза. Земледелием занималось 85 человек; в четырех главных отраслях ткацкого производства—тогдашней ведущей промышленности (шелковые, полотняные, шерстяные и хлопчатобумажные мануфактуры)—число действующих станков составляло 6 168, а число рабочих—свыше 7 тысяч. Они ежегодно производили товаров на 3 774 000 талеров, причем из этого числа за границу вывозилось на 817 000 талеров. Общая сумма заработной платы достигала 2 117 000 талеров (следовательно, на человека приходилось 278 талеров). Прочие мануфактуры фабричного типа имели в это время 2 530 рабочих, общий заработок которых составлял 438 000 талеров (следовательно, на человека приходилось 249 талеров). Общая стоимость произведенных ими товаров составляла 1 367 000 талеров, причем за границу вывозилось товаров на 522 000 талеров. Общее число рабочих, занятых во всех отраслях производства, достигало 10 113, общая сумма заработной платы—2 600 000 талеров, стоимость произведенных товаров—6 миллионов талеров, общая стоимость вывоза—1 720 000 талеров. В 1785 г. по всем этим статьям обнаружилось уменьшение от 10 до 12%; это лишний раз доказывает утверждение Мирабо, что промышленность и торговля в прусском государстве были слабы, поддерживались искусственно и не имели прочного основания\*.

\* Вышеприведенные цифры взяты из книги *Николаи*, «Описание королевских резиденций Берлина и Потсдама» (*Nikolai, Beschreibung des königlichen Residenzstädte Berlin und Potsdam*) и статьи Реедена в «*Zeitschrift für Statistik*». Сколько-нибудь сносной истории Берлина до сих пор не существует; работы Штрекфуса и Швебея, весьма различные по тенденции, похожи друг на друга в том отношении, что они не удовлетворяют даже самым скромным научным требованиям. Между прочим, вышеприведенные цифры бросают некоторый свет на утверждение манчестерцев, что заработная плата в течение нынешнего столетия повысилась. Средний рабочий заработок в 260 талеров следует измерять не только деньгами, но и товарами, а между тем при тогдашних ценах на жизненные продукты можно было, как писал Лессинг своему отцу, хорошо пообедать за 15 пфеннигов.

Но если торговая и промышленная деятельность, поощряемая всевозможными монополиями и привилегиями, обычно является весьма непрочной основой гражданской независимости, то в данном случае дело осложнялось еще тем, что капиталистические предприниматели в подавляющем большинстве случаев были французы, евреи и отчасти поляки и чехи. Французская колония насчитывала 5 346, богемская—1 125, еврейская—4 245 человек. Хотя эти слои в промышленном и интеллектуальном отношении были своего рода дрожжами, в моральном и политическом отношении они были, выражаясь словами господина Моммена, элементами разложения. Особенно большую роль в этом смысле играли французы и евреи. Вполне понятно, что эта «нация»,—ибо в то время она именовалась «нацией», а не «вероисповеданием»,—находившаяся под гнетом в течение сотен лет и в силу насильственных ограничений вынужденная заниматься исключительно торговлей деньгами, в своей массе не могла состоять из светлых ангелов и действительно из них не состояла; а что касается французских иммигрантов, то и они, судя по многочисленным жалобам современников, тоже не были героями добродетели\*. Кроме того, эти иностранные колонии составляли до некоторой степени государства в государстве; они подчинялись особым властям, пользовались особыми правами, несли особые финансовые тяготы; они, так сказать, телом и душой принадлежали королю, милость которого могла им дать много выгод, а немилость грозила отнять все. Это чувство безусловной зависимости было им тем более свойственно, что от германского населения их отделяли резкие противоречия интересов. То обстоятельство, что французы пользовались несколько большим расположением короля, а евреев гладили против шерсти и обращались с ними не как с людьми, а как

\* В данном случае необходимо опровергнуть бессмысленное утверждение, что протестантская вера в духовном и нравственном отношении стоит выше других религиозных исповеданий. Гугеноты были экономически наиболее развитыми элементами французского населения вовсе не потому, что протестантская вера одарила их особой проникательностью и добродетелью. Приходится сказать наоборот: так как они были экономически наиболее развитыми элементами, то они и перешли в протестантскую веру, более всех прочих религий соответствовавшую их капиталистическим интересам. Погоня за прибавочной стоимостью уже в сравнительно ранние времена—в эпоху весьма благоволившего к ним Ришелье—ввергла их в гражданскую войну и побудила заниматься морским разбоем; в этом отношении Бокль в своей «Истории цивилизации в Англии» {1, 2, 25 и сл.) привел множество бесспорных свидетельств, ценность которых нисколько не ослабляется тем обстоятельством, что Бокль истолковывает их идеалистически.

с дойными коровами фиска, — не имело особого значения. Согласно «Пересмотренному генеральному положению о привилегиях и регламенте для прусского еврейства» от 1750 г., число евреев ограничивалось, и в Берлине, например, не могло жить более 152 еврейских семейств; как только число их переросло цифру, определенную для той или другой местности, излишек этот устранялся путем высылки из страны наиболее бедных и наиболее безнравственных евреев; по приказу короля соответствующие списки представлялись ему на просмотр в начале каждого года. Но так как он «оказывал покровительство евреям главным образом для того, чтобы вести торговлю, коммерцию, мануфактуры, фабрики и тому подобное», то он дал им возможность превратиться в такую экономическую силу, которая ускользала от его воздействия. Абрагам Маркус, Фейтель Эфраим и Даниэль Итциг, — евреи, пользовавшиеся особым покровительством, — уже в 1761 г. получили «во всех юридических делах, разбираемых в суде и не входящих до него, права христианского банкира»; в то же самое время еврейская масса, несмотря на все законодательные ограничения, все более и более росла \*.

\* Приведенная в тексте цифра в 4 245 человек для 1779 г. дана у Николаи; Преис (3,431) для 1784 г. число еврейских семейств определяет в 500, а число их членов в 3 374. Разница не особенно велика, но Николаи является более старым и более точным источником. Отклонение цифр, может быть, объясняется тем, что Преис принимает в расчет только евреев, пользующихся покровительством (*Schutzjuden*), и членов их семейств, а Николаи присчитывает и их еврейских слуг, имевших право проживать в Берлине до тех пор, пока они служат. Если им давали расчет, старейшины еврейской общины были обязаны немедленно извещать полицию, которая и высылала рассчитанных из города и из страны. К этой категории евреев принадлежал, например, Мозес Мендельсон, который занимал место бухгалтеря на шелковой фабрике, принадлежавшей вдове Бернгард. Когда маркиз д'Аржанс узнал об этом через некоего еврея Рафаила, он сначала не хотел верить, что в государствах его царственного друга царит такая нетерпимость, но в ответ на его запрос Мозес подтвердил, что еврейские старшины обязаны выслать его с помощью полиции, если вдова Бернгард уволит его «и если какой-либо из евреев, торгующих старым платьем на Рееценгассе, не согласится объявить его своим слугой». После неоднократных просьб маркиза д'Аржанса Фридрих дал доброму Мозесу права еврея, пользующегося покровительством в чрезвычайном порядке, то-есть дал ему эту привилегию пожизненно и только в отношении лично его; когда же в 1779 г., то-есть через двадцать почти лет после того, как пользовавшиеся дурной славой, но экономически могущественные ростовщики Эфраим и Итциг получили «права христианского банкира», Мозес пожелал получить обычные права состоящего под покровительством еврея, которые могли передаваться и детям, то король отклонил просьбу своего собрата-философа. Когда Мендельсон был выбран в члены академии, король также наотрез

Итак, хотя французы и евреи экономически господствовали над местным населением и в духовном отношении оказывали на него благотворное влияние, встряхивая его умственные силы, в политическом отношении они еще более зависели от каждого каприза деспотического государя. Эти своеобразные условия оставили на буржуазных классах Берлина своеобразный след, чувствующийся еще и поныне. Именно на этой почве и возникли, с одной стороны, находчивость и остроумие, изобретающие чрезвычайно смелые и меткие словечки насчет бога, короля и мира вообще, а с другой стороны—неискоренимое почтение перед каждой полицейской каской, появляющейся на горизонте. Только после того, как в Берлине сложился самостоятельный рабочий класс, этот класс сумел дать лучшее направление этим хорошим качествам. 18 марта 1848 г. рабочие завоевали Берлин, буржуазное же ополчение оказало лишь «пассивное сопротивление» возвратившейся армии, учинившей государственный переворот, и сумело противопоставить ей только множество колких остроумных насчет старика Врангеля. Из этого видно, насколько не права реакция, считающая зачинщиками 18 марта французов, евреев и поляков; наоборот, у нее есть все основания благодарить французов, евреев и—не поляков, правда, но чехов—за то, что берлинские буржуа разыгрывали из себя революционеров только тогда, когда они были в халате и туфлях.

Поэтому в середине восемнадцатого столетия гражданская самостоятельность и независимость были в Берлине неизвестны ни теоретически, ни практически. Городских властей, как таковых, не существовало; королевский деспотизм безраздельно господствовал над городом, вмешиваясь в самые ничтожные мелочи; а если в каком-нибудь отдельном случае он не проявлял своей власти, на сцену выступали бюрократический и военный деспотизм 2986 чиновников и офицеров гарнизона, насчитывающего свыше 30 000 солдат. При таких условиях о какой бы то ни было духовной жизни не приходилось и говорить. Сравнить две маленьких захудалых газетки с лейпцигскими «Acta eruditiorum» («Учеными трудами») было бы столь же смешно, как ставить пару чахлах гимназий на одну доску с саксонскими

отказался дать свое утверждение. Подробности можно найти у Прейса и у Николаи—«Анекдоты о короле Фридрихе», 1, 62. На примере того времени современные антисемиты могли бы увидеть, к чему приводит правительственная травля евреев. При таких условиях еврейский ростовщик процветает, между тем как евреи, желающие освободиться от своего еврейства, испытывают тем большее угнетение.

княжескими школами. Самым ученым человеком столицы на Шпрее, ее «греческим оракулом» был Дамм, ректор кельнской гимназии; к нему совершал паломничество Винкельман, чтобы учиться по-гречески, и у него же брали уроки греческого языка Мендельсон и Николаи, когда они уже были совсем взрослыми людьми. Но он обращал внимание только на буквальный смысл слов и перевел Гомера «на отвратительнейший жаргон, каким только мог тогдашний педант опозорить немецкий язык» (Юсти). Сделанный им перевод Нового завета навлек на него подозрение в еретических взглядах. Этот бравый человек подвергся преследованиям черни, и его школа пришла в полный упадок.

В эпоху переселения Лессинга в Берлин там не было ни одного театра, если не считать жалких балаганов наезжавших в столицу бродячих трупп. Само собой разумеется, не было и университета. Зато Фридрих II восстановил академию, которую по инициативе Лейбница учредил его дед и которую его отец презирал и в конце концов закрыл. Академия была совершенно офранцужена, и даже сочинения ее немецких членов должны были переводиться на французский язык. Она была разделена на четыре класса—физическое, математическое, философское и филологическое отделения; все другие отрасли наук, в том числе богословие, стоявшее на почве откровения, и все дисциплины, имевшие отношение к гражданским правам и государственному устройству, были исключены. Сначала ею руководил француз Мопертьюи, а впоследствии в управление ею стал вмешиваться сам король, причем с членами ее, как писал Зульцер Глейму, «он обращался еще страннее, чем со своей желтой лентой». Но в этом не было ничего странного. Так как наука могла развиваться только под сенью королевского деспотизма, то естественно, что Академия наук превратилась в хилое и жалкое растение. Буржуазная история литературы, по своему обыкновению, совершенно запутывает действительное положение вещей, когда с верноподданническим прискорбием порицает короля Фридриха за его презрение к немецкой литературе, но в общем превозносит его, как покровителя литературы, за его уважение к французской литературе. Наоборот,—если Фридрих презирал немецкую литературу, то для него это не было позором, а для нее было только счастьем; пристрастие же его к французской литературе, в силу самых условий деспотического режима, превратилось в настоящую сатиру на литературный вкус.

В «знаменитом месте» Гете метко говорит: «Как можно требовать от короля, который хочет жить духовной жизнью и

духовно наслаждаться, чтобы он терял целые годы, дожидаясь, пока наконец не разовьется и не начнет давать наслаждение то, что он считал варварским?» До Семилетней войны, в начале которой Фридриху было 44 года, в немецкой литературе не было ничего, что могло бы хоть до некоторой степени сравниться с французской литературой, если не считать таких, например, произведений, как басни Геллерта и «Мессиада» Клопштока. Французскую литературу, которую король изучил во время войны, он понимал и ценил; немецкую же литературу он не понял бы и не оценил, если бы даже с ней познакомился. Зульцер хотел через посредство Вольтера познакомить короля с «Мессиадой», но на это предложение Вольтер ответил: я знаю Мессию, сына вечного отца и брата святого духа, и я самый преданный его слуга, но такой язычник, как я, не смеет курить перед ним фимиама. По всей вероятности, и сам король отозвался бы о «Мессии» так же. Правда, после Семилетней войны имелись уже первоклассные литературные произведения—«Лаокоон» Лессинга и сочинения Винкельмана, но в то время король в духовном отношении был уже конченный человек, да и кроме того две ласточки еще не делали весны. В 1769 г. Лессинг писал в «Гамбургской драматургии»: «Нашей изящной литературе еще очень нехватает сил и нервов, мозга и костей. В ней найдется еще очень мало произведений, которые охотно возьмет в руки привыкший к мышлению человек, если он ради отдыха и подкрепления захочет подумать о предметах, не имеющих отношения к однообразному нудному кругу его повседневных занятий». Литературные способности и склонности Фридриха неизбежно должны были вызвать в нем резко отрицательное отношение к немецкой литературе. Он ценил Лейбница, французские сочинения которого он знал; он с большим уважением отзывался о Томазии, хотя вряд ли особенно хорошо был знаком с ним; он приказал перевести для себя сочинения Вольфа на французский язык, немецкую литературу в целом он считал варварской, да она и действительно была таковой в годы его духовного развития. Сравним тогдашние наиболее выдающиеся и наиболее заслуживающие похвалы немецкие литературные произведения с соответствующими произведениями французской литературы, немецкий язык Томазия с французским языком Монтескье, неудобоваримые фолианты Бюнау и Маскова, излагавшие историю германской империи, с исторической работой Вольтера о Людовике XIV,—и мы тогда вряд ли решимся упрекать короля за то, что он презирал немецкую литературу.



Но если это презрение не было позором для презиравшего, то для презираемой это было счастьем. Незадолго до смерти Фридрих сказал Мирабо: «Разве я мог бы сделать немецким писателям большее благодеяние, чем то, которое я оказал им, предоставив их самим себе?» Правда, в этом вопросе чувствуется скорее Мирабо, чем Фридрих, но если он действительно исходил от короля, то в нем скрывается более глубокий смысл, чем какой ему хотели придать. Если бы король хоть на минуту заподозрил, что развивающаяся немецкая литература знаменует собою социальную освободительную борьбу буржуазных классов, то все ее произведения он приказал бы сжечь рукой палача. Но вопрос этот бил прямо в цель даже в том его истолковании, которое имел в виду король. Если основоположники нашей классической литературы считали презрение Фридриха к германскому духу позором для нации, то такая оценка вполне соответствовала их классовому сознанию; тем не менее Лессинг и в этом вопросе оказался наиболее ясно мыслящим борцом буржуазных классов, ибо ощущение этого национального позора не помешало ему заметить опасности королевского меценатства, между тем как Клопшток, живший под покровительством датского короля, и Винкельман, состоявший под покровительством римского кардинала, ограничивались бранью по адресу «иностранца на родине» и «живодера народов». Живя в Берлине, Лессинг видел на непосредственном опыте, куда должна зайти литература, находящаяся под покровительством мецената-деспота.

Несомненно, Фридрих искренне ценил и хорошо понимал французскую литературу; Мопертюи, Ламеттри и Вольтер, которых он привлек к своему двору, были люди, высоко стоявшие в духовном отношении. Покровительство, которым пользовался Ламеттри в качестве его лейб-медика, и прекрасные слова, которые в 1751 г. король посвятил памяти этого опороченного материалиста, особенно ясно показывают, что Фридрих стоял на такой высоте философского понимания, какой, вероятно, не достигал в то время никакой немец, даже и молодой Лессинг, как раз тогда громивший Ламеттри и проявивший при этом не столько мудрость, сколько благочестивое рвение. Эту заслугу Фридриха нам хочется тем более подчеркнуть, что, начиная с Николаи и кончая Карлейлем и Шлоссером, о его отношениях к Ламеттри было сказано множество всяких глупостей. Ведь даже, например, господин Эрих Шмидт, говоря о французском враче, громит его «дерзкий» и «холодный материализм», между тем как его собрат и союзник Шерер, говоря об аналогичном умонастроении Фридриха, превозносил его как «церковный

либерализм»\*. Душевные особенности, воспитываемые королевским саном, тяготели на человеке Фридрихе даже тогда, когда он заседал в Академии или за своим круглым столом. Если господин Эрих Шмидт уверяет, что Фридрих по отношению к своим друзьям никогда не держал себя как монарх, «облаченный в благородный пурпур», то этим биограф Лессинга лишь блестяще доказывает лессинговские слова, что существуют ледяные шутки, вызывающие у слушателя холодную дрожь. Старые придворные историки, замирающие от верноподданнического восторга, но намного превосходящие современных византийцев по части любви к истине, понимали дело лучше. Один из них отмечает, что многие из французских друзей Фридриха не в состоянии были прожить у него больше года, и говорит об Альгаротти следующее: «Находясь на службе короля, он был связан и не мог даже выехать без разрешения из Потсдама в Берлин. Зато, когда он находился далеко от короля, оба они относились друг к другу очень нежно»\*\*. Короче выражаясь, можно сказать, «Фридрих относился к своим французским ученым, как к придворным шутам, а Вольтера, это «наиболее обольстительное создание» среди всех них, он, несколько не стесняясь, так и называл. Они должны были развлекать его, и если подобные развлечения стояли гораздо выше забав других государей, то все-таки они все еще далеко не свидетельство-

\* Прекрасную характеристику Ламеттри и его отношения к Фридриху можно найти у *Ф. А. Ланге*, История материализма, 1, 270 и сл.

\*\* *Прейс*, 1, 243. Материал для своей главы о Фридрихе, изобилующей самыми отвратительными проявлениями византизма, господин Эрих Шмидт почерпнул только из сочинений самого короля. Это дает прекрасное представление об «успехах биографического метода», о тех «высоких целях», которые господин Шмидт ставит «посвященным Лессингу исследованиям». Конечно, по части честности сочинения Фридриха во многих случаях могли бы послужить образцом для творцов фридриховского мифа, но и историческую ценность столь превозносимых господином Шмидтом «почетных знаков памяти», расточавшихся Фридрихом в стихотворных посланиях близким ему людям, старый Прейс (1, 260) характеризует следующими забавными словами: «В своей дворцовой и домашней жизни вся королевская семья должна была перебиваться весьма скудно... Зато Фридрих часто посылал своим сестрам стихотворения, в которых он говорил им самые лестные комплименты и высказывал самые успокоительные истины». В опубликованных материалах прусского государственно-го архива несколько времени тому назад появились беседы Фридриха с его лектором Анри де Каттом; записи Катта дают верный портрет Фридриха и характеристику его отношения к людям. Творцы фридриховского мифа, конечно, находят это отношение очаровательным, но люди, не смотрящие на мир сквозь византийские очки, ясно заметят в этих разговорах проявления гибельного деспотизма, всего ярче обнаруживающиеся у такого умного и талантливого деспота, как Фридрих.

вали о литературной культуре. Академия наук меньше всего могла служить органом такой культуры. Как ни погрешали лейпцигские педанты против Пуфендорфа и Томазия, их выходки были почти детской игрой по сравнению с тем моральным убийством, которое берлинская Академия хотела совершить над голландским профессором Кенигом, другом Лессинга, осмелившимся скромно и почтительно возразить против нескольких физических теорий ее президента Мопертюи. К чести Вольтера нужно сказать, что он поспешил на помощь обиженному, но зато Вольтера это погубило: вольтеровскую полемическую статью, направленную против Мопертюи, король приказал сжечь на Жандармском рынке рукой палача и стал писать Вольтеру такие вызывающие письма, что тот решил вернуться во Францию. При возвращении на родину во Франкфурте-на-Майне ему пришлось испытать благодаря прусскому министру-резиденту такие неприятности, что двадцать лет спустя старый Гете, вспоминая о них, отговаривал своего сына от переезда к веймарскому двору.

Такова была в общих чертах политическая, социальная и литературная обстановка прусской столицы в ту эпоху, когда в ней жил Лессинг.

#### IV

#### Лессинг в Берлине и Виттенберге

На первых порах молодой Лессинг вел в Берлине жизнь литературного поденщика. Он приводил в порядок библиотеку старого Рюдигера, которому принадлежала «Фоссова газета», он делал всевозможные переводы с французского, он исполнял разные «поручения» какого-нибудь барона фон дер Гольца или какого-нибудь господина фон Редера. Но в его борьбе с житейскими затруднениями хлеб не стал для него камнем. Ему не следует особенно доверять, когда он, например, впоследствии пишет своим родителям, что «он повесил на гвоздь все свои ученые занятия и хочет посвятить себя исключительно жалким поискам *de pane lucrando*» (хлеба насущного); на закате своих дней он говорил брату, что ему приходилось жить в чрезвычайно бедной обстановке, но он никогда не находился в таких условиях, чтобы писать в буквальном смысле ради хлеба насущного. «Недостойные его вещи» никогда не занимали его больше, чем следует, и он всегда стремился «стать на свою собственную дорогу». Этой дорогой была для него борьба за освобождение буржуазных классов. Поскольку это было возможно в берлин-

ской обстановке, Лессинг поддерживал связь с театром, работал над своими комедиями, ставил их на ганноверской и венской сценах, издавал работы по истории театра. Эти последние он старался издать в Штутгарте и в конце концов нашел для них издателя.

В то же время подвижной дух Лессинга старался найти в песчаной берлинской почве хоть один клочок плодородной земли, где бы он мог пустить корни. Ему приходилось теперь жить в большом свете и много общаться с людьми. Весьма интересно проследить, как благодаря своему безошибочному классовому инстинкту Лессинг отличается в своей духовной пище яд от питательных веществ. В Берлине французская культура предстала перед ним в карикатурном виде, — она была похожа на обратную сторону расшитого ковра. Одни наивно восхищались этой карикатурой, другие в лучшем случае исподтишка смеялись над ней; Лессинг же смело издевался над этим хаотическим сплетением пестрых нитей, но в то же время поворачивал ковер обратной стороной и показывал, что на его лицевой стороне буржуазным классам есть чему поучиться. Хозяиничанье Фридриха в области литературы, стремившееся подогнать все под французские образцы, Лессинг ненавидел той здоровой ненавистью, которую угнетенный чувствует к угнетателю, — ненавистью, являющейся благороднейшим из всех моральных чувств, несмотря на то, что и угнетатели нынешние, и угнетатели тогдашние объявляют ее безнравственной, ядовитой и бессильной завистью, как это, например, делает господин Эрих Шмидт, говорящий о «проницательной зависти» Лессинга к французским придворным литераторам. Но это не мешало Лессингу признавать превосходство тогдашней французской культуры над культурой немецкой. Если он получил в Берлине «решительный толчок», то толчок этот был ему дан не королем Фридрихом и не фридриховской столицей, а двумя французскими писателями, один из которых заседал за круглым столом в Сансуси, — Бейлем и Вольтером.

Вольтер был по крайней мере на одно поколение, а Бейль больше чем на два поколения старше Лессинга. Благодаря этому различию эпох, Лессинг превосходил обоих французов ясностью и остротой своего буржуазного классового сознания, хотя они превосходили его разносторонностью талантов и степенью влияния на культуру восемнадцатого столетия. Лессинг стоял гораздо дальше от церкви и церковного вероучения, чем Бейль; с ортодоксией он расправлялся решительнее, чем Бейль, о котором Фейербах отзывался так: «Сомнения и возраже-

ния Бейля кружатся вокруг ночной совы ордотоксии, как маленькие дневные птички,—они нападают на нее и сейчас же отлетают в сторону, нахальные и в то же время боязливые». Лессинг никогда не домогался дворцовых милостей, как это делал Вольтер. Но от обоих этих людей он чрезвычайно многому научился: он заимствовал у них не только положительные знания, но и способы ведения борьбы с миром застывших предрассудков, которые невидимыми цепями сковали действительную силу буржуазных классов. У Бейля и Вольтера Лессинг научился чисто и остро оттачивать свой меч, легко и уверенно им действовать. Бейль, этот «универсальный критик своего времени», как называл его Фейербах, этот «первый журналист всех времен», как называет его Юсти, был более родственен ему по духу. Бейль предпочитал жить не в Париже, находившемся под влиянием двора, а в буржуазной Голландии, и подобно тому как Лессинг не выносил «профессорских ужинок», точно так же и Бейль писал одному другу: «Я не очень люблю споры, интриги, *entre-mangeries professorales* (пожирание профессорами друг друга), которые столь процветают во всех наших академиях». Пастор Ланге, этот ободранный Марсий из Лаублингена, вздыхал и стонал, что Лессинг всю свою ученость заимствовал у Бейля, и он был не совсем неправ, ибо он оказался жертвой критики, прошедшей бейлевскую школу\*.

Когда Лессинг начал углубляться в работы Бейля, со смерти Бейля прошло уже больше сорока лет. С Вольтером же Лессинг прожил несколько лет в одном и том же месте, причем их связывали многообразные духовные интересы и, может быть, даже некоторые личные связи. Лессинг с большой тщательностью перевел на немецкий язык «Мелкие исторические сочинения господина Вольтера» и много раз отзывался о нем с величайшим уважением, что не мешало ему писать на Вольтера самые острые эпиграммы. Лессинг имеет в виду Вольтера, когда он высмеивает богатого поэта Земира, отличающегося скряжничеством, «ибо по вечному решению судьбы каждый поэт должен бедствовать»; в него же он метит и тогда, когда рассказывает о «величайшем остроумце Франции», которого «хотел надуть хитрейший еврей Берлина», но не мог этого сделать, потому

\* О Бейле см. у Фейербаха, Пьер Бейль. К истории философии и человечества (*Feuerbach, Pierre Bayle, ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie und Menschheit*). Прекрасная характеристика Бейля имеется также и у Юсти, Винкельман, 1,109 и сл. Об отношении Лессинга к Бейлю см. Данцель-Гурауэр, Лессинг.

что «господин В. оказался еще большей шельмой; чем он». О нем же говорит он и в безжалостной сатире на ссоры французских придворных литераторов. Там рассказывается, как Вольтера по требованию Арно призывают к королю и как Вольтер, войдя в комнату:

Арно, кричит он, здесь? Король, коль мил ему я,  
Свой дом очистит в миг от этого холоя.

Эти кажущиеся противоречия буржуазные историки объясняют изречением Фридриха о Вольтере: плохой человек, но божественный талант. Но это значит не ответить на вопрос, а обойти его, тем более, что и слова насчет «плохого человека» имеют весьма своеобразный смысл: стоит только сравнить жизнь старого Фридриха в Сансуси и жизнь старого Вольтера в Фернее, чтобы понять, кто из них обоих был «благороден, отзывчив и добр» в гетевском смысле слова. Сам Лессинг разъясняет эти кажущиеся противоречия в эпитафии, которую он четверть столетия спустя написал в честь только что скончавшегося Вольтера:

Здесь тот покоится, кого давно бы  
Похоронила ханжеская злоба.  
Прости ему, отец небесный,  
Трагедий томик пресный,  
Стишки без ладу  
И Генриаду  
За то, что в жизни он свершил  
И чем бессмертье заслужил.

В этих заключительных словах Лессинг, говоря о Вольтере, проводит различие не между великим талантом и плохим человеком, а между придворным поэтом и буржуазным писателем. Именно этот социальный подход и определил отношение Лессинга к Вольтеру в 1750 г. Он бичевал придворного, зараженного придворными пороками, и учился у писателя-историка и писателя-поэта, в лице которого то третье сословие, которое было уже всем, нашло самого красноречивого своего глашатая.

Лессинг и Вольтер—эта глава принадлежит к наиболее темным местам легенды о Лессинге. Все буржуазные историки литературы молча проходят мимо сцены, показывающей социальную противоположность обоих этих людей, и в то же время пользуются очевидной выдумкой брата Лессинга, Карла-Готгельфа, чтобы на основании ее строить самые рискованные и фантастические предположения, не совсем лестные для Готгольда-Эфраима. Упоминаемая нами сцена разыгралась ночью 25 августа 1750 г. на дворцовой площади Берлина. В честь своей

сестры, байрейтской принцессы, Фридрих устроил так называемую карусель: причны и придворные, разделенные на четыре кадрили и одетые греками, римлянами, карфагенянами и персами, верхом на лошадях неслись друг на друга, стараясь попасть своими пиками в особо устроенные кольца. Все это освещалось сорока тысячами лампочек, сопровождалось оглушительной янычарской музыкой и блистало роскошью костюмов. Это был самый дорогой маскарад, какой когда-либо позволил себе король, хотя он дорого обошелся не столько самому Фридриху, сколько непосредственным участникам, покупавшим все костюмы на собственные средства, а также и зрителям, которые это пиршество зрения и слуха должны были оплачивать наличными деньгами. Король лично присутствовал на празднестве, а призы раздавала его сестра Амалия, одетая богиней красоты. В придворной ложе сидел Вольтер: «Он держался скромно,— рассказывает Коллини, бывший впоследствии его секретарем,— но глаза его блистали радостью». По словам его биографа Штрауса, Вольтер немедленно отчеканил медаль в память этого празднества: он написал эпиграмму, звучащую, конечно, во французском оригинале совершенно иначе, чем в том слепке, который мы с него делаем:

Ни Рим, ни Греция не дождались  
Такого праздника, блестящего сверх меры.  
Здесь Марса сын,—прекрасен, как Парис,—  
Дар принимал из рук Венеры.

Так рассказывает Штраус. Но ни он, ни какой бы то ни было другой буржуазный историк не открыл эпиграмматической медали, которую отчеканил по случаю этого празднества Лессинг, хотя она напечатана в собрании его сочинений.

#### По поводу карусели

Друг, был вчера я—где?—да где и все, понятно.  
Там, честно уплатив за вход,  
Глазел собравшийся народ  
На принцев наших всех, разряженных занятно.  
Там на обьеженных конях,  
Блестя в стосолнечных лучах  
(То были лампы, к сожаленью),  
В кольцо метали копий ряд,—  
Порою, правда, невпопад,  
Хотя—свое скажу я мнеье,  
Уж ежели на то пошло—  
Кольцо-то было не мало.  
Я видел как в брильянты свет  
Стекляшки превращал... Но нет,  
Тебе о зрелище отменном

Все рассказать не в силах я:  
Закончу словом откровенным—  
Ведь знаешь ты, что я не враль:  
Полталера мне очень жаль.

Это—достаточно смелый язык для того подобострастного времени; а еще говорят, что этот молодой пролетарий разнюхивал, где можно сделать карьеру, и бегал за Вольтером, чтобы попасть в придворную литературную свиту короля\*.

Так изображает дело прусская мифология, пророком которой является господин Эрих Шмидт. Для этой цели раскопали старую басню, которой в этом году исполнился как раз столетний юбилей. К.-Г. Лессинг рассказывает в биографии своего брата, что Готгольда-Эфраима отрекомендовал Вольтеру друг Лессинга, учитель французского языка Ришье де Лувен, и прибавляет при этом: «Поводом для этого знакомства было то, что Вольтер искал переводчика для своих мемориалов, писавшихся им для судебной палаты и направленных против еврея Гирша, с которым он вел известный процесс. Вольтер каждый день приглашал его к своему столу, причем иногда говорил о литературе и науках, но всегда разговаривал таким сдержанным и серьезным тоном, что собеседники не могли щегольнуть своим остроумием». Эти две фразы, напечатанные сто лет тому назад, бесчисленное число раз использовались то против Лессинга, то против Вольтера, то против них обоих. Всего нелепее истолковывал их господин Эрих Шмидт. Он пишет: «Если король попрежнему приглашал к своему столу этого жадного интригана (речь идет о Вольтере!), то почему бы и молодому бедному литератору не разделить трапезу величайшего и могущественнейшего писателя во время этого позорного процесса и следовавших за ним событий?.. Мы не будем бросать в него камнем за то, что любопытство и честолюбие, эти главные силы его души, влекли его к Вольтеру, хотя бы ради этого ему пришлось стать переводчиком скверных документов... Так и видишь, как этот юноша, жаждущий отличий, сидит и напряженно слушает иссохшего мудреца, который время от времени оставляет свою аристократическую неприступность и бросает молодому писцу несколько литературных крох в виде сладкого блюда». За этим следуют жалкие выдумки насчет пронырливости Лессинга, уже отмеченные нами в первой части настоящей работы.

\* Лессинг, Сочинения, 1, 153. Штраус, Вольтер, 98. Карлейль, 4, 270 и сл.



Пора поэтому разоблачить эту басню, раздувшуюся, как мыльный пузырь. Мы не можем подробно распространяться насчет тяжбы Вольтера с евреем, хотя было бы чрезвычайно желательно осветить ее наконец более беспристрастно, чем это делалось до сих пор даже такими, например, писателями, как Карлейль и Штраус. Назвать этот процесс хорошим, конечно, нельзя, но даже и в наихудшем случае он не представляется нам более отвратительным, чем те проделки «благороднейших и лучших», которые капиталистическая пресса наших дней именует «честным грюндерством». Не стоит и говорить о том, что алчность Вольтера была все-таки нечто совершенно иное, чем яростная погоня за наживой, характерная для нашего времени. Деньги были для него не целью, а средством; «не легко было стать до такой степени зависимым, чтобы добиться независимости»,—мягко и справедливо замечает Гете. Но во всяком случае Лессинг не имел ничего общего со всей этой историей. Даже единственное, как будто документально обоснованное утверждение в приведенных выше словах его брата,—именно, что процесс велся в судебной палате,—оказывается неверным. Это несоответствие истине тем характернее для автора приведенных нами строк, что К.-Г. Лессинг, распространяясь далее насчет дурных качеств Вольтера, ссылается на документальное изложение процесса, данное Клейном, между тем как Клейн на многих страницах говорит о том, что дело разбиралось не в судебной палате, а в так называемой «чрезвычайной комиссии» и что на современников это произвело дурное впечатление\*. Бес-

\* Советник судебной палаты Клейн заканчивает свои разъяснения (см. «Летописи законодательства и науки о праве в прусских государствах»—«*Annalen der Gesetzgebung und der Rechtsgelehrsamkeit in den preussischen Staaten*», 5, 231) замечанием, что «по установившемуся принципу» «подобные чрезвычайные комиссии не должны разбирать споры частных лиц и каждый должен иметь право обращаться к надлежащему судье». Затем он прибавляет: «Это я говорю к сведению иностранцев, которые в противном случае могли бы из этого примера сделать вывод, что любимцу монарха стоит только добиться разбирательства дела в чрезвычайной комиссии, чтобы уклониться от обычного правового пути». Как мы видим, по мнению этого старофранкского юриста, писавшего в 1790 г., процесс Вольтера бросает некоторую тень на фридриховскую юстицию. Тем не менее прусские мифотворцы, начиная с К.-Г. Лессинга и кончая господином Эрихом Шмидтом, рассуждают так же, как мифический мельник из Сансуси: «Если бы в Берлине не было судебной палаты, что бы тогда делать?»—и собственной властью решают, что процесс должен был разбираться в судебной палате. Для господина Эриха Шмидта эта странная ошибка тем более странна, что он, наверное, читал у обстоятельного Данцеля, что дело разбиралось «в чрезвычайной комиссии без соблюдения особых формальностей».

смысленность этой басни совершенно ясна уже по чисто психологическим соображениям. Вольтер, в передней которого теснились «принцы, маршалы, министры, иностранные посланники, первоклассная знать»; Вольтер, для которого исход процесса был в моральном смысле вопросом жизни или смерти,—неужели этот Вольтер стал бы завязывать близкие отношения с молодым, еще совершенно неизвестным «кандидатом медицины» и давать ему возможность заглянуть за кулисы процесса только потому, что ему нужен был переводчик его «скверных документов»? И неужели Лессинг взялся бы быть переводчиком этих «скверных документов» только для того, чтобы посидеть за вольтеровским столом, а после этого проделать трижды «скверную» вещь,—написать тайком от Вольтера колкие эпиграммы на процесс? Нет, если Фридрих считал возможным называть Вольтера обезьяной, оборванцем, плутом и тому подобными именами, а потом опять целовать ему руку, то с натурой Лессинга эта моральная двойная бухгалтерия совершенно не вязалась. Чтобы уличить его в двойственности, необходимы гораздо более веские доказательства, чем легкомысленная болтовня столь глупого человека, как К.-Г. Лессинг.

Но, к счастью, доказательство противного можно найти и не только психологическим путем. Назначенная для разбирательства процесса чрезвычайная комиссия состояла из трех лучших прусских юристов (Кокцей, Ярригеса и Лепера); все трое владели французским языком, а один из них был даже француз по рождению; даже окончательное решение суда—мировая сделка между Вольтером и Гиршем—написано на французском языке. Поэтому, если бы Вольтер желал сам вести процесс, он мог бы подать свои «мемориалы» и на французском языке, тем более, что еврей Гирш свободно объяснялся по-французски. Но Вольтер не стал вести процесс сам, а поручил его адвокату, надворному советнику Беллу и, как это видно из документов, давал ему письменные инструкции не на немецком и не на французском, а на латинском языке. Что же в таком случае пришлось бы переводить Лессингу? Адвокат уже в силу своего официального положения должен был понимать латынь. Вольтер тоже понимал ее. Правда, Лессинг писал по-латыни гораздо лучше, чем Вольтер, как это показывает одно его письмо к отцу, относящееся приблизительно к этому же времени, но это только лишний раз доказывает, что латинские инструкции для адвоката Вольтера были написаны не им. Дело совершенно ясно: к чести всех буржуазных литературоведов, которые уже в течение целого столетия пускаются в моральные рассуждения по по-

воду участия Лессинга в вольтеровском процессе и при этом честно ссылаются на «Летописи» Клейна, как на второстепенный научный источник, следует признать, что они даже не раскрывали книги этого старого авторитета, ибо в противном случае они, при своей пресловутой «филологической акрибии», сейчас же раскусили бы небылицы своего главного источника — К.-Г. Лессинга.

Существовали ли какие-либо личные отношения между Лессингом и Вольтером, в настоящее время установить уже нельзя. Ни тот, ни другой о них не упоминают. За это говорит до известной степени то обстоятельство, что Лессинг, по его собственным словам, использовал для перевода исторических сочинений Вольтера «исправленный пером экземпляр»; против этого говорит тот факт, что письмо Вольтера от 1 января 1752 г. к Лессингу, в то время уже исчезнувшему из Берлина, ни по своему содержанию, ни по тону не указывает на предварительное знакомство, а скорее свидетельствует о противоположном\*. Это письмо было вызвано, мягко выражаясь, nepозволительной выходкой Лессинга, который получил от своего друга, вышеупомянутого Ришье де Лувен, корректуру большого исторического труда Вольтера о Людовике XIV, пообещав при этом никому ничего не говорить и в скором времени отдать ее обратно; тем не менее он показал листы третьему лицу, а при своем отъезде в Виттенберг взял их с собою. Лессинг поставил этим своего друга в чрезвычайно неприятное положение и навлек на себя нелепое подозрение. Вольтер знал по печальному опыту, как широко распространена в Германии перепечатка книг без разрешения, и имел все основания требовать обратно свою собственность в довольно резком письме; мало вероятно, что Лессинг хвалился, будто он написал ему латинский ответ, который Вольт-

\* Лессинговский перевод мелких исторических сочинений Вольтера появился недавно в издании Эриха Шмидта. Господин Шмидт с апломбом утверждает в своей биографии Лессинга (1, 190), что Лессинг «по поручению Вольтера переводил с собственного экземпляра Вольтера, снабженного замечаниями на полях». Но в этом новом издании, в котором господин Шмидт мог бы и должен был бы доказать свое смелое утверждение, он ограничивается следующим замечанием: «Вследствие отсутствия исчерпывающих исследований о Вольтере я не мог детально выяснить, в какой степени Лессинг использовал написанные от руки поправки Вольтера». См. *Эрих Шмидт*, Переводы Г.-Э. Лессинга французских сочинений Фридриха Великого и Вольтера (*Erich Schmidt, G. E. Lessing. Uebersetzungen aus dem Französischen Friedrichs des Grossen und Voltaire*), 254. Этого достаточно. Но, конечно, это не мешает господину Эриху Шмидту повторить при этом случае еще раз все сплетни насчет Вольтера и Лессинга.

тер не станет прятать за зеркалом. Мы предоставляем буржуазным историкам литературы еще раз подчеркивать по этому поводу мнимую злобность Вольтера и утешать себя мыслью, что критик Лессинг дал ему за это хорошую головомойку; тем не менее следует сказать, что в этом неприятном инциденте вся вина лежит на Лессинге. Год спустя Лессинг с восторгом говорил о Вольтере в «Фоссовой газете», и потому в конце концов ему вряд ли можно преподнести сомнительный комплимент, что, обидевшись на заслуженный выговор, он обмокнул в яд и желчь свое рецензентское перо.

С февраля 1751 г. Лессинг взял на себя редактирование «Научного отдела» в «Фоссовой газете». Политическая работа в этой газете была ему противна вследствие фридриховской цензуры, душившей каждое свободное слово, но литературную работу он вел в ней до осени 1755 г. и, очевидно, делал это охотно. За неимением лучшего даже жалкая газетка казалась ему достаточно хорошей плеткой для ленивого филистерского мира. До некоторой степени он сделал из нужды добродетель, ибо его одинокий голос тем громче звучал в литературной пустыне Берлина. Когда он в конце 1751 г. прервал на несколько месяцев газетную работу, намереваясь переселиться в Виттенберг, причину этой временной перемены местожительства он объяснял в одном письме «сотней маленьких случайностей, слишком мелких, чтобы вас стоило ими мучить». Но эти сто мелких случайностей сводились в сущности к одной мелкой случайности: Лессинг поехал в Виттенберг получать ученую степень. Из «кандидата медицины» он стал магистром свободных наук. Он сделал эту уступку педантам и ученым парикам: он вынужден был ее сделать, и наша эпоха, еще не отделавшаяся от почтения перед этой ужасной ученой косичкой, не имеет никаких оснований порицать его за это. К своей академической степени Лессинг относился с таким же великолепным презрением, как и к придворному чину надворного советника, который через двадцать лет был поднесен ему против воли.

Как ни кратко временно было пребывание Лессинга в Виттенберге, оно все же было достаточно, чтобы вызвать ссору с теологической гвардией лютеровского города. Это была отнюдь не религиозная, а социальная ссора. Подобно тому как во французских придворных литераторах Берлина Лессинг видел идеологический авангард фридриховского деспотизма, точно так же и на лютеранскую ортодоксию Виттенберга он смотрел как на идеологическое выражение саксонского деспотизма. Она и на самом деле была таковой. То обстоятельство, что Вет-

тины успели перейти в католицизм, чтобы получить польскую корону, не ослабляло, а лишь усиливало их рвение. Переход в католицизм заставил саксонских государей чрезвычайно бережно относиться к этому сильнейшему орудью их деспотизма внутри страны. Виттенбергское черное войско когтями и зубами вцепилось в человека, вышедшего из их собственной среды, за то, что он послал тогдашнему папе несколько сочинений и получил в ответ любезное благодарственное письмо. Вина его, как выражается Лессинг, заключалась в том, что «в нескольких шагах от лютеровской могилы он не побоялся сказать, что нынешний папа—ученый и умный человек». Лессинг издевался над ревнителями благочестия в известной эпиграмме:

Он папу похвалил. Его за это мы  
Во славу Лютера облаем.  
Да, папу. Каково? Добро бы князя тьмы!  
Хвалу такую мы прощаем.

Но это была лишь легкая аванпостная перестрелка. В виттенбергской университетской библиотеке Лессинг в это время изучал историю реформации и нашел здесь материалы, послужившие темой для его «Писем о Лемниусе», его первого прозаического произведения, оказавшегося в своем роде классическим. Эти письма полны свежего и смелого остроумия, делающего честь его учителям—Бейлю и Вольтеру; самое же главное—это то, что они хватают быка за рога и изобличают социальную несправедливость Лютера, возведенного в кумиры.

Симон Лемниус был безобидный поэт-гуманист, который в 1538 г. издал в Виттенберге книжечку латинских эпиграмм и между прочим прославлял в них майнцского курфюрста Альбрехта Гогенцоллерна, как покровителя гуманистов. Альбрехт, первый духовный князь империи, был весьма осторожным противником реформации; он вел двойную игру и лелеял мысль о национальной германской церкви, примасом которой он охотно бы стал; с другой стороны, при своем легкомысленном и расточительном образе жизни, он не мог обойтись без тех крупных сумм, за которые он продавал подданным своего архиепископства право отправления протестантских духовных служб. Гуттен состоял еще на службе у Альбрехта, когда он писал чрезвычайно резкие полемические сочинения против Рима; в качестве свадебного подарка Альбрехт послал Лютеру двадцать золотых гульденов, хотя сам он был кардиналом католической церкви, а новобрачные были монах и монахиня; наконец, еще в 1532 г. он благосклонно принял посвящение Меланхтона в его коммен-

тарии к «Римским посланиям» и выразил свою благодарность посылкой тридцати золотых гульденов и кубка. Естественно поэтому, что и Лемниуса нельзя упрекать в криводуший за то, что он, по обычаю гуманистов, немножко покурил фимиамом перед покровителем гуманистов; ведь и Меланхтон отдавал свои эпиграммы в цензуру. Но как только Лютер прочитал эту книжечку, как его обуял неистовый гнев против поэта. Этот «позорный виршеплет делает из чорта святого,—кричал он с амвона,—и я не потерплю, чтобы такие вещи произносились и печатались в этой церкви, школе и городе, ибо этот подлый епископ не что иное, как лживый, фальшивый человек!» Он немедленно приказал академическому сенату подвергнуть Лемниуса аресту, а когда Лемниус бежал,—«ведь взбешенный Лютер был способен на все»,—поясняет Лессинг,—он приказал прибить на церковных дверях объявление, что «если поймут этого сбежавшего негодая, то ему с полным правом следует отрубить голову». Эпиграммы Лемниуса были сожжены. Но в Швейцарии, куда сбежал поэт, он издал их снова, прибавив целый ряд неприличных издевательств по адресу Лютера и других реформаторов. Пользуясь этими неприличными выходками,—ведь для праведного все обращается во благо,—протестантские историки постарались спасти репутацию дорогого их сердцу божьего человека и для этого пустили в ход гениальный по простоте прием, превратив следствие в причину: они утверждали, что Лемниус начал свои выступления с неприличных выходок, и поэтому раздражение Лютера было вполне обосновано.

В своих восьми письмах о Лемниусе Лессинг вскрывает эту историческую подделку,—правда, не без нескольких случайных ошибок, но в общем совершенно правильно. Он доказывает, что первоначальные эпиграммы Лемниуса имели только один недостаток—они были не на тему и лишены соли; он говорит, что это были совершенно безобидные стилистические упражнения и что ярость Лютера возбудили только похвалы Альбрехту. Лессинг с трогательным пылом обрушивается на грубых преследователей и принимает сторону невинно преследуемого; он бичует «подлые выходки» Лютера, его «слепой гнев» и трусость Меланхтона. Лессинг нападает не на догмы лютеранской церкви, хотя лично он был бы к этому склонен, а на лютеранство как на орган социального угнетения. Пусть нам не говорят: какая важность в том, что Лютер когда-то обидел позабытого маленького поэта? Думать так было не в натуре Лессинга; он был предтечей того французского революционера, который считал, что если хотя бы

один индивидуум подвергается угнетению, то это уже обозначает социальное угнетение; эту мысль Лессинг высказал уже за десять лет до французской революции в своих беседах о франкмасонстве, где он говорит, что благо государства, во имя которого страдают и должны страдать хотя несколько отдельных членов общества, есть прикрытая тирания. А насколько правилен был его классовый инстинкт, под влиянием которого Лессинг изображал дело Лемниуса как типичное проявление свойственного лютеранству духа угнетения и преследования,—это подтвердили собственным примером лютерански настроенные историки.

В самом деле, можно было бы думать, что после исчерпывающей работы Лессинга ни один немецкий историк не решится клеветать на Лемниуса, чтобы прикрыть «подлые выходы» Лютера. Посмотрим же, как на самом деле обстоит дело. Ранке пишет: «При том почетном положении, которое заняли классические исследования, буйные и сварливые приемы прежних поэтических школ не могли более иметь места. Судьба Симона Лемниуса, который хотел на глазах у Лютера продолжать то же самое и был за это изгнан, показательна для всего этого направления». Следовательно, перед нами все та же старая басня, хотя и в дипломатически осторожном облачении. Консистоциальный советник Кестлин, биограф Лютера, поступает откровеннее: с церковной елейностью он называет исследование Лессинга «недостаточным, а отчасти и неправильным», Лемниуса именует «настоящим грязным поэтом» и причиной лютеровского выступления считает «бурю, разразившуюся в университете и городе» из-за того, что эпитафии Лемниуса «были оскорбительны для видных деятелей Виттенберга». Между прочим, это утверждение Лессинг опроверг самым основательным образом. Все-таки и Кестлин упоминает между прочим о неистовом гневе Лютера, вызванном «чрезмерными похвалами» Альбрехту. Зато последний историк, касавшийся этого случая, профессор Гейдеман, преподающий в старейшей гимназии германской столицы не то историю, не то религию, говорит следующее: «Некий магистр Лемниус напал на личную и домашнюю жизнь Лютера и опубликовал неприличные эпитафии, чем и вызвал Лютера на суровый отпор». Таким образом разоблаченная Лессингом историческая ложь полностью восстанавливается\*.

\* Ранке, История реформации (*Ranke, Geschichte der Reformation*), 5,337. Кестлин, Мартин Лютер (*Köstlin, Martin Luther*), 2,420. Гейдеман, Реформация в Бранденбургской марке (*Heidemann, Die Reformation in der Mark Brandenburg*), 202.

Позволительно спросить: для чего собственно жил Лессинг, если выполотый им чертополох опять столь пышно разросся в наших высших школах? Ну что ж,—хотя бы только для того, чтобы пояснить нам сущность исторической лжи. Сам Лессинг, повидимому, выводил ее из первородного греха человеческой природы, ибо в виттенбергский период своей жизни он однажды писал: «Когда же наконец перестанут порочить честного человека в глазах потомства за то позорное пятно, которое давным-давно смыто учеными людьми? И что оказывается более живучим, чем обвинение?» Но по его собственной судьбе можно видеть, что историческая ложь есть орудие социального угнетения и непобедима до тех пор, пока существует социальное угнетение. Ее нельзя победить даже блестящим духовным оружием какого-нибудь Лессинга, ибо как только Лессинг начинает слишком хорохориться, его сейчас же зашивают в саван лессинговской легенды.

## V

### Начало литературной деятельности Лессинга

В конце 1752 г. Лессинг вернулся из Виттенберга в Берлин, чтобы продолжать свою работу в «Научном отделе» «Фоссовой газеты» и издать собрание своих статей, стихотворений и драматических произведений. Это издание продолжалось до 1755 г. и вышло в шести томах в двенадцатую долю листа. Хотя из тогдашних произведений Лессинга лишь немногие станут читаться в наше время, в ту эпоху они проложили новый путь немецкой литературе. Они помогли ей выбраться из безнадежного круга противоречий, разделявших Лейпциг и Цюрих, Готтшеда и Бодмера—Брейтингера.

В буржуазной истории литературы об этих противоречиях говорилось бесконечно много, но их действительная сущность никогда не была надлежащим образом освещена. Выходило так, что Готтшед был пугалом, от которого открещивались все свежие литературные силы, а цюрихцы, несмотря на множество недостатков, все-таки проложили путь к Клопштоку и Лессингу. Делу мало помогало то, что Данцель до некоторой степени попытался спасти репутацию Готтшеда и называл его предтечей нового времени, хотя в прежнее время он был для всех козлом отпущения; не помогало и то, что Шлоссер, давая чрезмерно резкую оценку его личности, в то же время ставил его наряду с Томазием. Господин Эрих Шмидт на этот счет иного мнения. Обладая счастливой способностью переворачивать вещи вверх



ногами, он говорит о Готтшеде: «Он был предназначен на то, чтобы заканчивать собою эпоху, а не открывать ее». А тем не менее Готтшед открыл эпоху нашей классической литературы и принадлежит к той же группе, как и Лейбниц, Пуфендорф и Томазий, хотя и следует за ними на почтительном расстоянии\*.

Готтшед был коренной пруссак и родился в Кенигсберге. Но даже его скромные таланты не могли развиваться в этой пошлой стране; он бежал от вербовщиков Фридриха-Вильгельма I, и кроме Лейпцига во всей Германской империи не было другого города, где он мог бы завоевать себе литературное положение. В Лейпциге он стал профессором университета и с большой энергией старался проводить литературные реформы. Об этих своих попытках он имел полное право сказать: «Они имеют в виду общее благо всей Германии». Это, конечно, служит к его чести, и, с другой стороны, его нисколько не позорит то обстоятельство, что ввиду невероятного упадка тогдашней германской литературы он должен был начать с азбуки,—с очищения языка, с сухих правил, с иностранных образцов. Своим быстрым возвышением он был обязан только своему трудолюбию, и лишь жалкая обстановка тогдашней Германии привела к тому, что, несмотря на его посредственные способности, ему выпала на долю диктатура в области критики, неизбежно испортившая его, как всякая диктатура портит всякого человека. Долгое время Бодмер и Брейтингер сотрудничали с ним; они тоже не были творческими гениями, особенно Бодмер, более притязательный, но менее одаренный, чем Брейтингер. Борьба между Лейпцигом и Цюрихом возгорелась не в литературной, а в политико-социальной области, хотя, конечно, она велась под идеологическим покровом всевозможных эстетических и литературных спорных вопросов.

Цюрих был первым городом Швейцарии, подобно тому, как Лейпциг был первым городом Германской империи, но Швейцария была республикой, а в Германии царил княжеский деспотизм. Поэтому Бодмер и Брейтингер, согласно своим школьным методам, искали своих поэтических образцов у Мильтона, а Готтшед—у Корнелия и Расина. Надо сказать, что германский литературный папа был целиком проникнут придворным сервизмом. В лейпцигской университетской библиотеке имеется оставшаяся после него переписка, состоящая из 4 700 писем в 22 фолиантах. Данцель, взявший на себя тяжкую задачу просмотреть их, говорит по этому поводу: «Как это ни невероятно,

\* Данцель-Гурауэр, 1,487. Шлоссер, 1,560 и сл.

во всех этих томах имеются только одна или две фразы политического содержания». Данцель с полным правом прибавляет: «Самое отъявленное низкопоклонство он считает чем-то само собою разумеющимся\*. Низкопоклонство, действительно, разумелось тогда само собою, и даже Лейбниц, Пуфендорф и Томазий не были от него свободны. Хорошо было бы, если бы ныне мы могли говорить о нем, как о бедствии прошлых веков: но готтшедовские песнопения в честь Августа Сильного сами по себе были не хуже, а, если мы примем в расчет различие эпох, даже, пожалуй, и лучше, чем попытки современных литературных пап выцарапать из земли верноподданническими лапами литературную эпоху Фридриха Великого.

Судя по этому, могло бы казаться, что швейцарцы были свободнее и шире сторонников лейпцигской школы. Но их преклонение перед Мильтоном носило чисто школьный характер и основывалось на самых поверхностных аналогиях. Ортодоксальное христианство этих узких, маленьких республик, которые погрузились либо в филистерство, как Цюрих, либо в распутство, как Берн, не имело ничего общего с революционным жаром английских пуритан; оно было родной сестрой лютеранской ортодоксии, служившей орудием германского деспотизма. В этом отношении между лейпцигцами и цюрихцами обнаруживается еще и другое различие, довольно выгодное для Готтшеда. Как ни чуждо и жалко было буржуазное классовое сознание Готтшеда, оно все же оказывалось достаточно сильным, чтобы возмутиться хотя бы против тех идеологических бичей, посредством которых поддерживала свою власть княжеская тирания. Готтшед переводил Бейля и ревностно пропагандировал Вольтера. Свою литературную реформу он проводил главным образом не с помощью набожных песнопений, а с помощью дьявольского амвона, как выражался тогдашний ортодоксальный жаргон. Пусть не говорят, что интерес Готтшеда к сцене был только результатом его преклонения перед придворными драмами французов. Ведь он работал не для придворных сцен, а проводниками своих драматургических стремлений избирал опороченных пролетариев, странствующие актерские труппы, вроде госпожи Нейбер и ее компании,—а в первой половине восемнадцатого столетия это казалось академическим парикам неслыханной общественной революцией. Такой путь дал возможность Готтшеду прийти в гораздо более тесное соприкосновение с великими

\* Данцель, Готтшед и его время (*Danzel, Gottsched und seine Zeit*). 279.

течениями европейской духовной жизни, чем это когда-либо удавалось Бодмеру и Брейтингеру.

Даже вопросы, имеющие как будто чисто эстетическое и литературное значение, можно правильно понять лишь в том случае, если мы исследуем их политическую и социальную подпочву. Лишь точка зрения, только что развитая нами относительно споров лейпцигцев и цюрихцев, уясняет нам, почему Клопшток последовал совету цюрихских ценителей искусства и, связав свою жизнь с религиозным эпосом, погубил лучшую сторону своей деятельности; мы понимаем тогда, почему эти филистеры падали от ужаса, когда прославленный ими певец приехал по их приглашению в Цюрих и оказался не брюзгливым ханжой, а свежим, жизнерадостным, революционно настроенным юношей. С другой стороны, тогда становится понятным и то, почему более ясный классовый инстинкт Лессинга повел его не по стопам Бодмера, а по стопам Готтшеда. Это звучит парадоксом, ибо буржуазная история литературы лишь о немногих событиях рассказывает с таким пафосом, с каким она говорит о казни, учиненной Лессингом над Готтшедом. Уже Данцель ответил на это прекрасным сравнением: по его словам, Лессинг проглядел заслуги Готтшеда именно потому, «что он целиком основывался на нем и жил им, подобно тому как потребовалось очень долгое время, чтобы естественная наука решила серьезно и основательно исследовать тот воздух, которым мы дышим». Лессинг отнесся к Готтшеду, стоявшему ближе к нему, гораздо суровее, чем к швейцарцам, от которых он стоял дальше. Зато Готтшед чрезвычайно сдержанно отвечал на зачастую несправедливые нападки Лессинга, между тем как Бодмер ядовито мстил за гораздо более мягкие критические отзывы Лессинга, а его берлинский друг, профессор Зульцер из иоакимстальской гимназии, всегда вел себя по отношению к Лессингу как завистливый враг.

С намеченной нами социальной точки зрения эти взаимоотношения объясняются очень просто. Лессинг не только следовал за Готтшедом, но и намного опередил его, поскольку он, стоя на буржуазных позициях, вел беспощадную борьбу с придворными, лакейскими, рабскими элементами готтшедовской деятельности и готтшедовских теорий. Лессинг жестоко разносил «великого дурака» за то, что тот нес знамя княжеского деспотизма. В этом отношении ничего не может быть показательнее, чем первый удар, нанесенный им Готтшеду, — рецензия на стихотворения Готтшеда, помещенная в «Фоссовой газете» от 27 марта 1751 г. Вот главные ее места: «Нижеследующее произве-

дение мы всемерно рекомендуем всем высоким и высочайшим любителям, покровителям и ревнителям истинной немецкой поэзии... Первая его часть состоит из старых вещей, и нов только порядок их расположения, который сделал бы честь самому строгому придворному этикету... Вторая часть в большинстве случаев состоит из новых произведений и расположена в том же порядке старшинства, который так прекрасно выдержан в первой; так, например, все стихотворения, посвященные великим государям и княжеским особам, отнесены в первую книгу, стихотворения, посвященные лицам графского и знатного происхождения, а равно и тем, которые более или менее близко к ним подходят,—во вторую, все же дружеские стихотворения отнесены в третью книгу... В книжных лавках «Фоссовой газеты» в Берлине и Потсдаме эти стихотворения стоят два талера четыре гроша. За два талера можно купить постыдное, а за четыре гроша полезное». Здесь ясно выступает социальное противоречие; именно оно, это в конце концов пробудившееся возмущение буржуазных классов, стыдящихся своего собственного унижения, и объясняет ту часто жестокую злобу, которую проявлял Лессинг по отношению к Готтшеду. Оно же объясняет и сдержанность Готтшеда. Если даже эта сдержанность была подсказана страхом, как предполагает глуповатый оруженосец Готтшеда Шенайх, то уже самый этот страх свидетельствует о том, что Готтшед понимал те высшие цели, которыми руководился Лессинг. Наконец, оно объясняет и затаенную ярость швейцарцев, почувствовавших себя не у дел, как только Лессинг, очистив стремления Готтшеда от придворного низкопоклонства, установил действительную духовную связь с буржуазной классовой борьбой западноевропейских культурных народов.—связь, намечавшуюся уже Готтшедом. Конечно, Лессинг преодолел Готтшеда, но он достиг этого только тем, что очистил и возвысил его стремления. Легенда, утверждающая, что Готтшед был уже конченным человеком, прежде чем Лессинг начал свою деятельность, менее всего к лицу тем людям, которые хотели подsunуть нашу классическую литературу «всем высоким и высочайшим любителям, покровителям и ревнителям немецкой поэзии».

Как Лессинг начинал свою работу под крылышком готтшедианца Милиуса и, постепенно развиваясь, достиг того пункта, когда он написал «Мисс Сару Семпсон»,—можно с интересом проследить по шести маленьким томикам собрания его сочинений и его критическим статьям в «Фоссовой газете». Мы совершенно и с полным основанием не принимаем в расчет его юношеской

лирики, врывавшейся в его жизненную борьбу лишь изредка, в виде единичных, по большей части уже упомянутых нами эпиграмм. Предоставим господину Эриху Шмидту смотреть на эти школьные стихотворные произведения как на «веское» доказательство того, что Лессинг ненавидел «своего государя и дрезденский двор», и приходиться к выводу, что в «анакреонтических ходулях» нашел свое отражение «непосредственно прочувствованный» сердечный конфликт\*. Мы не будем ничего говорить по поводу восторга этого господина, восхищающегося парюю рифмованных строчек, которые Лессинг в начале своей берлинской карьеры написал когда-то под портретом Фридриха («Кто его не знает? Величавое выражение лица сразу выдает мыслителя. Только мыслитель может быть философом, может быть героем, может быть и тем и другим»); они имеют столь же мало

\* Ненависть к «великим мира сего», проходящая красной нитью через всю жизнь Лессинга, могла бы обратиться и против Веттинов. Но Лессинг, подобно Клопштоку и Винкельману, не был настолько глуп, чтобы прежде всего наносить удары той германской княжеской династии, которая проявляла известное понимание искусства и науки. Прозорливость господина Эриха Шмидта, усматривающего в одной или двух рифмованных фразах молодого Лессинга доказательство особой ненависти к дому Веттинов, поистине восхитительна по сравнению с той слепотой, с которой он игнорирует резкие протесты Лессинга-человека против фридриховского деспотизма. Что касается «непосредственно прочувствованного конфликта», то здесь дело идет о более забавной стороне лессинговской легенды. Лессинга необходимо сделать «респектабельным» в том филистерском смысле этого слова, какой придает ему буржуазия. Но каким бы высочайшим искусством ни обладали фальсификаторы истории, никак нельзя опровергнуть того факта, что он, как настоящий рыцарь, никогда не мог отделаться ни от врагов, ни от долгов. Но как же быть с женщинами? По обычаю тогдашних поклонников Анакреона, Лессинг объявляет воспеваемых им Дориду и Хлориду, Филиду и Лауру созданиями воображения, и пока буржуазные историки литературы ограничивались тем, что принимали всерьез это собственноручное свидетельство о нравственном поведении, можно было с ними не спорить, хотя уверения эти сводились только к тому, что Лессинг не походил на турецкого пашу и не имел в своем распоряжении целого гарема. Но господин Эрих Шмидт хочет и в этом пункте перекозырять своих предшественников. Из одного восьмистрочного стихотворения он вычитывает, что Лессинг испытывал моральное страдание, когда осмелился поцеловать Хлориду или Дориду. Но ради буржуазной «респектабельности» нельзя же в конце концов так порочить Лессинга! Конечно, то обстоятельство, что он воздерживался от той импотентной похабщины, которая столь неприятна в литературной переписке тогдашних людей, служит к его чести; но стоит только посмотреть на его юношеский портрет в Берлинской национальной галерее, чтобы понять весь нелепый комизм той мысли, будто этот смелый и статный юноша с «настоящим ястребиным взором» (слова Фосса) кружился около роскошных красавиц не иначе, как с благочестивыми чувствами Иосифа египетского.

значения, как те годы, по выражению господина Эриха Шмидта несколько «ледяные», которыми Лессинг, в качестве редактора «королевской привилегированной газеты», должен был приветствовать короля по случаю нового года и дня его рождения. Мы не будем опровергать и упоительного утверждения господина Эриха Шмидта: «Сын саксонского пастора стал в Берлине религиозным и политическим либералом»; если уже непременно хочется доставить себе детское удовольствие и переносить в ту эпоху современные обозначения партий, то, во всяком случае, следует помнить, что молодой Лессинг отнюдь не походил ни на Ласкера, ни на Евгения Рихтера. Поскольку он являлся первым смелым вождем революционно выступающего класса, он несколько десятилетий спустя, при совершенно изменившихся обстоятельствах, был бы чем-нибудь вроде того, чем были молодой Лассаль или молодой Маркс.

Истинная сущность этого человека красноречиво-выражается не в лессинговской лирике, которая у столь нелирической натуры, как Лессинг, вряд ли могла быть чем-то большим, чем грешок молодости талантливое человека, а в его прозаических сочинениях и театральных пьесах. Его «Письма», его «Защиты» его критические статьи в «Фоссовой газете» являются непрерывной схваткой с теми наполовину опасными, наполовину смешными предрассудками, перед которыми еще слепо преклонялся его класс. Охотнее всего Лессинг сражается с лютеровской ортодоксией; кроме Симона Лемниуса, он защищает еще одного-двух забытых всеми ученых и старого язычника Горация; он резко отделяет серафическую возвышенность Клопштока от его поэтической значимости и решительно указывает на дверь толпе небесных певцов, попытавшихся втиснуться на сцену вслед за Мессией. Он никогда не спорил о догмах, но зато всегда боролся против угнетения и бесцельного мечтательства, отвлекавшего буржуазные классы от их действительных интересов. У него всюду проявляется свободное, истинно человеческое понимание вещей, для укрепления которого ему приходилось изучать произведения древних и работы буржуазных писателей соседних народов, ибо жизнь буржуазных классов Германии находилась еще в застывшем состоянии. Эти первые прозаические сочинения Лессинга обнаруживают не только духовное влияние Бейля и Вольтера, — в них уже чувствуется определенное отношение к Монтескье, Ламеттри, Руссо и Дидро.

Правда, в сочинениях Лессинга, даже наиболее поздних, Монтескье не упоминается. Но в январе 1753 г. Лессинг разбирает появившееся в Гааге анонимное французское сочинение

о духе народов и говорит при этом следующее: «Собственно говоря, столь большое различие народов в отношении их страстей, талантов и физической ловкости объясняется только физическими причинами, ибо то, что называют моральными причинами, есть не что иное, как последствия физических. Если причинами этого различия считают воспитание, форму правления и религию, то это лишь ясно показывает, что вопрос плохо обдуман или что данный человек принадлежит к числу тех ученых, которые, к несчастью, родились в странах, менее благоприятных для наук, чем были, например, Франция и Англия, и которые поэтому полагают, что они совершили бы несправедливость по отношению к самим себе, если бы допустили влияние климата на духовную способность». Здесь ясно чувствуется отзвук «Духа законов» Монтескье, появившегося за два года до этого в Женеве. Ревностное исповедание этого взгляда, в свое время открывшего новую эпоху, но почти бесследно прошедшего для германской буржуазии, делает чрезвычайно большую честь молодому критику берлинской филистерской газеты. Еще в бытность свою в Виттенберге, Лессинг перевел сочинение испанца Гуарте «Исследование различных типов голов в отношении их способности к наукам», — работу, написанную в шестнадцатом столетии, полную самых нелепых фантазий, но не лишенную некоторых идей, приближающихся к материалистическому мировоззрению. Переводчик видел в этих идеях «новые пути», которые «вывели автора за границы его столетия»; даже в своем последнем сочинении, — «Беседа о франкмасонстве», — Лессинг возвращается к мысли о том, что моральные причины следует выводить из физических.

Лессинг, бывший наиболее просвещенным представителем германской буржуазии, именно в силу этого обстоятельства не мог вполне избавиться от круга идей этого класса. Последовательного материализма Ламеттри он не понимал, и его презрительные замечания насчет «часового механизма» показывают, что он в этом отношении стоял на очень тривиальном пути, хотя здесь, может быть, и сыграла роль здоровая классовая ненависть к французским придворным литераторам. Но этот недостаток понимания не следует вменять в вину лично ему, ибо только через сто лет экономическое развитие Германии продвинулось настолько далеко, что в качестве его идеологического производного явления естественно возник научный материализм. Выпадов Руссо против искусств и наук Лессинг тоже не понимал в их более глубоком историческом обосновании. Но как же могло быть иначе? На германской буржуазии тяготело не бре-

мя измельчавшей цивилизации, как на французской, а бремя измельчавшего варварства, и потому германская буржуазия могла бороться за свое социальное освобождение только с помощью искусства и науки. Но все-таки в ответ на парадоксальный упрек Руссо, что воинские свойства людей исчезают с появлением искусства и наук, Лессинг бросил хорошую фразу: «Неужели мы для того только и живем на свете, чтобы губить друг друга?» Зато в лице Дидро Лессинг приветствовал родственный ему дух. Это был третий француз, оказавший на него большое, почти чрезмерно большое влияние. Лессинг называет его одним из тех мировых мудрецов, которые больше стараются о том, чтобы напустить туману, чем о том, чтобы его рассеять. «Всюду, куда ни проникает их взор, распатываются основы самых общепризнанных истин... Мрачными коридорами они ведут к блестящему трону истины, между тем как школьные учителя коридорами, полными воображаемого света, ведут к мрачному трону лжи. Если даже такой мудрец осмелится оспаривать мнения, которые мы считаем священными, от этого будет мало вреда. Его мечты или его истины,—называйте их как хотите,—очень мало повредят обществу, но зато очень много повредят ему те, которые мышление всех людей хотят подчинить игу своего собственного». Духовно связанный с подобными умами, Лессинг имел полное право хлестать немецких «школьных учителей» своим критическим бичом; бич этот, не щадивший лейпцигского магистра, еще беспощаднее опустил на «старого школьника», который поклялся в верности знаменам швейцарцев и до некоторой степени состоял под покровительством короля Фридриха.

Перевод Горация, изданный на пасхе 1752 г. Самуилом-Готгольдом Ланге, лаунблингенским пастором, является красноречивым свидетельством упадка тогдашней немецкой литературы, особенно, если мы вспомним, что его автор был прославленным поэтом швейцарского направления и потратил на свой перевод девять лет. Язык, стихотворный размер, понимание оригинала,—все это стоит на одинаково низком уровне. К этому еще присоединяются почти на каждой странице чисто школьные ошибки. А между тем корректуру правил Мейер, профессор эстетики в Галле, а генерал Штилле, собутыльник короля Фридриха, сам писавший немецкие стихи и покровительствовавший Ланге, взял на себя труд, как об этом писал Глейм Клейсту, «пересмотреть одну за другой переведенные оды Горация и подвергнуть их строгой критике»; в этом труде, повидимому, принимал участие и Глейм, так как уже в 1748 г. он изумляется «правильности тех замечаний, какие делал до



сих пор генерал Штилле» \*. По совету Штилле Ланге посвятил свой перевод королю, за что и получил от него признательное письмо, в котором Фридрих говорит, что «выраженное этим преданное внимание вызвало у нас великое удовольствие» и что, как он уверен, «ваша весьма полезная работа сослужит хорошую службу школьной молодежи при чтении этого занимательного автора». Лессинг все это знал. Когда он, приведенный в ужас этой жалкой стряпней, решил написать на нее критическую статью, профессор Николаи, по существу совершенно согласный с Лессингом, решительно советовал ему этого не делать: «Я не рекомендовал бы нападать на господина Ланге ни одному человеку, который рассчитывает найти свое счастье в Пруссии. Господин Ланге может многое сделать при дворе при помощи известных средств». Но, по всей вероятности, это еще больше подстрекнуло Лессинга вскрыть в одном из своих «писем» наихудшие промахи Ланге; как он однажды писал, он не трогал тех, на кого все ополчались, но обязательно шел войной на того, кого все падали из карьерных соображений. А когда Ланге, как это обычно делают все высокомерные невежды, вздумал чернить личную репутацию своего критика, Лессинг угостил его «Вадемумом». Это было одно из тех классических полемических произведений, которые навсегда останутся образцом борьбы настоящих людей против негодяев, несмотря на все сострадательные уверения буржуазных историков литературы, что Лессинг слишком жестоко отделал бедного Ланге или бедного Клотца.

Постепенное духовное развитие Лессинга отражается в его театральных произведениях еще резче, чем в прозаических сочинениях. Мы не будем касаться некоторых совершенно незрелых ученических работ, которые он сам исключил из первого издания своих сочинений, а равно и нескольких переводов и обоих его сочинений, появившихся в виде периодически издававшихся выпусков (в каждом было по четыре выпуска), — именно, упомянутых выше «Изысканий» и «Театральной библиотеки», которые являлись как бы пробными набросками к «Гамбургской драматургии». Но его «Молодой ученый», «Свободомыслящий»,

\* *Клейст*, Сочинения 3, 76. Эмиль Гроссе в собрании сочинений Лессинга (13, 1) умело сопоставляет документы, относящиеся к спору о «Вадемуме». Книга *Преле* Фридрих Великий и немецкая литература (*Pröhle, Friedrich der Grosse und die deutsche Literatur*) — собрание статей из «*Vossische Zeitung*» — поверхностна и изобилует ошибками. Преле вовсе не первый отыскал кабинетский приказ Фридриха относительно Ланге, как он хвастается: приказ этот приведен уже у *Прейса*, *Urkundenbuch*, 1, 225.

«Евреи», с одной стороны, стоят еще целиком на почве готтшедовской школы, а с другой стороны—сквозь устарелую форму в них уже пробивается новая жизнь. С одной стороны—рабское соблюдение трех единств, грубая и бессвязная завязка, деревянные фигуры, неуклюже вырезанные по шаблону французской и итальянской комедии; с другой стороны—посмотрите, как он жестоко издевается в «Молодом ученом» над нелепой школьной мудростью, с высокомерным тупоумием отворачивающейся от действительной жизни! В «Свободомыслящем» он жестоко высмеивает придворное свободомыслие, которое, по известному выражению Вольтера, вовсе не хочет просвещать «сапожников и поварих», а предоставляет этих каналов власти суеверия. При этом, однако, Лессинг издевается над свободомыслием в такой форме, чтобы это не послужило на пользу ортодоксии. «Евреи» смело затрагивают «постыдное угнетение, в котором прозябает народ, вызывающий у христианина чувство своеобразного уважения». В своем отрывке «Генци», относящемся к 1749 г., Лессинг уже непосредственно затрагивает политическую жизнь того времени. В этом году «Фоссова газета», вопреки ее обычной тактике в других подобных случаях, подробно сообщала о заговоре, который организовал в Берне Генци, демократический патриот, против прогнившего олигархического режима. Планы Генци были преждевременно раскрыты, он был подвергнут пытке и погиб на эшафоте жертвой недостойного классового правосудия. Лессинг задумал написать на этот сюжет трагедию, из которой он закончил полтора акта. Даже и сейчас в ее напыщенных александрийских стихах сквозит его пламенное сочувствие этому герою. Господин Эрих Шмидт ломится в открытую дверь, когда он патетически громит Данцеля, нашедшего в лессинговском «Генци» сходство с «Юлием Цезарем» Шекспира. Похвалы Данцеля, может быть, и были несколько чрезмерны, но по существу дела он, а вслед за ним и Штар совершенно правы, когда они указывают, как сильно и непосредственно должен был в то время действовать этот трагический сюжет, особенно на двадцатилетнего юношу. Какое же значение имеет глубокомысленное заявление господина Эриха Шмидта, что в эстетическом отношении фрагмент «Генци» столь же незрел, как обычно бывают трагедии двадцатилетних юношей? Это нам ясно и без поучений. Знаменитый «генетический метод» должен был бы определить значение «Генци» в духовном развитии Лессинга, по крайней мере столь же основательно, как это сделали Данцель и Штар. В самом деле, почему Лессинг воодушевился демократическим героем, вместо того, чтобы опи-

сывать в анакреонтических песнях «непосредственно прочувствованные конфликты», которые нужно изучать сквозь академические очки?

Лессинговская «Мисс Сара Семпсон» знаменовала решительный и большой прогресс по сравнению с юношескими драматическими опытами Лессинга. Это была мещанская трагедия, написанная им в 1755 г. в вилле под Потсдамом. Лессинг прекрасно понимал все значение этой попытки: дело шло о том, чтобы создать новую трибуну для буржуазных классов Германии. До сих пор они выступали только в комедии, в роли более или менее смешных персонажей, обладающих более или менее отвратительными пороками; в лучшем случае они были отражением ходульных добродетелей, долженствовавших еще резче подчеркнуть порок, противопоставляя ему контрастирующий с ним фон. Трагедия оставалась достоянием государей и героев; только они были способны к благородным, высоким, нежным переживаниям, к возвышенным, могучим и диким страстям трагической драмы. Таким образом мещанская трагедия становилась этапом освободительной борьбы буржуазных классов. Именно так и понимал ее Лессинг. Незадолго до окончания «Сары» он писал в своей «Театральной библиотеке» о развитии этого рода драматических произведений в Англии; он говорил, что для англичанина «нестерпимо давать венценосцам слишком много привилегий; он чувствовал по своему опыту, что могучие страсти и возвышенные мысли свойственны не только им, но и человеку его среды». В статье так буквально и сказано — «человеку его среды»; мы видим, что Лессинг уже умел оперировать понятием среды. Верный своей эпиграмматической манере, он прибавляет: «Это, может быть, только пустая мысль, но довольно и того, что эта мысль все-таки зародилась!» Конечно, это пустая мысль, если возникновение мещанской трагедии объяснять сознательным негодованием англичан на преимущества великих мира сего; но если смотреть на буржуазную трагедию как на отражение пробудившегося буржуазного классового сознания, то это ценная мысль и притом мысль, которая в то время могла прийти в голову только Лессингу. Но эта мысль несомненно заслуживает внимания, поскольку мы имеем в виду задачи и цели Лессинга, когда он писал свою «Сару». Как и всякие другие его драмы, это не есть продукт поэтического, бессознательно творящего гения, а произведение, обработанное рассудочным путем. Еще при жизни Лессинга его враги и завистники говорили, что оно выковано по английским образцам. Да, конечно, но оно было выковано, как оружие классовой борьбы. Заслуга Лес-

синга в этом отношении тем больше, что он ковал его на хорошей наковальне; на этот раз буржуазное просвещение шло из Англии не своим обычным путем,—не через Францию,—а было почерпнуто Лессингом непосредственно у самого источника; свой материал он искал и нашел в той единственной стране, буржуазные классы которой уже достигли экономической и политической самостоятельности. Во Франции мещанские драмы Дидро появились только через несколько лет после появления «Сары», которую сам Дидро чрезвычайно хвалил и с которой он познакомил своих соотечественников. На немецких современников Лессинга его трагедия подействовала не как поэтическое, а как социальное откровение; как сообщал Рамлер Глейму, во время первого ее представления во Франкфурте-на-Одере, на котором присутствовал сам Лессинг, зрители в течение трех с половиной часов сидели тихо, как статуи, и плакали.

Если мы будем к этому произведению Лессинга подходить с чисто эстетической точки зрения, мы тоже не сможем дать ему сколько-нибудь справедливой оценки. При таком подходе влияние его представляется просто непонятным, ибо оно избобилует психологическими невозможностями или во всяком случае невероятностями; над всеми сценами висит тяжелая как свинец скука, и ни в один наиболее напряженный момент действия нельзя себе представить, чтобы эта вещь могла некогда зажигать. Для сцены трагедия эта давным-давно погибла, и даже при чтении ее одолевает лишь с трудом. Но именно потому, что подобный подход был бы детски легок, следовало бы предоставить детям рассматривать исторические подвиги духа с точки зрения школьных упражнений и исправлять их согласно правилам эстетического канона. «Сара» вскоре была отеснена на задний план своими несравненно более красивыми сестрами—«Минной» и «Эмилией», но все же эти последние отличаются от нее не столь сильно, как отличалась «Сара» от той литературной пустыни, которая ей предшествовала. Так как она была первой, то она была наиболее слабой из всех, но действие ее было наиболее сильно. Подобно тому как историческое значение отдельного художественного произведения нельзя определять согласно общим школьным правилам, точно так же и историческое значение определенного вида искусства нельзя оценивать по этим правилам. Лассаль уже предостерегал от подобного подхода и говорил, что при рассмотрении мещанской драмы Лессинга и Дидро не следует трактовать ее в том бездушном и опошленном смысле, в каком она понималась в эпоху Иффланда. Но мещанские драмы Иффланда были еще героическими в ду-

ховном смысле произведениями по сравнению с мещанской драмой разных Линдау, Люблинеров и Вихертов, которая уже в течение десятилетий царит на германских сценах. Можно сказать, что каждый буржуазный класс имеет такую буржуазную драму, какой он в данный момент заслуживает.

Создав «Мисс Сару Сепсон», Лессинг достиг первой высшей точки своей литературной карьеры. Он хотел после этого сделать более или менее долгий перерыв и общаться больше с людьми и с миром вообще, чем с книгами, но это его желание исполнилось не сразу, и притом совершенно иным образом, чем он хотел.

## VI

### Лессинг во время Семилетней войны

Когда поэт весны Клейст приехал в Цюрих для вербовки прусских рекрут, он восторженно писал своему Глейму об этом месте, которое казалось ему «несравненным» не только благодаря его «единственной в своем роде» красоте, но и благодаря жившим там «хорошим и духовно бодрым людям». «В то время как в большом Берлине можно встретить только трех-четырёх человек, обладающих гением и вкусом, в маленьком Цюрихе таких имеется двадцать или тридцать». Он добавляет: «Правда, не все они Рамлеры». Этим он обозначает наивысшую точку того, что в 1755 г. считалось в Берлине гением и вкусом.

Лессингу Берлин тоже казался унылой пустыней, и это-то ощущение, вероятно, ускорило его решение покинуть столицу. Он выбил из щебня несколько искр, до сих пор мирно дремавших там; тяжесть и стеснительность прусской жизни, может быть, обострили его буржуазное классовое сознание, а духовная опустошенность Берлина до некоторой степени устраняла возможность разбрасывать свои силы на пустяки,—опасность, всегда грозившую его подвижному духу. Этот «решительный толчок» может доставить удовольствие патриотической гордости, но более значительного смысла мы ему придавать не можем. Лессинг и Маркс похожи друг на друга в том отношении, что оба они во время своей общественной борьбы проявляли безжалостность, пугавшую их трусливых современников, и одновременно с этим обладали чрезвычайно большой скромностью и весьма неохотно говорили о самих себе; даже в интимных письмах Лессинга редко можно найти разъяснение побудительных мотивов, подсказавших ему то или другое решение. Но зато с тем большей ясностью говорят его произведения. Автор «Мисс

Сары Семпсон» стоял на такой высоте, что берлинская жизнь неизбежно должна была казаться ему отвратительной, мелкой и бесполезной. Какое значение имели для этого юноши, созревшего во взрослого мужчину, четыре с половиной берлинских «гения»? Правда, этот жизнерадостный человек жадно тянулся к людям и из каждого человека старался что-нибудь сделать; он так подходил и к лукавому дураку Зульцеру, которого он предпочитал называть не «фальшивым», а «непоследовательным», и к сухому виршеплету Рамлеру, которому за стаканом вина он казался, как свидетельствует сам Рамлер, «мягким, уступчивыми и веселым собеседником». Но какое значение они могли иметь для его жизненной борьбы,—они и даже те два молодых берлинца, на которых Лессинг имел право смотреть как на своих учеников?

Мы говорим «как бы»,—ибо только историки, мыслящие самими общими и бессодержательными категориями понятий, могут ставить Мозеса Мендельсона и Николаи на одну доску с Лессингом. Господин Эрих Шмидт может, если ему угодно, называть этих людей «религиозными и политическими либералами», Ласкером и Евгением Рихтером той эпохи, но именно поэтому их отделял от Лессинга целый мир. Мозес все-таки шел вместе с ним довольно долгое время, приблизительно до момента появления «Лакоона», при создании которого он оказывал Лессингу довольно большую помощь. Скромное светило, Мендельсон был добрый человек, трогательно привязанный к Лессингу: у него в буквальном смысле этого слова разбилось сердце, когда он, живший в счастливом ослеплении насчет своего друга, только через несколько лет после смерти Лессинга узнал наконец, как далеко ушел от него обожаемый друг еще задолго до своей смерти. Мы относимся с величайшим уважением к тому, что сделал или во всяком случае пытался сделать Мозес для освобождения своей «нации», ибо нетерпимость евреев отталкивала его не меньше, чем фридриховский деспотизм. Не говоря уже о том, что он действовал на несравненно более ограниченном поприще, он даже в этих освободительных стремлениях оставался, в своей половинчатости и нерешительности, далеко позади Лессинга. Он был не свободный человек в полном смысле этого слова, каким являлся Лессинг, а вольноотпущенный, слышавший за собою на каждом шагу предательское бречание разорванной цепи. Это был действительно своего рода Ласкер; он был свободен от пороков своей «нации», но сознание этой свободы преисполняло его чувством самодовольства. Кроме того, это был Ласкер весьма

идеализированный; хотя ни тот, ни другой не давал денег под залог, Мозес все же с большим пылом выступал против Эфраима и Итдига, великих ростовщиков своего времени, тогда как Ласкер свою собственную воздержанность старался использовать для того, чтобы окружить самые мошеннические грюндерские фирмы нашего времени скорбным ореолом самоотречения. В политическом отношении оба они походили друг на друга своей половинчатой и колеблющейся оппозицией против деспотизма, но в области мысли Ласкер со своей путаной философией стоял гораздо ниже Мозеса, бывшего трезвым философом лейбницево-вольфовской школы. Запутавшись в ее сетях, он стоял гораздо дальше от жизни, чем его великий друг. Зато Мозес доставлял Лессингу философский материал, когда Лессинг (что за карьерист!) в 1754 г. опубликовал небольшое сочинение «Поп-метафизик» и этим нанес звонкую пощечину фридриховской Академии за глупую конкурсную тему, которой Мопертюи хотел отомстить и подставить ножку немцу Лейбницу.

Среди окружавших Лессинга лиц Николай кажется еще более мелкой фигурой, чем Мозес. Его собственным претензиям уже «Ксении» Гете и Шиллера дали меткую отповедь.

Лучше тебе бы молчать о Лессинге, этом страдальце,  
В чьем терновом венке терном жестоким ты был.

Только в самом начале своей карьеры Николай получал от Лессинга некоторое поощрение, но на твердой и сухой почве его духа брошенное туда семя выросло лишь в уродливую мелкую поросль. Николай в лучшем случае походит на подлинного Лессинга так, как карикатура походит на портрет, хотя в буржуазной истории литературы он изображается как образец для Лессинга. Его «алчные» домогательства королевских милостей высмеивал еще Гердер. Ограниченный пруссак по взглядам, Николай видел в идее германского национального духа «политическую бессмыслицу» и «коварную партийную цель». Это был первый выходец из рядов берлинского филистерства, достигший литературно-политического влияния. Ограниченность и убожество его своеобразной натуры были порождены материнской почвой, а с другой стороны, они сами воздействовали на эту почву, иссушая ее. По меткому выражению Лассаля, Лессинги, Фихте и Гегели пролетали над этой землей, как журавли. По своему деятельный и энергичный, Николай, подобно своему излюбленному герою Фридриху, хотел завоевать всю Германию, но все, что было в Германии умного, сильного и живого, отталкивало «злого Никеля» руками и ногами. Так отно-

сились к нему Гердер, Гете и Шиллер, Кант, Фихте и Шеллинг, оба Шлегеля и Тик. По удачному выражению господина Эриха Шмидта, на Николаи «летали палки со всех сторон». В смысле этой приятной особенности Николаи был действительно Евгений Рихтер своего времени. Но он походил на него и в других весьма мало приятных отношениях: он так же подло брызгал ядовитой слюной на все значительное, великое и новое, отличался такой же закоснелой нетерпимостью ленивого и трусливого «просвещенца», так же был заражен кружковщиной и кумовством. Не следует, однако, упускать из виду, что тогдашняя капиталистическая коррупция была лишь эмбрионом по сравнению с нынешним великаном; если бы Николаи с его мещанской честностью увидел высокий бурьян, выросший из семян его духа, он, может быть, впервые за всю свою жизнь усомнился бы в своей непогрешимости. А тем не менее все, духовное мещанство, хвалящееся в Берлине «своим» Лессингом, упорно держится за фалды Никеля: ведь недаром его настоящим родственником по духу был не Готтольд-Эфраим, а Карл-Готгельф Лессинг, дед «Фоссовой газеты».

После всего сказанного вполне понятно, что берлинская почва жгла Лессингу ноги, когда он завоевал себе самостоятельное положение в духовной жизни Германии. Он возвратился в Лейпциг с настойчивым желанием узнать великий мир. Счастье, казалось, улыбнулось ему, — молодой Винклер, богатый лейпцигский патриций, предложил ему поехать вместе с ним по Европе в качестве компаньона, причем путешествие это должно было продолжаться несколько лет. Они пустились в путь в мае 1756 г., но когда они приехали в Амстердам, чтобы оттуда в сентябре направиться в Англию, до них дошло известие о начале Семилетней войны, и Винклер, опасаясь за судьбу своих сокровищ, поспешил вернуться в Лейпциг. Эта неудача, повидимому, очень задела Лессинга, но, может быть, это большое разочарование избавило его от другого, еще большего, ибо в компаньоны черствого денежного мешка он совсем не годился. Вскоре по возвращении он совершенно порвал с Винклером.

Об отношении Лессинга и Семилетней войне мы уж сделали несколько замечаний в первой части настоящей работы. Эта война кабинетов совершенно не затрагивала буржуазных классов, и Лессинг отнюдь не был склонен вмешиваться в «кровавую тяжбу независимых государей». Но его классовое сознание было уже достаточно развито, и он не мог не понимать, что буржуазным классам придется платить за этот военный пир; поэтому он ненавидел войну, видя в ней злополучное событие, отпу-



гивающее муз, а в той стране, где у них и без того имелось слишком мало пламенных друзей, оно должно было отпугнуть их на очень долгое время. Эта буржуазная точка зрения была в то же время и национальная, немецкая точка зрения. Буржуазные историки и правого и левого лагеря, которые, начиная с Шерера и кончая Шерром, порицают Лессинга за отсутствие патриотизма и любви к отечеству на том основании, что Лессинга однажды вывел из себя яростный вой почтенного Глейма против тех немцев, с которыми прусский король случайно вел войну, — эти историки по всей справедливости должны были бы упомянуть и о письме Лессинга, написанном за год до этого, где он заклинал Глейма проявить гордость и достоинство немца при занятии Гальберштадта французскими войсками. «Даже о самом Вольтере вы должны отзываться так, как будто вы не слышали о нем ничего, кроме рассказов о его глупых выходках и обманах. Я по крайней мере буду себя вести именно так со всяким не вполне невежественным французом, который приедет в Лейпциг»\*. Мы отнюдь не хотим защищать Лессинга от позорного якобы обвинения в том, что он не стремился к славе пылкого патриота, а именно патриота, который заставил бы его забыть, что человек должен быть гражданином мира. Нельзя без содрагания думать, — хотя это, к счастью, было заранее исключено, — что Лессинг, Шиллер, Гете могли оказаться не «гражданами мира» в их собственном понимании этого слова, а «патриотами», вроде Глейма и Рамлера. Тем не менее из уважения к исторической правде, а равно и для опровержения клеветы, политически отравляющей общественное мнение, необходимо констатировать факт, что представители нашей классической литературы, будучи передовыми борцами буржуазных классов, целиком исходили из национально-германской точки зрения. Только после того, как эти классы оказались слишком ничтожными, чтобы сломить княжеский деспотизм, эти представители предпочли быть вместе с Лессингом «гражданами мира» или вместе с Шиллером «современниками всех эпох» вместо того, чтобы стать узкими патриотами с габсбургским или гогенцоллернским,

\* *Лессинг*, Сочинения 20, 2, 136. Повидимому, Глейм исполнил желание Лессинга лишь до некоторой степени, ибо в письме к Клейсту (см. сочинения Клейста, 3, 242) он не без самодовольства упоминает о встречах и разговорах с разными Ришелье и Мазарини. Доброго Глейма нельзя за это упрекать; укоры Лессинга подействовали на него так, что он стал посылать саксонцам и австрийцам вместо проклятий чуть не благословения. Он был безобидный версификатор, больше всего страдавший от того, что его хотели превратить в национального и патриотического поэта.

гвельфским или веттинским штемпелем. Именно Гете, в момент старческой слабости написавший «знаменитое место», где он распространялся насчет «непреходящих художественных созданий» Глейма и Рамлера, прекрасно охарактеризовал этот ход внутреннего развития в известном двустии, которое так часто не понимали и которое даже такой историк, как Шерр, разыгрывающий из себя демократа, называет «печальным заблуждением обитателя заоблачного царства».

Нацией стать мечтаете вы, о немцы, напрасно.

Дух свободы в себе лучше бы вам развивать.

Насколько еще далека была широкая масса буржуазных классов от национального сознания, доказывает приведенный самим Лессингом факт, что во время Семилетней войны в Лейпциге его считали отъявленным пруссаком, а в Берлине—отъявленным саксонцем,—только потому, что он не был ни тем, ни другим, а был немцем.

Во время этой войны Лессинг трижды менял свое местожительство. Сначала—от октября 1756 г. до мая 1758 г.—он оставался в Лейпциге, хотя здесь ему не на что было надеяться. С одной стороны, Фридрих железной рукой взял за глотку богатый город, из которого разбежались все музы, а с другой стороны—и сам Лессинг («евший как-никак хлеб Винклеров»), как замечает, наморщив чело, господин Эрих Шмидт в порыве буржуазного морального негодования), не мог с надлежащим благоговением подпевать жалобным воплям лейпцигских капиталистов, к денежным мешкам которых пруссаки приставили кровососные банки. Ведь, как-никак, Фридрих только предупредил задуманное против него нападение, зачинщиком которого был саксонский министр Брюль, а что касается до правильного понимания капиталистических интересов, столь необходимого для современных «истинных» ревнителей свободы, то, к сожалению, злополучный Лессинг никогда им не отличался\*.

\* Поистине смешная мысль господина Эриха Шмидта, полагающего, что преступление Лессинга по отношению к капитализму было совершено под влиянием его внезапной пруссификации, находит надлежащее освещение в письме Николаи к Лессингу от 5 июня 1777 г., где говорится следующее: «Кажется, вы сами как-то мне сказали, что если бы вам часто приходилось спорить с пылкими лейпцигскими подхалимами, то благодаря ожесточенности этих споров вы уже давно стали бы всерьез пруссаком» (см. собрание сочинений Лессинга, 20, 2, 890 и сл.). Если господин Эрих Шмидт не хочет верить собственному свидетельству Лессинга, то он уж во всяком случае мог бы положиться на слова прусского патриота Николаи. Тем не менее с достойной сожаления смелостью он пишет, что во время Семилетней войны Лессинг «сделал огромные успехи

Он прослыл «отъявленным пруссаком» и близко сошелся с прусскими офицерами, один из которых, майор фон Клейст, стал на всю жизнь его ближайшим другом. Через Клейста он познакомился и с полковником Тауэнцином. Впоследствии он стал у него секретарем, и время, проведенное им на этой должности, было, пожалуй, счастливейшим периодом его жизни. К этому старому рубака, с которым у него, конечно, не могло быть такой духовной близости, как с певцом весны Клейстом, Лессинг тоже сохранил на всю жизнь искреннее расположение.

На первый взгляд кажется странным, что передовой борец буржуазных классов вступил в столь близкие отношения с двумя помещиками из внутренней Померании и с фридриховскими офицерами. Говорить, что в данном случае дело шло о чисто личных отношениях, значило бы обходить это кажущееся противоречие, а не разрешать его. Известно, что Лессинг охотно вращался в солдатских кругах и в своих лучших драматических произведениях с особенной любовью обрисовывал солдатские типы: вспомним, не говоря уже о Филотасе, Тельгейме, Пауля Вернера, Юста в «Минне», Одоардо Галотти в «Эмилии», Саладина и тамплиера в «Натане». Чтобы правильно понять этот факт, следует обратить внимание на его социальную основу. В ту невероятную филистерскую эпоху солдатское сословие было единственным, в котором по крайней мере в военное время могли развернуться личная самостоятельность и личные способности. В песне рейтаров в «Валленштейне» Шиллера говорится:

В открытом поле ты можешь еще  
Свою проявить отвагу.  
Никто за тебя не вступится там,  
За себя отвечать ты должен сам.

А заключительные слова этой песни как будто вырываются из самой души Лессинга:

На карту жизнь поставить сумей!  
Не сумеешь,—так брось мечтать о ней.

в смысле усвоения прусского образа мыслей», что он «как истый пруссак или бранденбуржец гордо стал на их сторону», что он, «не жалуясь на личные несчастья, смотрел на эту войну, как на очищающую грозу», что «его прусские симпатии не ослабевали» и т. д. и т. д. Все это господин Эрих Шмидт просто-напросто высасывает из пальца. Эту фальсификацию истории мы не будем называть ее настоящим именем, а лишь ограничимся одной скромной просьбой. Перестаньте, пожалуйста, удивляться, что из аудиторий таких университетских преподавателей выходят византийски настроенные, бесхарактерные, тупоголовые люди.

Здесь чувствуется настроение, которое во время Семилетней войны можно было ощущать не среди буржуазных классов, а только в военном лагере. Кроме того, когда армии были частной собственностью государей, а войны—их частными предприятиями,—милитаризм еще не был явлением самодовлеющим и противоречащим буржуазной культуре. Поэтому Лессинг мог быть на короткой ноге и с фридриховским офицером, и с помещиком из Восточной Померании. Надо сказать, что дворянство Восточной Померании, в противоположность дворянству Передней Померании, не было наиболее плохой разновидностью человеческого рода,—оно жило бедно и скромно, больше походило на крестьян, чем на помещиков, более патриархально обращалось с крепостными и не так эксплуатировало их; оно обладало не столько пороками, сколько добродетелями господствующего класса; поэтому вполне понятно, что Лессинг, скучавший среди берлинских мещан и терзаемый лейпцигскими денежными мешками, находил большое удовольствие в обществе Клейста или Тауэнцина, из Кашубы, у которых не было ничего кроме чести, шпаги и жизни, которые ежедневно ставили на карту свою жизнь и скорее готовы были сломать шпагу, чем запятнать свою честь. Положение вещей в Германии было таково, что сильный, мужественный характер вроде Лессинга мог найти равных себе скорее среди господствующих классов, чем среди классов подчиненных. Было бы несправедливо забывать, что Семилетняя война была лучшей страницей в истории прусского юнкерства,—ведь около четырех тысяч прусских юнкеров погибло на поле брани. Конечно, они погибли в борьбе за свои классовые интересы, но германская буржуазия никогда не приносила столь тяжелых жертв ради своих классовых интересов. Благодаря жалкой испорченности германской буржуазии положение остается таким же и сейчас. Восточно-померанские юнкеры из «*Kreuz-Zeitung*» в смысле честного боевого мужества и рыцарского настроения стоят несравненно выше наемных капиталистических писак из «*Freisinnige Zeitung*» или «*Vossische Zeitung*»; всякий до некоторой степени знающий прусскую литературу знает также, что офицеры, причастные к ней,—по крайней мере наиболее одаренные из них,—пишут о фридриховском государстве гораздо честнее и свободнее, чем буржуазные литераторы типа господина Шмидта. Если мы вернемся всего только на год назад и вспомним о кризисе, создавшемся в связи с прусским законопроектом о народных школах, то мы сейчас же заметим, что юнкер Цедлиц вел себя при этом как настоящий мужчина, а буржуа Микель—как пожилая представительница

слабого пола. Плоский либерализм, не видящий ничего, кроме самых поверхностных лозунгов и играющий столь большую роль в германской прессе, не понимает этого явления; он даже и не должен его понимать, если не хочет прекратить свое жалкое существование. Этим инстинктом самосохранения до некоторой степени и объясняется почти непостижимое мастерство по части личной травли, лганья и клеветы на политических противников, которым отличается господин Евгений Рихтер и тому подобные светила и которое, в силу весьма веских причин, обычно сочетается с самой жалкой трусостью, когда дело идет о *классовой* борьбе. Лессинг всегда беспощадно боролся с этой отвратительной системой, которую он знал лишь на ее первой, сравнительно робкой стадии; в своей проповеди на два библейских текста, которая была написана позднее и от которой до нас дошел, к сожалению, только небольшой, но ценный отрывок, он проводит мысль, что можно решительно бороться с тем или иным классом и ненавидеть его, но в то же время, несмотря на это и даже именно потому, любить и ценить его отдельных достойных представителей так, как они того заслуживают. Он всегда действовал по этому принципу, который для каждого честного борца подразумевается сам собой, ибо входит в понятие честной борьбы. Поэтому Лессинг не обращал ни малейшего внимания на сплетни, которые исподтишка распространяли лейпцигские денежные мешки насчет его дружбы с прусским офицером Клейстом и впоследствии берлинские «просветители» — насчет его знакомства с обер-пастором Геце.

Его дружба с Клейстом станет нам еще понятнее, если мы прочтем переписку Клейста, из которой видно, что на поле сражения, где познакомился с Клейстом Лессинг, этот «поэт и солдат» становился совсем другим человеком. В своем потсдамском гарнизоне в мирное время он всегда казался каким-то странным чудачком: он «играл с девушками», дурачился и болтал со своим Глеймом, слагал посредственные стихи, терпеливо сносил насмешки товарищей, издевавшихся над его поэтическими склонностями, вздыхал, когда его постигала капризная немилость короля, и то впадал в «меланхолию», то мечтал о том, чтобы «покинуть эту страну, столь несчастную по сравнению с другими». Уже «одна только мысль» прожить в Потсдаме двадцать или тридцать лет кажется ему «адом; если даже меня за это время сделают генерал-фельдмаршалом, то все-таки да сохранит меня от этого небо». Под железной пятой Фридриха такое настроение было вполне понятно, но оно значительно улучшилось, когда Клейст получил роту и обрел в ней ценный ис-

точник дохода. В Цюрихе, «единственном в своем роде» городе, он занимался весьма выгодной вербовкой и так усиленно закупал людей, что ему пришлось бежать под покровом ночи и тумана от подстерегавших его властей. Впоследствии он отомстил Швейцарии и швейцарцам безвкусной и грубой эпиграммой, до странности противоречащей его игривым песенкам. Но во время войны дурные стороны его натуры отпадали. Ему опять пришлось пострадать от произвола Фридриха: из его старого, уважаемого всеми полка его переводят в саксонский пехотный полк, который был взят в плен под Пирной и принят на прусскую службу; наконец он приезжает в Лейпциг. Он занимал там пост начальника лазарета и, когда ему поручили собирать контрибуции в Саксонии, вел себя, как добрый и мягкий человек, презирающий всякое личное обогащение. В своей единственной военной песне, которая дышит более воинственным и более человеческим настроением, чем вся гренадерская поэзия Глейма, он обращается к прусской армии со следующими словами:

Щади, как и досель, служа стране булатом,  
Крестьянина: ведь он тебе не враг.  
Когда ты не в нужде, будь добр к нему и благ,  
А грабить предоставь лишь трусам и кроатам.

В этой песне он высказывает следующее пожелание:

Когда-нибудь и я—сподобь, о провиденье!—  
Отряд геройский поведу;  
Он в бегство обратит надменную орду,  
Я ж смертью доблестной паду в пылу сраженья.

Он погиб при Кунерсдорфе такой геройской смертью, что даже русские варвары похоронили его с воинскими почестями. Лессинг горько оплакивал его.

Дружба Лессинга с Глеймом носила совершенно иной характер, чем его дружба с Клейстом. Каждый нерв Лессинга, наверное, возмущался тем детским и слащавым тоном, в котором Глейм воспевал своих друзей—«возлюбленнейших ангелов», но ради Клейста он охотно мирился с этим добродушным человеком, несмотря на все его глупые чудачества, весело трунил над его многописанием и обходился с ним, как с большим ребенком. Лессинг то старается внушить побольше мужества этому слабому человеку: он убеждает его достойно вести себя по отношению к французам, занявшим Гальберштадт, умоляет его не опешлять своей скорби по поводу смерти Клейста жалкими виршами, то гладит его по шерстке, называет его Эсхилом и

говорит о его «великом короле». И все-таки, когда Лессинг осыпал гренадерские песни Глейма непонятными для нас похвалами и помог им появиться в свет,—это было далеко не иронией. Следует только правильно понять, какую цель преследовал Лессинг этими похвалами. Он отнюдь не желал прославлять «национальное дело Фридриха». Если бы король познакомился с гренадерскими песнями Глейма или считал, что они могут оказать какое-нибудь влияние на население, он, по всей вероятности, посадил бы поэта в крепость. То, что Фридрих мог еще до некоторой степени в них понять и оценить,—именно, яростная брань по адресу врагов,—ведь Фридрих, например, по верноподданческой просьбе Ланге приказал пропустить бешеное стихотворение лаублингенского пастора, запрещенное цензурой,—для Лессинга было чудовищно; а тот более твердый, мужественный и самоуверенный тон, которым говорил Глейм в своих гренадерских песнях и который нравился Лессингу, показался бы чудовищным королю, ибо Фридрих по причинам, уже упомянутым нами, желал сохранить за войной характер войны кабинетов, войны наемников. Такая путаная голова, как Глейм, вчера подражавший Анакреону, а сегодня—Тиртею, может быть, и не понимала этого, но Лессинг, конечно, не мог допустить подобной глупости и считал совершенно невозможным, чтобы король заинтересовался гренадерскими песнями. В предисловии, которое он написал к ним, он говорит, что тот, кто знает драгоценные отрывки старых северных героических песен, кто считает достойным внимания творчество более позднего поколения—бардов швабской эпохи, кто изучал их «исконно германское мышление», тот сумеет оценить и новых прусских бардов. Непосредственно вслед за этим буквально говорится: «Что касается других ценителей, особенно если они принадлежат к тому классу, для которого французская поэзия—все, то я очень бы хотел, чтобы они оставили (Глейма) в покое». При фридриховской цензуре нельзя было яснее выразиться, но наши буржуазные историки литературы упорно не замечают этой превосходной насмешки, и Лессингу до сих пор приходится расплачиваться за то, что считают прусским шовинизмом, между тем как на самом деле это было лишь проявлением несколько чрезмерной, но вполне понятной радости, которую испытывал Лессинг, видя, что немецкая литература начинает наконец говорить более достойным, сильным и мужественным тоном.

В этот лейпцигский период своей жизни Лессинг начал много литературных произведений, особенно в драматической области,

но ничего не закончил. Два «наброска од», обращенных к Клейсту и Глейму, принадлежат к числу тех малозначащих стилистических упражнений, какие часто пишутся при поэтических состязаниях друзей. Лессинг был совершенно прав, что не пошел дальше прозаических набросков к ним. Можно порадоваться,—но уже по совершенно другой причине,—что эта же форма соблюдена и в оде «Меценату», сочная проза которой только проиграла бы, если бы Лессинг превратил ее в рифмованные стихи, ибо по этой части Лессинг всегда хромал. Вот наиболее выразительные ее места:

«Кто в наши железные дни, в этой стране, жители которой до сих пор остались в душе древними варварами, кто хранит в себе искру твоей любви к людям и твоего добродетельного честолюбия оберегать любимцев муз?

«Как хотел бы я найти хотя слабое твое подобие! Какими жадными глазами смотрел я вокруг! А как пронизательны эти глаза!

«Наконец я устал от своих поисков, и мне хочется горько рассмеяться над жалкими копиями.

«Вот там правитель кормит целую толпу изящных умников, а по вечерам, когда ему хочется развлечься шуткой и отдохнуть от государственных забот, он пользуется ими как веселыми собеседниками. Как много нехватает ему, чтобы быть меценатом!

«Никогда я не буду способен играть столь низкую роль, хотя бы мне дали за это орденскую ленту.

«Пусть король властвует надо мною; он сильнее меня, но пусть он не считает себя лучше меня. У него не найдется для меня таких милостей, ради которых я согласился бы совершать низости».

Вряд ли можно было более сильными и правдивыми словами обрисовать отрицательное отношение Лессинга к круглому столу в Сансуси. А еще говорят, что он бегал за Фридрихом и Вольтером!\*

\* По форме и содержанию «Ода меценату» относится к более зрелому периоду лессинговского творчества; мы соединяем ее с прозаическими одами к Клейсту и Глейму потому, что Лессинг вряд ли избрал бы в два различные периода жизни столь свободную и в общем несвойственную ему форму. Общение с Клейстом, относившимся к хозяйничанию французских литераторов в Сансуси так же, как Лессинг, и знакомым с этой обстановкой еще ближе благодаря своей жизни в потсдамском гарнизоне, объясняет то интересное обстоятельство, что Лессинг именно в Лейпциге так резко отзывался о Фридрихе и его французских придворных шутах. Но все же вопрос этот представляется спорным, и мы ни одним словом не возражали бы против того, что господин Эрих Шмидт относит оду «Меценату» к 1751 г., если бы благодаря этому Лессинг не оказывался в роли трижды «лукавого человека», который публично питал «смелые надежды» на Фридриха и Вольтера, а исподтишка горько издевался над ними, как это он, например, сделал в оде «Меценату». Конечно, у господина Эриха Шмидта имеется своя собственная гипотеза насчет происхождения этой оды. Дело в том, что в 1751 г. Клопшток посвятил своего «Мессию» датскому королю, причем



Дружба с Клейстом была главной причиной, благодаря которой Лессинг более продолжительное время задержался в разоренном Лейпциге, где он не мог мечтать ни о каком заработке. Когда Клейсту пришлось отправиться на театр военных действий, Лессинг «поехал не в Берлин, а к своим добрым друзьям, живущим в Берлине». Ему не оставалось ничего иного, и он волей-неволей попытался опять жить в обществе Рамлера, Мозеса и Николаи. Эта попытка длилась три с половиной года — от мая 1758 г. до конца 1760 г. — и в конце концов кончилась неудачей. Это — период его «Басен», «Филотаса», «Литературных писем», период некоторой передышки после огромного успеха «Мисс Сары Семпсон». Мы не хотим этим сказать, что рассуждения Лессинга о баснях, исправленные и дополненные еще Гердером, а впоследствии еще строже раскритикованные Яковом Гриммом, неправильно или недостаточно выясняют сущность этого рода поэзии. Эстетика Лессинга, подобно его драмам, его философии и его теологии, целиком определяется социально-политическим моментом его жизненной борьбы; у Эзопа и Федра он подглядел только то, что можно было превратить в острое оружие против пороков и глупостей его эпохи. Если его басням нехватает наивности старых басен о зверях, то зато наиболее ценные их стороны, как заметил уже Гердер, заключаются в «изящных замечаниях, милой игре мысли, новых и прекрасных оборотах речи, неожиданных скачках, занимательном диалоге». Эти басни — перестрелка беглым ружейным огнем, направленная между прочим и против фридриховского деспотизма. Как забавно высмеивается фридриховская страсть к опеке над подданными в «Подарке фей», где одна фея дарит «молодому принцу, ставшему впоследствии величайшим правителем своей страны», острое зрение орла, от которого не укрываются в его обширном царстве даже самые мелкие комары, а другая прибавляет к этому дару «мудрое ограничение», — «благородное презрение, мешающее гнаться за ними». Мораль поэта такова: «Многие были бы гораздо более великими королями, если бы

написал оду и следующее предисловие: «Датский король обеспечил немцу, автору «Мессии», тот досуг, который был ему необходим для окончания этого стихотворного произведения». По мнению господина Эриха Шмидта, Лессинг дал в оде «Меценату» «одно из прекраснейших отражений своей собственной личности под влиянием лаконической прозы и скромных и в то же время гордых строф Клопштока». Да неужели? В таком случае «правителем» оказывается король Дании, а «веселым собеседником», развлекающим короля «шутками», сам Клопшток? Поистине, трудолюбивый разум верноподданного может открыть с помощью знаменитого «генетического метода» решительно все!

они не слишком унижали свой проницательный разум и не вмешивались в самые мелкие житейские дела». В другом месте Лессинг смело раскрывает истину, до сих пор недоступную современному филистеру; в старой басне о лягушках, пожелавших получить себе царя, он открывает неизвестные другим писателям «две гораздо более значительные и смелые истины, — во-первых, что вообще глупо иметь короля, а во-вторых, что глупо, не довольствуясь сонным и бездейственным королем, сажать на трон хорошую и умную голову».

Лессинг достаточно велик и в этом мелком жанре, но он был слишком велик для этого жанра, и относительно него как баснописца можно до некоторой степени сказать то же самое, что он сказал впоследствии относительно одной актрисы: «Я не хотел бы делать все то, что я могу сделать превосходно». Поэтому и трагедия «Филотас» является лишь мелким произведением, написанным между прочим; она предназначалась для Клейста в качестве дружеского подарка. Подобно тому, как, по мнению Лессинга, Клейст искал смерти из чувства преувеличенного героизма, точно так же и взятый в плен королевский сын Филотас, которого хотели обменять на пленного сына враждебного короля Аридея, убивает себя, чтобы склонить уравновешенные весы судьбы в пользу своего отца. Господин Эрих Шмидт уверяет, что это произведение дышит «жертвенным духом той эпохи, которая была охвачена воинственным пылом». Послушаем же, как в действительности дышит этот дух! Седьмое явление: король Аридей, настолько же добродушный и мягкий мужчина, насколько Мария-Терезия была добродушной и кроткой женщиной, сообщает пленному Филотасу, что к его отцу отправлены посланцы на самых быстрых лошадях; через несколько часов может состояться обмен пленными королевскими сыновей. Добрый Аридей высказывает надежду, что из этого произтекут и «другие счастливые последствия»; ведь добрые дети часто бывают посредниками между поссорившимися отцами. «Злосчастная война!» — вздыхает он. После этого диалог продолжается в следующей форме:

*Филотас.* Вот именно, злосчастная война! — И горе ее виновнику!

*Аридей.* Принц! Принц! Вспомни, что твой отец первым обнажил меч. Я не могу присоединиться к твоему проклятию. Он действовал слишком поспешно, он был слишком злобен...

*Филотас.* Верно, мой отец первым обнажил меч. Но разве пожар начинается только тогда, когда яркое пламя пробивается через крышу?.. Вспомни, какой гордый и презрительный ответ ты ему дал, когда он... Впрочем, ты не вынудишь меня на разговор, я не буду об этом говорить!.. Только безошибочному взору богов кажемся мы такими, какие мы есть, и

только он может судить нас. А боги произносят суд мечом наиболее храброго. Выслушаем же этот кровавый приговор!

*Аридей.* Принц, я слушаю тебя с изумлением—с изумлением, принц, и даже с некоторой болью! Судьба предназначила тебе корону. Это тебе-то! Она поручит тебе благополучие целого могущественного и благородного народа,—тебе! Какое страшное будущее раскрывается передо мной! Ты подаришь своему народу лавры и нищету. У тебя будет больше побед, чем счастливых подданных... Хорошо, что я не доживу до этого времени, но горе моему сыну, моему честному сыну! Ты вряд ли дашь ему возможность снять с себя панцырь...

*Филотас.* Успокой его отца. Короли! Твоему сыну я предоставлю гораздо большую возможность, гораздо большую!

*Аридей.* Гораздо большую? Объяснись.

*Филотас.* Разве я говорю загадками? Я хотел только сказать, что плод часто бывает совсем иной, чем какой обещал цветок. Я знаю из истории, что женственный принц часто становился воинственным королем. Разве со мной не могло бы произойти обратного? Но, может быть, смысл моих слов сводился и к тому, что я пойду к трону еще и другим, широким и опасным путем. Кто знает, позволят ли мне боги завершить его? Но не дай мне его завершить, отец богов и людей, если ты видишь, что в будущем я стану расточителем наиболее драгоценного из того, что ты мне доверил,—крови моих подданных!

Можно ли говорить яснее и прямее, чем говорит здесь Лессинг? Что может быть яснее, чем намек на «женственного принца», который стал «воинственным королем»? Можно ли прямее высказаться о происхождении Семилетней войны и о вреде для народов воинственных королей-завоевателей? Но господину Эриху Шмидту лучше известно, в чем тут дело. По его мнению, король Фридрих—это Аридей, а протест против «лавров и нищеты» деспотизма, насчитывающего «больше побед, чем счастливых подданных», напоминает ему лишь о том, что «Фридрих II не мог восхищаться каким-нибудь Карлом XII». Вот и толкуй с такими византийцами!

За промежуток времени от 1758 до 1760 г. Лессинг работал не только над баснями и «Филотасом», но и над критико-литературным повременным изданием—«Письмами о новейшей литературе». Этот журнал выходил в издательстве Николаи, и впоследствии этот ловкий человек нахально пытался присвоить себе роль его инициатора. Не подлежит, однако, ни малейшему сомнению, что мысль об издании журнала впервые зародилась у Лессинга и что Лессинг был его душой, пока журнал оставался верен своему назначению и был честным критическим органом, совершенно непохожим на поверхностные журналы того времени, где нельзя было найти ничего кроме взаимных комплиментов, вроде, например, «Библиотеки изящных наук», издававшейся до тех пор в Лейпциге Мозесом и Николаи. Оба они тоже писали литературные письма, — Мозес занимался критикой

философских сочинений, а Николаи писал на случайные темы для заполнения места. Но Лессинг сейчас же снял руку с этого литературного плуга, как только заметил, что Николаи намеревался распахать ниву берлинской литературной клики. Это открытие он сделал очень рано. Только в первых двух томах сотрудничество распределялось так, как оно было намечено в начале: 44 письма было написано Лессингом, 15 — Мозесом, и 1 — Николаи. После этого доля Лессинга быстро сокращается, и в седьмом томе он уже совсем не участвует. Только в 1765 г. он написал одно письмо в двадцать третьем и последнем томе.

Молодому Гердеру, жившему в лифляндском захолустьи, «Литературные письма» открыли новый мир, но Гете и Фихте относились к ним весьма отрицательно, да и вообще какое бы то ни было литературно-историческое значение можно придавать только первым томам. Даже лессинговские статьи в этом журнале не стоят на высоте его «Писем» 1752 г. Они основательно расправляются с дурными виршеплетами и переводчиками, но при критическом разборе тогдашних литературных величин Лессинг только перепевает старые песни и притом не всегда удачно. Готтшед подвергается еще более ожесточенным, но не более справедливым нападкам, чем до тех пор; клопштоковские оды встречают слишком суровую оценку по сравнению с военной поэзией Глейма или анакреонтическим баловством Герстенберга, и даже по отношению к Виланду допускается личный выпад, вроде того, который Лессинг впоследствии так резко порицал во время инцидента с Клотцем. Жизнь среди берлинских филистеров не могла пройти даром даже для Лессинга. Но его жизненная борьба отражается до некоторой степени даже в этих статьях, — только не следует искать этих отражений посредством эстетических очков.

Как много нареканий вызывало, например, положение Лессинга, что настоящим историком можно назвать только того, кто описывает историю своей эпохи и своей страны! Но в данном случае Лессинг отнюдь не выставляет какой-либо общей теории, — он говорит только как проникательный представитель немецкой буржуазии, имевший перед глазами, с одной стороны, исторические работы Вольтера и их огромное влияние, а с другой — наиболее знаменитых немецких историков того времени, из которых Бюнау довел свою «Историю императоров и империи» до 918 г., а Масков свою «Историю немцев до начала франкской монархии» счастливо дотащил до конца меровингской династии. Винкельман, одно время помогавший Бюнау в его

работе, впоследствии, уже будучи в Риме, оправдывал свое незнакомство с первыми сочинениями Лессинга следующими словами: «Мой мозг был полон старыми франкскими хрониками и житиями святых». Против этого-то отдаления от гражданских интересов современности Лессинг и выступает в вышеприведенном парадоксальном положении, и эта же точка зрения проводится и в наиболее значительной по объему и наиболее важной по содержанию части его литературных писем, — в полемике против Клопштока и Виланда. Клопшток вместе с Крамером издавал в Копенгагене «Северный наблюдатель» — морализирующий еженедельный журнал в английском духе, учивший между прочим, что без религии не может быть порядочного человека, а Виланд, попавший в Цюрих под крылышко к Бодмеру и проникшийся благочестием, дарил миру «Чувства христианина», проникнутые ангельским и небесным настроением и изобиловавшие детски беспомощной бранью по адресу светской поэзии. И то, и другое казалось Лессингу одинаково чудовищным. На ортодоксию никто не нападал так резко, как он, но с ортодоксией он боролся не как с определенным религиозным направлением, а как с орудием социального угнетения; он даже принимал сторону ортодоксии в ее чисто религиозном значении, когда ленивое и трусливое «просвещение» заявляло о своем превосходстве над нею, в то же время нисколько не отказываясь от социального угнетения. В «Чувствах христианина» Виланд нападал на Уца «с такой благочестивой желчью, проявлял такую истинно пиявистскую гордость своей высокой нравственностью, допускал такие коварные приемы, кипел такой ненавистью, таким отвратительным духом преследования, что на честного человека нападал страх и ужас». О «Северном наблюдателе» Лессинг говорит следующее: «Ортодоксия стала посмешищем; восторженно болтать о религии — это значит довольствоваться сладенькой квинтэссенцией христианства и застраховывать себя от всякого подозрения в свободомыслии». А в целом ряде писем он изобличает половинчатость и двусмысленность этого «слащавого христианства» по сравнению с ортодоксией, равно как и бессмысленность категорического утверждения, что без религии не может быть честного человека.

Клопшток и Виланд были по натуре своей слишком честные люди, чтобы не оценить по достоинству лессинговской критики, несмотря на досаду, которую она у них некоторое время вызывала. О Виланде можно даже сказать, что она направила его на верный путь. Но подобно тому, как в наше время рабочий класс обвиняли в кокетничаньи с ортодоксией на том основании,

что он находил отвратительной «слащавую квинтэссенцию христианства», с помощью которой свободомыслящие николаиты боролись против прусского школьного закона,—точно так же Николай гневался на Лессинга за мнимую защиту им ортодоксии. Повидимому, он дошел даже до такой наглости, что по праву издателя вычеркивал отдельные места из «Литературных писем» Лессинга,—по крайней мере, после смерти Лессинга он опубликовал их в совершенно искаженном издании. Но Лессингу совсем не улыбалось писать под контролем недалекого издателя, а подчиняться все более и более бесцеремонным требованиям берлинской клики он тоже не мог. В своем сочинении о баснях он критиковал басни Лафонтена и теорию басен Батте; после этого благородный Рамлер сейчас же стал кричать о том, что Лессинг, «оттесняя других, хочет сам выступить на первый план», ибо Рамлер перевел Батте, а Глейм писал басни по образцу Лафонтена. Глейм кроме того совершил величайшую глупость,—он переложил «Филотаса» на стихотворный размер прусских гренадерских песен. В связи с этим «истому саксонцу каждый день приходилось выслушивать тысячи неслучайностей». Когда Лессинг, следивший за изданием в Берлине глеймовских «Гренадерских песен», вычеркнул, по соображениям литературного вкуса наиболее грубые непристойности, Рамлер писал Глейму, что «наш саксонский друг предпочитал бы, чтобы проклятия сыпались на турок и персов, а не на его государя и союзную с его государем императрицу».

Зульцер снова доказал свое расположение к Лессингу на иной манер. Правда, эта история не была непосредственной причиной отъезда Лессинга из Берлина, но она чрезвычайно характерна для той кружковщины, которая прогнала его оттуда. Пробст Зюссмильх, литературный вкус которого был достаточен для того, чтобы чужать значение Лессинга, числился членом Академии и предложил избрать его иностранным членом этой организации. Зульцер заявил протест, ибо, по его мнению, это была слишком высокая честь для Лессинга. Даже Рамлер в письме к своему Глейму называл это сомнительною честью»; она была оказана одновременно трем итальянцам, одному голландцу, одному французу, одному швейцарцу и одному немцу—некоему советнику Губеру в Касселе, имя которого стояло на первом месте списка. Лессинг, стоявший на последнем месте, все-таки прошел в Академию. Это тем неприятнее подействовало на Лессинга, что Академия с поистине феноменальным бесстыдством, которое порицал даже Николай, к опубликованному ею списку избранных

присовокупила заявление, что избрание последовало по «неоднократным просьбам заинтересованных лиц», ходатайствовавших об этом «уже давно». С добрым Мозесом Лессинг кое-как уживался, но и тот мучил его самодовольными школьническими нотациями насчет вещей, которые для Лессинга давно потеряли значение, хотя для Мозеса они, может быть, и были большим достижением. Мозес гордился тем, что он поднялся с самого дна мелкого торгового еврейства и доработался до почетного звания немецкого филистера, между тем как Лессинг от этого немецкого филистерства совершенно освободился. Но, сбросив с себя его огромные недостатки, он лишился и его мелких добродетелей. Любовью к порядку и пунктуальностью Лессинг никогда не отличался, и его чрезвычайно раздражало то, что ему приходилось по этому поводу выслушивать поучения Мозеса, совершенно не понимавшего великой борьбы его жизни.

Вполне понятно поэтому, что Лессинг, устав от этой мелочной и неприятной обстановки, в ноябре 1760 г. принял смелое решение—отправиться в Бреславльский военный лагерь к своему «старому, честному Тауэнцину».

## VII

### Бреславльские шедевры

В Бреславле Лессинг прожил до конца Семилетней войны и после ее окончания остался там еще на два года. Об этом периоде его жизни мы осведомлены менее всего,—до нас дошло только несколько писем к нему и от него, да еще краткие сообщения одного-двух бреславльских друзей. В течение пяти лет он не выпускал в свет никаких работ; он хотел на «несколько времени окутать себя паутиной, подобно гадкой гусенице, чтобы потом вылететь на свет блестящей птицей»\*. Кажется очень странным, что этот человек, настроенный совершенно не по-военному, ринулся во фридриховское войско, но нелепая обстановка тогдашней Германии вполне это объясняет. Самсону некуда было больше бежать от филистимлян. В первом письме, которое Лессинг послал из Бреславля Рамлеру, он оправдывается, что уехал, ни с кем не попрощавшись,—он не известил даже хозяйку и не сказал никому ни единого слова насчет своего отъез-

\* Обмолвка автора. Очевидно, вместо «птицей» должно стоять «бабочкой».—Прим. пер.

да,—и облакает это оправдание в форму следующего монолога: «Конечно, тебя ничто не гнало из Берлина, и здесь ты не найдешь друзей, которых оставил там; для изучения наук у тебя будет там мало времени. Но разве ты не ролен был все это сделать? Разве ты не пресытился Берлином? Разве ты не думал, что и своим друзьям ты надоел? Разве ты не думал, что для тебя опять настала пора пожить с людьми, а не с книгами? Что после тридцати лет человеку надо подумать не только о наполнении головы, но и о наполнении кошелька?» Дело, конечно, было совсем не в этих экономических соображениях. Лессинг никогда не был скопидомом, хотя почтительная любовь к родителям, считавшим, что жизненное призвание их старшего сына—воспитать на свой счет всех младших сыновей каменецкого пастора и делать их почтенными пасторами и ректорами, побуждала его уделять некоторое внимание и жалким вопросам заработка. «Я плохой хозяин. Говоря по правде, я совсем не хозяин»,—пишет он вскоре после этого Рамлеру. Суть в том, что ему прискучил Берлин, и если он говорит из вежливости, что и своим тамошним друзьям он тоже надоел, то они ему надоели еще больше. Вozиться вместе с ними над книгами и хлестать эти книги критическими бичами какого-нибудь Николаи было, по жесткому, но справедливому выражению Фихте, скверное дело и притом дело, которое велось не в очень-то хорошей компании. Именно поэтому Лессинг и устранился от него.

Но чем меньше достоверных сведений имелось о бреславльской жизни Лессинга, тем больше сплетен слагалось вокруг нее,—сплетен, которые нашли некоторый отзвук даже в намеке Гете на «рассеянную светскую и трактирную жизнь» Лессинга. Вполне вероятно, что когда Лессингу посчастливилось вырваться из удушающей атмосферы филистерства, он смело стал наслаждаться жизнью. Даже его пристрастие к картежной игре, за которое ему больше всего доставалось от Моисея и сотоварищей, объясняется этой бьющей через край любовью к жизни. «Если бы я играл хладнокровно, я вообще не стал бы играть»,—говорил он в бреславльский период, по словам его брата-биографа,—«потому-то я так страстно и играю. Острое волнение вызывает к деятельности мою застоявшуюся машину и заставляет быстро обращаться мои соки; оно избавляет меня от физической тоски, которой я иногда страдаю». Слова Лессинга, сказанные им позднее, несколько не противоречат этой фразе, а, наоборот, находятся в полном согласии с нею: «Я играю только тогда, когда я не могу найти человека, который бы согласился задаром составить мне компанию. Игра



должна возмещать отсутствие собеседников. Поэтому постоянно возиться с картами извинительно только тем, кому не о чем говорить, кроме погоды». Лессинг играл не ради выигрыша: к игорному столу его гнало только гнетущее чувство духовного одиночества, потребность в духовном возбуждении и напряжении. Тем не менее бреславльский период жизни Лессинга был, по выражению Фихте, «подлинной эпохой определения и укрепления его духа», а по его собственному выражению, началом «серьезной эпохи его жизни». «Разнообразные служебные обязанности скользили лишь по поверхности его души». Об этих обязанностях мы знаем тоже мало; несколько сохранившихся писем, написанных Лессингом, когда он занимал должность губернского секретаря, касаются таких вопросов, как столовые деньги Тауэнцина, обмен военнопленными и т. д. Утверждение Николаи, что Лессингу было поручено окончательное оформление договоров о чеканке монет с ростовщиком Эфраимом, имело целью выставить Фридриха в хорошем свете и не заслуживает никакого доверия\*. Правда, с 1760 г. всеми делами по чеканке монет заведывал Тауэнцин, но ухудшение качества монет было главным подсобным источником королевских доходов, и потому все распоряжения по этой части наверное исходили непосредственно от короля. Но если даже Тауэнцин и мог подавать по этому поводу какие-либо советы, то чиновник, занимавший должность губернского секретаря, конечно, не мог иметь подобных полномочий, не говоря уже о том, что Лессинга, при его детской беспомощности во всех капиталистических делах, прожженный еврей-монетчик надул бы по всем правилам искусства. Как бы то ни было, бесспорно одно, — что во всех этих сомнительных делах он в худшем случае мог оказывать только внешнее содействие и сам не искал и не получал от этого никаких грязных барышей.

Вначале Лессинг жаловался, что «незначительные занятия утомляют больше, чем самое напряженное изучение», но тем не менее он писал из Бреславля очень веселые письма и сам говорил, что работал там с таким увлечением, какое редко на него находило. Случайные проявления недовольства убедительнее всего опровергаются большими работами его бреславльского периода: Лессинг «Лаокоона» и «Минны» — совсем другой человек, чем Лессинг «Басен» и «Литературных писем». Правда,

\* «Откровенные замечания», («Freimüthige Anmerkungen»), 2, 134. Ср. также примечание Николаи к письму Лессинга к Моисею от 15 августа 1765 г. *Лессинг*, Сочинения, 20, 1, 197.

«Лаокоон» появился в печати только в 1766 г., а «Минна фон Барнгельм» даже в 1777 г., но обе эти работы были начаты в Бреславле. В них обеих царит солнечное настроение, которое в такой сильной степени не проявлялось у Лессинга ни раньше, ни позже. В обеих проявляются такая ясность и сила мысли и такое мастерство диалога, которые до тех пор были совершенно неведомы Германии и которых впоследствии сам Лессинг, конечно, достигал, но никогда не превосходил.

Комедия целиком взята из бреславльского быта, каким его знал Лессинг. Только этот быт и дает возможность правильно понять ее. Мы предоставим филологическим кропателям буржуазной истории литературы доискиваться в каждом отдельном случае, где именно Лессинг, выражаясь его собственным образным сравнением, гасил известь и ломал камень для этого драматического сооружения; он совсем не был типом творческого поэта, и если кто-нибудь пожелает выискивать у него «плагиаты» на том основании, что меч, которым он бился, выкован из разнообразных металлов, то мы не будем мешать этому невинному удовольствию. Гораздо целесообразнее постараться выяснить, в каком смысле «Минна» является шагом вперед по сравнению с «Сарой». Лессинг открыл мещанскую трагедию англичан раньше французов, но он некоторое время оставался как бы скованным ее шаблоном и ограничивался подражанием ей. Тем временем Дидро не только ввел это драматическое направление в национальный обиход, но и усовершенствовал его; он впервые указал, что в обстановке мещанской жизни можно натолкнуться на серьезные конфликты порядочных людей и что эти конфликты являются новым и богатым рудником для драматических сюжетов. Практические попытки и теория Дидро задели Лессинга за живое, и уже в 1760 г. он перевел и издал в двух томах «Театр господина Дидро», куда были включены «Незаконный сын», «Отец семейства» и трактат о драматической поэзии. Таким образом, «Минна» в эстетическом отношении приближается к французскому образцу, между тем как критики, обличающие Лессинга в «плагиатах», уверяют, что многие ее места заимствованы из английских комедий. И все-таки «Минна» — целиком немецкое произведение. Ибо что может быть более типично для немца, как не то обстоятельство, что классическая комедия нашего буржуазного быта является солдатской пьесой?

Такой подход к теме, судя по словам самого Лессинга, есть не что иное, как сатира, и он правилен по существу. Он уясняет глубочайшую сущность «Минны». Не нужно только

по примеру буржуазных историков литературы опоплять эту точку зрения и говорить, что «Минна» есть прославление короля Фридриха и Семилетней войны. Мы видели, что даже Гете в минуту слабости поддался этой странной мысли, но тот же Гете, говоря о Лессинге, выражал сожаление, «что этот исключительный человек жил в эпоху, не дававшую ему лучшего материала, чем тот, который обработан в его пьесах, и что в своей «Минне фон Барнгельм» он должен был ввязаться в ссору саксонцев и пруссаков, ибо не мог найти ничего лучшего»\*. Но такой приговор слишком суров по отношению к Лессингу; в свою «Минну» он вложил несравненно более ценное содержание, чем ссоры саксонцев и пруссаков и прославление Фридриха. Если жалкая обстановка тогдашней Германии вынуждала его заимствовать сюжет из солдатской жизни, чтобы изобразить серьезный конфликт порядочных людей, то все-таки и в этой жизни он сумел усмотреть социальную сторону и начать борьбу против социального угнетения. Комедия Лессинга вовсе не есть прославление Фридриха,—наоборот, она бичует фридриховский абсолютизм в самых уязвимых его местах.

Если деспотическому произволу оказывают неодолимое сопротивление, то деспотизм в силу самой своей сущности должен вымещать свою злобу на отдельных выразителях этого сопротивления. Применительно к фридриховской эпохе это значит: чем бессильнее оказывался король распатать экономические основы прусской армии, чем более высокие посты он давал дворянской офицерской касте и чем бережнее он должен был к ней относиться, тем больше он мучил и изводил отдельных офицеров. Когда просматриваешь его военные кабинетские приказы, его изобретательность в этом отношении кажется почти невероятной; приведем один лишь пример: если ему приходилось предоставить офицеру отпуск в случае серьезной болезни, в котором он в большинстве случаев отказывал, то свой деспотический каприз он удовлетворял тем, что предписывал этому офицеру другой способ лечения или назначал другой курорт, чем курорт, указанный врачом\*\*. Иногда он просто прогонял

\* Эккерман, Разговоры с Гете, 1,340.

\*\* Так, например, полковник фон Гартропп, которому были предписаны аахенские воды, был послан в Теплиц, а майор фон Кноблаух, которому был предписан Теплиц, должен был отправиться в Аахен. Текст соответствующего кабинетского приказа, взятый из архивов, приведен у Штадельмана, Из эпохи царствования Фридриха Великого (*Stadelmann, Aus der Regierungszeit Friedrichs des Grossen*), 155.

офицера со службы; в случае малейшего проступка, плохого настроения короля и особенно на смотрах ни один офицер не был гарантирован от немедленного увольнения. А уволенный уже никогда не мог вернуться в армию; положение, что король не может ошибаться, было одним из самых неукоснительных принципов фридриховского деспотизма, и при проведении этого принципа в жизнь Фридрих придерживался его даже в тех весьма нередких случаях, когда он впоследствии сам признавал свою неправоту. «Моя армия—не публичный дом»,—таков был его неизменный ответ на просьбы уволенных офицеров о возвращении в армию; его отказы носили еще более издевательский характер, когда офицеры, как это, например, было при отставке Блюхера и Йорка, были уволены за проявление чувства чести и справедливости.

Но король никогда не подвергал прусских офицеров более изысканным пыткам, чем в период до и после Губертсбургского мира, то-есть как раз в то время, когда Лессинг находился при армии. Зимой 1761 и 1762 г. король проводил на своей бреславльской зимней квартире; он жил в монастырском уединении и был погружен в мрачное отчаяние, ибо последняя искра надежды, казалось, погасла. Смерть царицы Елизаветы в январе 1762 г. спасла его. Но чувство облегчения сочеталось у короля с чувством стыда, ибо он понимал, что спасла его не собственная сила, а случай, посадивший на русский престол дурака. В силу вполне понятной психологической реакции свою натуру деспота и завоевателя он стал проявлять еще грубее, поскольку это было в его силах. Смертельно усталые войска он изводил совершенно ненужными парадами и не дал им возможности отдохнуть на зимних квартирах; он лишил офицеров так называемых наградных, которые фактически были не подарком, а необходимым в большинстве случаев пособием для экипировки к новому походу; он наложил на город Лейпциг, из которого был выкачан последний грош, настолько чудовищную контрибуцию, что майор и флигель-адъютант фон Дигеррн, взыскивавший ее, был вынужден сделать серьезные представления, а когда они не помогли, дожидаясь только заключения мира, чтобы швырнуть свою шпагу к ногам короля. Но когда в 1763 г. был заключен мир, король подверг армию новой пытке. Он разогнал все войсковые части, которые были ему ненужны в мирное время, и безжалостно выбросил на мостовую всех офицеров буржуазного происхождения, хотя сохранением своей короны он был обязан их мужеству и верности; на их места он назначал иностранных дворян-авантюристов, несмотря на то, что их дворянство было

частенько столь же сомнительно, как дворянство какого-нибудь Рико де ла Марлиньер\*.

В такой обстановке жил Лессинг. Она и послужила ему сюжетом для «Минны фон Барнгельм». Согласно обычаю буржуазных историков литературы, любящих копаться в мелочах, господин Эрих Шмидт без всяких на то оснований утверждает, что Лессинг списал Тельгейма с майора Маршалла фон Биберштейна, который за меткую стрельбу из пистолета получил от своих товарищей прозвище «Телль» и из своего собственного кармана уплатил контрибуцию, наложенную на сословия Нижнего Лаузица. Но надо сказать, что контрибуции Фридриха бывали иногда настолько скромны, что любому бедняку-майору стоило пошарить в кармане, чтобы выложить всю сумму на стол наличными. Скорее можно было бы допустить, что на Тельгейма перенесены многие черты Клейста. Но если мы прочтем три дюжины кабинетских приказов Фридриха Дигеррну по поводу лейпцигской контрибуции, у нас сейчас же возникнет перед глазами образ Тельгейма. Говоря так, мы отнюдь не собираемся впадать в ту же ошибку, что и буржуазные историки, и утверждать, что именно этот случай и вызвал в Лессинге драматический порыв. Дигеррн и Клейст вовсе не были белыми воронами среди прусских офицеров Семилетней войны; многие из них, — люди вроде Марвица или Зальдерна, — предпочли бы быть уволенными, чем выполнить королевский приказ, порочащий их честь и репутацию. Если жалкая обстановка немецкой жизни вынудила Лессинга сделать из мещанской комедии солдатскую пьесу, то все же он прославлял в ней не какого-то сказочного «Телля», а весьма буржуазный и совсем не военный дух, который, вопреки княжескому деспотизму, упрямо отстаивает свою правду.

В этом духе мыслит и действует Тельгейм. По его мнению, «без великих мира сего вполне можно было бы обойтись»; «служба у великих мира сего опасна и совсем не стоит того труда, принуждения и унижения, с которыми она связана»; «для великих мира сего он мало делает из природной к этому склонности, из чувства долга тоже не очень много, но ради собственной чести делает все». Он в лучшем случае только «не рассказывает, что

\* О мучениях, которые испытывали войска на зимних квартирах в 1761 и 1762 гг., сообщает непосредственный очевидец — Архенгольц в своей «Истории Семилетней войны» (*Archenholtz, Geschichte des Siebenjährigen Krieges*), 177 и сл. Кабинетские приказы короля Дигеррну по поводу саксонской контрибуции приведены у *Прейса*, Собрание документов, 2, 117 и сл. Ср. также *Эберти*, История прусского государства, (*Eberthy, Geschichte des preussischen Staats*) 4, 322 и сл.

стал солдатом); «я стал солдатом из приверженности к какому-то принципам,—каким, я и сам не знаю,—а также под влиянием той вздорной мысли, что каждому порядочному человеку необходимо пробывать некоторое время в этом сословии, чтобы познакомиться со всем, что называют опасностью, и научиться хладнокровию и решительности». «Только крайняя нужда могла бы заставить меня сделать из этого пробного опыта призвание, из этого случайного занятия—ремесло». Конечно, в образе Тельгейма тип фридриховского офицера, даже тип Клейста, весьма идеализирован, и Лессинг вложил в него немало собственных черт. Но это доделанный и законченный образ, каких до Лессинга никакой немец не сумел вывести на сцене, и нет ничего особенно плохого в том, что в фабуле своей комедии Лессинг, может быть, и заимствовал ту или иную мелкую черту из иностранных образцов.

Но поняли ли вообще буржуазные историки литературы фабулу «Минны»? Руководясь призрачными аналогиями, они ищут ее прообраз у Шекспира, в испанских, «комедиях плаща и шпаги», наконец даже у Плавта, а между тем истина была так близка от этих патриотов! Фабула «Минны» — не что иное, как острая сатира на фридриховский режим. Тельгейм, в чине майора, получает отставку после заключения мира и кроме того попадает под следствие, весьма для него неприятное. Он должен был со всей строгостью взыскать контрибуцию с нескольких тюрингенских областей, а так как уплатить ее они не смогли, он уплатил ее из собственных средств, взяв взамен вексель. После заключения мира он хотел «внести вексель в разряд долгов, подлежащих возмещению», но «они» объявили, что этот документ — подарок сословий за то, что Тельгейм согласился взять с них наинизшую сумму контрибуции, допускаемую королевским приказом. Тем временем «они» — то есть Фридрих — узнают через брата, что Тельгейм «более чем невинен»; его извещают, что государственная касса получила приказ вернуть конфискованный вексель и оплатить сделанный аванс, а в конце концов предлагают ему снова поступить на службу. Эта безобидная идиллия — самая жестокая насмешка над действительными приемами фридриховского режима. После того как Фридрих, по его собственным, весьма преуменьшенным подсчетам, выжал из Саксонии пятьдесят миллионов талеров за семь лет, из «долгов, подлежащих возмещению», не было, конечно, уплачено ни одного пфенига; насчет оплаты «сделанных авансов» приходится только напомнить, как Фридрих всякую просьбу о возмещении причиненного войной ущерба отклонял стереотипной, всем из-

вестной всей стране фразой—«после этого жалобщик вздумает еще требовать возмещения убытков за всемирный потоп»; наконец совершенно невероятно, чтобы король предложил уволенному офицеру опять поступить на службу в армию. «Простое красноречие, по сравнению с которым все трескучие фразы Рамлера—пустой звук»,—вот какие почетные для Фридриха вещи находит в «Минне» господин Эрих Шмидт. Да, это действительно просто, и в то же время очень красноречиво!

Фридрих Шлегель уже указывал на то, в какой сильной степени типы «Минны» «лессингизируют». Это можно в не меньшей степени сказать и об «Эмили» и о «Натане»; драматическое творчество Лессинга было целиком рассудочно; ему не хватало поэтической фантазии, из которой выделяются образ за образом и начинают жить независимо от своего творца. И герой, и героиня его трагедии проникнуты его духом, причем «второстепенные персонажи», как выражается Гете, болтают так же остроумно, как и сам автор. Но, как удачно сказано, гнев создает поэта, и подобно тому как в «Эмили» Лессинг создал классические образы мелкого деспота и его придворного, а в «Натане» тип ортодоксального ревнителя веры без малейшей примеси его собственного духа, точно так же и в «Минне» он создал два бессмертных типа фридриховского деспотизма: легкомысленного авантюриста из иностранного дворянства, ради которого немецкий отец отечества обижал немецких буржуа, и шпиона, хозяина гостиницы. Хозяева, рестораторы и владельцы гостиниц — были обычно шпионами Фридриха; половина причитавшейся с них аренды, а иногда даже вся аренда уплачивалась из его кассы, за что хозяева гостиниц были обязаны ежедневно доносить полиции о всех разговорах и встречах, происходивших в их помещении, а у подозрительных лиц делать по возможности «точные протокольные извлечения» из «имеющихся у них бумаг». Надеемся, что наши brave «натуралисты» скоро выведут на сцене Иринга Малова и Напорру; ведь ограничиваться простой бранью по адресу Лессинга и называть его «псевдопоэтическим компилятором» и «литературным героем, гоняющимся за плагиатами», в конце концов не значит еще открывать новую эпоху немецкой поэзии.

Конечно, современники понимали эту комедию иначе, чем нынешние буржуазные историки литературы. Николаи, как «прусский подданный», с неудовольствием отзывался о «многочисленных уколах по адресу прусского правительства», но когда в 1768 г. Деббелин поставил «Минну» на берлинской сцене,

она ставилась десять раз подряд при шумных овациях публики. В Гамбурге прусский резидент Гехт сначала воспротивился ее постановке, за что господин Эрих Шмидт называет его «ограниченным человеком». Счастье, что король Фридрих был еще «ограниченнее»! Если бы он прочел «Минну» или понял ее значение, то он обошелся бы с нею с таким же «простым красноречием», как с «Акакией» Вольтера: он приказал бы сжечь ее на Жандармском рынке рукой палача.

«Лаокоон», подобно «Минне фон Барнгельм», тоже может считаться плодом бреславльской жизни Лессинга. Он остался неоконченным, как и большинство прозаических произведений Лессинга, ибо этот подвижной и беспокойный дух не мог самодовольно отражать себя в себе самом, если окружающий мир не следовал его призыву. Он предпочитал, чтобы его оружие ржаловало, но не соглашался играть им. Он имел все основания жаловаться, что никто не понимает смысла его «Лаокоона», даже тот единственный человек, ради которого стоило бы выносить этот хлам на свет божий.

Этот единственный человек был Гердер. Биограф Гердера дает «Лаокоону» гораздо более сжатую и меткую оценку, чем все биографы Лессинга, говоря, что, при установлении своего канона: «подлинная сущность поэзии—это действие», Лессинг стремился, главным образом, нанести смертельный удар поэзии, которой так увлекались его современники, мертвенно неподвижной описательной поэзии, которая не столько изображала, сколько описывала и вместо зарисовки живых и отчетливых образов давала вычурные описания и сравнения\*. В этом как будто чисто эстетическом и художественно-критическом произведении Лессинг, как и во всех других работах, боролся за социальные интересы буржуазных классов. Если на первых порах эти классы могли заявлять свои требования только в литературной области, то как раз тогда для них наступил момент заговорить более энергичным и мужественным тоном, чем тот, каким говорили даже такие сравнительно сильные и мужественные поэты, как Галлер и Клейст. Песни о красочных альпийских цветах и о священной сени рощ совершенно убаюкали буржуазную чернь. В добавление к этому теория швейцарцев главной целью поэзииставляла описание природы, а провидческое воодушевление, с которым Винкельман открыл и прославлял изобразительное искусство

---

\* Гайм, Гердер в жизни и произведениях (*Haym, Herder nach seinem Leben und seinen Werken*), 1, 1, 243.



древности, грозило увлечь немецкую буржуазию на неправильный путь. В самом деле, разве мог выйти из этого какой-нибудь толк, пока по эту сторону Альп почти не было античных оригиналов и даже гипсовых слепков с них?

От этих блуждающих огней Лессинг и предостерегал в своем «Лаокооне» — трактате «о границах живописи и поэзии». Гете говорит, что надо быть юношей, чтобы представить себе, какое действие оказало это мастерское произведение, «вырывавшее нас из области жалкого созерцания и выводившее на свободные пажи́ти мысли». «Прелесть этих главных и основных понятий ясна только той душе, на которую они оказывают свое бесконечное влияние, и только той эпохе, в которую они, столь страстно ожидаемые, своевременно появляются». Но если мы подойдем к «Лаокоону» с только что развитой нами точки зрения, то найдем в нем и другие «прелести». Кажется, как будто утренний солнечный луч упал на эти листы, — так красноречиво и легко развиваются мысли, то опровергая и опрокидывая, то пополняя и подкрепляя одна другую. Нигде ни одной мертвой точки, всюду быстрая и полная жизнь. Каково содержание, такова же и форма. В «Лаокооне» стиль Лессинга стал еще гибче и сильнее и в значительной мере утеряти свою сухость; мысль сделала его зрелым человеком, насытила его, и прозрачная ясность его языка обнаруживает без всяких покровов ничем не искаженную возвышенность идеи.

Таково значение «Лаокоона» как социального акта. Но как канону художественной критики ему приходится дать иную оценку. То, что возвышает его в первом смысле, принижает его во втором. Вся тенденция этого незаконченного произведения заключалась в том, чтобы изобразительные искусства поставить на второй план по сравнению с поэзией. Да и вообще Лессинг относился довольно холодно к изобразительным искусствам. Впервые прочтя «Лаокоона», Винкельман сказал: «Лессинг пишет так хорошо, как только можно было бы пожелать», но некоторое время спустя разразился следующей тирадой: «У этого человека так мало знаний, что никакой ответ его не удовлетворит, ибо было бы легче убедить здравомыслящего простолюдина из Уккермарка, чем университетского остроумца, блещущего парадоксами». Правда, эти грубые слова несколько окрашены мелочной завистью, но все-таки они сказаны не зря. Как уже заметил историк искусства Румор, сам Лессинг прекрасно сознавал, что «его сочинения об искусстве подсказаны не его положительным призванием к искусству, а чувствами неодобрения или отвращения к тем или иным односторонностям или

нелепостям его современников». Юсти совершенно правильно замечает: «Многие факты из его жизни заставляют предположить, что созерцание произведений изобразительных искусств не было для него потребностью и даже не давало ему особого удовольствия, а занимало его только с эстетической точки зрения». Когда Юсти говорит, что Лессинг, «вероятно, умер бы от скуки» в той самой Италии, куда он так стремился, то против этого, пожалуй, не приходится особенно возражать. По крайней мере читатель дневника, который вел Лессинг во время своего итальянского путешествия, совершенного им впоследствии, действительно может умереть со скуки. Правда, он был в Италии при весьма неблагоприятных обстоятельствах, но если бы у него был какой-нибудь прирожденный интерес к изобразительным искусствам, то он не прошел бы так безучастно мимо итальянских сокровищ и хоть одним словом обмолвился бы о том, что он стоял в Ватикане перед той античной скульптурой, которая дала имя его знаменитейшему сочинению об искусстве.

Если «Лаокоон», как художественно-критический канон, несправедлив к изобразительным искусствам, если его художественные принципы исторической, ландшафтной и портретной живописи сужают жизнь, то и по отношению к поэзии они слишком суровы и грозят чрезмерно разредить население Парнаса. Если сущность поэзии — действие, то всю лирику приходится вышвырнуть за дверь. Молодой Гердер, выступая в качестве адвоката поэзии, в своей «Критической роще» выкинул по поводу «Лаокоона» следующий боевой клич: «Я во многом несогласен с господином Лессингом, а что касается его основных положений, то во всем!» Правда, Гердер признавался, что и он ничего так не ненавидит, как мертвенную, неподвижную страсть к описаниям, но все-таки подлинной сущностью поэзии он признавал не действие, а силу, — «силу, которая, хоть и передается через слух, непосредственно действует на душу; силу, которая свойственна внутреннему значению слов, которая влияет на мою душу с помощью фантазии и памяти». Он порицал одностороннее увлечение Лессинга Гомером и одностороннее понимание Гомера Лессингом. Он ставил в упрек и Лессингу и Винкельману чрезмерное злоупотребление эллинистическими оборотами речи. Утверждение Лессинга, что только греки знали то прекрасное равновесие чувствительности и храбрости, которое отличает гомеровских героев, он опровергал метким замечанием, что это равновесие свойственно не какой-либо отдельной нации, а каждой нации, стоящей на такой же степени культуры. А когда Винкельман попытался выяснить историческое развитие

греческого идеала красоты, Гердер возразил, что Винкельман обращал слишком большое внимание на климатические условия, на «влияние неба» и проглядел политические и религиозные факторы, воздействующие на постепенное образование идеалов. Но в общем Гердер был гораздо ближе к Винкельману, чем к Лессингу. Цели этого последнего он не понимал, и хотя его критика «Лаокоона» часто оказывалась весьма меткой, он нередко из-за деревьев не видел леса.

Вокруг «Лаокоона» впервые сгруппировались противоречия, которым суждено было властвовать в течение многих десятилетий над духовной жизнью немецкого народа. Лессинг не смог бы написать «Историю искусства» Винкельмана и «Мысли о философии всемирной истории» Гердера, но ни Гердер, ни Винкельман не имели никакого представления о том благородном и гордом классовом сознании, которым дышали сочинения Лессинга и особенно «Лаокоон». Став клиентом римского кардинала, Винкельман недостойно издевался над Лессингом, называя его «молодым поводырем медведей»; а Гердер, выступавший в первом выпуске своей «Критической роши», на правах писателя, немногим уступающего Лессингу, во втором и третьем выпуске вел неискреннюю и двусмысленную борьбу с жалким противником, — с тем самым интриганом Клотцем, которого Лессинг уложил двумя-тремя быстрыми и верными ударами. Здесь проявляется противоположность между историческим и политическим мировоззрением — и даже, пожалуй, не противоположность, а чрезмерный перевес истории над политикой. Не Лессинг, а Гердер оказал решающее влияние на молодого Гете, а Гете увлек за собой Шиллера, революционные юношеские драмы которого так близко примыкали к Лессингу. Это вовсе не значит, что этот ход развития зависел от отдельных лиц: он объяснялся скорее тем, что буржуазные классы не могли подняться на высоту своего передового борца Лессинга, что Лессинг оказался обреченным на «страшное одиночество» среди своих современников и что молодое поколение буржуазии, поскольку оно стремилось к духовной пище, должно было искать в прошлом то, в чем наотрез отказывало ему настоящее. Конечно, Лессинг лишь в малой степени обладал или почти совсем не обладал той психологической проницательностью, которая давала возможность Гердеру познавать душу народов в их песнях. Но когда нынешние хитроумные карьеристы начинают говорить о «восточно-прусском Колумбе» Гердере, противопоставляя его «школьной и неисторической критике» «ученого филолога» Лессинга, следует напомнить, что сам Гердер,

честно учитывая свои собственные силы, всегда снизу вверх смотрел на Лессинга-человека, а также и о том, что после Гердера появились не только Гете и Шиллер веймарского периода, но и все романтики и та «историческая школа», о которой Карл Маркс говорит: «Школа, узаконяющая подлость сегодняшнего дня подлостью вчерашнего, школа, объявляющая мятежным всякий крик крепостного против кнута, если только этот кнут старый и прирожденный исторический кнут, школа, которой история показывает, как бог израиля своему слуге Моисею, только свое *a posteriori*\*, — эта школа изобрела бы немецкую историю, если бы она не была изобретением немецкой истории»\*\*. Только в научном социализме нашли свое примирение противоречия, впервые вскрывшиеся в «Лаокооне» Лессинга, и история сделалась политикой, а политика — историей.

Но мы не должны забывать, что нас интересует не столько сам Лессинг, сколько легенда о Лессинге. Ведь господин Эрих Шмидт уже стучится нетерпеливо в нашу дверь и требует, чтобы мы окончательно разъяснили его остроумное и глубокомысленное оракульское изречение: «Лаокоон» остался торсом. И может быть, до нас дошли бы одни только материалы к нему, оставшиеся в литературном наследстве Лессинга, если бы этой содержательной художественно-научной работой Лессинг не хотел сказать германским дворам: вот я». Все добрые души хвалят господина-бога! Итак, не только «простое красноречие» «Минны», но и «художественно-научная работа» — «Лаокоон» — является в глазах этих академических мастеров эстетики и литературной истории не чем иным, как лычком, которое надо обменять на ремешок — тепленькое придворное местечко. Но посвятим несколько слов вздорной басне Николаи, которой обосновываются эти рассуждения!

После Губертусбургского мира Лессинг не мог долго оставаться в Бреславле. Когда кончилась военная сумятица, погасла и та более свободная и более полная жизнь, которая привязывала его к этому городу; несмотря на всю свою привязанность к Тауэнцину, он вовсе не намеревался остаться на всю жизнь подчиненным секретарем прусского генерала. Уже в ноябре 1763 г. он предупреждал своих родителей, что откажется от «обеспеченного счастья» и вернется к своему «прежнему образу жизни». В ответ на их жалобы в июне 1764 г. он подчеркивает, что не отказался от своего старого плана жизни и более чем

\* Здесь в смысле: зад.

\*\* «Немецко-французские ежегодники», 73.

когда-либо полон решимости «отказываться от всякой должности, которая не вполне мне по вкусу. Я уже перешагнул за половину жизни и не знаю никаких таких обстоятельств, которые вынуждали бы меня стать рабом в течение более короткого ее остатка». Лессинг не без основания заговорил таким решительным тоном. Хотя он всегда был готов отдавать родителям все, что у него было, и даже больше того, что у него было,— он никогда не соглашался становиться «рабом казенной должности» лишь для того, чтобы его неспособные братья могли продолжать образование. Еще до переселения в Бреславль он следующими словами охарактеризовал те крайние уступки, на которые он может пойти: «Если мне предложат должность, то я ее возьму, но для того, чтобы сделать хоть малейший шаг в этом направлении, я, если не слишком застенчив, то во всяком случае слишком ленив и небрежен». Относительно его бреславльской жизни его друг, ректор Клозе, сообщает: «После Губертусбургского мира Лессинг решил оставить Бреславль, хотя генерал просил его остаться там подольше и предложил ему выгодное место. Но от места этого он отказался, так как, по его убеждению, прусский король платит только тем, кого он ставит в зависимость от себя и заставляет работать. По этой же причине он отказался от профессуры в Кенигсберге, предложенной ему за несколько лет до этого; одним из главных мотивов было то, что профессор красноречия должен был ежегодно писать по панегирику». Господин Эрих Шмидт, который готов писать сколько угодно таких придворных панегириков, старается опорочить достойное доверия свидетельство достойного доверия человека, но попытка его тщетна.

Весной 1765 г. Лессинг покинул Бреславль, за два месяца до этого сложив с себя должность. Он отправился в Берлин. Как он писал своему отцу, он не собирался оставаться там надолго, а поехал туда лишь для того, «чтобы привести там в порядок мои разбросанные вещи, получить возможность назвать некоторым образом *locum unde*\*». 4 июля 1765 г. он пишет отцу, что уже шесть недель живет в Берлине. По случайному совпадению последний лист «Литературных писем» помечен тем же самым днем. В этом «письме» Лессинг упоминает об «остроумном и правильном замечании» Мейнгарда, указывающего, что число хороших поэтов в хваленую эпоху меценатства—при Медичи и Людовике XIV—было очень невелико, и со своей стороны прибавляет: «Так как это замечание до некоторой степени можно было

\* Что к чему.

бы применить к положению немецкой литературы, то я очень хотел бы, чтобы оно раз навсегда заставило замолчать тех, которые столь часто и горько жалуются на отсутствие поддержки и, рассуждая как истинные льстецы, так преувеличивают влияние великих мира сего на искусство, что их своекорыстные цели сейчас же становятся ясными». Эти даты и факты достаточно доказывают, что свою четвертую и последнюю поездку в Берлин Лессинг предпринял не для того, чтобы выпросить местечко у Фридриха II, а по причинам, указанным им самим. Под «приведением в порядок своих разбросанных вещей» он, очевидно, подразумевал окончание «Лаокоона» и «Минны», а также просмотр старых комедий. «Лаокоон» вышел в свет к пасхальной ярмарке 1766 г., а «Минна» — к пасхальной ярмарке 1767 г. Это последнее произведение было издано отдельным изданием и в то же время вошло в двухтомное собрание всех комедий Лессинга. После этого Лессинг переселился из Берлина в Гамбург.

В этот-то промежуток времени и разыгрался тот отвратительный фарс, пассивными героями которого были король Фридрих, Винкельман и как будто до некоторой степени и Лессинг; активных его героев приходится искать в лице полковника Квинтуса Ицилиуса, Николаи и, пожалуй, Зульцера. Господин Эрих Шмидт называет полковника «бравым», из чего видно, что это был порядочный негодяй. Настоящее его имя было Гишар, свое же классическое прозвище он получил от Фридриха в минуту «милостивого» каприза; он родился в Магдебурге, был сыном буржуазной гугенотской семьи, университетским товарищем Винкельмана в Галле, а впоследствии военным авантюристом и писателем. Во время Семилетней войны он был назначен командиром вольного батальона, а по заключении мира не только не был уволен в отставку, но и получил повышение — место придворного шута при Фридрихе. Он был полной противоположностью Тельгейма и на своей особе подтверждал предвзятое мнение Фридриха, полагавшего, что у буржуазных офицеров нет чести; в 1761 г. он разграбил саксонский охотничий замок Губертусбург, между тем как офицеры-дворяне — Марвиц и Зальдерн — были уволены из армии за то, что отказались исполнить этот приказ короля, сначала обращенный к ним, ибо считали такой поступок бесчестным. Квинтус устроил хороший гешефт во время этого грабежа, да и впоследствии, по словам его же друга Николаи, извлекал немало личных выгод из лотерейных и монопольных предприятий короля. При Фридрихе этот честный человек играл в то же время роль представителя немецкой литературы; когда француз, заведывавший королев-

ской библиотекой, в 1765 г. умер, Квинтус, по его словам, предложил королю на место библиотекаря сначала Лессинга, потом Винкельмана, а потом опять Лессинга. Следует заметить, что этот факт подтверждается только его собственными словами, которые не становятся более внушительными и заслуживающими доверия из-за того, что они переданы нам через рупор Николай. Об этом вообще можно было бы совсем не говорить, если бы буржуазные историки литературы не утверждали, что опубликованием «Лаокоона» Лессинг хотел подкрепить ходатайство полковника-грабителя, а критикой Винкельмана желал доказать королю свое превосходство над этим соперником. Подобно этому и ненависть Лессинга к фридриховской системе они объясняют отказом Фридриха. Надо заметить, что эта ненависть становилась тем сильнее, чем старше и зрелее становился Лессинг, и даже самые грубые подделки оказываются не в состоянии затушевать ее\*.

Королевский библиотекарь, тайный советник де ла Кроз, действительно умер в феврале 1765 г., и 25 июля этого года король действительно поручил министру фон Дорвиллю поискать в Голландии «весьма способного и искусного в науках человека», который бы согласился взять на себя надзор за публичной библиотекой и заведывание ею. Но было бы совершенно не в характере Фридриха, если бы он наряду с этими официальными переговорами поручил какому-то придворному шуту ведение, так сказать, официозных переговоров. С первого же дня своего царствования всякому своему личному знакомому он ставил строжайшим условием никогда не вмешиваться в государственные дела, а между тем оказывается, что Квинтусу, которого он внутренне презирал и постоянно высмеивал за губертусбургский грабеж, он разрешил, став подозрительным и дряхлым стариком, как раз то, в чем отказывал под страхом немилости

\* Справедливости ради следует сказать, что самым грубым фальсификатором этого эпизода был не буржуазный историк литературы, а господин Евгений Дюринг. Он говорит, что Фридрих не захотел дать Лессингу место библиотекаря, «хотя Лессинг навязывался к нему с еврейской пронырливостью и еврейской настойчивостью». Вождь «государства, бывший в то же время и множителем знаний и политическим реформатором в области законодательства и администрации,—Фридрих,—в своей оценке Лессинга показал себя истинным представителем нации». См. *Дюринг, Переоценка Лессинга и его заступничество за евреев (Dühring Die Ueberschätzung Lessings und dessen Anwaltschaft für die Juden)*, 88. Прусское государство было плохо информировано, когда отказалось назначить господина Евгения Дюринга профессором!

сначала друзьям своей юности вроде Иордана и Кайзерлинга, а потом, в зрелом возрасте, таким людям, как Мопертью и Вольтер. В лучшем случае можно предположить, что имя Винкельмана не совсем было неизвестно королю, так как Винкельман приводил в порядок и каталогизировал коллекцию камней барона Штоша, купленную Фридрихом. Но эта возможность, во-первых, ни в малейшей мере не является достоверностью: сам Винкельман предполагал, что король спутал его с проживавшим в Риме Эвальдом, бывшим ранее аудитором и служившим в полку принца Генриха. Во-вторых, это обстоятельство в данном случае не имело бы никакого значения, так как еще до своего приказа Дорвиллю король отделил кабинет древностей и медалей от библиотеки и поручил его надворному советнику Штошу. Весьма характерно также и то, что хотя Квинтус получил от короля поручение, чрезвычайно почетное для человека его склада, он не вступил сам в переговоры с Винкельманом, своим старым другом по университету, а поручил Николаи написать ему об этом. Должно быть, этот хвастун и надутый глупец был в то же время и полицейским комиссаром и не хотел давать образца своего почерка. Так или иначе, Николай в августе 1765 г. написал Винкельману, что король хочет сделать его библиотекарем. Он, Винкельман, может поставить самые выгодные для себя условия, так как король высоко ценит его и давно уже хотел сделать то, что он собирается сделать сейчас. Квинтус дал ему понять, что король решил ассигновать на это от 1500 до 2000 талеров. Случилось то, чего всего менее можно было ожидать: Винкельман немедленно согласился на предложение и потребовал 2000 талеров. В первый момент у него, вероятно, создалось неправильное, но вполне понятное после письма Николаи впечатление, что король хочет вознаградить его за горькие испытания юности. Он пишет—несколько наивно: «Только сейчас я понял, как сильна любовь к отечеству, в которое меня призывают обратно с таким почетом. В первый раз слышу я голос отечества, который до сих пор был для меня неизвестен». Но после этого чрезвычайно быстро,—настолько быстро, насколько это допускала тогдашняя почта,—пришло неприятное известие: Николай сообщал, что король не хочет давать 2000 талеров и говорит, что для немца достаточно и 1000. Известно, как пристыжен и раздражен был Винкельман этим отказом, но совсем неизвестно то обстоятельство, что король сыграл такую постыдную, а Винкельман такую смешную роль только потому, что этого захотели интриганы Квинтус и Николай и, повидимому, присоединившийся к ним Зульцер.



К счастью для истины, лгуны обыкновенно рано или поздно выбалтывают правду: как ни обстояло дело относительно видов Фридриха на Винкельмана, Николай сам после разъяснил, что в своем первом и в своем втором письме к Винкельману он наговорил на короля напраслину. Судя по его позднейшим сообщениям Дасдорфу, издателю винкельмановских писем, король с самого же начала ассигновал для Винкельмана 1000 талеров из фондов Академии. Это жалованье по тогдашнему времени было вполне прилично; оно было больше римских доходов Винкельмана, а французский библиотекарь, занимавший до тех пор этот пост, получал только 600 талеров. Следовательно, король хотел дать немцу не меньше, а значительно больше, чем французу. Но, опять-таки, по словам того же Николаи, благородный Квинтус желал обратить в пользу Винкельмана и эти 600 талеров и советовал ему запросить 2000 талеров, дабы он, Квинтус, напомнил «столю благоволящему к нему монарху» о библиотечарском жаловании в 600 талеров, которое после смерти де ла Кроза перестало выплачиваться. Но, когда Винкельман последовал этому совету и Квинтус напомнил королю о жаловании бывшего библиотекаря, Фридрих объявил, что жалованье де ла Кроза уже предназначено для другого и что Винкельман должен удовольствоваться тысячью талеров из фонда Академии. Так писал Николай Дасдорфу.

Может быть, и эта версия ни на чем не основана, но во всяком случае достоверно одно: если Николай считал ее правильной, то предложение короля он истолковал Винкельману в преувеличенном виде, чтобы придать важности себе и своему другу Квинтусу, а отказ Фридриха он объяснил порочащей короля и чрезвычайно оскорбительной для Винкельмана выдумкой, дабы прикрыть свое отступление и обелить себя и своего друга\*.

Как ни кажется легкомысленной даже эта версия эпизода с Винкельманом, она все-таки представляется чем-то весьма солидным по сравнению с тем, что рассказывается о самом Лессинге. По словам Николаи, Квинтус сначала предложил в библиотекари Лессинга, но король отклонил его кандидатуру вследствие «неприятного инцидента», происшедшего в 1752 г. у Лессинга с Вольтером. После этого начались переговоры с Винкельманом, а когда они кончились неудачей, Квин-

\* «Письма Винкельмана к его друзьям», изданные Дасдорфом, 2, 164. «Откровенные замечания», 1, 354. В этом сочинении Николай под-  
ва жает версию Дасдорфа.

тус еще раз выставил кандидатуру Лессинга. По словам Николаи, он настаивал на ней «с раздражением», затеял «оживленную словесную перепалку», а когда король в конце концов избрал не Лессинга, а какого-то француза, он «высмеял» короля. Да простится мне резкое выражение, но другого, более подходящего, здесь не подберешь: история эта слишком глупа. Неужели Фридрих разрешил бы своему придворному шуту говорить с «раздражением», вступать в «оживленную словесную перепалку» и «высмеивать» его? Но этого недостаточно. Господин Эрих Шмидт обогатил литературу, обносящуюся к этому эпизоду, собственноручной запиской Квинтуса к Рамлеру от 20 апреля 1765 г., где говорится: «Вы подаете мне радостную надежду, что мы увидим нашего господина Лессингка в Берлине. В отношении его я строю большие планы, которые касаются чести нашей сцены. Может быть, он согласится на них. Его величество знают его и поддерживают его». Господин Эрих Шмидт сообщает об этой находке с необыкновенно важным видом, но «без комментариев». Весьма предусмотрительно с его стороны, ибо единственным «комментарием» к этому архивному открытию может быть только утверждение, что Квинтус был обманщиком. Обратите внимание на даты! Оказывается, что в апреле 1765 г., приблизительно за два года до появления «Минны» и через десять лет после появления «Сары», король в порыве благородства вознамерился предоставить известному ему «господину Лессингку» честь спасения немецкой сцены, которую, как известно, Фридрих до глубины души презирал. А через четыре месяца после этого Николай писал Винкельману в августе 1765 г., что король не хочет и слышать о кандидатуре Лессинга в библиотекари вследствие «неприятного инцидента с Вольтером», ибо «у короля была очень хорошая память и он долго хранил раз воспринятые впечатления». Господин Эрих Шмидт со свойственной ему «филологической акрибией» должен был бы заметить, что Квинтус по крайней мере дважды солгал, — или в своей апрельской записке к Рамлеру, или в сообщениях Николай от августа 1765 г. Мы позволяем себе выставить предположение, что губертусбургский громила соврал оба раза, дабы разыграть из себя влиятельного литературного советника короля перед Рамлером и Николаи, главными застрельщиками берлинской литературной клики\*.

\* Этот обман становится еще яснее, когда мы обратим внимание на следующие собственноручные пометки Фридриха на полях. В 1764 г. Квинтус просил о возмещении сумм, выплаченных им начальникам его роты, и король ответил: «Ваши офицеры воровали, как вороны, вы ничего не

Заниматься этими старыми сплетнями весьма мало интересно, но, к сожалению, необходимо. Дело в том, что лессинговская легенда в этом пункте борется за свою жизнь. Вполне вероятно, что и Лессинг, и Винкельман поддались на удочку Квинтуса и Николаи; не менее вероятно, что форма, в которой Фридрих отказался назначить его на непрощенную Лессингом должность, рассердила и Лессинга. Стычка с Вольтером произошла не без вины с его стороны, и, может быть, именно поэтому бесцельное напоминание о позабытой юношеской проделке усилило его нерасположение к Фридриху и Вольтеру, хотя этот последний был наверное, а первый почти наверное ни в чем не виноват. Такие психологические реакции вполне понятны у сильных и честных людей. Но совершенно нельзя предположить, что человек вроде Лессинга написал такое произведение, как «Лаокоон», только для того, чтобы сказать прусскому двору: «вот я». Равным образом неверно и то, что его отрицательная оценка фридриховской Пруссии объясняется личным разочарованием и что в общем он не имел в виду сказать что-нибудь слишком оскорбительное, ибо все это было лишь «каплей желчи» по сравнению с тем восторгом, с каким он в других случаях отзывался об этом образцовом государстве, выражая свои чувства в «простых и величавых словах».

Вышеприведенным фразам Лессинга, где он выражал свое отвращение ко всякой службе и публично издевался над дворцовым меценатством,—как раз в то время, когда он, якобы, старался пролезть к Фридриху через Квинтуса,—можно про-

получите». Далее, когда тот же самый Квинтус в 1770 г. просил о пенсии в Академии, король вынес следующее решение: «Академия не принимает людей, книги которых раскритиковывались так позорно, как ваша». Поистине, было бы смехотворно предположить, что придворный, который должен сносить издевательства, заключающиеся в этих королевских решениях, осмелился вступить с королем «в оживленную словесную перепалку» и «высмеять» его за презрение к немецкой литературе. Приведем наконец еще следующие документальные извлечения из бумаг фридриховского кабинета: «Некто Деббелли, из Шуховской труппы актеров, верноподданнейше доносит, что берлинский немецкий театр вследствие плохого и неопытного руководства Шуха пришел в полный упадок, и просит все милостивейше дать ему привилегию играть комедии во всех королевских землях, за что он согласен платить сто золотых дукатов вместо 100 талеров, которые Шух должен был ежегодно вносить в государственную кассу». По этому поводу король решил: «Могут ли в стране существовать две труппы и действительно ли публика предпочитает этого человека Шуху? В таком случае, я на это согласен». Это происходило в 1767 году, т. е. через два года после того как король якобы «поручил честь нашей сцены» «нашему господину Лессингу».

тивнопоставить только несколько написанных им строк, допускающих противоположное толкование. В декабре 1757 г., почти через год после того, как он навсегда оставил Берлин, он написал своему отцу: «Я уехал из Берлина после того, как провалился единственный план, на который я столь долго надеялся и относительно которого меня столь долго обнадеживали». Но надо сказать, что это письмо было поздравительное письмо по случаю пятидесятилетнего служебного юбилея его отца; в нем Лессинг, по всей вероятности, с горечью признавался, что его «старый образ жизни» опять потерпел крушение, и, вспомнив о глупой истории Квинтуса и Николаи, использовал ее, чтобы успокоить старика в столь торжественный для него день и отогнать всякое подозрение, будто он отказался в Берлине от «обеспеченного счастья». Уверяют, будто своим «Лаокооном» Лессинг тоже хотел подслужиться к Фридриху. Когда он после своего гамбургского краха решил оставить жалкую немецкую обстановку и бежать за границу, ему пришла мысль «продолжать Лаокоона» на французском языке, и он начал переводить предисловие. Это начало перевода было найдено в оставшихся после него бумагах. «Нельзя ли предположить», — спрашивает с глубокомысленной миной господин Эрих Шмидт, — что эта мысль имела связь со «старым берлинским планом» и должна была подкрепить в глазах Фридриха «несколько смелое уверение, что в подобных вопросах автор так же свободно владеет французским, как и немецким»? Вот еще один образчик. В «Лаокооне» Лессинг напоминает слова Аристотеля, советовавшего изображать подвиги Александра, и, во избежание всяких недоразумений, истолковывает этот совет как «призыв к художникам изобразительных искусств, убеждающий их оставить в стороне старину и заняться событиями настоящего времени». По мнению Эриха Шмидта, это обозначает «только то», что третья часть «Лаокоона» «должна была явиться мужественным призывом к художественному прославлению Семилетней войны и ее главного героя». Право, Лессинг предчувствовал появление Эриха Шмидта, когда он писал: «Пусть унесут их ястреба, этих проклятых истолкователей! Скоро из-за этой дряни нельзя будет позволить себе никакой остроумной мысли!»

После всего сказанного нам не стоит особенно распространяться насчет того взгляда, который сложился у Лессинга на прусское государство за время его жизненной борьбы. В данном случае уместно было бы говорить не о «капле желчи», а о чем-то совершенно противоположном: по свойственному

ему великодушию, Лессинг действительно подсластил каплей меда личные качества Фридриха, но прусскую систему он ненавидел тем сильнее, чем ближе с ней знакомился. При каждой поездке в Берлин он покидал столицу все с большим и большим раздражением, а во время последней поездки она подействовала на него хуже всего. «Чего мне искать на этой унылой галере?» — пишет он в феврале 1767 г. Глейму, а в ноябре 1768 г. пишет Рамлеру: «Разве можно чувствовать себя здоровым в Берлине? Все, что здесь видишь, переполняет кровь желчью». В августе 1769 г. он пишет Николаи следующее (это место мы приведем здесь полностью, так как господин Эрих Шмидт в своих двух толстых томах, набитых цитатами из Лессинга, весьма умелозатушевывает его):

«Не говорите мне ничего о вашей берлинской свободемышления и сочинительства. Она сводится исключительно к свободе говорить против религии сколько-угодно глупостей. А честному человеку скоро будет стыдно пользоваться этой свободой. Пусть-ка кто-нибудь в Берлине попробует так свободно писать о других вещах, как писал о них Зонненфельс в Вене; пусть попробует сказать истину придворной черни столь же прямо, как сказал ее Зонненфельс; пусть кто-нибудь в Берлине попытается поднять свой голос за права подданных и выступить против обирания и деспотизма, как это сейчас делается даже во Франции и Дании, — и вы тогда скоро на опыте узнаете, какая страна остается до нынешнего дня наиболее рабской страной в Европе».

Подобно Гердеру и Винкельману, Лессинг покинул прусские земли с проклятием и на прощание бросил в них камнем. Но то, что для этих юношей, полных горячего жизненного порыва, было лишь инстинктивным чувством, стало в этом человеке ясным и зрелым познанием: он понял, что у буржуазных классов Германии в наиболее важных для них жизненных вопросах нет более опасного и решительного врага, чем прусское государство.

## VIII

### Лессинг в Гамбурге

Весной 1767 г. Лессинг переселился в Гамбург, а весной 1770 уехал из этого города и прожил остаток своих дней в уединенном Вольфенбюттеле. За эти три года он в последний раз попытался встряхнуть буржуазные классы и побудить их к энер-

гичной деятельности: в «Гамбургскую драматургию», «Эмилию Галотти» и «Антикварные письма» он вложил всю свою мужественную силу. Но его и на этот раз постигла неудача и притом такая, что после нее только глупец мог бы чего-нибудь ждать от этой расслабленной буржуазии.

После того уничтожающего удара, который сокрушил благосостояние Лейпцига во время Семилетней войны, Гамбург стал бесспорно первым городом Германской империи. Если его независимости много раз угрожали Дания и Ганновер, то этих противников ему нечего было особенно бояться, ибо у него было два могучих покровителя. Гамбург был наиболее важным местом континента для транзитной торговли Англии и Франции и потому пользовался особой милостью обеих этих держав. Этот самый свободный и самый богатый город в Германии в то же время больше всех зависел от заграницы: этой-то политико-экономической обстановкой, над которой буржуазные историки литературы не задумываются даже во сне, и объясняется судьба, постигшая Лессинга в Гамбурге. Как манил его призыв гамбургских театральных друзей, обещавших дать ему место в поставленном на широкую ногу «Национальном театре», где он должен был играть роль советника и сочувствующего критика! Ведь он видел в сцене единственную трибуну буржуазных классов, каковой она тогда действительно была, и еще в своих «Литературных письмах» жаловался: у нас нет театра, у нас нет актеров, у нас нет публики. Ни одно лессинговское сочинение не дышит такой твердой уверенностью в себе, такой непоколебимой надеждой, как последние выпуски «Гамбургской драматургии». Под свежим впечатлением своего берлинского опыта он говорит о тех филистерах, которые, судя о других по себе, в каждом хорошем начинании ищут только каких-нибудь задних целей; он называет счастливым то место, где эти несчастные не могут задавать тона, так как большинство благомыслящих граждан не позволяет делать патриотические планы предлогом для пошлого глумления. Затем он прибавляет: «Пусть будет Гамбург счастлив во всем, что касается его благосостояния и его свободы, потому что он заслуживает этого счастья». Свобода и благосостояние Гамбурга пробуждали в нем надежду, что ни в каком другом месте немецкой земли буржуазное классовое сознание не достигнет такой высоты, как здесь. Но свобода и благосостояние Гамбурга зависели от милости иностранных держав, и потому предпосылкой их была как раз национальная раздробленность, душившая в зародыше всякое классовое сознание буржуазии.

Гражданская гордость старого ганзейского города покоилась только на «сытой добродетели и платежеспособной морали», она была капиталистического, а не революционного происхождения. Это очень хорошо выражено в гамбургской национальной песне о свободе, сложившейся несколько позднее:

На тюфяках пуховых почивая,  
О деспотизме не тужим.

Какое ужасное разочарование ждало там Лессинга! «Гамбургское театральное предприятие» просуществовало только несколько месяцев, да и эта короткая жизнь далеко не была усыпана розами. Поэтому ни одно сочинение Лессинга не блещет такими едкими сарказмами, как последние выпуски «Драматургии». Когда эти выпуски появились в свет, театр уже давным-давно взлетел на воздух. «Надо распрощаться с добродушной затеей создать для немцев национальный театр, ибо мы, немцы, еще не нация! Я не говорю о политической конституции, а только о моральном характере. Можно, пожалуй, сказать, что этот характер заключается в том, чтобы не иметь вообще никакого характера». Гнилая имперская конституция оказывалась таким образом все-таки более сильной опорой национального единства, чем самосознание буржуазных классов: более уничтожающей критики тогдашней жалкой Германии представить себе нельзя. Не менее резко отзывался Лессинг и о самом Гамбурге: «сладкая мечта об основании в Гамбурге национального театра опять исчезла, и, поскольку я познакомился теперь с этим местом, я думаю, что такая мечта осуществится здесь позднее, чем где бы то ни было». Такого мнения был Лессинг о прыгунах и канатных плясунах, кувыркавшихся на тех самых подмостках, с которых он был прогнан.

«Драматургию» можно вообще понять только с этой социальной точки зрения. «Драматургия» не содержит в себе никакого учения о драматическом искусстве, годного для всех времен. Очутившись в руках ограниченных эстетиков, этот тонкий и гибкий дамаский клинок причинил много вреда. Как часто сам бедный Лессинг получал от него удары! Иногда это делалось с сознательно злостной целью, иногда с благими, но непродуманными намерениями, что было еще опаснее. Оказывается, например, что Лессинг, которому ничто не было так чуждо, как шовинизм, в своей «Драматургии» развернул знамя немецкого искусства и противопоставил его французскому, намереваясь уничтожить французскую драму, как таковую, чтобы повести немецкую драму «по стопам греков и бриттов»

к «более высокой славе». С той постановкой вопроса, которую дал Шиллер, можно было бы еще примириться, хотя свою мысль он выразил в более сильных словах, чем это когда-либо делал Лессинг.

За образец не изберем мы франка:  
В его искусстве дух живой молчит.

Но в своих стансах Шиллер оправдывал постановку на веймарской сцене вольтеровского «Магомета» в переводе Гете, и он только восстанавливал взгляд Лессинга, уже тогда искаженный чрезмерно преувеличенным тевтонизмом, когда он «франку» готов дать звание «проводника, ведущего к лучшему будущему», если тот придет

На им очищенной от скверны сцене  
Престол поставить старой Мельпомене.

«Драматургия» Лессинга была, несомненно, высшей формой проявления национальных стремлений, какую Германия знала со времени памфлетов Гуттена. Но национальная точка зрения всегда определяется социальными интересами отдельных классов, ее выражающих, и если у Гуттена таким классом было немецкое рыцарство, то у Лессинга этим классом была немецкая буржуазия. Ему и в голову не приходило вместе с Корнелем и Расином сводить на-нет и Мольера и Детуша и выбрасывать за борт не только Вольтера, как сочинителя придворных трагедий, но и Вольтера, как автора буржуазных комедий. Подобно всякой идеологии, эстетическая литературная критика определяется в конечном счете данной экономической структурой общества. В применении к настоящему случаю это значит: если мы, живущие при совершенно иных экономических условиях, пришли к совершенно другим эстетическим и литературным взглядам, то из этого только следует, что мы не должны считать лессинговскую «Драматургию» ни непогрешимым откровением, ни плохим стилистическим упражнением, а должны подойти к ней с точки зрения той социальной среды, в которой она исторически возникла. Тогда эти страницы покажутся нам чрезвычайно занимательным чтением, особенно в первой своей части, которую Лессинг писал тогда, когда его интерес к сцене еще не ослабел; все мнимые неясности и противоречия исчезнут сами собою, и мы всюду увидим черты мужественного и смелого духа, для которого сценическое искусство было не праздною игрой, а, подобно всякому искусству, рычагом человеческой культуры.



В силу жалкой немецкой обстановки, каждый национальный театр должен был питаться главным образом иностранными драматическими произведениями. Несколько посредственных и плохих пьес Хронека, Вейса и Элиаса Шлегеля не представляли собою привлекательного репертуара, и даже «Сара» и «Минна» Лессинга не давали возможности сделать его особенно разнообразным. Но среди иностранных драм на первом месте стояли французские, — отчасти благодаря стараниям Готтшеда, отчасти благодаря множеству переводов. Только лессинговская «Драматургия» вызвала в этом отношении некоторый поворот. Ей нужно было в первую очередь свести счеты с французской драмой; Лессинг так жестоко расправился с придворной трагедией французов потому, что трагедия эта, перенесенная в Германию, неизбежно должна была стать настоящим ядом для буржуазных классов. Он забывал при этом, что и Корнель и Расин смогли стать классиками великого народа только потому, что и они не были оторваны от национальной почвы; он не замечал того, что их трагедии давали большой простор для театральной игры и чрезвычайно сильно действовали на современников; он смеялся над «чудовищными изображениями» женщин, которые так охотно дает Корнель, между тем как современники этого поэта видели живьем эти «чудовища» во образе принцесс фронды\*. Но еще с большей односторонностью, чем против Корнеля, Лессинг выступает против Вольтера, как автора трагедий, проявляя при этом даже некоторую личную злобу, объясняемую берлинским инцидентом с его другом Николаи; такое отношение нельзя не признать односторонним хотя бы уже потому, что даже в своих трагедиях Вольтер уже вел некоторую борьбу с образцами придворной трагедии, созданными Корнелем и Расином. Но тем не менее в своей борьбе с французской трагедией Лессинг был по существу дела прав, ибо, хотя она и выросла некогда на определенной исторической почве, все же она оказала бы губительное влияние на буржуазное искусство Германии, если бы ее взяли за образец. В данном случае Лессинг говорит как передовой борец буржуазного искусства, а не как восседающий на облаках критик, вознесшийся над всеми народами и всеми эпохами. Да таких критиков вообще никогда и не существовало.

\* Несколько дельных замечаний по этому поводу можно найти у Карла Френцеля, Берлинская драматургия (*Karl Frenzel, Berliner Dramaturgie*), 1, 12 и сл.

Правда, на первый взгляд может показаться, что в «Драматургии» Лессинг выставляет Аристотеля непогрешимым судьей в области искусства, мнения которого сохраняют силу на все времена. Но и в этом вопросе нужно суметь разобраться. Корнель создал придворную трагедию на основании правил Аристотеля; она была последним отголоском того искания, благодаря которому этот древний грек стал канонизированным философом средневековья. Лессинг основательно вымел весь этот сор и ложно истолкованному Аристотелю противопоставил Аристотеля, правильно понятого, определившего сущность драматической поэзии на основании бесчисленных мастерских произведений греческой сцены. Следовательно, он противопоставлял греческую трагедию французской и неустанно повторял, что не правила делают гений, а гений делает правила и что каждое правило в любой момент может быть отменено гением. Увлеченный своей победоносной полемикой, он, правда, гордо замечает, что теория поэзии Аристотеля столь же непогрешима, как математические истины, и, руководясь ею, он мог бы сделать каждую пьесу Корнеля лучше, чем сделал ее сам автор. Но тут же прибавляет, что благодаря этому он еще не станет Корнелем и не сможет создать никакого мастерского произведения; еще в «Литературных письмах» он замечал, что если судить по греческим образцам, то Шекспир гораздо более великий трагический поэт, чем Корнель, хотя последний знал древних очень хорошо, а первый почти совсем не знал, и что великий англичанин почти всегда достигает цели, которую ставит себе трагедия, какими бы странными путями он к ней ни шел, а великий француз никогда, хотя он строго следует по стопам древних.

Таким образом Лессинг вполне признает историческую обусловленность всякой эстетики, и если, в силу недостаточности познаний его эпохи, он не мог проникнуть в глубочайшую причину этой обусловленности, то по крайней мере он, руководимый своим развитым классовым сознанием, практически показывает, где следует искать эту причину. Совершенно верно, что Лессинг первый в Германии так ясно отметил художественное величие Шекспира; в частности, в своей «Драматургии» он прославляет шекспировский гений целым рядом удивительных сравнений. Но он всегда ограничивается лишь противопоставлением исторических трагедий Шекспира историческим трагедиям французов, и потому было бы совершенно неправильно немецкую шекспироманию выводить из Лессинга. Духовным отцом ее был скорее Гердер, а так как Гердер по части

буржуазного классового сознания далеко отставал от Лессинга, то Лессинг чрезвычайно отрицательно отнесся к его боевому кличу: «Шекспир, и опять Шекспир без конца», полагая, что это отклонит буржуазные классы от необходимого для них пути. Уже в «Драматургии» он предостерегает от подражания Шекспиру и говорит, что «человек, ослепленный внезапным лучом истины, прорывающимся в некоторых английских пьесах, рискует очутиться на краю другой пропасти». Драматическим идеалом этого судьи искусства является не историческая трагедия, а буржуазная комедия, и образец его не Шекспир, а Дидро. В этом не усомнится никто, прочитавший со вниманием «Драматургию». Французскую комедию Лессинг решительно ставит выше английской, подобно тому как английскую трагедию он ставит выше французской. Ввиду этого эстетику, как чисто духовное явление, нужно было бы лучше оставить в стороне. Неужели Лессинг не знал, что с чисто эстетической точки зрения было бы смешно ставить драматурга Дидро на ряду с драматургом Шекспиром? Ведь он сам косвенно высказывался против подобной оценки: ему даже и в голову не приходило наделять Дидро теми почетными поэтическими качествами, которые он в таком изобилии приписывает Шекспиру!

Но если эстетика есть только часть идеологической надстройки происходящей в данный момент классовой борьбы, то почва, на которой она вырастает, совершенно ясна. Шекспир не был придворным поэтом, но в еще меньшей степени был он и буржуазным поэтом. Правда, в своем «Генрихе VIII» он говорит лестные для двора вещи, но когда он выводит на сцену какого-нибудь лондонского лорда-мэра, он неизменно выставляет его в смешном или невыгодном свете. Это вполне понятно—ведь пуритане всей душой ненавидели театр, а двор до некоторой степени оказывал ему защиту. Подлинные корни его творчества—это аристократическая, но сильная и мужественная молодежь, которая в эту могучую и порывистую эпоху с ее раскрывающимися мировыми горизонтами была как-никак руководящим классом великого народа\*. В шекспировских трагедиях слышен рев моря, а в трагедиях Корнеля—журчание искусственных версальских фонтанов; но какое значение образцы Шекспира могли иметь для Германии, аристократия

\* На вопрос, для кого писал Шекспир, прекрасно отвечает Рюмелин, Шекспировские исследования (*Rümelin, Shakespeare-Studien*), 34 и сл. Среди буржуазных историков литературы Рюмелин ближе всех подошел к той мысли, что поэты не валяются с неба и не пребывают на облаках, а, подобно всем прочим людям, участвуют в классовой борьбе своего времени.

которой совершенно опустилась и духовно и физически? Поэтому Лессинг совершенно правильно считал образцом немецкой комедии и трагедии мещанскую драму англичан и французов. Но французская комедия стояла гораздо выше английской, ибо только в ней буржуазная оппозиция разворачивала все свои духовные силы, между тем как в Англии эта оппозиция давно уже имела в своем распоряжении и парламент, и прессу. Вследствие враждебного отношения поэта к буржуазным классам его времени шекспировские комедии вращались в обстановке сказочного или по крайней мере приключенчески-романтического мира. Единственным исключением в этом отношении были «Виндзорские кумушки». В этой слабой комедии и в то же время всемирно-исторической сатире Шекспир изображал обнищавшего дворянина, который позволяет себя надувать даже женщинам из мещанской среды; но какое значение это имело для германской буржуазии, женщины которой в своем подавляющем большинстве не знали большей чести, как позволять себя надувать оборванными деспотам\*?

Шекспир вряд ли хотел сделать из «Виндзорских кумушек» историческую сатиру: это было единственным случаем, когда он издевался над дворянством и выставлял буржуазию в выгодном свете. Согласно старому преданию, его единственная буржуазная комедия возникла по очень невинному поводу: королева Елизавета выразила пожелание увидеть brave сэра Джона в роли любовника. Но поэт полагает, а эпоха располагает: когда в 1757 г. Лессинг впервые задумал план своей буржуазной Виргинии—своей «Эмили Галотти», он совершенно не представлял себе, какую страшную сатиру на Германию XVIII столетия усмотрит потомство в заключительной катастрофе его лучшего

\* Потребовалось бы особое исследование, чтобы показать на отдельных примерах, каким образом германская буржуазная эстетика со времен Лессинга все в большей и большей степени определялась классовым интересом буржуазии. Но мы не можем отказать себе в удовольствии привести здесь пояснительный пример. Густав Фрейтаг, классический представитель буржуазной литературы в ту эпоху, когда германская буржуазия переходила от своего идеалистического периода к своему мамонистическому периоду, пишет в своей «Технике драмы» (стр. 57) следующее: «Если бы поэт с полемическими и тенденциозными целями принизил искусство и использовал социальные уродства действительной жизни,—тиранию богатей, мучения угнетенных, положение бедняков, не получающих от общества почти ничего кроме страданий, то, по всей вероятности, такая работа возбудила бы интерес его зрителей, но к концу пьесы и этот интерес превратился бы в чувство мучительной досады. Обрисовка душевных процессов обычного преступника должна происходить в судебном зале, а забота об улучшении положения бедных и угнетенных классов должна проявляться в области

драматического произведения, в той сцене, где дочь умоляет собственного отца убить ее, ибо она боится, что ее кровь, ее чувства не выдержат, когда ей придется столкнуться с похотливыми ухаживаниями деспота, который только что у порога алтаря приказал, вероятно, убить ее возлюбленного. Это—ахиллесова пята трагедии, которую с недовольством признавал даже сам поэт и которую враждебно настроенные критики всегда высмеивали, а серьезные всегда порицали. Этот недостаток не устраним, и его не смягчает даже благожелательное истолкование Гете, ломающее, впрочем, всю основу трагедии: по мнению Гете, в трагедии лишь недостаточно ясно выявлено, что Эмилия в сущности любит принца. Но если бы Эмилия действительно любила принца, то старый Одоардо не был бы в таком случае трагическим героем; тогда он убил бы свою дочь лишь для того, чтобы обеспечить ее анатомическую невинность, или отнять у принца верную добычу, а между тем в своем последнем монологе, который Лессинг предусмотрительно вкладывает в его уста, Одоардо говорит, что если бы парочка слюбилась, то дочь была бы недостойна пасть от руки отца. Нет, Эмилия не любит принца и, согласно замыслу поэта, не должна его любить; но то обстоятельство, что она и ее отец не знают никакого другого средства против произвола деспота и собственной князебоязни, кроме убийства дочери отцом, и представляет ужасное того рода, который не может вызвать ни страха, ни сострадания, а следовательно, как это доказал сам Лессинг, согласно Аристотелю, в 79 главе «Драматургии», не может произвести трагический эффект, если бы даже оно было исторически обосновано. С точки зрения трагедии, развязка «Эмилии» не обоснована, и это как раз потому, что с исторической точки

наших практических, житейских интересов; муза искусства—не сестра милосердия». Фрейтаг занимает по отношению к рабочему классу приблизительно такую же эстетическую позицию, какую занимал Готтшед по отношению к буржуазному. Из этих фраз видно, что Фрейтаг из идеалистического периода германской буржуазии уже перескочил в период мамонистический. У него еще хватает честности признать, что бедняки не получают от общества почти ничего кроме страданий, но в то же время он не брезгает недостойной уловкой и заявляет, что жизнь рабочих классов может интересовать только организации по призрению бедных и уходу за больными. Это было написано целое поколение тому назад, а как сильно изменилась с тех пор обстановка! Мамонизм буржуазии совершенно победил ее идеализм, и знаменитейшее поэтическое произведение наших дней, трогательный роман бережливой Агнесы, описывает, какую массу радостей и наслаждений получают бедняки от современного общества. А что касается «революционных» поэтиков буржуазии, то они валят в «искусство» всевозможные «социальные уродства»—публичные дома, кабаки и тюрьмы.

зрения она обоснована слишком хорошо. Все знаменитые критики, начиная с Фридриха Шлегеля и кончая Фридрихом Фишером, совершенно не правы в том отношении, что они нападают на «Эмилию» с исторической точки зрения, считая, что в данном случае подвиг древней римской добродетели искусственно переносится в современную обстановку. Уже Штар правильно указывает, что из знаменитого рассказа римского историка о Виргинии Лессинг не взял ничего, кроме голого факта убийства дочери отцом ради спасения девичьей чести от насильника-тирана. Точнее говоря, в знаменитом рассказе Ливия Лессинг усмотрел самое отвратительное и самое потрясающее проявление социального гнета—обесчещение девушки, которое в восемнадцатом столетии было столь же современно, как и две тысячи лет тому назад, как современно оно сейчас и как современно оно будет до тех пор, пока будет существовать социальный гнет. Лессинг доказал свою социальную проницательность, когда этот трагический момент показался ему в своей всемирноисторической всеобщности гораздо более значительным, чем тот отдельный случай, который подал повод к политическому перевороту. Он хотел написать «мещанскую Виргинию», потому что «судьба дочери, которую убивает ее отец, считающий ее добродетель дороже ее жизни, сама по себе достаточно трагична и способна потрясти душу, хотя бы из этого и не последовало ниспровержения всего государственного строя». Лессинг не опошлял эпизода с Виргинией, как это говорит Дюринг, а, наоборот, углублял его.

Буржуазный поэт, вздумавший написать в Германии восемнадцатого столетия «мещанскую Виргинию», с большим трудом нашел бы развязку, удовлетворяющую требованиям трагедии. Ведь даже на саксонской родине Лессинга одна дворянская семья только что устроила свадебное торжество своей дочери, потому что наследственный деспот избрал ее в свои любовницы. На германской почве нельзя было найти ни Эмилии, ни Одоардо, и самый трагический мотив мировой истории здесь разработал бы скорее Аристофан, чем Софокл. Но Лессинг не был бы передовым борцом буржуазных классов, если бы их позор вызывал в нем не гнев, а насмешку. Поэтому, чтобы спасти психологические предпосылки своей фабулы, он перенес действие из скучно-распутного филистерского мира своей родины в среду того горячего сердца народа, из которого вышла римская Виргиния. Однако социальные формы при прочих равных условиях не ограничены национальными шлагбаумами: в раздробленной Италии мелкий деспотизм процветал не меньше, чем

в раздробленной Германии. Разумеется, благодаря старой культуре страны это происходило в более утонченных и культурных формах, и принц Гвасталла и его камергер Маринелли—все-таки другие люди, чем средний немецкий отец отечества и его гофмаршал Кальб. Но по существу дела мелкий деспотизм всюду оставался тем, чем он был и чем он должен был быть. Возмездия за его гротескно-ужасающие позорные деяния не существовало, и как бы ни казалась нам спорной трагическая развязка «Эмилии», она коренится в экономической структуре общества, в котором жили и действовали образы Лессинга. Для поэта выход за эти пределы был невозможен.

Все фибры «Эмилии Галотти» проникнуты духом той эпохи. Хотя Фишер полагает, что эта вещь возникла в результате «чистой рефлексии»,—тем не менее следует сказать, что Лессинг ни в каком своем другом произведении не подошел так близко к гениальности, как именно в этом. Образы вроде графини Орсины и принца Гвасталлы еще и сейчас не имеют себе равных в нашей драматической литературе. Кровью своего сердца Лессинг вдохнул в них бессмертную жизнь. Как часто сам он блистал трагическим остроумием Орсины! Как метко, черта за чертой, воссоздавал он в образе принца того государя-бездельника который последнее десятилетие его жизни сделал для него мучительной пыткой! Наиболее видные современники сейчас же поняли социальное содержание этой трагедии. Гердер называл автора «цельным человеком» и высказал пожелание, чтобы девизом к «Эмилии» были взяты слова: «Discite moniti» («Учитесь, ибо вы предупреждены»); Гете видел в ней «решительный шаг к моральной оппозиции против тиранического произвола» и даже в поздние годы своей жизни называл ее превосходным произведением, исполненным разума, мудрости и глубокого проникновения в мир. По его словам, тут сказывалась огромная культура, «по сравнению с которой, мы, современные люди, все еще варвары» и которая в любую эпоху должна казаться новой.

«Эмилия Галотти» была практическим выводом из теоретических положений «Драматургии»; она относится к гамбургскому периоду жизни Лессинга, хотя первый ее набросок был написан еще в 1757 г., а появилась она в свет только в 1772 г. Полжизни носился Лессинг с этим сюжетом—и в награду за такую работу получил саван! Отдельные лица с восторгом приветствовали это произведение, но широкая масса немецких филистеров и прежде всего пошлая и глупая берлинская клика оставались холодны или немы. Вскоре Лессинг

сказал, что он всячески постарается забыть об этой вещи. Даже Гердер и Гете не решались признать ее достоинства и в отдельных случаях весьма отрицательно отзывались об «Эмилии». Особенно интересно отношение Шиллера к этой трагедии. В то время, когда он находился в близком общении с Гете, он, по словам этого последнего, проявлял решительное недовольство «Эмилией»; тем не менее, как уже указывал Яков Гримм, именно на этой трагедии основывались его революционные юношеские драмы вплоть до отдельных характеров и мотивов и даже отдельных оборотов речи. В этом изменчивом отношении Шиллера к «Эмилии» отражается решительный регресс нашей классической литературы, хотя мы говорим это отнюдь не в упрек Шиллеру. Он мужественно голодал—так мужественно, что чуть не умер с голоду; и если мы должны искренно поблагодарить его за то, что он предпочел не погибнуть во имя немецкого филистерства, а спасти для потомства все же прекрасную часть своего гения, то должны примириться и с тем, что автор «Коварства и любви» стал автором «Дона-Карлоса»\*.

Чем более одиноким становился Лессинг, тем более пышным цветом расцветала кружковщина в области немецкой литературы. Ярче всего это сказывалось в Пруссии. Против берлинской литературной клики выступила литературная клика Галле, наряду с «Всеобщей библиотекой» Николай стала выходить «Немецкая библиотека» тайного советника Клотца. Сначала Николай и Клотц были добрыми друзьями, но впоследствии разошлись,— не на почве каких-либо серьезных вопросов, а просто потому, что один дал о другом плохой отзыв,

\* Господин *Отто Брам* (Шиллер, 2, 1, 79) фальсифицирует историю, когда он называет «значительнейшим шагом Шиллера» переход от честного пролетарского гнева музыканта Миллера к сентиментальной болтовне маркиза Позы. Шиллер в такой оценке неповинен. Этот шаг «преодолевал представления его юности; он уже не занимается критикой существующего, а начинает формулировать положительные требования будущего». Как мы видим, биограф пичкает бедного Шиллера такими же жалкими фразами, какими наши «благороднейшие и лучшие» стараются оправдать измену буржуазного идеализма и переход его к ограниченной политике интересов. Конечно, господин *Отто Брам* сообщает, что маркиз Поза «был понят» именно в «прусской столице». Он пишет: «Молодой король Фридрих-Вильгельм II заинтересовался представлением и с величайшим интересом наблюдал сцену между Филиппом и Позой, так как в первые дни своего царствования он еще был полон планов, направленных ко благу человечества». Попал в точку, нечего сказать! «Дон-Карлос» был закончен летом 1787 г. «Молодому королю», родившемуся в 1744 г., исполнилось тогда как раз 43 года. На престол он вступил 17 августа 1786 г. Через двенадцать дней после



или этот другой вообразил, что о нем дали дурной отзыв. Заниматься этим вздором в наше время совершенно не интересно. Лессинг одинаково далеко стоял как от одного, так и от другого. Но в то время, как критический диктатор Берлина знал лапу льва и с кислотоватой миной увивался вокруг него, критический диктатор Галле сначала льстил льву, укрывшемуся в своей берлоге, а когда тот показал ему когти, имел неосторожность нахально схватить его за гриву. Лессинг был совсем не склонен терпеливо сносить бесстыдные выходки академического шарлатана первого прусского университета, невежды и проныры, который именно благодаря этим своим свойствам достиг наиболее блестящего положения, какое когда-либо занимал университетский преподаватель в царствование короля Фридриха. На злобные и бессмысленные пояснения, которые Клотц сделал к «Лаокоону», Лессинг ответил «Актикварными письмами». Спорным вопросам, затронутым в них, мы не можем дать лучшей оценки, чем какую дал сам Лессинг, когда он писал: «В этой безделице так мало мыслей, что мне не раз становилось досадно на самого себя». Большую часть «Антикварных писем» в настоящее время читать нельзя. Наряду с прекрасной статьей «Как древние изображали смерть», статьей, по крайней мере косвенно связанной с содержанием писем, — действительно ценной частью этой дискуссии являются только семь последних писем второй части. Здесь Лессинг мастерскими чертами изображает интриги клотцевской клики, — чертами, которые стали типичными для интриг всякой литературной клики. Его жестокая расправа уничтожила Клотца, но клотцианизм он не уничтожил, а только классически обрисовал.

этого очевидец Мирабо пишет: «Король, повидимому, хочет отказаться от своих привычек, и такое начало, конечно, весьма хорошо. Он ложится спать в десять часов и встает в четыре утра. Если так будет и в дальнейшем, то это окажется единственным случаем, когда человек сумел отказаться от почти тридцатилетних привычек». Через шесть недель Мирабо следующим образом исправляет свои впечатления: «Я судил тогда на основании того, что мне казалось. Правда, король исчезал в десять часов, и все думали, что он в это время лежит в постели, между тем как во внутренних покоях дворца он устраивал сарданапаловские пиршества до позднего часа ночи». А 1 января 1787 г. Мирабо пишет: «Презрение к новому королю увеличивается со дня на день. Уже миновало смущение, которое обычно предшествует презрению». Можно представить себе, как велика была в таком случае победа маркиза Позы, который полгода спустя открывал «молодому королю» положительные «требования будущего» и способствовал «планам короля, направленным ко благу человечества»? Неужели для господина Отто Брама так и не найдется тепленького академического местечка?

Сам Лессинг это более или менее подозревал. Он чувствовал свое одиночество и написал знаменитые слова: «Я поистине только мельница, а не великан. Я стою на своем месте, вдали от деревни, на песчаном холме,—стою один, ни к кому не прихожу, никому не помогаю и никому не даю себе помогать. Если у меня есть что бросить на мои жернова, я это мелю, откуда бы ни дул ветер. Все тридцать два ветра—мои друзья. Из всей обширной атмосферы я не требую ни на один палец больше того, сколько необходимо, чтобы привести мои крылья в движение. Только пусть не мешают им свободно вращаться. Комары могут роями пролетать между ними, но шаловливые мальчишки не должны каждую минуту бегать под ними; и пусть не пробует мешать им рука, которая не сильнее ветра, их вращающего. Тот, которого подбрасывают в воздух мои крылья, должен пенять сам на себя. Когда он упадет, я не смогу мягко опустить его на землю». Так оно и было. Клотц упал и переломал себе все ребра, но клонтцианизм предоставил мельнице стоять на ее одиноком песчаном холме и еще теснее сплотился. Изящные умы Германии стонали от лессинговской грубости, и неприятный отзвук этого настроения чувствуется даже в «Поэзии и правда моей жизни» Гете. Берлинская клика вздыхала, молчаливо сочувствуя галлеской клике; правда, знаменитый филолог Рейске приветствовал в письме «великого Лессинга», но тут же наивно добавлял, что сам он слишком хорош, чтобы пачкать себе руки такой грязной кровью; а когда против Клотца выступил Гердер, то он сделал это анонимно и так неудачно, что это сотрудничество с Лессингом порочило скорее нападавшего, чем того, на которого нападали.

То, что Лессинг только предчувствовал, мы в настоящее время ясно понимаем. Пока буржуазные классы не обладают политическим самосознанием, их литература должна неизбежно вырождаться в кружковщину, и это тем неизбежнее, чем больше буржуазная политика срастается с капиталистическим хозяйством, основанным на частных интересах. Полемика Лессинга против Клотца, выступления Гете и Шиллера в «Ксениях», литературная борьба Платена и Гейне, наконец, памфлет Лассалья против Юлиана Шмидта,—все это, конечно, очистительные грозы, но разве помогает делу минутное очищение воздуха, раз остается неподвижное болото, сейчас же заражающее воздух новыми миазмами? Клотцианизм и не думал умирать и ныне процветает в буржуазных классах больше, чем когда бы то ни было,—благодаря глупости и трусости

буржуазии, которая бросила и предала Лессинга во время борьбы его с Клотцем подобно тому, как она бросала и предавала всех его преемников, ибо она погубила бы самое себя, если бы захотела убить клотцианизм.

Таким образом в Гамбурге у Лессинга исчезла почва из-под ног. Национальный театр лопнул; издательство, которое он основал вместе со своим другом Боде, погибло вследствие права перепечатки,—этого прекрасного цветка германской княжеской власти,—и от этого же погибла и «Драматургия». Наконец Лессинг решил покинуть столь приятное и благодарное отечество. С осени 1868 г. он задумал план переселения в Италию, а на родине его как будто никто не собирался задерживать. Николай считал этот план «вполне основательным», и в письмах его чувствуется между строк удовлетворенное хихиканье: счастливого пути! Широкой массе буржуазных классов предстоящая потеря их наилучшего представителя давала только приятный повод к оживленным сплетням,—говорили, что Лессинг хочет занять место Винкельмана, убитого в Триесте за два месяца пред этим. Эти отвратительные разговоры, по-видимому, сердили Лессинга больше, чем они того заслуживали. По случаю смерти Винкельмана он обронил прекрасные слова,—он сказал, что охотно подарил бы ему несколько лет своей собственной жизни, но при этом прибавил: «И все это произошло от того, что захотелось посетить императора и копить себе сокровища». Раздраженный сплетнями относительно зависимого положения Винкельмана при кардинале Альбани, он выразился еще резче, когда Штош через Николаи предложил дать ему рекомендательные письма в Рим. Этим приглашением он решил не пользоваться: «Что мне нужно видеть и как мне нужно жить, я знаю и без кардиналов». Но план итальянского путешествия расстроился, и Лессинг поехал в Вольфенбюттель, где и поступил на должность библиотекаря. Несколько его брауншвейгских друзей в конце концов собрались с духом и выхлопотали ему это место. Нельзя с полной точностью установить, что побудило его принять предложение. Тем не менее, можно думать, что решающим моментом, окончательно перетянувшим чашу весов, была его любовь к госпоже Еве Кениг, его будущей жене. Когда Лессинг окончательно решил переехать в Брауншвейг, муж ее еще был жив; Лессинг все время откладывал свое переселение и совершил этот роковой шаг только тогда, когда смерть мужа освободила Еву Кениг.

## Годы страданий в Вольфенбюттеле

Лессингу было уже больше сорока лет, когда он поступил на службу герцога брауншвейгского. Двадцать лет пытался он обеспечить себе независимое положение в жалкой обстановке тогдашней Германии, прежде чем склонил свою гордую выю под княжеским ярмом. Но хотя это было сделано не столько для того, чтобы создать себе хоть маленькое домашнее счастье, сколько для того, чтобы осчастливить любимую и несчастную женщину, похожую на него по характеру и уму, тем не менее то обстоятельство, что этот прирожденный борец стал стремиться к уютному покою немецкого филистера, было следствием трагической скованности его жизни. «Старый воробей на крыше» стал птицей в клетке; содрогаясь от нестерпимой боли, он должен был молча выносить княжеские капризы, а страстно желанное счастье, словно издеваясь над ним, лишь слегка коснулось его, «как солнечный луч, золотящий перо пролетающей птицы». Как выразился Гейне, Лессинг поплатился за свое величие, да и сам Лессинг в один из наиболее мрачных моментов своей жизни охарактеризовал свою вину и свою судьбу в следующих горьких словах: «И я хотел наконец пожить так же спокойно, как другие люди. Но это пошло мне только во вред». Его жизнь в Вольфенбюттеле была медленным умиранием, смертельной борьбой, продолжавшейся одиннадцать лет; грустно видеть, как эта неистощимая сила постепенно подтачивалась жалкой обстановкой тогдашней Германии, но, с другой стороны, насколько возвышенно зрелище этой славной, хотя и безнадежной борьбы, длившейся до самого последнего часа!

Вольфенбюттель представлял собою маленький городишко с двумя-тремя тысячами жителей и с кое-какими навевавшими тоску остатками былой придворной роскоши. Он был расположен в нездоровой местности и лишен каких бы то ни было духовных развлечений, если не считать издавна знаменитую библиотеку. Несколько бюрократов и священников, живших среди мелких земледельцев и ремесленников, в счет не идут. По крайней мере, они не имели никакого значения для Лессинга, ибо даже такие города, как Бреславль, Берлин и Гамбург не удовлетворяли тем требованиям, которые он предъявлял к людям и людскому обществу. В Вольфенбюттеле его постигло самое жестокое разочарование. В «Лаокооне» он говорит, что Софокл проявил «замечательную проницательность», когда заставил

Филоктета искать общества злодеев, лишь бы не остаться одному. Очутившись в Вольфенбюттеле, он писал Глейму: «Лучше жить среди самых дурных людей, чем вдали от всех людей. Лучше укрыться от бури в первую попавшуюся гавань, чем изнывать от штиля в открытом море». Его письма к Еве Кениг и своему брату Карлу полны таких диких проявлений отчаяния; но все-таки самые острые страдания были ему причинены рукой дурного человека.

Этим человеком был наследный принц Карл-Вильгельм-Фердинанд Брауншвейгский. Он добился переселения Лессинга в Вольфенбюттель главным образом для того, чтобы украсить свою маленькую Брауншвейгскую землю именем первого немецкого писателя. Он был достаточно образован, чтобы понимать, что такое Лессинг, но тем сильнее он ощущал деспотическое желание мучить самый свободный ум Германии. Он был племянником Фридриха Второго и желал разыгрывать из себя по его образцу просвещенного деспота. Но племянник и дядя походили друг на друга так же, как Йена на Росбах. Несмотря на свое нелепейшее увлечение французами, Фридрих никогда не доходил до того, чтобы позволить французам обращаться к нему за его же собственным столом с такой фразой, какую пришлось выслушать наследному принцу: «Странно, милостивый государь,—вы среди нас единственный иностранец». Фридрих был совершенно неспособен и к такой бесстыдной проделке, как массовая продажа уроженцев страны; к таким подлостям германского мелкого деспотизма прусский король, конечно, относился так же, как и великие люди нашей классической литературы. Самое грязное пятно на придворной истории, проделывающей ныне свою недостойную работу в германских библиотеках и университетах,—это то, что она старается извинить даже это наиболее подлое княжеское злодеяние, о котором рассказывает всемирная история.

Наследный принц и впоследствии герцог Карл-Вильгельм-Фердинанд три раза совершал сделки по продаже людей. В 1776 г. он продал Англии 4 300 человек, которые должны были отправиться на войну с американскими колониями, в 1788 г.—3 000 человек Нидерландским генеральным штатам, а в 1795 г.—1 900 человек Англии. Остановимся несколько подробнее на первой и наиболее известной из этих сделок, которые господин Эрих Шмидт называет «финансовыми реформами». 9 января 1776 г. английский полковник Вильям Фаусет заключил с брауншвейгским министром Феронсом договор, согласно которому герцог Брауншвейгский обязывался предоставить в распоряжение

английского правительства 4 300 человек пехоты и легкой кавалерии, а английское правительство, в свою очередь, обязывалось выплачивать ему субсидию, начиная со дня подписания договора. Субсидия эта определялась суммой в 64 500 немецких талеров в год до тех пор, пока немецкие отряды получали от англичан жалованье. С того момента, когда жалованье переставало выплачиваться этим отрядам, субсидия удваивалась и составляла 129 тысяч талеров в год. Эта двойная субсидия продолжала выплачиваться в течение двух лет после возвращения войск в Германию. Далее, за каждого солдата герцог получал каждый год вербовочные деньги в размере 30 талеров, за каждого убитого по 40 талеров и по 40 талеров за каждого трех раненых\*.

Проданные отряды воевали в Америке более семи лет. Из Брауншвейга они ежегодно получали новые подкрепления взамен выбывших из строя. Общий подсчет дает следующие цифры:

Брауншвейг	продан в 1776 г.	4300 чел.
Подкрепления взамен выбывших из строя	в марте 1777 г.	224 »
»	» » » » » апреле 1778 г.	475 »
»	» » » » » апреле 1779 г.	286 »
»	» » » » » мае 1780 г.	266 »
»	» » » » » апреле 1782 г.	172 »
		5723 чел.
Из этого числа осенью 1783 г. вернулось		2708 »
Общая потеря		3015 чел.

Но мы оказали бы Карлу-Фердинанду Брауншвейгскому слишком большую честь, если бы предположили, что эти 3 015 погубленных им уроженцев страны остались на поле брани. Этот негодяй приказал бросать в Америке на произвол судьбы инвалидов и раненых. Таким образом он извлекал из этих несчастных людей тройную прибыль, шедшую на удовлетворение его прихотей: сначала он продавал их здоровое тело, затем он получал возмещение за искалечение этого тела и наконец прикармливал себе жалованье инвалидов, оставляя на чужбине неспособных к труду и обрекая их на гибель. Неудивительно, что от этой великолепной «финансовой реформы» он получил свыше пяти миллионов талеров чистого барыша\*\*.

\* См. статью «Феронс ф.-Ротенкрейц» в «Allgemeine Deutsche Biographie», 6, 767 и сл.

\*\* Шлецер, Государственные известия (Schlözer, Staatsanzeigen), 6, 421; ср. далее статью: «Карл-Вильгельм-Фердинанд Брауншвейгский» в «Allgemeine Deutsche Biographie», 15, 272 и сл. По официальным данным, Шлецер определяет общую прибыль герцога в 780 000 фунтов стерлингов.

И все эти постыдные деяния, для подобающей характеристики которых оказывается слишком слабым даже богатый непарламентский язык, в наши дни оправдываются услужливыми перьями так называемой «науки»! Преемник Лессинга по Вольфенбюттельской библиотеке, господин О. фон-Гейнеман, еще ревностнее подыскивает оправдание для этих проделок, чем биограф Лессинга Эрих Шмидт. «Такие договоры о субсидиях,— пишет этот осведомленный фиванец,— не представляли собою тогда ничего необычного и отнюдь не возбуждали того отвращения, о котором говорили впоследствии»\*. Конечно, в этом не было ничего необычного, ибо ведь торговля людьми была экономической основой немецкого мелкого деспотизма, но насчет отвращения можно быть и другого мнения. Неужели вольфенбюттельской библиотекарю не знает сочинений короля Фридриха? Неужели он не читал «Коварство и любовь» Шиллера? Неужели он не знает великолепной песни Шубарта: «Вставайте, вставайте, братья, и собирайтесь с силами»! И неужели ему не известны сильные стихи Гердера:

Они питают к господам своим  
Собачью преданность. Пусть продают  
На берега Охайо, Миссиссипи,  
В Канаду или на утесы Мавра,—  
Они не ропщут. Если раб издох,  
Вдова—без средств, сироты ташат плуг  
И голодают. Что поделать? Надо ж  
Казну свою пополнить государю.

Известны ли вольфенбюттельскому библиотекарю прения в английском парламенте о торговле людьми, которую он так усиленно оправдывает? Приведем только два образчика из этих речей. Герцог Ричмондский в 1776 г. заявил Верхней палате, что если договор с немецкими князьями говорит о взаимной поддержке и союзе, то это все пустые фразы. По существу дела договор этот не что иное, как постыдная торговля наемными слугами, которых уводят на бойню штуками, как скот. Обе договаривающиеся стороны не связаны никакими иными интересами, кроме уплаты наличных денег. В Нижней палате лорд Ирнгам указывал, что немецкие князья не имеют права заключать такие договоры. Они подчинены императору и не имеют никакого права уничтожать население своей страны ради такого дела, которое не имеет ничего общего с

\* Гейнеман, История Брауншвейга и Ганновера (*Heinemann, Geschichte von Braunschweig und Hannover*), 3, 296.

интересами империи и, наоборот, вызывает у людей презрение к империи, являющейся питомником человеческих существ, отдаваемых в наем ради поддержания княжеского произвола. Неужели нынешний вольфенбюттельский библиотекарь действительно ничего не знает обо всех этих свидетельствах?

Впрочем, из всей литературы его времени ему может быть известен один только отзыв,—отзыв бесхарактерного лизоблюда Иоганнеса фон Мюллера, который, сделавшись в 1781 г. профессором в Касселе, дошел до такой наглости, что в своей вступительной речи оправдывал торговлю людьми, практиковавшуюся его новым отцом отечества. Но в таком случае вольфенбюттельский библиотекарь должен был бы знать и то, что уже в «Терниях», являвшихся ответом на «Ксении» Гете и Шиллера, в этом отнюдь не первосортном образчике тогдашней литературы, Мюллер получил грубую и меткую отповедь:

Какой позор, что все еще торгуют  
У нас людьми, и эту мерзость даже  
Пытается швейцарец некий нагло  
Цветами красноречия прикрыть.

Нет, как ни глубоко пала широкая масса германской буржуазии сто лет назад, она все-таки не долетела до той пропасти подобиюстрастия, в которой обретается ее нынешняя «наука».

Нынешний вольфенбюттельский библиотекарь говорит далее, что проданные отряды состояли не из уроженцев страны, а из всякого чужеземного сброда, которому были совершенно чужды чувства и настроения, приписываемые ему в настоящее время. Ну, конечно! Когда отряды, проданные маркграфом Ансбахским из Гогенцоллернов, взбунтовались при их отправке в Оксенфуртс и их верховный командир соизволил высочайше собственноручно стрелять в них из ружья, то этот отец народа и его дети были, конечно, взаимно одушевлены нежнейшими «чувствами и настроениями»! А теперь оказывается, что герцог Брауншвейгский приказывал вербовать отряды, отдаваемые в наем Англии, лишь в самых отдаленных концах земли; он, видите ли, скорее согласился бы совсем отказаться от прибылей, получаемых им с человеческой крови, чем коснуться единого волоса брауншвейгского уроженца; еще немного, и вольфенбюттельский библиотекарь наверное откопает какой-нибудь великолепный отель для инвалидов, который герцог де-приказал выстроить в Нью-Йорке для инва-



лидов и хромых, оставленных в Америке по его приказу. Этой елейной болтовне «буржуазной науки» мы противопоставим просто-напросто бесхитростное описание честного солдата. Об этой торговле людьми Йенс пишет следующее:

«Навербованные на родине отряды представляли собой в сущности вооруженную силу немецких сословий; но их имперский контингент состоял в большинстве случаев не из регулярных войсковых частей, а из «милиции» — необученного ополчения, набранного из граждан. Но еще хуже и постыднее то, что части постоянного войска не служили отечественным интересам, а рассматривались князьями и сословиями как предмет денежной спекуляции. В то время как империя должна была довольствоваться жалкими контингентами и ее армия стала посмешищем Европы, хорошие отряды постоянной армии отдавались на службу иностранным интересам: как раз во вторую половину восемнадцатого столетия торговля солдатами достигла наибольшего расцвета.

«Отчасти добровольно на вербованные, отчасти набранные путем самого возмутительного насилия, отчасти составленные из уроженцев страны, подлежащих «кантональной повинности», эти полки отдавались в наем за так называемые «субсидии» Венеции, Дании, Англии или Голландии, причем поставщиками их являлись Саксония, Гессен-Кассель, Брауншвейг, Ансбах и Байрейт, Ангальт, Ганау, Вальдек и Бюртемберг. Эти полки должны были сражаться и умирать в Море, Шотландии, Канаде, у мыса Доброй Надежды или в Индии. Говорить в оправдание такого образа действий, что Гессен-Кассель боролся в Америке за спокойствие протестантской Европы, которое могло быть нарушено отпадением жителей Новой Англии, — значит просто играть словами. За какой же идеал сражались в таком случае на вербованные Венецией саксонцы в Пелопонесе или нанятые голландцами швабы в «жаркой Африке»? Пусть такие оправдания предоставят французам, которые, как известно, всегда «сражаются за идею».

Это хорошо сказано, но Йенсу не следовало бы кивать на французов: времена, когда мы, немцы, могли сверху вниз смотреть на французские фальсификации истории, давным-давно миновали, если только вообще такое отношение было когда-либо обосновано \*.

Но нынешний вольфенбюттельский библиотекарь может выставить еще один довод. Он утверждает, что английские суб-

\* Йенс, 3, 2208.

сидии предназначались «исключительно» для уплаты «тяжелого долга страны», достигавшего двенадцати миллионов талеров, ибо, «поскольку известно», ни одна часть этих средств не поступала в герцогские кассы. Но этот «тяжелый долг страны» возник благодаря безумной расточительности двора, и погасить его за счет торговли населением было не очень уж большой заслугой. Но, не говоря уже об этом, удивительно то, что историк, для которого были открыты все брауншвейгские архивы, сначала говорит «исключительно», а затем, предосторожности ради, смягчает это слово выражением «поскольку известно». Разгадку этой загадки можно найти в работе другого буржуазного историка,—в «Истории французской революции и ее времени» Зибеля. Зибель тоже имел доступ к брауншвейгским архивам и на основании документов, особенно актов камеральной кассы, устанавливает, что благодаря скряжническому финансовому искусству герцога от казны утаивались суммы, требовавшиеся для покрытия самых необходимых расходов; этим, разумеется, наносился ущерб будущему страны. Он добавляет: «Бережливость была его единственным средством; американские субсидии играли лишь небольшую роль при погашении долгов». Тем не менее общая сумма субсидий, составлявшая свыше пяти миллионов талеров, была бы достаточна для погашения приблизительно половины долгов. На этом примере мы видим, насколько можно положиться на достоверность хваленной «архивной» истории. Гейнеман упоминает о договоре о субсидиях, но от актов камеральной кассы он отделяется «игрой слов». Зибель упоминает об актах камеральной кассы, но зато отделяется «игрой слов» от договора о субсидиях. Ибо как можно иначе назвать его приемы, когда он, например, с похвалой отмечает, что герцог Брауншвейгский, «несмотря на всю свою славу полководца, почти не имел ни одного солдата»? Это тоже было сомнительной заслугой, ибо, с одной стороны, Брауншвейгский полк находился на прусской службе, а с другой стороны—откуда было герцогу взять солдат для своих собственных потребностей, раз он продавал огромное число брауншвейгских кантонистов, составлявшее от 3 до 4% населения, Англии и Голландии? А может быть, приходится признать бессмертной заслугой этого государя и то обстоятельство, что он не забрал Лессинга в гренадеры и не заставил его стоять на часах перед дверями своих любовниц?

Мы несколько подробнее описали одну сторону «славной» деятельности этого немецкого князя потому, что она исчерпывающе характеризует всего человека, а равным образом, и

потому, что она чрезвычайно симптоматична для тогдашних условий жизни княжеского класса. Современные историки с помощью всяческих подделок стараются по возможности затушевать ее. Вполне понятно, что маленький деспот такого сорта, не чувствуя никакого действительного интереса к искусству и не понимая его, тем не менее разыгрывал из себя покровителя искусств и наук. Этот наследный принц со своим меценатством, со своей половой распущенностью, со своими сентиментальными жалобами, что государи не могут найти друзей, со своим злобным и коварным характером, прикрывающимся лицемерными формами, был, действительно, портретом Гетторе Гонзага, но только весьма опошленным портретом. И действительно, единственным извинением его подлых выходов по отношению к Лессингу может служить разве только то, что он почувствовал себя оскорбленным тем образом деспота, который дан в «Эмилии Галотти». В переписке Лессинга с Евой Кениг отмечены все его подвохи; тот, кто читал эти потрясающие жалобы и тем не менее говорит о неуместной чувствительности Лессинга, наверное непоколебимо убежден, что пинки деспотов, как-никак, являются честью для передовых борцов буржуазных классов. 8 апреля 1774 г. Лессинг пишет своей невесте: «Клянусь вам всем святым! Если бы за эти долгие четыре месяца, в течение которых я ничего вам не писал, у меня был хоть один приятный или даже только спокойный день, то мое молчание я не мог бы не считать гнусным». 10 января 1775 г. он пишет ей: «Да, моя милая, я и сам бы не мог понять, как это я мог столько времени не писать вам, если бы я не помнил так хорошо каждый прожитый день и не знал, почему я не писал. Все прошлое лето я провозился с лихорадкой, но в моем молчании лихорадка была мало повинна. Если бы я только мог вам сообщить одно единственное, если не очень приятное, то хотя бы не совсем неприятное известие, то эта лихорадка была бы как раз наиболее удобным моментом, чтобы это сделать». А оказывается, что эти и многие другие выражения Лессинга были только комедией, которой он тешит себя и свою невесту, чтобы как-нибудь расстроить благожелательные планы наследного принца! Так решает Эрих Шмидт, и в тех германских кругах, которые охвачены византизмом, ему верят.

Почти пять лет терпел Лессинг в Вольфенбюттеле эту адскую жизнь; даже своему брату Карлу он писал, что ясно видит свою гибель и примирился с нею. Но в начале 1775 г., когда он уже был готов «захлебнуться в грязи», он сделал последнее усилие и вырвался. Он забрал вперед за несколько кварталов свое

скудное жалованье и пустился в странствия; главным образом ему хотелось побывать в Вене, где его невеста после трехлетнего пребывания там привела в порядок расстроенные дела своего первого мужа, так что с ее стороны теперь уже не было никаких серьезных препятствий к соединению влюбленных. Оба они хотели вместе пуститься в обратный путь, но какой-то брауншвейгский принц, случайно попавший в Вену, решил, что бедный Лессинг—прекрасная для него добыча, и утащил его с собой в Италию в качестве чичероне. Лессинг на это согласился, так как вначале предполагалось сделать только прогулку в Верхнюю Италию; но предполагавшиеся восемь недель выросли в восемь месяцев; кроме того, эти месяцы прошли в случайных и бесцельных поездках туда и сюда, и потому исполнение этого заветного желания Лессинга дало ему очень мало.

Но зато прием, который он встретил в Вене, до некоторой степени вознаграждал его за годы страданий в Вольфенбюттеле. «Никогда еще немецкого ученого не встречали здесь с таким почетом»,—писал государственный советник Геблер. В честь поэта в императорском театре была поставлена «Эмилия Галотти», и Лессинг, высмеивавший в своей «Драматургии» вызов на сцену авторов,—не без некоторого злого намека на Вольтера,—должен был теперь примириться с тем, что при его появлении в театре раздавалось оглушительное «ура». Мария-Терезия и Иосиф II лучше, чем Фридрих II, понимали, как нужно вести себя с Лессингом; они тотчас приняли его, равно как и граф Кауниц, живо интересовавшийся Лессингом и старавшийся переманить его на австрийскую службу по возвращении из Италии. Лессинг сам несколько грубо пресек эту попытку. Мария-Терезия говорила с ним о состоянии образования и уровне литературного вкуса в австрийских землях. Лессинг, всегда бывший галантным мужчиной по отношению к любезным дамам, сослался на свое незнакомство с австрийской обстановкой, но императрица поняла его и печально заметила: «Я отлично знаю, что по части хорошего вкуса дело обстоит у нас не очень хорошо. Я делала в этом отношении все, поскольку это было в моих силах и соответствовало моим взглядам, но я часто думаю, что я только женщина, а женщина в таких вещах не может многого достичь». Образчик этого вкуса дал Иосиф II при первом представлении «Эмилии»: он очень хвалил пьесу на том основании, что еще никакая трагедия не заставляла его так смеяться; доброму императору, конечно, нехватало того ключа к пониманию трагедии Лессинга, которым облада-

ли брауншвейгский наследный принц и тому подобные люди, несмотря на всю их глупость.

Пусть читатель извинит нас, что мы несколько подробно остановились на всем этом, хотя мы не придаем этим деталям большего значения, чем то, которого они заслуживают и которое придавал им сам Лессинг. Он воспротивился всем попыткам перетащить его в Вену; в значительной степени, это было сделано по желанию Евы Кениг, которая знала своего Лессинга и свою Вену и вполне основательно полагала, что Лессингу там долго не ужиться,—по крайней мере до тех пор, пока «еще открыты два больших глаза», то-есть пока жива Мария-Терезия, преданная католицизму до ханжества. Но ввиду стараний прусских мифотворцев, начиная с Николаи и кончая Эрихом Шмидтом, издевательски искажающих главу «Лессинг и Вена», подобно тому, как они постыдно исказили в византийском духе главу «Лессинг и Берлин», следует изобразить превратно описанные ими события в их настоящем свете. Поэтому мы просто скажем, что Вена настолько же усиленно ухаживала за Лессингом, насколько усиленно Берлин отталкивал его от себя, и что Габсбурги в такой же степени соблюдали по отношению к Лессингу внешние формы приличия, в какой Гогенцоллерны ими пренебрегали.

На возвратном пути в Вольфенбюттель Лессинг заехал в Дрезден и был принят с подобающим уважением при дворе и в министерстве. Тем временем уже были приняты меры к тому, чтобы он не составил себе о «великих мира сего» более благоприятного мнения, чем до сих пор. В Вольфенбюттеле его ждали новые подвохи наследного принца, а в Маннгейме, придворной резиденции пфальцского курфюрста, с ним затеяли недостойную игру. Предполагалось использовать его имя в целях пфальцкого местного патриотизма; с этой целью ему стали подавать надежды на получение блестящего места, пока наконец Лессинг в резком и грубом письме не дал заслуженного отпора министру Гомпешу. Отношение к Лессингу немецких княжеских родов было приблизительно таково: Габсбурги, а также и Веттины так или иначе понимали его значение и оказывали ему уважение. Гвельфы и Виттельсбахи тоже понимали его, но, несмотря на это, или, пожалуй, именно потому, Лессинг встречал с их стороны только грубости. Но Гогенцоллерны вообще не понимали его роли, и прусские мифотворцы к величайшему их несчастью вынуждены были приписать королю несправедливый поступок, в котором он, вероятно, совсем не был повинен, только для того, чтобы

показать, что «проницательный орлиный взор» Фридриха не упускал из виду и Лессинга\*.

В начале 1776 г. Лессинг вернулся в Вольфенбюттель. Он предъявил наследному принцу энергичный ультиматум и добился в конце концов повышения своего жалкого жалованья (с 600 до 800 талеров), что дало ему возможность обзавестись домашним хозяйством. 8 октября того же года он наконец привез и свою Еву. Но домашнее счастье продолжалось недолго: через год и три месяца смерть отняла у Лессинга жену. С этим ударом Лессинг уже не смог справиться; он три года медленно угасал, «дорого оплачивая тот один год, который он прожил с разумной женщиной», и затем последовал за своей незабвенной женой в могилу. Но в эти дни величайшего страдания пламя его гения еще раз ярко вспыхнуло. Год, в течение которого он носил траур по своей жене, был в то же время классическим годом его теологической борьбы,—единственным годом десятилетнего вольфенбюттельского периода, когда Лессинг еще раз стал самим собой.

Пребывание Лессинга в Гамбурге дало ему яркие образчики самооскопления буржуазных классов. Если уже одно это мучительное сознание погнало его в Вольфенбюттель, то жизнь в Вольфенбюттеле делала его совершенно неспособным ко всем таким работам, которые «требуют особой ясности духа и особого напряжения», если бы даже он был склонен заняться такими работами. Но как раз к этому-то он и не был склонен: театр окончательно прискучил ему, и он лишь изредка думал над своей «анти-тиранической трагедией» «Спартак». Его отход от изящной литературы много раз неправильно истолковывался. Ведь эта литература именно в это десятилетие достигла, казалось, нового расцвета: Гердер и молодой Гете; поэты «бури и натиска»—Клингер, Ленц, Вагнер; Бюргер и

\* Мимоходом следует упомянуть, что похвалы, расточаемые прусскими мифотворцами по адресу Фридриха Гогенцоллерна, в действительности следовало бы перенести на Иосифа Габсбурга. Иосиф II не только хотел быть «первым управляющим» государства, но был в то же время и «поклонником человечества» и старался управлять страной согласно своим личным свободным взглядам. Фридрих говорил, что это значит делать второй шаг раньше, чем сделан первый,—изречение, политически бьющее прямо в цель и объясняющее как успехи Фридриха, так и неудачи Иосифа. Но с точки зрения *личного* культа князей только Иосиф заслуживает лавров, пожатых Фридрихом, особенно в области духовного развития Германии; даже национал-либеральный историк Бидерман вынужден признать, что за время своего менее чем десятилетнего царствования Иосиф сделал для свободы прессы больше, чем Фридрих за вдесятеро более долгое время.

«союз роции»; наконец, бесчисленные трагедии на тему о Фаусте, шекспиромания и всякие другие явления, связанные с этим литературно-историческим периодом. Некоторые исследователи доходили даже до того, что объясняли позицию Лессинга по отношению к «Молодой Германии» угрюмым брюзжанием старости и даже—как это ни невероятно—личной завистью к Гете. Правда, некоторые суждения Лессинга о первых произведениях Гете сначала могут показаться странными; странно, что Лессинг ни в своих письмах, ни в своих сочинениях не упоминает о таком поэте, как Бюргер, и что из всех молодых поэтов он тепло отзывался только о Лейзевице, близко с ним связанном и, повидимому, старавшемся ему подражать. Но ключ к этой кажущейся загадке нужно опять-таки искать в том столь часто подчеркивавшемся нами обстоятельстве, что во всей своей деятельности Лессинг сознательно или бессознательно руководился своим буржуазным классовым сознанием, а с этой точки зрения он неизбежно должен был считать «бурю и натиск» семидесятых годов опасным отклонением от того пути, по которому только и могли двигаться вперед буржуазные классы.

Мы уже указывали, что в «Драматургии» Лессинг далеко не поощрял шекспиромании и даже предостерегал против нее. Какое значение имел для него гетевский «Гец»? Он отнюдь не недооценивал гениальности поэта и писал своему брату, что если Рамлер вздумает оценивать эту драму по французскому масштабу, то надо было бы, чтобы и король посмотрел на рамлеровские оды глазами француза. Но Гете в лице Геца прославлял обыкновенного разбойника и возводил его в «благороднейшего немца», между тем как имя Геца перешло в историю только благодаря его подлой измене крестьянам во время крестьянской войны; Гете хотел спасти «память хорошего человека» и ради этого рыцаря-проходимца издевался над горожанами и крестьянами; как же мог торжествовать по этому поводу Лессинг, с полным правом требовавший, чтобы драматург свято соблюдал историческую верность при обрисовке характера, и сам всегда выступавший за интересы буржуазных классов? Совершенно так же обстояло дело и со «Страданиями Вертера». Лессинг вполне признавал поэтическую ценность романа, но такие «мелкие и великие, презренные и ценные в одно и то же время оригиналы», как Вертер, над которым буржуазные классы хныкали и проливали бесконечные слезы, считая его идеалом человека, ему совершенно не импонировали; он даже поспешил написать прекрасные строки

в честь своего молодого друга Ерузалема, которого современники считали прообразом Вертера, дабы снять с Ерузалема всякое подозрение в том, что он по своей натуре принадлежал к той же породе людей, как и тип, созданный поэтом. Не с завистью, а с сочувственным сожалением наблюдал Лессинг, как одаренная молодежь буржуазных классов сворачивала с того правильного пути, который он наметил. Он проводил резкое различие между мещанскими драмами Ленца и Вагнера и романтическими рыцарскими пьесами Клингера, а когда Николай захотел поиздеваться над народной поэзией Бюргера и издал альманах шутовских и похабных песен, Лессинг презрительно заметил этому берлинскому «просвещенцу», что вся его проделка сводится к попытке смешать чернь с народом. К молодому поколению семидесятых годов Лессинг, повидимому, ближе всего стоял в области драматической обработки фаустовской легенды. Этим сюжетом он и сам много лет занимался, но именно здесь-то и сказывается чрезвычайно тонкое и в то же время чрезвычайно глубокое различие между ним и тогдашней молодежью. Драматические планы Лессинга в отношении Фауста сводились, поскольку мы знаем, к попытке создать «буржуазного» Фауста; смысл его сюжета заключался в том, что Фауст одушевлен «ненасытной жаждой науки и познаний» и что «главный чорт» рассчитывает «всего вернее» подцепить его за эту страсть «преимущественно перед всеми прочими страстями». Но ангел погружает настоящего Фауста в глубокий сон и вместо него создает фантом, с которым черти и начинают свою игру. Когда им наконец кажется, что они победили его, ангел кричит им: «Не торжествуйте! Вы вовсе не одержали победы над человечеством и наукой. Не для того дало божество людям этот благороднейший из инстинктов, чтобы навеки сделать их несчастными; то, что вы видите и чем вы по вашему мнению обладаете, было только фантомом». Это значило бы, конечно, трактовать «Фауста» не как трагедию, а как комедию,—остроумную и глубокомысленную комедию, но все-таки как комедию. Но такой решительный и ясный борец буржуазных классов, как Лессинг, не мог дать другую драматическую обработку этой легенде реформационной эпохи. То обстоятельство, что сказание о Фаусте в шестнадцатом столетии стало всемирной легендой, а в восемнадцатом столетии—всемирной трагедией германской буржуазии, обозначало только то, что этот класс проиграл свою игру и в первом и во втором случае. Тот, кто знает, что ему надо делать в этом мире, никогда не продаст свою душу дьяволу.



Безошибочное классовое сознание Лессинга проявилось и в другом случае,—тогда, когда в ноябре 1774 г. он писал своему брату, что театр давно уже перестал интересовать его, и затем прибавлял: «Ну и прекрасно, ибо в противном случае я рискую серьезно рассердиться на театральные безобразия (ибо театр действительно начинает вырождаться в безобразии) и поссориться с Гете, несмотря на его гений, которым он так гордится. Но да сохранит меня от этого небо! Если мне захочется комедии, то я лучше устрою маленькую комедию с теологами». Полно глубокого смысла то обстоятельство, что на своем последнем великом этапе жизненной борьбы Лессинг, открывший путь Гете и Шиллеру, открыл путь Фихте и Гегелю. Буржуазные историки литературы стараются отделаться детскими фразами от того, чего они не понимают, и уверяют, что Лессинг из пьютета к своему ортодоксальному отцу откладывал борьбу с ортодоксией до его смерти, совпавшей с переселением Лессинга в Вольфенбюттель, но зато потом с тем большим увлечением принялся за дело. Мы не будем особенно останавливаться на этом поразительном искажении фактов. Неосновательность этого предположения доказывается уже тем, что даже при жизни своего отца Лессинг очень часто выступал против ортодоксии, а после его смерти боролся не столько с ортодоксией, сколько с той печальной разновидностью «просветительства», которая грозила навеки отнять у буржуазных классов духовную стойкость.

## Х

### Последние выступления Лессинга

Нигде так не важен классовый подход для понимания Лессинга, как в теологических вопросах, где этот подход как будто наименее уместен. Нет ничего более ошибочного, как главный смысл последней борьбы Лессинга усматривать в его ссоре с обер-пастором Геце. Это совершенно неправильно, но зато чрезвычайно просто. Против лютеровской ортодоксии можно шутя набрать целую кучу громовых словечек; для этого стоит только разбавить водой ту блестящую полемику, которая выделяет «Анти-Геце» Лессинга из всех его философско-теологических сочинений. Но такое понимание не только неправильно, но и несправедливо по отношению к самому Лессингу. Он меньше всего был просветителем восемнадцатого столетия или проповедником культурной борьбы девятнадцатого в обычном смысле обоих этих слов.

Современные ортодоксы надлежащим образом использовали эту грубую ошибку многих лессинговедов и, основываясь на ней, не без убедительности доказывали, что позиция Лессинга во время последней борьбы его жизни была «неясна и в глубочайшей своей сущности даже неискренна». С идеологической точки зрения совершенно напрасно пытаться подогнать философию и теологию Лессинга под одну колодку; уже Гердер понимал, что Лессинг «не создан для того, чтобы быть каким-нибудь... истом, какие бы буквы мы ни ставили пред этим окончанием». Но это еще не значит, что многочисленные «противоречия» Лессинга следует объяснять только его пристрастием к диалектическим спорам. Николай и его сотоварищи давали такое истолкование только потому, что они не могли найти лучшего. ГERVINUS избирает как раз золотую середину, когда говорит, что работы Лессинга, может быть, всегда начинались без плана, но всегда подсказывались чрезвычайно острым инстинктом. Инстинкт буржуазного классового интереса определял его мышление и деятельность. Если мы учтем этот факт, то философско-теологические бои развернутся перед нами, как целостная ткань\*.

Лессинг, этот веселый и светский человек, не обладал от природы теологической жилкой. Уже в двадцатилетнем возрасте он «мудро сомневался» и стремился достичь твердых религиозных убеждений путем исследования. Но до *положительного* религиозного убеждения он так и не дошел. Правда, о его последнем годе жизни мы узнаем из вторых рук, что он стал... истом, именно—спинозистом. Но, судя по словам Якоби, сам он говорил тогда только следующее: «Если я *должен* назвать себя по имени какого-нибудь мыслителя, то ни-

\* Вина за одностороннее и неверное понимание теологических боев Лессинга лежит в сущности на духовном опошлении германской буржуазии. Отдельных писателей нельзя делать за это ответственными, но все-таки нужно сказать, что такой взгляд особенно резко выражается—как этого и нужно было ожидать—в протестантской теологии, как, например, у Карла Шварца в его книге «Лессинг как теолог». В своем сочинении о Геце Рёпе повернул пику в обратную сторону; так же поступил и Редлих в статье о Лессинге в «Allgemeine Deutsche Biographie», 19, 756 и сл., и Христан Гросс в собрании сочинений Лессинга, 15,9 и сл. Гросс как раз и сделал великолепное открытие насчет того, что Лессинг занимал «неясную и в глубочайшей ее сущности неискреннюю позицию»; прекрасную статью Иоганна Якоби о Лессинге, как о философе, он недостойно бранит. Наилучшие и наиболее основательные работы в этом направлении дали Геблер в своих «Исследованиях о Лессинге» и Целлер в своей статье о Лессинге, как теологе, в «Historische Zeitschrift», 23,343 и сл.

какого другого я не знаю... Ортодоксальное понятие о божестве для меня больше не существует; я не могу им пробавляться». Незадолго до этого, в проекте предисловия к «Натану», Лессинг писал: «Образ мыслей Натана, отрицающий все положительные религии, издавна был и моим собственным». Это в точности соответствует действительности. Ведь еще за целое поколение до этого в некоторых отрывках, которые, подобно предисловию к «Натану» и разговору с Якоби, были опубликованы только после его смерти, молодой Лессинг называл «все положительные религии и религии откровения одинаково истинными и одинаково ложными» и с своей стороны заявлял, что «человек создан для деятельности, а не для праздной игры ума». Этому научил его буржуазный классовый инстинкт, и этот же инстинкт привел его к той самой точке зрения, которую пролетарское классовое сознание облекло в слова: «религия — частное дело». Он ни к кому не приставал со своей религией и не приставал к другим из-за их религии. Правда, в первых же своих произведениях он начал борьбу против ортодоксии, но он боролся с ортодоксией только как с орудием социального гнета, как с преградой научного исследования, как с идеологическим явлением, вытекающим из княжеского деспотизма. Просвещение обозначало для Лессинга только уяснение буржуазными классами своих интересов. Упадок буржуазии произошел в обстановке бесконечных религиозных распрей, и никоим образом нельзя было ожидать, чтобы буржуазия опять поднялась на ноги, пока имелся налицо тот же самый зловеющий признак. Каждый может верить во что хочет, но никакая вера не дает человеку права преследовать и угнетать других людей ради другого верования. Если это положение практически направлялось против ортодоксии, как деспотического средства воздействия, то принципиально из него могла извлечь пользу и ортодоксия как религиозное вероучение. Лессинг никогда не пускался в догматические споры; как религиозная система, ортодоксия была в его глазах не хуже, а при некоторых обстоятельствах даже лучше других вероучений; насмешки над религией он всегда презирал. Преследуемую ортодоксию он стал бы защищать с такой же энергией, с какой противостоял ортодоксии, выступавшей в роли преследовательницы: ведь даже запрещение папой иезуитского ордена он считал несправедливым. Религия была для него частным делом, которое не должно касаться области гражданских правовых отношений. В этом-то и заключалось огромное различие его терпимости от так называемой «терпимости» Фридриха, —

это было различие буржуазной терпимости от терпимости деспотической. Ибо деспотизм считался с вероисповеданиями не тогда, когда подданные исполняли свои обязанности, а тогда, когда он давал подданным те или другие права.

Эту точку зрения необходимо твердо помнить, чтобы не приписать теологическим боям Лессинга слишком большого или слишком малого значения. Другая точка зрения образовалась у него под влиянием той «лености и трусости» буржуазной массы, которые впоследствии Кант признавал причиной того, «что столь большая часть людей, давным-давно избавленных природой от чужого руководства, все-таки на всю жизнь оставалась несовершеннолетней и что для других людей оказывается столь легко стать ее опекунами». Вместо того, чтобы стряхнуть социальное ярмо ортодоксии и критику ортодоксальных вероучений предоставить просыпающемуся буржуазному самосознанию, «обычное просвещение» Николаи и его сотоварищей заключалось в том, чтобы систему ортодоксальных учений, распадавшуюся под лучами просыпающегося разума, обтесать деревянным топором мнимого «рассудка» и прочно запереть буржуазную массу в наскоро сколоченный овечий загон. Эта половинчатость немецкого просвещения объясняется определенными историческими причинами, которых мы касались уже раньше, но тем не менее в политическом отношении она была самоубийством; если бы она просуществовала более долгое время, она сыграла бы для буржуазных классов еще более роковую роль, чем сыграло отклонение изящной литературы от буржуазной классовой точки зрения. Именно поэтому она до глубины души возмущала такого человека, как Лессинг, и вызывала с его стороны самый суровый отпор. На этой почве и завязалась его теологическая борьба, которая в своей глубочайшей сущности была социальной борьбой и может быть правильно понята только под этим углом зрения.

Мы видели, что в гамбургский период своей жизни Лессинг видел красноречивые образчики «лености и трусости» буржуазных классов. Как раз в это время он познакомился с рукописным произведением Г. С. Реймаруса, оставшимся после смерти в бумагах этого последнего. Рукопись называлась «Апология разумных поклонников бога» и представляла собой основательную критику Библии и исследование религии, полученной путем откровения. Это сочинение чрезвычайно заинтересовало Лессинга. Оно казалось ему «свободным, серьезным, основательным, веским и ученым произведением», начавшим «решительный штурм христианской религии». В лице

Реймаруса он видел настоящего просветителя, совсем непохожего на половинчатых просветителей вроде Земмлера, Теллера, Николаи и всяких других. Но если бы даже Лессинг во многих отдельных пунктах соглашался с Реймарусом если бы даже он согласился со всеми ними, это еще отнюдь не значило бы, что он разделял основную точку зрения Реймаруса. Она не соответствовала ни его личным особенностям, ни общим его воззрениям. Личным его особенностям она противоречила потому, что трусость Реймаруса была противна всей его природе. Держать эту книгу «в тайне» и давать ее читать лишь «разумным друзьям», «предоставляя толпе невежд некоторое время пребывать в заблуждении», как это советовал Реймарус, было совсем не в духе Лессинга, который в этой «достойной похвалы скромности и осторожности» автора усматривал «чрезмерное доверие к доказательности своих положений, чрезмерное презрение к простому человеку и чрезмерное недоверие к своей эпохе». По существу дела Лессинг не мог стоять на этой точке зрения потому, что критику библейских историй он совсем не считал уничтожением христианской религии, ибо в его глазах буква не была духом, а Библия не была религией. Внимательное изучение работы Реймаруса, пролежавшей шесть и больше лет в ящике его стола, прежде чем он опубликовал некоторые ее отрывки, расширило и углубило воззрения Лессинга на исторические религиозные движения.

В письме от 9 января 1771 г., где Лессинг защищает работу Реймаруса от некоторых возражений своего друга Мозеса, он говорит: «Уже не со вчерашнего дня я озабочен тем, что, отбросив некоторые предрассудки, я отбросил вместе с ними и слишком много кое-чего другого, что мне придется впоследствии опять восстанавливать. Если я этого не сделал до сих пор хотя бы отчасти, то виной было опасение, что я, пожалуй, понемножку опять втащу к себе в дом всю эту нечисть. Чрезвычайно трудно понять, когда и где нужно остановиться, и для тысяч людей—за исключением одиночек—целью их размышлений оказывалось как раз то место, на котором они устали размышлять. Я не буду отрицать, что это же самое много раз происходило и с нашим Неизвестным (имеется в виду Реймарус)». Но в этом же письме Лессинг советует своему другу отринуть навязчивые советы Лафатера, переманивавшего Мозеса в свою веру: «Если вы ответите на его письмо, то я прошу вас ответить со всей возможной откровенностью и со всяческой твердостью. Только вы один можете так писать и так говорить по этому вопросу; в этом отношении вы бесконечно счастливее прочих

честных людей, которые могут способствовать разрушению отвратительного и бессмысленного здания только под тем предлогом, что они хотят построить его заново». Под «прочими честными людьми» здесь подразумеваются «просветители» обычного типа. Между обоими этими письмами существует как будто некоторое противоречие: Лессинг находит, что Реймарус не додумал до конца свою тему, а тем не менее рекомендует Мозесу поступить так же, как поступал Реймарус. Но это противоречие только кажущееся. Лессинг просто-напросто хотел сказать, что если честные люди желают заниматься просвещением, они должны просвещать столь же основательно, как это делает Реймарус, а Мозесу, как еврею, это сделать легче, чем христианским просветителям; при этом он, однако, полагает, что дело не только в этом, что критическое разрушение библейской истории не уничтожает религиозной веры и что размышление о возникновении и исчезновении религии не может ограничиваться только этой целью.

Об его собственных взглядах на эти вопросы особенно ярко свидетельствуют две статьи, в которых он объясняет, почему Лейбниц защищал ортодоксальные учения о троичности божества и о вечности адских наказаний от арианско-социнианских ересей. Может быть, Лессинг идет слишком далеко, когда в порыве благородного увлечения старается снять с своего великого предшественника всякое подозрение в том, что тот сделал слишком большие уступки ортодоксии; по вполне понятным причинам он просто-напросто не мог потерпеть, чтобы какой-нибудь поверхностный просвещенец отзывался о Лейбнице или Спинозе, как о «мертвых псах». Но в конце концов он все-таки доказал то, что ему нужно было доказать по существу дела: он доказал, что Лейбниц, как философ, мирился скорее с ортодоксальным учением, чем с арианско-социнианским просвещением. Эта ересь боролась главным образом с учением о божественности Иисуса, в котором Лейбниц усматривал настоящее идолопоклонство. Лессинг продолжает: «Пусть не думают, что он говорил это только для того, чтобы подслужиться к ортодоксам. Дело не в этом. Дело в том, что вся его философия возмущалась против суеверной бессмыслицы, утверждавшей, что какое бы то ни было творение может достигнуть такого совершенства, чтобы его можно ставить на-ряду с творцом... Можно ли сомневаться в том, что отверженное им религиозное представление он отвергал всем сердцем? Что он всем сердцем принимал общепринятое учение, которое может без всякого вреда сохраняться наряду с любой истиной разума,

ибо оно не желает противоречить ни одной, и не без основания хвалится, что если оно с виду противоречит хотя бы одной такой истине, то это значит, что его неправильно поняли?» Лессинг считает логически обоснованными и те заключения, которые ортодоксальный священник Аббади вывел из арианско-социнианской ереси: «Именно,—что если Христос не есть истинный бог, то магометанская религия представляет собою несомненное улучшение по сравнению с христианством, а сам Магомет был бесспорно более великий и более достойный человек, чем Христос, ибо он гораздо правдивее, осторожнее и ревностнее, чем Христос, отстаивал честь единого бога, между тем как Христос, хотя никогда не выдавал себя за бога, тем не менее сказал сотни сомнительных вещей, позволяющих простакам считать его за такового. Магомета же нельзя обвинить ни в одной такой двусмысленности». Лессинг не защищал ортодоксию от половинчатого просвещения, как это делал Лейбниц, а лишь соглашался с Лейбницем в том, что половинчатое просвещение еще невыносимее ортодоксии. Лет через пять после появления этих статей он пишет Николаи, «что арианская система бесконечно более нелепа и порочна, чем ортодоксальная». Разумеется, берлинские просветители его не поняли. Когда в 1774 г. появились его статьи о Лейбнице, Николаи отпуская шуточки насчет того, что Лессинг жаждет шляпы доктора богословия, а Мозес порицал «маленький пропуск» в лейбницевском тексте и при этом важно замечал, что он сделал это для того, «чтобы показать, что, несмотря на болезнь, я не могу оставить непрочтенными ваши статьи, хотя они и относятся к той области литературы, которую я оцениваю весьма низко». На это Лессинг отвечает с поистине неистощимым терпением, какое он всегда проявлял к этой компании: «Не удивительно ли, что вы восстанавливаете правильный текст сочинения, которое с начала и до конца должно представляться вам и действительно представляется полной бессмыслицей? Мне оно тоже представляется таковой, да и для самого Лейбница было несомненно таковой же. А тем не менее я убежден, что Лейбниц и здесь мыслил и действовал по-лейбницеvски. Ведь, несомненно, лучше философски защищать нефилософское положение, чем нефилософски опровергать его и реформировать». Нефилософское опровержение и реформирование было как раз то, чем занимались обычные просветители, философская же защита нефилософского положения была как раз в лейбницеvском духе; наоборот, Лессинг стремился философски разъяснить философское положение. Он настаивал на резком разграничении религии и философии, ибо был уверен,

что только таким путем можно вскрыть философскую сторону религии.

В 1774 г. Лессинг опубликовал маленький и незначительный отрывок из сочинения Реймаруса под заглавием «Фрагмент Неизвестного»; в 1777 г. он опубликовал пять дальнейших фрагментов, а еще через год седьмой фрагмент. Он сопровождал их противотезисами, «намордниками» — по сильному, хотя и несколько непочтительному, выражению Клавдиуса. Выставляя свои противотезисы, Лессинг вовсе не желал ослабить или смягчить критику библейского предания и этим защитить себя от нападков; это возвышенное намерение могли ему приписывать только современные лессинговеды, ищущие его за той же печкой, за которой сидят они сами. Наоборот, опубликованием этих фрагментов Лессинг хотел послужить истине; в лице Реймаруса он хотел противопоставить любителя истины ее сводникам, самостоятельно мыслящую голову — жалким крохоборам обычного просвещения. Но для того, чтобы достичь этой цели, нужно было предотвратить всякое неправильное истолкование. Лессинг понимал, что даже такая основательная и остроумная критика Библии вовсе не является «решительным штурмом христианской религии». Хотя он защищал право Реймаруса на научную критику библейских сказаний и высоко ценил эту критику за ее свободу и основательность, тем не менее он не был склонен и не считал себя обязанным принимать все конечные выводы этой критики. С ним случилось почти то же самое, что произошло с одним евреем Бокаччо. Когда этот еврей приехал в Рим и увидел весь упадок средневекового папства, он решил креститься, ибо религия, которая продолжает существовать, несмотря на столь отвратительные извращения, несомненно должна заключать в себе вечную истину. Чем более острой критике подвергал Реймарус библейские книги, тем отчетливее становилась для ясного ума Лессинга та мысль, что такое всемирно-историческое явление, как христианская религия, должно было возникнуть не из недр этого гнилого болота, а на совершенно иной почве.

Вот это-то различие между Библией и религией Лессинг и излагал в своих противотезисах к фрагментам Реймаруса. Не следует забывать, что среди этих противотезисов были уже первые пятьдесят три параграфа «Воспитания человеческого рода» и что «весь ключ» к своему главному религиозно-философскому произведению, из которого он на первых порах хотел сообщить только «предварительные наброски» («Vorschmack»), Лессинг уже давным-давно держал наготове в своей голове. Кто же



в таком случае станет серьезно поддерживать утверждение, что произведение Лессинга, во многих отношениях более богатое мыслями, чем все его прочие сочинения, было жалкой софистикой и что он высосал его из пальца, дабы при опубликовании фрагментов прикрыть самого себя и свою собственную позицию в этом вопросе? Но так как действительно существуют люди, осмеливающиеся выставлять—по крайней мере косвенно—столь абсурдное предположение, то мы приведем одно документальное доказательство того,—а их чрезвычайно много,—что Лессинг вполне серьезно относился к своей религиозной философии. Дети Реймаруса были недовольны изданием фрагментов или во всяком случае той формой, в какой они были изданы; сын боялся за репутацию своего отца, а дочь была обижена противотезисами Лессинга. Элиза Реймарус, ближайший друг Лессинга после смерти его жены, была слишком добра и слишком умна, чтобы совершенно не понимать намерений Лессинга; когда на него нападали, она всегда оправдывала и извиняла его, а насчет «Воспитания человеческого рода» говорила: «Я не могу сказать, чтобы я была особенно против написания этой книги». Но это сочинение все-таки казалось ей «причудой»; она не могла пойти дальше точки зрения своего отца и в интимных письмах к друзьям часто бранила «маски» и «софизмы» Лессинга. 6 апреля 1778 г. Лессинг послал молодому Реймарусу успокаивающее письмо; он обещает хранить безусловное молчание насчет личности автора, но насчет «Воспитания человеческого рода» он высказывается откровенно и свободно: «Эта гипотеза, конечно, в весьма значительной степени изменила бы цель, которую имел в виду мой Неизвестный. Но что же из этого? Пусть каждый говорит то, что ему кажется истиной, а сама истина пусть будет предоставлена богу». Итак, мы видим, что в этом интимном письме, написанном для успокоения семьи Реймарусов, Лессинг с умышленной остротой продолжает свое видимое лицемерие, которое должно еще больше огорчить Реймарусов: не подтверждается ли этим вполне вероятное предположение, что это мнимое лицемерие есть принципиальный научный вывод? Упрек в «неясной и в глубочайшей своей сущности неискренней позиции» можно обратить исключительно к тем людям, которые еще и поныне не видят, что между Реймарусом и Лессингом было «чрезвычайно большое» различие.

Итак, повторим еще раз: вносить смысл и внутреннюю связь в последние бои Лессинга есть поистине тяжкая задача, особенно если эту борьбу хотят гармонично согласовать с современной «борьбой за культуру». С модными лессинговедами обычно

происходит при этом то же самое, что происходило с евангелическими проповедниками гармонии, столь жестоко осмеянными Лессингом. Они придумывают средства и пути, при помощи которых «упрямое многообразие явлений можно было бы запереть, как бодливых козлов, в тесное стойло, где им никак нельзя бросаться друг на друга. Но «к сожалению, козлы остаются все такими же бодливыми, попрежнему поворачивают друг к другу головы и рога, трутся друг о друга и жмутся». Даже такой человек, как Геблер, который честнее и беспристрастнее постарался проникнуть в сущность религиозно-философских воззрений Лессинга, чем прочие исследователи Лессинга, приходит к заключению, что Лессинг хотел «объединить» и «связать» ортодоксию Геце, просветительские тенденции Николаи и свободомыслие Реймаруса. Выходит, следовательно, так, что Лессинг был до некоторой степени тот же Николаи, только возведенный в высшую степень! Но это нельзя поставить в упрек отдельному человеку, поскольку он, подобно Геблеру, честно выражает свои личные мнения. Вся вина лежит на идеалистическом методе исторического исследования. Если эти господа станут наконец на точку зрения исторического материализма, если они признают, что во всем своем мышлении, во всех своих речах и во всей своей деятельности Лессинг всегда был наиболее ясным и наиболее ярким для своего времени борцом немецкой буржуазии, то они найдут, что «упрямое многообразие» его воззрений укладывается во вполне ясную и внутренне связанную систему.

Ввиду важности этого вопроса, мы хотели бы пояснить его еще одним примером, каких, впрочем, можно было бы найти целые сотни. В 1778 г., в самый разгар дискуссии о «фрагментах», Николаи перевел или поручил перевести с английского мемуары Джона Бункеля, старую просветительскую книгу, — «сверный роман», по выражению Лессинга. Этот перевод был запрещен венской цензурой, а после этого высмеян Виландом в «Немецком Меркурии». В письме от 10 января 1779 г. Лессинг пишет Гердеру: «Игривая болтовня Виланда о Бункеле настолько же справедлива, насколько и забавна, и Николаи вполне ее заслужил. Жаль только, что Виланд выламывает таким образом целую ступеньку той лестницы, по которой должна взобраться публика известного сорта, если она вообще хочет продвинуться дальше. Вы понимаете меня». Из этих фраз Геблер выводит заключение, что поверхностное просветительство Николаи Лессинг тоже считал необходимым для воспитания человеческого рода. Если стать на идеалистическую точку зре-

ния, то против этого вывода нельзя особенно возражать: Лессинг ведь прямо говорит, что без такого просвещения «публика известного сорта» не может продвинуться дальше. Но Лессинг в дискуссии о «Фрагментах» всего ожесточеннее нападал именно на это просвещение; как мы сейчас увидим, он наносил ему гораздо более веские удары, чем Виланд своей «игривой болтовней»; особенно его возмущало — и в этом отношении он был совершенно прав — фальшивое и двусмысленное поведение Николаи. Следовательно, здесь как будто имеется налицо такое очевидное и грубое «противоречие», какое только можно себе представить. Лессинг порицал Виланда за то, что делал он сам, но лишь гораздо более энергично. Буржуазные исследователи Лессинга не могут преодолеть этого противоречия и стараются или обойти его, или затушевать. Одни говорят, что Лессинг был в сущности тоже николаитом, другие полагают, что он всегда должен был себе «противоречить»; третьи в «Воспитании человеческого рода» вставляют между еврейской и христианской религией и религией будущего еще и николаитское просвещение, как своего рода маленькую промежуточную станцию. Нечего и говорить, что остается в таком случае от Лессинга и от всего дела его жизни.

Если мы попробуем разрешить это «противоречие» с точки зрения исторического материализма и если мы предположим, что в своей религиозной борьбе, равно как и во всей своей борьбе, Лессинг руководился буржуазным классовым сознанием, то мы сейчас же увидим, что это сознание не могло до такой степени обмануть его и запутать в столь неисходное «противоречие». Мы можем тогда сказать о нем приблизительно то же самое, что он говорил в «Гамбургской драматургии» об Аристотеле: в очевидном противоречии человека вроде Лессинга изобличить не так-то легко. Он может ошибаться и часто ошибается, но при этом всегда исходит из своего классового сознания; следовать ему сегодня, а завтра бить его в лицо — на это Лессинг не был способен. Если у такого человека мы обнаруживаем такое противоречие, то мы предпочтем не доверять самим себе, чем ему, мы удвоим наше внимание, перечитаем сомнительное место десять раз и только тогда поверим, что Лессинг противоречит самому себе, когда из общей системы его классового сознания сможем понять, каким образом и благодаря чему он дошел до этого противоречия. При таком подходе «разрешение противоречия» достигается сейчас же. Перевод Бункеля был запрещен венской цензурой, а потому для классового сознания Лессинга было совершенно ясно, что даже самое поверхностное просве-

щение он должен защищать от грубого гнета деспотизма, что книга, убитая полицейской дубиной, все-таки может принести хотя некоторую пользу для публики известного сорта и что он сам должен порицать основательную, справедливую и забавную критику запрещенной книги только потому, что эта критика косвенно оправдывает духовное убийство, совершенное деспотизмом. То, что мы говорили раньше об отношении Лессинга к ортодоксам, можно повторить и об его отношении к просветителям. Преследуемых просветителей он отстаивал с такой же решительностью, с какой он боролся против просветителей, игравших роль преследователей. Свобода духа, слова и печати являлась основным требованием буржуазных классов; она была общей почвой, на которой немецкая буржуазия раньше всего могла сговориться относительно своих классовых интересов. Если эта почва подкапывалась, все прочие соображения должны были отступить на второй план: жалкое «просвещение» все-таки более соответствовало жизненным потребностям буржуазных классов, чем цензура. Таким образом чрезвычайно просто разрешается то мнимое «противоречие» Лессинга, которого не в силах разрешить идеалистическое понимание истории.

Сторонники этого направления, конечно, скажут, что все наши аргументы притянуты за волосы и совершенно не соответствуют буквальному смыслу того, что Лессинг писал Гердеру. Но тем не менее, дело обстоит именно так, и в этом отношении наилучшим свидетелем является сам Лессинг. В годы молодости он сам, между прочим, думал перевести «этот скверный роман». Николаи пришла на ум хитрая мысль—использовать этот факт в борьбе с «игривой болтовней» Виланда, и он письменно запросил Лессинга, разрешается ли ему это сделать. Лессинг отвечал письмом от 30 марта 1779 г. Сначала он задал здоровую головомойку своему старому товарищу за его трусливое поведение во время дискуссии о «Фрагментах», а затем отвечал на его запрос «напрямки»: «Нет, лучше этого не делайте! Я предвижу, что я буду вынужден дать такое объяснение, которое может бросить на вашего Бункеля еще более невыгодный свет». Затем Лессинг разъясняет, что он стал бы переводить Бункеля только для того, чтобы показать в примечании, что просвещение такого рода бесконечно более нелепо, чем ортодоксальная система, и в заключение говорит: «Поведения Виланда я совершенно не одобряю, о чем я недавно так и написал Гердеру. Насколько мне помнится, я писал ему, что к книге, запрещенной императорской книжной комиссией, никакой мыслящий человек не должен так относиться. Она наверное хороша и наверное будет способ-

ствовать просвещению некоторых людей именно потому, что она была запрещена в некоторых странах; поэтому, на мой взгляд, Виланд повинен в неблагородной лести по отношению к императору». Мы уже видели, что ничего подобного Лессинг Гердеру не писал, если придерживаться буквального смысла слов, но тем не менее, он совершенно правильно растолковал непонятливому Николаи общий смысл того, что умный Гердер «понимал» с полуслова. Лессинг разрешает «противоречие» именно так, как это противоречие должно было бы разрешаться с точки зрения материалистического понимания истории; Бункель для него достаточно противен,—он бесконечно противнее, чем ортодоксальная система,—но если цензура убивает «такой скверный роман», то можно «наверное» предположить, что он все-таки принес пользу «некоторым людям», а потому буржазный классовый инстинкт не позволяет издеваться над убитой полицией книгой.

После этих разъяснений становится совершенно понятным, почему главную свою атаку Лессинг направил против поверхностного просвещения. В глазах Лессинга просвещение это было ни рыба, ни мясо; по его мнению, оно портило и религию, и философию и в одинаковой степени стесняло и свободу мышления, и свободу веры. Лессинг желал, чтобы каждый спасался на свой фасон, понимая, конечно, эти слова в совершенно ином и гораздо более глубоком смысле, чем Фридрих, но он боролся с каждой религией, поскольку она становилась орудием фридриховского или какого бы то ни было другого деспотизма и желала надеть намордник на свободу научного исследования. Каждая религия была для него истиной, ибо каждая была переходной ступенью духовного развития человечества; каждая религия была для него ложью постольку, поскольку она стремилась затормозить дальнейшее духовное развитие человечества. Выражаясь по-современному, Лессинг видел в религиях не логические, а исторические категории: они были для него *не неизменными, а неизбежными* ступенями развития человеческого духа. Он видел в свое время, как ортодоксия деспотизма постепенно превращалась в философию буржуазии, и прекрасно понимал, что исторический процесс духовного развития нельзя ускорить внешними способами, особенно насильственными способами. Но когда ленивые и трусливые просветители неуклюже вмешивались в этот духовный процесс, когда они намеренно затушевывали все яснее и яснее обозначавшуюся границу между философией и религией, когда они с величайшей нетерпимостью проповедывали якобы очищенное, а на самом деле фальсифицированное христианство, когда они ортодоксальную систему

делали как будто немного более разумной, а на самом деле еще более бессмысленной, и это «утонченное заблуждение» превращали в мощную плотину, преграждавшую течение свободной мысли,—тогда все духовное развитие германской буржуазии оказывалось поставленным на карту. Оно грозило тогда зайти в такое болото, по сравнению с которым даже старая неподрумяненная ортодоксия казалась еще твердой почвой. Против этого рокового отклонения Лессинг и поднял свой предостерегающий голос.

Поясним только что развитую нами точку зрения Лессинга отдельными положениями, высказанными им самим, хотя подобных свидетельств так много, «что трудно выбрать наиболее подходящие из них. Уже в самом начале своей деятельности Лессинг издевается над «нелепым способом обучения христианству», заключающимся в том, что «состряпали такую превосходную смесь божественного учения и мирской мудрости, в которой лишь с трудом отличаешь одну от другой, в которой одна ослабляет другую, ибо последняя хочет достигнуть веры путем доказательств, а первая—доказательства подкрепить верой». В «Литературных письмах» он пригвождает к позорному столбу «милую квинтэссенцию» христианства, которая и более непоследовательна, и более нетерпима, чем старая ортодоксия. В первом теологическом сочинении, которое он написал в бытность свою вольфенбюттельским библиотекарем о найденной им рукописи Беренгарда Турского, он говорит: «Я не знаю, можно ли считать долгом жертвовать ради истины счастьем и жизнью... Но если человек хочет учить истине, я знаю, что его долг—учить полностью или совсем не учить, излагать ее ясно и просто, без загадок, без недомолвок, без недоверия к ее силе; а те дары, которые для этого требуются, находятся в нашем распоряжении. Тот, кто не хочет приобрести их или, приобретя, не хочет ими пользоваться, тот оказывает плохую услугу человеческому рассудку, если он освобождает нас от грубых заблуждений, но скрывает полную истину и желает удовлетворить нас чем-то средним между истиной и ложью. Ибо, чем грубее заблуждение, тем короче и прямее путь к истине. Наоборот, утонченное заблуждение может навсегда удалить нас от истины, ибо тем труднее нам догадаться, что это заблуждение... Кто думает только о том, чтобы дать человеку истину под всевозможными масками и румянами, тот может быть ее сводником, но никогда не был ее любителем». В одной из статей о Лейбнице он с горькой иронией говорит: «Он верил! Если бы я только знал, что обозначают этим словом! Я должен признаться, что в устах многих новых

теологов оно кажется мне настоящей загадкой. За двадцать-тридцать лет эти люди оказали такие успехи в религиозном познании, что когда я сравниваю с ними старого догматика, мне кажется, что я очутился в совершенно другой стране. У них наготове столько веских соображений в пользу веры, столько неопровержимых доказательств истинности христианской религии, что я только удивляюсь, как это можно быть настолько близоруким, чтобы веру в эту истину считать сверхъестественным действием благодати. Все то, что по их (старых догматиков) откровенному признанию не может дать окончательной уверенности ни в отдельных положениях, ни в общей связи,—все это многие наши новые богословы так связали друг с другом и так подточили и заострили в отдельных пунктах, что только упорнейшая слепота и намеренное упрямство не согласятся с ними. Что тут сможет и захочет сделать святой дух—это, конечно, его дело; но, по правде говоря, если он и ничего не захочет тут сделать, то ничего от этого не изменится... Поэтому те, которые за последнее время учили обращать разум к вере, должны извинить Лейбница эпохой, в которую он жил; я же скажу, что он, разумеется, не верил ни в троичность божества, ни в какое бы то ни было религиозное учение, полученное путем откровения,—если только верить значит считать что-либо истинным в силу естественных оснований». Недостаток места заставляет нас прервать цитату. Приведем еще несколько свидетельств, которые, может быть, покажутся читателю еще более убедительными.

«Просвещенцы», которых бичевал Лессинг, и особенно их берлинская гвардия, конечно, сейчас же стали упрекать его в кокетничаньи с ортодоксами; эта глупая болтовня уже и тогда встречала такое же доверие, как и в наши дни. Карл-Готгельф дошел даже до такого нахальства, что написал письмо в Вольфенбюттель, где говорил, как это огорчает его и Николай. В апреле 1773 г. он получил от Готгольда-Эфраима следующий ответ: «Какое мне дело до ортодоксов? Я презираю их так же, как и ты; но только наших новомодных священников я презираю еще больше, ибо они в слишком малой степени теологи и в недостаточной степени философы. Я совершенно убежден, что если бы эти пустые головы забрали власть, они со временем повели бы себя еще более тиранически, чем это когда бы то ни было делали ортодоксы». В совершенно таком же духе написано и знаменитое письмо от 2 февраля 1774 г.: «Говорят, что я сержусь на мир за то, что его хотят просвещать. Да неужели я не желаю от всего сердца, чтобы каждый мог разумно мыслить о религии?»

Я презирал бы самого себя, если бы своей пачкотней преследовал какую-либо иную цель кроме того, чтобы способствовать этим великим задачам. Но позволь мне действовать по-своему—так, как я, по моему мнению, могу. А что может быть проще этого? Я вовсе не хочу сохранить грязную воду, которой уже давно стало нельзя пользоваться; я только не хочу выливать ее раньше, чем узнаю, откуда взять более чистую; я не хочу, чтобы ее выливали неосторожно, дабы потом не пришлось купать дитя в навозной луже. А что же такое наша новомодная теология по сравнению с ортодоксией, как не навозная лужа по сравнению с грязной водой? С ортодоксией, слава богу, более или менее справились; между нею и философией воздвигли стену, за которой каждая могла идти своим путем, не мешая другой. Но что делают сейчас? Эту стену ломают и, желая, якобы, сделать из нас разумных христиан, делают нас весьма неразумными философами... Мы все согласны на том, что старая религиозная система ложна; но я не стану говорить вместе с тобой, что это—рубище, шитое невеждами и полуфилософами. Я не знаю ни одной вещи в мире, над которой человеческое остроумие более бы проявляло себя и более бы упражнялось, чем именно над этой. Рубищем невежд и полуфилософов является та религиозная система, которую теперь хотят поставить на место старой и которая претендует на гораздо большее влияние на разум и философию, чем старая. И ты еще недоволен, что я защищаю эту старую систему? Дом моего соседа грозит обрушиться. Если мой сосед захочет его снести, я честно помогу ему. Но он не хочет его сносить, а желает подпереть его и подвести под ним фундамент с помощью моего дома, которому грозит полное разрушение. Он должен это прекратить, в противном же случае я так же энергично заступлюсь за его дом, как и за свой собственный». Так как берлинские просвещенцы все еще не понимали его, он неустанно разъяснял им, что он «предпочитает» старую ортодоксальную теологию (в основе своей *терпимую*) новой теологии (в основе своей *нетерпимой*), так как первая открыто сражается со здравым человеческим рассудком, а вторая предпочитает подкупать его. «Я так или иначе мирюсь со своими явными врагами, дабы быть тем более на-стороже по отношению к моим тайным врагам». Брату он пишет: «если мир надо непременно тешить заблуждениями, то заблуждения старые, уже имеющиеся в обращении, для этого столь же хороши, как и новые». Конечно, все это ни к чему не вело. С берлинскими «просвещенцами» даже Лессинг не мог ничего поделать. Ведь еще в наши дни внук Карла-Готгельфа выкинул одного еврея на улицу за его еврей-



ское происхождение, и эту скверную проделку старался оправдать тем, что его газета — «Фоссова газета», — в которой Готгольд-Эфраим заработал свои первые шпоры, должна вестись в строго протестантском духе, то-есть в духе той религиозной половинчатости, которую Лессинг навсегда заклеил своими едкими насмешками.

В заключение приведем еще несколько отрывков из противотезисов Лессинга к «Фрагментам Неизвестного». В послесловии к первому фрагменту, изданному в 1774 г., Лессинг говорит о новомодных теологах: «О проповедниках естественной религии они отзываются с таким высокомерием и с такой злобой, что каждым своим словом выдают, чего следовало бы ожидать от них, если бы в их руках была та самая власть, против которой они ныне сами протестуют». В заключение он говорит: «Их разумное христианство есть, конечно, нечто гораздо большее, чем естественная религия; жаль только, что не знаешь, где у него сидит разум и где христианство». Когда в 1777 г. Лессинг издал пять следующих фрагментов, в своих противотезисах он заявил (а после вышеприведенных разъяснений нам нечего повторять, что Лессинг был тут не «неясен» или «неискренен», а говорил с глубочайшим убеждением), что «гипотезы этого человека (Неизвестного), его пояснения и доказательства» в конце концов касаются только теолога, а не христианина, *непосредственным чувством* обретающего блаженство в христианской религии. О теологах же он говорит: «Разве их мантию не перенесли уже давным-давно на другие плечи? Церковные кафедры, вместо того, чтобы говорить о необходимости отдать разум под опеку веры, ныне говорят только о внутренней связи между религией и верой. Вера — это разум, подтвержденный чудесами и знанием, а разум — резонирующая вера. Вся религия, данная путем откровения, не что иное, как возобновленная санкция религии разума. Тайн в ней совсем не существует, а если они и существуют, то решительно все равно, связывает ли с ними христиан то или другое понятие или не связывает. Как легко было опровергать тех жалких теологов, которые ничего не имели за душой кроме нескольких непонятых текстов писания и, проклиная разум, этим самым вооружали оскорбленный разум! Они восстанавливали против себя все, что желало иметь и имело разум. И насколько трудно бороться с теми, которые превозносят и в то же время усыпляют разум, объявляя врагов откровения врагами здравого человеческого рассудка! Они подкупают всех, кто желает иметь разум, но не имеет его!» И так далее.

В этом отношении чрезвычайно интересно одно замечание, которое делает Николай по поводу вышеупомянутой лессинговской «Проповеди на два библейских текста». Этот берлинский просветитель пишет: «Лессинг не только стоял за то, чтобы в теологических вопросах предоставить каждому верить по своему субъективному убеждению, но и—читатель может этому верить или не верить—не желал, чтобы вводились изменения в догматическое учение, хотя в то же время требовал, чтобы была открыта дорога самому свободному исследованию. Что таково было мнение Лессинга, я могу утверждать с полной уверенностью, так как я и Мозес очень часто спорили с ним по этому вопросу, особенно в 1776 или 1777 г., когда мы серьезно возражали против издания известных «Фрагментов». Может быть, при другом случае я разъясню, из какой точки зрения он исходил в своей идее догматики и ортодоксии и каким образом от этой точки зрения он совершенно естественно перешел в последние годы своей жизни к той мысли, что *откровение* является для человеческого рода лишь *воспитанием*. Здесь я только скажу, что, по мнению Лессинга, при всякого рода исследованиях догматику нужно совершенно оставить в стороне,—независимо от того, является ли она безусловно правильной или нет, и исходить из совершенно других точек зрения»\*. Насколько мы знаем, Николай так и не выяснил этих точек зрения в другом месте; но из его вышеприведенных слов уже достаточно ясно, что в противоположность берлинским просветителям, Лессинг считал необходимым предоставить широчайшую свободу научному исследованию, оставить в стороне догму и рассматривать религию как частное дело, между тем как берлинские просветители чинили догму всевозможными «разумными» домыслами и с еще более фанатичной нетерпимостью заявляли, что их жалкое сочинительство обладает такой же непогрешимостью, на какую претендовала законченная система старой ортодоксии. В нашем предыдущем изложении мы уже попытались выяснить, каким образом научное исследование, особенно же работа Реймаруса «совершенно естественно» привели Лессинга к выводу, что откровение есть воспитание, т. е., что исторические религии представляют собою подымающиеся ступени развития человеческого духа.

Если мы теперь спросим, почему современные николаиты столь извращают точку зрения Лессинга, развитую в эпоху его последней борьбы, и стараются создать впечатление, что главный смысл этой борьбы заключался в догматическом споре

\* Лессинг, Сочинения, 17, 266.

с ортодоксами, то ответ будет очень прост: это произошло благодаря той же «лени и трусости», которые отличали их духовных отцов. Ведь эти последние увиливали от ударов, которыми осыпал их Лессинг; разве только господин Землер—«невежда» и «нахальный гусь от профессуры», как называл его Лессинг в порыве вполне понятного раздражения,—заявлял, прикрывшись анонимом, что издатель «Фрагментов» кандидат в Бедлам, да еще «Берлинская всеобщая библиотека» после долгих колебаний выступила против него, «извиваясь, как жалкая гадюка». Зато честный ортодокс разбил себе голову о медный щит Лессинга. Благодаря выступлению этого-то бедняги Лессинг эпохи «Фрагментов» и превозносится ныне, как свободомыслящий проповедник «борьбы за культуру» современного типа. Буржуазные классы до сих пор еще не поняли, чего хотел их верный Эккардт более чем сто лет назад. Потому-то они и добились столь великолепных успехов.

Лессинг думал, что ортодоксия не будет вмешиваться в его спор с новомодными теологами, но ожидание это не исполнилось. Еще в мае 1777 г. он писал своему брату: «Если соблюдать надлежащую осторожность, то о них (ортодоксах) можно писать, что угодно. Их возмущает не то обстоятельство, что у них что-то отнимают, а то, что это отнятое заменяют чем-то новым; и они правы». Но пока обиженные просвещенцы увиливали от «Фрагментов», ортодоксия мобилизовала против «Фрагментов» все свои силы. За это на нее нельзя было бы особенно сердиться. То, что оставил ей издатель «Фрагментов», было малым утешением по сравнению с тем, что они у нее отнимали. Ортодоксальная догма была теснейшим образом связана с фактом воскресения Иисуса, которое Реймарус считал грубой подделкой учеников. Естественно, что ее сторонники поднялись против осквернителей храма. Оказалось, что Лессинг, которому опротивело «ленивое и трусливое» просвещение, в силу вполне понятной психологической реакции приписывал ортодоксии гораздо большую терпимость и гораздо большую мудрость, чем какими она в действительности обладала; в силу тогдашних исторических условий ее существования, эти качества, в конце концов, ей не особенно и требовались. Она неудержимо падала; великие светила церкви давным-давно замолкли, и ничтожные умы, разыгрывавшие из себя роль преемников Лютера, с тем большим отчаянием хватались за букву Библии, чем сильнее колебалась почва под их ногами. Понять историко-философскую точку зрения Лессинга было им совершенно не по силам; они не могли даже рассуждать дипломатически и не в состоянии были понять,

что в конце концов можно поступиться одним перышком, дабы на некоторое время спасти все туловище. Поэтому они с яростью обрушивались на автора «Фрагментов» и их издателя и с своей точки зрения были, конечно, совершенно правы. Но и Лессинг был не менее прав, когда отвечал на их настойчивые атаки и при этом на каждый их выпад отвечал еще более резким выпадом. Он соблюдал при этом всю ту гамму оттенков, которую в своих «антикварных письмах» рекомендовал судьям искусства: он был мягок и ласков по отношению к новичкам, проявлял восторженное недоверие и недоверчивый восторг к мастерам, был неумолимо строг и положителен по отношению к жалким кропателям, насмешлив по отношению к хвастунам и до последней степени жесток по отношению к интриганам.

Новичком в данном случае являлся директор Шуман из Ганновера, который, в противоположность автору «Фрагментов», доказывавшему «невозможность откровения, которому все люди могут верить на основании доказательств», старался доказать возможность откровения сбывшимися пророчествами Иисуса и совершенными им чудесами. Лессинг, со свойственной ему острой диалектикой, мягко разъяснял Шуману, что если бы даже сведения об этих чудесах и пророчествах были столь же достоверны, как только могут быть достоверны исторические факты, то все-таки случайные исторические истины не могут быть доказательством необходимых истин рассудка. Он высказывал лестную надежду, что христианская любовь поможет ему сговориться насчет христианского вероучения с этим ограниченным, но приличным человеком.

Кропателем был супер-интендент Ресс из Вольфенбюттеля. Десять противоречий, которые автор «Фрагментов» нашел в евангельской истории воскресения Христа, Ресс пытался опровергнуть наивно детским истолкованием и лживым извращением соответствующих текстов. В начале полемики Лессинг обошелся даже с ним довольно мягко; по этому поводу он написал прекрасные и глубокие слова, освещающие и результаты, и сущность его одинокой духовной борьбы: «Ценность человека составляет не истина, которой он обладает, или которой он думает, что обладает, а искреннее усилие, примененное им, чтобы достичь истины, ибо сила его совершенствуется не благодаря обладанию истиной, а благодаря разыскиванию ее, и в этом-то одном и заключается его неустанно растущее совершенство. Обладание делает спокойным, косным, гордым.—Если бы бог взял в свою правую руку всю истину, а в левую—вечно живое стремление к ней и, прибавив, что это стремление заставит меня всегда и вечно

заблуждаться, потом сказал мне: «Выбирай!»—я смиренно ухватился бы за его левую руку и сказал: «Отец, дай мне это! Чистая истина—только для тебя одного». Но чем глубже проникал Лессинг в жалкое пустословие своего «соседа», тем более жестоко расправлялся он с «отвратительными уродами, которых во множестве убиваешь днем, но которых он опять высиживает за ночь», тем больше он впадал в тон, достаточно «строгий и положительный».

Роль хвастунов и интриганов играли гамбургские ортодоксы,—в том числе, к сожалению, и обер-пастор Геце, который все же заслуживал лучшей судьбы, чем судьба насекомого, навеки застрявшего в янтаре лессинговской полемики. В Гамбурге Лессинг поддерживал с ним хорошие отношения и до дискуссии о «Фрагментах» иногда даже называл его «честным Геце». Несомненно, Геце был честный малый, во всех отношениях более хороший человек, чем разные Ланге, Клотцы и Николаи; его ортодоксальные убеждения были для него священы, он сражался за них мечом, и притом довольно умело,—а в случае нужды был готов приносить за них жертвы. Не подлежит сомнению, что Лессинг обошелся с ним несколько жестоко; даже сам Лессинг говорит, что он проделывает с ним «эволюции», что он вынужден обращать свое оружие на противника и что не все то, что он написал в пылу спора, он написал бы, если бы просто желал научить собеседника. Считать ныне правильным каждое слово, произнесенное Лессингом против Геце, значило бы оказывать величайшую несправедливость Геце и, пожалуй, даже большую несправедливость самому Лессингу. На Лессинга не нужно молиться,—его нужно понять; если бы Лессинг жил после доброго Геце, он несомненно попросил бы у него прощения за многое, но, поскольку он был его современником, он должен был поступать по отношению к Геце именно так, как он поступал. Многие из новейших лессинговедов, старающиеся спасти репутацию Геце, упускают это из виду, подобно тому как Штар, например, упустил из виду, что полемические сочинения Лессинга против Геце отнюдь не дают правильного представления об этом человеке. Вся суть в том, что Геце, как это, к сожалению, необходимо признать, играл по отношению к Лессингу роль хвастуна и интригана; он напоминал ему о смертном часе, тонкими намеками давал понять, что светской власти следовало бы за него приняться, отчитывать его, как невоспитанного школьника, за его личные религиозные верования. Все это не имело ни малейшего отношения ни к научной критике евангелий, данной автором «Фрагментов», ни к про-

тивотезисам Лессинга. Это было настоящей поповской интригой, где хвастовство сочеталось со страстью к преследованиям, и если гамбургские сторонники Геце, от которых он отнюдь не открещивался, вели себя еще хуже, чем он, то это вовсе не снимает вины с него самого, хотя, может быть, и не отягчает ее, как это утверждают его нынешние защитники. С Лессингом нельзя было обращаться так, как обращался с ним Геце, а чрезмерно терпимое отношение к злобным нападка отнюдь не принадлежало к числу его достоинств, если только это можно считать достоинством. Имея дело с хвастунами и интриганам, он становился «насмешливым» и «до последней степени жестоким», и если в данном случае он стал уж слишком насмешливым и слишком жестоким, то на этот упрек он уже исчерпывающе ответил следующими словами: «Разве можно было сохранить хоть малейшее уважение к такому человеку? К кому-либо другому—может быть! Но не к тому, в чью голову метят эти камни».

Кивки в сторону светской власти возымели желанный успех; на мощную руку, от которой противники бежали нестройной толпой, обрушились конфискации и запреты брауншвейгской консистории. Лессинга, правда, это не смутило, и он говорил в «заграничной» прессе то, что он считал нужным сказать; но так как теперь ему приходилось отказаться от работы, «в которой он не проявил, конечно, той благочестивой осторожности, которая одна только и может обеспечить счастливый исход», то в одну бессонную ночь ему пришла в голову «глупая мысль», — не попытаться ли ему выступить «на своей старой кафедре— в театре, где, может быть, ему не помешают проповедывать». «Натана мудрого» он называет сыном своей наступающей старости, которому помогла появиться на свет полемика; о стихах этого драматического произведения он говорит, что они были бы гораздо хуже, если бы они были лучше. Этой критикой великого критика можно было бы и ограничиться. «Натан» выдержан в чисто лессинговском духе; это—сокровище нашей литературы, представляющее непреходящую ценность, драгоценный сосуд, в который великолепной струей изливались последние силы героического духа. Тем не менее на «Натане» сказываются следы и возраста, и полемики. Яков Гримм, к сожалению, не совсем неправ, когда говорит, что «Натан» так же относится к «Эмили», как «Дон-Карлос» к «Фиеско». В «Натане» множество прекрасных и глубоких изречений, которые во многих случаях были бы, конечно, уместнее в классической прозе Лессинга, чем в его неуклюжих стихах, а отдельные второстепенные действующие лица, как, например, дервиш, монастырский послушник, пат-

риарх, пластически воплощающий если не ортодоксального фанатика Гете, то, во всяком случае, ортодоксальный фанатизм, стали классическими образами. Не следует забывать, что сцены между Натаном и Рехой Лессинг писал подлинной кровью сердца: ведь немецкие филистеры подлыми сплетнями постарались напоследок отнять у Лессинга последнюю тень семейного счастья—детскую любовь его падчерицы Мальхен. Но совершенно неисторические предпосылки драмы и почти иффландовское добродушие, с которым беседуют о терпимости еврей, султан и темплиер, уготовили «Натану» наихудшую судьбу, какая только могла выпасть на долю лессинговского произведения: «Натан» стал знаменем того самого крикливого и болтливового просветительства, против которого Лессинг обнажил свой острый меч.

Тем не менее, не следует судить о ценности этой драматической поэмы по ее нынешним поклонникам. Несмотря ни на что, она остается священным аккордом, которым закончилась величайшая борьба Лессинга. «Это меньше всего будет сатирическое произведение, чтобы оставить арену борьбы с презрительным смехом. Напротив, самая трогательная пьеса, какую я когда-либо сочинил»,—пишет Лессинг своему брату. Он хочет этой пьесой «напасть на врага с совершенно другого фланга», но—прибавляет он: «Моя пьеса не имеет никакого отношения к теперешним черным рясам... Теологи всех богооткровенных религий будут, правда, ругаться, но выступить против нее открыто они вряд ли осмелятся». Лессинг писал «Натана» при самых тяжелых условиях, с смертельной болезнью в груди, разбитый смертью любимой жены. Литературная деятельность его была стеснена полицейскими преследованиями, а заботы о хлебе насущном так невыносимо его мучили, что, говоря о подписке на свое произведение, он писал: возможно, что лошадь подохнет с голоду еще раньше, чем созреет овес. Но, несмотря на всю эту ужасную обстановку, его великий гений подымался до той веселой наивности, которую уже Гете так хвалил в «Натане». Наилучшим из его современников вещь эта понравилась,—она подействовала на них, как ошеломляющее откровение. «Давно, уже давно,—писала Элиза Реймарус,—никакой глоток свежей воды в сухой песчаной пустыне не доставлял такого наслаждения, как этот нам... Такой еврей, такой султан, такой тамплиер, такая Реха, Зитта,—что за люди! Если такие действительно рождаются от обыкновенных отцов на земле, то кто не предпочтет скорее жить на этой земле, чем на небе,—ведь, как вы совершенно правильно замечаете,

человек всегда дороже человеку, чем ангел». Несмотря на все недостатки, которые отмечали в драме известные и неизвестные критики, самой краткой и самой меткой ее критикой останутся слова, написанные Гердером Лессингу: «Не буду хвалить вашу драму. Сама дело хвалит мастера, а эта драма есть произведение настоящего человека».

Никакой человек, как бы мудр он ни был, не может перешагнуть умственный кругозор своего времени; современный взгляд научного познания, согласно которому в исторических религиях всегда отражается лишь экономическая борьба развивающегося человечества, Лессинг мог в лучшем случае только смутно предвидеть, как это показывает одна фраза в его «Беседах о масонстве». Стоя на буржуазно-идеалистической точке зрения, Лессинг видел в борьбе религий не результат, а причину социальной борьбы. Он писал: «Я и сейчас не знаю в Германии ни одного места, где можно было бы теперь поставить эту пьесу. Но счастье тому месту, где она впервые будет поставлена». Уже через два года после его смерти «Натан» был поставлен в Берлине, но ничего особенного от этого не произошло. Это не помешало просвещенному деспотизму Фридриха использовать положительные религии, как средства воздействия своего режима; это не помешало еврейским ростовщикам Эфраиму и Итцигу получить «вольности христианских банкиров», между тем как еврейского философа Моисея только терпели вопреки закону, а его дочь Реха после его смерти не знала даже, где преклонить голову. Но хотя Лессинг в силу ограниченных познавательных возможностей своего времени не мог заглянуть в глубочайшую причину вещей, тем не менее достойна удивления та ясность, с какой он практически осуществлял взгляды, которых не сумели и не хотят превзойти лучшие люди нашей эпохи и до которых половинчатые просветители наших дней так же неспособны додуматься, как и их предки, жившие сто лет тому назад. Этот взгляд гласит, что религиозная вера — частное дело каждого отдельного человека, из-за которого он не должен подвергаться никаким притеснениям, но что именно вследствие этого со всякой религией, становящейся намордником свободного научного исследования или оружием социальной борьбы, необходимо вести беспощадную борьбу, какова бы эта религия ни была. Если Лессинг, еще будучи юношей, все религии, полученные путем откровения, называл одинаково истинными и одинаково ложными, то в старости он, развивая тот же ход мыслей, дал характерное истолкование притче о трех кольцах, которая повторялась в мировой литературе еще со времен крестовых по-



ходов: ни одно кольцо не есть настоящее, ибо настоящее кольцо, вероятно, потеряно, но тот, кто считает свое кольцо настоящим, должен с сердечной скромностью и благожелательством проявить силу камня, заключенного в его кольцо.

Поэтому ничего не может быть глупее, как искать в «Натане» принижения христианской религии или прославления еврейской. Когда филосемитический капитализм хочет примоститься под знаменем Натана, он совершает гнусную измену по отношению к Лессингу. Своего еврея Лессинг взял просто из новеллы Бокаччо, где рассказывается притча о трех кольцах. Он боролся со всяким социальным угнетением, в том числе и с социальным угнетением евреев. Но его свободная душа даже не подозревала о том моральном обязательстве, которое ныне возлагает на человечество «Freisinnige Zeitung» и в силу которого на каждого еврейского биржевого маклера полагается смотреть, как на архангела Гавриила. Он прекрасно знал не только светлые, но и темные стороны еврейского характера, и о еврейской нетерпимости говорил с таким же презрением, как и о нетерпимости поповской. Но, обладая политическим тактом настоящего борца, он знал, что нельзя издеваться над угнетенными, пока приходится бороться с угнетателями. Поэтому он не занимался критикой еврейской религии, — критикой, от которой не считали себя в праве отказаться другие великие мыслители и поэты нашей классической литературы. Поэтому их имена красуются ныне в лепорелловском списке антисемитизма, между тем как к вечной славе Лессинга нужно сказать, что ни антисемиты, ни филосемиты не имеют никакого права на него ссылаться.

Глубокая логика последнего этапа жизни Лессинга проявляется и в том, что спор о «Фрагментах» снискал ему лавры как раз в той области, в которой он, руководясь верным инстинктом, начал борьбу и в которой он действительно проложил дорогу Канту, Фихте и Гегелю. Лессинг сам говорит о своих полемических сочинениях против ортодоксии — а они в своем роде, были классическими шедеврами полемики — как о «перебранках» и «фарсах». Зато в письме к брату он с совершенно необычным для него самоудовлетворением называет свою «новую гипотезу о евангелистах, как о простых, вполне человеческих историках», самым основательным и самым содержательным из всего, что он когда-либо написал; столь компетентный судья в этом вопросе, как Давид Штраус, подтверждает, что это «сочинение в два печатных листа содержит в себе ценные зародыши всех дальнейших исследований по этому вопро-

су)\*. Лессинг заложил прочные основания для критики евангелий: он проводил различие между тремя синоптическими евангелиями и евангелием от Иоанна, сделал ряд остроумных замечаний о возникновении и взаимной связи евангелий от Матфея, от Марка и от Луки и основательно доказывал, что только с появлением четвертого евангелия христианство перестало быть еврейской сектой и превратилось в мировую религию. Мы уже видели, что Лессинг высоко ценил ученость и основательность автора «Фрагментов», но в то же время—не по тактическим, а по принципиальным соображениям—относился к этому мастеру «с недоверчивым восторгом и восторженным недоверием». Хотя автор «Фрагментов» чрезвычайно метко вскрыл отдельные противоречия в истории воскресения, рассказанной в евангелиях, тем не менее он попадал мимо цели, когда говорил, что после неожиданной для них смерти учителя его ученики, до тех пор видевшие в Иисусе мирского мессии, вынуждены были с помощью благочестивого обмана состряпать новую религиозную систему. К такому поверхностному рационалистическому объяснению Лессинг был неспособен; в положительных религиях он видел естественный результат и необходимые условия человеческого духовного развития, и Целлер совершенно прав, говоря, что Лессинг уже выразил основную мысль гегелевской «Философии религии». Гегель называет просветительство сознательной ложью, поскольку оно болтает о «поповской выдумке» и «обмане народа»; Лессинг, конечно, не отсылался об авторе «Фрагментов» столь грубо и столь несправедливо, ибо тот вполне честно развивал свои взгляды. Но когда Гегель говорит, что «исторические свидетельства, то есть знание обыкновенных, действительно случившихся историй совершенно не касается веры» и что «вере даже не приходится в голову подтверждать свою достоверность такими историями, такими случайностями и свидетельствами»\*\*, то мысли эти звучат совершенно, как у Лессинга. Как раз такую точку зрения защищал Лессинг и от просветительства—настоящего просветительства Реймаруса и мнимого просветительства Николаи—и от ортодоксии; исходя из этой точки зрения, он высказывал совершенно верный взгляд, который новейшие лессинговеды охотно провозгласили бы глупостью, — именно, что он лучше относится к христианской религии, чем Геде и компания.

---

\* Штраус, Жизнь Иисуса, 1, 102.

\*\* Гегель, Феноменология духа, 418 и сл.

Всего подробнее Лессинг развил свои религиозно-философские идеалы в «Воспитании человеческого рода». Как мы уже видели, его положения противоречили положениям Реймаруса. Он говорит, что религии, полученные путем откровения, были средством воспитания человеческого рода, и доказывает это примерами еврейской и христианской религий. Конечно, эту мастерски написанную статью нельзя критиковать с точки зрения современной науки, равно как и нельзя усматривать ее основную мысль в гипотезе переселения душ, выставленной в самом конце. Основная мысль заключается в попытке доказать необходимость исторического упадка религий, полученных путем откровения, как раз их исторической обусловленностью. «Почему,—спрашивает Лессинг,—мы не должны усматривать во всех положительных религиях лишь тот путь, каким единственно может развиваться и в дальнейшем будет развиваться человеческий разум во всех странах, вместо того, чтобы смеяться над той или другой из них и гневаться на нее? Неужели рука божия занимается всем, только не нашими заблуждениями?» Но «превращение истин, данных путем откровения, в истины разума совершенно необходимо, если это помогает человеческому роду... Неверно, что размышления о таких вещах когда-либо вызывали бедствия и вредили человеческому обществу... В этом можно упрекнуть не размышления, а бессмысленную, тираническую попытку помешать этим размышлениям и запретить людям, имевшим свои собственные взгляды, исповедывать их». Превращение истин, данных путем откровения, в истины разума Лессинг прослеживал главным образом на вопросе о бессмертии. Еврейская религия ничего не знала о бессмертии души, ибо грубый и непривыкший к мышлению еврейский народ можно было воспитывать только путем непосредственных, чувственно воспринимаемых наград и наказаний. Христианская религия научила развитые народы руководиться более благородными побуждениями: она воспитывала внутреннюю чистоту сердца, заставляя человека думать о другой, истинной жизни, ожидающей его после земного существования. Но затем наступает эпоха завершения, эпоха нового вечного евангелия. «В это время человеческий рассудок будет еще более убежден в лучшем будущем, но человеку не будет нужды заимствовать из этого будущего побудительные мотивы своих действий, он будет делать добро потому, что это добро, а не потому, что за это ему обещаны произвольные награды, которые раньше должны были только останавливать и укреплять его непостоянный взор, дабы он понял возможность лучших, внутренних наград». Здесь уже развиты и основная

мысль гегелевской «Философии религии», и основная мысль кантовского «Учения о нравственности». Если эта глубоко продуманная работа все-таки заканчивается фантастической перспективой переселения душ, то это является лишь отражением тогдашнего немецкого убожества. Такой жизнерадостный человек, как Лессинг, ничего не хотел знать о будущей жизни; в одном из оставшихся после него отрывков говорится: «Забываясь о будущей жизни, дураки теряют жизнь настоящую. Почему будущей жизни нельзя дожидаться столь же спокойно, как завтрашнего дня? Этот довод против астрологии есть в то же время довод против всякой религии, данной путем откровения: Если бы даже было верно, что существует искусство угадывания будущего, то этому искусству нам бы не следовало обучаться. Если бы даже было верно, что существует религия, дающая нам совершенно достоверные сведения о другой жизни, то мы не должны были бы слушать эту религию». Но необходимой предпосылкой этой жизнерадостности было положение, что «человек всегда убежден в лучшем будущем», а жить этим убеждением в тогдашней благословенной Германии мог только тот, кто вместе с Лессингом с надеждой спрашивал: «Разве я могу что-либо упустить? Разве вся вечность не принадлежит мне?»

Философия Лессинга, если вообще позволительно говорить о ней, была столь же мало систематична, как и его теология. Экономическая отсталость Германии не давала ему возможности понять материализм, а в то же время его энергичная, бодрая, наслаждавшаяся жизнью натура мешала ему находить удовольствие в том, чтобы пряхсть нити идеалистической философии. Ход его философского развития вел от Лейбница к Спинозе. К Спинозе, а если хотите, то и от Спинозы. Ибо Лейбниц, сочетавший огромный спекулятивный талант с удивительным умением приспособляться к немецкому мелкому деспотизму, был «спинозист в душе», как метко выразился Лессинг; своим учением о монадах и предустановленной гармонии он только кое-как прикрывал свой спинозизм от зорких глаз ортодоксии. Философское развитие Лессинга сводилось к тому, чтобы через эту оболочку проникнуть к самому ядру, и, сняв обманчивые покровы, вернуться к основным мыслям Спинозы—единству всего сущего, закономерности всего происходящего, единосущию духа и природы. Эти мысли, хотя и чрезвычайно несистематически изложенные, можно было бы совершенно ясно заметить в его философских домыслах, если бы даже до нас не дошел вполне достойный доверия рассказ Якоби о том, что в разговорах с ним Лессинг признавался в своем спинозизме. Лессинг

дошел до границы, отделяющей идеализм от материализма; перешагнуть через нее ему помешал в конечном счете только упадок немецких условий. Этот же упадок вынудил его подняться на высоту светлого, но несколько туманного гуманизма, которым проникнута его «Беседа о масонстве Эрнста и Фалька». Когда Штар видит в этих мастерски написанных диалогах бесспорное опровержение социализма и прославление анархии, которую, по мнению Штара, лучше всего выразили в наше время Прудон и Карл Фогт, то это, конечно, не что иное, как глупость. Идеалистическая история по самому своему существу неизбежно должна всегда доходить до такой бессмысленной мешанины понятий и имен; с точки зрения научного исторического исследования можно только сказать, что «Беседы о масонстве» Лессинга благороднейшей и достойнейшей целью человеческого развития считают идеальное масонство, игнорирующее все вероисповедания и проповедующее любовь к человеку, как к таковому, и в то же время дают резкую критику той карикатуры, в которую превратилась гуманистическая идея в масонском ордене. Лессинг впервые предпринимает здесь тот полет, который предпринимали великие мыслители и поэты немецкой буржуазии, подымавшиеся над безнадежной путаницей немецкого убожества и удалявшиеся на эфирные высоты идей; они должны были это сделать, ибо только таким образом можно было еще сохранить надежду на освобождение буржуазных классов. Взобравшись на эту высоту, Лессинг бросил много провидческих взглядов в будущее,—больше, пожалуй, чем другие родственные ему рыцари духа; так, например, Фальк делает «огромный шаг вперед», по выражению Эрнста, и приходит к заключению, что государства «имеют совершенно различные климаты, следовательно, совершенно различные потребности и способы их удовлетворения, следовательно, совершенно различные привычки и обычаи, следовательно, совершенно различную нравственность и, следовательно, совершенно различные религии». Из этого можно было бы сделать с более полным основанием признание материалистического понимания истории, чем вместе с Штаром заставлять Лессинга «неопровержимо» обосновывать необходимость классовых различий, пользуясь тем, что Лессинг в силу обстановки своей эпохи не представлял себе иной возможности устранения страшных последствий этих различий, кроме идеального масонства. Но идеалистической истории не следует делать никаких уступок; если в вышеприведенном замечательном месте Лессинг как будто объясняет различие религий различием экономической обста-

новки, то все же следует сказать, что это было не сознательным подходом к новому мировоззрению, а одним из тех гениальных проблесков мысли, которые часто встречаются у наиболее передовых людей всякой исторической эпохи. В частности мысль о влиянии климата на духовное развитие народа бросили в мир уже Монтескье и Винкельман \*.

В свой последний период Лессинг надеялся победить «сопротивление тупоумного мира» только с помощью идеального гуманизма, подобно тому как после него эти же надежды высказывали Гете и Шиллер, Кант, Фихте и Гегель. Уже одно это обстоятельство показывает, как далеко он стоял от всякого материалистического мировоззрения. Но хотя путь, намеченный в его «Беседах о масонстве», отнюдь не мог освободить человечество, тем не менее в данном случае он действовал в интересах буржуазных классов, ибо никаким иным путем нельзя было спасти немецкую буржуазию, как один из факторов всемирно-исторического развития. В Германии мировое значение могла приобрести лишь буржуазная философия, но никоим образом не буржуазная политика. Лессинг, однако, никогда

\* Штар утверждает даже, что «Беседы о масонстве» Лессинг посвятил «своему государю», а господин Христиан Гросс «настолько неясен и в глубочайшей своей сущности неискренен», что под штаровским «государем» он подразумевает «высокого покровителя и почитателя» Лессинга. Современные византийцы не брезгают такими выдумками даже тогда, когда дело идет о каком-нибудь давным-давно сгнившем маленьком деспоте. Повод к этой глупой сплетне, конечно, подали К.-Г. Лессинг и берлинские просветители, которые немедленно после появления «Бесед о масонстве» стали шептать о мнимом подобию Лессинга на том основании, что «Эрнст и Фальк» был посвящен «герцогу Фердинанду», от которого Лессинг, как он это говорил в нескольких любезных строчках, «ждал разрешения еще глубже коснуться этого вопроса». Весь этот вздор объясняется тем, что перепутаны отдельные лица: «герцог Фердинанд» не имел ничего общего с наследным принцем и впоследствии герцогом Карлом-Вильгельмом-Фердинандом. Герцог Фердинанд был дядей наследного принца; он не имел собственных владений и в политическом отношении был совершенно невлиятельным гвельфским принцем. Во время Семилетней войны он был известным полководцем, а после заключения Губертусбургского мира покинул прусскую службу—отчасти из нелюбви к гарнизонной службе, отчасти из отвращения к фридриховскому режиму. Впоследствии он отклонил пост главнокомандующего, предложенный ему американским правительством во время войны с американскими колониями. Следовательно, это был один из тех свобододолюбивых и смелых солдат, к которым Лессинг всегда питал расположение. Свободомыслящему и смелому образу мыслей Лессинга вполне соответствовало, когда он, бывший сам масоном, свои «Беседы о масонстве» посвятил герцогу Фердинанду, как гротескной сатире северогерманских лож: ведь его посвящение извлекло его критику масонства от всякого упрека в пристрастии, а с другой стороны, его критика отнимала у его посвящения всякую видимость лести.

не забывал об этой последней. Как раз к последним годам его жизни относятся яркие проявления его политических взглядов. Как метко бичует он в «Натане» иллюзию, выродившуюся в наши дни в жалкое лакейство и оправдывающую деспотизм на том основании, что тот или другой деспот издали несколько смахивает на порядочного человека! Эта мысль выражена в словах дервиша:

Да что там! Это ли не лицемерье:  
Бесчисленных людей пытать, калечить,  
Давить, душить, а на любви к отдельным  
Стремиться показать свою гуманность?  
...Как? Неужели  
Не лицемерье: в этом лицемерьи  
Выискивать хорошие черты,  
Чтоб ради этих черт и самому  
В нем принимать участие?

Отрывки из «Спартак» в корне разоблачают буржуазное понятие о свободе, равно как и лаконический монолог Спартак: «Неужели человек не должен стыдиться свободы, которую он требует для того, чтобы превращать людей в рабов?» Такой же смысл имеет и не менее лаконический диалог между консулом и Спартаком:

*Консул.* Я слышу, что ты философствуешь, Спартак?

*Спартак.* Что это значит,—ты философствуешь? Но я вспоминаю... Вы послали человеческий рассудок в школу только для того, чтобы сделать его смешным. Итак, ты не хочешь, чтобы я философствовал... Философствовать... это смешно. Ну что ж... мы будем драться!

За этим следует прекрасная беседа о монахах и солдатах,— об улитках и мышах, которые уничтожают посевы земледельца и которых только дурак может считать «покровителями государства» и «опорами церкви». Интересна статья о «немецкой свободе, о которой ныне всюду придерживаются весьма нелестного мнения». Французский писатель «уверяет, что все немецкие подданные—рабы, с которых их господа могут сдирать шкуру, сколько им угодно», а Лессинг замечает: «Если он имеет в виду то, что действительно происходит, то он, пожалуй, почти прав». Но вслед за этим Лессинг говорит, что устройство немецкого государства в сущности совершенно не таково. В древнейшие времена, о которых пишет Тацит, германские короли и герцоги не могли предпринять никакого важного шага, не посоветовавшись с народом. В средние века сословия страны привлекались ко всем важным правительственным де-

лам, особенно в тех случаях, когда налагались новые подати или решался вопрос о войне. Если ныне дело обстоит не так, если «почти повсюду содержатся на вербованные солдаты, подчиненные только государям», то причину этой перемены Лессинг, вместе с историком Штрубе, усматривает в том, что «согласие знати, бывшей наиболее влиятельным сословием, было получено на ландтагах благодаря тому, что ее поместьям была предоставлена установившаяся в древние времена свобода от обложения, а членам ее семейств предоставили гражданские и военные должности». Но, хваля «историческую» проникаемость Штрубе, Лессинг в то же время порицает «политические» взгляды этого писателя, старающегося оправдать несправедливость сегодняшнего дня несправедливостью дня вчерашнего. Этот взгляд кажется Лессингу «еще более дурным и рабским». Он спрашивает: «Но если это происходит, то следует ли из этого, что так и должно быть? Не должны ли мы, по крайней мере в наших сочинениях непрестанно протестовать против этих несправедливых обвинений, вместо того, чтобы с подобострастным снисхождением оправдывать и извинять действия важных особ?» и т. д.

Несмотря на ясное понимание чисто политических вопросов в узком и даже самом узком смысле этого слова, Лессинг понимал, что ему не следует метать этого бисера перед немецкой буржуазией. Насколько правильно было в этом отношении его буржуазное классовое сознание, показывает судьба порядочных людей, которые тоже пытались выступать на политическом поприще. Люди эти застряли в болоте, — и Мезер, и младший Мозер, и Шлецер, и многие другие. Наряду со многими хорошими вещами, ими написанными, Мезер, например, защищал крепостное право, Мозер объявлял «преступлением» затрагивать божественное право государей, а Шлецер называл «смешной претензией» суждения о взглядах власти. В политическом отношении с буржуазными классами Германии ничего нельзя было сделать в ту эпоху, когда буржуазный автор писал: «Вряд ли когда-нибудь появится такой гений, приказы которого могли бы истощить наше терпение», а другой в сочинении о национальной гордости издевательски замечал: «Не мечтай о свободе, пока мы на любой кивок отвечаем, подобно рабам цезаря».

Мы, прикажи он, пойдем против брата родного и против Матери нашей родной, хотя бы рука и дрожала.

В наше время такое настроение снова признается вершиной «немецкой свободы».



В своем идеальном взлете Лессинг не мог увлечь за собой немецкую буржуазию, не мог увлечь даже духовный авангард этой буржуазии! В теологической борьбе его последних лет, его сторону—по крайней мере в письмах—принимали Гердер и Мозес, но когда после смерти Лессинга готовились к печати соответствующие письма, Гердер с раздражением писал: «Какое нахальство впутывать меня в эту историю!» А благородный Мозес, этот предполагаемый прообраз Натана, заявил после смерти Лессинга, нисколько не считаясь с истиной, что сочинения Реймаруса он никогда не читал и за словесной перепалкой Лессинга следил не из интереса к теме, а из интереса к своеобразной форме дискуссии. Когда мы читаем о такой подлости, нас глубоко потрясает доверие, с которым за несколько недель до смерти Лессинг обращается к этому самому старому своему другу, прося его подать о себе весточку: «Право, дорогой друг, чтобы совершенно не испортить себе настроения, я должен время от времени получать от вас хоть маленькое письмишко. Я не думаю, чтобы вы считали меня за человека, жадного до похвал. Но холодность, с которой свет показывает некоторым людям, что они совершенно ему не подходят, если не убивает, то во всяком случае ledenит... Ах, дорогой друг, эта сцена кончена! Как хотел бы я опять поговорить с вами!» Так писал Лессинг 19 декабря 1780 г. из Вольфенбюттеля, а 15 февраля 1781 г. он, отправившись в Брауншвейг, навсегда закрыл там свои усталые глаза.

## XI

### Лессинг и пролетариат

К году смерти Лессинга относятся три литературных явления, резко противоположные друг другу.

Памфлет короля Фридриха о немецкой литературе провел очевидную для всего мира непреходимую границу между духовной жизнью Германии и прусским деспотизмом. Мы не должны поддаваться на удочку наглых византийских похвал, которыми нынешние историки литературы стараются подкрасить эту бессодержательную стряпню. Шерер называет ее «неописуемо трогательной», а Зуфан делает придворный книксен: «С упрямством великого короля ничего нельзя было поделать,—оно было неразрывно связано с его величием»\*. Несомненно,

\* Зуфан, Памфлет Фридриха Великого о немецкой литературе (*Suphan, Friedrichs des Grossen Schrift über die deutsche Literatur*); ср. также прекрасную критику Зуфана, данную Ксантином-Зандфоссом в «*Zeitschrift für vergleichende Literaturgeschichte*», Neue Folge, 2, 482 и сл.

безнадежная духовная пустота, которая смотрит на читателя с каждой страницы памфлета, тоже неразрывно связана с «величием деспотизма». Но если и так, то придворные льстецы буржуазной истории не могут отрицать, что между просвещенным деспотизмом и нашей классической литературой существовало и должно было существовать непримиримое противоречие и что сочинение Фридриха является как бы позорным столбом для нелепой легенды о Лессинге. Нужно быть не столько патриотом, сколько идиотом, чтобы плакать над теми сентиментальными фразами, которыми Фридрих в конце книги описывает будущий расцвет немецкой литературы.

Фридриху можно до известной степени извинить его невежество, — он не имел решительно никакого представления о духовном развитии буржуазных классов, и его прозорливому деспотизму волей-неволей приходится выдать в этом отношении свидетельство о бедности. Несомненно также и то, что в припадке деспотической мании величия он пожелал нанести немецкой литературе кровную обиду. Министр Герцберг с виноватой миной, но все-таки с достаточной откровенностью указал ему на наиболее грубые промахи его памфлета, но король довольно «немилоостиво» ответил: «Я уже не могу менять эти мелочи». Передовые борцы буржуазных классов восприняли памфлет, как пощечину. Гердер презрительно говорил о привидении, которое ходит среди бела дня, а Клопшток в гневных одах обличал деспота, от которого он некогда ждал, что тот «кровь других людей прикроет более прекрасными лаврами». Ответ Гете на издевательства короля, к сожалению, многое потерял в силу придворных соображений; Гердер находил в нем «отдельные прекрасные мысли», но в общем памфлет его не удовлетворил. Отзывов Лессинга о памфлете до нас не дошло. Мы знаем только, что, за несколько дней до смерти, он прочел ответный памфлет аббата Ерузалема, выдержанный в придворном и пошлом духе. Король, деспотизм которого он уже давно и в совершенстве понял, не мог сказать ему ничего нового; он считал вполне естественным, что немецкая муза, как выражался впоследствии Шиллер, ушла от трона Фридриха беззащитная и не удостоенная никаким знаком внимания; по мнению Лессинга, Фридриха надо было больше всего благодарить за то, что она сама создала себе ценность. Но из несколько апокрифической фразы, которую Фридрих, якобы, бросил Мирабо пять лет спустя, мы напрасно стали бы выводить почтительное заключение, что король стоял на такой же точке зрения, как и Лессинг, и что он предоставил немецкую литературу самой

себе, дабы она таким образом достигла тем более пышного развития. «Неописуемо трогательный» конец его памфлета проводит как раз ту мысль, что литература может набраться сил только благодаря княжеским дворам. «Пусть у нас появятся Медичи, и тогда расцветут гении. Августы породят Виргилиев». Деспот вроде Фридриха не мог иначе мыслить.

Далее, к году смерти Лессинга относится появление «Разбойников» Шиллера. В этом гениальном первом произведении Шиллер продолжал начатую Лессингом борьбу против тиранов. За этим произведением быстро следовали «Фиеско» и «Коварство и любовь». Все эти вещи были проникнуты духом Лессинга, но дышали несравненно более могучим поэтическим талантом. Но буржуазные классы не желали слушать эти уста, произносившие столь великие вещи; после блестящей, но короткой карьеры Шиллеру пришлось променять «узкий круг гражданской жизни» на «более высокую арену», которая на самом деле была ареной, гораздо более низкой. Примирение с немецким мещанством привило немецкой литературе зародыш смерти. Она медленно, но неудержимо шла под уклон. Когда меч иностранного завоевателя осуществил то, чего не смогли осуществить буржуазные классы, и когда наполеоновское владычество вымело наиболее скверный сор с немецкой земли, чтобы затем невыносимой тяжестью лечь на все классы нации, — романтическая поэзия верно отразила это странное и двойственное положение. Национальные и социальные интересы немецкой буржуазии вступили в непримиримое противоречие друг с другом; этот класс не мог стряхнуть иностранное иго без того, чтобы не подпасть под еще более тяжелое внутреннее иго. Напрасно вожди романтического направления старались перемахнуть через зияющую пропасть с помощью вымученной гениальности и пресловутой «иронии»; напрасно перерывали они литературу всех веков и народов, чтобы найти почву, на которую они могли бы опереться. Романтическая поэзия искала этой почвы в «волшебной лунной ночи» средневековья: оказывалось, что только здесь можно было найти национальные идеалы Германии. Но средние века были эпохой безраздельного классового господства помещиков и попов, и от этого раздвоения национальных и социальных интересов уйти было нельзя. Гениальнейший поэт романтической школы Генрих фон-Клейст кончил безумием и самоубийством; ее популярнейший певец Людвиг Уланд сначала воспевал милых королевских дочерей, а потом — старое, доброе швабское право, которое в действитель-

ности давным-давно сгнило. И это происходило несмотря на то, что этот благородный поэт и упрямый человек освобождался от романтических влияний по мере того, как увеличивались затруднения его класса.

Происходило то, что должно было произойти. Благодаря неразвитости буржуазных классов восточной Европы, феодальный легитимизм победил в борьбе против той эпохи, заря которой занялась с 1789 г. над нашей частью земного шара. Пламенная ненависть Байрона к победителям при Ватерлоо, гейневский мечтательный культ Наполеона, едкий вопрос Платена:

Вот так борьба за свободу! С башкирами разве в союзе  
Ты состоял; Мильтиад, идя на перса войной?

на все это имелись весьма веские причины. Достаточно вескими причинами объясняется и то, что прусские реакционеры с торжеством подняли на щит господина Бисмарка-Шенгаузена, который в 1847 г. в свойственном ему нелепом стиле заявил в объединенном ландтаге, что в 1813 г. прусское ополчение выступило в поход ради спасения феодально-легитимистского отечества.

Разумеется, прусскому ополчению этого и во сне не грезилося. Оно боролось во имя других целей, а совсем не за священный союз,

Земную троицу, что так же с божьей,  
Как обезьяна с человеком, схожа.

Но эти иллюзии разлетелись в прах, ополчение оказалось бессильным свергнуть одновременно и иностранное, и туземное засилье. Огромные жертвы оказались принесенными зря; в результате страшной борьбы не было достигнуто ни политической свободы, ни даже национального единства. Тупая, бездушная, мелочная реакция, готовая приставить к каждой мысли полицейского шпиона, свинцовым иглом тяготела над умами. Романтика завершилась глупейшей трагедией рока, пошлыми и многословными писаниями Клаурена и сотоварищей. В борьбе с этой невыразимой пошлостью Платен научился владеть своим блестящим оружием. В своем «Романтическом Эдипе» он высмеивал «последний крик романтической моды,—это визжание, продолжающееся десятилетия». А Гейне спел «последнюю свободную лесную песню романтики в капризном и мечтательном духе той романтической школы, где я провел приятней-

шие годы юности и в конце концов побил палкой учителя». В немецкой литературе опять началось оживление, как только буржуазные классы, залечив наиболее тяжелые раны, стали шевелиться. Но в каких потемках они еще блуждали, ясно показывает отвратительная ссора между Гейне и Платеном, которые не понимали друг друга и которых не понимала широкая масса буржуазных филистеров. Гейне почил в Париже, Платен—в Сиракузах; для величавых талантов, которые появились вслед за ними в тридцатых и сороковых годах, изгнание стало истинной родиной. Немецкий филистер оказался все-таки неисправимым и в 1848 г. опять проиграл свою игру.

После этого он уже не полагался на силу мысли, песни или меча, а старался добиться улучшения своего классового положения с помощью крылатых ангелочков прусских банкнот. Он целиком отдался своим материальным интересам. Буржуазная литература перестала быть духовной водительницей нации, но зато стала послушной служанкой буржуазии. Ее «признанный примас», ее «помазанный миром король»—господин Юлиан Шмидт—отпускал пресные остроты по адресу Гуцкова и сотоварищей, которые еще сохранили от предмартовской эпохи небольшой остаток буржуазных идеалов. Зато он пустил в оборот трескучую фразу, что немецкая поэзия должна воспевать немецкий народ за «работой». Густав Фрейтаг избрал это изречение девизом к наиболее популярному из своих романов и превозносил сытую и платежеспособную мораль немецкого мещанина, хвастливо противопоставляя ее морали обанкротившихся польских юнкеров и бессовестных ростовщиков-евреев. Идеалом немецкого «работника» стал честный юноша, который в течение бесконечного ряда лет, тихо и смиренно за своей конторкой пишет письма и счета, пока—не он женится на дочери принципала, ибо как мог бы дойти он до такой дерзости!—его не женит на себе стареющая дева. Замолкли последние отзвуки пламенных польских песен Платена, Ленау и Гервега; буржуазная поэзия высчитывала по пальцам, сколько товарных тюков погибло во время бесполезных волнений, связанных с польским восстанием; в романе Фрейтага господин Антон Вольфарт, видный коммивояжер фирмы Т. О. Шретера—немецкий работник, герой и патриот—высочайшую свою задачу видит в том, чтобы среди отчаянных смертельных судорог невыразимо мучающегося народа использовать беспокойную внешнюю обстановку и не упустить из рук ни одного геллера. В драме происходило то же, что и в романе. Лесничий Отто Людвиг трагически погибает потому, что он, будучи «работополучате-

лем», не в состоянии понять, что его «работодатель» в любую минуту может выбросить его на мостовую; а главными выразителями трагического элемента в трагикомедии буржуазного рабочего контракта являются нечистоплотные проходимцы, излагающие идейное содержание буржуазной революции в следующих словах: «Люди теперь знают, что обитатели тюрем—почтенные страдальцы, а знатные люди—негодяи, как бы они ни были честны. Прилежные работники тоже негодяи, ибо они виноваты в том, что хорошие люди, не желающие работать, живут в бедности».

Этот наивный «реализм» буржуазии, правда, существовал только в пятидесятые годы. Лассаль начал свой бунт против черни и ринулся, словно молния, на Юлиана и его приспешников. Но мы уже видели, почему эта гроза не могла проявиться и очистить буржуазную литературу. Этот устрашающий пример подействовал лишь в том отношении, что буржуазный роман постарался обрядить свое трясущееся туловище в львиную шкуру «социального романа». У него хватило хитрости на то, чтобы, облачившись в такой костюм, протанцевать свой первый танец над могилой человека, нанесшего ему удар в сердце. Первым «социальным романом» был роман Шпильгагена «Один в поле не воин». В нем выступает гениальный авантюрист Лео Гутман, которого морально и духовно побеждает мягкий и мудрый доктор Паулус. Лео Гутман—это Лассаль, а доктор Паулус—тот самый Лева-Кальбе—действительно социальный тип немецкой буржуазии,—который раньше был президентом Штутгартского усеченного парламента, а впоследствии стал национал-либеральным протекционистом и парламентским агентом стяжательской политики Центрального союза немецких промышленников.

Вместе с героем спускался вниз и певец. Если в романе Шпильгагена «Один в поле не воин» социальные противоречия освещались хоть до некоторой степени, то в его последнем романе, появившемся несколько лет тому назад—«Что выйдет из этого?» эта сторона бесследно исчезла. Мы уже ничего не слышим здесь о жизни рабочих классов, если не считать карикатурных образов демагогов, обрисованных согласно официозным образцам. Зато на протяжении трех толстых томов горсточка «обеспеченных» индивидов занимается разрешением социального вопроса: квинт-эссенцию их мудрости формулирует полковник прусского генерального штаба, заявляя, что социальный вопрос, конечно, должен быть решен, но он может быть и будет решен только высшим усмотрением имущих классов.

Эти классы и главным образом немецкая буржуазия в 1866 и 1870 гг. отделились целиком на волю прусских штыков. Во всех концах империи начали твердить, что вслед за политическим подъемом последует литературный подъем, не имеющий себе равных. Как будто этот класс мог еще создать мыслителей и поэтов,—этот класс, имевший вместо хребта капральскую палку, на которую с таким непреодолимым отвращением смотрела наша классическая литература! Вместо ожидаемых колоссов пришли ничтожные людишки, каких еще никогда не бывало в литературе другого великого народа. Достаточно сказать, что Пауль Линдау стал литературным султаном германской имперской столицы. Капиталистическая страсть к гешефтам увлекла все отрасли литературы, между прочим и театр. Трибуна Лессинга и Вольтера стала спекулятивным финансовым предприятием, а иногда, пожалуй, даже публичным домом. Самую позорную роль в этом проституировании сцены играли те, на которых в первую очередь лежала обязанность оберегать ее честь. Буржуазные Лессинги организовывались в целые союзы, чтобы брать контрибуцию с театра, эксплуатировать и притеснять его работников. Они основывают собственные «суды чести», которые классическими изречениями доказывают несговорчивым театральным работникам—и мужчинам, и женщинам—необходимость беспрекословного подчинения. Такой «суд чести» не находит ничего дурного в том, что какой-нибудь литературный султан посылает шелковый шнурок—приказ об увольнении—бедной пролетарке сцены, не пожелавшей отправлять для него барщинные повинности, или что паша этого султана за два года вымогает от двух театров 1406 даровых билетов.

Только оживление рабочего движения, все больше и больше разгорающегося, бросило некоторый свет в буржуазную литературу. Те из ее деятелей, которые обладали хоть каким-нибудь талантом, начали восставать против этой невыразимой продажности и лжи. Стали говорить о возвращении к естественности и правде, но так как в буржуазном обществе нельзя было найти ничего кроме противоестественности, то новое натуралистическое направление впало в безнадежный пессимизм. Оно творило не во хмелю, а в похмельи. Оно всюду ищет декаданс, гниение, упадок; один молодой писатель, довольно близко стоящий к натуралистическому направлению, с полным правом издевался над «декадентской молодежью, поклонниками упадка, любителями гниения», «которые, чтобы доказать свою мужественность, хвастаются сифилисом»\*. Не говоря уже о

ловких ремесленниках пера, которые пишут в натуралистическом духе, так как это модное направление щекочет и подстегивает читателя, даже лучшие и наиболее одаренные представители натуралистической школы умеют описывать только то, что гибнет, а не то, что возникает. Их будущее окончательно определится в зависимости от того, смогут ли они перешагнуть широкий ров, отделяющий пролетарский мир от капиталистического. Буржуазное общество уже не в силах создать новый расцвет литературы.

Наконец, в год смерти Лессинга появилось главное произведение Канта, открывавшее новую эпоху, — «Критика чистого разума». Им «начинается духовная революция в Германии, в которой наблюдаются замечательные аналогии с материальной революцией во Франции и которая более глубокому мыслителю должна представляться столь же важной, как и французская. Развитие ее проходит те же самые фазы, и между обеими ими обнаруживается поразительнейший параллелизм» (Гейне). Странно: все ее великие провозвестники — Кант, Фихте, Гегель — действовали в том самом прусском государстве, на которое классические поэты немецкой буржуазии смотрели с таким непреодолимым отвращением. Прусская капральская палка, действовавшая во всемирно-исторической комедии, загоняла немецкую философию на все большие и большие высоты, пока то, что казалось раньше грозovým облаком, не превратилось в безобидного верблюда или ласку. Капральская палка преследовала Канта «за искажение и принижение некоторых главных и основных учений священного писания и христианства», она «строго приказала ему не распространять больше подобных произведений и учений» и с удовольствием выслушала мудрый ответ мудреца: «Отречение и отказ от внутреннего убеждения есть низость, но в таком случае, как настоящий, молчание есть долг подданного. И если все то, что говорят, должно соответствовать истине, то это вовсе еще не значит, что человек обязан публично говорить всю правду». Классическая философия не говорила публично всей правды, — во всяком случае не высказывала ее столь открыто, чтобы капральская палка поняла ее. А когда в лице Гегеля она достигла высочайшей точки своего развития, она превратилась в прусскую государственную религию, которую кандидаты на высшие преподавательские должности должны были знать на зубок, в отличие от всех прочих «поверхностных фило-

\* *Курт Эйзнер*, Духовная психопатия (*Kurt Eisner, Psychopatia spiritualis*), 31.



софий», от которых настойчиво предостерегало министерство народного просвещения. То, что было действительно, было разумно, а так как прусское государство со своими крепостями и тюрьмами было действительно, то оно было также и разумно; тот, кто в этом сомневался, объявлялся демагогом, и за ним охотились до тех пор, пока он не обращался к настоящему разуму.

Но то, что говорил Гегель о французской революции, можно было сказать и о его собственной философии: она ставила все вещи на голову. Ее нужно было перевернуть, чтобы найти разумное революционное зерно под ее действительной реакционной оболочкой. Из прусской государственной философии вылился революционный социализм. Классическую философию Маркс закончил бодрой борьбой за дело рабочего класса, подобно тому как Лессинг открыл дорогу этой философии после безнадежной борьбы за буржуазный класс. Энгельс правильно говорит, что немецкое рабочее движение—наследник немецкой классической философии. После появления «Коммунистического манифеста» в 1848 г. с буржуазной философией в Германии было кончено. Ее патентованные представители в высших школах варили всевозможные эклектические похлебки, с каждым десятилетием, оказывавшиеся все более и более ненужными. Философские потребности буржуазии обслуживал целый ряд модных философов, сменявших друг друга по мере меняющегося хода развития капитализма. С начала пятидесятих годов до середины шестидесятих модным пророком был Шопенгауэр—философ испуганного мещанства, яростный ненавистник Гегеля, отрицатель всякого исторического развития, писатель, не лишенный парадоксального остроумия, богатых познаний,—впрочем, не столько глубоких, сколько широких,—и до некоторой степени обладающий лоском классической литературы, усвоенным им отчасти тогда, когда солнечные глаза Гете были еще открыты; Шопенгауэр, со свойственной ему пронырливостью, своекорыстием и злословием, являлся духовной копией буржуазии, которая, испуганная шумом оружия, дрожала, как осиновый лист, думала только о своей ренте и бежала от идеалов своей величайшей эпохи, как от чумы.

С середины шестидесятих до начала восьмидесятих годов, Шопенгауэра сменил Гартман, философ бессознательного. Альберт Ланге метко и с горькой иронией говорил о нем, что он попытался все буржуазное образование свести к точке зрения австралийского негра. Все, чего Гартман не понимал в истории и природе,—а таких непонятных вещей было бесконечно много,—

он относил к области бессознательного, подобно тому, как австралийский негр видит в чорте «фантастическое отражение своего собственного невежества». Но это было превосходной философией для германской буржуазии, которая после битвы при Кениггреце «бессознательно» добралась до «самой вершины европейского культурного мира» и которой совсем не требовалось понимать, как она взобралась по этой лестнице, раз она хотела исполнять свой шумный военный танец с душевным спокойствием австралийского негра. Гартман доказал ей все, чего она могла только пожелать. Он доказал, что либеральные идеи—это накижная сыпь девятнадцатого столетия: с похвальным глубокомыслием он открыл, что грюндерство спекулятивного периода знаменовало более высокую форму хозяйственного оборота и обозначало приближение к решению социального вопроса; он превозносил закон против социалистов, как прекрасное средство воспитания рабочих классов, и в конце концов с оглушительным барабанным боем провозгласил, что он и его австралийские негры «следовали по пути тех трех философов, благодаря великому гению которых прусское государство, очистившись и углубившись, осуществило свою всемирно-историческую миссию: Канта, Фихте и Гегеля»\*.

Но в начале восьмидесятых годов Гартмана сменил Ницше, философ крупного капитала. «Всемирно-историческая миссия прусского государства» осуществила все, что от нее требовалось. По существу дела, в этом буржуазном лозунге проявлялось удовлетворение немецкой буржуазии, довольной тем, что были наконец устранены те препятствия, которые мелкие немецкие государства и их устарелые учреждения ставили расширению капитализма. Но в ходе развития, совершавшегося с беспримерной силой и быстротой, сама «национальная мысль» стала барьером, который нетерпеливо расшатывал капитал, стремившийся к экспансии; в эпоху, отмеченную, с одной стороны, картелями и трестами, а с другой—международным рабочим движением, совершенно выцвели флажки пограничных столбов между отдельными странами; капитал создал новую касту, царящую над Европой, и эта каста по своему существу с ног до головы выкроена по одному шаблону, и совершенно одинакова и в Лондоне, и в Риме, и в Мадриде, и в Москве. Ее немецким философом стал Ницше. Во «Всемирно-исторической миссии прусской державы» он видел только «политику ин-

\* Гартман, Два десятилетия германской политики (*Hartmann, Zwei Jahrzehnte der deutschen Politik*).

термидии»; он издевался над мнимым величием тех государственных людей, которые сужали дух народа и делали «национальным» его вкус; он высмеивал «политиков с близоруким кругозором и с быстрой рукой», которые воздвигали «между народами безумие национальностей». Но он думал совсем не о народах, не о «стадных людях Европы», которые делают вид, будто они — «единственно дозволенная порода людей», и которые свои собственные качества — «общительность, благодушие, снисходительность, трудолюбие, умеренность, скромность, осторожность» — провозглашали подлинно-человеческими добродетелями. Он восхвалял одиночек, сверхчеловеков, свободных людей, благородные души, которым «эксплуататорский характер» так же свойственен, как свойственны жизни органические функции. Они живут «по ту сторону добра и зла» и считают «совершенно справедливым», когда другие существа приносят себя им в жертву. Об испорченности можно говорить в тех случаях, когда аристократия жертвует своими привилегиями ради чрезмерно развитого морального чувства; «существенной особенностью хорошей, здоровой аристократии является то, что она без всяких укоров совести принимает жертвы огромного множества людей, которые ради нее должны подвергаться угнетению и становиться неполноценными людьми, рабами, орудиями». И так далее. Ницше был не только глашатай, но и жертва крупного капитала. Этот тонкий и богато одаренный ум с отвращением и ужасом созерцал безграничную нищету, порождаемую капитализмом; но он был отягчен наследственной болезнью, вырос в роскоши, был избалован и заласкан женскими руками; понятно, что в сегодняшней нищете он не мог узреть надежду дня завтрашнего и потому судорожно искал разумного оправдания крупного капитала. Это, конечно, должно было погубить его собственный рассудок и, к сожалению, действительно погубило его в самом буквальном смысле слова. А наемные писатели той самой буржуазии, которая некогда называла Лессинга своим первым передовым борцом, провозглашают сумасшедший бред этого бедного больного последним словом земной мудрости...

Жизненный труд Лессинга принадлежит не буржуазии, а пролетариату. В том буржуазном классе, за интересы которого он боролся, оба эти класса еще не были отделены друг от друга, и было бы глупо приписывать ему определенную точку зрения на те исторические противоречия, которые развились лишь долгое время после его смерти. Но сущность и цель его борьбы, от которых отказалась буржуазия, усвоил себе пролетариат; буржуазную классовую борьбу, которую спас Лессинг, переведя

ее в область философии, Маркс вывел из области философии и превратил в пролетарскую классовую борьбу. То обстоятельство, что рабочие классы спасают политическую репутацию Германии, между тем как буржуазные классы погубили ее,—нельзя считать возмездием божественной справедливости. Дело обстоит проще. Так как буржуазные классы пренебрегли духовной работой своих передовых борцов, то в силу законов исторического развития это драгоценное наследство должно было стать арсеналом, из которого рабочие классы взяли свое первое блестящее и острое оружие. Ведь не настолько же бессмысленна в конце концов наша земная юдоль, чтобы Лессинги боролись и страдали лишь для забавы филистера. Лессинг принадлежит к числу духовных предков пролетариата, подобно тому как Глейм, Рамлер и Николаи принадлежат к числу духовных предков буржуазии. Жизнь и деятельность Лессинга перешли в плоть и кровь борющихся и страдающих рабочих, хотя эти рабочие, благодаря нашему великолепному школьному образованию, весьма мало знакомы с произведениями Лессинга.

Но и это изменится. Наступит день, когда легенда о Лессинге рассыплется и от нее не останется никаких следов. Когда Гервинус в последний раз попытался пробудить в буржуазных классах политическое самосознание, он писал в конце своей работы: «Соревнование искусства окончено: теперь мы должны поставить себе другую цель, которая у нас еще не нашла себе приверженцев, хотя и в этой области Аполлон дарует славу, в которой он не отказывал там». Цель, которую имел в виду Гервинус, до сих пор не нашла своих стрелков, а слава, дарованная Аполлоном «там», тоже давно померкла. Но другие борцы нашли себе другую цель, и им нет надобности вопрошать бога, дарует ли он им такую же славу и в области искусства. Они взялись за дело с настоящего конца, и за классической политикой неизбежно последует классическая литература. В дни грубой и тяжелой борьбы музы молчат, но это не значит, что они откажут в венках рабочим классам. Эти венки будут утренним даром в тот день, когда наступит всемирное торжество рабочих. Тогда и Лессинг получит награду за то преступление, которое совершили над этим благородным передовым борцом свободного человечества его современники и потомки.

**НЕМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА  
В ПЕРИОД ПОДЪЕМА БУРЖУАЗНОЙ  
ДЕМОКРАТИИ**

---

## Лессинг

### «Эмилия Галотти»

Открытие пятого сезона «Вольного народного театра» драматическим шедевром Лессинга является для него счастливым предзнаменованием. «Эмилия Галотти» считалась шедевром еще в эпоху поэта, и хотя с тех пор прошло уже более ста лет, гранитное здание этой трагедии ничуть не пострадало. Одинокостью его башни над плоскостью нашей драматической литературы, и только немного из того, что явилось после него, как «Коварство и любовь» Шиллера, может померяться с ним, как вызов деспотизму. Из каждого столба этого здания, могли бы мы сказать вместе с Платеном, поднимается вверх несокрушимая вечность.

Почти пятнадцать лет обдумывал Лессинг сюжет своей трагедии, пока она вылилась из его духа в своей классической форме. Богатый различными драматическими планами, которые в огромном большинстве не могли быть, к сожалению, осуществлены вследствие неблагоприятных условий того времени, Лессинг между прочим остановил свое внимание на истории Виргинии, о которой повествует римский историк Ливий.

В эпоху классовой борьбы патрициев и плебеев децемвиры (десять мужей), комитет патрициев, захватили незаконным образом правительственную власть и злоупотребляли ею с безграничным бесстыдством. Аппий, глава децемвиров, объявив Виргинию, путем противозаконного судебного постановления, несвободной, вырвал ее из недр семьи. Тогда отец Виргинии на площади вонзил прекрасной жертве кинжал в сердце, чтобы избавить ее от верного позора. Этот неслыханный акт воспламенил

давно уже назревавшую и плебейских массах революцию, и гос. подство децемвиров было свергнуто насильственным путем.

Этот исторический сюжет положен в основу «Эмилии Галотти». 27 января 1758 года Лессинг из Лейпцига писал Николаи, которому он уже раньше сообщил, что один «молодой человек» работает над трагедией, чтобы принять участие в конкурсе на премию, установленную Николаи, за лучшую трагедию. «А пока мой милый драматург, от которого я, по моему тщеславию, много ожидаю, кончит свою работу. Он работает почти так же, как и я. В семь дней он пишет семь строк. Он непрерывно изменяет свой план и непрерывно кое-что вычеркивает из уже написанного. Его тепершний сюжет—это бюргерская Виргиния, которой он дает имя Эмилии Галотти. Он исключил из истории римской Виргинии все, что делало ее интересной для всего государства, он думал, что судьба дочери, которую убивает отец, потому что ее добродетель для него дороже ее жизни, уже сама по себе трагична и способна потрясти всю душу, хотя бы за этим и не последовало сейчас крушение всего государственного строя. Пьеса рассчитана на три акта и использует без всяких стеснений все вольности английского театра. Это все, что я пока вам могу сказать. Могу еще прибавить, что мне самому хотелось бы напасть на такой сюжет. Он мне кажется таким прекрасным, что я несомненно не взялся бы за его обработку из боязни испортить его». От этого первого наброска «Эмилии Галотти», к сожалению, не осталось ничего. Что он существенно отличался от трагедии в том виде, в каком мы ее имеем, вытекает уже из того, что она содержит пять актов и не использует вольностей английской сцены. Своей строгой законченностью она скорее напоминает образцы французской сцены. Но в одном, решающем пункте Лессинг уже и в первом наброске—и в окончательной обработке—изменил свой римский прообраз: он исключил все, что делало историю Виргинии «интересной для всего государства».

Лессинга поэтому упрекали, что он упростил выбранную им историческую тему. Говорили,—между прочим и очень известные критики,—что он искусственно перенес акт грубой римской добродетели в современные условия. Нет ничего более несправедливого и неверного, чем подобные речи. Эти критики не замечают как раз того, что делало и делает «Эмилию Галотти» еще и теперь жизненной: ее революционного характера. История римской Виргинии еще до Лессинга служила во Франции, Испании и также в Германии темой для драматической обработки, но только как пролог римского государственного пере-

ворота. Если бы Лессинг пошел по этой проторенной дорожке, то он, вероятно, сделал бы это лучше, чем его предшественники, но столь же вероятно, что его пьеса, как и почти все трагедии из истории Рима, почил бы непробудным сном в архивах театральных библиотек. Нет, он проявил себя именно, как современный поэт и революционер, рассмотрев в знаменитом рассказе Ливия наиболее возмутительную и потрясающую спутницу социального угнетения—оскорбление девической чести, в восемнадцатом веке представлявшее такое же современное явление, как и две тысячи лет назад, как и теперь еще, как и всегда, пока будет существовать угнетение. Лессинг доказал свою социальную проницательность именно тем, что этот трагический момент в его всемирноисторической всеобщности был для него бесконечно важнее, чем единичный случай, давший случайный толчок для политического переворота. Лессинг не упростил историю Виргинии, но углубил ее.

Правда, способ, каким Лессинг переработал исторический сюжет, породил другую трудность, с которой он, по свидетельству многочисленных и опять-таки очень известных критиков, не справился. Действительно, она затрагивает наиболее уязвимый, чтобы не сказать единственно уязвимый пункт трагедии. В эпизоде с Виргинией преступление, совершенное по отношению к невинной девушке, получило свое возмездие путем свержения насильников, а где мы видим это возмездие в случае с Эмилией? Дочь падает от руки отца, потому что она сама умоляет убить ее, потому что боится, что не устоит в борьбе против сластолюбия деспота, по наущению которого был вероломно убит у порога алтаря ее возлюбленный. А отца отправляют, как убийцу, в тюрьму, а затем, вероятно, и на эшафот, в то время как деспот сваливает всю вину на своего пособника и, отделавшись несколькими сентиментальными словами, переходит к своим очередным правительственным делам. Можно и не предъявлять мещанское требование к трагедии, чтобы порок был в ней наказан, а добродетель торжествовала, и все-таки считать такой конец неудовлетворительным. Напрасно Гете старался устранить эту трудность, говоря, что поэт недостаточно ясно выявил, что Эмилия в сущности любит принца, но устранить этот недостаток таким образом значило бы окончательно погубить трагедию. Если бы Эмилия действительно любила принца, то старый Одоардо не был бы в таком случае трагическим героем, он убил бы тогда дочь, чтобы обеспечить ее анатомическую невинность или отнять у принца верную добычу. Лессинг поэтому весьма предусмотрительно заставляет



его сказать в последнем монологе, что если бы парочка слюбилась, то дочь была бы недостойна пасть от руки отца. Нет, Эмилия не любила принца и, согласно замыслу поэта, не должна была его любить. Однако то, что она и ее отец не знают никакого другого средства против произвола деспота и собственной князебоязни, кроме убийства дочери отцом, и представляет ужасное того рода, которое, согласно указаниям самого Лессинга в его «Гамбургской драматургии», не может возбудить ни страха, ни сострадания, а следовательно, не может произвести трагический эффект, если бы даже оно было исторически обосновано.

Таким образом, если развязку «Эмилии Галотти» нельзя обосновать с точки зрения трагического, то только потому, что очень легко обосновать ее с точки зрения истории. В нашей статье о «Коварстве и любви» Шиллера мы более обстоятельно изобразили немецкий мелкокняжеский деспотизм XVIII века и его губительное влияние на народную жизнь. Буржуазный поэт, который при тогдашних условиях хотел бы создать буржуазную Виргинию, не мог бы найти трагически-примиряющую развязку. Ведь еще незадолго пред тем на саксонской родине Лессинга одна дворянская семья устроила свадебное торжество своей дочери, потому что наследственный деспот выбрал ее одной из своих метресс. На немецкой почве не могли вырасти ни Эмилия, ни Одоар: здесь наиболее трагический, быть может, мотив всемирной истории вызвал бы скорее насмешливую улыбку, чем трагический плач. Но Лессинг не был бы передовым бойцом буржуазных классов, если бы их позор вызывал в нем только насмешку, а не гнев. Поэтому он был вынужден, чтобы спасти психологические предпосылки своей драматической фабулы, перенести действие из скучно-распутного филистерского мира своего отечества обратно в страну пылкой страсти, где выросла римская Виргиния. Однако социальные формы жизни, при прочих равных условиях, никогда не замыкаются в определенные национальные границы: в раздробленной Италии мелкокняжеский деспотизм процветал не меньше, чем в раздробленной Германии, хотя и в более утонченных и культурных формах. И здесь, и там, да и всюду он, по существу дела, оставался тем же, чем он был и должен был быть. Возмездия за его гротескно-ужасающие позорные деяния не существовало, и как бы ни казалась нам и теперь спорной трагическая развязка «Эмилии», она коренится в экономической структуре общества, в которой жили и действовали образы Лессинга. Для поэта выход за эти пределы был невозможен.

Мы не знаем, что помешало Лессингу обработать свой первый набросок. Были ли это внешние трудности его непоседливой жизни, или трудности, связанные с самой темой,—во всяком случае пятнадцать лет, которые прошли между первым упоминанием об «Эмилии» и ее окончательным завершением, пошли ей очень впрок. Лессинг находился в полном расцвете своего творчества, когда он около 1768 года снова приступил в Гамбурге к работе над своей трагедией. Она должна была служить проверкой для теории драмы, которую он развил в «Гамбургской драматургии». Но последовавший вскоре крах национального театра, драматургом которого был Лессинг, помешал и на этот раз окончанию «Эмилии». Только уже библиотекарем в Вольфенбюттеле, в пустынных залах княжеского замка, вокруг стен которого витали тени не одной Эмилии и Виргинии, поэт закончил свой драматический шедевр. Ему хорошо была известна слабая сторона его пьесы. Чем ближе он подвигался к окончанию своей работы, тем более, по его собственному признанию, становился он недоволен ею, но он имел право гордиться могучим поэтическим творением, которое, по словам Гете, поднялось из Готтшедо-Геллерто-Вейсовских вод подобно острову Делосу, чтобы с любовью принять богиню, несшую в чреве своем Аполлона. Эпиграмматически ясный и точный, подчас даже слишком лаконичский язык, словно из чистого металла вылитая структура драматического развития, изображение отдельных характеров, в каждом из которых бьет полный пульс жизни,—все это было в немецкой литературе до того времени совершенно незнакомо и, в известной степени, не было вновь достигнуто и до сегодняшнего дня.

Принц явился первым государем нового времени, которого осмелился изобразить немецкий драматический поэт, и остался до сих пор также и последним. Уже первые слова первого явления характеризуют его: «Жалобы, только жалобы! Прощения, только прощения! Печальные занятия! И нам еще завидуют!» Боясь всякого серьезного труда, он разыгрывает из себя жертву непомерной тяжести труда. Единственное прошение, которое он удовлетворяет, обязано этим тому обстоятельству, что просительница называется Эмилией, и это единственное решение, которое он принял, он берет затем наполовину назад без всякого основания, точно так же, как он его прежде без всякого основания принял. Все в нем—каприз, настроение, случайное наитие мгновения. От природы не глупый и не плохой человек, он является продуктом профессии, в которой он родился. «Половинчатый в каждой добродетели и в каждом пороке—как

его изображает новейший историк литературы,— и только в одном отношении совершенно цельная натура: в непоколебимом сентиментальном сознании своего княжеского величия», в сознании, которое при дряблой половинчатости приводит к целой мерзости. В своем самодурстве он становится рабом собственного орудия: того самого Маринелли, которого он сегодня, в бесильном испуге пред кровавым преступлением, прогоняет, он завтра же призовет назад, чтобы усладить свою княжескую праздность при помощи новых преступлений. Некоторые артисты совершенно неверно делают из Маринелли нечто вроде Мефистофеля. Но, как уже указал Гете, Маринелли, по замыслу поэта,—настоящий придворный, трусливый и пошлый, жадный и пресмыкающийся, злобный и мстительный, как обыкновенно бывает такая «придворная дрянь», мерзавец без характера и ума. Напротив, графиня Орсина—настоящая демоническая натура, создание которой удастся только первоклассному поэтическому гению. Лессинг, сам всегда отказывавший себе в имени поэта, одарил ее значительной долей того трагического остроумия, которым он обыкновенно облегчал себе жизнь в самые ее горькие минуты. Он с полным убеждением предсказывал, что в руках хорошей артистки роль Орсины будет всегда производить сильное действие.

Менее пластичной вышла фигура героини, которая дала пьесе свое имя, и это неразрывно связано с той трагической дисгармонией, которой кончается драма. С характером этой набожной и невинной, смотрящей на мир чуждыми миру глазами девушки как-то не вяжется просьба, с которой она обращается к отцу: убить ее, потому что она боится, что не устоит против соблазна. Поэт объясняет ее характер устами матери: «Она очень робкая и в то же время очень решительная девушка. Она поддается первому впечатлению, но после малейшего размышления снова находит себя и готова на все». Лессинг прекрасно понимал, что драматические характеры, которые требуют объяснения, тем самым доказывают, что в них не все ладно. Он пишет своему брату: «Разве то, что я назвал пьесу именем Эмилии, означает, что я хотел сделать ее самым выдающимся или одним из выдающихся характеров? Ничуть. Древние называли часто драму по имени лиц, которые даже не появлялись на сцене. Девственные героини и философки мне вовсе не по вкусу». Зато гораздо более четко обрисованы родители Эмилии—как Одоардо, который бесконечно лучше состряпанных по его образцу бесчисленных худосочных и зачастую худосочно напыщенных благородных отцов, давно набивших нам оскомину, так и Клав-

дия, у которой, при всех ее добрых качествах, все же проступает свойственная всякой порядочной мещанской матери семейства склонность к сводничеству. Не будем говорить об остальных персонажах. Поэт каждого из них немногими штрихами рисует во всем их жизненном своеобразии: графа Аппиани, художника Конти, советника Камилло Рота, бандита Анжело, слугу Пьерро.

В «Эмилии Галотти» до известной степени нашла свое отражение высшая ступень буржуазного сознания, поскольку оно пробудилось в Германии восемнадцатого века. В судьбе этой драмы отражается судьба тогдашнего бюргерства. Драматург приветствовали восторженно только немногие. Гердер назвал автора «настоящим человеком» и хотел предпослать трагедии, в качестве эпиграфа, следующие слова по адресу князей: «*Discite moniti!*» — «Учитесь, ибо вы предупреждены!» Гете видел в ней решающий шаг вперед на пути оппозиции против тиранического произвола, а в революционных юношеских драмах Шиллера она нашла последний и наиболее могучий отголосок. В «Разбойниках», в «Фиеско», в «Коварстве и любви» мы всюду натыкаемся на следы влияния величайшей драмы Лессинга. Но огромное большинство немецких филистеров, в первую очередь плоские берлинские просветители, осталось холодно и ответило молчанием, и Лессинг скоро заявил, что он употребляет все старания, чтобы забыть свою пьесу.

Более того: чем бессильнее оказывалось немецкое бюргерство в решительной борьбе с деспотизмом и феодализмом, чем больше оно всеми помышлениями своими устремлялось в эфирные высоты, чтобы создать себе там идеальный мир, тем более «Эмилия Галотти», как напоминание о неуплаченном долге, вызывала недовольство у тех, которые вначале приветствовали ее с радостью. Гердер и Гете после очень отрицательно отзывались о трагедии Лессинга, а Шиллер в более зрелые годы относился с нескрываемой антипатией к образцу революционной поры своего поэтического творчества. Гете сам, под конец своей жизни, объяснил причину этого явления: он хвалил «Эмилию», как прекрасное произведение, богатое умом, мудростью, глубоким проникновением в жизнь, как произведение, вообще отличающееся «несравненной культурой», в сравнении с которой мы теперь уже снова являемся варварами, как произведение, которое всегда будет казаться новым.

Конечно! «Буржуазные классы не могли понять» несравненную культуру «Эмилии Галотти», которая была создана для них, и именно потому они стали «варварами». Но каждому ре-

волюционно-устремленному классу эта трагедия всегда покажется «новой», точно она только теперь вышла из идейной мастерской поэта.

### «Натан Мудрый»

«Сын наступающей старости, которому помогла родиться полемика»—так называет сам Лессинг свою последнюю драму. Чтобы правильно оценить это прекрасное произведение, необходимо поэтому рассказать в нескольких словах историю его происхождения.

Оно возникло из теологической полемики, которую Лессинг начал против плоского просветительства. Плоские просветители нашего времени стараются изобразить дело так, будто Лессинг вел борьбу не с их предками, а с неприкрашенной ортодоксией, словно центр тяжести великого спора, который закончился торжественным аккордом этой драмы, заключался в памфлетах против гамбургского обер-пастора Геце. Конечно, эти памфлеты являются, действительно, образцами полемики, и, как буржуазный просветитель, Лессинг, несомненно, был решительным противником лютеранской ортодоксии. Но этому цельному человеку, не выносившему никакой фальши, половинчатые просветители были еще более ненавистны, чем цельные ортодоксы, так как он считал первых гораздо более опасными для духовного развития немецкого бюргерства. С ортодоксией уже справились, но вместо того, чтобы взяться за дело, как следует, немецкие просветители старались загнать пробудившиеся массы в наскоро сколоченный хлеб «разумного христианства», по поводу которого Лессинг язвительно заметил, что трудно сказать, где у него сидит разум и где христианство.

Только против этого восстал мыслитель и боец. В полемику с обер-пастором Геце он ввязался против собственного желания. Геце сам поднял этот спор, так как думал—и не без основания,—что высокая концепция Лессинга представляет в конце концов для ортодоксии гораздо большую опасность, чем плоская хитрость просветителей. Неспособный, однако, бороться с Лессингом равным духовными оружием, он пустил в ход чисто поповский прием и мобилизовал против Лессинга светскую власть, сделав на него донос герцогу Брауншвейгскому, на службе которого состоял Лессинг в качестве библиотекаря. Презренный деспот откликнулся на этот божественный призыв и запретил Лессингу принимать дальнейшее участие в этой теологической полемике.

Тогда Лессингу в одну бессонную ночь пришла в голову «сумасбродная мысль». Он хотел бы посмотреть, «дозволят ли

ему без всяких препятствий проповедовать хотя бы с его старой кафедры—с подмостков театра». Так возникает у него мысль о «Натане». «Это меньше всего будет сатирическое произведение, чтобы оставить арену борьбы с презрительным смехом. Напротив, это будет самая трогательная пьеса, какую я когда-либо сочинил»,—пишет он своему брату. Он хочет этой пьесой «напасть на врага с совершенно другого фланга», но прибавляет он: «Моя пьеса не имеет никакого отношения к теперешним черным рясам... Теологи всех богооткровенных религий будут, правда, ругаться, но выступить против нее открыто они вряд ли осмелятся». Из этого видно, как мало Лессинг собирался дать в своей драме сатиру на лютеранскую ортодоксию или даже на обер-пастора Геце, на которого иерусалимский патриарх похож не больше, чем один ортодоксальный поп на другого.

Так же мало Лессинг намеревался изобразить в герое драмы своего друга, Мозеса Мендельсона, возвеличить еврейство и унижить христианство. Лессинг вступился за преследуемых евреев, но только в той же степени, как он вступился за преследуемых иезуитов. Всякая нетерпимость была ему глубоко противна, и он бичевал ее всюду, где находил—у христиан ли, у евреев или у мусульман. Он знал, что нетерпимость является уделом всякой богооткровенной религии, то-есть такой религии, которая основывается на мнимом откровении из надземного мира, и он знал также, что еврей в этом отношении ничуть не лучше христианина или мусульманина. Напротив! Лессинг говорит устами своего храмовника, что евреи первые позволили себе «хулу на человечество», первые назвали себя «избранным народом» и что от них христиане и мусульмане наследовали суеверие, что только их бог—настоящий бог.

Драма Лессинга переносит нас в эпоху крестовых походов. При этом дело не обходится без некоторых исторических анахронизмов. Лессинг думал вполне основательно, что зло, которое приносят богооткровенные религии человечеству, никогда не могло так бросаться в глаза разумному человеку, как в эпоху крестовых походов. Он говорил, что у историков можно найти указания, что таким человеком мог быть именно султан. Да не только один Саладин мог прийти к таким выводам. Христианский орден тамплиеров в обетованной земле христианства, где жил и страдал их спаситель, впал во всякого рода ереси, а германскому Гогенштауфену, императору Фридриху II, приписывается крылатое изречение о «трех обманщиках», именно Моисее, Иисусе и Магомете.

Лессинг, конечно, отвергал такое грубое понимание всемирноисторического развития. Он видел не только плохие, но и хорошие стороны богооткровенных религий. Он смотрел на иудейство, христианство и мусульманство, как на исторические, то-есть, правда, *преходящие*, но *неизбежные* ступени развития человеческого духа. Краеугольному камню драмы, притче о трех кольцах, которая уже со времени крестовых походов обошла всемирную литературу, он дал своеобразное окончание: ни одно кольцо не является настоящим, настоящее кольцо, вероятно, потерялось, но кто считает свое кольцо настоящим, пусть старается выявлять силу его камня в миролюбии и благожелательности. Это та же самая мысль, которую Лессинг облек в следующие слова: «Все богооткровенные религии одинаково истинны и одинаково ложны». Они одинаково истинны, поскольку каждая была в свое время необходимой переходной фазой человеческого развития. Они одинаково ложны, поскольку каждая из них хотела бы преградить путь дальнейшему духовному развитию.

Мы теперь знаем гораздо больше о возникновении и гибели различных религий, чем это мог знать Лессинг при тогдашнем уровне исторического исследования, но тем более мы должны удивляться ясному взгляду, который помог ему занять на практике правильную позицию в этом вопросе. Религиозная вера есть частное дело каждого отдельного человека, в которое никто не имеет права вмешиваться, за которое он не должен ни от кого нести какой-либо ущерб. Но именно потому ни один человек не должен мешать своей религией другим людям. Положение, что религия—частное дело, включает в себе положение, что всякая религия, какова бы она ни была, должна встретить самую безоглядную вражду, как только она превращается в узду для научного исследования, в орудие социального угнетения.

Хотя действие драмы происходит в определенную историческую эпоху, она, в сущности, не является исторической. Поэт сам говорит: «Что касается исторической основы моей пьесы, то я не считался совершенно с хронологией, даже с отдельными именами я поступал по своему произволу. Мои намеки на действительные события должны просто мотивировать ход действия драмы». Фабула драмы свободно придумана Лессингом: очень романтическая и мало вероятная интрига очень мало захватывает и слушателей, и читателя. Драматическая композиция «Натана» не выдерживает и отдаленного сравнения с композицией «Эмилии». Сейчас же заметно, что Лессинг ставил себе

совершенно иную цель, чем создание образцовой драмы для сцены. Если Натан уже в первой сцене заявляет, что взимание долгов не есть такое дело, от которого можно легко отказаться, то творец Натана очень легко отказался от всего, что должен был сцене по части захватывающего действия, а о своих стихах даже буквально заявляет, что очень мало заботился об их благозвучии. Он выбрал стиховую форму, потому что восточный тон, который он должен был местами подчеркивать, в прозе давал бы себя слишком сильно чувствовать. Кроме того, он хотел скорее кончить драму, а проза ему всегда стоила гораздо больше времени, чем стихи. И если бы ему сказали: да, такие стихи! то он ответил бы: с вашего позволения, я думал, что они были бы гораздо хуже, если бы были лучше.

Поэтому можно также сказать, что драма была бы еще менее драматичной, если бы она была более драматична. Прелесть, которую она сохраняет уже больше ста лет в той же свежести, как и в первый день, действует тоньше и глубже, чем это могли бы сделать подкупающая форма и захватывающая фабула. Эту прелесть прекрасно изобразил в своем известном двустишии Платен:

Все-то проникнуто здесь благородством и силой духовной:  
Богу единому власть боги должны уступить.

Лессинг создал не бледные тени, из уст которых льются мудрые речи, а живых людей. Его драму приходится ценить тем выше, что он совершенно отказался от резких контрастов, без которых так трудно обойтись драматическому поэту. Среди девяти персонажей пьесы есть только один неудавшийся характер,—между прочим, единственная историческая фигура драмы,—ибо султан Саладин Лессинга—фантастическая фигура, которую автор заимствовал не столько у французских историков, сколько у французских просветителей. Патриарх иерусалимский Гераклий прославлен в истории как великий грешник, который своим разнузданным поведением опозорил патриарший престол. Лессинг мог сказать о нем, что в драме он изображен далеко не таким плохим, каким он был в истории. Хотя Лессинг не имел никакого желания избрать моделью для патриарха обер-пастора Геце, все же возможно, что при создании этого образа ему так или иначе вспоминался «гамбургский папа». Когда патриарх в 1192 году в Иерусалиме говорит о «театральном фарсе», то при этом анахронизме приходится вспоминать о Геце.

Патриарх появляется в драме только в одной сцене. Все остальные персонажи—хорошие люди, не безупречные чудо-



вища добродетели, но каждый с своими большими или маленькими слабостями, и именно поэтому правдиво изображены поэтом, для которого критерием служили его же собственные слова:

Как люди с сердцем думают, я знаю  
И знаю, что они повсюду есть.

Лессинг придал некоторые черты своего характера почти всем мужским персонажам пьесы: мудрому Натану с его страстью к диалектической игре мысли, султану Саладину, гнев которого может быть так же велик, как его доброта, храмовнику, свободному и гордому характеру которого не чужда излишняя горячность, несдержанному дервишу, «дикому, доброму благородному», который высказывает задушевную мысль самого Лессинга: только истинный нищий, и только он один, является настоящим королем, а также «святой простоте», послушнику, типу любвеобильного и смиренного первохристианства, для которого созерцательная жизнь стоит выше всего, как и для Лессинга, который тешил себя мечтой о жизни, отданной науке в тиши монастыря. Как это уже заметил сейчас же после появления драмы очень сведущий критик: «Мой герой это—Лессинг. Я его составил себе из храмовника, послушника, дервиша и Натана».

Но и женские образы драмы тесно связаны с жизнью их творца. Моделью для Зитты служила Элиза Реймарус, самый умный и бесстрашный друг, которого Лессинг нашел в тяжких затруднениях последних лет своей жизни, а для Рехи—его падчерица, Амалия Кениг, которая устроила стареющему и одинокому Лессингу мирное и уютное убежище и, вследствие злостных сплетен, была после отнята у «хлыщеватого отчима», как Реха была отнята у Натана фанатическим радением к вере патриарха. И для Лессинга сохраняли свое значение слова Натана, что не кровь, а сердце делает отцом...

Весь этот мир, над которым истинная любовь светит так же ярко, как зрелая мудрость, Лессинг создавал при самых тяжелых условиях, с смертельной болезнью в груди, разбитый смертью любимой жены, терзаемый заботой о насущном хлебе в такой сильной степени, что мог, по поводу подписки на его новую драму, писать: возможно, что лошадь околеет раньше, чем созреет для нее овес. И из этой горькой нужды великий гений Лессинга поднялся до той прозрачной наивности, которою уже Гете восторгался в «Натане Мудром». На лучших современников Лессинга драма действовала, как захватывающее откровение. «Давно уже, давно,—писала Элиза Реймарус,—

никакой глоток свежей воды в сухой песчаной пустыне не доставлял такого наслаждения, как этот нам... Такой еврей, такой султан, такой тамплиер, такая Реха, Зитта—что за люди! Если такие действительно рождаются от обыкновенных отцов на земле, то кто не предпочтет скорее жить на этой земле, чем на небе, ибо человек, как вы справедливо замечаете, все же остается человеку более дорог, чем ангел». Но так говорили только лучшие. Большинство прошло равнодушно мимо драмы, а теологи лейпцигского университета даже потребовали для нее полицейского запрещения. Но еще больше согрешили пред ней плоские просветители, выбрав ее своим знаменем. Так и теперь паралитический либерализм в политической и религиозной области говорит о Натане Лессинга, как о себе подобном.

Вот почему рабочий класс имеет тем большее основание высоко ценить это драматическое наследство, оставленное великим передовым борцом свободного человечества. Пусть не смущают его эстетические возражения, выдвинутые против драмы известными и малоизвестными критиками. И теперь еще самая краткая и самая меткая критика этой драмы заключается в тех словах, с которыми обратился к Лессингу Гердер: «Не буду хвалить вашу драму. Само дело хвалит мастера, а эта драма есть произведение настоящего человека».

## Фридрих-Готлиб Клопшток

Клопштока нынче кто не славит?  
Но многие ль читают? Нет.

Так иронизировал молодой Лессинг уже через пять лет после появления первых песен «Мессиады» Клопштока. А когда эта поэма, после двадцатипятилетнего труда, была закончена, то сейчас же пустили в оборот шутку, что нет такого живого человека, который прочитал бы ее от начала до конца. Сегодня, через сто лет со дня смерти Клопштока (14 марта 1903 года), можно сказать, что он забыт гораздо больше, чем кто-либо другой из наших классиков. Не говоря уже о Лессинге, Гете и Шиллере, «Сид» Гердера и «Оберон» Виланда все же чаще находят читателей, чем «Мессиада» Клопштока.

Было бы, однако, совершенно неверно говорить в данном случае о незаслуженном забвении. Из всего, что написал Клопшток, в лучшем случае только некоторые его оды—да и среди них очень немногие—представляют и теперь еще эстетическую ценность. Клопшток принадлежит целиком истории литературы. Чтобы понять все огромное значение выступления Клопштока в литературе того времени, надо знать немецких поэтов, которые ему предшествовали, всех этих Готтшедов и Бодмеров, Пира и Ланге, Глеймов и Клейстов, но читать их—это несравненно более неблагоприятная задача, чем перечитать «Мессиаду». Так, слава Клопштока представляет в сущности не больше, чем истертую монету, незаметно переходящую из рук в руки. Только очень немногим поэтам суждено устоять в потоке столетий и пользоваться любовью народа в далеком будущем, а не быть

лишь предметом исследования для специалистов, и число таких поэтов в Германии еще меньше, чем в других культурных странах.

Трейчке задает однажды вопрос, почему англичане могут еще наслаждаться Спенсером и Шекспиром, в то время как немцы знают Клопштока и Виланда только по имени. Он дает такой ответ: «Только сказка, сотворенная в филистерское время, может говорить, что существовал какой-нибудь народ, в чьей жизни главную роль играет литература. Когда народ обращается к своему прошлому, он прежде всего вспоминает о славе оружия: он охотно забывает все недостатки, все, что устарело в художественном произведении, если только в этой старой поэзии нашла свое отражение великая эпоха в его жизни». Трудно сказать, что больше преобладает в словах Трейчке — верная мысль или бессмыслица. Конечно, это филистерская сказка, что существовал когда-либо народ, поглощенный только интересами литературы. Конечно, поэтическое произведение тем больше имеет шансов на продолжительное существование, чем ярче оно отражает славную эпоху в жизни народа. Но верная мысль превращается в бессмыслицу, если именно «слава оружия» должна быть главным предметом, о котором вспоминает народ, обращаясь к своему прошлому.

Наша классическая литература вовсе не была преимущественно литературным явлением. По своей внутренней сущности она была начальной фазой борьбы немецкой буржуазии за свое освобождение. Правда, борьбы, которая велась в облаках и была забыта потомством, как только немецкая классовая борьба начала разыгрываться на земле и настоящим оружием. Не случайно, что наша классическая литература пережила свой высший и последний национальный триумф в празднестве Шиллера в 1859 году, накануне того дня, когда классово-сознательный пролетариат выступил на публичную арену и открыл для политической жизни в Германии те исторические перспективы, которых она до той поры была совершенно лишена. Руководясь верным классовым инстинктом, немецкий рабочий класс относился к вождям нашей классической литературы с высоким почтением, в то время как трусливая буржуазия, укрывшаяся от пролетариата под крыльями прусского орла, поставила свое наиболее крупное притязание на историческую славу ниже «славы оружия». Она сжилась с нелепой легендой, что прусский деспот вызвал к жизни нашу классическую литературу теми завоевательными войнами, которые он вел при помощи своих наемных орд. Это было самое верное средство не извлечь нашу литературу из мрака забвения, как можно

было бы думать, согласно аргументации Трейчке, а сделать ее ненавистной народным массам и, наоборот, окончательно погрузить в мрак забвения.

Но этот мрак несомненно рассеется, и в настоящей истории литературы, в которой наша классическая литература будет представлена во всем ее действительном историческом значении, как начальная фаза борьбы угнетенного и гонимого класса за свое освобождение, — в этой истории литературы Клопшток займет почетное место, если не как поэт, то как боец. Среди наших классиков Клопшток по степени своего буржуазного классового сознания уступает разве только Лессингу и Шиллеру, однако особенности его таланта и условия, в которых он жил, затрудняли ему решение исторической задачи, которая стала перед нашими классиками.

Клопшток был только лириком. У него не было ни следа драматического дарования. Он был старейшим и первым из наших классиков, он должен был все создавать сам, вплоть до языка и стиха, и в то же время был связан всем убожеством тогдашней немецкой жизни. Один буржуазный историк ругает его, что он швырнул нации в лицо незрелый плод своей двадцатилетней ученической работы, но если действительно было ошибкой со стороны Клопштока выбрать темой для героического эпоса жизнь Иисуса, то все же это был смелый замысел создать, по образцу Мильтона, религиозный эпос.

Этот замысел не остался без награды. Первые песни «Мессиады» произвели огромное впечатление. Но дальше становилось все более ясно, что Клопшток в сущности решил только академическую задачу. Религиозная тематика Мильтона имела свой исторический смысл и значение именно с точки зрения буржуазной эмансипации; для английских пуритан религия являлась идеологическим отражением великих классовых битв; армия воинствующих ангелов в «Потерянном рае» Мильтона представляла собой не что иное, как армию набожных драгунов Кромвеля в поэтической маскировке. А в Германии времен Клопштока религия была только идеологическим символом деспотизма, которому бюргерство обязано было своим поражением уже больше двухсот лет назад. Религиозный эпос, — к тому же еще на такую мало действенную тему, как спасение грешного человечества жертвенной смертью Иисуса, — не мог служить призывной песнью для новой буржуазии. Самые возвышенные стихи невольно превращались в пародию, как, например, уже в самом начале поэмы то вызывавшее некогда большое восхищение место, где Иисус заявляет богу:

Поднявши голову к небу  
И протянувши длань в облака, клянусь я собою —  
Богом, равным тебе, — что людей искуплю и спасу я.

В действительности же только внезапное появление непосредственной поэтической силы, какой Германия не знала уже несколько столетий, вызвало всеобщий энтузиазм к первым песням «Мессиады». Сама же по себе поэма скоро должна была прискучить современникам, как бы ни были скромны их социальные требования. Эта связь никогда не была ясна Клопштоку, который был ослеплен своим первым огромным успехом. Четверть века ухлопал он, чтобы закончить «Мессиаду», и бесплодно потратил свои лучшие силы.

Как прирожденный лирик, Клопшток с своей лучшей стороны показывает себя в своих одах. В них религиозная концепция, хотя все еще играет большую роль, отступает на второй план в сравнении с национальной, первосвященник отступает перед бунтарем. И Клопштоку случалось воспевать государей, но если он посвятил датскому королю, который спас его от вербовщиков прусского героя, благодарственную оду, то это человечески вполне понятно, и мы даже теперь еще готовы присоединиться к нему. Против прусского деспотизма Клопшток направил ряд дышащих гневом од. В гениальных ученых, которые хсят превратить поэта в поклонника фридриховской легенды, точно снова оживают те вербовщики, от которых так счастливо ускользнул живой Клопшток.

Если наши классические поэты, в силу социальных условий их эпохи, не могли вполне обойтись без меценатства князей и юнкеров, то, после Лессинга, никто из них не держался более свободно и независимо, чем Клопшток. Веймарские диоскуры, в особенности Гете, в этом деликатном пункте имеют за собой более сомнительный счет. Поэтам своего времени, воспевавшим князей, Клопшток говорил: пусть ваши могилы некогда украсит мрамор, но этот мрамор будет только позорным столбом, если «ваши песни в богов обращали лишь тараканов или оранг-утангов». Себе же он ставил — и имел право ставить в заслугу:

Дух мой, благодарю, что, еле созрев, ты решил  
И твердо всегда стоял на решеньи  
Не осквернять придворною лестью  
Лиру святую

Хвалой сластолюбцам, завоевателям мух,  
В паутину попавших, меча не державшим тиранам,  
Хулителям бога не мыслью, а делом, —  
Тем полулюдям, что тупо и самодовольно  
Ставят нас ниже себя.

Верный этим прямым взглядам, Клопшток, тогда уже старик шестидесяти пяти лет, приветствовал с большим энтузиазмом начало французской революции. В 1789 году он писал в оде, посвященной французскому Национальному собранию:

Собор отважный брезжит из Галлии,  
Мы ждем, россою предрассветною.  
Пронизаны; взойди ж, о солнце,  
Ты, о котором не снилось даже!

В другой оде Клопшток приглашает немцев последовать славному примеру французских братьев. Никогда еще не выступал его национальный патриотизм в более прекрасной форме, как тогда, когда он жалеет, что не немцы водрузили знамя свободы. Идиотское и преступное вторжение феодальной Европы в революционную Францию Клопшток осудил в самых резких выражениях. Французская республика предоставила ему за это право гражданства. К сожалению, Клопшток не устоял, когда наступила эпоха террора. Он отрекся от своей «ошибки» и воздал «хвалу благородной и мужественной Шарлотте Корде, убившей Марата. Наши классики-философы в этом отношении оказались несравненно выше наших классиков-поэтов: даже эпоха террора не заставила их отречься от буржуазной революции.

Как бы то ни было—если слава Клопштока и дальше будет походить на монету, которая, несмотря на свою истертость, переходит из рук в руки, то эта монета уже не будет так истерта, как теперь. На ней еще явственно будут видны черты, и это будут черты человека.

## Иоган-Иоахим Винкельман

Среди великих писателей нашей классической эпохи нет ни одного, который бы так скоро и так бесспорно завоевал себе европейское имя, как Винкельман, но нет также ни одного, который был бы так скоро забыт. По отношению к нему не оправдались слова, что там, где строят короли, там много работы для возчиков. Сочинения его еще никогда не были проработаны с «филологической точностью» и не были изданы с «ученым аппаратом». Издательская предприимчивость, которая выбрасывает на рынок в дешевых изданиях всех возможных и невозможных авторов нашей классической и романтической эпохи, все еще игнорирует сочинения Винкельмана. Их можно найти только у антикваров, да и то не без труда. Даже тогда, когда Винкельман не был еще только именем, его мало читали. 1200 экземпляров его главного труда, вышедшего в свет в 1764 году, не разошлись целиком еще в 1824 году. Правда, в сравнении с другими великими классиками, он имеет одно преимущество. В Юсти он нашел биографа, который дал труд, стоящий значительно выше обычных продуктов этого рода. Вышедшая под заглавием «Винкельман и его современники», эта биография, как набросанная в крупном масштабе картина эпохи, оставляет в тени все биографии наших классиков. Но три объемистых тома этой биографии не составляют легкое чтение и потому нашли лишь очень небольшое распространение. Вышедшие в первый раз в свет почти сорок лет назад, они только через двадцать лет дождались второго издания, которое, к сожалению, вопреки заявлению, не является «исправленным». В нем



было вычеркнуто многое, что отступало, как наследие старой достойной уважения буржуазной идеологии, от социальных тенденций современной буржуазной исторической литературы. Так, вычеркнуты были, между прочим, следующие сильные слова: «Мы любим тех, кто ненавидит деспотизм во всякой форме, кто ненавидит даже необходимый деспотизм, даже целесообразный и просвещенный деспотизм. Мы отдаем им даже предпочтение пред теми, кто, забравшись на вершины исторического понимания, смотрит оттуда с пренебрежением на «ограниченный» и «партийный» дух восемнадцатого века, кто сохраняет свой исторический смысл и сочувствие только для всех удачливых преступников, для эшафотов и дворцовых переворотов прошлого, кто только вечные идеи права, просвещения и гуманности считает фразой и не понимает только стремления народов к политической свободе». В здании буржуазной учености византизм производит не меньшее опустошение, чем домовый гриб в старых постройках.

Мы не имеем, однако, никакого желания долго останавливаться на недостатках заслуженного труда, который, несмотря на свои слабые стороны, продолжает оставаться—вместе с сочинениями и письмами самого Винкельмана—лучшим источником для изучения его жизни и личности. Юсти стоит бесконечно выше историков, которые после него писали о Винкельмане, выше хваленного Шерера, который из Винкельмана хочет сделать продукт пруссачества, или Эдуарда Энгеля, который отказывается от всякой попытки объяснить Винкельмана из условий его жизни и считает чудом в истории человечества превращение сына стендальского сапожника в первого великого теоретика искусства в Германии.

Наша задача заключается только в том, чтобы нарисовать несколькими крупными штрихами образ Винкельмана, как его выявляет наша классическая литература, и попытаться понять его из условий его жизни.

## I

Иоган-Иоахим Винкельман родился в семье бедного сапожного мастера, 9 декабря 1717 года в Стендале; в эпоху средних веков еще процветавший, этот город был совершенно разорен во время Тридцатилетней войны, но в своих церквах и воротах сохранил великолепные памятники, на которых могло развиваться эстетическое понимание подрастающего мальчика. Стендальский собор считается прекраснейшим творением цер-

ковной архитектуры, которое было создано поздним средневековьем в северной Германии. Точно так же и Юнглингские ворота в Стендале представляют перл светской архитектуры в балтийских странах. Но именно к этим памятникам Винкельман не питал никакого интереса. Еще в зените своей славы он смеялся над английским художественным критиком, который «не имеет ни грана вкуса», потому что ставил готическую архитектуру старых церквей в Англии выше греческой архитектуры. Несмотря на всю свою ненависть к маркским попам, Винкельман вряд ли возражал бы против того, что еще в конце восемнадцатого века генерал-суперинтендент Альтмарка изъясил из стендальского собора все его средневековые сокровища искусства, чтобы продать, как старый хлам, евреям Гейнеману и Леви за почтенную сумму в триста сорок талеров. То же самое равнодушие, даже антипатию к средневековому искусству, мы наблюдаем и в Лессинге. Это равнодушие объясняется как раз «условиями жизни» эпохи.

Эти «условия жизни» влекли просыпающиеся умы не к средним векам, а к античности. Как и большинство наших классиков, Винкельман происходил из мелкобуржуазной среды. Если он, сын бедного ремесленника, хотел освободиться от стеснительных оков загнивающего ремесла, то путь для этого уже был заранее предначертан: латинская школа, участие в хоре школьников в поисках милостыни, даровой обед за уроки, прислужничество в доме учителя или священника; в университете — изучение теологии ради стипендии, несколько лет службы домашним учителем и затем голодное место пастора или ректора. Эта цеховая теология являлась по существу таким же каторжным колесом, как и цеховое ремесло, но изучение теологии требовало знания древних языков и давало возможность талантливым юношам взбираться на вершину «гуманности», бывшей идеалом нашей классической литературы.

Эта «гуманность» восемнадцатого века не только внешним созвучием напоминает собою «гуманизм» шестнадцатого столетия. После опустошений Тридцатилетней войны необходимо было, как только медленный процесс восстановления страны повлек за собой столь же медленный процесс пробуждения духовного просвещения, начать с того звена, на котором обрывалось духовное развитие нации. Какое значение для всех наших классиков имели знание и изучение античной и в особенности греческой литературы, хорошо известно, но ни для кого из них оно не имело такого значения, как для Винкельмана. Юсти верно заметил, в какой сильной степени Винкель-

ман является последним гуманистом. Когда Винкельман вживается в древность вплоть до ее мельчайших деталей, когда, подобно Эразму, выискивает у античных писателей выражения и образы, сентенции и изречения, чтобы украсить свои речи, когда, гонимый страстью скитальчества, постоянно торчит на большой дороге и уже очень рано мечтает о Греции и Италии, когда, проникнутый беспредельным самомнением, берет на себя роль угодливого чичероне при деспотах и юнкерах, когда восхваляет тираноубийц древности и, несмотря на это, «едва осмеливается поднять свой взор к высоким покровителям», графам и кардиналам, в чьих домах он живет, когда обращается в своих речах к ним с «настоящей галиматьей», — как говорит тоже не особенно щепетильный в таких случаях Гете, — когда, несмотря на свое полное равнодушие ко всем религиозным догмам, он ищет прибежища во всеспасающей церкви — тогда все это и кое-что другое живо напоминает гуманистов шестнадцатого века.

Поскольку Винкельман в этом отношении отличается от наших других классиков, основание такого отличия заключается в том, что ни одному из них не досталось на долю несчастья первые тридцать лет своей жизни прожить в Альтмарке, «колыбели государства Гогенцоллернов», а этим в сущности уже все сказано. Репутацию, которую Бранденбургская марка заслужила себе уже в шестнадцатом столетии, она сохранила за собой, благодаря господству Гогенцоллернов, и в восемнадцатом веке она считалась наиболее отсталой и духовно-одичавшей областью во всей Германии. Винкельман не имел никакой другой возможности жить духовной жизнью, как только уйдя с головой в античную жизнь. Только с большим трудом мог он достать греческую или латинскую книгу. Он должен был подчиняться гнету железного деспотизма, чтобы иметь возможность жить физически, и должен был развить в себе твердое самосознание, чтобы устоять при этом и духовно. Злобные преследования протестантских попов воспитали в нем отвращение ко всем религиозным догмам, и все же только из спасительной гавани католической церкви он мог выбраться в открытое море жизни.

Ко всем этим общим условиям жизни присоединилось еще одно личное обстоятельство, которое из среды наших классиков только Винкельмана сделало греком. Буржуазные историки литературы обыкновенно хранят на этот счет молчание. Только Юсти говорит об этом откровенно, но тоже не совсем исчерпывающим образом. Он замечает: «Винкельман разделял также с ними (гуманистами) легкость нравов, и с пренебрежением к женщи-

нам, которое ставили в вину гуманистам, у него был связан культ дружбы, то платонический, а то и просто чувственный». Этот «культ дружбы» Винкельмана гораздо больше напоминал нравы греков, чем нравы гуманистов, и весьма сильно повлиял на общественную деятельность Винкельмана, не говоря уже о том, что этот культ вносил разлад в его душевную жизнь и, в конце концов, стал причиной его ужасной смерти.

Несмотря на все эти неблагоприятные условия, Винкельман с беспримерной энергией и настойчивостью выбился на широкую дорогу. Уже в университете он шел собственными путями. Академическая пища, как он сам говорит, вязла у него в зубах, и только с большим трудом достался ему обычный диплом теолога. В 1743 году он получил место преподавателя в Зеэгаузене, альтмаркском городке, с годичным окладом в сто двадцать талеров. В этой должности он пробыл пять печальнейших лет своей жизни, жестоко преследуемый попом, который заставлял его преподавать в школе элементарную грамоту. «Я учил детей с шелудивыми головами азбуке, в то время как я страстно желал познать прекрасное и молился только притчами из Гомера». После каторжного труда в течение целого дня Винкельман приглашал к себе ночью своих старых любимцев. В полночь он тушил лампу и спал до четырех часов, сидя на стуле, чтобы опять зажечь ее и продолжать занятия в своей тесной, голой, холодной монашеской келье. Летом он ложился на скамью с привязанным к ногам бревном, которое при малейшем движении будило его своим падением.

Многочисленные записные тетради, относящиеся к этому времени, свидетельствуют о невероятной скудости его ученых пособий, а также о невероятной массе знаний, которые, несмотря на это, он успел приобрести. Но все это пока оставалось мертвым знанием, не освещенным еще лучом великой жизненной цели. В таких ужасающих условиях с течением времени мог бы погибнуть и самый даровитый человек.

Наконец в 1748 году Винкельману удалось получить у саксонского графа Бюнау место библиотекаря. Это был жалкий приют, в материальном отношении еще более жалкий, чем старое место в Зеэгаузене. Но Винкельман с радостью покинул «колыбель гогенцоллернского государства». Еще много лет спустя он приходил в содрогание, когда вспоминал о прусском деспотизме и живодере народов, который должен был сделать проклятую самой природой и покрытую ливийским песком страну предметом отвращения для людей и покрыть ее вечным позором.

Граф Бюнау был саксонским дворянином, но от других представителей дворянства отличался своими научными интересами. Он собрал большую библиотеку и работал над историей немецких императоров и немецкой империи. Когда Винкельман поступил к нему на службу, граф успел уже выпустить четыре тома, в которых добрался до 918 года. Для следующих томов, которые никогда не были опубликованы и до сих пор еще хранятся в пыльных хранилищах дрезденской библиотеки, Винкельман в течение шести лет делал обширные выдержки из источников, проверяя цитаты, поправляя слог, то-есть проделал ту утомительную и неблагодарную работу, которая не приличествует вельможному господину, как бы охотно он ни пользовался ее плодами.

Однако Бюнау был все же образованный человек, который не мучил и не притеснял своего библиотекаря, как мучили и притесняли Винкельмана альтмаркские попы. Бюнау оставался для него всегда благожелательным покровителем—и только Гете позже как-то заметил с горечью, что графу достаточно было купить только одной книгой меньше для своей библиотеки, чтобы открыть Винкельману дорогу в Рим. Как бы то ни было, Бюнау не ставил никаких препятствий своему библиотекарю в его занятиях, и Винкельман начал себе завоевывать в Дрездене, тогда одним из наиболее культурных городов Германии, научную известность. Библиотека графа предоставила в его распоряжение богатый выбор различных ученых материалов и пособий, которые до того времени он мог получать только с большим трудом и в недостаточном количестве. Винкельман мог теперь—что было для него еще более важно и имело решающее значение для его будущего—изучить в библиотеке Бюнау всю новейшую литературу, как французскую, так и английскую. Он читал и изучал Аддисона, Болинброка, Шефтсбюри, он читал и изучал Монтеня, Монтескье, Вольтера. Он извлекал из них не только цитаты, но и близкое знакомство с движущими силами эпохи. Результаты, которых буржуазное просвещение достигло в области исторического понимания, производили на него тем большее впечатление, чем больше утомляло его чтение средневековых хроник и житий святых на потребу исторических трудов Бюнау. Если Лессинг считал Дидро своим учителем, давшим совершенно другое направление всему его мышлению, то таким учителем для Винкельмана являлся Монтескье.

Под влиянием Вольтера и Монтескье Винкельман хотел посвятить себя историческим исследованиям. Ввиду тех узких пределов, которые саксонская цензура ставила историческому изображению современных событий, он хотел прочесть ряд лекций для специально приглашенных лиц. Он писал в 1755 году: «Между тем на моем горизонте показался луч надежды. Счастливый случай указал мне способ, которым я могу себе обеспечить сначала приличный, а затем и хороший заработок». Но план потерпел крушение вследствие «сонливости» мало восприимчивой к серьезным лекциям дрезденской публики.

Вместо того, чтобы «срывать маски с героев и принцев», как он это намеревался делать в своих исторических лекциях, в распоряжении Винкельмана теперь оставалась только одна возможность вырваться из тисков подчиненной работы—надежда на дрезденский двор. Но кто рассчитывал на это, тот должен был сначала побывать «если не в Италии, то, по крайней мере, во Франции, да и то при условии, что умеет болтать и имеет приличный вид. Ничто другое не поможет». Страсть скитальчества проснулась в Винкельмане с большей силой, чем когда-либо. Беда, думал он, заключается в отсутствии манер и умения говорить на иностранных языках. «У меня нет никаких перспектив, нет никакого выхода. Если граф умрет, я не могу рассчитывать на приличный заработок, так как не умею говорить ни на одном иностранном языке. Учителем я не хочу, для университета я не годюсь. Мое знание греческого языка не имеет никакого практического значения. Мое здоровье может поправиться только в результате какой-либо перемены».

В таком отчаянном настроении Винкельман наткнулся на соблазн избавиться от этих затруднений путем перехода в католицизм. Дрезденский двор в результате соединения с польской королевской короной стал католическим и радовался каждому прозелиту, которого приобретал в строго протестантской стране. Однако Винкельман едва ли был в состоянии сам предложить себя. Но как-то случилось, что не он должен был просить об этом, а, наоборот, его старались завербовать. Папский нунций при дрезденском дворе, граф Архинто, стремился назад, на свою итальянскую родину, где его ждала кардинальская шапка и даже другие, более высокие почести: он стал после папским министром и получил изрядное число голосов в единственном конклаве, до которого еще успел дожить. Он охотно желал бы вернуться домой с выдающимся новообращенным и обратил свое внимание на Винкельмана, «великого грека», с которым познакомился в библиотеке графа Бюнау. Ему известно было

страстное желание Винкельмана попасть в Рим, и он воспользовался этим, чтобы склонить Винкельмана к переходу в католицизм, доказывая ему, на чисто светский манер, что этот переход является для него средством попасть в Рим и найти там всюду открытый доступ. Его старания были поддержаны исповедником короля, иезуитом Раухом, который, как это показали и позднейшие годы, был очень дружелюбно расположен к Винкельману.

И все же Винкельман колебался еще несколько лет. Он, правда, давно уже покончил со всякой религией и говорил, что готов стать жрецом Кибелы, чтобы попасть в Грецию. Но человек только с большим трудом вырывается из «условий жизни» десятилетий. Даже в римские дни, когда Винкельман во-всю наслаждался счастьем, которое ему доставил переход в католичество, он выписал себе из Германии протестантский песенник, чтобы иметь возможность петь привычные песни, когда он с крыши виллы Альбани приветствовал утреннее солнце.

Для него было счастьем, что протестантское поповство, отравлявшее в течение десятилетий ему жизнь, осталось верным себе. После нескольких лет колебаний Винкельман наконец принял решение остаться в лоне протестантской церкви. В знак этого он хотел принять причастие по протестантскому обряду и только просил пастора не разглашать об этом, что божий человек ему и обещал. Но к концу своей проповеди он пред собравшейся общиной начал хныкать по поводу «заблудшей овцы», которая «хотела перейти в католическую церковь, но теперь решила вернуться к истинной церкви и намеревается засвидетельствовать свое возвращение публично при святом причастии». Это так рассердило Винкельмана, что он, к величайшему изумлению вероломного попа, сейчас же оставил церковь и направился к нунцию, чтобы заявить о своей готовности перейти в католицизм.

Это был спасительный поворот в жизни Винкельмана. Если он стал классиком немецкой литературы, то последняя обязана этим не пресловутой «протестантской свободе мысли», а иезуиту Рауху, нунцию Архинто, кардиналам Пассионеи и Альбани, папам Бенедикту XIV и Клименту XIII. Все они, как бы ни были велики их грехи в других отношениях, ни разу не унизились, на манер протестантского попа, до того, чтобы использовать «великого грека» в целях церковной эксплуатации. Они по крайней мере честно сдержали обещание, с помощью которого завлекли Винкельмана в свою церковь, и дали ему возможность использовать свои таланты.

После перехода в католицизм Винкельман покинул службу у графа Бюнау и стал готовиться к путешествию в Рим. Началом послужило первое сочинение, которое Винкельман издал, когда ему было уже тридцать восемь лет. Это — «Мысли о подражании греческим произведениям в живописи и скульптуре», в которых он вступил на совершенно новый для него путь.

Буржуазная история литературы в корне ошибается, превращая Винкельмана в эстетического гения, гениального теоретика искусства божьей милостью. Не говоря уже об альтмаркском периоде, он даже в Дрездене, который шел впереди всех немецких городов в области искусства, долгие годы совершенно не интересовался собранными в дрезденских музеях сокровищами искусства. Правда, та область искусства, с которой имя его связано навсегда, — античная скульптура, была ему недоступна и в Дрездене, так как богатая коллекция античной скульптуры, которую приобрели саксонские короли, не только в его время, но и много лет спустя, за некоторыми исключениями, хранилась на складе. Но зато Дрезден был очень богат произведениями живописи и архитектуры, а как раз этими отраслями искусства Винкельман всегда интересовался очень мало.

Весьма характерны и те условия и мотивы, которыми была вызвана первая работа Винкельмана. В 1754 году саксонский король купил в Пиаченце «Сикстинскую Мадонну», шедевр Рафаэля. Три дня ходил Винкельман в музей, с целью изучить знаменитую картину, но не мог понять, в чем состоит ее красота. Искусство Возрождения было ему так же непонятно, как и искусство средневековья. Тогда художник Эзер дал Винкельману ряд указаний, которые помогли ему выяснить себе занимавший его вопрос. Именно из этих бесед с Эзером о пластическом искусстве и возникло первое сочинение Винкельмана.

Адам-Фридрих Эзер был родом австриец, ровесник Винкельмана, не особенно выдающийся художник, не обладавший даже «особенным талантом преподавания», как говорит Гете, на эстетическое развитие которого Эзер имел весьма большое влияние, одна из тех натур, которые проводят жизнь в деловой суете, но при этом отличаются весьма гибким и тонким умом и знанием света. Именно соединение всех этих качеств делает их прекрасными учителями. Гете называл его «отъявленным врагом всякого рода завитков и раковин и всего стиля барокко». Эта



вражда поставила его в резкую оппозицию к господствовавшему в Дрездене стилю барокко и рококо и привела назад к античности. Скульптура древних представляла для Эзера альфу и омегу теории искусства.

Он не написал ни одной строки, но многие его взгляды нашли себе отражение в первом сочинении Винкельмана, между прочим и некоторые личные капризы и причуды, на что указал уже Шлегель: «Что только ни приводило в восторг Винкельмана, следовавшего указаниям своего учителя! Даже самые манерные произведения прошлых времен, давно уже всеми забытые». Мы не можем здесь подробно останавливаться на этом, тем более, что сам Винкельман отказался после от некоторых своих увлечений. Достаточно указать на его пристрастие к аллегории, от которой он, к сожалению, никогда не мог освободиться, — плохое наследие Эзера, которого поклонники прославляли, как «первого аллегорического художника» своего времени. Но и в своих лучших сторонах первое сочинение Винкельмана носит явные следы влияния Эзера: в выпадах против «завитков и причудливых раковин» стиля барокко и рококо, в восторженном описании «Сикстинской мадонны», в рассуждениях о технике скульптуры, в апологии античного искусства, правда, до того односторонней, что она ставит «простую природу» ниже «греческого контура».

И все же то, что обеспечило первому произведению Винкельмана его большой успех и большое влияние, принадлежит только ему одному. Положение, что «единственный путь для нас стать великими, даже неподражаемыми, это — подражание грекам», — это положение было выставлено впервые даже не Эзером, а еще значительно раньше другими, в том числе Лабрюйером, который заявил, что единственный способ превзойти древних, это подражать им. Следовательно, выставить такое положение было легко, трудно было доказать его, и именно эту задачу взял на себя Винкельман в своем сочинении. Его преимущество пред всеми немецкими современниками составляли глубокое знание греческой древности и исторический метод, которому он научился у Монтескье и который применил к греческому искусству, после того как лишен был возможности применить его к политическим и социальным условиям своего времени. Это искусство представляло, по его мнению, расцвет эллинской жизни, как она сложилась в результате воздействия природы на греческий народ и страну. Если этот исторический метод открывал тогда новые точки зрения, то Винкельман умел также облечь результаты своего исследования в форму, которая,

правда, носила следы традиционного, непонятного, запутанного, тяжеловесного и в то же время многословного ученого языка, но, несмотря на это, ясной и здоровой лаконичностью, насыщенностью отчетливыми мыслями, свободной от всякой примеси ненужных иностранных слов, своим, как говорит Гервинус, «чувственным пылом» представляла что-то совершенно новое — первый классический образец современной прозы на немецком языке, за четыре года до «Литературных писем» Лессинга и за двенадцать лет до его же «Лаокоона», где Лессинг примыкает к этим «Мыслям» Винкельмана.

Все это соответствовало «условиям жизни» того времени и произвело глубокое впечатление на современников, гораздо большее, чем эстетическое в более тесном смысле этого слова содержание книги. Характерно, что последнее нашло своих первых и наиболее пылких энтузиастов как раз в лице тех двух писателей, которые в течение двух поколений, один за другим, считались воплощением эстетического безвкусица: Готтшеда и Николаи.

#### IV

С этой книгой в руках иезуит Раух выхлопотал для Винкельмана у своего духовного чада, саксонского короля, годовичную стипендию в двести талеров.

В 1755 году исполнилось наконец страстное желание измученного человека: Винкельман уехал в Рим; не с намерением поселиться там навсегда и даже не с намерением посвятить себя изучению истории искусства. Он все еще думал о чисто философских работах. Он пока остался в Риме только потому, что через несколько месяцев после его приезда прусский король напал на Саксонию и семь лет держал ее в своей власти, а саксонский двор выгнал в Варшаву. Этим самым Винкельману была отрезана дорога назад в Саксонию. Стала надолго под вопросом и его стипендия, хотя патер Раух в течение всего этого смутного времени не забывал о нем.

Бесполезно спорить на тему о том, остался ли бы Винкельман без этого внешнего повода навсегда в Риме. Как бы то ни было, он сейчас же углубился в изучение художественных сокровищ Рима. Чем был для него Эзер в Дрездене, тем стал в Риме Рафаэль Менгс, придворный художник саксонского короля. Менгс в наше время не до такой степени забыт, как Эзер, но историческая ограниченность эстетики Винкельмана проявляется в том, что он считал Менгса не только «величайшим учителем в его искусстве», но и «величайшим художником своего

времени, а может быть, и будущего», который, подобно фениксу, возродился из пепла первого Рафаэля, чтобы достичь высшего размаха человеческих сил в искусстве.

Винкельман завоевал себе позицию в Риме тем же путем, что и в Дрездене: своим несравненным знанием греческой древности, которое в тогдашнем Риме ценилось так же высоко, как и редко встречалась. Он был теперь, после прежних неудач, очень осторожен и не торопился рисковать только что завоеванной свободой. Винкельман скоро научился в своих сношениях с хитрыми монсиньорами, которые хотели взять его на службу на жалкое жалованье, соблюдать свои выгоды лучше, чем прежде. А ему пришлось иметь дело и с своим старым покровителем Архинто и с кардиналом Пассионеи, библиотека которого могла соперничать с библиотекой графа Бюнау, и, наконец, с кардиналом Альбани, в городском доме которого и загородной вилле Винкельман нашел постоянное занятие с месячным содержанием в десять скуди и случайными подарками. Кроме того, он занимал еще некоторые почетные должности и стал даже «президентом всех древностей» в Риме,—должность, лучшей частью которой был громкий титул.

В первые годы своего пребывания в Риме Винкельман написал труд, обеспечивший ему навсегда почетное место в нашей классической литературе: «Историю искусства древних». Это был оригинальный труд, проработанный на сыром материале, не имевший почти никаких предшественников—попытка, на основе античных памятников, которыми Рим был тогда несравненно богаче, чем теперь, рассказать в первую очередь историю греческого искусства в его генезисе, росте и упадке. То, что Лессинг хвалил в этом труде—беспримерная начитанность, самое обширное, детальнейшее знакомство с искусством—можно повторить еще с полным правом и теперь. Лессинг был, однако, несправедлив к работе Винкельмана, ограничившись одним только указанием на мелкие промахи на том весьма лестном для Винкельмана основании, что автор работал по образцу старых художников, которые сосредоточивали всю свою энергию на главном и на мелочи обращали мало внимания. Несравненно лучше, не без отношения к недостаточной оценке Лессинга, характеризовал впечатление, произведенное трудом Винкельмана на современников, Гердер: «Нужен был высокий, смелый, презирающий мелкие недостатки и ошибки гений Винкельмана, чтобы только задумать такой труд и, будучи иностранцем, после нескольких лет прилежной работы, взяться за его выполнение. И вот он действительно завершил его! В лесу, быть

может, семидесяти тысяч бюстов и статуй, которые насчитывают в Риме в заросшем лесу ложных следов, где раздаются в течение многих лет кричащие голоса дающих свои советы мыслителей, обманывающих художников и невежественных антикваров, наконец в ужасающей пустыне старых преданий и историй, где только Плиний и Павзаний представляют полуразрушенные оазисы, где нельзя ни разобраться толком, ни собрать жатву,—при таком положении вещей задумать историю искусства древности, которая должна в то же время стать стройным теоретическим зданием, не развалинами, а настоящими густо населенными Фивами с семью вратами, чрез которые проходят сотни за сотнями, неспособен был бы никакой педант, никакой критик». Гердер также, со всей репительностью, обратил внимание на художественную форму этой истории искусства: каждая мысль в ней предстает перед нами в благородной, простой, возвышенной форме, как Минерва из головы Юпитера.

Такие отзвухи помогают нам составить себе ясное представление о влиянии главного труда Винкельмана на его эпоху. Кто его однако читает теперь, понимает, почему он в большей степени забыт, чем другое любое произведение нашей классической литературы. Как исторический труд он теперь в такой же степени превзойден, в какой в свое время представлял большой прогресс. Мы знаем теперь греческую древность и в особенности греческое искусство гораздо лучше, чем Винкельман, который никогда не видел в оригинале—за немногими исключениями—греческие произведения искусства, а только их римские копии. Но еще в большей степени, чем успехи исторической науки, нас от Винкельмана отделяют успехи исторического метода. Как и в первом сочинении, так и в главном труде он идет по следам Монтескье, хотя и старается замести эти следы. Подчеркивая вслед за французским мыслителем «влияние неба (климата)» на греческую культуру и искусство, он ссылается на отдельные места у некоторых античных писателей (Гиппократ, Полибий, Цицерон), высказывавших уже аналогичные мысли. Но Винкельман идет по стопам не называемого им учителя и в такой области, в которую он не вступал еще в своем первом сочинении: он прославляет греческое искусство, как дочь свободы, он ищет его корней не только в греческой природе, но и в греческом обществе.

В этих главах своей истории искусства Винкельман выступает, как ученик буржуазного просвещения. Он говорит «о просвещении разума, которое делало для афинян привлекательной сладость полной свободы». «Только благодаря свободе раз-

вивалось мышление всего народа, как благородная ветвь из здорового ствола». Свобода охраняла художников от капризов меценатов, так что их честь и счастье не отдавались на произвол «упрямству невежественной спеси». Он думает, что окончательный упадок искусства начинается с установлением нового, княжеского абсолютизма.

Если взять это утверждение как исходный пункт, то объективно оно находит свою иллюстрацию в том, что Микель-Анджело и Рафаэль жили в эпоху, когда новый, княжеский абсолютизм нашел своих первых представителей и первых защитников, что они были современниками Цезаря Борджиа и Маккиавелли, а субъективно в том, что Винкельман именно в своей истории искусства упоминает с похвалой своего прославленного Рафаэля Менгса, как «придворного художника королей Испании и Польши». Но и то, что он говорит о греческой свободе, как матери греческого искусства, есть не что иное, как пустая игра словами без всякого реального отношения к политическим и социальным условиям древней Греции. Оно только показывает, что буржуазное просвещение, с которым он когда-то в Дрездене близко познакомился, в Риме становилось для него все больше и больше кимвалом бряцающим. Оно стало ему чуждым, причем все равно, хотел ли Винкельман фразами о целительной свободе засвидетельствовать свою платоническую любовь к буржуазному просвещению или подразнить своих высоких покровителей, с чьим капризным упрямством ему приходилось слишком часто считаться.

Поэтому, несмотря на все достоинства его труда и огромное значение его попытки дать историю греческого искусства, Винкельман не мог понять законов этого исторического развития. Так как внутренняя связь греческой истории была ему непонятна, и среди бесчисленных античных произведений искусства лишь очень немногие могли быть точно датированы, то Винкельман мог опираться только на свое эстетическое суждение, когда, на основании этих памятников, хотел расчленить отдельные периоды греческого искусства. И именно постольку известное нам со слов Николаи утверждение Лессинга, что историческое изображение, данное Винкельманом, покоится на «слабых основах», вполне понятно, и тем более понятно, что Лессинг не соглашался с Винкельманом как раз по вопросу о возрасте группы Лаокоона. Лессинг, опираясь на свидетельство Плиния, относил ее к эпохе римского императора Тита, а Винкельман — к эпохе македонского короля Александра на том только основании, что такое совершенное произведение

искусства может принадлежать только эпохе расцвета, а не упадка. Винкельман почему-то предполагает, что эпоха короля Александра есть эпоха расцвета, а эпоха императора Тита — эпоха упадка. В данном случае неважно, верно или неверно понял Лессинг Плиния, но он был совершенно прав, когда указывал на «слабые основы» исторического изображения, которое опиралось только на эстетическое впечатление историка.

Но величайшая слабость труда Винкельмана является опять-таки его величайшей силой. В большей своей части его история искусства есть не столько история, сколько философия греческого искусства, и в этой области «великий грек», который с редким мастерством владел немецким языком, раскрыл тайны античных художественных сокровищ Рима с таким искусством и представил их в такой форме, которая вполне достойна их мраморной красоты. Описания группы Лаокоона, Аполлона Бельведерского, так называемого Антиноя, торса Геркулеса и т. д. представляют в своем роде классические шедевры, и точно так же, как и тогда они в первую очередь вызывали удивление современников, так и теперь еще они остаются той частью его труда, которая продолжает жить и достойна еще дальше жить. Правда, и это яблоко, несмотря на его яркий румянец, немного червиво. Свои восторженные гимны Винкельман обращает всегда только к мужским фигурам. Он воспевает не Афродиту, а Ганимедов, и «чувственный пыл» его языка здесь совершенно другого рода, чем тот, который был отмечен в его первом сочинении Гервинусом.

Вполне похвально конечно, что у Винкельмана нельзя отделить человека от писателя, но писателю пришлось не мало пострадать из-за человека. Он посвятил историю искусства своему другу Менгсу, и именно последнему она обязана своим сквернейшим пятном. По всей видимости, Менгс отвечал взаимностью на нежную дружбу Винкельмана. Он даже передал ему все супружеские права на свою красивую жену, когда последняя должна была, здоровья ради, вернуться в Рим из Испании, куда Менгс переселился со своей семьей. Юсти поэтому обвиняет Менгса в «отвратительной грубости», что, конечно, вполне верно, но вряд ли он сделал свое предложение всерьез. Возможно, что он просто хотел, зная антипатию Винкельмана к женской любви, пошутить над ним, и Винкельман ему не испортил этой грубой шутки. Когда жена Менгса вернулась к своему супругу, Винкельман хвалился, что он ни разу «не разделил с ней тайных наслаждений», даже когда вместе с ней наслаждался послеобеденным отдыхом в одной постели.

Но еще до своего перевода в Испанию Менгс сыграл с своим другом гораздо худшую шутку. Он нарисовал картину совершенно во вкусе Винкельмана: отца богов Юпитера, нежно ласкающего своего любимца Ганимеда, и выдумал в высшей степени авантюрную историю, чтобы объяснить древнее происхождение этой картины. Это звучит весьма неправдоподобно, и все же Винкельман—что лучше всего доказывает, как ошибочно бывали иногда его эстетические суждения—неосмотрительно попался в эту ловушку. В своей истории искусства он подробно рассказывает всю галиматью, которую наплел ему Менгс, и славит его картину, как лучшую античную картину, которая стоит еще выше только что найденных тогда в Геркулануме античных картин: «Любимец Юпитера несомненно является одной из самых прекрасных фигур, которые дошли до нас из древности. Я не знаю ничего, что можно было бы сравнить с его лицом. На нем написано столько наслаждения, что кажется, что вся его жизнь есть только один поцелуй». Но едва только история искусства вышла из печати, как обман был разоблачен.

Винкельман после этого «поссорился навеки» с Менгсом, но радость, которую доставлял ему труд его жизни, была все же новательно испорчена.

## V

Несмотря на эти слабые стороны, книга пробила себе однако дорогу и приобрела европейскую репутацию. Этому способствовало и то обстоятельство, что ее появление совпало с окончанием Семилетней войны, и приток иностранцев в Рим, который ослабел во время войны, снова усилился. Как «президент всех древностей» Винкельман стал любимым чичероне немецких деспотов и юнкеров, английских лордов, французских герцогов, итальянских кардиналов. Конечно, Винкельман жаловался иногда на этих «нарушителей его покоя и грабителей его времени», но в общем он с большой охотой вертелся в этой сутолоке.

С покладливостью и гибкостью, которые были нужны для сношений с «благородными» бездельниками, плохо, или, если угодно, хорошо согласовалось растущее высокомерие Винкельмана по отношению к своим собратьям в царстве духа. В особенности по отношению к Лессингу он выявил это нелепое самомнение, и в очень зlostной форме, так как под свежим впечатлением «Лаокоона» хорошо понимал, что дает эта работа Лессинга. Особенно смешным Винкельман сделал себя насмешками над Лессингом по поводу мнимого «чичеронства». Такого человека, как Лессинг, нельзя себе представить даже в течение

одного дня в той сутолоке, в которой Винкельман годами вращался с величайшим удовольствием. Его альтимаркские годы убили в нем то, что уже больше нельзя было восстановить. «Гуманность» в том скромном и в то же время гордом смысле, как она была присуща Гердеру и Лессингу, Гете и Шиллеру, не была его уделом. Он всегда оставался скитальцем, бездомником, для которого свобода никогда не являлась неизменным элементом, которому она казалась почти незаслуженным благом. Он поэтому никогда не мог преодолеть рабьей тоски по своей старой тюрьме. Через все двенадцать лет пребывания Винкельмана в Риме тянется непрерывная цепь переговоров, которые должны были вернуть его в Германию, то ко двору кассельского ландграфа, то ко двору герцога Дессауского. Он готов был наняться даже к «живодеру народов», когда Николай переслал ему — к тому же еще и ложное — известие, что прусский король склонен предоставить ему место библиотекаря.

К счастью Винкельмана, переговоры эти кончились безрезультатно, но он не мог устоять против тщеславного желания показать себя в Германии во всем блеске своего римского величия. Весною 1768 года он отклонил даже приглашение барона Ридезеля совершить с ним путешествие в любимую Грецию, чтобы вернуться на один год в Германию. Но уже в Альпах он пожалел об этом. В Регенсбурге он повернул обратно и направился сначала в Вену, где его приняла Мария-Терезия и подарила несколько золотых памятных медалей. Затем он поехал в Триест; где остановился на неделю в ожидании очередного судна.

Здесь он познакомился с одним бывшим поваром, мерзавцем, который уже отбыл тяжелое наказание на каторге. Винкельман вступил с ним в интимные отношения, рассказал ему о своем посещении Марии-Терезии, которой он якобы в тайной аудиенции раскрыл какой-то заговор, и показал золотые медали, полученные от Марии-Терезии. Мошенник все это понял на свой манер. Из визита к Марии-Терезии он сделал вывод, что Винкельман шпион, из того, что он имеет золотые медали, — что он еврей, и без всякого зазрения совести зарезал владельца этих сокровищ. «Возмутительно, — пишет Вилибальд Алексис в статье в «Новом Питавале», в которой он во всех подробностях рассказывает это страшное преступление, — не то, что такой негодяй мог убить Винкельмана, а то, что в обществе такого негодяя Винкельман должен был провести последнюю неделю своей жизни».

Это «возмущение» при известии о смерти Винкельмана охватило также наиболее выдающихся людей Германии, но они



сумели дать ему достойное выражение. Так Гердер писал: «И к тому же эту страшную руку должны были направить против него его идеалы, любимые тени Винкельмана в его жизни, любовь к славе и испытанная дружба». Гете назвал его счастливым, потому что его унес мгновенный ужас, быстрая смерть. «Он будет иметь то преимущество, что останется навсегда в памяти потомства, как человек в полном расцвете сил, ибо в том образе, в котором человек покинул землю, странствует он в царстве теней».

Проще, но еще правильнее и не менее достойно отозвался об убитом Лессинг, который больше всего был задет высокомерием Винкельмана. 5 июля 1768 года он писал Николаи: «Как я вижу из газет, известие о смерти Винкельмана подтверждается. С недавнего времени это уже второй писатель (первый был Стерн), которому я охотно подарил бы несколько лет своей жизни». Но когда Лессинг собирался предпринять путешествие в Рим, и всякие милые сплетники по этому поводу начали судачить, что он хочет взять на себя наследство Винкельмана, он написал 18 октября 1768 года Эберту: «Никто не может ценить его более высоко, чем я, однако я так же неохотно хотел бы быть Винкельманом, как я часто охотно бываю Лессингом». Трудно более эпиграмматически характеризовать жизнь Винкельмана со всеми ее достоинствами и ошибками.

Потомство подтвердило этот приговор: как много ни унес поток времени из дела жизни Лессинга, он сам, как цельный человек, продолжает жить, а от Винкельмана осталось только знаменитое имя.

## Иоган-Готфрид Гердер

В шестизвездии, которое, согласно традиционному представлению, светит над нашей классической литературой, писатель, столетие со дня смерти которого истекает 18 декабря (1903 года), Иоган-Готфрид Гердер, дальше всех ушел из кругозора современного поколения. Правда, и Клопштока, да и Виланда едва ли кто еще читает, но о них все же имеют некоторое представление, знают, что они были и что написали, тогда как Гердер совершенно забыт.

Произошло это не со вчерашнего дня, а уже очень давно. То, что Гете на склоне лет сказал о величайшем произведении Гердера, можно сказать и о всей его литературной деятельности. «Книга Гердера «Идеи к философии истории человечества»,—сказал Гете,—произвела необыкновенно глубокое воздействие на все немецкое просвещение, но после того, как она выполнила свою обязанность, она была совершенно забыта. Она до такой степени вошла в сознание больших масс, что только немногие, которые прочли бы ее, научились бы чему-нибудь, так как ее основные идеи, имевшие сначала огромное значение, так часто и так многообразно излагались и популяризовались, что давно уже всем известны». Иначе объяснял это явление Жан-Поль. По его словам, «Гердер не был звездой первой величины, но он был звездным скоплением. Он не оставил ни одного произведения, которое было бы достойно его гения, но он сам был шедевром бога». Эти отзывы Гете и Жан-Поля объясняют, почему историческая деятельность Гердера так скоро была забыта, особенно если принять во внимание, как трудно было для

буржуазной истории литературы найти этому «звездному скоплению», этому «шедевр у бога» надлежащее место в излюбленных ею рубриках.

Ученик Канта стал предшественником Гегеля, ближайший единомысленник Лессинга—пионером романтики, поклонник рифмоплетов Глейма и Эвальда Клейста—восприемником мирового поэта Гете. Без Гердера нельзя себе представить ни немецкое просвещение, ни немецкую романтику, ни нашу классическую литературу, ни нашу классическую философию. И в то же время было бы очевидным абсурдом назвать его просветителем или романтиком, поэтом или философом. Пытаясь понять такую трудную проблему во всей ее сложности, идеалистическое понимание истории всюду натывается на поставленные ей пределы. Неудовольствие по этому поводу, вполне понятное, хотя и ничем не оправдываемое, переносится на предмет исследования. Даже биографы Гердера не жалуют его. В их изображении Гердер—это второй, но отнюдь не исправленный, Лессинг, который возбудил ряд вопросов, но не дал ничего законченного и в конце концов расстался с жизнью в непримиримом антагонизме с своими величайшими современниками—с Гете и с Кантом.

Совершенно верно, что Гердер многим обязан Лессингу, что ни по чьим следам не ходил он так охотно и так часто, как по следам Лессинга, что он всегда с нескрываемым преклонением относился к Лессингу. Сын пастора, Лессинг был насквозь светской натурой, сын причетника, Гердер—насквозь религиозной. Если Лессинг много страдал от немецкой мерзости запустения, то Гердер еще больше—от прусской. Следы этого рабства сохранились у Гердера навсегда. В то время как Лессинг в княжеской школе в Мейссене, дерзкий, бодрый, задорный мальчик, жил общей жизнью вместе с сотней сверстников и строил себе собственный мир, изучая римских драматических поэтов, Гердер в городке Морунгене в Восточной Пруссии, «самом крохотном в бесплодной стране», как он сам называет это гнездо, прожил несказанно мрачную и грустную молодость, одинокий, запуганный, терзаемый заядлыми школьными тиранами, под мучительной угрозой «красного галстука», прусской рекрутской повинности, сулившей ему двадцать страшных лет под палкой капрала. Его спасло завоевание Восточной Пруссии русскими во время Семилетней войны. Восемнадцатилетний юноша, который, несмотря на неопишуемые лишения, успел, в свободные часы от занятий в качестве писаря при морунгенской городской церкви, приобрести поразительное образование, очень понра-

вился одному русскому хирургу, который и забрал его с собой в Кенигсберг.

И здесь Гердеру жилось еще довольно тяжело, но все же значительно лучше, чем на родине. Нового покровителя он нашел в лице Канта, который тогда—в 1762 году—находился еще в до-критическом периоде своего развития. Но Гердер охотнее всего слушал не философские лекции Канта, а его лекции по астрономии и географии, которые занимались видимым и действительным миром. Точно так же он изучал не философию, а теологию не из каких-нибудь внешних побуждений, а в силу внутреннего влечения, из любви к библии, которая в годы его одинокого детства служила для него единственным источником духовного просвещения, а затем и под влиянием Гамана, глубокомысленного, но темного мыслителя, по поводу которого Лессинг сказал, что его сочинения как будто нарочито написаны для людей, считающих себя полигисторами. По рекомендации Гамана Гердер уже в двадцать лет получил место преподавателя в соборной школе в Риге. Но перед отъездом он должен был принести присягу, что возвратится в прусское «отечество», как только будет призван в качестве рекрута. С того времени он уже никогда не появлялся в «царстве Пирра».

В Риге, где Гердер прожил от 1764 до 1768 года, он начал заниматься литературной деятельностью. В своих «Очерках новой немецкой литературы» он примыкает к литературным письмам Лессинга, в «Критических рогах»—к его «Лаокоону». Уже в этих первых произведениях проступает то, в чем он превосходил Лессинга: его исторический гений. Он считает своей задачей рассматривать «все в свете духа эпохи». Для Лессинга эстетика в конце концов была только средством к определенной цели. Он производил чистку в области литературы, чтобы укреплять и развивать буржуазное самосознание, которое могло проявлять себя сначала только в литературе. Что годилось для этой цели, то было для Лессинга образцом. Он отвергал правила Готтшеда, но верил в авторитет Аристотеля. Напротив, Гердер спрашивает: «Могли ли бы Гомер, Эсхил, Софокл написать свои произведения на нашем языке, создавать их при наших нравах? Никогда!» Он рассматривал эти произведения не как собственность отдельных привилегированных умов, но как общее достояние всех веков и народов с тем только отличием, что они в каждом народе и в каждую эпоху имеют или имели свое своеобразное развитие. Так пришел он к народной поэзии, как неистощимому источнику всякой поэзии, и эта радостная весть скоро нашла звучный отголосок в песнях Бюргера и Гете.

Но первые же сочинения Гердера показали также, в каком отношении Лессинг стоял выше него. Прежде всего в форме изложения: Лессинг был диалектическим борцом. Гердер—декламирующим пророком. Когда и теперь еще читаешь какой-нибудь этюд Лессинга, посвященный даже самой темной или забытой теме, сейчас же чувствуешь, как это чтение духовно освежает. Но если взять какой-нибудь этюд Гердера, посвященный предметам, которые и теперь еще живо интересуют, то уже после нескольких страниц охватывает чувство утомления. Это даже не декламация в плохом смысле этого слова, а скорее избыток мыслей, которые несутся беспорядочной толпой друг за другом, но этот пророческий взмах теперь, когда пророк уже давно доказал свою правоту, действует не возбуждающим, а расхолаживающим образом. Дело в том, что если Лессинг и Гердер, не будучи поэтами, сделали попытку выступить в области поэзии, то Лессингу все же удалось создать несколько драм, сохранивших и теперь свою поэтическую ценность, тогда как Гердер именно в области драматической поэзии ничего не добился, кроме самых печальных неудач.

Различная форма изложения была, однако, у обоих великих писателей только выражением различия их характеров. Они вместе боролись против грязной компании, которая собралась вокруг профессора Клотца в Галле, но в то время, как Лессинг сразил своего противника в открытом бою, не запачкав ни на йоту своей репутации, Гердер затеял неприличную игру в прятки, выступив сначала анонимно, а затем, когда приверженцы Клотца разоблачили его аноним, отрекся от своих нападок; одним словом, повредил себе морально так сильно, что дальнейшее пребывание в Риге стало для него невозможным. И все это собственно без всякого основания, во всяком случае меньше всего из соображений, связанных с его положением, в котором борьба с открытым забралом ему не могла повредить, а в силу внутренней неуверенности, которая в таком человеке, как Гердер, объясняется только неизгладимыми впечатлениями запуганной молодости.

Гердер направился морем в Париж, чтобы познакомиться с светом. В Париже он встречался с литературными знаменитостями тогдашней Франции, в особенности с Дидро. Если ему ставят в заслугу, что он отнесся к тогдашней французской литературе более справедливо, чем Лессинг, то это опять-таки верно только в том смысле, что он оценил ее исторически, тогда как Лессинг смотрел на нее, поскольку она выступала в придворных формах, как на тяжкое препятствие для немец-

кого духовного развития. Гердер принял затем на себя обязанности ментора при одном идиотическом принце, которого отправили путешествовать. Во время этого путешествия он весной 1770 года познакомился в Гамбурге с Лессингом, а осенью того же года в Страсбурге — с Гете.

Лессинг тогда собирался переехать в Вольфенбюттель. Он находился в зените своей жизни, и Гердер, который был моложе его на пятнадцать лет, не мог ему дать какие-нибудь новые стимулы. Однако Лессинг был «очень доволен» своим младшим соратником, и несколько недель они провели в живом общении друг с другом. Если Гердер не обладал таким боевым темпераментом и не был таким светским человеком, как Лессинг, то он однако не был ни нытиком, ни анахоретом. Но в одном отношении они были вполне схожи: оба относились с уверенным презрением к грязному маммону и оба плохо вели счет деньгам, чего нельзя сказать ни о Гете, ни о Шиллере. После гамбургских дней Гердер и Лессинг уже больше никогда не встречались. Они также и мало переписывались друг с другом, потому что оба были ленивы по части писания писем, но не теряли друг друга из виду. В своих отношениях к Лессингу Гердер выявляет себя с такой стороны, которая исключает всякие жалобы на его сварливый и завистливый характер.

Гораздо менее ровными были отношения Гердера с Гете, хотя они начались в Страсбурге тесным сближением. Общение с Гердером, которого болезнь глаз надолго задержала в Страсбурге, составило эпоху в жизни молодого Гете. Гердер открыл начинающему поэту новый мир, передав ему свое историческое воззрение на сущность поэзии, которое приводило его всюду к ее подлинным и неиссякаемым источникам. Однако Гердер не заметил в Гете гения. Всего на пять лет старше, он смотрел на своего молодого товарища сверху вниз. Он считал Гете «несколько легкомысленным и словоохотливым» и по этому поводу читал ему «вечные нотации». Но надежда Гердера, что он Гете «дал несколько добрых советов, которые когда-нибудь принесут плоды», оправдалась превыше всякой меры.

Между тем Гердер принял место главного пастора в Бюккебурге, при дворе чудаковатого князька, который в своей любви к игре в солдатики превосходил средний уровень своего класса. Гердер не чувствовал себя особенно хорошо в этом злополучном гнезде, хотя вскоре после своего переезда женился на любимой девушке. Для него началась тяжелая жизнь, под гнетом которой страдали все выдающиеся представители нашей литературы, — жизнь в мелких государствах и в мелких городах,

худшей особенностью которой были даже не денежные затруднения, обычно тесно связанные с такой жизнью, а гнетущее давление, которое она производила на духовную энергию. Меценатство немецких князей тогда заключалось в том, чтобы украсить какой-нибудь бюрократический пост известным именем, но с требованием, чтобы носитель этого имени выполнял все мелкие обязанности, которые на его месте должен был бы выполнять любой прилежный бюрократ. Эти князьки запрягали Пегаса в плуг и потому до сегодняшнего дня прославляются, как покровители искусства и науки.

Для буржуазного самосознания Гердера такое бремя было очень тяжело, хотя его духовная профессия сама по себе всегда доставляла ему высокое удовлетворение. Поэтому всякие утверждения, что он стал духовным только против собственного желания, что теологию он выбрал как хлебное занятие и т. д., представляют совершенно излишнюю попытку реабилитации Гердера. Как раз в годы своего пребывания в Бюккебурге Гердер вел очень горячую полемику с рационалистами, которые хотели кафедру проповедника превратить в кафедру добродетели и мудрости, которые забыли, что представляет собой проповедник пред богом и людьми, но хорошо знали, чем он в государстве его преславного величества, короля прусского, может быть с высочайшего разрешения и чем он желал бы быть, чтобы быть хотя чем-нибудь. Гердеру не повезло и в этой полемике, так как он чересчур погорячился, но он вполне искренно сражался за религию, которая для него была более важна, чем философия.

Как и поэзию, Гердер религию тоже объяснял исторически. Книги библии не были для него божественными произведениями, как для ортодоксов, но не были также собранием нелепостей и глупостей, как это утверждали рационалисты. Для него они были историческими писаниями, которые должны быть объяснены из условий их возникновения. В бесстрашной критике библии Гердер не уступал никакому просветителю восемнадцатого века. Он первый доказал, что «Песнь песней» царя Соломона представляет собою образец чувственной эротической песни, и не прошел опасливо мимо евангельской истории. Но, как совершенно справедливо сказал Давид Штраус, вообще не выносивший его: у Гердера «потребность строгого различения слишком перевешивалась страстью пророчества». Он всегда был пылким проповедником, хотя его критико-историческая деятельность и не вступала в какой-либо конфликт с его душеспасающей профессией.

Жизнь в Бюккебурге стала, однако, для Гердера невыносимой, когда его деспотик, ради пополнения рекрутской кассы, приступил к продаже духовных должностей недостойным субъектам. Гердер начал хлопотать о профессуре в Геттингенском университете, но наткнулся на различные препятствия благодаря своей недостаточной ортодоксальности. Тогда он в 1776 году принял приглашение в Веймар на пост генерал-суперинтендента и главного придворного проповедника. Это устроил ему друг Гете, хотя и ему пришлось при этом преодолеть большие трудности. Сто пятьдесят пасторов этой маленькой страны ворчали против новомодного главы, которого хотели к ним приставить, да и Гете, который тогда, вместе с молодым герцогом Карлом-Августом, пировал и бражничал во-всю, не мог быть компетентным блюстителем веймарской областной церкви. «Попы все очень заядлые парни»,—писал он Гердеру,—но он их всех согнал в одну кучу «ударами бича» и приветствует въезд друга в Веймар остроумными стихами.

Безмерно радует всех нас,  
Что видим кнут в руках у вас;  
Христос ослицу оседлал,  
Когда в Иерусалим въезжал;  
Сложнее будет вам: у вас-то  
Ослов тут целых полтораста.

Этим веселым приветом встречен был новый генерал-суперинтендент,—ему исполнился только что тридцать первый год,—при въезде в Веймар, который он уже больше никогда не должен был покинуть.

В Веймаре Гердер прожил почти тридцать лет. От 1775 до 1790 года Гердер энергично и плодотворно работал, слава его росла, так что после смерти Лессинга в 1781 году он почти десять лет считался первым немецким писателем. Последние годы, от 1790 г. до смерти в 1803 году, он прожил в возрастающей изоляции, отодвинутый на задний план Гете и Шиллером, в «угрюмом озлоблении», точно «настоящий сварливец и завистник», как уверяют буржуазные историки литературы и даже собственные биографы Гердера.

В первую половину веймарской жизни Гердер издал два труда, которые можно считать высшими пунктами его литературной деятельности и которые оказали наибольшее влияние: «Собрание народных песен» и «Идеи к философии истории человечества». Оба тома народных песен позднейшими издателями были переименованы в «Голоса народов в песнях». Это название более удачно, чем первоначальное. Искусство, с которым Гердер



собрал народные песни из всевозможных, не только европейских языков и диалектов, тонкий вкус и понимание, с которым он перевел их на немецкий язык,—все это дает самое красноречивое доказательство универсальности его гения. Еще больший размах этого гения мы видим в его великом философско-историческом труде, который ставит себе задачей доказать, что ход истории, от естественных условий нашей планеты до полного расцвета человечности, всех присущих человеку сил и способностей, представляет собою прогрессивное развитие. Это была первая попытка написать всеобщую историю культуры в широчайшем масштабе, попытка, предпринятая с непригодными средствами, но не над непригодным объектом. Средства и пособия, которые использовал Гердер в своем труде, при тогдашнем состоянии науки были совершенно недостаточны, чтобы достичь поставленной им себе цели, хотя он великолепно владел всем находившимся в его распоряжении материалом, даже в области естествознания. Но его более интуитивный, чем теоретический ум впервые указал в общих чертах—и это его славнейшая победа—путь, которым действительно шло и идет человечество. Каждый шаг вперед в исторической науке подтверждает это снова.

Некоторые критики хотели умалить значение исторического труда Гердера, указывая, что он на каждом шагу прерывается теологическими рассуждениями: в истории природы и человека Гердер находит откровения всемилостивого и всезнающего бога. В известном смысле это верно, однако не в том смысле, что Гердер позволяет какому-нибудь божеству делать историю природы и человечества по своему произволу. Он, напротив, прибегает к помощи откровения только там, где у него не хватает естественных причин для объяснения явлений. Он называет закон движения истории божественным законом, как Спиноза называет свою единую субстанцию богом. Когда, после смерти Лессинга, возгорелся неприятный спор по поводу его спинозизма, Гердер писал Глейму: «Не говорите мне ничего против Спинозы. Я—спинозист, помимо Лессинга, и только искренно порадовался так негаданно обрести такого брата во Спинозе. Да благословит господь этого славного, честного теолога! Если бы я только имел возможность, я послал бы ему и философскую и теологическую докторскую шляпу». В спинозизме Гердер был связан не только с Лессингом, но и с Гете, и последний приветствовал «Идеи» Гердера с величайшим восторгом.

Иначе отнесся к работе Гердера Кант, который подверг ее резкой критике и с весьма язвительной иронией осмеял

отмеченные им «авантюры гениальности». Вот почему именно новокантианцы обычно относятся к Гердеру с презрением, в особенности к стареющему Гердеру, который был достаточно самонадеян, чтобы вступить в схватку с исполином Кантом. В действительности, в этом споре между Кантом и Гердером речь шла об очень сложной исторической проблеме, и в первую очередь это была ограниченность Канта, а не Гердера, если Кант, при отличавшем его недостатке исторического понимания, не мог оценить значение «Идей» Гердера. В своих двух крупнейших трудах Гердер вообще вступал в решительный конфликт с буржуазным просвещением. Но это была не его вина, а вина или по меньшей мере беда просветителей, которые противопоставляли свою односторонность многосторонности Гердера. Жалкие насмешки плоского Николаи по поводу «Народных песен» Гердера теперь, правда, потеряли всякое значение, да, по существу, не имели его и сто лет назад. Гораздо большее значение имела и была более фатальна оппозиция просветителей против универсальной истории Гердера. Даже Шлоссер в своей знаменитой «Истории 18 века» относится к Гердеру весьма отрицательно, хотя его собственные труды в исторической области не дают ему никакого основания смотреть на Гердера сверху вниз. Можно очень высоко ценить нравственную суровость Шлоссера, и все же его морализирующая, но довольно плоская история является большим шагом назад в сравнении с широким размахом историософии Гердера.

Гораздо лучше отнеслась к Гердеру романтика, то-есть романтика в ее первой, свежей фазе, когда она представляла здоровую реакцию против духовного опустошения официального просветительства. Без «Народных песен» Гердера нет Уланда и «Волшебного рога мальчика» Арнима, нет Шлегеля и Тика, не было бы немецкого Шекспира и немецкого Сервантеса. Без «Идей» Гердера не было бы ни Шлейермахера, ни Нибура. Правда, ни у кого из них мы не находим того высокого идеала гуманности, который одушевлял все творчество Гердера, и только Гегель взял на себя продолжение всего труда жизни Гердера в таком же универсальном духе. Ничто не характеризует так отчетливо все значение Гердера, как именно то обстоятельство, что его не могли убить ни просвещение своей ненавистью, ни романтизм своей любовью, пока классическая философия не спаяла все, что в Гердере было ценного и своеобразного, и творчески не переработала на пользу немецкой духовной культуры.

Но ему не суждено было дожить до этого. Конец его жизни, как и друга его Лессинга, был отравлен горечью и тревогами. Оба гуманиста умирали, отчаявшись в решении той великой задачи, которой они посвятили свои славные труды. Жизнь обоих была в корне испорчена мерзостью немецкого мелкoderжавного деспотизма. Это тем более необходимо подчеркнуть, что угодливая историография старается затушевать этот факт. Вообще уже давно пора критической метлой смести ту розовую паутину, которую сплели вокруг «великих дней» Веймара, хотя бы потому, что brave филистеры считают обыкновенно самыми светлыми пунктами в жизни Гете и Шиллера как раз те ее стороны, которые являются злосчастливым отражением жалкой и душной обстановки этих маленьких княжеств и мелких городов. Здесь мы можем только в кратких чертах обрисовать «склоку», которая в последние годы жизни Гердера осложнила его отношения с герцогом Карлом-Августом, а также с Гете и Шиллером. Эту «склоку» постоянно используют против Гердера.

Как в Бюккебурге, так и в Веймаре Гердер был завален всякого рода мелочными делами, связанными с его должностью. С этим приходилось волей-неволей мириться. С Гете Гердер долго поддерживал самое близкое духовное общение. В особенно привлекательном свете выявилась гуманность Гердера в его благожелательных отношениях к маленькой работнице из цветочной мастерской, Христиане Вульпиус, с которой Гете жил свободным браком, тогда как Шиллер и его супруга, прославленная «благочестивая» Лотта, много с своей стороны делали, чтобы загрязнить дикими сплетнями память пролетарской девушки, в жизни олимпийца значившей больше, чем все благородные и неблагородные дамы, которых он любил или с которыми флиртовал. Когда Гете уезжал из Веймара, он всегда оставлял свою «любимицу» под покровительством Гердера и его жены, которые выполняли эти обязанности самым дружеским образом. Этот эпизод представляет одну из лучших страниц в жизни Гете и Гердера.

Первый разлад в их отношения внесла Французская революция, к которой Гердер отнесся гораздо более благожелательно, чем Гете и в особенности герцог Карл-Август. Этот карманный деспот, в котором теперь вновь проснулась мания абсолютизма, сильно обозлился, когда в проповедях его генерал-суперинтендента послышались отголоски могучего движения по ту сторону Рейна. Как свойственно таким мелким тиранам, Карл-Август прежде всего отомстил тем, что отказался от взятой им на себя обязанности заботиться о детях Гердера.

Когда жена последнего, вспыльчивая женщина, написала об этом Гете приблизительно в таком тоне: пусть герцог выполняет свое обещание или убирается к чорту, то ей ответил не друг и не поэт, а придворный: «Гораздо удобнее в трудную минуту сослаться на чужую обязанность, чем своей жизнью и поведением добиваться того, за что мы должны быть признательны». Но Гете все же напомнил герцогу об его обещании, и последний выполнил его, хотя и на особый манер: он готов был предоставить сыну Гердера земельную аренду, но с условием, чтобы молодой Гердер женился на вдове прежнего арендатора. На такое унижительное условие Гердеры не согласились. Молодой Гердер купил себе земельный участок в Баварии. Только после заключения сделки он узнал, что баварские дворяне пользуются привилегией, в силу которой они имеют право в течение первого года выкупить у каждого бюргера, который покупает в Баварии дворянские земли, проданный ему земельный участок за ту же самую цену. А так как один баварский юнкер пожелал использовать эту привилегию и выжить молодого Гердера, то отец его решился выхлопотать для себя баварское дворянство. Он сделал этот для старого врага дворянства неприятный шаг со всем возможным при таких условиях достоинством и настоял на том, чтобы в дипломе нарочито было указано, что он добивается дворянства только ввиду указанной юнкерской привилегии. Узнав об этом, наш карманный деспот опять рассвирепел и выкинул новую штуку: чтобы показать, что он «хозяин в своей стране», он отказался признать дворянство Гердера и заказал, за собственный, высочайший счет в Вене дворянскую грамоту для Шиллера и, к посрамлению Гердера, с треском и шумом огласил это великое событие в мировом государстве Веймаре.

Это только одна сцена из той сатирической интермедии, которой не только перемежались «золотые дни» Веймара, но которая составляла их центральную ось. Гердер играл при этом все же не худшую роль. Его критическое отношение к чисто эстетической культуре, которую защищали в своих произведениях Гете и Шиллер, объясняется универсальностью его духа. Что он ударился в крайность, что он забыл свои собственные первые шаги, что он вновь обратился к Глейму и Эвальду Клейсту, к любимым поэтам своей безутешной молодости и вместе с старым Глеймом оплакивал «доброе старое время» — все это верно. Но нельзя объяснять это раздражением против «благородного князя» или завистью к «великим друзьям», или ревностью к «более выдающимся умам».

И по отношению к Канту Гердер никогда не забывал, чем он обязан старому учителю. Еще в более поздние годы своей жизни он набросал блестящую характеристику личности Канта. Если он закончил свою великую деятельность горячей полемикой против философии Канта и наделал при этом, с точки зрения методического мышления, много грубых ошибок, то это объясняется более глубокими противоречиями. Нельзя поэтому, как это теперь принято, отвергать его полемику против Канта во всех ее частях. Конечно, есть доля правды в том, что, с собственным ему остроумием, пишет Гейне: «Трогательно читать в сохранившихся письмах Гердера, как трудно ему приходилось с кандидатами теологии, которые, по окончании занятий в Иене, приезжали к нему в Веймар, чтобы экзаменоваться, как протестантские проповедники. О Христе, о сыне он просто боялся задавать вопросы, он был уже рад, если они допускали существование отца». Однако эти молодые кандидаты теологии являлись из школы Рейнгольда, который, в качестве восторженного апостола Канта, проповедывал с кафедры в Иене, что Кант через сто лет будет пользоваться таким же уважением, как Христос, а уж это наверное приходится назвать очень критическим пониманием критицизма. Такие акробатические выверты могли, конечно, раздражать Гердера. А по существу следует сказать, что Спинозистская мировая религия Гердера не могла мириться с тем способом, каким Кант выбрасывает милосердного бога через парадную дверь чистого разума, чтобы впустить его назад контрабандой через черный ход практического разума. И точно так же истинно филистерское учение Канта о радикальном зле в человеческой природе могло рассчитывать только на самое враждебное отношение со стороны жизнерадостного гуманиста Гердера. В этих вопросах Гердер был предшественником Гегеля, и его духовное наследство оказалось и более значительным, и более плодотворным, чем духовное наследство Канта.

Если объединить заслугу и ошибку Гердера в одном тезисе, то следует сказать, что он защищал принцип исторического развития в такое время, которое ставило себе задачей разрушение исторических руин пережившего себя прошлого. Он стоял в рядах буржуазного просвещения, как его нечистая совесть. Он обладал как раз теми способностями, которых оно не имело и не могло иметь, но которые оно должно было иметь, чтобы победить. Именно поэтому Гердера никогда не любили все односторонние рассудочные просветители—от Канта до Давида Штрауса. Но именно то, что им в нем не нравилось, нам в нем

дорого. Было бы так же ошибочно, хотя и не более ошибочно, возвращаться к Гердеру, чем к Канту, но необходимо отвести подобающее ему почетное место в ряду предшественников тех людей, которые раскрыли нам понимание исторической жизни и создали таким образом для нас возможность сохранить все сокровища той человечности, которая когда-то маячила перед ними, как светлый идеал.

## Иоган-Вольфганг Гете

28 августа этого года (1899) исполнилось полтора столетия со дня рождения величайшего германского поэта. Столетие со дня его рождения совпало с годом, когда германскую революцию постигла катастрофа, и о Гете тогда еле вспомнили. Тем повелительней диктуемый пизететом долг восполнить упущенное,—долг, лежащий также и на рабочем классе, который в первую очередь призван охранять великие традиции германской культуры.

Правда, в узких рамках статьи трудно выразить, чем был Гете для своего народа и своей эпохи. Его неисчерпаемо глубокий ум и всеобъемлющая картина мира, отразившаяся в его солнечных очах, больше, чем что бы то ни было, оправдывают культ героя, чуждый трудовому и боевому поколению наших дней. Но даже Гете нельзя измерять этим масштабом. Правда, накануне своей кончины он имел право сказать: «Вечность не изгладит следа моих земных дней», но эта уверенность шла рука-об-руку с убеждением: «лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день их с бою добывал», а итог своей жизни Гете подвел в следующих словах, которые одинаково применимы и к самому скромному и к самому великому человеку: «Я человеком был и, значит, был борцом».

Это не значит, что Гете когда-либо приходилось вести ту борьбу, которая как в его, так и в наше время поглощает лучшие жизненные силы подавляющего большинства людей. Он по рождению принадлежал к правящим классам: его отец был состоятельный человек, добившийся звания имперского со-

ветника и наслаждавшийся созерцательным досугом ученого-дилетанта. Его дед с материнской стороны был пожизненным бургомистром Франкфурта-на-Майне, высшим должностным лицом старого имперского города. Положение этих маленьких городских республик было не лучше, чем положение всего загнившего государства. Рано развившийся Гете еще мальчиком заглянул в «странный лабиринт, которым минировано буржуазное общество». Но его самого счастливое и безмятежное детство вывело по ровной дороге вперед; безграничная любовь его молодой матери, красивой, цветущей здоровьем женщины сыграла, пожалуй, еще более благотворную роль, чем тщательное, но несколько педантичное воспитание со стороны отца, сравнительно старого человека.

Шестнадцати лет Гете поступил в лейпцигский университет, который в то время был самой авторитетной и веселой высшей школой в стране. По желанию отца он должен был изучать юридические науки, но в нем уже пробудилось влечение к поэзии, и он решил отдаться ему. Юная любовь к Кетхен Шенкопф, дочери одного лейпцигского трактирщика, вызвала первые звуки той несравненной лирики, которая помогала ему до глубокой старости выражать все свои страдания. Однако он еще не освободился от сильного влияния академической школы, следовавшей французским образцам. Две небольшие комедии, оставшиеся от лейпцигского периода, показывают, что он был ей всецело верен.

После трех лет учения в Лейпциге Гете вернулся в родительский дом незрелым во всех отношениях. Но уже весной 1770 года, когда он поступил в страсбургский университет, чтобы завершить юридическое образование, в его жизни наступил решающий поворот. Он легко и без труда добился докторской шапочки. У него оставалось также достаточно времени, охоты и сил на то, чтобы в полном размере развить свое поэтическое дарование. Французская революция еще не спаяла Эльзас с Францией, и пограничный край, борясь с чужеземным засильем, ценко держался за германскую культуру и искусство. Радостно текла среди прелестной природы жизнь юноши, которого выздоровление от только что перенесенной болезни переполняло кипучими силами. Новая любовь к Фредерике Брион, дочери зезенгеймского пастора, самому очаровательному женскому образу из всех, которые прошли через богатую эротическими переживаниями жизнь Гете, очистила и углубила родник его поэзии, а в лице Гердера он нашел учителя, который открыл перед пробуждающимся гением новые миры, обратив



его внимание на народную поэзию, на Гомера, на Шекспира.

В истории германской литературы семидесятые годы прошлого столетия получили наименование «периода бури и натиска», и в самом деле, это была революционная эпоха. Европейская культура стояла перед великим переломом, феодальный мир, под который столетиями подкапывался крот капитализма, безнадежно рухнул. Выходила заря буржуазного века. Это было неистовое брожение умов, свежее дыхание нового всемирно-исторического утра освобождало их как бы от оков тяжелого сна. С ликованием встречали они новое солнце, первые лучи которого начали освещать исторический горизонт. Но солнце это, в противоположность солнцу физическому, поднималось на западе, и лишь дальние его лучи светили немцам. Их печальная историческая судьба заставляла их приветствовать это солнце лишь в мыслях и песнях, творить революцию лишь в области литературы. И Гете, создавая поэтические произведения, придавшие германскому периоду «бури и натиска» его подлинный классический характер, с неудовольствием и презрением отвернулся от произведений французских материалистов, этих отважных буревестников великой революции.

Страсбург был местом духовного рождения Геца фон Берлихингена, драматизированной повести о средневековом рыцаре, которая, примыкая по форме к шекспировским хроникам, гениальными штрихами создала целый ряд дышащих жизнью образов. Здесь все жило и двигалось, все было до осязаемости ясно и отчетливо; то была картина из прошлого Германии, с трогательной наивностью взывавшая к духовным силам германского народа, уже однажды разделившегося с обломками средневековья. Разбойник с большой дороги, имя которого сохранилось в истории только потому, что он подло предал восставших крестьян во время крестьянской войны, был превращен поэтом в благородного революционера, который железным кулаком пробивал себе дорогу там, где были бессильны застывшие статьи писаного закона. Это произведение—не только яркое доказательство того, насколько резко был германский народ оторван от своих исторических традиций, но в то же время изумительное свидетельство гениальной силы поэта, сумевшего из смутного и волнующегося тумана создать художественный образ, который и доселе еще сверкает, как в лучах утреннего солнца.

Если Гец, в известном смысле, означал освобождение от засилья нездоровых настроений, характерных для периода

«бури и натиска», то не меньшую роль сыграли в этом отношении и «Страдания молодого Вертера». Гете написал этот роман в период сильного влечения к Шарлотте Буф, невесте человека, с которым был дружен. Он вышел победителем из душевной борьбы, в которой погиб самоубийца Вертер, он разрядил в созданном им образе то, что его мучило и угнетало, все то, что в брожении его эпохи было болезненным и уродливым. Свою мучительную тему он трактует с изумительным искусством: ясное и ласковое небо Гомера сияет над омраченным слезами миром современного сентиментализма. Уродливая общественная среда бросила поэта в объятия природы, и, в самом деле, ни в каком другом культурном поэте не жила природа такой непосредственной жизнью, как в Гете. Он не описывает ее явлений, но в его творениях клубятся пары над землей, сияет солнце, мерцают звезды, шумит море. «Страдания молодого Вертера» имели огромный успех, перекинувшийся далеко за пределы Германии. Над горестной судьбой героя проливали слезы тысячи нежных душ, произведение это не менее семи раз перечитал французский генерал Бонапарт, этот железный человек, как раз в то время готовившийся завоевать мир. Рука поэта развязала все таинственные силы, дремавшие в взволнованных душах его современников.

Лишь один человек питал недоверие и сомнение как по отношению к Гецу, так и по отношению к Вертеру—Лессинг. Филистеры из среды почитателей Гете, которые ни в чем не уступают любым иным филистерам, чуют тут низменную зависть со стороны этой свободной и сильной личности. На самом же деле неприязнь Лессинга объясняется естественным раздражением передового борца за освобождение буржуазии, который видел, что его класс не хочет идти по прямой дороге к цели. Печально, что до сих пор это остается непонятым. Но менее всего это умаляет Гете, ибо путь, который он избрал и по которому победоносно и неудержимо шел, был единственным путем, по которому, в силу своего исторического развития, германская нация могла, как равная, войти в ряды великих культурных народов. Современники часто с восторгом описывали, каков был Гете в ту эпоху среди окружавших его людей: обольстительно прекрасен, с кудрявой головой и лучащимися глазами. Он был истинный художник с головы до ног, лира которого звучала золотыми песнями, а колчан звенел острыми стрелами, в его голове роились великие замыслы, его умом владели великие образы прошлого—Прометей, Магомет, Цезарь—и, камень за камнем, строился «Фауст», эта поэма современности.

Но и этот гений не мог сорвать с себя оков немецкого убожества.

Гете обосновался в качестве адвоката в своем родном городе и обручился с Елизаветой Шенеман, богатой и красивой девушкой, грозившей втянуть его в пустую жизнь франкфуртских денежных тузов. Счастливый инстинкт отвел от него эту опасность, но пристань, в которую он укрылся, представляла собой всего-навсего двор мелкого князька.

Молодой веймарский герцог, на службу к которому поступил Гете, отнюдь не был тем благородным меценатом, каким изобразили его услужливые историки. Разумеется, по своим духовным и физическим силам он стоял выше всех других карликовых деспотов, сосавших кровь германского народа; однако это еще мало что говорит. В годы, когда при его дворе жили Гете и Шиллер, Гердер и Виланд, этот князек непоколебимо придерживался придворно-французского классицизма, отвечавшего литературным потребностям германского мелкодержавного деспотизма, и после сорокалетней совместной жизни с Гете отнял у поэта руководство веймарской сценой, чтобы удовлетворить мимолетный каприз одной из своих любовниц. Гете справедливо сказал тогда: «Карл-Август никогда меня не понимал». Все же для немецкого монарха в лице герцога веймарского, — в то время восемнадцатилетнего сорванца, — было незаурядным достижением почувствовать глубокую привязанность к гениальному поэту, который был старше его на восемь лет, и пригласить его к своему двору. 7 ноября 1775 года Гете прибыл в маленький, грязный, неуклюжий городишко на речке Ильм, где ему суждено было прожить пятьдесят шесть лет, до самой своей смерти.

Он сразу попал в невероятно скудную и мелочную среду. Все герцогство охватывало тридцать четыре квадратных мили и имело сто тысяч жителей. При размерах, не превышавших два-три прусских округа, это герцогство имело собственный двор и собственное войско, духовные и светские власти, точно великая европейская держава. Разумеется, все это было в карликовых масштабах, однако несчастное население страдало от этого не менее. Гете был принят в министерство не без некоторого ропота со стороны местных бюрократов, и ропот этот имел известные основания или по крайней мере известные поводы. Молодой герцог с головой ушел в веселую жизнь, и Гете был коноводом во всех шумных проказах. Впрочем, это было обычным явлением при всех германских дворах, и яд сплетен сосредоточился лишь на том, что легкомысленным ментором герцога явился в данном случае не пустоголовый юнкер, а гениальный

буржуазный поэт. С другой стороны, незачем особенно подчеркивать и то обстоятельство, что Гете вскоре нашел себя, что он в течение десятилетия был прилежным и добросовестным чиновником. То, что он сделал на посту веймарского министра и что он вообще мог сделать в этой роли, делает и любой прусский ландрат без всяких претензий на лавровый венок от своих современников или от потомства.

Исторический интерес имеет здесь лишь то влияние, какое оказали внешние условия на Гете, как поэта. Он остался в узком кругу правящих классов, где родился и вырос. Того резкого отвращения к придворной жизни, которое питал Лессинг, у него не было, и муза его в течение почти шестидесяти лет применялась к запросам этой жизни. В течение десятилетия его сердце принадлежало одной придворной даме, г-же Штейн, которая была на семь лет старше его и родила уже семь человек детей. Ни одна женщина не господствовала так продолжительно и так безгранично над сердцем поэта, как эта безусловно незаурядная, но все же пропитанная дворянскими придворными предрассудками женщина. Правда, однажды, когда он начал работать над своей «Ифигенией», он написал г-же Штейн: «Проклятые! Король Тавриды вынужден говорить так, как если бы в Апольде не было ни одного голодного чучельника», а в другой раз он писал ей с пути: «Меня снова охватила на этой темной дороге любовь к классу людей, который называется низшим классом, а в глазах бога является высшим». Однако те добродетели, которые Гете восхвалял в «низшем классе» — ограниченность потребностей, умеренность, простота, терпение, упорство — это те добродетели, которые господствующие классы ценят в классах подчиненных. Так было тогда, так осталось и теперь.

И все же в душе его было нечто, что все сильнее восставало против подлых условий, в которых он должен был жить: его врожденная артистичность, его поэтический гений. Он не мог бесконечно «играть пустыми орехами на пустые орехи» и «губить свое время, наряжая обезьян в людей и обучая собак танцам». Работа над развитием эстетической культуры, которая его прельщала и которая, конечно, могла бы быть единственным смягчающим обстоятельством для деспотизма германских мелких княжеств, все время наталкивалась на сопротивление герцога, который никак не мог отказаться от своей безвкусной игры в солдатики, от своих придворных блюдолизов, от своих дорого стоящих охот и разездов. «Лягушка создана для жизни в воде, хотя она и может некоторое время существовать на суше» — вздыхал Гете, а своему другу Кнебелию он писал:

«Так вот, обозревая снизу доверху все сословия, я вижу, как крестьянин отвоевывает у земли то необходимое, что дало бы ему возможность сводить концы с концами, если бы он потел только для самого себя. Но ты знаешь, что, когда виши разводятся на розах и жиреют, высасывая из них сок, являются муравьи и в свою очередь высасывают из них очищенный сок. Так это делается изо дня в день, и мы дошли наконец до того, что в один день наверху пожираем больше, чем внизу успевают собрать за один день». Эта безнадежная борьба с безобразием и уродством терзала Гете; все его великие поэтические замыслы оставались невыполненными. Поэт, так славно начавший свою карьеру «Гецом» и «Вертером», был, казалось, потерян для нации навсегда.

И тут Гете спасло быстро принятое решение предпринять путешествие в Италию, куда он отправился летом 1786 года, чтобы два года прожить в Риме. Уйдя от «железного неба» Германии в солнечную природу и в мир искусства, сильнее всего поразившего его произведениями античной скульптуры, поэт окончательно нашел себя. И глина быстро стала приобретать форму под воздействием его чудесной и мощной воли. Быстро друг за другом появляются такие произведения, как «Ифигения», «Тассо» и «Римские элегии». И каких бы струн ни коснулась его рука, они всегда отвечали звуками, идущими как бы из глубин человечества.

По возвращении Гете из Италии ему было трудно сжиться с старыми жалкими условиями. Свободный брак с Христианой Вульпиус, крепкой и здоровой красавицей, которая в духовном отношении мало могла удовлетворять его, положил конец его отношениям с г-жей Штейн. Он чувствовал себя и без того одиноким, и только его служебные обязанности стали обременять его с тех пор не так сильно. Герцог начал наконец понимать, что у Гете более высокое назначение, чем вертеть бюрократическое колесо маленького княжества. Он предоставил ему почти полную свободу, и Гете в основном ограничился руководством веймарским театром.

Но скоро выдвинулись более глубокие конфликты, затронувшие самое внутреннее ядро его существа. Зарницы французской революции замелькали и по эту сторону Рейна, их идеологическое отражение—философия Канта—революционизировало германские умы. Бури внешнего мира ворвались в искусственно отгороженный мир красоты, который построил для себя поэт. Он с отвращением отвернулся от них, без малейшего понимания исторического смысла происходящего,—понимания, которое

проявили люди гораздо меньшего калибра из числа его современников. Пошлые фарсы, в которых Гете пытался осмеять великую революцию, еще более омрачают его поэтическую славу, чем маскарадные шествия и всевозможные бессодержательные вирши, которые он сочинял к придворным торжествам в Веймаре. Главным произведением этой эпохи были «Ученические годы Вильгельма Мейстера» — роман, который сам он долгое время считал венцом своего поэтического творчества, хотя это мнение не разделяется потомством. Как ни ярки следы гетевского духа в этом романе, его художественность принижена бедностью и скудостью содержания, социальными условиями жизни тогдашней Германии, которую лишь грубые рычаги наглого провинциального юнкерства да презираемого актерско-пролетариата могли поднять над уровнем rispettableно-ограниченной филиистерской прозы.

Но что в половине восьмидесятых годов сделало для Гете путешествие в Италию, то в половине девяностых годов сделала дружба с Шиллером. Последний и самый смелый отпрыск эпохи «бури и натиска», полный огня в то время, когда художественным идеалом Гете уже стало классическое спокойствие, — Шиллер отнесся к Гете с крайней неприязнью, на которую Гете ответил большим недоверием. Но затем, по мере того, как убожество германской жизни все больше толкало Шиллера в сферу эстетической культуры, а Гете стал все больше нуждаться в человеке, который был бы способен его понять, оба поэта нашли пути друг к другу. Десятилетний период их общей деятельности представляет собой вершину нашей классической литературы, и с этой вершины потекли бесчисленные оплодотворяющие потоки, вливавшиеся в духовную жизнь нации. Наши пути и цели стали иными, и мы хорошо знаем, что не при посредстве эстетики добьемся политической и социальной свободы, но кто имеет представление об историческом развитии Германии, тот всегда будет с благодарным пиэтетом вспоминать о великой поре, когда Гете и Шиллер творили вместе. Спор о том, кто из обоих в этом союзе больше давал и кто больше брал, относится к области фантастических рассуждений, которые не имеют ничего общего с серьезным историческим исследованием. Уже Гете отменил этот вопрос в сторону своим резким заявлением, что немцам следовало бы удовлетвориться тем, что у них были два таких парня.

Конечно, Гете был более гениальным и более универсальным художником, но то, что он создал в течение этого десятилетия, носит явные следы пламенного темперамента, который Шил-

лер внес в этот дружеский союз. Вместе посылали они свои «Ксении», как лисиц с горящими хвостами, в лагерь филистеров. В лишенном соперничества соревновании возник ряд великолепных баллад, и еще лучше, чем в «Ифигении» или в «Тассо», Гете сумел в «Германе и Доротее» наполнить современной жизнью античную форму. Как высоко поднялась эта небольшая эпическая поэма, такая благородно гармоничная и гомеровски простая, над беспорядочной романтикой Вильгельма Мейстера! Поэт вступил в самую гущу мелкобуржуазных сфер, которые как-никак в течение столетий были средоточием германской жизни, и раскрыл здесь доподлинные неиссякаемые силы, которые, вопреки всем бедствиям и смутам, обеспечили германской нации великое будущее.

Шиллер неустанно побуждал своего друга закончить «Фауста», но только через три года после его смерти, в 1808 году, вышла в свет первая часть трагедии. Гете уже раньше печатал отрывки этого бессмертного произведения, представляющего труд всей его жизни. Эти отрывки привлекали к себе мало внимания. Но когда в дни глубочайшего унижения Германии появилась законченная драма, она—как некогда «Страдания молодого Вертера»—произвела впечатление ударившей молнии. Старец снова пережил тот же потрясающий триумф, что и в юности. Это произведение, которое восторженно приветствовали все культурные народы, как высшее проявление современной поэзии, мог создать во всем его несравненном великолепии только немец. И из этого сознания немцы черпали гораздо более гордую веру в себя, чем из жалких реформ, которые отечественные деспоты были вынуждены дать под гнетом чужеземного господства.

С тех пор, в течение всей своей долгой старости, Гете стоял над нацией, возвышаясь, подобно одинокой вершине, высоко над нацией. Борьба, которую она вела за свое национальное бытие, его не трогала. «Вырывайтесь сколько угодно из своих цепей, вам все равно не справиться с тем, кто их на вас наложил»,—повидимому, думал он.

Его не раз осуждали за это—несправедливо, поскольку он был слишком культурный человек, чтобы находить вкус в нелепой травле всего французского; справедливо, поскольку в эпоху боев, потрясавших мир, он мирился с жалкой клеткой миниатюрного германского двора. Великого поэта слишком часто и слишком полно заслонял теперь маленький министр, а могучий мастер слова культивировал бессодержательную напыщенность старческого стиля. Это была раздвоенная жизнь,

и именно такой выявляется она в поэтических произведениях этой эпохи. Рядом с цветущими оазисами встречаются безотрадны пустынные пространства, и если гетеанские филистеры слышат журчание мудрости в каждой строчке, написанной даже стареющим Гете, то это скорее говорит об эстетической неразборчивости этих людей, чем об их эстетическом вкусе.

Но Гете оставался владыкой в жизни Германии, величайшим и последним представителем классической литературы, которая—пока он был жив—давала единственное неоспоримое право германскому народу на звание современной культурной нации. В союзе с башкирами велась так называемая освободительная война против наследника французской революции, а за этой войной последовала беспросветная реакция. Но классическая литература сама создала свою ценность, и именно это имел в виду Гете, когда в следующих ярких словах презрительно отверг напыщенные претензии романтической школы, возникшей под влиянием реакционного толчка, данного буржуазному Западу феодальным Востоком: «Классическое—это здоровое, романтическое—это больное. Новое по большей части романтично не потому, что оно ново, а потому, что оно слабо, болезненно или немошно, а старое классично не потому, что оно старо, а потому, что оно сильно, свежо, радостно и здорово». Эти слова—приговор новой романтике буржуазного упадка, как семьдесят лет тому назад они были приговором старой романтике упадка феодального.

Иначе обстоит дело с той оппозицией, которую выказывала Гете еще полная жизни и верившая в будущее буржуазия. Гете умер 22 марта 1832 года, когда парижская Июльская революция положила конец мрачному периоду европейской реставрации, когда народы снова осознали свои права против владетельных князей. Германская молодежь, которая начала политически мыслить и действовать, которая знала только старого Гете и даже в его юношеских произведениях находила мало такого, что затронуло бы ее сердце, должна была отнестись к нему отрицательно и враждебно. Не обошлось без жестоких, несправедливых суждений; достаточно прочесть, что писал Берне о переписке Шиллера и Гете, а ведь Берне был эстетически образованный и интеллектуально значительный человек. Однако мы не станем вместе с буржуазными гетеанскими филистерами поднимать возмущенный крик о тяжелой обиде, якобы нанесенной нацией своему величайшему сыну. Нация крупнее наивеличайшего из своих сыновей; она должна использовать свои ценности и силы во всех областях человеческого творчества, чего никогда



не может сделать личность, ограниченная хотя бы пространством и временем. Какие бы странные, необоснованные и даже возмутительные суждения о Гете ни высказывались в процессе политического развития Германии, мы никогда не должны забывать, что суждения эти были порождены исторической необходимостью. Если германскому народу суждено было стать осознавшей себя нацией, то он должен был преодолеть односторонность эстетической культуры, должен был разрушить некогда плодотворное, а теперь уже ослабевающее обаяние великого имени Гете.

Гете принадлежит к историческим величинам, которые спокойно могут ожидать суда потомства. Оно уже не видит в нем сверхчеловеческого гения, но Гете не стал для него менее великим оттого, что стал для него человечнее. Как много из того, что отмерло в его произведениях или что было мертворожденным, создано было эпохой, и как много из того, что в этих произведениях бьет и будет бить живым ключом до тех пор, пока будет существовать германская и европейская культура, создано человеком, который был борцом! Воздух, которым дышит современность, насыщен зародышами, в расточительном изобилии разбросанными его благодетельной рукой. Бесчисленного множества людей, которые, может быть, не слышали и имени Гете, тем не менее коснулось дыхание его духа. Так живет он и будет жить в новом мире, который был еще невидим его смертным очам.

### Гете и современность

В одном из своих сочинений Лассаль широкий размах чествования Шиллера в 1859 году объясняет тем, что наш народ видел в духовном единстве своей литературы ручательство своего собственного духовного единства и вместе с тем залог своего национального возрождения. Действительно, только под этим углом зрения можно понять бурный и могучий энтузиазм, охвативший всю нацию в год столетия со дня рождения Шиллера. Как раз тогда итальянская война явилась для национального сознания горестным напоминанием, что немцы, как нация, все еще медиатизированы, и шиллеровские торжества явились бурным протестом против этого позорного и гнетущего факта.

А за десять лет пред этим столетие со дня рождения Гете прошло почти незамеченным, посреди оргий контрреволюции, которая беспощадно расправлялась с остатками разбитого народного движения. Как и все явления в человеческом обществе, так и юбилейные торжества находятся в связи с истори-

ческим развитием, из которого они не могут быть произвольно вырваны. Можно только с уважением относиться к чувству пиззета, которое теперь, когда приближается столетие со дня рождения Гете, заставляет в Германии всех готовиться к чествованию величайшего гения немецкой литературы, и мы не имеем никакого желания ослаблять это чувство разными дешевыми соображениями. Среди столь же многочисленных, сколь и ничтожных юбилейных торжеств, которыми официальная Германия чествует своих официальных героев, торжество в честь Гете является более чем уместным. Но нельзя и думать о том, что энтузиазм к Гете вспыхнет с такой же силой, как энтузиазм к Шиллеру в 1859 году. Время, в которое мы живем, слишком мало для того подходит: с одной стороны—слишком поздно, с другой—слишком рано. С тех пор как Германия снова завоевала себе, плохо ли, хорошо ли, государственное единство, культ памяти Гете стал монополией различных педантов и филистеров. Готфрид Келлер, которого не без основания называют швейцарским Гете, писал как-то по этому поводу: «В культе Гете, который поддерживается не трудящимися, а настоящими филистерами, *vulgo* профанами, есть что-то ханжеское. Во всех разговорах цитируется его священное имя, каждое новое сочинение о Гете встречается с величайшим одобрением, но его самого никто уже не читает. Все это в конце концов сводится, с одной стороны, к непроходимой глупости, а с другой—так же, как и религиозное ханжество, используется как мантия для прикрытия различных человеческих слабостей, которые следует скрыть». Всякий, кто хоть в некоторой степени знаком с литературой последних десятилетий о Гете, подпишется под этим суровым, но справедливым приговором. Но, при всей своей суровости, этот приговор, однако, является односторонним, поскольку он не объясняет нам, почему развилось и должно было развиваться это ханжество в культе Гете, а также почему поколение, стоящее в самой гуще огня политических и социальных боев, не чувствует себя хорошо в том мире эстетической красоты, в котором жил Гете, и почему оно охотно предоставило этот мир в распоряжение бравых, но близоруких и скучных школьных педантов.

Это надо сказать без гнева и пристрастия, это надо признать, как историческую необходимость. Во всей всемирной литературе нет другой фигуры, которая бы более влекла к культу героя, чем Гете, но кто отдается этому культу, тот, отчужденный от мира, остается чужд всей современности.

Среди сотен и тысяч книг, которые были опубликованы о Гете в течение последних десятилетий, вряд ли есть еще одна,

которая была бы так умна и остроумна, одним словом—была бы более гетевской, чем «Мысли о Гете» Виктора Гена. В ней имеются чудесные разделы, страницы, которые своей формой и содержанием вызывают у читателя впечатление, что перед ним настежь раскрываются двери в святая святых Гете. А затем следует обратная сторона медали: самые филистерские и даже злопыхательские отзывы о Шиллере, Лессинге, Бюргере, Гейне и вообще обо всех тех талантах немецкой литературы, в которых всего интенсивнее жило буржуазно-революционное сознание, беспашанная брань по адресу немецкой революции, как политической детской игры и обезьяньего подражания парижской моде, восторженная апология Бисмарка, как единственного вполне здорового и нормального человека, который жил в Германии шестидесятих годов, самый заядлый антисемитизм—одним словом, ограниченнейшее тупоумие во всех политических и социальных вопросах современности. Если в таком виде является нам самый живой из гетевских педантов и филистеров, то можно себе легко представить, как выглядят самые сухие из них.

Гете сам, конечно, в этом неповинен. Он достаточно работал для лучших людей своего времени и жил поэтому для всех времен, но превращать его мирозерцание того времени в мирозерцание нашего времени есть величайшая глупость, которая не становится меньшей только потому, что еще недавно один профессорствующий филистер, специалист в области гетеведения, из отдельных изречений Гете состряпал нечто вроде политического молитвенника. Не надо забывать, что безоговорочный культ Гете приводит к тем выводам, который сделал уже Виктор Ген, что он осуждает на полное бесплодие в боях современности и превращается, таким образом, в полную противоположность той светлой жизнерадостности, которая составляет самую сущность Гете. Ген был слишком значительным и проницательным умом, слишком образованным и знающим человеком, чтобы не вжиться целиком в свой идеал Гете: светлые и темные стороны его книги неразрывно связаны друг с другом. Вот почему его книга так поучительна для решения вопроса, чем может быть и что именно есть Гете для современности.

Если когда-нибудь существовал гениальный человек, который смотрел на окружающий его мир творческим взором художника, то это был Гете. Но мир, который его окружал, был тесен и убог, был населен покорными и робкими филистерами, находился во власти жалкой деспотической сволочи. При дворе такого захолустного тирана, который, возможно, не был таким

уродом, как вообще ему подобные, но все же далеко не был крупным и свободомыслящим человеком, Гете провел большую часть своей жизни, почти шестьдесят лет. Следы этой жизни запечатлелись в поэтических созданиях Гете, и тем глубже, чем старше он становился. Кто будет смотреть на него, как на верный, никогда не обманывающий маяк у моря жизни, тот рискует попасть на песчаные мели или в пучины. Со времени смерти Гете немецкий народ переживал процесс непрерывного преобразования своего национального бытия и не может поэтому, если бы даже желал, вернуться вспять к тем условиям, из которых Гете породил свои художественные произведения. Это возможно для отдельных индивидов, но невозможно для целой нации или хотя бы для одного класса нации. Чествование Гете теперь не может стать национальным событием, как шиллеровские торжества в 1859 году, в эпоху, когда нация воспринимала еще национальный пафос Шиллера, как классическое выражение своих сокровеннейших чаяний. В этом смысле теперь уже поздно для такого гетевского торжества.

Зато в другом смысле еще слишком рано. Виктор Ген доказывает в обширнейшей главе своей книги, что Гете в сущности никогда не был популярен, что в течение своей долгой жизни он только два раза имел колоссальный успех: один раз, когда вышел «Вертер», другой раз—когда появился «Фауст». Это верно, и это настоящий нектар для тех поклонников героев, которые ставят предмет своего поклонения превыше всего человеческого и хотели бы ограничить его понимание тесным кругом избранных умов. Кто не дает себя ослепить этим ограниченным культом, тот иначе объяснит незначительную популярность Гете. Он никогда не был одиноким полубогом, который в своей недосыгаемости шествовал над головами кишевших внизу масс. Гете был величайший, но все же только один из представителей передового отряда мыслителей и поэтов, которые опять завоевали немецкому народу надлежащее место среди великих культурных наций. Бесчисленными ручейками бессмертное творчество Гете вливалось оплодотворяющим потоком в немецкую народную жизнь, и, конечно, не тупоумием масс объясняется то, что очень многие, которые без его неисчерпаемых даров не были бы тем, что они есть, даже не знают его имени. Не единым хлебом насущным жив человек, но и единым искусством он не может быть жив. Раньше, чем создать для себя красивую жизнь, он должен обеспечить себе самую жизнь.

И до сих пор еще искусство является привилегией незначительного меньшинства, которое к тому же для вящего своего

прославления сочинило наглый догмат, что массы никогда не смогут переносить полный солнечный свет искусства и должны в лучшем случае довольствоваться лишь немногими, более слабыми лучами этого света. Этот клеветнический догмат может держаться, пока существуют господствующие классы, пока угнетенные массы должны тратить все свои силы на борьбу за голое существование и не оставляют себе ни капли энергии, чтобы создать красивую жизнь. Но нет более смешной нелепости, чем мысль, что когда погибнут привилегированные, вместе с ними погибнет и искусство. Да, оно погибнет, но только как привилегия: оно сбросит с себя уродующую его оболочку, чтобы стать наконец, тем, что оно есть и чем должно быть по самому своему существу,—исконной способностью человечества. Тогда только проснется, торжествуя, художественное чувство, которое дремлет во всяком настоящем человеке, и тогда имя Гете взойдет на немецко-духовном небосводе, излучая свет и теплоту, как солнце, выступающее из облаков.

Ибо для всех, кто вырос под знаком немецкой культуры, нет более настоящего, более великого, более бессмертного художника, чем Гете. Возможно, что у других народов и в другие эпохи жили более великие гении, возможно, что в будущем, в которое не может проникнуть глаз смертного, появятся еще более гениальные поэты. Но на все эти «если бы, да кабы» ответил уже Давид Штраус меткими словами: возможно, что Сириус больше Солнца, но не от него созревает наш виноград. Немецкое искусство никогда не выявлялось так всесторонне, так чисто и так глубоко, как именно в Гете. Мы не можем представить себе такое время, когда это солнце перестало бы посылать нам свет и теплоту.

Но мы видим, как все ближе и ближе становится день, когда исчезнут облака, мешающие ему светить полным светом. День, когда немецкий народ завоюет свое экономическое и политическое освобождение, будет и днем торжества Гете, потому что в этот день искусство станет общим достоянием всего народа.

### Гете на распутии\*

В предисловии к письмам Винкельмана к Берендису Гете пишет: «Письма принадлежат к важнейшим документам, которые может оставить после себя отдельный человек. Живые люди

\* Goethes Briefe an Charlotte v. Stein. Herausgegeben von Jonas Fränkel. Kritische Gesamtausgabe. Erster Band (1771 bis 1781). Mit einem Porträt, einem Faksimile und zwölf Handzeichnungen von Goethe. 443 Seiten.

даже в беседах с самими собою иногда представляют себе отсутствующего друга, которому они сообщают свои сокровеннейшие мысли. Таким же монологом является и письмо. Ибо очень часто друг, которому пишут, является больше поводом к письму, чем его предметом. Все, что нас радует или огорчает, угнетает или занимает, выливается прямо из сердца, и как нерушимые следы жизни или данной ситуации такие страницы для потомства тем важнее, чем больше пишущий был поглощен только настоящим, чем меньше он думал при этом о последующем времени. Письма Винкельмана имеют иногда этот желательный характер».

Также и письма самого Гете, сохранившиеся в почти неизмеримом изобилии, только иногда имеют этот желательный характер. Если даже оставить в стороне более поздний период жизни Гете с обстоятельным тайносоветническим стилем его писем, то даже письма Гете к Шиллеру носят печать тщательной редакции: можно их очень высоко ценить—с основанием или без основания,—но все же в каждой их строке заметна известная сдержанность, которая мешает автору высказать то, что его радует или огорчает, свои сокровеннейшие мысли. Напротив, письма Гете к Шарлотте фон Штейн носят вполне отчетливый характер монологов. Конечно, только письма, относящиеся к первым двенадцати годам их знакомства, когда между ними существовали интимные отношения. Наоборот, письма Гете, относящиеся к более позднему времени, когда после разрыва эти отношения были возобновлены только внешним образом, не представляют никакого интереса. Френкель мог бы смело исключить их из своего в общем прекрасного издания. Об этих письмах, как и вообще о многих других письмах этого периода жизни Гете, можно повторить только слова самой мадам Штейн об одном из этих писем: кажется, что в нем говорит «придворный в парадном одеянии, при орденах и шпаге».

Если письма Гете к Шарлотте фон Штейн за годы 1776—1788 действительно представляют нечто вроде «бесед с самим собой», то ценность их ничуть не умаляется от того, что отсутствуют ответные письма. Когда Шарлотта фон Штейн порвала свою связь с Гете, она выпросила их у него обратно и уничтожила. Но она тщательно сохранила все его письма и оставила своим

Zweiter Band (1782 bis 1786). Mit zwei Handzeichnungen von Goethe. 410 Seiten. Dritter Band (1786 bis 1789). Mit dem Briefwechsel aus den Jahren 1794 bis 1826. Mit einem Faksimile, zwölf Handzeichnungen und zwei Bildern von Tischbein. 477 Seiten. Jena 1908. E. Diederichs.

наследникам, которые, как подобает деловым людям, после сбыли их архиву Гете и Шиллера в Веймаре за семьдесят тысяч марок. Они уже были раньше опубликованы в 1848—1851 годах Шеллем и с того времени неоднократно переиздавались, а также были использованы и истолкованы до последней точки над «и» буржуазными историками литературы: правда, последние руководились при этом методом, прямо противоположным тому, который рекомендовал при чтении таких писем Гете. Вместо того чтобы держаться «предмета» писем, то-есть беседы, которую ведет в них Гете с самим собой, они уцепились за «повод» к ним — за любовь Гете к Шарлотте фон Штейн.

Тут, гетевские попы и филистеры чувствовали себя в своей стихии. По отношению ко всем возлюбленным Гете они берут на себя роль комиссаров целомудрия и стараются вынюхать, имела ли Фредерика Брион ребенка от Гете или от кого-либо другого, изменила ли своему мужу или нет, чтобы осчастливить Гете, Шарлотта фон Штейн, которая была уже десять лет замужем и матерью семи детей, когда он с ней познакомился. Один из этих чудачков, — если не ошибаемся, это был Дюнцер, — путем тщательного подсчета для всего десятилетия, о котором идет речь, день за днем, доказал, что Гете и Шарлотта не имели ни одного случая преступить строгие законы морали и отводит поэтому добродетельной даме «одно из первых мест в сердце немецкого народа». Этим филистерам, конечно, и в голову не приходит, что если Шарлотта фон Штейн действительно заслужила от них премию добродетели, то эта уже не молодая и некрасивая дама, которая в течение многих лет могла служить предметом пылкой любви гениального человека, тщательно охраняя свою анатомическую невинность, гораздо больше похожа на расчетливую кокетку, чем на неприступную мадонну. А так как раболепное подхалимство представляет основную черту всякого филистера, то они даже своему идолу Гете отпускают легкий шлепок, когда скулят по поводу трагической судьбы «госпожи баронессы», «чуткой, высокообразованной, восторженно любящей баронессы», которую в сердце Гете вытеснила «грубая фабричная девушка».

Но именно в этом пункте «непроходимая глупость», которую уже Готфрид Келлер отметил у «ханжей культа Гете», приняла такие размеры, что вызвала даже в буржуазной истории литературы известную реакцию. Особенно после опубликования писем матери Гете нельзя было повторять больше сплетни о «грубой фабричной девушке». Если в судьбе Шарлотты фон Штейн и можно еще найти что-нибудь похожее на трагическое, то разве

в том, что ее блестящая слава начала быстро меркнуть по мере того как все больше выяснялась вся несостоятельность жалких сплетен, которые распространяли она и ее подруга Шарлотта Шиллер насчет жены Гете. Таким путем возникли первые сомнения и в божественных качествах баронессы, сомнения, которые так быстро разрослись, что даже Эдуард Энгель, который еще несколько лет назад рисовал в своей истории литературы традиционный похвальный образ госпожи фон Штейн, теперь круто поворачивает назад. В своих «Очерках и речах» он теперь заявляет: конечно, Гете напрасно томился, но непреодолимая страсть—мягкая форма вместо более грубого и точного народного определения—ударила ему в голову, и он, как безумный, гнался за женщиной, которая всегда цеплялась за земное, была совершенно чужда всему высокому и прекрасному, больше поклонялась Коцебу, чем Гете, и никогда не уставала лгать, клеветать и сплетничать.

Эта реакция в известной степени вполне понятна, и несомненно, что Энгель не болтает все это зря, а приводит в обоснование своего пренебрежительного отзыва ряд документальных доказательств. Поэтому весьма мало убедительны возражения «Стража искусства», который думает, что эти доказательства недостаточны, чтобы определить характер человека; даже по отношению к живущим людям психиатр должен в течение месяцев производить ежедневные наблюдения, чтобы установить с приблизительной точностью характер болезни. Если признать правильной эту аргументацию «Стража искусства», то пришлось бы объявить неразрешимой загадкой характер всех умерших людей, поскольку они не находились в течение месяцев под наблюдением в каком-нибудь санатории. Но «Страж искусства» совершенно прав, говоря: «Какой смысл вообще имеет копаться в трупе женщины, носящей одно имя с той женщиной, которая жила в жизни Гете? Друга поэзии она интересуется лишь в том образе, в котором она отразилась в глазах Гете». Друга поэзии и также исторического исследователя, которого не должен занимать вопрос, почему Ганс любил свою Гретхен или Гретхен своего Ганса, если он не хочет попасть в болото весьма исторических сплетен. В таких интимных сторонах личной жизни, как любовь между мужчиной и женщиной, мы в каждом данном случае должны считаться с фактом, против которого ничего не поделаешь. Мы не можем знать, да и не имеем никакой нужды знать, почему Гете так много лет прикован был к госпоже фон Штейн, в которую господин Энгель, будь он ее современником, как рассудительный человек, несомненно не влюбился бы,



хотя также несомненно, что мы не имели бы тогда ни «Ифигении», ни «Тассо».

Точка зрения Энгеля в конце концов представляет только другой полюс того же безобразия, которое учиняют педанты-гетеведы. Если любовь является обязательным рычагом всей поэзии, то это еще не значит, что она — рычаг всей истории. Вокруг ребенка, которого Фауст делает своей Гретхен, разворачивается могучая трагедия, но ребенок, которого Гете якобы сделал Фредерике, не представляет никакого интереса для истории литературы, даже если бы Гете действительно сделал его Фредерике. Могут сказать, что именно потому, что любовь играет такую большую роль в искусстве, она должна также играть большую роль в жизни художника, что лучше всего доказывается именно примером Гете. Но это верно опять-таки лишь постольку, поскольку страсть художника находит свое отражение в его искусстве. Шарлотта фон Штейн несомненно связана с жизнью Гете, но лишь постольку, поскольку она связана с его искусством. Для нас очень важно, что она служила ему моделью для Ифигении и Леноры, но нас мало интересует, была ли она в действительности Ифигенией или Ленорой. И точно так же его письма к ней интересуют нас лишь потому, что в них отражается его личность, и совершенно никакого интереса не представляет вопрос, была ли Шарлотта фон Штейн достойна получать эти письма.

Новейший издатель этих писем, к счастью, стоит на той же точке зрения. В немногих словах он отбрасывает в сторону всю эту пустяковину за и против Шарлотты фон Штейн. По его мнению, мелочно и несправедливо было бы наряду с тем идеальным образом, который эта женщина оставила в душе любящего поэта, вызывать к жизни другой образ, каким он рисуется холодному взору на основании различных свидетельств. Он старается не только читать письма Гете глазами самого Гете, но и понять их, как беседы Гете с самим собой, в которых можно почти день за днем проследить развитие поэта в первое десятилетие его веймарской жизни. «Только с этой точки зрения имеет смысл перепечатка многих, часто, повидимому, ничего не говорящих маленьких писем». Однако эти письма дают ясную и отчетливую картину только тому, кто умеет проследить бесчисленные отраженные лучи, которые падают на пару, находящуюся на авансцене, до тех источников света, из коих они возникают. Необходимо было осветить не только задний фон сцены, но и ввести в поле зрения события, совершавшиеся за и между кулисами. Френкель поэтому снабжает письма подробными примечаниями

и содержательным комментарием. Он старается, в меру возможности, предоставить слово самим действующим личностям, оставляя, однако, совершенно в стороне «книги веймарских сплетен Дюнцера» и тому подобную ерунду. По части «филологической точности» и «ученого аппарата» он может смело померяться с любым гетеведом-педантом. Но в отличие от них он дает очень ценный материал для понимания Гете, а вместе с этим и для понимания нашей классической литературы.

Недостаток места не позволяет нам дать здесь обстоятельную критику трех больших томов, и с внешней стороны хорошо изданных. Мы ограничимся лишь несколькими замечаниями по поводу главных выводов, к которым пришел Френкель. Они заключаются в том, что первые десять лет жизни Гете в Веймаре представляют «страстную борьбу за мир действительности», что стремление к политической эмансипации у Гете было так же живо, как и у Лессинга и Шиллера, и что односторонняя эстетическая культура, которой должны были удовлетворяться наши классики, является не завершением, а искажением сущности этих великих людей.

Уже молодой Гете прекрасно понимал односторонность эстетической культуры. Еще до того, как он переселился в Веймар, он писал в рецензии на один роман Виланда: «Мраморные нимфы, вазы, вышитые пестрыми узорами ткани на столах этого маленького народа—не имеют ли они своей предпосылкой высокую ступень культуры? Какое неравенство сословий, какая нужда там, где столько наслаждений! Какая бедность там, где столько богатства!» «Патриотические фантазии» Мезера возбуждают в Гете всевозможные стремления, надежды, проекты, которые он старается претворить в действительность, после того как познакомился с герцогом веймарским и был приглашен им в Веймар. Герцогства Веймарское и Эйзенахское представляют для него «арену, где он может узнать, годится ли он для практической деятельности». Испытав, что представляет собою жизнь двора, он хочет теперь попробовать свои силы в области правления—и действительно уже через полгода становится министром. И уже после первого знакомства с государственной машиной он признается: «Странная штука—управление этим миром, когда приходится с грехом пополам очистить такую политически-моральную паршивую голову и держать ее в порядке».

Но Гете принимается серьезно за дело. Чтобы восстановить копи в Ильменау, он изучает геологию, чтобы преподавать ученикам академии рисования основы анатомии, он сам прилежно занимается сравнительной анатомией и точно так же из

практических соображений начинает заниматься ботаникой. Он изучает полеводство и способы орошения лугов. Он является на место всякого несчастья: приняв участие в работах по тушению пожара в одной отдаленной деревне, причем он сам получил легкие ожоги, он сейчас же набрасывает мысли о более целесообразном пожарном уставе и проводит его во всей маленькой стране. Он приводит в порядок запущенные финансы, он борется против военного дилетантства и неумеренной охотничьей страсти герцога, а также и против роскоши двора, истощающей народ. Он открыто говорит о таком «проклятом» явлении, как «высасывание всех соков из страны». В первую очередь его заботит несчастное положение крестьян. «Когда вши разводятся на розах и жиреют, высасывая из них сок, являются муравьи и в свою очередь высасывают из них этот очищенный сок. Так это делается изо дня в день, и мы дошли, наконец, до того, что в один день наверху пожираем больше, чем внизу успевают собрать за один день». К проектам реформ, с которыми носился Гете, принадлежала также отмена десятины. Вся эта работа доставляет Гете такое наслаждение, что в конце 1778 года он пишет в своем дневнике: «Заряд работой действует живительно на душу. Когда она разряжается, она чувствует себя свободной и наслаждается жизнью. Нет более несчастного человека, чем тот, кто любит только уют и знать не хочет труда. Самый прекрасный дар становится ему в тягость».

Но Гете очень скоро наталкивается на непреодолимые трудности. Уже в 1779 году он жалуется: «Вся эта дрянь становится мало-по-малу столь же прозаичной, как огонь в камине. Но я не отказываюсь от моего намерения и буду бороться с неизвестным ангелом, хотя бы с риском вывихнуть себе бедро. Никто не знает, сколько стоит мне усилий и с сколькими врагами мне приходится бороться, чтобы хотя чего-нибудь добиться». Все его старания сделать из герцога веймарского культурного человека кончаются неудачей. После многолетней воспитательной работы Гете должен признать: «Герцог в сущности имеет узкий кругозор, и если он предпринимает какой-нибудь смелый шаг, то только в пылу увлечения. У него не хватает ни последовательности мысли, ни настойчивости, чтобы провести в жизнь какой-нибудь широкий план, требующий времени для своего полного осуществления». Еще с большей горечью пишет он 10 марта 1781 года Шарлотте фон Штейн: «Меня не удивляет теперь больше, что государи в большинстве случаев так безумны, глупы и нелепы. Мало кто имеет такие хорошие наклонности, как герцог, мало кто окружен таким

числом разумных и хороших людей, как он, и все же ничего не двигается с места, и едва успеешь осмотреться, как опять выползает какая-нибудь гадость. Самое большое несчастье заключается вот в чем: как ни увлекается он хорошим и справедливым, он чувствует себя гораздо лучше, когда может поступить наоборот: поразительно, как здраво он рассуждает, как много понимает, как много знает, и все же, если даже он замышляет хорошее дело, он непременно выкинет какую-нибудь нелепость. К сожалению, у него это лежит в самой его натуре: лягушка создана для воды, хотя она и может короткое время оставаться на суше».

В 1782 году расточительное хозяйство герцога пришло к полному банкротству. Гете еще раз берется за дело, и ему удается с большим трудом привести финансы маленькой страны в порядок. Но когда он хочет добиться согласия герцога на введение определенного годовичного бюджета, он опять наталкивается на суверенное самодурство. Он приходит к убеждению, что больше не в состоянии справиться с ним. После прочтения известного сочинения Вольтера о прусском короле Фридрихе он пишет 5 июня 1784 года госпоже фон Штейн: «Книжка произведет большую сенсацию, и я заранее рад, что ты ее прочтешь. Она написана так же хорошо и с таким же превосходным юмором, как и лучшие его вещи. Он пишет о прусском короле, как Светоний о скандалах владык мира, и если бы у мира когда-нибудь могли и должны были раскрыться глаза на королей и князей, то эти страницы были бы превосходным снадобьем. Но их будут читать, как сатиру на женщин, которую откладывают в сторону, чтобы снова пасть к их ногам». И 9 июля 1786 года он опять пишет ей: «Я повторяю: кто хочет заниматься делами управления, не будучи правящим государем, тот должен быть филистером, или негодяем, или дураком». Через несколько недель после этого меланхолического признания Гете сбежал в Италию, не сказав ни герцогу, ни даже своей возлюбленной, куда он направляется.

Шарлотта фон Штейн поняла это бегство, как бегство от нее, и разразилась по этому поводу стихами: «Я теперь одна и вечно буду одинока, он закрыл от меня свое сердце, которое было для меня всегда открыто. Нем и холоден, он покинул меня». На его письма из Италии она ответила весьма нелюбезно. Но письма самого Гете свидетельствуют, что он продолжал ее любить и не из-за нее покинул Германию. Что именно его заставило бежать, показывает условие, которое он поставил герцогу для своего возвращения: освобождение от всяких государственных обязанностей. Френкель совершенно прав, говоря, что если

Гете, так много рассказывающий о всех других периодах своей жизни, всегда соблюдает строгое молчание о первом десятилетии своего пребывания в Веймаре, то не потому, что он при этом считался с мадам Штейн. «Причины лежали гораздо глубже. Ему не хотелось поднимать камень с могилы, в которой были похоронены долго лелеянные желания, смелые надежды, горькие разочарования». Действительно, Гете не хотел никогда ни себе, ни другим напомнить, что в нем что-то надломилось, что не могло уже найти себе замены, что ему с того времени суждена была только ущербленная жизнь.

Правда, сам Френкель в другом месте пишет снова о «золотом венце», который Гете заслужил после своего возвращения из Италии. Да и филистеры-гетеведы могут возразить: «значит, все гениальное, что создал поэт Гете в годы своей зрелости и старости, имеет меньшее значение, чем имело бы успешное проведение задуманных им реформ в герцогстве Веймарском? На это можно возразить, что Гете даже в то время, когда вел борьбу с герцогом, чтобы установить в Веймаре мало-мальски достойные человека условия, создал ряд гениальнейших творений, а затем, что отмена крепостного права хотя бы только в одной частичке Германии имеет большее значение, чем «Гражданин-генерал» Гете или его стихотворения «Ее величеству императрице австрийской», или его неудачная полемика против учения о цветах Ньютона. Но такой ответ был бы уже слишком большой уступкой филистерской ограниченности. Речь идет вовсе не об альтернативе: министр или поэт. Как-никак, а в более позднюю эпоху жизни Гете «обыкновеннейший министр», говоря словами Бюргера, довольно часто совершенно закрывал собою «великого художника». Гораздо важнее вопрос, действительно ли чисто эстетическая культура, на развитии которой Гете после возвращения из Италии сосредоточил все свои силы, была действительной целью его жизни или он ограничился этим только после горьких испытаний, потому что не мог стать тем, к чему он в пору расцвета своих сил горячо стремился,—стать цельным человеком, который живет среди и для своего народа.

Ответ на этот вопрос дают письма Гете к Шарлотте фон Штейн: они показывают нам Гете на распутьи его жизни и вместе с тем показывают, как он, только шаг за шагом, отступал назад, пока выбрал или должен был выбрать худшую долю. Он сам от этого ничего не теряет, ибо все, что в его более поздней жизни действует на нас отталкивающим или расхолаживающим образом, выступает в более мягком свете, если понимать это, как оно есть—как стоны и вздохи скованного Прометея. Но

что при этом сходит совершенно на-нет и с полным историческим обоснованием, так это апология чисто эстетической культуры, под покровом которой умеет находить себе убежище всякая реакционная глупость. Не со вчерашнего дня только самый безогворочный культ Гете соединяется с невероятнейшей тупостью по отношению к национальной жизни и ее потребностям, по отношению к политическим и социальным проблемам современности.

На все это наши brave мещане имеют готовый ответ: значит, по вашему мнению, Гете должен был бы стать политическим или даже еще революционным поэтом, тогда он был бы ваш человек. Так как не имеет никакого смысла спорить с таким пустословием, то мы ограничимся маленькой исторической справкой. Барон фон Штейн успел, как прусский министр, осуществить кое-что из того, что Гете тщетно старался сделать, как веймарский министр, но не потому, что он был более гениален или революционен, чем Гете, а по той причине, что, будучи значительно моложе, имел, в качестве доброго покровителя, сражение при Иене. Штейн не был демократом и не был даже либералом. Он не был свободен от многих средневековых предрассудков, а Гете во многих отношениях держался более либеральных взглядов. Оба они почти одинаково много написали нелепиц о Великой французской революции. Так вот в июле 1815 года они вместе совершили путешествие по Рейну, причем Гете был гостем Штейна. По свидетельству Арндта, Штейн был так любезен, как он, по натуре своей жесткий человек, редко бывал, в особенности по отношению к мелкокняжеским министрам и поклонникам Наполеона, каковым был Гете. Штейн видел в Гете только человека, который делает честь немецкому народу, и шептал своим спутникам: «Не говорите только о политике. Он ее не переносит. Это, конечно, не совсем похвально, но он великий человек». А Гете благодарил его за гостеприимство в следующих словах: «Я напишу, что для меня открылись новые перспективы жизни и знания, так как, благодаря вашему доверию, я мог получить лучшее представление об окружающем нас моральном и политическом мире и приобрести более полное знакомство с прирейнскими землями. К этому присоединяется и то, что прекрасные часы, которые мне привелось провести вместе с вами, были предвестниками в высшей степени важного события», а именно в Веймар был прислан Гете командорский крест королевского и императорского ордена Леопольда «в сопровождении весьма лестного собственноручного послания светлейшего князя Меттерника», того самого Меттерника, который во всех национальных вопросах был самым яростным врагом Штейна.

Мы видим, как здесь противостоят друг другу настоящий человек и придворная кукла. Мы видим также, как много выигрывает от активного участия в жизни нации даже старо-франкский барон и как много теряет даже великий гений, когда не может в ней принять участия.

Это, конечно, не смутит наших идолопоклонников Гете. Само их существование есть лучшее доказательство односторонности чисто эстетической культуры, но так как они в этой односторонности живут и копошатся, то они боятся исторической правды о Гете, как кроты света дневного.

### «Эгмонт»

Драма представляет высшую вершину старого искусства, но последнее само уже не является такой вершиной: сцена, которая представляет мир, не исчерпывает мира поэзии. Софокл и Шекспир, а из наших поэтов Лессинг, Шиллер, Клейст, Гёте и Анценгруббер раскрываются пред нами во всем своем значении только в театре. То прекрасное, что они, как поэты, создали помимо театра, имеет второстепенное значение. Но этот масштаб оказывается непригодным как раз в приложении к гениальнейшей и величайшей фигуре нашей классической литературы. Гете всю жизнь усерднейшим образом занимался театром, но не в театре заключается центр тяжести того, что он дал миру. Правда, его мировая поэма отлита в драматическую форму, но она не является драмой в том смысле, что только в сценической постановке выявляются в полной степени все ее красоты. Напротив! Кто однажды видел «Фауста», даже в самом блестящем исполнении, всегда испытывал чувство разочарования: так много пропадает при этом тончайших и нежнейших оттенков бессмертного творения!

А другие драмы Гете и совсем не могут сравниться с его лирикой и эпосом. «Ифигения в Тавриде» и еще больше «Торквато Тассо» или даже «Незаконная дочь» представляют классические произведения искусства, как те антики, которых они напомнили Генриху Гейне: «Они столь же совершенны, столь же великолепны, столь же спокойны, и, кажется, точно чувствуют с горестью, что их неподвижность и холодность отделяют их от нашей теперешней кипучей жизни, что они не могут вместе с нами ликовать и страдать, что они не люди, а несчастная смесь из божества и камня». И если желательно было, чтобы великое имя Гете было представлено—и кто мог сомневаться, что он должен быть представлен в ней!—в программе «Вольного народ-

ного театра», то оставался только выбор между «Гецом» и «Эгмонтом». Против «Геца», однако, выдвигался ряд возражений. Правда, в некоторых сценах этого драматизированного рыцарского романа ярко вспыхивает гений еще совсем молодого поэта, но драма эта, имея большое значение как культурно-историческое свидетельство, не представляет большой ценности, как поэтическое произведение. Уже Лессинг сказал: «Он наполняет кишки песком и продает их, как веревки. Кто? Поэт, который излагает биографию героя в диалогах и кричит на весь мир, что это драма?» Но самое важное это то, что Гете в своем «Геце» чересчур много согрешил перед историей. Драматический поэт может проделывать с историческими фактами, что ему угодно, но исторический характер, согласно старому закону искусства, должен быть для него священен. А в рыцаре с железной рукой поэт возвеличивает банального разбойника на большой дороге, имя которого попало в летописи истории только потому, что во время Великой крестьянской войны он изменил крестьянам гнуснейшим образом, и превращает в «одного из благороднейших немцев». Он хотел спасти «память славного человека» и поносит ради этого плутоватого юнкера горожан и крестьян. Все это такие вещи, которые для нас теперь совершенно неудобоваримы—не потому, что нам не нравится их тенденция, а потому, что они грешат против искусства. Таким образом, выбор комитета «Вольного народного театра» пал на «Эгмонта».

Конечно, «Эгмонт» Гете сильно отличается от исторического, и опять-таки даже исторический Эгмонт меньше всего является народным героем, хотя бы только в буржуазном смысле слова. Богиня свободы, которая является гетевскому герою во сне накануне казни в образе его возлюбленной, ни на йоту не была той «свободой, которую мы себе представляем». Экономические перевороты шестнадцатого столетия и в их результате великие географические открытия этого века переместили мировую торговлю с берегов Средиземного моря к берегам Атлантического океана; на европейском континенте буржуазно-капиталистический мир развернул свое первое победоносное знамя в Нидерландах. Отпадение этой страны от испанского господства являлось революционной эмансипацией богатой республики городов от габсбургско-папской всемирной монархии средних веков, эмансипацией, которая целиком определялась экономическими пружинами, хотя внешним образом последние скрывались в идеологических формах религиозной войны между протестантизмом и католицизмом. Как мало протестантизм, как таковой,



был революционным или католицизм—реакционным, показывает простая ссылка на колыбель протестантизма—на Германию, где он, благодаря экономическому распаду этой страны, как рабелепная и притупляющая догма, пал еще глубже, чем католицизм в его самую худшую пору. И только благодаря экономическому расцвету, благодаря быстрому росту нидерландских городов, которые в силу своих жизненных интересов находились в резком антагонизме с феодально-средневеково-папской всемирной державой, только благодаря всему этому протестантизм сделался здесь самой революционной силой эпохи, силой, которая в своей основе была Эгмонтам не менее противна, чем Альбам.

Ведь исторический Эгмонт не стоял во главе тогдашнего революционного класса, голландской буржуазии. Он меньше всего был революционным героем. Он принадлежал к крупному феодальному дворянству Нидерландов, которое как соэксплуатируемое имело некоторые общие интересы с нидерландской буржуазией *по отношению* к испанским властям, но как соэксплуататор имело не меньше, а, вернее, даже больше общих интересов с испанскими властями *по отношению* к нидерландским городам. Соответственно этому поведение Эгмонта во всемирноисторической освободительной борьбе Нидерландов было двусмысленным, неопределенным, нерешительным. Он предпочел бы быть феодалом божьей милостью, а не испанским вассалом, но он все же был гораздо охотнее испанским вассалом, чем гражданином городской республики. В споре между классовыми интересами эксплуататор одержал верх над эксплуатируемым. Эгмонт не сделался протестантом, он остался католиком; он всегда искал соглашения с испанским двором, но, к его несчастью, этот двор, как свойственно всякому деспотизму, не шел ни на какие компромиссы.

Мы находим на этот счет меткое замечание в одной мало известной исторической статье об Эгмонте, принадлежащей Шиллеру: «Сейчас же после организации союза гёзов в провинциях вспыхнуло иконоборческое брожение. Штатгалтеры поспешили вернуться из Брюсселя в свои округа, чтобы восстановить порядок. Эгмонт больше всех отличался своим служебным усердием. В Артуа, во Фландрии, он казнил многих бунтовщиков и привел протестантов к покорности. Но даже эту большую службу ему после засчитали как государственную измену, потому что он сделал протестантам несколько мелких уступок, в которых не мог им отказать, не пустив в ход насилие». Так обстоит в сущности дело с «государственным преступником»

или даже «героем свободы», Эгмонтом. Его неопределенная и двусмысленная, хотя и более дружественная к деспотизму, чем к народу, политика оказалась для него роковой, именно в глазах деспотизма, который хочет всегда иметь целого раба и в половинном рабе сейчас же открывает целого предателя. Испанский король Филипп послал своего палача Альбу с армией в Брюссель в полной уверенности, столь характерной для деспотизма, что, уничтожив так называемых «вождей», он сейчас же справится со всем буржуазно-протестантским восстанием. Отдельные «вожди», как принц Оранский, сейчас же пронюхали, в чем дело, и удрали. А Эгмонт остался глух ко всем предупреждениям Вильгельма Оранского; он полагался на то, что он «уничтожил бунтовщиков» и таким образом приобрел испанскую благодарность. Но была и несравненно более важная причина, почему он остался: подобно всем крупным феодалам в шестнадцатом столетии, Эгмонт привык к расточительности и роскошной жизни и потому сильно запутался в долгах. Бегство лишило бы его всех должностей, доходов и имений, и он не мог бы обеспечить в изгнании соответствующее социальному положению существование своей жене, баварской принцессе, и одиннадцати детям. Так попался он в руки Альбы, который сейчас же арестовал его и графа Горна и, после отвратительной комедии так называемого законного суда, 5 июня 1568 года отправил обоих на эшафот.

Ясно, что исторический Эгмонт вовсе не был и не является трагическим героем и что Гете должен был сотворить другого Эгмонта, если хотел сделать его героем трагедии. Он это и сделал, но гораздо удачнее, с меньшими натяжками, чем при идеализации разбойника Геца. Следует даже признать, что Гете лучше понимает сущность тогдашней борьбы, чем католическая или протестантская историография нашего времени. Так, совершенно в духе исторического Эгмонта, гетевский герой во втором акте в сцене уличных беспорядков уговаривает восставших горожан: «Сделайте все, что можете, чтобы поддержать порядок! Вы и без того на очень плохом счету. Не раздражайте больше короля! Ведь у него в руках вся власть. Порядочный гражданин, который кормится честно и прилежно, всегда имеет столько свободы, сколько ему требуется. Не поддавайтесь чужому учению, не думайте, что путем восстания вы укрепите ваши привилегии! Оставайтесь дома! Не допускайте, чтобы на улицах собирались скопища!» Мастерски изображена также историческая ситуация в большой беседе между Альбой и Эгмонтом. Мы цитируем только несколько мест.

*«Альба.* Смотреть пассивно на большое зло, льстить себя надеждой, полагаться на время, и если даже раз ударить по этому злу, то так, чтобы, как во время карнавала, было звонко и казалось, что хочешь сделать что-нибудь, когда на самом деле не делаешь этого,—разве все это не значит вызывать только подозрение, что смотришь с великим удовольствием на восстановление, которое не хочешь сам вызывать, но которому готов помочь?

*Эгмонт.* Не всякий умысел очевиден, а иной умысел достаточно ясен. Говорят же со всех сторон, что король гораздо меньше думает о том, чтобы управлять провинциями по однообразным и ясным законам, обеспечить величие религии и дать своему народу всеобщий мир, чем о том, чтобы подчинить их себе безусловно, чтобы отнять у них старые права, чтобы стать господином их владений, чтобы ограничить славные права дворянства, из-за которых дворянин готов служить только королю, отдать ему тело и жизнь. Говорят, что религия—только великолепный ковер, за которым тем легче замаскировать опасный выпад. Народ стоит на коленях, молится священным иконам, а сзади него притаился птицелов, который готовит для него силок.

*Альба.* И все это я должен слышать от *тебя*?

*Эгмонт.* Это не мои взгляды! Но об этом шепчутся повсюду, об этом говорят великие и малые, умные и глупцы... И также естественно, что граждане хотят, чтобы ими управляли те, кто родился среди них и воспитан с ними, кто имеет о праве и неправе такие же понятия, как они, на кого они могут смотреть, как на брата.

*Альба.* И все-таки дворянство не совсем поровну поделилось с ними, с своими братьями.

*Эгмонт.* Это совершилось много веков назад и на это смотрят теперь без зависти. Но если без всякой нужды посылают новых людей, которые во второй раз хотят обогатиться за счет нации, если народ увидит, что он отдан в жертву жестокому, наглому, неограниченному стяжанию, то это вызовет такое возмущение, которое не так легко уляжется».

В этих немногих положениях ясно выражен экономический характер так называемой религиозной войны. Видно также, что Гете вовсе не делает из своего героя благороднейшего человека, безгрешного человека, крупный характер. Альба своими едкими репликами попадает в слабые места Эгмонта, а последний может ответить только как феодал, которым он в сущности был и остается. Но в отличие от исторического Эгмонта, не как феодал шестнадцатого столетия, который мыслит сохранить свое совершенно расшатанное экономическим развитием социальное положение только при помощи лицемерия, половинчатости, двурушничества, а как феодал, скажем, тринадцатого столетия, который еще вполне верит в свое право, который чувствует себя заодно с высшими вассалами, и если в нем случайно возникают сомнения в правомерности своих феодальных прав владения, в «славных правах дворянства», разрешает их с счастливым благодушием большого барина: несправедливость существует уже так давно, что перестала быть несправедливостью.

Очевидно, что это было также мнение Шиллера, когда в своей известной критике «Эгмонта» он называет героя «характером лучших времен рыцарства». Он пишет: «В истории Эгмонт не является крупным характером, он не является им также и в трагедии. В последней он приветливый, веселый, открытый человек, дружелюбно настроенный ко всем, легкомысленно самоуверенный и доверчивый, свободный и смелый, точно весь мир принадлежит ему одному, храбрый и бесстрашный, где и когда это нужно, но притом великодушный, любезный и мягкий, представительный и немного хвастливый, чувственный и влюбчивый, жизнерадостный человек—все эти качества сливаются в живом, человеческом, вполне правдивом и индивидуальном образе, который ничем не обязан идеализации искусства,—патриот, которому, однако, несчастья родины не мешают наслаждаться жизнью, любовник, никогда на забывающий выпить и поесть. Эгмонт честолюбив, он стремится к великой цели, но это не мешает ему срывать всякий цветок, который встречается ему по дороге, не препятствует ему ночью прокрасться к своей любимой, не причиняет ему бессонницы. С безумной храбростью он рискует под Сен-Кантенем и Гравелингеном своей жизнью, но он готов плакать, когда должен расстаться с милою, уютною привычкой обыденной жизни и деятельности. Не своими необыкновенными качествами, а своей прекрасной человечностью должен нас трогать этот характер. Мы можем полюбить его, но не можем удивляться ему». Все это и верно отмечено, и прекрасно выражено, но Шиллер, по нашему мнению, судит слишком строго о Гете, упрекая его, что поэт одаряет своего героя одной человеческой слабостью за другой, чтобы сделать его нам ближе, обвиняя Гете, что тот, вопреки исторической правде, у своего героя «отнимает жену и детей», «лишает нас трогательной картины отца и любящего супруга и дает нам взамен самого заурядного любовника, губящего покой прелестной девушки, которой не суждено ни владеть им, ни пережить его гибель; да и сердцем этой девушки он может обладать, лишь разрушив другую любовь, которая могла бы быть счастливой, и, следовательно, при самых благих намерениях делает несчастными два существа, чтобы смыть с чела морщины раздумья».

Но тут в Шиллере уже чересчур сказывается морализующий филистер. Если даже согласиться, что связь Эгмонта с Кларой, с точки зрения буржуазной морали, безнравственна, что меланхолический филистер Бракенбург заслуживает всякого сожаления, то все же Клара представляет собою один из тех пре-

красных женских образов, которые могло создать только мастерство Гете, а «человеческие слабости» сохранили до нашего времени к этой трагедии человеческий интерес, который, мы опасаемся, давно бы потух, если бы Гете ввел в действие драмы «домашнюю благодать» Эгмонта, баварскую принцессу, которую больше всего заботит «соответствующее социальному положению» устройство ее и ее одиннадцати детей.

Шиллер указывает с полным основанием, что и остальные характеры драмы прекрасно очерчены в нескольких штрихах. Одна лишь сцена дает нам великолепный образ хитрого, скупого на слова, все ставящего в связь и всего опасавшегося Вильгельма Оранского. Мы не можем только согласиться с Шиллером в его хвалебной оценке народных сцен. Она во всяком случае нуждается в известном дополнении. Он говорит: «Мало того, что мы видим, как живут и действуют эти люди пред нами, мы сами живем среди них, мы становимся старыми знакомыми. С одной стороны—веселая общительность, гостеприимство, словоохотливость, чванство этого народа, республиканский дух, который при малейшем новшестве вспыхивает и часто так же быстро потухает от самых пошлых доводов. С другой стороны—различные тяготы, которые гнетут этот народ, начиная от новых епископских митр до французских псалмов, которые ему запрещают распевать,—ничто не забыто, все изображено с величайшею натуральностью и правдой». Конечно, так мог себе представлять это Гете, но что касается «чванства», «непостоянства республиканского духа», то Гете не совсем точно изображает дело: не Эгмонты и Оранские довели до успешного конца славное дело освобождения Нидерландов, а как раз эти почтенные мастера портняжеских и перчаточных дел.

Шиллер опять-таки делает несколько метких замечаний по поводу композиции трагедии. Он пишет: «Мы не имеем здесь дела ни с выдающимся событием, ни с всепоглощающей страстью, ни с запутанной интригой, ни с драматическим планом. Ничего подобного. Это—просто сцепление многих отдельных действий и картин, связанных вместе почти только одним характером, который во всем принимает участие и к которому все соотносится. Единство этой пьесы заключается не в ситуациях, не в какой-нибудь страсти, а в человеке». Это замечание вскрывает нам самую слабую сторону драмы с точки зрения настоящего сценического действия. Причина этого лежит главным образом в том, что Гете работал над «Эгмонтом» урывками, почти в течение двенадцати лет, от осени 1775 года до лета 1785 года. Различный стиль отдельных частей также указывает на то,

что обработка драмы тянется от ранней эпохи гетевской поэзии вплоть до начала ее перехода в классицизм. Народные сцены, вплетенные в ход действия песни дышат более свежей, более юношеской силой творчества, чем вызвавшая справедливую критику Шиллера, только в надуманной заключительной сцене с видением, как и вообще в последних сценах сочная проза драмы нередко начинает звучать, как нерифмованные ямбы. Достаточно разрезать последний монолог Брокенбурга на стиховые строки, и мы имеем пред собой стихи:

Она оставила меня с самим собой;  
Со мной напиток смертный разделив,  
Уйти велит мне, отсылает прочь;  
К себе манит и снова сталкивает в жизнь.  
Тебе, о Эгмонт, чудный выпал жребий!  
Она идет,  
Она в руках тебе приносит небо.  
Итти ль за ней? Иль в стороне мне стать?  
Мучительную зависть  
Перенести в обители за гробом?  
Я дольше на земле не в силах оставаться,  
И муку равную сулят мне ад и небо.

Но достаточно и этих вводных замечаний. «Эгмонт» Гете остается все же произведением великого поэта, которое выдержало испытание целого столетия. Конечно, не без ущерба. Но это не имеет значения. Поток времени смывает ошибки, и человечество чтит бессмертный остаток.

## Шиллер

### Биография для немецких рабочих

#### Предисловие ко второму изданию\*

Первое издание этой книги, вышедшее в год столетия со дня смерти Шиллера, разошлось уже без остатка к тому году, когда истекает сто пятьдесят лет со дня его рождения. Но не только под этой звездой выходит в свет ее новое издание. Она радостно приветствует, как свою вторую крестную, пролетарское юношеское движение, которое теперь развивается бурным темпом и со свежими силами стремится к высокой цели.

Не потому, что Шиллер мог бы служить для подрастающего поколения рабочего класса надежным руководителем во всех областях человеческой деятельности! Он не был им даже для буржуазии, которую его «идеализм» часто увлекал на ошибочный путь. Этот «идеализм» представлял только безнадежное бегство из грубой оболочки действительной жизни в горние выси искусства или, как Шиллер называл это искусство на разные лады: видимости образов, формы пластики, песни. В настоящее время, когда рабочий класс напрягает и должен напрягать все свои силы, чтобы разрушить обесчеловечивающую действительность и завоевать для себя достойное человека существование, такое бегство может быть только делом слабосердечных и слабоумных людей.

\* Первое издание в 1905 г., второе—в 1909 г.

Другое дело то время, в которое жил Шиллер, когда

... светлые пределы,  
Где формы чистые живут,—

представляли единственное убежище, где можно было обеспечить великое будущее немецкой нации. Мерзость запустения немецких условий была так велика, и болото, которое они образовали, так неизмеримо глубоко, что наша классическая литература и философия могли развиваться, только витая в облаках. Но именно поэтому, что она витала в облаках, она спасла дух, который воспитал для борьбы за освобождение пролетариата его первых и величайших оружейных дел мастеров.

Нигде не проявляется этот дух так живо, как в жизни и сочинениях Шиллера. Он не был *величайшим поэтом* нашей классической литературы. В этом отношении он уступал *Гете*. И точно так же он не воплотил в себе наиболее ярко *буржуазное классовое самосознание* своего времени. В этом отношении он не может сравниться с Лессингом. И все же тайна нашей классической литературы и философии яснее всего раскрывается в том, что создал Шиллер, и не меньше в том, что ему пришлось пережить. Если в молодости Шиллер протестовал с революционным пылом против деспотизма, который лежал тяжелым гнетом над Германией XVIII века, то в свои зрелые годы поэт довольствовался «привлекательной иллюзией свободы», считая, что все прекрасное скорее всего и наиболее совершенно расцветает вблизи трона, и восхваляя благое провидение, которое зачастую замыкает человека в реальной жизни в тесные пределы только для того, чтобы заставить его уйти в идеальный мир.

Это путь, который Маркс когда-то называл бегством из земной мерзости запустения в идеальную, путь, который теперь не выберет никакой странник, не рискуя себя обесчестить. Но Шиллер шел по этому пути под тем же знаменем, под которым теперь борется за свое освобождение рабочий класс. Как раз в тех «Эстетических письмах», в которых он совершает свое бегство в царство идеала, он пишет: «Рабство низко, но рабские убеждения в свободе отвратительны: наоборот, рабство без рабских убеждений не имеет в себе ничего позорного. Мало того—низкое положение, соединенное с высокими помыслами, может перейти в возвышенное». Слова, которые одинаково хорошо характеризуют как жизнь Шиллера, так и борьбу современного пролетариата за свое освобождение.



Именно эти «высокие помыслы», которыми дышит все, что он писал и делал, делает Шиллера образцом для современного рабочего класса и тем более для его молодого поколения. Эта молодежь плывет теперь по высоким волнам навстречу нового мира, берега которого с каждым годом все яснее и отчетливее вырисовываются на всемирноисторическом горизонте, тогда как юноша Шиллер, по его собственным словам, вступал, как Колумб, в «рискованное состязание с неизведанным морем», чтобы в зрелые годы удовлетворяться обманчивой иллюзией. Это наследие Шиллера рабочий класс не может принять, он его охотно предоставляет буржуазии, которая не смеет признаться, что об «идеализме» Шиллера давно уже следует сказать то же самое, что он пел об идеалах своей юности:

У солнц, что ярко мне светили  
В дни юности, померкнул свет;  
Тех идеалов, что пьянили  
Меня когда-то, их уж нет.

Буржуазия не смеет признаться, что если, бы Шиллер мог видеть безудержное стяжательство капиталистического общества, он только повторил бы снова от всей глубины души свою горькую жалобу:

Как много мир сулил, покуда  
Сокрытый в почке, он дремал;  
Но вот он вырвался оттуда,  
И—ах!— как скуден он и мал!

Буржуазия вынуждена цепляться за то, что в творчестве Шиллера устарело и пережило себя; она должна тешить себя иллюзией, что давно исчезнувший мир, в котором жил Шиллер, все еще жив. Жизнь поэта превращается для нее, таким образом, в обманчивый блуждающий огонек, который скользит по могилам. Другое дело пролетариат, который, при всей своей бедности и лишениях, свободен от буржуазных предрассудков и не только смеет видеть, но и действительно видит вещи, как они есть: ему светят эти высокие помыслы, как ясная и яркая звезда сквозь причудливую игру туч, которые носились над жизнью поэта.

В классовой борьбе пролетариата находит себе примирение противоречие между идеалом и жизнью, которое Шиллер мог примирить только при помощи искусства. Эта борьба сама создает как свое оружие, так и свои задачи; не в надземных высях, а на почве суровой действительности строит она новый мир, который Шиллер представлял себе только как цар-

ство теней, мир, в котором «раболепное наемное искусство сбрасывает с себя грязь, и спадают оковы крепостничества», в котором «позднейшее поколение сможет свободно развивать человечность». То, что Шиллер считал невозможным:

Смертным не достигнуть этой цели,  
Нет моста чрез этой бездны пасть,  
С ней челны бороться б не посмели,  
Якорю в ней некуда упасть,—

к тому мы стремимся всеми фибрами нашей души, и пучина, чрез которую нельзя перебросить мост, зияет только между миром, в котором жил Шиллер, и миром, в котором живем мы.

Мы продолжаем ценить в Шиллере высокие помыслы, которые сопровождали его в течение всей жизни, могучий пафос свободы, который светит и лучится в его поэзии неугасимым светом. Как ни высоко ценил он искусство, он все же не был только чистым художником, который в своем эстетическом высокомерии отворачивается от страданий человечества; он был природный борец, который, как он однажды говорил, от самой колыбели своего духа и, как мы можем прибавить, до порога могилы, боролся с судьбой, со страшным гнетом, что тяготел над его народом и над его эпохой. В этой борьбе он никогда не знал усталости; его не сломила ни горькая нужда, которая точила его молодые годы, ни коварная болезнь, которая продолжала терзать его и в те дни, когда он уже избавился от горькой нужды. Он всегда оставался честным и благородным человеком, даже в придворном наряде, и Гете имел право сказать в своем надгробном слове другу, что

На низкое, что так над нами властно,  
Глядел он издалёка и бесстрастно.

И то, что Иммерман, который был в одно и то же время и немецким поэтом, и честным человеком, сказал у могилы Гете, можно повторить еще с большим правом у могилы Шиллера: «Сюда нужно водить молодых людей, чтобы они видели, что означает добросовестная, честно прожитая жизнь. Здесь они должны дать три обета: обет прилежания, обет правды, обет последовательности».

Жизнь Шиллера—это неустанный труд творчества. Все, что им создано, проникнуто духом глубочайшей правды. В его удачах, как и в неудачах, не было никакой фальши. Это была его судьба, а не вина, если он не мог победить сопротивления

тупой среды, если для него был закрыт путь, которым идет теперь рабочий класс, но он остался верен себе, спасая для будущего то, что настоящее запирало от него. В смутной атмосфере фатально загнивающего мира взгляд его был всегда устремлен к высоким задачам человечества, и если его первая драма подняла протест против тиранов, то последняя провозгласила право всякого народа восстать против невыносимого гнета тирании.

Вновь строй природный воцарился, люди  
Друг другу снова противостоят;  
Когда все остальные средства тщетны,  
Решает дело обнаженный меч.

Несомненно, что каждое биографическое изображение содержит субъективный элемент, и если оно хочет выполнить свою задачу,—должно его содержать. Кто не может до известной степени вжиться в своего героя, тот никогда не сумеет дать живое изображение. «Лучшим даром» биографа остается всегда то, что хвалил Шиллер в своем друге Кернере, именно — «счастливый талант к воодушевлению», и скорее можно извинить преувеличение в этом направлении, чем мелочные и педантские придирки к слабостям и ошибкам героя.

Если всякой биографии до сих пор грозила опасность неудачи с одной или с другой стороны, то понимание истории современного пролетариата, как оно создано в классических трудах Маркса и Энгельса, дает нам компас, с помощью которого мы можем уверенно миновать и Сциллу и Харибду. Ходячее обвинение противников, что исторический материализм исключает личный элемент из исторического развития, не попадает в цель, так как этот исторический метод, напротив, только впервые дает возможность воскресить, во всей их человечности, те исторические личности, в которых лучше всего отразилась жизнь данного исторического периода.

Если судить Шиллера с точки зрения того «идеализма», который он сам исповедывал, то он является нам — и как часто изображали его в этом виде! — как тень и призрак, не представляющий никакого интереса для исполненной жизни и развивающегося класса, как будто мы его рассматриваем через опрокинутый бинокль, отчего он нам кажется бесконечно маленьким. Но если смотреть на него под углом зрения того общества, в котором протекала его жизнь, в ее неустанной борьбе с препятствиями, которые вновь и вновь ставило на его пути это обще-

ство, со всеми ее победами и поражениями, то он восстает перед нами, как живой, точно мы слышим еще звуки его речи, и все больше и больше раскрывается пред нами все, что было в его жизни преходяще и что было в нем бессмертно. И к тому, и к другому мы должны отнестись без пристрастия, в том числе и к его «идеализму», как бы мало ни мог последний быть навязан борющемуся рабочему классу, как идеал.

Так пусть же эта книжка, второй раз отправляющаяся в путь, поможет с своей стороны молодому поколению немецкого рабочего класса поближе познакомиться с великим поэтом и великим человеком. Идолу, который сделала из него буржуазия, мы раздробим его глиняные ноги, но с благодарностью и почтением приветствуем мы высокий образ борца в галлерее предков пролетарской освободительной борьбы.

## І. Юношеские годы

### Рождение и происхождение

Фридрих Шиллер родился 10 ноября 1759 года в городе Марбахе, в тогдашнем герцогстве Вюртембергском. Предки его и со стороны отца, и со стороны матери принадлежали к почтенному цеху булочников. Мать, скромная, простая и добродушная женщина, всегда оставалась в тесном духовном миреке тогдашнего ремесла. Но Шиллер не был, как Гете и Гердер, «маменькин сыночек». Подобно Лессингу, он был сыном своего отца, который проложил ему дорогу в жизнь как в хорошем, так и в плохом.

Способный, энергичный, в молодые годы любивший всякие приключения, искатель счастья, Иоган-Каспар Шиллер обучился у монастырского хирурга-цырюльника «хирургическому» искусству и с 1745 года, в качестве фельдшера одного баварского гусарского полка, направился в Нидерланды. Это было в эпоху войн за наследство Марии-Терезии. Правда, дело, за которое сражались, мало интересовало молодого попутчика; когда он попал в плен к французам, то первое время продолжал выполнять свои фельдшерские обязанности сначала в принудительном порядке, а затем по доброй воле, пока не попал обратно в плен к австрийцам и был возвращен в свой старый гусарский полк. Он менял не только знамя, но и ремесло; временами он бросал фельдшерство, чтобы принять участие в разных авантюрах и захватить какую-нибудь добычу.

Однако добыча, которую он, после Аахенского мира, привез на родину, была не велика: двести гульденов, лошадь и вен-

герское седло со всеми принадлежностями. Со всем этим добром он весною 1749 года приехал в Марбах и остановился в гостинице «Золотого льва», принадлежавшей булочнику Кодвейсу и скоро женился на шестнадцатилетней дочери своего хозяина, Елизавете-Доротее. В течение нескольких лет, он, как мирный гражданин Марбаха, занимался лечебным искусством. Хотя и на брак он смотрел только с практической точки зрения, он, однако, сильно просчитался. Оказалось, что «казавшиеся очень значительными финансы» его тестя были совершенно расстроены. К нему вернулась старая страсть к авантюрам, и он поступил на вюртембергскую военную службу, но уже не как фельдшер, а как фурьер, с месячным окладом в шесть гульденов.

Так попал он под высокую руку герцога Карла-Евгения Вюртембергского,—руку, которая легла большой тяжестью на жизнь его единственного сына.

### Вюртембергские порядки

Вюртембергское королевство представляет теперь очень скромное государство, но герцогство Вюртембергское, из которого оно возникло, было в восемнадцатом веке еще меньше, оно охватывало едва двести квадратных миль и насчитывало не больше полумиллиона жителей. Несмотря на это, оно являлось довольно большим государством в швабском имперском округе, где немецкая раздробленность достигла своего максимума, где на территории в 729 квадратных миль расположились четыре духовных и тринадцать светских княжеств, тридцать имперских городов, двадцать аббатств и изрядное число имперских графств, не считая бесчисленных имперских дворян.

Но еще больше, чем своей относительной величиной в швабском имперском округе, Вюртемберг отличался в Священной Римской империи германской нации своей конституцией. Она заключалась в том «старом добром праве», которое так трогательно воспевал позже Уланд и о котором, еще до Уланда, знаменитый английский государственный муж Фокс вполне серьезно говорил, что в Европе существуют только два государства, которые имеют право называться конституционными: английское и вюртембергское. Действительно, власть герцога вюртембергского была существенно ограничена правами сословий, с которыми немецкие деспоты почти везде успели справиться, кроме Мекленбурга и в особенности Вюртемберга. Однако эти два исключения в свою очередь отличались друг от друга тем, что в мекленбургских сословиях господствовало юн-

керство, которое совершенно не было представлено в вюртембергских. Швабские юнкера предпочли превратиться в имперских графов или рыцарей, подчиненных непосредственно империи, и вюртембергское собрание сословий состояло из четырнадцати представителей духовенства и шестидесяти восьми выбранных магистратами представителей городов и чинов,—обстоятельство, которое накладывало на это собрание в некоторой степени современный отпечаток.

Однако феодальные сословия остаются всегда феодальными сословиями. Магистраты городов и чинов представляли наследственную, цехово-ограниченную клику, которая резко отгораживалась от остального мира, и старый честный Шлоссер был ближе к истине, чем поклонники вюртембергской конституции, говоря, что Вюртемберг болел всеми бедами аристократического и монархического насилия. Ландтаг собирался редко, его полномочия сосредоточивались в руках большого и малого комитетов, из которых последний заседал постоянно и сам себя пополнял. Он ведал по своему усмотрению всеми государственными налогами и вел, в интересах бюргерского «господского сословия», бесшабашную политику кумовства. Даже герой и мученик этих сословий, Иоган-Якоб Мозер, хорошо понимал, что его коллеги думали только о том, чтобы сохранить старые злоупотребления, обеспечить своих родных за счет страны и сопротивляться всеми силами всякой реформе. О духовных представителях сословий Мозер был не лучшего мнения, чем о гражданских. Вюртемберг был главной опорой протестантизма в южной Германии, его областная церковь сумела сохранить за собой все владения католической церкви и распоряжалась доходами с четырехсот пятидесяти приходов. Она накладывала свою печать на всю духовную жизнь населения и, поскольку это соответствовало ее интересам, старалась поддерживать известный уровень культуры. Монастырские школы в Урахе, Блауберене и Маульбронне пользовались не меньшей репутацией, чем саксонские княжеские школы, и наряду с саксонским кандидатом славился, как лучший домашний учитель, также швабский кандидат. Тюбингенский университет, в первую очередь его теологическое отделение, пользовался также большой репутацией. Но и эта наиболее сносная часть сословного хозяйства давно уже начала вырождаться, и Мозер жаловался, что вюртембергские прелаты не меньше портили тюбингенский университет, чем баварские иезуиты—ингольштадтский.

Не в похвалу, а в порицание вюртембергским герцогам приходится сказать, что они не расправились основательно

с чинами, как называли себя сословия. Абсолютизм нового времени даже в той печально-жалкой форме, в которой он развился в раздробленной Германии, представлял исторический прогресс в сравнении с феодальным сословным строем. Уважение к закону и праву меньше всего отличало эти сословия. «Наши князья всегда были плохими парнями»,—говорили с наивной гордостью старые вюртембергцы. Такой тип, как герцог Ульрих, у которого сословия в 1514 году отвоевали свои привилегии, перечисленные в тюбингенском договоре—путем совместной измены Бедному Конраду, крестьянам, восставшим против притеснений Ульриха, преобладал и среди его преемников, тип, который был заклеямен Гуттенем в его пламенных речах. Это был кровожадный, расточительный, отличавшийся всяческими пороками и распутством, но политически неспособный род, который никогда не мог отвоевать у сословий постоянную армию, неограниченное право взимания налогов и набора рекрутов. Только герцог Фридрих сделал в начале шестнадцатого века попытку достичь этого, но умер раньше, чем добился успеха, и канцлер его Энслин погиб на эшафоте за посягательство на права чинов.

Тридцатилетняя война разорила страну до последней степени. Вместе с ней началось отвратительное хозяйничанье герцогов, которое длилось почти полтора века и только раза два умерялось в эпоху, когда правили вместо несовершеннолетних герцогов их опекуны. Если у Виттельсбахов в Мюнхене и Маннгейме, у Вельфов в Ганновере и Брауншвейге, у Веттинов в Дрездене и Веймаре пробуждалось иногда сознание своих княжеских обязанностей, интерес к общему благу, забота об искусстве и науке, хотя бы только для того, чтобы украсить свой двор знаменитым именем, то у вюртембергских Бейтельсбахов мы не находим и следа этого стремления. Вюртембергские династы были распутниками во всех смыслах этого слова: Эбергард III, о котором его собственный придворный проповедник, уже через пять лет после окончания Тридцатилетней войны, говорил, что неслыханная роскошь двора пожирает все, что удастся еще выжать из бедного истощенного народа; затем—Эбергард-Людвиг, который позволял своей фаворитке Гревениц в течение десятков лет грабить страну; наконец—Карл-Александр, в правление которого еврей Зюсс занимался самыми бесстыдными вымогательствами.

Этот Карл-Александр, попавший на трон из боковой линии, долго состоял на австрийской военной службе и перешел в

католицизм. Поэтому сословия относились к нему с величайшим недоверием все время, пока он правил в Штутгарте. Он проектировал контрреформацию, но не успел предпринять никаких публичных действий, так как в 1737 году скоропостижно умер. Он оставил вдову, прославленную куртизанку того времени, и трех несовершеннолетних детей, которые воспитывались сначала в Штутгарте, а затем в Берлине. Это сделано было с согласия или, вернее, по желанию сословий, которые, по вполне понятным причинам, были заинтересованы в поддержке хороших отношений с крупнейшим протестантским двором, точно так же, как и король Фридрих, только что вступивший на престол, желал привязать к себе крупнейшее протестантское государство в южной Германии. Меньше всех согласен был с этим старший из трех сыновей, и, чтобы заслужить его благодарность, Фридрих уговорил императора Карла объявить совершеннолетним пятнадцатилетнего мальчика и отослал его, снабдив специально составленным руководством, как вполне готового герцога в Штутгарт. В придачу ко всему этому он обручил его со своей племянницей, единственной дочерью его любимой сестры, принцессы байрейтской.

Однако Фридрих в этом случае оказался таким же плохим знатоком людей, как двумя столетиями раньше император Карл, который тоже объявил шестнадцатилетнего герцога Ульриха совершеннолетним и женил на своей племяннице. Как герцог Ульрих, так и Карл-Евгений плохо отплатил своему благодетелю. Вначале дело еще немного клеилось, так как молодой человек не мешал своим опекунам и довольствовался лишь тем, что прокучивал доходы своих собственных владений. Но вместе с едой возрастал и аппетит, и уже в 1752 году герцог начал торговать своими подданными. Он заключил на шесть лет с Францией договор о субсидиях, которым обязался, за ежегодный платеж в 325 000 ливров, предоставлять в распоряжение французского двора шесть тысяч человек. В этой позорной сделке было хорошо уже то, что герцог тратил получаемые деньги, не выполняя своего обязательства. Ему, однако, этих денег не хватало, чтобы удовлетворить свое распутство, и, начиная с середины пятидесятых годов, он установил режим произвола, который превзошел все подвиги его славных предков в этой области. Он развелся с женой и завел себе гарем, который пополнял не только дорогими стоящими фаворитками из Италии и Франции, но и женщинами родной страны: путем угроз и насилий он вырывал из семей жен и дочерей, возбуждавших его султанскую прихоть.



Между тем в 1756 году вспыхнула Семилетняя война. Франция потребовала купленные ею войска, которых налицо не было. Вместе с тем ясно было, что ландтаг ни при каких условиях не даст своего согласия на рекрутский набор, так как война против протестантской Пруссии встречала среди населения ожесточенный отпор. Тем не менее гордый нашел в капитане Ригере подходящее орудие для насильственного и противозаконного массового набора. Прежде юрист и аудитор в прусской армии, Ригер был честолюбив и высокомерен и, хотя лично неподкупен, в своем желании угодить деспотизму готовый на всякое насилие и низость человек. Он сумел организовать набор, вырывая молодых людей ночью из домов или нападая на них во время службы в церквях. Когда согнанная таким образом армия должна была выступить из Штутгарта, она, при содействии штутгартских бюргеров, взбунтовалась и разбежалась, так что из трех тысяч двухсот человек осталось под знаменами всего лишь четыреста пятьдесят. Однако Ригеру удалось собрать опять большинство дезертиров: он обещал полное прощение тем, кто вернется добровольно, и драконовские наказания тем, кто будет упорно уклоняться от явки. Когда армия, наконец, двинулась в поход, то повторявшиеся бунты подавлялись при помощи массовых расстрелов. Это не прекратило массового дезертирства, и жалкие остатки, которые наконец присоединились к австрийской армии, дали в сражении при Лейтене первый сигнал к бегству.

Обозленные австрийцы отказались от таких соратников, и в 1758 году вюртембергский контингент включен был во французскую армию. Шестилетний договор о субсидиях истек, но герцог Карл предложил на 1759 год снарядить двенадцать тысяч человек, конечно, за гораздо большую субсидию—в общем он получил от Франции девять миллионов ливров—и при условии, что он сам будет командовать этой армией, так как честь его не позволяет ему служить под начальством французского маршала. Парижский двор принял его предложение, и Ригер должен был снова организовать, при помощи самых жестоких насилий, массовый набор. И на этот раз он выполнил поручение, хотя новый контингент оказался готовым к походу только в конце октября 1759 года.

Но уже до этого произошел полный разрыв между герцогом и сословиями. Они протестовали против непрекращавшихся нарушений их прав. Граф Монмартен, которого герцог назначил министром, человек сговорчивый и продувной, и к тому же—в противоположность Ригеру—трусливый и продажный царедво-

рец, ответил сословиям, что они обязаны безусловно подчиниться. Летом 1759 года герцог потребовал выдачи земской податной кассы, а когда сословия этому воспротивились, захватил ее при помощи военной силы. При этом он самолично арестовал юрисконсульту ландтага И. Мозера и приказал посадить его в замок Гогентвиль. Старый человек, пользовавшийся в Германии всеобщим уважением за свою большую ученость и честный характер, сидел в этой тюрьме без света, питаясь вонючими потрохами, прогнившей водой, кишевшей червями, жестоко страдая от холода в зимние месяцы. Земские чины, за которые Мозер пострадал, показали и в данном случае все убожество этой феодальной корпорации: только очень поздно, да и то не особенно энергично, они выступили в его защиту.

После этого геройского подвига герцог отправился в поход, но уже едва через месяц после своего выступления—30 ноября 1759 года, когда он собирался дать в Фульда бал, чтобы отпраздновать поражение прусской армии при Максене, подвергся внезапному нападению принца Брауншвейгского и вынужден был обратиться в позорное бегство. После этого Франция отказалась возобновить с ним договор о субсидиях. Но ему удалось заключить еще раз договор с Австрией, которая уплатила ему в 1760 году за контингент в одиннадцать тысяч человек пустяковую сумму в пятьдесят тысяч гульденов и обещала вместе с тем,—это и было самое главное в сделке,—что имперский верховный суд в Вене останется глух к жалобам сословий. Когда герцог наконец выступил против Саксонии и Тюрингии, то это был скорее разбойничий, а не военный поход, превратившийся снова в комедию, когда герцог был у Кетена обращен в бегство своим младшим братом Фридрихом-Евгением, генералом прусской армии. Теперь уже нельзя было заработать ни одного гроша продажей солдат, хотя наш отец отечества обращался с своими предложениями не только к Франции и Австрии, но даже к Англии и Испании.

Но игра в солдатики все еще не надоела нашему герцогу: в 1762 году он содержал военную силу в четырнадцать тысяч человек, и среди них восемнадцать генералов, шесть генерал- и семь флигель-адъютантов, двадцать два полковника, в общем—семьсот тридцать пять офицеров. Расходы покрывались при помощи все больше возраставшего налогового обложения. Монмартен был неистощим в творчестве незаконных налогов и податей. У него были такие искусные помощники, как Лоренц Виттледер, специальностью которого являлись бесчестная продажа должностей и наглые налеты на церковные кассы. Но

с Ригером Монмартен в борьбе за милость деспота жестоко передрался. При помощи поддельных писем Монмартен сумел внушить герцогу подозрение, что Ригер поддерживает тайные сношения с принцем Фридрихом-Евгением. В ноябре 1762 года ничего не подозревавший Ригер был арестован на плац-параде в Штутгарте Монмартеном и герцогом, который охотно играл роль помощника палача, и без всякого следствия и суда отвезен в Гогентвиль, где просидел четыре года в темном подвале, совершенно отрезанный от света. Только в 1767 году он был освобожден, благодаря ходатайству сословий, которые, повидимому, больше интересовались судьбой одного из своих величайших угнетателей, чем судьбой их передового борца—Мозера.

Но к этому времени вюртембергские дела приняли вообще другой оборот.

### Детские годы

В трагикомических походах герцога принимал участие и отец Шиллера. Он, как с похвалой сообщает буржуазная история литературы, помогал укрощать бунтующие отряды. Таким путем он очень скоро сделался прапорщиком, а затем—лейтенантом, когда он, набожный человек, сумел, после сражения при Лейтене, сохранить свой отряд на зимних квартирах в Богемии в «религиозном настроении» и использовал свое старое лекарское искусство, когда в лагере вспыхнула злокачественная эпидемия.

В те долгие месяцы, которые нужны были Ригеру, чтобы в 1759 году собрать снова двенадцать тысяч человек, как французское пушечное мясо, лейтенант Шиллер жил в гарнизоне, недалеко от Марбаха, и часто встречался с своей женой. Когда в конце октября назначен был наконец поход, она была беременна, и легенда гласит, что первые признаки приближающихся родов ее захватили, когда она появилась в людовигсбургском лагере, чтобы проститься с своим мужем. Но если было кем-то сказано, что не родившийся еще поэт уже слышал воинственный звон оружия, то тогдашний вюртембергский образец этого «воинственного звона» мало был пригоден, чтобы пробудить творца «Валленштейга». Гораздо более трезво и печальнее звучит, но, к сожалению, тем более вероятно, что заботы и беспокойство матери по поводу военных злоключений отца обусловили слабое здоровье мальчика, родившегося 10 ноября 1759 г. Так свидетельствует его старшая сестра, которая пережила его больше, чем на сорок лет. Родители его тоже дожили до преклонных лет.

Первые годы своей жизни маленький Фридрих прожил на попечении матери, в очень бедной обстановке: разорившийся трактирщик Кодвейс, как сторож ворот Николая в Марбахе, влачил жалкое существование. Не блестящи были дела семьи, когда в конце 1763 года супруги снова соединились и поселились в деревушке Лорхе на вюртембергской границе. Ставший уже капитаном Шиллер был командирован сюда, как офицер-вербовщик. Его в связи с этим старались оправдать. Он, дескать, вначале не знал, что завербованные солдаты должны были быть проданы Голландии для службы в заморских колониях, и, когда это стало ему известно, с большим неудовольствием согласился на такое печальное занятие. Но подобная болтовня только характерна для слепого усердия буржуазных историков литературы, которые занимаются таким прихорашиванием лишь потому, что слышали когда-то о Капской песне Шубарта и «Коварстве и любви» Шиллера.

Торговля людьми, которую герцог вел с Голландией, началась только двадцать лет спустя после службы капитана Шиллера в Лорхе. Вообще сама по себе профессия вербовщика тогда отнюдь не шокировала какого-либо офицера. Чувствительный певец весны, Клейст, занимался, как прусский офицер, охотой на людей в Швейцарии без всяких угрызений совести и не потерял даже дружбы Лессинга. Впрочем, можно сказать, что наш капитан Шиллер не наделал больших бед, так как для вербовки требовались деньги, а за время пребывания в Лорхе он, при вечной нужде герцога в деньгах, получал маленькое жалованье, да и то с большим запозданием, а иногда оставался без оного.

Скорее падает на него тень в связи с «верной преданностью», которую он проявлял во время Семилетней войны на службе у герцога, и в связи с благоволением к нему Ригера, которого он упросил стать крестным отцом сына. Хорошее зерно его натуры сохранилось однако, несмотря на все смуты этого печального времени. В меру сил и возможности он старался, даже на службе у герцога, развивать общепользную деятельность и хотел уже с самого начала обеспечить своему наследнику лучшую судьбу. В Лорхе развились первые характерные черты мальчика, которые отличали его и в зрелом возрасте. Тяжелое положение родителей не отражалось на психике детей, которые, как сестра напомнила об этом брату еще не задолго до его смерти, чувствовали себя в Лорхе «очень хорошо». Красоты природы соединялись здесь с историческими воспоминаниями. Лорх представляет собою древнеримское поселение, неподалеку от него возвышается родовой замок Гогенштауфенов, и в окрестностях его

мальчик впервые познакомился с католическим миром. Здесь он у почтенного пастора прошел курс первоначального обучения, и здесь же у него пробудилось первое желание избрать духовную карьеру. Не потому, что он был тихоней и смиренником. Живой, добросердечный, бодрый, веселый среди товарищей, он имел свои часы задумчивости и мечтаний. Уже очень рано в нем проявилась проповедническая черта, и маленьким ребенком любил он, взобравшись на стул, как с кафедры, читать библейские рассказы и церковные песни.

Эту склонность семилетнего мальчика родители всемерно развивали и поддерживали. У отца при этом известную роль, наряду с благочестием, играло и соображение, что вюртембергские прелаты даже в мирских делах имели большее значение, чем полуголодный офицер-вербовщик. Когда в конце 1766 года он был переведен в полк, расположенный в Людвигсбурге, для семьи начались более счастливые дни, но для Фридриха жизнь в герцогской резиденции ничего не прибавила к тому, что уже успело созреть в идиллическом Лорхе. Людвигсбург принадлежал к тем искусственным городам, основание которых в восемнадцатом веке объяснялось только капризом маленьких деспотов. Он был основан за несколько десятков лет до переезда в него семьи Шиллеров герцогом Эбергардом-Людвигом, который хотел наказать штутгартцев за то, что они не оказывали должного почета его фаворитке, Гревениц. Запущенный после его смерти, город был снова застроен Карлом-Евгением опять-таки с целью наказать непослушный Штутгарт. Именно в шестидесятых годах Людвигсбург мог наблюдать безудержную расточительность швабского султана, его придворный штат в две тысячи человек, среди них двести дворян, двадцать принцев и имперских князей, его конюшню на восемьсот лошадей, его итальянских певцов и танцоров, его балы, концерты, маскарады, катанье на санях, иллюминации, фейерверки и охоты. Для всего этого напыщенного великолепия подходящим фоном являлся кое-как сколоченный городок, в котором некоторые здания разваливались раньше, чем успевали увенчать их крыши.

Все это молодой Шиллер наблюдал шесть лет подряд, и эта картина крепко запечатлелась в его памяти. Если рассказ его сестры верен, то итальянская опера впервые пробудила в нем живой интерес к театру; офицеры имели туда свободный доступ, и, в награду за прилежание, маленького Фрица отец брал иногда вместе с собой в театр. Но это увлечение так же мало уменьшало его охоту к духовной карьере, как и строгая орто-

доксия, которую ему вколачивали в латинской школе в Людвигсбурге. Он проходил эту школу очень успешно, подавая блестящие надежды. Шиллер уже был готов к переходу в высшую монастырскую школу, как вдруг на него обрушился удар, вытолкнувший его на новую дорогу.

### В академии Карла

В 1770 году закончилась борьба между герцогом и сословиями: в договоре о наследовании, заключенном в этом году, снова были подтверждены права земских чинов под поручительством протестантских держав: Англии, Дании и Пруссии.

Именно эти державы настояли пред верховным имперским советом в Вене, чтобы он положил известные пределы разорительной политике герцога. В особенности старый Фриц со всей свойственной ему энергией взял реванш за ту глупую злость, которую проявил по отношению к нему Карл-Евгений. Он послал в Штутгарт особого уполномоченного с приказом выступить при малейшем сопротивлении с резким протестом, а своему посланнику в Вене поручил заявить, что если верховный имперский совет не вынесет «скорого и беспристрастного решения», то он «примет такие меры, которые обеспечат сословиям и несчастной стране скорую помощь и облегчение». Уже через год после заключения мира он добился освобождения Мозера, два года спустя пронырливый негодяй Монмартен должен был оставить свой пост, а в 1770 году капитулировал сам герцог, которому полное разорение страны не оставляло другого выхода.

Несмотря на это, власть его была ограничена лишь в незначительной степени, а так как сословия победили только с чужой помощью, то они оказались неспособными положить конец его злоупотреблениям. Нет такого позорного дела, которого герцог не совершил бы до 1770 года и которого он не повторил бы после. Заключение в тюрьму Мозера нашло себе еще более гнусное дополнение в тюремном заключении поэта Шубарта, которого герцог в 1777 году заманил под ложным предлогом из-за границы и без всякого суда и следствия терзал в течение десяти лет в Гогенасперге. До сих пор еще нельзя сказать точно, на каком основании. Во всяком случае только потому, что Шубарт сказал что-то, что не понравилось герцогу или его любовнице. Продажа людей, которой герцог занимался в эпоху Семилетней войны, возобновилась в еще более гнусной форме, когда герцог в 1786 году заключил договор о субсидиях с голландской Ост-

Индской компанией, в силу которого он за ежегодную сумму в шестьдесят пять тысяч гульденов продал пехотный полк и артиллерийскую роту для службы на Капе. Чрезвычайные денежные поборы, нарушения конституции, наложение противозаконных повинностей не прекращались. Продолжалась и продажа должностей, хотя герцог торжественно обязался «решительнейшим и священнейшим княжеским словом» прекратить это позорное злоупотребление. Даже то обстоятельство, что он ликвидировал свой гарем и довольствовался теперь только одной фавориткой дворянского происхождения, которую он при помощи императора сделал имперской графиней фон Гогенгейм, не являлось еще облегчением. Наоборот, немецкие «подданные» восемнадцатого века, на основании своего в этой области чрезвычайно богатого и всестороннего опыта, боялись односпального хозяйства фавориток еще больше, чем многоспального. Весьма вероятно, что Гогенгейм была причиной ареста Шубарта; во всяком случае, эта распутница вместе со своим любовником злобно смеялась, когда в их присутствии Шубарта бросили в темный каземат Гогенасперга.

Не лучшее, но другое направление приняли извращенные наклонности герцога, когда после нового вмешательства протестантских держав ему пришлось их умерить. Рано состарившись вследствие всяких излишеств, он сделал попытку играть роль просвещенного и философски-мыслящего деспота. В 1778 году, в связи с своим пятидесятилетием, герцог опубликовал манифест, в котором признал свои грехи и обещал в будущем лучше управлять страной. «Счастье Вюртемберга должно отныне и навсегда покоиться на соблюдении истинных обязанностей верного отца народа по отношению к своим подданным и на сердечнейшем повиновении слуг и подданных своему помазаннику». Наиболее своеобразно проявилось «исправление» герцога в том обороте, который приняла его игра в солдатики. Он мог содержать теперь только военную силу в три-четыре тысячи человек, во главе которых все еще стояли два генерал-лейтенанта и восемь генерал-майоров. Зато он основал в 1770 году в «Уединении» — замок недалеко от Людвигсбурга — дом для сирот военных, с превращенный скоро в военную школу, а затем в герцогскую военную академию, которой позже, по его просьбе, император даровал права университета. Она получила тогда название академии Карла.

Несмотря на свое изначальное военное имя, эта школа должна была готовить не только офицеров, но и чиновников, и художников. Поскольку при ее основании играл роль, так сказать,

политический мотив, она проектировалась как противовес тюбингенскому университету, находившемуся под влиянием земских чинов. Она должна была воспитать для герцогской власти кадр слепо преданных орудий. Шубарт называл ее «питомником рабства», и она действительно была таковым. Жизнь и обучение воспитанников были подчинены не только строжайшей военной дисциплине, но и вообще молодые люди содержались, как пленники. Они не имели каникул, их переписка с внешним миром строго контролировалась, даже со своими родителями они имели право говорить только в присутствии надзирателей. Всякий товарищеский дух среди учеников тщательно искоренялся. Они должны были шпионить друг за другом и делились на дворян, детей офицеров, детей чиновников и детей обычных граждан, а над ними всеми возвышалась, под названием «великорыцарей», особая группа, в которую попадали только воспитанники, отличавшиеся наилучшим поведением. Собачье низкопоклонство перед герцогом являлось неизменным принципом всего учреждения, и герцог мог здесь удовлетворить свои деспотические прихоти в таком масштабе, который в других местах был для него недоступен.

Как прежде он истязал рекрут во время Семилетней войны, так теперь мучил он злосчастных воспитанников. Среди жертв, которых он насильственным путем вырвал из родных семей, находился и тринадцатилетний Фридрих Шиллер. Тщетно протестовал против этого насилия его отец, ссылаясь на то, что сын его думал выбрать духовное призвание и что в военной академии нет теологического отделения. Ему ответили, что сын его может посвятить себя юриспруденции. Как офицер на службе герцога, отец в конце концов вынужден был подчиниться и мог еще радоваться, что герцог обещал устроить его сына при выходе из академии лучше, чем ему это удалось бы в духовном сословии. 16 января 1772 года молодой Шиллер поступил в академию Карла и только восемь лет спустя, в конце 1780 года, мог ее оставить.

Изучением юриспруденции он занимался недолго: она была для него слишком суха и неудобоварима. Как только организован был медицинский факультет, он поступил на него. Это случилось в ноябре 1775 года, когда школа была переведена в Штутгарт, который, при помощи крупной взятки, купил себе «примирение» с герцогом. Как раз в то время, когда Шиллер уехал из Людвигсбурга, родители переселились туда. Отец назначен был начальником древесного питомника и, после всех треволнений своей беспокойной жизни, мог еще в



течение нескольких десятилетий прожить спокойно, как искусный и удачливый садовод.

Тем хуже сложилась жизнь сына. Никакое прикрашивание не может свести на-нет тот факт, что Шиллер тяжело страдал под игом «питомника рабства». Правда, когда академия, после смерти ее основателя, была закрыта, он признал за ней условную заслугу, говоря, что она способствовала развитию художественных и научных интересов в Штутгарте, однако это заявление, сделанное им в связи с смертью Карла-Евгения своему старому школьному товарищу, было плохо понято или даже извращено этим лойляльным швабом. Оно находится в самом резком противоречии с тем презрительным равнодушием, с которым Шиллер в письме, относящемся в тому же времени, отмечает «смерть старого Ирода». Он никогда не испытывал чувства благодарности к деспоту, который дал ему «печальную мрачную юность», «безумный метод воспитания». Педагогические мерзости герцога он метко и еще довольно мягко характеризует следующими словами: «Современный зуд устраивать рождественскую ярмарку с созданиями бога, эта прославленная мания обтачивать людей и конкурировать с Девкалионом (с той, правда, разницей, что теперь из людей делают камни, тогда как Девкалион превращал камни в людей) заслуживал бы больше, чем всякое другое извращение разума, бича сатиры».

О жизни Шиллера в школе нам известно сравнительно мало. Все, что об этом повествуют нам его школьные товарищи, писано после его смерти,—следовательно, по воспоминаниям, относящимся к событиям, имевшим место несколько десятков лет назад. Ценность их и потому еще незначительна, что ни один из школьных товарищей Шиллера не поднялся выше обычной посредственности. Самым способным из них был будущий генерал-лейтенант Шарфенштейн, с которым Шиллер был очень дружен. Гораздо важнее, чем все эти воспоминания,—те документальные свидетельства, которые сохранились с того времени.

Самое старое из них дает образчик гнусных педагогических приемов герцога. В 1774 году он предложил воспитанникам написать исповедь о себе и своих товарищах. Чувствует ли он страх господень, как думает он о герцоге и своих учителях, доволен ли он собой и своей судьбой—на все эти и подобные вопросы каждый воспитанник должен был ответить письменно, не только о себе, но и о своих товарищах. Пятнадцатилетний Шиллер довольно удачно выпутался из этой западни, проявив при этом

житейскую мудрость, которая уже в мальчике предвещала крупного человека. В этой исповеди не мало самодовольства и умничания, но в общем Шиллер отзывается о своих товарищах с мягкой благожелательностью, а их приговор о себе он уже заранее встречает следующими словами: «Они скажут, что я упрям, горяч, нетерпелив, но они же должны будут признать мою прямоту, мою верность, мое доброе сердце». Себя он обвиняет в следующих грехах: «Вы найдете, что я зачастую поступаю опрометчиво, легкомысленно, но разве необходимо, чтобы ошибки сводили на нет все, что сделали доверие и любовь к богу и что от природы чувствительное сердце считает для себя основным законом?» Он извиняет болезненным состоянием, если свои «хорошие способности» не использовал еще так, как этого требует его долг. В пользу мальчика говорит и то, что он откровенно заявляет страшному деспоту, что хотел бы служить своему отечеству и государю не как юрист, а как духовный.

Отзывы, которые сделаны были его товарищами, почти все указывают на его склонность к поэзии и в особенности к трагической. Зато они расходятся в другом пункте: одни считают Шиллера живым и добрым, другие—застенчивым и замкнутым. В этих противоречивых суждениях нашло свое отражение противоречие в самом характере Шиллера.

Гораздо более неблагоприятное впечатление, чем эта исповедь мальчика, производят некоторые торжественные речи, составленные им четыре или пять лет спустя. Они тоже были вынуждены герцогом, который любил устраивать в школе пышные празднества. Не для того, чтобы вознаградить воспитанников за то, что он лишил их всех радостей юности, а чтобы самым бесстыдным образом ублаготворить себя и своих любовниц фимиамом, который ему в этих случаях воскуривали. Таким образом и бедный Шиллер вынужден был дважды в январе 1779 и 1780 года, ко дню рождения Гогенгейм, чествовать это зеркало добродетели глупыми тирадами на тему о добродетели и ее благодетельных последствиях. Двадцатилетний юноша, который уже в ночной тиши работал над революционной драмой, должен был приветствовать тридцатилетнюю проститутку: «Пресветлейший герцог! Не с лицемерной, вызывающей краску стыда, речью низкопоклонной лести (ваши дети научились не льстить),—нет, с открытым лицом истины могу я выступить и сказать: это она, достолюбезная подруга Карла, она, друг людей! Она, наш общий друг! Мать! Франциска!» Неоднократно должен был он и своего Пегаса заставлять гарцовать пред «светлым небесным образом Франциски».

Чем была академия для Шиллера в научном отношении, — свидетельствуют два рассуждения, в которых он должен был показать, как усвоил себе пройденный им курс: одно — о философии физиологии, другое — о связи между животной и духовной природою человека. Первое, написанное в 1779 году, сохранилось только в рукописном отрывке, так как не допущено было к печати, — в нем было слишком много юношеского огня. После этой работы герцог решил, что Шиллер должен остаться еще на один год в академии. Другое рассуждение, написанное в 1780 году, было напечатано. Оно доставило наконец его автору долгожданную свободу.

С его медицинскими специальными знаниями обе работы соприкасаются только косвенно. Их центр тяжести лежит в философских рассуждениях. Они показывают, что молодой мыслитель уже занят проблемой, которая снова и снова привлекала его значительно позже того времени, когда он еще сидел на школьной скамье, — в сущности до конца его жизни. «Срединная сила», которую он открывает в философии физиологии, как связующее звено между духом и материей, «средняя линия истины», которую он, как ему казалось, в другом рассуждении нашел в «равновесии между обоими учениями», из которых одно ставит материю выше духа, а другое — дух выше материи. Все это — первые опыты преодолеть дуализм, которого Шиллер никогда не мог преодолеть. Весьма характерно, что эти опыты, несмотря на их общую тенденцию, колеблются в разные стороны: один больше в сторону спиритуализма, другой — в сторону материализма.

С этой точки зрения обе работы имеют и теперь еще большой интерес. Вообще же они характеризуют научное преподавание высшей школы с самой плохой стороны и доказывают всю пустоту лакейской болтовни, повторяемой даже таким историком, как Трейчке, будто Карл-Евгений основал эту академию, чтобы противопоставить застывшей теологии тюрингенского университета свободную мысль нового времени, и с таким успехом, что слава старого университета совершенно потускнела в сравнении с обмирщенной наукой новой академии. Правда, герцог из страха пред сословиями не мог организовать в новой школе католический факультет и из ненависти к сословиям не хотел основать евангелический факультет. Вместо этого он культивировал там плоскую философию, собрание общих мест, взятых наполовину у Лейбница и Вольфа, наполовину у Шефтсбюри и Фергюсона, и сводившихся, в конце концов, к нескольким фразам о счастье и добродетели, счастья, которое герцог Карл

предуготовил своим «детям» в академии, и добродетели, которые так лучезарно олицетворяла в своей персоне его любовница Франциска.

Именно эти работы Шиллера, из которых даже отвергнутая, согласно приговору герцога, свидетельствовала об «очень большом таланте», обнаруживают полное отсутствие той научной подготовки, которую в первую очередь должна была дать своим воспитанникам академия. Чтобы восполнить этот недостаток, Шиллер должен был позже затратить драгоценные годы, годы цветущего возраста. Он сам горько жаловался, что университет задержал развитие его философских способностей. «Я беден понятиями, мне совершенно чужды некоторые дисциплины, я не прошел философской школы и читал очень мало философских книг»,—пишет он пять лет спустя, а еще три года позже он признается, что никогда не испытывает так сильно чувство неподготовленности, как в философских занятиях. Он так мало читал по философии, а между тем имеется так много великолепных книг на эти темы, что нельзя без краски стыда признаться, что не читал их. Именно в то время, когда Шиллер писал эти строки, тюрингенский университет кончали двое юношей, имена которых достаточно только назвать, чтобы показать, как много потерял Шиллер в своей академии: их имена Гегель и Шеллинг.

И несмотря на это, когда Шиллер наконец освободился и встретил товарища его детских игр, с которым он еще в Лорхе задумал вместе изучать теологию в Тюбингене и которому удалось выполнить это намерение, он заметил смеясь: «Чем стал бы я тогда? Тюбингенским магистром». Но тот, кто говорил таким образом, был не воспитанник академии Карла, а творец «Разбойников».

### «Разбойники»

Склонность к поэзии и в особенности к трагической поэзии, склонность, которую отметили в Шиллере его соученики, с трудом выбивалась из-под удушающего деспотизма, придавившего его юность. Шиллер сам желал своей первой драме только потому бессмертия, чтобы увековечить пример рождения, обаянного противоестественному совокуплению субординации и гения. Он прибавил к этому, что если из всех бесчисленных обвинений против «Разбойников» одно попадает в цель, то именно то, что он, за два года пред этим, взял на себя смелость изображать людей раньше, чем ему встретился хотя бы один человек.

Этим сказано уже, что «Разбойники» зародились под звездой литературных шедевров. Сам Шиллер дает нам на этот счет более точные данные. «Руссо ставит Плутарху в похвалу, что он избрал предметом своего изображения возвышенных злодеев... Разбойник Моор не вор, а злодей, не негодяй, а чудовище. Если я не ошибаюсь, этот странный человек обязан Плутарху и Сервантесу своими основными чертами, которые силой поэтической фантазии на шекспировский манер объединены в один новый, правдивый и гармонический характер». Сервантес попадает в эту компанию благодаря благородному разбойнику Року, которого он выводит в «Дон-Кихоте». Глубже было влияние Шекспира, хотя Шиллера сначала отталкивали «холодность и нечувствительность» английского поэта. Но всего глубже было влияние Руссо, который обратил внимание молодого поэта на Плутарха. Все эти авторы в академии Карла не представляли контрабанду, даже Руссо, согласно педагогическим принципам которого брат и позже преемник герцога воспитывал свою дочь. Именно этому принцу, Людвигу-Евгению Вюртембергскому, адресовал Руссо свое послание, которое начинается известными словами: «Если бы я имел несчастье родиться принцем...»

Другие звезды, которые светили при зарождении «Разбойников», могли посылать только украдкой свои лучи—это делало их лишь более привлекательными—в старую кавалерийскую казарму за штутгартским замком, где военные часовые охраняли учеников от всякого соприкосновения с свободными идеями нового века. Семидесятые годы, в течение которых Шиллер прозябал за этими стенами, были десятилетием «Эмилии Галотти» и «Натана Мудрого» Лессинга, «Геца фон Берлихингена» и «Вертера» Гете, «Леноры» Бюргера, были десятилетием эпохи «бури и натиска» в Германии.

Европейская культура стояла перед крупным поворотом. Феодальный мир, основы которого подрывал уже несколько столетий капиталистический крот, безнадежно рухнул. Занималась заря буржуазного века. В умах начиналось сильное брожение. Свежее дыхание всемирноисторического утренника пробуждало их из тяжелых объятий сна. Они радостно обращались к новому солнцу, первые лучи которого начали окрашивать горизонт. Но солнце это восходило, вопреки природе, на западе, и немцам оно сияло только из прекрасного далека. Печальная история осудила их приветствовать новый мировой день только в мысли и песнях, проделать свою революцию только на литературной арене. Создавая поэтические творения, наложившие

свою печать на всю эпоху «бури и натиска», Гете отвернулся с презрением и неудовольствием от писаний французского материализма, этих смелых буревестников великой революции.

Могучее дыхание этого литературного движения проникло через железные ворота академии Карла, в особенности когда она была переведена в Штутгарт.

В пустынном «Уединении» Шиллер оставался еще «рабом» Клопштока, в Штутгарте его «богом» стал Гете. Несмотря на всю бдительность надзирателей, нельзя было уберечь «питомник рабства» от литературной контрабанды. Чем сильнее был гнет, тем искуснее развивалась контрабанда. В кругу единомышленников, литературные стремления которых, правда, быстро увяли, Шиллер проглатывал новую литературу. Его привлекали не только звезды первой величины, но и—а зачастую еще больше—спутники их, которые заимствовали свой свет от этих звезд и теперь совершенно потухли. Это было естественное развитие юноши, эстетический вкус которого лишь постепенно выяснялся и созревал.

Он восхищался «Вертером» Гете, но мог часами мечтать, вместе с его слезливо-плоским потомком Зигвартом, над лилиями, которые последний рвал за решетчатым окном. Так, будущая золовка и первый биограф Шиллера, очевидно на основании его собственного рассказа, повествует, что на поэта произвели более глубокое впечатление, чем «Гец фон Берлихинген», поэтические творения гетевских друзей: драма Клингера, Ленца и Генриха-Леопольда Вагнера. Много лет спустя Шиллер рассказывал о том незабываемом впечатлении, которое на него произвел Клингер. Последний принадлежал к тем, кто раньше всех и сильнее всех повлиял на его ум. Но это относится не только к Клингеру, которого сам Гете уважал, как «постоянного, верного, правдивого парня», но и к более гениальному Ленцу, даже к Вагнеру, которого Гете считал только «хорошим подмастерьем без особенных дарований». Точно так же молодой Шиллер признавал, что Лессинг несравненно более наблюдателен, чем Лейзевиц, но «Юлий Тарентский» его трогал больше, чем «Эмилия Галотти». Эта драма Лейзевица была любимым произведением его юности. Ближе, чем Бюргер, был ему Шубарт, хотя в этом случае играло роль его швабское происхождение. Как странствующий рапсод, Шубарт популяризировал в швабских провинциях песни Клопштока, а затем обратился к Виланду, так и Шиллер и его друзья пришли к взгляду, что Виланд писал для людей и потому его следует любить, тогда как Клопштоком можно увлекаться только тогда, когда переходишь за земные пределы.

У Шубарта Шиллер заимствовал фабулу своей драмы: историю двух враждующих братьев, любимую тему того времени, которую, как драматический конфликт, выбрали также для своих произведений Клинггер и Лейзевиц. Шубарт хотел дать иллюстрации «К истории человеческого сердца». В Карле и Вильгельме, сыновьях одного дворянина, он противопоставил гениально кипучую силу, которая всеми фибрами сердца отдается жизни, трезвой обыденности, которая прикрывается благочестивой суровостью, чтобы с тем большим бесстыдством грешить. Путем обмана и подлога Вильгельм преграждает покаявшемуся брату путь к сердцу отца, и, таким образом, Карл осужден на бедность. Однако, став батраком, который, в качестве лесоруба, служит у крестьянина, Карл спасает в лесу своего отца, на которого напали подкупленные Вильгельмом замаскированные бандиты. Шубарт заканчивает свою повесть нотой примирения: Карл, как любящий сын, покоит старость своего отца, а Вильгельм может скрыть свой позор в каком-то захолустном углу, как главарь секты zelотов.

Уже в 1777 году Шиллер обратил внимание на этот рассказ и начал его переделывать в драматическую форму в такое время, когда он готов был отдать свое последнее имущество за драматический сюжет. Шубарт сам предоставил свой рассказ какому-нибудь гению, чтобы последний сделал из него роман или драму. Но в форме, в какой нам известны «Разбойники», драма возникла только в 1780 году, в последнем году, который Шиллер должен был провести в академии, когда суверенный каприз герцога лишил его еще раз свободы и превратил давно накопившееся недовольство в яркое пламя.

Уверенной рукой настоящего драматурга поэт вводит нас сейчас же в разгар действия. Как только поднимается занавес, мы наблюдаем коварную игру младшего брата Франца, который скрывает от отца покаянное письмо Карла и при помощи сработанной им фальшивки разжигает его гнев против отсутствующего сына. Выдумки Франца наглы и неуклюжи, его интриги грубы, рискованны и отдают плохим романом. Отец, который верит им, не столько слаб и чувствителен, сколько ребячлив и капризен. На все это указывает сам Шиллер в критике своей драмы, и таким образом, уже в начале своей драматической карьеры, показывает—как об этом позже писал Гете—что он мало заботился о детальной мотивировке. Так и мотив, при помощи которого Шиллер хочет заострить взаимную вражду братьев сильнее, чем это сделано у Шубарта,—любовь к одной и той же девушке,—этот мотив плохо обоснован. «Я прочитал больше,

чем половину драмы,—формулирует свое мнение Шиллер в своей самокритике,—и не знаю, чего хочет девушка и что хотел с ней сделать поэт, не имею также понятия, что с нею могло бы случиться». Действительно, Амалия служит только для того, чтобы чисто внешним путем двигать вперед драматическое действие; единственная женская фигура драмы есть также ее единственная фигура, которая совершенно не удалась. Когда поэт создал ее, он «был еще незнаком с прекрасным полом». Он сам говорит о своей академии: «Двери этого института открываются, как известно, для женщин только тогда, когда они еще не становятся интересными или когда они перестают быть интересными». Таким образом трагедия Шиллера, как и повесть Шубарта, основана целиком на противоречии характеров обоих братьев, но могучее искусство, с которым Шиллер преобразовал эти характеры, сообщает его творению трагическую и революционную силу.

Шиллер сам говорит, что выставить на сцене такого злого негодяя, как Франц Моор, требовалось больше смелости, чем это могло оправдать уважение к Шекспиру, величайшему знатоку людей, создавшему Яго и Ричарда. Он соглашается с критиками, которые сейчас же выдвинули вопрос, каким образом юноша, выросший в среде мирной и невинной семьи, мог усвоить такую превратную философию. «Пусть всякие фанатики и честные проповедники истины вызывают с своих облаков: человек склонен прежде всего к пагубному,—я не верю этому». Действительно, Франц Моор живет только потому, что поэт оживотворяет его своим дыханием. Материалистические софизмы, которыми Франц оправдывает пред своей совестью все совершаемые им гнусности, точно так же, как и потрясающее видение страшного суда, которое сокрушает его,—все это было пережито Шиллером. В преступлениях своего создания он побеждал сомнения, которые все время беспокоили его чистую душу. Без глубокого интереса к материалистическому мировоззрению не могли быть написаны монологи Франца, и точно так же как и потрясающее видение злодея, так и другие сцены, а в сущности и вся драма показывают, что Шиллер еще глубоко переживал библейские воззрения и представления. В конце концов они даже торжествуют больше в силу гения поэта, чем в силу его желания. Он вовсе не имел намерения восстановить карикатуру «вольнодумца», которую Лессинг осмелся еще за тридцать лет до этого, и, как свой собственный критик, откровенно заявил, что рассуждения, которыми подкрепляет свою систему пороков Франц Моор, являются результатом



просвещенного мышления и либеральных занятий, что понятия, которые являются их предпосылками, должны были бы скорее облагородить его.

Все же в Франце Мооре получили свое воплощение только революционные сомнения поэта. Зато в Карле Мооре пылает и светит его революционный энтузиазм. В первой сцене он выступает, как он есть, со всем его отвращением к мерзости запустения прогнившего мира, со всем его кипучим пафосом свободы. «И вот они замыкают здоровую природу в рамки нелепых условностей, обхаживают чистильщика сапог, лишь бы он замолвил за них словечко пред своим господином, и сами относятся по-хамски к тем, кого они не боятся... Нет, я и слышать не хочу об этом! Неужели я должен стягивать себя корсетом и шнуровать свою волю в законы? Закон заставляет ползать улиткой там, где хотел бы взвиться орлиным взлетом. Закон не создал еще ни одного великого человека, тогда как свобода творит колоссов и крайности».

Но Карл Моор не был бы верным представителем немецких «бурных гениев», если бы его неукротимое стремление к деятельности не соединялось с мягкой чувствительностью. Едва успев потребовать армии людей его калибра, чтобы сделать из Германии республику, в сравнении с которой Рим и Спарта покажутся только женскими монастырями, он уже отталкивает от себя спутника, который подхватил его мысль и развивает ее дальше: «Счастливого пути! Карабкайся по столбам позора к вершине славы. В тени моей родимой рощи, в объятиях моей Амалии меня ждет благородная радость». Только когда интриги его брата убеждают его, что отец от него отказывается, он ругает себя дураком, который хочет назад, в свою клетку. «Дух мой алчет подвигов, мои легкие жаждут свободы. Убийцы, разбойники!—вместе с этими словами я попираю закон ногами». И несмотря на это, достаточно прекрасного заката солнца, чтобы из «великого разбойника» сделать «горько вопиющего Аббадону».

И все-таки Карл Моор был не только истинным сыном немецкой эпохи «бурных гениев», но и ее крупнейшим сыном. Не как гетевский Гец в прошлых столетиях, не как герои Клингера и Лейзевица в чужих странах,—нет, в самом центре немецкого настоящего шествовал он бесстрашно, еще не побежденный, и бичевал трусливую гнусность господствующих классов. Пред кем тогда не вставали, как живые, все эти Монмартены и Виттледеры, когда разбойник Моор хвалился: «Этот рубин я снял с пальца министра, которого я на охоте поверг к

ногам его государя. Из черни он поднялся, при помощи низкой лести, до степени первого любимца, падение его соседа было для его превосходительства ступенью к почестям, слезы сирот его возвышали. Этот алмаз я отнял у финансового советника, который продавал чины и должности тем, кто больше платил, и прогонял от своих дверей скорбящих патриотов».

И когда Карл Моор произносил свою страшную клятву у Голодной башни, из которой выходит скелет его отца, то с не менее страшным обвинением выходили скелеты Мозера и Шубарта из Голодной башни, в которую бросил их герцог Вюртембергский. «In tirannos»—против тиранов—гласила подпись под титульной виньеткой поднимающегося льва, которая украшала позже издание «Разбойников», но никогда еще лев бури и натиска не подымал так грозно своей лапы против немецких тиранов.

Если Шиллер щедро одарил своего героя и его противника своими собственными духовными сокровищами, то оригиналы для разбойников он взял из того маленького мира, который он действительно знал. Свои наблюдения над товарищами он перенес на Шпигельберга, Швейцера, Роллера, Гримма, Косинского, о которых, при всей строгости своей самокритики, он имел право сказать: «Каждый из них имеет нечто своеобразное, каждый имеет то, что он должен иметь, чтобы возбуждать интерес рядом с своим атаманом, не нанося ему никакого ущерба». Но он слишком несправедливо судил о драматическом действии, когда сейчас же после первого представления писал: «Если я должен вам свое мнение выразить по-немецки, то эта пьеса все же не является сценической вещью. Если исключить стрельбу, огонь, пожар, резню и т. п., то она для сцены утомительна и тяжела. Я предложил бы автору сделать большие сокращения, если он не чересчур упрям и самолюбив». И все же «Разбойники», как сценическая пьеса, удержались до сегодняшнего дня, как ни чуждо нам настроение, из которого она выросла, как странно ни звучит иногда ее язык, могучие гиперболы которого все еще дышат горячей страстью.

Конечно, драма не представляет единого, цельного творения. Она сложилась из отдельных сцен, как они возникали в фантазии поэта, как они тайком, за спиной надзирателей и учителей, в ночной тиши набрасывались поэтом на бумагу. Среди этих сцен встречаются и очень натянутые, придуманные только с целью восстановить разорванную цепь действия. Сам Шиллер не без основания признается, что его драма замирает как раз в середине. После первых двух актов, в которых действие раз-

живается удар за ударом до торжества Франца по поводу мнимой смерти отца, до сражения в богемских лесах, где поэт поднимает жизнь разбойников во всей ее низости и жестокости до высоты героического величия, в третьем акте с его элегическим настроением темп снижается, и только механически вставленный эпизод с Косинским, печальная история которого напоминает Карлу Моору о его потерянной любви, дает новый толчок действию. Зато оно после этого опять нарастает еще более могучим темпом в четвертом и пятом актах в потрясающем выступлении Карла Моора пред Голодной башней, в сокрушающем суде, который обрушивается на Франца, в ряде сцен, о которых справедливо сказано, что они, по своей трагической силе, остались непревзойденными во всем драматическом творчестве Шиллера.

Только к концу пьесы действие опять замедляется. Это, конечно, только разбойничья романтика в полном смысле этого слова, когда Карл Моор убивает свою возлюбленную, чтобы откупиться от присяги на верность, которая связывает его с бандой, и не более высокая трагика преступника, когда он отдает себя в руки суда, который должен его осудить на колесование: «О я глупец, мечтавший исправить и поддержать закон беззаконием! Я называл это мостью и правом. Но—жалкое ребячество!—теперь я стою на краю страшной пропасти и со скрежетом зубовым и ревом признаю, что два человека таких, как я, в состоянии были бы разрушить все здание нравственного мира!»

Здание нравственного мира, к основам которого принадлежали герцог Карл-Евгений с его Монмартенами и Виттледерами!

Но хотя эта трагическая развязка является совершенно неудачной, она все же символична для немецкой эпохи «бури и натиска».

### **Полковой лекарь**

Освобождение Шиллера от гнета академии было отравлено новой пакостью герцога. Без всяких объяснений Карл-Евгений нарушил данное им отцу Шиллера обещание устроить его сына лучше, чем это было бы возможно при помощи изучения теологии,—он назначил его полковым лекарем в захудалый пехотный полк, с месячным окладом в восемнадцать гульденов и с запрещением заниматься частной практикой. Это было очень жалкое место, более жалкое, чем то, которое занимал отец Шиллера, когда был фельдшером. Новый полковой лекарь оказался по службе ниже тех лейтенантов, с которыми он учился вместе в академии.

Один из них, хороший приятель Шиллера, Шарфенштейн, нарисовал трагикомическую фигуру автора «Разбойников», как он ежедневно, после работы в лазарете, появлялся на плац-параде в Штутгарте. Высокого роста, шагающий, точно аист, в узких гамашах, затянутый в нелепый мундир старопруссского покроя, с тремя круто завитыми локонами по обеим сторонам головы, верхушка которой покрыта маленькой шапкой, болтающаяся за спиной длинная толстая коса, очень длинная шея в очень узкой повязке, темнорыжие волосы, широкий лоб, глубоко лежащие темносерые глаза с воспаленными зрачками, тонкий, хрящеватый, острым углом выступающий нос, бледные, впалые, покрытые веснушками щеки, выразительный рот с отвислой нижней губой, резкий, неприятный голос—«весь этот находившийся в таком контрасте с представлением о Шиллере аппарат часто являлся в нашем маленьком кругу предметом дикого смеха». Но честный друг прибавляет к этой картине: «Вся голова, больше напоминавшая духа, чем человека, имела в себе что-то импонирующее, энергичное», и хотя он отказывает своему бывшему школьному товарищу, а теперь подчиненному, в минимуме эlegantности, он откровенно признается: «Я удивлялся ему, и дух мой склонялся пред подавляющим превосходством Шиллера. Этому короткому периоду, когда мой друг был моим учителем, я много обязан своим образованием».

В «маленьком кругу», о котором говорит Шарфенштейн, юношеский темперамент Шиллера мог, после долгих стеснений, развернуться во всю. Правда, простор, в котором он мог двигаться, был не особенно велик. Без разрешения генерала, командовавшего полком, Шиллер не имел права покидать город, не мог даже навестить своих родителей. Он охотно посещал с товарищами трактиры. Кутежи и буршикозная жизнь давали материал для различных городских сплетен. Последние его мало трогали, но зато эта жизнь ложилась тяжелым бременем на его тощий кошелек. Так как свое врачебное искусство Шиллер мог проявлять только на нескольких калеках, то он искал литературного заработка в маленьких газетках, выходивших в Штутгарте. Он надеялся также, что его драма привлечет «всемогущую мамону», которая «упорно не хотела устроиться под его крышей». Эти слова, написанные им в минуту приподнятого настроения, не следует понимать таким образом, что он считал своего поэтического первенца пригодным только, чтобы уплатить трактирные долги. «Мы напишем такую книгу, которая непременно будет подвергнута сожжению рукой палача»,—говорил он Шарфенштейну. И друг его был прав, когда от-

рица, что Шиллер своей драмой стремился к литературной славе. Поэт хотел, напротив, выступить только с сильным, свободным, направленным против всяких условностей взглядом на мир. Если бы он не был великим поэтом, то ему не оставалось бы другого выбора, как стать великим человеком в активной общественной жизни.

Вполне достойна революционной драмы была ее дальнейшая судьба для поэта. Она вырвала его суровым путем из условий жалкого прозябания. Так как Шиллер не мог найти издателя, а ему хотелось непременно опубликовать свою драму, то он издал ее на собственный счет. Несколько сот гульденов, которые он достал с этой целью, надолго отравили ему жизнь. Когда книга была уже в наборе, он нашел издателя—видного книгопродавца Швана в Маннгейме. Шиллер послал ему корректурные оттиски. Драма сильно заинтересовала Швана. Не ясно только, почему поэт не предложил ему свой манускрипт. Шван был когда-то другом Лессинга и отличался литературным вкусом. Он сразу оценил гениальный размах «Разбойников», сейчас же отнес корректуры к барону Дальбергу, интенданту маннгеймского театра, и дал несколько добрых советов Шиллеру, который не оказался глухим к ним. Он был свободен от авторского тщеславия и всегда серьезно относился к своим творениям.

Таким образом, Шиллер уже в готовых корректурах сделал много смягчений и сокращений. В предисловии он взял более умеренную ноту, чем сначала. Вряд ли это было его настоящее мнение, когда он писал, что содержание драмы делает невозможной ее постановку на сцене. Но когда он обращается против «черни», под которой он, конечно, подразумевал не только чистильщиков улич, то это было не только тактической осторожностью. «Слишком близорукая, чтобы охватить целое, слишком ограниченная, чтобы понять великое, слишком злобная, чтобы оценить добро,—эта чернь, боюсь я, не поймет моих намерений, найдет, быть может, в моем произведении апологию порока, который я ниспровергаю, и свое непонимание вменит в вину поэту, которому готовы обыкновенно приписать все, лишь бы не отдать справедливости». Шиллер отводил своему произведению, ввиду его трагического заключения, место среди назидательных книг. Порок постигает судьба, которую он заслужил, заблуждавшийся снова возвращается на путь закона, добродетель остается победительницей. «Кто отнесется ко мне справедливо, кто прочтет мою книгу до конца, кто хочет понять меня, от того я могу ждать,

что он будет если не удивляться поэту, то уважать во мне прямого человека». В этом заявлении имеется все же объективная правда, так как Шиллер и тогда, и еще долго после смотрел на театр, как на нравственное учреждение.

«Разбойники» были напечатаны без имени автора, но оно скоро стало известно. Книга произвела огромное впечатление. Так смело не высказывался еще ни один из представителей эпохи «бури и натиска». А через год драма была уже поставлена на сцене, лучшей, которая тогда существовала в Германии. Карл-Теодор, курфюрст пфальцский, был расточительным и любящим роскошь деспотом, как и герцог Вюртембергский, но не до такой степени груб и ничтожен, как последний. Находясь под влиянием Вольтера, с которым курфюрст вел переписку, он даже любил просвещение. В Маннгейме, который, как и Людвигсбург, был вновь созданной княжеской резиденцией, — Анти-Гейдельберг, как тот — Анти-Штутгарт, — он организовал библиотеку и кабинет редкостей, основал немецкое общество и хотел также создать немецкий театр, чтобы сделать из Маннгейма «центр хорошего вкуса». По этому поводу велись переговоры с Лессингом, но эти попытки, как известно, кончились жалким фиаско, что и предсказывал Шубарт в свойственном ему швабском крепком стиле: «Если это только не окажется быстро вспыхивающим огоньком, который сейчас же потухает, как только французик открывает свои штаны и поливает его». Вместо Лессинга явился посредственный комедиант из Франции. «Можете смеяться, — писал Шван в апреле 1777 года Лессингу, — Маршан получает восемнадцать тысяч гульденов. Он должен быть тем акушером, что должен помочь Пфальцу родить могучего ребенка, которым он так долго беременен, — немецкий национальный театр! Святый боже, до чего только пришлось дожить! Начали Лессингом и кончают Маршаном!» Но еще в этом же году прекратилась баварская линия Виттельсбахов, и Карл-Теодор переселился в Мюнхен. Он забрал с собой Маршана и сделал распоряжение в сентябре 1778 года, чтобы в возмещение Маннгейму за потерю княжеского двора был основан национальный театр, интендантом которого он назначил барона Дальберга. Последний был дилетант, но не без любви к тому делу, во главе которого он был поставлен. Когда герцог Готский, после смерти Экгофа, ликвидировал свой театр, то Дальберг сейчас же пригласил на службу молодых актеров из школы Экгофа: Бука, Бейля, Иффланда, Бека. Не менее удачно было его решение поставить «Разбойников», в сценическом успехе которых сомневался сам автор.

Правда, для этого пришлось преодолеть еще некоторые затруднения. Дальберг требовал ряда изменений и смягчений, на которые Шиллер согласился и мог согласиться, так как писал свою драму, не считаясь с требованиями сцены. Но у Дальберга были не только эстетические, но и политические сомнения. Так, он хотел, чтобы действие было отнесено назад на два столетия—из эпохи Семилетней войны в эпоху императора Максимилиана. Поэт энергично протестовал против этого, хотя и не совсем успешно. Он жаловался: «Конечно, всякий театр может делать с пьесой, что ему угодно, автору приходится покориться». Он должен был подчиниться и другим требованиям Дальберга. Даже изменения, на которые Шиллер сам согласился, в общем гораздо больше повредили делу, чем помогли ему. А тут еще «Вступление», которое Шиллер, по желанию Дальберга, написал для театральной афиши, подчеркивало с почти ярмарочным безвкусием моральный характер драмы.

В январе 1782 года состоялось первое представление. Оно должно было начаться в пять часов, а уже к двенадцати собрались зрители не только из Маннгейма, но и из Дармштадта, Гейдельберга, Франкфурта-на-Майне и Майнца. Бук играл Карла, Иффланд—Франца Моора. Сцена у Голодной башни закрепила колоссальный успех. «Театр похож был на дом сумасшедших,—пишет очевидец:—горящие глаза, сжатые кулаки, топот ног, хриплые крики в зале! Незнакомые люди со слезами обнимали друг друга, женщины были близки к обмороку. Это было всеобщее возбуждение, как в хаосе, из мрака которого возникает новое творение». Среди публики находился Шиллер, никому не известный; он ночью исчез из Штутгарта, чтобы отпраздновать эту большую победу. Расходы на дорогу оплатил ему театр в размере сорока четырех гульденов. Эта сумма составляла весь его гонорар.

«Разбойники» и дальше производили колоссальное впечатление, хотя их триумфальное шествие по немецким театрам временами наталкивалось на различные препятствия. В некоторых городах, как Данциг и Вена, театральная цензура запретила их постановку. Даже веймарской придворной труппе еще в 1800 году, когда Гете и Шиллер находились в Веймаре в зените их творчества, запретили играть пьесу в Лаухштедте. В Лейпциге «Разбойников» постигла трагическая судьба: когда во время первого представления в городе и в театре совершен был ряд краж, дальнейшая постановка их была запрещена. В Берлине «Разбойники» были поставлены в ужасной переделке

некоего Плюмике, который таким же образом перепортил и более поздние юношеские драмы поэта.

«Разбойники» приобрели поэту новых друзей, жизнь которых теперь тесно сплелась с его жизнью. К их числу принадлежала госпожа Вольцоген, владевшая имением в Тюрингии, но долго жившая в Штутгарте, где сыновья ее учились вместе с Шиллером, и музыкант Штрейхер, двумя годами моложе Шиллера, большой его поклонник. Он оставил нам портрет своего друга, похожий на портрет, нарисованный Шарфенштейном, но в более мягком и почтительном тоне: зачесанные назад рыжие волосы, воспаленные глаза, ослепительно белая шея, бледные щеки, которые в оживленной беседе быстро покрывались румянцем.

Шиллер познакомился также лично и с Шубартом через своего крестного отца, который снова попал в милость герцога и назначен был комендантом Гогенасперга. Собственные страдания в Гогентвиле не сделали Ригера более мягким по отношению к политическим заключенным, которые находились теперь под его надзором, и в особенности мучил он своими пиястическими причудами Шубарта. Но он охотно играл роль покровителя поэтов и позволил Шиллеру посещать замок, где устроил ему свидание с Шубартом, который со слезами приветствовал своего великого преемника, как Креститель Христа.

Успех «Разбойников» дал опять могучий толчок драматическому творчеству Шиллера. Весной и летом 1782 года он работал над «республиканской трагедией», историческим сюжетом для которой послужил заговор Фиеско в Генуе. До этого он издал еще лирический сборник, который должен был конкурировать с Швабским альманахом муз. Именно в пике издателью этого альманаха, второстепенному, но весьма практическому поэту Штейдлину, Шиллер издал свою «Антологию на 1782 год» якобы в Тобольске и написал к ней сибирско-сатирическое предисловие. Сборник вышел анонимно, все стихотворения в нем подписаны были инициалами, но большинство из них принадлежит Шиллеру. Во всяком случае, он скрылся под различными инициалами. Первые лирические опыты Шиллера относятся еще к его университетским годам и стоят под знаком Клопштока, тогда как стихотворения, напечатанные в «Антологии», хотя и носят еще следы влияния Клопштока, в гораздо большей степени свидетельствуют о влиянии Шубарта и Бюргера.

Шубарт был восхищен «бурным потоком песен», который «с грохотом низвергался пред ним», но ни современники, ни



потомки не разделяли этого восторга. Поэтический сборник Шиллера не привлек совершенно внимания. Он, кажется, не вызвал ни одной рецензии, если не считать рецензии самого Шиллера, который и на этот раз дал образец строгой самокритики. Действительно, его лирика стоит значительно ниже того уровня, которого тогда уже достигла немецкая лирика. Она сохраняет только эстетическо-биографический интерес. Она показывает в зародыше, что Шиллер не имел никакого таланта в области песни, лирики чувства, но уже очень рано сумел взять собственную ноту, где речь идет о балладе—«Детубийца» и «Сражение»,—или о философской поэзии—стихотворение, посвященное Руссо и «К моралисту»,—или об эпиграмматически-резкой боевой лирике—«Достоинство человека» или «Плохие монархи».

Совершенно излишне спорить по поводу того, принадлежат ли вообще такие стихи к лирической поэзии. В доме поэзии много жилищ, и только тот, кто—чтобы сослаться на модный пример—видит единственных лириков в Мерике и Шторме, а в Гервеге и Фрейлиграте—лишь риторических рифмоплетов, может, подчиняясь педантическому школьному догмату, доказывать, что Шиллер вообще не был лириком. Несомненно, однако, что лирическое чувство никогда не было его сильной стороной. Точно так же, как и в более зрелые годы, он не мог написать ни одного любовного или вакхического стихотворения без тяжелого идейного балласта, так и в его самом раннем собрании стихотворений песни, посвященные Лауре, показывают, что даже поэтическое чувство молодой любви тонет в запутанной метафизике. Согласно преданию, на эти песни вдохновила Шиллера платоническая любовь к его квартирной хозяйке, уже не молодой капитанской вдовушке Фишер. Ссора с Штейдлиным имела своим источником как раз то обстоятельство, что последний согласился поместить в своем альманахе только одно стихотворение из этой серии. Во всяком случае, Шиллер в своей, в общем очень честной, критике относится к этим стихотворениям с тем снисхождением, с которым нежный отец относится к своим неудачным детям. Он думал, что они выгодно отличаются от других стихотворений сборника; они «написаны в собственном тоне, с пылкой фантазией и глубоким чувством», но вместе с тем признавал, что они все «слишком экзальтированы».

Шиллер мог, однако, с полным правом сказать о своей «Антологии»: многие стихотворения «были одухотворены благородным дыханием свободы». В этом отношении молодой лирик стоял

на одной высоте с молодым драматургом. В «Плохих монархах» он напоминал герцогу свои потерянные годы молодости:

Что помогут вам дворцы, палаты  
В день, когда потребует уплаты  
Долга вашего суровый рок?  
Вашей юности конец—банкротство,  
Г л у п ы х д о б л е с т е й, обетов идиотство  
Поздно предлагать в залог!

Продолжайте а в г у с т е й ш и м п р а в о м  
Прикрывать позор свой и кровавым  
Прячьтесь приведением за трон!  
Но дрожите пред лицом поэта:  
Песню мести, словно острием стилета,  
Деспота приколет он.

Еще более непосредственно затронул Шиллер милостивого отца народа в «Колеснице Венеры»—это стихотворение вышло анонимно отдельным изданием,—где, в тоне Бюргера, он бичует грехи сладострастия и громит «тиранов народа»:

Плутни государевой печатью  
Прикрывает негодяев рать,  
И вольготно этой лъстивой братье  
Государство подло обирать.  
Даже—на ухо шепну вам—от блудницы  
Не всегда свободен кабинет;  
В актах многие хранят страницы  
Пальчиков прелестных след.

Эти намеки на еврея Зюса и графиню Гогенгейм были уже совершенно прозрачны. Но «Колесница Венеры», как и «Антология», вряд ли нашла много читателей. Гораздо большее впечатление произвели некоторые выпады Шиллера, сделанные им в официальном стихотворении, которое он, как это было тогда принято, написал по поручению штутгартских врачей на смерть молодого коллеги. В этой «Элегии на смерть юноши» смелые сомнения насчет бессмертия переплетались с резкой критикой социальных условий. Шиллер радуется за покойника, что он в своей узкой келье укрылся от трагикомической суетни, и говорит далее в иной связи:

Пусть над ним фортуна продолжает  
С женихами гнусную игру:  
То на шатких тронах их качает,  
То сует их в грязную дыру.

Для официальной надгробной песни, за которую несли ответственность и лейб-медики герцога, этот тон был достаточно дерзок и действительно показался дерзким. Шиллер писал одному другу, что «судьба» этого стихотворения весьма комическая. «Я начинаю становиться активным, и маленькая пакость принесла мне в округе большую известность, чем двадцать лет практики. Но это такая же слава, как слава того, кто сжег храм в Эфесе. Да будет ко мне милостив бог!»

Пока речь шла о том, как долго будет еще «милостив» герцог, и при его характере можно удивляться, что он терпел еще свыше года, прежде чем вмешался с обычной для него жестокостью.

### Бегство

В мае 1782 года умер Ригер, и вюртембергский генералитет заказал Шиллеру официальное надгробное стихотворение. Уже в своей «Антологии» он поместил напыщенную оду в честь старого истязателя людей, правда, написанную другим, и выразил по этому поводу свою радость, что «может таким образом засвидетельствовать пред всем миром свое уважение к нему».

Нам не приходится быть в этом пункте чересчур требовательными по отношению к буржуазным просветителям. Так же, как и Гуттен, и другие гуманисты воспевали деспотов и их слуг, если они были или казались благосклонны к «новой науке», так поступали еще и Вольтер с товарищами. Лессинг, с его щепетильным отклонением всякого меценатства, оставался белым вороном. Особенной благосклонностью Ригера Шиллер не пользовался, но Ригер был его крестный отец, да и лично не был таким негодяем, как Монмартен и Виттледер. Кроме того, он был не только пособник, но и жертва деспотизма. Таким образом можно было высечь герцога, воздавая хвалу Ригеру.

Этой возможностью воспользовался Шиллер, когда написал свое надгробное стихотворение памяти Ригера. Он бичевал живущего, воспевая, вопреки исторической правде, мертвого.

Для тебя был вечный царь всей твари  
Выше, чем улыбка государя,  
Что для многих выше всех отрад.  
Пред земным величьем пресмыкаться,  
Милостей насильем домогаться  
В этой жизни не стремился ты;  
К горьким ты прислушивался стонам,  
Защищал невинность перед троном  
От наветов злобной клеветы.

Взывая к «увенчанным лаврами ветеранам» вюртембергской армии, поэт заставляет смерть говорить «из гроба Ригера» следующими словами:

О земные божества! Напрасно  
Возгорясь величья мишурой,  
Не склоняетесь передо мной;  
Ждите мести ежечасно.  
Ни монарших милостей весь клад,  
Что порой лишь орденом сверкает,  
Ни искусство лести не спасают  
Тех, в кого я свой вперила взгляд.  
Спросят ли там Ригера о сане?  
Милость Карла там ему нужна ль?  
Что внесет его к небесной грани —  
Орден или любящих печаль?

В заключение Шиллер выражает свое убеждение, что «в бозе почивший» выдержал свое великое испытание, потому что его сердцу человечество было дороже, чем хвастливый обман величества.

Это стихотворение, которое возложено было вюртембергским генералитетом на гроб их коллеги, не могло остаться неизвестным герцогу. Почти каждая строфа падала на избалованного подхалимской лестью деспота, как удар бича. Но так как 20 мая он должен был уехать в Вену, то он отложил свою месть. А тем временем ему представился случай облечь эту месть в такую форму, которая избавляла его от позорного признания, что он был оскорблен стихотворением в честь Ригера.

Шиллер сам хотел освободиться от невыносимого ига. Он надеялся, что Дальберг пригласит его в качестве театрального драматурга в Маннгейм. Сначала он попросил Дальберга дать еще одно представление «Разбойников», чтобы использовать урок для «Фиеско». Дальберг согласился. В сопровождении г-жи Вольцоген и г-жи Фишер Шиллер, опять-таки без разрешения, уехал в Маннгейм. От Дальберга он получил, правда, только в общей, малообязывающей форме, обещание похлопотать за него у герцога. Когда Шиллер вернулся в Штутгарт, он, желая сейчас же начать ковать едва лишь согретое железо, написал Дальбергу, чтобы тот пощекотал тщеславие герцога: «Вы ему чрезвычайно польстите, если в письме, которое напишете, сделаете намек, что вы считаете меня его созданием, его воспитанником, что, следовательно, этим приглашением воздается только высшая похвала его педагогическому учреждению, продукты которого высоко ценятся раз-

личными знатоками. Таким путем можно добиться у герцога успеха».

Но эту птицу не так легко было поймать, и герцог обрушился, как коршун, на птицелова, который поставил ему эту невинную западню. Добрые дамы, которые с Шиллером совершили путешествие в Маннгейм, проболтались, и герцог узнал, что Шиллер уехал без разрешения из города, да еще «за границу». Грешник должен был явиться пред высокие очи герцога и, получив жестокий нагоняй, отправлен был под арест на четырнадцать дней. В этом заключении, в разгаре лета 1782 года, поэт набросал новую трагедию, в которой бросил своих мучителей в темницу вечного позора.

Как только Шиллер вышел на свободу, он опять обратился к Дальбергу. Он обещал ему в течение месяца закончить «Фиеско» и обработать историю Карлоса, на которую ему указал Дальберг. Он хотел показать интенданту, что тот найдет в нем плодovitого драматурга. Но еще раньше, чем нерешительный придворный мог Шиллеру оказать какую-нибудь помощь, на последнего обружился новый удар. В «Разбойниках» где-то, мимоходом, упоминается о вероломном климате Граубюндена. Так вот местные патриоты были чрезвычайно возмущены этим оскорбительным для их швейцарской родины замечанием поэта. Недостойная интрига довела это дело до самого герцога, который потому еще особенно серьезно отнесся к этому делу, что в Хуре, главном городе Граубюндена, были напечатаны памфлеты против его султанского режима. Шиллер был опять вызван к герцогу. Поэту было решительно запрещено публиковать какие-либо сочинения, кроме медицинских. «Я запрещаю вам, под страхом увольнения, писать комедии». С этими словами герцог отпустил Шиллера.

Поэт сейчас же принял решение спастись от этого покушения на его духовную жизнь бегством из Вюртемберга. Он поспешил закончить «Фиеско», чтобы не явиться к Дальбергу с пустыми руками. Только опасения за родителей, которые находились в полной зависимости от милости герцога, заставили его 1 сентября снова обратиться с письмом к герцогу. Он просил разрешения заниматься литературной деятельностью, обещая представлять все свои произведения на одобрение герцога. К счастью, герцог не согласился и ответил только запрещением, под страхом ареста, обращаться к нему с письмами.

Шиллер нашел при выполнении своего плана бегства спутника и пособника в лице верного Штрейхера, который хотел переехать в Гамбург для продолжения своего музыкального об-

разования. Под чужими именами они вечером 22 сентября выбрались из города чрез Эслингенские ворота, у которых тогда дежурил Шарфенштейн, и отправились в дальнейший путь. Темная ночь была освещена яркой иллюминацией на «Уединении», где герцог справлял роскошный бал.

## II. Годы борьбы

### Беглец

Ближайшей целью беглецов был Маннгейм. Шиллер надеялся даже, что ему удастся свить себе прочное гнездо в этом «раю муз», под «греческим небом» Пфальца.

Но его ожидало горькое разочарование. Дальберг был в отъезде: он находился среди гостей Вюртембергского герцога. Шиллер говорил с ним еще в Штутгарте, но, твердо решив во что бы то ни стало бежать, скрыл от него свое намерение из боязни встретить возражения. Он мог считать уже дурным предзнаменованием, что маннгеймская труппа приняла его довольно холодно. Особенно тяжелое впечатление на поэта произвела его неудачная попытка прочесть в кругу актеров свою почти законченную трагедию. Смущенное молчание его слушателей заставило его оборвать чтение «Фиеско».

В известной степени эта неудача объяснялась его неподдельным швабским диалектом и чрезмерным пафосом, с которым он обыкновенно читал свои произведения. Когда актеры познакомились с рукописью, их приговор оказался несравненно более благосклонным, но судьба пьесы находилась не в их руках. Решение принадлежало Дальбергу. Шиллер решил, до возвращения интенданта, отправиться пока дальше, так как в Маннгейме он находился в «пределах досягаемости» для герцога Вюртембергского. С своим верным Штрейхером он через Дармштадт направился во Франкфурт-на-Майне и оттуда написал Дальбергу—в подавленном состоянии, как свидетельствует Штрейхер. Опираясь на выражение сочувствия, которое он нашел или думал найти у интенданта, он просил выдать ему под «Фиеско», а в крайнем случае и под новую пьесу, аванс в триста гульденов, чтобы иметь средства к жизни и заплатить штутгартские долги, в которые он влез, чтобы издать «Разбойников».

Просьба была довольно умеренна, даже если бы выполнение ее для Дальберга не являлось пустяком. Он был очень богатый человек, отказавшийся от жалованья интенданта, и даже щеголял тем, что сам оплачивал свою интендантскую ложу, но лакейское счастье блистать в лучах славы герцога Вюртемберг-

ского было в глазах благородного барона выше его обязанности по отношению к бедному дезертиру-поэту, который озарил его сцену художественным блеском. В ответ на письмо Шиллера он не послал ни гроша. Он ограничился сухим замечанием, что «Фиеско» требует большой переработки, раньше чем можно будет принять решение насчет его постановки.

Шиллер пережил тогда, как он после признавался, «очень тяжелые минуты на Саксонском мосту», но не пал духом. Штрейхер остался с ним. Он отказался от своих гамбургских планов и пожертвовал своими деньгами, чтобы вернуться в Маннгейм, где Шиллер надеялся найти некоторую поддержку у Швана и актеров, пока он, согласно желанию Дальберга, переработает «Фиеско». Оба друга поселились в Оггерсгейме, около Маннгейма, в маленьком постоялом дворе—Шиллер под именем доктора Шмидта, как прежде под именем доктора Риттера,—и прожили здесь два месяца—отначала октября до начала декабря 1782 года. Еще больше, чем нужда, поэту мешали образы новой драмы, задуманной им в дни ареста в Штутгарте. Шиллеру хотелось сначала набросать ее основные контуры и характеры. Вот почему он закончил «Фиеско» только в начале ноября. Дальберг медлил с ответом и совершенно неожиданно через месяц заявил, не приводя никаких мотивов, что должен отвергнуть уже принятую драму. Тщеславный интендант был настолько мелок, что отказался выплатить Шиллеру вознаграждение в восемь луидеров, которое актеры предложили выдать поэту. В отзыве, который был обоснован Иффландом, они напомнили неудачному меценату о его «почетной обязанности» уплатить нуждающемуся автору «Разбойников» хотя бы тот жалкий гонорар, который получали посредственные авторы за оригиналы или переработки ходких пьес.

При этих условиях дальнейшее пребывание Шиллера в Пфальце потеряло всякий смысл, и он принял предложение г-жи Вольцоген, которое она сделала ему еще в Штутгарте, поселиться в ее тюрингенском имении Бауэрбахе. Добрая женщина, которая жила в очень скромных условиях и должна была несравненно больше считаться с герцогом Вюртембергским, чем Дальберг, была более мужественна, чем последний. Еще молодая женщина тридцати пяти лет, овдовевшая, мать четырех сыновей и подрастающей дочери, она сочувствовала молодому поколению, и Шиллер мог с полным основанием петь о ней:

Ее дворянство—в благородной жизни,  
Не в грамоте, что ненавистна мне.

Деньги на дорогу Шиллер сколотил, продав своего «Фиеско», по луидору за печатный лист, Швану. Этого гонорара хватило едва на то, чтобы уплатить за проживание Шиллера и Штрейхера на постоялом дворе. Бедный музыкант вынужден был искать заработок в Маннгейме, так как средства его были истощены, а в Гамбург ему не удалось уже попасть.

А Шиллер, легко одетый, в пронизывающий зимний холод, направился в Бауербах. Маленькая деревня расположена в двух милях к югу от Мейнингена, в лесной долине, под развалинами Геннебергского замка, в котором пятьсот лет назад господствовали более могучие покровители поэтического искусства. Но хотя царство г-жи Вольцоген было весьма крохотное, она царила там неограниченно, и никакая любопытная полиция не домогалась узнать, кто это такой доктор Риттер, появившийся вместе с рождественским снегом в деревне. Шиллер прожил здесь более полугода, работая над своей новой трагедией «Луиза Миллер» и обдумывая новые драматические сюжеты, между прочим—Дон Карлоса, историю которого он усердно изучал в Бауербахе. Книгами снабжал его библиотекарь в Мейнингене, Рейнвальд, которому его рекомендовала г-жа Вольцоген. С этим ипохондриком и педантом, который был старше его на двадцать лет, Шиллер тесно сблизился, хотя позже, когда Рейнвальд, к его неудовольствию, женился на его старшей сестре, весьма непочтительно отозвался об этой «дубине» и «фидистере».

В бауербахском одиночестве Шиллер тосковал по «благородным людям», и поэтому сильно идеализировал Рейнвальда, приписывая ему свои собственные бурные стремления. Он хотел опять помириться с людьми, с которыми почти совершенно порвал, и боролся с человеконенавистничеством, которое овладело им, потому что недостойные люди обманули его теплое чувство. Так писал он своей покровительнице 4 января 1783 года и прибавлял к этому: «Я полмира охватил своим пылким чувством и нашел в конце концов, что держу в руках холодную льдину». Но в этом же письме он пишет дальше: «С погоды ведь все равно ничего не спросишь. Плохо уж и то, что духовный мир уничтожает столько планов. Физический мир не должен испортить мне даже часа моей жизни». И четырьмя днями позже он пишет: «В моих жилах что-то кипит—я охотно выкинул бы в этом нескладном мире несколько штук, о которых бы можно было рассказать».

В этом заброшенном углу, в разгаре поэтического творчества, Шиллер занимался и всякими мелочами. Для приемной



дочери г-жи Вольцоген он сочинил свадебное стихотворение, написал едкую сатиру на герцога Кобургского, который выявил преждевременные притязания на наследство заболевшего герцога Мейнингенского, выразил даже готовность написать пролог для торжества по случаю дня рождения при мейнингенском дворе, хотя он должен был при этом казаться себе воином, вернувшимся с поля сражения, чтобы заниматься охотой на блох. Он считал необходимым сообщить г-же Вольцоген, что «конфирманд, накануне дня причастия, в насмешку над управляющим и в разгаре церковной службы строил за органом кому-то куры». Против такой наглости Шиллер, теперь сам защитник феодального авторитета, рекомендовал своей покровительнице поддержать авторитет своего представителя и намылить преступнику голову частным образом.

Праздничные дни наступили для Шиллера, когда г-жа Вольцоген с дочерью приехали в Бауербах. Он поднял всю деревню на ноги, украсил дорогу к дому ветвями и у самого входа воздвиг триумфальную арку из елок. А затем успел самым настоящим образом влюбиться сначала в все еще привлекательную мать, а после и в молодую дочь. Лотта, простая девушка, повидимому, даже не догадывалась об этой любви, но в беседах с матерью, которая превратилась теперь из «нежнейшего друга» в «добрейшую маму», пылкий юноша не скрывал своей страсти. Когда ему сообщили, что ожидается гость из Штутгарта, то Шиллер, подозревая, что это претендент на руку Лотты, пригрозил своим отъездом из Бауербаха на том якобы основании, что новый гость может нарушить его инкогнито. Но свои действительные опасения он выдал в следующих наивных словах: «Я не отрицаю всех его достоинств, но моим другом он не будет, не то две osoby, которые дороги мне, как жизнь, стали бы для меня безразличны». Он был против того, чтобы Лотта приняла место, которое ей предлагали при мейнингенском дворе. «Если вы откажетесь от него, я согласен писать каждый год больше одной трагедией и написать на заглавном листе: трагедия для Лотты». Если прежде надежда на бессмертное имя его увлекала так же, как любовь женщину, то теперь он к этому равнодушен. «Я отдам вам свою трагическую музу в услужение, если вы заведете хозяйство. Как ничтожно самое большое величие поэта в сравнении с мечтой о счастливой жизни!»

Если все эти детские шалости, которые мы теперь можем читать с улыбкой в письмах Шиллера, встречали снисходительный прием в материнском сердце, то тогда, повидимому, и

г-же Вольцоген, и самому поэту все более становилось ясно, что лучше пока на время расстаться. В июле 1783 года они оба пришли к этому заключению. Шиллер оставил свое маленькое имущество в Бауербахе, рассчитывая еще раз туда вернуться. Он хотел только на короткое время съездить в Маннгейм, чтобы похлопотать о своих драматических произведениях.

Он мог теперь сделать это без всякого унижения для себя. Уже в феврале Дальберг, который тем временем убедился, что герцог Вюртембергский отказался от дальнейшего преследования, написал Шиллеру в совершенно другом тоне и выразил желание завязать с ним опять сношения. Шиллер научился уже сдерживать свои пылкие чувства и ответил с достойной сдержанностью, но когда Дальберг продолжал писать в том же вежливом духе, то страсть Шиллера к театру победила все его сомнения.

Нужно было достать только денег на отъезд. Это затруднение было устранено при помощи его покровительницы, которая поручилась за него у одного ростовщика. 24 июля он уехал в Маннгейм.

#### «Фиеско»

«Республиканская трагедия» Шиллера была издана Шваном, когда поэт жил еще в Бауербахе. Ни как литературное, ни как сценическое произведение «Заговор Фиеско в Генуе» не произвел и в отдаленной степени такого глубокого впечатления, как «Разбойники», хотя он являлся непосредственным введением в политическую революцию.

Решающий пункт заключался в следующем: поэт был интимным другом Карла Моора, а к Фиеско он относился только как художник. Сравнение в сущности принадлежит самому Шиллеру, который еще из Бауербаха писал Рейнвальду: «Всякое поэтическое произведение есть не что иное, как пылкая дружба или платоническая любовь к созданию нашей головы. Точно так же, как из белого луча, поскольку он падает на различные плоскости, возникают тысячи и тысячи различных оттенков, так и в нашей душе, как мне кажется, спят все характеры в их первичных элементах и при помощи действительности и природы или искусственной иллюзии приобретают прочное или только иллюзорное и мимолетное существование. Все порождения нашей фантазии были бы в конце концов только мы сами... Поэт должен быть в меньшей степени изобразителем своего героя — он скорее должен быть его невестой, его интимным другом». Этот эстетический тезис Шиллер вывел из своего собственного

творчества, и Фиеско не столько пережит поэтом, сколько нарисован.

Эта трагедия не выросла из таких мучительных переживаний, как «Разбойники» или «Луиза Миллер». Ее историческое и, следовательно, более неподатливое содержание труднее было переработать в огне эпохи «бурных гениев». Шиллер говорит в похвалу своему герою, что он создан под сильным влиянием Руссо. Но если возражали, что было большой ошибкой переносить в Геную шестнадцатого века тенденции Шиллера или Руссо, то это еще не есть решающее возражение. Поэт вовсе не является, по известному выражению Геббеля, ангелом-воскресителем истории и имеет право использовать исторический материал в качестве проводника для проблем своего времени. Но как бы вольно поэт ни обращался с этим историческим материалом, исторические характеры, по еще более известному выражению Лессинга, должны быть для него священны. Так вот между этими двумя границами драматической поэзии автор «Фиеско» не сумел еще так уверенно и так мастерски маневрировать, как позже автор «Валленштейна» и «Вильгельма Телля».

Фиеско Шиллера не является даже цельным образом. Автор хотел «выделить из человеческого сердца холодную, бесплодную политику и именно таким путем снова связать ее с человеческим сердцем, запутать своего героя в его собственных политических замыслах». Преследуя свои политические цели и нарушая при этом без всякого стеснения свои человеческие обязанности, Фиеско втягивается в трагический конфликт и погибает. Первоначально Шиллер ставил себе целью именно этот не политический—чтобы не сказать вовсе анти-политический—оборот. Это было в духе эпохи «бурных гениев», которая видела в государственной жизни только оков для естественного человека. Но Шиллер не был бы Шиллером, не был бы той действенной натурой, о которой Шарфенштейн говорил, что больше всего ее привлекает проявление силы, если бы он удовольствовался только этим. Точно так же, как он в Карле Мооре видел задатки Катилины или Брута, так и в своей новой трагедии он противопоставляет Катилине—Фиеско, Бруту—Веррину, и в их столкновении видит трагический центр тяжести своей «республиканской трагедии». Однако ни один из этих мотивов не достигает ясного чистого действия. Фиеско переступает через труп жены, которая гибнет от его кинжала, чтобы продолжать головокружительный путь, а Веррина бросает его в воду, чтобы опять спокойно склониться под старым игом тиранов.

Этот Фиеско не пережит поэтом. Он даже не нарисован рукой, которая умеет уже смешивать в надлежащей пропорции исторические краски. Некоторые грубые эффекты и утрированный язык, который часто граничит с безвкусной высокопарностью, а иногда даже переходит эту границу—в известной степени потому, что ему нехватает того оживляющего дыхания, которое придает эстетическую форму даже самым рискованным тирадам разбойников,—все эти недостатки бросаются тем больше в глаза, что драма во многих местах, особенно в сцене с дочерью Веррины, примыкает к «Эмилии Галотти» Лессинга. В то же время «Фиеско» стоит выше этого более совершенного образца своими массовыми сценами, которые уже возвещают автора «Валленштейна» и «Телля», а в Мулей Гассане, этой «конфискованной голове мавра», Шиллер создал образ, подтвердивший своей гениальной непосредственностью репутацию немецкого Шекспира, которую поэт приобрел уже своими «Разбойниками».

И по отношению к этой драме Шиллер выказал себя опять строгим критиком. Он считает цветистый язык эксцентричным, даже смешным, длинные монологи—утомительными, и точно так же, как Амалию в «Разбойниках», признает неудачными и все женские образы «Фиеско».

### **«Коварство и любовь»**

За «республиканской» последовала «буржуазная трагедия», которая вначале называлась «Луиза Миллер» и которая после, по совету Иффланда, была переименована в «Коварство и любовь». Задуманная в дни штутгартского ареста, набросанная в своих основных чертах в тяжелые дни странничества, законченная в Бауербахе, она, в еще большей степени, чем «Разбойники» и все позднейшие драмы Шиллера, возникла из его собственного творческого стремления. Это единственная драма, для которой Шиллер не должен был искать сюжет, чтобы вложить в него свою поэтическую мощь. Содержание этой драмы выросло из его собственной жизни и страданий и захватило его целиком.

Это не значит, что она не имела никаких литературных предков: на каждом шагу мы встречаем в ней следы «Эмилии» Лессинга, иногда даже буквальные заимствования. Не всегда более молодой поэт превосходит старшего. Леди Мильфорд является только более слабой копией графини Орсины, а секретарь Вурм—более грубым изданием камергера Маринелли. Даже более мелкие представители «буржуазной драмы», которая на-

считывала уже со времени «Сары Сампсон» человеческое поколение, вроде Генриха-Леопольда Вагнера, как это показали основательные литературно-исторические исследования, внесли свою лепту в «Коварство и любовь». Более того — уже современный Шиллеру, но враждебно относившийся к нему критик не без достаточного основания писал, что образы драмы представляют собой «только нарисованные более яркими и страшными красками образы немецкого «Отца семейства», то-есть слабого подражания «Отцу семейства» Дидро, которое было написано неким Геммингеном и уже давно забыто.

Все эти литературные импульсы были освоены Шиллером, и если они дают себя еще чувствовать в драме, то только потому, что Шиллер беззаботно перешагнул чрез них. На напоминание об «Эмилии» он ответил простым заявлением: Гвасталла лежит в Германии. Шиллер поднял буржуазную драму на такую революционную высоту, которой она не достигала ни до него, ни после него — ни в «Эмилии» Лессинга, ни в «Марии Магдалине» Геббеля. Он изобразил придворный деспотизм и мещанство, тогдашние движущие силы немецкой жизни, в открытой борьбе друг с другом и вывел на сцену торговлю солдатами, которой занимались немецкие государи. Это не была национальная жизнь в крупном масштабе, но это была все же национальная жизнь, это было историческое движение, а не то удушливое, сердце гнетущее убожество, не та, как ее называет сам Геббель, «ужасающая связанность в односторонности», которая прозябает в четырех стенах мастера Антона. На шестьдесят лет старше, «Коварство и любовь» производит и теперь еще несравненно более сильное впечатление на восприимчивую и наивную публику, в которой «Мария Магдалина», несмотря на производимое ею глубокое впечатление, вызывает чувство чего-то совершенно чуждого, как образ совершенно угасшего мира. Можно сколько угодно говорить о тенденции, можно подробно перечислять все художественные преимущества, которые «Мария Магдалина» имеет в сравнении с «Коварством и любовью», и все же не подлежит никакому сомнению, что драматическое искусство должно захватывать исторический процесс, который совершается на его глазах, и что оно тем более долговечно, чем глубже захватило этот процесс.

Нигде в Германии не стояли деспотизм и мещанство так резко друг против друга, как в Вюртемберге. Герцог и его продажная придворная челядь, с одной стороны, земские чины и их зараженный цеховщиной чиновный сброд — с другой; под гнетом этой противоположности протекала жизнь поэта — мрач-

ная, смутная, тяжкая, и вот именно ее он вызывает на суд сцены. Президент фон Вальтер, гофмаршал фон Кальб, леди Мильффорд, секретарь Вурм—все они были ему хорошо известны со времени его детства. Он наблюдал их и в Людвигсбурге, и в академии, и в Штутгарте. «Фальшивки» секретаря Вурма, «большая мина», при помощи которой президент Вальтер взрывает на воздух своего предшественника,—разве все это не было ему хорошо известно из биографии его крестного отца Ригера? Разве не присутствовал его собственный отец при том, как «только по доброй воле сбывались люди чужим государям? Правда, вышли двое-трое молодцов посмелее перед фронт и спросили полковника, почем продает государь пару людей? Но милостивый наш государь пропустил пред собой на плацпараде все полки, а крикунов приказал расстрелять». И разве поэт не наблюдал сам и в «Уединении», и до самой ночи, когда он бежал из Штутгарта, как князь устраивает рай из пустыни, как он превращает источники в пышные фонтаны, струи которых вздымаются к небу, или устраивает фейерверки за счет поданных»? И разве не было обычным, всем хорошо известным следующее страшное описание: «сластолюбие великих этого мира—ненасытная гиена, в неутолимой жадности ищущая себе жертв. Страшно свирепствовало оно уже в этой стране,—разлучало жениха и невесту, разрывало священные узы брака; здесь разрушало мирное счастье семьи, там проникало тлетворной заразой в неопытное сердце, и умирающие ученицы в проклятиях и муках называли имя своего учителя... Печальное время это сменилось еще более печальным. И двор, и сераль кишели теперь итальянскими исчадиями. Ветреные парижанки играли страшным скипетром, а народ истекал кровью от их прихотей».

Когда верноподданническая критика часто повторяет, что Шиллер в «Коварстве и любви» написал карикатуру на придворный деспотизм, то это просто ложь. Грубую действительность он изобразил не грубо. Но то, что он отразил в своей драме, было когда-то ужасающей правдой.

Не более состоятелен и упрек, что Шиллер испорченности великих противопоставляет благородную добродетель малых... Городской музыкант Миллер и его жена, прекрасно воспроизведенные, но именно поэтому менее всего прикрашенные образы. Не говоря о жене, в своем роде весьма почтенной особе, но глупой и необразованной, которая не может противостоять тайному искушению соединить мещанскую плоть с дворянской кровью и своей трусливой боязнью нависающая, точно тяжелый балласт, над своим мужем как раз тогда, когда в нем начинается

просыпаться энергия. Сам этот Миллер, при всех его хороших качествах, очень мало годится в герои. «Чернильной душе», Вурму, он еще готов переломать все кости, он готов еще прописать ему на шкуре все десять заповедей и все семь прошений в «Отче наш», все книги Моисея и пророков, так что синяки не заживут до самого воскресения мертвых, но против грозящего ему гнева президента он в том же монологе знает только один выход: «Я возьму дочь и убегу с ней за границу». И когда страшный президент силой врывается к нему в дом и обзывает его дочь проституткой, то у него хватает мужества только на слабый протест: «Остановитесь, ваше превосходительство, распоряжайтесь как хотите во всей стране. Но здесь мой дом! Мое величайшее почтение,—если я обращаюсь когда-нибудь с прошением, но непростенного гостя я выброшу за порог!»

Он обожает свою дочь и глубоко захватывающими словами удерживает ее от самоубийства, но готов забыть о разрушенном счастье ее любви за кошелек с золотом, который бросает ему дворянин любовник. Согласно преданию, Шиллер списал этот образ с одного штутгартского оригинала. Во всяком случае, на этом образе можно изучать сущность того мещанства, которое имело еще—или уже—известное самосознание, которое не хотело уже служить простой игрушкой княжеской или дворянской распущенности и начало уже испытывать нечто вроде частного пролетарского гнева, но—увы!—очень далекого от той спасительной политики, которая знает только лозунг: удар в лицо и колено на грудь!

Обе группы связывает в драме любящая пара: сын президента и дочь скрипача. Фердинанд—создание поэтической фантазии; в нем отразились личные переживания Шиллера, который к тому времени, когда он создавал этот образ, уже испытал радости любви и муки ревности. В первый раз ему в лице дочери музыканта удалось создать женский образ, и он с полным основанием окрестил ее именем свою драму. Она—трагическая героиня, она погибает, как жертва конфликта между обязанностями, которые она имеет по отношению к своему отцу, с одной стороны, и к своему возлюбленному—с другой! Она сама называет себя «героиней», которая «возвращает отцу отшатнувшегося сына и отказывается от союза, который покачнул бы основы мещанского мира и разрушил бы окончательно всеобщий вечный порядок». Это та же черта слабости, которая в другой форме характеризует также Эмилию Лессинга и Клару Гебеля, и хотя эстетически встретила много возражений, все

же глубоко коренится в социальных условиях, в которых вообще только могла развиться на немецкой почве буржуазная драма.

В своей композиции «Коварство и любовь» местами похожа на «Разбойников», особенно захватывающим возрастанием действия, которое находит свою вершину в могучей массовой сцене в конце второго акта. Что касается интриги, то поэт и в «Коварстве и любви» слишком мало разработал ее. Она далеко не так «дьявольски тонка», как ее расхваливает президент. Это тем более понятно, что секретарь Вурм носит на своих плечах не голову Франца Моора. В обеих драмах действие замедляется как раз посредине в отличие от быстрого и могучего темпа начала. Разница только в том, что в «Коварстве и любви» самая опасная мель показывается в конце четвертого акта, когда в «Разбойниках» она уже давным-давно оставлена позади.

Вину за это несет изменение плана, произведенное уже в процессе работы и сильно испортившее один из главных образов драмы—леди Мильфорд. Ее оригиналом служила графиня Гогенгейм. Первоначально, как это видно из случайно сохранившихся страниц первой рукописи и некоторых не уничтоженных следов диалога, она была отнесена к группе придворной сволочи. После, однако, Шиллер изобразил ее в лучшем свете, возможно—под сознательным или бессознательным влиянием г-жи Вольцоген, которая была знакома с Гогенгейм и при мстительности, проявленной этой особой в случае с Шубартом, могла бояться за судьбу своих сыновей. Как раз те факты, которые ставит себе в заслугу леди Мильфорд,—что она встала между тигром и его жертвой, что она пожертвовала своей честью, чтобы спасти женщин своей страны от сластолюбия государя, что она выгнала чужеземных блудниц,—приводились всегда друзьями Гогенгейм в ее защиту и внесены поэтом только в более поздней редакции. Так ли это или нет, но чем выше поэт поднимал метрессу морально, тем ниже придавил он ее эстетически: он превратил ее в совершенно излишнюю фигуру для драматического действия. Это особенно отчетливо выявляется в большой сцене между Луизой и леди Мильфорд в конце четвертого акта.

Над пятым актом, как и в «Разбойниках», веют все ужасы страшного суда. Новое подтверждение того, как сильно было еще влияние на Шиллера библейских представлений. Слабая развязка, надежда на земную справедливость, не так тесно связана с трагическим действием, как в первой драме Шиллера.



27 июля 1783 года Шиллер снова очутился в Маннгейме. Его опять встретила неудача. «Дальберг уехал, большинство актеров в отпуску, многие знакомые семьи выехали в деревню, невыносимая жара отравляла мне всю жизнь»,—писал он в Бауэрбах. С приятелями, которых он нашел, он не завязал близких сношений. Он дал «им ясно понять», что он приехал только для собственного удовольствия.

Дальберг вернулся 10 августа и взял на себя инициативу в переговорах с Шиллером. Последний, однако, не забыл старых злоключений. «Этот человек—весь огонь,—писал он,—к сожалению, только пороховой, быстро вспыхивающий и так же быстро потухающий». Однако предложение Дальберга казалось ему вполне достаточным, чтобы выпутаться из долгов. Он поэтому принял его и не без внутреннего удовлетворения. Он был приглашен с 1 сентября на год театральным поэтом с твердым окладом в триста гульденов; кроме того, ему был обещан один сбор с любого представления каждой из трех пьес, которые он должен был доставить в течение этого срока. Таким образом, как ему казалось, перед ним открывалась «несомненная перспектива» ежегодного дохода в тысячу двести—тысячу четыреста гульденов, из которого треть должна была пойти на уплату долгов.

Но ему не повезло с первых же дней его деятельности. В городе вспыхнула эпидемия желчной лихораки и свирепствовала так жестоко, что охватила шесть тысяч человек из населения в двадцать тысяч. Среди них был также и Шиллер, которого «скверная рейнская и болотная атмосфера страны» терзала до самой зимы. Первое представление «Фигаро», состоявшееся 11 января 1784 года, не имело решающего успеха. Правда, поэту пришлось согласиться на жестокое искажение драмы. Фигаро, как говорит Шиллер в «Напоминании», написанном для театральной афиши, «отбрасывает от себя с божественным самоотрипанием, соблазнительный, блестящий плод своей работы—корону Генуи и находит свое счастье в том, чтобы быть счастливейшим гражданином, как вождь своего народа». Только некоторые сцены произвели сильное впечатление. Шиллер писал Рейнвальду: «Публика не поняла «Фигаро». Республиканская свобода является в этой стране бесплотным призраком, пустым именем—в жилах пфальцских обывателей не течет римская кровь. Зато в Берлине драма выдержала в течение трех недель четырнадцать представлений». Правда, число берлинских пред-

ставлений не было так велико, но «Фиеско» имел там большой успех, чем в Маннгейме. Этому способствовало и то, что даже Плюмике сохранил трагическую развязку драмы и позволил себе только одно исправление. Понимая главный недостаток драмы, Плюмике заставляет Фиеско, из отчаяния по поводу смерти жены, покончить с собою как раз тогда, когда Веррина собирается его убить. Скоро после этого «Фиеско» был поставлен в венском «Бургтеатре», где его «приспособил» для представления император Иосиф II, что, конечно, для «республиканской трагедии» служило сомнительной рекомендацией. Надо заметить, что как «Разбойники», так и «Коварство и любовь» были в Вене запрещены еще в течение многих лет.

Но маленькая неудача с «Фиеско» была для Шиллера сторидей окуплена блестящим успехом, которым сопровождалось первое представление «Коварства и любви» 15 апреля 1784 года. На этот раз он мог Рейнвальду писать: «Драма была поставлена со всем искусством, на которое только были способны актеры, и произвела глубокое впечатление на зрителей, бурно аплодировавших». Драма совершила такое же триумфальное шествие по Германии, как и «Разбойники», но встретила и сильную оппозицию, особенно в Берлине, где Карл-Филипп Мориц, известный художественный критик, подверг драму в «Фоссовой газете» жесточайшей критике и в заключение заявил, что смывает с своих рук всю эту шиллеровскую грязь и никогда больше не будет заниматься ею.

Но эта критика не испугала Шиллера, и уже год спустя он завязал с Морицем дружеские отношения. К сожалению, он не мог удержаться на той высоте, которой достиг первым представлением «Коварства и любви» в Маннгейме. Дела, наоборот, пошли все хуже и хуже. Только с большим трудом мог он привыкнуть к той мелкой, ремесленной работе, которая входила в его обязанности. Он дал лишь одну рецензию в двенадцать строк, и когда ему заказан был Пролог ко дню именин курфюрстши, он написал его, как во время оно надгробные стихотворения в Штутгарте, «по своему проклятому обыкновению сатирически и резко», так что работа его оказалась непригодной, и «все жалкое торжество» было испорчено. Предложенную им, по образцу «Гамбургской драматургии» Лессинга, драматургию Маннгеймского театра Дальберг отклонил. Она должна была быть напечатана в ежегоднике немецкого общества. Членом последнего Шиллер сделался после санкции курфюрста, и одно время даже увлекся местным пфальцским патриотизмом. Но и этот план рухнул. Немецкое общество не

напечатало даже речи, которую Шиллер произнес при своем вступлении 26 июля. Речь эта была посвящена вопросу «Какое влияние может иметь хороший постоянный театр?» Как это видно из названия, которое дал ей позже Шиллер, она рассматривала «Театр как нравственное учреждение», согласно тенденции, которая была так свойственна буржуазному просвещению, что даже такие тонкие художественные критики, как Дидро и Лессинг, только недавно освободились от нее. Но Шиллер резко подчеркнул эту тенденцию, правда, не без практических целей: ему хотелось сломить запрещение, которое на «свободное искусство» наложили «факультеты». Но если Дальберг отклонил драматургию, которую хотел написать Шиллер, то последний в свою очередь не представил третьей пьесы, которую, согласно контракту, он должен был доставить в течение года.

Но вряд ли только эта неаккуратность явилась главной причиной охлаждения к нему Дальберга. Этот бесхарактерный человек изменил свое отношение к Шиллеру скорее благодаря шумному успеху «Коварства и любви». Драма «бури и натиска» производила большую сенсацию. И в качестве дилетанта, и в качестве придворного Дальберг был весьма неприятно поражен, когда первый авторитет того времени, великий артист Шредер, писал ему в Маннгейм из Вены: «Император не хочет больше видеть у себя драмы «бури и натиска», и с полным основанием... Я ненавижу Шиллера, влившего новую жизнь в моду, которая уже начала проходить». А тут еще Иффланд открыл у себя так называемый поэтический талант и пунктуальной доставкой высоконравственного сценического товара, свободного от всякой революционной контрабанды, осуществил тот идеал театрального поэта, который предносился духовному взору Дальберга. Иффланд, который прежде и даже в более поздние годы способствовал успеху драм Шиллера, унизился в это время до отвратительных интриг. Он отсоветовал Дальбергу ставить вещи Шиллера и даже позволил себе в одной пьесе карикатуру на Шиллера, лицемерно оправдываясь тем, что «старательно избегал всякого сходства» с поэтом и что только публика упорно хотела видеть в изображенном им персонаже карикатуру на поэта.

Как старый дипломат, Дальберг не хотел грубо порвать с Шиллером. Чрез посредство театрального врача он запросил, не желает ли поэт вернуться к медицине. Наивный Шиллер принял всерьез это предложение, горячо благодарил за него и только попросил, чтобы ему были предоставлены необходимые средства для продолжения медицинского образования в тече-

ние года. Тем сильнее было разочарование, когда он внезапно остался без средств к жизни.

Осенью 1784 года ему пришлось еще хуже, чем два года назад, когда он бежал из Штутгарта. Доход в тысячу двести—тысячу четыреста гульденов, на который он рассчитывал, достиг едва половины этой суммы. Этих денег хватило только на уплату неотложных долгов. Он был большой мастер не только по части «составления планов», которые должен был защищать от недоверия Дальберга, но также и по части составления бюджета. Правда, он обладал в достаточной степени житейской мудростью, даже в большей степени, чем это можно было ждать от идеально настроенного поэта. Но он не отличался особой практичностью; восьмилетнее пребывание в закрытой школе давало себя всегда чувствовать. Свое жалование он тратил на хозяйство, которое не обеспечивало ему необходимого уюта. Комната театрального поэта была не менее запущена, чем лачуга полкового лекаря. Он сам признавался: «Мне гораздо легче состряпать целый разговор и политическую кампанию, чем вести свое хозяйство. Я падаю с моих идеальных высот, как только разорванный чулок напоминает мне о действительном мире».

Он втянулся, таким образом, в новые долги именно тогда, когда слава «театрального поэта» достигла до Штутгарта и взбодорила его старых кредиторов. У него были неприятные объяснения с отцом. Последний должен был оказать помощь, но не мог этого сделать, ибо и сам не сидел на золотых мешках и не мог забыть о своих дочерях из-за сына, «который так много ему обещал и не сдержал еще ни одного обещания». Не менее, если не более, неправильно было и то, что его кредитор в Мейнингене докучал г-же Вольцоген, которая за него поручилась. Его затруднительное положение дошло до крайности, но в конце концов при помощи своих хозяев, почтенного каменщика и его жены, Шиллер расплатился опять с наиболее неотложными долгами. Когда эти добрые люди после сами обеднели, ставшему между тем знаменитым поэту удалось отплатить им за услугу.

Вообще долгов у нашего рыцаря было не меньше, чем врагов. Деятельное участие в его мангеймской жизни принимали также женщины. Когда он туда приехал, в его сердце еще жила Лотта. В первом письме он просит мать передать ей свой поцелуй, «если это дозволено», но в той «сутолоке развлечений», в которой он жил, Бауэрбах скоро исчез в тени прошлого, и торжественные клятвы, что он скоро вернется, скоро начали угнетать его совесть. Но добрая г-жа Вольцоген скоро освободи-

дила его от этой тяжести. «Не беспокойтесь по этому поводу из-за меня. Ваши обещания жить у меня выполнить в ваши годы нет никакой возможности. Я к ним относилась без особого доверия. Но мечты мне часто также доставляют удовольствие, и я слушала охотно вашу болтовню». И она разрешила ему продолжать свою болтовню, не отвергая, но и не сердясь, когда он 7 июня 1784 года снова в полусерьезной форме просил руки Лотты, в том же самом письме, в котором сообщал ей о «великолепнейшем сюрпризе» — о пакетах из Лейпцига и четырех письмах неизвестных ему лиц, выражавших ему свой восторг и восхищение его произведениями.

Он еще раньше писал своему другу, что часто бывает у Дальберга и Швана, у которых собирается избранное общество. Кроме них он мало кого посещает, с актерами поддерживает вежливые и оживленные отношения, но держится с ними осторожно. У него лично бывают многие ученые и художники, но он ограничивается только простым знакомством с ними. «О женщинах я могу сказать то же самое: они играют тут незначительную роль, и молодая Шван — почти единственное исключение, если не считать еще одной актрисы, которая действительно прекрасная женщина. С ней и некоторыми другими я провожу иногда с удовольствием время, ибо охотно признаюсь, что прекрасный пол мне вовсе не противен». В этих словах заметна известная скромность, вполне понятная в обращении к матери Лотты. В одном позднем письме Шиллер как-то говорит, что картина театрального хозяйства и любви ему знакома лучше, чем бы он мог этого желать, а своей будущей жене он пишет при другом случае, что в Маннгейме он бродил, как бедный дурак, с несчастной страстью в груди.

Эту «несчастную страсть» он питал не к «прекрасной женщине», которую называет среди актрис. Он имел в виду Каролину Бек, жену своего близкого приятеля Бека, в доме которого был частым гостем. С ее именем связывается известный анекдот. Это она однажды задала Шиллеру вопрос: не истощается ли у него запас идей, когда он занимается всю ночь напролет поэтическим творчеством? На своем швабском диалекте поэт шуточно ответил: «Тут ничего не поделаешь. Но когда у меня истощаются идеи, я рисую лошадей». Каролина Бек умерла еще во время его пребывания в Маннгейме. Шиллер ухаживал также за одной красивой артисткой, не встречая никакой взаимности, но эти и другие увлечения отступают на задний план пред увлечением Маргаритой Шван и Шарлоттой Кальб.

Слегкой руки первого биографа Шиллера в литературе о нем повторяется стереотипная фраза: «Любовь для него всегда была

чем-то серьезным — божеством. Это был не легкомысленный мальчик, играющий с любовью, а юноша, обручившийся с Психеей». В этих словах, однако, верно только, что Шиллер не был развратником и ловеласом, но любовь никогда не была для него божеством. Он никогда не знал, что такое «пыл страсти» и что значит быть «смертельно влюбленным». Он скорее мечтал о «мариаже» в духе своего практического отца, и в своих письмах обсуждает этот деликатный вопрос с такой арифметической трезвенностью, что иногда жутко становится за нежного певца женщин. В его жизни мы не встречаем и следов глубокой любовной страсти. Идеалом для него являлось простое, преданное и—говоря резко, но совершенно точно—духовно ничтожное существо, которое покорно и охотно подчиняется нашим капризам и не знает большего счастья, как быть рабой любимого мужа.

На этот идеал не были похожи ни Маргарита Шван, ни Шарлотта Кальб. Маргарита была блестящая, веселая красавица, которая, несмотря на свои двадцать лет, вела большое хозяйство своего рано овдовевшего отца. Шарлотта, значительно старше ее, была меланхолическим созданием, большие умные глаза которого, по выражению Гердера, видели всегда действительность только в туманных образах. Рано осиротевшая, она провела в одиночестве безрадостную юность. Она часто повторяла: «Я уж ребенком выплакала свои слезы». Она была урожденная Остгейм. Ее девическое имя увековечено Шиллером в «Коварстве и любви», в той самой Фредерике Остгейм, которую президент, с целью испытать сердце своего сына, предлагает ему, как «беспорочнейшую невесту в стране». Шарлотта была жертвой брака не по любви. Муж ее состоял на французской службе и должен был оставаться в крепости Ландау, а она жила в Маннгейме не потому, что разошлась с ним, а по той причине, что французский обычай запрещает офицерским женам пребывание в гарнизонах, где служат их мужья. Кальбы и Остгеймы принадлежали к тюрингенскому дворянству. Новая приятельница Шиллера принадлежала к кругу знакомых г-жи Вольцоген. Когда она с мужем приехала в Маннгейм, Рейнвальд рекомендовал ее Шиллеру, как «большую поклонницу» его произведений.

Обе женщины, с которыми Шиллер поддерживал в Маннгейме дружеские отношения, заботились о том, чтобы немного «обте-сать» Шиллера, который и в Маннгейме еще отличался, как это указывают современники, большой небрежностью в своем туалете. Шарлотта дала ему рекомендательное письмо к своей подруге, придворной даме в Дармштадте, и Шиллер на рож-

дество 1784 года имел возможность прочесть там, у наследного принца, первый акт «Дон Карлоса». Среди слушателей находился женатый на дармштадтской принцессе герцог Карл-Август Веймарский. В знак своего благоволения он пожаловал Шиллеру звание веймарского советника. Новый «характер» доставил большую радость не только отцу поэта. Сам Шиллер был очень доволен, так как звание советника укрепляло его общественное положение. Дальберг сейчас же почувствовал это, когда Шиллер в энергичном письме разделал его за неудачное представление «Коварства и любви».

Правда, звание советника не давало никаких средств к жизни. Шиллер поэтому попытался создать прочную базу для своего материального благосостояния при помощи нового журнала, который он окрестил «Рейнской Талией». Он датировал свой проспект тем днем, когда ему исполнилось двадцать пять лет. Это было, так сказать, провозглашение его духовного совершеннолетия. Оно начиналось словами: «Я пишу, как гражданин мира, который не служит ни одному государю». Он бросает ретроспективный взгляд на свою молодую жизнь и дает резкую критику своих школьных годов, хотя и старается при этом щадить герцога Вюртембергского, в зависимости от которого находился его отец. «Мой пример не вырвет ни одного листа из лаврового венка этого государя, имя которого принадлежит вечности. Его школа создала счастье многих сотен, хотя она и испортила счастье мне лично». Шиллер заявлял, что он порывает все старые связи. «Публика составляет для меня теперь все, она — мой главный предмет, мой суверен, мой доверенный. Я принадлежу теперь только ей. Я буду являться только пред этим трибуналом. Я боюсь и уважаю только ее. Меня охватывает чувство величия при мысли, что я не знаю теперь никаких других оков, кроме приговора мира, что мне приходится отныне апеллировать ни к какому другому трону, кроме человеческого сердца». Он желает иметь только таких подписчиков, которые питают к нему личную симпатию. «Пусть потомство забудет о писателе, который стоит не больше, чем его произведения, и я охотно признаю, что при издании этой «Талии» моим главным намерением являлось установление дружеской связи между публикой и мною». Это конечно, чересчур горячо сказано, хотя и не совсем искренно, так как, несмотря на свой идеальный уклон, Шиллер всегда умел очень недурно обставлять свои литературные предприятия необходимой рекламой.

Довольно трезво высказывается поэт две недели спустя в благодарственном письме к лейпцигским почитателям, которые

летом порадовали его своим неожиданным посланием: «Вас может удивить то обстоятельство, что я хочу играть в мире *эту* роль, но, быть может, само дело примирит вас с этим представлением. К тому же немецкая публика вынуждает своих писателей избирать свой путь не согласно стремлениям своего гения, а согласно спекуляциям рынка. Я отдам все свои силы этой «Талии», но я не отрицаю, что использовал бы их в другой сфере (если бы мое положение позволило мне не принимать во внимание коммерческие соображения)». Повелительная нужда породила «Талию», но ей не суждено было преодолеть эту нужду. Несмотря на прежний горький опыт, Шиллер опять собрался издавать ее за собственный страх и риск, но скоро должен был признать, что совершенно не создан для «в высшей степени обременительной коммерции» и вообще так же мало годится в купцы, как и в капудины.

План нового предприятия был задуман очень широко. «Талия», как подробно перечислял проспект, должна была давать: картины замечательных людей и деяний, философию для практической жизни, картины природы и искусства в Пфальце, отчеты о немецком театре, стихотворения и рапсодии, отрывки из драматических произведений, характеристики выдающихся людей и сочинений, воспоминания самого Шиллера, корреспонденции, рецензии, смесь. Не было, однако, сделано никакой подготовительной работы, и когда в марте 1785 года вышел первый выпуск, он содержал только произведения самого издателя. Наиболее значительным из них был первый акт «Дон Карлоса», который был посвящен герцогу Веймарскому в том же самом высокопарном тоне, в котором Шиллер только что заявил, что хочет писать, как гражданин мира, не признающий никаких господ. «С безграничным почтением» — уверял герцога «верноподданнически покорный» поэт: «Как дорога мне эта минута, когда я могу громко и открыто заявить, что Карл-Август, благороднейший из государей Германии и горячий друг муз, будет теперь и моим повелителем, что он позволил мне принадлежать ему, что я могу теперь того, кого я уже давно уважал, как благороднейшего человека, любить, как *своего* государя». Повторяем, такие вещи нельзя особенно ставить в счет буржуазным просветителям. Кроме того, первый выпуск «Талии» содержал еще речь о театре, которую отверг ежегодник немецкого общества, перевод одной вещи Дидро и фельетон о маннгеймском кабинете древностей, где впервые выступает живой интерес Шиллера к античному миру. К этому присоединялась хроника маннгеймского национального театра, беглый обзор, имевший только то сходство



с драматургией Лессинга, что перессорил Шиллера с «невероятно впечатлительным классом людей» — с актерами.

Но Шиллер уже принял твердое решение расстаться с Маннгеймом. Натолкнул его на это решение «дружеский сюрприз», полученный из Лейпцига. Он был прислан двумя молодыми обрученными парами: это были Дора и Минна Шток, дочери одного гравера, в доме которого Гете часто бывал в эпоху своего пребывания в Лейпциге, сын советника консистории, Христиан-Готтфрид Кернер, который был обручен с Минной, и начинающий писатель, Людвиг Губер, обрученный с Дорой. Минна послала Шиллеру украшенный дорогой вышивкой портфель, Дора, не лишенная таланта художница, — силуэты всех четырех друзей, а Кернер — музыкальную композицию к песне Амалии в «Разбойниках». В кратком сопроводительном письме Кернер, от имени всех четырех, приветствовал «великого человека», который в эпоху, когда искусство все более и более опускается до уровня продажной рабыни богатых и могущественных распутников, показал, на что еще способен теперь человек. «Когда мне удастся, хотя и в другой области, чем ваша, доказать, что и я принадлежу к соли земли, я сообщу вам свое имя. А пока это совершенно бесполезно».

При помощи Швана, который получил эту посылку на адрес своего книжного магазина, Шиллер очень скоро узнал фамилии своих поклонников, но поблагодарил их только 7 декабря. «Мрачное настроение» и «злосчастные события, воспоминание о которых и теперь еще мучают его», объясняют это запоздание. Но когда Шиллер прибавил, что надеялся, по дороге в Берлин, лично познакомиться со своими корреспондентами, то это было скорее вынужденная отговорка, чем твердое намерение. Возможно, однако, что он завернет в Лейпциг к пасхальной ярмарке. Только дружеский ответ Кернера от 11 января 1785 года побудил Шиллера серьезно подумать о переселении в Лейпциг. «Мы хорошо знаем вас, чтобы после вашего письма предложить вам нашу дружбу, — писал Кернер, — но вы знаете нас слишком мало. Приезжайте поэтому сюда поскорее. Тогда можно будет поговорить о многом, о чем пока еще нельзя писать». Шиллер ответил на это приглашение «колоссальным письмом». Геббель сказал о нем, что оно свидетельствует о пустой взвинченности эпохи, которая хотела стать поэтической, изобретая для тривиальных мыслей неслыханные выражения, но что в то же время в письме, как раз тогда, когда оно начинает вызывать к его автору сильную антипатию, как молния, просвечивает великая индивидуальность Шиллера.

Однако этот приговор относится больше к первой части письма, которое датировано 10-м, чем ко второй, которая написана 22 февраля. В первой части Шиллер принимает приглашение в Лейпциг сначала в очень восторженных, но затем в более спокойных выражениях. Зато вторая часть начинается иначе: «Мне помешало неожиданное посещение. За эти двенадцать дней со мной и во мне произошла революция, которая придает настоящему письму больше значения, чем я мог думать,—она составляет эпоху в моей жизни. Я не могу больше оставаться в Маннгейме. Я пишу вам, мои друзья, в очень тяжелом душевном состоянии. Больше оставаться здесь я не могу. Двенадцать дней я вынашивал эту мысль в своем сердце, как и решение совсем покинуть этот мир. Люди, условия, земной шар и родина—все мне опротивело. Я не имею тут ни души, никого, кто заполнил бы пустоту моего сердца, ни одной подруги, ни одного друга. А от того, что, *быть может*, было бы для меня дорого, меня отделяют условности и другие препятствия... Я должен вам прямо сказать, что я в Маннгейме уже открыто заявил как о моем непреклонном решении, что уезжаю чрез три-четыре недели и направляюсь в Лейпциг. Там должно для меня храниться нечто великое, нечто невыразимо приятное, ибо мысль об отъезде превращает для меня Маннгейм в темницу, и здешний горизонт давит на меня и тяготит меня, как сознание совершенного убийства». Этот язык не только простая аффектация. В середине февраля произошло событие, которое глубоко потрясло Шиллера.

В нашем распоряжении нет никаких достоверных документов об этом эпизоде. Но письмо Шиллера, мистически-темные воспоминания, которые Шарлотта Кальб продиктовала уже в очень преклонном возрасте, два стихотворения Шиллера, относящиеся к этому времени—«Свободомыслие страсти» и «Резиньяция»,—делают вероятным, что в то время между ним и Шарлоттой дело дошло до катастрофы. Возможно, что его намерение уехать из Маннгейма пробудило дремавшую в ней страсть. Но в то же время кажется, что в ответ на его вспыхнувшую бурным огнем любовь, она предложила ему «резиньяцию». Она имела мужество брать, но не имела мужества давать. Как письмо к Кернеру, так и «Свободомыслие страсти» указывают на действительное переживание.

Я понял: моему пришел конец алканью,  
И близок счастья час;  
Мне говорило это уст твоих пыланье  
И томный блеск твоих лучистых глаз.

Но уstraшенный близостью блаженства,  
Мой дух лишился сил;  
Я посягнуть не смел на образ совершенства,  
И—горе мне!—я счастье упустил.

Горькое воспоминание окрашивает также строфы позже возникшей «Резиньяции», которые говорят о надежде и наслаждении.

Цветов обоим вместе к сожаленью  
Нам боги не дают.  
Коль веры нет, отдайся наслажденью,  
Коль есть она, будь верен отреченью!  
История людей есть страшный суд.

Ты жил *надеждой*, в ней твоя награда;  
Ты *верою* своею был богат.  
А мудрецов и спрашивать не надо:  
Упущенный тобою миг отрады  
Вся вечность не вернет назад.

Это, в сущности, единственные любовные стихотворения, которые созданы были Шиллером, так как его оды к Лауре вообще не идут в счет. То, что он позже написал в альбом своей жене или другой возлюбленной, не выходит за пределы дружеской склонности. Для лирики Шиллера характерно, что эти любовные стихотворения теперь представляют интерес только своим философским содержанием. О них не без основания говорят, что поэт в них высказывается уже как кантианец, хотя он тогда не имел никакого понятия о Канте. В обоих стихотворениях все пожирающая чувственность ведет борьбу с идеей долга; в «Свободомыслии страсти» чувственный мир восстает против жестокой суровости нравственного закона, а в «Резиньяции» побеждает нравственный мир, хотя и таким способом, что отказ от награды за добродетель в потустороннем мире звучит почти как насмешка над теми, кто именно в силу этой надежды на такую награду отказывается от чувственных наслаждений.

Но какие бы формы ни носила катастрофа, обрушившаяся на Шиллера и Шарлотту Кальб, она произвела на него более оглушающее, чем потрясающее впечатление. Если бы его действительно привязывала к ней глубокая страсть, то он не мог бы уже чрез несколько месяцев после того, как переехал в Лейпциг, просить в письме у Швана руки его дочери Маргариты. Уравновешенный делец, под вежливым предлогом, отклонил это предложение и для большей верности не сообщил даже его дочери. Еще более характерно, что Шиллер уже в своем «колоссальном письме» к Кернеру все больше успокаивается по мере того, как пишет, и кончает свое письмо сухим замечанием:

«О других предметах я завтра напишу Губеру». И в этом письме к Губеру «дела» обсуждаются в той манере, которая так характерна для молодого Шиллера и не имеет в себе ничего трагического.

Помимо горячего желания познакомиться лично с своими новыми друзьями Шиллера влечет в Лейпциг отчасти желание урегулировать свои отношения с герцогом Веймарским, отчасти желание пристроить свои труды и в особенности найти издателя для «Талии». Кроме всего прочего он хочет еще, «главным образом при помощи доброго герцога», стать формально доктором. Но хотя он может устроить это дело очень быстро, он должен все же для этого поехать в Веймар и предварительно освободиться от Маннгейма. Поэтому было бы хорошо, если бы Губер устроил ему у книоторговцев или у «других евреев» аванс в триста талеров. Верности ради Шиллер тут же присовокупляет план погашения этого займа, — план, страдавший одним только недостатком, а именно: он исходил из предположения, что «Талия», которая еще не начала выходить, будет давать ему ежегодный чистый доход восемьсот—девятьсот имперских талеров.

К счастью Шиллера, он на этот раз обратился по верному адресу. Кернер вложил часть своего состояния в дело лейпцигского книгопродавца Гешена. Он поручил выплатить Шиллеру испрошенный аванс из своего вклада и уговорил Гешена взять на себя издание «Талии». Такое корректное разрешение денежных затруднений заставило даже отца Шиллера уверовать в будущее своего Фрица. Он выразил величайшее удовлетворение по поводу первого выпуска «Талии» и прибавил к этому: «Я не удивляюсь, что книгопродавец в Лейпциге платит тебе такой высокий гонорар. Эти бурши имеют при себе людей, которые хорошо разбираются в таких делах».

В начале апреля Шиллер уехал в Лейпциг. Последний вечер он провел с Штрейхером, который во всех трудных случаях его жизни, как всегда, оставался ему верен. Карьера театрального поэта была богата всякими злоключениями, и Шиллер строил новые планы на будущее: он хотел изучить юриспруденцию и сделать более блестящую карьеру при одном из маленьких саксонских дворов. Друзья расстались, обещая написать друг другу, как только один станет министром, а другой — капельмейстером. Им не пришлось уже больше свидеться друг с другом.

### Лейпциг и Дрезден

Не мало разочарований пережил молодой Шиллер в своей жизни, но прием, который он встретил у своих друзей в Лейп-

циге, должен был его вознаградить за многое. Таких мирных и счастливых дней, какие он прожил в Лейпциге и Голисе, а затем, начиная с осени 1785 года, в Дрездене и Лошвице, он еще никогда не знал.

Тогдашнее настроение поэта отражается в песне «К радости», которая возникла как своего рода союзная песнь кружка «священной пятерки». Позже Шиллер очень резко отзывался с эстетической точки зрения об этом стихотворении и даже исключил его из собрания своих стихотворений. Он думал, это стихотворение достигло чести стать даже до известной степени народной песнью только потому, что оно угождало ошибочному вкусу времени. Но хотя этот вкус времени становился все более старомодным, захватывающий пафос стихотворения продолжал победоносно увлекать и дальше каждое новое поколение. А над жизнью Шиллера засветились более дружественные звезды с тех пор, как он, упоенный дружбою, мог воскликнуть:

Тот, кому досталось счастье:  
С другом дружбу разделить...

Шиллеру всегда была свойственна та притягательная сила, которую в нем позже отмечал также и Гете. У него всегда были друзья, которые не изменяли ему. Но такого друга, как Кернер, он до сих пор не находил. Этот сын немецкого профессора, старше Шиллера на три года, стоял выше и его товарищей по школе, и актеров в Маннгейме. В сравнении с Шиллером Кернер был вполне установившийся человек. Он получил основательное и прочное образование, был хорошо знаком с рядом научных дисциплин и в результате продолжительных путешествий был хорошо знаком с различными странами.

В юриспруденции Кернер видел только «хлебную науку» и «суррогат деятельности». Ему внушала отвращение «пестрая ткань произвольных положений, которые, несмотря на всю их бессмыслицу, приходилось запечатлевать в памяти». Глубже всего он интересовался изучением философии и считался одним из первых последователей Канта. Его занимали также эстетические вопросы. Уже во втором письме к Шиллеру он с поразительной проницательностью пишет: «Все, что история произвела по части характеров и ситуаций и что еще не исчерпано Шекспиром, все это ждет вашей кисти. Это вполне верный заказ». Кернер не был творческой натурой и, вне своих профессиональных знаний, весьма тяжелый на подъем человек. Когда в смутном сознании своего недостатка он уже в одном из первых писем жаловался Шиллеру, что лично мало способен к творческой

работе, которая одна только доставляет счастье, его друг ответил ему тоже в очень удачных выражениях: «Благодарите небо за лучший дар, который оно вам подарило, за этот счастливый талант к воодушевлению».

Из этого таланта Шиллер извлек богатую прибыль и тогда, и позже. Когда через двенадцать лет после их первого знакомства он писал Кернеру, что их взаимные отношения своей внутренней правдой, чистотой и постоянством стали частью их существования, то это вполне соответствовало истине. Всегда, в последующие годы, когда Шиллер начинал сомневаться в своем поэтическом призвании, Кернер опять с непоколебимой уверенностью возвращал его на старый путь, и нередко практический делец защищал права гения против трезвых и прозаических возражений поэта. Не очень богатый, но состоятельный человек, Кернер умел устранять с жизненного пути Шиллера различные камни преткновения и делал это всегда с несравненным тактом. В бедной, но симпатичной и привлекательной Минне Шток нашел он избранныцу своего сердца и, после трехлетней тяжелой борьбы, мог наконец вступить с ней в брак.

Унаследовавшая талант отца, Дора Шток была более талантлива, чем ее младшая сестра, но менее симпатична и привлекательна. Людвиг Губер, ее жених, моложе ее на пять лет, тоже не мог сравниться с Кернером. Когда после долгих лет жениховства он разошелся с Дорой, Шиллер выругал его «резонирующим размазней и благодушным эгоистом», быть может, слишком резко, потому что и Дора отличалась тяжелым характером. Она осталась старой девой. Много лет спустя Генрих фон Клейст дал в лице отталкивающей Кунигунды в «Кэтхен из Гейльбронна» скорее карикатуру, чем портрет женщины, которую Гете и Шиллер называли своим другом.

Когда Шиллер приехал в Лейпциг, он нашел там только сестер Шток и Губера. Кернер был прикован своими профессиональными обязанностями к Дрездену. Шиллер скоро поселился с своими новыми друзьями в окрестностях Лейпцига, в Голисе. Он жил там в одной комнате с своим издателем Гешеном, который еще в день смерти с радостью вспоминал об этом великодушном времени. «Его мягкое обращение и ровное настроение в кругу товарищей, находившиеся в таком резком контрасте с произведениями его гения, всегда являлись для меня большой загадкой. Трудно сказать, как был он благодарен и внимателен ко всякой критике, как прилежно работал он над своим нравственным усовершенствованием». Образец этой незлобивости Шиллер показал в своем отношении к Морицу, ко-

торый так жестоко раскритиковал его в «Фоссовой газете». Когда Мориц приехал в Голис, Шиллер принял его самым дружеским образом и даже читал ему сцены из «Дон Карлоса».

Когда Кернер в августе увез с собой в Дрезден свою Минну и за ними последовала Дора, то Шиллер не долго выдержал в уединенном Голисе и уже в сентябре переехал в Дрезден к друзьям. Здесь для него началась еще более счастливая жизнь. О ней свидетельствуют не только «Песнь радости», но и другие его шуточные стихотворения. В городе Шиллер жил на Угольной площади в Нейштадте, где он, вместе с Губером, занимали квартиру против дома Кернера, а в окрестностях города — на даче, которую Кернер купил в Лошвице. Ни один из членов «священной пятерки» не забыл этих дней, и когда Губер, единственный отщепенец, умер, Шиллер, сам уже стоявший у конца дней своих, нашел для него мягкий приговор: «Хотя мы и расстались с ним, он все же жил для нас и связан был с такой прекрасной эпохой нашей жизни, что не может быть для нас чужим человеком».

Наверное об этой жизни думал Шиллер, когда позже сказал, что чистая радость жизни не есть удел земного. Для его литературного творчества эти два года не были благоприятны. Он с трудом закончил «Дон Карлоса», над которым работал отрывками, с большими перерывами. Начатые им новые вещи остались отрывками, — «Мизантроп», драматический опыт, «Духовидец», первая книга романа, философские письма, которые скоро были оставлены. Он закончил только «Преступника из-за потерянной чести», маленькую и в своем роде мастерскую новеллу. Сюжет для нее дала ему история одного швабского разбойника. «Духовидец» должен был облечь в поэтическую форму обращение герцога Карла-Александра Вюртембергского в католицизм. Главную часть «Философских писем» составляла рукопись, относившаяся еще к штутгартским дням. Большой еще вопрос, появились ли бы на свет некоторые из этих работ, если бы не необходимость снабдить «Талию» материалом.

Нет сомнения, что Шиллер пережил в это время внутреннюю революцию. Мужественная энергия и действенность, которые жили в нем, переключились, под гнетом швабских и пфальцских дней, в революционную энергию. Теперь, когда этот гнет был с него снят, выступила наружу та вдумчивая и спекулятивная сторона, которая коренилась в его индивидуальности не менее глубоко, «стремление, — как говорил Вильгельм Гумбольдт, — охватить все конечное в великом образе и связать его с бесконечным». Это стремление пробивалось тем сильнее, чем

выше стояла тогдашняя саксонская культура над швабской и пфальцской. В общении с кантианцем Кернером рассеивались библейские представления, которые доминировали в юношеских драмах Шиллера. В философских письмах Юлиус—Шиллер писал Рафаэлю—Кернеру: «Что сделал ты со мной, Рафаэль? Что случилось со мной с недавнего времени?.. Блаженное, райское время, когда только политическая газета напоминала мне о мире, только похоронный звон—о вечности, только сказки с привидениями—о суде после смерти, когда я дрожал еще перед чортом и тем сердечнее привязан был к божеству. Я чувствовал и был счастлив. Рафаэль научил меня мыслить, и я теперь готов оплакивать мое рождение... Ты украл у меня веру, которая давала мне мир. Ты научил меня презирать то, чему я поклонялся». В этих словах много риторики. Мы не имеем никаких свидетельств, что Шиллер был глубоко потрясен своим разрывом с христианской верой. Более чувствителен был для него недостаток философского образования, которое так ясно выступало против него в—написанных самим Кернером—письмах Рафаэля.

Не менее чувствителен был для него недостаток исторического образования—в особенности с тех пор, как вера в возмездие страшного суда сменилась у него новым убеждением, сложившимся в дрезденские дни: всемирная история—всемирный суд. 15 апреля 1786 года он писал Кернеру: «Я должен выработать совершенно новую программу чтения. Я чувствую с болью, что еще очень много должен учиться, еще много посеять, чтобы собрать жатву. На лучшей земле терновник не даст никаких персиков, но так же мало может приносить плоды персиковое дерево на тощей земле. Наши души представляют только перегонные сосуды, но элементы должны доставить им материал, чтобы они могли перерабатывать полные сочные листья. С каждым днем *история* становится мне дороже. Я хотел бы иметь возможность заниматься десять лет подряд только историей. Я убежден, что стал бы совершенно другим человеком. Думаешь ли ты, что я смогу еще наверстать это?» На занятия историей натолкнула Шиллера глубокая необходимость его внутреннего существа. Работа над «Дон Карлосом», которой обыкновенно объясняют этот переход к истории, дала ему только внешнее направление.

Эта внутренняя борьба Шиллера тем повелительнее выдвигала вопрос о его будущем. Он не мог все время пользоваться дружеской помощью Кернера. Такое положение было бы недостойно Шиллера, и сам Кернер, так охотно помогавший своему другу, понимал, что оно не может продолжаться



долго. Дрезден не мог дать поэту ничего, так как, благодаря ханжескому двору, саксонская столица имела мало общего с саксонской культурой. Шиллер называл Дрезден «духовной пустыней», а дрезденцев, низкопоклонничество которых перед двором в течение столетий стало их второй натурой, он считал «пошлым, несносным, в три погибели согнувшимся народом». Для него был недоступен и театр, находившийся под поистине ребяческой цензурой, к тому же во главе его стоял итальянец, не имевший никакого понятия о немецкой литературе. Таким образом, Шиллера связывало с Дрезденом только то обстоятельство, что Кернер занимал там официальное положение. Это ненормальное положение могло в конце концов испортить их дружеские отношения. Два года спустя после того, как они расстались друг с другом, Шиллер писал Кернеру: «Почему мы должны жить в разлуке друг с другом? Если бы я не чувствовал еще до отъезда так глубоко свою духовную деградацию, я никогда не покинул бы вас или вернулся бы к вам очень скоро. Однако печально, что счастье, которое мне доставила наша спокойная совместная жизнь, нельзя было согласовать с тем единственным моментом, который я не мог принести в жертву дружбе,—с внутренней жизнью моего духа. Я никогда не буду раскаиваться в этом шаге, так как он был правилен и необходим, но он остается для меня тяжелым лишением, тяжелой жертвой, принесенной во имя неизвестного блага». Возможно, что эта необходимость не была тогда так настоятельна, как это позже представлялось Шиллеру, но поэт уже давно обдумывал это решение и осуществил его только под условием скорого возвращения.

Куда направиться, *если* ему придется уйти, он уже в сущности давно решил вполне определенно. Временами он думал о Мейнингене, где его старшая сестра была замужем за Рейнвальдом, или о Вене, где его «Фиеско» имел такой большой успех, или о Гамбурге, где Шредер, после прочтения отрывков «Дон Карлоса», перешел на его сторону. Но мысли его все больше и чаще возвращались к Веймару, куда он хотел направиться еще из Маннгейма, после временного пребывания у лейпцигских друзей. А теперь его в Веймар привлекал еще новый магнит в лице Шарлотты Кальб, которая переселилась в Веймар и давно уже возобновила с ним переписку. Правда, это не мешало ему влюбиться в одну дрезденскую красавицу, с которой он в январе 1787 года встретился на маскараде. Это была Генриетта Арним. Она была расположена к поэту, но ее сводническая матушка помешала их сближению. Если это ра-

зочарование могло дать последний толчок решению Шиллера расстаться с Дрезденом, то оно в то же время могло усилить его желание свидеться с Шарлоттой.

После того как Шиллер в прощальный вечер, в лесу, прочитал своим друзьям последние акты только что законченного «Дон Карлоса», он 20 июля 1787 года уехал в Веймар.

### «Дон Карлос»

С тех пор как Дальберг указал Шиллеру на историю «Дон Карлоса», как сюжет для трагедии, прошло не меньше пяти лет, и по меньшей мере четыре года работал Шиллер над своей трагедией.

Уже 14 апреля 1783 года писал он из Бауербаха Рейнвальду: «В это прекрасное утро я думал о вас, мой друг, и о своем Карлосе... Я ношу его в своей груди и мечтаю о нем во время моих прогулок в окрестностях Бауербаха. Когда он будет готов, вы сможете провести сравнение между мною и Лейзевицем на примере Карлоса и Юлия. Не по величине кисти, а по яркости красок, не по силе инструмента, а по тону, в котором мы играем. Карлос, если только я могу воспользоваться этой мерой, имеет свою душу от Гамлета Шекспира, нервы и кровь от Юлия Лейзевица, а пульс от меня. Кроме того, в этой пьесе я считаю своим долгом в изображении инквизиции отомстить за протитупированное человечество и пригвоздить к позорному столбу все ее злодеяния. Я хочу—хотя бы это сделало моего Карлоса невозможным для сцены—вонзить свой кинжал в душу тех людей, которых кинжал трагедии до сих пор только едва касался. Я хочу... но бога ради не смейтесь над мною». Это то самое письмо, в котором Шиллер объяснял, что все порождения нашей фантазии в конце концов—мы сами.

В бумагах Рейнвальда сохранился первый сценарий трагедии, еще очень бесцветная и тощая схема, но из которой все же видно, что первоначально речь шла только о картине семейной жизни княжеского рода. Свой сюжет Шиллер заимствовал из фантастического рассказа, опубликованного каким-то французским аббатом еще за сто лет перед этим. Хотя Шиллер сделал много изменений в соответствии с своими драматическими целями, но сохранил основное ядро фабулы—совершенно неисторическую любовь мачехи и пасынка. Опутанные придворной интригой, любовники падают жертвой гнева короля. «Свидетельство умирающих и преступление их обвинителей реабилитируют принца, но слишком поздно. Скорбь обманутого короля и возмездие виновникам». Этот первоначаль-

ный набросок драмы указывает на большое сходство с «Коварством и любовью». Так же, как и другие юношеские драмы Шиллера, она должна была быть написана прозой.

Однако в Маннгейме Шиллер, по образцу Лессинга, выбрал пятистопный ямб. Вероятно, здесь имело место влияние Дальберга, который при своей антипатии против стиля «бури и натиска» старался обратить внимание поэта на французские образцы. Действительно, Шиллер принялся за изучение французских драматургов, не только для того, чтобы расширить свои драматические познания и обогатить свою фантазию, но и с целью найти для себя самого целительное равновесие между двумя крайностями — английским и французским вкусом. Это изучение повлияло особенно на композицию «Дон Карлоса». В пьесе были использованы и переживания самого поэта. Бурное столкновение, которое поэт имел в то время с отцом, отразилось в сценах между инфантом и королем, а королева Елизавета, самый живой из женских образов, созданных до этого времени Шиллером, носила, правда очень прикрашенные, черты сходства с Шарлотой Кальб. Но выше всех поднимался образ короля Филиппа. В введении к первому акту драмы, которое он опубликовал в «Талии», Шиллер писал: «Если эта трагедия найдет свое настоящее завершение, то это должно произойти, как мне кажется, при помощи ситуации и характера короля Филиппа. От формы, которая будет им дана, зависит вся судьба трагедии... Ожидают найти—не знаю, какое?—чудовище, как только заходит речь о Филиппе Втором, а моя драма будет совершенно неудачна, если в ней найдут это чудовище». Небезынтересно, что его лейпцигские друзья надеялись на этот художественный прогресс еще раньше, чем вышел первый выпуск «Талии». Губер писал в своем первом письме к Шиллеру, что они ждут от него нового тирана, а не обыкновенных театральных тиранов, которых поэт характеризует различными прозвищами, вкладываемыми в уста притесняемых принцев или страждущих принцесс, а актеры—гигантскими шагами и громовым басом.

Возможно, что беседы с этими друзьями способствовали тому, что образ короля, при дальнейшей его обработке, был еще более обточен. Зато очень трудно объяснить, что заставило поэта после того, как он очень медленно, в течение целого года, закончил второй акт, внезапно изменить весь свой план и превратить маркиза Позу, который до того времени выступал только в второстепенной роли, в качестве наперсника Карлоса, в главного героя драмы. Шиллер сам отвечает на этот

вопрос только общим замечанием, что Карлос утратил его симпатии, быть может, только потому, что он слишком обогнал инфанта годами и что в силу обратных причин маркиз Поза занял его место.

Буржуазные ученые толкуют эти слова в том смысле, что Шиллер сам превратился из разбойника Моора в маркиза Позу, из дикого революционера в либерального политического деятеля. Это, конечно, пустяки. На правильный след наводит нас скорее одно замечание Шиллера в его письмах о «Дон Карлосе». Он говорит, что он ни иллюминат, ни масон. Но если оба эти братства аимеют общую нравственную цель и эта цель является для человеческого общества наиболее важной, то она должна быть, по крайней мере, весьма родственной той задаче, которую преследует Поза. Если принять во внимание, что Шиллер в «Духовидце», над которым работал одновременно с «Дон Карлосом», изображает противоположный процесс — как иезуитизм старается овладеть государством для своих целей, то напрашивается вывод, что Шиллер в дрезденские годы усердно занимался этими вопросами. Это тем более вероятно, что различные отголоски этих занятий встречаются в переписке между Шиллером и Кернером уже после того, как Шиллер уехал из Дрездена. Он сообщает о своих сношениях с Боде, который играл выдающуюся роль в масонском ордене. Шиллер также пишет однажды подробно о Вейсгаупте, основателе ордена иллюминатов, который жил по соседству, как советник посольства при кобургском дворе. Сам Кернер в этом направлении не мог оказать никакого влияния на Шиллера. В критике «Страшного суда», драматического опыта, который Губер опубликовал в «Талии», он сухо замечает, что «вся идея ордена основана на софистике духа и сердца».

Да так оно и было на деле. Масонство и иллюминатство были бессильными потугами плоского просвещения противопоставить какую-либо организацию грандиозной в своем роде организации иезуитов. Вейсгаупт, первоначально католический священник, по ясности своей мысли не превосходил современного старокатолического профессора. Основанный им орден должен был завоевать государей и министров для следующих целей: господство разума, политическое и религиозное просвещение и пропаганда республиканского образа мыслей. Он привлек на свою сторону некоторых немецких государей, так, например, герцога Брауншвейгского, который, как продавец душ, почти перещеголял герцога Вюртембергского, а затем, правда, приобрел себе большую заслугу пред француз-

ской республикой, дав себя на голову разбить при Вальми. Орден масонов имел известные традиции, но, несмотря на это, был в неменьшей степени оторван от действительной современности. Когда Боден осенью 1787 г. вернулся из своего путешествия в Париж, Шиллер узнал от него, что французская нация утратила всю свою энергию и быстрыми шагами приближается к окончательному упадку. Созыв нотаблей был только маневром со стороны правительства. Оно созвало его на пять лет раньше и потому натолкнулось на неожиданное сопротивление. Позже пятью годами ему не пришлось бы рисковать ничем. Парламент не имеет никакого значения, он занимается школьными экзерцициями, как школьники в гимназиях, и т. д. и т. п.

Маркиз Поза выступает, правда, как рыцарь мальтийского ордена, но рассуждает и действует, как рыцарь ордена иллюминатов. «Все принципы и симпатии маркиза вращаются вокруг республиканской добродетели»,—поясняет сам Шиллер. И все же мы видим только, как Поза старается наложить свою руку на рычаг деспотической власти, в лице министра или короля. Эмиссар нидерландской революции, он не говорит о ней ни слова, но ограничивается общими ходячими фразами просвещения, при помощи которых надеется потрясти до основания глубоко укоренившуюся правительственную систему мировой державы. Так же мало разборчивый в своих средствах, как иезуит, он тем не менее умеет пользоваться ими, и сам поэт может объяснить всю путаницу, которую натворил его герой, только следующими извиняющими аргументами: «Он лишился способности правильно рассуждать—он больше не хозяин своих мыслей—да, наконец, я вовсе не хочу снять с маркиза всякий упрек в безрассудстве». Правда, наш рыцарь ослепляет своей блестящей риторикой, которой щедро одарил его Шиллер, но уже Кернер характеризовал эту попытку поэта спасти созданный им образ Позы следующими трезвыми словами: «Ты жертвуешь своим художественным произведением и хочешь только спасти свои идеалы, в которые ты влюблен».

Как тип тогдашнего масона и иллюмината, Поза вышел прекрасно, но, как герой поэта, написавшего семь лет назад «Разбойников», он являет собой жалкую фигуру. Правда, это увлечение совершенно бессодержательным просвещением представляет только преходящую фазу в той внутренней революции, которую переживал Шиллер, создавая своего Карлоса. Он был достаточно наказан тем, что его «странный мечтатель» испортил прекрасное произведение. Прежде чем

Шиллер снова выступил, как драматический поэт, прошло больше десяти лет, в течение которых он погрузился в занятия историей и философией.

Если «Дон Карлос» представляет значительный шаг вперед по сравнению с прежними драмами Шиллера, то, главным образом, благодаря более тонкой и, несмотря на это, более отчетливой характеристике действующих лиц. Это относится не только к королю или королеве, или инфанту, но и к другим второстепенным фигурам, как принцесса Эболи, которая обрисована гораздо более правдиво, чем ее предшественницы — леди Мильфорд и Юлия Имперали в «Фиеско», но и к великому инквизитору, величая и зловещая фигура которого воплощает ужасы инквизиции гораздо более отчетливо, чем это мог бы сделать поэт, согласно своему юношескому плану в самых патетических словах. Но если не все, то все-таки главные действующие лица сильно пострадали от того способа, каким Поза был внезапно возведен в степень главного героя драмы. Не менее сильно пострадало от этого и драматическое действие. В третьем и четвертом актах, в которых ведущую роль играет Поза, даже читатель, не говоря уже о зрителе, ориентируется только с большим трудом. Этот недостаток не искупает даже сцена между королем и рыцарем, не говоря уже о том, что она и без того не может идти в сравнение с ее прообразом — со сценой между Натаном и султаном Саладином. Только в пятом акте, в котором, как и в первых двух, трагический конфликт разыгрывается, согласно первоначальным намерениям поэта, между отцом и сыном, драма снова поднимается на потрясающую высоту ее первых стадий.

Сценическое действие «Карлоса» было не велико, зато драма стала любимым чтением немецкого читающего мира, однако скорее благодаря своим слабым сторонам, чем своим достоинствам.

#### Веймар

Когда Шиллер переселился в Веймар, он не имел определенного плана. В лучшем случае он питал неопределенную надежду на герцога Карла-Августа, который отнесся к нему доброжелательно в маннгеймские дни. Кроме того, его влекло туда и известное честолюбие, желание показать себя в городе, в котором жили Гете, Гердер и Виланд — «веймарские исполины», как он их однажды называет.

Карл-Август вовсе не был тем высококультурным человеком, каким его рисует верноподданническая историография. В срав-

нении с герцогом Карлом-Евгением Вюртембергским он, конечно, представляет светлое явление. Уже маленькие размеры его владений ставили определенные границы его игре в солдатики и пристрастию к фавориткам. Отец его умер вскоре после его рождения, и мать, Анна-Амалия, брауншвейгская принцесса и племянница старого Фрица, которая в годы малолетства Карла-Августа была правительницей, интересовалась литературой и нашла для сына в Виланде воспитателя, удовлетворявшего ее французскому вкусу. И сам Карл-Август в течение всей своей жизни оставался верным французскому придворному классицизму, который так льстиво шел навстречу интересам и симпатиям тогдашнего деспотизма. Во всяком случае, когда этот восемнадцатилетний сорванец, только что принявший бразды правления, восчувствовал большую симпатию к Гете, который был старше его на восемь лет, и пригласил «бурного гения» к своему двору, то со стороны немецкого государя это был уже известный подвиг. 7 ноября 1775 года Гете переселился в маленькое грязное, захолустное гнездо на речке Ильм, «нечто среднее между столицей и деревней», как окрестил Веймар Гердер, приглашенный год спустя, по настоянию Гете, герцогом на должность генерал-суперинтендента маленькой страны.

Внутренние условия всего герцогства соответствовали скудному и микроскопическому масштабу Веймара. Оно охватывало тридцать четыре квадратных мили и имело сто тысяч жителей. Равняясь одному или двум прусским округам, оно имело свой двор и свою армию, свои духовные и светские власти, точно было европейской великой державой,—конечно, все в карликовых, но все же не менее гнетущих бедное население размерах. В узких рамках этого крохотного государства пышным цветом расцветали сплетни и пересуды, а также ненависть ко всему «иностранному», от которой не мало страдал Гете, когда герцог пригласил его в министерство. Правда, туземная клика имела для своих интриг известное основание или предлог. Молодой герцог вел шумную и веселую жизнь, а Гете принимал деятельное участие во всех этих безумствах. Все это было, правда, тогда обычным явлением для всех немецких дворов, и ядовитая сплетня, которой оплетены первые годы жизни Гете в Веймаре, питалась тем, что легкомысленным ментором государя был, в виде исключения, не какой-нибудь пустоголовый юнкер, а гениальный и, в особенности, буржуазный поэт. С другой стороны, не следует придавать особенно большого значения тому, что Гете скоро исправился, что после, в течение

десятилетий, он был прилежным и добросовестным чиновником. Все, что он совершил или мог совершить, как веймарский тайный советник, легко выполняет всякий посредственный прусский ландрат без всяких претензий на лавры со стороны современников или потомства.

Но в Гете все больше разгоралось возмущение природного художника против жалкой среды, в которой ему приходилось жить. Он не мог все время «бить баклуши» и «тратить время на то, чтобы наряжать обезьян людьми и учить собак плясать». Содействие развитию эстетической культуры, которое было ему очень дорого и являлось единственным оправданием мелко-княжеского деспотизма, всегда натывалось на сопротивление герцога, который не хотел отказаться ни от своей нелепой игры в солдатики, ни от своих придворных паразитов, ни от дорого стоящих охот и разъездов. «Лягушка создана для воды, хотя она и может короткое время оставаться на суше», — с грустью признавался Гете, а своему другу Кнебелиу он писал: «Так идет вверх чрез все сословия. Я вижу, как крестьянин старается отвоевать у земли все необходимое и мог бы иметь сносный доход, если бы он потел только для себя. Но ты знаешь, что когда вши разводятся на розах и жиреют, высасывая из них сок, являются муравьи и в свою очередь высасывают из них этот очищенный сок. И так это делается изо дня в день. И мы, наконец, дошли до того, что вверху в один день пожираем больше, чем успевают за день собрать внизу». В этой безнадежной борьбе с отвратительной и безобразной обстановкой Гете так сильно устал, что сбежал летом 1786 года в Италию, чтобы спасти художника от министра.

Шиллер поэтому не нашел его в Веймаре. Также и герцога, который уехал в Берлин. А Гердер и Виланд приняли его далеко не с распростертыми объятиями. Гердер, который, как писал Шиллер Кернеру, совсем ничего или очень мало о нем слышал, был с ним холодно вежлив. Виланд встретил его лучше, но только с той дипломатическою любезностью, которая не особенно охотно любит быть «некстати доброй». Только Шарлотта Кальб с радостью приветствовала пришельца, и Шиллер почувствовал себя в первое время так, как будто никогда с ней не расставался. В восторге от этой встречи он писал Кернеру: «Шарлотта — великая и оригинальная женская натура, интереснейший предмет изучения, который был бы труден и для более крупного ума, чем я. С каждой новой ступенью нашего знакомства мне открываются в ней черты, которые меня, как по-



вые красоты в широком ландшафте, все больше изумляют и восхищают». Он прибавил, что в сентябре приезжает в Веймар муж Шарлотты, и они тогда втроем переедут в Дрезден. Шарлотта поэтому не обзаводится никаким хозяйством в Веймаре, чтобы тем скорее вытащить отсюда мужа.

Эта своеобразная связь получает еще более своеобразное освещение в приеме, встреченном ею в том придворном обществе, к которому принадлежала Шарлотта. Герцогиня-мать, которая имела свою вдовью резиденцию в замке Тифурт около Веймара, выразила желание познакомиться с Шиллером и, через своего камергера, пригласила его, вместе с Виландом, чуть ли не через восемь дней по его приезду. Герцогиня ему очень мало понравилась,—ни ее физиономия, ни ее «крайне ограниченный ум»,—но сам он, кажется, произвел сначала хорошее впечатление. Уже на другой день он получил опять приглашение, на этот раз с Шарлоттой. «Моя связь с Шарлоттой, сообщает он в Дрезден,—становится здесь известной и обсуждается с большим уважением к нам обоим. Сама герцогиня была настолько галантна, что пригласила нас вместе, а что она поступила так именно по этой причине, я узнал от Виланда. В этих мелочах здесь соблюдают тонкий такт». На этот раз дело сошло не так благополучно. Шиллер допустил резкое нарушение придворного этикета, занимаясь герцогиней меньше, чем Шарлоттой, которая увидела теперь, что слишком поспешила, уверяя Шиллера, что он может теперь смело вращаться во всяком обществе.

8 августа Шиллер извещает Кернера, что его «Карлос» был прочитан в Тифурте и не понравился. Чтецом был Готтер, тогда очень известный поэт, который приехал из Готы в Веймар в ответ на приглашение герцогини и на всякий случай захватил с собой «Дон Карлоса», когда явился на прием к герцогине в Тифурт. Он был горячим поклонником французского стиля и пользовался поэтому большими симпатиями при маленьких немецких дворах, но, в силу той же причины, не был расположен к Шиллеру, которому он уже успел прежде повредить у Дальберга. Однако он был достаточно честен, чтобы сообщить поэту, что первая часть драмы в Тифурте произвела хорошее впечатление, зато вторая—никакого или даже неблагоприятное. Она сильно теряет вследствие запутанности хода действия, вследствие невероятности некоторых деталей, вследствие ослабления интереса к «Карлосу»,—приговор, который нельзя объяснить только «ненавистью» Готтера, как это охотно сделал бы Шиллер.

Все это успело уже испортить Шиллеру его пребывание в Веймаре, и он, вероятно, покинул бы его, если бы не восьмидневная поездка в Иену, которая изменила его настроение. Здесь он нашел более широкий круг знакомства и более оживленную духовную жизнь в университете. Он жил у Рейнгольда, зятя Виланда и первого апостола Канта. «В сравнении с Рейнгольдом,—писал Шиллер Кернеру,—ты просто презираешь Канта. Он утверждает, что Кант через сто лет будет пользоваться славой Иисуса Христа». Но хотя поэт себя чувствует в Иене так хорошо, как еще никогда на чужой стороне, он все же не думает, что может стать другом Рейнгольда. По его мнению—и это суждение для Шиллера еще характернее, чем для Рейнгольда,—«Рейнгольд никогда не будет способен на смелую доблесть или на смелое преступление, ни в идее, ни в действительности, и это очень плохо. Я не могу быть другом человека, который не способен ни на то, ни на другое или на оба вместе». Перед Шиллером, казалось, открылись новые перспективы. Рейнгольд уверял его, что он может легко получить приглашение в университет, а другие профессора, в особенности теолог Гризбах, указывали ему на то преимущество, которое имеет иенский университет в сравнении с другими, а именно что власть над университетом разделена между несколькими саксонскими герцогами, и профессора, таким образом, являются почти независимыми людьми, которым не приходится считаться ни с каким княжеским произволом.

Ободренный этой экскурсией в Иену, Шиллер вернулся в Веймар и принял самое достойное решение, какое он только мог принять: ни к кому не обращаться и завоевать себе, при помощи неустанного труда, положение, которое ему приличествовало. «Результат моего здешнего опыта,—писал он 28 августа Губеру,—заключается в том, что я признаю свою бедность, но зато ценю свой дух больше, чем это было до сих пор. Недостатки, которые я за собой чувствую в сравнении с другими, я могу исправить при помощи прилежания и усидчивости, и тогда я буду обладать счастливым самочувствием во всей его чистоте и полноте». Более трезвым взглядом он наблюдал теперь «плоские креатуры» придворной челяди, прежде всего «здешних дам», которые «удивительно чувствительны», из которых «почти каждая» имела или хотела бы иметь в прошлом историю, а некоторые в другом обществе сошли бы за опытных проституток. Только о возлюбленной Гете, госпоже Штейн, он судил более благосклонно. По отношению к вернувшемуся герцогу он удовольствовался той минимальной вежли-

востью, которая требовалась его званием веймарского советника. Шиллер известил герцога, что если последний желает, то он охотно выразит ему лично свое почтение, но что у него нет никаких особых желаний, на что герцог также холодно ответил, что он назначит время, но не сделал этого.

Только с Шарлоттой Кальб Шиллер продолжал тесные отношения, хотя и они начали скоро омрачаться. Не потому, что господин Кальб, которого Шиллер называет «настоящим, сердечно хорошим человеком», вмешался в них. Они переписывались друг с другом, и Шиллер, не без удивления, писал о нем: «Его дружба ко мне неизменна. Это тем более удивительно, что он любит свою жену и что о моих отношениях с ней он необходимо должен догадываться». Но Шарлотта продолжала играть ту же игру, что и в Маннгейме. Отречение, которого она требовала от своего возлюбленного и которое в первое время горячей страсти еще не могло облекаться в трагическое чувство собственного достоинства, превращалось теперь в отвратительное и скучное кокетство. Она сама рассказывает в своих воспоминаниях, как дурачила страстного поэта: «Он часто просил меня в письмах, чтобы я посетила его, так как он не может выйти. Хотя я и склонялась к этому, но все же должна была знать, что это невозможно и могло бы привести к какому-нибудь взрыву бурной страсти». Эти отношения должны были стать невыносимыми, когда муж Шарлотты окончательно вернулся, и она принуждена была жить в брачном общении с нелюбимым мужем, со всеми «бурными» последствиями такого общения.

И на этот раз Шиллер не отнесся к этому делу слишком трагически. Встречаясь ежедневно с Шарлоттой, он в своей переписке с Кернером обсуждает различные брачные проекты, между прочим с дочерью Виланда, еще раньше, чем он познакомился с ней. Но еще раньше, чем закончился 1787 год, его час пробил. В ноябре он, согласно просьбе своей старой приятельницы, г-жи Вольцоген, желавшей знать его мнение о претенденте на руку Лотты, направился в Бауербах. Не без известного удовлетворения сообщает он об этом своему другу Кернеру: «Ты должен знать, что здесь со мной считаются и что в важных делах всегда обращаются ко мне». Он дал благословение на обручение своей прежней возлюбленной, без всякого признака горечи. Старый гостеприимный дом теперь уже ничего не говорил его сердцу. Шиллер чувствовал, что начинается «совершенно новая эпоха» в его духовной жизни. Он, как и прежде, горячо признавал большие права, которые

имела г-жа Вольцоген на его благодарность; он продолжал оставаться ее должником и остался им до самой смерти, которая унесла ее уже в следующем году. В обратное путешествие Шиллер направился вместе с ее старшим сыном, Вильгельмом Вольцогеном, и, по желанию последнего, они поехали через Рудольштадт, где жила г-жа Ленгефельд, родственница семьи Вольцогенов, вдова с двумя дочерьми, из которых старшая была замужем, а младшая еще невеста. Симпатии Вольцогена принадлежали замужней, младшая стала женой Шиллера.

«Обе они (не будучи красавицами) привлекательны и очень мне нравятся. Они хорошо знакомы с новой литературой, отличаются тактом, чувством и умом». Таково первое впечатление Шиллера. И это все, что мы знаем о его жениховстве и браке. По его собственным словам, это была «не страстная любовь, а спокойная привязанность, которая постепенно упрочивалась».

Семья Ленгефельдов принадлежала к мелкому тюрингескому придворному дворянству. Отец был управляющим лесами в Рудольштадте, мать имела место при рудольштадтском дворе, и младшая дочь, Шарлотта, тоже должна была стать придворной дамой, тогда как старшая очень рано вышла замуж за Бейльвица, брак с которым не оказался счастливым. Она была пассивей Вольцогена, но и кроме него имела многих поклонников. Самым почетным из них был барон Дальберг, «золотой клад», старший брат маннгеймского интенданта. Предназначенный в преемники майнцского архиепископа, он пока жил в качестве коадьютора в Эрфурте. Из двух сестер Каролина, отличавшаяся более широким сердцем, была и остроумнее, и живее. Она подчиняла себе свою младшую сестру, более кроткая и податливая натура которой была только очень слабо затронута кипучими настроениями эпохи «бури и натиска».

Сестры находились в дружеских отношениях с Гете. Они познакомились с ним чрез госпожу Штейн, которая оказывала им протекцию. В доме госпожи Бейльвиц в первый раз встретились, в сентябре 1788 года, Гете и Шиллер. Гете вернулся уже несколько месяцев назад из Италии, а Шиллер провел лето этого года в деревне Фолькштедт около Рудольштадта, а затем и в самом Рудольштадте. Хорошее впечатление, которое обе сестры произвели на Шиллера при первой встрече, еще более укрепились, когда младшая вскоре после того переехала в Веймар, где она поселилась у сестры г-жи Штейн.

Именно ради сестер Шиллер провел лето около Рудольштадта и в самом Рудольштадте. Не объясняясь в любви ни одной из них, он с обеими поддерживал очень близкие, дружеские

отношения. Сестры с живым интересом ожидали встречи Шиллера с Гете. Но в результате сначала получилось новое разочарование. «В общем мое действительно высокое мнение о нем не уменьшилось,—писал Шиллер Кернеру,—но я сомневаюсь, чтобы мы сблизились более тесно друг с другом». Вполне рассудительно он это объясняет тем, что многое, на что ему еще приходится надеяться или желать, у Гете является уже пройденным этапом.

Вряд ли он был особенно обрадован, когда в конце этого года, при официальном содействии Гете, перестал быть вольной птицей, чтобы получить место экстраординарного профессора Иенского университета, когда он должен был отказаться от положения «гражданина мира», чтобы стать «бесполезным служителем» государства.

### История

Поставив себе целью проложить жизненный путь при помощи неустанного труда, Шиллер проводил это решение с железной энергией. Его рабочий день продолжался двенадцать и даже больше часов, и зачастую еще в восемь часов вечера он не притрагивался к стоявшему на столе обеду.

Кроме работы для «Талии», которую он еще продолжал издавать, правда очень нерегулярно,—она влачила только жалкое существование,—он сотрудничал в «Иенской литературной газете» и «Немецком Меркурии» Виланда. В последнем журнале он опубликовал письмо о «Дон Карлосе» и «Игру судьбы»—последнюю литературную дань, уплаченную им своему швабскому прошлому. Маленькая работа, которая по своим художественным достоинствам стояла еще выше «Преступника из-за потерянной чести» и повествовала о переменчивых судьбах его крестного отца, Ригера.

Но больше всего Шиллер занимался историей. С напряженным прилежанием работал он над историей нидерландской революции, на которую натолкнул его «Дон Карлос». Он настолько углубился в эту работу, что начал относиться пренебрежительно к своему поэтическому призванию—к великому негодованию Кернера, который саркастически заметил, что Шиллер стыдится жить для развлечения других людей и едва осмеливается показаться на глаза какому-нибудь булочнику. Как настоящий кантианец, Кернер не имел никакого исторического чутья. Он думал, что своими историческими занятиями Шиллер принижает себя до уровня ремесленника, работающего

для удовлетворения низших потребностей обычных людей, тогда как он призван господствовать над умами людей.

Нельзя сказать, чтобы Шиллер очень удачно отпарировал критику своего друга. Он ответил, как портной Талейрана: *il faut vivre*—нужно жить: исторические писания приносят больше дохода, чем писание трагедий. При помощи половины той ценности, которую он придает исторической работе, он достигает в так называемом ученом мире и среди обыкновенных читателей большего признания, чем при всем напряжении своих духовных способностей, затраченных на такой пустяк, как трагедия. «Дон Карлос», продукт трехлетней напряженной работы, принес ему только огорчение, его история Нидерландов, продукт пяти, в крайнем случае шести месяцев труда, сделает его, быть может, уважаемым человеком. Только во вторую очередь он выдвигает и другой момент: крупный талант может из каждого предмета сделать нечто крупное, и если он действительно крупный талант, то он сумеет и в исторической области создать крупное произведение.

Если верить Шиллеру, то исторические труды были для него только хлебными работами, и тогда пренебрежительный отзыв Нибура, считавшего исторические труды Шиллера никудышными, был бы вполне справедлив. Но когда Шиллер таким образом полемизировал с Кернером, то в его аргументации обнаруживалось вполне естественное и столь же настоятельное желание выбраться наконец из той сети долгов, которые накопились за прежние годы в Штутгарте, Маннгейме, а затем еще в Лейпциге. Если оставить в стороне более ранние или более поздние высказывания Шиллера, то следующее положение, высказанное им как раз в это время, доказывает, что ему не было чуждо более глубокое понимание исторических взаимозависимостей: «В сущности история церкви, история философии, история искусства, нравов и история торговли должны были бы быть соединены с политической в одно целое, и только такая история заслуживала бы название всеобщей истории». Но в то же время нет никакой необходимости идти так далеко, как это делают некоторые биографы Шиллера, которые отводят его историческим работам особое место в развитии исторических наук.

Он был знаком с работами Монтескье и Вольтера, с Гердером он жил даже в одном городе, но он не заметил или не понял, в какой степени историческая наука обязана этим писателям новыми методами. Некоторые положения его, относящиеся к этому времени и часто цитируемые, чтобы возвеличить

Шиллера, как гражданина мира, умаляют в той же степени его значение, как историка. Они гласят: «Мы, люди нового времени, имеем в своем распоряжении интерес, которого не знали ни греки, ни римляне и с которым далеко не может равняться патриотический интерес. Последний вообще имеет значение только для незрелых народов, для юности мира. Совершенно другой интерес—всякое значительное событие, которое произошло с человеком, изобразить в его значении для человека. Писать для одной нации—это жалкий, мелкий идеал. Для философского ума такая граница совершенно нетерпима. Он не может успокоиться на такой изменчивой, случайной и произвольной форме человечества, на одном фрагменте (а чем иным является даже крупнейшая нация?). Она имеет для него значение лишь постольку, поскольку эта нация или данное национальное событие является условием для прогресса всего рода». Как может историк нидерландской революции или Тридцатилетней войны говорить о нации не только как об изменчивой, но и как о произвольной и случайной форме человечества, если он действительно понял внутренние пружины исторических движений, которые он изображает. Так, Шиллер в «Истории Тридцатилетней войны» доходит до того, что сопротивление отдельных государств против императорской власти изображает, как борьбу за «немецкую свободу».

Лучше всего оценил Шиллера, как историка, Геббель, и как великий драматический поэт он, может быть, более всех был призван это сделать. Говоря о споре между Шиллером и Кернером, он замечает, что лучшим доказательством поэтического призвания Шиллера является то, что он временами отрицал его. «Кто всегда стоит на коленях перед музой, тому она никогда не принадлежала». Он говорит дальше, что Кернер все же был неправ, хотя возражения Шиллера весьма мало основательны. «Поэт, который хочет блистать не только в сфере студенческой или альбомной поэзии, должен освоить, в меру своих сил и способностей, все содержание мира и эпохи. Именно этому содержанию он должен дать новую форму. Он гораздо меньше рискует, оставляя без внимания то, что было создано в поэзии до него, чем тогда, когда лениво проходит мимо великих сокровищниц, в которых человечество хранит свои сокровища, а к числу этих сокровищниц принадлежит история». С этой точки зрения можно составить правильный приговор, воздающий должное Шиллеру, как историку.

Как поэт, он нуждался в историческом материале, и, как поэт, он умел владеть им. Если, быть может, худшей ошибкой

историка являлось то, что он смотрел на политический партикуляризм Германии, как на опору «немецкой свободы», то поэт сделал своими героями не Густава-Адольфа или Бернгарда Веймарского, а императорского генералиссимуса, который взял на себя смелость — а потому и погиб — восстановить императорскую власть в той форме, в которой она в эпоху Тридцатилетней войны соответствовала историческому прогрессу. Как драматический поэт, Шиллер был и великим историком, тогда как его исторические сочинения являются только обломками мрамора, из которого он высекал образы своих исторических драм.

### Эллинизм

Но Шиллер не забывал о своем поэтическом призвании даже в первые годы пребывания в Веймаре, когда с таким пылом набросился на историю. Он старался поближе познакомиться с античностью, интерес к которой пробудился у него еще в Маннгейме. Университетские годы не дали ему в этом отношении ровно ничего.

Теперь трудно установить детально, какие именно поводы толкнули его на этот путь. Достаточно вспомнить, какое значение имело классическое образование для Гете, Лессинга и Винкельмана, даже для Гердера и Виланда, чтобы понять, почему Шиллер увлекся пластической силой эллинизма. «Я теперь читаю почти только одного Гомера, писал он в августе 1788 года Кернеру. — Я твердо решил в течение ближайших двух лет не читать ни одного современного писателя. Ни один из последних не нравится мне. Каждый из них уводит меня от самого себя, а древние доставляют мне истинное наслаждение. Кроме того, они мне в высшей степени нужны, чтобы очистить свой собственный вкус, который вследствие увлечения манерностью, искусственностью, острословием начал удаляться от простоты. Ты найдешь, что тесное общение с древними мне будет в высшей степени полезно — даст мне, быть может, классичность». Кернер и в данном случае имел свои сомнения, и не без основания.

Шиллер мог познакомиться с греческой поэзией только при помощи переводов. Когда он в 1788 году, во время своего летнего пребывания около и в самом Рудольштадте, переводил «Ифигению в Авлиде», Еврипида и сцены из его «Финикиянок» с греческого на свой любимый немецкий язык, то он должен был при этом прибегать к помощи латинских, французских и немецких переводов. Для диалогов он использовал пятистопный ямб, а для хоров — рифмованные строфы. Такой компетентный критик, как Вильгельм фон Гумбольдт, замечает, что всегда



читал с большим наслаждением один из этих хоров. Это была «Свадьба Фетиды».

Посетив Пелиона кручи,  
Где нектарные струи лились,  
Пышнокудрые в пляске летучей  
На золотых подошвах неслись,  
Мелодическим пением слава  
Этот брак блаженной четы;  
Эхо вторило в ближней дубраве,  
Отражаясь от горной гряды.

По мнению Гумбольдта, это был не только перевод на другой язык, но и переключение в другой род поэзии. Античный дух выглядел, как тень, из созданной для него новой оболочки, но в каждой строфе некоторые черты оригинала так отчетливо выделены и так чисто воспроизведены, что, несмотря на все, читатель от начала до конца чувствует себя в мире античности.

Еще выше стоят два больших стихотворения, которые Шиллер в 1788 году почерпнул из изучения античности, — «Боги Греции» и «Художники». Первое появилось в мартовском номере «Немецкого Меркурия» и произвело большую сенсацию своей резкой полемикой против «обезбоженной природы» христианской религии, своим пылким изображением греческого мира богов.

Да, ушел и прочь унес с собою  
Красоту, величье санм богов,  
Краски все и звуки с их игрою,  
Нам оставив гул бездушных слов.  
Те, спасаясь, вне века пребывают  
На высотах Пинда уж давно;  
То, что песнь бессмертьем наделяет,  
В жизни умереть должно.

Впрочем, правы были те критики, которые, как граф Штольберг, видели квинтэссенцию стихотворения в отречении поэта от веры своей юности — и именно поэтому на него страстно напали, — а не в апологии греческих богов, которая чересчур обильным перечислением различных имен производит скорее впечатление передуманного, а не перечувствованного. Нападки на стихотворение выдвинули тогда вопрос о «Свободе поэта при выборе своего материала», который Кернер разобрал под этим названием в особой статье. Во втором стихотворении — «Художники», которое Шиллер написал в ноябре 1788 года и, после многократной переработки, опубликовал весной 1789 года, он тоже рвал с воззрениями своей юности и отводил искусству

господствующее место среди всех духовных держав, ставя его выше даже морали и религии. Красота есть только оболочка истины. Высшую истину смертный человек может познать только в образе красоты.

Нам в край познания проникнуть  
Дают Прекрасного врата;  
К сверканью истины привыкнуть  
Ум заставляет красота.

Совершенная истина, ужасающе великолепная Урания, которую на ее солнечном троне могут видеть только более чистые демоны, слагает с себя, в угоду человеку, свою огненную корону и является в образе красоты.

Она наряд прелестный надевает,  
Чтоб мог плениться ею детский глаз;  
То, что нас тут как красота прельщает,  
Нам истиной предстанет в некий час.

При помощи исторических свидетельств и философских доказательств Шиллер старается показать, что искусство является главным источником света для человечества, что только оно предуготовляет нравственную и научную культуру. Чрезвычайное обилие идей разрывает рамки стихотворения, хотя— а может быть, именно поэтому—Шиллер его так неустанно перedelывал, что когда, по его собственному признанию, он кончил свою работу, он вычеркнул все, что его побудило написать «Художников». Уже в этом трезвом выражении заключается критика стихотворения, которое не является художественным целым и богато лишь отдельными красотами и только в этих отдельных местах дышит античным духом, как в картине смерти, о которой вспоминал Альберт Ланге в последние мучительные часы своей жизни.

На горечь доли не ропща ничуть,  
Спокойно опершись на руки муз и граций,  
С улыбкою он подставляет грудь  
Стреле, готовой с тетивы сорваться,  
Когда судьба решила лук стянуть.

Кернер был в восторге от этого стихотворения. Он считал его первым классическим произведением Шиллера, который, по его мнению, не имеет соперников в лирической поэзии. Ни один из живущих поэтов не может с ним сравниться, зато Гете в области драматической поэзии является опасным конкурентом Шиллера. Эти чрезмерные восторги Шиллер отказывается при-

знать. В скромных выражениях, не лишенных, однако, характерной правды, он отвечает своему другу: «Лирическая поэзия, которую ты считаешь моей специальностью, скорее является для меня местом изгнания, чем завоеванной страной. Это самая мелкая и самая неблагодарная область. Иногда я делаю такой опыт, но время и труд, которых мне стоили «Художники», надолго отбили у меня охоту к этому. В области драматической поэзии я собираюсь еще сделать несколько попыток. Но я не собираюсь равняться с Гете, когда он пускает в ход всю свою поэтическую силу. Он больше гений, чем я, и при этом обладает более богатыми познаниями, более уверенным чувством реальности, более развитым и тонким вкусом, который он усовершенствовал всесторонним изучением искусства. Всего этого как раз нехватает мне, и в такой степени, которая граничит прямо с невежеством. Если бы я не имел других талантов и если бы я не был способен эти таланты и уменье применить в области драмы, то я был бы совершенно незаметен рядом с ним в этой специальности. Но я создал, приспособляясь к своему таланту, собственную драму, которая дает мне известное превосходство именно потому, что она моя собственная». Хотя в этих словах звучит много правды, они не помешали их автору вступить все же на путь, на котором он всегда должен был остаться позади Гете, именно на путь античности.

Как раз тогда, когда Шиллер писал эти строки, он занят был мыслью написать «эпопею восемнадцатого столетия», которая должна была быть совсем другой, чем эпопеи древнего мира, но все же так же отразить новую эпоху, как «Илиада» воплотила все стороны греческой культуры. Героем, согласно поданной ему Кернером мысли, должен был быть старый Фриц. В интересах «классичности» Шиллер не останавливался даже пред планом придумать такую «махинацию», которая представляет особенные затруднения в такую прозаическую эпоху, но которая могла бы значительно повысить интерес, если бы удалось приспособить ее к современным вкусам. «В голове моей роятся смутные мысли на этот счет, авось из этого выйдет что-нибудь более ясное и определенное». К счастью, этого не случилось. Шиллер отказался от этого плана после того, как два года носился с ним. Он никак не мог спеться со старым Фрицем. Идеализация такого характера стоила бы огромного труда. В этой «Фридрихиаде» Шиллер собирался «особенно восславить» Вольтера, как свободного мыслителя. И тем более удивительно, что он не вспомнил предостерегающих слов Лессинга: «Да простит милосердный бог Вольтеру его «Генриаду»!

Увлечение Шиллера античностью проявилось в наиболее неприятной форме в двух рецензиях, которые он напечатал в «Иенской литературной газете»: одну—в сентябре 1788 года по поводу «Эгмонта» Гете, другую—в январе 1791 года по поводу стихотворений Бюргера. Нельзя сказать, что в этих рецензиях нет правильных и верных замечаний, но, находясь во власти одностороннего и мало ему конгениального взгляда на искусство, он не хочет видеть именно то гениальное, чем отличаются разбираемые им произведения. Эгмонт, по его мнению, в драме Гете слишком мало походит на трагического героя. Шиллер недоволен тем, что поэт одаряет Эгмонта одной человеческой слабостью за другой, чтобы сделать его нам ближе. Он жалеет, что Гете отнимает у своего героя законную супругу и одиннадцать законных детей, что он «лишает нас трогательной картины отца и любящего супруга, чтобы дать самого заурядного любовника. Этот Эгмонт губит покой прелестной девушки, которой не суждено ни владеть им, ни пережить его гибель, сердцем которой он может овладеть, только разрушив предварительно другую счастливую любовь. При самых благих намерениях он делает несчастными два существа только для того, чтобы смыть с чела морщины раздумья». Это в первый раз, хотя, к сожалению, не в последний, когда возвышенный идеал Шиллера превращается в плоское филистерство.

Гете отнесся спокойно к этой критике. Тем сильнее был затронут Бюргер, которому несправедливый отзыв Шиллера причинил большое страдание. Его критика Бюргера вообще отличается мелочностью. Он не стесняется даже обвинять Бюргера, что рифмы его не всегда удачны, хотя его пассив в этом отношении был еще более тяжелым, чем пассив Бюргера. В то время, как он совершенно спокойно рифмует «flühn» и «dahin», он подробно распространяется насчет того, что Бюргер допускает такие рифмы, как «blähn» и «schön». Он требует, чтобы лирический поэт никогда не черпал своего вдохновения непосредственно из собственного чувства, которое его воодушевляет, иначе это чувство «неизбежно спустится с высоты идейной всеобщности до низины несовершенной индивидуальности». Это требование в самой вандалской форме вторгается в область лирической поэзии и объясняется только тем, что Шиллеру, кроме таланта, нехватало еще понимания лирики Гете и Бюргера. Он применяет к поэзии Бюргера мерку своего «искусства идеализации» и находит все его стихотворения более или менее несовершенными. Вместо того, чтобы признать ошибочность выбранного им критерия, он позволяет себе недопустимое ут-

верждение, выходящее за пределы литературной критики: что произведениям Бюргера потому не хватает законченности, что ее нет в нем самом. К сожалению, Бюргер, на которого эта критика обрушилась как раз в последние горькие годы его жизни, не сумел отнестись к ней достаточно философски и пройти мимо нее. Он ответил на критику Шиллера и не совсем удачно, так что для внешнего мира победителем в этом споре мог казаться Шиллер. И все же Шиллер был очень неправ по отношению к Бюргеру: его не извиняет даже то обстоятельство, что в стихотворениях Бюргера он, как было кем-то сказано, подверг критике свою собственную юношескую лирику, которая теперь не могла уже устоять пред судом его собственного, «очищенного» пониманием античности, нового вкуса. Если он действительно хотел этого, то должен был обрушиться на себя самого, тем более что его юношеская лирика, хотя и подражает манере Бюргера, не обнаруживает, однако, никаких следов гения Бюргера.

#### Иена

Приглашение Шиллера в иенский университет состоялось, кажется, по инициативе тайного советника Фойгта, который хотел заполнить пробел, образовавшийся вследствие ухода одного профессора. Гете сейчас же согласился с ним и обосновал это предложение в «всепоподданнейшем меморандуме» от 9 декабря 1788 года. Сделано это было довольно сухо. Гете ссылаясь на «Историю отпадения Нидерландов», которая незадолго перед этим вышла в свет, на то, что Шиллер «не занимает никакой должности и сидит без определенных занятий» и, наконец, на то, что на эту «аквизицию расходов не требуется», — аргумент, имевший для сиятельных покровителей иенского университета решающее значение.

Шиллер изъявил готовность отказаться от определенного содержания, но уже очень скоро пожалел об этом и понял, что был одурачен. Кроме того, он считал себя научно мало подготовленным, и утешение Гете, что уча он и сам будет учиться, его только наполовину успокаивало. Скорее его ободрило уверение Кернера, что Иена от него выигрывает больше, чем он от Иены, что он вовсе не должен изучать источники, чтобы читать лекции. Шиллер утешился тем, что за неделю может легко столько перечитать и передумать, чтобы этого хватило на несколько лекций.

Но когда почтенная администрация, которая без всякого стеснения использовала его рабочую силу без всякого вознаграждения, предъявила ему счет за «дрянной титул магистра»

и потребовала от него платежа экспедиционных пошлин, и Шиллеру пришлось уплатить несколько талеров, которые он с таким трудом заработал, он готов был послать свою профессию ко всем чертям. Еще 9 марта 1789 года он писал Кернеру: «Этот человек, этот Гете, стоит на моем пути, он часто напоминает мне о том, что судьба со мною поступает жестоко. Как легко давалась его гению жизнь, и как приходится мне бороться за существование еще до сих пор! Если бы ты мог найти для меня в течение этого года жену с двенадцатью тысячами талеров, с которой я мог бы жить, к которой я мог бы привязаться, то я обещаю тебе в пять лет доставить «Фридрихиаду», классическую трагедию, и — так как ты этому придаешь особое значение — еще полдюжины прекрасных од. Пусть тогда академия в Иене...» Шиллер, однако, скоро справился с этими огорчениями и 26 мая прочел вступительную лекцию. Аудитория была переполнена студентами, которые устроили ему, — чего не случалось еще ни с каким новым профессором, — бурную овацию, а затем и ночную серенаду.

Но этот первый светлый день его академической жизни остался также и последним. «Профессорство» было так же мало его призванием, как и Лессинга. Зависть и педантство его старших коллег портили ему жизнь, а число его слушателей, первый бурный энтузиазм которых относился скорее к автору «Разбойников», с каждым днем уменьшалось в ужасающих размерах. К тому же чрезмерный труд подорвал здоровье Шиллера, которое со времени мангеймской лихорадки было изрядно расшатано. Профессура приносила ему только ту выгоду, что он получил до известной степени прочное общественное положение. А ведь он в сущности только этого и добивался, когда принял решение переехать в Иену, чтобы угодить своим старым родителям и приятельницам в Рудольштадте.

А дружба с сестрами Ленгефельд все больше и больше росла. Все еще не было ясно, к которой из них больше склоняется сердце Шиллера — к старшей или младшей. Наконец старшая решила положить конец этой неопределенности. В августе 1789 года, когда сестры вместе с Шиллером жили на курорте Лаухштедте, старшая сообщила ему, что ее сестра любит его. В сущности он и сам больше склонялся к Лотте, но в действительности он все время одинаково горячо ухаживал за обеими сестрами. Достаточно сказать, что его собственная дочь предпочла позже уничтожить все письма, которые Шиллер писал Каролине уже тогда, когда был женихом Лотты. Конечно, эта любовь к двум сестрам далеко не является той демонической

загадкой, о которой так часто говорят. Она гораздо проще объясняется слабостью чувства любви, которая была свойственна Шиллеру в его отношениях к женщинам. Все, что можно сказать на этот счет, сказал уже сам Шиллер, когда писал своей невесте в ответ на ее тревожный намек: «Каролина мне ближе по возрасту и поэтому более равна мне в области чувств и мыслей. Она сильнее заставляет мои чувства высказываться, чем ты, моя Лотта, но я ни за что не хотел бы, чтобы это стало иначе, чтобы *ты* стала другой, чем ты есть. То, чем Каролина превосходит тебя, ты должна получить от меня. Твоя душа должна развернуться в моей душе, ты должна быть *моим* созданием, твой расцвет должен завершиться в весне моей любви». Духовно Каролина привлекала его больше, но женой он хотел все же иметь менее значительное существо, которое безвольно подчинялось бы его чувствам и настроениям.

Помолвка Шиллера держалась в тайне, потому что, при своем материальном положении, он не мог еще думать о свадьбе. Снова он, вместе с сестрами, придумывал различные планы, чтобы освободиться от Иены. Большую роль играл при этом коадьютор Дальберг в Эрфурте, который оказался в конце концов тем же «пороховым огнем», что и его младший брат в Маннгейме. Наконец госпожа Штейн выхлопотала у герцога Веймарского для Шиллера такое грандиозное годовичное жалование, как двести талеров, и тогда можно было, без всякого шума, устроить 22 февраля 1790 года свадьбу в деревне Венигенцене. Ей предшествовал полный разрыв между Шиллером и Шарлоттой Кальб, которая на несколько недель позже, чем следовало, выразила согласие разойтись с своим мужем и выйти замуж за Шиллера. Разочарованная Сивилла устроила бедной Лотте дикие сцены ревности при веймарском дворе. Это сильно возмутило Шиллера, и он не без основания писал о ней: «Она никогда не была со мной правдива, разве только в минуту страсти, она хотела опутать меня при помощи ума и хитрости». Шарлотта потребовала у него назад свои письма и уничтожила их. Позже она опять помирилась с поэтом. Когда она обратилась к Шиллеру за советом, кого ей выбрать воспитателем для своего сына, он рекомендовал ей поэта Гельдерлина, а когда она, после большого успеха «Валленштейна», горячо поздравила поэта, он написал ей, — больше в духе примирения, чем в духе правды, — что очень много обязан той чистой и прекрасной связи, которая их прежде соединяла.

Но и верный друг в Лейпциге был, хотя и в силу других оснований, чем Шарлотта Кальб, недоволен браком Шиллера.

Между друзьями произошло даже маленькое охлаждение. Сейчас же после помолвки Шиллер и Кернер встретились в Лейпциге. Кернер привез с собой жену и свояченицу, а затем туда завернули на один день сестры Ленгефельд, жившие тогда в Лаухштедте. С свойственной ей, как всегда, благонамеренностью буржуазная история литературы объясняет неудовольствие Кернера тем, что его Минна и Дора были смущены «более тонкой культурой» Каролины и Лотты. Но если даже стать на такую точку зрения и даже признать за ней относительное значение, которое она могла иметь в то время, то Кернер и его дамы находились в таких многообразных отношениях с саксонским дворянством, что вряд ли они могли быть особенно поражены рудольштадтским «благородством». Кернеру, сыну лейпцигского патриция, скорее было неприятно, что Шиллер вступил в такие тесные отношения с тюрингенским придворным дворянством: И в этом отношении его заботливая дружба руководилась совершенно правильным инстинктом. Шиллер нашел в браке то, что он в нем искал—безвольную зависимость послушной жены, но его отказ от самой сути действительной общности жизни, от духовного равноправия жены отмстил ему за себя так, как всякое угнетение мстит своему угнетателю: придворные настроения его жены и ее дворянской родни отражались на нем гораздо сильнее, чем об этом когда-либо мог мечтать автор «Разбойников».

И все же для него было счастьем, что он жил в университетском городе Иене, а не в княжеской резиденции Веймаре. Наряду со всякого рода оригиналами, среди иенских профессоров было немалое число научных величин и среди бедного студенчества, на которое произвела такое сильное впечатление его вступительная лекция, несколько способных людей. Таким образом, Шиллер имел достаточный круг интересных людей, с которыми он мог тем чаще встречаться, что и после свадьбы продолжал жить на холостую ногу, так как Лотта, получившая придворное воспитание, не умела вести собственное хозяйство. Но жизнь от этого не обходилась дешевле, и Шиллер вынужден был теперь растянуть свой рабочий день до четырнадцати часов, чтобы удовлетворить возросшим требованиям совместной жизни. А литературная продукция его сводилась в это время к легкому литературному товару, вроде рецензии на стихотворения Бюргера и «Истории Тридцатилетней войны», самому легковесному из его исторических сочинений. Гешен, который опубликовал эту «Историю» в одном дамском календаре, озабоченно писал Виланду: «Новое положение Шиллера либо внесет в его жизнь постоянство и порядок, либо новые заботы, удвоенные потреб-



ности жизни, задавят его». И действительно, не прошло еще и года после свадьбы Шиллера, как он свалился.

На концерте в доме коадьютора Дальберга в Эрфурте, 3 января 1791 года, его схватил приступ «жестокой катаральной лихорадки», как называли его болезнь врачи, и наступило то состояние непрерывных мучений, от которых Шиллер уже не мог освободиться до конца своих дней. Если прежде он никогда не давал над собой воли своему физическому миру, то теперь ему приходилось отвоевывать у своего больного тела каждый час духовного творчества. В сознании этой борьбы, которую он вел так героически, как только ее мог вести смертный, он с большим правом, чем все его подражатели, мог сказать о себе гордые слова: «Только дух создает себе тело».

Три раза в течение 1791 года он в продолжение нескольких недель находился между жизнью и смертью, и только самый заботливый уход Лотты, которая в это время выявила лучшие стороны своей натуры, спас ему жизнь. Но этот тяжелый год стоил ему тысячу четыреста талеров. Материальная нужда дала себя опять жестоко почувствовать. Гордость удержала его от обращения к Кернеру. Дальберг, который обещал золотые горы, когда он станет майнцским курфюрстом, пока направил его к Карлу-Августу, а этот почтенный меценат ограничился тем, что приказал выдать поэту двести талеров на лечебную поездку в Карлсбад.

Но в это время пришла неожиданная помощь из Копенгагена. Молодой датский поэт Баггезен познакомился с Шиллером в Иене и заразил своим энтузиазмом к поэту наследного принца Августенбургского и министра графа Шиммельмана. Когда распространилась ложная весть о смерти Шиллера, они устроили в Геллербеке, у «громоизвергающего моря», в честь поэта траурное торжество, а когда затем пришло радостное известие, что поэт еще жив, но сражен тяжелой болезнью, наследный принц и его министр решили предоставить ему в течение трех лет годичное содержание в тысячу талеров с одним только условием: чтобы он восстановил свое здоровье.

Гораздо более чести приносил жертвователям не самый дар, который не имел большого значения для таких богатых людей, а способ, каким они его дали. Они писали Шиллеру: «Нам говорят, что ваше расстроенное напряженным трудом здоровье нуждается на некоторое время в продолжительном отдыхе, который восстановил бы его и устранил грозящую вашей жизни опасность... Примите наше предложение, благородный муж! Мы не знаем другой гордости, чем гордость

быть людьми, гражданами великой республики, границы которой охватывают больше, чем жизнь отдельных поколений, больше, чем пределы мира. Вы видите перед собой только людей, ваших братьев, не тщеславных людей-вельмож, которые хотят при помощи такого употребления своих богатств служить только несколько более благородной форме гордости». Протянутую ему таким образом руку Шиллер мог принять с следующими словами: «Я должен был бы краснеть за себя, если бы при таком предложении мог думать о чем-либо другом, кроме прекрасной человечности, из которой оно возникло, и нравственной цели, которой оно должно служить. С тем же чистым духом и благородством, с какими вы даете, я считаю себя в праве принять... Не вам, а человечеству я должен уплатить свой долг. Это тот общий алтарь, на который вы возлагаете свой дар, а я свято благодарность».

Менее сдержанно, но более трогательно писал Шиллер одновременно Багтезену: «С первых дней моего духовного совершеннoлетия и до сего дня, когда я пишу эти строки, я все время борюсь с судьбой, и с того самого времени, когда я научился ценить свободу духа, я был осужден на то, чтобы быть лишенным этой свободы. Опрометчивый шаг десять лет назад отрезал для меня навсегда возможность всякого другого заработка, кроме литературного труда. Я выбрал эту профессию раньше, чем взвесил все ее трудности, все ее требования. Необходимость заниматься ею свалилась на меня раньше, чем я созрел духом и приобрел нужные знания. Если я это чувствовал, если я не ограничил свое представление об обязанностях писателя теми узкими пределами, в которых я был заключен, то это только милость неба, которое таким образом оставляло для меня открытой возможность высшего прогресса, но, при существующих условиях, только увеличивало мое несчастье. Я видел, как все, что я создавал, не было достаточно зрело, как все это стояло ниже того идеала, который жил во мне. Прекрасно сознавая, что все это могло быть более совершенным, я вынужден был выступать с недозрелыми плодами пред публикой, и в то время, как сам еще нуждался в уроках, разыгрывать против собственной воли роль учителя человечества... Чего бы я не дал за два или три спокойных года, которые я мог бы, свободный от всякого литературного труда, посвятить только научным занятиям, развитию моих понятий! Удовлетворять строгие требования искусства и в то же время находить необходимую поддержку своих литературных стараний в условиях нашей немецкой литературной действитель-

ности, как я теперь нахожу, — знаю, нет никакой возможности. Десять лет я старался напряженно соединить эти два условия, но, чтобы хотя в малейшей степени добиться успеха, я вынужден был пожертвовать своим здоровьем». Еще в тот же день, когда Шиллер писал эти строки, он заказал у своего лейпцигского издателя «Критику чистого разума» Канта. Он принял твердое решение изучить философию Канта, хотя бы ему пришлось потратить на это три года досуга, которые ему обеспечивали его датские почитатели.

Несколько месяцев спустя он получил из-за границы другое известие: в августе 1792 года парижский конвент сделал его почетным гражданином французской республики, вместе с Вашингтоном, Костюшко, Клопштоком, Песталоцци и другими. Диплом, неправильно адресованный — *Sieur Gille, publiciste allemand* (г-ну Жиллю, немецкому публицисту) — попал в его руки только через несколько лет, когда Дантон и Клавьер, подписавшие его, и Ролан, автор сопроводительного письма, давно уже переселились в царство мертвых. Но через газеты факт этот стал известен уже осенью 1792 года и сейчас же вызвал в веймарских придворных сферах государственные сомнения. Само собой разумеется, что Карл-Август, в жилах которого текла кровь Веттинов, Вельфов и Гогенцоллернов, был со всей гротескной серьезностью таких карликовых деспотов «строго монархичен» и «строго консервативен». Г-жа Штейн с официозным удивлением запрашивала Лотту Шиллер, что именно мог написать поэт в похвалу французской революции. «Ожидают, что он откажется от этого отличия». «В настоящий момент, — прибавляла бывшая возлюбленная Гете, — французское право гражданства может быть только правом бандита. Было бы еще хорошо, если только богу угодно будет, чтобы французы довольствовались смешным, а не устраивали спектаклей, которые приводят в ужас все человечество». Над подобной галиматией Шиллер мог только смеяться. Он довольно хладнокровно отнесся и к такому событию, как сдача Майнца в октябре 1792 года французскому генералу Кюстину, хотя вместе с этим погибли надежды, которые возбудил в нем Дальберг.

Шиллер ограничился только спокойным замечанием: «Майнцские события могут отразиться на моих делах, но да будет господня воля! Если французы отнимают у меня мои надежды, то мне еще может прийти в голову поискать что-нибудь лучшее у самих французов». Но это был только мимолетный каприз. Уже в октябре Шиллер в письме к Кернеру причисляет себя

к «врагам революции». В декабре он хотел написать сочинение в защиту заключенного Людовика XVI. Хотя он регулярно читал «Монитор», сущность французской классовой борьбы была ему совершенно чужда. Только потому мог он думать, что такое сочинение могло бы «вероятно произвести некоторое впечатление на эти путанные головы». Но он не мог сладить со всем этим, и когда повинная голова Людовика Капета скапталась под ножом гильотины, Шиллер писал 8 февраля 1793 года Кернеру: «Вот уже две недели, как я не могу читать ни одной французской газеты, такое отвращение внушают мне эти мерзкие палачи». Самый смелый провозвестник немецкой эпохи «бури и натиска» с ужасом закрывал свою голову, когда перед ним предстала воочию буржуазная революция.

На другой день он запросил наследного принца Августенбургского, может ли он изложить ему в серии писем философию прекрасного, раньше чем отдаст ее на суд публики. Это были «Письма об эстетическом воспитании человечества», главное философское сочинение Шиллера.

### Эстетика и философия

Хотя Кернер не устал рекомендовать Шиллеру изучение Канта, поэт долго не решался взяться за эту работу. Больше всего его отпугивало от этой трудной задачи преувеличенное недоверие к объему своих познаний. Теперь, когда он наконец нашел необходимый досуг, чтобы углубиться в философию Канта, он был тем более приятно изумлен, что натолкнулся на родственный ему гений, который яснее и отчетливее, чем это было дано ему самому, взялся за решение конфликта между чувственным миром и нравственным законом и нашел это решение в искусстве. Между миром природы, миром того, что есть, и миром свободы, миром того, что должно быть, между миром явлений, в котором человеческая воля подчиняется законам природы, и миром идей, в котором господствует свободная воля человека, Кант поставил, как соединительное звено, мир искусства. Нигде не развернулся гений Канта так блестяще, как в «Критике силы суждения». Она вышла в 1790 году и была проглочена Шиллером: он нашел в ней «серединную силу», которую искал еще воспитанник академии Карла. Если докантовская эстетика признавала за искусством, как его основное содержание, только плоское подражание жизни, или амальгамировала его с моралью, или рассматривала как скрытую форму философии, то Кант в глубоко продуманной, хотя и искусственно конструированной, но богатой свободными и ши-

рокими перспективами системе доказал, что искусство представляет первичную и отличительную способность человечества.

Более критически, чем к эстетике Канта, Шиллер отнесся к его этике. «В Канте,—писал он позже Гете,—все еще остается нечто, что напоминает Лютера, монаха, который ушел из своего монастыря, но не в состоянии уничтожить всех его следов». И действительно, кантовское учение об обязанностях с его категорическим императивом есть не что иное, как философская маскировка десяти заповедей Моисея, а его учение о радикальном зле в человеческой природе—не что иное как философская маскировка догмата о первородном грехе. Спинозист Гете писал по этому поводу спинозисту Гердеру: «Потратив десятки лет, чтобы очистить свою философскую мантию от всяких грязных предрассудков, Кант опять преступно загрязнил ее позорным пятном радикального зла, и только для того, чтобы и христиане могли целовать ее край». Таково же было мнение и Шиллера, который еще за десять лет перед этим, в своей самокритике «Разбойников», самым резким образом протестовал против взгляда, что человек, по самой своей природе, склонен ко злу. Он писал Кернеру в феврале 1793 года, что учение Канта о склонности человеческого сердца к радикальному злу возмущает его чувство и что Кант вообще плохо поступает, укрепляя христианскую религию при помощи философских аргументов и подправляя гнилое здание глупости. Шиллер также осмелся поистине филистерскую причуду Канта, что не *тот* поступает добродетельно, кто помогает своим ближним в силу сочувствия к ним—он таким образом удовлетворяет только собственную склонность,—а скупец, который, в силу категорического императива и с крайним отвращением, дает милостыню.

Неспособный понять буржуазную революцию, Шиллер своеобразно видоизменил философию Канта. Из его мира природы он сделал естественное *государство*, под которым понимал феодально-абсолютное государство своего времени, из кантовского мира человеческой свободы воли—«здание настоящей политической свободы», и подобно тому как Кант мир искусства сделал соединительным звеном между миром природы и миром свободы, так и Шиллер хотел перебросить мост из естественного государства в буржуазное разумное государство при помощи эстетической культуры.

Эстетические статьи, в которых Шиллер в первую очередь разбирает взгляды Канта, делают все крайние выводы из бур-

жуазного естественного права. В одной из них сказано: «Такое расширение права собственности, при котором часть людей может погибнуть, не имеет никакого основания в природе». И в другой: «Нет ничего, что было бы более недостойно человека, как терпеть насилие, ибо насилие унижает человека. Кто подвергает нас насилию, отнимает у нас не что иное, как человечество. Кто трусливо подчиняется насилию, тот отказывается от своей человечности». А в третьей статье мы находим прекрасные слова о рабстве без рабских убеждений, которые мы привели в введении к этой биографии.

Это вовсе не значит, что Шиллер, таким образом, опять смешал эстетическое с моральным или политическим и что нелепый каламбур Ницше о «моральном трубаче из Зейкингена» имеет какой-нибудь смысл. Шиллер так же строго отделял эстетическое от морального и политического, как и Кант. Только «варварский вкус» может рекомендовать поэтам для обработки «национальные темы». Шиллер писал: «жалок был бы греческий художественный вкус, если бы его можно было найти в произведениях его поэтов только в их исторических элементах». И он думал еще дальше: «Очевидно, спутывают границы те, — кто требует моральной целесообразности в эстетических вещах и для расширения царства разума изгоняет силу воображения из принадлежащей ему по праву области». Положение Канта — предметом эстетического созерцания является не содержание, а форма — выражено Шиллером в следующей выпуклой формулировке: «Настоящая тайна художественного мастерства заключается в том, что художник при помощи формы поглощает содержание». Если эстетические работы Шиллера не всегда достигают философской глубины Канта, то его чисто эстетические суждения именно потому, что он был поэтом, зачастую формулированы и полнее, и отчетливее, чем у Канта. Если идеал красоты Канта еще сильно напоминает греческие контуры Винкельмана, если даже Лессинг готов был мириться с тем, что начальство имеет право изгонять все пошлое и низкое из искусства, то Шиллер обеспечивал пошлomu и низкому его доброе право в искусстве. Правда, он говорил, что отвратительное и низкое, крайние сторожевые посты вкуса, могут быть использованы лишь весьма осторожно и должны иметь свое оправдание только в крупной художественной задаче, но в этом пункте к Шиллеру следует относиться с некоторым снисхождением, так как прославленное открытие, что грязь, уже просто как таковая, требует художественного изображения, могло быть сделано только в более просвещенную эпоху.

В «Письмах об эстетическом воспитании человечества», которые Шиллер адресовал наследному принцу Августенбургскому, он сам ставит себе вопрос, почему он занимается эстетическими исследованиями, когда «самое совершенное из всех произведений искусства, здание истинной политической свободы», представляет «гораздо более близкий интерес», когда на политической арене «решается теперь великая судьба человечества», «великий спор о правах», в котором принимают участие все, кто носит имя человека. Он отвечает, что гнилое «здание естественного государства, правда, колеблется, но щедрый миг встречает невосприимчивое поколение». Шиллер открывает «грубые и противозаконные инстинкты» в «низших и более многочисленных классах», хотя вместе с тем и прибавляет, что «цивилизованные классы» представляют еще более отвратительное зрелище расслабления и вырождения характера, тем более возмутительное, что их источником является сама культура.

Конечно, мы можем встретить аналогичные явления у всех культурных народов, но при более внимательном рассмотрении сейчас же обнаруживается контраст между современной и прошлой, в особенности греческой формой человечества. Шиллер понимает различие между античным и буржуазным обществом. В Германии, которая еще не знает крупной промышленности и едва лишь знакома с мануфактурой, Шиллер пишет: «Вечно прикованный к отдельной маленькой части целого, человек и сам превращается только в часть этого целого, вечно прислушиваясь к однообразному шуму колеса, приводимого им в движение, он никогда не развивает гармонию своего существа и вместо того, чтобы запечатлеть в своей природе человечность, он становится только отпечатком своей профессии, своей науки». Шиллер не вдается по этому поводу в реакционные жалобы. Он, напротив, замечает: «Чтобы развить многообразные способности в человеке, необходимо было их сначала противопоставить друг другу. Этот антагонизм сил является великим орудием культуры». Но—прибавляет Шиллер—только орудием. Пока он продолжает существовать, мы находимся только на пути к культуре. Как бы много ни выигрывал весь мир, как целое, от такого раздельного развития человеческих сил, индивид страдает под гнетом этой мировой цели. «При помощи гимнастики создают, правда, атлетические тела, но только в результате свободной и равномерной игры всех членов создается красота. Подобно этому напряжение отдельных духовных сил может, правда, произвести из ряду вон вы-

ходящих людей, но только их равномерная культура—счастливых и совершенных людей. В каком отношении находились бы мы к прошлым и будущим эпохам мировой истории, если бы развитие человеческой природы требовало таких жертв? Мы были бы рабами человечества, мы в течение тысячелетий выполняли бы для него труд рабов и запечатлели бы в нашей искащенной природе постыдные следы этой рабской службы,—чтобы более поздние поколения могли в блаженной праздности заботиться о своем нравственном здоровье и развернуть свободный рост своей человечности». Шиллер и здесь делает все выводы из буржуазного естественного права, и не его вина, если это право на полпути затерялось в капиталистической прибыли и знать ничего не хочет о «государствах будущего», где сможет развернуться «свободный рост человечности».

Если эта цель, как думает Шиллер, не может быть достигнута путем борьбы между «низшими» и «цивилизованными классами», то еще меньше она может быть осуществлена в рамках естественного государства, феодально-абсолютистского государства, варварскую грубость и неизлечимое загнивание которого так красноречиво рисуют эстетические письма. Точно прозревая через туман грядущего столетия практику прусских дисциплинарных судов, Шиллер саркастически замечает, что естественное государство скорее готово будет поделиться своими слугами—и кто не согласится с ним?—с Венерой Цитерейской, богиней похотливой страсти, чем с Венерой Уранией, возвышенной богиней небес. Шиллер приходит, таким образом, к заключению, что только путем решения эстетической проблемы можно решить политическую проблему, что только через «врата красоты» можно прийти к свободе.

Эстетические письма Шиллера разоблачают тайну нашей классической литературы, они достаточно ясно показывают, почему буржуазная освободительная борьба XVIII века в Германии должна была развернуться в области искусства. Но они, разумеется, теряют под собой всякую почву, когда пытаются проложить дорогу от эстетической красоты к политической свободе. Уже в десятом письме Шиллер признает, что опыт, быть может, не есть то судилище, пред которым можно решить этот вопрос, и чем больше он углубляется в свои богатые мыслями исследования, тем больше средство становится для него целью. Он старается формулировать свою основную мысль и в следующем положении: «В своем *физическом* состоянии человек только подчиняется силе природы, в *эстетическом*—он



освобождается от нее, и в *моральном*—он господствует над ней», но эстетические письма кончаются все же «эстетическим государством», как конечной целью. «Вкус накидывает на физическую потребность, которая в своем голом виде оскорбляет достоинство свободного духа, свое мягкое покрывало и скрывает от нас бесчестящее родство с материей в привлекательном призраке свободы. Окрыленное им, даже раболопное, продающее себя за деньги искусство поднимается из праха, и оковы рабства одинаково спадают и с мертвого, и с живого. Именно здесь, в царстве эстетической видимости, осуществляется идеал равенства, который мечтатели хотели бы так охотно воплотить в жизнь. И если правда, что прекрасное раньше всего и полнее всего созревает вблизи трона, то и здесь приходится признать благодать судьбы, которая часто ограничивает человека в действительной жизни только для того, чтобы вытолкнуть его в идеальный мир». В заключение Шиллер отвечает на вопрос, существует ли такое государство прекрасной видимости и где его можно найти. Оказывается, что оно, как потребность, существует в каждой тонко чувствующей душе, но что фактически оно, подобно чистой церкви и чистой республике, существует только в немногих избранных кругах.

Таким образом, этот эстетически-философский идеализм сам провозглашает себя игрой, при помощи которой избранные гении золотили печальные стены своей тюрьмы. Было бы только вопиющей насмешкой над голодающими массами, если бы им рекомендовали освободиться от своих оков только в «чарующем мираже свободы».

### На родине

В феврале 1793 года Шиллер запросил наследного принца Августенбургского, может ли он адресовать ему свои «Письма об эстетическом воспитании человека», но только через два года они начали выходить в свет. За это время в жизни Шиллера произошла глубокая перемена.

В августе 1793 года он отправился в долгое путешествие на старую родину, в первую очередь с тем, чтобы опять повидаться с своим семидесятилетним отцом. Мать и младшая сестра приезжали уже к нему годом раньше в Иену. Но у него были и другие мотивы посетить старые родные места. «Любовь к родине во мне сильно ожила,—говорил он,—и шваб, которого я, казалось, совершенно совлек с себя, дает себя опять крепко чувствовать». В сущности, несмотря на свои космополитиче-

ские взгляды, он всегда оставался настоящим швабом: швабский кантон был для него всегда «отечеством».

Он знал, что скоро должен стать отцом. В сентябре Лотта родила первого ребенка—сына. Ему казалось, что потухающий факел его жизни передал свой огонь новому светочу, и он чувствовал себя примиренным с судьбой. Болезнь не оставляла его и в пути. Его мучили также грызущая забота о будущем и сомнения в своем таланте, который, как он жаловался, не находил никакой новой пищи. Именно в это время у него вырвалась горькая жалоба: «Дай, господи, чтобы мое терпение не лопнуло и чтобы жизнь моя, которая так часто прерывается настоящей смертью, сохранила еще для меня некоторую ценность».

Однако годы борьбы Шиллера кончились вместе с этим возвращением на родину, как они когда-то начались бегством с нее. Встреча с старыми товарищами по академии Карла показала ему, как далеко он их оставил за собой. Он нашел, что они «омужичились», тогда как он импонировал им как «законченный человек». «Шиллер стал совсем другим человеком,—пишет о нем школьный товарищ,—его юношеский пыл смягчился, манеры его стали более приличны, старую небрежность в туалете сменила выдержанная элегантность, худощавая фигура, болезненно бледное лицо делали его наружность весьма интересной. К сожалению, почти ежедневно припадки болезни мешали наслаждаться его обществом, но в те часы, когда он себя чувствовал лучше, богатство его мыслей лилось полным потоком». Даннекер, тоже воспитанник академии Карла, сделал тогда известный бюст Шиллера, ибо «шваб *должен* воздвигнуть швабу памятник». Шиллер мог также посетить, к великой радости студентов, академию Карла, так как его старый враг Карл-Евгений умер вскоре после приезда поэта.

Так Шиллер мог провести в Швабии много счастливых дней. Из Гейльбронна, где он сначала остановился, он переехал в Людвигсбург и Штутгарт, всегда поддерживая оживленные сношения с родными. Отец, долгие годы следивший за приключениями своего «любимого Фрица», всегда «больше с опасением, чем с надеждой», теперь очень гордился своим знаменитым сыном. Маленькую размолвку в счастливую семейную жизнь внесла только Каролина Бейльвиц, которая тоже приехала в Швабию и здесь наконец услышала мольбы своего Вильгельма Вольфогена. Она уехала с ним в Швейцарию еще раньше, чем официально развелась с своим мужем. Не столько

это нарушение священных устоев, сколько его убеждение, что «эти два человека» не годятся друг для друга, внесли сильное охлаждение в когда-то очень пылкие отношения Шиллера к сестре его жены. Каролина с своим новым мужем переехала в Веймар, где Вольцоген стал камергером и обер-гофмейстером, тайным советником и министром. Всеми этими милостями осыпал его великий меценат, Карл-Август, который его зятю-бюргеру, хотя он и носил имя Фридриха Шиллера, согласился выдавать только милостыню в размере двухсот талеров ежегодно.

К счастью Шиллера, он нашел теперь в Швабии предпринимчивого издателя, который с того времени избавил его от всяких материальных забот. Все еще неутомимый по части составления различных планов, Шиллер уже давно носился с мыслью основать крупный журнал, вокруг которого могли бы сгруппироваться лучшие литературные силы Германии, но этот план не встретил никакого сочувствия у его старого издателя Гешена. Зато книгопродавец Иоган-Фридрих Котта в Тюбингене охотно согласился на предложение Шиллера. Котта стал для него не только опытным и доброжелательным издателем, он сделался другом, на порядочность и честность которого Шиллер мог всегда твердо рассчитывать. Переписка, которая завязалась между ними, приносит им одинаковую честь. В денежных делах они всегда относились друг к другу, как приличные люди. И если некоторые смелые проекты встречали у Котта только теоретическое признание, что они содержат «великое и оригинальное» зерно, то это было не во вред Шиллеру. Котта не был мелочным человеком и доказал это уже на первых порах их дружбы. Он сначала предлагал поэту стать редактором большой ежедневной газеты, которую собирался основать и действительно основал, «Всеобщей газеты», но когда Шиллер отклонил его предложение, он охотно согласился на его план, который задуман был с самого начала слишком идейно, чтобы хорошо себя оплачивать коммерчески. Когда Шиллер в середине мая вернулся в Иену, то уже было твердо решено, что новый журнал будет выходить начиная с января 1795 года под названием «Оры» (Horen), как греки называли трех сестер богинь, в которых они чтили мировой порядок, равномерный ритм солнечного бега.

Месяц спустя Шиллер обратился к Гете с предложением принять участие в «Орах». С этого времени начинается их дружба, которой открываются годы мастерства Шиллера.

### III. Годы мастерства

#### Гете и Шиллер

Хотя Гете и Шиллер уже шесть лет прожили друг возле друга, встречи их носили только случайный или официальный характер. Нет сомнения, что инициатива такой сдержанности и холодности исходила от Гете, который и сам никогда не отрицал этого.

Но если факт не подлежит никакому сомнению, то нам не совсем ясны его причины. Основания, которые приводил Гете, сводятся к тому, что, вернувшись из Италии, где он вырабатал себе более ясные и определенные взгляды на искусство, он увидел, что произведения искусства, которые были ему в высшей степени отвратны, как «Разбойники» Шиллера и «Ардингелло» Гейнзе, пользовались большим успехом. Шиллер был ему ненавистен, потому что могучий, хотя и незрелый талант бурным увлекающим потоком наводнил отечество как раз теми самыми этическими и эстетическими парадоксами, от которых он сам старался себя очистить. Как мог он конкурировать с этими произведениями гениальной ценности и дикой формы? Он поэтому отклонил все попытки устроить сближение между ним и Шиллером.

Это объяснение Гете сотни раз перепечатывалось без всякой критики и снова приводится каждый раз, когда говорят о дружбе Гете и Шиллера. А между тем достаточно напомнить несколько хорошо известных дат, чтобы понять, что оно не выдерживает критики. В 1781 году появились «Разбойники», в 1783—«Фиеско», в 1784—«Коварство и любовь». А Гете уехал в Италию в 1786 году и вернулся в Веймар в 1788. Следовательно, поскольку речь идет о Шиллере, Гете нашел положение, которое уже существовало задолго до его итальянского путешествия. Если оно даже изменилось, то только к лучшему, потому что драма «бурных гениев» в 1788 году еще более вышла из моды, чем в 1786. Первое поэтическое произведение Шиллера, которое Гете прочитал после своего возвращения и которое он хвалил,—он только считал его чрезмерно длинным,—было «Боги Греции».

В этом, конечно, со стороны Гете не было сознательной неправды. Такие ошибки памяти с ним часто случались в старости, когда он вспоминал о молодых годах. Напомним только «знаменитое место», где он превращает наемников старого Фрица в акушеров нашей классической литературы. Но если даже

ограничиться только Шиллером, то ведь Гете как раз о самом плодотворном времени их совместной работы отзывался позже в самых пренебрежительных выражениях: «Сколько времени потратил я с Шиллером на «Оры» и альманахи муз! Как раз теперь, когда я пересматриваю нашу переписку, я все это живо себе представляю и не могу без досады опять думать о тех предприятиях, для которых нас так плохо использовали и которые прошли для нас самих бесследно». Это несомненно сказано вполне искренно, но это столь же несомненно не соответствует действительности, хотя Гете писал эти строки сейчас же после просмотра документального материала.

Жизнь Гете и Шиллера, до их встречи, протекала совершенно противоположными путями. Гете, сын франкфуртского патриция и веймарский министр, принадлежал к господствующим классам своего времени, его бунт против мерзости запустения немецких условий был бунт гениального художника против удушающей и ограниченной филистерской жизни. Даже бунтуя, он не затрагивал социальных условий. Наоборот, Шиллер развился как поэт именно в борьбе с этими условиями. Когда он перестал чувствовать недостойное иго, против которого он снова и снова возмущался, им овладели мучительные сомнения в своем поэтическом призвании, сомнения, которых Гете никогда не знал. Гете всегда оставался великим художником, который мог и хотел жить только в атмосфере искусства, у которого все «виденное и прочувствованное и пережитое стремилось к ясному выражению, не проходя через силу познания». Шиллер в последнем счете принадлежал к буржуазным просветителям, вместе с Дидро, Руссо и Вольтером, Лессингом и Гердером, которые искали в области эстетики, истории, философии, поэзии сокрушительное оружие против феодального мировоззрения.

Правда, у Шиллера, больше чем у всех них, преобладал поэтический гений, и только в области поэзии воплощались для него в жизнь эстетическое, историческое, философское. Но его художественное творчество не было суверенно могущественным. Один из его биографов прекрасно замечает: Гете находит темы, Шиллер ищет их. Еще более метко замечает, с свойственным ему художественным чутьем, Геббель: глубокий анализ произведений Шиллера показывает, что творческий акт у него происходил не в чистой форме, что зарождение и порождение не были связаны у него непосредственно, а далеко расходились во времени. Эта особенность не всегда проступает одинаково резко, но она почти всегда замечается и придает

всем поэтическим произведениям Шиллера—как драматическим, так и лирическим—нечто двойственное, что отводит им, как поэтическим произведениям Руссо, среднее место между огненными порождениями фантазии и холодными продуктами рассудка.

Внутренняя противоположность между Гете и Шиллером никогда не могла быть преодолена—даже при помощи философии Канта, и именно при его помощи меньше всего. Шиллер сам называет духовный склад Гете интуитивным, а свой—спекулятивным. Гете восходил от индивида к идее, в то время как ему прежде всего дается идея, с которой он спускается к индивиду. Действительно, Гете сам думал, что у него нет способности к философии в собственном смысле этого слова. Он не любил, как он однажды метко выразился, «огораживаться общими понятиями». Лучше всего он понимал философию Спинозы, да и то лишь великие основные идеи ее: единство всего сущего, закономерность всех явлений, тождественность духа и природы. Гете не подписался бы под всеми его сочинениями и знать ничего не хотел о «математической и раввинской культуре» Спинозы. В философии Канта его не привлекали даже основные идеи, в лучшем случае он их вежливо отклонял, а иногда и очень резко; ему нравилась только эстетика Канта, так как в ней он нашел в форме ясных законов то, что бессознательно создал сам в процессе гениального творчества.

В корне различная манера обоих поэтов, именно как поэтов, легко объясняет, почему Шиллера гораздо более тянуло к Гете, чем последнего к Шиллеру. С свойственной ему честной и резкой самокритикой Шиллер видел в Гете образец и пример, правда, недостижимый для него, но помощь которого для него могла иметь только высокую ценность. Шиллер называл себя «поэтическим нищим» в сравнении с Гете; в статье о «Наивной и сентиментальной поэзии» он отчетливо указал все, что их разделяло, в своих стихотворениях «Гений» и «Счастье» он дал поразительные характеристики особенностей гетевской поэзии. Но не только в то время, когда его связывала тесная дружба с Гете, Шиллер признавал его поэтическое превосходство,—уже тогда, когда он так тщетно добивался дружбы Гете, он скромно отклонил от себя хвалу, которую хотел ему воздать за счет Гете его друг Кернер. Если буржуазные историки литературы возмущаются теми «низкими и противными» замечаниями, которые Шиллер позволял себе по поводу Гете в старое время, то они ищут это низкое и противное не там, где следует, когда они вылавливают гневные слова, которые вырвались

у Шиллера во время оно, в пору отвергнутой любви к «этому человеку», стоящему на его пути. Это только мелочи, которые можно было бы ставить в счет Шиллеру, если бы он действительно был той сентиментальной бабой, каким его, к сожалению, слишком часто изображают.

Здоровые натуры почувствуют скорее еще больше симпатии к Шиллеру, когда прочтут его рассуждения о недоступном для него поэте: «Я смотрю на него, как на гордую красавицу, которой нужно сделать ребенка, чтобы унижить пред людьми. Он возбуждает во мне странную смесь ненависти и любви,— чувство, в известной степени сходное с тем чувством, которое питали к Цезарю Брут и Кассий. Я мог бы его убить и опять любить от всего сердца. Гете сильно влиял на то, что я хотел бы как можно лучше обработать мое стихотворение («Художники»). Я особенно дорожу его отзывом... Мне вообще очень хочется знать правду о моем произведении. Именно Гете один из всех, кого я знаю, может оказать мне эту услугу. Я хочу окружить его шпионами, ибо сам никогда не спрошу его об этом». В этих словах Шиллер, как человек, высказывается более правдиво, чем во всех торжественных сентенциях, которые цитируются из его произведений.

Гете не чувствовал такой потребности в сближении с Шиллером, но так как он знал очень хорошо, что Шиллер не является уже только автором «Разбойников», то он теперь, казалось, уже не имел никакого основания уклоняться и дальше от такого упорного ухаживания. Однако такое основание существовало, и его очень легко установить, если только сопоставить несколько фактов. Летом 1786 года Гете уехал в Италию, как возлюбленный госпожи Штейн, но он уже перестал им быть, когда вернулся в июне 1788 года. В июле он заключил свободный брак с Христианой Вульпиус, в сентябре он встретился в первый раз с Шиллером в интимном кругу госпожи Штейн, в том самом кругу, который с этого времени начал отвратительную кампанию сплетен против бедной Христианы, вся вина которой заключалась в том, что ее любил Гете, хотя она была только работницей в мастерской искусственных цветов.

Теперь нет никакой нужды защищать Христиану от ядовитых сплетен, которые пустили в оборот против нее всякие придворные бабы. В ее защиту говорят два почетных памятника: письма матери Гете и венок бессмертных песен, которым украсил ее Гете. Когда он, уже почти восьмидесятилетний старик, смотрел однажды из садовой беседки на сад, в котором он ее в первый раз встретил, он написал новую песню, кото-

рая, точно свежий и теплый источник, прорвалась через за-  
тейливые рифмы «Китайско-немецких песен».

Она была прекрасней дня;  
Досель—простить должны вы—  
Ее забыть не в силах я,  
В природе особливо.  
В саду тогда ко мне она  
Приблизилась с приветом;  
Навек душа моя полна  
К ней нежностью за это.

Когда Гете и Христиана заключили свой союз, оба были свободны и не нарушали прав третьего лица. Их строгими цензорами нравов явились как-раз не придворные дамы, которые, как госпожа Штейн, госпожа Кальб, госпожа Бейльвиц-Вольцоген, имели, как жены и матери, в своем пассиве более тяжкие грехи даже в том случае, когда они, как госпожа Кальб в ее отношениях с Шиллером, благоразумно и мелочно сохраняли свою анатомическую невинность и отказывались сами от права на страсть. По всей вероятности, в этом обществе только одна Лотта Шиллер имела право, с ограниченно-филистерской точки зрения, судачить по поводу Христианы, не вызывая на свой счет презрительных насмешек, и, как оруженосец госпожи Штейн, она это право использовала самым бесцеремонным образом. Правда, хуже всего она вела себя после смерти Шиллера, когда, после того как Гете уже сочетался с Христианой церковным браком, делала полагающийся реверанс пред «госпожей тайной советницей», с тем, чтобы за ее спиной злобно отпускать злые шутки по адресу «толстой половины». Но и сам Шиллер не остался в стороне от этой отвратительной кампании. Он не сумел посмотреть на сердечный союз, который Гете заключил с Христианой, так человечески-снисходительно, как это сделал генеральный суперинтендент Гердер и даже герцог Карл-Август. Он расхвалил драматическую нелепицу, которой госпожа Штейн отомстила Гете, изобразив себя покинутой Дидоной. В письмах к Кернеру он не без удовольствия подробно пересказывает сплетни этих придворных дам. Первый раз он писал об этом в ноябре 1790 года. Кернер, как рассудительный человек, сначала отнесся к этому отрицательно, но постепенно и он сдался. Когда, десять лет спустя, Шиллер опять жаловался на «скверные домашние условия» Гете, Кернер в свою очередь на самый филистерский манер согласился, что Гете не может относиться с уважением к женщине, которая ему так безоглядно отдалась.



Из переписки Гете с матерью видно теперь, что «скверные домашние условия», по поводу которых так волновались эти добрые души, на деле не существовали. Нет сомнения, что Христиана делала еще больше орфографических ошибок, чем дворянские сплетницы, но зато у нее сердце находилось на настоящем месте, и если она плохо разбиралась во всяких придворных пустяках, то она научилась работать и, несмотря на сравнительно ограниченные средства, прекрасно вела большое домашнее хозяйство Гете. Только непрошенное вмешательство недоброжелателей вносило расстройство в домашнюю жизнь Гете. И очень неприятное впечатление производит, что Шиллер, как муж почти придворной дамы, мог вместе с ней ставить в укор Гете, что он женился на пролетарской девушке и посвятил ей столько бессмертных песен.

В той невероятно тесной обстановке, в которой тогда протекала жизнь в Веймаре и Иене, для Гете не могло остаться тайной, как в доме Шиллера относились к его домашней жизни. Только таким образом можно объяснить холодную сдержанность, которую Гете проявлял по отношению к Шиллеру. Она не исчезла без остатка даже тогда, когда они стали друзьями. На приглашение Шиллера принять участие в «Орах» Гете ответил только обычными вежливостями. Сближение произошло лишь позже, когда через несколько недель, при случайной встрече в Иене, у них завязалась продолжительная беседа. Ссылаясь на этот разговор, который вызвал у него «массу идей», Шиллер опять написал 23 августа большое письмо Гете, в котором своими меткими суждениями о поэтическом гении Гете доказал, что способен его понять и достоин того, чтобы вместе с ним работать. Гете на этот раз откликнулся дружеским письмом.

И все же из их отношений не выросла такая дружба, как та, которая связывала Шиллера с Кернером, или Гете не только в молодые годы с Гердером, но и в более зрелые годы с Цельтером. Когда Гете, незадолго до смерти, издал свою переписку с Шиллером, Берне следующими словами характеризовал отношения обоих друзей: «Гете никогда не забывает своего сюзеренитета над Шиллером. Мы видим, как он часто смеется над его чопорностью и относится к нему милостиво и снисходительно, как к книжному поэту». В такой форме отзыв не совсем правилен и является преувеличенным. Если Шиллер в этой переписке является нам, главным образом, как получающий, то это объясняется разницей лет и дарований. Гете был слишком велик, чтобы позволить себе такой тон милостивого снисхожде-

ния. Но все-таки всякий непредубежденный читатель легко заметит в письмах Гете к Шиллеру известную сдержанность. Характерно также, что если жена Шиллера в девятьсот девяносто девяти письмах всей этой переписки упоминается много раз, то Христиана каждым из них упоминается только по одному разу. Гете—в полной достоинства форме, вполне соответствующей его позднешему заявлению, что Христиана всегда была его женой: «Сегодня (13 июля 1796 года) у меня знаменательный день: прошло восемь лет со времени моей женитьбы и семь лет с начала французской революции», у Шиллера—в бестактной и оскорбительной форме, когда он через три месяца мимоходом извещает Гете, что просил «мадемуазель Вульпиус» доставить ему, если она может, в отсутствии Гете какую-то книгу из его библиотеки. Гете сообщает Шиллеру о рождении и смерти своих детей; Шиллер поздравляет и соболезнует. Сыновья обоих друзей встречаются друг с другом, но мать гетевских детей никогда не упоминается. Как складывались эти странные отношения при частых посещениях Шиллера в самом доме Гете, мы не знаем.

Пройти мимо этих досадных вещей, как это делают буржуазные историки литературы, было бы так же неуместно, как из-за этих вещей забыть, что десятилетняя совместная работа Гете и Шиллера представляет вершину нашей классической литературы, с которой стекали бесчисленные оплодотворяющие потоки, вливавшиеся в духовную жизнь нации. Их слава состоит в том, что они могли подняться над убогой и ограниченной средой, в которой были осуждены жить. Однако понять, как могли они дышать в разреженном воздухе этой вершины, можно только тогда, когда хорошо знакомишься с отвратительной жизнью того уголка, где их иначе ждала бы духовная смерть.

### Философские стихотворения

Первая и самая главная выгода, которую Шиллер извлек из дружбы Гете, это вновь пробудившаяся уверенность в своем поэтическом даровании. После того как муза его молчала в течение долгих лет, он мог в 1795 году сказать словами Гете, что для него открылся вновь неиссякаемый источник проникновенных песен.

Однако Гете на первых порах не принимал никакого или только косвенное участие в новой лирике Шиллера. Действительным акушером этой лирики является Вильгельм Гумбольдт, который, восемью годами моложе Шиллера, стал членом его

круга после того, как женился на приятельнице сестер Ленгфельд, Каролине Дахерден, единственной выдающейся женщине в среде этого тюрингенского мелкого дворянства. Гумбольдт жил несколько лет в Иене, раньше чем предпринял ряд больших путешествий, а в 1795 году, вследствие болезни матери, поселился в своем родном имении Тегеле, около Берлина, и оттуда завязал оживленную переписку с Шиллером. Чрезвычайно отзывчивый и всесторонний, но очень мало и с большим трудом производящий ум, питавший большое отвращение к бездушному и грубому механизму тогдашнего государства, которое, в его прусской разновидности, было ему хорошо известно на основании собственного опыта, получивший прекрасное классическое образование, увлекающийся эстетическими и философскими проблемами, Гумбольдт читил в Шиллере не философа, который поэтизирует, или поэта, который философствует, а гения, в котором эти два различных течения возникали из одного источника, который владел обоими, потому что не мог владеть только одним из них.

Действительно, Шиллер был крупным историком только в драме и крупным философом только в лирике. В эстетических работах, хотя они иногда отличаются обилием интересных мыслей, Шиллер—только ученик Канта, старавшийся, не всегда с успехом, развить дальше учение своего учителя. Напротив, в философских стихотворениях Шиллер выступает по отношению к своему учителю вполне самостоятельно. В «Критике чистого разума» Кант разрушил ложную видимость трансцендентного (выходящего за пределы опыта) разума, в «Критике практического разума», наоборот, развил мир идей, основанный не на опыте, и не только защищает его права на существование, но и подчиняет все эмпирическое познание миру нравственных идей, допуская настоящее научное познание лишь там, где все наше понимание вещей упорядочено научно, только под условием, что здание всей системы определяется целью нашего существования, следовательно, нравственным принципом. Кант, как вполне верно замечает самый выдающийся новокантианец, Альберт Ланге, вовсе не был только критиком, как это кажется. Он является творцом спекулятивной системы, которая не только сочинила неизменные и необходимые, как таковые, этические идеи, но еще хотела подчинить этим идеям все знание. К тому же эти идеи сами были только мелкобуржуазной настойкой стародавней теологии. Кант даже рекомендовал свою критику разума правительствам, как вернейшее средство держать народ в неразумии и таким образом не только сохранить его от заразы атеизма,

материализма и всякого вольнодумного суеверия, но и воспитать в нем полное равнодушие ко всяким философским и поповским дискуссиям.

Философская поэзия Шиллера относится к философской прозе Канта, как новый завет к старому. Шиллер сам наводит на это сравнение в письме, которое он написал Гете 17 августа 1795 года, когда только-что закончил свое крупнейшее философское стихотворение «Царство теней», которое он после перекрестил в «Идеалы и жизнь». Он говорит в этом письме: «В христианской религии, по моему мнению, заложена основа для развития всего высокого и благородного. Различные формы его проявления в жизни кажутся только потому противными и нелепыми, что они представляют неудачные формы проявления этого высшего. Самая характерная черта христианства, которая отличает его от всех монотеистических религий, заключается в том, что в нем уничтожен закон, кантовский императив, на место которого христианство хочет поставить свободную склонность. Это есть, следовательно, в его чистой форме, проявление прекрасной нравственности или очеловечения священного и, в этом смысле, единственная эстетическая религия». И именно в этом смысле Шиллер отвергает кантовские императивы, десять заповедей Моисея, чтобы поставить на их место свободную склонность, которой человек спасается эстетически.

В мире искусства, в «жилищах светлых, где мы находим форм нетленных совершенство», «живет царство идеала», в которое должен бежать человек из «тесной душевной жизни», чтобы избавиться от «страха земного». Эта основная мысль все снова возвращается в философских стихотворениях Шиллера, как «Царство теней», «Власть песнопения», «Танец», «Раздел земли», «Пегас в ярме» и многие другие. В мире красоты господствует свобода мысли, спадают цепи закона, исчезают пределы чувств. Только в нем единственное спасение от тяжелой рабской жизни, которая пригибает человека к земле.

Отрешившись от земного плена,  
Бог бросает оболочку тлена  
И, как пламя, ищет глубь небес.  
Наслаждаясь веяньем эфира,  
Ввысь течет он, и земного мира  
Тяжкий сон ушел, пропал, исчез.  
На Олимпе с пением встречают  
И ведут его в Зевесов зал,  
Где богиня юная вручает  
Гостю нектара бокал.

Мы должны отказаться от подробного анализа философских стихотворений Шиллера не только по недостатку места, но и вообще. Гумбольдт совершенно верно замечает, что философская поэзия Шиллера не только облекает идею в поэтическое одеяние, но и производит ее. Являющаяся читателю идея лежит по ту сторону пропасти, через которую рассудок не может перебросить никакого моста, через которую может перепрыгнуть только поэтическая вдохновенная сила воображения. Именно потому Геббель сплетает вместе очень ошибочное и очень истинное, когда, желая провести различие между гением и талантом, говорит, что в гении всегда имеется что-то совершенно новое, тесно связанное с определенным индивидом, и затем прибавляет, что самый посредственный поэт, который воспевает закат солнца или сочиняет сонет на майского жука, мог бы, если бы увеличить его силу в миллионы раз, создать такое стихотворение, как «Прогулка» Шиллера, но что Шиллер никогда не мог бы написать гетевского «Рыбака» или «Лесного царя». Как-раз то самое определение гения, которое дает Геббель, применяет Гете к философским стихотворениям Шиллера, среди которых одно из первых мест занимает «Прогулка». «Своеобразная сила творчества Шиллера заключалась в идеальном, и можно сказать, что он не имеет себе равного ни в немецкой, ни в какой другой литературе». И то же самое писал Август-Вильгельм Шлегель, который кое-что понимал в искусстве: «Я часто перечитывал в последние дни «Царство теней», и каждый раз оно производит на меня впечатление совершенно единственного в своем роде и, если бы я не имел его пред собою, чего-то совершенно немыслимого».

Но если Шиллер был крупным философом только, как поэт, то и его философская поэзия доставляет только эстетическое наслаждение. Новый завет представляет большой прогресс в сравнении с старым, но он все же остается *еще* религией, совершенно в духе Шиллера, который, из чувства религиозности, не хотел признавать *ни одну* из существующих религий. Эстетическое искупление не уничтожает дуализма, а, наоборот, все еще только предполагает его. Спасения в потустороннем мире ищет только тот, кто не может себе помочь в посюстороннем. Только на фоне безнадежной действительности является идеализм Шиллера возвышенным, и он стал таким же жутким, как и любой религиозный призрак, как только действительная жизнь перестала быть безнадежной. Шиллер сам сделал этот шаг от возвышенного к смешному, когда на пороге девятнадцатого столетия, в эпоху, когда «две могущественные нации бо-

ролись за нераздельное обладание миром», внушал немецкому филистеру бодрость в следующих словах:

В недра духа, где молчит невзгода,  
Ты беги от жизненных забот.  
Только в царстве снов живет свобода,  
Только в песне красота цветет.

Еще хуже звучала «Песнь о колоколе», в которой Шиллер, к вящему прославлению немецкого мещанства, осыпает французскую революцию отвратительными ругательствами.

Но к концу своей жизни Шиллер сам понял, что в своем идеализме он гонялся за призраком. В последнем из своих философских стихотворений он изображает, как в дни своей золотой весны он покинул отеческий кров, отказавшись от наследства, радостно отрехшись от всяких благ:

Голос веры мне глубоко  
Волновал надеждой грудь;  
Он шептал: на край востока  
Ты иди, свободен путь.  
И, сокрыт вечерней мглой,  
Ты придешь к золатым вратам,  
В них проникни: все земное  
Станет дивно-вечным там.  
Ночь пришла, и ночь минула,  
Я все шел и шел вперед;  
Но надежда обманула,—  
Нет, чего так сердце ждет.  
Через горы и потоки  
Приходилось мне итти,  
Пропasti свой зев широкий  
Разверзали на пути;  
Наконец к реке, чьи волны  
Устремлялись на восток,  
Я пришел и, веры полный,  
Бросился в ее поток.  
И к безбрежным далям моря  
Донесла меня река;  
Пусто на его просторе,  
Цель все так же далека.  
Ах, дойти к ней невозможно!  
Ах, на землю не сойдут  
Небеса! И непреложно:  
То, что там, вовек не тут.

Стихотворение это написано в 1803 году, но в богатом собрании философских стихотворений, относящихся к 1795 году, находится также одно, которое свободно как от боязливых сомнений, так и от обманчивых надежд. Если Гумбольдт считал это стихотворение Шиллера наименее удачным, то Гете, наобо-

рот, ставил его очень высоко. Оно оплакивает рассеявшиеся идеалы юности, но не создает себе нового царства идеала в облаках. Его заключительные строки говорят нам, к какому мужественному признанию пришел теперь поэт.

Труд, что усталости не знает,  
Что созидая вновь и вновь,  
На стройку вечности приносит  
Пускай лишь пригоршни песка,—  
Но этим дни и годы сносит  
Со счета вашего, века!

Победив в себе поэта и философа, человек-Шиллер признает только евангелие труда, который, через все земные страдания, доставшиеся когда-либо на долю смертному, освятил его жизнь до последнего вздоха.

### «Ксенин»

Философские стихотворения Шиллера были опубликованы частью в «Орах», частью в Альманахе муз, который он издавал от 1796 до 1801 года. Альманах пережил на два года «Оры», которые выходили в свет только в течение трех лет.

Богатый всякими планами, как поэтическими, так и деловыми, Шиллер зачастую принимался за их выполнение, слишком быстро, без достаточной подготовки. Так и «Оры», хотя он и долго носился с ними, оказались в конце концов недоношенным продуктом. «Дух Шиллера должен был искать себе проявления», — заметил позже Гете. Было действительно смешно вспоминать, с какой помпой были возведены вместе с началом его переписки с Шиллером «Оры» и как сейчас же после этого редакция и сотрудники с тревогой разыскивали новые рукописи.

«Оры» должны были высказаться обо всем, что можно было обсуждать со вкусом и с философской точки зрения. Страницы их были открыты как философским и историческим рассуждениям, так и поэтическим произведениям. Все, что интересовало только ученого читателя или могло нравиться неученому читателю, безусловно исключалось, но особенно и безусловно не допускалось все, что относится к государственной религии и политическому устройству. Если это подчеркивалось в приглашениях к сотрудничеству, то еще резче сказано это было в объявлении о выходе журнала. «В такое время, когда близость войны тревожит родину, когда борьба политических мнений и интересов возобновляет эту войну почти во всех углах родины и зачастую изгоняет из них муз и граций, когда ни в

разговорах, ни в злободневных писаниях нельзя избавиться от захватившего всех демона критики государства,—в такое время становится настоятельной потребностью путем возбуждения более общего и высокого интереса к чисто человеческому, стоящему выше всяких злободневных интересов, опять освободить умы и объединить политически-разделенный мир под знаменем истины и красоты». В числе сотрудников, которых называет объявление об издании журнала, мы находим имена Фихте, Генца, Гете, Гердера, обоих Гумбольдтов, Шиллера, Шлегеля и коадьютора Дальберга.

Это была могучая фаланга. Издатель и редакция оказались очень предприимчивыми и в деловом отношении. Они не чурались даже и весьма сомнительных средств. С ведома Шиллера Котта поместил в Иенской литературной газете рецензию на «Оры», которые он сам оплачивал. Шиллер, который десять лет назад в своем объявлении о выходе уже почившей «Талии» восторженно объявлял публику своим сувереном, теперь сухо заметил, что публике нужно пустить пыль в лицо. Гете тоже относился к публике свысока. В первом выпуске журнала он поместил «Беседы» немецких эмигрантов, о которых даже верный Кернер писал: «Что собственно хочет Гете сказать этими беседами? Первую часть я еще понял, и я узнал его в некоторых местах. Во второй меня заинтересовало содержание первого рассказа. Но о третьей части я уже не знаю, что сказать. Со всех сторон я слышу жалобы на эти статьи, и если я их защищаю, меня обвиняют в пристрастии». Филистерская чопорность протестовала и против таких великолепных вещей, как «Римские элегии» Гете. Даже в высокопросвещенном Берлине, по сообщению Гумбольдта, только «очень немногие» поняли грандиозное «Царство теней» Шиллера. Его «Эстетические письма» удостоились в одном очень распространенном журнале следующей рецензии: «Стиль Шиллера представляет не что иное, как бесконечно противную смесь напичканных ученостью отвлеченных и беллетристических фраз, длинный ряд риторических выкрутас и утомительных антитез, которые в таком количестве не могут найти себе никакого обоснования в существе дела». Статьи других сотрудников—Гердера и Гумбольдта—оказались также недоступными пониманию обыкновенных читателей.

Но если часть вины за неудачу «Ор» падает несомненно на Гете и Шиллера, то новый журнал, главным образом, потерпел крушение в силу «сопротивления тупоумного мира». Неудовольствие по этому поводу впервые возникло у Гете, хотя



по такому поводу, который не касался непосредственно «Ор». Осенью 1795 года Фридрих-Леопольд Штольберг, который напал еще на «Богов Греции» за их антихристианское настроение, издал перевод диалогов Платона с предисловием, о котором Гете писал Гумбольдту: «Видели ли вы чудовищное предисловие Штольберга к его платоновским диалогам? Очень жаль, что он не стал попом, ибо такой склад ума именно и пригоден для того, чтобы без всякого стыда возвысить на степень бога пред всем образованным миром простую облатку». В этом же роде он писал Шиллеру: «Читали ли вы уже ужасное предисловие Штольберга к его платоновским диалогам? Прوماхи, которые он допускает, до того нелепы и невыносимы, что я имею большую охоту напасть на него и изрядно высечь. Разумеется, публика будет на нашей стороне. Необходимо объявить войну против половинчатости, которую мы должны преследовать во всех специальностях. Своей тайной борьбой, путем замалчивания, перетолковывания и перетасовывания, она уже давно заслуживает того, чтобы ей воздать в полную меру. В моих научных работах, которые я постепенно собираю, я все больше наталкиваюсь на необходимость сделать это. Я думаю выступить самым резким образом против всех этих рецензентов, журналистов, компиляторов и составителей всяких компендиев». Шиллер сейчас же согласился с этим планом. «Я чрезвычайно рад, что вы хотите их разделить». А затем 29 декабря Гете ему писал: С сотней таких «Ксений», которых я при этом прилагаю дюжину, можно доставить большое удовольствие как публике, так и нашим коллегам». Шиллер ответил ему в тот же день, что план с «Ксениями» великолепен и должен быть выполнен.

Так возникли «Ксении», которых Гете и Шиллер, точно лисиц с горящими хвостами, пустили в лагерь филистеров. «Ксении» — дары гостеприимства по выражению римского эписграмматического поэта Марциала — это сатирический суд над всем безвкусным, посредственным, плоским, отсталым и прогнившим, что развилось в духовной жизни Германии после короткого расцвета литературы «бури и натиска». Бичующие удары этих эписграмм обрушились и на плоских просветителей вроде Николаи и на водянистые еженедельники с их завистью ко всему значительному и великому, и на дилетантствующих эстетиков и критиков искусства, и на ханжествующих реакционеров, как Лафатер и Штольберг, и на фабрикантов буржуазной драмы с их скучными шутками в комедии и слезливыми воплями в трагедии, и — к сожалению — на энтузиастов свободы, как Форстер, и на реформаторов мира, как Фихте. Ря-

дом с этими разящими эпиграммами возникли в не менее богатом изобилии такие ясные, сочные сентенции, в которых заключалась сокровищница эстетической и философской мудрости.

Наибольшая часть эпиграмм и сентенций принадлежит Шиллеру, хотя не всегда легко определить точно их авторство. Гете и Шиллер работали сообща, и часто один давал мысль, другой—форму, или то, что один начинал в первой строке, другой доводил до конца во второй. Но поскольку можно определить, какие «Ксении» написаны Гете и какие Шиллером, то именно последнему принадлежат самые острые и самые изящные. И он же все время настаивал, чтобы критический заряд был всегда полновесен. Когда он послал ряд «Ксениев» на рассмотрение Гете, то последний, возвращая их назад, писал не без сожаления: «Серьезные и благожелательные «Ксении» производят такое сильное впечатление, что просто не хочется, чтобы в такую хорошую компанию попали и те, в которых вы бичуете всяких бездельников». Уже прелестная серия нравучений должна была действовать примиряюще, должна была показать, что едкая насмешка имела своим источником только чистую любовь к искусству.

Когда «Ксении» были опубликованы в Альманахе муз на 1797 год, сразу выяснилось, что Гете действительно оказался прав по отношению к «бездельникам». «Ксении» вызвали страшное возмущение. Посыпались ответы один за другим, но все они одинаково представляли яркое доказательство невероятного падения тогдашней литературы. Геббель вполне правильно характеризовал «Ксении» и «Возвратные дары грязным поварам в Веймаре и Иене» в следующих словах: «С одной стороны, великолепный пышущий огнем вулкан, вместе с лавой извергающий в неменьшем количестве и раскаленный металл, с другой—извергающая только вонючую грязь сопка». Кампе, известный писатель для детей, сравнительно легко пострадавший за свои комические опыты очищения языка, хотел немного почистить Гете «перышки», но затем написал ему: «Мы чистим напрасно, ибо у тебя все—перо, так как для себя ты являешься фениксом, а для других снигирем». Другой воспитатель юношества, ректор Манзо, которого обвиняли только в педантизме, разразился следующим стихотворным ответом.

Так и поверили мы барану иенскому, будто  
Он рога утруждал в календаре лишь один!  
Знаем: бодливый козел из Веймара был ему в помощь.  
Разве хватило бы сил евнуху, кабы не он?

А так как почтенному педагогу казалось, что он еще недостаточно исчерпал эту остроумную мысль, то он прибавил:

Пара быков бодает сильнее, если действует разом;  
Вот почему и вступил с Шиллером Гете в союз.

Конечно, не обошлось и без хороших друзей, которые, не будучи затронуты или не имея ничего общего с пострадавшими, все же наморщили чело и, скривив губы, затаили жалкую песнь о нарушении хорошего тона со стороны Гете и Шиллера. К числу этих друзей принадлежали папаша Виланд и наследный принц Августенбургский, который считал Николаи таким же великим мыслителем и поэтом, как и Шиллера. Но с этой породой не мало возился уже Лессинг. Теперь такой труд выпал на долю Гете и Шиллера. Эта порода никогда не переводится.

### Баллады

За «Ксениями» последовали баллады. В ноябре 1796 года Гете писал Шиллеру, что, после рискованного эксперимента с «Ксениями», они должны взяться за более крупные и достойные художественные произведения и, к вящему посрамлению своих противников, направить свое изменчивое творчество на воплощение возвышенного и доброго. Он сам работал теперь над прекрасной эпопеей «Германом и Доротеей», и его очень обрадовало, когда он узнал, что Шиллер взялся за «Валленштейна».

В то же время они продолжали укреплять свои творческие способности в эпико-драматической области. В Альманахе муз на 1798 год напечатаны были следующие произведения Гете: «Бог и баядера», «Кладоискатель», «Колдун-ученик» и «Коринфская невеста» и Шиллера: «Поликратов перстень», «Ивиковы журавли», «Перчатка», «Водолаз», «Рыцарь Тоггенбург» и «Хожение к железному молоту». Ничто не сделало имя Шиллера более известным или популярным, как именно эти баллады и следовавшие за ними, в 1799 году, «Порука» и «Бой с драконом», в 1801 и 1803 годах—«Геро и Леандр» и «Граф Габсбургский». Но если баллады Шиллера по своему гениальному размаху не могут сравняться с балладами Гете и Бюргера, то они и в ряду его собственных поэтических произведений занимают не самое выдающееся место. По своей художественной ценности они не могут сравниться ни с его философскими стихотворениями, ни с его циклами эпиграмм. Баллады, написанные на сред-

невековые темы, в общем стоят ниже тех, которые черпают свое содержание из античных преданий. В *общем* лишь потому, что этого нельзя сказать как-раз о «Перчатке» и «Водолазе», которые занимают самое выдающееся место во всем цикле. «Перчатка» в гораздо большей степени есть только картина, наполовину изображение зверя, наполовину изображение рыцаря, как ее назвал Кернер, а в «Водолазе» преобладают описания природы. Гумбольдт восторгался искусством, с которым Шиллер сумел изобразить причудливую игру воды, никогда не видя Рейнского водопада. Но «Рыцарь Тоггенбург», «Хождение к железному молоту», «Бой с драконом» — все имеют в себе что-то искусственное: наивное благочестие средних веков не давалось гению Шиллера.

Зато Шиллер, под влиянием эстетики Канта и общения с Гете, усвоил себе дух античности в гораздо большей степени, чем прежде, при помощи разных переводов. «Поликратов перстенъ» проникнут геродотовским духом, а «Ивиковы журавли» своей могучей силой напоминают эсхиловскую хоровую песнь. «Журавли», в создании которых Гете принимал горячее участие, представляют собой самую лучшую из баллад Шиллера. Но и они не удовлетворяли требованиям его строгой самокритики. На критические замечания Кернера он ответил, что сухость неотделима от «Ивика», а также и от «Поликрата», «потому что личности в них существуют только для идей и как индивиды подчиняются этим идеям». Поэтому еще является вопросом, дозволено ли избирать для баллад подобные темы, так как более сильный драматический интерес в них ослабил бы действие сверхчувственного.

Это замечание очень характерно для Шиллера. Баллада представляет собою эпико-драматический жанр поэзии, и отсюда делают обычно вывод, что драматург Шиллер чувствовал к нему особое влечение. Но он скорее был лириком-мыслителем, который даже в балладе не мог отказаться от сверхчувственного действия идеи. В «Ивиковых журавлях» и в «Графе Габсбургском» Шиллер воспевал торжество художественного изображения над человеческим нутром. Самая красивая из его античных и самая удачная из его средневековых баллад являются, если характеризовать их грубо-прозаическим выражением, историческими примерами власти песнопения, которую Шиллер возвеличил в своем философском стихотворении. С этой точки зрения мы получаем в свое распоряжение правильный критерий для оценки таких его лирических произведений, которые нельзя назвать балладами в собственном смысле этого слова, но которые нельзя также причислить и к философским

стихотворениям: «Жалобы Цереры», «Кассандра», «Элевзинский праздник» и «Торжество победителей».

Фантазию Шиллера сильно привлекали начатки цивилизации, переход от кочевой жизни к земледелию, союз, который люди заключали с покорной матерью-землей. Среди античных божеств ни одно не было ему так близко, как богиня земледелия. В своей жалобе по поводу дочери, похищенной силами подземного мира, Церера приветствовала молодые ростки весны, выбивающиеся из холодных недр земли в веселое царство красок, как дорогие вестники навеки исчезнувшей. Поскольку в ее груди божественные чувства сопрягаются с человеческими, повелительница вступает в круг дикарей, упивающихся кровавым пиршеством победы, и научает их оказывать почести богам подношением скромных даров земли. «Элевзинский праздник» возник из давнишнего плана Шиллера изобразить эпически процесс цивилизации Аттики при помощи переселившихся туда чужеземцев. В «Кассандре» античный дух проявляется, как мрачное, потрясающее пророчество, чтобы после показать себя в своей светлой человеческой форме в «Торжестве победителей», которая написана была Шиллером, как хоровая песнь.

Он писал по этому поводу Гете, что все хоровые песни, для поэтической тематики, впадают в плоский тон масонских песен. Вот почему он забрался в богатые житницы «Илиады», чтобы извлечь из них все, что только можно было утащить. Гумбольдт подтверждает, что Шиллер в «Торжестве победителей» в такой чистоте воспринял античный дух, как прежде только в «Ивиковых журавлях», но что он все же из полноты своего гения прибавил нечто, что выходило из круга идей и чувств древности. И действительно, античный дух никогда так тесно не сплавлялся с гением Шиллера, как в следующих стихах:

Высшим благом в жизни смело  
Каждый славу назовет;  
Долго после смерти тела  
Имя громкое живет,  
Подвигу вознаграждение—  
В звуках песни вечно жить;  
Быстро рвется жизни нить,  
Мертвецам же чуждо тленье.

#### «Валленштейн»

«Главная ошибка заключалась в том, что я слишком долго носился с этим произведением. Драма может и должна быть

цветком лишь одного лета». Так писал в своих письмах о «Дон Карлосе» Шиллер. Но если над этой драмой поэт работал три или четыре года, то над «Валленштейном» — шесть или семь лет. Он приступил к работе в 1790 году и закончил свое великое произведение только зимой 1798—1799 года. Так долго оттачивал он и испытывал свое оружие, так долго собирал он материалы, так упорно была его подготовительная работа. Он со-знавал, что этот опыт является решающим для его поэтического призвания.

Что он вступает на новый путь, он сам высказал в прологе, которым он в октябре 1798 года ознаменовал открытие нового театра в Веймаре постановкой «Лагеря Валленштейна».

Та эра новая, что для Талии  
На этой сцене нынче настает,  
Внушает смелость и поэту с прежней  
Сойти стези и вас перенести  
Из тесных рамок повседневной жизни  
В круг более высокий и созвучный  
Великим дням, в которые живем.  
Лишь то, что величаво, в состоянии  
Людскую душу взволновать до дна;  
В ничтожном круге дух мельчает,—с ростом  
Своих задач растет и человек.  
Теперь, на остром рубеже столетья,  
Когда вся жизнь становится поэмой,  
Когда борьба из-за высокой цели  
Одушевляет мощные натуры  
И спор идет за то, что человеку  
Всего важней,—за власть и за свободу,  
Искусство тоже выше воспарить  
Теперь пытаться может—и должно,  
Чтоб жизнь ему не бросила упрека.

Это была своего рода драматическая программа. Можно, правда, усомниться, что «Валленштейн» действительно разыгрывается на «более высокой» арене, чем «Коварство и любовь». Буржуазная драма, которая имела бы настоящую и прочную основу для своего развития и разветвления, очень легко одержала бы верх над драмой исторической. Но одна ласточка не делает весны, и даже Шиллер не был в состоянии создать те условия, при которых буржуазная драма в Германии могла бы подняться на классическую высоту. В той форме, которую эта драма приняла в конце восемнадцатого века, целиком погрязши в болоте пьес Иффланда и Коцебу, она, конечно, разыгрывалась на самой низменной арене. И если Шиллер, расширяя рамки сцены, воспроизвел теперь великие исторические битвы прошлого, то в этом можно видеть поэтическое предчувствие, что об-

новление немецкой жизни станет возможно только тогда, когда европейские войны снова ворвутся в ее пределы.

Не нужно только, как это часто случалось, доходить до таких преувеличений, как утверждение, что «Валленштейна» породил Наполеон и что в героях Рютли уже бросает свою тень грядущий прусский ландвер с его лозунгом: с богом за короля и отечество. Когда Шиллер закончил «Валленштейна», Бонапарт был еще только одним из генералов Французской республики и, к тому же, совершенно исчез из виду в далеком Египте. Но если даже оставить в стороне это внешнее условие, то Шиллер вовсе не для того упорно занимался десять лет философией и историей, чтобы пристать к плоскому берегу патриотической благонадежности, которая, вдобавок, в его время не успела еще сложиться в определенное понятие. В результате сложного сцепления личных судеб и влияний общей среды Шиллер все больше отходил от традиции своей революционной юношеской драмы. Чем более чуждой она становилась ему теперь, тем больше теряла в своей гениальной непосредственности его более зрелая драма. Но в той же мере Шиллер выиграл в области проникновенного понимания искусства и меньше всего был склонен увеличить действие своего драматического искусства при помощи «национальных сюжетов».

Вопрос, который нас теперь занимает, может быть лучше всего освещен путем сравнения между Шиллером и Геббелем. Их разделяет глубокая противоположность. Геббель зачастую отзывается о Шиллере очень резко, но так как он спорит с ним, как равный, то его суждения, вытекающие из глубоких внутренних побуждений его художественной натуры, всегда обоснованы и, при всей своей крайней односторонности, проливают свет на глубочайшие проблемы искусства. Геббель хорошо сознавал, в каком отношении он богаче, чем Шиллер. Главный недостаток искусства Шиллера, по мнению Геббеля, состоял в том, что оно выявляет сплетение нервов и жил драматических образов только в их главных стволах, а не в их мелких разветвлениях. Но Геббель плохо знал, в каком отношении он беднее Шиллера. В развитии обоих поэтов имеются сходные черты. Автор «Нибелунгов» не дал всего того, что обещал автор «Марии Магдалины». Оба обратились в свои зрелые годы к исторической драме в силу одинаковых причин. Но если сравнить то, что создано ими в этой области, то сейчас же видно, что Геббель охотно остается в сумерках истории, тогда как Шиллер предпочитает ее солнечный свет. Над историческими драмами Геббеля распростерто ясное, усыпанное звездами небо. Исторические дра-

мы Шиллера освещает радостное сияние солнца. Один раз встречаются оба поэта в выборе темы—в их последней драме, в «Димитрии Самозванце», которую Геббель закончил, а Шиллер довел только до начала второго акта. Но в то время как Шиллер, не без долгих колебаний, приступил к обработке этой «авантюрной экспедиции», этого «безумного сюжета», для Геббеля история Лжедимитрия была самой близкой к нашему времени темой, которую он нашел в исторических анналах. Он наверное не был бы тем великим драматургом, каким действительно был, и вообще бы не был великим драматургом, если бы не умел вносить в свои исторические драмы своеобразное историческое настроение. Но Геббель не чувствует себя привольно на высотах исторического развития. Ему нехватает того мастерства, с которым Шиллер умеет создавать для еще пробивающейся в неформенных образах современной жизни далеко звучащий резонанс в историческом материале, умеет воссоздавать своих исторических героев во всем их историческом своеобразии из сердца современников.

Нигде не проявляется с таким блеском это искусство Шиллера, как в «Валленштейне». Нигде не видно так отчетливо, что он при этом руководился не спорной в художественном отношении тенденцией, а поэтическим инстинктом. Валленштейн, как исторический характер, был ему глубоко антипатичен, что хорошо видно из его «Истории Тридцатилетней войны». Шиллер считал этот сюжет неблагоприятным и непоэтическим. Он писал Гете, что никогда еще не соединялась у него такая холодность к сюжету с такой страстью к работе. Им руководил чисто эстетический интерес. Он при этом на собственном опыте испытал, как мало помогают поэту в его творческой работе общие понятия самой великолепной эстетики. «В таком настроении» он был «достаточно плохим философом, чтобы отдать все, что он и другие узнали из эстетики, отдать за одно основанное на опыте преимущество, за хорошую технику». Всеми силами старался теперь Шиллер выключить из своей драмы субъективное чувство, которое он прежде вливал в свои драматические образы. Он наотрез отказался от юношеского эстетического убеждения, что в порождениях поэтической фантазии проявляется только сам поэт. Он прилагал неимоверные старания, чтобы стать на уровень объективного художественного творчества Гете, хотя не скрывал от себя, что ему это в полной степени вряд ли удастся. Но он настолько приблизился к этой цели, что, как известно, Гете сначала считали автором или соавтором «Лагерь Валленштейна», так что Гете вынужден был заявить пуб-



лично, что он вставил в корректуру только две строчки. Именно в связи с «Валленштейном» Гете заявил, что позволяет себе считать Шиллера поэтом и даже великим поэтом, хотя романтические императоры и диктаторы утверждают, что Шиллер не поэт.

Хотя «Валленштейн» Шиллера создан был под известным влиянием Гете и по его образцу, он—да и вообще историческая драма Шиллера—представляет совершенно своеобразное и самостоятельное явление поэтического искусства. Драма Шиллера, конечно, не драма Шекспира, или драма Гете, или драма Геббеля, но из этого еще не следует, что она вообще лишена художественной ценности. Всякая эстетика имеет только условное значение, так как и она подлежит историческому изменению. В сущности каждое творческое художественное произведение создает свою собственную эстетику. Если нельзя мерить Шекспира, Гете и Геббеля на аршин Шиллера, то так же ошибочно применять к Шиллеру мерку Шекспира, или Гете, или Геббеля. Именно это думал Гете, когда говорил, что «Валленштейн» Шиллера так велик, что ничто не может с ним сравниться. Это, конечно, большое преувеличение, если Гете хотел сказать, что «Валленштейн» является недостижимой вершиной мировой драматической литературы, но это совершенно верно в том смысле, что всякое истинное и самодовлеющее произведение искусства, как таковое, ни с чем не сравнимо.

Ведь «Валленштейна» создал творец «Разбойников», и автор «Валленштейна» усвоил себе у Гете только то, что мог внести автор «Разбойников». Так и Шиллер писал Гете, что его «Валленштейн» должен всю совокупность того, что в результате их общения перешло от Гете к Шиллеру, показать и сохранить. Пределы этого процесса слияния выступают отчетливо, когда Шиллер признается, что чувствует себя лучше, как только переходит от Валленштейна к Максу Пикколомини. И в то же время, когда Кернер советует ему сделать этого молодого героя еще в большей степени центральной фигурой, он, к удивлению старого друга, отказывается следовать этому совету, довольно резко замечая, что у него совершенно противоположные взгляды на трагическую поэзию, от которых он не намерен отказываться. Кернер затронул как-раз тот самый пункт, где собственная склонность поэта вступила в конфликт с обязанностью, которую возлагало на него более зрелое понимание художественного творчества. Если эпизод Макса и Теклы часто называют наиболее уязвимым местом драмы, то он является им лишь постольку, поскольку всосал в себя все, что, при неустраимых

особенностях автора, могло замутнить ясную и чистую картину мира, созданную его могучим творчеством.

Именно в том, что он набросал эту картину мира—«блестящую и яркую», как этого требовал молодой Шиллер от драматического поэта,—и заключалась бессмертная заслуга зрелого поэта. Или—чтобы использовать другой образ—тремя могучими террасами возвышается это монументальное здание, и внушительное впечатление, производимое им, ни на йоту не уменьшается, если даже придирчивый педантизм открывает там или сям следы остающейся кладки. То, что Шиллер имел обыкновение называть «искусством идеализации», «исполинской работой идеализации», проявилось в его новой драме в художественной завершенности. Слово его, что человек может проникнуть в страну познания только через врата прекрасного, в точности исполнилось.

Шиллер идеализировал Валленштейна и мир Валленштейна, но именно поэтому он постиг их историческую сущность точнее и глубже, чем это могли сделать все современные ему историки, да и он сам, как историк. Поставив в центре ужасающего разложения государства трагическую гибель героя, который в борьбе с неумолимой судьбой хотел остановить это разложение, Шиллер проникновенно связал настоящее с прошлым.

### Последние годы жизни

В «Валленштейне» Шиллер, на сороковом году жизни, достиг вершины поэтического творчества. Страдая все время тяжелой болезнью, он не мог надеяться на долгую жизнь, и теперь, когда окончательно убедился, что его истинным призванием является драматическое творчество, решил посвятить ему все свои силы.

Но для этого ему необходим был более тесный контакт с театром. Шиллер поэтому решил в конце 1799 года переселиться в Веймар. Чтение лекций в университете он прекратил еще в 1793 году. Многие старые знакомые, с которыми он часто встречался в Иене, разъехались. Тем легче было ему расставаться с Иеной. Влекла его в Веймар и возможность более тесного общения с Гете. Даже герцог желал его видеть в Веймаре,—не потому, что высоко ценил поэзию Шиллера, а по совершенно другим мотивам. Дезертировавший полковой лекарь для бравого Карла-Августа, который, по свидетельству даже одной веймарской придворной дамы, дорожил своим прусским кирасирским полком больше, чем всеми гениями, жившими при его так

называемом дворе муз, продолжал оставаться сомнительной фигурой, и, несмотря на его пристрастие к игре в солдатики, даже бряцающий оружием «Валленштейн» ему понравился весьма мало. Но он, повидимому, воображал, что сможет лучше следить за работой Шиллера, если тот будет жить в Веймаре, и увеличил, по просьбе Шиллера, его содержание с двухсот до четырехсот талеров в год, чтобы облегчить ему жизнь в более дорогом Веймаре.

Однако, несмотря на надежды, которые Шиллер возлагал на переселение в Веймар, он больше потерял от него, чем выиграл. Шиллер не допускал никакого вмешательства герцога в свое поэтическое творчество даже тогда, когда критика герцога случайно попадала в цель. Вкусу герцога Шиллер и Гете сделали ту уступку, что соглашались поставить иногда на веймарской сцене французскую драму. С этой целью Гете перевел «Магомета» Вольтера, а Шиллер—«Федру» Расина. Чтобы облегчить свою художественную совесть, Шиллер написал известные стансы «К Гете, когда он поставил на сцене «Магомета» Вольтера», но, по своей «проклятой привычке», в таком «сатирическом и резком» тоне, что в этих стансах вкус герцога скорее осмеивался, чем восхвалялся. Таким образом, прекрасные строфы оказались совершенно непригодными для их лойальной задачи. Но если отношения с герцогом у Шиллера еще кое-как ладились, то в Веймаре, где теперь его зять, Вольцоген, занимал первое место среди придворной челяди, он гораздо глубже увяз в придворных сплетнях и склоке, чем это было неизбежно или даже возможно в Иене.

С этим еще можно было бы мириться, если бы связь Шиллера с обоими жителями Веймара, которые в духовном отношении были ему равны, стала более тесной. Но вышло как-раз наоборот. Теперь, когда Шиллер и Гете жили в близком соседстве друг от друга, их отношения стали гораздо менее близкими, чем до сих пор. То обстоятельство, что их переписка свелась теперь к малозначительным запискам, конечно, еще не является доказательством, так как они теперь гораздо чаще встречались лично. Эти встречи всегда носили вполне дружеский характер и не омрачались никакими трениями. Кроме того, их соединял общий интерес в их деятельности для веймарского театра. Зато их общая работа замирала по мере того, как опять заострялась старая противоположность между прирожденным художником, который давал плодам своего поэтического творчества медленно созреть, пока наступит их пора, и поэтическим просветителем, который теперь, после блестящей победы

«Валленштейна», гнал свою поэзию на новый штурм. В письмах к Гумбольдту и Кернеру Шиллер жаловался на любовь Гете к покою. А Гете отзывался о драматическом творчестве Шиллера с такой сдержанной похвалой, которая была чувствительнее, чем случайное слово порицания.

Когда Шиллер послал ему в январе 1804 года первый акт «Телля», Гете ответил: «Это вовсе не первый акт, а целая пьеса, и к тому же превосходная, с чем я вас от всего сердца поздравляю. Я надеюсь в скором времени получить продолжение. С первого взгляда все в порядке, а это составляет главное в работах, рассчитанных на определенный эффект». После этого Шиллер послал ему второй акт с известной сценой на Рютли, на что Гете сначала вовсе не откликнулся, а затем, когда Шиллер напомнил ему о своей драме, ответил следующим образом: «При этом отсылаю назад Рютли, достойный всяческой похвалы и награды. Мысль сейчас же конституировать союз отдельных земель превосходна и в силу ее важности, и в силу простора, который она открывает. Я очень хотел бы иметь остальную часть. Желая всякого добра при завершении». А получив последнюю часть, он сухо пишет: «Работа превосходно удалась и доставила мне прекрасный вечер». Ясно, что это трехкратное подчеркивание «превосходства» вместе с тонким намеком на «определенный эффект» представляет нечто совершенно другое, чем внимательный и действительный интерес, который прежде выказывал Гете к «Валленштейну» Шиллера или последний к «Вильгельму Мейстеру» Гете.

Гораздо хуже, недопустимо плохо сложились отношения Шиллера с Гердером. Уже во время первого своего пребывания в Веймаре Шиллер сообщил Кернеру много всяких сплетен о Гердере. Но его преданный друг, который верным инстинктом почти всегда правильно понимал и отстаивал настоящие интересы Шиллера, советовал ему сблизиться с Гердером как можно теснее. Молодой Шиллер мог бы получить очень плодотворные импульсы от универсального гения Гердера. Возможно, конечно, что его оттолкнула эта универсальность, так как в те трудные годы, когда он должен был стараться, чтобы «учеба сама по себе рентировалась», он не мог углубиться в замечательное для своего времени понимание истории Гердера, не отказываясь от своих хлебных исторических работ. Но после между ними установились сносные отношения, и Гердер принял деятельное участие в «Орах».

Однако уже в 1797 году Шиллер писал Кернеру: «Гердер — совершенно патологическая натура, и все, что он пишет, кажется

мне болезненным продуктом, который она выделяет, несколько не улучшая этим свое здоровье. Он питает ядовитую зависть ко всему достойному и энергичному и с особенным удовольствием протезирует все посредственное. Гете он по поводу его «Мейстера» высказал самые оскорбительные вещи. Против Канта и большинства философов он настроен самым ядовитым образом... Просто приходишь в негодование, когда такая великая и необыкновенная сила совершенно пропадает для доброго дела». Этот приговор Шиллера, в немного смягченной форме, вошел в буржуазную историю литературы; она говорит об «угрюмой раздражительности» Гердера и противопоставляет его, как «настоящего сварливца и завистника», более крупным гениям—Канту, Гете, Шиллеру. Даже биографы Гердера в большей или меньшей степени соглашаются с этой характеристикой.

И все же она совершенно неправильна. Действительный недостаток Гердера сливается с его действительной заслугой. Он защищал принцип исторического развития в такое время, которое ставило себе задачей разрушить до основания исторические руины пережившего себя прошлого. Он стоял в рядах буржуазного просвещения, но как его нечистая совесть. Он обладал как-раз теми способностями, которых оно не имело и не могло иметь, но которые должно было иметь, чтобы победить. Гораздо более интуитивный, чем теоретический ум, Гердер не мог равняться с Кантом в умении пользоваться формальным методом мышления—и постольку наделал в своей полемике с Кантом много ошибок. Но по существу он был прав, когда с точки зрения спинозизма, которую он разделял вместе с Лессингом и Гете, энергично протестовал против попытки Канта восстановить христианский дуализм в философской маскировке. Гердер опять-таки ошибался, когда от Гете и Шиллера вновь обратился к любимым поэтам своей молодости—к Гагедорну, к Галлеру, к Эвальду Клейсту и к старому Глейму, вместе с которым он оплакивал отходящее «доброе старое время». Но эти глупости имели своим источником не «ядовитую зависть ко всему достойному и энергичному», а вполне естественную антипатию, которую универсальный дух Гердера питал к односторонней эстетической культуре Гете и Шиллера.

Как-раз тот отвратительный скандал, который отравил последние дни Гердеру, рисует его в более благоприятном свете, чем Гете и Шиллера. Совершенно иначе, чем последние, выразил Гердер свое живое сочувствие французской революции и навлек на себя этим неудовольствие герцога, который сильно обозлился, когда в проповедях его генерал-суперинтендента

послышались отголоски могучего движения по ту сторону Рейна. Как свойственно таким мелким тиранам, Карл-Август прежде всего отомстил тем, что отказался от взятой им на себя обязанности заботиться о детях Гердера. Когда жена Гердера, вспыльчивая женщина, написала об этом Гете приблизительно в таком тоне: «Пусть герцог выполняет свое обещание или убивается к чорту», то ей ответил не друг и не поэт, а придворный: «Гораздо удобнее в трудные минуты ссылаться на чужую обязанность, чем своей жизнью и поведением добиваться того, за что мы должны быть признательны». Но Гете все же напомнил герцогу о его обещании, и последний выполнил его, хотя и на особый манер. Так, он готов был предоставить сыну Гердера земельную аренду, но с условием, чтобы молодой Гердер женился на вдове прежнего арендатора. На такое унижение Гердеры не согласились: молодой Гердер покинул Веймар и купил себе участок земли в Баварии. Только после покупки он узнал, что баварские дворяне пользуются привилегией, в силу которой они имеют право в течение первого года выкупить у каждого бюргера, который покупает в Баварии дворянские земли, проданный земельный участок за ту же самую цену. А так как один баварский юнкер пожелал использовать эту привилегию и выжить молодого Гердера, то отец его решился выхлопотать для себя баварское дворянство. Он сделал этот, для старого врага дворянства неприятный шаг со всем возможным при таких условиях достоинством и настоял на том, чтобы в дипломе было нарочито указано, что он добывается дворянства только ввиду указанной юнкерской привилегии. Узнав об этом, наш карликовый деспот опять рассвирепел и выкинул новую штуку: чтобы показать, что он «хозяин в своей стране», он отказался признать дворянство Гердера и заказал, за собственный счет, в Вене дворянскую грамоту для Шиллера и, к посрамлению Гердера, с треском и шумом огласил это великое событие в мировом государстве Веймаре.

Эта гнусная комедия показывает, как в микрокосме, в какой бесконечной мерзости запустения вынуждены были жить «веймарские гиганты». Шиллер лично играл при этом сначала пассивную роль, но вполне понятно, что даже его жена должна была удосужиться, чтобы написать своему другу: «Каждый может увидеть из диплома, что Шиллер в этом совершенно неповинен, и именно это меня успокаивает». К сожалению, это, однако, во все не видно из диплома. Так как герцог не ценил поэтическую деятельность Шиллера, то она естественно не могла быть приведена, как причина его «возвышения в новое сословие». Зато

диплом, кроме заслуг Шиллера перед немецким языком, указывал с одобрением на то, что отец Шиллера сражался в рядах имперских войск против непокорного короля Пруссии, а потому все курфюрсты, князья, духовные и светские господа, графы и бароны, «под страхом штрафа в пятьдесят марок указанного золота», обязуются «поименованного Иогана-Христофа-Фридриха фон Шиллера, как нашего и священной римской империи урожденного вассала, признавать, почитать и ценить». Так вот, весьма мало вероятно, чтобы военные подвиги бывшего герцогского лейтенанта Шиллера были известны в Веймаре еще сорок лет спустя. Тайный советник Фойгт, который должен был составить проект диплома, мог конечно получить сведения об этом только у поэта Шиллера. Конечно, в письмах к таким людям, как Гумбольдт и Кернер, Шиллер отозвался пренебрежительно о доставшейся на его долю «пустой чести», но не совсем красиво было, когда, в ответ на более определенный запрос Кернера, он осмелел участие Гердера в этой пакостной истории.

Было бы просто немудрено, чтобы даже величайшие гении могли годами и десятилетиями жить в одуряющей и отупляющей атмосфере такого княжеского двора без всякого вреда для собственной души. И это тем меньше следует замалчивать, что именно рефлексy этой мутной и печальной среды, которые забрались в произведения Гердера, Гете и Шиллера, слишком часто восхваляются, как особенно светлые пункты в духовной жизни этих людей. Только эта среда объясняет нам в значительной степени, почему Шиллер, после переезда в Веймар, начал постепенно спускаться с той высоты, которую его драматическое творчество достигло в «Валленштейне».

### **«Мария Стюарт»**

Сейчас же после окончания «Валленштейна» Шиллер принял-ся за трагедию, сюжет которой занимал его еще в Бауербахе. Он начал ее еще в Иене, но закончил только летом 1800 года в Веймаре.

«Мария Стюарт» не разворачивает пред нами такую богатую картину мира, как «Валленштейн». В драме нет даже трагического конфликта. Она представляет в сущности один только пятый акт. Она начинается осуждением шотландской королевы: о ее вине мы узнаем только из ее показания; мы видим ее страдания, но не борьбу. Устав от напряженной работы над «Валленштейном», герои которого, как он сам говорил, ему уже приелись, Шиллер значительно понизил свои требования к

художественной объективности. Елизавета и Мария в «Марии Стюарт» далеко не так тонко обрисованы в их противоположности, как Валленштейн и Октавио Пикколомини. На побежденную падает только свет, на победительницу — только тень. В Елизавете Английской поэт бичевал то, что ему самому было больше всего антипатично в женщине: сильную, непреклонную волю и не только желание, но и способность властвовать.

Но внутри тех более узких границ, которые наметил себе сам поэт, «Мария Стюарт» имеет много преимуществ. Сейчас же после появления этой драмы Кернер отметил, что она, подобно древней драме, гораздо больше основана не на герое, а на действии и что именно в действии заключается самое крупное преимущество этой трагедии. Хотя судьба героини решена еще раньше, чем поднялся занавес, поэт умеет с необыкновенным мастерством плести живую нить действия, которое сохраняет свое драматическое напряжение до последней сцены. Шиллер теперь распоряжается на сцене, как прирожденный властитель, и делает возможным эстетически то, что, по его собственному признанию, было морально невозможно — спор обеих королев, — кульминационным пунктом драмы. И сцена причащения в пятом акте была сильным, но вполне удавшимся дерзанием. Шиллер не дал себя смутить, когда Гете писал ему еще до окончания драмы: «Смелая мысль ввести в действие сцену причащения стала уже известной, и меня просят передать вам, чтобы вы отказались от этого. Я должен теперь признать, что и мне трудно было с этим согласиться, а теперь, когда уже заранее раздается протест, это вдвойне нецелесообразно». Конечно, Шиллер прекрасно понимал, кого имеет в виду Гете.

Если действие в «Марии Стюарт» не имеет того большого исторического размаха, как в «Валленштейне», то оно все же разыгрывается на большом историческом фоне. Шиллер опять показывает свое умение вкладывать в исторический сюжет то, что непосредственно захватывает сердца современников, не делая при этом никаких уступок дешевым злободневным тенденциям. Именно с точки зрения этих тенденций «Мария Стюарт» вызвала много возражений. Влюбленный в свою кающуюся героиню, Шиллер якобы слишком много воздал католицизму и слишком мало протестантизму, переключил борьбу великих исторических противоположностей в простую грызню баб. Противники католицизма, как с либеральной, так и с консервативной стороны, всегда обвиняли Шиллера в отступлении от протестантского правоверия. Но это не верно, потому что Шиллер не питал личных симпатий ни к католицизму, ни к протестан-



тизму. Он стоял выше этих противоположностей и потому был в состоянии соблюсти историческую справедливость.

Как по отношению к «Валленштейну», так и по отношению к «Марии Стюарт» историческая наука подтвердила поэтическое прозрение Шиллера. Она разрушила идол «девственной королевы Елизаветы», созданный английскими национальными пред-рассудками, и в еще большей степени уменьшила счет грехов Марии, чем это уже сделал Шиллер. Но она видит также и исторические противоположности шестнадцатого столетия, как их видел и Шиллер: на стороне английской реформации—жестокую, твердую, трезвую деловую политику Бэрлея, на стороне европейской контрреформации—весь волшебный блеск искусств и наук, который вернул назад в недра католической церкви и более холодных и умных людей, чем мечтатель Мортимер.

### «Орлеанская дева»

За «Марией Стюарт» сейчас же последовала «Орлеанская дева». Шиллер начал эту «романтическую трагедию» в июле 1800 года и кончил ее в апреле 1801 г.

В разгаре этой работы он писал Кернеру: «Моя новая пьеса вызовет большой интерес и своим сюжетом. В ней имеется центральная фигура, в сравнении с которой, по степени возбуждаемого ею интереса, не могут идти никакие другие персонажи пьесы, хотя их очень много. Но сюжет достоин чистой трагедии, и если я сумею обработать его так же хорошо, как я это сделал в «Марии Стюарт», то меня ждет большая удача». «Орлеанская дева», действительно, имела большой успех. Когда она была поставлена в первый раз осенью 1801 года—не в Веймаре, где этому воспротивился герцог, а в Лейпциге,—то Шиллеру, который был на этом представлении, устроена была восторженная овация. Но этим большим успехом пьеса обязана была только техническому мастерству драматурга; в художественном отношении она еще более уступает «Марии Стюарт», чем последняя «Валленштейну».

Историческая девушка из Орлеана была наивной героиней: на исходе средних веков выросла она в отдаленной пограничной долине, где в набожной церковной вере не стерлись еще следы старого язычества и где, в силу тесного соприкосновения с чужим миром, уже начало пробуждаться такое новое для того времени чувство, как национальное сознание. Именно эта совершенная смесь религиозного и национального чувства сделала из Иоанны д'Арк в высшей степени своеобразное истори-

ческое явление, и именно поэтому она сначала была так плохо понята придворным рыцарством, которое уже давно утратило религиозное чувство, но в котором не пробудилось, однако, еще национальное сознание. Только таким путем можно объяснить таинственное и в то же время сверхъестественное влияние, которое Орлеанская дева имела на армию и народные массы своего времени,—все равно, видели ли они в ней орудие небесных или адских сил.

Ясно, что поэтическое воскрешение такого образа возможно только для наивного гения, а во всей необозримой как поэтической, так и прозаической литературе, которая за ряд столетий накопилась об Орлеанской деве, такого гения еще нет. Шекспир изображает Орлеанскую деву в «Генрихе III», как распутную шлюху. Вольтер сделал из нее героиню комической эпопеи, которая не отличается девственной нравственностью. Не потому, что великий насмешник имел против нее большой зуб. Он даже хвалит «храбрую амазонку», но прибавляет: «Не надо только делать из Иоанны вдохновенную свыше прорицу. Она искренняя идиотка, считающая себя вдохновенной, деревенская героиня, которую заставляют играть большую роль, храбрая девушка, которую инквизиторы и ученые доктора с трусливой жестокостью осуждают на сожжение». Такая историческая фигура, как Орлеанская дева, была для буржуазного просвещения так же мало понятна, как ему чужда была всякая национально-религиозная экзальтация. Шиллер также был представитель буржуазного просвещения, и он поэтому искажил образ героини не в меньшей степени, чем Вольтер, но с тою разницей, что хотел с помощью сердца решить ту проблему, которую Вольтер пытался решить при помощи остроумия. «Чтобы осмеять благородный образ человечества, в грязь тебя втоптали»—вот цель, которую себе поставил, по словам Шиллера, Вольтер, в то время как о своей трагедии он пишет: «Твой образ ореолом осенила, создание сердца—будешь ты бессмертна». Но его героиня в сущности такая же карикатура, как и героиня Вольтера.

В то время как историческая дева никогда не обнажала меча против врагов, а только несла знамя перед войском, героиня Шиллера косит целые ряды англичан и теряет веру в свою божественную миссию только потому, что, охваченная приступом нежного чувства, дарит жизнь англичанину, которого она уже обезоружила. Как она молниеносно влюбляется в британского лорда, так и французские полководцы друг за другом влюбляются в нее, и все хотят иметь своей супругой

деревенскую девушку—и во главе их граф Дюнуа, бастард орлеанский. Нужно, однако, прочесть подлинное свидетельство исторического графа Дюнуа об исторической девушке из Орлеана, чтобы сейчас же понять, что натворил здесь Шиллер. Оно гласит: «Ни мне, ни другим, сколь часто мы ни встречались с Иоанной, никогда не приходила в голову мысль или являлось желание иметь ее женой. Мне кажется, она была святой». Эти немногие слова дают более ясное представление об Орлеанской деве, чем трагедия Шиллера.

Вся «романтика», которую Шиллер вплетает в жизнь наивной героини, не содержит ни капли правды, от патетически-сентиментального монолога в прологе и до заключительной сцены, где она разрывает на себе пудовые цепи, чтобы вновь завоевать победу для французов. В сравнении с этим действительная история Орлеанской девы, как она дошла до нас в свидетельствах современников, гораздо поэтичней, чем поэзия Шиллера. Впечатление, которое производила и еще теперь производит «Орлеанская дева», объясняется чисто сценическими достоинствами. А так как Шиллер затратил всю энергию на художественное воплощение главной героини, то трагедия очень бедна интересными характерами. Мы не находим уже в «Орлеанской деве» таких хорошо отточенных фигур, как в «Валленштейне» и даже в «Марии Стюарт». Французские полководцы—Дюнуа, Лягир, Дюшатель—с одной стороны, английские—Тальбот, Лионель, Фастольф—с другой,—все они сделаны по одной мерке. Разве только Дюнуа и Тальбот оттенены несколько больше.

Но «Орлеанская дева» якобы представляет крупный поворотный пункт в жизни поэта—поворот от космополитизма к патриотизму. Как доказательство приводят обыкновенно известные стихи о нации, которая покрыла бы себя стыдом, если бы не была готова поставить все на карту, чтобы спасти свою честь. Конечно, Шиллер, несмотря на драматический промах, который он совершил своей новой драмой, не мог не обратить внимания на национальный элемент в обработанном им сюжете и отвел этому элементу подобающее ему место, разумеется, в тех исторических пределах, которые были намечены уже в самом сюжете. Это слишком плохой комплимент Шиллеру, когда его хвалят за то, что он внес в средневековую драму порыв современного патриотизма. Его, однако, можно очень легко защитить от такого обвинения в неуместной тенденциозности. Та заезженная цитата, которую так часто приводят, выражает не мысль самого поэта, а графа Дюнуа, и в неискале-

ченном виде она показывает, как национальная идея могла отразиться в мозгу французского принца на исходе средних веков.

Собою жертвовать за короля  
Народ обязан,—мир стоит на этом,  
И мыслить иначе не может франк.  
Та нация презренна, для которой  
Всего на свете не дороже честь.

Но добрые патриоты могут нам сказать: ведь в этой полной цитате как-раз и предсказывается прусский ландвер с его лозунгом—с богом за короля и отечество! Это было бы, конечно, недурное толкование, и оставалось бы только желать, чтобы благомыслившие патриоты цитировали это место целиком, чтобы, таким образом, ясно стало, что только средневековый феодал мог считать честью нации то, что современная нация считала бы позором, а именно—пожертвовать собою ради короля.

Точно так же это не мнение самого Шиллера, а мимолетный каприз бесхарактерного Карла, когда последний в «Орлеанской деве» говорит:

Король с певцом пусть об руку идут;  
На высях жизни оба ведь живут.

Шиллер имел достаточный личный опыт с герцогом Вюртембергским и Веймарским, опыт, который ни в коем случае не мог внушить ему такое оптимистическое представление об отношениях между королем и певцом.

#### «Мессинская невеста»

«Мария Стюарт» и «Орлеанская дева» стояли под знаком «Валленштейна». Следующая драма Шиллера—«Мессинская невеста», или «Братья-враги», «трагедия с хорами», начатая в марте 1802 года и законченная в январе 1803,—идет по совершенно новому пути.

Что именно толкнуло поэта на этот путь, лучше всего видно из его письма к Гете: «Это нечто цельное, что мне легче охватить и также легче оформлять, да и гораздо более благодарная и приятная задача—сделать простой сюжет более богатым и содержательным, чем ограничить слишком богатый и обширный материал». Огромный труд, которого ему стоила поэтическая переработка исторического материала в свойственном ему крупном масштабе, утомил его. Возможно также, что он и сам чувствовал, что от «Валленштейна» до «Орлеанской девы» он шел по нисходящей линии. Как это

видно из его письма к Гете, он хотел теперь выбрать новый метод работы.

Известную роль могло играть и желание вступить в художественное соревнование с Гете. Так как «Ифигения» последнего должна была быть поставлена на веймарской сцене, то Шиллер снова внимательно перечитал ее. Он пишет о ней Кернеру: «Я был очень удивлен, что она не нравится уже мне так сильно, как прежде, хотя остается все же проникновенным произведением. Но она поразительно современна и совершенно не-греческая. Просто непонятно, как можно было ее когда-либо сравнивать с греческой трагедией. Ей присущ только пафос, но ей нехватает нравственной энергии, жизни, движения и всего, что делает произведение настоящей драмой. Гете сам уже давно намекал на это,—но я считал это только капризом или даже жеманством. Однако, при более внимательном чтении, я пришел к этому же заключению». Трудно сказать, был ли Гете плохо понят Шиллером или он сам плохо понял себя, но Шиллер доказал только, что греческий дух ему все же совершенно чужд, если он мог считать «Ифигению» Гете «поразительно современной и совершенно не-греческой» и в то же время думать, что его «Мессинская невеста» может быть поставлена рядом с «эсхиловской трагедией». Гете сумел в «Ифигении» греческий дух творчески преобразить, Шиллер в «Мессинской невесте» подошел к нему только с чисто внешней стороны.

Чтобы оправдать «идейный костюм» своей драмы, Шиллер перенес ее действие в Мессину, в эпоху, когда на острове Сицилии действительно столкнулись и смешались воедино христианство, греческая мифология и мусульманство. «Христианство, правда, являлось основой и господствующей религией, но греческая мифология продолжала еще жить в языке, в старых памятниках, в самом облике городов, основанных греками, тогда как вера в сказки и магия находили себе пищу в мавританской религии». Выбрав эту арену для действия своей драмы, Шиллер поступил очень умно, но из того, что здесь когда-то господствовала смутная вера в судьбу, еще никоим образом не следовало, что суеверный фатализм, который властвует в драме Шиллера, является греческим или вообще даже трагическим.

Целое прекрасное, блещущее силой, добродетелью, красотой, поколение гибнет без всякой вины с своей стороны потому, что... Но предоставим лучше слово самому поэту:

Ах, наперекор законным узам  
Сыновей жена та зачала,  
Связана кощунственным союзом:

То избранница отца была.  
И родитель над греховным ложем  
Высыпал проклятий страшных семя,  
Порождающих раздор;  
Черных преступлений бремя  
Наполняет этот дом с тех пор.  
То, чему начало—похищение,  
Верьте мне, окончится грехом,  
Что творит людское исступленье,  
Искупить оно должно потом.  
Не случайность и не рок слепой,  
Что меж братьями огонь раздора,  
Что из лона матери такой  
Может выйти? Ненависть и ссора.

В действительности же в драме Шиллера господствуют только «случайность и жребий слепой». Имел ли право прародитель извергнуть «ужасное семя страшных проклятий», остается неясно; что и «посягательство на выбор отца» могло быть преступлением, не было неизвестно автору «Дон Карлоса». Но если преступление совершил только сын, то подлежать наказанию должен был он, а между тем он в драме Шиллера продолжает властвовать в Мессине до конца своих дней, и только его безвинные сыновья, внуки проклинающего прародителя, питают друг к другу противоположную ненависть и зажигаются противоположенной любовью к своей единственной сестре—в силу проклятия, связанного с брачным ложем, в котором они были порождены. Но это только жестокое искажение античной идеи судьбы. Геббель совершенно прав, говоря, что Эдип тоже проклинает сыновей своих, но это проклятие вынуждено их деяниями. Если это проклятие на них обрушивается, то только потому, что они его заслужили, и Немезида и без того их настигла бы. Кроме того, оно обрушивается на них, а не на их безвинных детей.

Но и попытка Шиллера возродить в «Мессинской невесте» греческий хор опять-таки показывает, что внутренняя сущность греческого духа была ему недоступна. Хотя Гумбольдт очень охотно подчеркивал любовь Шиллера к античности и очень снисходительно относился к его ошибкам в этой области, он все же не может не признать, хотя и в очень мягкой форме, что хор Шиллера представляет полную неудачу. «Вы не должны были,—писал он Шиллеру,—превращать ваши хоры в спутников обоих братьев. Так как они следуют за ними во всех фазах их взаимной вражды, то они уже не являются только незаинтересованными гражданами Мессины. Кроме того, их приговор не может быть беспристрастным приговором судьбы,

как его высказывает человек, потому что во всем деле замешано и их собственное честолюбие... Это то же самое, что небо в ландшафте. Вполне понятно, что такой хор имеется, ибо весть о каждом действии распространяется в народе—более или менее быстро—только посредством передаваемых слухов. Говоря прозаически, хор только выносит свои суждения, это ахеяне, которые страдают, когда короли безумствуют». Действительно, в драме Шиллера обе половины хора безумствуют вместе с враждующими братьями, и хотя греческий хор, таким образом, превращается в свою противоположность, все же это единственное основание, которое побудило поэта вновь воскресить давно уже умершую драматическую форму.

Хор в «Мессинской невесте» является для Шиллера чем-то вроде резервуара для лирического потока, который в противном случае затопил бы всю драму. По мере того как в драмах Шиллера ослабевало четкое изображение характеров, в них нарастал лирический элемент. Монологи Марии занимают больше места, чем монологи Теклы, и в свою очередь монологи Марии несравненно короче, чем монологи Иоанны.

В «Мессинской невесте», где загадочный жребий руководит всем действием, четкая характеристика отдельных персонажей не являлась необходимой или даже до известной степени была невозможна, но зато открывались все плюсы для лирико-философических соображений таинственной судьбы.

Но если хор в «Мессинской невесте» сам по себе является в драматическом отношении полной неудачей, то отдельные хоровые песни тем более богаты поэтическими красотами. Здесь Шиллер находился в более свойственной ему сфере и, в меру своего таланта и своих знаний, черпал из духа античности.

#### «Вильгельм Телль»

В то время, как Шиллер еще работал над «Мессинской невестой», он уже заинтересовался новым историческим сюжетом, на который обратил внимание только потому, что распространился лишенный всякого основания слух, что он выбрал героем новой драмы Вильгельма Телля. Повторные запросы побудили его приняться за изучение «Истории Швейцарии» Чуди. И уже в сентябре 1802 года, как он писал Кернеру, «его осенил свет». «Наивный, геродотовский, почти гомеровский дух» Чуди дал толчок его поэтическому вдохновению.

Правда, это была «чертовски трудная задача», как он писал Кернеру. «Если даже отвлечься от всех упований, которые связывает публика и наша эпоха с таким сюжетом, то мне при-

ходится удовлетворить очень высокое поэтическое требование: нужно показать на сцене целый, локально-ограниченный народ, целую и отдаленную эпоху и, что важнее всего, совершенно местное, почти индивидуальное и единственное явление облечь в форму высшей необходимости и правды. Несмотря на это, столбы здания стоят уже прочно, и я надеюсь воздвигнуть солидную постройку». Однако работа подвигалась вперед очень медленно и была закончена только в январе 1804 года.

«Вильгельма Телля» часто ставили рядом с «Валленштейном» и даже выше его, что, конечно, с художественной точки зрения совершенно неверно. Вильгельм Телль — не трагический герой. Поэтому Шиллер назвал свою пьесу не трагедией, а просто драмой. Это должно было означать не только то, что герой не погибает. Сам сюжет носил совершенно эпический характер, и Гете, например, собирался обработать его в форме эпоса. Драма Шиллера есть только драматизированный эпос. Она распадается на три части: первый и второй акты, кульминационным пунктом которых является сцена на Рютли, третий и четвертый акты, в которых разворачивается борьба между Теллем и ландфогтом Гесслером, и пятый акт, в котором доминирует сцена с Паррицидой. Последняя сцена несомненно портит всю драму в сильнейшей степени. Еще Гете приписывал ее «влиянию женщин». Жена Шиллера и сестра ее считали необходимым, чтобы Телль свое преступление, убийство такого живодера, как ландфогт, искупил хотя бы проповедью против политического убийства.

Но и в других отношениях «влияние женщин» повредило художественной экономии драмы. Поддавшись, с одной стороны, требованиям этих придворных благожелательниц и считаясь с «ожиданиями, которые публика и эпоха связывают с таким сюжетом», Шиллер изобразил швейцарцев чересчур большими филистерами и ландфогта — чересчур свирепым театральным тираном. В сцене на Рютли мы читаем:

*Вальтер Фюрст.* С себя стряхнуть проклятое насилие  
Стремимся мы; права, что нам отцами  
Завещаны, хотим мы сохранить,  
А не без удержу за новым гнаться.  
Что кесарево, то его да будет.

Пусть каждый служит господам своим.  
*Мейер.* Мое имение — австрийский лен.

*Вальтер Фюрст.* Пред Австрией свой исполняйте долг.

*Иост фон Вейлер.* Я раппервейльским господам плачу.

*Вальтер Фюрст.* Так продолжайте же вносить налоги.

*Рессельман.* Я цюрихской богоматери вассал.

*Вальтер Фюрст.* С монастырем не порывайте связи.



Это в высшей степени нехудожественная тенденция, ибо если на Рютли, в начале четырнадцатого столетия, эти вопросы и сомнения были немыслимы и невозможны, то в начале девятнадцатого столетия они представляли резкий протест против величайшего дела французской революции. Что в данном случае мы имеем дело не с случайным промахом, показывают заключительные стихи драмы, в которых юнкер Руденц «крепостным своим дает свободу». Это опять-таки совершенно не исторично, но Шиллер таким путем хочет заключить компромисс между «влиянием женщин» и «упованиями эпохи». А такие компромиссы столь же мало состоятельны с художественной, как и с политической точки зрения.

Под влиянием этой смягчающей тенденции, которая дает себя чувствовать слишком часто на протяжении всей драмы, страдает и образ героя. В первом акте требование ландфогта оказать почести его шляпе изображается как крайняя степень позора, которого можно требовать от швейцарца:

Надумал фохт неслыханное нечто!  
Чтоб мы поклоны били шляпе! Это ль  
Не дикий бред? Никто, в ком чувство чести,  
На этот шаг позорный не пойдет.

А когда Телль в третьем акте проходит мимо шляпы, не поклонившись ей, мы вдруг читаем:

*Фрисгардт.* К верховной власти фохта он с презреньем

Относится, ее не признает.

*Шнауффбахер.* И это сделал Телль?

*Мельхталь.*

Ты лжешь, бездельник!

Ландскнехт Фрисгардт с большим уважением относится к Теллю, чем Штауффбахер и Мельхталь, политические вожди швейцарцев. Особенно страшно звучит это нравственное негодование в устах пылкого Мельхталя, который только что поклялся, что на всех вершинах Альп должны быть зажжены призывные костры и разрушены крепкие замки тиранов. Но они лучше знают, чем Фрисгардт, Телля, который, как только появляется на сцене Гесслер и объясняет отказ Телля поклониться его шляпе так же, как и его ландскнехт, сейчас же заявляет:

Простите мне, по неразумью только,  
Не из презренья к вам я это сделал.  
Будь я разумен, я бы не был Теллем.  
Прошу простить; не повторится это.

Следовательно, только «по невниманию» Телль не подчинился поруганию, которого не снесет ни один честный человек, и он просит снисхождения, обещая, что этого больше не случится.

Так осязательно проступает тенденция довести покорность швейцарского героя до последней степени самоуничтожения, чтобы он получил право поднять руку на тирана, который на такую покорность отвечает бессмысленно свирепой жестокостью. Справедливым наказанием за нехудожественную тенденцию служит уже то, что Шиллер и этим путем не мог успокоить своих добрых немцев, что буржуазные критики—начиная от архидемократического Берне до архиреакционного Вильмара—с трогательным единодушием отрещиваются от «предательского убийства», совершенного Теллем в лице ландфогта Гесслера. Но Шиллеру и здесь не изменяет его глубокий исторический смысл. Если действительно верно, что Телль, несмотря на свою крайнюю покладливость, делается жертвой жестокого мучителя, то право Телля пристрелить это чудовище, как лесного волка, совершенно неоспоримо, и остается только удивляться, что Теллю требуется еще длинный монолог, чтобы уяснить себе это неотчуждаемое человеческое право. Но превосходно обосновав психологически убийство Гесслера, как акт самообороны со стороны человека, смертельно оскорбленного в своих человеческих интересах, Шиллер изображает его исторически только как действие, порожденное бесчеловечным деспотизмом, действие, которое может дать сигнал к делу завоевания свободы, но которое само по себе не может быть таким делом. С мудрым тактом Шиллер не пускает своего Телля на совещание на Рютли, и если эпический характер сюжета помешал ему также слить дело единичной личности с делом всего коллектива, то в сцене на Рютли он формулировал великолепный призыв, который, как во время оно костры от одной альпийской вершины до другой, будет доносить его пафос свободы от одного поколения до другого:

Нет, власти деспота граница есть,  
Когда тому, кто ею утеснен,  
Становится невыносимым бремя,  
Он к небесам протягивает руку  
И там извечные свои права,  
Висящие меж звезд и, как они,  
Не знающие гибели, находит.  
Вновь строй природный воцарился, люди  
Друг другу снова противостоят;  
Когда все остальные средства тщетны,  
Решает дело обнаженный меч.

### «Димитрий»

«Вильгельм Телль» остался последней драмой Шиллера. Поэт сам не думал еще об отдыхе. Его физические страдания, правда, не прекратились со времени переезда в Веймар, но все же состояние здоровья несколько улучшилось. Его неутомимая работоспособность не истощивалась большими драмами, наряду с последними он занимался переводами с английского, итальянского и французского. К числу этих переводов принадлежат «Макбет» Шекспира и «Турандот» Гоцци. Шиллер надеялся, что ему удастся продолжать свою работу до пятидесяти лет, а он теперь достиг едва лишь половины пятого десятка.

Но жизнь в Веймаре начала его угнетать. Он сам считал чудом, что в таком узком и тесном мирке он может еще создавать что-нибудь, что годится для более крупного мира. Его беспокоило также будущее его несовершеннолетних детей. Он сделал поэтому попытку устроиться в Берлине, где Иффланд теперь ставил его драмы с большим искусством и старанием. Но попытка эта кончилась неудачей. В течение нескольких недель пребывания в Берлине его кормили только общими фразами, которые имели лишь одно хорошее последствие, что устыдившийся герцог Веймарский увеличил годичный оклад Шиллера до такой крупной суммы, как восемьсот талеров!

Летом 1804 года болезнь снова свалила поэта, и с этого времени уже больше его не отпускала. В мучительное время, когда уже приближался фатально его конец, Шиллер начал работать над большой драмой «Димитрий». Это был тот же сюжет, которому посвятил свои последние силы Геббель. Димитрий был русский претендент на корону, который, в начале XVII века, при помощи поляков и иезуитов, победоносно вступил в Кремль, где, разоблаченный скоро, как обманщик, погиб насильственной смертью. Геббель думал, что Шиллер не справился бы никогда с Димитрием, так как обманщик в драме делал невозможным высокое трагическое действие. Сам он старался обойти эту трудность, превратив своего героя в незаконного сына царя, законным сыном которого выступил исторический Димитрий. Когда Геббель так отзывался о плане Шиллера, он не знал, что Шиллер проектировал такое же решение для аналогичного сюжета, который занимал его до последнего года жизни, для английского претендента Варбека: по тем же мотивам, что и Геббель, чтобы «не оставить ни малейшего узла в области морального», но с той только разницей, что Варбек должен был вылиться не в трагедию, а в простую драму. Различные манеры обоих великих драматургов находят в этом

различном подходе свою тонкую четкую характеристику: Геббель ищет трагическую тему в психологической проблеме, хотя бы и в самой запутанной форме, Шиллер—в конфликте великих исторических противоположностей, как это показывает уже первый акт его «Димитрия»—единственный, который он закончил в главных его частях,—в великолепных прениях польского сейма.

Но есть еще другое основание сомневаться, удалось ли бы Шиллеру справиться с своим «Димитрием». Над английским претендентом он работал и более основательно, и более долгое время, чем над русским, и если он наконец остановился на последнем, то к этому побудил его чисто внешний повод—то обстоятельство, что наследный принц Веймарский должен был жениться на русской великой княжне. Вольцоген, зять Шиллера, уехал в качестве свата в Петербург. Его и просил Шиллер собрать исторические материалы для драмы. Из прозаического наброска, который он сделал для себя, видно, что он собирался воплести в драму апофеоз дома Романовых, а с этой задачей, можно думать, он вряд ли бы справился.

Память Шиллера была бы только сильно запятнана, если бы он воспел династию, которая, как никакая другая в истории, покрыта кровью и грязью и которая как-раз теперь, когда исполняется сто лет со дня смерти Шиллера, подвергается наконец тысячекратно заслуженному наказанию.

### Смерть и бессмертие

9 мая 1805 года Шиллер умер. Смерть явилась для него извлекательницей. По мнению врачей, только ценой страшных страданий можно было продлить его жизнь на очень короткое время.

Так исполнилось на нем самом его пророческое слово:

Быстро рвется жизни нить,  
Мертвецам же чуждо тленье.

Слава, которую он восхвалял, как высшее из земных благ, увенчала его могилу вечными лаврами, и когда тело его превращалось в прах, его великое имя продолжало жить. Шиллера чествовали, как любимейшего поэта нации, хотя никто не знал лучше самого Шиллера, что он не был ее величайшим поэтом.

Геббель объяснял эту популярность слабостями Шиллера, которые немецкому национальному характеру казались преимуществами. Этот характер любит все неопределенно-расплывчатое, что хочет быть одним и в то же время казаться другим,

и именно поэтому Шиллер, который не дает никогда что-нибудь совершенно исключительное и всегда дает только поэтическое, является его любимым поэтом. Если бы Шиллер, например, как драматический поэт, вместо своего пристрастия ко всяким сентенциям, имел к ним непобедимое отвращение и обладал достаточной способностью творческого преобразования, чтобы восполнить пробел, который образовался в силу этого в хозяйстве его драм, то что явилось бы следствием этого для нации? Поскольку он тогда явился бы наверное совершенно другим пред высшим судом эстетики, постольку же не подлежит никакому сомнению, что он растерял бы три четверти своей большой публики; немец вовсе не хочет иметь в характерах драмы нечто вроде высшего алфавита, из букв которого он должен сам составить разрешение загадки, так как для него фигура, без готовой этикетки во рту, уже является загадочной, и он никогда не может удовлетвориться, если поэт ставит себе главной задачей удовлетворить искусство. То же самое и в области лирики. Картина без подписи для немца картина без смысла. Он поэтому предпочитает все рассудочное, и Кернер выявил себя настоящим немцем, когда продолжал считать «Художников» высшим образцом лирики вплоть до появления «Песни о колоколе».

В этом отзыве чувствуется известная горечь, которая объясняется собственным опытом Геббеля, а также опытом Клейста, которого Геббель касается в своих дальнейших рассуждениях. Сказать, что Шиллер именно поэтому завоевал себе такое большое имя, что он, как драматург, с гораздо большей силой и энергией обращался к сердцу народа, чем Лессинг, Гердер и Гете, сказать это—значит упустить из виду, что великие драматурги немецкой литературы, которые стоят в одном ряду с Шиллером и в некоторых отношениях даже выше, Клейст и Геббель очень долго оставались незаслуженно в тени, да и до сих пор еще не получили должной оценки.

Но в аргументации Геббеля есть и зерно истины. Поэт всегда найдет доступ к массам гораздо легче, чем мыслитель и исследователь, но слава поэта, который является чистым художником, будет всегда больше расти во времени, чем в пространстве. Этим объясняется преимущество Шиллера как в сравнении с Лессингом и Гердером, так и в сравнении с Гете и Геббелем. Это не значит, конечно, что Лессинг и Гердер тоже не были в известной степени поэтами, или Гете и Геббель не были в известной степени мыслителями, но ни у кого из них эти элементы не находились в таком равновесии, как у Шиллера. Именно в этом

заключается действительное существо «неопределенно-расплывчатого», о котором говорит Геббель, и то, что он называет «немецким национальным характером», было в действительности буржуазным классом в Германии, буржуазией и в особенности мелкой буржуазией. Поэта, в котором она, как ей казалось, нашла все, что трогало ее сердце, она и подняла на щит, как своего передового борца.

В котором она, как ей казалось, нашла или, скорее, в которого она вкладывала все, что трогало ее сердце. Ибо не идеи создают интересы, а интересы преобразуют идеи. Именно здесь богатство Шиллера сентенциями достигло того влияния, которое приписывается ему Геббелем, тем более, что при этом руководились сомнительным принципом, в силу которого драматурга делают ответственным за все речи созданных им персонажей. И этим сомнительным принципом пользовались тем решительнее, что буржуазный класс интересовался личными условиями жизни своего любимого поэта после его смерти так же мало, как и в течение его жизни. Только очень поздно, около 1830 года, Гете и Гумбольдт опубликовали свою переписку с Шиллером, а эти письма характеризовали его только с эстетической стороны. В это же время появилась первая биография Шиллера, написанная его золовкой, Каролиной Вольцоген, которая, как вдова веймарского обер-гофмейстера, изобразила поэта в виде бледного призрака, связанного с земными делами только своим браком и благодарственным почтением, которое он питал к Карлу-Евгению и Карлу-Августу. Переписка Шиллера с Кернером, важнейший источник для его биографии, была опубликована незадолго до 1848 года, но и этот источник проливает свет только на более позднюю эпоху жизни поэта, когда уже закончились бурные годы его юношеских драм.

Таким путем Шиллер стал либеральным, национальным, идеальным поэтом, милостью буржуазного класса и в духе его тенденций. Худосочному либерализму буржуазии нравилось, что Шиллер боролся против буржуазной революции, даже поносил ее—в этом отношении более близорукий, чем некоторые его современники, как Клопшток и Гердер, Кант и Фихте. К его юношеским драмам, о которых Шиллер сам в более поздние годы отзывался неблагоприятно, относились как к незрелым пробам пера. Либеральный историк литературы Гервинус разнес его «Коварство и любовь» не менее решительно, чем Вильмар, угодливый гайдук гессенской династии, торговавшей людьми. А представителем могучего пафоса свободы, который

пылает во всех драмах Шиллера, от «Разбойников» до «Вильгельма Телля», был выбран наиболее неудачный и в эстетическом и в историческом отношении плоский герой фразы, Поза, на которого Шиллер сам, едва только успев создать его, мог смотреть только с неприятным чувством.

Но еще больше пришлось извратить историческую правду, чтобы сделать из Шиллера герольда идеи национального объединения. Буржуазия дала этим классическое доказательство недостатка веры в свои силы. Ведь не подлежит никакому сомнению, что борьба буржуазии за национальное объединение в XIX веке представляет исторический прогресс в сравнении с господствовавшим в XVIII веке беспочвенным космополитизмом буржуазного просвещения. И также не подлежит ни малейшему сомнению, что Шиллер был целиком предан этому космополитизму. Он знал «отечество» только как швабский кантон, а вообще хотел быть «современником всех эпох» и о призывании немцев к национальному объединению думал так же, как и Гете:

Нацией сделаться вы мечтаете, немцы, напрасно!  
Дух свободы в себе лучше бы вам развивать.

Но Шиллера надо было сделать пророком национального единства. С этой целью то перетолковывали слова, вложенные им в уста средневекового феодала, — недостойна та нация, которая не ставит с радостью все на карту, чтобы спасти свою честь, то делали вид, что другой средневековый феодал имел в виду не швейцарские кантоны, а современную нацию, когда говорил:

К отчизне всею прилепись душой  
И за нее, родимую, держись:  
Она питает корни сил твоих.

Но хуже всего было то безобразие, которое немецкий буржуа творил с эстетически-философским идеализмом Шиллера. В той его форме, в которой его исповедывал Шиллер, он уже в его время представлял тайну очень узкого круга, а после его смерти этот идеализм стал в совершенно искаженной форме обоснованием для всей половинчатости и трусости немецкого мещанства. Он укрепил филистера во всем его филистерстве и в особенности способствовал развитию идиотского предрассудка, с которым нам и теперь еще приходится походя бороться, именно что философский идеализм — это вера в нравственные идеалы, а философский материализм — это обжорство, пьянство,

похотливость, распутство, суетность, а потому всякий brave мечанин, зазубривший несколько отрывков из «идеальных» стихотворений Шиллера, имеет право считать себя выше таких людей, как Дарвин и Геккель, Фейербах и Маркс. Кантовский дуализм, даже в той утонченной форме, которую придал ему Шиллер, определенно выявил себя не как преодоление христианского дуализма, а как его продолжение или, точнее, как его перевод с феодального на буржуазный язык. В той интерпретации, которую дала ему буржуазия, он уже не говорил больше бедняку, как это делал ортодоксальный поп, что в небе восседает истый господь, который воздаст ему в загробной жизни награду за все его страдания в этом несовершенном мире, а доказывал, что бедняку стоит только бежать в «царство идеала», в «царство теней», чтобы избавиться от земной нужды. В своем наиболее прославленном философском стихотворении Шиллер пел:

Выбирай же: чувственное счастье  
Иль душевный мир—одно из двух.  
Хочешь богоравным быть и вольным  
В этом преходящем мире дольном,  
Не срывай плодов в его садах;  
Избери душою созерцанье,  
Ибо быстро радость обладанья  
Тонет в пресыщения волнах.

А немецкая буржуазия переделала эти прекрасные строфы в пошлую прозу, в которой капиталистический эксплуататор твердит о «душевном мире» рабочих, когда последние хотят, путем повышения заработной платы или сокращения рабочего времени, увеличить немного свое «чувственное счастье».

Нельзя смешивать эстетически-философский идеализм Шиллера с историко-философским идеализмом Фихте и Гегеля. Шиллер бежал из ограниченной, затхлой жизни в царство искусства, тогда как Фихте смелым порывом мысли хотел освободить эту жизнь от всего ограниченного и затхлого. Фихте открыто проповедывал атеизм, право на революцию, равенство всех людей, то равенство, которое Шиллер допускал только в царстве эстетической видимости. И точно так же Гегель не бежал от современности, но, наоборот, старался понять ее в ее основных идеях и завоевал своей исторической диалектикой многочисленные области мысли. Сильнее всего этот идеализм, в его буржуазно-либеральном искажении, свирепствовал в сороковых годах прошлого столетия, когда уже начали собираться тучи мартовской бури. Маркс писал тогда гневно,



что бегство Шиллера в царство идеала только меняет земную мерзость запустения на идеальную, и с того же времени датируется антипатия, которая явственно проступает всегда, когда Марксу и Энгельсу случается говорить о Шиллере.

Нелепо утверждать, что дух Шиллера воодушевлял мартовских героев 1848 года. Самая элементарная любовь к истине запрещает превращать его в глашатая буржуазной революции. Он видел эту революцию, но не понял ее. Она ужаснула его, как только он услышал ее железную поступь. Если в 1848 году еще гулял где-нибудь, правда, не дух Шиллера, а его тень, то лишь под сводами церкви Павла. Эту тень буржуазия вызвала еще раз, десять лет спустя, когда она оправилась от своего революционного поражения и попыталась вновь схватиться с абсолютистской и феодальной реакцией. Торжественный всенародный праздник в честь Шиллера 10 ноября 1859 года, в столетний день его рождения, был кульминационным пунктом буржуазного культа Шиллера, но это был и его последний этап. С тех пор как революция разразилась над немецкой буржуазией сразу — и сверху, и снизу, — она рассталась с мавром, исполнившим свою работу.

Но это не значит, что лавры на могиле Шиллера уже завяли. На него имеет притязание не только буржуазия, но и пролетариат. Когда Шиллер работал и боролся, рабочий класс составлял еще часть буржуазии. Он не делает из Шиллера идола, чтобы использовать его в своих эгоистических интересах. Он не может смотреть на Шиллера, как на непогрешимого учителя и руководителя. Он идет другими путями, чем Шиллер. Но то, что ценно в наследстве Шиллера, рабочий класс нерушимо чтит. Призыв Шиллера против тиранов всегда найдет отклик в рядах рабочего класса. Творец «Разбойников» и «Луизы Миллер», «Валленштейна» и «Телля» будет всегда дорог его сердцу. Он всегда будет с удивлением и благодарностью взирать на эту жизнь труда, борьбы и страданий, которую поддерживала гордая воля, пока не угасла последняя искра физической энергии.

В этом вавилонском смешении языков, которое раздается среди господствующих классов в день столетия со времени смерти Шиллера, рабочий класс явственно различает лейтмотив его поэтического творчества и в его удачах и в его ошибках благородство духа, победоносно преодолевающее всякое рабство.

## Шиллер и современность

Лет тридцать назад был издан обзор немецкой шиллеровской литературы. Он охватывал 67 полных собраний, 323 отдельных издания произведений Шиллера и 711 работ о поэте. С тех пор эта литература безмерно разрослась, а в настоящее время, к столетию со дня смерти поэта, на германский книжный рынок снова низвергается настоящее море изданий Шиллера и писаний о нем. Если к этому прибавить бесчисленное количество высказываний о Шиллере в произведениях периодической и непериодической печати, посвященных не специально Шиллеру, то можно было бы думать, что нет ничего легче, как в немногих словах определить историческое значение Шиллера.

Однако мнение это в корне ошибочно. Даже при беглом взгляде на работы о Шиллере, которые растут сейчас, как грибы после дождя, становится ясным, что в этой области произошло смешение языков, как некогда при вавилонском столпотворении. Не случайно и то, что при всем тропическом изобилии литературы о Шиллере, у нас все еще нет сколько-нибудь сносной биографии поэта и что три крупных попытки, сделанные в этом направлении в восьмидесятих и девяностых годах прошлого века Брамом, Минором и Вельтрихом, оборвались на середине или даже в самом начале. Между тем вся подготовительная работа для исчерпывающей биографии Шиллера давно закончена. Его произведения распаханы и перепаханы с пресловутой «филологической точностью», не осталось ни одного клочка этой нивы, где плуг не прошел бы раза три, а то и десять раз, и обследована каждая мельчайшая былинка, вплоть до сорняков. Так же обстоит дело и с перепиской поэта вплоть до его ничтожнейших записок. С той же тщательностью, с какой выяснена его духовная жизнь, не исключая самых обыденных высказываний, изучены и события его несложной биографии, не представляющей теперь ни одной загадки. В этом отношении освещено все, вплоть до ненужнейших мелочей.

Что же собственно мешает понять Шиллера, как историческое явление? Та стена традиций, за которую буржуазия запрятала личность поэта. Как вокруг Лессинга, так и вокруг Шиллера соткана целая легенда, хотя и с другой тенденцией. Как Лессинг должен олицетворить в нашей классической литературе историческую миссию Гогенцоллернов, так Шиллер должен олицетворить историческую миссию германской бур-

жуазии. С этой точки зрения в Шиллера вкладывали все возможное и невозможное, о чем его бедная душа не только ничего не знала, но и не подозревала. Было бы несправедливо утверждать, что легенда эта была создана с предвзятым намерением ввести людей в заблуждение, но несомненно, что всякий научный исследователь, который хочет подойти к Шиллеру, прежде всего должен убрать с своего пути легенду о Шиллере. Но буржуа пойти на это не в силах, и надо похвалить серьезных историков литературы за то, что они или вовсе не рискуют приняться за эту тяжелую задачу или же с огорчением бросают работу, как только их научная добросовестность вступает в безысходный конфликт с их буржуазными предрассудками. Только бойкие поставщики злободневного литературного товара без зазрения совести пишут о Шиллере свои книги и брошюры, ценность которых равна нулю.

Германская рабочая печать, таким образом, отнюдь не преувеличивает, когда говорит о «буржуазном шиллеровском буме». Это сознание проникает даже в буржуазную прессу, по крайней мере в ту ее часть, которая стремится извлечь из шумихи, поднятой сейчас вокруг Шиллера, нечто большее, чем простое ярмарочное развлечение. «Франкфуртская газета» уже не раз выражала огорчение по поводу того, что шиллеровские торжества в 1905 году не будут такими возвышенными и прекрасными, какими они были в 1859. В этой газете, конечно, права, но кто советовал ей собирать финики с чертополоха? Шиллеровские торжества 1859 года также основывались на легенде о Шиллере. Германская буржуазия чествовала не исторического Шиллера, который существовал в действительности, а того, которого она сочинила для собственных надобностей, не того Шиллера, который отрицал у немцев способность создать когда-либо нацию в современном значении этого слова, а того, который будто бы являлся глашатаем германского единства в современном национальном духе. Но легенда эта сама по себе еще обладала в то время исторической силой. Она не была ни ложью, ни фразой. Если она и не была проявлением сильной воли, то все же ее породила великая тоска, и, таким образом, она была способна зажечь истинное воодушевление не столько по отношению к Шиллеру, сколько при посредстве Шиллера.

Но сейчас можно ли вообще говорить о чем-нибудь подобном? Какое значение может иметь Шиллер для буржуазии, эстетические, политические и общественные идеалы которой давно поглотила погоня за барышами? Какое значение может

он иметь и для мелкой буржуазии, окончательно растоптанной крупным капиталом и ищущей иллюзорного спасения в средневековых миражах вроде цехового строя? Если эти классы носят теперь с Шиллером, то в худшем случае это ложь, а в наилучшем—фраза.

Совершенно иное значение имеет Шиллер для рабочего класса. Свободный от буржуазных предрассудков, рабочий класс видит Шиллера в рамках той эпохи, в которой он действительно жил. Понимая историческую обусловленность его творчества, рабочий класс может по достоинству оценить и его историческое величие. Рабочий класс не превращает в объект культа даже творчество Шиллера, как это делает буржуазия с именем поэта. Для великой цели, стоящей перед пролетариатом, не нужны завешанные прошлым идолы, хотя бы и из области классической литературы, но и без того исторический его инстинкт не позволяет ему путать разные эпохи подобно тому, как это делает буржуазия. Однако глубокая симпатия соединяет его с поэтом, чей могучий пафос свободы впервые нашел исторический отзвук в титанической борьбе рабочего класса, чьи героические усилия и страдания делают его навеки дорогим для класса, жизнь которого также состоит целиком из труда, борьбы и страданий, чья суровая судьба тем глубже волнует пролетариат, что, несмотря на все бедствия, этот класс способен ощущать «великую уверенность в победе», которую Шиллер мог найти лишь в заоблачных высотах своего идеального мира. Существует плоское и свидетельствующее к тому же о полном непонимании исторического материализма представление, что придворная среда, в которой жил Шиллер, угасила его революционный дух. Конечно, эта придворная среда в известной степени оставила на нем свой след, так как даже самая крупная и сильная личность не может совершенно освободиться от влияния окружающей ее среды. Но не эти мелкие пятна характерны для Шиллера, а, наоборот, его высокая моральная настроенность, которую он упорно поддерживал в себе вопреки невероятно тяжелым обстоятельствам жизни. Гораздо более глубокое и тонкое суждение высказывает Альберт Ланге: «Все существо Шиллера глубоко пронизывала та раздвоенность, которой так сильно отмечен восемнадцатый век и мимо которой могли пройти, почти не подозревая о ней, лишь немногие счастливые натуры вроде Гете. Подобно тому, как в натуре Шиллера боролись пламенное стремление к идеалу с могучей чувствительностью, точно так же и в процессе формирования его духовной личности очень скоро должны были всту-

пить друг с другом в конфликт глубокие, никогда окончательно не исчезнувшие, религиозные впечатления детства и острый ум». Эти слова удачно определяют внутренний разлад эпохи буржуазного просвещения, мимо которого Гете прошел, почти не подозревая о нем, не потому, что был счастливой натурой, а потому, что у него была натура художника, а не борца.

Зато Шиллер стоял в первых рядах великих бойцов буржуазного просвещения. Первое достоверное свидетельство, которое мы имеем о его личности, подчеркивает именно это его свойство. Его одушевляли больше всего проявления силы, писал друг его юности Шарфенштейн, и если бы Шиллер не был великим поэтом, то ему не оставалось бы другого выбора, как стать великим человеком в активной общественной жизни. Его поэзия и его деятельность свидетельствуют, что он отдавал предпочтение жизни действительной перед жизнью созерцательной, труду—перед познанием, действию—как он говорит в «Фиеско»—перед искусством и фикцией. Поэтому правильно уже семьдесят лет назад сказал буржуазный историк литературы Гервинус: «Лишь потому, что реальный мир оказался слишком недоступным для духовных сил юноши, он ушел от него в поэзию и царство идеалов. Но и после этого он черпал свой материал из реальной действительной истории и, повидимому, полагал высшим призванием поэта воспевать подвиги, хотя и утверждал, что хвала из уст поэта есть лучший венчик подвигу». И эти слова опять-таки гораздо яснее и понятнее, чем якобы материалистическое, а на деле совершенно наивное представление, что веймарское окружение превратило Шиллера из гордого революционера в кабинетного философа.

Дуализм, раздвоенность, свойственные эпохе буржуазного просвещения, были неотделимы от нее, и даже наиболее сильные натуры не могли их преодолеть. Постоянно борясь за то, чтобы возвысить реальную жизнь над созерцанием, они постоянно бывали вынуждены реальность подчинять созерцанию. Так, будучи юношей, Шиллер ставил реальное действие выше искусства и фантазии, в зрелом же возрасте вынужден был предпочесть искусство и фантазию реальному действию. Он украсил свой идеальный мир—светлую страну, населенную чистыми формами,—всеми художественными средствами, которыми располагал, и мир этот, как произведение гения, стал достоянием человечества; кто захочет воспринять этот мир чисто эстетически,—что было и могло быть уделом лишь немногих,—тот получит редкое наслаждение. Но, как мировоззрение, он в глазах современного пролетариата стоит не

больше блестящей поддельной жемчужины, так как этому классу не нужно строить свой мир в заоблачных высотах: он может построить и действительно строит его на твердой земле.

Такова основная оговорка, которую современное рабочее движение делает по отношению к буржуазному просвещению в целом, а в частности и по отношению к величайшему поэту этой эпохи. Ибо если теперь мы с трудом можем понять, как могли когда-то серьезно спорить о том, кто более великий поэт: Шиллер или Гете, то все же с полным основанием мы можем сказать, что из всех великих героев буржуазного просвещения — и не только в Германии — никто не обладал такой богатой художественной одаренностью, как Шиллер. В его поэтических произведениях нет ни «высшего», ни «чистого» искусства, и суровая критика, которой подвергли его творчество сначала романтики, а потом — натуралисты, имела с эстетической точки зрения известное основание. И все же чаша весов, особенно в руках рабочего класса, постепенно склонялась в сторону Шиллера, так как пролетариату, к счастью, не нужно приспособливать свой художественный вкус к более или менее застывшим догмам односторонней эстетики.

И до тех пор, пока пролетариат будет вести свою тяжелую борьбу за великие интересы человечества, он будет прислушиваться к звучному голосу этого борца, мужественное сердце которого было неиссякаемым источником решимости преодолеть все страдания угнетенного мира.

### Шиллер и великие социалисты

В дни шиллеровских торжеств невольно встает вопрос о влиянии, которое оказал Шиллер на Маркса, Энгельса и Лассалья. Много об этом не скажешь, так как Маркс и Энгельс высказывались о Шиллере лишь мимоходом, да и Лассалья пришлось говорить о нем очень мало. Однако мимолетные замечания Лассалья свидетельствуют о его живой симпатии к Шиллеру, тогда как со стороны Маркса и Энгельса можно скорее отметить противоположные чувства.

Для этого имеются довольно глубокие основания, не лишённые известного исторического интереса. Сказать, что Маркс и Энгельс не хотели ничего знать о Шиллере, потому что он был «идеалистом», значило бы говорить об «идеализме» в том расплывчатом смысле, который придавался ему не столько самим Шиллером, сколько его буржуазными комментаторами. К Фихте и Гегелю, которые были «идеалистами» в

самом ярком значении этого слова, Маркс и Энгельс всегда относились с большим уважением и охотно признавали себя их учениками. В зависимости от тех или иных условий, в понятие идеализм могут вкладываться не только различные, но и совершенно противоположные воззрения.

В этом смысле резко различались между собой идеализм Шиллера и идеализм Фихте, и никто не сознавал это яснее, чем сам Шиллер и Фихте в ту эпоху—последнее десятилетие восемнадцатого века,—когда они жили вместе в Иене. Шиллер писал тогда Фихте (в споре, возникшем между ними из-за принятия в «Оры» рукописи Фихте): «Если бы мы расходились только в принципах, то у меня было бы достаточно доверия к нашей любви к истине и к нашей доброй воле, чтобы надеяться, что один из нас в конце концов склонит другого к своему мнению. Но мы ощущаем по-разному, мы в высшей степени различные натуры, и с этим уж ничего не поделаешь». Примерно так же, но еще резче отзывался Шиллер в письмах к Гете о Фихте, которого он однажды назвал «богатым источником нелепостей» и публично высмеивал, как «обновителя мира».

Здесь мы подходим к решающему моменту. Эстетико-философский идеализм Шиллера заключался в бегстве от жалкой действительности в сферу искусства, тогда как Фихте отвергал эту резиньяцию, за что Шиллер назвал его «неэстетической натурой». Фихте стремился превратить жалкую действительность в действительность, достойную человека, путем воздействия на нее со стороны волевого «Я». Легко увидеть, насколько этот историко-философский идеализм был далек от идеализма Шиллера и даже прямо противоположен ему и почему идеализм Шиллера—правда, в совершенно ложно понятой и искаженной форме—должен был стать идеалом немецкого филистера, который хочет спокойствия для себя, тогда как Фихте и Гегель высоко, как журавли, парили над головами мещан, пока не встретили в лице Маркса и Энгельса творческих преобразователей их идеализма.

С этой точки зрения уже легко понять, почему Маркс как-то сказал, что бегство Шиллера в область идеала сводилось к замене пошлого убожества убожеством высокопарным, или почему в другой раз Энгельс объяснил травлю философского материализма тем, что филистер разбирается в нем лишь постольку, поскольку он нахватал крох философской премудрости из стихов Шиллера. Как раз в самые бурные годы своего духовного развития Марксу и Энгельсу пришлось бороться с тем чучелом, которое германское мещанство со-

ждало из шиллеровского идеализма, и они относились к нему с тем большей неприязнью, что пустельгие и легкомысленные фельетонистские талантики типа Карла Грюна соединили ложно понятый ими идеализм Шиллера с столь же ложно понятым идеализмом Фихте и Гегеля, создав из всего этого невероятную мешанину. Такая поверхностная беллетристическая болтовня всегда вызывала у Маркса и Энгельса неудержимый гнев; они видели в ней, — и конечно, с полным основанием, — опаснейшую угрозу для рабочего движения. Можно только пожелать, чтобы этот гнев сохранил свою жизненную силу и в современном рабочем движении.

Правда, из-за этого Маркс и Энгельс в большой мере недооценили самого Шиллера. Они не дали себе труда установить или хотя бы во всеуслышание констатировать, что идеализм в понимании Шиллера имел для его эпохи иное значение, чем тот идеализм, который немецкие мещане эпохи 1815—1848 годов состряпали для своих нужд из шиллеровских стихотворений. Как только немецкий бюргер начинал восторгаться Шиллером, Маркс и Энгельс недоверчиво настораживались. Даже антифранцузская травля весной 1859 года возбудила у них меньшую неприязнь, чем шиллеровские торжества осенью того же года. «Она (эта травля) была действительно национальной, — писал Энгельс, — гораздо более национальной, чем все шиллеровские торжества от Архангельска до Сан-Франциско; она разразилась естественно, инстинктивно, непосредственно». Но это не верно. Из двух эмоций германской буржуазии в 1859 году чествование Шиллера было несомненно более стихийным. Лассаль совершенно правильно разъяснил это, сославшись на слова Фихте, что литература является единственной связью, объединяющей нацию. «В духовном единстве литературы, — вот в чем наш народ видит залог своего духовного единства и тем самым радостную уверенность в своем духовном возрождении».

Лассаль в не меньшей степени, чем Маркс и Энгельс, был учеником Фихте и Гегеля. Он так же, как и они, далек от идеализма Шиллера, но относится к нему с меньшей предвзятостью. Так же, как Маркс и Энгельс, выступает он против буржуазного извращения этого идеализма, но он делает еще и то, что упустили сделать Маркс и Энгельс под давлением более настоятельной нужды и в пылу более резкой борьбы: проводит грань между Шиллером и его буржуазными комментаторами. В сороковых годах Карл Грюн был много опаснее, чем Юлиан Шмидт в пятидесятых. В своем памфлете против



этих героев буржуазной истории литературы Лассаль дает превосходную и вполне правильную характеристику шиллеровского идеализма. Предоставив своему сотруднику Бухеру вскрыть ошибочность суждений Юлиана о Шиллере, Лассаль останавливается на другом вопросе, имеющем общий интерес, — а именно на уровне образованности Шиллера.

Об образованности Шиллера часто говорили с пренебрежением, и в самом деле в ней было не мало пробелов. В этом было повинно преступление, которое по отношению к Шиллеру, когда он был еще мальчиком, совершил Вюртембергский герцог Карл-Евгений, заточивший ребенка на восемь лет в академию Карла. Эти пробелы в образовании Шиллер не смог заполнить и впоследствии, несмотря на годы напряженной работы. Все это так, но поистине смешно, когда какой-нибудь Юлиан Шмидт принимает на этом основании покровительственный тон по отношению к Шиллеру и изрекает такую невероятную галиматью: «Из бесконечно малого запаса материала Шиллер сумел построить весьма многостороннее мировоззрение, которое порой поражало даже знающих людей своей гениальной правдой. Отсюда его медленное развитие, но отсюда же и его твердая вера в могущество духа, которому подчинена действительность».

Лассаль, разоблачив этот наглый вздор, высказывает об образовании Шиллера замечательное и в общем, конечно, правильное суждение, а именно, что автор «Валленштейна» и «Тридцатилетней войны», переводчик Еврипида и знаток античной трагедии, которую он пытался возродить в своей «Мессинской невесте», основательный знаток швейцарской истории, которую он мастерски изобразил в своем «Телле», и автор писем об эстетическом воспитании обладал вполне почтенным и широким научным горизонтом, которому, быть может, лишь кое в чем недоставало глубины. Но Лассаль не заметил, что вздорная болтовня Юлиана Шмидта была нагло списана, что она воспроизвела следующие строки Вильгельма Гумбольдта о Шиллере: «Удивительно, из какого малого запаса материала Шиллер создал весьма многостороннее мировоззрение, которое во всех своих проявлениях поражает своей гениальной правдой; трудно дать ему иное определение, ибо оно создано отнюдь не внешним путем. Шиллер видел лишь часть Германии и никогда не бывал в Швейцарии, которая, однако, так жизненно изображена в его «Телле». Надо сравнить эти слова Гумбольдта с тем, что сделал из них Юлиан Шмидт, чтобы ответить на вопрос, существуют ли более бессовестные

пачкуны, чем бойкий Юлиан, и правы ли те сердобольные души, которые до сих пор еще жалеют эту невинную жертву злого Лассалья.

Но пример этот характеризует также и те методы, при помощи которых идеализм Шиллера (к наиболее глубоким знакам которого принадлежал Вильгельм Гумбольдт) приспособляли к пониманию буржуазного мира. Этот идеализм упрятывали в нелепейшую словесную оболочку и этим отчасти способствовали приглушению классовой борьбы германской буржуазии. Маркс и Энгельс должны были бороться с этим идеализмом, поскольку хотели остаться верными своей великой жизненной задаче. Если Шиллеру пришлось при этом пострадать, то,—даже сохраняя верность Шиллеру,—с этим несравненно легче примириться, чем с духовным растлением масс, внесенным беллетристической болтовней всяких Карлов Грюнов, которые могут считаться бессмертными, ибо они никогда не вымирают.

# **РОМАНТИЗМ**

## Клейст

### Генрих фон Клейст

Молодой Лессинг в свойственной ему боевой и задорной манере осыпает насмешками хныканье по поводу «несчастливых поэтов». По его мнению, поэты, которых сделала несчастными, так сказать, сама природа, как она делает людей слепыми, не могут быть причислены к этой категории, потому что они были бы несчастными, даже если бы не сделались поэтами. Других сделали несчастными их плохие качества, поэтому и на них следует смотреть не как на несчастных поэтов, а как на преступников или глупцов. Несчастливыми поэтами можно, думает Лессинг, назвать только тех, которым помешало стать счастливыми либо безобидное занятие поэтическим искусством, либо слишком серьезное занятие им, которое обыкновенно делает нас неспособными ко всем другим делам. А число таких поэтов весьма невелико.

Принадлежит ли к этому маленькому числу Генрих фон Клейст, столетие со дня смерти которого истекает 21 ноября текущего [1911] года,—является еще вопросом. Он достаточно болел и телом, и душой; жизнь его, не без основания, названа была ужасающей историей болезни. Богата она также поступками и ошибками, в свете которых Клейст является если и не преступником, то непонятным глупцом. В последнем счете именно слишком серьезное занятие поэтическим искусством сделало его неспособным ко всем другим делам, дало ему в удел скорбную жизнь и печальный конец, и полной правдой звучат слова,

которые посвятил ему в дни собственной тяжелой нужды великий соперник в борьбе за венец драматической славы, Геббель:

Поэт и человек, каких дотоле  
Века с собой не часто приносили,—  
Он лишь немногим уступил бы в силе,  
Но никому в безмерно тяжелой доле.

Это несчастье осталось верно и мертвому Клейсту. Точно так же, как он, прирожденный драматург, при жизни своей—беспримерный случай во всей истории—не видел ни одной своей драмы на сцене, так и после его смерти эти драмы не могли завоевать сцену, за исключением «Кэтхен из Гейльбронна», самой слабой из них, которая в прошлом столетии, часто в форме, искаженной невежественными руками, стала любимой пьесой, в особенности дамского мира. «Разбитый кувшин», «Германова битва», «Принц Гомбургский» тоже иногда удастаиваются постановки, а недавно даже два берлинских театра к столетию со дня смерти поэта взяли на себя смелость поставить «Пентезилею». Однако ни одна из этих драм не получила гражданства, как прочное достояние театра, и из всех их худшая доля досталась «Принцу Гомбургскому», который в дни парадных торжеств ставится для вящей славы того самого двора, что хладнокровно осудил поэта на голодную жизнь.

Только в одном отношении Клейст мог бы считать себя счастливым, если бы дожил до наших времен: литература, посвященная его жизни и сочинениям, разрастается в колоссальных размерах. Его имя окружено такой книжной славой, что он мог бы, если бы его честолюбие было направлено в эту сторону, гордиться. Он нашел бесчисленный ряд биографов и издателей: от Тика и Бюлова, Коберштейна и Кепке, Трейчке и Вильбрандта до Брама и Эриха Шмидта. В этой литературе много добросовестных и основательных работ, но в основном и главным результат не находится в соответствии с огромной затратой труда. Многие басни, распространяемые о Клейсте, теперь выяснены, и среди них подверглись уничтожающей критике и некоторые верноподданнические легенды. Ложно оказалось и то, что королева Луиза давала поэту ежегодное пособие в размере шестидесяти луидоров, и то, что король Фридрих-Вильгельм III, незадолго до смерти Клейста, обещал ему предоставить службу и предложил на выбор либо место королевского адъютанта, либо командование ротой. Обе легенды издавна уже носили на себе печать комической нелепости, но, при существующих условиях, можно поставить в заслугу буржуаз-

ным историкам литературы, что они категорически отвергли эти легенды. Несмотря, однако, на всю эту старательную работу, многие загадки, которыми так обильна жизнь Клейста, не получили еще своего разрешения. При всех попытках объяснить их так или иначе они в конце концов подтверждают мнение Гете, который считал Клейста богато одаренным от природы, но страдающим неизлечимой болезнью человеком.

Эта болезненная черта характеризует не только жизнь Клейста, но и его произведения. Навязчивая идея самоубийства вдвоем занимала его неоднократно, и он постоянно возвращается к ней. Если, может быть, и неверно предание, что в течение одного из тех неизвестных периодов своей жизни, когда он совершенно исчезает из поля нашего зрения, он сидел в доме для умалишенных, то многое в его действиях вызывает подозрение, что он временами страдал припадками психического расстройства. Вот почему среди его более крупных поэтических произведений вряд ли есть хотя одно, не страдавшее бы от болезненных причуд, от фантастических крайностей, которые даже самому расположенному читателю значительно отравляют наслаждение: то герой действует и страдает, как лунатик, то героиня спасается от пожара при помощи ниспосланного небом херувима, то женщина, к смертному одру которой нас приводит поэт, вдруг воскресает, как цыганка-гадальщица. Совершенно свободен от этого «изъяна его духа», как говорил сам Клейст в светлые промежутки, только «Разбитый кувшин».

Со всем этим приходится у Клейста раз навсегда примириться. То, что при этом теряет поэт, выигрывает человек, создавший все же так много прекрасных творений, несмотря на болезненные черты его психики, чрез посредство которой, говоря словами Лессинга, природа сделала его несчастным. Эта точка зрения не поддается психологической оценке и не подлежит дальнейшему рассмотрению. Зато другая точка зрения, которая дает возможность заглянуть поглубже в сущность характера Клейста и объяснить его несчастную судьбу, как поэта, почти никогда не упоминается его биографами и издателями. Насколько мне известно, ее бегло коснулся однажды только Трейчке, да и то не в статье о Клейсте, а в случайной рецензии, в которой он—тоже в совершенно случайной связи—говорит, что Клейст до конца дней своих остался прусским офицером старой школы.

Разумеется, *остался*. Что Клейст, как отпрыск бедной офицерской семьи, уже очень молодым человеком после весьма недостаточного школьного образования,—настолько, что вели-

кий мастер языка никогда не мог преодолеть всех трудностей грамматики,—записан был в офицерские кадры фридриховской армии, понятно само собой. Он проделал трагикомические рейнские походы против французской революции без всякого воинственного энтузиазма. Своей сестре Ульрике, которая в течение всей его жизни оставалась готовым на все жертвы и верным другом его, он писал в 1795 году: «Пусть только господь пошлет нам мир, чтобы мы могли заплатить человеколюбивыми делами за то время, которое мы здесь так безнравственно убиваем». После Базельского мира, Клейст в том же году вернулся в потедамский гарнизон, где он, как и за сорок лет перед этим его старший тезка Эвальд Клейст, поэт весны, значительно менее одаренный, чем он, но тоже болевший периодической «меланхолией», невыносимо страдал от грубого и невежественного поведения своих товарищей. В 1799 году он предпочел снять мундир и двадцати двух лет поступил в университет своего родного города, Франкфурта-на-Одере.

Однако очень скоро стало ясно, что Клейст, при его недостаточной подготовке, не станет светилом науки. Он начал тогда свою скитальческую жизнь сперва в южной Германии, затем в Швейцарии и Франции,—жизнь, которая, всегда перемежаясь духовными и физическими страданиями, разбудила в нем поэта. В свойственном ему порыве экзальтации он хотел одним взмахом сорвать венец с главы Гете, создать драму, которая соединила бы величие греков и Шекспира и по окончании этого совершенного произведения умереть. Своим героем он выбрал вождя норманнов Гвискара. Несколько лет старался он овладеть этим сюжетом, пока 3 октября 1803 года не написал своей сестре следующие потрясающие слова: «Небезызвестно, моя дорогая (и я готов умереть, если это не самая настоящая правда), как охотно я отдал бы за каждую букву письма, которое начиналось бы: моя трагедия готова, каплю крови моего сердца. Но ты знаешь, кто, согласно пословице, больше делает, чем он может. Я потратил пятьсот дней подряд, включая сюда и большинство ночей, на попытку прибавить к завоеванным уже нашей семьей венкам еще один новый венок. А теперь наша святая покровительница говорит мне: довольно! Поцелуями оттирает она пот с моего чела и утешает меня: если бы каждый из ее сыновей сделал так много, то нашему имени нашлось бы место среди звезд... Я отступаю перед тем, которого еще нет, и склоняюсь за тысячу лет пред его духом... Мои полуталанты дал мне ад,—небо дарит человеку целый талант или ничего». В минуту фатального отчаяния Клейст сжег тогда

рукопись драмы. Сохранились только первые пятьсот стихов, могучий торс, после знакомства с которыми мы прекрасно понимаем, почему старик Виланд, которому Клейст читал отдельные сцены своей драмы, мог с восторгом воскликнуть, что Клейст призван заполнить оставленный Шиллером и Гете пробел в нашей драматической литературе; если бы, сказал он, гении Эсхила, Софокла и Шекспира соединились, чтобы создать трагедию, то она была бы именно тем, чем является «Гвискар» Клейста, если только целое соответствует сценам, с которыми познакомился Виланд.

Клейст искал тогда смерти под французскими знаменами. Он уехал в Булонь, где Бонапарт снаряжал большую экспедицию в Англию. Из Сент-Омера Клейст послал сестре прощальный привет: «То, что я тебе напишу, может быть, будет стоить тебе жизни, но я должен, должен, должен сделать это. В Париже я опять перечитал свое произведение, отверг его и сжег. Теперь все кончено. Небо отказывает мне в слове, величайшем из земных благ. Как ребенок, я бросаю ему вслед и все остальные блага. Я не могу быть теперь достойным твоей дружбы, а я не могу жить без этой дружбы и иду навстречу смерти. Будь покойна, благородная, я умру прекрасной смертью воина. Я покинул столицу этой страны, я отправился к ее северному берегу, я поступлю на службу в французскую армию, которая скоро переправится в Англию. Гибель наша сторожит нас на море. Меня радует перспектива такой безграничной могилы». Но когда он, без паспорта, направился пешком и приблизился к стоянкам французской армии, то оказалось, что ему грозит позорная смерть—смерть на плахе. Это его ужаснуло, и он вернулся назад. В Париже он обратился к прусскому посланнику с просьбой о выдаче ему паспорта, но получил его только с направлением в Потсдам, куда он и прибыл в июне 1804 года, после того как на обратном пути перенес в Майнце смертельную болезнь, которая, как думают, спасла его от полного психического расстройства.

Его семья употребила все старания, чтобы убедить совершенно разбитого человека поступить на государственную службу. Он получил место в палате государственных имуществ в Кенигсберге, после того как генерал-адъютант короля, нелепый и насквозь прокуренный Кекериц, сделал ему серьезное предостережение насчет «виршеплетства», а сестра, пожертвовавшая ради него большею частью своего состояния, взяла у него, в более достойной форме, обещание остаться на государственной службе. Но в нем уже пробудился поэт и требовал



своего неотчуждаемого права. Не доверяя теперь собственным силам, Клейст взялся сначала за переводы с французского, переводил басни Лафонтена, переработал фривольный фарс Мольера, придав ему торжественный, мистически-религиозный фон. Еще более странно было, что он выбрал античный легендарный сюжет, чтобы вложить в него всю скорбь и блеск своей души. Судьба царицы амазонок, Пентезилеи, которая в лице Ахилла хочет преклонить к своим ногам прекраснейшего из мужей и после короткого объяснения страстно впивается зубами в трепещущее тело убитого возлюбленного, должна была для него воплотить в чувственных образах его собственную судьбу, его борьбу за совершенное художественное процветание и его страшное падение с высоты. Он сам всегда считал «Пентезилею», которая, вследствие недостатка действия, едва заслуживает названия драмы и в действительности поражает только местами удивительным блеском языка, своим лучшим произведением, что опять-таки объясняется только «изъяном его духа». Попытка завоевать «Пентезилею» для сцены всегда останется только театральным экспериментом, даже если бы тот или другой крупный театр считали, что это лучший способ почтить день столетия со времени смерти поэта.

Тогда же, наряду с «Пентезилеей», Клейст написал и «Разбитый кувшин». Сюжет для последнего дала гравюра, которую Клейст видел за несколько лет пред этим в Швейцарии. В этом маленьком шедевре, который страдает только некоторыми длиннотами, Клейст обеими ногами стоит на твердой земле. В то же время он обращается к новелле, которая обещала ему богатые лавры, хотя и не столь богатые, как драма. Однако как-раз тогда, когда для Клейста началась пора здорового творчества, разразилась катастрофа 1806 года, которая разрушила старопрусское государство. Согласно традиционному представлению, именно это несчастье родины сделало Клейста национальным и политическим поэтом, внесло новое и богатое содержание в его опустошенную жизнь, заставило его со всей пылкой любовью великого сердца прилепиться к своему народу и создать великие творения, поставившие его во главе наших политических певцов. Но при этом, по собственному признанию этих историков, остается все же «непонятым», что он продолжал носить в себе то мрачное пресыщение жизнью, которое в конце концов привело его к самоубийству.

Но эта решающая загадка жизни Клейста вовсе не является «непонятной». Дело в том, что он радикальному преобразованию национальной жизни при помощи французского завоева-

ния мог противопоставить только ненависть старопрусского юнкера и офицера к чужеземцам. Эта ненависть, горевшая ярким огнем в язвительных сатирах, в сильных военных песнях и, главным образом, в могучей «Германовой битве», носила действительно демонически-гениальный характер, и нет поистине никакой необходимости приписывать ее тому, что Клейст жестоко пострадал лично от французов и большую часть 1807 года вынужден был провести в различных французских крепостях по совершенно неосновательному обвинению в шпионстве. Конечно, Клейст глубочайше чувствовал национальный позор, но он видел только его исполнителей, а не виновников. Ему были чужды и непонятны все реформы Штейна и Шена, Шарнгорста и Гнейзенау, он отделился от всех прогрессивных сил народа и все глубже опускался в объятия той гнилой романтики, которая в Наполеоне ненавидела гораздо больше наследника революции, чем покорителя нации. Набожно-реакционные восстания тирольцев и испанцев являлись для Клейста идеалом. Но когда буржуазные историки литературы говорят, что горячие и увлекательные речи Клейста остались без отклика, потому что немцы были слишком нравственны, чтобы вести войну на манер испанских гверильясов, то это опять только новые *quid pro quo*. Эрнст-Мориц Арндт не менее «неистово», чем Клейст, призывал к борьбе против французов, но, хотя, как поэт, стоял бесконечно ниже Клейста, слова его нашли отголосок в массах, потому что он дышал духом нового времени.

После освобождения из французского плена Клейст не вернулся в Пруссию, занятую французскими войсками, а поселился в Дрездене, где он, от осени 1807 до весны 1809 года, прожил свои наиболее производительные годы, но где он также ввязался в неразрешимые конфликты. В жизни Клейста, прирожденного драматурга, и самые противоречия, в которых он изживал ее, сплетались почти драматически. С одной стороны, Пфуль, позже военный министр и министр-президент в 1848 году, и Рюле фон Лилиенштерн, ставший после начальником генерального штаба в Берлине, старые товарищи Клейста по Потсдаму, принадлежавшие к группе прусских реформистов и всегда старавшиеся «спасти лучшую часть» Клейста, с другой — романтические ренегаты и софисты Генц и Адам Мюллер, из которых Генц покровительствовал Клейсту из Вены, а Мюллер сидел у него на шее, как злой гений. Вместе с Мюллером Клейст издавал «Феба», ежемесячный журнал, который выходил только в течение одного года и заполнялся почти исключительно

статьями обоих редакторов. Деньги для этого предприятия были предоставлены Пфүлем, Рюле и сестрой Ульрикой. Мюллер благоразумно держался на заднем плане, но сумел приобрести духовное господство над податливым поэтом. Уже в «Кэтхен из Гейльбронна», которую Клейст написал в Дрездене, бросается в глаза нездоровое прикрашивание средневековья, неуверенность драматического стиля, который ставит рядом с сказочно-трогательным образом героини отталкивающе-реалистическую карикатуру ее партнерши Кунигунды, и некрасивый юнкерский подход: почтенный граф Веттер фон Штраль прогоняет от себя ударом бича Кэтхен, несмотря на ее преданную любовь, пока она считается законной дочерью честного кузнеца, и с восторгом делает ее своей супругой, как «принцессу швабскую», как только выясняется, что она является плодом императорского прелюбодеяния.

Несравненно выше этой рыцарской драмы стоит «Германова битва», тоже относящаяся к дрезденской эпохе жизни Клейста. Искусство, с которым Клейст использует совершенно недраматический сюжет и проводит ясно выраженную тенденцию при помощи высокохудожественных приемов, всегда будет вызывать удивление. Одной этой драмы было бы достаточно, чтобы раз навсегда опровергнуть глупые речи о несовместимости тенденции с искусством. Даже «изъян своего духа» Клейст так поэтически облагораживает, что фантастическая волшебница, которая пересекает дорогу Вару в Тевтобургском лесу, воспринимается совершенно поэтически. Однако высокое искусство, с которым Клейст изображает и возвеличивает разрушительную войну варварских племен против высокой культуры, вплоть до такой ужасной сцены, как та, в которой Туснельда отдает на растерзание медведю своего римского поклонника, с которым она слишком долго кокетничала, чтобы иметь право сердиться на его неверность, — все это показывает только, что «Германова битва», как и вообще патристическая поэзия Клейста, разворачивается в душных рамках исторически реакционных воззрений. Действительно, только прусский юнкер и офицер старого склада мог в заключительных словах драмы направить свой удар против Парижа великой революции:

Не раньше — ясно мне! — вселенная вздохнет  
От этого злодейского исчадия,  
Чем разорят осиное гнездо  
И будет реять только черный флаг  
С наполненных унынием развалин.

Как, однако, тенденция, если она пользуется нехудожественными средствами, может испортить даже прекраснейшее художественное произведение, показывает третье творение Клейста из дрезденских времен—«Михаэль Кольгаас», лучшая из его новелл. Наполовину или даже на две трети она выше всякой похвалы, между прочим и потому, что в ней юнкерский задор поэта переключается в борьбу сильного человека за свое доброе право, но под конец она расплывается в безвкусную цыганскую историю, чтобы, при помощи весьма искусного приема, пригрозить королю саксонскому, как наполеоновскому вассалу, позорной гибелью всего его рода.

Когда весной 1809 года вспыхнула война между Францией и Австрией, надежды Клейста в высшей степени возросли. Он воспел жестокосердого деспота, восседавшего на австрийском троне, как спасителя мира, который идет навстречу духу смертоубийства, а эрцгерцога Карла он, после победы при Асперне, прославлял, как «победителя непобедимого». Он переехал в Прагу, чтобы находиться ближе к театру событий, но уже очень скоро сражение при Ваграме разбило все его надежды. Последовала одна из тех страшных катастроф, которыми так богата короткая жизнь Клейста: тяжелая болезнь, попытка самоубийства и припадки безумия, в которых он носился с мыслью отравить Наполеона при помощи мышьяка.

В ноябре 1809 года, после того как рухнули все его надежды на Вену, Клейст вернулся в Берлин. Он явился как-раз вовремя, чтобы приветствовать прекрасными, но совершенно бессмысленными стихами прусского короля, который только что вернулся в Берлин из Кенигсберга, куда бежал после сражения при Иене. В сущности король переехал в Берлин как французский военнопленный, по приказу Наполеона, который хотел его иметь под своей крепкой рукой. А Клейст воспевал этого жалкого человека следующим образом:

Пусть как угодно Цезарь тот ликует,  
Взор проясни! Победа за тобой!  
К нему толпа богов благоволила,  
Тебя ж любовь людская окружила.

Так мог славословить идиота, который своим заядлым упрямством отравлял каждый день реформистам, желавшим спасти ему корону, опять-таки только прусский юнкер и офицер старого склада. И в то время, когда в кругах этих реформистов зародилась уже мысль о свержении этого неспособного короля, Клейст в своем «Принце Гомбургском» пел высокую хвалу

субординации королевской воле. В этой драме Клейст почти невозможное сделал возможным: он сумел старое пруссачество с присущей последнему смесью тупости и жестокости поднять в выси искусства. Если не считать лунатических наклонностей героя, которые, вопреки мнению Геббеля, вовсе не легко выделить из организма драмы, «Принц Гомбургский» богат художественными достоинствами. В нашей драматической литературе он занимает совершенно особое место благодаря смелой попытке достичь одной лишь угрозой смерти того, что в трагедии обыкновенно достигается только при помощи самой смерти: нравственного очищения и просветления героя. Но благородное искусство поэзии стало фатальным для поэта. Тупоумный двор с искренним негодованием отверг драму Клейста. Как и «Германову битву», так и «Принца Гомбургского» Клейсту не удалось увидеть не только на сцене, но и в печати. Обе драмы были впервые опубликованы Тиком только через десять лет после смерти поэта.

Этот удар окончательно сломил Клейста. Он теперь беспомощно боролся с горькой нуждой. Поэт еще написал несколько неудачных «страшных» новелл, но, как человек, совершенно опустился. Когда Клейст начал, осенью 1810 года, издавать маленькую газету «Берлинские вечерние листы», он испросил для нее у государственного канцлера Гарденберга субсидию, но сейчас же поместил в своей газете статью Адама Мюллера, который облил в ней самыми ядовитыми насмешками реформы Гарденберга. Это впутало Клейста в целый ряд неприятных осложнений, в которых он выказал достойный сожаления недостаток мужества и достоинства. Конечно, биографы Клейста вполне правы, когда говорят, что нельзя смешивать его хлопоты о субсидии с теперешними домогательствами официозов, но они неправы, когда стараются объяснить помещение позорной статьи Мюллера его «легковерием». Клейст не был до такой степени «человеком не от мира сего». К тому же реформы Гарденберга были ему вдвойне ненавистны, так как они—что тогда было лучше известно, чем теперь,—были только копией законодательства, которое по приказу Наполеона ввел в своем новоиспеченном королевстве Вестфалии король Жером. Выпрашивая для себя пособие у реформистов, занимавших официальное место, Клейст следовал только юнкерской традиции, но вполне понятен и резкий отказ, на который Клейст натолкнулся у более твердокаменных реформистов, чем сангвинический Гарденберг. Гнейзенау, который наверное был французом, но вместе с тем—как свидетельствует его класси-

ческое рассуждение о «Свободе тыла»—и литературно образованным человеком, отказался принять Клейста, когда последний обратился к нему в последние дни своей несчастной жизни.

В лице немолодой уже, истеричной женщины Клейст нашел наконец товарища по самоубийству, которого он тщетно искал среди здоровых друзей своих юных лет. Еще до того, как он застрелил ее и после покончил с собой, он писал сестре Ульрике: «Ты сделала для меня все, что было в силах—я не скажу сестры—человека, чтобы спасти меня. Правда в том, что для меня не было никакой помощи на земле». Для него не было помощи на земле, потому что гениальный поэт, который мог смело витать в высях поэзии, никогда не мог надолго подняться выше жизни старопруссского юнкерства. Не сострадание и страх вызывает, согласно учению старых мудрецов, трагедия этой жизни, а сострадание к жертве и ненависть к язве немецкого народа.

### **«Разбитый кувшин»**

Наша классическая литература, как известно, бедна хорошими комедиями. Первой и собственно единственной обыкновенно считают «Минну фон Барнгельм» Лессинга. Но эта пьеса далеко не сохранилась во всей своей свежести, как «Эмилия» и «Натан» Лессинга. Не так свежа или, по меньшей мере, не так понятна. Она предполагает близкое знакомство с прусскими порядками в том виде, как они сложились к середине восемнадцатого столетия: иначе трудно воздать справедливость поэту и его произведению, иначе трудно понять, как Лессинг бичует смехом эти порядки. Благонадежная ученость или переручившаяся благонадежность умудрилась даже истолковать «Минну» как апологию прусских порядков, апологию, которая была совершенно чужда свободному сердцу Лессинга. Поскольку это позволяла тогдашняя прусская цензура, душившая каждое прямое слово, Лессинг в своей комедии бичевал деспотический режим короля Фридриха, но понимание этих тонких и зачастую весьма скрытых намеков и указаний дается только тому, кто знаком с прусскими порядками восемнадцатого века в их действии. Вот почему классическая комедия Лессинга, к сожалению, не принадлежит уже к живым, к поэтическим произведениям, которыми можно наслаждаться непосредственно, без обширного комментария. В известном отношении это можно сказать и о «Журналистах» Фрейтага, которая обыкновенно считается, наряду с «Минной» Лессинга, лучшей немецкой комедией, хотя в действительности между

ними существует очень значительное расстояние. С весьма добродушным и немного самодовольным юмором Фрейтаг изображает прусскую политическую борьбу, которая в пятидесятих годах девятнадцатого столетия велась между заячьим либерализмом и бессовестной реакцией: его милые и душевные буржуа, если и действительно существовали когда-либо, теперь уже не существуют больше, и на сцене рабочего театра они при настоящих условиях не веселили бы, а только раздражали.

Вот почему «Разбитый кувшин» Клейста стоит одиноко не только в драматическом творчестве поэта, но и в нашей литературе. Он обязан своим происхождением случаю, который Клейст сам описал в следующих строках: «В основе этой комедии лежит, вероятно, исторический факт, о котором я, однако, не мог получить никаких точных сведений. Темой для меня послужила гравюра, которую я несколько лет назад видел в Швейцарии. Прежде всего бросался в глаза судья, важно восседавший в своем судейском кресле. Перед ним стояла старая женщина, державшая в руках разбитый кувшин: она, повидимому, демонстрировала ущерб, который ей причинили. Обвиняемый, молодой крестьянский парень, которого судья раздал, как уличного преступника, еще защищался, но слабо; девушка, которая, вероятно, являлась свидетельницей по этому делу (кто знает, при каких условиях совершен был проступок), стояла посередине между матерью и женихом, играя своим фартуком: даже лжесвидетель не имел бы более сокрушенный вид. А судейский секретарь (он, быть может, раньше взглянул внимательно на девушку) разглядывал с недоверием самого судью, как в аналогичном случае Креон глядел на Эдипа, когда рассматривался вопрос, кто убил Лая. Внизу подпись: «Разбитый кувшин». Оригинал, если не ошибаюсь, принадлежал нидерландскому художнику». Так рассказывал Клейст, и вся сила его драматического художественного гения проявляется в том, как он при одной только передаче словами картины сейчас же переключает в действие все ее содержание. Грозная важность судьи, смущенный и виноватый вид свидетельствующей невесты, недоверчивый взгляд судейского секретаря, обращенный в сторону судьи,—так собираются вместе разрозненные лучи в один фокус, чтобы превратиться в пучок света, так же удачно, как и комически, освещающий всю ситуацию: кувшин разбил сам судья в ходе одной непристойной любовной авантюры и теперь против собственной воли во время учиняемого им допроса разоблачает самого себя.

«Какой психологический шедевр—этот судья Адам: сначала он лжет самым наглým образом, затем его вспугивают из всех закоулков его нагло-глупого лукавства, и наконец он мало-по-малу выявляется, как чудовище трусливого бесстыдства, настоящий голландский Фальстаф». Этими словами один буржуазный историк литературы очень хорошо характеризует комического героя «Разбитого кувшина». Но несмотря на всю его трусость, бесстыдство и лгáнье, на него нельзя сердиться целиком. Как Шекспир Фальстафу, так и Клейст старается сохранить деревенскому судье Адаму хотя бы часть симпатий служителей: это безусловно необходимо, ибо иначе комическая фигура превратилась бы в предмет отвращения. Искусство, с которым Клейст удовлетворяет этой необходимости, выказывает в самом ярком свете его драматический гений, и деревенский судья Адам навсегда останется одной из классических фигур немецкой драматической поэзии. Но и в других персонажах комедии бьет ключом веселая жизнь: поразительно схвачены и местный голландский тон, и окраска эпохи, и не менее изумительна виртуозная смелость, с которой автор как будто нарочно увеличивает трудность своей задачи, чтобы после решить ее как можно более блестяще. Вся комедия, за исключением двух-трех вводных сцен, представляет изображенную на гравюре ситуацию. Решающее событие не совершается перед нашими глазами, а раскрывается только задним числом. Однако поэт так искусно развивает весь ход допроса, что наше внимание приковано к прошлому не менее сильно, чем к будущему. За сюжет, которым Клейст обязан был изобразительному искусству, он заплатил сторицей: великолепными иллюстрациями Адольфа Менцеля к его комедии.

Самому Клейсту «Разбитый кувшин» доставил мало радости. Правда, эта комедия была поставлена на сцене раньше всех других его драм, но не имела никакого успеха. Вина лежит на Гете, который разбил комедию на три акта и в таком виде поставил ее. К тому же торжественный и серьезный классицизм веймарской сцены мало гармонировал с полнокровными, пышущими силами и здоровьем, персонажами Клейста.

Поэт смотрел на «Разбитый кувшин», как на второстепенную работу, но его единственная комедия уже пережила все его драмы и трагедии или переживет их. Не говоря о «Пентезилее», даже «Кэтхен из Гейльброна», «Германова битва», «Принц Гомбургский», несмотря на богатство отдельных деталей, несмотря на то, что они окрашены в пурпурную краску кровью сердца настоящего поэта, теперь уже сильно уста-



рели. Несчастье Клейста заключалось в том, что, в силу своего происхождения, воспитания, профессии, он жил в таких условиях, которые так же мало соответствовали его гениальному дарованию, как и он сам этим условиям, короче говоря—в том, что он принадлежал к романтической школе. Когда меч иностранного завоевателя выполнил то дело, которое не могли собственными силами выполнить буржуазные классы в Германии, когда чужеземное господство Наполеона снесло весь мусор с немецкой земли, чтобы в свою очередь лечь невыносимым бременем на все классы нации, тогда романтическая школа отобразила это причудливо двойственное положение вещей. Национальные и социальные интересы бюргерства вступили в непримиримое противоречие друг с другом: этот класс не мог свергнуть с себя чужеземное иго, не усиливая вместе с тем гнет ига внутреннего. Тщетно старались Шлегели и Тики, литературные вожди романтики, заполнить эту зияющую пропасть при помощи вымученной гениальности и пресловутой «иронии», тщетно искали они в литературе всех времен и народов почву, на которую они могли бы прочно опереться. Романтическая школа могла найти эту почву только в «залитой лунным сиянием волшебной ночи» средневековья; только здесь они могли найти свои национальные идеалы. Но средневековье было временем безраздельного классового господства юнкеров и попов. Из этого разлада между национальными и социальными интересами не было никакого выхода. Вот почему гениальнейший, вот почему единственный гениальный поэт романтики, как-раз Генрих фон Клейст, стал жертвой безумия и самоубийства.

Нашим читателям знакома запущенная могила под меланхолическими соснами на берегу маленького озера Ваннзее. Там покоится Генрих фон Клейст, творец «Разбитого кувшина».

# **ПРИЛОЖЕНИЕ**

## **ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

## Кальдерон

### «Судья из Заламен»

Мы уже неоднократно указывали на неразрывную связь между литературным и экономическим развитием. Также и теперь, когда мы должны дать читателям комментарий к драме поэта, который во всяких историях литературы обыкновенно характеризуется как «преимущественно католический поэт», как «самый блестящий гений, которого породил католицизм», — мы должны исходить из той же точки зрения. Совершенно верно: Кальдерон написал большое число — семьдесят или еще больше — религиозных пьес и в последние тридцать лет своей жизни принадлежал к духовному сословию. Зато в течение первых пятидесяти лет он был солдатом, директором театра и занимался еще многими другими, весьма светскими, делами — вообще был жизнерадостным и трудоспособным человеком. Нельзя стать первым драматургом крупного исторического народа, будучи только мистическим монахом.

Дон Педро Кальдерон де ла Барка жил от 1600 до 1681 года. Для испанского театра Кальдерон был тем же, чем Шекспир для английского, а Корнель для французского. Англия, Франция и Испания имели от конца шестнадцатого до конца восемнадцатого века национальный театр, Германия и Италия не имели его. Было бы глупо объяснять это различие различным духовным складом пяти величайших культурных народов Европы: немцы и итальянцы были, мол, в области мысли и поэзии менее одарены, чем англичане, французы или испанцы. Этому противоречит уже тот простой факт, что Германия и

Италия в течение столетий, которые являются переходом от средних веков к новейшему времени, были не менее богаты выдающимися людьми, чем какая-либо другая страна. Нужно всегда остерегаться таких унижающих или возвышающих сравнений, выгодны ли они или нет нашему собственному народу. И в той, и в другой форме они всегда являются ограниченными и реакционными. Не какие-нибудь особенные таланты или добродетели, а соответствующее экономическое развитие решает вопрос, какое место занимают отдельные народы в великой процессии человеческой культуры.

После долгих сумерек средневековья во всех европейских странах начала быстро развиваться, точно горный поток, прохавшийся через снежные преграды, необычайно богатая духовная жизнь. Но толчок дан был экономическими силами. Начатки капиталистического развития, товарное производство и торговля подорвали феодальный строй средневековья, создали буржуазию, дали ей почет, свободу и силу. А вместе с средневековым обществом пало также и средневековое государство, вместе с буржуазным обществом возникло и буржуазное государство, возникла и современная национальность, которая в эпоху средних веков существовала только в слабых зачатках и теперь все больше развивалась по мере того, как расцвет торговли и промышленности влек за собою сцепление разнообразных интересов в данной стране, а вместе с этим и политическую централизацию. Только в национальном государстве возможна драма крупного масштаба, а так как Франция, Англия и Испания, в силу благоприятных условий своего экономического развития, образовали крупные национальные государства, в них развился также и национальный театр, в то время как Германия и Италия, продолжавшие оставаться, в силу неблагоприятных условий своего экономического развития, конгломератами мелких государств, не могли создать собственный национальный театр.

Развитие этой мысли можно проследить и в различиях между английским, французским и испанским театром. В Англии превращение феодально-сословного государства в буржуазно-конституционное определялось обуржуазиванием юнкерства. В войнах Алой и Белой розы, увековеченных в королевских драмах Шекспира, английское феодальное дворянство было почти целиком истреблено—осталось лишь несколько сот семейств—и было заменено новым дворянством буржуазного происхождения и с буржуазными тенденциями, дворянством, которое имело теперь уже не феодальные источники дохода: оброки,

службу, барщину крепостных крестьян, а источники буржуазные: земельную ренту, а потому в союзе с городами создало в борьбе против королевской власти современное государство. Напротив, во Франции феодальное дворянство и буржуазные города находились хотя и в не постоянном, но все же в равновесии друг с другом, и современное государство нашло свой центр тяжести в королевской власти, которая использовала дворянство и города друг против друга. В свою очередь Испания, которая и в силу своего исторического развития, и, в неменьшей степени, вследствие открытия нового мира, была самым тесным образом связана с папской мировой монархией, развилась как национальное государство, в более или менее церковном обрамлении, — обстоятельство, которое предуготовило ей среди европейских великих держав в шестнадцатом веке первое место, а в девятнадцатом — последнее. Соответственно этим различным типам развития, драма Шекспира отличается аристократической окраской, драма Корнеля — придворной, а драма Кальдерона — католической.

Из них ближе всего нам по духу драма Шекспира. Если он вообще относится к буржуазии, а тем более к пролетариату очень пренебрежительно, то он все же остается поэтом молодой, крепкой, мужественной и, наконец, обуржуазившейся аристократии, которая в эпоху могучего развития великой нации с широко раскрывавшимися перед ней мировыми горизонтами продолжала оставаться ведущим классом. Придворную драму Корнеля, которая в эпоху расцвета немецкого мелкодержавного деспотизма, как давящий кошмар, тяготела над духовной жизнью немецкого города, Лессинг в своей незабвенной борьбе за духовное освобождение нации подверг такой уничтожающей критике, что она почти совершенно исчезла из нашей памяти. А драма Кальдерона никогда не могла завоевать себе известность в Германии, хотя не кто иной, как сам Гете, раскрыл пред нею двери немецкого театра, хотя романтическая школа и даже такой более современный поэт, проникнутый уже буржуазным духом, как Платен, употребляли все старания, чтобы обеспечить драме Кальдерона права гражданства в Германии. Без сомнения, неудача всех этих попыток объясняется католической окраской драм Кальдерона, но это не дает еще права отделаться от Кальдерона, как от «католического поэта», то-есть от тенденциозного поэта, который стремился возвеличить католическую религию, как таковую.

В статье об «Эгмонте» Гете \* мы уже показали, как в корне ошибочно подсовывать католицизму только реакционное содержание, а протестантизму—только революционное. Решающее значение имеют не религиозные формы мысли и веры, а экономические условия, которые находят в них свое отражение. В общем католицизм был религией средневекового феодализма, протестантизм стал религией современного капитализма. Но в могучих и продолжительных переворотах, в которых совершалось превращение средневекового мира в современный, экономические интересы отдельных классов и нации до такой степени переплетались и скрещивались, что идеологические формы, в которых тогдашние люди осознавали эти социальные столкновения, переплетались и скрещивались самими многообразными способами. В Англии и Голландии протестантизм был революционным, в Германии—реакционным. Или точнее: он сначала был и в Германии революционным, но вследствие экономического упадка страны так скоро стал реакционным, что как-раз наиболее развитые в культурном и хозяйственном отношениях части Германии, как юг и запад, уже очень рано вновь обратились к католицизму, который тем временем успел испытать на себе революционизирующее влияние капитализма.

В противоположность немецким, английским, голландским, французским городам, самые богатые города того времени, итальянские, остались католическими. Эти города становились тем более католическими, чем больше они богатели, по той простой причине, что папство означало господство Италии над христианским миром и его эксплуатацию Италией. В силу тех же оснований остались католическими французская и в особенности испанская монархия. Как представители наиболее развитых экономически национальных государств, они видели в папстве самый пригодный рычаг для господства над мировой торговлей и вели друг с другом ожесточеннейшие войны за господство над папством. Но католицизм как религия, превратившись из идеологии феодализма в идеологию капитализма, сам подвергся революционному преобразованию.

Если поэтому Испания, в силу своего историко-экономического развития, оставалась прикованной к папской монархии средневековья, то это еще не означало, что ее католические формы мысли и веры лишены были всякого революционного содержания. В пору своей здоровой юности капитализм был весьма революционным агентом и мало церемонился со всякими

\* См. в этом же томе стр. 546.

идеологическими хитросплетениями. Испания была и осталась католической, потому что эта идеология больше всего соответствовала ее экономии и больше всего способствовала ее завоевательным планам, но она не имела никакого желания подчинять этой идеологии свою экономию или позволять ей ставить препятствия своим завоевательным планам. В том самом 1521 году, когда испанский король Карл, в качестве германского императора, осудил Лютера, он сам подчинился папе Льву X, а когда в 1527 году папа Климент VII сделал попытку сбросить с себя зависимость от Карла, то этот защитник католической веры послал своих ландскнехтов против «святого отца», взял Рим штурмом и подверг его страшному опустошению. Испанцем был Игнатий Лойола, который, основав орден иезуитов, обеспечил дальнейшее существование католической церкви и в эпоху капитализма. Испанцем был и Мигуель Сервантес, который в своем бессмертном романе «Дон Кихот» посмеялся громким смехом над призраками феодального средневековья, смехом, эхо которого звучит еще через цепь столетий. И точно так же Кальдерон, несмотря на религиозную мистику, которая завладела им под старость, создал в «Судье из Заламеи» такую смелую, чтобы не сказать революционную драму, какую мы будем тщетно искать в классическом театре французов и англичан, не говоря уже о немцах. Очень жаль, что Лессингу не удалось выполнить его намерение приобщить «Судью из Заламеи» к немецкой литературе. Этот радикальный ненавистник всякой придворной и религиозной драмы пишет 20 сентября 1777 года своему брату: «Мне хочется просить тебя об одной услуге. В «Mercure de France» («Французском Меркурии») за годы 1760—1769 помещена одна переведенная с испанского комедия, где простой человек, который имел какую-то—не знаю какого рода—судебную власть, использует ее, чтобы наказать дворянина, соблаздившего его дочь. Я придумал теперь способ, с помощью которого эта вещь, чрезвычайно мне понравившаяся, могла бы быть онемечена (больше чем переведена). Будь так добр, найди мне том, в котором напечатана эта драма. Чем скорее, тем лучше. А то я позабуду об этом плане». К сожалению, в переписке Лессинга нет больше ни одного слова на эту тему. Во всяком случае не осталось никаких следов этого «плана».

Именно для нас, немцев, драма Кальдерона, если можно так выразиться, еще больше современна, чем классична. Немецкому бюргеру нужно много потрудиться, пока он приобретет крепкий затылок и прочный хребет крестьянина

Педро Креспо. Этот живет, как свободный человек, на своем наделе, исполненный гражданского мужества, которое отличало горожанина и крестьянина шестнадцатого века. Он мог бы купить себе дворянство, но он говорит:

Не купишь честь. Позволь мне привести  
Тебе пример, достаточно избитый.  
Был с молодости человек плешив,  
А к старости завел парик. Так что ж?  
Плешивым перестал он быть для света?  
Нисколько. Про него все говорят:  
«А ведь парик-то старику идет!»  
Велик ли толк макушку прикрывать,  
Коль всем известно, что она плешива?  
Подделанная честь мне не нужна.  
В моем роду крестьянствовали все,  
И сыновья пусть будут мужиками.

Педро Креспо смотрит с презрением на своего опустившегося соседа-дворянина. Кальдерон изображает дона Мендо и его слугу Нуньо, по стопам «Дон Кихота», как феодального юнкера и его паразита, которые продолжают еще торчать, как выветрившиеся руины, в новом буржуазном мире. Напротив, к королю и его ландскнехтам крестьянин с его буржуазным самосознанием относится дружелюбно или, по крайней мере, не сразу занимает враждебную позицию. Для него это новые силы—в полном соответствии с достигнутой тогда ступенью исторического развития. Отдельные типы ландскнехтов великолепно изображены. Бродяга Реболledo, бродяжка Хиспа, старый, вечно ругающийся, изрыгающий проклятия, но честный, не зараженный еще духом военного высокомерия генерал дон Лопе, в особенности же капитан дон Альваро, разорившийся юнкер, который в своей оплачиваемой народом офицерской форме хочет снова разжиреть за счет народа. Разве его устами не говорит современный юнкер, когда этот бесстыдный патрон орет на молодого Креспо:

Какая ж честь у мужика?

и—увы! как мало пахнет современностью, когда молодой крестьянин задорно отвечает:

Такая ж как у вас! Без мужика  
Что стал бы делать капитан?

И когда этот юнкер в офицерской форме вспоминает о феодальном «праве первой ночи» и насилует дочь крестьянина, то отец, как сельский судья, согласно доброму старому праву,



вздергивает на виселицу негодяя, который был уверен, что его военное звание обеспечивает ему безнаказанность. Король, который к этому времени является на место действия, сначала усматривает нарушение феодального права юнкера в том, что его вешают плебейской веревкой, но после одумывается и назначает храброго мстителя своей чести пожизненным судьей в Заламее. Пусть не говорят, что этот король есть только *deus ex machina*, но не живой, взятый из действительности образ. Кто хочет понять поэта, тот должен направиться в страну поэта, а в эпоху Кальдерона крестьяне и горожане были крепковейшими людьми, они были убеждены, что короли существуют для того, чтобы защищать сословие кормильцев и не в последнюю очередь—против наглых и преступных злоупотреблений сословия воинов...

---

## Мольер

### «Скупой»

Мольер (псевдоним Жана-Батиста Покелена) жил от 1622 до 1673 года. Он считается величайшим драматургом французской литературы, а она богаче всякой другой литературы прекрасными драматическими произведениями. Во всяком случае Мольер является отцом современной комедии. До его выступления комедия состояла из грубых, сваленных в одну кучу сцен, в которых постоянные маски выкидывали различные комические иглуки. Мольер тоже при случае сочинял такие фарсы, но в более крупных произведениях он ставил в центре всей пьесы характер, как психологическую проблему, характер, который в общем ходе действия так развивался, что все совершавшиеся в пьесе события связаны были с ним, для которого ситуация скорее служила средством раскрыть его собственную сущность, чем побудительным мотивом его действий. Мольер стал образцом комедии характеров не только для Франции, но и для всех других культурных народов.

Мольер жил в эпоху, когда Франция в результате продолжительной войны добилась гегемонии в Европе. Это были золотые дни французского абсолютизма, который был упрочен умной политикой кардинала Ришелье. Этот абсолютизм строился и на расчленении, и на слиянии классов, на которые распадался французский народ. Он пускал в ход друг против друга социальные противоречия и вновь их соединял в политике эксплуатации и угнетения остальной Европы. В войнах Фронды была сломлена сила старого феодализма, в гугенотских войнах—

спла молодой революционно устремленной буржуазии была разбита, но не сокрушена. Французская королевская власть укрощала феодализм при помощи буржуазии, буржуазию — при помощи феодализма. Тот факт, что французская нация стала вершителем судеб Европы, давал живейшие и сильнейшие стимулы всей ее жизни.

В этой атмосфере Мольер стал великим поэтом. Придворным поэтом он был постольку, поскольку он стоял во главе труппы, находившейся на службе у Людовика XIV. Но придворный поэт того времени и придворный поэт нашего времени — совершенно разные фигуры.

В эпоху Мольера королевская власть была еще движущей силой французского общества. Только долго спустя после смерти Мольера Людовик XIV вернулся к феодально-реакционной политике, которая оказалась такой роковой для его потомков. Мольер держал сторону двора, поскольку двор держал сторону наиболее революционного класса того времени — буржуазии. Мольер направлял свои острейшие стрелы против лицемерных попов, которые старались опутать короля и после действительно опутали его, против врачей, которые все еще не выходили за пределы средневекового знахарства с его нелепыми приемами и не имели никакого представления о естественных науках, которые начали развиваться вместе с расцветом молодой промышленности. Мольер издевался над дворянством, которое с высоты своих феодальных предрассудков смотрело с глубоким презрением на богатую буржуазию и в то же время было вынуждено становиться ее паразитом. Но Мольер не был бы великим поэтом, если бы не стоял до известной степени выше борьбы классов, если бы он не наблюдал и не изучал пеструю путаницу социальных конфликтов, разыгрывавшихся пред его глазами во всех ее разветвлениях. От него не ускользали также и темные стороны буржуазии, и он изобразил их в «Скупом».

Буржуазная критика видела главный недостаток этой комедии в том, что она разворачивает пред нами изображение скупости, но не дает скупца, как пластический образ. Трудно представить себе более ошибочное мнение. Конечно, в наших условиях Скупой Мольера был бы совершенно невозможной фигурой, как он был бы невозможен и в одиннадцатом столетии. Но в семнадцатом веке он был весьма реальной, весьма исторической фигурой. Современные рабочие слишком даже правы, когда смеются над евангелием бережливости, которое проповедуют Евгений Рихтер и ему подобные капиталистические борзописцы. И все-таки бережливость, доходящая до скупости в ее

самых отвратительных крайностях, играла определенную роль если не в истории пролетариата, то в истории буржуазии. Не решающую, как болтают названные борзописцы, но все же определенную роль, а на определенной ступени развития даже довольно значительную роль. Бережливость, даже скупость являлись, наряду с торговлей и ростовщицеством, существенным фактором капиталообразования, пока производительность труда была мало развита. Только вместе с ростом производительности труда они отступают все больше на задний план, бережливость в домашнем хозяйстве становится совершенно второстепенной и безразличной вещью для капитализма, в особенности для капитализма в крупном масштабе. И если Гарпагон Мольера, как типичный представитель современного капиталиста, явился бы только фантастической фигурой, то во времена Мольера он был типичный капиталист, скупец и ростовщик в одном лице.

О фабуле комедии много не приходится говорить. В главных своих чертах она скомпанована согласно установившимся традициям. Развязка в пятом акте весьма груба и носит совершенно внешний характер. Но поэт не придавал этому особенного значения. Он считал своей главной задачей показать, как разворачивается характер Скупого в сношениях с самыми различными людьми и в зеркале самых разнообразных ситуаций. Это ему прекрасно удалось и сделано так мастерски, что «Скупой» уже свыше двух веков сохраняет свое почетное место в истории комедии нового времени. То, что нам кажется слишком грубым, следует рассматривать не с точки зрения нашего времени, а под углом зрения эпохи Мольера. Возможно, что наш вкус стал теперь значительно более тонким, что он значительно развился, но зато мы не можем теперь вывести на сцену капиталиста нашего времени в такой осязательно живой форме, в таком захватывающем воплощении, которое даже тогда, когда оно впадает в шарж, использует только доброе право сатирического бичевания, как это сделал Мольер по отношению к капиталисту своего времени. Гарпагон на сцене Людовика XIV—это теперь король Штумм на подмостках королевского театра, и кого не охватил бы страх даже при одной мысли о таком рискованном предприятии!

Правда, и Мольер не мог бичевать слабости своего времени своим смехом, не подвергаясь при этом различным ударам и притеснениям. Но он был великий поэт и прекрасно знал, что нужно рискнуть многим, чтобы многого добиться. В этом отношении он сильно отличается от наших геройских модернистов,

которые хотят революционировать искусство и в то же время бояться наступить на мозоль даже ночному сторожу. В борьбе с могущественными кликами, которые он восстановил против себя своими насмешками, Мольер преждевременно истощил свои силы и заболел неизлечимой чахоткой. Жизнь великого творца комедии представляла великую трагедию. Когда его последняя комедия—«Мнимый больной», в которой он более чем-когда либо беспощадно бичевал невежество тогдашних врачей, должна была быть поставлена в четвертый раз, он был уже до такой степени болен, что друзья ему советовали отказаться от выступления и отменить спектакль. «Вам хорошо так говорить—ответил он им,—вы забываете только, что при этом идет еще речь о пятидесяти бедных рабочих, которые живут на свой заработок. Что будут они делать, если я откажусь играть?»

С большим трудом, преодолевая страдания, он довел свою роль до конца. Затем его отнесли на носилках домой, и в этот же вечер он умер—без помощи врача, без напутствия священника. После смерти архиепископ парижский отказал Мольеру в церковном погребении, зато французская академия, которая при жизни отказала ему в доступе, поставила его бюст в зале своих заседаний. Трудно сказать, кто из них при этом сделал себя более смешным—бритый поп или ученые парики.

Французская революция должным образом почтила память Мольера и с полным основанием. Он был ее передовым бойцом, хотя и состоял на службе короля. Молодой Лессинг лелеял честолюбивую мечту стать немецким Мольером. В истории борьбы человечества за свое освобождение имя Мольера всегда будет пользоваться большим почетом.

## Слово о Вольтере

21 ноября (1894 года) истекло двести лет со дня рождения Вольтера. Он сам говаривал, вспоминая о своих бесчисленных писаниях, составляющих не менее семидесяти томов, что с таким грузом трудно добраться до потомства. И действительно, Вольтер должен был освободиться от этого груза, чтобы добраться до потомства. В его сочинениях очень мало такого, что устояло в борьбе с всеразрушающим временем. Его знаменитая «Генриада» теперь совершенно непереварима и не в большей степени весь груз его трагедий. Исторические, философские, естественно-исторические работы Вольтера стоят в начале того развития, с высшего пункта которого, теперь достигнутого, они уже исчезают в полном мраке. Что еще можно читать из сочинений Вольтера, так это некоторые его романы. Таким образом насмешник Вольтер оказался действительно пророком по отношению к самому себе. Свой багаж он не донес до потомства: бессмертным остался только он сам.

Но на долю Вольтера досталось бессмертие, которое несомненно доставило бы ему наибольшее удовольствие. Его и теперь еще, точно он все еще жив, ненавидят и поносят те, которых он разил до самой своей смерти и которых он поразил насмерть. Никогда религиозное суеверие не могло уже оправиться от тех ударов, которые нанес ему Вольтер. Если оно еще влачит свое существование, то это только призрак жизни. Но попы, живущие за счет этого суеверия, постарались потопить имя Вольтера в таком черном мраке, который, казалось, останется непроницаемым для целых народов. Как говорит лорд Кампбелль, со времени французской революции пробным камнем

дойяльности и правоверия в Англии стало беззастенчивое охаивание Вольтера. Перемена наступила только после того, как лорд Брум, Карлейль и, в особенности, Бокль выступили в защиту Вольтера. Не лучше обстояло дело, да и обстоит еще в Германии. Из наших классиков только Гете отнесся к Вольтеру справедливо. Он называет его самым великим, наиболее национальным среди французских писателей, он выделяет его благородство и грацию, гений и остроумие, чувство и вкус, богатство содержания и огонь. Из числа высших особенностей писателя, по мнению Гете, Вольтеру нехватает, «быть может», только глубины захвата и совершенства в выполнении.

Но Вольтер обладал всеми способностями и талантами, которые нужны, чтобы завоевать в этом мире блестящую репутацию,—он действительно завоевал себе всемирную славу. Но как филистерски звучит опять, когда Шиллер к тем качествам, которых, по словам Гете, нехватает Вольтеру, прибавляет еще «сердце». Вольтер, который мог сказать о себе, что в течение трех лет, когда он боролся за оправдание Каласса, он менял себе в преступление каждую улыбку, этот Вольтер не имел «сердца»!

Есть, правда, одно обстоятельство, которое может объяснить недобрительные отзывы о Вольтере со стороны немецких критиков. Франция, Англия, Швейцария знали Вольтера только как бойца, Германия—только как придворного. Этим объясняется глубокая антипатия Лессинга к Вольтеру. Но было бы неосновательно и неверно использовать—а это делалось очень часто—субъективную антипатию Лессинга, как объективное осуждение всей деятельности и личности Вольтера. Против этого и сам Лессинг высказался очень определенно, но если бы он этого даже не сделал, то все же такой ошибочный вывод совершенно недопустим для беспристрастного научного исследователя. Вольтер, и как придворный, не переставал быть передовым бойцом буржуазии. Проводить свои цели при дворе, осуществлять их при помощи государей—такая тактика характеризует определенную историческую и довольно продолжительную фазу развития буржуазного просвещения. Государь и их дворы остаются всегда для этого просвещения только средствами для осуществления их целей. Что они были только таковыми и для Вольтера, лучше всего доказывает та непримиримая вражда, которой кончились его отношения со всеми государями и дворами.

Но это вовсе не значит, что буржуазное просвещение, которое имело поддержку только в самой буржуазии, не пред-

ставляет значительный исторический прогресс в сравнении с буржуазным просвещением, которое хотело использовать государей, как рычаг для своей работы. И с этой точки зрения Лессинг стоит безусловно выше, чем Вольтер. Но более высокая форма орудия не обуславливает еще его более высокой пригодности, которая сама определяется особыми историческими условиями. Много ли помогло Лессингу то, что он хотел опираться только на буржуазию, когда еще не было такой буржуазии, которая могла бы его поддерживать? При помощи несравненно более отсталой формы борьбы Вольтер достиг несравненно больших результатов. Если только тщательно выделить все рискованное и ошибочное, что связано с такими историческими параллелями, то отношение Лессинга к Вольтеру напоминает отношение Гуттена к Эразму. Наши симпатии всегда останутся на стороне Лессинга и Гуттена, которые потому и потерпели неудачу, что оба относились к задаче своей жизни со всей серьезностью и хотели осуществлять ее без всяких компромиссов с властями предрезающими, Лессинг—дело буржуазного просвещения, Гуттен—дело гуманистического образования. Но из-за этого не следует забывать, что Эразм и Вольтер, по существу, стремились к той же цели, что они телегу истории толкали вперед тем успешнее, чем чаще они увязали сами в грязи, в которой застревала эта телега.

Придворное низкопоклонство и ненасытная жадность—вот главные обвинения, которые выдвигались прежде и выдвигаются еще и теперь попами и филистерами всякого калибра против Эразма и Вольтера. И несмотря на это, Эразм был прав, когда хвалился своим «презрением к деньгам». Он вовсе не добивался денег ради них самих. Деньги должны были служить ему пьедесталом для грандиозной духовной деятельности. Но как он мог добывать деньги в то время? Гонорар за литературную работу был тогда неизвестен. Собираение милостыни нищенствующих монахов Эразм считал недостойным свободного человека. Принятие на себя должности, которая вместе с обязанностями дала бы ему определенное содержание, Эразм считал «несовместимым с своей независимостью». И в том, и в другом случае он был прав. Ни нищенствующий монах, ни служитель князей не мог бы быть в шестнадцатом веке властителем дум. Что оставалось делать Эразму, чтобы сделаться самостоятельной силой? Только то, что он действительно делал, и делал, правда, часто в очень неприятной форме: продавать властителям той эпохи золотые речи за золотую плату. Но именно это дало ему возможность оказывать огромное воздействие



на свою эпоху. Это воздействие было бы немислимо, если бы он не создал себе при помощи подарков и подачек положение, которое не могли у него отнять ни князья и попы, ни император и папа. Эразм мог в более позднюю пору своей жизни тратить ежегодно колоссальную для того времени сумму в шестьсот дукатов и оставил, кроме огромного сокровища из золотой и серебряной утвари, не менее семи тысяч дукатов наличными.

Вольтер уже находился в лучшем положении, чем Эразм. Правда, гонорар за литературные работы и в его время мог еще только условно служить источником существования. Зато открывалась широкая возможность для всякого рода финансовых спекуляций. Потереи, заморская торговля, закупки хлеба, поставки для армии доставляли большие шансы для всякого рода наживы. Главную основу состояния Вольтера составили деньги от подписки, которую английские дворяне открыли на запрещенную во Франции «Генриаду». Эти деньги Вольтер использовал для различных перечисленных выше операций. «Нужно внимательно, говорил он, — следить за всеми операциями, которые всегда задолженное и жалкое министерство предпринимает в области государственных финансов». Именно такую операцию, которую министр Брюль произвел в области саксонских финансов, Вольтер хотел использовать в своей пресловутой сделке с евреем Гиршем, но понес при этом большие потери, что с ним случилось и после, но не всегда. И если Лессинг был безусловно прав, когда язвительно издевался над этой возмутительной сделкой, то только смешно, когда немецкие придворные историки по этому поводу просто выходят из себя от нравственного негодования. Пусть эти господа лучше попытаются сначала оправдать все грязные финансовые дела и делишки, которыми запачкали себя в восемнадцатом веке прусские, саксонские и всякие иные немецкие отцы отечества. Тогда мы с ними побеседуем о сделке Вольтера с евреем Гиршем.

Гораздо разумнее, чем эти господа, судил Карлейль: «Вольтер, — писал он, — очень мало зарабатывал при помощи своих писаний, но его выдающийся финансовый гений дал ему возможность сколотить себе значительное состояние. Он так искусно умел распоряжаться своими деньгами, что имел в различных странах свои финансовые источники. Самая хитрая комбинация занимающихся конфискациями иезуитов и темных фанатизированных чиновников не могла бы его лишить средств к существованию. Он мог бы всюду найти для

себя средства. Его можно только похвалить за это. Толпа называет это скаредностью, но Вольтер был убежден, что за причинами следуют действия и что одинокому измаильянину, который пробивает себе дорогу в этом мире через дикие пустыни, населенные пронырливыми существами, следует иметь в кармане деньги. Когда он умер, он обладал годовым доходом, в несколько раз превышавшим сумму в сорок тысяч экю, самый богатый литератор, который когда-либо был известен, но не менее замечательный и в других отношениях». Можно быть и другого мнения о «выдающемся» финансовом гении Вольтера, но Карлейль все-таки совершенно верно изображает историческую подоплеку этого гения. Чтобы иметь возможность развернуть свою деятельность в европейских пределах на благо цивилизованного человечества, Вольтер нынужден был заниматься финансовыми операциями, о доброкачественности которых несомненно можно спорить, но которые также несомненно были бесконечно доброкачественнее, чем деспотическое финансовое хозяйство восемнадцатого столетия.

Вольтер заявлял, что живет с королями, чтобы самому стать королем, и последовательность, с которой он проводил эту программу, Гете характеризовал следующими словами: не легко было сделать себя в такой степени зависимым, чтобы стать независимым. Но Вольтер действительно сделался независимым. В последние двадцать лет своей жизни в Фернее он орудовал, как король европейского просвещения. Нет возможности, в рамках маленькой статьи, перечислить даже самые значительные результаты этой деятельности, не вдаваясь в общие фразы. Мы предоставляем эту работу буржуазной прессе. Мы предпочли почтить его память, показав на одном примере всю нелепость направленных против него обвинений, на примере, который скорее всего может послужить, чтобы смешать духовные и нравственные понятия.

Все попытки попов и филистеров оклеветать память Вольтера не могут умалить значение человека, который тем упорнее боролся за высокие цели, чем более достойны были сожаления средства, при помощи которых он в то печальное время должен был добиваться осуществления этих высоких целей.

## СОДЕРЖАНИЕ \*

Георг Лукач. Франц Меринг . . . . .	7
От редакции . . . . .	85

### Легенда о Лессинге. История и критика прусского деспотизма и классической литературы (N. Z. 1891. В. I—II)

Предисловие ко второму изданию . . . . .	91
--	----

#### Часть первая. Критическая история легенды о Лессинге

I. Лессинг и буржуазия . . . . .	115
II. Зародыш лессинговской легенды . . . . .	122
III. Гейне, Гервинус и Данцель о Лессинге . . . . .	132
IV. Книга Штара о Лессинге . . . . .	142
V. Король Фридрих и Лессинг . . . . .	155
VI. Бранденбургско-Прусское государство . . . . .	168
VII. Просвещенный деспотизм Фридриха . . . . .	203
VIII. Дипломатия и военная политика Фридриха . . . . .	248
IX. К психологии Семилетней войны . . . . .	259
X. Шерер и Эрих Шмидт о Лессинге . . . . .	281

#### Часть вторая. Лессинг и легенда о Лессинге

I. Лессинг и саксонское курфюршество . . . . .	295
II. Лессинг и Лейпцигский университет . . . . .	307
III. Берлин в восемнадцатом столетии . . . . .	319
IV. Лессинг в Берлине и Виттенберге . . . . .	333
V. Начало литературной деятельности Лессинга . . . . .	346
VI. Лессинг во время Семилетней войны . . . . .	359
VII. Бреславльские шедевры . . . . .	377
VIII. Лессинг в Гамбурге . . . . .	399

\* В скобках указаны даты и место первого опубликования. N. Z.—обозначает журнал «Die neue Zeit», W. J.—«Der wahre Jakob».

IX. Годы страданий в Вольфенбюттеле . . . . .	414
X. Последние выступления Лессинга . . . . .	427
XI. Лессинг и пролетариат . . . . .	459

## Немецкая литература в период подъема буржуазной демократии

### Лессинг

«Эмилия Галотти» («Die Volksbühne», 1894—1895, Heft 1) . . . . .	473
«Натан Мудрый» (Die Volksbühne», 1892, Heft 1) . . . . .	480
Фридрих-Готлиб Клопшток (N. Z., 1903, B. 1, S. 734) . . . . .	486
Иоган-Иоахим Винкельман N. Z., 1909, B. 2, S. 747) . . . . .	491
Иоган-Готфрид Гердер (N. Z., 1903, B. 1, S. 322) . . . . .	509

### Гете

Иоган-Вольфганг Гете (W. J., 1899, № 342) . . . . .	522
Гете и современность (N. Z., 1899, B. 2, S. 673) . . . . .	532
Гете на распутии (N. Z., 1909, B. 2, S. 425) . . . . .	536
«Эгмонт» («Die Volksbühne», 1892—1893, Heft 6) . . . . .	546

### Шиллер

#### Биография для немецких рабочих (Leipzig, 1905)

Предисловие ко второму изданию . . . . .	554
--	-----

#### I. Юношеские годы

Рождение и происхождение . . . . .	559
Вюртембергские порядки . . . . .	560
Детские годы . . . . .	566
В академии Карла . . . . .	569
«Разбойники» . . . . .	575
Полковой лекарь . . . . .	582
Бегство . . . . .	590

#### II. Годы борьбы

Беглец . . . . .	593
«Фиеско» . . . . .	597
«Коварство и любовь» . . . . .	599
Мангейм . . . . .	604
Лейпциг и Дрезден . . . . .	615
«Дон Карлос» . . . . .	621
Веймар . . . . .	625
История . . . . .	632
Эллинство . . . . .	635
Иена . . . . .	640
Эстетика и философия . . . . .	647
На родине . . . . .	652

#### III. Годы мастерства

Гете и Шиллер . . . . .	655
Философские стихотворения . . . . .	661
Ксении . . . . .	666
Баллады . . . . .	670
«Валленштейн» . . . . .	672

Последние годы жизни . . . . .	677
«Мария Стюарт» . . . . .	682
«Орлеанская дева» . . . . .	684
«Мессинская невеста» . . . . .	687
«Вильгельм Телль» . . . . .	690
«Димитрий» . . . . .	694
Смерть и бессмертие . . . . .	695
Шиллер и современность (N. Z., 1904—1905, В. 2, S. 129)	701
Шиллер и великие социалисты (N. Z., 1904—1905, В. 2, S. 153). . . . .	705

## Романтизм

### Клейст

Генрих фон Клейст (N. Z., 1911, В. 1, S. 241) . . . . .	713
«Разбитый кувшин» («Die Volksbühne», 1892—1893, Heft 5) . . . . .	723

## Приложение—Из мировой литературы

Кальдерон. «Судья из Заламеи» («Die Volksbühne», 1892—1893, Heft 8) . . . . .	729
Мольер. «Скупой» («Die Volksbühne», 1894—1895, Heft 7) . . . . .	736
Слово о Вольтере. (N. Z., 1894, В. 1, S. 257) . . . . .	740

Фронтиспис портрета Франца Меринга исполнен с фотографии артелью фототипов в Москве.

Ред. Вал. Полянский.  
Художественная редакция  
М. П. Сокольников.  
Лит.-техническ. наблюдение  
А. Н. Плавильщиков.  
Тех. ред. М. М. Дмитриев.  
Наблюдение на производстве М. И. Ковлов.

\*\*\*

Сдано в набор 3. I. 34. Под-  
писано в печать 8. IV. 34.  
Тир. 7.300. Уполн. Главли-  
та Б 33780. Сак. тип. № 14.  
Зак. «Ас». Инд. А—4. Бум.  
62×94— $\frac{1}{16}$ . П. л.  $46\frac{3}{4}+1$   
вкл. Авт. л.  $44\frac{1}{2}$ . Тип. зн.  
на 1 бум. л. 76.680.

\*\*\*

Отпечатано в 16-й типогра-  
фии треста «Полиграфкни-  
га», Трехпрудный, 9

Цена Р. 8.00  
Переплет Р. 2.00

Вышли в свет:

РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ

*Статьи о литературе*

Вал. ПОЛЯНСКИЙ

*Н. А. Добролюбов*

Летопись жизни и творчества

*Н. Г. Чернышевского*

Летопись жизни и творчества

*Ф. И. Тютчева*

Био-библиография

*Л. Н. Толстого*

В печати:

Летопись жизни и творчества

*И. С. Тургенева*

Готовятся к печати:

**С. Д. БАЛУХАТЫЙ**

*Работа М. Горького*

Библиография

Летопись жизни и творчества

*Ф. М. Достоевского*

**И. Ф. МАСАНОВ**

*Словарь псевдонимов*

тт. I и II

**«А С А Д Е М И А»**

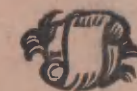
Москва, Б. Вузовский, 1  
Ленинград, Просп. 25 Октября,  
«Дом Книги»



**Ф. МЕРИНГ**

**ЛИТЕРАТУРНО  
КРИТИЧЕСКИЕ**

**СТАТЬИ**



**I**



**ACADEMIA**